



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохраняются все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как наименование о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отключайте автоматические запросы.
Не отключайте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Library of the University of Michigan
Bought with the income
of the
Ford - Messer
Bequest



R. F. FABER

891.78

B43

1888

v. 748.

СОЧИНЕНІЯ

В. БЪЛИНСКАГО.

Велинскій, Виссарион Григор'евич.

Сочиненія

СОЧИНЕНІЯ

В. Велинскій

В. Б Ъ Л И Н С К А Г О

(СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ).

part 7
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ.

4 8

Изданіе пятое.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. 25 К.

МОСКВА

Типографія А. Н. Мамонтова и К^о, Леонтьевскій пер., № 5

1891

1843.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

I.

КРИТИКА.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1842 ГОДУ.

Было время, когда журналы, въ Европѣ, по преимуществу назывались «зрителями»; теперь имя «обозрѣній» (revues) осталось за ними исключительно и значить то же самое, что у насъ, на Руси, слово «журналъ», а журналами называются тамъ газеты. Въ этихъ названіяхъ столько же основательности и толку, сколько у насъ неосновательности и безтолковости. Большая часть журналовъ у насъ выходитъ одинъ разъ въ мѣсяць, тогда какъ иностранное слово «журналъ» совершенно равнозначительно русскому «дневникъ» или «ежедневникъ». Слово «газета», оставшееся у насъ преимущественно за тѣми періодическими изданіями, которыя за-границею называются «журналами», не выражаетъ никакого смысла, почему почти и оставлено въ Европѣ. Еще болѣе основательности и глубокаго смысла видно въ замѣненіи слова «зритель» словомъ «обозрѣніе»; эта перемена, какъ нельзя лучше, характеризуетъ собою двѣ эпохи: одну, когда люди только созерцали и смотрѣли на жизнь, какъ на занимательный спектакль, и другую, когда люди уже не довольствуются только тѣмъ, что смотреть глазами, а хотятъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, смотрѣть и умомъ. Предшествовавшая эпоха была созерцательная; настоящая эпоха сознательная. Отсюда-то и происходитъ эта живая, беспокойная, тревожная потребность, едва кончивъ дѣло, обозрѣть его поскорѣе, едва

пройдя нѣсколько шаговъ, оглянуться назадъ и отдать себѣ отчетъ въ пройденномъ пространствѣ. Это доказываетъ, что теперь факты—ничто, и одно знаніе фактовъ также ничто, но что все дѣло въ разумнѣи значенія фактовъ. Мы этимъ отнюдь не хотимъ сказать, чтобъ фактическое знаніе было не нужно, бесполезно: мы хотимъ сказать только, что знаніе фактовъ безъ разумнѣи ихъ еще не есть знаніе въ истинномъ и высшемъ значеніи этого слова. Безъ знанія фактовъ невозможно и разумнѣи ихъ, потому что когда нѣтъ фактовъ, какъ данныхъ, какъ предметовъ знанія, тогда нечего и уразумѣвать; слѣдовательно, и фактическое знаніе необходимо; только безъ философскаго знанія оно будетъ такимъ же признакомъ, какъ и философское знаніе безъ фактическаго подготовленія и основанія. И дѣйствительно, въ прежнюю, созерцательную эпоху, только смотрѣли на то, что дѣлалось на бѣломъ свѣтѣ и, посмотрѣвъ, записывали, что видѣли; теперь смотрятъ еще пристальнѣе, еще внимательнѣе, но смотря, вникаютъ и судятъ, и тогда только почитаютъ себя что-нибудь увидѣвшими, когда откроютъ смыслъ и значеніе увидѣннаго, переведутъ фактъ на идею.

У насъ общественная жизнь преимущественно выражается въ литературѣ. Поэтому, ничего нѣтъ мудренаго, если всѣ наши журналы по преимуществу—журналы литературные, наполняемые или произведеніями литературы, или толками о литературѣ. Наука у насъ еще слишкомъ нѣжное и слабое растеніе, которому еще некогда было даже пустить корней, не только развернуться пышнымъ и благоуханнымъ цвѣтомъ. Это, впрочемъ, не значитъ, чтобъ у насъ не было науки: это значитъ только, что наука на Руси до сихъ поръ еще что-то въ родѣ элевзинскихъ таинствъ,—исключительное достояніе небольшого избраннаго класса людей, а не цѣлаго общества, какъ въ западной Европѣ. Многіе еще, изъ посвящающихъ себя исключительно наукѣ, у насъ учатся не для знанія, а для аттестатовъ, открывающихъ путь къ разнымъ

преимуществамъ по службѣ. Засѣданія ученыхъ обществъ въ глазахъ нашей публики—родъ спектакля, на который должно смотрѣть съ приличною важностію, не зѣвая. Самъ Араго не привлекъ бы, своими чтеніями и отчетами, разнообразной и полной просвѣщеннаго интереса толпы. Вотъ почему мы говоримъ, что наука на Руси пока еще—нѣжное и слабое растеніе, неуспѣвшее еще пустить корней въ новую, неразработанную для него почву, и поддерживаемое только благородными, великодушными усиліями просвѣщеннаго правительства. За то литературныя публичныя чтенія, затѣянныя сколько-нибудь извѣстнымъ въ литературѣ лицомъ, у насъ могутъ привлекать разнородную толпу, которая готова стекаться на нихъ всегда съ бѣльшимъ или меньшимъ интересомъ, и не только (такъ или сякъ) будетъ понимать ихъ, но еще и принимать ихъ съ этимъ восторгомъ, или съ этимъ неудовольствіемъ, которые всегда означаютъ живое участіе къ дѣлу литературы. Ужь нечего и говорить о томъ, что всѣ сколько-нибудь замѣчательныя литературныя произведенія находятъ себѣ у насъ покупателей и почитателей; нѣкоторые журналы поддерживаются значительнымъ числомъ подписчиковъ, журнальныя мнѣнія раздѣляютъ публику на литературныя котеріи. Последнее обстоятельство особенно важно. Безъ литературнаго мнѣнія, сколько-нибудь оригинальнаго и самобытнаго, высказываемаго съ бѣльшимъ или меньшимъ умомъ и талантомъ, теперь и у насъ журналъ уже не можетъ имѣть успѣха. Критика, въ отношеніи къ успѣху и вліянію журнала, начинается становиться едва ли не важнѣе самихъ повѣстей. Правда, подъ «критикою» у насъ еще не всѣ разумѣютъ разсмотрѣніе произведеній искусства на основаніи науки изящнаго; напротивъ, большая часть публики добродушно почитаетъ критикою всякую болтовню о литературныхъ предметахъ, всякую рецензію на пустую книжонку,—и потому у насъ стѣдуетъ только назвать себя критикомъ, чтобъ прослыть критикомъ. Такъ, иной правоописательный сочинитель, въ

жизнь свою ненаписавшій ни одной критической статьи, никогда и неслыхивавшій, что есть на свѣтѣ наука изящнаго, философія искусства, совершенно чуждый какого-нибудь взгляда на поэзію, какого-нибудь убѣжденія, тѣмъ не менѣе гордо величаетъ себя «критикомъ», потому только, что давно уже мараешь статейки въ плохой газетѣ, гдѣ бранить съ плеча всякій талантъ, всякій успѣхъ, заслоняющій его, или, помирившись съ подобнымъ себѣ витяземъ, потомъ бранить его, а послѣ опять мирится съ нимъ—до новой размолвки и новой мировой сдѣлки, и постоянно хвалить только себя и свои книжныя издѣлія. Но все это нисколько не противорѣчитъ высказанному нами мнѣнію о важной роли, которую играетъ критика въ нашихъ журналахъ, какъ выраженіе литературныхъ понятій, убѣжденій и мнѣній, притомъ же, наша критика состоитъ не изъ однихъ такихъ жалкихъ явленій, но по справедливости можетъ гордиться и утѣшительными исключеніями. И такъ, этотъ успѣхъ журналистики, душа которой—критика, служитъ самымъ яснымъ и неопровержимымъ доказательствомъ, что литература наконецъ укоренилась на почвѣ русской національности, вошла въ жизнь общества, сдѣлалась его обычаемъ и живою потребностію и уже перестала быть внѣшнимъ нововведеніемъ, модою, или книжнымъ педантизмомъ. Поэтому, ничего нѣтъ удивительнаго, что у нашего общества литература стоитъ на первомъ планѣ, и что у насъ съ важностію разсуждаютъ и съ горячностію спорять о томъ, о чемъ за-границею говорятъ хладнокровно, какъ объ интересѣ важномъ, но уже второстепенномъ и отнюдь не исключительномъ.

Послѣ всего этого, должно казаться страннымъ, что въ современныхъ русскихъ журналахъ, за исключеніемъ «Отечественныхъ Записокъ», нѣтъ ни историческихъ, ни годовыхъ и никакихъ обзорѣній русской литературы? И это тѣмъ страннѣе, что съ небольшимъ за десять лѣтъ назадъ, обзорѣнія такого рода были въ большомъ ходу: ими

наполнялись журналы, безъ нихъ не могли обходиться альманахи. Потомъ вдругъ какъ и не бывало литературныхъ обзорѣній! Кромѣ равнодушія къ дѣлу литературы, этому не можетъ быть другой причины: по словамъ мудрой русской пословицы — что у кого болитъ, тотъ о томъ и говорить. Скажутъ: вольно же ребячиться и толковать о пустякахъ! Хорошо; но если литература для кого -нибудь — пустяки, такъ пусть же тотъ и не издаетъ литературныхъ журналовъ, чтобъ не противорѣчить самому себѣ и не обнаружить, противъ своей воли, какихъ-нибудь совсѣмъ не литературныхъ цѣлей, а на примѣръ, торговыхъ и т. п. Кто на литературу смотритъ какъ на что-то важное, въ глазахъ того обзорѣнія литературы не могутъ не имѣть большой важности. Литературныя обзорѣнія — это живая лѣтопись мнѣній различныхъ эпохъ; а какъ Россія во многихъ отношеніяхъ развивается непомерно быстро, то у насъ что годъ, то и эпоха, слѣдовательно, и лѣтописи нашей литературы не могутъ не быть разнообразны, живы и интересны. Любопытно наблюдать за процессомъ мнѣнія объ одномъ и томъ же предметѣ въ разное время, у разныхъ поколѣній; любопытно видѣть какъ думали, на примѣръ, о Ломоносовѣ или Державинѣ въ ихъ время, и какъ думаютъ о нихъ теперь. Любопытно видѣть итоги каждаго года, и по нимъ слѣдить за каждымъ успѣхомъ литературы, за каждымъ ея шагомъ впередъ. И потому мы думаемъ, что публика не можетъ не одобрить принятаго нами намѣренія — начинать каждую первую книжку новаго года «Отечественныхъ Записокъ» взглядомъ на прошлогоднюю литературу, — намѣреніе, которое уже сряду третій годъ постоянно выполняется нами, не въ примѣръ прочимъ журналамъ.

Литературныя обзорѣнія первый началъ Марлинскій. Его статьи въ этомъ родѣ имѣли чрезвычайный успѣхъ въ публикѣ. На нихъ смотрѣли какъ на что-то необыкновенное, гениальное. Теперь они не болѣе, какъ интересный фактъ

для исторіи русской литературы. Теперь уже никого не изумять фразы, что Ломоносовъ озарилъ своимъ явленіемъ Русь подобно сѣверному сіянію, что стихи Пушкина—жемчугъ, рассыпанный по бархату и т. п. Но въ свое время, обозрѣнія Марлинскаго были дѣйствительно необыкновеннымъ явленіемъ, которое не могло не показаться великимъ. Критика, до Марлинскаго, была книжною и педантической, безъ истинной учености, безъ всякаго отношенія къ современному состоянію науки объ изящномъ. Истинному глубокомыслию и истинной учености прощается и тяжеловатость и педантизмъ, если они какъ-нибудь приросли къ ней; но педантизмъ и школьничество, невыкупаемые мыслию и основательностію — самая отвратительная вещь въ мірѣ. Наша ученая критика того времени не справлялась съ ходомъ времени и повторяла избитыя общія мѣста о старыхъ писателяхъ, упорно не признавая въ Пушкинѣ ни таланта, ни заслуги. Марлинскій заговорилъ о литературѣ языкомъ свѣтскаго человѣка, умнаго, образованнаго и талантливаго, заговорилъ языкомъ новымъ, небывалымъ, острымъ, блестящимъ. Ради этихъ, новыхъ тогда, достоинствъ, никто не замѣтилъ жидкости содержанія въ его часто до изысканности оригинальныхъ и блестящихъ фразахъ, неопредѣленности въ его характеристикахъ. Удержавъ, по старой памяти, кое-что изъ мнѣній прежняго времени, Марлинскій все это выражалъ однакожь новымъ образомъ, отъ чего и старыя мысли приняли у него видъ новыхъ; увлекаясь очень понятнымъ пристрастіемъ къ современному, онъ иное хвалилъ не по достоинству, но за то умѣлъ восхищаться всѣмъ истинно-прекраснымъ, и тяжело поражалъ своимъ фейерверочнымъ остроуміемъ посредственность и бездарность. Одно уже то, что онъ былъ страшнымъ врагомъ ложнаго классицизма и сильнымъ союзникомъ плохо понимаемаго и новаго, тогда такъ называемаго романтизма,—одно уже это облекало въ ми-

стическое величіе его достоинство какъ критика. Послѣ Марлинскаго неутомимымъ «обозрѣвателемъ» былъ весьма извѣстный въ свое время, но теперь совершенно забытый г. Орестъ Сомовъ. Въ его статьяхъ не было никакого литературнаго мнѣнія, никакого основанія, никакого блеска, и они скоро всѣмъ надоѣли и обратились въ предметъ насмѣшекъ со стороны всѣхъ журналовъ. Потомъ, замѣчательнѣйшею статьею въ этомъ родѣ было «Обозрѣніе русской словесности 1829 года» г. И. Кирѣевскаго, напечатанное въ «Денницѣ» г. Максимовича. Въ статьѣ г. Кирѣевскаго чувствуется присутствіе мысли; по крайней мѣрѣ, есть нѣсколько отдѣльныхъ мыслей, вѣрныхъ и оригинальныхъ; но приложеніе ихъ отзывается неопредѣленностію и не идетъ къ дѣлу. Г. Кирѣевскій не только безусловно и безотчетно превознесъ, а не оцѣнилъ, — ибо оцѣнка есть сужденіе, а не гимнъ хвалебный, — исторію Карамзина, но и разныя маленькія знаменитости того времени. Такъ, напр., онъ накиннулъ «душегрѣйку новѣйшаго унынія» на греческую музу Дельвига, между тѣмъ, какъ въ подражаніяхъ Дельвига древнимъ еще менѣе античнаго, пластическаго и антологическаго, чѣмъ русскаго въ его русскихъ пѣсняхъ. Даже въ стихотвореніяхъ г. Шевырева г. Кирѣевскій нашелъ только одинъ недостатокъ — не отсутствіе поэзіи, которой въ нихъ совершенно нѣтъ, не дикую вычурность абстрактныхъ идей и напряженнаго выраженія, а — «излишество мысли»!... Это обозрѣніе возбудило противъ себя сильную враждебность въ журналахъ, сколько по своимъ парадоксамъ, столько и по нѣкоторымъ истинамъ, горькимъ и рѣзко-высказаннымъ, которыя не всѣмъ могли понравиться. — Вообще, главный отличительный характеръ всѣхъ прежнихъ литературныхъ обозрѣній состоитъ въ томъ, что они обольщались мнимыми литературными сокровищами. Отрывокъ изъ неоконченной поэмы считался важнымъ приобрѣтеніемъ для литературы; плаксивая элегія, напечатанная въ альманахѣ, возбуждала

толки и споры; всякая повѣстка считалась дивомъ. Теперь смѣшно и вспомнить, какъ всѣ были заинтересованы коротенькими отрывочками изъ повѣсти Байскаго «Гайдамаки», повѣсти, дѣйствительно не дурной по разсказу, но тянувшейся нѣсколько лѣтъ и оставшейся безъ конца и связи. Даже романъ г. Б. Ф(Ф)едорова «Андрей Курбскій» возбуждалъ ожиданіе и толки. Числительное богатство принималось за качественное, и этому богатству конца не видѣли. Книгъ было немногимъ больше теперешняго, но за то почти каждая книга считалась важнымъ явленіемъ въ литературѣ; крохотные отрывочки въ крохотныхъ альманахахъ, каждое стихотвореніе, даже эпиграмма,—все это поименовывалось въ «обозрѣніяхъ» и причислялось къ общей суммѣ литературнаго богатства. Иначе и быть не могло. Всякая важная новость, смѣняющая собою надѣвную старину, принимается за одно съ достоинствомъ и совершенствомъ. Такъ называемый романтизмъ былъ тогда еще новостію, и потому почти всякое «романтическое» произведеніе почиталось «превосходнымъ» произведеніемъ. Восхищеніе отнимало способъ думать и судить.

Въ чемъ же долженъ состоять характеръ литературныхъ обозрѣній нашего времени? И даже есть ли теперь что-нибудь, чтò обозрѣвать! Вѣдь теперь и книгъ меньше, и журналовъ меньше, стало-быть, и литература вообще бѣднѣе?

Такъ можетъ казаться, но не такъ это на дѣлѣ. Мы сейчасъ сказали, что богатство прежняго періода нашей литературы было больше числительное, нежели качественное, больше воображаемое, нежели существенное. Истинное ея богатство состояло въ произведеніяхъ Пушкина, да въ «Горѣ отъ Ума» Грибоѣдова; кое-что изъ остальнаго имѣло свое относительное достоинство, а большая часть—равно никакого, между тѣмъ, какъ все это принималось тогда почти съ такимъ же энтузіазмомъ, какъ и новыя произведенія Пушкина. Кто не считался тогда поэтомъ, кто не былъ знаменитъ?—Теперь

едва ли повѣрятъ, если сказать, что съ небольшимъ лѣтъ за десять, имена гг. Олина, Карльгофа, Сомова, Писарева, Аладьина, Ранча, Погорѣльскаго, Яковлева (автора «Удивительнаго Человѣка»), Иличевскаго. Ротчева, Глаголева, и многихъ, многихъ другихъ считались чуть не знаменитостями литературными... Что касается до журналовъ, — ихъ было больше, потому что ихъ легче было издавать. Страсть печататься доставляла издателямъ или за самую умѣренную цѣну, или—и это болѣею частію,—совершенно безденежно переводныя и оригинальныя статьи, которыми они и наполняли тощенькія и маленькія книжки своихъ журналовъ. «Телеграфъ» столько же по величинѣ своихъ книжекъ и по внѣшнему изяществу изданія, сколько и по внутреннему достоинству, справедливо считался первымъ и лучшимъ журналомъ въ Россіи; а между тѣмъ, каждый томъ «Телеграфа», заключавшій въ себѣ четыре книжки за два мѣсяца, едва ли не въ половину меньше былъ каждой книжки «Отечественныхъ Записокъ», выходящей одинъ разъ въ мѣсяць. Если разница во внѣшнемъ изяществѣ изданія «Телеграфа» не слишкомъ велика съ нынѣшними журналами, то взгляните на картинки модъ «Телеграфа» и сравните ихъ съ нынѣшними. Конечно, все это не составляетъ сущности журнала, но мы и говоримъ не о сущности, а о трудности, съ которою, по причинѣ усилившихся требованій со стороны публики, теперь сопряжено изданіе журнала сравнительно съ прежними временами. Что же касается до сущности, то и тутъ какая огромная разница! Тогда «Телеграфъ» щеголялъ повѣстями Марлинскаго, которыя считались созданіями величайшаго генія и приводили въ восторгъ и изумленіе почти всю читающую публику. Повѣсти г. Полеваго почитались тоже такими произведеніями, которыя могли бы служить украшеніемъ любому европейскому журналу,—и вѣрно многіе, подобно намъ, не могутъ теперь вспомнить безъ улыбки живѣйшаго удовольствія, какой сильный интересъ возбудили въ публикѣ «Живо-

писецъ», «Блаженство Безумія» и «Эмма»: воспоминанія дѣтства такъ отрадны и сладостны, что мы не безъ сердечнаго трепета вспоминаемъ иногда романы Радклифъ, Дюкре-ди-Мениля и Августа Лафонтена и, смѣясь надъ ними, все-таки любимъ ихъ, какъ добрыхъ друзей нашего мечтательнаго дѣтства, какъ ослѣпшую отъ старости собачку, съ которою мы играли, когда она была еще щенкомъ!... И что говорить о повѣстяхъ г. Полеваго:—повѣсти г. Погодина многимъ нравились въ свое время; трудно повѣрить, а это было точно такъ: «Черная Немочь» надѣлала шуму... И вотъ оно — то богатство, какимъ горда была наша литература предшествовавшаго періода, который можно, не рискуя ошибиться, назвать «романтическимъ»!

Добрый и невинный романтизмъ! какъ боялись тебя классическіе парики, какимъ буйнымъ и неистовымъ почитали они тебя, сколько зла пророчили они отъ тебя,—тебя, бывшаго въ ихъ глазахъ страшнѣе чумы, опаснѣе огня! А ты, добрый и невинный романтизмъ, ты былъ просто—рѣзвое, шаловливое дитя, проказливый школьникъ, который смѣтилъ, что его «классическій» учитель ужасно глупъ, да и давай надъ нимъ потѣшаться, сдергивая колпакъ съ его дремлющей лысой головы, и нацѣпляя бумажки на заднія пуговицы его старомоднаго кафтана... И что же такое сдѣлалъ, если разсмотрѣть хорошенько, ты, такъ гордившійся и величавшійся своими заслугами!—Черезъ г. Летурнѣра, поправленнаго, съ грѣхомъ пополамъ, г-мъ Гизо, ты кое-какъ познакомился съ Шекспиромъ, да и началъ, съ голосу парижскихъ романтиковъ, кричать о сердецвѣдѣніи, о глубинѣ идей, о силѣ страстей, о вѣрномъ изображеніи дѣйствительности; а вѣдь—признайся (дѣло прошлое!): тебѣ въ Шекспирѣ полюбились только побранки мужиковъ и солдатъ, разнообразіе и множество персонажей, да несоблюденіе, дѣйствительно нелѣпаго, драматическаго тріединства?... Написалъ ли ты хоть одну драму въ родѣ Шекспировыхъ драмъ? Перевелъ

ли ты одну из них такъ, чтобъ можно было видѣть, что ты понялъ Шекспира? Правда, переведены у насъ двѣ драмы Шекспира достойнымъ его образомъ, да не тобою, мой верхоглядый романтизмъ: ты только изуродовалъ «Гамлета» да «Виндзорскихъ Проказницъ», позволивъ себѣ передѣлывать ихъ по своему идеалу... Такъ или сякъ познакомился ты и съ Шиллеромъ; но чтò понялъ ты въ немъ!—ты понялъ, и то по своему, по дѣтски, «дѣву неземную», да «любовь идеальную», а вѣчнаго глагола разума, а божественной любви къ человѣчеству—ты и не предчувствовалъ въ Шиллерѣ; ты и не подозрѣвалъ въ немъ провозвѣстника двухъ великихъ словъ великаго будущаго—разума и человѣчества... И вотъ ты, съ радости, что не понялъ Шиллера, давай писать, благозвучными Расиновскими стихами, Шиллеровскую драму, гдѣ донскіе казаки мечтаютъ «о Шиллерѣ, о славѣ, о любви»... Также, сводилъ тебя съ ума и «Гецъ фонъ-Берлихингенъ» Гёте—и ты пренебрепо перевелъ его романтическимъ языкомъ русскихъ мужичковъ... Много ты слышалъ и о «Фаустѣ» Гёте, наболталъ о немъ съ три короба, и наконецъ (не дрогнула же у тебя рука на такое незаконное дѣло!)—и его перевелъ... Частію по французскимъ переводамъ, частію по дряннымъ російскимъ предложеніямъ, ты познакомился съ Вальтеръ-Скоттомъ, и тебѣ, самонадѣянному юношѣ-самоучкѣ, показалось, что ты разгадалъ тайну таланта великаго Шотландца, и что тебѣ ничего не стоитъ самому сдѣлаться такимъ же «романтикомъ». —И вотъ ты началъ тайкомъ перелистывать исторію Карамзина, браня ее въ слухъ (какъ «классическое» произведеніе), и, бывало, возьмешь изъ нея напрокатъ какое-нибудь событіе, да лица два-три, завяжешь имъ глаза, да ипустишь ихъ играть въ жмурки съ картонными марьонетками собственнаго твоего изобрѣтенія... И сколько повѣстей надѣлалъ ты изъ степенной русской исторіи, заставивъ чинныхъ русскихъ бояръ мстить по-черкески, влястися не иначе, какъ смертью и

адамъ, и кричать на каждой страницѣ: га!... Злодѣй, ты уцѣпился за новѣйшую исторію, которую изучилъ изъ «Московскихъ Вѣдомостей»; ты не пощадилъ и Наполеона, не убоился оскорбить его развѣнчанной тѣни, и смѣло заставилъ его играть престранную роль въ твоихъ площадныхъ сказкахъ, сводить и знакомить его съ разными романтическими чудаками, незаконными дѣтьми твоей фантазіи... На горе себѣ, какъ-то познакомился ты съ гениальнымъ сумасбродомъ, съ Нѣмцемъ Гофманомъ, забредилъ «фантастическимъ», переболталъ его съ «идеальнымъ», подбавивъ въ эту амальгаму сантиментальной водицы изъ, памятныхъ тебѣ по дѣтству, романовъ Августа Лафонтена,—и потянулись у тебя длиною вереницею безобразныя повѣсти и романы: съ блаженствующими отъ сумасшествія, съ лунатиками, сомнамбулами, магнетизёрами, идеальными кухарками, мѣщанскими поетами, мечтателями, прыничными Аббадоннами, сахарною любовью, мышинымъ героизмомъ, и тому подобнымъ разнымъ вздоромъ... Но всѣхъ болѣе виновать ты передъ пѣвцомъ «Гяура» и «Манфреда»: лишь только слышалъ ты о немъ, какъ и началъ проклинать жизнь, ненавидѣть человѣчество, любоваться адамъ и вяло воспѣвать.

. . . Поблекшій жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ...

Ты провозгласилъ Байрона пѣвцомъ отчаянія и эгоизма, блуждающею кометою, озарившею міръ кровавымъ заревомъ... Добрякъ! говорю тебѣ—ты не понялъ его, этого Байрона, ты не понялъ ни его идеала, ни его паэоса, ни его генія, ни его кровавыхъ слезъ, ни его безотраднaго и гордаго, на самомъ себѣ опершагося отчаянія, ни его души, столько же нѣжной, кроткой и любящей, сколько могучей, непреклонной и великой! Байронъ—это былъ Прометей нашего вѣка, прикованный къ скалѣ, терзаемый коршуномъ: могучій геній,

на свое горе, заглянулъ впередъ,—и не разсмотрѣвъ, за мерцающею далью, обѣтованной земли будущаго, онъ проклялъ настоящее и объявилъ ему вражду непримиримую и вѣчную; нося въ груди своей страданія миллионѣвъ, онъ любилъ челоуѣчество, но презиралъ и ненавидѣлъ людей, между которыми видѣлъ себя одинокимъ и отверженнымъ, съ своею гордою борьбою, съ своею безсмертною скорбію... Не кометою, блуждающею и безобразною, былъ онъ, а новымъ духомъ, поборавшимъ за челоуѣчество, въ огненпернатомъ шлемѣ на головѣ, съ пламеннымъ мечемъ въ рукѣ, съ эгидою будущей побѣды, близкаго торжества... А ты, добрый и невинный романтизмъ русскій, создалъ себѣ, въ своемъ ребячествѣ, какой-то призракъ Байрона, столько же похожій на Байрона, сколько тѣнь, отбрасываемая на солнцѣ челоуѣкомъ, похожа на челоуѣка. Да и гдѣ, изъ чего было тебѣ создать истинный идеалъ Байрона?—гдѣ взялъ бы ты глубокаго сочувствія ко всему челоуѣческому, глухихъ рыданій, никому невидныхъ, но тѣмъ болѣе сокрушительныхъ,—ты, добрый юноша, съ глазами унылыми, но отъ модной тоски,—съ щеками нѣсколько блѣдными, но отъ ночныхъ пировъ и дикихъ хоровъ московскихъ Египтянокъ, въ просторѣчїи называемыхъ Цыганками,—съ характеромъ раздражительнымъ и нѣсколько нелюдимымъ, но отъ разстроенаго пищеваренія, вслѣдствіе неразсчитаннаго усердія къ Ваху и Кому,—съ душою праздною и скучною, но отъ излишней любви къ «сладостной лѣни»?... Не только ты добрый и невинный романтизмъ, не только ты не понялъ новаго воителя: его не понялъ и тотъ великій русскій поэтъ, котораго такъ несправедливо называлъ ты своимъ отцомъ, и котораго еще несправедливѣе называлъ ты то сѣвернымъ, то русскимъ Байрономъ...

И такъ, гдѣ же твои заслуги, о нашъ безвременно скончавшійся романтизмъ? Ужь не разгульныя ли пѣсни, писанныя бойкимъ четырехстопнымъ ямбомъ, «торопливымъ скорохо-

домъ», въ которыхъ все такъ исполнено невинности и романтизма—и похмѣлье, и звонъ разбиваемаго стекла, и разгульный вѣнокъ, и пламенныхъ восторговъ кипятокъ?... Ужь не подражанія ли древнимъ, въ которыхъ греческаго—одни гексаметры, да и то русскіе, одни длинные составные эпитеты, клонящіе ко сну? Ужь не...

Но довольно. Всѣхъ проказъ нашего романтизма не перескажешь. Какъ всѣ эпохи переходныя, когда старое безусловно отрицается во имя новаго, которое непонятно,—романтизмъ нашъ былъ пусть и бесплоденъ; отъ этого изъ него и не вышло ничего, кромѣ великолѣпнаго вздора программъ и подписокъ на ненаписанныя и неоконченныя сочиненія... И не у насъ однихъ романтизмъ былъ такъ бесплоденъ, но и у Французовъ, у которыхъ онъ также былъ переходнымъ моментомъ и не чѣмъ-нибудь положительнымъ, а только реакціе псевдо-классицизму. Въ самомъ дѣлѣ, что прочнаго, великаго, вѣковаго и безсмертнаго произвели эти мнимо-геніальныя представители юной Франціи? Люди они были, дѣйствительно, съ блестящими дарованіями, въ ихъ произведеніяхъ много блесковъ ума, живости, увлеченія: но эти легкія и скороспѣлыя произведенія были литературныя подсѣжники, пророчившіе весну, а не пышныя, благоуханныя розы роскошнаго мая. Минута родила ихъ—съ минутой и исчезли они, и кто теперь взглянетъ на эти увядшіе, высохшіе и выдохшіеся цвѣты, кто питается ими, кромѣ тѣхъ, кому сама природа назначила въ пищу—сѣно?... Что такое теперь колоссальный геній — Викторъ Гюго? — человекъ, у котораго когда-то былъ блестящій талантъ, человекъ, который написалъ нѣсколько прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній, вмѣстѣ съ множествомъ посредственныхъ и плохихъ, и котораго лирическая поэзія, взятая какъ нѣчто цѣлое, какъ отдѣльный міръ творчества, чужда всякаго характера, всякаго значенія, всякаго общаго паюса. Что такое его препрославленная «Notre Dame de Paris?» Тяжелый плодъ

напряженной фантазіи, *tour de force* блестящаго дарованія, которое раздувалось и пыжилось до генія; пестрая и лишенная всякаго единства картина ложныхъ положеній, ложныхъ страстей и ложныхъ чувствъ; океанъ изящной риторики, дикихъ мыслей, натянутыхъ фразъ, словомъ, всего, что способно приводить въ бѣшеный восторгъ только пылкихъ мальчиковъ... Что такое его драмы?—жалкія усилія безпокойнаго самолюбія, уродливыя клеветы на природу человѣка... А этотъ «скромный» Дюма, этотъ полу-Негръ, полу-Французъ, который такъ гордъ бѣшенствомъ и свирѣпостію своихъ ощущеній, который, по собственному признанію, бралъ у Шекспира свое, какъ скоро находилъ его, и который съ добродушною наглостію и невиннымъ безстыдствомъ говорить о самомъ себѣ, какъ о великомъ геніи; этотъ Жаненъ, авторъ сатанинскихъ романовъ и паясническихъ фѣльетоновъ? этотъ господинъ *де-Бальзакъ*, Гомеръ Сенъ-Жерменскаго предмѣстья, знакомаго ему только съ улицы; этотъ чопорный *де-Виньи*, съ его вѣчнымъ идеаломъ страждущаго поэта, съ его вѣчною враждою къ успѣхамъ времени и постоянною вѣрностію вѣку маркизовъ и аббатовъ; этотъ мрачный Эженъ Сю, этотъ неистовый *Жакобъ Библиофилъ*, съ шутовскою макабрскою пляскою его фантазіи, прикованной къ мусору историческихъ древностей; этотъ сладко-мечтательный *Ламартинъ*... что такое теперь всѣ они? Они такъ шумѣли, такъ силились выдать себя за титановъ, осаждающихъ Зевеса на его неприступномъ Олимпѣ! Всѣ думали, что они поворотятъ землю на ея оси; а вышло, что они—просто маленькіе-великіе люди, добрые ребята, которые очень довольны жизнію, когда у нихъ есть деньги, и которые, еще до гроба, пережили и свою славу, и свои творенія, и, не доживъ до старости, дожили до равнодушія и презрѣнія той толпы, которая нѣкогда видѣла въ нихъ своихъ идоловъ... А кто пережилъ свои творенія и свою славу, тотъ не великій писатель: велико только то, что переходитъ въ потомство... Величе-

ственный дубъ растеть медленно, но живетъ долго; осина быстро бѣжить въ вышину, но не бываетъ огромнымъ деревомъ, и не вѣками, а годами измѣряется ея краткое существованіе. Въ то время, какъ французскіе романтики, эти маленькіе-великіе люди, уже пользовались всемірною извѣстностію, на судъ современнаго общества предстала женщина, съ великимъ, истиннымъ дарованіемъ; ея не поняли и, за это, оклеветали. Но она шла своимъ путемъ, и рядъ созданий, одно другаго глубже, ознаменовалъ ея побѣдоносное шествіе, — и ея слава началась только съ того времени, какъ слава маленькихъ-великихъ людей уже кончилась. Причина этой разности очевидна: тамъ начало внѣшнее, снѣговое; тутъ — подземное, родниковое, внутреннее... Такъ называемый романтизмъ хлопоталъ изъ формъ, не понимая сущности дѣла, — и для формы онъ дѣйствительно много сдѣлалъ: онъ развязалъ руки таланту, спеленатому ложными правилами преданія. И нашъ романтизмъ принесъ такую же пользу нашей литературѣ: онъ разчистилъ ея арену, заваленную соромъ и дрягломъ псевдо-классическихъ предразсудковъ: онъ далеко разметалъ ихъ деревянные барьеры, уничтожилъ ихъ австралійскіе табу, и тѣмъ предуготовилъ возможность самобытной литературы. Теперь едва ли повѣрятъ тому, что стихи Пушкина классическимъ колпакамъ казались вычурными, бессмысленными, искажающими русскій языкъ, нарушающими завѣтные правила грамматики; а это было дѣйствительно такъ, и между тѣмъ колпакамъ вѣрили многіе; но когда расходились на просторѣ «романтики», то всѣ догадались, что стихъ Пушкина благороденъ, изящно-просто, національно-вѣренъ духу языка. Очевидно, что въ этомъ случаѣ романтики играли роль шакаловъ, наводящихъ льва на его добычу. Равнымъ образомъ, теперь едва ли повѣрятъ, если мы скажемъ, что созданія Пушкина считались нѣкогда дикими, уродливыми, безвкусными, неистовыми; но произведенія романтиковъ скоро показали всѣмъ, какъ созданія Пуш-

кина чужды всего дикаго, неистоваго, какимъ глубокимъ и тонкимъ эстетическимъ вкусомъ запечатлѣны они. Очевидно, что въ этомъ случаѣ самое злоупотребленіе романтической свободы послужило къ утверженію истинной свободы творчества. Кто воспитанъ на Корнель и Расинъ, тому помѣшаетъ понять Шекспира одна уже новостъ формы его драмъ; кто привыкъ къ формамъ, нерѣдко дикимъ, чудовищнымъ и нелѣпымъ «романтиковъ», кто восхищался съ молодю драмами Гюго, Дюма, Вернера, Грильпапера и т. п.,—тому легко будетъ понять потомъ Шекспира; ибо того уже никакая форма не поразитъ изумленіемъ, отрицающимъ способность вникнуть въ сущность поэтического созданія.

И что бы, вы думали, убило нашъ добрый и невинный романтизмъ, что заставило этого юношу скоропостижно скончаться во цвѣтъ лѣтъ? — Проза! Да, проза, проза и проза. Общество, которое только и читаетъ, что стихи, для котораго каждое стихотвореніе есть важный фактъ, великое событіе, — такое общество еще молодо до ребячества; оно еще только забавляется, а не мыслитъ. Переходъ къ прозѣ для него—большой шагъ впередъ. Мы подъ «стихами» разумѣемъ здѣсь не однѣ размѣренныя, заостренныя рифмою строчки: стихи бываютъ и въ прозѣ, такъ же, какъ и проза бываетъ въ стихахъ. Такъ, напр., «Русланъ и Людмила», «Кавказскій Плъникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ» Пушкина—настоящіе стихи; «Онѣггнъ», «Цыганы», «Полтава», «Борисъ Годуновъ» — уже переходъ къ прозѣ, а такія поэмы, какъ «Сальери и Моцартъ», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Галубъ», «Каменный Гость» — уже чистая, безпримѣсная проза, гдѣ уже совсѣмъ нѣтъ стиховъ, хоть эти поэмы писаны и стихами. Напротивъ, новѣсти и романы г. Полеваго: «Симеонъ Кирдяпа», «Живописецъ», «Блаженство Безумія», «Эмма», «Дурочка», «Аббадонна», и пр., чистѣйшіе стихи, безъ всякой примѣси прозы, хоть

писаны и прозою, и хотя въ нихъ нѣтъ ни одного стиха, развѣ только въ эпитафияхъ... Мы, право, не шутимъ, и вы сами согласитесь, если не захотите прозу принимать какъ что-то противоположное стихамъ, а стихи—какъ что-то противоположное прозѣ. Стихи и проза — тутъ вся разница только въ формѣ, а не въ сущности, которую составляютъ не стихи и не проза, а поэзія. Вотъ другое дѣло, если прозу противопоставить поэзіи, а поэзію—прозѣ; но мы здѣсь имѣемъ въ виду и не эту противоположность: мы подъ «прозою» разумѣемъ богатство внутреннего поэтического содержанія, мужественную зрѣлость и крѣпость мысли, сосредоточенную въ самой себѣ силу чувства, вѣрный тактъ дѣйствительности; а подъ «стихами» разумѣемъ неземную дѣву, идеальную любовь, дѣтское порываніе къ высокому и прекрасному, въ которыхъ нѣтъ никакого содержанія, прекрасныя, но чуждыя мысли чувства, глубокія, но лишенные чувства и богатые словами мысли, и т. п. Но какъ же, въ такомъ случаѣ, первыя поэмы Пушкина попали въ одну категорію съ повѣстями и романами г-на Полеваго? О, сохрани Богъ! Стихи въ стихахъ могутъ имѣть свои достоинства, какъ-то: богатство фантазій, жаръ чувства, художественность формы, и т. п., но стихи въ прозѣ, по крайней мѣрѣ теперь, рѣшительно никуда не годятся: они походятъ то на младенца въ англійской болѣзни, то на старца съ нарумяненными щеками, то на юношу добраго, чувствительнаго, живаго, пламеннаго, мечтательнаго, но тѣмъ не менѣе пустаго, — нѣчто въ родѣ того, что называется «ни рыба, ни мясо»...

Но наша мысль можетъ показаться многимъ не совѣсмъ ясною, и потому прибавимъ еще нѣсколько словъ. Всякая идея проявляется въ двухъ крайностяхъ и серединѣ. Поэтому, есть люди, которые какъ будто совершенно лишены души и сердца, въ которыхъ нѣтъ никакого порыва къ міру идеальному — это крайность; другіе, напротивъ, какъ-будто

состоять только изъ души и сердца и какъ-будто родятся гражданами идеальнаго міра—это другая крайность; между ими занимають мѣсто люди ни то, ни сѣ, люди недоноски, люди, которые по-немножку понимаютъ все истинное, никогда не проникая въ глубь его, люди, у которыхъ есть чувство, но похожее на нервическую раздражительность. есть умъ, но похожій на мечтательность, есть порывы къ вышему міру, но у которыхъ этотъ «высшій міръ» внѣ дѣйствительности, что-то въ родѣ мечты, выражаемой словами: «куда-то, гдѣ-то, тамъ» и т. п.—это середина. Несносны люди перваго разряда; эти послѣдніе еще несноснѣе. У нихъ все слова, столько же громкія и отборныя, сколько и неопредѣленныя, но дѣла никогда не бываетъ; они исключительно преданы чувству, отъ ума ихъ вѣтъ холодомъ, отъ дѣйствительности—разочарованіемъ; мечта составляетъ блаженство ихъ жизни; мысли они не любятъ и не понимаютъ. Подобные люди бываютъ такими или по натурѣ (и это самыя несносныя существа въ мірѣ), или вслѣдствіе неразвитости, ложнаго развитія и т. п. Тѣ и другіе вѣчно исполнены глубокихъ чувствъ и мыслей, для выраженія которыхъ, по ихъ словамъ, бѣденъ языкъ человѣческій. Но это клевета на языкъ человѣческій: что прочувствуетъ и пойметъ человѣкъ, то онъ выразитъ; словъ недостаетъ у людей только тогда, когда они выражаютъ то, чего сами не понимаютъ хорошенько. Человѣкъ ясно выражается, когда имъ владѣетъ мысль, но еще яснѣе, когда онъ владѣетъ мыслию. Если, напр., какой-нибудь критикъ, длинно и широко разглагольствуя о Державинѣ, наполнить свою статью одними возгласами о величіи этого поэта, не опредѣливъ ни содержания, ни характера его поэзіи, а произведенія его будетъ уподоблять алмазамъ, рубинамъ, сапфирамъ, изумрудамъ и другимъ предметамъ ископаемаго царства (вмѣсто того, чтобъ раскрыть содержаніе этихъ произведеній и показать отношеніе содержанія къ формѣ), и потомъ все это слобрить фра-

зами: «сѣверный бардъ, потомокъ Багрима» и т. п., такъ что читатель, прочтя длинную критику, не въ состояніи будетъ передать изъ нея другому ни одной мысли,—это значитъ, что нашъ критикъ ровно ничего не понялъ въ Державинѣ, или свои ощущенія, возбужденныя въ немъ поэзіею Державина, принялъ за мысли, да и давай жаловаться на бѣдность языка человѣческаго... Есть и поэты, похожіе на такихъ критиковъ: вотъ у нихъ-то и въ прозѣ выходятъ все стихи, хотя безъ мѣры и безъ рифмъ... Говорятъ они—любо слушать; замолчать—никакъ не сообразишь, что они хотѣли сказать, и поневолѣ принимаешь ихъ прозу за стихи... Теперь самое неблагоприятное время для такихъ поэтовъ, ибо теперь никто не признаетъ великимъ полководцемъ того, кто не одержалъ ни одной побѣды, ни великимъ писателемъ — того, кто, за бѣдностію человѣческаго языка, не сказалъ того, что силится сказать. Такіе люди теперь напоминаютъ собою знаменитаго Ивана Александровича Хлестакова, который сказалъ о себѣ, въ письмѣ къ другу своему Трипичкину, что онъ «хотѣлъ бы заняться чѣмъ-нибудь высокимъ, но свѣтская чернь не понимаетъ его». Другими словами, такіе люди—настоящіе «романтики», хотя бы они и выдавали себя за людей съ высшими взглядами...

И такъ, романтизмъ нашъ убитъ прозою. Съ 1829 года, всѣ писатели наши бросились въ прозу. Самъ Пушкинъ обратился къ ней, Альманахи, какъ игрушки, всѣмъ надоели и вышли изъ моды. Цѣна на стихи вдругъ упала. Вскорѣ явился новый поэтъ, сильное вліяніе котораго на литературу не замедлило обнаружиться. Вслѣдствіе этого вліянія, ужасно понизилась цѣна на русскіе историческіе и особенно нравственно-сатирическіе романы; прежнія повѣсти, особенно идеальныя — тѣ, которыхъ проза такъ похожа на стихи, совсѣмъ вышли изъ моды; противъ Марлинскаго началась сильная оппозиція; всѣ романисты и нувеллисты пустились въ юморъ, начали брать содержаніе для своихъ повѣстей

изъ дѣйствительной жизни, рисовать чудаконъ и оригиналовъ; герои добродѣтели были отпущены на отдыхъ. 1835 и 1836 года были эпохою для русской литературы: въ первомъ вышли въ свѣтъ «Миргородъ» и «Арабески», во второмъ появился и въ печати и на сценѣ «Ревизоръ»... Въ то же время напечатались стихотворенія г. Бенедиктова, надѣлавшія столько шуму въ Петербургѣ и возбудившія такой восторгъ въ одномъ московскомъ критикѣ, что онъ поставилъ г. Бенедиктова выше Жуковскаго и Пушкина... Стихотворенія г. Бенедиктова были важнымъ фактомъ въ исторіи русской литературы: они повершили вопросъ о стихахъ, и съ того времени стихи (въ томъ смыслѣ, въ какомъ мы принимаемъ это слово) совершенно окончили на Руси свое земное поприще... Являлись и другіе, находили себѣ даже поклонниковъ, но на минуту — отъ нихъ скоро отступали самые друзья ихъ: то были послѣднія вспышки угасающей лампы... По смерти Пушкина, начали печататься въ «Современникѣ» оставшіяся послѣ него въ рукописи послѣднія произведенія его; но то была уже чистая проза въ стихахъ и ужасный ударъ стихамъ. Явился Лермонтовъ, съ стихами и съ прозою, — и въ его стихахъ и прозѣ была — чистая проза! Прощайте, стихи! Будеть ребячиться нашей литературѣ, довольно пошамала — пора и дѣломъ заняться...

И дѣйствительно, послѣдній періодъ русской литературы, періодъ прозаическій, рѣзко отличается отъ романтическаго какою-то мужественною зрѣлостію. Если хотите, онъ не богатъ числомъ произведеній, но за то, все, что явилось въ немъ посредственнаго и обыкновеннаго, все это или не пользовалось никакимъ успѣхомъ, или имѣло только успѣхъ мгновенный; а все то немногое, что выходило изъ ряда обыкновеннаго, ознаменовано печатью зрѣлой и мужественной силы, — осталось навсегда, и въ своемъ торжественномъ, побѣдоносномъ ходѣ, постепенно приобретающаго вліяніе, про-

рѣзывало на почвѣ литературы и общества глубокіе слѣды. Сближеніе съ жизнію, съ дѣйствительностію, есть прямая причина мужественной зрѣлости послѣдняго періода нашей литературы. Слово «идеаль» только теперь получило свое истинное значеніе. Прежде, подъ этимъ словомъ разумѣли что-то въ родѣ не любо не слушай, лгать не мѣшай — какое-то соединеніе въ одномъ предметѣ всевозможныхъ добродѣтелей или всевозможныхъ пороковъ. Если герой романа, такъ ужь и собой-то красавецъ, и на гитарѣ играетъ чудесно, и поетъ отлично, и стихи сочиняетъ, и дерется на всякомъ оружіи, и силу имѣетъ необыкновенную:

Когда жь о честности высокой говорить,
Какимъ-то демономъ внушаемъ —
Глаза въ крови, лицо горить,
Самъ плачетъ, а мы всѣ рыдаемъ!

Если же злодѣй, то и не подходите близко: съѣсть, непременно съѣсть вась живаго, извергъ такой, какого не увидишь и на сценѣ Александринскаго театра, въ драмахъ нашихъ доморощенныхъ трагиковъ. Теперь подъ «идеаломъ» разумѣютъ не преувеличеніе, не ложь, не ребяческую фантазію, а фактъ дѣйствительности, такой, какъ она есть; но фактъ, не списанный съ дѣйствительности, а проведенный черезъ фантазію поэта, озаренный свѣтомъ общаго (а не исключительнаго, частнаго и случайнаго) значенія, «возведенный въ перлъ созданія», и потому болѣе похожій на самого себя, болѣе вѣрный самому себѣ, нежели самая рабская копія съ дѣйствительности вѣрна своему оригиналу. Такъ на портретѣ, сдѣланномъ великимъ живописцемъ, человѣкъ болѣе похожъ на самого себя, чѣмъ даже на свое отраженіе въ дагерротипѣ, ибо великій живописецъ рѣзкими чертами вывелъ наружу все, что таится внутри того человѣка и что, можетъ-быть, составляетъ тайну для самого этого человѣка. Теперь дѣйствительность относится къ искусству и литера-

турѣ, какъ почва къ растеніямъ, которыя она возвращаетъ на своемъ лонѣ.

Все сказанное нами, для людей мыслящихъ не можетъ показаться отступленіемъ отъ предмета статьи, потому что все это не отступленіе, а характеристика и исторія послѣдняго періода русской литературы, въ отношеніи къ которому 1842 годъ былъ блистательнѣйшимъ пополненіемъ. Мы уже выше сказали, что обозрѣвать не значитъ пересчитывать по пальцамъ все, что вышло въ продолженіе извѣстнаго времени, но указать на замѣчательныя произведенія и опредѣлить ихъ значеніе и цѣну, — а этого мы не могли сдѣлать, не опредѣливъ предварительно характера и значенія всей литературы послѣдняго времени. При обзорѣннн поименномъ, не на многое придется намъ указывать и не о многомъ говорить. Причина этого — немногочисленность замѣчательныхъ явленій въ литературѣ прошлаго года, также принадлежащая къ особымъ чертамъ всей русской литературы послѣдняго ея періода. Но эта бѣдность не должна насъ печаливать: это благородная бѣдность, которая лучше мнимаго богатства прежняго времени. Появленіе въ одномъ году «Миргорода» и «Арабесокъ», въ другомъ «Ревизора» стодитъ огромнаго количества даже хорошихъ, но обыкновенныхъ произведеній за многіе годы. Такимъ образомъ 1840 годъ былъ ознаменованъ выходомъ «Героя Нашего Времени» и перваго собранія стихотвореній Лермонтова; 1841 — изданіемъ трехъ томовъ посмертныхъ сочиненій Пушкина; 1842 — выходомъ «Мертвыхъ Душъ», одного изъ тѣхъ капитальныхъ произведеній, которыя составляютъ эпохи въ литературахъ.

Много было писано во всѣхъ журналахъ о «Мертвыхъ Душахъ»; много говорили и мы о нихъ. Повторять сказанное, и нами и другими, нѣтъ никакой надобности. Впрочемъ, изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, чтобъ о «Мертвыхъ Душахъ» было сказано все, какъ нами, такъ и другими:

мы собственно и не говорили еще о нихъ, а только спорили съ другими по поводу ихъ, и намъ еще предстоитъ впереди изложеніе окончательнаго, критически высказаннаго мнѣнія объ этомъ произведеніи; что касается до другихъ, они не перестали и долго еще не перестанутъ говорить о «Мертвыхъ Душахъ», всѣми силами стараясь увѣрить себя, что имъ нечего бояться этого произведенія... И такъ, скажемъ здѣсь лишь нѣсколько словъ для уясненія—не произведенія Гоголя, а вопроса, возникшаго о немъ и въ публикѣ и въ литературѣ.

Какъ мнѣніе публики, такъ и мнѣніе журналовъ о «Мертвыхъ Душахъ» раздѣлялись на три стороны: одни видятъ въ этомъ твореніи произведеніе, котораго хуже еще не писывалось ни на одномъ языкѣ человѣческомъ? другіе, наоборотъ, думаютъ, что только Гомеръ да Шекспиръ являются, въ своихъ произведеніяхъ, столь великими, какимъ явился Гоголь въ «Мертвыхъ Душахъ»; третьи думаютъ, что это произведеніе дѣйствительно великое явленіе въ русской литературѣ, хотя и не идущее, по своему содержанию, ни въ какое сравненіе съ вѣковыми всемірно-историческими твореніями древнихъ и новыхъ литературъ западной Европы. Кто эти,—одни, другіе и третьи, публика знаетъ, и потому мы не имѣемъ нужды никого называть по имени. Всѣ три мнѣнія равно заслуживаютъ большаго вниманія и равно должны подвергаться разсмотрѣнію, ибо каждое изъ нихъ явилось не случайно, а по необходимымъ причинамъ. Какъ въ числѣ изступленныхъ хвалителей «Мертвыхъ Душъ» есть люди, и не подозревающие въ простотѣ своего дѣтскаго энтузіазма истиннаго значенія, слѣдовательно, и истиннаго величія этого произведенія, такъ и въ числѣ ожесточенныхъ хулителей «Мертвыхъ душъ» есть люди, которые очень и очень хорошо смекаютъ всю огромность поэтическаго достоинства этого творенія. Но отсюда-то и выходитъ ихъ ожесточеніе. Нѣкоторые сами когда-то тянулись въ храмъ поэтиче-

скаго безсмертія; за новостію и дѣтствомъ нашей литературы, они имѣли свою долю успѣха, даже могли радоваться и хвалиться, что имѣютъ поклонниковъ,—и вдругъ является, неожиданно, непредвидѣнно, совершенно новая сфера творчества, особенный характеръ искусства, вслѣдствіе чего идеальныя и чувствительныя произведенія нашихъ поэтовъ вдругъ оказываются ребяческою болтовнею, дѣтскими невинными фантазіями... Согласитесь, что такое паденіе, безъ натиска критики, безъ недоброжелательства журналовъ, очень и очень горько?... Другіе подвизались на сатирическомъ поприщѣ, если не съ славою, то не безъ выгодъ инаго рода; сатиру они считали своей монополіей, смѣхъ — исключительно иужь принадлежащимъ орудіемъ,—и вдругъ остроты ихъ не смѣшны, картины ни на что не похожи, у ихъ сатиры какъ будто выпадали зубы, охрипъ голосъ, ихъ уже не читаютъ, на нихъ не сердятся, они уже стали употребляться вмѣсто какого-то аршина для измѣренія бездарности... Что тутъ дѣлать? перечинить перья, начать писать на новый ладъ? — но вѣдь для этого нуженъ талантъ, а его не купишь, какъ пучокъ перьевъ... Какъ хотите, а осталось одно: не признавать талантомъ виновника этого крутаго поворота въ ходѣ литературы и во вкусѣ публики, увѣрять публику, что все написанное имъ — вздоръ, нелѣпость, пошлость... Но это не помогаетъ: время уже рѣшило страшный вопросъ — новый талантъ торжествуетъ, молча, не отвѣчая на брани, не благодаря за хвалы, даже какъ будто вовсе отстраняясь отъ литературной сферы; надо перемѣнить тактику: является новое твореніе таланта, далеко оставившее за собою всѣ прежнія его произведенія — давай жалѣть о погибшемъ талантѣ, который такъ много обѣщалъ, такъ хорошо писалъ нѣкогда (именно тогда, когда эти господа утверждали, что онъ писалъ все вздоры и нелѣпости); его, видите, захвалили пріятели, а ихъ у него такъ много, что иныхъ онъ и въ лицо не знаетъ, съ иными же едва знакомъ... На что бы такое напасть въ новомъ твореніи та-

ланта?—на сальности, на дурной тонъ; это понравится тѣмъ людямъ, которые никогда и во снѣ не видавъ большаго свѣта, только о немъ и хлопочуть, какъ-будто бы считая себя принадлежащими къ нему... Не иѣшаетъ замѣтить, что эти вѣтязи большаго свѣта чрезвычайно довольны были тономъ и остротами враговъ новаго таланта: живя въ неизмѣримой дали отъ большаго свѣта, они считали этихъ сатирическихъ сочинителей людьми большаго свѣта... Второй пунктъ—грамматика: къ ней прибѣгли, при этомъ важномъ случаѣ, даже тѣ, которые отвергали ея существованіе... Третій пунктъ:—незнаніе русскаго языка; за этотъ аргументъ ухватились даже тѣ, которые пишутъ: «морь (вм. морей), мозговъ человѣческихъ, мечть» и т. п. Нападки на незнаніе грамматики и искаженіе языка—характеристическая черта исторіи русской литературы: славянофилы утверждали, что Карамзинъ не зналъ духа и правилъ русскаго языка и ужасно искажалъ его въ своихъ сочиненіяхъ; классики въ томъ же самомъ обвиняли Пушкина; теперь очередь за Гоголемъ... Вспомнили мы еще довольно забавную черту въ этомъ родѣ: гг. Гречъ и Булгаринъ доказывали нѣкогда печатно, что г. Полевой не знаетъ грамматики, а г. Калайдовичъ напечаталъ въ «Московскомъ Вѣстникѣ» статью объ «Исторіи Русскаго Народа» въ отношеніи къ грамматикѣ и языку, и на каждой страницѣ этого превосходнаго, но, къ сожалѣнію, по-сю пору неконченнаго творенія, нашелъ, по крайней мѣрѣ, по десяти грубыхъ ошибокъ противъ грамматики и языка... Господа! не пора-ли бросить эту старую замашку? У какого писателя нѣтъ ошибокъ противъ грамматики, да только чьей?—вотъ вопросъ! Карамзинъ самъ былъ грамматикъ, передъ которой всѣ ваши грамматики ничего не значать; Пушкинъ тоже стоить любой изъ вашихъ грамматикъ...

Твореніе, которое возбудило столько толковъ и споровъ, раздѣлило на котеріи и литераторовъ, и публику, приобрѣло себѣ и жаркихъ поклонниковъ, и ожесточенныхъ враговъ,

на долгое время сдѣлалось предметомъ сужденій и споровъ общества; твореніе, которое прочтено и перечтено не только тѣми людьми, которые читають всякую новую книгу, или всякое новое произведеніе, сколько-нибудь возбудившее общее вниманіе, но и такими лицами, у которыхъ нѣтъ ни времени, ни охоты читать стихи и сказочки, гдѣ несчастные любовники соединяются законными узами брака, по претерпѣніи разныхъ бѣдствій, и въ довольствѣ, почетѣ и счастіи проводятъ остальное время жизни;—твореніе, которое, въ числѣ почти 3,000 экземпляровъ, все разошлось въ какіе-нибудь полгода:—такое твореніе не можетъ не быть неизмѣримо выше всего, что въ состояніи представить современная литература, не можетъ не произвести важнаго вліянія на литературу.

Полное собраніе стихотвореній покойнаго Лермонтова вышло въ послѣдней половинѣ декабря прошлаго года, и должно быть причислено къ литературнымъ явленіямъ новаго года.

Сборниками стихотвореній прошлый годъ очень небогаты. Самымъ лучшимъ и пріятнѣйшимъ явленіемъ въ этомъ родѣ, безъ всякаго сомнѣнія, была книжка «Стихотвореній Аполлона Майкова». Этотъ молодой поэтъ одаренъ отъ природы живымъ сочувствіемъ къ эллинской музѣ; онъ овладѣлъ всею полнотою, всею свѣжестью и роскошью антологическаго стиха,—такъ что антологическія стихотворенія г. Майкова не только не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, но еще едва ли и не превосходятъ ихъ. Это большое пріобрѣтеніе для русской поэзіи, важный фактъ въ исторіи ея развитія. Но жаль было бы, еслибы только на этомъ остановился г. Майковъ. Антологическія стихотворенія, какъ бы ни были хороши,—не боже, какъ пробный камень артистическаго элемента въ поэтѣ. Ихъ можно сравнить съ ножкою Психеи, рукою Венеры, головою Фавна, превосходно высѣченными изъ мрамора. Конечно, превосходно сдѣланная ножка, ручка, грудь, или головка, каждая изъ этихъ деталей можетъ служить доказательствомъ необычно-

венныхъ скульптурныхъ дарованій, чувства пластики, изученія древняго искусства; но еще не составляетъ скульптуры, какъ искусства, и превосходно сдѣлать ножку, ручку, грудь, или головку далеко не то, что создать цѣлую статую. Сверхъ того, исключительная преданность древнему міру (и притомъ далеко неполнѣ понятую), безъ всякаго живаго, кровнаго сочувствія къ современному міру, не можетъ сдѣлать великимъ, или особенно замѣчательнымъ поэта нашего времени. Къ этому еще должно присовокупить, что одно да одно, теряя прелесть новости, теряетъ и свою цѣну. И такъ, мы желали бы, чтобъ г. Майковъ или предался основательному и обширному изученію древности и передавалъ на русскій языкъ своимъ дивнымъ стихомъ вѣчныя, неумирающія созданія эллинскаго искусства, или обрѣлъ въ тайникѣ духа своего тѣ сердечныя, задушевныя вдохновенія, на которыя радостно и привѣтливо отзывается поэту современность. Покоряясь требованіямъ справедливости, мы не можемъ не повторять здѣсь уже сказаннаго нами въ статьѣ о стихотвореніяхъ г. Майкова, что почти всѣ его не антологическія стихотворенія пока не обѣщаютъ въ будущемъ ничего особеннаго. Намъ было бы очень пріятно ошибиться въ этомъ приговорѣ, — и мы первые вспомнили бы съ радостію о своей ошибкѣ, еслибъ г. Майковъ подарилъ русскую публику такими стихотвореніями, которыя обнаружили бы въ немъ столь же примѣчательнаго и столь же много обѣщающаго въ будущемъ современнаго поэта, сколько и антологическаго. Антологическая муза г. Майкова не ослабѣла ни въ силѣ, ни въ дѣятельности, и, послѣ выхода книжки его стихотвореній, публика прочла въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Библіотекѣ для Чтенія» нѣсколько прелестнѣйшихъ его стихотвореній въ любимомъ его антологическомъ родѣ, но они уже не возбудили въ ней прежняго восторга. А между тѣмъ — повторяемъ — они также прекрасны, какъ и прежнія, въ доказательство чего достаточно привести изъ нихъ слѣдующее — «Барельефъ»:

Вотъ безжизненный отрубокъ
Серебра: стопи его
И вѣстительный мнѣ кубокъ
Слей искусно изъ него.
Ни Кипридиныхъ голубокъ,
Не медвѣдицъ, ни плеядъ,
Ни льви по стѣнкамъ длиннымъ
Нарисуй въ саду пустынномъ,
Между розъ, толпы менадъ,
Выжимающихъ соарвльи,
Налитой и пожелтвльи
Съ пышной вѣтки виноградъ;
Вкругъ сидять, умно и чинно.
Дѣти передъ бочкой винной,
Фавны съ хмѣлемъ на челѣ,
Вахъ подъ тигровою кожей,
И Силенъ румянорожій
На споткнувшемся ослѣ.

За то, вотъ еще одно изъ послѣднихъ стихотвореній г. Майкова, доказывающихъ, что чуть только выйдетъ онъ изъ сферы антологическаго созерцанія, какъ изъ его стихотворенія тотчасъ же ничего не выйдетъ:

Море бурно, небо въ тучахъ.
Онъ примчался на конѣ
Прямо къ брыгамамъ водъ кипучихъ.
«Старый! чолнъ скорве мнѣ!»
И старикъ *затылокъ чешетъ*....
— «Полно, будетъ, господинъ!
Полно, *барикъ* (?!), *бьса тьшитъ* (?),
Нашихъ въ моръ не одинъ (?)—
«Пусть ихъ гибнуть! Подъ водою
Рыбъ рыба и гроба!
Знай, я Цезарь: а со мною,
Мнѣ послушна и судьба!»

Странная фантазія—свести Цезаря съ русскимъ мужикомъ и заставить его объясняться до такой степени посредственными стихами...

«Сумерки», маленькая книжка г. Баратынского, заключающая въ себѣ едва ли не послѣднія стихотворенія этого поэта, тоже принадлежитъ къ немногимъ примѣчательнѣйшимъ явленіямъ по части поэзіи въ прошломъ году. По поводу ея, мы обозрѣли всю поэтическую дѣятельность г. Баратынского (ч. VI, стр. 280). Теперь же, прибавимъ только, что едва ли это и дѣйствительно не послѣднія стихотворенія знаменитаго поэта; вотъ піеса изъ «Сумерокъ», доказывающая это:

На что вы, дни? юдовый міръ явленья
Свои не измѣнить!
Всѣ вѣдомы и только повторенья
Грядущее сулить.
Не даромъ ты металась и кипѣла,
Развитіемъ спѣша,
Свой подвигъ ты свершила прежде тѣла,
Безсмертная душа!
И тѣсный кругъ подлунныхъ впечатлѣній
Сомкнувшая давно,
Подъ вѣяньемъ возвратныхъ сновидѣній
Ты времешь; а оно
Безмысленно глядитъ, какъ утро встанеть,
Безъ нужды ночь смѣня;
Какъ въ мракъ холодный вечеръ канеть,
Вънецъ пустаго дня!

Страшно чувство, которымъ внушено это выстраданное стихотвореніе! не обѣщаетъ оно новыхъ и живыхъ вдохновеній, и лучше совсѣмъ не писать поэту, чѣмъ писать такія, на примѣръ, стихотворенія:

Сначала мысль воплощена
Въ поэмѣ святаго поэта,
Какъ дѣва юная *темна*
Для невнимательнаго свѣта;
Потомъ, осмѣлившись, она
Уже увертлива рвчиета,
Со всѣхъ сторонъ своихъ видна,
Какъ искушенная жена,

Въ свободной прозѣ романиста;
Болтуня старая, за тѣмъ
Она, подымая крикъ нахальный,
Плодить въ полемикѣ журнальной
Давно ужъ вѣдомое всѣмъ.

Что это такое? неужели стихи, поэзія, мысль?...

Вышедшая въ прошломъ же году маленькая книжечка стихотвореній Полежаева, подъ названіемъ «Часы Выздоровленія», подала намъ поводъ, въ отдѣльной критической статьѣ, обозрѣть всю поэтическую дѣятельность этого замѣчательнаго поэта (ч. VI, стр. 167).—Первая часть стихотвореній г. Бенедиктова, изданная въ 1835 году, достигла втораго изданія въ прошломъ 1842 году. Наше мнѣніе объ этомъ поэтѣ извѣстно публикѣ.

Вообще, прошлый годъ былъ не богатъ стихами, а будущій—это можно сказать смѣло—будетъ еще бѣднѣе... Лермонтова уже нѣтъ, а другаго Лермонтова не предвидится... хоть совсѣмъ не пиши стиховъ... И ихъ, въ самомъ дѣлѣ, пишутъ, или по крайней мѣрѣ, печатаютъ теперь меньше. Столичные поэты сдѣлались какъ-то умѣреннѣе—оттого ли, что одни уже повыписались, а другіе догадались, что стихи должны быть слишкомъ и слишкомъ хороши, чтобъ ихъ стали теперь читать, не только хвалить... За то, господа провинціальныя поэты годъ отъ году становятся неутомимѣе. Публика ничего не знаетъ о ихъ пламенномъ усердіи къ дѣлу истребленія писчей бумаги; но журналисты—увы!—слишкомъ знаютъ это и дорого платятъ за это знаніе—платятъ деньгами за доставленіе къ нимъ на домъ этихъ страшныхъ пакетовъ, платятъ временемъ, скукою и досадою, прочитывая эти груды рифмованнаго вздору...

Теперь обратимся къ прозѣ по части изящной словесности. Г. Загоскинъ каждый годъ даритъ публику новымъ романомъ; не знаешь, какимъ новымъ романомъ обрадуетъ онъ ее въ 1843 году, а въ 1842 году онъ утѣшилъ ее «Кузь-

мою Петровичемъ Мирошевымъ». Собственно, это не романъ, а повѣсть, до того мѣстами растянутая, что изъ нея вытянулся романъ въ четырехъ частяхъ, т. е. въ четырехъ маленькихъ книжкахъ, красиво и разгонисто напечатанныхъ. Въ «Мирошевѣ» тѣ же достоинства и тѣ же недостатки, какими отличались всѣ прежніе романы г. Загоскина: т. е. съ одной стороны, истинно русское радушіе и хлѣбосолюство, съ какимъ почтенный авторъ угощаетъ читателя издѣліями своей фантазіи, добродушное восхищеніе созданными имъ характерами слугъ, дядекъ и мамокъ, добродушная умѣренность, что добродѣтельные люди въ его романѣ — точно добродѣтельны, а злодѣи — не шутя злодѣи; мѣстами веселенькія сцены въ забавномъ родѣ, вездѣ искреннее увлеченіе въ пользу старины и ея немножко дикихъ для нынѣшняго времени понятій, гладкій, пловучій слогъ; съ другой стороны — бѣдность содержанія, отсутствіе идеи, повтореніе того, что читатель знаетъ уже по прежнимъ романамъ автора. — «Альфъ и Альдона» г. Кукольника обнаружили было большія претензіи на титуло историческо-поэтическаго романа, но историческая часть въ этомъ романѣ похожа на сказочную, а поэтическая — на самую скучную и вилую прозу. Одна изъ четырехъ частей «Альфы и Альдоны» больше всѣхъ четырехъ частей «Мирошева»; но «Мирошевъ» былъ прочитанъ до конца всѣми, кто только рѣшался его читать, а «Альфъ и Альдона» испугалъ читателей на половинѣ же первой части, и остался недочитаннымъ. Но неутомимый г. Кукольникъ этимъ не удовольствовался и тиснулъ въ «Библіотекѣ для Читенія» новый романъ свой «Дурочка Луиза». Этотъ романъ — близнецъ съ «Эвелиною де Вальероль»: тамъ пружиною всѣхъ дѣйствій служить цыганъ Гойко, здѣсь жидъ Бенке, тамъ множество лицъ, такъ похожихъ одно на другое, что и отличить нельзя — и здѣсь тоже! разница въ томъ, что тамъ скучно, а здѣсь скучнѣе, тамъ еще на что-нибудь похоже, а здѣсь ни на что не похоже. Героиня романа, дурочка Луиза, еще довольно

похожа на дурочку — умною ее, дѣйствительно, никто не назоветъ, но курфирстъ Фридрихъ-Вильгельмъ изображенъ какимъ-то сантиментальнымъ повѣреннымъ въ любовныхъ тайнахъ своихъ приближенныхъ, всеобщимъ сватомъ и отцомъ-пасаженнымъ, и только мимоходомъ силится авторъ выказать его героемъ и великимъ государемъ. Вообще, сантиментальность, приторная, сладенькая, составляетъ главный характеръ этой безсвязной, пустой по содержанию, натянутой въ изображеніи характеровъ сказки. Теперь того только и ждемъ, что «Дурочка Луиза» появится отдѣльною книжкою въ двухъ частяхъ; но мы рады, что заблаговременно отдѣлались отъ нея. — Какими романами еще ознаменовался 1842 годъ? — «Два Призрака», «Сердце Женщины», «Человѣкъ съ высшимъ взглядомъ», «Любовь музыканта»; вновь изданные романы г. Калашникова: «Дочь Купца Жолобова» и «Камчадалка», «Московская Сказка о Чудѣ Поганомъ», «Козель Бунтовщикъ», «Грошевый Мертвецъ», «Гуакъ, рыцарская повѣсть», и пр. и пр. Все это едва ли принадлежитъ къ какой-нибудь литературѣ, и еще менѣе къ той, которой характеръ опредѣляли мы въ началѣ статьи... Что дѣлать? У каждаго дома бываетъ два двора — передній и задній; у каждой литературы двѣ стороны — лицевая и изнанка...

На повѣсти 1842 годъ былъ счастливѣе, чѣмъ на романы. Въ «Москвитянинѣ» было напечатано начало новой повѣсти Гоголя «Римъ», равно изумляющее и своими достоинствами, и своими недостатками. Въ «Современникѣ» была помѣщена уже извѣстная, но передѣланная вновь повѣсть Гоголя «Портретъ», отличающаяся нѣкоторыми превосходно концепированными и отдѣланными подробностями, и неудачная въ цѣломъ. — Графъ Соллогубъ напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Медвѣдъ», которая заставляетъ искренно сожалѣть, что ея даровитый авторъ такъ мало пишетъ. «Медвѣдъ» не есть что-нибудь необыкновенное и, можетъ-быть, далеко уступить въ достоинствѣ «Аптекарьшѣ», повѣсти того же автора;

но въ «Медвѣдѣ» образованное и умное эстетическое чувство не можетъ не признать тѣхъ характеристическихъ чертъ, которыми мы, въ началѣ этой статьи, опредѣлили послѣдній періодъ русской литературы. Отличительный характеръ повѣстей графа Соллогуба состоитъ въ чувствѣ достовѣрности, которое охватываетъ всего читателя, къ какому бы кругу общества ни принадлежалъ онъ, если только у него есть хоть немного ума и эстетическаго чувства: читая повѣсть графа Соллогуба, каждый глубоко чувствуетъ, что изображаемые въ ней характеры и событія возможны и дѣйствительны, что они — вѣрная картина дѣйствительности, какъ она есть, а не мечты о жизни, какъ она не бываетъ и быть не можетъ. Графъ Соллогубъ часто касается, въ своихъ повѣстяхъ, большаго свѣта, но хоть онъ и самъ принадлежитъ къ этому свѣту, однакожъ повѣсти его тѣмъ не менѣе — не хвалебные гимны, не апоѳеозы, а безпристрастно вѣрныя изображенія и картины большаго свѣта. Здѣсь кстати замѣтить, что страсть къ большому свѣту — что-то въ родѣ болѣзни въ русскомъ обществѣ: всѣ наши сочинители такъ и рвутся изображать въ своихъ романахъ и повѣстяхъ большой свѣтъ. И, надо сказать, ихъ усилія не остаются тщетными; въ повѣстяхъ графа Соллогуба только немногіе узнаютъ большой свѣтъ, а большая часть публики видитъ его въ романахъ и повѣстяхъ именно тѣхъ сочинителей, для которыхъ большой свѣтъ истинная terra incognita, истинная Атлантида до открытія Америки Коломбомъ, и которые рисуютъ большой свѣтъ по своему идеалу, добродушно вѣруя въ сходство аляповатаго списка съ невиданнымъ оригиналомъ. Такъ, недавно, въ одномъ журналѣ романъ «Два Призрака» торжественно объявленъ произведеніемъ челоуѣка, принадлежащаго къ большому свѣту и знающаго его. Всѣ толкуютъ о свѣтскости, — и пьеса Гоголя падаетъ на Александринскомъ театрѣ, а «Комедія о войнѣ Фодоси Сидоровны съ Китайцами» и «Русская Боярыня XVII столѣтія» возбуждаютъ фуроръ въ записныхъ посѣтителяхъ

того же театра,—и все по причинѣ «свѣтскости». А между тѣмъ, дѣло кажется такъ очевиднымъ: стоило бы только сравнить, напр., повѣсти графа Соллогуба съ романами и повѣстями нашихъ «свѣтскихъ» сочинителей, чтобъ окончательно рѣшить вопросъ о дѣлѣ, къ которому такъ многіе и такъ напрасно считаютъ себя прикосновенными.

Простота и вѣрное чувство дѣйствительности составляютъ неотъемлемую принадлежность повѣстей графа Соллогуба. Въ этомъ отношеніи, теперь, послѣ Гоголя, онъ первый писатель въ современной русской литературѣ. Слабая же стороны его произведеній заключается въ отсутствіи личнаго (извините—субъективнаго) элемента, который бы все проникалъ и отбѣнялъ собою, чтобъ вѣрныя изображенія дѣйствительности, кромѣ своей вѣрности, имѣли еще и достоинство идеальнаго содержанія. Графъ Соллогубъ, напротивъ, ограничивается одною вѣрностію дѣйствительности, оставаясь равнодушнымъ къ своимъ изображеніямъ, каковы бы они ни были, и какъ-будто находя, что такими они и должны быть. Это много вредитъ успѣху его произведеній, лишая ихъ сердечности и задумчивости, какъ признаковъ горячихъ убѣжденій, глубокихъ вѣрованій.

Болѣе субъективности, но менѣе такта дѣйствительности, менѣе зрѣлости и крѣпости таланта, чѣмъ въ повѣстяхъ графа Соллогуба, видно въ повѣстяхъ г. Панаева. Вообще, г. Панаевъ гораздо болѣе обѣщаетъ въ будущемъ, нежели сколько исполняетъ въ настоящемъ. Что-то нерѣшительное, колеблющееся и неустановившееся замѣтно и въ его созерцаніи, какъ идеальной сторонѣ его повѣстей, и въ ихъ практическомъ выполненіи; каждая новая повѣсть его далеко оставляетъ за собою всѣ прежнія: очевидное доказательство таланта замѣчательнаго, но еще не опредѣлившагося. Въ прошломъ году, онъ напечаталъ только одну повѣсть «Актеонъ» въ «Отечественныхъ Запискахъ», которая возбудила живѣйшее вниманіе и интересъ со стороны публики, и далеко оставила за

собою всё прежнія его повѣсти, такъ же, какъ и «Барыня», написанная имъ незадолго передъ «Актеономъ», далеко оставила за собою всё другія, прежде ея написанныя. Въроятно, чувство своей неопредѣленности препятствуетъ г. Панаеву писать столько, сколько отъ его таланта въ правѣ ожидать публика: въ такомъ случаѣ, самый недостатокъ въ дѣятельности заслуживаетъ уваженія, какъ залогъ будущей многоплодной дѣятельности.

Три новыя повѣсти напечатаны въ прошломъ году даровитою и безвременно угасшею г-жею Ганъ (Зенеидою Р-вою): «Напрасный Даръ» и «Любонька» въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Ложа въ Одесской Оперѣ»—въ «Дагеротипѣ». «Любонька» принята публикою съ восторгомъ, въ которомъ не должно мѣшать ей оставаться; «Напрасный Даръ», сверкающій искрами высокаго таланта, хотя и невыдержанный въ цѣломъ, восхитилъ только немногихъ: такова участь всѣхъ произведеній, въ которыхъ, при блескахъ яркаго вдохновенія, есть что-то недоговоренное, какъ бы неравное самому себѣ. Въ такомъ случаѣ, тѣмъ сильнѣе и выше взмахъ, тѣмъ недоступнѣе для всѣхъ и каждаго внутреннее значеніе произведенія: толпа видитъ одни виѣшніе недостатки... «Ложа въ Одесской Оперѣ» принадлежитъ къ самымъ слабымъ произведеніямъ г-жи Ганъ. Впрочемъ, по выходѣ полнаго собранія ея сочиненій, мы скоро будемъ имѣть случай подробно изложить наше мнѣніе объ этой необыкновенно даровитой писательницѣ.

Г. Кукольникъ напечаталъ въ прошломъ году нѣсколько повѣстей, изъ которыхъ двѣ заслуживаютъ почетнаго упоминенія: «Благодѣтельный Андроникъ, или романическіе характеры стараго времени» (въ «Библиотекѣ для Чтенія») и «Позументы» (во II томѣ «Сказки за Сказкою»). Содержаніе обѣихъ этихъ повѣстей взято талантливимъ авторомъ изъ эпохи Петра великаго. Мы уже не разъ имѣли случай говорить о неподражаемомъ мастерствѣ, съ какимъ г. Куколь-

никъ изображаетъ въ своихъ повѣстяхъ нравы этого интереснѣйшаго момента русской исторіи и, вѣрные нашему правилу—*suu sui que*, не разъ отдавали должную справедливость достоинству повѣстей г. Кукольника въ этомъ, посчастливившемся ему, родѣ. Еслибъ г. Кукольникъ издалъ отдѣльно эти повѣсти, разбѣянные въ журналахъ и альманахахъ, — они имѣли бы большой, и притомъ заслуженный успѣхъ въ публикѣ. Не понимаемъ, что за охота ему, вмѣсто того, что такъ сродно его таланту, тратить время и бумагу на романы и повѣсти, въ которыхъ онъ изображаетъ страны, имъ невиданныя, и эпохи, знаемыя имъ только по изученію и какому-то отвлеченному представленію?... — Ужь если писать романъ, не лучше ли писать его изъ времени столь живо и ясно присутствующихъ въ созерцаніи автора.—Г. А. Н. (авторъ «Звѣзды» и «Цвѣтка») напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть — «Живая картина» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»), впрочемъ, уступающую въ достоинствѣ прежнимъ его повѣстямъ.—Г. Вельтманъ помѣстилъ въ «Библиотеку для Чтенія» весьма занимательный и живо написанный рассказъ «Карьера», которому, впрочемъ, какъ типическому очерку, приличнѣе было бы явиться въ «Нашихъ». — Казагъ Луганскій напечаталъ въ прошломъ году только одну повѣсть «Савелій Грабъ или Двойникъ» (во II томѣ «Сказки за Сказкою»); въ Библиографической Хроникѣ этой книжки (въ библиографическомъ отдѣлѣ этой части) читатели найдутъ нашъ отзывъ объ этой повѣсти.—Къ замѣчательнѣйшимъ повѣстямъ прошлаго года принадлежитъ повѣсть графа Растопчина «Охъ, Французы!» (въ «Отечественныхъ Запискахъ»). Въ этой повѣсти совсѣмъ нѣтъ никакихъ Французовъ, но за то, она сама есть вѣрное зеркало нравовъ старины и дышитъ умомъ и юморомъ того времени, котораго знаменитый авторъ былъ изъ самыхъ примѣчательнѣйшихъ представителей.—Юмористическія статьи, печатавшіяся въ «Нашихъ», всѣ болѣе или менѣе замѣчательны по

ихъ стремленію—быть выраженіемъ дѣйствительности, а не пустыхъ фантазій.

Вотъ и полный бюджетъ всего, что было самаго замѣчательнаго по части повѣстей въ прошломъ году. Немного, очень немного, но, какъ сказалъ поэтъ:

Быть такъ—спасибо и за то!

Изъ сборниковъ, самымъ примѣчательнѣйшимъ былъ «Утренняя Заря», альманахъ г. Владиславлєва. «Утренняя Заря» на нынѣшній 1843 годъ, по содержанію, гораздо выше всѣхъ предшествовавшихъ годовъ. Еслибъ въ этомъ альманахѣ была только одна статья покойнаго генерала М. Ѳ. Орлова «Капитуляція Парижа», а все остальное не превышало посредственности,—и тогда бы онъ былъ замѣчательнымъ явленіемъ; но въ «Утренней зарѣ», кромѣ превосходной во всѣхъ отношеніяхъ статьи М. Ѳ. Орлова, есть еще повѣсть графа Солмогуба, о которой мы говорили выше, большое стихотвореніе Лермонтова и два очень интересныя разсказа гг. Букольника и Гребенки.—Третій томъ «Русской Бесѣды», вышедшій въ прошломъ году, не оправдалъ ожиданій публики: онъ состоялъ изъ разнаго хлама нѣкоторыхъ старыхъ и уже выписавшихся сочинителей, которые были рады куда-нибудь сбросить жалкіе плоды своихъ старыхъ досуговъ, и разныхъ новыхъ сочинителей, которые рады были, что наконецъ наши пріютъ своимъ литературнымъ уродцамъ и недоноскамъ.—«Альманахъ въ память 200-лѣтняго юбилєя Александровскаго университета» былъ изданъ по случаю и содержитъ въ себѣ нѣсколько интересныхъ статей, относящихся къ странѣ и событію, которое было причиною его появленія.

Роскошныя изданія болѣе и болѣе входятъ въ обычай въ нашей литературѣ. Успѣхъ «Нашихъ» возбудилъ и въ другихъ охоту издавать нѣчто въ томъ же родѣ, подъ названіемъ «Картинокъ Русскихъ Нравовъ», которыя, какъ краси-

венькія игрушки, имѣютъ свое достоинство, но какъ книги—никакого, ибо это сборъ или стараго, давно извѣстнаго, или новыя пустяки, на скорую руку намазанныя для такого казуса. Успѣхъ, изданной г. Семеновко-Крамаревскимъ «Исторіи Наполеона» съ политипажами картинъ Ораса Верне, породилъ компиляцію г. Ламбина, съ чудовищными политипажами работы плохихъ рисовальщиковъ, и «Исторію Суворова» г. Полеваго—нѣчто въ родъ обыкновенной компиляціи съ посредственными по изобрѣтенію и довольно недурными по выполненію политипажами; и еще другую исторію Суворова, которая грозитъ скоро появиться... «Театральный Альбомъ»—истинно великолѣпное изданіе, имѣетъ свое значеніе и идетъ своимъ путемъ. Доселѣ вышло его два выпуска. «Константинополь и Турки» тоже принадлежитъ къ хорошимъ и полезнымъ изданіямъ съ картинками. «Картины Русской Живописи» представляютъ собою изданіе, заслуживающее вниманія и участія публики. Къ такого же рода изданіямъ должно отнести и «Архитектурныя Фантази» г. Шрейдера. Великолѣпное изданіе «Робинзона Крузо» Даниеля Дефо, съ рисунками Гранвилла, въ переводѣ съ англійскаго г. Корсакова, принадлежитъ къ числу дѣйствительно роскошныхъ и полезныхъ книгъ.

Шумно затѣянный какими-то молодыми людьми переводъ всѣхъ сочиненій Гёте, остановился на второмъ выпускѣ. Едва ли кто пожагѣетъ о прекращеніи этой дѣтской затѣи. Напротивъ, переводъ «Шекспира», предпринятый г. Кетчеромъ, хотя не быстро, но тѣмъ не менѣе прочно подвигается впередъ. Прошлый годъ оставилъ его на десятомъ выпускѣ. Драматическія хроники Шекспира уже кончены, и скоро появятся «Комедія Ошибокъ» и «Макбетъ». — Изъ отдѣльно вышедшихъ книгъ по части изящной словесности, почти не о чемъ и упомянуть, кромѣ того, о чемъ мы уже говорили, приступая къ этому обзорѣ. Можно только вспомнить развѣ о второй части «Парижа въ 1836 и 1839 годахъ» г. В. Строева; впрочемъ, эта вторая часть вышла вмѣстѣ съ первою, напечатанною въ

1841 году.— Неужели говорить о «Комарахъ», «о Снопахъ», «о Дагеротипахъ» и тому подобныхъ плеведахъ на полѣ русской литературы?... Если еще можно о чемъ упомянуть здѣсь кстати, такъ развѣ о «Драматическихъ Сочиненіяхъ и Переводахъ» г. Полеваго, — и то для того только, чтобъ замѣтить, что наша драматическая литература составляетъ какую-то особую сферу внѣ русской литературы. Геній ея—г. Кукольникъ; ея первоклассные таланты—гг. Полевой и Ободовскій; за ними идетъ уже мелочь....

Изъ отдѣльно вышедшихъ книгъ серьезнаго содержанія, нельзя не упомянуть о слѣдующихъ: «Кесари» Шампаньи (Неронъ); «Римскіе Папы, ихъ церковь и государство въ XVI и XVII столѣтіяхъ» (последняя изъ этихъ книгъ столь же дурно переведена, сколько первая хорошо); «Политическая и Военная Жизнь Наполеона» (часть 6 и последняя); «Юридическія Записки» г. Рѣдкина (томъ II); «Всеобщая Географія» Бланка (томъ I,—переводъ небреженъ, изданіе неопратно); «Сочиненія Платона» (т. II); «Филологическія Наблюденія протоіерея Г. Павскаго надъ составомъ русскаго языка» (три части); «Замѣчанія объ Осадѣ Троицкой Лавры»; «Записки Данилова» (любопытнѣйшая картина нравовъ русскаго общества за сто лѣтъ передъ симъ); «Записки Нашокина», изд. Языковымъ, съ примѣчаніями издателя; «Священная Исторія» (автора «путешествія ко Святымъ Мѣстамъ»); «Историческое Описаніе Одеждъ и Вооруженія Россійскихъ Войскъ» съ превосходно налитографированными рисунками—одно изъ тѣхъ монументальныхъ изданій, какія могутъ предприниматься, особенно у насъ, только развѣ правительствомъ. Текстъ этого превосходнаго творенія—трудъ г. Висковатаго. Вышли вторымъ изданіемъ «Сказанія Князя Курбскаго». Пятое изданіе (компактное, въ 4 томахъ). «Исторія Государства Россійскаго», предпринятое г. Эйнерлингомъ, было бы истиннымъ подвигомъ со стороны издателя, еслибъ дешевизна изданія соответствовала красотѣ, изяществу, удобству и полнотѣ.

Теперь слова два о журналахъ. Кромѣ ичисленныхъ выше сочиненій по части изящной словесности, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены еще слѣдующія: «Бѣснующіеся. Орлахская Брестыянка», князя Одоевскаго, помѣщающаго статьи свои подъ псевдонимомъ Безгласнаго; «Сеня», повѣсть г. Гребенки; «Ямщикъ, или Шалость Гусарскаго Офицера», драматическая картина въ одномъ дѣйствіи, графа Соллогуба. Изъ переводныхъ статей по части изящной словесности—романъ Диккенса «Бэрнеби Роджъ»; романъ Жоржъ Занда «Орасъ», повѣсть ея же «Мельхіоръ»; повѣсти и романы: Эли Берте «Соколь»; Фредерика Сулье «Маргарита»; Огюста Арну «Колесо Фортуны»; Артюра Дюдэ «Красная Звѣзда», и испанская драма, переведенная съ подлинника: «Никто, кромѣ Короля». По части наукъ и искусствъ, публикою, вѣроятно, были замѣчены статьи: «Гёте», г. Липперта; «Коперникъ», Д. М. Перевощикова; «Система Желѣзныхъ Дорогъ въ Германіи» Фридриха Листа; «Изъ Записокъ Оренбургскаго Старожила»; рассказъ и повѣствованіе, касающіеся Афганистана, В. И. Даля; «Осада Силистріи въ 1828 году» и «Дунайская Экспедиція 1829 года», П. Н. Глѣбова; «Выставка Санктпетербургской Академіи Художествъ въ 1842 году», В. П. Б—на; «Лѣченіе Болѣзней Искусствомъ и Натурою» (-и—о-), и пр. По части домоводства, сельскаго хозяйства и промышленности вообще: статьи Пензенскаго Земледѣльца, статью Русскаго Помѣщика (XI книжка). «Замѣчанія на статью г. Хомякова: «О Сельскихъ Условіяхъ»; «О Пьянствѣ въ Россіи» Н. Б. Герсеванова, и пр. Такъ какъ критическія статьи всегда бываютъ выраженіемъ мнѣнія самой редакціи, то мы можемъ называть, въ отдѣлѣ критики нашего журнала, интересными статьями только статьи гг. Герсеванова и Мордвинова о Сибири, г-на Галахова о грамматикахъ г. Перевлѣскаго, какъ доставленныя въ редакцію отъ постороннихъ сотрудниковъ; а нѣкоторыя изъ прочихъ почитаемъ себя въ правѣ поименовать, предоставляя самой публикѣ судить о ихъ достоин-

ствѣ, или недостаткахъ: «Русская Литература въ 1841 году», «Стихотворенія Апполона Майкова», «Руководство къ «Всеобщей Исторіи Фридриха Лоренца», «Стихотворенія Полежаева», «Кесари Ф. де-Шемпани», «Рѣчь о Критикѣ, профессора А. В. Никитенко» (три статьи), «Объясненіе на Объясненіе по поводу поэмы Гоголя «Мертвыя души», «Стихотворенія Баратынскаго», и пр. Равнымъ образомъ, мы имѣемъ право, не нарушая скромности, сказать, что Библиографическая Хроника въ «Отечественныхъ Запискахъ» всегда была—живою современною лѣтописью русской литературы; въ ней не пропущено ни одной книги, изданной въ Россіи на русскомъ и иностранныхъ языкахъ, и потому, полнотою она превосходить всѣ подобныя отдѣлы въ другихъ журналахъ. Въ отдѣлѣ «Иностранной Литературы» редація всегда старалась представлять своимъ читателямъ по возможности полную картину современныхъ литературъ Франціи, Англии и Германіи. Въ смѣси читатели наши находили подробный отчетъ о русской драматической литературѣ; и много интересныхъ оригинальныхъ статей, изъ которыхъ достаточно указать на рядъ статей подъ рубрикою «Поѣздка въ Китай», которыя будутъ продолжаться и въ нынѣшнемъ году.

Судить о духѣ и направленіи «Отечественныхъ Записокъ», характерѣ критики, сравнительно съ критикою другихъ журналовъ,—предоставляемъ публикѣ.

«Библіотека для Чтенія» дебютировала, въ своей первой книжкѣ за прошлый годъ, второю частію повѣсти барона Брамбеуса «Идеальная Красавица, или Дѣва Чудная», которой первая часть была напечатана въ послѣдней книжкѣ «Библ. для Чтенія» за 1841 годъ. При первой части было замѣчено, что повѣсть выйдетъ въ 1843 году вполне и отдѣльно. Не знаемъ, съ нетерпѣніемъ ли ждетъ публика выхода окончанія «Дѣвы Чудной», или, подобно намъ, вовсе не ждетъ ея; но знаемъ, что повѣсть скучна и незанимательна, и что въ ней нѣтъ никакой повѣсти, есть только длинныя разглагольство-

ванія о томъ, о семь, а больше ни о чемъ. Кромъ «Дѣвы Чудной», въ «Библиотекъ для Чтенія» прошлаго года были напечатаны и еще двѣ повѣсти, тоже, кажется, барона Брамбеуса: «Паденіе Ширванскаго Царства» и «Лукій, или первая повѣсть». Первая очень потѣшна, а вторая—довольно неудачное искаженіе извѣстной сказки Апулея «Золотой Осель», переведенной по-русски Ермиломъ Костровымъ, еще въ 1780 году, подъ титуломъ: «Луція Апулея платонической секты Философа превращеніе, или Золотой Осель. Перевелъ съ Латинскаго Императорскаго Московскаго Университета бакалавръ Ермиль Костровъ. Въ Москвѣ въ Университетской Типографіи у Н. Новикова, 1780 года». Кромъ этихъ повѣстей, «Дурочки Луизы», «Благодѣтельнаго Андроника» г. Кукольника и «Карьеры» г. Вельтмана, въ «Библиотекъ для Чтенія» прошлаго года находятся еще: «Три Жениха», италіянская повѣсть г. Каменскаго, «Закубанскій Харамзадѣ», отрывокъ изъ романа псевдонима Хамаръ-Дабанова», не лишенный нѣкотораго интереса, и «Мамзель Бабеть и ея Альбомъ» г. С. Побѣдоносцева, тоже отрывокъ изъ большаго сочиненія, но представляющій собою нѣчто цѣлое—родъ юмористическаго очерка, игриво написаннаго, которому настоящее мѣсто было бы въ «Нашихъ», ибо это совсѣмъ не повѣсть. Изъ отдѣла «Иностранной Словесности» въ «Библиотекъ для Чтенія» замѣчательна драма Бернара фонъ-Бескова «Густавъ Адольфъ», переведенная съ шведскаго г. В. Дерикеромъ. Это одно изъ прекраснѣйшихъ, возвышеннѣйшихъ и благороднѣйшихъ созданій скандинавской музы, въ которомъ просто, но вѣрно и рельефно воспроизведенъ историческій образъ рыцарственнаго короля Швеціи—утѣшенія и чести человѣчества, славы и гордости XVII вѣка. Жалѣемъ, что время и мѣсто не позволяютъ намъ распространиться объ этомъ произведеніи. Чтобъ познаться нѣсколько съ его духомъ и пафосомъ, выпишемъ нѣсколько строкъ. Оксеншерна отговариваетъ Густава-Адольфа отъ союза съ Франціею и вообще отъ

вмѣшательства въ дѣла Германіи. «Теперь (говорить Оксеншиерна) вся Германія пылаетъ какъ Гекла и выбрасываетъ раскаленные каменья въ сосѣднія страны. Но большая часть этихъ изверженій все-таки падаетъ назадъ въ горящее жерло. Волкана не погасишь; онъ самъ долженъ выгорѣть. Этого требуетъ природа». Густавъ-Адольфъ отвѣчаетъ своему министру и другу: «Но спасти изъ лавы что возможно велить человѣколюбіе. Землетрясеніе—біеніе сердца земли. Времена тоже страдаютъ этою болѣзнью. Цѣлыя поколѣнія гибнуть для спасенія другихъ поколѣній. И когда, въ эту бурю, ударитъ священный набатъ, каждый, въ комъ есть благородное мужество, спѣшитъ въ бой за правое дѣло. Мы пойдемъ, будемъ биться, и если падемъ, то новая рать, съ новыми знаменами, пойдетъ по нашимъ трупамъ. Пусть человѣкъ умираетъ, но человѣчеству должно жить! Пусть сердце разрывается, но цѣль должна быть достигнута!» Превосходно изображено въ этой драмѣ мрачное лицо свирѣпаго и невѣжественнаго фанатика и великаго полководца—Тилли. Вообще, публика должна быть вдвойнѣ благодарна г. Дерикеру—и за прекрасный переводъ, и за прекрасный выборъ такого освѣжающаго душу произведенія.—Изъ статей ученаго отдѣла, въ «Библиотекѣ для Чтенія» не на что указать въ особенности. Статья «Жизнь Шиллера» была бы чрезвычайно интересна, ибо заимствована изъ прекрасно составленной книги Гофмейстера, обнимающей жизнь великаго германскаго поэта до самыхъ мелочныхъ и тѣмъ еще болѣе интересныхъ подробностей, но чего можно ожидать и требовать отъ статьи въ два печатные листа, въ которую скомкано содержаніе огромныхъ четырехъ томовъ? Самое лучшее въ этой статьѣ—ея заглавіе, а сама статья—фальшивая тревога. Въ отдѣлѣ «Науки и Художествъ» помѣщена также статья г. Сенковскаго. «Сокъ достопримѣчательнаго. Записки Ресми-Ахмедъ Эфендія, турецкаго министра иностранныхъ дѣлъ, о сущности, началѣ и важнѣйшихъ событіяхъ войны, происходившей между Высо

кою Портою и Россіей отъ 1182 по 1190 годъ гиджры (1768—1776)». Мнѣніе объ этой статьѣ раздѣлено на двѣ крайности: одни думаютъ, что это—повѣсть, и притомъ фантастическая, во вкусѣ барона Брамбеуса; другіе убѣждены, что это—переводъ историческаго сочиненія съ турецкаго подлинника. Не зная турецкаго языка, мы не можемъ рѣшить вопроса и держимся середины, т. е. думаемъ, что это дѣйствительно переводъ съ историческаго сочиненія, но украшенный, въ приличныхъ мѣстахъ, Брамбеусовскимъ юморомъ, выдумками и шутками, для красоты слогу. Статья «Александрійская Школа» интересна фактически, но лишена истиннаго взгляда на этотъ величайшій фактъ въ исторіи древняго міра. Александрійская школа — это послѣдній плодъ философіи древняго міра, и ея исторія — исторія философіи древняго міра, а «Библіотека для Чтенія», какъ извѣстно всѣмъ, не любитъ, не знаетъ и не понимаетъ никакой философіи — ни древней, ни новой.—Прочія ученые статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія», каковы: «Лапласъ», «Вольта», «Тихонъ Браге», «Іоаннъ Кеплеръ» и т. п., которыми этотъ журналъ съ особеннымъ усердіемъ угощаетъ своихъ читателей, должны были бы давно уже выйдти изъ моды, какъ бесполезныя и скучныя. Смѣшно и думать, чтобъ можно было слѣдить по журнальнымъ статьямъ за ходомъ такихъ наукъ, какъ математика, астрономія, физика, химія, фізіологія, естествознаніе, особенно разсматриваемыя исключительно съ эмпирической точки зрѣнія. Чтобъ сдѣлать такую статью доступною для публики, читающей исключительно литературные журналы, надо устроить ее до такой степени, что въ ней не останется никакого ученаго содержанія; а изложить ее для ученыхъ—значить сдѣлать ее недоступною для публики: въ обоихъ случаяхъ выходитъ много шума изъ пустяковъ. Для всякаго интересна біографія такого челоѣка, какъ, напримѣръ, Галилей; но въ ней великій ученый преимущественно долженъ быть изображенъ съ его нравственной стороны, какъ чело-

вѣкъ, какъ мученикъ знанія, дышавшій религіознымъ благоговѣніемъ къ святости истины, которая составляетъ предметъ науки. Такая біографія будетъ имѣть интересъ общій, будетъ всѣмъ доступна и полезна. Біографія же, имѣющая предметомъ показать и оцѣнить ученія заслуги великаго человѣка, можетъ имѣть мѣсто только въ специально-ученыхъ изданіяхъ, гдѣ нѣтъ нужды разжижать и опошливать ихъ строго-ученаго содержанія. А вотъ такія статьи, гдѣ Сократъ представляется надувалою, по настоящему, не должны бы имѣть мѣста ни въ какомъ журналѣ... О критикѣ «Библіотеки для Чтенія» нечего говорить: всѣмъ извѣстно, что это критика сухая, состоящая большею частію изъ выписокъ, и притомъ занимающаяся книгами, которыя не могутъ возбуждать общаго интереса. Литературная Лѣтопись въ «Библіотекѣ» совсѣмъ было заснула, еслибъ ее не разбудили «Мертвыя Души»: тогда она проснулась, начала вопить, кричать; но въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ отвѣтъ на эти крики была пропѣта такая пѣсенка, отъ которой Лѣтопись, повидимому, снова погрузилась въ летаргическій сонъ. «Смѣсь» въ «Библіотекѣ» по прежнему состояла изъ разныхъ переводныхъ статей, большею частію касающихся до разныхъ предметовъ физики, химіи, медицины и естествознанія.

Въ «Современникѣ» по прежнему помѣщались стихотворенія Баратынскаго, Языкова, кн. Вяземскаго, графини Растопчиной, г. Мятлева, г. Айбулата и проч., и интересные рассказы и повѣсти Основьяненка, барона Корфа и другихъ; ученныя статьи гг. Невѣдомскаго, Петерсона, критика и бібліографія, отличались по прежнему сжатою краткостію слога. Самыми замѣчательными статьями въ «Современникѣ» прошлаго года были «Хроника Русскаго въ Парижѣ», «Нибелунги», критика, «Мертвыя Души» и «Портретъ», повѣсть Гоголя.

Въ «Москвитянинѣ» бездна стиховъ: это оттого, что въ Москвѣ вообще много пишется стиховъ; а гдѣ пишутъ много стиховъ, тамъ почти совсѣмъ не пишутъ прозы, или отда-

ють ее въ петербургскіе журналы, — и потому въ «Москвитянинѣ» почти совсѣмъ нѣтъ прозы. «Римъ» Гоголя попалъ въ этотъ журналъ не изъ Москвы, а изъ Рима. Кромѣ этой повѣсти, въ «Москвитянинѣ» есть еще: отрывокъ изъ «Мирошева», прибывшій въ Петербургъ вмѣстѣ съ цѣлымъ и отдѣльно вышедшимъ «Мирошевымъ»; «Сердечная Оксана», переводъ малороссійской повѣсти г-на Основьяненка; «Мѣсяць въ Римѣ», изъ дорожныхъ записокъ г. Погодина, которыя всѣмъ доставили столько разнообразнаго удовольствія красотой слога, энергической краткостью выраженія и небывалой еще въ поддунномъ мірѣ оригинальностью мыслей; «Колшичизна и Степи», рассказъ Эдуарда Тартье, переведенный съ польскаго; «Черная Маска»; повѣсть барона Розена; «Неаполь» (еще изъ записокъ г. Погодина); «Вологда» (еще такъ изъ записокъ г. Погодина); «Одна изъ женщинъ XIX вѣка»; повѣсть Б...; «Женщина, Поэтъ и Авторъ» отрывокъ изъ романа г-жи А. Зражевской. Это, должно быть, интересный романъ: въ немъ изображено высшее общество — дѣйствуютъ все князья и княжны, графы и графини; имена героевъ самыя романическія — Лировы, Альмскіе, Сенирскіе, Минвановы, Диѣстровскіе, Пермскіе и т. п. Тутъ изображена «поэтка», выражаясь языкомъ сочинительницы, которая пишетъ и читаетъ вслухъ, впрочемъ, довольно плохіе стихи. Жалѣемъ, что, по недостатку мѣста, не можемъ сдѣлать выписокъ изъ этого отрывка; за то, когда выйдетъ романъ, мы вдоволь насытимся этимъ удовольствіемъ. По отрывку видно, что такихъ романовъ, послѣ дѣвицы Марьи Извѣковой, на Руси еще не было. Мы сказали, что прозы въ «Москвитянинѣ» мало, а сами выписали столько заглавій статей: это не покажется противорѣчіемъ для тѣхъ, кто читалъ эту коротенькую «прозу». Изъ ученыхъ статей въ «Москвитянинѣ» замѣчательна статья профессора Лунина «Взглядъ на историографію древнѣйшихъ народовъ Востока». Критика «Москвитянина» составляетъ душу этого журнала и

замѣчательна въ той же мѣрѣ, какъ и онъ самъ. Притомъ только критика да стихи и представляютъ собою литературную сторону «Москвитянина»; все остальное въ немъ какая-то пестрая смѣсь неважныхъ историческихъ матерiаловъ съ газетными извѣстiями. Изумительнѣе всѣхъ возможныхъ матерiаловъ—«Письма Пушкина къ Погодину» (№ 10 «Москвитянина»); мы думаемъ, прахъ Пушкина пошевелился въ могилѣ отъ напечатанiя въ журналѣ этихъ писемъ, писанныхъ совсѣмъ не для печати. Въ нихъ Пушкинъ увѣряетъ г. Погодина, что его «Марфа Посадница» — великое Шекспировское произведенiе; это, вѣрно, иронiя, которая непонята авторскимъ самолюбiемъ... «Москвитянинъ» взялъ на себя рѣшенiе важной задачи о самобытности русскаго развитiя, мимо Запада, и вѣроятно, рѣшить ее удовлетворительно и положительно въ нынѣшнемъ году, а въ прошломъ замѣтно только отрицательное рѣшенiе. Подождемъ. Богъ не безъ милости, а «Москвитянинъ» не безъ средствъ и не безъ охоты рѣшить всѣ интересные для себя вопросы.

О «Сынѣ Отечества» и «Русскомъ Вѣстникѣ» мы можемъ сказать только, что первый изъ этихъ журналовъ запоздалъ въ прошломъ году четырьмя книжками; а «Русскiй Вѣстникъ», запоздавшiй въ 1841 году двумя книжками, въ прошломъ запоздалъ шестью, выдавъ въ одной книжкѣ 5 и 6 нумера и помѣстивъ въ нихъ «Мать-Испанку», драму г. Полеваго.

«Репертуаръ», по свидѣтельству собственныхъ опекуновъ «своихъ», былъ такъ плохъ въ прошломъ году, что совершенно охладилъ къ себѣ публику. См. № 256 «Сѣверной Пчелы».

Кстати о «Сѣверной Пчелѣ»: она все та же, какою была и всегда, и потому, не желая повторять сказаннаго о ней въ прошлогоднемъ обзорѣни русскаго литературного года (Ч. VI, стр. 87), мы ни слова о ней не скажемъ. Лучше, вмѣсто того, пожелаемъ, чтобы преобразовываемый съ начала нынѣшняго года «Русскiй Инвалидъ» былъ во всѣхъ отношенiяхъ настоящею офицiальной, политической и учено-ли-

тературною газетою, чего мы имѣемъ полное право надѣяться..

«Литературная Газета» была вѣрна своему назначенію. Представляя публикѣ повѣсти и рассказы, она исправно извѣщала ее обо всѣхъ литературныхъ и театральныхъ новостяхъ, и разсуждала съ дамами о модахъ.

Новый дѣтскій журналъ «Звѣздочка», издаваемый г-жею Ишимовою, оправдалъ ожиданія публики и рекомендаціи другихъ журналовъ. Вѣрный своему назначенію, онъ доставлялъ своимъ маленькимъ читателямъ сколько пріятное и разнообразное, столько и полезное чтеніе. Слогъ статей его не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Можетъ-быть, многіе увидятъ противорѣчіе въ нашемъ воззрѣніи на русскую литературу въ послѣднее время съ отчетомъ о ея бюджетѣ за прошлый годъ, бѣдности котораго мы сами не скрываемъ. Для такихъ читателей замѣтимъ, что мы въ своемъ воззрѣніи руководствовались не числомъ, а качествомъ произведеній. Сущность и духъ литературы выражаются не во всѣхъ ея произведеніяхъ, а только въ избранныхъ. Пусть число этихъ «избранныхъ» будетъ невелико, но какъ они лучшія, то они и представители литературы. Когда литература умираетъ на своей засохшей почвѣ, тогда не можетъ явиться ни одного превосходнаго творенія, а прошлый годъ подарилъ насъ «Мертвыми Душами...» Притомъ же, если теперь и много представляется явленій посредственныхъ и плохихъ, — то развѣ нельзя назвать успѣхомъ литературы и общественнаго вкуса то обстоятельство, что такія произведенія тотчасъ же оцѣниваются, какъ слѣдуетъ, и не пользуются никакимъ успѣхомъ?...

СОЧИНЕНІЯ ДЕРЖАВИНА. *Четыре части. Спб. 1843.*

1.

Съ іюля 3-го текушаго года начнется второе столѣтіе отъ дня рожденіи Державина... Итакъ, цѣлый вѣкъ раздѣляетъ молодыя поколѣнія нашего времени отъ пѣвца Екатерины... Но отъ смерти Державина едва прошло четверть вѣка, и, не смотря на то, кажется, цѣлые вѣка легли между имъ и нами... Читая его стихотворенія, теперь уже почти ничего не понимаешь въ нихъ безъ историческихъ нраво-описательныхъ комментарій на вѣкъ, котораго онъ былъ органомъ.. Языкъ, образъ мыслей, чувства, интересы—все, все чуждо нашему времени... Но не умеръ Державинъ, такъ же, какъ не умеръ вѣкъ, имъ прославленный; вѣкъ Екатерины приготовилъ вѣкъ Александра, приготовившій нашъ вѣкъ, — между Державинымъ и поэтами нашего времени существуетъ та же кровно-родственная историческая связь, которая существуетъ и между этими тремя эпохами русской исторіи...

Искусство, какъ одна изъ абсолютныхъ сферъ сознанія, имѣетъ свои законы, въ его собственной сущности заключенные, и внѣ себя не признаетъ никакихъ законовъ. Кто, уже по натурѣ своей, или по духовной своей неразвитости, не въ состояніи постигать законовъ искусства въ его идеѣ,— тотъ не въ состояніи ни цѣнить искусства въ фактѣ, ни наслаждаться имъ. До постиженія идеи мы доходимъ искусственнымъ путемъ отвлеченія: слѣдовательно, идея сама по себѣ есть только одна сторона предмета, искусственно отдѣляемая нами отъ живой всецѣлости предмета, для того, чтобъ намъ можно было отрѣшиться отъ непосредственнаго, эмпирическаго способа понимать этотъ предметъ. И потому нѣтъ идей, которыя и оставались бы идеями; но всякая идея осуществляется, какъ фактъ — какъ предметъ, или какъ дѣйствіе.

Осуществленіе идеи въ фактъ имѣеть свои непреложные законы, изъ которыхъ главнѣйшій—послѣдовательность и постепенность. Ничто не является вдругъ, ничто не рождается готовымъ; но все, имѣющее идею своимъ исходнымъ пунктомъ, развивается по моментамъ, движется діалектически, изъ низшей ступени переходя на высшую. Этотъ непреложный законъ мы видимъ и въ природѣ, и въ человѣкѣ, и въ человѣчествѣ. Природа явилась не вдругъ готовая, но имѣла свои дни, или свои моменты творенія. Царство ископаемое предшествовало въ ней царству прозябаемому, прозябаемое—животному. Каждая былинка проходитъ черезъ нѣсколько фазисовъ развитія,—и стебель, листъ, цвѣтъ, зерно, суть не что иное, какъ непреложно-послѣдовательные моменты въ жизни растенія. Человѣкъ проходитъ черезъ физическіе моменты младенчества, отрочества, юношества, возмужалости и старости, которымъ соотвѣтствуютъ нравственные моменты, выражающіеся въ глубинѣ, объемѣ и характерѣ его сознанія. Тотъ же законъ существуетъ и для обществъ, и для человѣчества. Тотъ же законъ существуетъ и для искусства. У искусства есть свой вѣчный, неизмѣнный идеалъ совершенства, составляющій предметъ эстетики, какъ науки изящнаго; но искусство не вдругъ, а постепенно достигаетъ своего идеала,—и исторія искусства есть картина моментовъ его развитія. Такъ, напримѣръ, Индія—страна, гдѣ впервые пробудилось въ людяхъ стремленіе къ сознанію абсолютной истины, и въ которой это сознаніе остановилось на своемъ первомъ моментѣ, и какъ бы окаменѣлое, дошло до насъ, черезъ рядъ тысячелѣтій, почти въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ первоначально возникло, подобно вершинамъ Гиммалаи, которыя и теперь почти тѣ же, какими узрѣлъ ихъ міръ въ первые дни своего созданія. Подобно религіи и философій, искусство въ Индіи представляется на первой ступени своего проявленія, въ первомъ моментѣ своего существованія: оно носитъ тамъ характеръ чисто-символическій, ибо его образы

условно, а не непосредственно выражают идею. Таково должно быть, и иным не может быть искусство въ своемъ началѣ. Чтобъ образы выражали идею не условно, а непосредственно, для этого необходимо идеѣ быть полною и ясною для художника; но какъ идеи первобытныхъ и младенчествующихъ обществъ состоятъ изъ темныхъ предощущеній и неопредѣленныхъ, смутныхъ предчувствій, то и выраженіе идеи у нихъ, естественно, должно состоятъ изъ однихъ намековъ, иносказаній и затѣйливыхъ символовъ. Въ Египтѣ искусство сдѣлало уже большой шагъ, приблизившись нѣсколько къ простотѣ и природѣ, по крайней мѣрѣ, египетскія изваянія представляютъ уже не однихъ сфинксовъ, но и людей, хотя эти люди еще массивны, грубы, неподвижны. Въ Греціи, искусство уже отрѣшилось символизма, и его образы облеклись въ простоту и истину, которыя составляютъ высочайшій идеалъ красоты.

Искусство никогда не развивается независимо-одиноко: напротивъ, его развитіе всегда бываетъ связано съ другими сферами сознанія. Въ эпоху младенчества и юношества народовъ, искусство всегда, болѣе или менѣе—выраженіе религіозныхъ идей, а въ эпоху возмужалости — философскихъ понятій. Индійскій пантеизмъ есть обожествленіе природы, и потому даже въ поэзіи индустанской играютъ такую важную роль растенія, змѣи, птицы, коровы, слоны и прочія животныя, а изваянія боговъ представляютъ дикую и уродливую смѣсь членовъ человѣческаго тѣла съ членами животныхъ. Индійское искусство не могло возвыситься до изображенія красоты человѣческой, ибо въ пантеистической религіи Индусовъ богъ есть природа, а человѣкъ — только ея служитель, жрецъ и жертва. Египетская миѳологія занимаетъ уже середину между индійскою и греческою: среди животнотчудовищныхъ образовъ ея боговъ уже замѣтны и человѣческіе лики, послужившіе типомъ для изваяній греческихъ; между Озиридомъ и Аполлономъ есть средство, и миѳъ Ѳеба,

который сражает Пифона, занять Греками у Египтянъ. Одна-кожь, это бореніе между животнымъ и человѣкомъ разрѣши-лось только въ сфинкса — чудовище съ женоподобною голо-вою и грудью, съ туловищемъ звѣря. Сфинксъ египетскій мудрѣе человѣка: онъ загадываетъ человѣку хитрыя загадки и пожираетъ его за неумѣніе разгадать ихъ. Но Грекъ Эдипъ разгадалъ мысль и нашелъ слово; звѣрь бросился въ море и утонулъ: человѣкъ вступилъ въ свои права, — и боги Гре-ціи не что иное, какъ образы идеальнаго человѣка, обоже-ствленіе человѣка. Звѣри вошли въ искусство какъ выра-женіе силъ природы, повинующихся человѣку: кони возятъ колесницу Аполлона, Церберъ стережетъ входъ въ царство Ада, отвратительныя гарпіи служатъ бичомъ злодѣйства; Зевсъ принимаетъ образы вола и лебедя для скрытія отъ Геры та-кихъ похощеній, источникомъ которыхъ были чисто есте-ственные попятнозвенія. Образъ человѣческой просвѣтленъ и возвышенъ? его назначеніе въ греческомъ искусствѣ — выра-жать высшую идеальную красоту. Въ греческомъ искусствѣ символика и аллегорія кончились; искусство стало искус-ствомъ. Объясненія этого должно искать въ греческой рели-гіи и глубокомъ вполне разившемся и опредѣлившемся смыслѣ ея мірообъемлющихъ мѣровъ.

Кромѣ всего этого, на развитіе и характеръ искусства много имѣютъ вліянія еще разныя совершенно случайныя обстоя-тельства, особенно же природа и мѣстность страны, климатъ, и проч. Огромность архитектурныхъ зданій, колоссальность статуй индійскихъ — явно отраженіе гигантской природы страны Гиммалаевъ, слоновъ и удавовъ. Нагота греческихъ изваяній находится въ большей или меньшей связи съ благословен-нымъ климатомъ Эллады. Гармоническая природа этой страны, чуждая всякой чудовищной громадности, всякихъ чудовищ-ныхъ крайностей, не могла не имѣть вліянія на чувство со-размѣрности и соотвѣтственности, словомъ, гармоніи, кото-рое было какъ бы врожденно Грекамъ. Бѣдная и величаво

дикая природа Скандинавіи была для Нормановъ откровеніемъ ихъ мрачной религіи и сурово-величавой поэзіи. Политическія обстоятельства также имѣютъ вліяніе на развитіе и характеръ искусства: Римляне заняли у Грековъ классическую гармонію и благородную простоту архитектуры, но прибавили къ ней отъ себя огромность и громадность размѣровъ, какъ бы выразившихъ колоссальность ихъ государства и ихъ политическаго величія.

Изъ этого видно, какъ жестоко ошибаются тѣ умозрительные судіи изящнаго, которые хотятъ видѣть въ искусствѣ совершенно отдѣльный міръ, существующій независимо отъ другихъ сферъ сознанія и отъ исторіи. Основываясь на томъ, что предметъ искусства не временное и относительное, а вѣчное и безусловное, они думаютъ, что искусство унижаетъ себя, если подчиняется какому бы то ни было историческимъ и временнымъ вліяніямъ. Но это значитъ смотрѣть на «вѣчное» и «безусловное», какъ на отвлеченныя понятія, чуждыя всякаго содержанія, какъ на логическія построенія, лишеныя всякой жизненности: ибо «вѣчное» выражается во времени, «безусловное» ограничивается формою проявленія, «безконечное» дѣлается доступнымъ созерцанію въ конечномъ. Если эстетика возьметъ за основаніе однѣ идеи и ихъ діалектическое развитіе, оставивъ въ сторонѣ вѣрованія и исторію, — то по ней выйдетъ, можетъ-быть, что произведенія греческаго искусства прекрасны, а индійскаго и египетскаго не имѣютъ ничего общаго съ творчествомъ и суть порожденія невѣжества и дикости; готическая архитектура — воплощенное безвкусіе; французская литература хороша, а нѣмецкая — вздоръ, или наоборотъ, смотря по тому, отъ какого начала отправится эстетика. Задача истинной эстетики состоятъ не въ томъ, чтобъ рѣшить, чѣмъ должно быть искусство, а въ томъ, что такое искусство. Другими словами: эстетика не должна разсуждать объ искусствѣ, какъ о чемъ-то предполагаемомъ, какъ о какомъ-то идеалѣ, который мо-

жетъ осуществиться только по ея теоріи: нѣтъ, она должна разсматривать искусство, какъ предметъ, который существовалъ давно прежде ея, и существованію котораго она сама обязана своимъ существованіемъ.

Другіе знатоки и любители искусства начинаютъ съ противоположной крайности, думая, что изящное не имѣетъ никакихъ непреложныхъ законовъ, и что стѣнитъ только изучить исторію и нравы какого угодно народа, чтобъ понять его искусство. Узнавъ изъ біографіи какого-нибудь художника, что онъ былъ несчастенъ, они думаютъ, что нашли ключъ къ тайнѣ его грустныхъ созданій. «Видите ли,—говорятъ они,—онъ былъ несчастенъ въ жизни, и оттого меланхолія составляетъ отличительный характеръ его произведеній». Коротко и ясно! Этакъ легко можно объяснить и мрачный характеръ поэзіи Байрона: критика будетъ и не долга и удовлетворительна. Но что Байронъ былъ несчастенъ въ жизни—это уже старая новость: вопросъ въ томъ, отчего этотъ одаренный дивными силами духъ былъ обреченъ несчастію? Эмпирическіе критики и тутъ не задумаются: раздражительный характеръ, ипохондрія, скажутъ одни изъ нихъ,—и расстройство пищеваренія, прибавятъ, пожалуй, другіе, добродушно не догадываясь въ низменной простотѣ своихъ гастрическихъ воззрѣній, что такія малыя причины не могутъ имѣть своимъ результатомъ такія великія явленія, какъ поэзія Байрона. Всякому извѣстно, что иной меланхоликъ отъ природы бываетъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ счастливъ и что самый веселый человекъ дѣлается ипохондриккомъ отъ несчастія, что раздражительность нервовъ служить не только въ живѣйшему ощущенію горестей, но и къ живѣйшему ощущенію радости. Всякому также извѣстно, что великіе комики по большей части бываютъ людьми раздражительными и склонными къ ипохондріи, и что весьма рѣдко появляется улыбка на устахъ тѣхъ, которые заставляютъ другихъ хохотать до слезъ... Ни одинъ поэтъ не можетъ быть

великъ отъ самого себя и черезъ самого себя, ни черезъ своимъ собственныя страданія, ни черезъ свое собственное блаженство, всякій великій поэтъ потому великъ, что корни его страданія и блаженства глубоко вросли въ почву общественности и исторіи, что онъ, слѣдовательно, есть органъ и представитель общества, времени, человѣчества. Только маленькіе поэты и счастливы и несчастливы отъ себя и черезъ себя; но за то только они сами и слушаютъ свои птичьи пѣсни, которыхъ не хочетъ знать ни общество, ни человѣчество. Чтобы разгадать загадку мрачной поэзіи такого необъятно-колоссальнаго поэта, какъ Байронъ, должно сперва разгадать тайну эпохи, имъ выраженной, а для этого должно факеломъ философіи освѣтить историческій лабиринтъ событій, по которому шло человѣчество къ своему великому назначенію—быть олицетвореніемъ вѣчнаго разума, и должно опредѣлить философски градусъ широты и долготы того мѣста пути, на которомъ засталъ поэтъ человѣчество, въ его историческомъ движеніи. Безъ того всё ссылки на событія, весь анализъ нравовъ и отношеній общества къ поэту и поэта къ обществу и къ самому себѣ—ровно ничего не объясняютъ.

Но прежде, чѣмъ опредѣлить историческое значеніе поэта, должно опредѣлить его чисто-художественное значеніе: безъ этого никто не пойметъ, почему критика или эстетика признаетъ одного поэта поэтомъ, другаго нѣтъ, и почему въ одномъ она видитъ великаго, а въ другомъ обыкновеннаго поэта. Вотъ здѣсь эстетика имѣетъ право основываться на одномъ философскомъ началѣ искусства, не относясь ни къ исторіи, ни къ другимъ сферамъ сознанія. Здѣсь получаетъ свой великій смыслъ искусство, какъ искусство, какъ такая сфера дѣятельности, которая сама себѣ цѣль и виѣ себя цѣли не имѣетъ. Естественно, прежде, чѣмъ опредѣлить, къ родству какого народа, какой эпохи, какого стиля принадлежатъ зданія такого-то архитектора, и великій ли онъ архитекторъ, должно показать, есть ли въ его зданіяхъ творче

ство, полеть фантазіи, словомъ, поэзія, или эти зданія— только груды камней, складенныя по правиламъ архитектуры трудолюбивымъ ремесленникомъ, тщательно изучившимъ техническую сторону искусства, или, пожалуй, и опытнымъ академикомъ... А этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ только на основаніи философіи изящнаго—эстетики. Но здѣсь и оканчивается работа эстетики, какъ эстетики собственно, и отсюда вступаетъ въ свои права исторія и философія исторіи. Это не значить, чтобы эстетика въ какомъ бы то ни было случаѣ, отказывалась отъ правъ, неотъемлемо принадлежащихъ ей въ дѣлѣ искусства: это значить только, что эстетика, окончивъ разсмотрѣніе художественной стороны искусства, обращается къ другой сторонѣ, столько же присущей искусству, какъ и сторона художественная—къ сторонѣ его содержанія, и, нисколько не отказываясь отъ своихъ законныхъ и неотъемлемыхъ правъ, вступаетъ въ союзъ съ другою родственною ей сферою — сферою исторіи. Всѣ сферы высшаго сознанія такъ родственны и тѣсно связаны между собою, что только чрезъ искусственное дѣйствіе разума можно раздѣлять ихъ; показать же точныя ихъ границы такъ же трудно, какъ и показать, гдѣ въ человѣкѣ оканчивается тѣло и начинается душа, гдѣ конецъ чувства и начало ума, и т. д.

А между тѣмъ, какъ въ понятіи о природѣ человѣка существуютъ преданные отвлеченіямъ идеалисты, которые, за душою, не замѣчаютъ организма, и матеріалисты, которые за массою тѣла не могутъ провидѣть душу,—такъ и въ понятіи объ искусствѣ существуютъ свои идеалисты (умозрители) и свои матеріалисты (эмпирики). Мы показали, въ чемъ состоитъ ученіе тѣхъ и другихъ; прибавимъ къ этому, что эмпирики, не признающіе эстетики и превращающіе ее въ сухой, неживленной мыслію каталогъ изящныхъ произведеній, съ практическими и случайными комментаріями, — лишаютъ искусство его высокаго значенія! Не признавая содержаніемъ искусства той же вѣчной, въ свободной необходимости діалек-

тически развивающейся идеи, которая составляет содержание и историю и философию, эмпирики низводят творческие произведения на степень предметовъ, имѣющихъ цѣлью пріятно развлекать скуку и занимать праздное бездѣйствіе, — а это значитъ ставить ихъ въ одинъ разрядъ съ изящно-сдѣланною мебелью и тѣми красивыми бездѣлками, которыми мода и прихоть украшаютъ въ комнатахъ камины, столы и этажерки. Идеалисты доходятъ до той же крайности, только противоположнымъ путемъ. По ихъ ученію, жизнь должна идти своею дорогою, а искусство своею, не соприкасаясь другъ съ другомъ, не завися другъ отъ друга и не имѣя никакого вліянія другъ на друга. Буквально-вѣрные своему основному положенію, что искусство само себѣ цѣль, они доходятъ наконецъ до того, что лишаютъ искусство не только цѣли, но и всякаго смысла. Сначала они доводятъ искусство до аскетизма, а наконецъ и до индифферентизма, — что весьма естественно: Индія ясно доказываетъ, что отшельничество и равнодушіе гораздо ближе другъ къ другу, нежели какъ кажется съ перваго взгляда.

Отвлекающій идеализмъ во всемъ ведетъ къ произвольности въ воззрѣніяхъ и построеніяхъ, потому что факты отвергаемой имъ дѣйствительности не мѣшаютъ ему принимать свои карточные домики за настоящіе рыцарскіе замки. Кто смотритъ на искусство исключительно съ эстетической точки, не принимая въ соображеніе ни его исторіи, ни исторіи развитія человѣчества, — тому весьма легко открыть тождество между «Иліадою» Гомера и «Мертвыми Душами» Гоголя. Заблужденіе глубокое, но понятное! Оно можетъ происходить не отъ ограниченности умственной, а только отъ односторонняго взгляда на предметъ. Принявъ за непримолжную истину какое-нибудь на досугъ придуманное положеніе и отвергнувъ историческую сторону предмета, можно надѣлать десятки и сотни Гомеровъ и Шекспировъ: идеализмъ знаетъ, что законы творчества всегда и вездѣ одинаковы, что они въ Россіи тѣ

же, что были въ Греціи, — ерго почему жъ и въ Россіи не быть Гомеру и Софоклу?... Отсюда проистекаетъ всевозможная ложь и неправда въ сужденіяхъ о достоинствѣ поэтовъ: какъ легко превознести одного, такъ легко и унижить другаго, и въ обоихъ случаяхъ — замѣтите — на основаніи мысли и ея строгаго діалектическаго развитія...

Очевидно, что какъ эмпиризмъ, такъ и идеализмъ (отвлеченный) суть односторонности, равно чуждыя истины: истина же состоитъ въ свободномъ примиреніи обоихъ этихъ крайностей. Но кромѣ того, что такое примиреніе не такъ - то легко для всякаго, — и сама истина, еслибы кто и нашелъ ее, принимается съ большимъ трудомъ, и то весьма немногими. Это потому именно, что живая истина состоитъ въ единствѣ противоположностей. Чѣмъ одностороннѣе мнѣніе, тѣмъ доступнѣе оно для большинства, которое любитъ, чтобъ хорошее непременно было хорошимъ, а дурное — дурнымъ, и которое слышать не хочетъ, чтобъ одинъ и тотъ же предметъ вмѣщалъ въ себѣ и хорошее и дурное. Вотъ почему толпа, узнавъ, что за какимъ-нибудь великимъ человѣкомъ водились слабости, свойственныя малымъ людямъ, всегда готова сбросить великаго съ его пьедестала и ославить его негодяемъ и безнравственнымъ человѣкомъ. Толпа не понимаетъ, что все живое тѣмъ и отличается отъ мертваго, что въ самой сущности своей заключаетъ начало противорѣчія. Толпа не понимаетъ, что одинъ и тотъ же человѣкъ можетъ отличаться и великими добродѣтелями и великими пороками, что одно хорошее начало въ немъ могло быть развито, а другое задавлено и заглушено въ самомъ зародышѣ своемъ; что одно дурное начало въ немъ могло быть подавлено еще въ зернѣ, а другое развито; что причины этого должно отыскивать и въ духѣ времени, когда явился великій человѣкъ, и въ общественности, среди которой возросъ и воспитался онъ, и что, на основаніи этихъ причинъ, иные пороки его можно извинить, а иные даже и поставить ему въ заслугу

такъ же точно, какъ инныя добродѣтели его возвысить, а съ иныхъ сбавить цѣну. Еслибъ въ наше время какой-нибудь воинъ сталъ мстить за падшаго въ честномъ бою друга или брата своего, зарѣзывая на его могилѣ плѣнныхъ враговъ, — это было бы отвратительнымъ, возмущающимъ душу звѣрствомъ; а въ Ахиллѣ, умиляющимъ тѣнь Патрокла убійствомъ обезоруженныхъ враговъ, это мщеніе — доблесть, ибо оно выходило изъ нравовъ и религіозныхъ понятій общества его времени. Не понимая этого, толпа признаетъ наукою одну математику, которая дѣйствительно никогда себѣ не противорѣчить, а исторію и философію считаетъ вздоромъ, ибо, по ея мнѣнію, онѣ на каждомъ шагу противорѣчаютъ себѣ... Между тѣмъ въ глазахъ той же толпы, мертвецъ, лежащій въ гробу, уже не такъ важенъ, какъ живой человѣкъ, хотя первый ни въ чемъ не противорѣчитъ самому себѣ, а другой на каждомъ шагу противорѣчить... Такова ужъ видно натура толпы!...

У насъ можно смѣло говорить о всякомъ писателѣ, о которомъ мнѣніе еще не успѣло установиться въ толпѣ; но бѣда говорить о писателѣ старинномъ, о которомъ въ любомъ учебникѣ можно найти однѣ и тѣ же напыщенные фразы и общія мѣста... Въ такомъ случаѣ, безопаснѣе всего сказать рѣзкую односторонность: если одни осердятся, за то другіе согласятся, и обѣ стороны по крайней мѣрѣ поймутъ, въ чемъ дѣло. Такъ точно, у насъ ужъ лѣтъ шестьдесятъ повторяются однѣ и тѣ же фразы о Державинѣ, что выше его не было и не будетъ поэта въ подлунномъ мірѣ, что онъ пѣвецъ съ-вера и потомокъ Багрима... Съ этимъ всѣ согласны, тѣмъ болѣе, что до этого никому нѣтъ дѣла, ибо Державина давно уже никто не читаетъ, и всѣ знаютъ его только по журнальнымъ фразамъ да школьнымъ воспоминаніямъ. Но люди такъ устроены, что если они привыкли о какомъ-нибудь предметѣ думать такъ, то хотя бы они уже и совсѣмъ не заботились о немъ, однакожь непремѣнно осердятся на васъ, если

вы осмѣлитесь думать объ этомъ предметѣ иначе. Когда въ «Отечественныхъ Запискахъ» въ первый разъ было сказано, что Державинъ для нашего времени уже не можетъ быть тѣмъ, чѣмъ онъ былъ для своего, и что хотя онъ былъ одаренъ и великими поэтическими силами, однако не создалъ ничего такого, что прошло бы чрезъ вѣка въ нетлѣнной красотѣ,— тогда на «Отечественныя Записки» не шутя разсердились даже такіе люди, которые не прочли въ жизнь свою ни одного стиха Державинскаго, и, въ слѣдъ за другими, съ важностью стали повторять: «Какъ же можно такъ дерзко отзываться о такомъ великомъ поэтѣ?— вѣдь пѣвецъ сѣвера, потомокъ Багрима»... И причину этого неудовольствія легко понять: еслибъ «Отечественныя Записки» совершенно отняли у Державина всякое достоинство, поставили бы этого богатыря поэзіи русской на ряду съ Тредьяковскимъ, тогда имъ меньше было бы хлопотъ; потому что еслибъ одни еще сильнѣе ожесточились бы противъ нихъ, за то нашлось бы много другихъ, которые ухватились бы за ихъ мнѣніе съ радостію лѣнивыхъ и немыслящихъ любителей новыхъ идей. Но въ мнѣніи «Отечественныхъ Записокъ» было противорѣчіе: у Державина не отнималось его величіе, а о поэзіи его говорилось только какъ объ историческомъ фактѣ: не понятно, а потому и досадно!... Правда, потомъ, какъ привыкли къ новому мнѣнію, то стали повторять его и печатно, хотя и не поняли...

Дѣйствительно, ни объ одномъ поэтѣ не можетъ существовать столь противоположныхъ мнѣній, какъ о Державинѣ. Если разсматривать его съ эмпирически-исторической точки, то каждый стихъ его окажется чудомъ совершенства, а самъ онъ явится однимъ изъ величайшихъ поэтовъ древняго и новаго міра. Если же взглянуть на него съ чисто-эстетической точки, то можно поставить его чуть-чуть не наравнѣ съ Сумароковымъ. Но то и другое заключеніе равно будутъ ложны и нецѣльны: для того-то мы и почли за нужное пред-

варительно сказать нѣсколько словъ о недостаточности и ложности эмпирической и (отвлеченно) идеальной точки зрѣнія на искусство.

Какъ обще-человѣческое искусство, такъ и искусство каждаго народа, отдѣльно взятаго, имѣетъ свою исторію, которая есть не что иное, какъ картина развитія искусства отъ его первоначальнаго исходнаго пункта до послѣдняго заключительнаго звена. Постепенность и послѣдовательность—законъ всякаго развитія. Если бы кто-нибудь напечаталъ въ газетахъ, что посаженное имъ въ землю зерно изъ яблока возшло не стебелькомъ, а прямо яблокомъ,—всѣ стали бы надъ этимъ смѣяться какъ надъ нелѣпостью, хотя бъ это и было напечатано. Но когда писали и печатали, что лѣтъ черезъ тридцать послѣ первой оды Ломоносова («На взятіе Хотина»), явился на Руси поэтъ, одинъ совмѣстившій въ себѣ и Пиндара, и Горация, и Анакреона, и превзошедшій всѣхъ ихъ, порознь и вмѣстѣ взятыхъ,—надъ этимъ и теперь еще не смѣются, какъ надъ нелѣпостію...

Мы сказали выше, что ни одно стихотвореніе Державина не выдержитъ самой снисходительной эстетической критики. Дѣйствительно, ничего не можетъ быть слабѣ художественной стороны стихотвореній Державина. Содержаніе ихъ, по большей части, составляютъ нравственные сентенціи, расположенныя и распространенныя риторически, въ формѣ разсужденія, или диссертациі. Отъ этого, многія оды его непомерно длинны, непомерно прозаичны и... непомерно скучны. Истина составляетъ такъ же содержаніе поэзіи, какъ и философіи, и, со стороны содержанія, поэтическое произведеніе—то же самое, что и философскій трактатъ; въ этомъ отношеніи, нѣтъ никакой разницы между поэзіею и мышленіемъ. И, однакоже, поэзія и мышленіе далеко не одно и то же: они рѣзко отдѣляются другъ отъ друга своею формою, которая и составляетъ существенное свойство каждаго. Философія, или (выразимъ это понятіе болѣе общимъ терминомъ) мышле-

ніе дѣйствуетъ прямо черезъ разумъ и на разумъ; и если мыслитель, или ораторъ, проникаясь эирнымъ пламенемъ изслѣдуемой имъ истины, иногда возвышается до пафоса, прибѣгаетъ къ посредству фантазіи и говоритъ огненнымъ языкомъ чувства и радужными образами фантазіи—у него, и въ такомъ случаѣ, чувство и фантазія являются второстепенными элементами,—первое, какъ результатъ глубокаго проникновенія въ истину, раскрытую путемъ анализа, а вторая—какъ вспомогательное средство сдѣлать истину ощутительною и видимою. Въ мышленіи разумъ лицомъ къ лицу становится къ мысли, не нуждаясь въ посредствѣ чувства и фантазіи, но только допуская ихъ по собственной волѣ, какъ слѣдствіе мгновенно охватившаго душу мыслителя увлеченія, надъ которымъ разумъ не перестаетъ однакоже царить и котораго обаятельной силы онъ уже не боится, какъ произведенія собственной своей діалектики, И подобное увлеченіе бываетъ не опасно только тѣмъ мыслителямъ, которые окрѣпли и закалились гимнастикой строгой логической мысли, обнаженной отъ всѣхъ покрововъ не посредственнаго представленія, и которые уже не могутъ покоряться авторитету ощущеній, чувствъ и готовыхъ идей, но всегда повѣряютъ ихъ діалектикою разума. Въ поэзіи, напротивъ, фантазія является главною дѣйствующею силою, черезъ которую исключительно совершается процессъ творчества. Поэзія рассуждаетъ и мыслить, это правда, ибо ея содержаніе есть такъ же истина, какъ и содержаніе мышленія; но поэзія рассуждаетъ и мыслить образами и картинами, а не силлогизмами и дилеммами. Всякое чувство и всякая мысль должны быть выражены образно, чтобъ быть поэтическими. Нѣкоторые аристархи, сами писавшіе нѣкогда стишонки, которые въ свое время считались недурными, думали уронить Пушкина, говоря, что его поэзія чисто земная, ибо «оземляетъ» безплотную чистоту идей; такой взглядъ на поэзію обнаруживаетъ на этихъ аристархахъ рѣшительное отсутствіе эстетическаго чув-

ства, натуру грубо-прозаическую и чуждую всякаго предощущенія поэзіи. Нападать на поэзію за то, что она оземляетъ идеи,—все равно, что нападать на математику за то, что она все исчисляетъ и измѣряетъ. Въ томъ-то и состоитъ сущность поэзіи, что она безплотной идеѣ даетъ живой, чувственный и прекрасный образъ. Въ этомъ случаѣ, идея есть только морская пѣна, а поэтическій образъ—богиня любви и красоты, родившаяся изъ морской пѣны. Кто не одаренъ творческою фантазією, способною превращать идеи въ образы, мыслить, рассуждать и чувствовать образами, тому не помогутъ сдѣлаться поэтомъ ни умъ, ни чувство, ни сила убѣжденій и вѣрованій, ни богатство разумно-историческаго и современнаго содержанія. И еслибы не такъ, то всего легче было бы сдѣлаться поэтомъ: стоило бы только узнать правила версификаціи, да, благословясь, и начать писать диссертациі разбѣренными строчками, заостренными рифмою.

Одно изъ главнѣйшихъ условій всякаго художественнаго произведенія есть гармоническая соотвѣтственность идеи съ формою и формы съ идеею, и органическая цѣлостность его созданій. Поэтому, всякое художественное произведеніе прежде всего должно отличаться строгимъ единствомъ лежащаго въ его основаніи чувства, или мысли, а слѣдовательно и формы. Мысль въ піесѣ можетъ быть схвачена или въ одномъ своемъ моментѣ, или развита во всѣхъ ея моментахъ, но она должна быть одна, и ея развитіе должно относиться къ ней самой, какъ относятся въ музыкальномъ произведеніи варіаціи къ мотиву. Если мысль піесы переходитъ въ другую, хотя бы и имѣющую къ ней отношеніе мысль,—тогда нарушается единство художественнаго произведенія, а слѣдовательно, единство и сила впечатлѣнія, производимаго имъ на читателя. Прочтя такое произведеніе, чувствуешь себя только обезпокоеннымъ, но неудовлетвореннымъ; утомленіе и досада заступаютъ мѣсто наслажденія.

Если мысль поэтическаго произведенія истинна въ самой

себѣ, ясна и опредѣленна для поэта, если произведеніе вѣрно концепировано и достаточно выношено въ душѣ поэта,—то въ немъ не можетъ быть ни уродливыхъ частныхъ, ни слабыхъ мѣстъ, ни темныхъ и непонятныхъ выраженій. ни недостатка во виѣшней отдѣлкѣ. Произведеніе, въ такомъ случаѣ, органически цѣлостно: въ немъ нѣтъ ничего ни излишняго, ни недостающаго; оно округлено: его начало вводитъ читателя въ его смыслъ, послѣднее слово замыкаетъ собою все его содержаніе, такъ что читатель вполнѣ удовлетворенъ и не можетъ спросить: «что же дальше?»

Стихотворенія Державина не выполняютъ ни одного изъ этихъ условій. Во-первыхъ, всѣ они болѣе или менѣе отличаются характеромъ риторическимъ, и, по крайней мѣрѣ, большая часть ихъ походитъ на диссертациі въ стихахъ. Мы не можемъ подкрѣпить выписками этого мнѣнія, ибо, въ такомъ случаѣ, намъ пришлось бы перепечатать почти всего Державина. Книга у всѣхъ передъ глазами, и каждый самъ можетъ повѣрить справедливость нашей мысли. Впрочемъ, при разборѣ нѣкоторыхъ стихотвореній, мы будемъ имѣть случай, мимоходомъ, указывать на эту черту недостатка поэзіи Державина; пока ограничимся только указаніемъ на нѣкоторыя, особенно замѣчательныя въ этомъ отношеніи піесы, каковы, на примѣръ: «Безсмертіе Души» (192 стиха), «Величество Божіе» (132 ст.), «Христосъ» (320 ст.), «Слѣпой Случай» (200 ст.), «Успокоенное Невѣріе» (108 ст.), «Истина» (144 ст.), «Гимнъ Богу» (96 ст.), «Тоска Души» (104 ст.), «Добродѣтель» (120 ст.), «Слава» (112 ст.), «Цѣленіе Саула» (450 ст.), «Гимнъ Солнцу» (100 ст.), «Облако» (80 ст.), «Громъ» (90 ст.), «На умѣренность» (110 ст.), и пр. Такихъ піесъ у Державина гораздо больше можно начесть. Читать ихъ — тяжело. Это все равно, что читать ариѣметику, написанную стихами: читатель согласенъ съ нею, что дважды два—четыре, но онъ тѣмъ не менѣе въ отчаяніи, что такія простыя, почтенныя и съ малолѣтства всякому извѣстныя истины не изложены обык-

новенною прозою, безъ поэтическихъ затѣй. Такъ и въ поименованныхъ нами стихотворенiяхъ Державина всѣ мысли столько же справедливы, сколько и стары и общи: ихъ можно найти у любого плохаго стихотворца того времени. А это уже признакъ отсутствiя поэзи: у истиннаго поэта и старая мысль является новою, ибо истинный поэтъ даетъ чувствовать живую сущность мысли, которую толпа безмысленно повторяетъ, какъ мертвую букву. По величинѣ своей, поименованные нами оды Державина рѣшительно не имѣютъ ничего общаго съ лирическою поэзiею. Лирика есть выраженiе преимущественно чувства, и въ этомъ отношенiи она приближается къ музыкѣ, которая, исключительно изъ всѣхъ искусствъ, дѣйствуетъ прямо и непосредственно на чувство. Одна пiеса не можетъ быть выраженiемъ двухъ различныхъ чувствъ, а чувство проходитъ по душѣ мгновенно, какъ тотъ трепетъ восторга, отъ котораго священной хододъ пробѣгаетъ по тѣлу и «встревоженною ратью» поднимаетъ волосы на головѣ человѣка... И если такое чувство неослабно будетъ владѣть читателемъ во все время, необходимое для прочтенiя даже восьмидесяти, не только четырехъ-сотъ-пятидесяти стиховъ, — человѣческая натура читателя не выдержитъ этого, и результатомъ восторженнаго чтенiя должна быть болѣзнь, утомленiе... Поэма, драма, и особенно романъ — другое дѣло: тамъ умъ часто даетъ отдыхать чувству; тамъ, комическiя сцены и, по сущности выражаемыхъ предметовъ, прозаическiя мѣста возбуждаютъ въ читателѣ разнообразныя ощущенiя. Но держаться, въ продолженiе добраго получаса, или болѣе, въ одномъ чувствѣ, въ одинаковой настроенности души, — это неестественно, и потому невозможно. Державинъ въ поименованныхъ нами пiесахъ, кажется, всего менѣе рассчитывалъ на чувство: стихотворенiя эти холодны и прозаичны, какъ школьная диссертация, стихи въ нихъ дурны до послѣдней степени, и рѣдко, очень рѣдко кой-гдѣ проблескиваютъ искорки одушевленiя, сейчасъ и погасая въ водѣ риторики. Кажется, главною его

заботою было высказать о предметъ все, что только могъ онъ придумать о немъ. Порядка въ его мысляхъ нѣтъ никакого, и потому его длинныя и резонёрствующія оды не имѣютъ достоинства даже хорошо расположеннаго и округленнаго школьнаго разсужденія.

Конечно, не всѣ оды Державина таковы, какъ тѣ, на которыя мы сейчасъ указали, но главный характеръ указанныхъ нами — длиннота, резонёрство, риторика, безъобразность — болѣе или менѣе преобладаютъ рѣшительно во всѣхъ одахъ. Гармонической соотвѣтственности идеи съ формою, пластичности образовъ — въ нихъ нечего и искать. Читая иную оду Державина, иногда вы вдругъ увлекаетесь возвышенностію мысли, энергіею чувства, размахистымъ полетомъ фантазіи, — и вдругъ недокій стихъ, натянутый оборотъ, странное выраженіе, а иногда и риторика охлаждають вашъ восторгъ, — и вы испытываете это нѣсколько разъ, при чтеніи одной и той же оды, и по окончаніи ея чувствуете себя утомленнымъ и встревоженнымъ, но не удовлетвореннымъ и услажденнымъ. Такъ, наприимѣръ, «Водопадъ» принадлежитъ къ числу блистательнѣйшихъ созданій Державина, — а между тѣмъ въ немъ то и увидите вы полное оправданіе нашей мысли объ общихъ недостаткахъ его поэзіи. Уже самая огромность этой оды показываетъ, что въ ея концепціи участвовала не одна фантазія, но и холодный разсудокъ. Поводомъ къ этой одѣ была вѣсть о кончинѣ Потемкина, поразившая поэта скорбнымъ чувствомъ и представившая его духовному оку въ новомъ свѣтѣ колоссальный образъ величайшаго изъ современныхъ ему героевъ. Это скорбное чувство, это возвышенное созерцаніе и должно было бы составлять содержаніе оды. Но поэтъ приплелъ сюда же и Румянцева, который, сидя подъ наклоннымъ кедромъ, мечтаетъ о славѣ и времени, потомъ засыпаетъ и видитъ во снѣ свои подвиги; потомъ просыпается отъ грома сокрушенной ели и падшаго холма и видитъ передъ собою Россію въ образѣ воинственной жены, которая

взываетъ къ нему «проснись!»; при видѣ ея онъ

Вдохнулъ, и испустя слезъ дождь,
Възглаголь: «Знать умеръ нѣкій вождь!»

и началъ разсуждать объ обязанностяхъ истиннаго вождя, о томъ, что лучше быть «менѣе извѣстнымъ, но болѣе полезнымъ» и т. п. Весь этотъ эпизодъ занимаетъ тридцать одну строфу, т. е. сто восемьдесятъ шесть стиховъ!!... Конечно, въ этомъ эпизодѣ, невыдержанномъ въ цѣломъ, есть прекрасныя мѣста; но онъ не идетъ къ дѣлу, безъ нужды плодитъ оду и охлаждаетъ восторгъ читателя, — такъ что прочесть «Водопадъ» съ одного раза, да еще вслухъ — трудъ изнурительный и для ума и для груди... Всѣ эти 186 стиховъ можно выкинуть, и ода ничего не проиграетъ, напротивъ, много выиграетъ: въ ней будетъ меньше риторики и больше поэзіи... Первые семь строфъ, заключающія въ себѣ картину водопада посреди дикой и мрачной природы въ осеннюю ночь, прекрасно настроиваютъ душу читателя къ возвышенно-скорбному чувству, которымъ должна поразить его мысль о внезапномъ паденіи колосса, — и послѣ седьмой строфы:

Ретивый конь осалку горду
Храня, порой къ тебѣ идетъ;
Крутую гриву, жарку морду
Поднявъ, храпять, ушки прядеть,
И подстрекаемъ бывъ, бодрится.
Отважно въ хлябь твою стремится...

можно прямо перейти къ тридцать девятой:

Но кто идетъ тамъ по холмамъ,
Глядясь, какъ мѣсяцъ, въ воды черны;
Чья тѣнь сплзшитъ по облакамъ
Въ воздушныя жилища, горны:
На темномъ взорѣ и челѣ
Сидитъ глубоко дума въ мглѣ!

А тридцать одну строфу, между седьмою и тридцать девятою, можно не читать: тогда впечатлѣніе отъ «Водопада» бу-

доть гораздо сильнѣе; тогда останется, для чтенія, сорокъ шесть строфъ, или двѣсти семдесятъ шесть стиховъ... И тутъ, сколько еще воды риторической! Какъ часто изнемогающее отъ возвышеннаго наслажденія чувство внезапно охладѣваетъ? Но чтобъ мнѣнiе наше не показалось произвольнымъ, подрѣшимъ его выписками.

Какой чудесный духъ крылами
Отъ Сѣвера парить на Югъ?
Вѣтръ медленъ течъ его стезями:
Обозрѣваетъ царство вдругъ,
Шумить, и какъ звѣзда блистаетъ,
И искры въ слѣдъ свой разсыпаетъ.

Этотъ духъ — тѣнь Потемкина; но чтò же это за прозаическое описанiе, ничего не выражающее! И неужели духъ Потемкина непремѣнно долженъ обгонять вѣтеръ, обозрѣвать царства вдругъ, шумѣть, блистать, подобно звѣздѣ, и сыпать искрами по своему слѣду? Риторика!

Чей трупъ, какъ на распутьи мгла,
Лежить на темномъ лонѣ ночи?
Простое рубище чресла,
Двѣ лепты покрываютъ очи.
Прижаты къ холодной груди персты.
Уста безмолвуютъ отверсты!

Чей одръ — земля; кровь — воздухъ синь;
Чертоги — вокругъ пустынны виды?
Не ты ли, счастья, славы сынъ,
Великодушный князь Тавриды?
Не ты ли съ высоты честей
Недавно палъ среди степей?

Не ты ль наперсникомъ близъ трона
У сѣверной Минервы былъ;
Во храмъ музъ, другъ Апполона,
На полъ Марса вождежъ слылъ;
Ръшителъ думъ въ войнѣ и мирѣ,
Моуцъ — хотя и не въ порфирѣ?

Не ты ль, который взвѣсить смѣлъ
Мощь Росса, духъ Екатерины,
И, опершись на нихъ, хотѣлъ
Вознестъ свой громъ на тѣ стремнины,
На коихъ древній Римъ стоялъ
И всей вселенной колебалъ?

Не ты ль, который орды сильны
Сосѣдей хищныхъ пстребилъ,
Пространны области пустыни
Во грады, въ нивы обратилъ,
Покрывъ Понть Черный кораблями,
Потрясъ среду земли громами?

Не ты ль, который зналъ избрать
Достойный подвигъ русской силъ,
Стихиі самыя похвать
Въ Очаковѣ и въ Измаилѣ,
И твердой дерзости такой
Быть двомъ храбрости самой?

*Се ты, отважнѣйшій изъ смертныхъ
Плящій замыслами умъ!
Не шелъ ты средъ путей извѣстныхъ
Но проложилъ ихъ самъ,—и шумъ
Оставилъ по себѣ въ потомки,
Се ты, о чудный вождь Потемкинъ!*

Се ты, которому врата
Торжественныя созидали;
Искусство, разумъ, красота—
Недавно лавръ и миртъ сплестили;
Забавы, роскошь вкругъ цвѣли
И счастье съ славой слѣдомъ шли!

Вотъ это поэзія, не риторика! Правда, и въ этихъ стихахъ не безъ недостатковъ; но они извиняются духомъ времени. Во времена Державина нельзя было сказать: «достойный подвигъ русской силы»: это было бы низко и не согласно съ пареніемъ оды; непременно нужно было сказать: «достойный подвигъ русской силы»: слова «росскій» и «Россеъ» казались

тогда не только необыкновенно звучными, но и отчётливо умными... Выражения: «наперсникъ у сѣверной Минервы, другъ Аполлона во храмѣ музъ, вождь на полѣ Марса» для насъ слишкомъ прозаичны, но, по понятіямъ того времени, въ нихъ-то и заключалась вся сущность поэзіи. За этими прекрасными поэтическими строками, опять слѣдуетъ риторика, и притомъ довольно нескладная:

Се ты, небеснаго плодъ дара
Кому едва я посвятилъ;
Въ созвучность громкаго Пиндара
Мою настройть лиру мнилъ;
Воспѣвъ побѣду Иманна,
Воспѣвъ... Но смерть тебя скосила!

Увы! и хоровъ сладкихъ звукъ
Моихъ въ стenanье превратился;
Свалилась лира съ слабыхъ рукъ,
И я тамъ въ слезы погрузился,
Гдѣ бездна разноцвѣтныхъ звѣздъ
Чертогъ являли райскихъ мѣстъ.

За эту риторикою опять слѣдуетъ поэзія:

Увы! и громы онѣмѣли,
Ревущіе тебя вокругъ;
Полки твои осиротѣли,
Наполнили рыданьемъ слухъ;
И все, что близь тебя блистало,
Уныло и печально стало.

Потухъ лавровый твой вѣнокъ,
Гравена булава упала,
Мечъ въ полножны войти чуть могъ,—
Екатерина возрыдала!
Полстѣта потряслось за ней
Незаконной смертію твоей!

Теперь опять голая риторика:

Оливы свѣжи и зелены
Принесъ и бросилъ Миръ изъ рукъ
Родства и дружбы вопли, стоны,
И музъ ахейскихъ жалкій звукъ
Вокругъ Перикла раздается:
Марокъ по Меценатъ рвется.

Который почестей въ лучахъ,
Какъ нѣкій царь, какъ бы на тронъ.
На сребро-розовыхъ коняхъ,
На золотозарномъ эваторъ,
Во соннѣ всадниковъ блистатъ,
И въ смертный, черный одръ упатъ!

За риторикою опять слѣдуютъ проблески поэзіи:

Гдѣ слава? гдѣ великолѣпье?
Гдѣ ты, о сильный человекъ?
Маусанла долгодѣтье
Лишь было бъ сонъ, лишь тѣнь нашъ вѣкъ;
Вся наша жизнь ничто иное,
Какъ лишь мечтаніе пустое,

Иль нѣтъ! тяжелый нѣкій шаръ.
На нѣжномъ волосѣхъ висающій,
Въ который буръ, громовъ ударъ
И молніи небесъ врящи
Отсюду безпрестанно бьютъ.
И. ахъ! зеэиры легки рвутъ.

А вотъ и чистая поэзія:

Единый часъ, одно мгновенье
Удобны царства поразить,
Одно стихіевъ дуновенье
Гигантовъ въ прахъ преобразить;
Ихъ ищутъ мѣста—и не знаютъ:
Въ пыли героевъ попираютъ!

Героевъ? Нѣтъ! но ихъ дѣла
Изъ мрака и вѣковъ блистаютъ:
Нетлѣнна память, похвала
И изъ развалинъ вылетаютъ;
Какъ холмы, гробы ихъ цвѣтутъ:
Напишется Потемкинъ трудъ

Теперь опять риторика:

Театръ его былъ край Эвксина.
Сердца обязанныя — храмъ;
Рука съ взницомъ—Екатерина;
Гремяща слава — оиміамъ;
Жизнь — жертвенникъ торжествъ и крови,
Гробница—ужаса, любви.

Слѣдующія за тѣмъ пять строфъ, изображающія страхъ Турковъ при мысли объ Измаилѣ и радость «Россіянгъ» при взглядѣ на русскій флотъ въ Черномъ Морѣ, — преисполнены риторики и въ мысли и въ исполненіи. Остальныя девять строфъ исполнены поэзіи, особенно эти двѣ:

По утру солнечнымъ лучемъ
Какъ монументъ золотой зажжется,
Лежать объаты серны сномъ,
И паръ вокругъ холмовъ вѣется,
Пришедши, старецъ надпись зреть:

„Здѣсь трупъ Потемкина сокрытъ!“
Алиціадовъ прахъ! И смѣть
Червь ползаетъ вдругъ его главы?
Взять шлемъ Ахилловъ не робѣть.
Нашедши въ полѣ, Фирсъ? Увы!
И плоть и трудъ коль ислѣваетъ:
Что жь нашу славу составляетъ?..

Мы розобрали одно изъ лучшихъ стихотвореній Державина и это даетъ намъ право не дѣлать дальнѣйшихъ разборовъ такого рода, ибо они загроздили бы статью выписками. И такъ, повторяемъ, что невыдержанность въ цѣломъ и частностяхъ, преобладаніе дидактики, сбивающейся на резонёрство, отсутствіе художественности въ отдѣлѣ, смѣсь риторики съ поэзіею, проблески гениальности съ непостижимыми странностями — вотъ характеръ всѣхъ произведеній Державина.

Какая же, спросить насъ, причина этого: та ли, что Державинъ не поэтъ; та ли, что его талантъ былъ незначителенъ, или, что у него вовсе не было таланта? Ни то, ни другое, ни третье... Отвѣтъ на этотъ вопросъ уже сдѣланъ нами въ началѣ статьи: что было тамъ высказано нами въ общихъ чертахъ, какъ теорія, то приложимъ мы теперь къ вопросу о поэзіи Державина, какъ къ факту. Державинъ былъ человѣкъ, одаренный великими творческими силами,—и онъ сдѣлалъ все, что можно было ему сдѣлать въ то время. Не его вина, что онъ явился въ то, а не въ наше время; не его вина, что поэзія не падаетъ готовая прямо съ неба, а вырастаетъ на землѣ, переходя черезъ всѣ степени развитія, какъ все растущее.

Поэзія въ каждой странѣ имѣетъ свою исторію; поэтому неудивительно, что и въ Россіи она имѣла свою исторію. Отецъ русской поэзіи, патриархъ русскихъ поэтовъ былъ не столько поэтъ, сколько ученый: мы говоримъ о Ломоносовѣ. Поэзія русская не была туземнымъ свѣтомъ, свободно и самобытно развившимся изъ почвы національнаго духа; но, подобно нашей европейской цивилизаціи и нашему европейскому просвѣщенію, она была прививнымъ, или—еще вѣрнѣе сказать—пересаженнымъ растеніемъ. И вотъ здѣсь-то заключается живая связь Петра Великаго съ Ломоносовымъ, какъ причины съ слѣдствіемъ. Наши критики обыкновенно упускаютъ изъ виду это обстоятельство: они обвиняютъ русскую литературу въ подражательности, въ отсутствіи оригинальности, и въ то же время признаютъ Пушкина, Грибоѣдова и другихъ новѣйшихъ писателей оригинальными поэтами, не понимая того, что еслибъ наша поэзія до Пушкина не была подражательною, то и поэзія отъ Пушкина не могла бы быть оригинальною и народною... Да, подражательность первыхъ нашихъ поэтовъ искупила оригинальность послѣдующихъ. И это обстоятельство даетъ особенный характеръ нашей поэзіи и ея историческому развитію. Исторія нашей поэзіи до Пуш-

жина вся заключается—въ усиліи изъ риторики сдѣлаться поэзіею, изъ книжной и школьной стать естественною, изъ подражательной—оригинальною. Ломоносовъ сообщилъ русской поэзіи характеръ чисто-риторическій, чисто-школьный и книжный,—и велико дѣло его, святъ его подвигъ! Намъ нужна была поэзія, во что бы то ни стало, — и Ломоносовъ далъ намъ именно такую поэзію, кромѣ которой ни ему, ни другому кому, хотя и великому гению, дать было невозможно. О Ломоносовѣ вообще утвердилось мнѣніе, что онъ былъ ученый и нисколько не поэтъ: этого мнѣнія нельзя опровергнуть, но едва ли можно и доказать его справедливость. Положимъ, что Ломоносовъ былъ столь же поэтическая натура, какъ и самъ Пушкинъ; но вотъ вопросъ: какъ и въ чемъ бы высказалась его поэтическая натура? Откуда бы почерпнулъ онъ сознательную идею о существованіи поэзіи и о своемъ поэтическомъ призваніи?—Изъ общества? Но тогдашнее общество не имѣло никакого понятія о поэзіи и еще менѣе потребности въ ней, и если оно смотрѣло на стихи Ломоносова не какъ на пустое балагурство, а на него самого не какъ на шута, такъ причиною этому былъ не талантъ Ломоносова, а покровительство Шувалова, вниманіе императрицы... Слѣдовательно, для сознательной идеи поэзіи, Ломоносову былъ одинъ путь—книга, ученіе, наука, знакомство съ Европою. Такъ оно и было. Теперь вопросъ: могъ ли Ломоносовъ не подчиниться вліянію своихъ нѣмецкихъ учителей, и образцы тогдашней нѣмецкой поэзіи могли ли дать поэтической дѣятельности Ломоносова другое направленіе, нежели то, которое они дали ей? Скажутъ: истинный гений не покоряется чуждому вліянію и руководствуется только собственнымъ творческимъ духомъ. Да, это правда, но только тогда, когда уже выработаны матеріалы, изъ которыхъ гений можетъ творить; иначе въ историческомъ процессѣ не бываетъ. И вотъ почему иногда пришествіе одного гения приуготовляется столькими другими, изъ которыхъ иные, можетъ-быть, потому

только кажутся меньше его, что явились прежде его, что исторія осудила ихъ на низшія предварительныя работы. Петръ Великій, въ одно и то же время, работавшій и умомъ и топоромъ, представляетъ собою, въ этомъ отношеніи, дивное исключеніе изъ общаго правила. И такъ, что же оставалось дѣлать Ломоносову? Прежде всего ему надо было подумать о теоріи, тогда какъ въ поэзіи другихъ народовъ практика родила теорію, фактъ возбудилъ потребность сознанія. И вотъ Ломоносовъ думаетъ о томъ, что такое поэзія, какъ она должна быть, и, разумѣется, смотритъ на этотъ предметъ, какъ смотрѣли на него Нѣмцы того времени. Потому, ему нужно было подумать о языкѣ, о версификаціи, ибо до него не было на Руси ни грамматики, ни одного стиха, написаннаго не силлабическимъ размѣромъ, чуждымъ духу и несвойственнымъ гибкости и богатству русскаго языка. (Тредьяковскаго тутъ нечего брать въ расчетъ). Что же было ему пѣть? Любовь?—но для выраженія той любви, которая знакома была современному ему обществу, достаточно было и народныхъ свадебныхъ пѣсенъ, а о другой оно и не заботилось. Нѣтъ, Ломоносовъ пѣлъ то, что было ближе къ дѣлу, что заключалось въ самой дѣйствительности. Солнце русской жизни надолго закатилось со смертію Петра Великаго и освѣтило ее вновь только съ восшествіемъ на престолъ Екатерины Великой; послѣ ужасовъ Бироновской тираніи, царствованіе Елизаветы по справедливости казалось эпохою столь же счастливою, сколько и славною,—и Ломоносовъ пѣлъ «блаженство дней своихъ», пѣлъ «любезныя ему науки въ дражайшемъ отечествѣ». Больше нечего было бы пѣть въ то время и самому Шекспиру. Говорять, стихи его обличаютъ оратора, а не поэта; да иначе и быть не могло даже и въ такомъ случаѣ, еслибы Ломоносовъ былъ столько же поэтическая натура, какъ и Пушкинъ. Но вотъ еще вопросъ: почему стихи Ломоносова такъ необыкновенно хороши по своему времени? Почему изъ его современниковъ никто не пи-

салъ такихъ хорошихъ стиховъ? Почему стихи Сумарокова, болѣе, чѣмъ Ломоносовъ, преданнаго поэзіи и явившагося послѣ него, такъ далеко хуже Ломоносовскихъ стиховъ? Отчего стихи Державина сдѣлали, послѣ стиховъ Ломоносова, такой малый шагъ впередъ, и то въ самыхъ лучшихъ его стихотвореніяхъ, тогда какъ въ ббльшей части не лучшихъ, они хуже, чѣмъ стихи Ломоносова въ одѣ «Къ Іову», въ «Утреннемъ» и «Вечернемъ» размышленіи о величествѣ Божіемъ», которыя отличаются чистотою языка, обличающею въ творцѣ ихъ человѣка ученаго? Конечно, «Мокрый Амуръ» Ломоносова далеко не пойдетъ въ сравненіе съ анакреонтическими стихотвореніями Державина, но, по своему времени, это удивительное стихотвореніе. И такъ, вопросъ о поэтическомъ призваніи и талантѣ Ломоносова пока все еще только— вопросъ, и едва ли есть возможность рѣшить его положительно или отрицательно.

Обратимся къ Державину. Никто самъ собою ничего не дѣлаетъ ни великаго, ни малаго; но, оглядѣвшись вокругъ себя, всякій начинаетъ или продолжать, или отрицать сдѣланное прежде его: это законъ историческаго развитія. Чувствуя наклонность къ поэзіи, имя которой было уже печатно выговорено въ Россіи, и о которой носились уже темные слухи въ небольшомъ грамотномъ кругѣ людей общества того времени,—Державинъ, естественно, не могъ не остановить своего вниманія на Ломоносовѣ, и не подчиниться его вліянію. И Державина за это такъ же можно упрекать, какъ младенца за то, что онъ лепечетъ языкомъ отца своего, звуки котораго впервые огласили его слухъ, а не языкомъ, котораго онъ звуковъ не могъ слышать. Державинъ добродушно удивлялся гению Хераскова, высокому паренію Петрова; но его чутью дѣлаетъ большую честь, что онъ рѣшился подражать только одному Ломоносову. Еще большую честь дѣлаетъ Державину то, что съ 1779 года, онъ пошелъ собственнымъ своимъ путемъ. Не думайте, однакожь, чтобъ онъ на это рѣ-

шился по сознанию недостатковъ поэзіи Ломоносова, или по убѣжденію, что подражаніе ни къ чему не ведетъ, а надо всякому быть самимъ собою: нѣтъ! для такого сознанія и такого убѣжденія еще не наставало время, и Державину не откуда было взять ихъ. Вотъ что говоритъ онъ самъ о произведеніяхъ первой своей эпохи до 1779 года: «Всѣхъ сихъ произведеній своихъ авторъ самъ не одобрялъ, потому что хотѣлъ подражать Ломоносову, но чувствовалъ, что талантъ его не былъ внушаемъ одинаковымъ гениемъ: онъ хотѣлъ парить, но не могъ постоянно выдерживать, красивымъ наборомъ словъ, свойственнаго единственно російскому Пиндару велелѣпія и пышности; а для того въ 1779 году избралъ онъ совершенный особый путь, будучи предводимымъ наставленіями Баттё и совѣтами друзей своихъ: Николая Александровича Львова, Василья Васильевича Капниста и Ивана Ивановича Хемницера». Не думайте также, чтобы «совершенно особый путь» означалъ полную независимость отъ Ломоносова и совершенную самобытность: такой быстрый переходъ въ то время былъ бы скачкомъ, а въ исторіи нѣтъ скачковъ. Державинъ дѣйствительно пошелъ своимъ особымъ путемъ, но не выходя изъ-подъ вліянія Ломоносовской поэзіи; въ поэзіи Державина явились впервые яркія вспышки истинной поэзіи, мѣстами даже проблески художественности, какая-то, ему одному свойственная, оригинальность во взглядѣ на предметы и въ манерѣ выражаться, черты народности, столь неожиданныя и тѣмъ болѣе поразительныя въ то время, — и вмѣстѣ съ тѣмъ, поэзія Державина удержала дидактическій и риторическій характеръ въ своей общности, который былъ сообщенъ ей поэзіею Ломоносова. Въ этомъ виденъ естественный историческій ходъ.

Кстати о дидактикѣ. Она была явленіемъ неизбѣжнымъ и необходимымъ. Занятіе поэзіею должно было чѣмъ-нибудь быть оправдано въ глазахъ общества. Теперь всякій бумаго-маратель, назвавшись поэтомъ, найдетъ кружокъ, который

будетъ смотрѣть на него съ нѣкоторымъ уваженіемъ за то, что онъ—не простой человѣкъ, а «поэтъ». Но это мистическое уваженіе къ слову «поэтъ» не вдругъ же явилось въ русскомъ обществѣ: оно развилось въ немъ временемъ, и конечно, составляетъ его прогрессъ, въ сравненіи съ предшествовавшими эпохами. Во время Ломоносова, слова «поэзія» и «поэтъ» или, по тогдашнему, «пѣтъ», звучали довольно дико и были, къ тому же, нѣсколько опошлены характерами первыхъ двухъ русскихъ «пѣтовъ» Тредьяковскаго и Сумарокова. Если на поэтовъ общество обратило вниманіе, то не иначе, какъ вслѣдствіе покровительства, которое оказывалось имъ высшею властію. «Даютъ чины, подарки за стихи,—стало-быть, стихи что-нибудь да значать же»: такъ думало само съ собою тогдашнее общество. Но надобно же было ему представить пользу отъ поэзіи, чтобъ оно не считало поэзію за одно съ шутовствомъ. Да что общество!—сами поэты того времени не ужѣли объяснить себѣ свою страсть къ поэзіи иначе, какъ ея высокимъ признаніемъ—быть полезною для нравовъ общества. И если хотите, они были правы: поэзія дѣйствительно есть провозвѣстница великихъ истинъ, въ историческомъ движеніи человѣчества развивающихся; но прежде всего она — поэзія, свободное творчество, самостоятельная сфера сознанія, которой нельзя и не должно смѣшивать съ философіей, хотя у нихъ обѣихъ одно и то же содержаніе. Но наши первые поэты стараго времени поняли поэзію, какъ пріятное нравоученіе,—и Мерзляковъ, теоретикъ этой поэзіи, такъ выразилъ ея сущность и цѣль, въ стихахъ, заимствованныхъ имъ у Тасса:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ ѳіалъ, сладкими упитанъ по краямъ:
Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цѣленье,
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Выражаясь прозою, это значитъ, что поэзія есть позолота

на горькой пилюль нравоученія... Миѣніе ограниченное и жалкое, но подъ его эгидю начинается всякая поэзія, возникшая не непосредственно изъ народной жизни, а явившаяся какъ нововведеніе, какъ какое-то общественное учрежденіе... И за то спасибо ему: оно, это миѣніе, поддержало у насъ и дало укрьпиться зародышу поэзіи Ломоносова и Державина. Послѣ этого понятно дидактическое и риторическое направленіе поэзіи Ломоносова и Державина. Было бы крайне несправедливо ставить имъ въ вину это. Въ дѣйствіяхъ великихъ людей бываетъ два рода недостатковъ и ошибокъ: одни происходятъ отъ ихъ личнаго произвола, ихъ личной ограниченности; другіе—изъ духа и потребностей самого времени. За недостатки и ошибки перваго рода можно и должно обвинять великихъ дѣйствователей; недостатки же и ошибки втораго рода можно и должно называть ихъ собственными именами, т. е., недостатками и ошибками, но ставить ихъ въ вину великимъ дѣйствителямъ не можно и не должно.

И такъ, очевидно, что Державинъ не могъ быть, а потому и не былъ поэтомъ-художникомъ; его поэзія—лепетъ младенческой, исполненной жизни и прелести, но не рѣчь разумнаго мужа. И откуда же взялъ бы онъ художественность образовъ, пластическую отдѣлку формы, если въ его время о такихъ хитростяхъ не было понятія, а слѣдовательно, не было въ нихъ и потребности? И потомъ, можно ли винить его за риторику и дидактику, входящія, какъ элементъ, во всѣ, даже лучшія его созданія, а въ посредственныхъ и слабыхъ играющія первую роль?

Конечно, за это никто и не обвинить его: но, съ другой стороны, есть ли какой-нибудь смыслъ обвинять, какъ въ преступленіи, какъ въ дерзкомъ неуваженіи къ священнымъ предметамъ, людей, которые называютъ вещи собственными ихъ именами и не хотятъ видѣть въ нихъ больше того, что есть въ нихъ на самомъ дѣлѣ? Можно насчитать болѣе полусотни стихотвореній Державина, въ которыхъ нѣтъ и искры поэзіи,

и въ которыхъ злоупотребленіе «піитической вольности» съ языкомъ доведено до крайней степени: неужели грѣхъ и преступленіе сказать объ этомъ прямо! неужели критика должна состоять изъ однихъ лицемерныхъ фразъ и натянутаго восторга, выражаемаго общими мѣстами дрянныхъ учебниковъ по части словесности? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ, — тѣмъ болѣе нѣтъ, что подобная искренность нисколько не можетъ повредить славѣ Державина, ни затмить его великаго таланта, ни унижить его великихъ заслугъ! Неудачныя стихотворенія могутъ быть у всякаго великаго поэта, и если у Державина ихъ больше, чѣмъ у другихъ — это вина времени (если только время можетъ быть въ чемъ-нибудь виновато), а не поэта. Жуковскій — тоже поэтъ необыкновенный; онъ явился уже послѣ Державина, когда самый языкъ сдѣлалъ большіе успѣхи черезъ Карамзина и Дмитріева; Жуковскій самъ подвинулъ языкъ впередъ и много сдѣлалъ для стиха и для поэзіи; но и у Жуковского есть длинныя посланія, которыхъ достоинство заключается совсѣмъ не въ поэзіи, а развѣ въ звучности стиха и краснорѣчьи, и которыя, въ сущности, не многимъ важнѣе риторическихъ и дидактическихъ разсужденій въ стихахъ Державина, добродушно называемыхъ имъ одами. И въ этихъ длинныхъ посланіяхъ Жуковского виденъ историческій ходъ развитія нашей поэзіи: у Пушкина уже нѣтъ подобныхъ произведеній, но потому именно и нѣтъ, что они уже были у Жуковского, и что уже пришло время кончиться имъ.

И такъ, некого обвинять и нечего жалѣть, что Державинъ не былъ поэтомъ-художникомъ; лучше подивиться тѣмъ свѣтозарнымъ проблескамъ поэзіи и художественности, которыми такъ часто и такъ ярко вспыхиваетъ дидактическими, по преобладающему элементу своему, поэзія этого могучаго таланта. Натура Державина по преимуществу поэтическая и художественная, но время и обстоятельства положили непреодолимыя преграды ея развитію, и потому въ созданіяхъ Державина нѣтъ поэзіи, какъ искусства, — есть только элементы

и проблески истинной поэзии. Это уже не чисто-подражательная поэзия, какъ у Ломоносова: въ ней уже слышатся и чуются звуки и картины русской природы, но перемѣшанныя съ какою-то искаженною, на французскій манеръ, греческою миеологіею. Возьмемъ для примѣра прекрасную оду «Осень во время осады Очакова»: какая странная картина чисто русской природы съ Богъ-вѣдаетъ какой природою, — очаровательной поэзіи съ непонятною риторикою:

Спустилъ съдой Эолъ Борей
Съ цѣпей чугуныхъ изъ пещеръ;
Ужасны крылья расширя,
Махнулъ по свѣту богатырь;
Погналъ стадами воздухъ синій,
Сгустилъ туманы въ облака
Давнулъ—и облака разсѣлись,
Спустился дождь и восшумѣлъ.

Къ чему тутъ Эолъ, къ чему Борей, пещеры и чугуныя цѣпи? Не спрашивайте. Къ чему нужны были пудра, мушки и фижмы? Во время оно, безъ нихъ нельзя было показаться въ люди... И какъ нейдетъ русское слово «богатырь» къ этому Нѣмцу «Борею»!... Можно ли гонять стадами синій воздухъ? И что за картина: Борей, сгутивъ туманы въ облака, давнулъ ихъ; облака разсѣлись, и оттого спустился дождь и восшумѣлъ?... Вѣдь это—слова, слова, слова!... Но далѣе:

Уже румяна осень носить
Снопы златые на гумно.

Какіе прекрасные два стиха! По нимъ, вы думаете, что вы въ Россіи...

И роскошь винограду просить
Рукою жадной на вино;

Тоже прекрасные стихи; но куда они переносятъ васъ — Богъ вѣсть!

Уже стада толпятся птицы.
Ковыль сребрится по степямъ;
Шумящи красножелты листья
Разстлались всюду по тропамъ.
Въ опушкѣ заяцъ быстроногій,
Какъ колпикъ посѣдѣвъ, лежитъ;
Ловецки раздаются роги,
И выжлять лай и гулъ гремитъ;
Запасиися крестьянинъ хлѣбомъ,
Ѣсть добры щи и пиво пить;
Обогащенный добрымъ небожь...

Тутъ вы ожидаете, что онъ благословляетъ, въ простотѣ сердца, имя Божіе за дары его: ничуть не бывало: онъ —

Блаженство дней своихъ поеть!

Не на лирѣ ли?...

Борей на осень хмурить брови,
И Зиму съ Сѣвера зоветь:
Идетъ съдая чародѣйка,
Косматымъ машетъ рукавомъ,
И снѣгъ, и мразъ, и иней сыплетъ,
И воды претворяетъ въ льды;
Отъ хладнаго ея дыханья
Природы взоръ оцѣпенѣлъ.
На мѣсто радугъ испещренныхъ
Виситъ на небѣ мгла вокругъ,
А на коврахъ полей зеленыхъ
Лежить разсыпанъ бѣлый пухъ:
Пустыни сѣтуютъ и долы,
Голодны волки воютъ въ нихъ;
Древа стоятъ и холмы голы,
И не пасется стада при нихъ.
Ушелъ олень на тундры мшисты
И въ логовище легъ медвѣдь.

И вслѣдъ за этими чудными стихами —

По селамъ немой голосисты
Престали въ хоровахъ пѣть;
Небесный Марсъ оставилъ громы,
И легъ въ туманы отдохнуть...

Какой «небесный Марсъ» и въ какіе «туманы» легъ онъ на отдыхъ? Чтò за «Нимфы голосисты» — ужь не крестьянки ли?... Но называть нашихъ крестьянокъ нимфами все равно, чтò назвать Меланіей Маланью...

Что въ Державинѣ былъ глубоко-художественный элементъ, это всего лучше доказываютъ его такъ называемыя «анакреонтическія» стихотворенія. И между ними нѣтъ ни одного, вполне выдержаннаго; но какое созерцаніе, какіе стихи! Вотъ, напримѣръ, «Побѣда красоты»:

Какъ храмъ Ареопагъ Палладѣ,
Нептуна презря, посвятилъ,
Притекъ къ аѳинской левъ оградѣ,
И ревомъ городу грозилъ.
Она копя непобѣдима
Ко ополченью не взяла,
Противу льва неукротима
Съ Олимпа Гебу призвала.
Пошла,—и подѣ оливой стала,
Блестя легкою броней:
Младую ниму обнимала,
Сидящую въ тѣни вѣтвей.
Левъ шелъ,—и подѣ его стоюю
Приморскій влажный брегъ дрожалъ,
Но встрѣтись вдругъ со красотою,
Какъ солнцемъ пораженный, сталъ.
Вздыхалъ и палъ къ ногамъ левъ сильный,
Прелеству руку лобызалъ
И чувства кроткія, умильны,
Въ сверкающихъ очахъ являлъ.
Стыдлива дѣва улыбалась
На молодаго льва смотря,
Кудрявой гривой забавлялась
Сего звѣринаго царя.
Минерва мудрая познала
Его родящуюся страсть,
Цвѣтчной цѣпью привязала
И отдала любви во власть.
Не разъ потомъ уже случалось,

Что умъ смиралъ и ярость львовъ,
Красою мужество сражалось,
А побѣждала все любовь.

Изъ этого стихотворенія видно въ Державинѣ живое сочувствіе къ древнему міру, какъ свидѣтельство глубоко-художественнаго элемента въ натурѣ поэта. Но піеса «Рожденіе Красоты» еще болѣе обнаруживаетъ это артистическое сочувствіе поэта къ художественному міру древней Греціи, хотя эта піеса и еще менѣе выдержана, чѣмъ первая. Доказательствомъ же того, какими превосходными стихами могъ писать Державинъ, служить его стихотвореніе «Русскія Дѣвушки»:

Зрѣлъ ли ты, пввецъ тійскій,
Какъ въ дугу, весной, бычья
Пляшутъ дѣвушки *россійски*
Подъ свирѣлю пастушка?
Какъ, склонясь *мавами*, ходять,
Башмачками въ ладъ стучать,
Тихо *руки*, *взоръ* *новодать*,
И плечами говорятъ?
Какъ ихъ лентами златыми
Чела бѣлыя блестятъ,
Подъ жемчугами драгами
Груди нѣжныя дышатъ?
Какъ сѣвось жили голубыи
Льется розовая кровь,
На ланитахъ огневныя
Ямки врѣзала любовь!
Какъ ихъ брови соболины,
Полный искръ соколіи взглядъ,
Ихъ усѣяшка—души львины
И сердца орловъ разить?
Коль бы видѣлъ дѣвъ сихъ красныхъ,
Ты-бъ Гречавокъ позабылъ,
И на крыльяхъ сладострастныхъ
Твой Эроть прикованъ былъ.

Оставимъ въ сторонѣ достолюбезную наивность мысли—заставить Анакреона удивляться *россійскимъ дѣвушкамъ*, пля

шущимъ весною на дугу «бычка», и отдать имъ первенство передъ богинями и нимфами древней Эллады; оставимъ также въ сторонѣ книжное и не идущее къ дѣлу слово «главами», ошибку противъ языка, который велитъ поводить руками и взорами и не позволяетъ «поводить руки и взоры», оставимъ все это въ сторонѣ, какъ погрѣшности, неизбѣжныя по духу времени, и спросимъ: можно ли согласиться, что стихи этой пьесы, какъ стихи—прекрасны? Стало быть, Державинъ могъ всегда писать прекрасными стихами?—Конечно могъ, ибо онъ по натурѣ своей былъ великій поэтъ.—Отчего же онъ такъ рѣдко писалъ хорошими стихами?—Оттого, что въ его время не было ни понятія о необходимости прекрасныхъ стиховъ, ни потребности въ нихъ; оттого, что въ его время, о поэзіи всего менѣе думали, какъ о красотѣ, не подозрѣвая, что поэзія и красота—одно и то же. Поэтому, Державинъ всего менѣе заботился о стихѣ, а такъ какъ онъ началъ писать очень поздно, то и не могъ овладѣть ни языкомъ, ни стихомъ, обладаніе которыми и величайшимъ поэтамъ достается не безъ тяжкаго труда. Оттого же, Державину такъ трудно было поправлять свои пьесы, и всѣ его поправки были большею частію неудачны. Что касается до неточности въ выраженіи,—отъ того времени и требовать невозможно точности, а страшное насилуваніе языка, т. е. произвольныя усѣченія, ударенія, часто искаженіе слова, должно приписать тому, что Державинъ въ молодости не имѣлъ возможности приобрести по части языка, ни познаній, ни навыка.

Сколько бы ни разобрали мы пьесъ Державина,—все пришли бы къ одному и тому же результату: великъ былъ естественный талантъ Державина, а поэтомъ-художникомъ онъ все-таки не былъ; и цѣлый кругъ его поэтической дѣятельности представляетъ собою только порываніе къ поэзіи и достиженію ея лишь мгновенными вспышками и неожиданными проблесками. Даже лучшія, самыя поэтическія его произведенія, какъ, на примѣръ, «Фелица», могутъ намъ нравиться

не иначе, какъ только подъ условіемъ изученія, какъ факты историческаго развитія русской поэзіи. Читая ихъ, мы должны оторваться отъ своего времени и своихъ понятій, и силою размышленія, такъ сказать, заставить себя видѣть поэзію и талантъ въ томъ, что въ современномъ намъ писателѣ называли бы мы прозою и бездарностію. Однимъ словомъ, стихотворенія Державина, разсматриваемыя съ эстетической точки, суть не что иное, какъ блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи, — некрасивая куколка, изъ которой должна была выпорхнуть, на очарованіе глазъ и умиленіе сердца, роскошно-прекрасная бабочка... Повторяемъ: талантъ Державина великъ; но онъ не могъ сдѣлать больше того, что позволили ему его отношенія къ историческому положенію общества въ Россіи. Державинъ великъ и въ томъ, что онъ сдѣлалъ: зачѣмъ же приписывать ему больше того, что могъ онъ сдѣлать? Державинъ великій поэтъ русскій, — и этого довольно, нѣтъ никакой нужды величать его Пиндаромъ, Анакреономъ и Горациемъ, съ которыми у него нѣтъ ничего общаго. Пиндаръ, Анакреонъ и Гораций дѣйствовали на почвѣ всемірно-исторической жизни и были по превосходству художниками, какъ органы художественнаго древняго міра, особенно Пиндаръ и Анакреонъ — пѣвцы народа эллинскаго, народа-художника...

Во второй статьѣ, мы разсмотримъ стихотворенія Державина съ исторической точки, безъ которой всякое сужденіе о такомъ поэтѣ было бы односторонне и неполно.

2.

Такъ какъ искусство, со стороны своего содержанія, есть выраженіе исторической жизни народа, то эта жизнь и имѣетъ на него великое вліяніе, находясь къ нему въ такомъ же отношеніи, какъ масло къ огню, который оно поддерживаетъ

въ лампѣ, или, еще болѣе, какъ почва къ растеніямъ, которыми она даетъ питаніе. Сухая и каменистая почва неблагоприятна для растительности; бѣдная содержаніемъ историческая жизнь неблагоприятна для искусства. Содержаніе исторической жизни составляютъ идеи, а не одни факты. Всѣ великіе народы, въ исторіи которыхъ міродержавный промыслъ осуществилъ судьбы человѣчества, жили и живутъ идеею, и умираютъ, какъ скоро ихъ историческая идея изжита ими вполне. Но такіе народы умираютъ только эмпирически: идеально же ихъ существованіе безсмертно. Доказательство этому—древній міръ. Доселѣ вновь прорытая улица Помпей, вновь открытый домъ въ ней, съ его утварью и мельчайшими признаками быта жителей,—для насъ, гражданъ новаго міра, составляютъ важное событіе, возбуждая вниманіе всѣхъ образованныхъ людей во всѣхъ пяти частяхъ свѣта. А какое было бы торжество для образованныхъ міра, если бы нашлись утраченныя части твореній Геродота, Эсхила, Софокла, Эврипида, Плутарха, Тита Ливія, Тацита и другихъ?... Многие негодуютъ на то, что наши дѣти прежде именъ отечественныхъ героевъ узнаютъ имена Солоновъ, Ликурговъ, Фемистокловъ, Аристидовъ, Перикловъ, Алкивіадовъ, Александровъ и Цезарей: негодованіе несправедливое и несновательное!—въ деспотизмѣ такого умственного, идеальнаго владычества древняго міра нѣтъ ничего оскорбительнаго и возмущающаго: это власть законная, почеть заслуженная! Идея древне-эллинской жизни была такъ глубока и многосторонняя, что нѣтъ никакой возможности даже намекнуть на нее въ нѣсколькихъ словахъ, — особенно, если говоришь о ней мимоходомъ, какъ говоримъ мы теперь. Другое дѣло—идея исторической жизни Римлянъ: она сколько глубока, столько же и односторонняя, и по тому самому даетъ возможность сколько-нибудь удовлетворительнаго на нее намека. Пульсъ исторической жизни Рима, ея сокровенный тайникъ, ея животворная идея, ея альфа и омега, ея первое и послѣднее

слово,—это право (jus). Что было одною изъ многихъ сторонъ исторической жизни Греціи,—то было единою, исключительно и полною жизнію Рима, — и за то, Римъ вполне развилъ, разработалъ и изжилъ этотъ основной элементъ своей жизни. Скажутъ: Римляне велики еще и какъ народъ воинственный, какъ всемірные завоеватели. Такъ! но и кромѣ Римлянъ много было народовъ-завоевателей, а одни только Римляне, умѣя завоевывать, умѣли и упрочивать свои завоеванія. Чѣмъ же упрочивали они ихъ? — своимъ правомъ, своею гражданственностію. Побѣжденные народы принимали ихъ законы, обычаи и нравы, даже самый языкъ ихъ, по тому, непреложному вѣчному закону историческаго развитія, по которому тьма уступаетъ мѣсто свѣту, невѣжество—разуму. Право было источникомъ всѣхъ событій, всѣхъ волнений и переворотовъ въ исторической жизни Римлянъ, и вся исторія ихъ—развитіе идеи права въ хронологической послѣдовательности фактовъ; оно, это право, было вѣчнымъ двигателемъ и рычагомъ государственной и общественной жизни Римлянъ; изъ него и для него длилась эта упорная борьба патриціевъ и плебеевъ, за него волновался народъ и умирали Гракхи; приобщенія къ нему добивались побѣжденные города и народы. Процессъ гражданской борьбы и внѣшней войны почти всегда имѣлъ въ Римѣ своимъ результатомъ—успѣхъ права. Скажутъ: несмотря на то, что въ основѣ исторической жизни Римлянъ лежала идея, ихъ искусство было подражательное, не оригинальное? Такъ, но причина этого заключалась, можетъ-быть, въ односторонности и исключительности ихъ идеи, равно какъ и въ томъ, что Римляне были по преимуществу народъ практическій, чуждый всякой созерцательности. Поэзія явилась у нихъ, какъ наслѣдіе умершей Греціи, на закатѣ ихъ собственной жизни, когда уже дряхлое общество не могло быть питательною почвою для цвѣтотвъ поэзіи. Оттого латинская поэзія и носитъ на себѣ отпечатокъ не только подражательности, но и старческой дряхлости:

отпущенникъ Мецената, Горацій, добровольно остался работъ и холопомъ своего милостивца, и создалъ меценатскую поэзію, воспѣвая миръ и тишину Рима, купленные цѣною упадка доблести и добродѣтели. Впрочемъ, и кромѣ Virgilія, этого поддѣльнаго Гомера римскаго, Римляне имѣли своего истиннаго и оригинальнаго Гомера въ лицѣ Тита Ливія, котораго исторія есть національная поэма, и по содержанію, и по духу, и по самой риторической формѣ своей. Но высшею поэзію Римлянъ была и навсегда осталась поэзія ихъ дѣлъ, поэзія ихъ права: первая и теперь возвышаетъ и укрѣпляетъ всякую благородную душу въ святомъ чувствѣ патріотическаго героизма, а Юстиніановъ кодексъ—зрѣлый плодъ исторической жизни Римлянъ—освободилъ Европу отъ оковъ феодальнаго права. Сначала принятый ею какъ фактъ, онъ потомъ вошелъ въ ея жизнь и, въ свою очередь, принялъ въ себя христіанскіе элементы и теперь продолжаетъ развитіе своего бессмертнаго существованія: въ немъ-то и чрезъ него-то доселѣ живетъ древній Римъ въ новомъ мірѣ.

Изъ народовъ новаго человѣчества, Испанцы первые выступили на поприще всемірно-исторической жизни. Нація экзальтированная и фантастическая, Испанія должна была на время слиться съ чуждымъ ей по происхожденію, но родственнымъ ей (по пылкости чувства и воображенія) племенемъ Аравитянъ, и сдѣлалась представительницею рыцарственности среднихъ вѣковъ, съ ея восторженными понятіями о чести, о достоинствѣ привилегированной крови, о любви, о храбрости, о великодушіи, съ ея фантастическою и суевѣрною религіозностію. Отсюда это множество рыцарскихъ романовъ и еще большее множество романсовъ на испанскомъ языкѣ; отсюда же объясняется и появленіе Сервантесова «Донъ-Кихота»: ибо всякая крайность тамъ же, гдѣ возникла, и вызываетъ противъ себя реакцію.

Италія была второю странюю новой Европы, гдѣ загорѣлся свѣтъ просвѣщенія. Италію можно назвать, не боясь слиш-

комъ ошибиться, христіанскою реставраціею изящнаго міра древняго. И потому, какъ Испанія представляла собою чудесное зрѣлище фантастическаго сліянія аравійскаго духа съ европейскимъ христіанствомъ, такъ Италія представляла не менѣе чудное зрѣлище фантастическаго сліянія древняго съ европейскимъ христіанствомъ, котораго «вѣчный городъ» былъ главою и представителемъ. Возникшая на классической почвѣ, среди развалинъ и памятниковъ древняго искусства, тевтонская Италія возродилась въ чувствѣ красоты и изящества. Отъ этого, идея искусства сдѣлалась источникомъ жизни Итальянца, и каждый Итальянецъ сталъ или художникомъ, или диллетантомъ. Итальянское искусство осталось вѣрно своему классическому небу, своей классической природѣ, и въ новыхъ формахъ отразило древнюю жизнь, съ ея изящною нѣгою, съ ея обаятельными формами. Самое богословіе католицизма какъ-то чудно слилось съ преданіями классической древности: Виргилій чуть-чуть не считался святымъ, и въ «Божественной Комедіи» онъ провожаетъ великаго творца ея по мрачнымъ областямъ ада и чистилища. Чувственный и соблазнительный пѣвецъ рыцарскихъ и любовныхъ похуждений, Аріостъ, больше Тасса былъ итальянскимъ Гомеромъ. У самого Тасса героемъ поэмы скорѣе можно назвать Армиду, чѣмъ Годфреда: обольстительный образъ первой есть болѣе искренное и задушевное, а слѣдовательно, и живое созданіе поэта, чѣмъ суровый образъ втораго. Критики новѣйшаго времени изъявили большія сомнѣнія на счетъ «идеальности» мадоннъ, созданныхъ кистію великихъ художниковъ Италіи; сверхъ того, они видятъ въ этихъ модоннахъ болѣе дань понятіямъ времени, чѣмъ свободное творчество, которому были посвящены другія творенія болѣе искреннія и задушевные, и потому болѣе близкія къ типу обаятельной и совершенно земной красоты.

Въ наше время три націи являются по преимуществу представителями челоуѣчества—Германія, Франція и Англія. Въ

идеализмъ заключается источникъ рациональной жизни Германіи. Миръ идей составляетъ сферу, которою, такъ сказать, дышитъ Нѣмецъ. Цѣль жизни Нѣмца—знаніе, и знаніе его заключено въ идеѣ; постичь идею предмета, для него—значитъ овладѣть предметомъ. И потому, только въ знаніи и соприкасается Нѣмецъ съ міромъ и жизнью. Отсюда его нравственный аскетизмъ: понявъ идею предмета, онъ равнодушенъ къ тому, что этотъ предметъ не сообразенъ съ своимъ идеаломъ. Отсюда и аскетическій характеръ поэзіи Нѣмцевъ: мірообъемлющая по идеямъ, воплощеннымъ въ ней, она призываетъ къ миру съ дѣйствительностію, какова бы ни была эта дѣйствительность; она настроиваетъ человѣка къ одинокой созерцательной жизни внутри самого себя, дѣлаетъ его властелиномъ въ сферѣ мысли и машиною въ сферѣ дѣйствительности. И оттого-то нѣмецкая поэзія такъ любитъ избирать своимъ исключительнымъ предметомъ или внутренніе процессы въ духѣ человѣка, или мистику сердца человѣческаго. А отсюда объясняются великіе успѣхи Нѣмцевъ въ лирической поэзіи и музыкѣ, и ихъ неуспѣхи въ другихъ родахъ поэзіи. Но уже аскетическая поэзія Нѣмцевъ изчерпала все свое содержаніе и совершила полный кругъ свой: теперь жаждетъ она иныхъ элементовъ, иныхъ мотивовъ. Какъ бы то ни было, но внутренній міръ души человѣка—великій міръ, и Нѣмцы оказали человѣчеству великую услугу ученою и поэтическою разработкою этого міра. Конечно, великое достоинство аскетической поэзіи Нѣмцевъ составляетъ и великій недостатокъ ея, какъ всего односторонняго и исключительнаго; но все же сфера этой поэзіи—сфера всемірно-историческая, и въ ней не могли не явиться великіе, міровые поэты.

Совсѣмъ иной характеръ имѣютъ жизненная идея и пафосъ французской націи: это вѣчно-тревожное стремленіе къ идеалу и уравниенію съ нимъ дѣйствительности. Искусство во Франціи всегда было выраженіемъ основной стихіи ея національной жизни: въ вѣкѣ отрицанія, въ XVIII вѣкѣ, оно



было исполнено ироніи и сарказма; теперь оно одно исполнено страданіями настоящаго и надеждами на будущее. Всегда было оно глубоко-національнымъ, даже во времена псевдо-классицизма, натянутого подражанія древнимъ,—и Корнель, Расинъ, Мольеръ столько же національные поэты Франціи, сколько Вольтеръ, Руссо, а теперь Беранжé и Жоржъ Зандъ.

Англія составляетъ прямую противоположность и Германіи и Франціи. Сколько Германія идеальна, столько Англія практически положительна; какъ велики успѣхи Нѣмцевъ въ философіи, такъ ничтожны попытки Англичанъ въ абсолютной наукѣ; у Англичанъ источникомъ всѣхъ ихъ историческихъ событій бываетъ польза общества. Человѣкъ въ этомъ обществѣ ничего не значитъ самъ по себѣ, но получаетъ большее или меньшее значеніе отъ того, что онъ имѣетъ, или чѣмъ онъ владѣетъ. Покореніе силъ природы на службу обществу, побѣда надъ матеріею, пространствомъ и временемъ, развитіе промышленности, какъ основной общественной стихіи, какъ краеугольнаго камня зданія общества, — вотъ въ чѣмъ сила и величіе Англіи и ея заслуги передъ человѣчествомъ. Во многомъ похожая на древній Римъ, практическая Англія довершаетъ свое сходство съ нимъ и огромными завоеваніями, причина которыхъ—корыстные расчеты, а результатъ—распространеніе цивилизациі по всему міру. Но въ отношеніи къ искусству, Англія ничего общаго съ древнимъ Римомъ не имѣетъ: тевтонское племя, двумя слоями — саксонскимъ и нормандскимъ—легшее на почвѣ ея историческаго формировавія, и христіанство, какъ глубоко вошедшій въ жизнь ея элементъ, заронили въ національный духъ Англичанъ плодотворныя сѣмена поэзіи. Но и въ поэзіи, Англія рѣзко отличается отъ Германіи и отъ Франціи. Какъ въ странѣ по превосходству общественной и практической, въ Англіи особенно развились драма и романъ, недоступные для Нѣмцевъ; отъ Французской же поэзіи англійская отличается и своей художественностію и своимъ равнодушіемъ къ вѣрно-изображаемой

ею дѣйствительности, безъ скорби о неразумности и безъ радости о разумности этой дѣйствительности, безъ порыванія подвигнуть ее возвыситься до идеала. Но какъ Англія есть страна всевозможныхъ противорѣчій нравственныхъ, то и невозможно подвести явленій ея поэзіи подъ какую-либо определенную точку зрѣнія: такъ, напримѣръ, объ руку съ ея равнодушіемъ къ добру и злу дѣйствительности идетъ самый глубокой юморъ, а въ Байронѣ Англія имѣла поэта, который, по пафосу своей поэзіи, всего родственнѣе Франціи и всего враждебнѣе своему отечеству. Правда, Вольтеръ и Руссо имѣли сильное вліяніе на Байрона; но правда и то, что юморъ, мрачная глубина и колоссальная сила духа Байрона явно облачаютъ въ немъ сына Британіи. Вообще, Байронъ также есть намекъ на будущее Англіи, какъ Шиллеръ—наекъ на будущее Германіи: оба эти поэта были рѣзкими противорѣчіями національному духу своихъ странъ, и, въ то же время, каждый изъ нихъ могъ явиться только въ своей странѣ. Но съ Шиллеромъ скоро помирилась его Германія, которую сначала такъ дико озадачило его явленіе; Байронъ же и умеръ въ непримиримой враждѣ съ своей родиною, и великая нація, въ свою очередь, двинулась въ срѣтеніе только гробу его...

Если въ этомъ очеркѣ національностей, игравшихъ или играющихъ первыя роли на позорищѣ всемірной исторіи, и въ очеркѣ отношенія исторической идеи жизни народовъ къ поэзіи, мы не выразили опредѣлительно нашей мысли (чего невозможно было сдѣлать, говоря мимоходомъ о такомъ предметѣ, котораго стало бы на огромное отдѣльное сочиненіе), то по крайней мѣрѣ сдѣлали на него опредѣлительный, сколько могли, намекъ. Прибавимъ къ сказанному, что основная идея національно-исторической жизни народа существуетъ всегда, какъ сумма понятій и правилъ общества; она даетъ себя чувствовать даже въ самыхъ, повидимому, мелочныхъ обычаяхъ и нравахъ общества. Такъ, напримѣръ, страсть Французовъ къ баламъ, театрамъ и всякаго рода публичнымъ увеселе-

ніямъ, ихъ природная вѣжливость и любезность, охота и умѣніе вести легкой и бѣглый свѣтскій разговоръ, ихъ искусство популяризовать всякое знаніе, дѣлать доступнымъ черезъ ясное изложеніе всякій предметъ, самое непостоянство ихъ модъ въ одеждѣ и житейскихъ удобствахъ,—все вытекаетъ изъ основной идеи ихъ національно-исторической жизни. Англичане суровы, важны и недоступны въ обществѣ; они легче сходятся другъ съ другомъ въ парламентъ, въ трибуналъ, на биржѣ, чѣмъ въ салонѣ, и въ послѣднемъ они этикетны: ихъ пиры и обѣды выражаютъ не свѣтскую, а политически-гражданскую общительность; они преданы семейной жизни, гдѣ глава семейства является маленькимъ деспотомъ, и гдѣ основные принципы отзываются маленькимъ варварствомъ феодальныхъ временъ; въ свѣтской же жизни Англичане этикетны и скучны съ достоинствомъ. Въ общественныхъ нравахъ ихъ царствуетъ чопорность, pruderie, и самая ограниченная, самая мелкая стѣснительная моральность. Что-то жесткое и грубое есть въ ихъ нравахъ, какъ необходимый результатъ вѣчнаго торгашества и вѣчной борьбы промышленнаго духа съ внѣшними препятствіями. Энергія національнаго духа Англичанъ, которой они обязаны своимъ государственнымъ величіемъ, своею всемірною торговлею и своими всемірными завоеваніями и поселеніями, трагически выражалась въ политическихъ и религіозныхъ переворотахъ. Отсюда эта мрачность и суровое величіе ихъ поэзіи; отсюда же происходятъ и ихъ великіе успѣхи въ драматической поэзіи: сама исторія Англій есть рядъ трагедій, и Шекспиру легко могла войти въ голову мысль писать трагическія хроники Англій: матеріалы были у него подъ рукою,—стало только оживить ихъ духомъ поэзіи. Нѣмецъ не рожденъ ни для свѣтской, ни для политически-гражданской общительности: что для Француза салонъ, маскарадъ, театръ, гулянье, бульваръ, что для Англичанина парламентъ и биржа,—то для Нѣмца, университетъ, ученый съѣздъ, ученый комитетъ. Отсюда это

удивительное множество университетовъ, существующихъ цѣлые вѣка; отсюда эта особенность университетскихъ нравовъ и обычаевъ, эта противоположность буршества съ филистерствомъ. До тридцати лѣтъ, Нѣмецъ бываетъ буршемъ, и какъ скоро часовая стрѣлка станетъ на послѣдней минутѣ его тридцати лѣтъ, онъ тотчасъ же дѣлается филистеромъ. Многіе изъ Нѣмцевъ даже рождаются филистерами, и ни одной минуты въ своей жизни не бываютъ буршами, тогда какъ буршами они никогда не рождаются, а только прикидываются ими на время—ужь никакъ не долѣе тридцати лѣтъ. Нѣмецъ уживется гдѣ угодно; ему вездѣ хорошо, вездѣ отечество, и при всемъ этомъ онъ вездѣ вѣренъ себѣ, вездѣ тотъ же угловатый и странный Нѣмецъ. Это явленіе въ самой живой связи съ основною идеею національно-исторической жизни Нѣмцевъ: они въ знаніи признаютъ то, чего еще нѣтъ, но что должно быть по разуму, и отвергаютъ то, что есть въ дѣйствительности, но чего бы не должно быть по разуму, а жить въ ладу и въ мирѣ со всякою дѣйствительностію; для Нѣмца знать и жить двѣ совершенно различныя вещи. Нѣмецъ болѣе семьянинъ, чѣмъ кто-нибудь, и ничего не можетъ быть возвышеннѣе и сладостнѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и пошлѣе его семейнаго счастья: таково свойство всякой односторонности и исключительности!... Сахаръ хорошая вещь, но попробуйте сдѣлать обѣдъ изъ одного сахара или на одномъ сахарѣ—будетъ и приторно и нездорово. Ни на одномъ языкѣ нѣтъ столь высокихъ пѣсенъ любви, какъ на нѣмецкомъ, и на немъ же больше, чѣмъ на другихъ, написано приторныхъ до пошлости сердечныхъ изліяній. И это относится не къ однимъ мелкимъ талантамъ, не къ одной бездарности: что можетъ быть приторнѣе и пошлѣе «Стеллы», «Брата и Сестры», «Германа и Доротеи?» — а Гёте былъ великій гоній!

Такимъ образомъ, основная идея національно-историческаго значенія народа, какъ воздухъ — основной элементъ всякаго существованія, проникаетъ насквозь и внутреннюю и внѣш-

нюю жизнь народа, давая себя чувствовать, и какъ сумма нравственныхъ убѣжденій и принциповъ общества, и какъ образъ и форма жизни, то-есть, какъ нравы и обычаи народа. Великій поэтический талантъ, являющійся среди такого народа, такъ сказать, съ молокомъ своей матери всасываетъ въ себя готовое уже содержаніе для своей будущей поэзіи, для своихъ будущихъ твореній, — и свободно, безъ всякихъ усилій и натяжекъ, выражаетъ въ нихъ и достоинство и недостатки основной идеи національно-исторической жизни своего народа.

Смотря на Державина какъ на русскаго Пиндара, Горация и Анакреона вмѣстѣ, должно прежде рѣшить вопросъ: были ли, въ его время, историческіе и общественные элементы, которые могли бы дать готовые матеріалы для его таланта, готовое содержаніе для его поэзіи? Вотъ въ чемъ вопросъ, а совѣмъ не въ томъ, что Державинъ былъ потомокъ Багрима, сѣверный бардъ, и что въ его поэзіи щедрою рукою разсыпаны алмазы, сапфиры, изумруды и яхонты...

Какую идею предназначено выразить Россіи—опредѣлить это тѣмъ труднѣе и даже невозможнѣе, что европейская исторія Россіи началась только съ Петра Великаго, и что, поэтому, Россія есть страна будущаго. Россія въ лицѣ образованныхъ людей своего общества, носитъ въ душѣ своей непобѣдимое предчувствіе великости своего назначенія, великости своего будущаго. И не увлекаясь ни дѣтскими фантазіями, ни ложнымъ патріотизмомъ, можно сказать смѣло, что есть факты, превращающіе это предчувствіе въ убѣжденіе. Всѣ великіе народы имѣли своихъ великихъ представителей или въ историческихъ, или въ мифическихъ лицахъ. Много имѣла первыхъ древняя Греція, но ни одинъ изъ нихъ не выразилъ собою такъ полно національнаго духа, какъ мифическое лицо божественнаго Ахилла, воспѣтаго царемъ греческихъ поэтовъ — Гомеромъ. Мы, Русскіе, имѣли своего Ахилла, который есть неопровержимо историческое лицо,

ибо отъ дня его смерти протекло только 118 лѣтъ, но который есть миѣнческое лицо со стороны необъятной великости духа, колоссальности дѣлъ и невѣроятности чудесъ, имъ произведенныхъ. Петръ былъ полнымъ выраженіемъ русскаго духа, и еслибы между его натурою и натурою русскаго народа не было кровнаго родства—его преобразованія, какъ индивидуальное дѣло сильнаго средствами и волею человѣка, не имѣли бы успѣха. Но Русь неуклонно идетъ по пути, указанному ей творцомъ ея. Петръ выразилъ собою великую идею самоотрицанія случайнаго и произвольнаго въ пользу необходимаго, грубыхъ формъ ложно разившейся народности въ пользу разумнаго содержанія національной жизни. Этою высокою способностію самоотрицанія обладаютъ только великіе люди и великіе народы, и ею-то русское племя возвысилось надъ всѣми славянскими племенами; въ ней-то и заключается источникъ его настоящаго могущества и будущаго величія. До Петра, русская исторія вся заключалась въ одномъ стремленіи къ сочлененію разъединенныхъ частей страны и сосредоточенія ея вокругъ Москвы. Въ этомъ случаѣ помогло и татарское иго, и грозное царствованіе Іоанна. Цементомъ, соединившимъ разрозненныя части Руси, было—преобладаніе московскаго великокняжескаго престола надъ удѣлами, а потомъ уничтоженіе ихъ, и единство патріархальнаго обычая, замѣнявшаго право. Но эпоха Самозванцевъ показала, какъ еще не довольно твердъ и достаточенъ былъ этотъ цементъ. Въ царствованіе Алексія Михайловича обнаружилась живая необходимость реформы и сближенія Руси съ Европою. Было сдѣлано много попытокъ въ этомъ родѣ; но для такого великаго дѣла нуженъ былъ и великій творческій геній, который и не замедлил явиться въ лицѣ Петра. Со смертію его, надолго закатилось солнце русской жизни, и до царствованія Екатерины II-й едва поддерживались установленныя Петромъ формы, безъ дальнѣйшаго развитія, движенія впередъ. Ве-

ливая продолжила дѣло Великаго, и Русь быстро двинулась по пути преуспѣянія. Екатерина II заботилась не о поддержаніи уже устарѣвшихъ формъ эпохи Петра, а о ихъ развитіи. Это была великая эпоха въ исторіи Руси, хотя, въ то же время, эта эпоха почти столько же домашнее дѣло, въ отношеніи къ Руси, сколько и эпоха Петра: обѣ онѣ были залогомъ будущаго всемірно-историческаго содержанія. Но для поэзіи просто, безъ дальнѣйшихъ европейскіхъ претензій, эпоха Екатерины II была благопріятна: въ продолженіе ея могъ явиться по крайней мѣрѣ зародышъ поэзіи, — и онъ явился.

Скажутъ: Россія, еще до Екатерины Великой, держала твердый голосъ на сеймѣ европейскомъ, и ея политическое значеніе тяжело лежало на вѣсахъ европейской политики. Это совершенная правда, которой мы и не думаемъ оспаривать; но мы говоримъ не о политическомъ всемірно-историческомъ значеніи, а о нравственномъ всемірно-историческомъ значеніи, которое проявляется въ наукѣ, въ искусствѣ, въ современно исторической идеѣ самого политическаго стремленія. Намъ опять скажутъ, что въ царствованіе Екатерины II, Россія была уже образованною страной, и что духъ XVIII вѣка въ ней такъ же отражался, какъ и въ Пруссіи при Фридрихѣ II; что Россія не только читала въ подлинникѣ тогдашнихъ знаменитыхъ писателей Франціи, но что эти знаменитые писатели даже переводились на русскій языкъ. Это справедливо, только съ этимъ нельзя согласиться безусловно. Въ царствованіе Екатерины II, просвѣщеніе и образованность были дѣйствительно европейскія и болѣе или менѣе въ духѣ XVIII вѣка; но они сосредоточивались при дворѣ, не выходя за его предѣлы. Тогда только одинъ классъ общества былъ причастенъ европейскому просвѣщенію и образованности: это высшее дворянство, имѣвшее доступъ ко двору, или, лучше сказать, вельможество, не имѣвшее въ этомъ отношеніи ничего общаго съ другими классами общества. Но одинъ, и при-

томъ самый меньшій по числу классъ общества еще не составляетъ цѣлаго общества, особенно, если онъ своимъ высокимъ положеніемъ разъединенъ съ другими классами. Въ царствованіе Александра Благословеннаго и среднее дворянство, значительное по числу, явилось просвѣщеннѣйшимъ и образованнѣйшимъ сословіемъ сравнительно съ другими. Поэтому очень понятно, что въ то время всѣ замѣчательнѣйшіе писатели наши принадлежали исключительно этому сословію. Въ настоящее благополучное царствованіе, просвѣщеніе и образованность замѣтно распространились не только между среднимъ сословіемъ (разумѣя подъ этимъ словомъ такъ называемыхъ «разночинцевъ»), но и между низшими классами: по крайней мѣрѣ теперь не рѣдкость образованные и даже просвѣщенные люди изъ купеческаго и мѣщанскаго сословія, изъ которыхъ нѣкоторые даже пользуются болѣе или менѣе почетною извѣстностію въ литературѣ. И потому никакъ нельзя сказать, чтобы теперь не было въ Россіи общества и даже общественнаго мнѣнія. Но въ царствованіе Екатерины ничего этого и быть не могло, по закону исторической послѣдовательности. Тогда дѣйствительно переводили по-русски философскія сказки Вольтера и «Новую Элоизу» Руссо, но ихъ читали, какъ читали «Несчастнаго Никанора, Русскаго Дворянина», «Приключенія Мирамонда» Эмина, «Письмовникъ» Курганова и тому подобныя книги, добродушно не подозрѣвая никакой разницы между тѣми европейскими твореніями и этими самодѣльными произведеніями домашней стряпни. И XVIII вѣкъ отразился только на одномъ вельможествѣ, какъ мы выше замѣтили. Но какъ Державинъ, за свой талантъ, вошелъ въ знать, то и на немъ не могъ не отразиться, болѣе или менѣе, XVIII вѣкъ. Можно сказать, что въ твореніяхъ Державина ярко отпечатлѣлся русскій XVIII вѣкъ. Но прежде, нежели разсмотримъ мы, какъ и до какой степени отпечатлѣлся этотъ вѣкъ на Руси Екатерининской эпохи, и какъ тотъ же вѣкъ отразился на поэзіи Дер-

жавина, скажемъ, что всѣ сочиненія Державина, вмѣстѣ взятыя, далеко не выражаютъ въ такой полнотѣ и такъ рельефно русскаго XVIII вѣка, какъ выраженъ онъ въ превосходномъ стихотвореніи Пушкина «Къ Вельможѣ». Этотъ портретъ вельможи стараго времени — дивная реставрація руины въ первобытный видъ зданія. Это могъ сдѣлать только Пушкинъ. Кромѣ его художественной способности переноситься всюду и во все по волѣ фантазіи своей, ему помогла и отдаленность его отъ того времени, представлявшагося ему въ перспективѣ. Прошедшее всегда и виднѣе и понятнѣе настоящаго. Отъ Державина, какъ современника, нельзя и требовать такой мастерской картины русскаго XVIII вѣка, который много разнился отъ европейскаго XVIII вѣка. Эта разность вѣрно схвачена Пушкинымъ, въ строкахъ—

. . . . И скромно ты внималъ
За чашей медленной всею изъ деиству,
Какъ любопытный Скиѣзъ аеинскому софисту.

Но Державинъ не могъ стать наравнѣ и съ этимъ Скиѣзомъ: онъ относится къ этому Скиѣу, какъ тотъ Скиѣзъ къ аеинскому софисту. Лишенный всякаго образованія, не зная французскаго языка, Державинъ, не былъ слишкомъ причастенъ ни нравственной порчѣ, ни истинному прогрессу того времени, и въ сущности нисколько не понималъ его. Хваля добро того времени, онъ не прозрѣвалъ связи его со зломъ, и нападая на зло не провидѣлъ связи его съ добромъ.

Съ двухъ сторонъ отразился русскій XVIII вѣкъ въ поэзіи Державина: это со стороны наслажденія и пировъ, и со стороны трагическаго ужаса при мысли о смерти, которая махнетъ косою—и

Гдѣ пиршество раздавались клики.
Надробные тамъ воють лиги.

Державинъ любилъ воспѣвать «умѣренность»; но его умѣренность похожа на гораціанскую, къ которой всегда примѣ-

шивалось фалернское... Бросимъ взглядъ на его прекрасную оду «Приглашеніе къ Обѣду».

Шексинска стерлядь золотая,
Кайманъ и борщъ уже стоятъ;
Въ графинахъ вина, пуишь, блистая
То льдомъ, то искрами манять;
Съ курильницъ благовонья льются,
Плоды среди корзины смѣются,
Не смѣютъ слуги и дохнуть,
Тебя стола вокругъ ожидая;
Хозяйка статная, молодая,
Готова руку протянуть.
Приди, мой благодѣтель давній,
Творецъ чрезъ двадцать лѣтъ добра!
Приди—и домъ хоть ненарядный,
Безъ рвзбы, злата и серебра,
Мой поѣсти: его богатство —
Пріятный только вкусъ, опрятство,
И твердый мой, нелъстивый нравъ.
Приди отъ дѣлъ попрохладиться,
Поѣсть, попить, повеселиться,
Безъ вредныхъ здравію приправъ!

Какъ все дышитъ въ этомъ стихотвореніи духомъ того времени—и пиръ для милостивца, и умѣренный столъ, безъ вредныхъ здравію приправъ, но съ золотою шексинскою стерлядью, съ винами, которыя «то льдомъ, то искрами манять», съ благовоніями, которыя льются съ курильницъ, съ плодами, которыя смѣются въ корзинкахъ, и особенно — съ слугами, которые не смѣютъ и дохнуть!... Конечно, понятіе объ «умѣренности» есть относительное понятіе,— и въ этомъ смыслѣ, самъ Лукуллъ былъ умѣренный человѣкъ. Нѣтъ, люди нашего времени искреннѣе: они любятъ и поѣсть и попить, и за столомъ любятъ поболтать не объ умѣренности, а о роскоши. Впрочемъ, эта «умѣренность» и для Державина существовала больше, какъ «питическое украшеніе для оды». Но

вотъ, словно мимолетное облако печали, пробѣгаетъ въ веселой одѣ мысль о смерти:

И знаю я, что вѣкъ нашъ — тѣнь;
Что лишь младенчество проводимъ,
Уже ко старости приходимъ,
И смерть къ намъ смотритъ черезъ заборъ.

Это мысль искренняя; но поэтъ въ ней же и находитъ способъ къ утѣшенію:

Увы! то какъ не умудриться,
Хоть разъ цвѣтами не увиться
И не оставить мрачный взоръ?

За тѣмъ, опять грустное чувство:

Слыхалъ, слыхалъ я тайну эту,
Что иногда грустить и царь:
Ни ночь, ни день покоя нѣту,
Хотя имъ вся покойна тварь,
Хотя онъ громкой славой знатенъ.
Но ахъ! и тронъ всегда ль пріятенъ
Тому, кто вѣкъ свой въ хлопотахъ?
Тутъ зрѣть обманъ, тамъ зрѣть упадокъ:
*Какъ бѣдный часовой тотъ жалокъ,
Который вѣчно на часахъ!*

Но не бойтесь: грустное чувство не овладѣетъ ходомъ оды, не окончитъ ея элегическимъ аккордомъ, — что такъ любить наше время; поэтъ опять находитъ поводъ къ радости въ томъ, что на минуту повергло его въ унылое раздумье:

И такъ, доколь еще ненастье
Не помрачаетъ красныхъ дней
И приголубливаетъ счастье
И гладитъ насъ рукой своей;
Доколь не пришли морозы,

Въ саду благоухаютъ розы,—
Мы посвящимъ ихъ обонять.
Такъ! будемъ жизнью наслаждаться,
И тѣмъ, чѣмъ можемъ утѣшаться,—
По платью ноги протягать.

Заключеніе оды совершенно неожиданно, и въ немъ видна характеристическая черта того времени, непременно требовавшего, чтобы сочиненіе окончивалось моралью. Поэтъ нашего времени кончилъ бы эту піесу стихомъ «по платью ноги протягать»; но Державинъ прибавляетъ:

А если ты, изъ кто другіе
Изъ званыхъ милыхъ мнѣ гостей,
Чертоги предпочтя златые
И яства сахарны царей,
Ко мнѣ не срядитесь откушать,
Извольте вы мой толкъ прослушать:
Блаженство не въ лучахъ порфирь,
Не въ вкусѣ яствъ, не въ нѣгѣ слуха,
Но въ здравьи и въ спокойствѣ духа.
Умѣренность есть лучший пирь.

Ту же мысль находимъ мы во многихъ стихотвореніяхъ Державина; но съ особенною рѣзкостью высказалась она въ одѣ «Къ Первому Сосѣду», одномъ изъ лучшихъ произведеній Державина.

Кого роскошными пирами,
На влажныхъ невскихъ островахъ,
Между тѣнистыми древами,
На муравъ и на цвѣтахъ,
Въ шатрахъ пирсидскихъ, златошвенныхъ,
Изъ глинъ китайскихъ драгоценныхъ,
Изъ вѣнскихъ чистыхъ хрусталей,—
Кого столь славно угощаешь,
И для кого ты расточаешь
Сокровища казны твоей?

Гремитъ музыка; слышны хоры,
Вокругъ лакомыхъ твоихъ столовъ.
Сластей и ананасовъ горы,
И множество другихъ плодовъ
Прельщаютъ чувство и питаютъ;
Младья дѣвы угощаютъ,
Подносятъ вина чередой—
И азіатико съ шампанскимъ,
И пиво русское съ британскимъ.
И мозель съ зельтерской водой.
Въ вертепъ мраморномъ, прохладномъ,
Въ которомъ льется водоскатъ,
На ложъ розъ благоуханномъ,
Средь нѣги, лѣни и отрадъ,
Любовью распаленный страстной,
Съ мздой, веселою, прекрасной
И съ нѣжной нимфой ты сидишь,
Она поеть,—ты страстно таешь,
То съ ней въ весельи утопаешь,
То. утомленъ весельемъ, спишь.

Сколько въ этихъ стихахъ одушевленія и восторга, свидетельствующихъ о личномъ взглядѣ поэта на пиршественную жизнь такого рода! Въ этомъ виденъ духъ русскаго XVIII вѣка, когда великолѣпіе, роскошь, пиры, казалось, составляли цѣль и разгадку жизни. Со всѣми своими благо-разумными толками объ «умѣренности», Державинъ невольно, можетъ-быть, часто безсознательно, вдохновляется восторгомъ при изображеніи картинъ такой жизни,—и въ этихъ картинахъ гораздо больше искренности и задушевности, чѣмъ въ его философскихъ и нравственныхъ одахъ. Видно, что въ первыхъ говоритъ душа и сердце; а во вторыхъ—резонёрствующій холодный рассудокъ. И это очень естественно: поэтъ только тогда и искрененъ, а слѣдовательно, только тогда и вдохновенъ, когда выражаетъ непосредственно присущія душѣ его убѣжденія, корень которыхъ растетъ въ почвѣ исторической общественности его времени. Но, какъ мы замѣтили

прежде, — пиршественная жизнь была только одною стороною того времени; на другой его сторонѣ вы всегда увидите грустное чувство отъ мысли, что нельзя же вѣкъ пировать, что перевернуть колеса фортуны, или безопаднаа смерть положить же, рано или поздно, конецъ этой прекрасной жизни. И потому, остальная половина этой прекрасной оды растворена грустнымъ чувствомъ, которое, однакоже, не только не вредитъ внутреннему единству оды, но въ себѣ-то именно и заключаетъ его причину, ибо оно, это грустное чувство, является необходимымъ слѣдствіемъ того весело-восторженнаго праздничнаго чувства, которое высказалось въ первой половинѣ оды.

Ты спишь — и сонъ тебѣ мечтаетъ,
Что въ вѣкъ благополученъ ты;
Что само небо разсыпаетъ
Блаженства вдругъ тебя цвѣты;
Что парка дней твоихъ не косить;
Что откупъ вновь тебѣ приноситъ
Сибирски горы серебра,
И дождь златой къ тебѣ лѣтся.
Блаженъ, кто поутру проснется
Такъ счастливымъ, какъ былъ вчера!
*Блаженъ, кто можетъ веселиться
Безпрерывно въ жизни сей!*
Но рѣдкому пловцу случится
Безбѣдно плавать средь морей:
Тамъ бурно дышать непогоды,
Горамъ подобно гонять воды
И съ пѣною песокъ мутить.
Петрополь сосны осѣняли,
Но вихремъ пораженны пали:
Теперь корнями вверхъ лежать.
Непостоянство — доля смертныхъ:
Въ премѣнахъ вкуса — счастье ихъ;
Среди утѣхъ своихъ несмѣтныхъ
Желаемъ мы утѣхъ иныхъ.
Придутъ, придутъ часы тѣ скучны,
Когда твои ланиты тучны

Престанутъ граціи трепать;
И. можетъ-быть, съ тобой въ разлукѣ,
Твоя ужъ Пенелопа въ сукѣ
Коверъ не будетъ распускать;
Не будетъ, можетъ-быть, лелвять
Судьба ужъ болѣе тебя,
И вѣтръ благоприятный вѣять
Въ твой парусъ: — береги себя!

Въ заключительныхъ стихахъ оды, Державинъ особенно вѣренъ духу своего времени:

Доколь текутъ часы золотые
И не приспѣли скорби злыя, —
Пей, нмь и веселись, сосѣдь!
На сѣтн жить намъ время срочно;
Веселье то лишь непорочно,
Расканья за коня нѣтъ.

Чувство наслажденія жизнью принимало иногда у Державина характеръ необыкновенно пріятный и граціозный, — какъ въ этомъ прелестномъ стихотвореніи—«Гостю» дышащемъ, кромѣ того, боярскимъ бытомъ того времени:

Сядь, милый гость, здѣсь на пуховомъ
Диванѣ мягкомъ отдохни;
Въ семь тонкомъ пологу перловомъ,
И въ зеркалахъ вокругъ усни:
Вздремни послѣ стола немножко;
Пріятно часикъ похрапѣть;
Златой кузнечикъ, сѣра мошка,
Сюда не могутъ залетѣть.
Случится, что изъ сновъ прелестныхъ
Приснится здѣсь тебѣ какой:
Хоть кладъ изъ облаковъ небесныхъ
Златой посыплется рѣкой,
Хоть дѣвушки мои домашни
Рукой тебѣ махнуть, — я радъ:
Любовныя пріятны шашни,
И поцѣлуй въ сей жизни кладъ.

И такъ, вотъ созерцаніе, составляющее основной элементъ поэзіи Державина; вотъ гдѣ и вотъ въ чемъ отразился на русскомъ обществѣ XVIII вѣкъ; и вотъ гдѣ является Державинъ выразителемъ русскаго XVIII вѣка. И ни въ одномъ изъ его стихотвореній этотъ мотивъ не высказался съ такою полнотою идеи, такою торжественностію тона, такою полѣтностію и яркостію фантазіи и такимъ громозвучіемъ слова, какъ въ его превосходной одѣ «На смерть князя Мещерскаго», которая вмѣстѣ съ «Водопадомъ» и «Фелицею» составляетъ ореолъ поэтическаго генія Державина, — лучшее изъ всего, написаннаго имъ. Несмотря на нѣкоторую напряженность, на нѣсколько риторическій тонъ, составлявшіе необходимое условіе и неизбѣжный недостатокъ поэзіи того времени, — сколько величія, силы чувства, и сколько искренности и задушевности въ этой чудной одѣ! Да и какъ не быть искренности и задушевности, если эта ода — исповѣдь времени, вопль эпохи, символъ ея понятій и убѣжденій! Какъ колоссаленъ у нашего поэта страшный образъ этой беспощадной смерти, отъ роковыхъ когтей которой не убѣгаетъ никакая тварь! Сколько отчаянія въ этой характеристикѣ вооруженнаго косою скелета: и монархъ и узникъ — снѣдь червей; злость стихій пожираетъ самыя гробницы; даже славу зянетъ стереть время; словно быстрыя воды льются въ море — льются дни и годы въ вѣчность; царства глотаетъ алчная смерть; мы стоимъ на краю бездны, въ которую должны стремглавъ низрипуться; съ жизнію получаемъ и смерть свою — родимся для того, чтобъ умереть; все разить смерть безъ жалости:

И звѣзды ею сокрушатся,
И солнца ею потушатся.
И весьмъ мірамъ она грозитъ!

Отъ этого страшнаго міросозерцанія, потрясенный отчаяніемъ духъ поэта обращается уже собственно къ человѣку, о жалкой участи котораго онъ слегка намекнулъ:

Не мнить лишь смертный умирать
И быть себя овъ вѣчнымъ часть,—
Приходить смерть къ нему, какъ тать,
И жизнь внезапно похищаетъ.
Увы! гдѣ меньше страха намъ,
Тамъ можетъ смерть постичь скорѣ;
Ея и громы не быстрѣ
Слетаютъ къ горнымъ вышнямъ.

Что же навело поэта на созерцаніе этой страшной картины жалкой участи всего сущаго и человѣка въ особенности?— Смерть знакомаго ему лица. Кто же было это лицо? Потемкинъ, Суворовъ, Безбородко, Бецкій, или другой кто изъ историческихъ дѣйствователей того времени?— Нѣтъ: то былъ—

Сынъ роскоши, прохлада и нѣтъ!

О, XVIII вѣкъ! о, русскій XVIII вѣкъ!...

*Сынъ роскоши, прохлада и нѣтъ,
Куда, Мещерскій, ты сокрылся?
Оставилъ ты сей жизни брегъ,
Къ брегамъ ты мертвыхъ удалился:
Здѣсь персть твоя, а духа нѣтъ.
Гдѣ жь онъ?—онъ тамъ.—Гдѣ тамъ?—не знаемъ.
Мы только плачемъ и взываемъ:
«О горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ!»*

Вникните въ смыслъ этой строфы—и вы согласитесь, что это вопль подавленной ужасомъ души, крикъ, нестерпимаго отчаянія... А между тѣмъ, исходнымъ пунктомъ этого страшнаго созерцанія жалкой участи человѣка—не иное что, какъ смерть богача. Можно подумать, что бѣднякъ, умершій съ голоду, среди оборванной семьи, въ предсмертной агоніи просящій хлѣба, не возбудилъ бы въ поэтѣ такихъ горестныхъ чувствъ, такихъ безотрадныхъ воплей. Что дѣлать! у всякаго времени своя болѣзнь и свой недостатокъ. Время наше лучше прошлаго, а не мы лучше отцовъ нашихъ; если мотивы нашихъ страданій выше и благороднѣе, если ропоть

отчаянія вырывается изъ стѣсненной, сдавленной груди нашей не при видѣ богача, умершаго отъ индигестіи, а при видѣ непризнаннаго таланта, страдающаго достоинства, сраженнаго благороднаго стремленія, несбывшихся порывовъ къ великому и прекрасному.

*Утѣхи, радость и любовь
Гдѣ купно съ здравіемъ блистали,
У всѣхъ тамъ цвѣнѣть кровь
И духъ мятется отъ печали:
Гдѣ столъ былъ яствъ — тамъ гробъ стоить,
Гдѣ пиршествъ раздавались клики—
Надгробные тамъ воютъ лики,
И блѣдна смерть на всѣхъ гнѣдитъ...*

Здѣсь опять непосредственнымъ источникомъ отчаянія— противоположность между утѣхами, радостію, любовію и здравіемъ и между зрѣлищемъ смерти, между столомъ съ яствами и столомъ съ гробомъ, между кликами пиршествъ и воемъ надгробныхъ ликовъ... Дѣти пировали за столомъ— грянулъ громъ и обратилъ въ прахъ часть собесѣдниковъ: остальные въ ужасѣ и отчаяніи... И какъ не быть имъ въ ужасѣ, когда ихъ поразила ужасная мысль: къ чему же и пиры, если и ими нельзя спастись отъ смерти,—а безъ пировъ къ чему же и жизнь?... Да, наше время лучше времени отцовъ нашихъ... Если хотите, и мы жадно любимъ пиры, и многіе изъ насъ только и дѣлаютъ, что пируютъ; но счастливы ли они пирами своими? Увы, пиры никогда не прерывались и съ усердіемъ продолжаются и въ наше время,—это правда; но отчего же это уныніе, это чувство тяжести и утомленія отъ жизни, эти изнуренныя блѣдныя лица, омраченныя тоскою и заботою, этотъ—

. Увядшія жизни цвѣть
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъ?...

Нѣтъ, намъ жалки эти веселенькіе старички, упрекающіе насъ, что мы не умѣемъ веселиться, какъ веселились въ старыя, давніе годы...

И предковъ скучны намъ роскошныя забавы,
Ихъ добросовѣстный, ребяческій развратъ...

Говоря о невѣрности и скоротечности жизни человѣка, поэтъ обращается къ себѣ самому,—и его слова полны вдохновенной грусти:

Какъ сонъ, какъ сладкая мечта,
Исчезла и моя ужь младость;
Не сильно нѣжить красота,
Не столько восхищаетъ радость,
Не столько легкомысленъ умъ,
Не столько я благополученъ;
Желаніемъ честей размученъ,
Зоветь, я слышу, славы шумъ.

И такъ, вотъ новое обольщеніе на вечерней зарѣ дней поэта; но, увы! его разочарованное чувство уже ничему не довѣряетъ,—и онъ восклицаетъ въ порывѣ грустнаго негодованія:

Но такъ и мужество пройдетъ,
И вмѣстѣ къ славѣ съ нимъ стремленіе;
Богатствъ стяжаніе минетъ
И въ сердца всѣхъ страстей волненье
Прейдетъ, преидетъ въ чреду свою.
Подите счастья прочь возможны!
Вы всѣ премѣнчивы и ложны:
Я въ дверяхъ вѣчности стою!

Казалось бы, что здѣсь и конецъ одѣ; но поэзія того времени страхъ какъ любила выводы и заключенія, словно послѣ порядковой хриі, гдѣ въ концѣ повторялось, другими словами, уже сказанное въ предложеніи и приступѣ. И такъ, какой же выводъ сдѣлалъ поэтъ изъ всей своей оды?—по-смотримъ:

Сей день, иль завтра умереть,
Пероцльевъ, должно намъ конечно:
Почто жь терзаться и скорбѣть,
Что смертный другъ твой жилъ не ввчно?
Жизнь есть нецесь мгновенный даръ:
Устрой ее себѣ къ покою,
И съ чистою твоей душою
Благословляй судьбѣ ударъ.

Видите ли: поэтъ остался вѣренъ духу своего времени и самому себѣ: оно, конечно, тяжело, а все-таки не худо подумать о томъ, чтобъ жизнь-то устроить себѣ къ покою... Не таковы поэты нашего времени, не таковы и страданія ихъ; вотъ какъ живописалъ картину отчаянія одинъ изъ нихъ:

То было тьма безъ темноты;
То было бездна пустоты,
Безъ протяженья и границъ;
То были образы безъ лицъ;
То страшный мѣръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ Промысла, безъ благъ и бѣдъ,
Ни жизнь, ни смерть — какъ сонмъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и нѣмой.

Прочитавъ такіе стихи, право, потеряешь охоту устроить жизнь себѣ къ покою...

Мысль о скоротечности и преходящности всего существующаго тяготила Державина. Она высказывается во многихъ его стихотвореніяхъ, и ее же силились выразить хладѣющіе персты умирающаго поэта, въ этихъ послѣднихъ стихахъ его:

Рѣва времянь въ своемъ стремленьи
Уносить всѣ дѣла людей,
И топить въ пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

А если что и остается
Через звуки лиры и трубы.
То вѣчности жерломъ пожрется—
И общей не уйдетъ судьбы!

Мысль эта также принадлежала XVIII вѣку, когда не понимали, что проходят и мѣняются личности, а духъ человѣческой живеть вѣчно. Идея о прогрессѣ еще только возникла; когда немногіе только умы понимали, что въ потокѣ времени тонуть формы, а не идея, переходять и мѣняются личности человѣческія. И въ этой мысли о скоротечности и преходящности всего земнаго, такъ томившей Державина, такъ неразлучно жившей съ его душою, мы видимъ отраженіе на русское общество XVIII вѣка. Но здѣсь и конецъ этому отраженію: Державинъ совершенно чуждъ всего прочаго, чѣмъ отличается этотъ чудный вѣкъ. Впрочемъ, XVIII вѣкъ выразился на Руси еще въ другомъ писателѣ, не рассмотрѣвъ котораго нельзя судить о степени и характерѣ вліянія XVIII вѣка на русское общество: мы говоримъ о Фонъ-Визинѣ. Конечно, и на немъ вѣкъ отразился довольно поверхностно и ограниченно; но въ другомъ характерѣ и другою стороною, чѣмъ на Державинѣ.

Чѣмъ разнообразіе произведенія поэта, тѣмъ болѣе критика должна заботиться объ опредѣленіи ихъ достоинства относительно однихъ къ другимъ. Въ этомъ случаѣ, критика должна принимать въ соображеніе, какія изъ произведеній поэта особенно нравились его современникамъ, какія особенно уважались ими; равнымъ образомъ, какими изъ своихъ произведеній особенно дорожилъ самъ поэтъ, или на какихъ онъ особенно основывалъ заслуги свои передъ искусствомъ. Но критика должна принимать къ свѣдѣнію подобныя обстоятельства и основывать на нихъ свое сужденіе тогда только, когда они не противорѣчатъ высшему критериуму достоинства всякихъ поэтическихъ произведеній, то-есть — искренности ихъ и задушевности. Случается иногда, что поэтъ, по духу своего вре-

мени, особенно дорожить самыми холодными и сухими своими произведениями, въ которыхъ участвовалъ одинъ разсудокъ, и нисколько не участвовали чувство и фантазія. То же случается и въ отношеніи къ современникамъ поэта. Въ эту ошибку обыкновенно вводитъ ихъ содержаніе, или предметъ произведенія. Они не думаютъ о томъ, что предметъ стихотворенія можетъ быть важенъ, великъ, даже священнъ, а само стихотвореніе тѣмъ не менѣе можетъ быть очень плохо. Такъ, напримѣръ, никто не станетъ спорить, чтобъ содержаніе «Александрюды» г. Свѣчина не было неизмѣримо выше содержанія «Руслана и Людмилы», или «Графа Нулина» Пушкина; но никто также не станетъ спорить, что «Русланъ и Людмила» и «Графъ Нулинъ» — прекрасныя поэтическія произведенія, а «Александрюда» — образецъ бездарности и ничтожности. Въ первомъ томѣ «Русской Бесѣды» напечатана большая ода Державина «Слѣпой Случай», мысль которой — несомнѣнность личнаго безсмертія, — и тогда же нѣкоторые изъ господъ-сочинителей какого-то плохаго періодическаго изданія раскричались объ этой новонайденной одѣ, словно о новооткрытой Колумбъ Америкѣ. Они увидѣли въ этой одѣ величайшее созданіе величайшаго поэта, не замѣтивъ, какъ люди безъ эстетическаго чувства, что дѣльная и высокая мысль этой оды высказана до крайности плохими стихами, и что, по своей поэтической отдѣлкѣ и самому расположенію мыслей, вся эта ода очень похожа на школьное риторическое упражненіе, холодное, сухое и общими мѣстами наполненное. Таковы почти всѣ Державинскія переложенія псалмовъ: мало сказать, что они ниже своего предмета — можно сказать, что они рѣшительно недостойны своего высокаго предмета, — и кто знакомъ съ прозаическимъ переложеніемъ псалмовъ, какъ на древне-церковномъ, такъ и на рускомъ языкѣ, — тотъ въ переложеніяхъ Державина не узнаетъ высокихъ, боговдохновенныхъ гимновъ порфироснаго пѣвца Божія. Исключеніе остается только за переложеніемъ 81-го псалма «Властителемъ и Су-

діяжъ», въ которомъ талантъ Державина умѣлъ приблизиться къ высотѣ подлинника:

Возсталъ всевышній Богъ, да судить
Земныхъ боговъ во сонмѣ ихъ.
„Доколь“, рекъ „доколь вамъ будетъ
Щадить неправедныхъ и злыхъ.
Вашъ долгъ есть: охранять законы,
На лица сильныхъ не взирать;
Безъ помощи, безъ обороны
Сиротъ и вдовъ не оставлять.
Вашъ долгъ: спасать отъ бѣдъ невинныхъ,
Несчастливымъ подать покровъ;
Отъ сильныхъ защищать безсильныхъ,
Исторгнуть бѣдныхъ изъ оковъ“.
Не внемлютъ!—видять и не знаютъ!
Покрыты мглою очеса!
Злодѣйствы землю потрясають,
Неправда зыблетъ небеса.

Переложеніе псалмовъ и подражаніе имъ, въ собраніяхъ сочиненій Державина, обыкновенно помѣщаются вмѣстѣ съ его одами духовнаго и нравственнаго содержанія, и вмѣстѣ съ ними образуютъ какъ-бы особенный отдѣлъ Державинской поэзіи. Весь этотъ отдѣлъ, обыкновенно высоко цѣнимый критиками добраго стараго времени, отличается одними и тѣми же качествами: длиннотою, вялостію, водяностію и плохими стихами. Рѣдко, рѣдко вспыхиваютъ въ одахъ этого отдѣла искорки поэзіи. Одна изъ этихъ одъ очень и очень замѣчательна по поэтическимъ мѣстамъ и даже по высотѣ мыслей; но неопредѣленность идеи цѣлаго повредила и поэтическому достоинству цѣлаго. Мы говоримъ объ одѣ «Безсмертіе Души». Явно, что поэтъ смѣшалъ въ ней два совершенно различныя понятія — безсмертіе идеи, не умирающей въ преходящихъ фактахъ, и личное безсмертіе человѣка, или безсмертіе души. Оттого, въ одной одѣ очутились двѣ оды, несвязанныя внутреннимъ единствомъ, перебитыя и перемѣшанныя одна съ

другую. И что же?—тѣ строфы этой оды, въ которыхъ проблескиваетъ первая идея, столько исполнены поэзіи и мысли, сколько строфы, выражающія вторую мысль, прозаичны и поверхностны. Говоря о прекрасныхъ мѣстахъ оды «Безсмертіе Души», нельзя не указать на 8, 17, 18 и 19 строфы.

За то нѣкоторыя изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія поражаютъ невообразимыми странностями. Кто бы, напримѣръ, подумалъ, что вотъ эти стихи — Державина, а не Тредьяковскаго:

Какъ птица въ мглѣ унывна,
Оставлена на здѣ (*на кровль*).
Иль схожленна, пустынна
Сядяща на гнѣздѣ
Въ нощи, въ лѣсу, въ трущобѣ,
Лію стваньемъ гуль.

А между тѣмъ это дѣйствительно стихи Державина изъ оды «Сѣтованье», начинающейся стихами:

Услышь, Творецъ, моленье,
И вопль моей души!

Но огромная—поэма а не ода «Цѣленіе Саула» представляетъ собою примѣръ особенной нестройности. Она состоитъ болѣе, чѣмъ изъ 400 стиховъ, которые всѣ въ родѣ слѣдующихъ:

Внимаетъ пѣснь монархъ: но сила звуковъ, словъ,
Такъ отъ него скользить, какъ лучъ отъ холма *льдяна*;
Снѣдаетъ грусть его, мысль черная, *печальна*,
Пѣвецъ то зрить—и взявъ другихъ строй голосовъ,
Поеть ужъ хоромъ всѣмъ, но сонно, полутонно,
Смятеню тартара, душъ смятенной сходно.

И кто бы могъ думать, чтобъ за такими стихами слѣдовали вотъ какіе:

На пустыхъ высотахъ, на зыбяхъ Божій духъ
Искони до вѣковъ въ тихой тѣмъ возносился
Какъ орелъ надъ яйцомъ, подъ зародышемъ вокругъ
Тварей всѣхъ теплотой, такъ крылами гнѣздился.

Огнь, земля и вода, и весь воздухъ въ борьбѣ
Межъ собой, внутрь и внѣ, безпрестанно сражались,
И лишь жизнь тѣмъ они всѣмъ являли въ себѣ,
Что тамъ стукъ, а тамъ трескъ, а тамъ блескъ прорывались;
Громъ на громъ въ вышины, гулъ на гулъ въ глубины,
Какъ катясь, какъ вратясь, даль и близь оглушали;
Бездны безднѣ, хляби хлябѣ, колебавъ въ тишинѣ
Безъ устройствъ естество, ужасъ, мрака представляли.

Впрочемъ, эти стихи прекрасные и сильные, несмотря на свою грубую отдѣлку, суть единственный оазисъ въ песчаной пустынѣ этой поэмы.

Ода «Богъ» считалась лучшею не только изъ одъ духовнаго и нравственнаго содержанія, но и вообще лучшею изъ всѣхъ одъ Державина. Самъ поэтъ былъ такого же мнѣнія. Какимъ мистическимъ уваженіемъ пользовалась встарину эта ода, можетъ служить доказательствомъ нелѣпая сказка, которую каждый изъ насъ слышалъ въ дѣтствѣ, будто ода «Богъ» переведена даже на китайскій языкъ и, вышитая шелками на щитѣ, поставлена надъ кроватью богдыхана. И дѣйствительно, это одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина, хотя у него есть много одъ и высшаго, сравнительно съ нею, достоинства.

Изъ одъ Державина нравственно-философическаго содержанія особенно замѣчательны сатирическія оды—«Вельможа» и «На счастье». При разсматриваніи первой, должно забыть эстетическія требованія нашего времени и смотрѣть на нее, какъ на произведеніе своего времени: тогда эта ода будетъ прекраснымъ произведеніемъ, несмотря на ея риторическіе приемы. Первые восемь строфъ просто превосходны, особенно вотъ эти:

Кумирь, поставленный въ позоръ,
Несмысленную чернь плѣняетъ;
Но коль художниковъ въ немъ зорь
Прямыхъ красоть не ощущаетъ:
Се образъ ложныя молвы,

Се глыба грязи позлащенной!
И вы безъ благодсти душевной
Не всъ ль, вельможи, таковы?

Не перлы перскіе на васъ
И не бразильскіе звѣзды—ясны:
Для возлюбившихъ правду глазъ
Лишь добродѣтели прекрасны,—
Онъ суть смертныхъ похвала.
Каллигула, твой конь въ сенатъ
Не могъ сіять, сіяя въ златъ:
Сіяютъ добрыя дѣла!

Осель всегда останется осломъ,
Хотя осыпь его звѣздами;
Гдѣ должно дѣйствовать умомъ,
Онъ только хлопаетъ ушамъ.
О, тщетно счастья рука,
Противъ естественнаго чина,
Безумца рядить въ господина,
Или въ шумиху дурака.

Какихъ не вымышляй пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться,
Не можно въкъ носить личинъ,
И истина должна открыться.
Когда не свергъ въ бояхъ, въ судахъ,
Въ совѣтахъ царскихъ сопостатовъ:
Всякъ думаетъ, что я Чупятовъ
Въ марокскихъ лентахъ и звѣздахъ.

Оставя скипетръ, тронъ, чертогъ,
Бывъ странникомъ въ пыли и въ потъ,
Великій Петръ, какъ нѣкій Богъ,
Блесталъ величествомъ въ работъ:
Почтенъ и въ рублищъ герой!
Екатерина въ низкой долѣ,
И не на царскомъ бы престолѣ
Была великою женой.

И впрямъ, коль самолюбя лестъ
Не обула бъ умъ надменный:

Что наше благородство, честь,
Боль не изящности душевны?
Я князь—коль мой сіяеть духъ;
Владвлецъ—коль страстьми владвю;
Боляринъ—коль за всѣхъ болвю.
Царю, закону, церкви другъ.

Да, такіе стихи никогда не забудутся! Кромѣ замѣчательной силы мысли и выраженія, они обращаютъ на себя вниманіе еще и какъ отголосокъ разумной и нравственной стороны прошедшаго вѣка. Остальная и большая часть оды отличается риторическими распространеніями и добродушнымъ морализмомъ, которой объ истинахъ въ родѣ дважды два—четыре говорить, какъ о важныхъ открытіяхъ. Впрочемъ, 10, 11 и 12-я строфы, изображающія вельможескую жизнь людей XVIII вѣка, отличаются значительнымъ поэтическимъ достоинствомъ. Въ одѣ «На Счастіе» виденъ русскій умъ, русскій юморъ, слышится русская рѣчь. Кромѣ разныхъ современныхъ политическихъ намековъ, въ ней много рѣзкихъ и удачныхъ юмористическихъ выходокъ, свидѣтельствующихъ какое-то добродушіе, какъ, напримѣръ, это обращеніе къ счастію:

Катаешь кубаремъ весь миръ:
Какъ рѣзвости твоей примѣрявъ,
Полна земля вся кавалеровъ,
И цѣлый свѣтъ сталъ бригадиръ.

Тонко хваля Екатерину, поэтъ говоритъ:

Изволить царствовать правдиво,
Не жеть, не рубить безъ суда;
А развѣ кое-какъ вельможи,
И такъ и сякъ, нахмура рожи,
Тузять инова иногда.

Сатирически описывая свое прежнее счастіе, когда, бывало, все удавалось ему, и въ милости бояръ, и въ любви, и въ

игрѣ, и въ поэзіи, поэтъ очень забавно и вмѣстѣ колко жалуется на безвременье преклонныхъ лѣтъ своихъ:

А нынѣ пятьдесятъ мнѣ било;
Полетъ свой счастье прѣвнило;
Безъ лать я горе-богатырь;
Прекрасный полъ меня лишь бвситъ,
Амуръ безъ перьевъ нетопырь,
Едва вспорхнеть и носъ повѣситъ.
Сокрылся и въ игрѣ мой кладъ:
Не страстны мной, какъ прежде музы:
Бояре понадули пузы,
И я у всѣхъ сталъ виновать.

Умоляя счастье снова осыпать его своими дарами, поэтъ остроумно подшучиваетъ надъ Гораціемъ обѣщаясь писать школярнымъ слогомъ:

*„Beatusъ — братъ мой, на волахъ
Собою самъ поля орущій,
Или стада свои пасущій!“
Я буду восклицать въ пирахъ.*

Къ числу, такихъ же одъ принадлежитъ и «Мой Истуканъ». Въ ней особенно замѣчательны нѣкоторыя черты характера поэта и его образа мыслей. Таковы два превосходнѣйшіе стиха:

Злодѣйства малаго мнѣ мало.
Большаго дѣлать не хочу.

Замѣчательна и слѣдующая строфа: поэтъ говоритъ, что ни за какія дѣла не стдигъ бы онъ кумира—

Не стоялъ бы: всѣ знаки чести.
Дозволены самимъ себѣ.
Плоды тщеславія и лести,
Монархъ! постыдны и тебѣ.
Желаешь хвалъ, благодаренья
Лишь низкая себѣ душа,
Живущая изъ награжденья:
*По смерти слава хороша,
Заслуги въ гробъ созрѣвають,
Герои въ вѣчности сияютъ!*

Доселъ говорили мы о Державинѣ, какъ о русскомъ поэтѣ, въ извѣстной степени, и въ извѣстномъ характерѣ отразившемъ на себѣ XVIII вѣкъ, въ той степени, въ какой отразило его на себѣ тогдашнее русское общество. Теперь намъ слѣдуетъ показать Державина, какъ пѣвца Екатерины, какъ представителя цѣлой эпохи въ исторіи Россіи. Царствованіе Екатерины Великой, послѣ царствованія Петра Великаго, было второю великою эпохою въ русской исторіи. Доселъ для него еще не настало потомства. Мы, люди настоящей эпохи, такъ близки къ временамъ Екатерины, что не можемъ судить о нихъ безпристрастно и вѣрно. Эта близость лишаетъ насъ возможности видѣть ясно и опредѣленно то, что обнаруживается только въ одной исторической перспективѣ, на достаточномъ отдаленіи. И потому, мы, съ одной стороны, слишкомъ увлекаемся громомъ побѣдъ, блескомъ завоеваній, многосложностію преобразованій, множествомъ людей замѣчательныхъ, и не видимъ изъ-за всего этого, внутренняго быта того времени. Съ другой стороны, справедливо гордясь нашимъ общественнымъ и гражданскимъ счастіемъ, мы, можетъ-быть, слишкомъ строго судимъ лезть, низкопоклонство, патронажество, милостивцевъ и отцовъ-благодѣтелей, составлявшихъ характеристику быта того времени. Мы не можемъ живо представить себѣ тогдашняго историческаго положенія Россіи, того рѣзкаго контраста между тираніею Бироша и труднымъ, по бесплодной, хотя и блистательной войнѣ съ Пруссіею, временемъ, — и между царствованіемъ Екатерины — этою эпохою блестящихъ и великихъ дѣлъ, мудрыхъ преобразованій, разумнаго и гуманнаго законодательства, котораго основою было: «лучше простить десять виновныхъ, чѣмъ наказать одного невиннаго», — возникшаго просвѣщенія и возникавшей литературы, какъ плодовъ нравственнаго простора, смѣнившаго удушающую тѣсноту, какъ творенія мудрости и благости, воцарившейся на тронѣ. Близкіе къ тѣмъ временамъ, мы такъ далеки отъ нихъ усовершенствованіями всякаго рода, такъ горды и такъ

счастливы великими успѣхами двухъ послѣднихъ царствованій, что не можемъ смотрѣть на наше прошедшее, не сравнивая его съ настоящимъ, — а это сравненіе, разумѣется, выгодноѣ для настоящаго. И потому, намъ теперь должно не столько судить объ эпохѣ Екатерины-Великой, сколько изучать ее, чтобъ пріобрѣсти данныя для сужденія о ней. Къ числу такихъ данныхъ, безъ сомнѣнія, принадлежатъ свидѣтельства современниковъ, — а всѣмъ извѣстно, какъ великъ былъ ихъ энтузіазмъ къ своему времени и творцу его — Екатеринѣ. Здѣсь мы говоримъ о царствованіи Екатерины только въ отношеніи къ поэзіи. Поэзія Державина — самое живое и самое вѣрное свидѣтельство того, до какой степени эта эпоха была благоприятна поэзіи и до какой степени могла она дать поэзіи разумное содержаніе. Въ этомъ отношеніи, должно обращать вниманіе не на похвалы Екатеринѣ пѣвца ея, которыя, какъ похвалы современника, не могутъ имѣть той неподозрѣваемой достовѣрности и искренности, какъ голосъ потомства; но здѣсь должно обращать вниманіе на ту свѣжесть, ту теплоту искренняго и задушевнаго чувства, которыми проникнуты гимны Державина Екатеринѣ, на тотъ смѣлый и благородный тонъ, которымъ они отличаются. И такъ, намъ остается только выбрать тѣ строфы изъ разныхъ одъ его, которыя представляютъ особенно характеристическія черты громко и торжественно воспѣтаго имъ царствованія.

Ода «Фелица» — одно изъ лучшихъ созданій Державина. Въ ней полнота чувства счастливо сочеталась съ оригинальностью формы, въ которой виденъ русскій умъ и слышится русская рѣчь. Несмотря на значительную величину, эта ода проникнута внутреннимъ единствомъ мысли, отъ начала до конца выдержана въ тонѣ.

Олицетворяя въ себѣ современное общество, поэтъ тонко хвалить Фелицу, сравнивая себя съ нею и сатирически изображая свои пороки. Исповѣдь его заключается стихами:

Таковъ, Фелица, я развратенъ!
Но на меня весь свѣтъ похожъ.

Не оставляя шуточного тона, необходимаго ему для того, чтобы похвалы Фелицѣ не были рѣзвы, поэтъ забываетъ себя и такъ рисуется для потомства образъ Фелицы:

Едина ты лишь не обидишь,
Не оскорбляешь никого:
Дурачества сквозь пальцы видишь,
Лишь ала не терпишь одного;
Проступки снисхожденьемъ правишь;
Какъ волкъ овецъ, людей ве давишь;—
Ты знаешь прямо цѣну ихъ:
Царей они подвластны волъ,
Но Богу правосудну болъ,
Живущему въ законахъ ихъ.

.

Неслыханное также дѣло,
Достойное тебя одной,
Что будто ты народу смѣло
О всемъ, и въявь, и подъ рукой,
И знать и мыслить позволяешь,
И о себѣ не запрещаешь
И быль и небыль говорить;
Что будто самымъ крокодиламъ,
Твоихъ всѣхъ милостей зоидамъ.
Всегда склоняешься простить,

Стремятся слезъ пріятныхъ рѣки
Изъ глубины души моей
О сколь счастливы челоуѣки
Тамъ должны быть судьбой своей,
Гдѣ ангелъ кроткій, ангелъ мирный,
Сокрытый въ свѣтлости порфирной,
Съ небесъ ниспосланъ скиптръ носить!
Тамъ можно пошептать въ бесѣдахъ
И, казни не боясь, въ объѣдахъ
За здравіе царей не пить.

Тамъ съ именежъ Фелицы можно
Въ строжь описку поскоблить,
Или портретъ неосторожно
Ея на землю уронить;
Тамъ свадебъ шутовскихъ не парять,
Въ ледовыхъ баняхъ ихъ не жарить,
Не щолкають въ усы вельможъ;
Князья насѣдками не клохчуть
Любимцы въявь имъ не хохочуть,
И сажей не мараютъ рожь.

Ты вѣдаешь, Фелица, правы
И чловѣковъ и царей:
Когда ты просвѣщаешь нравы,
Ты не дурачешь такъ людей;
Въ твои отъ дѣлъ отдохновеня,
Ты пишешь въ сказкахъ поученья,
И Хлору въ азбукъ твердишь:
„Не дѣлай ничего худаго—
И самого сатира злаго
Лжецомъ презрѣннымъ сотворишь“.

Заключительная строфа оды дышитъ глубокимъ благоговѣй-
нымъ чувствомъ.

Прошу великаго пророка,
Да праха ногъ твоихъ коснусь,
Да словъ твоихъ сладчайша тога
И лицедрѣвья наслажусь!
Небесныя прошу я силы,
Да ихъ простря сафирны крылы,
Невидимо тебя хранять
Отъ всѣхъ болѣзней, золь и скуки,
Да дѣлъ твоихъ въ потомствѣ звуки,
Какъ въ небѣ звѣзды, возблестятъ.

Оду эту Державинъ писалъ не думая, чтобъ она могла быть
напечатана; всѣмъ извѣстно, что она случайно дошла до свѣ-
дѣнія государыни. И такъ, есть и внѣшнія доказательства
искренности этихъ, полныхъ души стиховъ:

Хвалы мои тебѣ примѣтя,
Не мни, чтобъ шапки, иль бешмета
За нихъ я отъ тебя желалъ.
Почувствовать добра пріятство —
Такое есть души богатство,
Какого Крезъ не собиралъ.

Ода «Изображеніе Фелицы» растянута и разведена водою риторикки; но въ ней есть превосходныя строфы въ pendant къ одѣ «Фелица», почему мы и выписываемъ ихъ здѣсь.

Припомни, что Она вѣчала
Безчисленнымъ Ея ордамъ:
«Я счастья вашего искала
И въ васъ его нашла я вамъ:
Ставь сами вы себя послушны,
Живите, славьтесь въ мой вѣкъ,
И будьте столь благополучны,
Колько можетъ человекъ».

«Я вамъ даю свободу мыслить
И разумѣть себя, цѣнить,
Не въ рабствѣ, а въ подданствѣ числить.
И въ ноги мнѣ челою не бить;
Даю вамъ право безъ препоны
Мнѣ ваши нужды представлять,
Читать и знать мои законы,
И въ нихъ ошибки замѣчать».

«Даю вамъ право собираться.
И въ думахъ золото копить,
Ко мнѣ послами отправляться
И не всегда меня хвалить;
Даю вамъ право безпристрастно
Въ судьи другъ друга выбирать,
Самимъ дѣла свои всевластно
И начинать и окончать».

„Не воспрещу я стихотворцамъ
Писать и чепуху и лесть»

Хадеемъ. новымъ чудотворцамъ
Махать съ духами, пить и ѣсть;
Но я во всемъ, что лишь не злобно,
Потщуся равнодушной быть;
Великолѣпно и спокойно
Мои благодаренья лить».

Рекла бы! «Почто писать уставы,
Коль ихъ въ диванахъ не творять?
Развратные вельможей нравы—
Народа цѣлаго разврать».

«Вашъ долгъ монарху. Богу, царству
Служить и клятвой не играть;
Неправдѣ. злобѣ, мздѣ, коварству
Пути повсюду пресѣкать:
Пристрастный судъ разбоя злѣе;
Судья—враги. гдѣ спитъ законъ:
Предъ вами гражданина шея
Протянута безъ оборонъ».

Представь, чтобъ всѣ царевна средства
Въ пособіе себѣ брала
Предупреждать народа бѣдства
И сохранять его отъ зла;
Чтобъ отворила всѣмъ дороги
Черезъ почту письма къ ней писать;
Велѣла бы въ свои чертоги
Для объясненья допускать».

«Видѣніе Мурзы» принадлежитъ къ лучшимъ одамъ Державина. Какъ всѣ оды къ Фелицѣ, она написана въ шуточномъ тонѣ; но этотъ шуточный тонъ есть истинно высокій лирическій тонъ — сочетаніе, свойственное только Державинской поэзіи и составляющее ея оригинальность. Какъ жаль, что Державинъ не зналъ или не могъ знать, въ чемъ особенно онъ силенъ и что составляло его истинное призваніе. Онъ самъ свои риторически-высокопарныя оды предпочиталъ этимъ

шуточнымъ, въ которыхъ онъ былъ такъ оригиналенъ, такъ народенъ и такъ возвышенъ, — тогда какъ въ первыхъ онъ и надуть и натянуть, и безцвѣтенъ. «Видѣнїе Мурзы» начинается превосходною картиною ночи, которую созерцалъ поэтъ въ комнатѣ своего дома; поэтическая ночь настроила его къ пѣснопѣнїю, и онъ воспѣлъ тихое блаженство своей жизни:

Что карлой онъ и великаномъ
И дивомъ свѣта не рождень,
И что не созданъ истуканомъ
И оныхъ чтить не принуждены.

Далѣе заключается превосходный, поэтически и ловко выраженный намекъ на подарокъ, такъ неожиданно полученный имъ отъ монархини, за оду «Фелица»:

Блаженъ и тотъ, кому царевны
Какой бы ни было, орды,
Изъ теремовъ своихъ янтарныхъ
И сребророзовыхъ свѣтлицъ,
Какъ-будто изъ улусовъ дальныхъ,
Украдкой отъ придворныхъ лицъ.
За розказни, за растобары,
За вирши, иль за что-нибудь,
Изподтишка другіе дары
И въ досканцахъ червонцы шлютъ.

Явленіе гнѣвной Фелицы, во всѣхъ атрибутахъ ея царственного величія, прерываетъ мечты поэта. Фелица укоряетъ его за лесть; она говоритъ ему:

. Когда
Поэзія не сумасбродство,
Но вышній даръ боговъ: тогда
Сей даръ боговъ, кромѣ лишь къ чести
И къ поученью ихъ путей
Быть долженъ обращенъ, — не къ лести
И глѣнной похвалѣ людей.
Владыки свѣта люди тѣ же,
Въ нихъ страсти, хоть на нихъ вѣнцы;
Ядъ лести имъ вредить не рѣже:
А гдѣ поэты не льстецы?

Отвѣтъ поэта на укоры исчезнувшаго видѣнія Фелицы дышитъ искренностію чувства, жаромъ поэзіи и заключаетъ въ себѣ и автобиографическія черты и черты того времени:

Возможно ль, кроткая царевна!
И ты къ мурзѣ чтобъ своему
Была сурова столь и гнѣвна,
И стрѣлы къ сердцу моему
И ты, и ты чтобы бросала,
И пламени души моей
Къ себѣ и ты не одобряла?
Довольно безъ тебя людей,
Довольно безъ тебя поэту,
За каждую мысль, за каждый стихъ,
Отвѣтствовать лихому свѣту,
И отъ сатиры щититься злыхъ!
Довольно золотыхъ кумировъ,
Безъ чувствъ мои что пѣсни чли;
Довольно кадіевъ, факировъ,
Которы въ зависти сочли
Тебѣ ихъ неприличной лестию;
Довольно нажилъ я враговъ!
*Иной отнесъ себѣ къ безчестию,
Что не дерутъ его усомъ;
Иному показалось больно,
Что онъ насъждкой не сидитъ;
Иному очень своевольно
Съ тобой мурза твой юворитъ:*
Иной вѣнялъ мнѣ въ преступленіе,
Что я посланницей съ небесъ
Тебя быть мыслилъ въ восхищеніи
И лилъ въ восторгъ токи слезъ;
И словомъ: тотъ хотѣлъ арбуза,
А тотъ—соленыхъ огурцовъ;
Но пусть имъ здѣсь докажетъ муза,
Что я не изъ числа льстецовъ;
Что сердца моего товаровъ
За деньги я не продаю,
И что не изъ чужихъ амбаровъ

Тебѣ наряды я крою;
Но, вѣнценосна добродѣтель!
Не леть я пѣль и не мечты,
А то, чему весь міръ свидѣтель:
Твои дѣла суть красоты.
*Я пѣль, пою и тѣть изъ буду,
И съ шуткаль правду возьму;
Татарски тѣски изъ подѣ слуду,
Какъ лучъ потомству сообщу;
Какъ солнце, какъ луну поставлю
Твой образъ будущимъ въкамъ,
Превознесу тебя, прославлю;
Тобой безсмертенъ буду самъ.*

Пророческое чувство поэта не обмануло его: поэзія Державина, въ тѣхъ немногихъ чертахъ, которыя мы представили здѣсь нашимъ читателямъ, есть прекрасный памятникъ славнаго царствованія Екатерины II и одно изъ главныхъ правъ пѣвца на поэтическое безсмертіе..

Другое значеніе имѣютъ теперь для насъ торжественныя оды Державина. Въ нихъ онъ является болѣе официальнымъ, чѣмъ истинно вдохновеннымъ поэтомъ. Въ этомъ отношеніи, онъ рѣзко отдѣляется отъ одъ, посвященныхъ Фелицѣ. И не мудрено: послѣднія имѣли корень свой въ дѣйствительности, а первыя были плодомъ похвального обычая согласовать лирный звукъ съ громомъ пушекъ и блескомъ плошекъ и шкаликовъ. Притомъ же, легче было чувствовать и понимать мудрость и благость монархини, чѣмъ провидѣть значеніе войнъ и побѣдъ ея, объясняющихся причинами чисто политическими. Политическіе вопросы тогда только могутъ служить содержаніемъ поэзіи, когда они вмѣстѣ и вопросы историческіе и нравственные. Такова была великая война 1812 года, когда обѣ изъ тяжущихся сторонъ—и колоссальное могущество Наполеона и національное существованіе Россіи, сошлись рѣшить вопросъ: быть, или не быть! Побѣды надъ турками, какъ бы ни блистательны были онѣ,

могутъ дать прекрасное содержаніе для релійій, но не для оды. Сверхъ того, торжественныя оды Державина еще и потому утратили теперь свою цѣну, что самыя событія, породившія ихъ, намъ уже не могутъ казаться такими, какими видѣли ихъ современники. Типомъ всѣхъ торжественныхъ одъ Державина можетъ служить ода «На Взятіе Варшавы». Она такъ всѣмъ извѣстна, что мы не почитаемъ за нужное дѣлать изъ нея выписки. Ее можно раздѣлить на три части: первая изъ нихъ есть экстастическое изліяніе чувства удивленія къ Суворову и Екатеринѣ II. Дѣйствительно, вступленіе оды восторженно; но этотъ восторгъ весь заключается не въ мысляхъ, а въ восклицаніяхъ, и въ немъ есть что-то напряженное. Мѣсто, начинающееся стихомъ «Черная туча, мрачныя крыла» долго считалось въ нашихъ риторикахъ и пѣтикахъ образцомъ гиперболы, какъ выраженія высочайшаго восторга: теперь эта гипербола можетъ служить образцемъ натянутого восторга, стихотворнаго крика—не больше. Поэтъ чувствовалъ самъ пустоту всѣхъ этихъ громкихъ фразъ, и потому хотѣлъ, во второй части своей оды, занять умъ читателя какимъ-нибудь содержаніемъ. Чтò же онъ сдѣлалъ для этого?—онъ показываетъ сонмъ русскихъ царей и вождей, сидящій въ «небесномъ вертоградѣ, на злчныхъ холмахъ, въ прохладѣ благоуханныхъ роощъ, въ прозрачныхъ и радужныхъ шатрахъ»; передъ ними поетъ нашъ звучный Пиндаръ, Ломоносовъ, и его хвала пронзаетъ ихъ грудь, какъ молнія; въ ихъ «пунцовыхъ» устахъ «блистаетъ златъ медь», а на щекахъ играютъ зари; возлегши на «мягкихъ зыблющихъ(ся)» перловыхъ облакахъ, они внимаютъ тихострунный хоръ небесныхъ арфъ и поющихъ дѣвъ (что однакожь не мѣшаетъ имъ внимать и лирѣ нашего звучнаго Пиндара, Ломоносова): чтò это за языческая валгалла для христіанскихъ царей и вождей? Для этого подлуннаго мира стихи Ломоносова, конечно, имѣютъ свое назначеніе; но безпрестанно слушать ихъ и на томъ свѣтѣ — воля ваша, скучно. Далѣе, поэтъ

заставляет Петра Великаго проговорить рѣчь къ Пожарскому, и потомъ скрыться въ «сѣнь». Все это — голая риторика, свидѣтельствующая о затруднительномъ положеніи поэта, задавшаго себѣ воспѣть предметъ, котораго идеи онъ не прочувствовалъ въ себѣ. Третья часть оды кончилась даже смѣшно плохими четверостишіями съ припѣвомъ къ каждому:

Слався симъ. Екатерина.
О великая жена!

Въ первой части оды поэтъ называетъ своего героя, т. е. Суворова, «Александромъ по бранямъ»: сравненіе крайне неудачное! Можно называть Наполеона Цезаремъ, ибо въ жизни и положеніяхъ обоихъ этихъ лицъ было много общаго; но что же общаго между дѣйствительно великимъ полководцемъ русской монархини, превосходнымъ исполнителемъ ея политическихъ предначертаній, и между монархомъ-завоевателемъ, героемъ древняго міра, связавшимъ Востокъ съ Европою?... Вообще, Державинъ не умѣлъ хвалить Суворова: онъ восхищается только его непобѣдимостію, забывая, что этимъ были славны и Тамерланы и Атиллы, и что въ Суворовѣ было что-нибудь замѣчательное и кромѣ этого. Хвала Суворова, Державинъ долженъ былъ бы настроить лиру на тотъ чисто-русскій ладъ, которымъ воспѣвалъ онъ Фелицу; но онъ хотѣлъ видѣть своего героя въ риторической апопеезѣ, и потому въ его одахъ, Суворовъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого сочувствія.

У Пушкина есть два стихотворенія, порожденныя почти такимъ же событіемъ, какъ и ода Державина, о которой мы говоримъ. Даже по тону оба эти стихотворенія Пушкина напоминаютъ торжественную музу Державина; но какая же разница въ содержаніи! Пушкинъ поднимаетъ историческія вопросы, говоря, что это—

. . . . споръ Славянъ между собою,
Домашній, старый споръ, ужъ завѣщенный судьбою.

Пушкинъ не изрекаетъ оскорбительныхъ приговоровъ падшему врагу, но благородно, какъ представитель великой націи, восклицаетъ:

Въ бореньи падшій невредимъ;
Враговъ мы въ прахъ не топтали;

.
Они народной Немезиды
Не узрять гнѣвнаго лица,
И не услышать пѣснь обиды
Отъ лиры русскаго пѣвца.

Оды «На Взятіе Измаила» и «Переходъ Альпійскихъ Горъ», по объему своему — цѣлыя поэмы, герой которыхъ — Суворовъ. О нихъ можно сказать то же, что и обо всѣхъ торжественныхъ одахъ Державина: онѣ исполнены вдохновенія, но риторическаго, и ихъ можно сравнить съ похвальными словами Ломоносова — много грома, много блеска, но мало души. И потому, въ чтеніи онѣ утомительны и даже скучны. Что корень ихъ былъ не въ жизни, не въ дѣйствительности, а въ пѣтигѣ и риторикѣ того времени, могутъ служить доказательствомъ эти стихи изъ оды «На взятіе Измаила».

Злодѣйство что ни вымышляло,
Поверглось, Россы, все на васъ!
Зрю ядры, камни, варъ и бревны.

Какъ! неужели защищать отчаянно крѣпость всѣми въ войнѣ употребляемыми средствами отъ осаждающихъ ее враговъ, отчаянно биться съ ними и честно умирать за свою вѣру и своего государя, есть злодѣйство?... О, нѣтъ! Державинъ этого не думалъ, но это требовалось высокимъ пареніемъ оды, по пѣтигѣ того времени. Впрочемъ, эта ода не безъ замѣчательныхъ частныхъ, какъ, наприимѣръ, слѣдующая строфа:

Чего же можетъ родъ сей славный,
Любя царей своихъ, свершить?

Умѣйте лишь, главы вѣнчанны,
Его безцѣнну кровь щадить;
Умѣйте дать ему вы льготу,
Къ дѣламъ великимъ духъ охоту,
И правотой сердца плѣнить.
Вы можете его рукою
Всегда, войной и не войною.
Весь мѣръ себя заставить чтить.
Война, какъ сѣверно сѣянье,
Лишь удивляетъ чернь одну:
Какъ свѣтлой радуги блистанье.
Всякъ мудрый любить тишину.

Державинъ былъ пѣвцомъ всѣхъ замѣчательныхъ людей, которыми такъ богатъ былъ вѣкъ Екатерины; всѣхъ чаще и охотнѣе онъ пѣлъ Суворова—это былъ его любимый герой; но лучше всѣхъ воспѣлъ онъ Потемкина. И не мудрено: этотъ «кипящій замыслами умъ, не ходившій по пробитымъ дорогамъ, но пролагавшій ихъ самъ», былъ дивнымъ, поэтическимъ явленіемъ. Это не былъ любимецъ счастья, какъ привыкли величать его: счастье любить больше глупцовъ и дюжинныхъ людей, нежели геніевъ,—а Потемкинъ былъ геній, заставившій преклоняться передъ собою счастье. Это была натура одного типа съ Наполеоновскою: Потемкинъ могъ жить только въ замыслахъ и замыслами, и отсюда его апатія въ бездѣйствіи. Видѣть невозможность дѣйствовать—приговоръ къ смерти для такихъ людей. Каждый изъ нихъ хотѣлъ бы покорить всю землю, и палъ бы отъ своего успѣха, еслибы не нашелъ средства сдѣлать высадку на луну и взять ее приступомъ. Являясь во времена отживающаго историческаго міра, и не предчувствуя новаго, они дѣлаютъ себя центромъ всей вселенной, и падаютъ жертвами своего грандіознаго эгоизма. Такъ палъ и Наполеонъ. Нашъ русскій «сынъ судьбы» не могъ быть понять своимъ временемъ; но въ самыхъ его странностяхъ было что-то таинственно-высокое, и всѣ смотрѣли на него со страхомъ и любопытствомъ. Поэтическая

натура Державина глубже другихъ прозрѣла въ тайникъ этого великаго духа, хотя вполнѣ и не разгадала его—и «Водопадъ» остался навсегда свидѣтельствомъ этого поэтическаго полусознанія и одного изъ лучшихъ одъ Державина.—Державинъ былъ пѣвцомъ царствующаго дома въ Россіи, и нельзя съ удивленіемъ не остановиться на его пророческихъ одахъ на рожденіе царственныхъ младенцевъ, впоследствии Александра Благословеннаго и нынѣ благополучно царствующаго императора Николая. Кому не извѣстна прекрасная ода. «На рожденіе на сѣверѣ порфиророднаго отрока»; въ ней есть два стиха, невольно останавливающіе на себѣ вниманіе изумленнаго читателя:

Будь страстей своихъ владѣтель,
Будь на тронѣ человекъ!

Другая пророческая ода Державина—«На крещеніе Великаго Князя Николая Павловича»; въ ней поражаютъ стихи:

Дити равняется съ царями!
Родителямъ по крови.
По сану—исполнѣ;
По благости, любви,
Посвѣта властелинъ!
Онъ будетъ, будетъ славенъ
Душой Екатерины равенъ.

Державинъ пѣлъ воцареніе Александра и многія событія его царствованія, особенно событія 1812—1814 годовъ. Въ послѣднихъ, слышны уже слабѣющіе звуки нѣкогда громкой лиры; но въ одахъ, которыми онъ привѣтствовалъ новое благотворное свѣтило Руси, мѣстами проблескиваютъ искры поэзіи. Таково, напримѣръ, начало оды «На восшествіе на престолъ императора Александра 1-го»:

Въкъ новый! Царь молодой, прекрасный
Пришелъ днесъ къ намъ весны стезей!

Мои предвѣстья велегласны
Уже сбылись, сбылись судьбой.

Въ одѣ «Царевичу Хлору» старикъ Державинъ настроилъ свою музу на прежній ладъ, которымъ хвалилъ Екатерину, и воспѣлъ Александра. Въ поэтическомъ отношеніи, эта ода далеко не то, что «Фелица» и кажется подражаніемъ ей; но по мыслямъ, по содержанію, это одна изъ замѣчательнѣйшихъ одъ Державина. Ее стоило бы выписать здѣсь всю, до послѣдняго стиха. Она лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ какой связи находится поэзія съ положеніемъ общества. Но это была пѣснь лебедя: знаменитый и прославленный въ царствованіе Александра болѣе, чѣмъ въ царствованіе Екатерины, Державинъ былъ человѣкомъ, отжившимъ свой вѣкъ. Явленіе Крылова, Карамзина, Дмитріева, потомъ Озерова и наконецъ Жуковского и Батюшкова, показало, что въ обществѣ уже созрѣли новые элементы для поэзіи, и что, по мѣрѣ полноты этихъ элементовъ, являлись и пѣвцы разнообразныя, а не поющіе, какъ прежде, всѣ на одинъ голосъ. Это былъ успѣхъ времени, и не вина Державина, что онъ принадлежалъ къ другому вѣку и остался ему вѣренъ въ чуждомъ для него новомъ времени: онъ сдѣлалъ все, что могъ въ то время сдѣлать человѣкъ съ такимъ огромнымъ дарованіемъ. Не будь Екатерины, не было бы и Державина: цвѣты его поэзіи распустились отъ луча ея просвѣщеннаго вниманія. Этому вниманію онъ былъ обязанъ и своею славою: общество не нуждалось въ стихахъ Державина и не понимало ихъ, а имя его знало, дивясь, что за стихи даютъ и золотыя табакерки, и чины, и мѣста, дѣлаютъ вельможею бѣднаго и незнатнаго дворянина. Но таковъ ходъ идеи: она идетъ къ своей цѣли, даже и такими путями, которые, казались бы, скорѣе отвели ее отъ цѣли, чѣмъ привели къ ней: простое любопытство многихъ незамѣтно познакомилось со стихами и пристрастило къ нимъ. И когда, чрезъ размноженіе училищъ и гимназій, чрезъ основаніе новыхъ университетовъ

въ царствованіе Александра, распространилось просвѣщеніе, тогда Державина стали читать, и узнали его, какъ поэта, а не только какъ знатнаго человѣка.

Во многихъ стихотвореніяхъ Державина, личный характеръ его какъ человѣка, является съ весьма хорошею стороны. Несмотря на то, что его вѣкъ былъ вѣкъ милостивцевъ, и что лесть и угодничество считались добродѣтелями, онъ льстилъ больше какъ риторъ, чѣмъ какъ поэтъ. Когда Суворовъ, въ отставкѣ, передъ походомъ въ Италію, проживалъ въ деревнѣ безъ дѣла, Державинъ не боялся хвалить его печатно. Ода «На возвращеніе графа Зубова изъ Персіи» принадлежитъ къ такимъ же смѣлымъ его поступкамъ. «Водопадъ», написанный послѣ смерти Потемкина, есть, безъ сомнѣнія, столько же благородный, сколько и поэтический подвигъ. Судя по могуществу Потемкина, можно было бы предположить, что большая часть стихотвореній Державина посвящена его прославленію; но Державинъ, при жизни Потемкина, очень мало писалъ въ честь его. Онъ упоминаетъ о немъ въ одѣ «Осень, во время осады Очакова»; его воспѣлъ онъ подъ именемъ Рѣшемысла, прилично и скромно; есть еще ода, подъ названіемъ «Побѣдителю»: въ ней Потемкинъ превознесенъ превыше звѣздъ, довольно плохими стихами. Но вотъ и все: а это слишкомъ немного, даже слишкомъ мало для такого могущества, какое представляетъ собою Потемкинъ! Сверхъ того, въ отношеніи къ лести, нельзя строго судить Державина: онъ жилъ въ такія торжественныя и хвалебныя времена, когда пѣть и льстить значило одно и то же, и когда никакая сила характера не могло спасти человѣка отъ необходимости уклоняться лестью отъ бѣды. Должно сказать правду: за многія дѣла и самый сатирикъ не можетъ не чтить Державина. Къ числу такихъ дѣлъ принадлежитъ его ода «Памятникъ Герою», написанная въ честь Рѣппину, который находился въ то время подъ опалю у Потемкина, и который впоследствии очень дурно запла-

тилъ за нее поэту. По службѣ, въ дѣлѣ правосудія, Державинъ прослылъ даже «безпокойнымъ» человѣкомъ—эпитетъ, который, какъ извѣстно, дается только такимъ людямъ, которые безъ ужаса и негодованія не могутъ видѣть подлостей и несправедливостей, именемъ правосудія и закона совершаемыхъ ябедниками и крючкотворцами...

Чтобъ вѣрно характеризовать и опредѣлить значеніе Державина, какъ поэта, должно обратить вниманіе на его собственный взглядъ на поэзію и поэта. Въ артистической душѣ Державина пребывало глубокое предчувствіе великости искусства и достоинства художника. Это доказывается многими истинно-вдохновенными мѣстами въ его произведеніяхъ и даже превосходными отдѣльными стихотвореніями. Мы не премѣнно должны указать на нихъ, какъ на факты для сужденія о Державинѣ, какъ поэтѣ. Въ одѣ «Любителю художествъ», неудачной и даже странной въ цѣломъ, вниманіе мыслящаго читателя не можетъ не остановиться на слѣдующихъ стихахъ:

Боги взоръ свой отвращаютъ
Отъ нелюбимаго музъ;
Фурія ему влагаютъ
Въ сердце чорство грубый вкусъ.
Жажду злата и серебра.
Врагъ онъ общаго добра!

Ни слеза вдовицы не тронетъ,
Ни сиротъ несчастныхъ стонъ:
Пусть въ крови вселенна тонетъ.
Былъ бы счастливъ только онъ;
Больше бь собралъ серебра.
Врагъ онъ общаго добра!

Напротивъ того, взираютъ
Боги на любимца музъ;
Сердце нѣжное влагаютъ
И изящный нѣжный вкусъ:
Всѣмъ душа его щедра.
Другъ онъ общаго добра!

Еслибъ эти стихи прозаичностію и шероховатостію выраженія не поражали нашего вкуса, избалованнаго изящствомъ новѣйшей поэзіи, ихъ можно было бы принять за переводъ изъ какой-нибудь піесы Шиллера въ древнемъ вкусѣ. Сознаніе высокога своего призванія Державинъ выразилъ особенно въ трехъ піесахъ. Странная и невыдержанная въ цѣломъ піеса «Лебедь» есть какъ-бы прелюдія къ превосходному стихотворенію «Памятникъ»:

Необычайнымъ я паренемъ
Отъ тлѣна міра отдѣлюсь,
Съ душой безсмертною и пѣнемъ.
Какъ лебедь въ воздухъ поднимусь.

Въ двоякомъ образѣ нетлѣнный,
Не задержусь въ вратахъ мытарствъ;
Надъ завистью превознесенный,
Оставлю подъ собой блескъ царствъ.

Да, такъ! хоть родомъ я не славенъ:
Но, будучи любимецъ музъ.
Другимъ вельможамъ я не равенъ
И самой смертью предпочтусь.

Не заключить меня гробница.
Средь звѣздъ не превращусь я въ прахъ,
Но, будто пѣйка пѣвица,
Съ небесъ раздамся въ голосахъ.

Затѣмъ, поэтъ воображаетъ, что его станъ обтягиваетъ пернатая кожа, на груди является пухъ, а спина становится крылата, и что онъ лоснится лебяжьею бѣлизною; въ видѣ лебеда парить онъ надъ Россіею, и всѣ племена, населяющія ее, указываютъ на него и говорятъ:

„Вотъ тотъ летить, что строя лиру.
Языкомъ сердца говорилъ,
И проповѣдуя миръ міру
Себя всѣхъ счастьемъ веселилъ!“

Мысль изысканная и неловко выраженная; но послѣдній куплетъ очень замѣчательнъ:

Прочь съ пышнымъ, славнымъ погребеньемъ,
Друзья мои! Хоръ музъ не пой!
Супруга! облекись терпѣньемъ!
Надъ мнимымъ мертвецомъ не вой!

«Памятникъ» такъ хорошо извѣстенъ всѣмъ, что нѣтъ нужды выписывать его. Хотя мысль этого превосходнаго стихотворенія взята Державинымъ у Горация, но онъ умѣлъ выразить въ такой оригинальной, одному ему свойственной формѣ, такъ хорошо примѣнить ее къ себѣ, что честь этой мысли такъ же принадлежитъ ему, какъ и Горацию. Пушкинъ повсюду воспользовался, по примѣру Державина, примѣненіемъ къ себѣ этой мысли, въ собственной оригинальной формѣ. Въ стихотвореніи того и другаго поэта рѣзко обозначился характеръ двухъ эпохъ, которымъ принадлежать они: Державинъ говоритъ о безсмертіи въ общихъ чертахъ, о безсмертіи книжномъ; Пушкинъ говоритъ о своемъ памятникѣ: «Къ нему не заростетъ народная тропа», и этимъ стихомъ олицетворяетъ ту живую славу для поэта, которой возможность настала только съ его времени.

Не менѣе «Памятника» замѣчательно стихотворное посвященіе Державина Екатеринѣ II собранія своихъ сочиненій: оно дышитъ и благоговѣйною любовію поэта къ великой монархинѣ и пророческимъ сознаніемъ своего поэтическаго достоинства:

Что смѣлая рука поэзіи писала,
Какъ Бога истинну Фелицу во плоти
И добродѣтели твои изображала,
Держаю къ твоему престолу принести,
Не по достоинству изищѣйшаго слога,
Но по усердію къ тебѣ души моей,
Какъ жертву чистую, возженную для Бога,

Прими съ небесною улыбкою твоей.
Прими и освяти своимъ благоволеньемъ.
И музъ будь моею опорой и щитомъ,
Какъ мнѣ была и есть ты отъ клеветъ спасеньемъ.
Да веселясь она и съ бодрственимъ челомъ.
Пройдетъ сквозь тьму временъ и станетъ средь потомковъ.
Суда ихъ не страшась, твои хвалы възвѣщать;
И алчный червь когда, межъ гробовыхъ обломковъ,
Оставшій будетъ прахъ костей моихъ глотать:
Забудется во мнѣ послѣдній родъ Багрима.
Мой вросшій въ землю дождь никто не посвятитъ;
Но лира коль моя въ пыли гдѣ будетъ зрима
И древнихъ струнъ ея гдѣ голосъ прозвонитъ,
Подъ именемъ твоимъ громка она пребудетъ;
Ты славою—твоимъ я агомъ буду жить.
Героевъ и тѣщовъ вселенна не забудетъ:
Въ мотиль буду я, но буду говорить.

И однакожь, въ стихотвореніяхъ того же Державина есть мѣста, доказывающія, что онъ очень невысоко цѣнилъ поэзію и свое поэтическое призваніе. Такъ, въ одѣ «Фелица», онъ говорилъ:

Поэзія тебѣ любезна,
Пріятна, сладостна, полезна,
Какъ мотомъ вкусный лимонадъ.

Въ одѣ «Мой Истуканъ» онъ говорить:

. . . Мои бездѣлки
Безумно столько уважать,

и если считаетъ себя достойнымъ мраморнаго бюста, то развѣ за то, что воспѣвалъ Фелицу, а не за то, какъ воспѣвалъ ее, слѣдовательно, за предметъ, а не за талантъ гѣснопѣній. Такихъ мѣстъ много можно найти въ его стихотвореніяхъ. Сверхъ того, извѣстно всѣмъ,—да и есть стихотвореніе, подтверждающее этотъ фактъ («Храповицкому») — что Державинъ свое чиновническое поприще считалъ выше, т. е. дѣльнѣе своего поэтическаго поприща.

Но что же все это доказывает? то ли, что Державинъ былъ измѣнивъ въ своихъ мнѣніяхъ, или что онъ только въ стихахъ, а не на дѣлѣ, высоко думалъ о стихотворствѣ? Ни то, ни другое! Въ этомъ видна нерѣшительность, неопредѣленность идеи поэзіи въ то время. Державинъ дѣйствительно въ разныя времена думалъ о ней розно: то приходилъ въ восторгъ отъ своего призванія, гордясь имъ въ свѣтломъ и вдохновенномъ созданіи, то погружался въ уныніе при мысли о немъ, стыдяся его, какъ пустой забавы. Въ первомъ случаѣ, скрывалась его глубоко-поэтическая натура; во второмъ, высказывалось въ немъ общество нашего времени. Теперь всякій посредственный писака съ гордостью говоритъ о себѣ, что онъ литераторъ, или поэтъ, и находитъ добродушныхъ людей, которые, даже и подсмѣиваясь надъ нимъ, все-таки увиваются подлѣ него, чтобъ, при случаѣ, похвастать своимъ знакомствомъ или пріязнію съ литераторомъ и поэтомъ. Истинный талантъ теперь вездѣ и всегда смѣло можетъ назвать себя по имени; а гений, въ области поэзіи, теперь—сила и власть въ сферѣ общественнаго мнѣнія. Но это сдѣлалось не вдругъ, а постепенно. Державинъ не имѣлъ враговъ своему таланту: ему не могли простить не таланта, котораго не понимали, а полученныхъ имъ знаковъ почестей. Среди невѣждъ, и умному человѣку легко можетъ прійти въ голову мысль: ужъ не онъ ли глупъ, и не эти ли люди умны, ибо какъ же могутъ ошибаться всѣ, и быть правъ одинъ?...

Вотъ откуда происходили противорѣчія Державина въ его понятіяхъ о поэзіи. Это можетъ служить ключомъ и ко множеству другихъ его противорѣчій. На иную прекрасную оду его можно насчитать нѣсколько плохихъ, какъ будто написанныхъ въ опроверженіе первой. Причина этого та, что не было общества, не было общественнаго мнѣнія,—были только умныя личности, изрѣдка сталкивавшіяся другъ съ другомъ на необъятномъ пространствѣ. Всякая истинная поэзія есть

идеальное зеркало дѣйствительности, а разумная сторона дѣйствительности того времени выражалась только въ нѣкоторыхъ людяхъ, близкихъ къ монархинѣ; но нѣсколько людей не составляютъ общества. Мы видѣли, что въ поэзіи Державина отразился XVIII вѣкъ односторонно и слабо отразившійся на высшемъ кругѣ русскаго общества,—кругѣ, съ которымъ все остальное не имѣло ничего общаго, ни чѣмъ не было связано: а этого было слишкомъ мало, чтобъ дать такое содержаніе поэзіи, которое упрочило бы за нею безсмертіе, сообщивъ ей, неумиравшій отъ перемены нравовъ и отношеній интересъ. Мы видѣли, что Державинъ понималъ великую монархиню и вѣрно изобразилъ ее въ нѣсколькихъ чертахъ; но онъ выразилъ свое понятіе о ней, а не понятіе цѣлаго общества, которое не умѣло понимать тѣхъ благъ, которыми пользовалось—и потому мы дивимся образу Екатерины только въ немногихъ стихотвореніяхъ Державина, и именно только въ тѣхъ, гдѣ изображалъ онъ ее подъ именемъ Фелицы. Ода его «Фелица» превосходна и въ цѣломъ и въ частностяхъ; такъ же прекрасно «Видѣніе Мурзы»; но въ «Изображеніи Фелицы» прекрасны только нѣкоторыя строфы. Торжественныя оды его потеряли весь свой интересъ для нашего времени. Такъ называемыя анакреонтическія оды Державина свидѣтельствуютъ о его артистической натурѣ; но ни содержаніе ихъ, всегда одностороннее и не глубокое, ни ихъ форма, всегда невыдержанная въ цѣломъ и плѣняющая только частностями, тоже не могутъ быть предметомъ эстетическаго наслажденія въ наше время. Драматическіе опыты его не стоятъ и упоминенія.

Мы уже доказали въ первой статьѣ, что, въ эстетическомъ отношеніи, поэзія Державина, представляетъ собою богатый зародышъ искусства, но еще не есть искусство. Это блестящая страница изъ исторіи русской поэзіи, но еще не самая поэзія. Читая даже лучшія оды Державина, мы должны дѣлать надъ собою усиліе, чтобъ стать на точку зрѣнія его вре-

мени, относительно поэзии, и должны научиться видѣть прекрасное во многомъ, что въ то время казалось безусловно прекраснымъ. И такъ, Державинъ и въ эстетическомъ отношеніи есть поэтъ историческій, котораго должно изучать въ школахъ, котораго стыдно не знать образованному Русскому, но который уже не можетъ быть и для общества тѣмъ же, чѣмъ можетъ и долженъ быть для людей, посвящающихъ себя основательному изученію роднаго слова, отечественной поэзии. Ломоносовъ былъ предтечею Державина; а Державинъ—отецъ русскихъ поэтовъ. Если Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на современныхъ ему и явившихся послѣ него поэтовъ, то Державинъ имѣлъ сильное вліяніе на Пушкина. Поэзія не родится вдругъ, но, какъ все живое, развивается исторически: Державинъ былъ первымъ живымъ глаголомъ юной поэзіи русской. Съ этой точки зрѣнія должно опредѣлять его достоинства и его недостатки, — и съ этой точки зрѣнія его недостатки явятся также необходимыми, какъ и его достоинства. Называть Державина русскимъ Пиндаромъ, Анакреономъ и Горациемъ могли только во времена дѣтства нашей критики. Пиндара, Анакреона и Горациіа читаетъ весь просвѣщенный міръ на ихъ родныхъ языкахъ, и въ безчисленномъ множествѣ переложеній: въ Державинѣ ничего не найдетъ ни Французъ, ни Англичанинъ, ни Нѣмецъ. Богатырь поэзіи по своему природному таланту, Державинъ, со стороны содержанія и формы своей поэзіи, замѣчательнъ и важенъ для насъ, его соотечественниковъ: мы видимъ въ немъ блестящую зарю нашей поэзіи, а поэзія его, — это (какъ справедливо сказано въ предисловіи къ изданнымъ нынѣ его сочиненіямъ) сама Россія Екатеринина вѣка—съ чувствомъ исполинскаго своего могущества, съ своими торжествами и замыслами на востокъ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предрасудковъ и повѣрій — это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранная въ азіятскіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полу-

грамотная, — такова поэзія Державина, во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ».

СОЧИНЕНІЕ ЗЕНЕИДЫ Р—ВОЙ. *Спб. 1843. Четыре части.*

Въ Россіи женщины мало пишутъ. Впрочемъ, этому нечего удивляться: въ Россіи и мужчины почти совсѣмъ не пишутъ. Смотри съ этой точки зрѣнія, вы увидите, что у насъ женщины пишутъ именно не больше и не меньше того, сколько могутъ онѣ писать. Званіе писательницы пока еще контрабанда не у однихъ насъ. Живой взглядъ на женщину осуждаетъ ее на молчаніе. Этотъ взглядъ, запрещающій женщиѣ выходить изъ заколдованнаго круга простыхъ свѣтскихъ отношеній, не есть принадлежность собственно русскаго общества: онъ равно принадлежитъ и просвѣщенному западу Европы. Правда, тамъ, какъ и у насъ, женщина давно уже приобрѣла право говорить печатно, — но какъ и о чемъ говорить? вотъ вопросъ, подробное рѣшеніе котораго завело бы далеко-далеко... въ самую Азію. Никакая пишущая женщина въ Европѣ не избѣгнетъ пошлыхъ намековъ и названія синяго чулка, каковъ бы ни былъ ея талантъ, равно всѣми признанный. Никто тамъ не оспариваетъ у женщины права высказаться печатно и возможности быть одаренною даже великимъ творческимъ талантомъ; никого не оскорбляетъ и не соблазняетъ зрѣлище пишущей женщины; но въ то же время едва ли кто упуститъ случай, говоря о пишущей женщиѣ, посмѣяться надъ ограниченностію женскаго ума, болѣе, будто-бы, приноровленнаго для кухни, дѣтской, шитья и вязанья, чѣмъ для мысли и творчества. Это уже такая привычка у мужчинъ: если они давно перестали бить женщиѣ, то еще не отстали отъ привычки грозить имъ кулакомъ, или дразнить языкомъ, въ ознаменованіе

права своей силы. Привычка—вторая натура, и потому отстать отъ нея трудно. Для женщины-писательницы это первое, и притомъ еще самое меньшее зло. Хуже всего, что она осуждена общественнымъ мнѣніемъ на самыя невинныя литературныя занятія, именно — вѣчно повторять старыя обветшалыя истины, которымъ не вѣрятъ даже и дѣти, но которыя тѣмъ не менѣе считаются почтенными. Нельзя употребить большаго насилія надъ женщиною, нельзя оказать ей большаго презрѣнія? Конечно, ей не воспрещается закономъ быть оригинальною и глубокою въ своихъ мысляхъ, могущественною и великою въ творествѣ, — по крайней мѣрѣ на столько, на сколько не воспрещается это закономъ мужчинѣ; но если законъ оставить женщину въ покоѣ, тогда противъ нея дѣйствуетъ общественное мнѣніе. Тысячеглавое чудовище объявляетъ ее безнравственною и безпутною, грязнить ея благороднѣйшія чувства, чистѣйшіе помыслы и стремленія, возвышеннѣйшія мысли, — грязнить ихъ грязью своихъ комментаріевъ; объявляетъ ее безобразною кометою, чудовищнымъ явленіемъ, самовольно вырвавшимся изъ сферы своего пола, изъ круга своихъ обязанностей, чтобъ упоить свои разнузданныя страсти и наслаждаться шумною и позорною извѣстностью. Не правда ли, что это возмутительно несправедливо?... А вотъ вамъ и смѣшное: то же самое общество не читаетъ женщинъ, пишущихъ въ духѣ его же собственной морали, и обходитъ ихъ самымъ презрительнымъ невниманіемъ, потому что оно само не вѣритъ своей морали и смѣется надъ нею. Впрочемъ, оно противорѣчитъ такимъ образомъ самому себѣ не въ отношеніи къ однѣмъ только женщинамъ. Возьмемъ, на примѣръ, современное французское общество. Представители его — набитые золотомъ мѣшки, пріобрѣтатели, люди, поклоняющіеся золотому тельцу. Кого читаетъ это общество! — писателей въ духѣ чуждой ему морали. Это общество недавно восхищалось двумя романами Эжена Сю «Mathilde и Mystères de Paris», а эти романы не что иное,

какъ страшный доносъ на это общество. Это же общество не хочетъ уже читать какого-нибудь москѣ *de* Бальзака, до сихъ поръ вѣрнаго моральному принципу выскочившаго въ люди богатаго мѣщанства, оно смѣется надъ нимъ, презираетъ его, и, вмѣсто его, читаетъ Жоржъ Занда, въ которомъ имѣло бы право видѣть своего обвинителя, изобличителя и нравственную кару. Послѣ этого, извольте угождать обществу и сообразоваться съ его моралью! Всѣ явленія дѣйствительности внутри себя самихъ заключаютъ свою необходимость: вотъ отчего люди толкуютъ свое, а дѣйствительность идетъ своею дорогою, не спрашиваясь у людей, но заставляя людей спрашиваться у нея. Привычка мало-помалу дѣлаетъ людей равнодушными къ явленію, которое вначалѣ поразило ихъ, и, со временемъ, они начинаютъ не только считать это явленіе естественнымъ, но даже и приносить ему дань удивленія и восторженныхъ похвалъ. Таково теперь во Франціи положеніе Жоржъ Занда, какъ писательницы; но не таково было ея положеніе назадъ тому нѣсколько лѣтъ. И что же?—явись другая писательница съ такимъ же гениемъ,—и на нее сперва полетѣтъ обильный дождь клеветъ, браней, оскорбленій, лжи,—и все это во имя будто бы оскорбленной ею морали, и при всемъ этомъ будутъ раскупать ея сочиненія и твердить ихъ наизусть; а потомъ клеветы, лжи и брани умолкнутъ, смѣнившись на восторгъ и удивленіе... А въ то же время, сколько женщинъ писательницъ въ духѣ общественной морали, пичкающихъ свои сочиненія пошлыми сентенціями, пройдутъ незамѣченныя, неудостоенныя ничьего вниманія!...

Сказанное нами не можетъ имѣть примѣненія къ русской литературѣ. У насъ, литература имѣетъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ въ старой Европѣ. Тамъ она—выраженіе мысли, служащей источникомъ жизни для общества въ каждую эпоху его историческаго развитія. У насъ, литература — пріятное и полезное, невинное и благородное препровожденіе времени,

и для писателя и для читателя. Исключенія изъ этого правила такъ рѣдки, что не стоить упоминать о нихъ. Наши писатели (и то далеко не всѣ) только одною ступенью выше обыкновенныхъ изобрѣтателей и пріобрѣтателей; наши читатели (и то далеко не всѣ) только одною ступенью выше людей, которые въ преферансѣ и сплетняхъ видятъ самое естественное препровожденіе времени. Оттого, у насъ всѣ писатели, и хорошіе и худые, равно читаются и почитаются, равно имѣютъ ограниченный кругъ нравственнаго вліянія, и равно скоро забываются. Исключеніе остается только за писателями, которые ужъ слишкомъ по плечу обществу и слишкомъ хорошо угодили его вкусу, удовлетворили его потребностямъ: таковы, напримѣръ, Марлинскій и Бенедиктовъ, которыхъ и теперь еще очень любятъ даже въ столицахъ, а въ провинціи знаютъ наизусть. Поэтому, женщина, у насъ, смѣло можетъ пускаться въ писательство: если она не всегда можетъ надѣяться стать слишкомъ высоко, за то никогда не должна бояться затеряться въ заднихъ рядахъ писакъ. Это тѣмъ вѣрнѣе, что женщины, которыя когда-либо пускались на Руси въ авторство, всегда обладали извѣстною степенью образованности, знаніемъ хоть французскаго языка; при этомъ имъ не мало служить и врожденный женской натурѣ тактъ приличія и здраваго смысла; тогда какъ несравненно большая часть пишущихъ въ Россіи мужчинъ попала въ писатели нечаянно и безъ всякаго приготовленія, а потому и не знаютъ даже первыхъ основаній грамматики своего роднаго языка, да и принадлежать еще къ такому кругу понятій, изъ котораго совсѣмъ не слѣдовало бы показываться въ печати. Въ доказательство справедливости нашихъ словъ, указываемъ на длинную вереницу сочинителей въ родѣ гг. Милькѣва, Славина, Кузьмичева, Зотова, Воскресенскаго, Классена, Сигова, Антипы Огородника, Тимоѣева, Зражевской, Бурачка, Мартынова, Кропоткина, Скосырева, Жданова, Шелехова, Куражсковскаго, Ильина и многихъ иныхъ, которыхъ пере-

честь не достанетъ ни терпѣнія, ни времени, ни мѣста въ статьѣ. Скажутъ: бездарные люди всегда заваливали литературу мусоромъ своихъ сочиненій. Правда, и прежде — въ доброе классическое время нашей литературы, бездарныхъ писаекъ, такъ же, какъ и теперь, было больше, чѣмъ даровитыхъ писателей; но тогда не было между пишущимъ народомъ людей безграмотныхъ; тогда всѣ старались писать въ тонѣ порядочнаго общества, и не воспѣвали въ стихахъ «россійскаго сиводдая» и «кабаковъ» (какъ это недавно сдѣлалъ г. Милькѣевъ), и не восхищались тѣмъ, что Ломоносовъ былъ подверженъ несчастной страсти невоздержанія, отъ которой и погибъ рано. Въ прежнія времена, пришли бы въ ужасъ отъ такого романтизма. Но въ наше время, такъ называемый романтизмъ освободилъ писаекъ отъ здраваго смысла, вкуса, грамматики, логики, порядочнаго тона, даже опрятности и чистоплотности, и всѣ эти господа-сочинители стали выѣзжать, въ своихъ романтически-народныхъ произведеніяхъ, на разбитыхъ носачъ, фонаряхъ подъ глазами, зипунахъ; лаптяхъ, мужицкихъ рѣчахъ и поговоркахъ, кабакахъ и харчевняхъ. И все это ими представляется и описывается безъ всякаго юмора, безъ всякой сатирической, цѣли, но съ добродушнымъ и добросовѣстнымъ восторгомъ и удивленіемъ къ своимъ неопрятнымъ вымысламъ: ссылаемся опять на того же г. Милькѣева, который, вдохновившись сивухою, воспѣлъ ее въ диэирамбѣ безъ всякой ироніи, важнымъ торжественнымъ и патетическимъ тономъ.

Къ чести русскихъ женщинъ-писательницъ надобно сказать, что между ними примѣры подобнаго романтизма, или безграмотности, составляютъ исключенія изъ общаго правила, — исключенія, которыя остаются за немногими тѣми, которыя, соблазнившись нѣкоторыми журналами, пустились «гуторить» въ нихъ народною (т. е. огородническою) рѣчью... Всѣ другія, обладая бѣльшимъ или меньшимъ талантомъ, все-таки отличаются бѣльшею или меньшею грамотностью, уваженіемъ къ

приличію и отвращеніемъ къ площадной и харчевенной народности. Между тѣмъ, въ ихъ послѣдовательномъ явленіи одна за другою есть нѣчто въ родѣ прогресса,—и Анна Бунина и Зенеида Р-ва представляютъ двѣ совершенныя противоположности, не по одному таланту, но и по направленію и духу ихъ произведеній. Здѣсь мы считаемъ кстати сдѣлать короткое обзорѣніе литературной дѣятельности русскихъ женщинъ. Въ каталогѣ Смирдина, мы встрѣчаемъ имена слѣдующихъ женщинъ, занимавшихся переводами съ иностранныхъ языковъ на русскій: Марья Сушкова (перевела «Инки» Мармонтеля, въ 1778 году), Марья Орлова (1788), Катерина и Анна Волконскія (1792), Корсакова (1792), Нилова (1793), Баскакова (1796), Марья Базилевичева (1799), Марья Иваненко (1800), Лихарева (1801), Настасья Плещеева (1808), Марья Фрейтахъ (1810), Катерина де ла Маръ (1815), Татищева (1818), Беклемишева (1819), Бровина (1820), Вишлинская, А. и Катерина Воейковы, Анна и Пелагея Вельяшевы-Волынцовы, Вѣра и Надежда Кусовниковы, Настасья Гагина, Катерина Меньшикова, А. Мухина. Изъ этого списка видно, что наши дамы рано приняли участіе въ отечественной литературѣ. Въ 1789 году, были изданы «Лучшіе Часы Жизни Моей» Марьи Поспѣловой; а въ 1801 г. ея же «Черты Природы и Истины, или Оттѣнки Мыслей и Чувствъ моихъ». Еще ранѣе, именно, въ 1774 г. (стало быть, шестьдесятъ девять лѣтъ назадъ тому) Катерина Урусова издала свою эпическую поѣму въ пяти пѣсняхъ, «Полювъ, или Просвѣтившійся Нелюдимъ» Александра Хвостова, издала, въ 1796 году, «Каминь и Ручеекъ». Г-жи Москвины издали свои стихотворенія подѣ заглавіемъ «Аонія», въ 1802 г. Дѣвица Волкова издала, 1807, свои стихотворенія. Г-жа Наумова издала свои стихотворенія, въ 1819 году, подѣ именемъ «Уединенной Музы Закамскихъ Береговъ». Г-жа Любовь Кричевская обнаружила особенную плодовитость, въ сравненіи съ изчисленными нами писательницами: она издала «Мои Свобод-

ныя Минуты, или Собрание Сочиненій въ Стихахъ и Прозѣ, Любви Кричевской» (Харьковъ, 1818); драму въ трехъ дѣйствіяхъ «Нѣтъ Добра безъ Награды» (Харьковъ, 1826); «Двѣ Повѣсти» (Москва, 1827) и «Историческіе Анекдоты и Избранныя Изрѣченія Извѣстныхъ Людей» (Харьковъ, 1827). Хотя сочиненіе г-жи Анны Волковой «Утренняя Бесѣда Слѣпаго Старца съ своею Дочерью» издано въ 1824 году, но по наивному заглавію и, вѣроятно, по такому же содержанію, оно можетъ быть смѣло отнесено къ произведеніямъ семисотъ-семидесятыхъ годовъ. Впрочемъ, это произведеніе той же самой г-жи Волковой, которая въ 1807 году издала свои стихотворенія, и въ 1826 еще писала стихи. Г-жа Титова издала, въ 1810 году, драму въ пяти дѣйствіяхъ «Густавъ Ваза, или Торжествующая Невинность»; г-жа Катерина Пучкова — «Первые Опыты въ Прозѣ» (Москва, 1812); а въ 1817 году г-жа Марья Болотникова издала «Деревенскую Лиру, или Часы Уединенія. Но что всѣ эти писательницы передъ знаменитою въ свое время г-жею Анною Буниною? Она писала въ журналахъ, и потомъ отдѣльно издавала труды свои, писала и переводила, въ стихахъ и въ прозѣ, занималась не только поэзіею, но и теоріею поэзіи. Въ 1808 году, она издала трудъ свой, подъ названіемъ «Правила Поэзіи, сокращенный переводъ аббата Батё, съ присовокупленіемъ русскаго стопосложенія»; въ 1810 году, издала она «О Счастіи, дидактическое стихотвореніе»; въ 1811, издала она свои «Сельскіе Вечера»; въ 1809—1812, — «Неопытную музу Анны Буниной» въ двухъ частяхъ; въ 1819—1821, вышло «Собраніе Стихотвореній Анны Буниной» въ трехъ частяхъ. Знаменитѣйшее произведеніе г-жи Буниной, была нравственная поэма ея «Фаетонъ». Она, кажется, перевела также и «Науку о Стихотворствѣ» Буало, и вообще не уступала графу Дмитрію Ивановичу Хвостову ни въ талантѣ, ни въ трудолюбіи, ни въ выборѣ предметовъ для своихъ пѣснопѣній. Собраніе стихотвореній г-жи Анны Буниной было издано Россій-

скою Академією. Но и г-жею Буниной не оканчивается еще блистательный списокъ старинныхъ нашихъ писательницъ. Есть еще одна, не менѣ знаменитая, хотя и менѣ известная. Знаете ли вы дѣвицу Марью Извѣкову, читали ли вы романы дѣвицы Марьи Извѣковой?... Если нѣтъ, то бѣгите въ книжную лавку, попросите книгопродавца порыться въ его погребахъ и кладовыхъ—этихъ книжныхъ кладбищахъ—и отыскать вамъ романы дѣвицы Марьи Извѣковой, если ихъ еще не съѣли мыши, и прочтите ихъ какъ можно скорѣе. Чтобъ помочь вамъ въ вашихъ поискахъ, мы поименуемъ ея романы. Ихъ немного, всего три, да за то, куда хороши! «Эмилія, или Печальныя Слѣдствія Безразсудной Любви» (4 ч. 1806), «Милена, или Рѣдкій Примѣръ Великодушія» (1809); «Торжествующая Добродѣтель надъ Коварствомъ и Злобою» (3 ч. 1809). Какovy одни заглавія—такъ и дышать чистѣйшею нравственностью! А содержаніе—еще лучше. еще нравственнѣе, хотя, надо признаться, и невообразимо скучно. Его составляютъ происшествія, въ которыхъ дѣйствуютъ лица безъ образа; герои же, а особенно героини, отчичаются необыкновенною говорливостью. Такъ, наприимѣръ, вы уже знаете черезъ самого автора, что тогда-то и тогда-то было съ героинею: нѣтъ, она сама начнетъ вамъ пересказывать, и гораздо длиннѣе, чѣмъ авторъ уже рассказалъ вамъ, хотя и самъ авторъ не любитъ выражаться коротко. Романы г-жи Извѣковой, кромѣ чистѣйшей нравственности, насквозь проникнуты еще и нѣжнѣйшею чувствительностію, и, вѣроятно, многихъ слезъ стоили они прекраснымъ читательницамъ того времени, теперешнимъ почтеннымъ нашимъ тетушкамъ и бабушкамъ. И благодарное потомство забыло дѣвицу Марью Извѣкову. забыло совсѣмъ!... Что жъ послѣ этого прочно подъ луною? Гдѣ Греція, гдѣ Римъ, спрашивалъ Байронъ въ своемъ «Чайльдъ Гарольдѣ»; гдѣ романы дѣвицы Марьи Извѣковой? часто спрашиваю я самого себя съ глубокою тоскою, и печально смотрю на современныя произведенія русской литературы... Увы!

вездѣ мрачное царство смерти, вездѣ ея ужасное владычество, вездѣ — даже и въ книжномъ мірѣ! Эта мысль съ особенною силою поражаетъ насъ, которые столько пережили, еще не успѣвъ состарѣться, которые съ такою надеждою, такою гордостью встрѣтили столько великихъ произведений, теперь уже умершихъ для свѣта. Гдѣ теперь всѣ эти «киргизскіе» и другіе «плѣнники»? гдѣ все это множество романтическихъ поэмъ, длинною вереницею потянувшихся за «Кавказскимъ Плѣнникомъ» Пушкина и «Чернецомъ» Козлова? Увы! не только эти скороспѣлыя произведения недопеченаго романтизма, тогда такъ восхищавшія насъ, не только они не могутъ теперь останавливать нашего вниманія, но мы не нашли бы въ себѣ достаточной отваги, чтобы перечестъ и «Чернеца»; и даже «Руслана и Людмилу» и Кавказскаго Плѣнника» мы теперь перелистываемъ съ улыбкою. Гдѣ теперь нравоописательные и нравственно-сатирическіе романы г-на Булгарина, гдѣ его пресловутый «Иванъ Выжигинъ», котораго такъ сильно бранили назадъ тому лѣтъ четырнадцать? — Гдѣ «Черная Женщина» г-на Греча и «Фантастическія Путешествія» барона Брамбеуса? все тамъ же, гдѣ и «Корсаръ» г. Олина, и «Князь Курбскій» г. Бориса Ф(Ѳ)едорова, и романы дѣвицы Марьи Извъковой!... Давно ли «Московскій Телеграфъ» казался чудомъ учености, глубокой философіи и здравой критики; давно ли казалось, что въ своемъ ходѣ онъ опережалъ самое время? Давно ли «Юрій Милославскій» считался великимъ національнымъ романомъ? А гдѣ слава нашихъ романтическихъ поэтовъ? И кто не считался, назадъ тому около двадцати лѣтъ, кто не считался тогда великимъ романтическимъ поэтомъ? Даже г. Шевыревъ и самъ считалъ себя и другими многими считался поэтомъ — и все это за довольно плохіе стишонки. Давно ли сей великій мужъ российской словесности хлопоталъ о введеніи въ русское стихословіе скрипучихъ октавъ? И какъ напрасно теперь сидится онъ, помня старину, блеснуть то плохимъ стихотвореніемъ,

то неслыханно оригинальною критическою статьею? И какъ напрасно, виѣсть съ нимъ, помня доброе старое время, гг. Языковъ и Хомяковъ стараются спастись отъ волнь Леты, хватаясь за обломки утлаго въ славянской журналистикѣ челнока — «Москвитянина»... А колоссальная слава гг. Марлинскаго и Бенедиктова—гдѣ же теперь она, если не тамъ, гдѣ слава романовъ дѣвицы Марьи Извѣковой?

Съ Появленія Пушкина гораздо больше стало являться на Руси женщинъ - писательницъ; но извѣстныхъ именъ между ними стало меньше. Это оттого, что имена людей, дѣйствовавшихъ въ началѣ зарождающейся литературы, пользуются извѣстностью даже и безъ отношенія къ ихъ таланту. Когда же литература уже сколько-нибудь установится, тогда, чтобъ получить въ ней почетное имя, нужно имѣть замѣчательный талантъ. И такъ, мы помнимъ, въ Пушкинскій періодъ русской литературы, только четыре женскія имени: княгини Э. А. Волконской, которой Пушкинъ посвятилъ своихъ «Цыганъ», г-жъ Лисицыной, Готовцевой и Тепловой. Въ стихотвореніяхъ трехъ послѣднихъ проглядываетъ чувство, особливо въ стихотвореніяхъ г-жи Тепловой: это уже большая разница отъ произведеній прежнихъ стихотворицъ: то были плоды невинныхъ досуговъ, поэтическое вязаніа чулковъ, рифмоторное шитье, а здѣсь уже проблескивала поэзіа. Правда, помянутыя нами стихотворицы мало писали, и только стихотворенія одной г-жи Тепловой собраны въ отдѣльную книжку-малютку; но можетъ ли быть плодovита поэзіа, основанная не на мысли, а на одномъ непосредственномъ чувствѣ?... Чувства никакъ нельзя отнять у стихотвореній г-жи Тепловой, и это чувство высказывалось у ней въ болѣе или менѣе поэтическихъ стихахъ. Напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ хоть одно стихотвореніе г-жи Тепловой; возьмемъ на удачу такъ называющееся «Къ сестрѣ».

Когда наступитъ часъ желанный
Разлуки жизнию туманной,

И отъ земныхъ тяжелыхъ узъ
Я равнодушно отложусь:
Миръ вѣчной жизни, тихій, ясный,
Тогда почиеть на челѣ;
Но пережить тебя ужасно,
Покинуть тяжко на землѣ!
Тогда въ душѣ, для услажденья
Минуты смертнаго томленья,
Я положу завѣтъ святой...
И жди меня въ часы полночи,
Когда людей смежата очи,
И мѣсяцъ встанеть надъ рѣкой,
Приду на краткое свиданье,
Скажу, что я узнала тамъ,
И замогильныя желанья
И тайну неба передамъ.

Оставя въ сторонѣ ребяческую мысль этого стихотворенія, кто однакоже не согласится, что оно вылилось изъ души и полно чувства?

Теперь скажемъ по нѣскольку словъ о женщинахъ - писательницахъ, явившихся въ послѣднее время. Елисавета Кульманъ оставила послѣ себя претолстую книгу, свидѣтельствующую о ея необыкновенно возвышенной душѣ, страстной къ изящному и умѣвшей, черезъ строгое и основательное изученіе, обрѣсти въ эллинской поэзіи осуществленный идеаль этого изящнаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ свидѣтельствующую и о томъ, что любовь къ поэзіи и способность понимать ее и наслаждаться ею, не всегда одно и то же съ талантомъ поэзіи. — Г-жа Павлова (урожденная Янинъ) обладаетъ необыкновеннымъ даромъ переводить стихами съ одного языка на другой; съ равнымъ успѣхомъ переводить она съ англійскаго, нѣмецкаго и французскаго языковъ на русскій, и съ русскаго языка на нѣмецкій и французскій. Жаль только, что этому превосходному таланту г-жи Павловой переводить не соотвѣтствуетъ ея талантъ выбирать піесы для перевода. Такъ, напр., съ англійскаго она перевела на русскій нѣсколько

шотландскихъ и англійскихъ народныхъ балладъ, которыя, несмотря на превосходный переводъ, не могутъ имѣть на русскомъ никакого значенія, именно потому что онѣ — народныя. На нѣмецкій языкъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми пѣсами Пушкина, перевела она нѣкоторыя пѣсы гг. Языкова и Хомякова, и тѣмъ самымъ, несмотря на превосходный переводъ, отбила охоту у Нѣмцевъ интересоваться русскою поэзію. И въ то же время г-жа Павлова съ такимъ удивительнымъ искусствомъ передала на французскій языкъ, стихами, «Полководца» Пушкина и «Орлеанскую Дѣву» Шиллера. Однимъ словомъ, еслибъ способность выбора соответствовала ея таланту, г-жа Павлова, своими превосходными переводами, усвоила бы себѣ прочную славу не въ одной только русской литературѣ. — Графиня Е. П. Растопчина, выступившая на литературное поприще съ 1835 года, въ первыхъ опытахъ своей поэтической дѣятельности обнаружила много чувства и одушевленія при отсутствіи, впрочемъ, какой бы то ни было могучей мысли, которая проникла бы собою всё ея произведенія. То, что въ стихотвореніяхъ графини Растопчиной можетъ инымъ показаться мыслию, есть не что иное, какъ отвлеченныя понятія, одѣтыя въ болѣе или менѣе удачный стихъ. Это особенно замѣтно въ ея послѣднихъ стихотвореніяхъ (начиная съ 1837 года по сіе время), въ которыхъ нельзя узнать прежняго стиха даровитой стихотворицы, и въ которыхъ всё мысли и чувства кружатся, словно подъ музыку Штрауса, и скачутъ, словно подъ музыку моднаго галопа, или около я автора, или въ заколдованномъ кругу свѣтской жизни, не выходя въ сферу общечеловѣческихъ интересовъ, которые только одни могутъ быть живымъ источникомъ истинной поэзіи. — Въ 1839 — 1840 годахъ, были изданы, въ прозаическомъ русскомъ переводѣ, стихотворенія графини Сары Толстой, писанныя ею на нѣмецкомъ, англійскомъ и французскомъ языкахъ. Эти стихотворенія понятны только въ цѣломъ и въ связи съ жизнію юной стихотворицы, похищенной смертію на восемнад-

цатомъ году ея жизни. Всѣ эти стихотворенія проникнуты однимъ чувствомъ, одною думою, и то чувство—меланхолія, та дума—мысль о близкомъ концѣ, о тихомъ покоѣ могилы, украшенной весенними цвѣтами. У Сары Толстой это монотонное чувство и эта однообразная дума высказались поэтически. Стихотворенія Сары Толстой нельзя читать какъ только произведенія поэзіи: вмѣстѣ съ тѣмъ они и поэтическая біографія одной изъ самыхъ странныхъ, самыхъ оригинальныхъ, самыхъ поэтическихъ и по натурѣ и по судьбѣ, и по таланту и по духу, личностей. Это прекрасное явленіе промелькнуло безъ слѣда и памяти. Да и кому нужно у насъ замѣчать такія явленія, не состоящія ни въ какомъ классѣ?... Можетъ-быть, въ этомъ случаѣ, заслуженная извѣстность Сары Толстой много потеряла отъ того, что ея стихотворенія изданы не для публики, а для тѣснаго круга ея родныхъ и знакомыхъ, и при томъ въ довольно плохомъ переводѣ и съ дурно написанномъ предисловіемъ.—Къ замѣчательнымъ явленіямъ послѣдняго времени русской литературы принадлежатъ повѣсти г-жи Жуковой. Въ нихъ много чувства, и онѣ отличаются прекраснымъ рассказомъ: вотъ ихъ неотъемлемыя достоинства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, онѣ чужды ироніи, жизнь въ нихъ представляется не въ ея собственномъ цвѣтѣ, а раскрашенная розовою краскою поддѣльной идеализаціи, и оттого характеры дѣйствующихъ лицъ иногда невыдержаны, а иногда и вовсе ложны, и замѣчается отсутствіе цѣлаго, при прекрасныхъ частностяхъ. Однимъ словомъ, даровитая г-жа Жукова принадлежитъ къ тому разряду писателей, которые изображаютъ жизнь не такую, какова она есть, слѣдовательно, не въ ея истинѣ и дѣйствительности, а такую, какою имъ хотѣлось бы ее видѣть. Но, при всемъ этомъ, въ повѣстяхъ г-жи Жуковой уже видно какъ-бы невольное стремленіе, вслѣдствіе духа времени, искать сюжетовъ въ дѣйствительной современной жизни и заботиться о естественномъ изображеніи подробностей быта и ежедневной жизни героевъ, сообразно-

съ ихъ положеніемъ въ обществѣ и степени ихъ образованности. Вообще, главное достоинство повѣстей г-жи Жуковой — теплота чувства, и главный ихъ недостатокъ — отсутствіе такта дѣйствительности.

Нельзя сказать, чтобъ въ повѣстяхъ Зенеиды Р-вой русская повѣсть достигла, талантомъ женщины, своего полного развитія, чтобъ она стала выраженіемъ созрѣвшей мысли и вѣрною картиною современнаго общества; но въ то же время нельзя не сказать, что ни одна изъ русскихъ писательницъ не обладала такою силою мысли, такимъ тактомъ дѣйствительности, такимъ замѣчательнымъ талантомъ, какъ Зенеида Р-ва. Созданная ею повѣсть, какъ ея талантъ и жизнь, остановились на полудорогѣ и не дошли до своего полного и конечнаго развитія. Мы не хотимъ и упоминать о полнотѣ чувства, которымъ проникнуты повѣсти Зенеиды Р-вой: это должно само собою подразумѣваться, когда дѣло идетъ о сильномъ талантѣ: какого же порядочнаго математика хвалить за способность комбинировать и соображать? И потому мы прямо приступимъ къ тому, что составляетъ существенное достоинство повѣстей Зенеиды Р-вой — къ ихъ мысли.

Въ истинно-поэтическихъ произведеніяхъ, мысль не является отвлеченнымъ понятіемъ, выраженнымъ догматически, но составляетъ ихъ душу, разлитая въ нихъ, какъ свѣтъ въ хрусталѣ. Мысль въ поэтическихъ созданіяхъ — это ихъ паэось, или патось. Что такое паэось? — страстное проникновеніе и увлеченіе какою-нибудь идеею. Отсюда происходитъ и слово «патетическій». Что называется «патетическимъ» въ драмѣ? — Энергія раздраженнаго чувства, которое бурными волнами огненной рѣчи изливается изъ устъ дѣйствующаго лица. Въ такихъ монологахъ всегда видно трепетное, страстное проникновеніе дѣйствующаго лица тою идеею, которая составляетъ собою невидимую пружину всей его дѣятельности, всей энергіи его воли, готовой на все для достиженія своей цѣли. Вотъ зтотъ-то паэось и составляетъ собою базисъ и

фонъ твореній всякаго замѣчательнаго поэта. Чтѣ же составляетъ паѣосъ повѣстей Зенеиды Р-вой?—Безъ сомнѣнн, любовь, ибо всѣ ея повѣсти основаны исключительно на одномъ этомъ чувствѣ. Но любовь есть понятн слншкомъ общее, которое у всякаго истиннаго таланта должно принять болѣе или менѣ индивидуальный оттѣнокъ, или представляться подѣ особенною точкою зрѣнн. Посему мало сказать, что любовь составляетъ паѣосъ повѣстей Зенеиды Р-вой; надо прибавить— любовь женщины. Всѣ повѣсти этой даровитой писательницы проникнуты однимъ страстнымъ чувствомъ, одною живою идеею, однимъ могучимъ созерцаннмъ, не дающимъ покоя автору и тревожно его наполняющимъ, созерцаннмъ, которое можно выразить такими словами: какъ умѣютъ любить женщины и какъ не умѣютъ любить мужчины. И такъ, основная мысль, источникъ вдохновенн и завѣтное слово поэзн Зенеиды Р-вой есть апологн женщины и протестъ противъ мужчины. Обвинимъ ли мы ее въ прнстрастн, или признаемъ ея мысль справедливою?... Мы думаемъ, что справедливость ея слншкомъ очевидна, и что намъ лучше попытаться объяснить причину такого явленн, чѣмъ доказывать его дѣйствительность.

Окинемъ бѣглымъ взглядомъ содержанн всѣхъ повѣстей Зенеиды Р-вой. Первая — «Идеаль». Прекрасная, исполненная ума, души и сердца женщина, закабаленная волею родныхъ въ позорное рабство продажнаго брака, обращаетъ всю силу страстнаго стремленн своей любящей природы на восхитившаго ее своими созданнми поэта и потомъ, самымъ ужаснымъ для себя образомъ, узнаетъ, что этотъ поэтъ, этотъ ея идеаль, безсовѣстно игралъ ею, завлекая ее мнимою своею взаимностн. Это открытн стоило ей злой горячки и потомъ полнаго разочарованн въ возможности какаго бы то ни было счастья на землѣ; а поэту, идеалу, это ровно ничего не стоило — онъ остался здоровъ и счастливъ вполне... Вотъ каковы мужчины въ любви! А женщины?—посмотрите, какъ описываетъ

авторъ, своимъ цвѣтистымъ и энергическимъ языкомъ, состояніе бѣдной, разочарованной героини ея повѣсти:

„Я видѣла молодую птичку въ веснѣ ея жизни: она въ первый разъ выпорхнула изъ теплаго гнѣзда; ей представились небо, красное солнце и міръ Божій; какъ радостно забилося ея сердце, какъ затрепетали крылья? Заранѣе она обнимаетъ ями пространство; заранѣе готовится жить и съ первымъ стремленіемъ попадаетъ въ руки ловчаго, который не оковываетъ ея цѣпями, не запираетъ въ клеткѣ, нѣтъ, онъ выкалываетъ ей глаза, подрѣзываетъ крылья, и бѣдная живетъ въ томъ же мірѣ, гдѣ были ей обѣщаны свобода и столько радостей; ея грѣтъ то же солнце, она дышитъ тѣмъ же воздухомъ, но рвется, тоскуетъ я, прикованная къ холодной землѣ, можетъ только твердить: *не для меня, не для меня!* Еслибъ заперли ее въ желѣзную клетку, она бы исклевала ее и пробилась на волю, или, метаясь, израненная остриемъ желѣза, безъ сожалѣнія разсталась бы съ остальною половиною жизни, когда лучшая половина у нея отнята. Но она не въ клеткѣ; не рѣзкія стѣны окружаютъ ее; она свободна, и между тѣмъ, вѣчная мгла, вѣчное бездѣйствіе — вотъ удѣлъ моей птички! Вотъ удѣлъ Ольги“.

Героиня повѣсти «Утбалла» всею жертвуетъ—даже жизнь, рѣшаясь на страшную смерть отъ руки дикихъ изверговъ—чтобъ доставить милому минуточку упоенія любовью. И Утбалла, эта очаровательная Калмычка — гибнетъ жертвою своей великодушной рѣшимости; а ея возлюбленный, тотъ, кому принесла она въ жертву молодую жизнь свою?—черезъ нѣсколько лѣтъ его видѣли въ Петербургѣ, въ чинѣ полковника, гуляющаго по Англійской Набережной подъ руку съ прелестною женщиною... Кто она, эта женщина—родственница, или подруга жизни? «Которому извѣстію вѣрить?... (говоритъ авторъ) кажется, второе достовѣрнѣе!»...

Въ повѣсти «Медальонъ» представлены двѣ великодушныя, любящія женщины противъ одного негодяя, изверга-мужчины. Одна изъ нихъ — жертва оболыщенія коварнаго свѣтскаго человѣка, ослѣпла отъ слезъ, узнавъ его вѣроломство; другая, сестра ея, увлекаетъ его тонкимъ кокетствомъ, влюбляетъ въ себя, и когда онъ готовъ на все, даже жениться

на ней, отказываясь отъ выгодной партіи, она читаетъ ему, при многочисленномъ обществѣ, будто бы сочиненную ею повѣсть, а въ самомъ дѣлѣ: разсказъ о его преступномъ поступкѣ съ ея сестрою; открываетъ медальонъ и показываетъ ему портретъ его жертвы, своей слѣпой сестры... Модный извергъ, вполнѣ почувствовалъ ядовитую горечь женскаго мщенія...

Въ повѣсти «Судъ Свѣта» представленъ мужчина, способный къ любви на жизнь и на смерть, но все-таки не умѣющій любить? недостатокъ довѣренности и дикая, звѣрская ревность къ любимой женщинѣ увлекаютъ его къ безумному убійству и губятъ навсегда предметъ его любви. А эта женщина умѣла любить—и за то погибла жертвою того, кого любила...

«Теофанія Аббиаджіо»—рѣшительно лучшая изъ всѣхъ повѣстей Зенеиды Р-вой—есть самая злая сатира на мужчинъ, самая неумолимая улика имъ въ ихъ тупости и близорукости въ дѣлѣ любви. Александръ Долиньи, герой повѣсти, человекъ съ глубокимъ чувствомъ, съ благородною душою, съ характеромъ не только возвышеннымъ, но и сосредоточеннымъ, непоколебимо твердымъ,—и несмотря на все это, въ вопросѣ о любви, онъ такъ же ничтоженъ, такъ же пошлъ, какъ и всѣ вообще мужчины. — И за то, въ такомъ колоссальномъ величійи является передъ нимъ Теофанія, которую онъ, въ мужской слѣпотѣ своей, считалъ за натуру холодную и неспособную къ любви, и которую онъ промѣнялъ на свѣтскую кокетку, правда, не лишенную страсти, но пустую и мелочную... Какъ жалокъ и смѣшонъ этотъ Долиньи, сконфузившійся отъ вопроса своего знакомаго о висѣвшемъ у него на фракѣ орденѣ, и догадавшійся, изъ разсказа знакомаго, какою глубокою страстью горѣла къ нему Теофанія... И какъ возвышенна эта Теофанія, въ ея молчаливомъ и гордомъ страданіи, въ ея свободномъ примиреніи съ мыслию о бесплодно погибшей жизни и о разрушенныхъ навѣки лучшихъ надеждахъ ея!...

Въ «Любинькѣ» опять мужчина, не умѣющій понять любимою имъ женщины, слѣпой и ограниченный въ дѣлѣ любви, несмотря на всѣ свои достоинства въ другихъ отношеніяхъ, несмотря на то, что онъ человѣкъ благородный, душа восторженная и любящая... И опять женщина подавляетъ мужчину своимъ великодушіемъ, своею безграничною преданностію и свѣтлымъ самопожертвованіемъ въ дѣлѣ любви...

И вотъ, мы насчитали уже шесть повѣстей, проникнутыхъ все одною и тою же мыслію. Есть, правда, у Зенеиды Р-вой двѣ повѣсти, въ которыхъ мужчины показаны даже очень и очень порядочными людьми. Въ «Джеллалединѣ» дѣло представлено даже совсѣмъ наоборотъ. Пламенный, мечтательный, благородный татарскій князь дѣлается жертвою своей безумной страсти къ пустой, легкой женщинѣ. Сочинительница говоритъ отъ себя, въ концѣ, что она встрѣтила героиню своей повѣсти, уже бабушкою и старою сплетницею, лицемерною моралисткою. Но не довѣряйте, въ этомъ случаѣ, искренности сочинительницы: подлѣ пустой женщины, она въ своей картинѣ искусно помѣстила интересную фигуру молодой Татарки Эмины, которая... но мы лучше напомнимъ о ней читателямъ словами самого автора. Описавши погребеніе ошибкою убитаго Джеллалединомъ Бѣлоградова, сочинительница продолжаетъ:

„Неподалеку оттуда, у взморья, гдѣ между горами камней растутъ можжевельникъ и колючій тернъ, валялось другое тѣло, не удостоенное даже погребенія... Ужасны были черты покойника, въ которыхъ самая смерть не могла возстановить спокойствія; на посинѣломъ лицѣ, въ полуоткрытыхъ глазахъ еще отражались страсти и горе; одежда его была изорвана, грудь обнажена и облита кровью, въ широкой ранѣ торчало еще лезвіе кинжала, пальцы замерли и оостенѣли, крѣпко сжимая рукоятъ...

Напрасно Эмина молила Татаръ и Русскихъ предать тѣло несчастнаго землѣ: Магометане видѣли въ немъ вѣроотступника и справедливое мщеніе пророка; христіане отвергали какъ преступника и самоубійцу... Сердце, истерзанное заживо людьми, осуждено было и по

смерти на истерзаніе хищнымъ птицамъ. Одна вѣрная подруга, не покинула его; безъ слезъ, безъ стога, она сидѣла у трупа на камнѣ, сметала сухіе листья, падавшіе ему на голову, и порою отгоняла ворона, который съ крикомъ опускался къ своей добычѣ. Не скоро, одинъ старый казакъ, тронувшись положеніемъ молодой дѣвушки, вырылъ на томъ же мѣстѣ могилу и съ молитвою опустилъ въ нее полустлѣвшее тѣло. Дѣвушку отвели въ деревню, она убѣжала; ее заперли, она избилась, порываясь на волю. Татары рѣшили, что ею овладѣлъ шайтанъ, который загрызъ ихъ князя, и выпустили ее изъ деревни. Безумная поселилась у взморья; ни осеннія бури, ни зимнія метели не могли прогнать ея; днемъ и ночью она стерегла могилу; иногда кордонные казаки, проѣзжая мимо, бросали ей хлѣбъ и спѣшили удалиться... долго бѣлое покрывало вѣяло у взморья и пугало суевѣрныхъ, наконецъ и оно исчезло. Дѣвушку нашли лежащею ницъ на могилѣ, пальцы ея врылись въ землю, даже ротъ былъ полонъ земли: видно, бѣдняжка, въ припадкѣ безумія, хотѣла отвѣть у могилы ея достояніе — своего незабвеннаго, вѣчно милаго друга...⁴

И этотъ Джеллалединъ, при жизни своей, никогда не догадывался и не подозрѣвалъ, что Эмина любитъ его со всею пыломъ восточной страсти, хотя это и не мудрено было бы замѣтить ему, — и вмѣсто Эмины привязался всею силою глубокаго, энергическаго чувства къ пустой, легкомысленной дѣвчонкѣ... Знаете ли что? — намъ кажется, что мы, назвавъ эту повѣсть исключеніемъ изъ общаго направленія всѣхъ повѣстей Зенеиды Р-вой, должны взять назадъ наше слово. Нѣтъ, это еще болѣе злая сатира на мужчинъ, чѣмъ всѣ прочія повѣсти...

Вотъ другое дѣло повѣсть — «Номерованная Ложа»; ея искренности можно повѣрить, хотя въ ней мужчина представленъ очень и очень порядочнымъ человѣкомъ въ его отношеніяхъ къ любимой имъ женщинѣ. Но за то, эта повѣсть, съ такою счастливою развязкою, ужъ черезчуръ сладенька, а потому и недостойна имени своего автора. Счастливая развязка, какъ всякая ложь, часто портитъ повѣсть...

Содержаніе семи повѣстей, такъ какъ оно изложено нами,

достаточно знакомить читателя съ паэосомъ поэзіи Зенеиды Р-вой. Теперь мы укажемъ на мѣста, въ которыхъ прямо и сознательно выговаривается задушевная мысль сочинительницы. Вотъ что говорить она въ концѣ повѣсти «Джелла-лединъ»:

«Отрадная мысль, что наши заботы, тревоги пролетаютъ какъ гуль въ безграничности пустыни, вадымая лишь нѣсколько песчинокъ, пробуждая только слабый отголосокъ вѣха, и оставляютъ по себѣ едва замѣтное потрясеніе въ воздухѣ, которое, разбѣгаясь въ невидимыхъ кругахъ, все слабѣе, чѣмъ далѣе отъ точки удаленія, исчезаетъ подобно самому звуку въ пространствѣ.

Но грустно думать, что въ этой бѣдной связкѣ дней, называемыхъ жизнью, такъ мало мгновеній, достойныхъ названія жизни! Грустно видѣть, какъ часто души чистыя, возвышенныя, прекрасныя сродняются съ душами слабыми, мелочными, созданными только для матеріальнаго прозябанія въ болотахъ земныхъ. Опутанная нерасторгаемыми узами своихъ собственныхъ чувствъ, сильная не можетъ покинуть своей ничтожной подруги, она порывается съ ней къ поднебесью, хочетъ унести ее въ свою родину, отогрѣть ее лучами любви своей, облить ее своимъ блаженствомъ... Напрасно! душа слабая не открылится, не взлетитъ изъ холодныхъ долинъ въ страны заоблачныя, порой, на мигъ восторженная любовью прекрасной подруги своей, она стремится взоромъ къ небесамъ, но ее пугаютъ и блескъ солнца, и стрѣлы молніи; она страшится доли сына Дедылова, и притягивая къ себѣ свою невинную добычу, медленно губить ее, или безжалостно разрываетъ узы, связывающія ее съ нею, не помышляя о томъ, что узы тѣ срослись съ жизнью ея подруги, составлены изъ фибровъ сердца ея, и что, расторгая ихъ насильственной рукой, она убиваетъ ея существованіе!... Вотъ почти обыкновенная доля душъ, которыхъ люди называютъ возвышенными, прекрасными, и которымъ провидѣніе, давая всѣ способности, всю силу постигать, чувствовать и цѣнить счастье жизни, отказываетъ только... въ самомъ счастьи!...»

И роль чистыхъ, возвышенныхъ и прекрасныхъ душъ, по мнѣнію сочинительницы, выпала преимущественно на долю женщинъ, тогда какъ роль души слабой досталась исключительно мужчинамъ. Хотите ли доказательства, что такъ именно думала даровитая Зенеида Р-ва?—Вотъ ея собственныя слова:

«Любовались ли вы иногда облаками въ часъ вечерній, когда они стелятся на небосклонѣ, развиваются безпредѣльною цѣпью, и сквозь сумракъ обманываютъ взоръ наблюдателя, рисуясь, то синими горами, то лѣсомъ, воздушнымъ дворцомъ феи? И вотъ они сжимаются, тѣснятся и образуютъ одну грозную, черную тучу. Издалека несется глухой рокоть; онъ вырывается изъ груди ея, будто стонъ людскаго предчувствія, и вдругъ огненная струя прорываеетъ мглу, извивается змѣей, гаснетъ, изрыгнувъ пожаръ и воду на оробѣвшую землю. Безпрерывные удары грома потрясаютъ воздухъ, окрестность вторить его перекатамъ, дождь льетъ ручьями, вихрь ломаетъ деревья, люди съ трепетомъ думаютъ, что насталъ послѣдній день міра. Но проходитъ часъ,—гроза умолкла, черная туча разсѣялась и не осталось никакихъ слѣдовъ мятежа стихій: небо опять чисто и ясно, и земля какъ испуганное дитя улыбается сквозь слезы, которыя еще дрожатъ на ея лицѣ. Еще часъ, и все возвратится къ прежнему спокойствію. Поэты до сихъ поръ доискиваются тайнаго нравственнаго смысла этого великаго представленія природы; а я такъ думаю, что это просто—пародія печали и отчаянія мужчинъ.

«Но есть облако другаго рода: оно медленно скопляется изъ паровъ сухой, бесплодной почвы, ни одинъ живой источникъ, ни одно озеро не посылаютъ ему должной доли, и незамѣтно какъ тѣнь, оно скрывается по поднебесью, не имѣя силы ни жить, ни умереть. Съ зарей вы видите его на востокѣ: оно ожидаетъ появленія солнца, и, кажется, молить свѣтло, чтобъ первые лучи истребили его, чтобъ огонь полудня растопилъ несчастную горсть паровъ. Солнце всходитъ и гордо совершаетъ свой путь, не замѣчая блѣднаго облака. Въ часъ вечера, когда шаръ безъ лучей опускается въ морскую пучину, вы видите то же самое облако на западѣ: оно просится въ бездну, жаждетъ утонуть въ ея холодныхъ объятіяхъ. Солнце снова отталкиваетъ его, бросаетъ въ лазоревое ложе, а облако, по прежнему печальное, одинакое, идетъ скитаться въ пустынь поднебесной. Это облако—печаль и отчаяніе женщины.

«Тоска женщины не пугаетъ людей бурными порывами: ея никто не видитъ и не замѣчаетъ; она западаетъ глубоко въ сердце, и точить его, какъ червь точитъ корень водяной лиліи. Если веселіе мелькнетъ случайно на лицѣ страдальцы, ея улыбкой полюбуется равнодушный прохожій какъ бѣлоснѣжными листьями цвѣтка, плавающего на поверхности воды, не думая даже о томъ, что въ корень бѣдной лиліи всосался болотный червь, что въ груди ея губительный недугъ, что ядъ струится по всѣмъ ея жиламъ, и что этотъ червь умретъ только подъ гнетомъ камня могильнаго».

Мы совершенно согласны съ авторомъ на счетъ превосходства женщинъ надъ мужчинами въ дѣлѣ любви; мы принимаемъ это превосходство за фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнiю, и только постараемся, какъ слѣдуетъ, объяснить причину такого явленiя.

Начнемъ съ того, что женщина болѣе, чѣмъ мужчина создана для любви самою природою. Женщина—представительница земнаго, производительнаго и хранительнаго начала, тогда какъ мужчина представитель начала умственнаго, отвлеченнаго, олимпійскаго. Отсюда происходитъ великая разница въ семейственномъ значенiи женщины и мужчины. Женщина мать по призванiю, по душѣ и по крови. Мать есть понятiе живое, дѣйствительное, фактически-существующее; тогда какъ отецъ есть понятiе болѣе или менѣе условное, болѣе или менѣе относительное. Мать любитъ свое дитя сердцемъ, кровью, нервами, любитъ его всѣмъ существомъ своимъ: ея любовь прежде всего физическая, естественная, слѣдовательно любовь по преимуществу, любовь какъ любовь. Она носить свое дитя у себя подъ сердцемъ, девять мѣсяцевъ питаетъ и растить его своею кровью, чувствуетъ въ себѣ первыя жизненныя его движенiя; оно, это дитя—плоть отъ плоти ея и кость отъ костей ея; она рождаетъ его на свѣтъ въ мукахъ и страданiяхъ, и вмѣсто того, чтобъ возненавидѣть, именно за нихъ-то, за эти муки и страданiя еще болѣе любить его. Это маленькое, слабое, кривливое, неопрятное и деспотическое существо, съ перваго дня своего появленiя на свѣтъ дѣлается предметомъ нѣжнѣйшихъ попеченiй и неусыпныхъ заботъ своей матери: она любитъ его безобразiемъ, какъ красотою; его красная, морщиноватая кожа только мазать ея поцѣлуй; въ его безмысленной улыбкѣ она видитъ чуть не разумную рѣчь и готова начать съ нимъ говорить; ей не противно наблюдать за чистотою этого маленькаго животнаго; ей не тяжело не спать ночи, бодрствуя надъ его ложемъ. И она—бѣдная мать—будетъ любить его всегда, и

прекраснаго и безобразнаго, и умнаго и глупаго, и добраго и злаго, и добродѣтельнаго и порочнаго; и славнаго и неизвѣстнаго... Она равно рыдаетъ и надъ гробомъ своего дитяти-младенца, и надъ гробомъ своего сына-старика, или своей дочери-старухи. Ангель-хранитель младенчества дѣтей своихъ, она другъ ихъ юности, возмужалости и старости. Нѣтъ жертвы, которой бы не принесла она для дѣтей; ихъ счастье—ея счастье; ихъ несчастье—ея несчастье. Нѣтъ ничего святѣе и безкорыстнѣе любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна въ сравненіи съ нею! Любовница, жена любитъ васъ для себя самой, ваша мать любитъ васъ для васъ самихъ. Ея высочайшее счастье видѣть васъ подлѣ себя, и она посылаетъ васъ туда, гдѣ, по ея мнѣнію, вамъ веселѣе; для вашей пользы, вашего счастья она готова рѣшиться на всегдашнюю разлуку съ вами. Конечно, такихъ матерей не много на бѣломъ свѣтѣ; но вѣдь и женщинъ тоже мало въ этомъ мірѣ, а много въ немъ самокъ... Совсѣмъ иначе любитъ отецъ своихъ дѣтей. Во-первыхъ, онъ любитъ ихъ тогда, когда и мать ихъ любима имъ; во-вторыхъ, онъ начинаетъ ихъ любить только съ тѣхъ поръ, какъ они начнутъ становиться и милы и забавны. Ихъ крика и доуки онъ не любитъ. Источникъ любви отца къ дѣтямъ всегда или эгоизмъ, или рефлексія, и никогда—природа «Они мои дѣти—они на меня похожи—они продолжаютъ мое имя—я прижилъ ихъ отъ моей милой—они обнаруживаютъ большія способности—они много обѣщаютъ въ будущемъ»,—думаетъ про себя дражайшій родитель, — и онъ въ восторгъ отъ мысли, что онъ любитъ своихъ дѣтей, что онъ не только нѣжный супругъ, но и примѣрный отецъ! Правда, и отецъ можетъ страстно любить дѣтей своихъ, когда его съ ними соединитъ нравственное, духовное родство; но такъ же точно можетъ онъ любить и приемыша, даже еще больше, чѣмъ собственныхъ дѣтей.

Что мать есть понятіе дѣйствительное, а отецъ—понятіе отвлеченное (говоря философскимъ языкомъ), этому можетъ служить доказательствомъ и то, что мать не можетъ не знать, что именно она сама, а не кто-нибудь другая, мать этого ребенка: ибо она девять мѣсяцевъ носила его подъ сердцемъ и въ болѣзняхъ дѣторожденія произвела его на свѣтъ... Отцы считаютъ себя отцами дѣтей своихъ, опираясь только на свидѣтельствъ женъ своихъ, не всегда непреложно-истинномъ... Для всякаго человѣка—большое несчастіе не знать своей матери; для многихъ большое счастье — не-знать своихъ отцовъ...

Всѣ люди равно рождаются для любви, и безъ любви ни для кого изъ людей нѣтъ не истиннаго счастья, не истинной жизни; но любовь женщины есть болѣе любовь, чѣмъ любовь мужчины; въ любви женщины больше кровнаго, а потому и больше страстнаго, — тогда какъ въ любви мужчины больше мыслительнаго, если можно такъ выразиться. Давно уже было замѣчено, что женщина мыслить сердцемъ, а мужчина и любить головою. Эту разницу въ характерѣ любви того и другаго пола показали мы въ разницѣ любви матери и любви отца. Та же самая разница найдется и во всякой другой любви. Замѣчено, что мужчины въ любви больше эгоисты, чѣмъ женщины. Если женщина эгоистка, она уже совсѣмъ не живетъ сердцемъ, не ищетъ любви и не требуетъ ея; ея вся жизнь въ расчетѣ. Если же сердце женщины жаждетъ любви, — оно предается мужчинѣ со всѣмъ самозавеніемъ, со всѣмъ безразсудствомъ слѣпаго великодушія. Мужчина безъ любви не любитъ жить, и готовъ на всѣ жертвы и на всякое безразсудство—пока не достигъ своей цѣли. Удовлетворивши своей страсти, онъ вспоминаетъ о своей будущности, о своихъ обязанностяхъ, о святыхъ интересахъ своей души, и пр., и чѣмъ болѣе дѣлается эгоистомъ, тѣмъ болѣе видитъ въ себѣ героя. Оттого, женщины-кокетки, женщины, умѣющія владѣть собою и сдающіяся не иначе, какъ долго

мучивъ влюбленнаго въ нихъ мужчину, и даже въ связи съ нимъ умѣющія мучить его, вѣрнѣе и дольше владѣютъ его сердцемъ. Мужчины не дорожатъ легкими побѣдами, хотя бы причина ихъ легкости заключалась въ прямотѣ и безхитрости преданнаго женскаго сердца. Женщины постоянно въ любви, и мужчины почти всегда первые охладѣваютъ къ старой связи и жаждутъ предаться новой. Эта способность внезапно охладѣвать и вдругъ чувствовать страшную пустоту и безотвѣтность въ сердцѣ, которое недавно еще было такъ полно и такъ дружно отвѣчало біенію другаго сердца,—эта несчастная способность бываетъ для благородныхъ мужскихъ натуръ источникомъ не только невыносимыхъ страданій, но и совершеннаго отчаянія. Женщины всегда готовы любить,—мужчина можетъ любить только при извѣстной настроенности своего духа; женщинѣ никогда и ничто не мѣшаетъ любить;—у мужчины есть много интересовъ, могущественно борющихся съ любовью и часто побѣждающихъ ее. Женщина всегда готова для замужества, независимо отъ ея лѣтъ и опыта,—мужчина только въ извѣстныя лѣта и при извѣстномъ развитіи черезъ жизнь и опытъ приобретаетъ нравственную возможность жениться; ему надо дорасти и развиться до нея; иначе онъ несчастнѣйшій человѣкъ черезъ нѣсколько же дней послѣ своей свадьбы. Женщина, вдругъ охладѣвшая къ своему мужу и увлеченная роковою страстью къ другому—есть исключеніе изъ общаго правила; мужчина съ поэтически-живою натурою всю жизнь свою привязанный къ одной женщинѣ—есть тоже очень рѣдкое исключеніе. Все это совершенная правда; но основываясь на всемъ этомъ, еще не слѣдуетъ изрекать ни безусловнаго благословенія на женщинъ, ни безусловнаго проклятія на мужчинъ: ибо все имѣетъ свои причины, слѣдственно, свое разумное оправданіе.

Мы охотно соглашаемся въ томъ, что сама природа создала женщину преимущественно для любви; но изъ этого

еще не слѣдуетъ, чтобъ женщина только на одно то и родилась, чтобъ любить: напротивъ, изъ этого слѣдуетъ, что женщина подь преимущественнымъ преобладаніемъ характера любви и чувства создана дѣйствовать въ тѣхъ же самыхъ сферахъ и на тѣхъ же самыхъ поприщахъ, гдѣ дѣйствуетъ мужчина подь преимущественнымъ преобладаніемъ ума и сознанія. А между тѣмъ, общественный порядокъ обрекъ женщину на исключительное служеніе любви и преградилъ ей пути во всѣ другія сферы человѣческаго существованія. Гаремы только фактически принадлежать Востоку: въ идеѣ, они принадлежность и просвѣщенной Европы и всего міра. Извѣстно физиологически, что каждое наше чувство съ особенною силою развивается на счетъ другихъ чувствъ: потерявшіе слухъ лучше начинаютъ видѣть, ослѣпшіе — лучше слышать, тоньше осязать. Удивительно ли, что вся сила духовной природы женщины выражается въ любви, когда у женщины не отнято только одно право любить, а всѣ другія человѣческія права рѣшительно отняты? Удивительно ли, вмѣстѣ съ тѣмъ, что тогда въ женщинахъ становится недостаткомъ именно то, что должно бы составлять ихъ высочайшее достоинство? Исключительная преданность любви дѣлаетъ ихъ односторонними и требовательными: онѣ, кромѣ любви, не хотятъ признать ничего на свѣтѣ, и требуютъ, чтобъ мужчина, для любви, забылъ всѣ другіе интересы—и общественные вопросы, и общественную дѣятельность, и науку, и искусство, и все на свѣтѣ. Это разрушаетъ равенство: ибо тогда мужчина не совѣмъ безъ основанія начинаетъ видѣть въ женщинѣ низшее себя существо. Не совѣмъ безъ основанія сказали мы: ибо дѣйствительно, какою сдѣлало ее воспитаніе и разныя общественныя отношенія, она — низшее въ сравненія съ нимъ существо, хотя въ возможности, какою создала ее природа, она столько же не ниже его, сколько и не выше. Это неравенство рождаетъ разныя отношенія одной стороны къ другой. Въ мужчинѣ является родъ презрѣнія и къ жен-

щинѣ, и къ чувству любви, а вслѣдствіе этого охлажденіе, которое дѣлаетъ невыносимою неразрывность связывающихъ ихъ узъ. Въ женщинѣ, напротивъ, самая опасность потерять сердцу любимаго ею человѣка только усиливаетъ ея любовь и дѣлаетъ ее навязчивѣе и требовательнѣе. Сверхъ того, продолжительность, или неизмѣняемость чувства можетъ быть дорога и почтенна только какъ призракъ того, что обѣ стороны нашли другъ въ другѣ полное осуществленіе тайныхъ потребностей своего сердца; иначе, это — или простая привычка (дѣло тоже очень хорошее, если результатъ бываетъ счастье), или донъ-кихотская добродѣтель, способная удивлять и восхищать только сухихъ и мертвыхъ моралистовъ-резонёровъ, да еще романтическихъ поэтовъ-мечтателей. Если внезапныя охлажденія чувства къ однимъ предметамъ и столь же внезапныя возгаранія чувства къ другимъ предметамъ, если они бывають дѣйствительно: значить, возможность ихъ заключена въ природѣ сердца человѣческаго, и тогда они — не преступленіе и даже не несчастье. Кто способенъ понять это, тому всегда легче перенести подобный разрывъ, и тотъ всегда, послѣ него, сохранить свое нравственное здоровье и свою способность вновь быть счастливымъ любовью. Изъ мужчинъ, нѣкоторые это понимаютъ, и очень многіе чувствуютъ это безсознательно; что же касается до женщинъ, изъ нихъ могутъ понимать это развѣ только одаренныя гениальною натурою. Женщина, съ колыбели, воспитывается въ убѣжденіи, что она всю жизнь должна принадлежать одному, принадлежать въ качествѣ вещи. И потому, нѣкоторые изъ нихъ иногда обрекають себя, послѣ смерти мужа, вѣчному вдовству—родъ индійскаго самоожженія на костре умершаго мужа!... Благодаря романтизму среднихъ вѣковъ, право, мы, въ дѣлѣ женщинъ, ушли не дальше Индійцевъ и Турковъ!... И такъ, способность привязываться всѣми силами души къ одному предмету зависить въ женщинахъ не отъ одной только природной способности къ любви, но

отъ нравственнаго рабства, въ которомъ держать ихъ общественное мнѣніе, и которому онѣ сами покоряются съ такою добровольною готовностію, съ такимъ даже фанатизмомъ. Получая воспитаніе хуже, чѣмъ жалкое и ничтожное, хуже, чѣмъ превратное и неестественное, скованныя по рукамъ и по ногамъ желѣзнымъ деспотизмомъ варварскихъ обычаевъ и приличій, жертвы чуждой безусловной власти всю жизнь свою, до замужества рабы родителей, послѣ замужества— вещи мужей, считая за стыдъ и за грѣхъ предаться вполнѣ какому-нибудь нравственному интересу, напримѣръ, искусству, наукѣ,—онѣ, эти бѣдныя женщины, всѣ запрещенныя имъ кораномъ общественнаго мнѣнія блага жизни хотятъ, во что бы ни стало, найти въ одной любви,—и, разумѣется, почти всегда горько и страшно разочаровываются въ своей надеждѣ. Измѣнила мужчинѣ надежда на что-нибудь,—сколько у него выходовъ изъ горя, сколько дорогъ на поприщѣ жизни, которыя могутъ вести его къ той или другой цѣли! Измѣнила женщинѣ любовь,—ей ничего уже не остается въ жизни, и она должна пасть, погибнуть подъ бременемъ постигшаго ее бѣдствія или умереть душою для остальнаго времени своей жизни, сколько бы ни продолжалась эта жизнь. Не говорите ей объ утѣшеніи, не маните ее надеждою, не указывайте ей на очарованіе искусствъ, на усладу науки, на блаженство высокаго подвига гражданскаго: ничего этого не существуетъ для нея! Возвратите ей любовь любимаго ею, пусть вновь сидитъ онъ подлѣ нея, да глядитъ, въ упоеніи страсти, въ ея сіяющія блаженствомъ очи! Бѣдная, для нея въ этомъ столько счастья, тогда какъ только Маниловъ-мужчина способенъ найти въ этомъ все свое счастье...

И такъ, даровитая Зенеида Р—ва, сознавши существованіе факта, была чужда сознанія причинъ этого факта. Но къ чести ея надо сказать, что она глубоко понимала униженное положеніе женщины въ обществѣ и глубоко скорбѣла о немъ; но она не видѣла связи между этимъ униженнымъ положе-

нiемъ женщины и ея способностью находить въ любви весь смыслъ жизни. Мысль объ этомъ состоянiи униженiя, въ которомъ находится женщина, составляетъ вторую живую стихiю повѣстей Зенеиды Р—вой. И потому, нельзя сказать, чтобъ весь пафосъ ея поэзи заключался только въ мысли: какъ умѣють любить женщины, и какъ не умѣють мужчины любить; нѣтъ, онъ заключается еще и въ глубокой скорби объ общественномъ униженiи женщины и въ энергическомъ протестѣ противъ этого униженiя. Повѣсть «Судъ Свѣта» написана преимущественно подъ влiнiемъ этой идеи, которая, однакожъ, органически связывается съ идеею о высокой способности женщины къ безграничной любви. Повѣсть «Напрасный Даръ» исключительно посвящена выраженiю идеи объ общественномъ невольничествѣ царицы общества, невольничествѣ столь великомъ и безвыходномъ, что для женщины величайшее несчастiе имѣть призванiе къ чему-нибудь возвышенно-человѣческому, кромѣ любви. Въ повѣсти «Идеаль» эта мысль высказана прямо, устами героини, въ разговорѣ ея съ своею подругою:

«Но какой злой генiй такъ исказилъ предназначенiе женщины? Теперь она родится для того, чтобы нравиться, прельщать, увеселять досуги мужчинъ, рядиться, плясать, владычествовать въ обществѣ а на дѣлѣ быть бумажнымъ царькомъ, которому панцъ кланяется въ присутствiи зрителей, и котораго онъ бросаетъ въ темный уголь наединѣ. Намъ воздвигаютъ въ обществахъ троны; наше самолюбiе украшаетъ ихъ, и мы не замѣчаемъ, что эти мишурные престолы — о трехъ ножкахъ, что намъ стоить немного потерять равновѣсiя, чтобъ упасть и быть растоптанной ногами ничего не разбирающей толпы. Право, иногда кажется, будто мiръ Божiй созданъ для однихъ мужчинъ: имъ открыта вселенная со всеми таинствами; для нихъ и слава, и искусства, и познанiя; для нихъ свобода и все радости жизни. Женщину отъ колыбели сковываютъ цѣпями приличiй, опутываютъ ужаснымъ «что скажетъ свѣтъ?»—и если ея надежды на семейное счастье не сбудутся, что остается ей внѣ себя? Ея бѣдное, ограниченное воспитанiе не позволяетъ ей даже посвятить себя важнымъ занятiямъ, и она поневолѣ должна броситься въ омутъ свѣта, или до могилы влечь безцвѣтное существованiе!...

— Или избрать мечту и привязаться къ ней всей силою души, влюбиться заочно, посылать по почтѣ зефировъ вздохи и изъясненія своему идеалу за двѣ тысячи верстъ, и питаться этою платоническою любовію. Не такъ ли?...

Первое страшно, потому что слишкомъ серьезно, а второе странно, потому что слишкомъ смѣшно и пошло—не правда ли?... А между тѣмъ, все сказанное сочинительницею—такая очевидная, такая ужасная истина... Но вотъ еще нѣсколько строкъ изъ исповѣди женщины въ повѣсти «Судъ Свѣта»:

При безпрестанномъ движеніи войскъ, я всюду слѣдовала за мужемъ; вездѣ, всегда была одинакова, не измѣнила ни мнѣній, ни поступковъ моихъ. Люди съ умомъ вездѣ дарили меня вниманіемъ! глупцы сплетали противъ меня нелѣпыя выдумки. Но есть третій сортъ людей, наиболее опасный для всего, что выходитъ изъ круга обычнаго. Часто люди эти обладаютъ умомъ и многими достоинствами, но умъ ихъ ни довольно силенъ, чтобы уротить владычествующее надъ ними самолюбіе, ни довольно слабъ, чтобы, ослабившись дерзкою самоувѣренностію, ставить себя выше прочаго видимаго творенія. Они чувствуютъ свои недостатки, и всякое превосходство ближняго принимаютъ за личное оскорбленіе; они не могутъ простить другому и тѣни совершенства. О, эти люди страшнѣе зачумленныхъ. Надъ пошлымъ злоязычіемъ дурака смѣются; но ихъ осторожнымъ навѣтамъ, ихъ обдуманной, правдоподобной клеветѣ не могутъ не вѣрять. Эти-то вольноопредѣляющіеся кандидаты въ геніи и составляютъ верховное судилище: они-то наиболее ожесточались противъ меня, и отъ нихъ разсѣвались ядовитѣйшія вѣсти.

.....
Люди—дѣти вѣчно озабоченные, вѣчно суетящіеся. Торопясь за неуловимымъ «завтра» имѣютъ ли они досугъ разбирать и разлагать сущность вещи, поражающей ихъ взоры?... Мимолетомъ они бросаютъ бѣглый взглядъ на ея наружный видъ и только объ этой наружности увозятъ съ собою воспоминаніе. Не ихъ вина, что взоръ часто падаетъ на предметъ не съ настоящей точки зрѣнія: они какъ видѣли, такъ рассудили и осудили. Они правы!

Горе женщинъ, которую обстоятельства, или собственная неопытная воля возносятъ на пьедесталъ, стоящій на распутьи бѣгущихъ за суетностію народовъ! Горе, если на ней остановится вниманіе людей, если къ ней они обратятъ свое легкомысліе, ее изберутъ цѣлюю

взоровъ и сужденій! И горе, стократъ горе ей, если обольщенная своимъ опаснымъ возвышеніемъ, она взглянетъ презрительно на толпу, волнующуюся у ногъ ея, не раздвигать съ ней игръ и прихотей, и не преклонить головы предъ ея кумирами!

Я поняла наконецъ эту великую истину, и отъ всей души примирилась съ моими гонителями.»

Этихъ указаній и выписокъ слишкомъ достаточно для того, чтобы читатели наши увидѣли, какъ неизмѣримо выше всѣхъ предшествовавшихъ ей писательницъ, и въ стихахъ и въ прозѣ, стоитъ Зенеида Р—ва. Ея повѣсти не наполнены сладкими чувствованьями и розовыми мечтаньями; нѣтъ, онѣ проникнуты одною могучею мыслию, которая преслѣдовала ее всю жизнь и не давала ей покоя. Какъ авторъ, какъ поэтъ, Зенеида Р—ва имѣла бы право примѣнить къ себѣ эти стихи Лермонтова:

Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она, какъ червь, во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
.
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской,
Ея предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

Безмысленныя чувства и розовенькія чувствованья начинають уже надобѣдать въ нашей литературѣ. Право на общее вниманіе теперь могутъ имѣть только писатели, возвысившіеся до мысли. Зенеида Р—ва принадлежитъ къ тѣсному кругу такихъ писателей, и есть единственная у насъ писательница въ этомъ родѣ.

Теперь о степени таланта и художественномъ достоинствѣ повѣстей Зенеиды Р—вой. Одинъ журналъ, хваля слогу Зенеиды Р—вой, и давая подъ рукою знать, что этимъ сло-

гомъ она была обязана сколько своей понятливости, столько и замѣчаймъ, намекамъ и совѣтамъ его (журнала),—вотъ что, между прочимъ, говоритъ о Зенеидѣ Р—вой, объявляя себя посмертнымъ ея другомъ: «Ея Утбалла, Джеллалединъ и Медальонъ безспорно—однѣ изъ лучшихъ повѣстей, какія были въ то время написаны въ Европѣ: онѣ обѣщали русской словесности талантъ истинно-писательскій (?), равный по оригинальности таланту Жоржа Занда (sic!), но еще болѣе пріятный и несравненно болѣе прочный (вотъ какъ!)». Для знающихъ этотъ журналъ, нѣтъ ничего удивительнаго въ этомъ возгласѣ: это тотъ самый журналъ, который шутить и потѣшаетъ наукою, искусствомъ, критикою и правдою, и который нѣкогда, упавъ на колѣни, кричалъ: «великій Гёте! великій Кукольникъ!» Мнѣніе этого журнала о Зенеидѣ Р—вой—явно шутка. Это доказывается и тѣмъ, что онъ сѣтуетъ, зачѣмъ изданы сочиненія Зенеиды Р—вой, не считая ихъ заслуживающими особеннаго изданія; это же доказывается и языкомъ, которымъ написана рецензія о повѣстяхъ Зенеиды Р—вой. Послушайте: «Эти забытыя (?) вещи перебьютъ дорогу многому изъ того, что другіе могутъ вновь выдумать. Что вы теперь помните изъ сочиненій Зенеиды Р—вой? Возьмите книгу, и прочитайте вторично, посмотрите, какъ это ново, какъ свѣжо, какъ благоухаетъ теплою весною сердца, какъ всегда будетъ свѣжо, ново и благоуханно, потому что эти страницы, полныя тоски, страданія, огненныхъ, но неопредѣленныхъ желаній, вырвались изъ блестящихъ далекихъ облакъ (?) юной мечты, упали на землю съ дождемъ безотчетныхъ слезъ (!), съ громовыми ударами молодого сердца (!!), созданнаго для благородныхъ страстей, стремившихся къ высокому, къ прекрасному, къ отвлеченному, къ тому, чего не существуетъ на землѣ—блаженству ангеловъ,—къ счастью, которое постигаютъ однѣ только женщины, которымъ онѣ вѣчно стараются овладѣть и которое вѣчно отъ нихъ ускользаетъ». Прочтя этотъ наборъ словъ, кто не скажетъ,

что мнѣніе помянутаго журнала о сочиненіяхъ Зенеиды Р—вой — просто шутка, или мистификація?

Нѣтъ, мы не скажемъ, чтобъ Зенеида Р—ва была по таланту выше Жоржъ Занда, или равнялась съ нимъ; мы даже думаемъ, что между этими двумя талантами — неизмѣримое пространство... Это только со стороны таланта, а между тѣмъ, вѣдь талантъ не составляетъ еще всего въ писателѣ: кромѣ таланта, должно еще быть направленіе, таланта, содержаніе его твореній. Такая поэзія, какъ поэзія Жоржъ Занда, приготовлена огромнымъ общественнымъ развитіемъ, перешедшимъ черезъ многія измѣненія и процессы историческіе, наши же писатели, даже и повыше Зенеиды Р—вой, подобно эху, повторяютъ въ своихъ твореніяхъ отблески и отзвуки чуждыхъ намъ цивилизацій и общественностей.

Что у Зенеиды Р—вой былъ талантъ, и притомъ замѣчательный, выходящій изъ ряда обыкновенныхъ дарованій, — въ этомъ нѣтъ никакого сомнѣнія; но что ея талантъ не былъ развитъ, что онъ вѣчно колебался въ какой-то нерѣшительности — это также правда. Вотъ почему ея повѣсти имѣютъ большой недостатокъ со стороны художественности. Характеры дѣйствующихъ лицъ не довольно рѣзко очерчены и часто похожи другъ на друга, разнясь только положеніемъ, въ какомъ описываетъ ихъ сочинительница. Подробности быта и колоритъ мѣстности не довольно поражаютъ своею вѣрностію и яркостію. Но главный и существенный недостатокъ сочиненій Зенеиды Р—вой, это отсутствіе ироніи и юмора, и присутствіе какого-то провинціального идеализма à la Марлинскій. Для доказательства справедливости нашего мнѣнія, возьмемъ, для примѣра, повѣсть «Идеаль». Полковница Гольцбергъ влюбляется заочно въ новаго поэта, начитавшись его произведеній; «но тщетно Ольга стремится къ нему душу и мысли свои; онъ высокъ, далекъ, и не замѣчаетъ ея въ толпѣ своихъ поклонницъ». Случилось ей по несчастію быть въ Петербургѣ, въ театрѣ, при представленіи новой драмы ея

«идеала». Когда вызвали автора (а у нас—вы знаете—вызывают громко и долго),—щеки Ольги загорѣлись багровымъ цвѣтомъ пылающей крови, и въ ту минуту можно было принять ее за жрицу дельфійскую, ожидающую съ упованіемъ и тоской появленія духа». Но поэтъ не вышелъ. Мужъ зоветъ Ольгу домой, а она, въ забытьѣ, не двигается съ мѣста изъ своей ложи. Вдругъ въ сосѣднюю ложу входитъ чело-вѣкъ, котораго привѣтствуютъ, какъ автора игранный піесы, поздравляютъ съ успѣхомъ и называютъ Анатоіемъ. Ольга вскрикиваетъ: «Анатоій», хватается за спинку кресла, чтобъ не упасть, плачетъ и не спускаетъ глазъ съ своего «идеала», а сочинительница, слогомъ повѣстей Марлинскаго, оправдываетъ свою героиню въ ея смѣшной выходѣ. Вообще, эта Ольга любитъ выражаться въ обществѣ восторженнымъ языкомъ, который, будучи неумѣстенъ, всегда бываетъ смѣшонъ. На балѣ спросили ее, любитъ ли она стихотворенія Анатоіа Т—го: она отвѣчала: «Люблю ли я? Укажите мнѣ женщину, которая не находила бы въ его небесныхъ твореніяхъ отголоска собственныхъ чувствъ? которая не бредитъ имъ, не обожаетъ его?» Подруга ея юности спрашиваетъ у нея: неужели холодъ годовъ и опыта не остудилъ ея ребяческой страсти къ незнакомому челоуѣку? Ольга отвѣчаетъ ей, словно по книгѣ: «къ незнакомому челоуѣку? Вѣра! что это значить? И ты можешь говорить, что онъ незнакомъ мнѣ? Мнѣ незнакомъ Анатоій? Мой идеалъ? Мой поэтъ, котораго пѣсни пробудили мое дѣтское воображеніе, одушевили его жизнью, образовали мою душу? Кто же услаждалъ мое одиночество, кто утѣшалъ меня въ горѣ, кто удвоивалъ мои радости, какъ не онъ, не Анатоій! И ты говоришь, что я люблю незнакомаго мнѣ челоуѣка! Нѣтъ, я сроднилась съ каждою его мыслию; я знаю всѣ изгибы его благороднаго сердца; я его обожаю; я жертвую послѣднею радостью жизни моею, небогатою утѣхами, послѣднею каплею крови, я отдаю душу свою для продолженія его жизни... Да, да; я люблю его, но я люблю не

земною любовію, я люблю не человѣка...» Такая любовь именно ребяческая и смѣшная любовь, а такой способъ выраженія очень сбивается на риторику. Да и вообще, все это очень неестественно и неправдоподобно. Восторженная Ольга встрѣчается съ своимъ «идеаломъ» въ одномъ знакомомъ домѣ; разъ онъ ни съ того, ни съ сего начинаетъ ей объясняться въ любви, говоря ей «ты»; страницахъ на трехъ тянется самый фразистый разговоръ. Удивительно, какъ Ольга не захохотала, слушая всю эту натянутую галиматью; она даже повѣрила ей и увлеклась ею. Поэтъ скрылся на нѣсколько дней отъ Ольги, распустивъ слухъ о своей тяжелой болѣзни. Бѣдная женщина рѣшается уйти съ бала, чтобъ навѣстить тайкомъ умирающаго поэта... Его не было дома, — и Ольга прочла на его столѣ письмо къ другу, въ которомъ онъ смѣется надъ Ольгою и ея любовью, и съ циническою откровенностію говоритъ о своихъ намѣреніяхъ. Ольга бросилась вонъ... но вы сами можете прочесть повѣсть, если еще не читали ея, и увидѣть, какъ ребячески - идеально и дѣтски-неправдоподобно ея содержаніе. Прибавимъ только, что когда эта повѣсть была напечатана въ одномъ журналѣ, сцена возвращенія домой поэта была исполнена самыхъ грязныхъ, циническихъ подробностей, а поэтъ былъ представленъ пьянымъ: это была дружеская услуга досужаго журналиста, охотника поправлять чужія сочиненія. Въ изданіи «Сочиненій Зеневиды Р—вой», печатавшемся съ подлинной рукописи покойной сочинительницы, эти позорныя для памяти женщины прибавки, разумѣется, исключены.

Развязка повѣсти «Медальонъ» довольно изысканно основана на литературныхъ вечерахъ и чтеніяхъ посѣтителей кавказскихъ минеральныхъ водъ: черта совершенно чуждая русскому обществу! Развязка повѣсти «Судъ Свѣта» чрезвычайно изысканно и натянута основана на сходствѣ лицъ и на *qui pro quo*, вслѣдствіе котораго неистовый обожатель героини повѣсти брата ея принялъ за ея любовника. При-

томъ же героиня этой повѣсти ужъ черезчуръ ребячески и приторно идеальна, какъ это можно видѣть изъ этихъ словъ ея: «Знаете ли что, еслибъ въ ту пору какой-нибудь случай, возвративъ мнѣ свободу, дозволилъ намъ открыть чувства наши предъ глазами ^{всего} свѣта, я отвергла бы соединеніе съ вами изъ опасенія гласности любви моей, изъ одной боязни, чтобъ двухсмысленная рѣчь людей, завистливый взоръ ихъ не осквернили ея чистоты, чтобъ ихъ нескромныя улыбки; даже случайная неосторожность, не оскорбили ея непорочности?» И естественно ли, чтобъ изъ устъ такой женщины вышли эти громовыя слова, свойственныя только душѣ великой и крѣпкой: «Судъ свѣта теперь тяготѣетъ на насъ обохъ: меня, слабую женщину, онъ сокрушилъ, какъ ломкую тросточку; васъ, о! васъ, сильнаго мужчину, созданнаго бороться со свѣтомъ, съ рокомъ и со страстями людей, онъ не только оправдаетъ, но даже возвеличитъ, потому что члены этого страшнаго трибунала все люди малодушныя. Съ позорной плахи, на которую онъ положилъ голову мою, когда уже роковое желѣзо смерти занесено надъ моею невинной шеей, я еще взываю къ вамъ послѣдними словами устъ моихъ: Не бойтесь его!... онъ рабъ сильнаго и губить только слабыхъ»... Такія строки могутъ вырываться только изъ-подъ пера писателей съ великою душою и великимъ талантомъ...

Героиня «Номерованной Ложи» не хочетъ выйти за мужъ за человѣка, доказавшаго ей свою безграничную любовь и преданность, — не хочетъ за него выйти, потому что еще живъ ея мужъ, который, ограбивъ ее, развелся съ нею... Она — видите — боится увидѣть въ себѣ клятвопреступницу, и выходить за мужъ за своего обожателя тогда только, какъ прежній мужъ былъ убитъ гдѣ-то на время... Вотъ ужъ подлинно романтизмъ, который и въ средніе вѣка удивилъ бы всѣхъ своею нелѣпостію!... Но провинціи онъ нравится и теперь — разумѣется, въ повѣстяхъ...

«Желладединъ» и по завязки и по колориту, крѣпко отзывается марлинизмомъ...

«Любинька», при первомъ появленіи своемъ въ печати, возбудила, какъ говорится, фуроръ въ публикѣ. Неудивительно: повѣсть эта, по содержанію и по характерамъ, самое пансіонское произведеніе. Одинъ только характеръ въ ней мастерски отдѣланъ: это характеръ злой мачихи, Антонины Михайловны. Смѣшише всѣхъ характеры Евгенія Задольскаго и Валеріана Стрѣльнева, особенно послѣдняго, ибо онъ преуморительно идеаленъ и преидеально смѣшонъ, съ своею Оттиліею, своими страданіями и своимъ ужасомъ при мысли о незаслуженномъ проклятіи обманутаго отца, слабого, полоумнаго старика. Характеръ Любиньки хорошъ отвлеченно, но не живымъ поэтическимъ образомъ. Завязка повѣсти основана на недоразумѣніи, которое могло бы разрѣшиться личнымъ свиданіемъ сына съ отцомъ, а развязка основана на Deus ex machina. Вообще, повѣсть и длинна и скучна. Сама сочинительница чувствовала это. Обѣщавъ ее въ нашъ журналъ, она прислала вмѣсто ея первую часть «Напраснаго Дара», объясняя, въ письмѣ къ намъ, причину этого такимъ образомъ: «можетъ быть, вамъ покажется страннымъ, что, обѣщавъ прислать готовую повѣсть, я посылаю половину другой, еще не совсѣмъ оконченной. Чтѣ дѣлать! Та повѣсть, о которой я говорила, точно лежитъ у меня и ожидаетъ только послѣдней поправки, чтобъ явиться свѣту; но у меня, какъ дѣти у капризныхъ матерей, есть повѣсти любимыя и не любимыя. Та повѣсть длинна, я долго работала надъ нею, она надоѣла мнѣ—пусть полежитъ, забудется, тогда я опять приймусь, окончательно исправлю ее и отпущу на волю», Намъ, впрочемъ, весьма нравится одно мѣсто въ «Любинькѣ»; оно не длинно, и мы можемъ его здѣсь выписать: «Онъ понималъ, что въ жизни человѣка существенность, такъ унижаемая поэтами, одна существенна, слѣдственно одна можетъ быть источникомъ всего прекраснаго, возвышеннаго, какъ и

всего дурнаго; онъ понялъ, что эта существенность есть корень нашего бытія, корень нерѣдко грязный, всегда некрасивый, но дающій соки и силу лучшимъ цвѣтамъ міра—мыслямъ и чувствамъ человѣка; и что отъ насъ зависитъ облагородить происхожденіе растенія, стараясь, чтобы цвѣты его не были пустоцвѣтомъ, чтобъ, пройдя пору цвѣтенія, они не разлетѣлись напрасно по вѣтру, а дозрѣли бы въ плодъ пользы и добра». Глубокая мысль!

Повѣсти: «Судъ Божій» и «Воспоминаніе Желѣзноводска» ниже всякой критики и не стоятъ упоминенія. Это самая смѣшная марлищина.

Лучшая повѣсть Зенеиды Р—вой, это, безъ сомнѣнія, «Теофанія Аббиаджіо». Содержаніе ея глубоко, завязка, развязка, и рассказъ благородно просты, при необыкновенномъ искусствѣ, съ какимъ они ведены. Характеры очеркнуты превосходно, особенно характеръ героини. Слогъ повѣсти—образцовый. Можно указать на одинъ только недостатокъ: затѣмъ Долинья рассказываетъ свою исторію подъ вымышленнымъ именемъ своего небывалаго друга, и кому же рассказываетъ?—Ольгѣ, которая знаетъ, о комъ идетъ рѣчь, и Теофанію, которая ничего не знаетъ. Это замашка старинныхъ романовъ, эффектъ довольно истертый. За исключеніемъ этого, вся повѣсть—одинъ изъ перловъ русской литературы.

Несмотря на нѣкоторую изысканность и неправдоподобность въ завязкѣ, «Утбалла» кажется намъ лучшею повѣстью послѣ «Теофаніи Аббиаджіо»: въ ея рассказѣ много увлекающей силы.

Первая половина «Напраснаго Дара» нѣсколько изысканна по содержанію. Дѣвушка, мучимая призваніемъ къ поэзіи—мысль довольно отвлеченная, корень которой не дѣйствительность, а рефлексія поэта. И не въ такомъ быту, какъ тотъ, въ которомъ помѣстила сочинительница свою вдохновенную Анюту, неизбежная гибель благородныхъ существъ происходитъ у насъ не столько отъ поэтическаго ихъ призванія, а отъ противоположности ихъ человѣческихъ (гуманныхъ) на-

турь съ окружающими ихъ животными натурами. Эта мысль проще, за то вѣрнѣе и болѣе годится въ основу повѣстей, сюжетъ которыхъ берется изъ міра русской жизни. Вообще, вся первая часть «Напраснаго Дара» такъ и дышитъ какимъ-то бурнымъ, порывистымъ, но невыдержаннымъ вдохновеніемъ, и потому она шевелитъ, будитъ душу читателя, но не удовлетворяетъ ея. Въ ней есть что-то, но чего-то и недостаетъ. Вторая часть была удовлетворительнѣе, но она не кончена и прервалась на самомъ интересномъ мѣстѣ. Мысль ея проще. Вотъ что писала о ней къ намъ сочинительница: «Первая и вторая часть этой повѣсти соединяются только одною идеею; межъ ихъ лицами и происшествіями нѣтъ ничего общаго, это двѣ отдѣльныя фантазіи на одинъ тонъ. Въ первой я говорила о силѣ умственной, во второй выражу силу чувствъ». Значить: во второй части подъ напраснымъ даромъ разумѣлось бы не призваніе къ какому-нибудь искусству, а просто сильная способность чувствовать. Это было бы лучше.

Что сказали мы о первой части «Напраснаго Дара», то болѣе или менѣе можетъ относиться вообще къ повѣстямъ Зенеиды Р—вой. Почти во всякой изъ нихъ чувствуете страшную внутреннюю силу, и потому не видите положительныхъ результатовъ этой силы. Почти каждая изъ нихъ есть могучій взмахъ, но за которымъ не слѣдуетъ столько же могучаго удара. Читая повѣсти Зенеиды Р—вой, вы чувствуете, что любопытство ваше раздражено, вниманіе напряжено, вы внѣ себя, и съ замирающимъ сердцемъ ждете—вотъ явится оно, желанное слово, вотъ разгадается загадка, и вся путаница судьбы разрѣшится въ ясную и опредѣленную идею, а тревога души вашей—въ чувство полного удовлетворенія,—и вы остаетесь недовольнымъ и неудовлетвореннымъ. Отчего это?

Намъ кажется, что это объясняется жизнью даровитой писательницы нашей. Жена военнаго человѣка, она слѣдовала за нимъ изъ губерніи въ губернію, изъ уѣзда въ уѣздъ, и случилось ей кочевать даже въ степяхъ Новороссіи. Отдале-

ніе отъ столичной жизни есть большое несчастіе и для души и для таланта: они или увядаютъ въ апатіи или въ бездѣйствіи, или принимаютъ провинціальное направленіе, которое комизмъ полагаетъ въ плоской шутливости, а высокое — въ дѣтскомъ отвлеченномъ идеализмѣ. Какъ бы ни сильна была натура человѣка и какъ бы ни великъ былъ талантъ его, но невозможно же ему долго бороться съ подавляющими впечатлѣніями окружающаго его міра, и волею или неволею, болѣе или менѣе, ранѣе или позже, но долженъ же онъ принять на себя ихъ отпечатокъ. Зенеида Р—ва знала итальянскій, нѣмецкій, англійскій и французскій языки, хорошо была знакома съ великими поэтами, писавшими на этихъ языкахъ: это видно даже и изъ эпиграфовъ, которыми испещряла она главы своихъ повѣстей. И вмѣстѣ съ ними, вы находите эпиграфы изъ гг. Кукольника и Бенедиктова. Въ провинціи — извѣстное дѣло — идеаломъ нувелистовъ добродушно считаютъ Марлинскаго, идеаломъ лириковъ — г. Бенедиктова, идеаломъ драматурговъ — г. Кукольника, а идеаломъ юмористовъ — Барона Брамбеуса... Мы знаемъ изъ достовѣрнаго источника, что лучшими повѣстями на русскомъ языкѣ, Зенеида Р—ва считала «Амаллатъ Бека» Марлинскаго, и «Блаженство Безумія» г. Полеваго. Нельзя не сознаться съ горестью, что на ея повѣстяхъ замѣтенъ отпечатокъ вліянія повѣстей Марлинскаго и Полеваго.

Но золотая руда блещетъ и въ землянистой массѣ. Яркій и сильный талантъ Зенеиды Р-вой не могутъ затмить недостатки въ ея произведеніяхъ. Талантъ ея принадлежитъ ей самой; недостатки — обстоятельствамъ жизни. Не являлось еще на Руси женщины столь даровитой, не только чувствующей, но и мыслящей. Русская литература по праву можетъ гордиться ея именемъ и ея произведеніями.

Зенеида Р—ва, по натурѣ своей, чувствовала сильную потребность высказываться на бумагѣ; но она была чужда печатнаго самолюбія, и только внѣшняя необходимость застав-

ляла ее печататься. «Без этой необходимости (писала она къ одному изъ своихъ знакомыхъ) ничто не принудило бы меня броситься въ этотъ омутъ и взять на себя несносное званіе женщины - писательницы». Опытность, приобретенная ею въ прежнихъ литературныхъ ея сношеніяхъ, особенно дѣлала для нея отвратительнымъ омутъ печатной извѣстности: это мы знаемъ изъ ея собственныхъ писемъ. Но и не одно это дѣлало для нея несноснымъ званіе женщины - писательницы. Въ началѣ нашей статьи, мы говорили, какъ еще тернистъ путь женщины-писательницы въ Европѣ. У насъ онъ не гладокъ по своему, ссылаемся на свидѣтельство самой Зенеиды Р—вой:

Въ обществѣ такъ любятъ танцоровъ съ блестящими эполетами, что ихъ не подвергаютъ строгому разбору; помѣщицы и горожанки принимаютъ ихъ съ благоволеніемъ, помѣщики и горожане приглашаютъ ихъ на обѣды и вечера; въ угожденіе своимъ повелительницамъ. Но жены военныхъ,—о, это другое дѣло! Судьи женскаго роду осматриваютъ своихъ, вновь прибывшихъ соперницъ, не всегда доброжелательнымъ окомъ, строго разбираютъ ихъ наряды, черты лицъ, характеровъ. Это двѣ чуждыя между собою націи, двѣ разнородныя стихіи,—не легко и не скоро соединяются онѣ въ одно дружное цѣлое.

Что же, если по несчастію, одна изъ этихъ налетныхъ госпожъ отличается чѣмъ-нибудь отъ прочихъ,—красотой, талантами богатствомъ—Если злодѣйка молва, опережая ее, приноситъ вѣсть объ ней на новыя квартиры и еще до пріѣзда ея возбуждаетъ любопытство, подстрекаетъ соперничество, язвить самолюбіе, задаетъ оскому зависти,—и эта тощая, желтолицая «урія» заранѣе точитъ зубокъ на незнакомую, но уже ненавистную жертву?—«Но что можетъ такъ сильно расшевелить страсти женщинъ? Какое превосходство, какое отличіе?» скажутъ мои добрыя читательницы!—Ахъ, Боже мой! поворю: маленькое отступленіе или выступленіе изъ общаго круга обыкновенностей; рельефъ на гладкой стѣнѣ общества. Вообразите себѣ поручицу чудной, поражающей красоты, капитаншу — уроженку Сѣверной Америки, переброшенную случаемъ съ береговъ Миссисипи на берега Оки, вмѣстѣ съ милліономъ приданого,—или, хоть съ приложеніемъ какого угодно чина, писательницу, т. е. женщину, написавшую когда-нибудь въ досужій часъ двѣ, три повѣсти, которыя попались впоследствии подъ типографскій ставокъ.

«Что! Капитанша или поручица писательница!... Да это вздор! этого нѣтъ и быть не можетъ! — возразятъ мнѣ многіе и многіе, — правда, писала Жанлисъ, такъ она была придворная, графиня, писала Сталь, — такъ отецъ ея былъ министромъ, — объ получили высокое образованіе, но кап...». Однакожь предположимъ, хоть для шутки, что въ толпѣ вновь прибывшихъ офицеровъ является рука объ руку съ однимъ изъ нихъ женщина-писательница. — Всѣ заранее знаютъ объ ея прибытіи, собираютъ объ ней слухи, рассказываютъ вѣсти бывалыя и небывалыя, — наконецъ она прибыла, она здѣсь...

Ахъ! какъ бы ее увидѣть! она вѣрно носитъ на челѣ отпечатокъ генія; вѣрно только и говоритъ о поэзій да о литературѣ; высказываетъ мнѣнія свои въ родѣ импровизаціи, употребляетъ техническіе термины, носитъ съ собою карандашъ и бумагу для записыванія случайно-мелькнувшихъ идей!...

Бѣдная писательница ѣдетъ, въ невинности души своей, объѣдать, не подозрѣвая, что ее приглашали на показъ, какъ пляшущую обезьяну какъ змѣя въ еланелевомъ одѣялѣ; что взоры женщинъ, всегда зоркіе въ анализировкѣ качествъ сестеръ своихъ, вооружилъ для встрѣчи съ нею сотнею умственныхъ лорнетовъ, чтобы разобратъ ее по волоску отъ чепчика до башмака; что отъ нея ядуть вдохновенія и книжныхъ рѣчей, поражающихъ мыслей, каедральнаго голоса, чего-то особеннаго въ поступи, въ поклонѣ, и даже латинскихъ фразъ въ смѣси съ еврейскимъ языкомъ, — потому что женщина-писательница по общепринятому мнѣнію не можетъ не быть ученой и педанткой, а почему такъ? не могу доложить!...

Боже мой, вѣдь какъ подумаешь, какъ многіе всю жизнь свою сочиняютъ и безпошленно разсѣваютъ по свѣту небылицы, — и никому не вздумается выдавать имъ патентовъ на ученость, оттого только, что они сочиняютъ словесно! За что жъ, чуть бѣдная писательница наброситъ одну изъ вышерѣченныхъ небылицъ на бумагу, всѣ единогласно производятъ ее въ ученые и педантки!... Скажите, отчего и за что такое непрошенное таланто-почитаніе?

И потому, она ни съ кѣмъ не можетъ сойтися. Одни воображаютъ что она тотчасъ схватитъ ихъ слѣпокъ и такъ-таки живьемъ передастъ въ журналъ. Другимъ вѣчно мерещится на устахъ ея сатанинская улыбка, въ глазахъ сатирическая наблюдательность, предательское шпіонство, — даже и тамъ; гдѣ, право, всякое шпіонство было бъ ковшикомъ, черпающимъ изъ воздуха воду; все въ ней будто не такъ, какъ въ другихъ женщинамъ... да не знаю что, а истинно что-то не такъ!

Посудите же, по этому блѣдному очерку тысячной доли того, что достается блѣдной писательницѣ, каково бродить ей по свѣту; быть вездѣ незванной гостею, вѣчно ознакомливаться. Едва узнаютъ ее въ одномъ мѣстѣ, едва привыкнуть видѣть въ ней *женщину* безъ жесткаго прилагательнаго: писательница, едва приголубить добрые люди.—какъ вдругъ походить, переѣзжа квартиру—начинай снова знакомства съ азбуки.

Къ этому яркому очерку неудобствъ, сопряженныхъ на Руси съ званіемъ женщины-писательницы, даровитая Зенеида Р—ва могла бы прибавить что-нибудь въ родѣ фізіологическаго очерка посмертныхъ друзей и журнальныхъ буфоновъ, пляшущихъ и кривляющихся на могилѣ литературной знаменитости. Вѣдь бываетъ и это на бѣломъ свѣтѣ, оттого что тутамъ законъ не писанъ. Но могила безмолвна и безответна...

Миръ праху твоему, благородное сердце, безвременно разорванное силою собственныхъ ощущеній! Миръ праху твоему, необыкновенная женщина, жертва богатыхъ даровъ своей возвышенной натуры. Благодаримъ тебя за краткую жизнь твою: не даромъ и не втунѣ цвѣла она пышнымъ, благоуханнымъ цвѣтомъ глубокихъ чувствъ и высокихъ мыслей... Въ этомъ цвѣтѣ—твоя душа, и не будетъ ей смерти, и будетъ жива она для всякаго, кто захочетъ насладиться ея ароматомъ...

Есть писатели, которые живутъ отдѣльною жизнію отъ своихъ твореній; есть писатели, личность которыхъ тѣсно связана съ ихъ произведеніями. Читая первыхъ, услаждаешься божественнымъ искусствомъ, не думая о художникѣ; читая вторыхъ, услаждаешься созерцаніемъ прекрасной человѣческой личности, думаешь о ней, любишь ее и желаешь знать ее самое и подробности ея жизни. Къ этому второму разряду писателей принадлежала наша даровитая Зенеида Р—ва.

II.

БИБЛІОГРАФІЯ.

СТИХОТВОРЕНІЯ М. ЛЕРМОНТОВА. *Спб. 1842. Три части.*

Это второе и самое полное собраніе стихотвореній Лермонтова; въ немъ напечатаны всѣ доселѣ извѣстныя, въ печати или въ рукописяхъ, произведенія знаменитаго поэта. Издатели обѣщаютъ собрать все, что еще найдется изъ стихотвореній Лермонтова, и напечатать четвертую часть, такъ что почитатели таланта Лермонтова не будутъ имѣть необходимости вновь приобрѣтать цѣлое изданіе стихотвореній этого поэта. Конечно, на многое нечего и надѣяться, на превосходное также, ибо всѣ лучшія піесы Лермонтова извѣстны и были напечатаны, и теперь всѣ собраны въ трехъ частяхъ этого новаго сборника; можно надѣяться найти, кромѣ «Измаиль-Бая», еще развѣ три или четыре мелкія стихотворенія, давно уже написанныя Лермонтовымъ и давно уже забытыя имъ при жизни; но все написанное имъ интересно, и должно быть обнаружено, какъ свидѣтельство характера, духа и таланта необыкновеннаго человѣка. Въ первомъ изданіи стихотвореній Лермонтова, вышедшемъ въ маленькой книжечкѣ, въ 1840 году, были напечатаны самыя избранныя, самыя безукоризненныя его произведенія, ибо изданіе печаталось подъ надзоромъ самого поэта; а такіе поэты, какъ Лермонтовъ, бываютъ строже къ самимъ себѣ, нежели самыя строгіе и взыскательныя ихъ критики. Къ тому же, передъ Лермонтовымъ лежалъ длинный и широкій путь будущей славы,

и поэтъ гордо чувствовалъ въ себѣ прозябаніе сѣменъ великихъ будущихъ твореній; отъ этого, естественно, онъ и не придавалъ слишкомъ большаго значенія своимъ первымъ опытамъ. Но неожиданная и преждевременная смерть поэта дала совсѣмъ другой оборотъ дѣлу, и издатели его стихотвореній не должны были, скажемъ болѣе, не имѣли права не собрать и не сдѣлать извѣстнымъ публикѣ всего написаннаго Лермонтовымъ, всего, что только могли они отыскать. Они заслуживаютъ благодарность со стороны публики, что помѣстили въ изданное ими собраніе стихотвореній Лермонтова и такіа піесы, какъ: «Хаджи Абрекъ», «Казначейша», «Сосна», «Парусь», «Желаніе», «Графиня Растопчиной», «Ангель», «М. П. Соломирской», «Въ альбомъ автору Курдюковой», «Два Великана», «Ты помнишь ли, какъ мы съ тобою», и драму «Маскарадъ»; самъ поэтъ никогда бы не напечаталъ ихъ, но они тѣмъ не менѣе драгоценны для почитателей его таланта, ибо онъ и на нихъ не могъ не наложить печати своего духа, и въ нихъ нельзя не увидѣть его мощнаго крѣпкаго таланта: такъ вездѣ видны слѣды льва, гдѣ бы ни прошелъ онъ... Лермонтовъ никогда бы не напечаталъ и «Боярина Оршу» и «Демона» — и онъ имѣлъ на то свои причины и свои права; но публика многого, слишкомъ многого лишилась бы, еслибъ издатели стихотвореній Лермонтова не сдѣлали извѣстными ей этихъ великихъ начатковъ будущей колоссальной славы будущаго великаго поэта... Несмотря на дѣтскую незрѣлость поэмъ «Бояринъ Орша» и «Демонъ», онѣ выше, драгоценнѣе многихъ зрѣлыхъ и художественно выполненныхъ поэмъ...

СОЧИНЕНІЯ ДЕРЖАВИНА. *Спб. 1843. Четыре части.*

Это, должно быть, третье изданіе полнаго собранія сочиненій Державина. Оно полнѣе всѣхъ — даже Смирдинскаго, — снабжено біографическимъ очеркомъ жизни поэта и «спискомъ

сочиненій Державина въ хронологическомъ порядкѣ»; но несмотря на то, оно все-таки не совѣмъ полно: не приложено прозы Державина, его писемъ, разсужденія о лирической поэзи, и проч.; портретъ хорошъ, но онъ есть повтореніе портрета, приложеннаго къ «Образцовымъ Сочиненіямъ», изданнымъ въ 1811 году. И, однакожь, это изданіе совѣмъ не такъ дурно, какъ утверждаютъ нѣкоторые печатно: оно не только опрятно, даже красиво; есть нѣсколько опечатокъ, но онѣ выставлены, хотя, конечно, лучше было бы, еслибъ не было ни одной опечатки.

Къ изданію г. Глазунова «Сочиненій Державина» приложена статья «Жизнь Г. Р. Державина», написанная г. Савельевымъ, который смотритъ на Державина не какъ на поэта, а какъ на человѣка, и съ исторической точки зрѣнія. Статья эта написана хорошо и содержитъ въ себѣ много любопытныхъ подробностей; но взгляды г. Савельева не вездѣ вѣрны. Г. Савельевъ думаетъ, что писать о Державинѣ и его вѣкѣ значитъ всемъ безусловно восторгаться, быть не историкомъ, а панегиристомъ. Это самая ошибочная точка зрѣнія! Она-то заставила сочинителя статьи необдуманно осудить весьма умную и вѣрную характеристику поэзи Державина, сдѣланную г. Шевыревымъ въ слѣдующихъ словахъ: «Поэзія Державина—это сама Россія Екатеринина вѣка, съ чувствомъ исполинскаго своего могущества, съ своими торжествами и замыслами на Востокъ, съ нововведеніями европейскими и съ остатками старыхъ предрассудковъ и повѣрій,—это Россія пышная, роскошная, великолѣпная, убранныя въ азіятскіе жемчуги и камни, и еще полудикая, полуварварская, полуграмотная, — такова поэзія Державина, во всѣхъ ея красотахъ и недостаткахъ». Эти слова приводятъ г. Савельева даже въ суетвѣрный ужасъ; онъ говоритъ, что «ни у кого изъ русскихъ поэтовъ чувство человѣчности и сознаніе достоинства человѣка не преобладаетъ въ такой сильной степени, какъ у Державина»... Ну, это едва ли такъ,

потому что въ вѣкъ «милостивцевъ», «отцовъ и благодѣтелей», въ вѣкъ «меценатства» и «патронажества» могутъ быть только фразы о человѣческомъ достоинствѣ, а не чувство человѣческаго достоинства...

Кстати о Державинѣ: недавно въ одномъ московскомъ журналѣ были напечатаны стихи—нѣчто въ родѣ рифмованнаго *exordium* на какого-то «безыменнаго критика», который, въ числѣ разныхъ литературныхъ преступленій, какъ-то: непризнание Ломоносова поэтомъ, ужаленіе Карамзина, обвиняется еще и въ томъ, что «тронулъ Державина дерзкою рукою». Оно смѣшно, конечно, а вѣдь это уже не первая исторія... Сколько разъ нападали, напр., на насъ за наши отзывы о поэзіи Державина, и вотъ теперь наша мысль принята «Сѣверной Пчелою» (зри № 279 прошлаго года) — и никто не поестъ заклинаній ни стихами, ни прозою... Фельетонистъ этой газеты говоритъ, что Державинъ дойдетъ къ потомству съ весьма легкою ношею, т. е. съ малымъ числомъ избранныхъ стихотвореній, а остальное погибнетъ въ Лѣтъ», но что «имя Державина навѣки останется незабвеннымъ въ исторіи русской литературы». Здѣсь наша мысль немного искажена: не съ легкою ношею, а весь дойдетъ Державинъ до позднѣйшаго потомства, какъ явленіе великой поэтической силы, которая, по недостатку элементовъ въ обществѣ его времени, ни во чтѣ не опредѣлилась,—и потому Державинъ весь будетъ всегда, какъ онъ уже есть и теперь, интереснымъ фактомъ исторіи русской литературы. У Державина нѣтъ избранныхъ стихотвореній, которыя могли бы пережить его *не-избранные* стихотворенія, и всегда будутъ помнить, какъ помнить и теперь, не избранные стихотворенія, а поэзію Державина... Далѣе, «Сѣверная Пчела» повторяетъ нашу мысль, уже не искажая ея: «Прошло только двадцать пять лѣтъ со смерти Державина, а ужь его стихотворенія точно какъ дорогіе антики — кабинетная рѣдкость. Исключая отдѣльныхъ фразъ и стиховъ, большую часть стихотвореній Державина теперь уже

трудно читать... теперь уже такъ не пишутъ... Это языкъ чуждый намъ!...» Это истина, и потому скоро всѣ будутъ повторять нашу мысль, даже и тѣ, которые пишутъ стихотворныя яденонціаціи.

Но между-тѣмъ, надо сказать правду: всѣ подобные приговоры хотя и справедливы, однако еще не доказательны; это еще только критическіе афоризмы, а не критика. И «Сѣверная Пчела» беретъ наше мнѣніе еще на вѣру, слѣпо, не дождавшисъ нашихъ доказательствъ, что, съ ея стороны, не совсѣмъ благоразумно... Мы начали дѣло — мы должны и кончить его: въ слѣдующей книгѣ «Отечественныхъ Записокъ» постараемся изложить подробно наше мнѣніе о поэтической дѣятельности Державина и ея историческомъ значеніи. За эту статью послѣдуетъ рядъ обѣщанныхъ нами статей о Пушкинѣ, Гоголѣ и Лермонтовѣ. Статья о Пушкинѣ начнется у насъ обзоромъ историческаго движенія русской поэзіи въ промежуткѣ времени между Державинымъ и Пушкинымъ, и такимъ образомъ рядъ этихъ статей, начиная съ статьи о Державинѣ, составитъ цѣлый историко-эстетико-критическій курсъ русской поэзіи, — разумѣется, съ нашей точки зрѣнія,

СКАЗКА ЗА СКАЗКОЙ. *Томъ II. Спб. 1842.*

Благодаря прекрасной повѣсти г. Кукольника, «Сержантъ Иванъ Ивановичъ, или Всѣ за Одно», изданіе «Сказка за Сказкой» обратило на себя общее вниманіе: первый выпускъ, включавшій въ себѣ повѣсть, о которой мы говоримъ, былъ скоро раскупленъ. Такая же блестящая участь, повидимому, ожидала и слѣдующія повѣсти подъ общею фирмою «Сказка за Сказкой»; но какъ общаго у нихъ съ первою была только одна фирма и какъ каждая слѣдующая повѣсть была все хуже и хуже предшествовавшей, то публика, приобрѣтши первый

выпускъ, не захотѣла имѣть послѣдующіе. Чтобъ помочь горю, всѣ выпуски были переплетены въ одну книгу, на заглавіи которой было выставлено: Томъ I. Ради одной первой повѣсти можно купить и весь томъ: такъ сдѣлали, вѣроятно, многіе, которые не успѣли заблаговременно приобрести «Сержанта Ивана Ивановича Иванова, или Всѣ за Одно». Опытъ— великое дѣло въ искусствѣ выгодно спускать съ рукъ книги?

Второй томъ «Сказки за Сказкой» такъ же не безъ хорошихъ, какъ и не безъ плохихъ вещей. Изъ четырехъ заключающихся въ немъ повѣстей, намъ больше другихъ нравится повѣсть г. Кукольника «Позументы». Мы уже не разъ имѣли случай замѣчать, что г. Кукольникъ мастеръ писать интересные рассказы изъ временъ Петра Великаго. Главныя достоинства ихъ простота, естественность и правдоподобіе. Замѣтно, что онъ изучалъ эту эпоху и вникъ въ духъ ея. Каждое лицо въ какомъ бы оно ни было положеніи, говоритъ у него своимъ и своего времени языкомъ. Борьба,—то смѣшная и комическая, то достолюбезная и трогательная,—борьба европеизма и народности, просвѣчиваетъ и въ понятіяхъ и въ языкѣ дѣйствующихъ лицъ тѣхъ рассказовъ г. Кукольника, которыхъ содержаніе взято изъ эпохи Петра Великаго. Долго было бы распространяться о томъ, какъ у него это дѣлается... скажемъ просто, что эта повѣсть выдержана вся до конца, и въ цѣломъ, и въ подробностяхъ, исполнена интереса и жизни.

Не такова другая повѣсть г. Кукольника «Жанъ Батистъ Людѣ»: въ ней все ложно—и событіе, и характеры; первое похоже на сказку въ родѣ «не любо не слушай», а вторыя, или на каррикатуры, или на образы безъ лицъ. Особенно невыносимы въ ней сцены любви, сантиментальныя до приторности. При всемъ томъ, она не лишена заманчивости рассказа и должна нравиться тѣмъ читателямъ, которые въ повѣсти ищутъ сказки, какъ дѣла отъ бездѣлья.

«Савелій Грабъ или Двойникъ», повѣсть казака Луганскаго

отличается, какъ всё повѣсти этого даровитаго писателя, прекрасными подробностями, обличающими въ авторѣ многостороннюю опытность, бывалость, если можно такъ выразиться, наблюдательность и наглядность. Очевидно, что богатая сокровищница разнообразныхъ впечатлѣній и безконечныхъ воспоминаній служить казаку Луганскому неизчерпаемымъ источникомъ вдохновенія. Онъ жизнію пріобрѣлъ себѣ талантъ, и талантъ, — кто не согласится въ этомъ — примѣчательный. Сюжетъ «Савелія Граба» нѣсколько сбивается на романическій. Герой романа, Ивася, оказывается сыномъ одной польской графини, которая, умирая, отказываетъ ему значительное имѣніе; потомъ оказывается, что сынъ польской графини не Ивася, а Савка, поварь, лакей и кучеръ новороссійскаго помѣщика Бабочка; дѣло въ томъ, что при рожденіи шестипалый графчикъ былъ подмѣненъ пятипалымъ крестьянскимъ мальчикомъ, родители котораго воспитали шестипалаго графчика за своего роднаго сына, а пятипалый сынъ ихъ отданъ былъ графинею на воспитаніе тоже одному изъ новороссійскихъ помѣщиковъ, родомъ Поляку. Когда вся эта путаница распуталась, великодушный Ивася уступилъ Савкѣ графскій титулъ, и отдалъ бы ему все свое имѣніе, если-бы въ свою очередь великодушный Савка не раздѣлилъ съ нимъ этого имѣнія. Напрасно: къ Савкиной рожѣ графство не пристало, ибо графомъ можно родиться, но настоящимъ графомъ можно сдѣлаться только черезъ воспитаніе, черезъ первыя живыя впечатлѣнія дѣтства. Несмотря на все это, повѣсть казака Луганскаго очень интересна: въ разсказѣ много истины и юмора, въ отступленіяхъ и разсужденіяхъ много ума и оригинальности. Даже самыя странности и парадоксы автора носятъ на себѣ отпечатокъ такой достолюбезности, что доставляютъ въ чтеніи и удовольствіе. Надо сказать, что авторъ заставилъ Ивасю хлопотать о преобразованіи русскаго языка, испорченнаго русскими писателями отъ Карамзина до Пушкина включительно (объ остальныхъ уже и говорить нечего); по его

мнѣнію, чистый — неискаженный русскій языкъ сохранился только въ простомъ народѣ. Дѣйствительно, для выраженія простонародныхъ идей, немногочисленныхъ предметовъ и потребностей ограниченнаго простонароднаго быта, простонародный языкъ гораздо обильнѣе, гибче, живописнѣе и сильнѣе, чѣмъ языкъ литературный для выраженія всего разнообразія и всѣхъ оттѣнковъ идей образованнаго общества. И это понятно: простонародный русскій языкъ сложился и установился въ продолженіе многихъ вѣковъ; литературный—въ продолженіе одного вѣка; первый, разъ установившись, уже не двигался впередъ, какъ и мысль простаго народа, второй—бѣжитъ не останавливаясь, не переводя духу, вслѣдствіе безпрерывнаго вторженія новыхъ понятій и безостановочнаго развитія, а слѣдственно, и движенія старыхъ идей. Казакъ Луганскій утверждаетъ, что не должно говорить такъ: «Казакъ осѣдлалъ лошадь свою какъ можно поспѣшнѣе, посадилъ товарища своего, у котораго не было коня, къ себѣ на крупъ и слѣдовалъ за неприятелемъ, имѣя его постоянно въ виду, чтобъ при благоприятныхъ обстоятельствахъ на него кинуться», а должно вмѣсто того говорить: «Казакъ сѣдлалъ уторопъ, посадилъ безконнаго товарища на забедры, слѣдилъ неприятеля въ назерку, чтобъ при спопутности на него ударить». Воля его казацкой удали, а мы, люди письменные, право не понимаемъ ни «уторопи» ни «назерки, ни забедръ», ни «спопутности». Пережѣнять же намъ Карамзина, Жуковскаго, Батюшкова, Грибоѣдова, Пушкина на гувернеровъ изъ простонародья въ овчинныхъ тулупахъ и смурыхъ кафтанахъ—ужь поздно.

«Мастерская и Гостиная»—былъ г. П. Фурмана служить для 2-го тома «Сказки за Сказкой» балластомъ, безъ котораго не можетъ обойтись никакой сборникъ повѣстей, претендующій на объѣмистость и разнообразіе содержанія. Это одна изъ тѣхъ «былей», которыхъ нигдѣ не бываетъ, кромѣ плохихъ повѣстей бездарныхъ сочинителей. Какой-то, изво-

лите видѣть, художникъ, Германъ, влюбился, на выставкѣ академіи, въ «барышню» не Марью, а Марію, а она Марія выходитъ замужъ за богатаго дурака, Чижигова; Германъ прибѣжалъ къ ней какъ полоумный и, наговоривъ ей съ три короба великолѣпной чепухи, побѣжалъ къ профессору Ботипу, да тутъ же (весьма кстати узналъ, что мамзель Ботипъ его «обожаеть», а узнавъ это, онъ сію же минуту (за чѣмъ откладывать въ долгій ящикъ!) началъ ее «боготворить», предлагая ей руку и сердце. Другъ Германа, Ламовъ, питалъ къ Эмилиіи несчастную страсть, и когда она вышла замужъ за его друга, онъ уѣхалъ съ горя за-границу и, гуляя по швейцарскимъ Альпамъ, сперва запѣлъ «Не бѣлы то снѣги», а потомъ заплакалъ, вспомнивъ о другѣ, отнявшемъ у него все счастье. Повѣсть, какъ по всему видно, самая «идеальная», безъ всякой примѣси «реальности», даже со стороны здраваго смысла. Знаніе «гостиной» (salon) въ этой повѣсти удивительное: «барышни» то и дѣло мѣшаютъ французскія фразы съ русскими à la madame de Kourdukoff, и Марія не иначе называетъ Германа, какъ мсьё Ненгі, а онъ ее не иначе, какъ Марія Петровна...

Въ «Медвѣдѣ», новой повѣсти графа Соллогуба, напечатанной, какъ извѣстно, въ «Утренней Зарѣ» на 1843-й годъ, есть отрывистый и безсвязный разговоръ четы, которая, догадываясь о своемъ взаимномъ чувствѣ, робко порывается къ объясненію. Послѣ этого мастерски изложеннаго разговора, авторъ замѣчаетъ отъ себя:

«Я всегда удивлялся, какъ гладко и краснорѣчиво объясняются влюбленные въ повѣстяхъ и комедіяхъ. Слова ихъ такъ и сыплются чувствительнымъ градомъ, и самыя страстныя признанья такъ тщательно отдѣланы и округлены, что любо читать.—На дѣлѣ бываетъ иначе. Сомнѣніе и неизвѣстность вселяютъ страхъ въ самаго храбраго человѣка. Смертная блѣдность покрываетъ чело; судорожная дрожъ объемяетъ всѣ члены; слова прилипаютъ къ устамъ и, какъ бы объята пламенемъ, съ трудомъ вылетаютъ одно за другимъ».

Замѣчаніе глубоко-справедливое! Но такъ можетъ думать только человѣкъ съ талантомъ, который внутри себя носить ясновидѣніе тайнъ чувства, имъ изображаемаго: бездарность же, ничего не находя въ пустой груди своей, сидя съ перомъ въ рукѣ, ловить въ памяти своей—словно мухъ въ воздухѣ—читанныя ею тамъ и сямъ выраженія чуждыхъ ея натурѣ страстей и чувствъ... Изданіе «Сказки за Сказкой», ужъ черезчуръ сѣренько; не мѣшало бы ему быть и побѣлѣе и поисправнѣе со стороны знаковъ препинанія.

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ. *Статейки, вырванныя изъ большой книги, называемой: СВѢТЬ и Люди. Философическо-филантропическо-гуморическо-сатирическо-живописные очерки, составляемые подъ редакцію Ивана Балакирева. Рисунки Александра Коцебу, гравированные Г. В. Дерикеромъ, барономъ Клотомъ и А. Е. Масловымъ, Книжка I. Деньги. Спб. 1843.*

Въ одномъ изъ объявленій г. Ольхина напечатано такъ: «Были и Небылицы или СВѢТЬ и Люди. Текстъ Ивана Балакирева. (Полеваго). Рисунки Александра Коцебу. Одинъ томъ во 130 стр. брюксельскаго формата, на лучшей велен. бумаг. украшенный 60 полтипажами, гравир. бар. Клотомъ, Дерикеромъ и Масловымъ. Ц. 1 р. сер.» Картинки, дѣйствительно хороши, и по изобрѣтенію и по исполненію; изданіе чрезвычайно красиво и даже изящно, хотя его и портятъ шесты и колья безъ нужды употребляемыхъ прописныхъ буквъ. Но текстъ—что же такое текстъ, сочиненный г. Балакиревымъ, или г. Полевымъ?

Когда мы начали читать книжку—намъ тотчасъ же показалось что-то знакомое, какъ будто повтореніе чего-то давно читаннаго,—и мы наконецъ вспомнили, хотя и съ большимъ усиліемъ, «Новаго Живописца Общества и Литературы», ко-

торый нѣкогда издавался г. Полевымъ при «Телеграфѣ», а потомъ, въ 1832 году, былъ изданъ имъ отдѣльною книгою въ шести частяхъ. И, правду сказать, было отчего припоминать съ большимъ усиленіемъ: сравнивая «Были и Небылицы съ Новымъ Живописцемъ», видишь какое-то сходство, и однакожь то же да не то. И это обстоятельство поразило насъ такимъ же грустнымъ чувствомъ, какъ еслибъ мы встрѣтили слабаго, покрытаго морщинами и сѣдинами старца, котораго лѣтъ десять назадъ знали человѣкомъ еще свѣжимъ, крѣпкимъ и исполненнымъ энергіи... Изъ всѣхъ статей, составляющихъ содержаніе «Новаго Живописца», видно, что ихъ источникомъ было что-то похожее на негодованіе на разныя темныя стороны общества и литературы: чтъ же касается до «Былей и Небылицъ», то съ первыхъ же страничекъ замѣтно, что ихъ источникомъ и вдохновеніемъ были тѣ самыя «Деньги», которыя на красивой, затѣйливой и со вкусомъ распешренной оберткѣ «Былей и Небылицъ» напечатаны золотыми литерами. Оттого и въ книжкѣ этой есть, — впрочемъ, неконченная, поэма въ XII пѣсняхъ «Деньгоада». Отсюда и разница между содержаніемъ «Новаго Живописца» и текстомъ «Былей и Небылицъ»: чтъ въ первомъ живо, остроумно, цѣлко, занимательно, то въ послѣднихъ вяло, натянуто; беззубо, скучно... Вообще, этотъ текстъ — болтовня безъ всякаго содержанія, наборъ словъ, которыя случайно отсюду сползлись въ книжку, чтобъ она не состояла изъ однихъ, неимѣющихъ смысла, картинокъ. Сначала сочинитель г. Балакиревъ (т. е. г. Полевой) рассказываетъ, какъ къ нему пришла его кухарка требовать денегъ на приготовленіе «поэтическаго питья, составленнаго изъ цикорія, съ примѣсю кофейныхъ выварокъ, что продаютъ въ мелочныхъ лавкахъ П(п)етербургскихъ, подъ именемъ кофе», а за кухаркою высунулась глупѣйшая рожа Егорки, требующая денегъ на ваксу, какъ сочинитель — г. Полевой (т. е. г. Балакиревъ) повалился съ треногаго стула, и подъ столомъ

нашелъ полуимперіаль и вдохновеніе... Нашедши вдохновеніе, онъ началъ сочинять поэму «Деньгоада», перепробовалъ всё разѣры и все безуспѣшно; впрочемъ, октавы вышли удачнѣе, почему мы и выписываемъ ихъ:

Италія Торкватова земля,
Гдѣ вьется плющь и виноградъ алѣеть,
Гдѣ златомъ нивъ подернулись поля,
Гдѣ миртъ и лавръ отраднo зеленѣеть,
Гдѣ грузъ заботъ отъ сердца удаля,
Все радостью безумною пестрѣеть.
Гдѣ Л(л)аццаронъ съ гитарою лежитъ
И гдѣ Везувій блещетъ и горитъ!

Твой стихъ живой, веселый и игривый
Давно Москвѣ усвоилъ Пискуновъ,
Давно своей онъ М(м)узѣ говорливой
Октаву спилъ изъ ломанныхъ стиховъ.
И показалъ Италіи хвастливой
Отвагу Р(р)усскихъ удалыхъ пѣвцовъ,
Хоть правду вамъ сказать съ другаго слова
Избавъ насъ Богъ октавы Пискунова!

Остальная часть книжки занята разговоромъ сочинителя съ чортомъ, который явился къ нему изъ трубы. Разговоръ этотъ такъ и дышитъ грошевымъ юморомъ и пряничнымъ сарказмомъ, направленными на книгопечатаніе и деньги,—два, по мнѣнію сочинителя, величайшіе бича человѣчества... По формѣ своей этотъ разговоръ есть явное подражаніе «Большому Выходу Сатаны» барона Брамбеуса; для отличія, фраза барона «ваша мрачность» замѣнена у г. Балакирева фразою «ваша темность»; что же касается до подробностей адскаго быта и вообще тона разсказа,—все это чрезвычайно походитъ на натянутое подражаніе піесѣ барона Брамбеуса. Хорошъ оригиналъ—но подражаніе еще лучше...

Впрочемъ, о текстѣ никто и не проситъ: красивыхъ книжекъ такого рода никто не читаетъ, зная заранѣе, что въ

нихъ нечего читать; ихъ многіе покупаютъ, какъ игрушки, особенно если онѣ не дороги. Вотъ отчего сначала, какъ говорятъ книгопродавцы, пошла было шибко «Картинки Русскихъ Правовъ»: оттого же пойдутъ хорошо и «Были и Небылицы». И такого рода успѣхи еще не скоро прекратятся:—литературѣ и книжной торговлѣ нашей надо пройти еще черезъ многіе роды ребячества, прежде нежели онѣ совершенно возмужаютъ.

ИСТОРИЯ СУВОРОВА. *Текстъ Николая Полеваго. 130 политипажей, травированныхъ лучшими Р(р)усскими и П(п)арижскими художниками, по рисункамъ А. П. Брюлова, П. В. Басина, А. А. Коцебу, Т. Г. Шевченко, Р. К. Жуковскаго и М. В. Маслова, съ приложеніемъ великолѣпнаго фронтисписа, плановъ главнѣйшихъ сраженій, портрета и fac-simile почерка Суворова. Выпускъ первый. Спб. 1843.*

Пошло на политипажи и тексты! И тѣ самыя, которые еще недавно бранили политипажи, какъ униженіе искусства, наконецъ смекнули, что политипажи—дѣло доброе, если къ нимъ требуется текстъ.... Но, увы! на этотъ разъ политипажи, будучи не дурны по выполненію, плохи, очень плохи, по изобрѣтенію.... Въ иныхъ рисункахъ не соблюдены правила перспективы—отдаленныя фигуры выше и замѣтнѣе стоящихъ на главномъ планѣ, и т. п. Не мѣшаетъ также замѣтить, въ предостереженіе публики, что передъ фамиліею «Брюловъ», выставленною на заглавномъ листкѣ въ числѣ сочинителей рисунковъ, стоятъ литеры А. П., которыя совсѣмъ не то, что литеры К. П. Что касается до текста,—онъ не то, чтобъ хорошъ, и не то, чтобъ плохъ, а такъ—середка на половинѣ, нѣчто въ родѣ наскоро составленной, изъ извѣстныхъ и переизвѣстныхъ всѣмъ источниковъ, ком-

пояціи... Компіляція будетъ состоять изъ трехъ выпусковъ, каждый изъ семи печатныхъ листовъ, что все составитъ книгу въ двадцать одинъ печатный листъ, со 130 политипажками: текстъ не великъ, и книга будетъ тонка непропорціально формату.

Впрочемъ, гораздо интереснѣй всей этой политипажной затѣи сужденіе о ней «Сѣверной Пчелы» (см. № 285). Тамъ, между прочимъ, очень ловко замѣчено, что А. П. Брюловъ— знаменитый *архитекторъ*; что вся книга, съ пересылкой, будетъ стоить двадцать рублей асс.; что нѣкоторые политипажки въ ней прекрасны, а нѣкоторыми г. Булгаринъ не доволенъ; что г. Булгаринъ издаетъ «Историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова», со ста картинками, рисованными г. Тиммомъ и гравированными барономъ Клотомъ, барономъ Неттельгорстомъ въ Петербургъ и гг. Порре и Лавіелемъ въ Парижѣ, и что книга г. Булгарина будетъ стоить только три рубля серебромъ....

«Мы (говорить г. Булгаринъ) поневоля стали въ тупикъ. Одинъ изъ издателей Сѣверной Пчелы (Ө. Б.), который имѣетъ честь бесѣдовать съ вами въ нынѣшнемъ фельетонѣ, также написалъ не *Исторію Суворова, а историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова*, и ждетъ только одной части политипажей изъ Парижа, чтобъ приступить къ печатанію. Что тутъ говорить, встрѣтятся съ талантливымъ писателемъ на узкой стезѣ, лицомъ къ лицу! Все-таки можемъ сказать кое-что, напримѣръ, на первый случай скажемъ, что сочиненіе Н. А. Полеваго: *Исторія Суворова* и сочиненіе Булгарина: *Историческіе и романтическіе очерки изъ жизни Суворова*— двѣ совершенно различныя вещи, вовсе не похожія одна на другую, едва ли не двѣ противоположности. Ө. Булгаринъ убѣжденъ, что онъ не въ состояніи написать *современную исторію*, или *исторію современнаго человека*, такъ какъ бы хотѣлъ написать, какъ должно писать исторію, принимая исторію не какъ заглавіе книги, а какъ науку. Ө. Булгаринъ думаетъ, что прежде ста лѣтъ по смерти Суворова, нельзя писать его исторіи, по тѣмъ понятіямъ, какія имѣетъ Ө. Б. объ исторіи, и что теперь можно писать только *біографіи* и *очерки* или *отрывки изъ жизни*, расположенные въ хронологическомъ порядкѣ, а для освѣженія или оживленія біографической сухости, Ө.

Булгаринъ придумалъ помѣстить, между историческими событіями, *романтическія* или *вымышленныя* сцены, которыхъ интересъ основанъ на *исторіи*, т. е. на истинѣ.

Съ тѣмъ, что исторія Суворова прежде, по крайней мѣрѣ, ста лѣтъ отъ смерти его невозможна,—мы совершенно согласны, равно какъ и съ тѣмъ, что «Исторія Суворова» г. Полеваго ужъ по одному этому, есть не исторія, а компиляція; но на счетъ того, что «романтическія» сцены все равно, что вымышленныя—мы не согласны: другое дѣло тождество романическихъ и вымышленныхъ сценъ. Равнымъ образомъ, мы не согласны и съ тѣмъ, чтобъ книга г. Булгарина потому была лучше книги г. Полеваго, что въ ней будетъ «романтизмъ»; положимъ даже, что «романтическій» и «романическій»—одно и то же,—и тутъ нельзя согласиться, чтобъ книга г. Булгарина была лучше книги г. Полеваго: романическія, или, пожалуй, романтическія сцены тогда только могутъ быть хороши, когда ихъ напишетъ поэтъ, а мы, право не помнимъ, чтобъ г. Булгаринъ когда-нибудь былъ поэтомъ... Развѣ желаніе оказать г-ну Полевою пріятельскую услугу, т. е. показать ему, какъ должно съ успѣхомъ составлять книги о Суворовѣ, внезапно осѣнило его поэтическимъ вдохновеніемъ? Можетъ быть! Но—далѣе:

«Н. А. Полевой, по своимъ понятіямъ, увѣренный, что уже можно и должно писать исторію Суворова, написалъ исторію, какъ все вообще наши исторіи, т. е. *панегирикъ* Суворову, съ тою разницею, что Н. А. Полевой, какъ человекъ съ талантомъ и притомъ съ умомъ, представилъ дѣло въ пріятныхъ формахъ. Мы полагаемъ, что Н. А. Полевой *не проигрывается* на насъ, если мы ему скажемъ, что, не выдавъ вещи, почти невозможно описать ее вѣрно, изъ однихъ разсказовъ. Н. А. Полевой, хотъ храбро сражался и даже одерживалъ блистательныя побѣды въ чернильныхъ битвахъ, не бывалъ, однакожь, какъ пишется въ формулярѣ, въ дѣйствительныхъ сраженіяхъ, гдѣ наносятъ удары не перьями, а штыками и саблями, и гдѣ льется кровь, а не чернила, и потому эта часть, т. е. война, никогда не можетъ быть такъ вѣрно изображена мирнымъ литераторомъ, какъ

литераторомъ воиномъ *), который *десять* лѣтъ сряду, такъ сказать не слѣзая съ коня и жилъ въ виду непріятеля».

Хотя и всёмъ извѣстно, что г. Булгаринъ долго ходилъ подъ знаменами (для удостовѣренія въ этомъ достаточно его «Воспоминаній объ Испаніи»),—однакоже изъ этого еще не слѣдуетъ большой разницы между г. Булгаринымъ и г. Полевымъ;—въ дѣлѣ военной исторіи строевой офицеръ еще не одно и то же, что генералъ, тактикъ, стратегикъ. Каждый русскій солдатъ храбро дерется, иной бывалъ двадцать разъ въ дѣлѣ, но о войнѣ разсуждать, или писать солдатъ русскій не можетъ.

Далѣе г. Булгаринъ увѣряетъ, что военная часть въ «Исторіи Суворова» г. Полеваго слаба, а дипломатическая—хороша, и что вообще «Исторія Суворова», г. Полевымъ написанная, есть «явленіе важное и замѣчательное въ нашей литературѣ»; въ первомъ случаѣ, мы совершенно согласны съ тѣмъ, что говорить г. Булгаринъ, а во второмъ и третьемъ—съ тѣмъ, что хочетъ сказать г. Булгаринъ. Пришлось же вѣдь, наконецъ, согласиться!... Въ заключеніе г. Булгаринъ говоритъ, что онъ «боится писать стихи (хотя нынѣшніе стихи, т. е. безъ рѣмъ, право, легче писать, нежели хорошую прозу), боится драмы» (вотъ что надѣлала коварная «Шгуна»!), «боится того и другаго, и знаетъ, что одно можетъ написать лучше, другое хуже», и предоставляетъ рѣшить—что лучше у г. Полеваго—«Исторія Суворова», или классическое, по мнѣнію его, г. Булгарина, сочиненіе—«Очерки Русской Литературы», а самъ боится судить рѣшительно, опасаясь, чтобы его не оподозрили въ пристрастіи, т. е. въ желаніи дать ходъ своей книгѣ на счетъ книги г. Полеваго...

Помилуйте, какъ это возможно! Ужъ изъ сказаннаго видно,

*) Т. е., тѣмъ, кто—прибавимъ мы отъ себя—
Уже не воинъ. а писатель...

что г. Булгаринъ поступилъ совершенно по-рыцарски, какъ великодушный соперникъ....

СУПРУЖЕСКАЯ ИСТИНА, въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ. Спб. 1842.

Хоть эта книжка писана и прозою, тѣмъ не менѣе она составляетъ рѣшительно дружку къ стихотвореніямъ г. Молчанова: подобно имъ, она—довольно дикая аномалія въ книжномъ мірѣ. Есть на французскомъ языкѣ книга: «Tableau de l'amour conjugal», въ которой брачное состояніе подробно разсматривается во всѣхъ отношеніяхъ и преимущественно—медицинскомъ; г. В. Лебедевъ выписалъ изъ нея кое-что, сдобрилъ это сантиментально-моральными разглагольствованіями собственнаго изобрѣтенія, и у него вышла книжечка, опрятно и красиво напечатанная, хотя и со множествомъ ошибокъ противъ орѳографіи. О предметахъ такого рода, какъ брачное состояніе, разсматриваемое въ физическомъ отношеніи, должно или все говорить, или ничего не говорить: въ первомъ случаѣ книга можетъ быть полезна тѣмъ, для кого она писана, во второмъ случаѣ она будетъ бесполезна... Что касается до его нравственныхъ разсужденій—ихъ главная идея и цѣль состоитъ въ томъ, что всѣ должны жениться, и что безбрачное состояніе—страшный грѣхъ. Положимъ и такъ; но вотъ бѣда: г. Лебедевъ полагаетъ взаимную любовь необходимымъ условіемъ брака, а вѣдь любовь есть чувство, независящее отъ воли человѣка, и никто не можетъ сказать себѣ: «дай ка влюблюсь вотъ въ эту, или вонъ въ ту», и потому иному во всю жизнь не придется ни разу влюбиться, тогда какъ другой успѣетъ, въ продолженіе своей жизни, влюбиться нѣсколько разъ; какъ же тутъ быть?—неужели жениться безъ любви?... Этотъ вопросъ г. В. Лебедевъ оставилъ безъ отвѣта, вѣроятно, потому именно, что это одинъ

изъ тѣхъ вопросовъ, на которые отвѣчать трудненько. За то предусмотрительный г. В. Лебедевъ коснулся другаго вопроса, неменѣе важнаго — вопроса о приданомъ. Вотъ это дѣло! но какъ рѣшаетъ онъ этотъ вопросъ?—Онъ говоритъ, что всѣ мужчины ожидаютъ себѣ непремѣнно счастье отъ большаго приданаго, и всѣ, по большей части, жестоко обманываются въ этошъ... Важная новость, великое открытіе—нечего сказать! Да кто жъ этого не зналъ и безъ вашей книжки, г. В. Лебедевъ? Право, люди не такъ глупы, чтобы не знать, что дважды два—четыре... Дѣйствительно, въ приданомъ не блаженство, но въ немъ—независимость отъ нуждъ жизни, застрахованіе отъ позора нищеты и голодной смерти. Любовь—дѣло хорошее, но бракъ по любви съ нищетою, вмѣсто приданаго, — дѣло глупое и не совсѣмъ нравственное: чтò хорошаго умножать собою число нищихъ и подвергать любимую женщину всѣмъ униженіямъ и всѣмъ бѣдствіямъ нищеты?... Вотъ, еслибы вы, г. В. Лебедевъ, взяли на себя трудъ разрѣшить великую политико-экономическую задачу современнаго міра: какъ быть сытымъ и одѣтымъ, не лишеннымъ необходимыхъ удобствъ жизни, не получивъ отъ родителей хорошаго наслѣдства и не наворовавъ при «тепленькомъ мѣстечкѣ»

Индѣекъ малую толику,—

это другое дѣло; можетъ-быть, многіе съ вами и не согласились бы, за то все-таки остались бы вамъ благодарны хоть за доброе намѣреніе... А то, право, нѣкоторые сочинители считаютъ себя ужасно глубокомысленными, если съ важностію скажутъ, что мужъ долженъ любить жену, а жена мужа, и т. п. Да кто жъ этого не знаетъ, и кто жъ это исполняетъ?...

На 75 стр. своей книжонки г. Лебедевъ говорить:

«Приданое за женою есть величайшее зло, влекущее за собою развращеніе нравовъ—во первыхъ, потому: что приданое есть (бываетъ?) главною причиною, что множество мужчинъ остается на всю жизнь

холостыми, а дѣвцы вѣчными невѣстами; во вторыхъ, государство отъ безбрачности гражданъ лишается приращенія въ народонаселеніи — и въ третьихъ, гдѣ болѣе безбрачности, тамъ болѣе разврата и преступленій».

Первое и третіе справедливо; но отъ безбрачности не уменьшается народонаселеніе—развѣ увеличивается число несчастныхъ созданій, отъ рожденія осужденныхъ на горе и презрѣніе. Г. В. Лебедевъ очень сожалѣтъ, что не разъ предполагаемое въ Сѣверо-Американскихъ Штатахъ намѣреніе обложить податью всѣхъ неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ отъ роду, не состоялось; послѣ этого, г. В. Лебедеву остается сожалѣтъ и о томъ, что неженатыхъ старѣе тридцати лѣтъ не вѣшаютъ... Онъ не понимаетъ того, что внѣшнія побудительныя мѣры, какъ бы онѣ сильны ни были, ни къ чему не ведутъ въ такихъ важныхъ общественныхъ вопросахъ. Русскихъ мужиковъ не приневоливаютъ жениться, а они, между тѣмъ, преусердно женятся: это оттого, что, женись и приобрѣтая въ женѣ хозяйку и работницу, мужикъ утверждаетъ свое внѣшнее благосостояніе, а не рискуетъ лишиться его. Когда и въ другихъ сословіяхъ (разумѣется, сообразно съ условіями ихъ быта и образованности) жениться будетъ выгодиѣе и удобнѣе, нежели остаться въ одиночествѣ, — тогда и въ другихъ сословіяхъ всѣ будутъ жениться, безъ всякихъ денежныхъ пеней и другихъ внѣшнихъ понужденій. А безъ того — всякій скорѣе отдастъ послѣднее для уплаты штрафа, чѣмъ женится: вѣдь лучше дать отрубить себѣ палець, чѣмъ голову...

Теперь спѣшимъ выписать единственныя дѣльныя строки во всей книжкѣ г. В. Лебедева:

«Мужчины въ безбрачномъ состояніи живутъ въ обществахъ явно безъ (*соблюденія*) всякаго цѣломудрія, не считая это не только за порокъ, но и не ставя ни себѣ, ни другимъ въ осужденіе; женщинамъ же вѣняютъ въ предосужденіе самое малѣйшее кокетство. Что это несправедливо, въ этомъ согласится каждый благонамѣренный человекъ».

Соглашаемся: ибо мы убѣждены, что право грѣха и преступленія или равно не принадлежать ни тому, ни другому полу, или равно принадлежить и тому и другому. Разумѣется, первое вѣроятнѣе; но право силы и кулака присвоило мужскому полу и права грѣха и преступленія, не въ примѣръ женщинамъ...

«Мы считаемъ себя (продолжаетъ г. В. Лебедевъ) живущими въ самомъ просвѣщенномъ вѣкѣ — правда ли это?!... Что-то скажутъ объ насъ наши потомки чрезъ нѣсколько столѣтій, а судъ и приговоръ потомства справедливъ».

Правда, тысячу разъ правда!... Мы даже можетъ сказать г. В. Лебеву, что скажутъ о насъ потомки. Они скажутъ: «XIX вѣкъ, считавшій себя самымъ просвѣщеннымъ вѣкомъ, былъ только переходомъ къ истинно просвѣщеннымъ временамъ, ибо въ немъ, гордившемся своею разумностію и гуманностію, владычествовало еще варварство феодальныхъ временъ — чему немалымъ доказательствомъ можетъ служить даже и изданная въ 1843 году маленькая книжка г. В. Лебедева, подъ названіемъ: «Супружеская истина, въ нравственномъ и физическомъ отношеніяхъ»...

СОЧИНЕНІЯ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ. *Четыре тома. Спб. 1842.*

Въ литературномъ отношеніи, нельзя было блистательнѣе заключиться старому году и начаться новому, какъ выходомъ сочиненій Гоголя. Дай Богъ, чтобъ это было счастливымъ предзнаменованіемъ для новаго года — чтобъ мы увидѣли, въ теченіе его, не однѣ тетрадки и выпуски съ картинками, не однѣ сказки, досуею посредственностью изготовляемыя во множествѣ по заказу литературныхъ антрепренёровъ!...

Намъ нѣтъ никакой нужды говорить о томъ, что содержать въ себѣ эти четыре тома: публика уже знаетъ это сама—четыре тома уже прочтены ею, по крайней мѣрѣ въ обѣихъ нашихъ столицахъ, если еще не успѣли они проникнуть въ глушь провинцій.

И такъ, исторія «Мертвыхъ Душъ» готова повториться: публика читаетъ журналы въ хлопотахъ, особенно тѣ, которымъ такъ не по сердцу произведенія Гоголя... ихъ успѣхъ, хотѣли мы сказать. «Сѣверная Пчела» уже подала голосъ, но она хвалитъ Гоголя (№ 18): «Мы думаемъ, говорить она, что для г. Гоголя вовсе не будетъ униженіемъ, когда мы его поставимъ на одну доску съ Поль-де-Кокомъ и Пиго-Лебрёномъ, писателями талантливыми; но не имѣвшими претензій на поэзію и философію». Увы! мы, съ своей стороны, не можемъ поставить автора этихъ строкъ на одну доску ни съ Поль-де-Кокомъ, ни съ Пиго-Лебрёномъ; — именно потому, что они писатели талантливые, и неимѣвшіе притязанія на поэзію и философію... А «Сѣверная Пчела»—надо отдать ей въ этомъ честь,—не имѣя притязаній ни на талантъ, ни на поэзію, сильно претендуетъ на философію, особенно когда хлопочетъ объ участи нечитаемыхъ ею, по ея словамъ, «Отечественныхъ Записокъ»: вотъ и теперь, она трунитъ, сколько хватаетъ ея остроумія, какъ надъ образцомъ нелѣпости и бессмыслія, надъ этимъ стихомъ Гёте изъ второй части его «Фауста»:

In deinem Nichts hof ich All zu finden.

Ну ужь конечно, если эта газета можетъ въ «Фаустѣ» Гёте находить бессмыслицы и нелѣпицы, то что для нея произведенія Гоголя, что его поэзія и философія: довольно съ него и того, если эта газета поставитъ его на одну доску съ Поль-де-Кокомъ и Пиго Лебрёномъ... Жаль, что Гоголь никогда не узнаетъ объ этомъ «производствѣ», и потому не

будеть имѣть возможности поблагодарить «Сѣверную Пчелу». . .
свойственнымъ ему образомъ...

Но пора отвернуться хоть на время отъ шумнаго рынка
этой литературы: наше вниманіе зоветъ теперь къ себѣ,
то, что составляетъ въ настоящую минуту гордость и честь
русской литературы—четыре тома сочиненій Гоголя...

«Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки», которыми началось
поэтическое поприще Гоголя, и которые теперь въ третій
разъ выходятъ въ свѣтъ, оставлены авторомъ безъ всякихъ
измѣненій. Такъ и должно было быть: порожденія легкой,
свѣтлой, юношеской фантазіи, веселыя пѣсни на пиру еще
неизвѣданной жизни, они не могли подвергнуться измѣненіямъ
поэта, который уже давно смотритъ на жизнь взоромъ глу-
бокимъ, пронзительнымъ и грустно-важнымъ. Для самаго по-
эта, эти образы, свѣтлые, какъ майская ночь его Малорос-
сіи, радостные, какъ звучный смѣхъ его Оксаны, шаловли-
вые, какъ затѣи неугомонныхъ парубковъ, товарищей уда-
лаго Левко, сладостно задумчивые, какъ, свѣтлоокая нан-
ночка-утопленница, добродушно насмѣшливые, какъ вѣчно ве-
селая юность, всѣ эти образы навсегда остались милы по-
эту, какъ первый поцѣлуй любви, какъ шипучая пѣна впер-
вые осушеннаго бокала, какъ память о волшебныхъ дняхъ
безпечно блаженнаго младенчества... Онъ самъ говоритъ въ
предисловіи: «Всю первую часть слѣдовало бы исключить во-
все: это первоначальные ученическіе опыты, недостойные
строгаго вниманія читателя; но при нихъ чувствовались пер-
вые сладкія минуты молодаго вдохновенія, и мнѣ стало жалко
исключить изъ памяти первыя игры невозвратной юности.
Снисходительный читатель можетъ пропустить весь первый
томъ и начать чтеніе со втораго». Такъ говоритъ поэтъ,—
и онъ имѣетъ полное право простирать свою строгость къ
самому себѣ за предѣлы умѣренности и справедливости; но
публика тоже права, не соглашаясь съ нимъ. Всякій періодъ
жизни человѣческой прекрасенъ и долженъ имѣть свои пѣсни

и своихъ пѣвцовъ: «Вечера на Хуторѣ» есть одна изъ такихъ вѣчно звучныхъ пѣсенъ юности, которыхъ цѣль и значеніе — вновь возвращать на волшебное мгновеніе самой старости невозвратно улетѣвшую юность...

Во второй части, заключающей въ себѣ «Миргородъ», подверглись значительнымъ измѣненіямъ повѣсти: «Тарасъ Бульба» и «Вій». Первая, вслѣдствіе этихъ измѣненій сдѣлалась вдвое обширнѣе и безконечно прекраснѣе. Поэтъ чувствовалъ, что въ первомъ изданіи «Тараса Бульбы» на многое только намекнуто, и что многія струны исторической жизни Малороссіи остались въ немъ нетронутыми. Какъ великій поэтъ и художникъ, вѣрный однажды избранной идеѣ, пѣвецъ Бульбы не прибавилъ къ своей поэмѣ ничего такого, что было бы чуждо ей, но только развилъ многія уже заключавшіяся въ ея основной идеѣ подробности. Онъ изчерпалъ въ ней всю жизнь исторической Малороссіи, и въ дивномъ, художественномъ созданіи навсегда запечатлѣлъ ея духовный образъ: такъ ваятель уловляетъ въ мраморѣ черты челоуѣка и даетъ имъ безсмертную жизнь... Особенно замѣчательны подробности битвы Малороссіянъ съ Поляками подъ городомъ Дубно, и эпизодъ любви Андрія къ прекрасной Полькѣ. Вся поэма приняла еще болѣе возвышенный тонъ, проникнула лиризмомъ. Впрочемъ, сужденіе объ этомъ — смѣло можемъ сказать — великомъ созданіи, завело бы насъ далеко, — чего не позволяетъ намъ ни мѣсто, ни время, и потому пока отлагаемъ его. Повѣсть «Вій» черезъ измѣненіи сдѣлалась много лучше противъ прежняго, но и теперь она болѣе блеститъ удивительными подробностями, чѣмъ своею цѣлостію. Недостатки ея значительно сгладились; но цѣлаго попрежнему нѣтъ. «Старосвѣтскіе Помѣщики» и «Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» остались совершенно безъ измѣненій: очевидно, эти два превосходныя произведенія такъ хорошо вырѣли въ душѣ, что могли съ разу явиться во всей опредѣ-

ленности своей идеи, во всей полнотѣ своей художественной жизни.

Къ такимъ же зрѣло художественнымъ и отчетливо концепированнымъ произведеніямъ принадлежитъ и «Невскій Проспектъ», которымъ начинается третья часть; только эта повѣсть, по своему содержанію, далеко глубже и выше тѣхъ двухъ. «Носъ» — этотъ арабескъ, небрежно набросанный карандашомъ великаго мастера, значительно и къ лучшему измѣненъ въ своей развязкѣ. О «Портретѣ» и «Римѣ» публикѣ извѣстно наше мнѣніе, за которое одинъ журналъ недавно объявилъ насъ — «ругателями Гоголя»!!... Такова толпа: ей или хвали до насады груди, или унижай до послѣдней крайности; но не смѣй хвалить за одно и порицать за другое въ одно и то же время... Мнѣніе наше о «Портретѣ» и «Римѣ» остается то же, несмотря ни на чьи крики и клеветы, — и мы подробно разовьемъ это мнѣніе въ обѣщанной нами большой статьѣ о сочиненіяхъ Гоголя. «Коляска» — мастерской юмористической очеркъ, въ которомъ больше поэтической жизни и истины, чѣмъ во многихъ пудахъ романовъ многихъ нашихъ романистовъ, — и «Записки Сумасшедшаго» — одно изъ глубочайшихъ произведеній Гоголя, также остались безъ перемѣны. «Шинель» есть новое произведение, отличающееся глубиною идеи и чувства, зрѣлости художественнаго рѣзца.

Въ четвертомъ томѣ очень много новаго, и мы особенно рады, что изъ него даже петербургская публика познакомится съ новою комедіею (впрочемъ, еще прежде «Ревизора» написанною) Гоголя — «Женитьба, совершенно невѣроятное событіе въ двухъ дѣйствіяхъ». Здѣсь, въ Петербургѣ она давалась на сценѣ; но тамъ мы не узнали ея, ибо нѣтъ ничего общаго между тѣмъ, что видѣли мы на сценѣ, и что читаемъ теперь въ книгѣ... Никого не обижая, ни на кого не жалуясь, мы кстати замѣтимъ здѣсь, что еще не пришло время у насъ для національнаго театра. Большая часть актѣ-

ровъ нашихъ смотреть на сценическое искусство, какъ на обязанность говорить то, чего не чувствуетъ... Это напоминаетъ намъ слова Гоголя, въ его письмѣ о представленіи «Ревизора»: «Вообще у насъ актёры совсѣмъ не умѣютъ лгать. Они воображаютъ, что лгать значить просто нести болтовню. Лгать значить говорить ложь тономъ столь близкимъ къ истинѣ, такъ естественно, такъ наивно, какъ можно говорить только одну истину, и здѣсь-то заключается именно все комическое жи». Точно также, прибавимъ мы отъ себя, большая часть нашихъ актёровъ не хочетъ понять, что искренность и наивность суть первыя условія сценическаго искусства и комизма, и что, поэтому, смѣшить публику должно естественнымъ воспроизведеніемъ характера, созданнаго поэтомъ, а не утрированіемъ характера; ибо, какъ въ самой дѣйствительности, никто не станетъ выставять на видъ рѣзкія странности своего характера, чтобъ смѣшить ими другихъ, но каждый тѣмъ и смѣшонъ, что и не подозреваетъ своей смѣшной стороны, такъ и въ сценическомъ искусствѣ—этомъ зеркалѣ дѣйствительности— актёръ долженъ забыть, что онъ играетъ смѣшную роль и помнить только, что онъ представляетъ характеръ, изъ природы и дѣйствительности взятый. Конечно, смѣхъ публики есть награда комическому актёру, но онъ долженъ возбуждать этотъ смѣхъ естественнымъ выполненіемъ представляемаго имъ характера, а не явнымъ желаніемъ, во что бы то ни стало, возбуждать смѣхъ— не рѣзкими движеніями, не уродливымъ костюмомъ... Кстати о костюмахъ: вотъ что говоритъ Гоголь, въ своемъ письмѣ, о выполненіи роли Бобчинскаго и Добчинскаго: «За то, оба наши пріятели, Бобчинскій и Добчинскій, вышли сверхъ ожиданія дурны. Хотя я и думалъ, что они будутъ дурны, ибо, создавая этихъ двухъ маленькихъ чиновниковъ, я воображалъ въ ихъ кожѣ Щепкина и Рязанцова, но все-таки я думалъ, что ихъ наружность и положеніе, въ которомъ они находятся, какъ-нибудь вынесутъ ихъ и не такъ обкарикатурятъ. Сдѣ-

лалось напротивъ: вышла именно карикатура. Уже передъ началомъ представленія, увидѣвши ихъ костюмированными, я ахнулъ. Эти два человѣка въ существѣ своемъ довольно опрятные, толстенькіе съ прилично приглаженными волосами, очутились въ какихъ-то нескладныхъ, превысокихъ сѣдыхъ парикахъ, всключенные, неопрятные, взъерошенные, съ выдернутыми огромными манишками; а на сценѣ оказались до такой степени кривляками, что, просто, было невыносимо.

«Игроки» — цѣлая комедія, по концепціи и выполненію вполнѣ достойная имени своего автора. Сцены: «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывокъ» — живыя картины разныхъ слоевъ и сферъ русскаго общества. Но выше ихъ «Театральный Разъѣздъ послѣ перваго представленія комедіи»: въ этой пьесѣ, поражающей мастерствомъ изложенія, Гоголь является столько же мыслителемъ-эстетикомъ, глубоко постигающимъ законы искусства, которому онъ служить съ такою славой, сколько поэтомъ и соціальнымъ писателемъ. Эта пьеса есть какъ-бы журнальная статья въ поэтически-драматической формѣ, — дѣло, возможное для одного Гоголя! Въ пьесѣ этой содержится глубоко сознанныя теорія общественной комедіи и удовлетворительные отвѣты на всѣ вопросы, или, лучше сказать, на всѣ нападки, возбужденныя «Ревизоромъ» и другими произведеніями автора. Разобрать это превосходное произведеніе нельзя, не дѣлая изъ него выписокъ, а дѣлать изъ него выписки тоже нельзя, по двумъ причинамъ: по невозможности выбора прекраснаго изъ равно прекраснаго, и еще потому, что вся пьеса проникнута такимъ единствомъ мысли, развитой и изложенной такъ логически и послѣдовательно (несмотря на поэтически-драматическую форму), что надобно было бы переписать ее всю отъ начала до конца...

БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ. Данте Алигьери. Адъ. Съ очерками Флаксмана и итальянскимъ текстомъ. Переводъ съ итальянскаго Ѳ. Фанъ-Дима. Спб.

Вотъ трудъ и предпріятіе, которыхъ нельзя не одобрить, особенно если выполняются хорошо. Данте—это Гомеръ не одной Италіи, но и всей католической Европы среднихъ вѣковъ. Поэтому не должно удивляться ни тому, что Беатриче—героиня поэмы, есть не что иное, какъ аллегорическій образъ богословія, ни тому, что языческій поэтъ *Виргилій* сопровождаетъ въ христіанско-языческомъ аду христіанскаго поэта. Данте особенно не посчастливилось на Руси: его никто не переводилъ, и о немъ всѣхъ меньше толковали у насъ, тогда какъ это одинъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Г. Фанъ-Димъ заслуживаетъ величайшую благодарность за прекрасное и благое намѣреніе познакомить въ прозаическомъ переводѣ русскую публику съ совершенно незнакомымъ ей поэтомъ. Мы находимъ достойнымъ похвалы и мысль переводчика — переводить Данте не стихами (для чего требовался бы огромный поэтический талантъ), а прозою, гдѣ главное достоинство—буквальная близость и вѣрность, безъ насилія русскому языку и безъ ущерба плавности и правильности слога. При такомъ переводѣ и подлинникъ *texte en regard* дѣло очень и очень не лишнее. По выходѣ всего перевода, мы скажемъ больше о «Божественной Комедіи».

Не понимаемъ, къ чему и для чего приложено къ этому первому выпуску перевода (заключающему въ себѣ пять пѣсень поэмы) какое-то введеніе съ біографіею Данте, какого-то г. Струкова, гдѣ безъ толку толкуется о двойственности природы челоуѣка, влекущей его то къ небу, то къ землѣ, объ эпопее, какъ «разсказанной драмѣ», и тому подобныхъ чудесахъ, доказывающихъ въ сочинителѣ неумѣніе мыслить и незнаніе того, о чемъ хочется ему резонёрствовать...

ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ И ПЕРЕВОДЫ Н. А. ПОЛЕВАГО. *Часть третья.* Гамлетъ. — Уголино. Спб. 1843.

Мы уже говорили о первыхъ двухъ частяхъ драматическихъ «представленій» г. Полеваго (ч. VI, стр. 465); но вышедшая теперь третья часть ихъ вновь приводитъ насъ въ раздумье о драматическомъ поприщѣ этого Шекспира Александринскаго театра, и потому намъ слѣдовало бы опять поговорить о немъ; но, не желая повторять уже однажды сказаннаго нами, и умѣя отдавать должную справедливость основательнымъ и хорошо изложеннымъ мнѣніямъ, кому бы ни принадлежали они,—мы выписываемъ здѣсь изъ первой книжки «Москвитянина» 1843 года (стр. 295—298), сужденія этого журнала о патріотическихъ драмахъ г. Полеваго,—въ полной увѣренности, что всѣ порядочные люди такъ же безусловно согласятся съ этимъ сужденіемъ, какъ мы съ нимъ согласились.

«Всѣ драмы г. Полеваго, имѣвшія успѣхъ; доказываютъ, что у насъ всякое произведеніе, вовсе чуждое художественнаго достоинства, но основанное на патріотическомъ чувствѣ будетъ всегда имѣть успѣхъ въ нашей публикѣ. Зрители, смотря на такую драму, рукоплещутъ не пьесѣ, не автору, а своимъ собственнымъ чувствамъ, которыя въ нихъ затронуты, а затронуть ихъ въ русскомъ народѣ не много надобно искусства. Писатели съ огромнымъ талантомъ не посягаютъ на изображеніе такихъ высокихъ чувствъ, боясь уронить ихъ недостаткомъ силъ въ искусствѣ или вызвать незаслуженное ими рукоплесканіе; писатели безъ надежды на свой талантъ не смотрятъ на то и, во что бы ни было, хотятъ снискать одобреніе.

«Патріотическая драма, угождающая вкусу народа и любимымъ его чувствамъ у насъ не переводилась. Вспомнимъ *Великодушіе, Рекрутскій Наборъ* Ильина, *За Богомъ Молитва, а за Царемъ служба не пропадаетъ* Иванова. Князь Шаховской умножилъ также этотъ репертуаръ, особенно воспоминаніями двѣнадцатаго года. Г. Полевой, спомнившій дѣйствіе, какое эти драмы произвели на публику, возобновилъ этотъ родъ во всѣхъ его подробностяхъ, съ тѣми же достоинствами и недостатками. Лица его цѣлкомъ берутся изъ прежнихъ

драмъ, выкроенныя по той же мѣрѣ и говорятъ тѣмъ же самымъ языкомъ.

«Доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія о драмѣ г. Полеваго, что она успѣхомъ своимъ обязана чувствамъ патріотическимъ, а не своему литературному достоинству, можетъ служить одна изъ напечатанныхъ теперь пьесъ — *Солдатское Сердце, или Бываки въ Саволахъ*. Въ ней выведено событіе изъ жизни г. Булгарина, какъ сознается самъ авторъ, хотѣвшій послѣ патріотическихъ драмъ прославить и добрый подвигъ своего искренняго друга. Драма упала, по признанію самого же автора. Какая была этому причина? На афишкѣ не было объявлено, что драма представляетъ подвигъ изъ военной жизни г. Булгарина; да еслибы и было объявлено, то публика петербургская такъ любитъ г. Булгарина, какъ онъ самъ насъ не рѣдко въ томъ увѣряетъ, что подобное объявленіе, конечно, *не повредило бы успѣху пьесы*. Враги же его, вѣрно, не такъ ужъ сильны, чтобы могли составить заговоръ противъ его драматической апоэозы, написанной, въ знакъ дружбы, г. Полевымъ. Нѣтъ, причина не въ томъ. Въ драмѣ выведено событіе изъ простой жизни частнаго человека, ужъ безъ всякихъ патріотическихъ чувствъ, безъ громкихъ или завлекательныхъ именъ Державина, Хемницера, Сумарокова... тутъ требовалось одно простое искусство, безъ всякой помощи посторонней, и драма упала, потому что искусства не было.

«Когда нѣтъ у автора въ запасъ патріотическихъ чувствъ, чтобы привлечь нашу публику, то онъ прибѣгаетъ къ извѣстнымъ историческимъ именамъ нашей литературы, выводитъ безъ всякаго угрызенія совѣсти Державина, Хемницера, или уродуетъ Тредьяковскаго, Сумарокова, вызываетъ рукоплесканія себѣ громкими стихами нашего лирика, или баснями Хемницера, или заставляетъ смѣяться на счетъ дурныхъ стиховъ Тредьяковскаго, уродливо прочтенныхъ актеромъ, — или пародируетъ между Триссотиномъ и Вадіусомъ, замѣнивъ ихъ именами Сумарокова и Тредьяковскаго... Мотивы все не новые, давно употребленные княземъ Шаховскимъ и другими... Только жаль, что тутъ вѣдываются имена такіа, которыми мы должны дорожить и которыя надобно выводить осторожно... Не пріятно же слышать, какъ Державинъ и Хемницеръ, на перерывъ другъ передъ другомъ, хвастаются своими стихами на глазахъ всей публики.

«Друзья г. Полеваго, говоря объ его драмахъ, всегда прибавляютъ: «еслибы г. Полевой не писалъ для сцены, что было бы съ русскимъ театромъ?» Весьма достойно замѣчанія, какъ г. Полевой, владѣющій умомъ смѣтливымъ и оборотливымъ, являлся всегда тамъ, гдѣ совершалось паденіе какого-нибудь рода словесности... Упали журналы въ

Москва и Петербургъ и состарѣвшіеся лѣтливо мѣняли свои страницы... Г. Полевой явился кстати съ своимъ Телеграфомъ... Умеръ Карамзинъ, не завѣщавъ никому историческаго пера своего... Г. Полевой тутъ какъ тутъ съ Исторіею Русскаго Народа... Упала русская драма на нашей сценѣ. Дѣятельный и остроумный князь Шаховской сходитъ съ нея съ безконечнымъ роємъ своихъ произведеній. Г. Кукольникъ дѣлаетъ трагическія усилія, чтобы поддержать нашу Мельпомену, но и тотъ покидаетъ роль драматика. Сцена почти пуста и живетъ только передѣлками съ французскаго... Г. Полевой и тутъ поспѣваетъ и строитъ какую-нибудь драму изъ обломковъ патристической драмы Ильина и Федорова, изъ прежнихъ мотивовъ князя Шаховскаго, изъ ужасовъ неистовой мелодрамы французской, воспроизведенной имъ въ Уголино, изъ прежнихъ дѣтскихъ своихъ воспоминаній о драмѣ Коцебу, съ примѣсью нѣкоторыхъ новыхъ изъ Дюма, Гюго, Шиллера, Шекспира, а иногда изъ оперъ, какъ, на примѣръ: Фрейшица, и проч. Вотъ происхожденіе драмы г. Полеваго... Это постный ужинъ, который хозяинъ дома, за неимѣніемъ свѣжей провизіи, на скорую руку составляетъ изъ оставшихся объѣдковъ отъ своей обѣденной трапезы и предлагаетъ неожиданно навѣхавшимъ гостямъ... Они и тому рады, по извѣстной пословицѣ русскаго хлѣбосольства о безрыбьѣ»...

Ничего не можетъ быть справедливѣе и безпристрастнѣе этого сужденія, такъ замысловато и остро высказаннаго! Есть истины до того очевидныя и неопровержимыя, что въ нихъ не могутъ не соглашаться люди самыхъ противоположныхъ характеровъ, самыхъ несходныхъ убѣжденій и науравленій, словомъ, люди, которымъ какъ-будто назначено ни въ чемъ не соглашаться другъ съ другомъ. Такова, на примѣръ, истина сужденія «Москвитянина» о патристическихъ и всякихъ другихъ «представленіяхъ» г. Полеваго: мы, ни въ чемъ не согласные съ «Москвитяниномъ», признаемъ его мнѣніе о драмахъ г. Полеваго неоспоримо истиннымъ, — и думаемъ, что если самъ г. Булгаринъ, сей искренній другъ г. Полеваго, не согласится теперь съ этимъ мнѣніемъ, то развѣ по какимъ-нибудь непредвидѣннымъ обстоятельствамъ настоящей минуты... Что же касается до мнѣнія «Москвитянина» объ изворотливой и сметливой литературной дѣятельности г. По-

леваго, всегда поспѣшающей строить и созидать на развалинахъ падшихъ зданій, изъ мусорныхъ матеріаловъ самыхъ этихъ развалинъ, — то это мнѣніе, съ которымъ мы безусловно согласны, еще прежде «Москвитянина» высказано самимъ г. Булгаринымъ, съ которымъ мы тогда же въ этомъ согласились. А было это, помнится, еще въ 1839 году, и «Отечественныя Записки» въ свое время сообщили публикѣ этотъ любопытный фактъ безпристрастія г. Булгарина въ дѣлѣ литературнаго сужденія о другѣ; но какъ повтореніе основательныхъ мнѣній, чьи бы они ни были, служить къ ихъ распространенію и утвержденію, то мы вновь сообщимъ читателямъ интересное мнѣніе г. Булгарина, — тѣмъ болѣе, что это нужно намъ, въ настоящемъ случаѣ, для доказательства единодушнаго согласія всѣхъ и cadaго въ дѣлѣ слишкомъ очевидныхъ истинъ:

«Почтенный Н. А. Полевой пишетъ, какъ говорятъ, полосами. О чемъ рѣчь въ публикѣ, за то принимается почтенный Н. А. Полевой. Была эпоха журналовъ, Н. А. издавалъ журналъ; была мода на Шеллингову философію и политическую экономію—онъ писалъ о философіи и политической экономіи. Настала мода на романы, — онъ сталъ писать романы. Альманахи явели въ моду оригинальныя повѣсти — Н. А. сталъ писать повѣсти. Заговорили объ исторіи, — вотъ есть и исторія; наконецъ, вкусъ высшаго сословія и публики явно обратился къ театру, и Н. А. Полевой пишетъ трагедіи, драмы, драматическія представленія, драматическія были и водевили. Пишетъ онъ такъ много, что мы не можемъ постигнуть, когда онъ выбиралъ время, чтобы читать и учиться! Н. А. Полевой человекъ умный и удивительно смысленый. Онъ не можетъ написать ничего рѣшительно дурнаго, а между тѣмъ написалъ онъ много хорошаго. Что онъ напишетъ; во всемъ пробивается то талантъ, то смѣтливость, то ловкое подражаніе, и все приковано къ понятіямъ большинства. Невозможно быть безпристрастнѣе насъ къ Н. А. Полевому и, не взирая на прошедшее, мы всегда отдаемъ справедливость его таланту, уму, трудолюбію, а больше всего его смѣтливости, въ которой онъ не имѣетъ равнаго въ нашей литературѣ».

Совершенная правда! Такъ какъ пришлось къ слову, замѣтимъ тутъ же, что этою, дѣйствительно, удивленія достой-

ною сметливостью обладает, между русскими литераторами, не одинъ г. Полевой: отдавая ему полную справедливость, мы не должны же быть несправедливы и къ г. Булгарину, тоже обладающему замѣчательнымъ талантомъ въ этомъ родѣ. Вся разница въ характерѣ таланта: г. Полевой больше устремляется, какъ справедливо замѣчаетъ «Москвитянинъ», туда, гдѣ совершилось паденіе какого-нибудь рода словесности; г. Булгаринъ, напротивъ, является неожиданно большею частію послѣ какого-нибудь успѣха посредствомъ литературнаго оборота. Въ то время, какъ мода на альманахи заставляла г. Полеваго писать повѣсти,—ихъ писалъ и г. Булгаринъ: успѣхъ альманаховъ заставилъ г. Булгарина издать «Талию»; удачная подписка на неконченную доселѣ «Исторію Русскаго Народа» имѣла своимъ слѣдствіемъ неудачную и тоже не конченную «Россію» г. Булгарина; успѣхъ «Посредника» родилъ «Эконома»; успѣхъ «Нашихъ» произвелъ «Картинки Русскихъ Нравовъ»; политипажная исторія Суворова г. Полеваго породила «Романтическія Сцены изъ Жизни Суворова» съ политипажами же, которые, говоритъ г. Булгаринъ, скоро явятся въ свѣтъ; успѣхъ драматическихъ «представленій» г. Полеваго на Александринскомъ театрѣ породилъ неуспѣшную, впрочемъ, «Шкуну Ньюкарлеби». Подражая всему успѣшному, г. Булгаринъ иногда огорчается, если видитъ, что задуманное имъ «успѣшное» упреждается чужимъ «успѣшнымъ», особенно «успѣшнѣйшимъ». Такъ, напримѣръ, «Юрій Милославскій» упредилъ выходомъ «Димитрія Самозванца» — и за то навлекъ на себя довольно грозную критику въ «Сѣверной Пчелѣ». Равнымъ образомъ г. Булгаринъ не любитъ совмѣстничества: просимъ читателей вспомнить извѣстную исторію о капустныхъ кочерыжкахъ...

Возвратимся къ «представленіямъ» г. Полеваго, въ изданномъ нынѣ третьемъ ихъ томѣ.

Этотъ третій томъ содержитъ въ себѣ «Гамлета»—драматическое представленіе Вилліама Шекспира—и «Уголино»—

драматическое представлѣніе Николая Полеваго. Хотя «Гамлетъ» только переводъ г. Полеваго, но и его можно счесть за сочиненіе, ибо сущность всякаго произведенія составляетъ его духъ, а въ переведенномъ г-мъ Полевымъ «Гамлетѣ» Шекспира нѣтъ нисколько Шекспировскаго духа: переводчикъ замѣнилъ его собственнымъ своимъ. Поэтому, «Гамлетъ» такъ же точно есть сочиненіе г. Полеваго, какъ и «Уголино»: въ обоихъ одинъ духъ, одна манера, и если Шекспиръ болѣе или менѣе виноватъ въ «Гамлетѣ» г. Полеваго, то онъ же болѣе или менѣе виноватъ и въ «Уголино»; ибо въ какомъ отношеніи находится «Гамлетъ» г. Полеваго къ «Гамлету» Шекспира, въ такомъ же точно отношеніи находится «Уголино» г. Полеваго къ «Ромео и Юліи» Шекспира... Многіе считаютъ это отношеніе весьма похожимъ на отношеніе пародіи къ оригиналу... Мы сказали, что сущность всякаго произведенія заключается въ его духъ, и потому должны характеризовать духъ «Гамлета» и «Уголино». Съ этой точки зрѣнія, оба эти произведенія чрезвычайно интересны, потому что оба они — родовыя, типическія явленія въ области русской литературы.

Иныя слова, по особеннымъ обстоятельствамъ, получаютъ въ послѣдствіи совсѣмъ другое значеніе, нежели какое имѣли вначалѣ и какое назначила имъ выразить этимологія языка. Такъ, напримѣръ, русское слово «чувствительный» сперва означало человѣка съ чувствомъ, съ душою; слѣдовательно, оно имѣло похвальное значеніе. Но сентиментальность, овладѣвшая нашею литературою и нашимъ обществомъ въ концѣ прошлаго и началѣ текущаго столѣтія, дала слову «чувствительный» ироническое значеніе, такъ что теперь говорятъ «человѣкъ съ чувствомъ» и уже не говорятъ «чувствительный человѣкъ», ибо послѣднее означаетъ слезливаго воздыхателя, аркадскаго пастушка въ соломенной шляпѣ, съ розовыми лентами на груди, — лицо, нѣкогда извѣстное въ русской литературѣ подъ именемъ Эраста Чертополохова. Такимъ

же точно образомъ у Нѣмцевъ выраженіе «прекрасная душа» (schöne Seele) и происшедшее отъ него неловкое въ русскомъ переводѣ слово «прекраснодушіе» (Schönseeligkeit), получили, въ послѣднее время, совершенно противоположное значеніе. Слово «прекрасная душа» у Нѣмцевъ выражаетъ собою понятіе о тѣхъ слабыхъ и поверхностныхъ характерахъ, которые исполнены энтузіазма ко всему высокому и прекрасному, но которые никогда не могутъ понять хорошенько, въ чемъ состоитъ и чтò такое это «высокое» и «прекрасное», отъ котораго они всегда въ такомъ восторгѣ. Сердце у этихъ людей, дѣйствительно, доброе, ума въ нихъ также отрицать нельзя; но они лишены всякаго такта дѣйствительности. Они узнаютъ высокое и прекрасное только въ книгѣ, и то не всегда; въ жизни же и въ дѣйствительности, они никогда не узнаютъ ни того, ни другаго, и отъ этого скоро во всемъ разочаровываются (любимое ихъ словцо!), холодѣютъ душою, старѣются во цвѣтѣ лѣтъ, останавливаются на полудорогѣ и оканчиваютъ тѣмъ, что или (и это по большей части) примиряются съ дѣйствительностію, какова бы она ни была, т. е. съ облаковъ прямо падаютъ въ грязь; или дѣлаются мистиками, мизантропами, лунатиками, сомнамбулами. Обыкновенно, они смѣшны и жалки въ томъ и другомъ случаѣ; но въ первомъ, они бываютъ иногда ужъ и не жалки, а скорѣе страшны своимъ примиреніемъ съ дѣйствительностію... Не разочаровываться имъ невозможно, ибо у нихъ идеаль не имѣетъ ничего общаго съ дѣйствительностію и неспособенъ къ осуществленію на дѣлѣ. Если этотъ идеаль—дѣва, то непремѣнно неземная, которая не ѣсть, не пьетъ и не хвораетъ, питаясь одними высокими чувствами, любовью, восторгомъ, вдохновеніемъ, и пр. И потому, въ дѣвахъ они наиболѣе разочаровываются: неспособные понять и оцѣнить ничего, чтò просто, безъ претензій и безъ эффектовъ прекрасно, они всего чаще привязываются къ ничтожнымъ созданіямъ и умножаютъ число несчастныхъ браковъ по страсти. Если этотъ идеаль—другъ,

то горе ему: самолюбіе—болѣзнь «прекрасныхъ душъ»—потребуется отъ него, чтобъ онъ отказался отъ себя и безпрестанно любовался прекрасными чувствами и словами своего друга, страдалъ бы его страданіями, радовался его радостями, а о себѣ не думалъ бы вовсе; въ противномъ случаѣ, онъ—эгоистъ, холодная душа «разочарователь». Идеаль блаженства любви «прекрасныхъ душъ»—пустыня вдали отъ людей, природа, прогулки при лунѣ, вздохи, поцѣлуи и—больше всего—совершенное бездѣйствіе. Они вѣчно стремятся туда, а здѣсь недовольны всѣмъ: люди ихъ не понимаютъ, жизнь для нихъ пошла, ибо въ ней нужны и деньги, и пища, и одежда, необходимы горе и трудъ. Труда они не любятъ въ особенности: въ немъ такъ много прозы, а они хотятъ дышать одною поэзіею.

Но чтобы сдѣлать вѣрный очеркъ того, что Нѣмцы называютъ «прекрасною душою», нужна цѣлая статья. И такъ, удовольствуемся однимъ намекомъ: догадливые поймутъ насъ. У насъ были попытки ввести въ употребленіе слово «прекраснодушіе», которыя остались тщетными, и по справедливости: у Нѣмцевъ это слово получило такое значеніе черезъ развитіе самой общественности, такъ же, какъ у насъ слово «чувствительный». Мы думаемъ, что слова «романтикъ» и «мечтатель» довольно близко подходятъ подъ значеніе нѣмецкаго выраженія «прекрасная душа» (*schöne Seele*). Кто хочетъ познакомиться съ характерами и натурами романтиковъ мечтателей—тѣмъ рекомендуемъ изъ романовъ г. Полеваго «Аббадонну», а изъ повѣстей: въ особенности «Живописца», «Блаженство Безумія» и «Эмму»; это тонкіе, злые картины и очерки романтиковъ и мечтателей. Но всѣхъ ихъ выше—«Гамлетъ» и «Уголино»: это просто сатирическая апофеоза романтическихъ душъ и мечтательныхъ характеровъ. Мы не будемъ распространяться въ доказательствахъ: перечтите въ «Уголино» сцены любви между Нино и Вероникою,—и вы сами увидите, что улика на лицо. Одна уже мысль жить

въ пустынь аркадскими пастушками, занимаясь одною любовію—въ высшей степени «романтическая» и «мечтательная». Этотъ Нино съ своею Вероникою, просто — Маниловъ съ своею супругою; онъ держитъ въ рукѣ конфетку и говоритъ супругѣ: «Разинь, душенька, ротикъ, я тебѣ положу этотъ кусочекъ».

Что касается до «Гамлета», то достоинство его, какъ перевода, вполне оцѣнено великимъ знатокомъ Шекспира, покойнымъ профессоромъ Харьковскаго университета, И. Я. Кронебергомъ, и, въ другой статьѣ, сыномъ его, А. И. Кронебергомъ. Но нѣтъ худа безъ добра: изъ перевода вышло сочиненіе г. Полеваго, и это послужило къ успѣху піесы на нашей сценѣ, гдѣ Шекспиръ такъ какъ онъ есть (не обсахаренный и не разсыропленный) еще недоступенъ. Но за то, нѣкоторые потому только и прочли превосходный переводъ «Гамлета» г. Вронченко и поняли его, что видѣли на сценѣ «Гамлета» г. Полеваго... И то заслуга!

ПЕРЕВОДЧИКЪ ИЛИ СТО ОДНА ПОВѢСТЬ И СОРОКЪ СОРОКОВЪ АНЕКДОТОВЪ, древнихъ, новыхъ и современныхъ; мыслей, правилъ, сужденій, мнѣній, и пр., подвиговъ, храбрости, добродѣтели, ума, глупости, простодушія, и пр. острыхъ словъ, выражений, эпиграммъ, каламбуровъ, и пр. Характеристическихъ очерковъ, портретовъ, и пр. и пр. Спб. 1843. Четыре тома.

Нельзя не одобрить мысли этого предпріятія, по словамъ издателей «оконченнаго и притомъ безконечнаго». Повѣсть, въ наше время, есть зеркало общественной жизни, органъ познанія общества и умственная его пища; повѣсть теперь—сама литература, исторія, нравственность, философія, добро

и зло, полнота и пустота, жизнь и апатія, величіе и ничтожность общества и времени. Повѣсть завладѣла вниманіемъ всѣхъ и каждаго, сдѣлалась необходимымъ условіемъ не только литературныхъ журналовъ, но и газетъ политическихъ. Если у васъ есть задушевная мысль, которая кажется другимъ слишкомъ серьезною, или мало интересною, и ее не хотятъ отъ васъ выслушать — изложите ее въ формѣ повѣсти, или разказа, и васъ непременно прочтутъ и даже поймутъ. Книга, состоящая изъ однѣхъ повѣстей, не можетъ не имѣть успѣха, если повѣсти хоть сколько-нибудь не лишены литературнаго достоинства. Вотъ почему и у насъ начали появляться разные сборники, преимущественно наполняемые повѣстями и разказами. Но наша литература еще не въ состояніи удовлетворять этой потребности: у насъ мало писателей съ дарованіемъ, еще меньше писателей трудолюбивыхъ, много пишущихъ, — можетъ-быть, и потому что наша общественность не даетъ достаточно матеріаловъ для сочиненій такого рода. За то, для сборниковъ переводныхъ повѣстей сколько матеріаловъ, какое неистощимое богатство! Только издавайте — а читать и покупать будутъ. Анекдоты и разные мелочи, какъ смѣсь при журналахъ, представляя собою богатый матеріалъ для лѣниваго перелистыванія, много придадутъ цѣны вашему сборнику въ глазахъ любителей легкаго чтенія.

И такъ, мысль «Переводчика» прекрасна; но къ сожалѣнію, въ дѣлахъ человѣческихъ, и особенно въ дѣлахъ русской литературы, выполненіе очень рѣдко соответствуетъ мысли, а мысль — выполненію. Это случилось и съ «Переводчикомъ»: сколько хорошъ этотъ сборникъ по мысли, столько дуренъ онъ по выполненію. Повѣсти, составляющія его содержаніе, ничтожны и по объему и по содержанію; это какіе-то разказы, плохо переведенные. Чтò же касается до анекдотовъ, — это тысяча первое повтореніе старыхъ, съ издѣтства каждому извѣстныхъ вздоровъ, съ прибавленіемъ новыхъ пустяковъ. А переводъ? — Боже мой, чтò это такое!... Издатели

объявили даже имена переводчиковъ; слогъ и языкъ перевода отъ этого нисколько не сдѣлались лучше. Опечаткамъ нѣтъ числа.

Наружность «Переводчика» не шегольская. За то, скажутъ, дешево! Конечно, отвѣтимъ мы, дешевыя изданія заслуживаютъ благодарность со стороны публики, это правда, но тогда только, когда они дѣльны. Промышленность книжная—весьма важное дѣло для успѣховъ самой литературы, но тогда только, когда она образованна; иначе—она вредъ, ибо подрываетъ довѣріе публики и превращаетъ литературу въ толкуцій рынокъ. Вотъ почему «Отечественныя Записки» никогда не будутъ поддерживать, кредитомъ своего мнѣнія, подобныхъ предпріятій, предоставляя это благонамѣренности, безпристрастію и безкорыстію тѣхъ газетъ, которыя давно уже извѣстны этими достоинствами. Мы очень были бы рады, еслибъ слѣдующіе выпуски «Переводчика» заставили насъ перемѣнить наше о немъ мнѣніи.

АРИСТОКРАТКА, *быль недавнихъ времени, рассказанная*
И. Брантомъ. Спб. 1843.

Всѣ жалуются на непрерывное размноженіе плохихъ «сочиненій» въ русской литературѣ, и эти жалобы всегда наводятъ на размышленіе о причинахъ такого горестнаго размноженія. Нѣкоторыя изъ этихъ причинъ кроются очень глубоко, и говорить о нихъ въ короткой журнальной рецензіи невозможно; другія, ближайшія, очевидны. Ихъ то мы и хотѣли бы показать читателямъ. Побужденій, которыя заставляютъ у насъ сочинительствовать людей безъ призванія, безъ образованности, безъ всего, что нужно для занятія литературою,—такихъ побужденій два: «деньги» и собственно тагъ называемое, внушаемое самолюбіемъ, желаніе печататься,

слыть «сочинителемъ». По первому побужденію дѣйствуютъ люди, съ болѣе или менѣе замѣчательнымъ практическимъ разсудкомъ и направленіемъ чисто промышленнымъ. Человѣкъ, перебивавшій, можетъ-быть, на всѣхъ поприщахъ дѣятельности, долго и внимательно присматривавшійся ко всѣмъ доступнымъ ему родамъ занятій, съ одною на мигъ не покидавшею его мыслию, гдѣ бы вѣрнѣе и легче зашибить копейку, почему либо разочтеть, что быть сочинителемъ выгоднѣе, чѣмъ переписывать отношенія, торговать пряными кореньями, обучать юношество грамматикѣ и «россійской словесности», или рисовать вывѣски для мелочныхъ лавокъ,— и вотъ онъ сочинитель. Безстрашно бросается онъ на тотъ родъ литературныхъ произведеній, который преимущественно читается (а иногда и на всѣ роды вдругъ), и небу жарко отъ трескотни его крѣпкаго пера, и полки книжныхъ лавокъ ломаются подъ тяжестью быстро производимыхъ имъ огромныхъ томовъ книжнаго товара. Если, несмотря на остервенѣніе, съ которымъ онъ напалъ на литературу, первыя попытки окажутся неудачными, то-есть, не доставятъ ему существенной выгоды—денегъ, онъ смиренно идетъ на иное поприще, уступая мѣсто другому. Но если удача, которой такъ не трудно, при нѣкоторыхъ условіяхъ, достигнуть въ нашей литературѣ, увѣнчаетъ труды его,— онъ на вѣкъ остается сочинителемъ, и никакія преслѣдованія критики, не выживутъ его изъ литературы. Брань журналовъ, если она не наноситъ существеннаго вреда сбыту его сочиненій, онъ переноситъ въ молчаніи, съ стойкимъ хладнокровіемъ. Она даже не сердитъ его внутренно: онъ человѣкъ добрый и нерѣдко сознающійся въ своей слабости. Подъ веселый часъ, онъ пожалуй и самъ вмѣстѣ съ вами будетъ смѣяться надъ своими сочиненіями и надъ публикой, которая ихъ покупаетъ. Печатныя отреченія отъ своихъ мнѣній, вторичныя обращенія къ нимъ и потомъ новыя отреченія—для него ни-почемъ. Только при сильныхъ наступательныхъ дѣйствіяхъ критики, которая въ томъ кругу,

гдѣ она употребляется, извѣстна подѣ именемъ «битья по карманамъ», сердце его судорожно сжимается, и голосъ издаетъ звуки, подобныя тѣмъ, какіе въ старину можно было слышать въ глухую полночь на большой муромской дорогѣ... Такого рода сочинителей очень много; они, какъ извѣстно, раздѣляются на разные классы: много такихъ, которые тысячами считаютъ свои доходы и давно уже въ печати усвоили себѣ названіе «заслуженныхъ литераторовъ» и титулъ «почтеннѣйшихъ»; но еще больше такихъ, которые таятся, Богъ знаетъ, въ какомъ литературномъ захолустьѣ и приводятся въ движеніе не совсѣмъ-то щедрымъ великодушіемъ книгопродавцевъ толкучаго рынка. Къ тому же разряду принадлежатъ господа, посвящающіе сво икниги «благодѣтелямъ», «сіятельствамъ», «превосходительствамъ» въ знакъ душевнаго уваженія, отѣнной пресмыкаемости, глубочайшей преданности и другихъ похвальныхъ чувствъ.

Совершенно противное явленіе представляетъ принадлежащій ко второму разряду сочинитель,—сочинитель по страсти къ сочинительству. Это существо въ высшей степени странное, мелкое по природѣ, великое для самого себя, жалкое для другихъ, самолюбивое, раздражительное, лишенное малѣйшей способности сознать свои недостатки, грубо и неисправимо ослѣпленное самимъ собою. Однажды навсегда, въ глубинѣ души своей рѣшивъ утвердительно вопросъ о своей геніяльности, маленькій великій-человѣчекъ спитъ и видитъ себя сочинителемъ. И, Боже мой! чего бы онъ не далъ, на чтѣ бы не рѣшился, только бы видѣть поскорѣе осуществленіе безумныхъ грѣзъ своихъ! Каждая строка, каждая буква, которую онъ написалъ, кажется ему чѣмъ-то важнымъ; какъ ребенокъ съ игрушкою, какъ помѣшанный съ пунктомъ своего помѣшательства, носится онъ съ жалкимъ своимъ сочиненіемъ: не надышитъ на него, не нарадуется; не доѣстъ, не доспитъ, только бы покрасивѣе его напечатать; обобьетъ пороги въ типографію, гдѣ она печатается, безпрестанно

справляясь «скоро ли», любуясь на корректурные листы и «задавая тону» передъ типографскими рабочими. А какъ шибко бьется самолюбивое сердечко его при выходѣ книги въ свѣтъ! Съ какимъ трепетомъ, съ какими надеждами носить онъ ее по книжнымъ лавкамъ, по знакомымъ, по журналистамъ? Вездѣ подслушиваетъ, всюду замѣчаетъ, что о немъ говорить, впутывается самъ въ разговоръ, и за долго еще до наступленія перваго числа мѣсяца бѣжить въ типографію провѣдать, что скажутъ о немъ «Отечественныя Записки». И вотъ явилась книжка «Отечественныхъ Записокъ». Если, въ пылу добраго намѣренія, журналъ посвятить дрянной книжкѣ его серьезный разборъ, гдѣ ясно докажетъ сочинителю, что писать не его дѣло, и будетъ заклинать его, именемъ здраваго смысла, удержаться отъ пагубной страсти,— въ какой ужасъ, въ какое ярое, необузданное негодованіе приходитъ тогда маленькій великій-человѣкъ! Кроткія увѣщанія, внушенныя состраданіемъ, превращаются, въ глазахъ его въ порожденіе зависти, въ лицемѣрное посягательство на его гений, на вѣнокъ его будущей славы! Узавленный въ самое сердце, но болѣе, чѣмъ когда-нибудь, убѣжденный въ своемъ достоинствѣ, онъ принимается издавать брошюры противъ своихъ доброжелателей; безсильнымъ жалобамъ его на несправедливость, пристрастіе, личности журналовъ — нѣтъ конца и умолку; онъ даже готовъ принести официальную жалобу на своихъ благонамѣренныхъ судей... Что жъ далѣе? Далѣе, о немъ никто уже не говоритъ, его оставило даже небольшое число слушателей, привлеченныхъ къ нему первоначально дикостью его воплей и новостью нелѣпыхъ претензій; имени его уже никто не произноситъ, даже въ насмѣшку, но долго, долго еще, гдѣ-нибудь въ темномъ закулъѣ литературы, раздается пискливый голосокъ его колоссально-мелкаго самолюбія. Наконецъ, не дождавшись похвалъ журналистовъ и публики, онъ принимается хвалить самъ себя, выставляя на видъ свои небывалыя заслуги; онъ не щадитъ

никакихъ усилій, не пренебрегаетъ никакими средствами для пріобрѣтенія извѣстности, и готовъ даже, пользуясь открытымъ въ себѣ, при помощи услужливыхъ пріятелей и собственной проницательности, сходствомъ съ какимъ-нибудь великимъ человѣкомъ, выдать себя за пра-пра-внука Шекспира, внука Вальтеръ-Скотта, только бы побольше «предъявить» міру правъ на громкое имя. И все нѣтъ удачи! Но вотъ тщетность усилій, кажется, наконецъ охладила его рвеніе: имя его рѣже и рѣже появляется въ печати, и наконецъ исчезаетъ. Публика не сожалѣетъ; журналисты торжествуютъ, отъ души радуясь своему доброму дѣлу. Увы, торжество преждевременное!... Вотъ опять является брошюра съ именемъ, которое уже знакомо журналамъ. Это онъ! да, точно онъ, только уже въ другомъ видѣ: онъ значительно прісмирѣлъ; посмотрите: онъ хвалитъ уже тѣхъ, которые его порицаютъ, противъ которыхъ самъ же онъ, въ пылу перваго гнѣва, разослалъ столько бранныхъ брошюръ. Чтò это значитъ? Бѣдный мученикъ пагубной страсти къ сочинительству! до чего дошелъ ты? Чтòбъ добиться вождѣльныхъ похвалъ, ты льстишь, ты поешь комплементы тѣмъ, которыхъ прежде ругалъ и которыхъ въ душѣ считаешь врагами!... Но журналисты, равнодушные нѣкогда къ брани маленькаго великаго-человѣка, еще равнодушнѣе къ похваламъ его: они снова говорятъ ему напрямикъ горькую, убійственную истину... И чтò жъ бы вы думали?... Неудача послѣдней попытки образумить его, возвратитъ на путь истинный, остановить отъ сочинительства?... Увы, нѣтъ!... И тогда, когда ни ожесточенные вопли ребяческаго самолюбія, ни безсильная брань, ни умышленная лесть, ни безденежное разсыланіе публикѣ брошюръ о своей геніяльности, ни даже похвалы въ какой-нибудь газетѣ, доступной состраданію при нѣкоторыхъ условіяхъ, не помогутъ маленькому человѣку вырваться изъ безвѣстности, назначенной ему судьбою,— осмѣянный, согнанный съ литературной арены на самую по-

слѣдную ступень ея, онъ все еще не можетъ преодолѣть злѣйшаго врага своего — собственнаго самолюбія, и продолжаетъ нерѣдко до самой могилы сочинительствовать... Жалки обрисованные нами выше литературные дѣятели изъ корысти, но еще болѣе жалки отверженцы искусства, зараженные страстью къ сочинительству, и не первый ли долгъ критики останавливать сколько возможно столь пагубную страсть въ самомъ ея началѣ, пока она не успѣла еще совершенно овладѣть человѣкомъ? Вотъ почему «Отечественныя Записки» не рѣдко говорили, и впередъ намѣрены иногда говорить о самыхъ неутѣшительныхъ явленіяхъ нашей литературы съ болѣшимъ вниманіемъ, чѣмъ они, повидимому, заслуживаютъ.

Все сказанное, само собою разумѣется, не имѣетъ никакого прямаго отношенія къ книгѣ, которой заглавіе выставлено въ началѣ статьи. Все это не болѣе, какъ очеркъ, могущій послужить матеріаломъ для будущаго составителя статьи въ «Наши», гдѣ вѣдь долженъ же быть нарисованъ «сочинитель». — Теперь обратимся къ сочиненію г. Бранта.

Неоднократно мы имѣли случай замѣчать г. Бранту, какъ бесполезны для литературы и для него самого усилія его сочинять, сочинять во что бы то ни стало. Но г. Брантъ неисправимъ: едва прошло полгода отъ появленія его странныхъ критическихъ брошюръ, и вотъ онъ является съ новымъ произведеніемъ: «Аристократка»... Аристократка — и г. Брантъ! Какъ много сказано однимъ заглавіемъ! Кажется, нечего и прибавлять... Не можемъ, однакожь, не обратить вниманія на одну новую, чрезвычайно тонкую выходку г. Бранта. Послушайте: г. Брантъ говоритъ о преслѣдованіи критикою людей ничтожныхъ и глупыхъ.

«Отчего именно (спрашиваетъ онъ) на этихъ именно бѣдныхъ недорослей, вѣчныхъ, произвольныхъ дѣтей человѣчества, должно изливаться желчь ума и сатиры, предназначенной преимущественно бичевать предразсудки и пороки людей незначительныхъ по роли,

разыгрываемой ими въ обществѣ, не невѣждъ и дураковъ обыкновенныхъ, дюжинами дюжинъ встречаемыхъ, но людей съ вѣсомъ и внѣшняго и внутренняго значенія?»

Подумаешь, къ какимъ средствамъ ни прибѣгаютъ люди! Не преслѣдуйте насмѣшкой невѣждъ и глупцовъ, говоритъ г. Брантъ: «насмѣшка создана для людей съ вѣсомъ внутренняго и внѣшняго значенія». Зачѣмъ бы, казалось, придумывать г-ну Бранту такой странный парадоксъ?... Но положимъ, что это придумалось такъ, съ простоты; главное тутъ—ложность парадокса. Если преслѣдовать только слабости и недостатки людей съ умомъ и вѣсомъ, какъ желаетъ г. Брантъ, то глупость, невѣжество и шарлатанство могутъ вообразить, что въ нихъ нѣтъ ни слабостей, ни недостатковъ. Намъ кажется, что именно дерзкія-то усилія попасть, куда не слѣдуетъ, невѣжественные предразсудки и простодушныя ухищренія глупцовъ и невѣждъ, которыхъ вы, г. Брантъ, защищаете, и должны быть преимущественно преслѣдуемы насмѣшкою; если мало одной насмѣшки—ихъ, какъ язвы на тѣлѣ общественномъ, должно искоренять всеми мѣрами — выжигать, вырѣзывать, вытравлять. *Si medicamenta non sanant; ignis sanat; si ignis non sanat, ferrum sanat*, сказалъ еще Иппократъ, на котораго мы и ссылаемся, въ подтвержденіе нашихъ словъ...

Кто желалъ бы по чему-либо короче познакомиться съ новымъ произведеніемъ г. Бранта, тому мы должны сказать еще, что въ этомъ произведеніи нѣтъ даже тѣхъ простодушныхъ, неумышленныхъ обмолвокъ, которыя иногда встрѣчаются въ сочиненіяхъ такого рода и, подъ веселый часъ, срываютъ невольную улыбку; здѣсь все чистенько, гладенько, отдѣлано съ рачительностію самой терпѣливой бездарности и оттого чрезвычайно пошло. Дѣйствующія лица — аристократка, которая ѣздитъ въ Александринскій театръ и объясняется, какъ героини представляемыхъ тамъ водевилей; учитель исторіи, педагогъ, который изъ рукъ вонъ глушь; сверхъ того самъ сочинитель—г. Брантъ—иногда замедляетъ и безъ

того уже вялое дѣйствіе повѣсти отступленіями, въ родѣ слѣдующаго:

«Не знаю, отчего рука моя дрожить, *начертывая* строки, приближающія меня къ описанію послѣднихъ событій этой повѣсти; отчего оставляетъ меня спокойствіе *историка*, и я чувствую нѣкоторое *трепетаніе сердца*, подобно путнику, завидѣвшему тучу и боящемуся, что гроза застигнетъ его вдали отъ крова и всякаго пріюта?»...

Но довольно. Изъ того, что мы сказали, кажется, можно ясно понять, какова новая повѣсть г. Бранта, и какого рода аристократію, «окритиковалъ онъ въ своей литературѣ». О! г. Брантъ большой критиканъ!

СЕЛЬСКОЕ ЧТЕНІЕ. *Книжка, составленная изъ трудовъ:*

*А. Ѳ. Вельтмана, Н. С. Волкова, С. С. Гадурина,
В. И. Даля, И. И. Иванова, М. Н. Заюскина, И.
И. Побыдина, К. Ѳ. Экмелке, княземъ В. Ѳ. Одоев-
скимъ и А. П. Заболоцкимъ. Спб. 1843.*

Эта книга, принадлежа собственно къ тому, что обыкновенно называется «литературою»,—тѣмъ не менѣ принадлежитъ къ важнѣйшимъ произведеніямъ современной литературы и вѣсомъ своей внутренней цѣнности перетянетъ многіе пуды романовъ, повѣстей, драмъ—даже «патріотическихъ». Явленіе такой книжки, какъ «Сельское Чтеніе», должно радовать всякаго истиннаго патріота, всякаго друга общаго добра. Бѣдна наша учебная литература, бѣднѣе ея наша дѣтская литература, и мы сказали бы, что бѣднѣе всѣхъ ихъ наша простонародная литература, еслибы только у насъ существовала какая-нибудь литература для простаго народа. Цѣлыя горы бумаги ежегодно печатаются для него подъ названіемъ «Похожденій Георга Аглицкаго Милорда»,

«Похожденій Ваньки Каина», «Анекдотовъ о Балакиревѣ» и и сѣробумажныхъ книгъ, въ родѣ «Разгуляя Купеческихъ Сынковъ въ Марьиной Рощѣ», «Козла-Бунтовщика» и т. п. Всѣ эти пошлости расходятся: стало быть, ихъ покупаютъ и читаютъ. Но какая же польза отъ этихъ книгъ?—Пользы никакой, а вредъ можетъ быть: отъ нихъ только грубѣютъ и безъ того грубыя понятія простомюдина, тупѣетъ и безъ того неизощренная его мыслительная способность. Былъ нѣкогда на Руси почтенный человѣкъ — профессоръ Николай Кургановъ; издалъ онъ книжицу, или лучше сказать, книжицу: «Письмовникъ, содержащій въ себѣ науку руссiйскаго языка со многими присовокупленіемъ разнаго учебнаго и полезно-забавнаго вещесловія, съ присовокупленіемъ книги: «Неустрашимость духа, геройскіе подвиги и примѣрные анекдоты Русскихъ» и съ таковымъ замысловатымъ эпиграфомъ:

Духовной ли, мірской ли ты? прилежно се читай:

Все найдешь здѣсь, тотъ и другой: но разумѣть смѣikai.

Книга эта имѣла успѣхъ чрезвычайный: еще въ 1796 году была напечатана она уже шестымъ изданіемъ, и до сихъ поръ еще перепечатывается такъ, какъ была, безъ измѣненій, только развѣ съ выпускомъ кое-гдѣ смысла. Для своего времени эта книга — просто золото; теперь она никуда не годится. И не нашлось на Руси ни одного литератора, который бы издалъ, для народа, такую же книгу, только сообразную съ требованіями нашего времени, въ отношеніи къ языку и выбору статей! Кромѣ изданной г. Максимовичемъ «Книги Наума о великомъ Божіемъ мірѣ», не было ни одной замѣчательной попытки написать что-нибудь полезное и вмѣстѣ завлекательное для простаго народа. Да и самая книжка г. Максимовича оказалась неудовлетворительною. Простой народъ похожъ на ребенка, только говорить съ нимъ еще труднѣе: у ребенка умъ мягокъ, какъ воскъ, и чуждъ всякихъ привычныхъ понятій, а у простаго народа умъ и неразвитъ, и упрямъ: за

него надо приниматься умѣючи и съ толкомъ. Главное правило тутъ—не торопиться, не желать сдѣлать многое вдругъ, не высказывать всего за-разъ и всегда держаться въ уровень съ понятіемъ простолюдина. Избѣгая книжнаго языка, не должно слишкомъ гоняться и за мужицкимъ нарѣчіемъ: простолюдины обыкновенно недовѣрчивы къ собственному способу выраженія, и думаютъ, что бары смѣются надъ ними, говоря «по-печатному» ихъ глупымъ языкомъ. Простота языка должна, въ этомъ случаѣ, быть только выраженіемъ простоты и ясности въ понятіяхъ и въ мысляхъ.

«Сельское Чтеніе» вполне удовлетворяетъ всѣмъ этимъ требованіямъ. Оно знаетъ, съ кѣмъ имѣеть дѣло, и не потчуетъ паштетами того, кому калачъ въ сласть и лакомство. Въ книгахъ такого рода обыкновенно думаютъ, что дѣло въ шляпѣ, если наговорили съ три короба нравоученій: «Сельское Чтеніе» понимаетъ, въ какомъ нравоученіи нуждается нашъ народъ, и, какъ искусный врачъ, оно не лѣчитъ отъ подагры человѣка, который пьетъ не шампанское, а сивуху. Внушая простому человѣку правила религіи, преданность и благодарность престолу, «Сельское Чтеніе» постоянно держится въ сферѣ быта и положенія простаго человѣка, — въ сферѣ чисто практической. У всякаго народа свои добродѣтели и свои пороки, и съ каждымъ народомъ, поэтому, должно говорить особеннымъ языкомъ. Русскій мужикъ вообще кротокъ и спокоенъ, какъ сѣверянинъ и притомъ Славянинъ, необыкновенно смышленъ и смѣтливъ; но въ то же время, онъ лѣнивъ и тѣломъ и умомъ; чтобъ скорѣе отдѣлаться отъ работы, любить дѣлать все на «авось». Авось—это болѣзнь русскаго человѣка; это такой же нравственный его недостатокъ, какъ у Швейцаровъ физическій недостатокъ — кретинство (cretinisme). И «Сельское Чтеніе» представляетъ цѣлую повѣсть объ «авось», которая простому крестьянскому уму покажется изящнѣе всякаго романа Вальтеръ - Скотта, убѣдительнѣе истины, что когда солнце свѣтитъ—свѣтло бываетъ. Потомъ,

къ числу пороковъ русскаго крестьянина принадлежитъ страсть зашибаться хмѣлиной; къ этой страсти присоединяется неразсчетливость, составляющая общій недостатокъ русскаго чело-вѣка, который какъ-будто родится миллионеромъ и уважаетъ только рубли, а съ копейками и гривнами, изъ которыхъ со-ставляются рубли, обходится какъ съ соромъ; и на этотъ счетъ «Сельское Чтеніе» предлагаетъ поучительный «Разсказъ о томъ, какъ крестьянинъ Спиридонъ научилъ крестьянина Ивана не пить вина, и что изъ того вышло». Русскій чело-вѣкъ, по натурѣ своей, склоненъ къ повиновенію властямъ, но по неразвитости своей не всегда умѣетъ понимать благія намѣренія власти, особенно, если эти намѣренія для него новы и непривычны. Тогда людямъ, которые любятъ въ мутной водѣ рыбу ловить, весьма легко смущать и сбивать съ толку мужика злонамѣренными объясненіями простаго дѣла. Такъ, напри-мѣръ, теперь мужикъ не вооружается противъ приви-ванія коровьей оспы дѣтямъ его, но прежде онъ смотрѣлъ на эту мѣру благодѣтельнаго правительства, какъ на что-то страшное, грозящее гибелью...

Книжка украшена простыми политипажными картинками и виньетками, сообразно содержанію. И это очень хорошо: про-стые люди, что малыя дѣти—наглядность и заочиваетъ ихъ къ чтенію, и помогаетъ понимать читаемое. Картинокъ чис-ломъ семь; изъ нихъ одна—очеркъ съ картины Венеціанова: «Мать, которая учитъ дѣтей своихъ молиться», а другая — очеркъ съ портрета Петра Великаго.

Есть люди (какихъ людей не бываетъ на бѣломъ свѣтѣ!), которые отъ души убѣждены, что крестьянину нужны ши да каша, а грамота бесполезна. Слава Богу, время начинаетъ обнаруживать ту великую истину, что безъ ума не будетъ и щей съ кашей, а умъ родить грамота. Сверхъ того, нѣтъ ни-чего труднѣе, какъ вразумлять дикаря: вы хлопчете о его же благѣ, а онъ, если не можетъ оказать вамъ прямого сопро-тивленія, упрямствомъ своимъ и равнодушіемъ, безъ явнаго

противодѣйствія, разрушаетъ самыя лучшіе ваши планы, для выполненія которыхъ вы жертвовали и сномъ, и спокойствіемъ, и удовольствіемъ. Вы велите ему сѣять картофель, чтобъ его же спасти отъ голодной смерти, а онъ твердитъ, что картошка трава поганая, провлятая... Но если на свѣтѣ такъ много глухихъ умниковъ, ханжей и изуверовъ, которые смотрятъ съ ненавистью на всякое преуспѣяніе, на всякій шагъ впередъ, то утѣшима мыслью, что на томъ же бѣломъ свѣтѣ бываютъ и люди, твердые волею, свѣтлые умомъ и благословенные Провидѣніемъ на выполненіе и осуществленіе его благихъ преднамѣреній... И да будутъ честны и славны изъ рода въ родъ имена такихъ людей, подъ просвѣщеннымъ покровомъ которыхъ каждый можетъ возложить свою посильную лепту на алтарь общаго блага!...

ДРАМАТИЧЕСКІЯ СОЧИНЕНІЯ И ПЕРЕВОДЫ Н. А. ПОЛЕВАГО. *Часть четвертая. Спб. 1843.*

Въ четвертой части «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» г. Полеваго содержатся три драмы: «Смерть или честь!», «Елена Глинская» и «Мать Испанка». Всѣмъ извѣстно, что г. Полевой взялъ содержаніе драмы «Смерть или честь» изъ повѣсти, но не всѣ знаютъ, можетъ-быть, почему именно онъ взялъ его изъ повѣсти. Тѣ, которые полагаютъ, что онъ поступилъ такъ по общему всѣмъ нашимъ доморожденнымъ драматургамъ недостатку воображенія, очень ошибаются. Вотъ собственные слова г. Полеваго:

«Мнѣ хотѣлось испытать важность въ наше время *драмы-собственно* (?...) въ родѣ драмы Лессинга, Ифеланда, Дидерота и съ тѣмъ вмѣстѣ увѣриться, справедливо ли мнѣніе нѣкоторыхъ критиковъ, будто изъ *повѣсти*, или *романа*, не можетъ быть заимствовано *сценическое представленіе*, въ чемъ ссылались на множество неудачныхъ опытовъ? *Содержаніе* сей драмы взято изъ повѣсти: Мишель-Массона *Le Grain*

de Sable, помѣщенной въ изданномъ имъ собраніи повѣстей подъ заглавіемъ: *Daniel le Lapidaire ou les Contes de l'atelier*. (Парижъ, 1833 года).

Кто же тѣ «нѣкоторые критики, которые утверждали, что изъ повѣсти нельзя сдѣлать истинно-хорошей драмы?»... Да первый—самъ же г. Полевой! Не тотъ г. Полевой, который не додалъ шести книжекъ «Русскаго Вѣстника», не тотъ, который выкраиваетъ изъ чего попало плохія драмы, создаетъ комедіи въ родѣ «Войны Фодосьи Сидоровны съ Китайцами» и воспѣваетъ «деньги», но тотъ, который издавалъ «Телеграфъ», который ссорился съ другомъ и недругомъ за свои убѣжденія, порицалъ направленіе драмъ гг. Шаховскаго и Кукольника и не воспѣвалъ «денегъ»...

Намъ особенно нравятся тѣ драмы г. Полеваго, въ которыхъ онъ изображаетъ вельможъ и вообще людей высшаго тона. Здѣсь онъ неподражаемъ. Смотря на его графинь и баронессъ, не скажешь, что онѣ вчера еще были кухарками своихъ мужей, которые, въ свою очередь, только что сошли съ запятокъ; слушая, какъ разсуждаютъ у г. Полеваго герцогини и герцоги, не подумаешь, что ошибся дверью и попалъ, вмѣсто гостиной, въ лакейскую... «Смерть или Честь» — драма самаго высшаго тона: въ ней дѣйствуютъ графы, министры, самъ герцогъ и весь дворъ его.

Допустимъ, что примѣчаніе, на которое мы указали выше, придумано не для того, чтобъ придать побольше важности слабому, тщедушному созданію и прикрыть благовиднымъ предлогомъ несовсѣмъ хорошо рекомендуемое литературное похищеніе; согласимся, что дѣйствительно не другое что-нибудь, а только желаніе увѣриться—можно ли изъ повѣсти сдѣлать драму,—заставило г. Полеваго заимствовать содержаніе драмы «Смерть или Честь» изъ повѣсти. Но вотъ вопросъ: чтó заставило г. Полеваго заимствовать содержаніе «Елены Глинской» у Шекспира и Вальтеръ - Скотта? Въ чемъ увѣриться желалъ г. Полевой, пародируя «Макбета» и насильственно

перетаскивая въ свое шивное произведеніе нисколько неподходящую къ тогдашнему русскому быту сцену изъ «Кенильвортскаго Замка?» Зачѣмъ также г. Полевой передѣлалъ свою «Мать-Испанку» изъ романа Мейснера «Рѣдкая Мать», а «Парашу Сибирячку» изъ повѣсти Метра «Молодая Сибирячка», — словомъ, для чего сшилъ онъ всѣ свои драматическія представленія и повѣсти, историческія были и небылицы, анекдоты и сказки изъ чужихъ доскутьевъ?... Ради какого испытанія, наконецъ, еще недавно, въ послѣднемъ блистательнѣйшемъ твореніи своемъ, «Ломоносовъ», исказилъ г. Н. Полевой повѣсть брата своего, К. Полеваго, и повторилъ въ своей передѣлкѣ гуртомъ всѣ эффекты, которыми, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ озадачивалъ публику Александринскаго театра по-одиночкѣ?... Вопросы неразрѣшимые, на которые едва ли и самъ г. Полевой возьмется отвѣчать удовлетворительно...

ФИЗИОЛОГІЯ ЖЕНАТАГО ЧЕЛОВѢКА. *К. Поль-де-Кока. Спб. 1843.*

Наши доморощенные поставщики текста къ картинкамъ, то-есть, сочинители такъ называемыхъ «Очерковъ Русскихъ Правовъ», никогда не достигнуть десятой доли того искусства, съ какимъ набрасываютъ свои «физиологіи» Французы и въ особенности Поль-де-Кока. Не вытянутыми насильственно изъ воображенія вздорами, не вялымъ пустословіемъ, не простоумно бессильными придирками къ чужимъ журналамъ и книгамъ наполняютъ они свои физиологіи, но живымъ, вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Посмотрите, напирѣмъ, какъ живо, остроумно и вѣрно съ природою написана «Физиологія Женаатаго Человѣка», которую кто-то перевелъ на русскій языкъ и издалъ съ полнотами французскаго изданія! Найдете ли вы въ «россійскихъ» сочиненіяхъ такого

рода хоть сотую долю того остроумія и знанія жизни, той наблюдательности и оригинальности, которыя поражаютъ васъ на каждой страничкѣ въ небольшой физиологїи, написанной Поль-де-Кокомъ? И у насъ еще находятся люди, которые обвиняютъ въ настоящемъ мелочномъ направленїи нашей литературы Французовъ, какъ-будто Французы виноваты, что мы, подобно обезьянамъ, перенимаемъ только ихъ дѣйствія, не усвоивая себѣ и даже не понимая настоящей цѣли ихъ дѣйствія: французскія «книжечки съ картинками» имѣютъ цѣну не только какъ красивыя игрушки, но и какъ вѣрное отраженіе современной жизни...

ПУТЕВЫЯ ЗАПИСКИ ВЪ РОССІИ, въ двадцати губерніяхъ: С.-Петербургской, Новгородской, Тверской, Московской, Владимірской, Пензенской, Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Харьковской, Екатеринославской, Полтавской, Кіевской, Черниговской, Мошлевской, Витебской, Псковской, Ярославской, Костромской, Нижегородской и Симбирской. Михайла Жданова. Спб. 1843.

Бываютъ же на свѣтѣ книжки съ удивительными заглавіями! Напримѣръ, что такое «Записки по Россіи»? а потомъ что такое «Россія въ двадцати губерніяхъ»? Всего же забавнѣе умѣнье сочинителя считать: вмѣсто выставленныхъ въ заглавіи двадцати губерній, онъ въ этомъ же заглавіи насчитываетъ ихъ двадцать - двѣ... Но оставимъ это; посмотримъ, что-то кроется подъ этимъ удивительнымъ заглавіемъ?

Чтобъ съ самаго начала ясно обозначить свое положеніе въ отношенїи къ читателю и къ избранному предмету, г. Михайло Ждановъ такъ начинаетъ свое любопытное сказаніе: «Въ половинѣ 1838 года мнѣ представился случай, не теряя ничего по службѣ, и даже съ пользою для нея, объѣхать зна-

чительную часть европейской Россіи». И такъ вотъ ключъ ко всему! Г. Михайло Ждановъ—чиновникъ, который путешествовалъ по двадцати губерніямъ, не теряя ничего по службѣ, и даже съ пользою для нея. Объ этомъ счастливомъ для г. Михайла Жданова обстоятельствѣ, вѣроятно, весьма пріятно будетъ узнать всякому читателю, какъ было пріятно и намъ, не имѣющимъ чести знать лично г. Михайла Жданова.

«Отправляясь въ путь» говорить онъ далѣе: «я предположилъ вести путевыя записки,—и велъ ихъ». Удивительный примѣръ твердости воли! Далѣе: «У насъ такъ мало писано и пишется о Россіи, что и что-нибудь можетъ заслужить вниманіе». Каково? какъ это вамъ нравится? То-есть, другими словами, это значить, что у насъ-де такъ еще мало смыслятъ, что если я и вздоръ напишу, то и это должно быть принято съ уваженіемъ. Очень хорошо! Но между тѣмъ позвольте, г. Михайло Ждановъ, вы, который путешествовали «безъ всякой потери для службы, и даже съ пользою для нея!» вѣроятно, вамъ извѣстно, что почти отъ каждаго министерства у насъ издаются особые журналы, преимущественно и исключительно посвященные изслѣдованію Россіи въ разныхъ отношеніяхъ; не безъизвѣстно вамъ и то, что въ этихъ журналахъ, а равно и во многихъ частныхъ, уже лѣтъ двадцать накаплиются богатые матеріалы для узнанія Россіи: матеріалы эти только ждутъ искусной руки и трудолюбиваго пера для обработки ихъ;—вѣдомо, вѣроятно вамъ и то, что у насъ есть нѣсколько десятковъ весьма умныхъ и ученыхъ путешествій академиковъ по разнымъ частямъ нашего обширнаго отечества; у насъ есть около 800 болѣе или менѣе обширныхъ сочиненій, заключающихъ въ себѣ разныя свѣдѣнія о Россіи... Нѣтъ, вы жестоко ошибаетесь: у насъ не только не мало писано о Россіи, но, напротивъ, весьма много; скажемъ болѣе: ни въ одной европейской литературѣ нѣтъ специальныхъ періодическихъ изданій, посвященныхъ исключительно свѣдѣнію объ одномъ только государствѣ; а у насъ такихъ

изданій нѣсколько... Вотъ, что значить путешествовать безъ всякой потери для службы и даже съ пользою для нея, не зная ничего основательнаго о своемъ отечествѣ, не прочтавъ ничего того, что до насъ было уже давно извѣдано и описано, пуститься по двадцати губерніямъ, надѣлать въ своей памятной книжкѣ нѣсколько пустыхъ замѣтокъ, все это пустить въ тисненіе, завернуть въ грязную зеленую бумажку, на которой написать: «Путевыя Записки по Россіи» — положить такую книжицу передъ собою съ улыбкою самодовольствія и сказать: «все, что до меня писано о Россіи, не стодитъ порядочной пареной рѣпы, а моя книга первая, заслуживающая вниманіе!»

Хотите ли доказательствъ, что это настоящая мысль сочинителя?—Онъ говоритъ: «Собираясь путешествовать по Россіи, я хотѣлъ имѣть какую-нибудь (!?) книгу для руководства, книгу, которая, заключая въ себѣ свѣжій (!) запасъ свѣдѣній о нашемъ отечествѣ, могла бы указать путешественнику, гдѣ и на что онъ долженъ обратить вниманіе, и къ сожалѣнію, если не къ стыду нашему, не могъ найти ничего цѣлаго; отыскивать же по частямъ въ періодическихъ изданіяхъ и брошюрахъ мнѣ было некогда». — Помилуйте, да чего же бы Россія стыдиться, что вамъ некогда было изучить ее поосновательнѣе, что вы хотѣли узнать огромнѣйшее въ мірѣ государство, пролистовавъ какую-нибудь книжечку, да еще небольшую, чтобъ немного времени отнимать у службы; что вы не нашли себѣ по вкусу книжки для руководства въ такомъ путешествіи, въ какомъ, какъ видно изъ вашихъ записокъ, всегда бы лучше было взять поваренную книгу?...

«Не есть ли долгъ каждаго Русскаго, которому привелось, хоть бы даже мимоѣздомъ, видѣть какую-нибудь часть своего отечества, писать о томъ, что онъ видѣлъ?... Если наберется человекъ девять, прокатившихся по Россіи и записавшихъ, что они видѣли,—вотъ уже и составится что-нибудь!» Смѣло можемъ удостовѣрить г. Жданова, что изъ этого ровно ни-

чего не выйдетъ. Не только еслибы девять человѣкъ, но еслибы девять милліоновъ человѣкъ прокатились безъ пользы по Россіи, и каждый изъ нихъ написалъ бы по небольшой книжечкѣ въ 200 страницъ, то и тогда бы ничего не вышло. Еслибы взять 34 буквы азбуки и раскладывать ихъ до конца вѣка безъ всякой мысли, во всѣхъ возможныхъ сочетаніяхъ, то, вѣрно, никогда бы изъ этого не вышло «Иліады»!

Но довольно; не станемъ болѣе спорить съ г. Михайломъ Ждановымъ изъ-за предисловія, хотя бы мы могли замѣтить ему неправильность многихъ выраженій, неумѣстность его quasi ироническаго презрѣнія, какое онъ кидаетъ на «ученыхъ по ремеслу», и странное впечатлѣніе, какое производятъ его отвращеніе стоять на ряду «съ сочинителями повѣстей и журнальныхъ статей» (т. е., напримѣръ, съ Гёте, Шиллеромъ, Вальтеръ-Скоттомъ, Байрономъ, Гизо, Тьеромъ, и многими другими, которые писали прекрасныя и умныя журнальныя статьи),—все это мы оставляемъ и пускаемся дружно съ г. Ждановымъ въ путь по двадцати двумъ губерніямъ. Начнемъ сначала и будемъ слѣдовать за авторомъ постепенно въ его любопытныхъ наблюденіяхъ.

Во-первыхъ, г. Михайло Ждановъ убѣждаетъ, что для путешествія нужно только надѣть дорожный сюртукъ и взять въ карманъ подорожную. Благодаря этому удобному и спокойному средству, онъ весьма натурально началъ свое путешествіе, еще не выходя изъ своей комнаты. Первымъ дѣломъ путешественника было—взять дестъ бумаги, написать на верху для начала путевыхъ записокъ: «С.-Петербургъ», потомъ сдѣлать нѣсколько глубокомысленныхъ разсужденій о томъ, какъ, «посѣтивъ двадцать губерній, можно видѣть много любопытнаго», и тутъ же надѣлать нѣсколько грамматическихъ ошибокъ (посѣтивъ, и за тѣмъ можно—грубая ошибка противъ грамматики). Изъ своей комнаты, г. Ждановъ хотѣлъ сначала путешествовать по Васильевскому-острову; но въ то время шелъ ледъ, и не было переправы черезъ Неву. Такая по-

мѣха наполнила путешественника грустью, тѣмъ болѣе, что ему «въ дорожномъ платьѣ стало неловко» (стр. 5). Но г. Ждановъ умѣетъ все употребить съ пользою, и, собираясь путешествовать «безъ потери для службы и даже съ пользою для нея», не захотѣлъ терять даромъ время и тутъ же отправился въ Таврической садъ. Пройдясь по его дорожкамъ, онъ сдѣлалъ нѣсколько маленькихъ открытій въ ботанической номенклатурѣ: напримѣръ, вмѣсто *genista*, говорить *ginesta*, вмѣсто *auberine*, говорить *aulerine*, вмѣсто *Phogmium tenax*, говорить *Formium tinix*. Но это его нисколько не останавливаетъ. Да и что такое вся ботаника, когда нужно путешествовать, не теряя ничего по службѣ? И когда тутъ учиться этой ужасной наукѣ? Не въ два же часа, въ самомъ дѣлѣ, проглотить всю мудрость!

Послѣ столь полезнаго путешествія по прекрасному саду, г. Ждановъ сталъ путешествовать по набережной Невы, которую онъ называетъ «капризницей» (стр. 8). Послѣ разныхъ витіеватыхъ и звонкихъ фразъ, внушенныхъ путешественнику картиной Невы, покрытой льдомъ, ему удалось, наконецъ, сѣсть въ экипажъ и продолжать на этотъ разъ свое путешествіе по большой дорогѣ. Замѣтивъ очень удачно мимоѣздомъ, что дорога шоссе убита щебнемъ и очень гладка, сочинитель очутился на станціи Чудово, откуда онъ заглянулъ въ село Грузино, принадлежавшее графу Аракчееву, и по этому поводу изъяснилъ, что графъ Аракчеевъ былъ нѣкогда извѣстнымъ человѣкомъ (стр. 19). Въ Спасскомъ Полѣсье сочинитель нашелъ порядочную гостиницу и милостивую Нѣмочку. Въ Новгородѣ (по случаю этого города, онъ восклицаетъ въ восторгѣ: «О, Новгородъ!») г. Михаилъ Ждановъ посмотрѣлъ на какой-то куполь, крытый «бѣлымъ желѣзомъ» (стр. 19), видѣлъ дубинку Іоанна Грознаго, отъ которой у него г. Жданова, волосы стали дыбомъ (стр. 20), и замѣтилъ, въ качествѣ агронома, что въ городскомъ саду можно разводить разныя деревья и кустарники (стр. 20). Нов-

городскимъ обществомъ онъ остался недоволенъ, и потому, не занимаясь имъ много, онъ отправился на извозничьихъ дрожкахъ въ Юрьевъ монастырь, увидѣлъ, что къ монастырю принадлежатъ два сада, да и поѣхалъ далѣе... По дорогѣ, въ Бронницахъ, онъ заходилъ съ визитомъ къ какой-то бабѣ Агаевѣ, «девяностолѣтней старухѣ» (стр. 23), видѣлъ на Вышневолоцкомъ каналѣ «барки съ яйцами» (стр. 25), и съ удовольствіемъ замѣтилъ, что въ гостиницѣ Пожарскаго приготовляются очень вкусныя котлеты изъ курицы, въ Помераніи угощаютъ вафлями, а въ Яжелбицахъ форелью (стр. 26). Послѣ этихъ вкусныхъ закусокъ, г. Михайло Ждановъ, столичный житель, отправился посмотрѣть провинціальное общество въ загородный воксалъ, возлѣ Твери. Пересчитать всѣхъ хорошенькихъ, замѣтить, что одна дама, тамъ бывшая, — «миленькое существо» (стр. 27), а другая — «брюнетка съ томными черными глазками», но что вся эта пляска, все это собранье, всѣ эти наряды скучны, смѣшны, невеселы, — было дѣло одной минуты для столичнаго путешественника.

Изъ Твери сочинитель прямо является въ Москву. Москву онъ называетъ «золотыми маковками и, *notre grande cité*, и удивляется огромному въ ней числу «хижинъ холопскихъ» (стр. 29). Посмотрѣвъ тусклымъ взоромъ на все, что такъ любопытно въ Москвѣ и что уже всякому извѣстно и много разъ описано, онъ принялся бранить какого-то фокусника за то, что тотъ показалъ ему зеркала.... Въ Нескучномъ онъ видѣлъ какую-то «прехорошенькую женщину», у которой молодой человекъ цѣловалъ руку (стр. 43), и, наконецъ, свои воспоминанія о Москвѣ заключилъ вкуснымъ обѣдомъ у Лабади (стр. 46). Впрочемъ, по долгу совѣсти, мы не можемъ выѣхать съ сочинителемъ изъ Москвы, не сказавъ, что онъ прежде обѣдалъ у Печкина, куда его привлекъ органъ, играющій «Грасъ, Сжался, Робертъ» (стр. 46).

Во Владимірѣ, сочинителю пришли въ голову нѣкоторыя историческія воспоминанія, взятая на прокатъ изъ «Російской

Исторія г. Кайданова. Въ гостиницѣ, гдѣ онъ остановился, комнаты были порядочныя, но «кушанье очень посредственное» (стр. 48); что же касается до Владимірской губерніи, то она славится своими вишнями (стр. 49). Въ Муромѣ сочинитель изобрѣлъ новое слово «огородство» (стр. 50) и познакомился съ какимъ-то чиновникомъ, который передъ нимъ никакъ не хотѣлъ садиться, вслѣдствіе чего сочинитель нашелъ, что онъ «очень не глупой» (стр. 50), Арзамасъ, Починки, Пенза—все промелькнуло предъ глазами путешественника безъ особенныхъ приключеній; но въ Саратовѣ случилось нижеслѣдующее, любопытное для всякаго читателя приключеніе: «Саратовъ богатъ хорошею рыбою и въ особенности стерлядями, и потому я послѣшилъ въ одной изъ гостиницъ заказать стерляжью уху.... и она мнѣ такъ понравилась своимъ вкусомъ, янтарнымъ цвѣтомъ, что я съѣлъ три тарелки вдругъ». Жаль, что не четыре! Впрочемъ, чтобы не подумалъ кто-нибудь, что путешественникъ невоздерженъ, онъ прибавляетъ, себѣ въ извиненіе, что отъ Пензы до Саратова онъ ничего не ѣлъ. Но здѣсь картина перемѣняется. Доселѣ мы видѣли сочинителя кушающаго во всѣхъ гостиницахъ и слышали только его основательныя сужденія по кухонной части;—въ Саратовѣ ужъ не то: о вафляхъ, форели и пр. нѣтъ помина, и сочинитель трунить надъ провинціальнымъ обществомъ. Жизнь въ Саратовѣ онъ называетъ ссылкою, вѣроятно потому, что вспомнилъ извѣстный стихъ Грибоѣдова: «Въ глушь—въ Саратовъ». «Въ губерніи не то, что въ столицѣ,—нѣтъ возможности поволочиться, какъ слѣдуетъ». А! такъ вотъ что! И такъ, г. Михайло Кайдановъ оттого скучалъ, что нельзя было волочиться безъ потери по службѣ и даже съ пользою для нея? Очень хорошо? И отъ скуки онъ написалъ три страницы объ обществѣ саратовскомъ такъ живо, что вы, читая ихъ, сейчасъ вспомните нашего общаго пріятеля Ивана Александровича Хлестакова. Особенно развился талантъ путешественника въ Липецкѣ на водахъ. Онъ такое

имѣть предубѣжденіе противъ провинціи, что съ невольнымъ удивленіемъ замѣчаетъ всякій разъ, когда ему встрѣтится человѣкъ «неглупый». Въ Липецкѣ сочинитель танцевалъ съ одной дѣвицею: «оказалось, что, несмотря на незнаніе французскаго языка, моя дама очень умная, любезная дѣвушка и къ тому же очень хороша собою. Сказать правду: ея прелестные глаза, прекрасный цвѣтъ лица остались на долго въ моей памяти. Впрочемъ, для избѣжанія провинціальнаго сплетней, спѣшу оговориться, я не влюбленъ въ нее». Послѣ такого явнаго и печатнаго объясненія, кто же осмѣлится сказать, что г. Ждановъ былъ влюбленъ въ эту прекрасную дѣвицу? Вотъ удобный способъ описывать провинціи, не правда ли? И тонко, и остро, и деликатно!

Послѣ описанія липецкихъ водъ, очень похожаго на письмо Ивана Александровича въ послѣднемъ актѣ «Ревизора», сочинитель отправился въ Воронежъ, остановился тамъ въ гостиницѣ, переодѣлся, напился чаю (стр. 89) и поскакалъ далѣе; по дорогѣ, доказалъ до очевидности, что «прусаки— это кочующій народъ» (стр. 94); на Коренной ярмаркѣ онъ видѣлъ барышень, которыя взявшись подъ руки, вереницами ходили по рядамъ: «сколько изъ нихъ хорошенькихъ, красавицъ!» восклицаетъ онъ. Отъ Курска до Луганскаго литейнаго завода, самымъ замѣчательнымъ происшествіемъ было то, что на почтовомъ дворѣ въ Бахмутѣ очень вѣжливый, услужливый Еврей встрѣтилъ путешественника и тотчасъ велѣлъ запрягать лошадей (стр. 160). По поводу Луганской образцовой фермы, авторъ выписываетъ, со многими ошибками и противъ языка и противъ самого дѣла, изъ одной забытой статейки «Земледѣльческой Газеты», о воздѣльваніи вайды, крапа, вау, сафлора, рапса и табаку (стр. 111—120). Видъ Потемкинскаго дворца въ Екатеринославѣ вызываетъ у г. Жданова глубокомысленное восклицаніе: «Суета суеть!» (стр. 125), а видъ церкви Рождества Богородицы, въ Нижнемъ, другое восклицаніе: «Зачѣмъ я не Викторъ Гюго!»

(стр. 200). Послѣ этого осталось только пріѣхать въ «Хвалынскъ, и разужьется, прямо къ городничему, спросить себѣ рыбы, закусить немного» (стр. 206), бросить прощальный взоръ на положеніе крестьянъ Николаевского уѣзда, и подписать въ заключеніе всего этого — «конецъ», не теряя ничего по службѣ, и даже на этотъ разъ, съ явною пользою для нея.

Вотъ какъ путешествовалъ, въ половинѣ 1838 года, по благословенному царству русскому, одинъ столичный чиновникъ? Неужели, скажете вы, человѣкъ, проскакавшій по 22 губерніямъ, на протяженіи тысячъ 12-ти верстъ, не вынесъ изъ своего путешествія ни одной дѣльной замѣтки, ни одного умнаго наблюденія, ни одной неизвѣстной доселѣ подробности о какомъ-нибудь мѣстѣ? Неужели все сочиненіе составлено изъ замѣтокъ о вафляхъ или фореляхъ, и смѣшныхъ фразахъ о провинціальномъ обществѣ? Увы, точно такъ! отвѣчаемъ мы, съ грустнымъ вздохомъ. — «Богъ съ нею, съ этою книгою, говорите вы: стоитъ ли она чтенія». И подлинно, не стоитъ. Только жалко и смѣшно подумать, что такіе пустяки печатаются, да еще безъ потери для службы, и даже, будто бы, съ пользою для нея!

ПАРАША. *Разсказъ въ стихахъ.* Т. Л. Спб. 1843.

Теперь, когда Лермонтова уже нѣтъ, а прекрасное дарованіе г. Майкова пока не обѣщаетъ ийти дальше антологическаго рода, — поэзія русская если не умерла, но уснула, какъ это всегда съ нею бываетъ, какъ скоро тотъ, кому дано свыше быть ея покровителемъ, или скончается во цвѣтѣ лѣтъ, или измѣнить надеждамъ, которыя подастъ о себѣ. Теперь стихи встрѣчаются только въ журналахъ; между ними попадаютъ и такіе, въ которыхъ есть чувство и замѣтно большее или меньшее дарованіе; но они всѣ лишены присутствія

могучей мысли. А такъ какъ поэзія русская давно уже пережила свой періодъ прекрасныхъ чувствъ и сладостныхъ мечтаній, и еще съ Пушкина начала періодъ мысли,—то теперь проходятъ мимо вниманія публики такія стихотворенія, которыми прежде легко было бы въ одинъ день стяжать славу великаго генія. Другими словами: могучимъ властителемъ душъ нашего времени уже перестали быть «стишки» — въ потребности публики ихъ смѣнила поэзія мысли. Это особенно стало замѣтно послѣ Лермонтова. Вотъ почему, если теперь и нельзя пожаловаться на бѣдность въ стихотворныхъ произведеніяхъ, то нельзя и сказать, чтобъ было что читать по этой части. День появленія въ журналѣ неизвѣстнаго стихотворенія Лермонтова—теперь эпоха въ исторіи русской литературы: стихотвореніе читають, перечитываютъ, списываютъ, вытверживаютъ на память. Стихотворенія, не принадлежащія Лермонтову, тоже прочитываютъ, даже похваляютъ, но съ тѣмъ, чтобъ совершенно забыть ихъ по выходѣ новой книжки журнала. Многіе заключаютъ изъ этого, что вмѣстѣ съ Лермонтовымъ умерла и русская поэзія. Что касается до насъ, мы не раздѣляемъ этого мнѣнія и думаемъ, что русская поэзія не умерла, а только уснула, по обыкновенію, и что по временамъ она будетъ просыпаться и рассказывать намъ свои прекрасные сны — до тѣхъ поръ, пока не явится на Руси новый поэтъ...

Небольшая книжка, на дняхъ появившаяся въ Петербургѣ, подъ скромнымъ названіемъ «рассказа въ стихахъ», есть именно одинъ изъ такихъ прекрасныхъ сновъ на минуту проснувшейся русской поэзіи, какіе давно уже не видѣлись ей. Увѣренные въ глубокомъ снѣ нашей поэзіи, мы взяли за «Парашу» съ явнымъ предубѣжденіемъ, думая найти въ ней—или сантиментальную повѣсть о томъ, какъ онъ любилъ ее, или какъ она вышла замужъ за него, или какую-нибудь юмористическую болтовню о современныхъ нравахъ, написанную прозаическими стихами. Каково же было наше удивленіе, когда,

вмѣсто этого, прочли мы поэмѣ, не только написанную прекрасными поэтическими стихами, но и проникнутую глубокою идеею, полнотою внутренняго содержанія, отличающуюся юморомъ и ироніею!... Однакожь, несмотря на то, увѣренность наша въ тяжеломъ снѣ русской поэзіи была такъ велика, что мы не повѣрили первому впечатлѣнію и прочли снова, — еще лучше! И теперь, когда, отъ многократнаго повторенія чтенія, мы почти знаемъ наизусть прекрасное поэтическое произведеніе, такъ неожиданно, такъ отраднo освѣжившее душу нашу отъ прозы и скуки ежедневнаго быта, — спѣшимъ познакомиться публикѣ съ явленіемъ, которое имѣетъ полное право на ея вниманіе.

Хоть авторъ «Параши» (И. С. Тургеневъ), скрывшій свою фамилію подъ литерами Т. Л., и обозначилъ свое произведеніе скромнымъ именемъ «разказа въ стихахъ», однако оно тѣмъ не менѣе — «поэма», въ томъ смыслѣ, какой усвоенъ Пушкинымъ произведеніямъ такого рода. И такъ, мы будемъ называть «Парашу» поэмой: оно и короче и гораздо справедливѣе, если вспомнить, что «Чернецъ», «Эдда», «Наталья Долгорукая», «Борскій» и тому подобные стихотворные рассказы величались поэмами. Содержаніе «Параши» въ смыслѣ «сюжета» до того просто и немногосложно, что его можно разсказать въ двухъ словахъ: на уѣздной барышнѣ женится помѣщикъ - сосѣдъ, — вотъ и все. Но это не содержаніе, а только канва содержанія; само же содержаніе поэмы такъ полно и богато, что его нельзя передать во всей его жизни, во всей благоуханной свѣжести его поэзіи, не заставляя самого поэта перерывать нашей прозаической рѣчи своими поэтическими стихами.

Прежде всего мы должны обратить вниманіе читателей на эпиграфъ поэмы изъ Лермонтова:

„И не навидимъ мы, и любимъ мы случайно“.

Этотъ эпиграфъ выбранъ авторомъ не въ исполненіе давно

заведеннаго обычая заманивать любопытство читателей загадочнымъ смысломъ чужой рѣчи; нѣтъ, стихъ Лермонтова, какъ мы увидимъ, находится въ живой связи со смысломъ цѣлой поэмы и столько же служитъ объясненіемъ поэмѣ, сколько и самъ объясняется ею. Поэма начинается описаніемъ помѣщичьяго дома съ безобразною наружностію, съ садомъ, похожимъ на огородъ, но съ гротомъ, который любила посѣщать героиня поэмы.

Ея отецъ—помѣщикъ беззаботный,
Сперва служилъ—и долго; наконецъ
Въ отставку вышелъ—и супругой плотной
Обзавелся; теперь большой дѣлецъ!
Живетъ въ ладу съ своими мужичками...
Онъ очень добръ и очень плутовать,
Торгуется и пьетъ чаёкъ съ купцами.
Какъ водится, его супруга—кладъ,
О, сущій кладъ! и умница такая!
А женщина она была простая
Съ лицомъ весьма похожимъ на пирогъ;
Ее супругъ любилъ какъ только могъ.

Дочери этой достойной четы никто не называлъ бы красавицею, но она была стройна, походка ея была легка и плавна, прекрасная нога ловко обута, и если рука была немного велика, за то пальцы были прозрачны и тонки.

Ея лицо мнѣ нравилось... оно
Задумчивою грустію дышало;
Всегда казалось мнѣ: ей суждено
Страданій въ жизни испытать не мало...
И что жъ? мнѣ было больно и смѣшно:
Вздъ въ наши дни спасительно страданье...

Но глаза больше всего въ Парашѣ нравились автору—

Взглядъ этихъ глазъ былъ мягокъ и могучъ—
Но не блестялъ онъ блескомъ торопливымъ;

То былъ онъ ясенъ, какъ весенній лучъ,
То холодомъ проникнуть горделивымъ,
То чуть блистала, какъ мѣсяцъ изъ-за тучъ.
Но взгляды ея задумчиво-спокойный,
Я больше всѣхъ любилъ: я видѣлъ въ немъ
Возможность страсти зорестной и знойной—
Залогъ души, любимой Божествомъ.

Она была не безъ странностей, свойственныхъ «уѣзднымъ барышнямъ»; но не имѣла ничего общаго съ восторженными дѣвицами, мечтательницами и охотницами до сладенькихъ стишковъ:

Она была насмѣшлива, горда,
А гордость—добродѣтель, господа...

Здѣсь мы находимся въ большомъ затрудненіи: поэтъ такъ увлекательно, такъ поэтически описываетъ внутреннюю тревогу дѣвственной души своей героини, что намъ совѣстно было бы пересказывать это нашу убогою прозою, а выписывать стихи — значить переписывать всю поэму... Но это такъ хорошо, что нѣтъ возможности не выписать

. Каждый день,
Я вамъ сказалъ —она въ саду скиталась;
Она любила гордый шумъ и тѣнь
Старинныхъ липъ—и тихо погружалась
Въ отрадную, забывчивую лѣнь.
Такъ весело качались березы,
Облиты сверкающимъ лучемъ...
И по щекамъ ея катились слезы
Тамъ медленно—Богъ вѣдаетъ о чемъ.
То подойди къ убогому забору,
Она стояла по часамъ... и взору
Тогда давала волю... но глядитъ,
Бывало, все на бѣдный рядъ ракушекъ.
Тамъ черезъ ровный лугъ, отъ ихъ села
Верстахъ въ пяти, дорога шла большая;

И, какъ змѣя, свивалась и ползла
И, дальній лѣсъ украдкой обгибая.
Ея всю душу за собой влекла.
Озарена какимъ-то блескомъ дивнымъ,
Земля чужая вдругъ являлась ей...
И кто-то милый голосомъ призывнымъ
Такъ чудно пѣлъ и говорилъ о ней.
Таинственной исполненные муки,
Надъ ней, звеня, носились эти звуки...
И вотъ, искалъ ея молящій взоръ
Другихъ небесъ—высокихъ пышныхъ горъ
И тополей, и трепетныхъ оливъ...
Искалъ земли пѣвнительной и дальней...
Вдругъ русской пѣсни грустный переливъ
Напомнить ей о родинѣ печальной;
Она стоитъ головку наклонивъ,
И надъ собой дивится—и съ улыбкой
Себя бранить; и медленно домой.
Пойдетъ, вздохнувъ... то сломить прутикъ гибкой,
То бросить вдругъ... разсѣянной рукой
Доставитъ книжку—развернетъ, закроетъ,
Любимый шепчетъ стихъ... а сердце ноетъ,
Лицо блѣднѣетъ... въ этотъ чудный часъ
Я, признаюсь, хотѣлъ бы встрѣтить васъ,
О, барышня моя!... Въ тѣни густой
Широкихъ липъ стоите вы безмолвно;
Вдыхаете; надъ вашей головой
Склонилась вѣтвь... а ваше сердце полно
Мучительной и грустной тишиной.
На васъ гляжу я: прелестью степною
Вы дышите—вы нашей Руси дочь...
Вы хороши, какъ вечеръ предъ грозою,
Какъ майская томительная ночь.

Кто получилъ отъ природы благодатную способность понимать поэзію, какъ поэзію—не въ однихъ стихахъ, не въ однихъ книгахъ, но и въ жизни, и въ природѣ,—тѣ согласятся съ нами, что въ этомъ отрывкѣ каждое слово такъ и дышитъ всею роскошью, всею обаяніемъ истинной поэзіи.

Есть два рода поэзіи: одна, какъ талантъ, происходитъ отъ

раздражительности нервъ и живости воображенія; она отличается тѣмъ блескомъ, яркостію красокъ, тою рѣзкою угловатостію формъ, которые мечутся въ глаза толпѣ и увлекаютъ ея вниманіе. Чѣмъ болѣе, повидимому, заключаетъ въ себѣ поэзія, тѣмъ пустѣе она внутри самой себя, ибо она вся въ воображеніи и ничего общаго съ дѣйствительностію не имѣетъ; мысли ея похожи на громкія слова и звучныя фразы, а картины ея похожи только до тѣхъ поръ, пока смотришь на нихъ: отведите глаза, и въ вашемъ воображеніи не останется никакого образа, никакого созерцанія, никакого представленія. — Другая поэзія, какъ талантъ, имѣетъ своимъ источникомъ глубокое чувство дѣйствительности, сердечную симпатію ко всему живому, а потому ея чувства всегда истинны, ея мысли всегда оригинальны, даже и не будучи новыми, ибо онѣ не пойманы извнѣ и на лету, а возникли и выросли въ душѣ поэта. Произведенія такой поэзіи не бросаются въ глаза, но требуютъ, чтобъ въ нихъ вглядывались, и только внимательному взору открывается во всей глубинѣ своей ихъ простая, тихая и цѣломудренная красота. Печать оригинальности составляетъ ихъ неразлучную принадлежность; она есть слѣдствіе способности схватывать сущность, а слѣдовательно, и особенность каждаго предмета. И потому, описанія ея запечатлѣны достовѣрностію, такъ что, еслибъ вы и никогда не видывали описываемаго предмета, вы тѣмъ не менѣе убѣждены, что онъ точно таковъ и другимъ быть не можетъ. Разбираемая нами поэма можетъ служить образцомъ такихъ произведеній. Вотъ вамъ картина неаполитанскаго лѣта:

Прежаркій день—но вовсе не такой,
Какихъ видалъ я на далекомъ югѣ:
Томительно-глубокой синевой
Все небо пышетъ; какъ больной въ недугъ,
Земля горитъ и сохнетъ; подъ скалой
Сверкаетъ море блескомъ нестерпимымъ—
И движется, и дышитъ, и молчитъ...
И всѣ цвѣта подъ тѣмъ неутомимымъ,

Могучимъ солнцемъ рдѣють... дивный видъ!
А вотъ, зарывшись весь въ песокъ блестящій,
Рыбакъ лежитъ, и каждый проходящій
Любуется имъ съ завистью—я самъ
Имъ тоже любовался по часамъ.

Въ этихъ тринадцати стихахъ такая картина, что вамъ ничего не остается ожидать къ ея дополненію, хотя, въ то же время, вы знаете, что тысячи другихъ поэтовъ могли бы ту же картину представить вамъ совсѣмъ иначе, совсѣмъ другими словами. Природа неистощима въ своемъ разнообразіи, и дѣло не въ томъ, чтобъ поэзія представляла ее въ сколько можно обширныхъ и сложныхъ картинахъ, а въ томъ, чтобъ она умѣла схватить особенность каждаго ея явленія. Лѣто—вездѣ лѣто: вездѣ отъ него и жарко, и душно, и пыльно; но въ Неаполѣ свое лѣто, въ Россіи—свое. Первое вы сейчасъ видѣли; вотъ второе:

У насъ не то, хоть и у насъ не радъ
Бываешь жару... точно, жаръ глубокій,
Гроза вдали собирается, трещать
Кузнечики неистово въ высокой,
Сухой травѣ; въ тѣни сноповъ лежать
Жнецы; носы разинули вороны;
Грибами пахнетъ въ рощѣ; тамъ и сямъ
Собаки лаютъ; за водой студеной
Идетъ мужикъ съ кувшиномъ по кустамъ.
Тогда люблю ходить я въ лѣсъ дубовый,
Сидѣть въ тѣни спокойной и суровой
Иль иногда подъ скромнымъ шалашомъ
Бесѣдовать съ разумнымъ мужичкомъ.

Въ такой-то день Параша встрѣтилась съ охотившимся молодымъ человѣкомъ. Мы пропускаемъ большую часть прекрасно изложенныхъ поэтомъ подробностей этой встрѣчи. Скажемъ только, что охотникъ началъ свой разговоръ съ Парашею не восклицаніемъ; «о, дѣва чудная!» или другою какою-нибудь

пошлостью въ этомъ родѣ, но адресовался къ ней съ очень простымъ вопросомъ: «умоляю васъ, скажите, который теперь часъ?» потомъ: «чей это домъ?» а тамъ объявилъ ей, что покойный дѣдъ былъ очень друженъ съ ея отцомъ.

Портретъ незнакомца превосходно очерченъ авторомъ. Это одинъ изъ тѣхъ великихъ маленькихъ людей, которыхъ теперь такъ много развелось, и которые улыбкою презрѣнія и насмѣшки прикрываютъ тощее сердце, праздный умъ и посредственность своей натуры. Онъ былъ за-границею, и вынесъ оттуда множество бесплодныхъ словъ и сомнѣній... У нѣкоторыхъ журналовъ теперь вошло въ манію нападать на такихъ путешественниковъ, и они съ торжествомъ указываютъ на нихъ, какъ на живое доказательство, что нечего за добромъ ѣздить на Западъ. Авторъ «Параши» думаетъ объ этомъ иначе, и, соглашаясь съ нимъ, мы вдругъ вспомнили сказку, нѣкогда переведенную Жуковскимъ «Кабудъ Путешественникъ»... Къ особенностямъ героя поэмы принадлежить и то, что, будучи влюбчивымъ, онъ былъ спокоенъ и горделивъ, а потому и счастливъ въ женщинахъ, удачно обманывая и такихъ между ими, которыхъ самъ не стоилъ; еще: не будучи особенно умнымъ, онъ вполне владѣлъ умомъ, дарованнымъ ему отъ Бога. Говоря о страсти своего героя сгибаться передъ знатію, авторъ очень остроумно признается въ томъ, что любить пустой блескъ большого свѣта, не увлекаясь имъ и смотря на него безъ желанія; онъ очень остроумно подшучиваетъ надъ моральными выходками противъ большого свѣта непризнанныхъ, безхвостыхъ львовъ и львицъ, т. е. людей, которые бранятъ большой свѣтъ за то, что тотъ не хочетъ ихъ знать. Люблю, говоритъ авторъ,

Люблю я пышныхъ комнатъ стройный рядъ
И блескъ и прихоть роскоши старинной...
А женщины... люблю я этотъ взглядъ
Разсѣянный, насмѣшливый и длинный;
Люблю простой, обдуманный нарядъ...

Я этихъ губъ люблю надменный очеркъ.
Задумчиво приподнятую бровь.
Душистыя записки, быстрый почеркъ,
Душистую и быструю любовь;
Люблю я эту поступь, эти плечи,
Небрежныя, заманчивыя рѣчи...
«Но (скажутъ мнѣ) въ свѣта никогда
Вы не встрѣчали женщины прекрасной?»
Такихъ особъ встрѣчалъ я иногда,
И даже въ двухъ влюбился очень страстно;
Какъ полевой цвѣтокъ онѣ всегда
Такъ милы—но, какъ онѣ, свой легкій запахъ
Онѣ теряютъ вдругъ... и Боже мой,
Какъ не завянуть имъ въ неловкихъ лапахъ
Чиновника, довольнаго собой?

Эти стихи не обойдутся автору даромъ: его объявятъ за нихъ «аристократомъ», скажутъ, что внѣшній блескъ предпочитаетъ онѣ душѣ и сердцу, и т. п. По обыкновенію, въ этомъ случаѣ, ему припишутъ то, чего онѣ и не думалъ, и горячо будутъ оспаривать его въ томъ, чего онѣ не говорилъ. Дѣло тутъ идетъ не о душѣ и сердцѣ: поэтъ говоритъ совсѣмъ не о внутренней святинѣ женщины, а о ея поэтической внѣшности, которою могутъ не дорожить только натуры сухія и грубыя. Поэзія формы, изящество внѣшности, которою могутъ не дорожить только натуры сухія и грубыя. Поэзія формы, изящество внѣшности, столь очаровательныя въ женщинѣ, могутъ почестъся исключительными явленіями внѣ большаго свѣта. Женщины другихъ круговъ общества смотрятъ на красоту и изящество, какъ на средство поскорѣ выйдти замужъ. Достигнувъ этой вождельной цѣли, онѣ скоро перестаютъ и пѣть и плакать, и читать сладенькіе стишки, и кокетливо наряжаться, и поэтически держать себя; онѣ предаются прозѣ жизни, скоро полнѣютъ, пристращаются къ утреннему дезабилье, забываютъ музыку, луну, стихи, мечту и т. д. Оттого, до замужества, почти каждая изъ нихъ — ангелъ доброты, дѣва чудная, неземная, Полина или Надина,

а послѣ замужества—солидная дама съ вѣсомъ въ обществѣ, женщина съ характеромъ, Пелагея Петровна и Надежда Алексѣевна. Тутъ есть и другая причина. Юность сама по себѣ есть уже поэзія жизни, и въ юности каждый бываетъ лучше, нежели въ остальное время своей жизни; женщины, въ особенности. Надо имѣть слишкомъ много глубины и силы въ натурѣ, чтобъ не охолодѣть въ прозѣ жизни, сберечь чувство и душу отъ холода дѣйствительности и сохранить юность сердца и въ лѣта зрѣлости и въ годы старости. Но такія натуры слишкомъ рѣдки, и поэзія юности слишкомъ рѣдко бываетъ ручательствомъ за поэзію дальнѣйшихъ возрастовъ. Бракъ есть рѣшительная эпоха въ жизни мужчины, и еще болѣе въ жизни женщины: для обоихъ, это—гробъ поэзіи и колыбель пошлой прозы и очерствѣнія души и чувства. Авторъ «Параши» превосходно охарактеризовалъ эпитетомъ «довольнаго собой» цѣлый разрядъ людей, особенно страшныхъ и гибельныхъ для благоуханной поэзіи женственныхъ существъ. Люди раздѣляются не только на умныхъ и на дураковъ: тѣ и другіе равно рѣдки, и между ними занимаетъ мѣсто огромный разрядъ пошлыхъ людей. Эти люди по большей части умны и не глупы, иногда же между ними попадаютъ люди не безъ ума и не безъ способностей; но главное ихъ качество въ томъ и другомъ случаѣ—довольство самими собою. Эти господа не знаютъ, что такое раскаяніе, стремленіе къ идеалу и тоска отъ невозможности достигъ его, что такое горе безъ несчастія и страданіе при хорошемъ положеніи дѣлъ и добромъ здоровьѣ. Какъ бы ни была глубока и богата духовными дарами натура женщины, но если ея мужемъ сдѣлается одинъ изъ такихъ господъ, ей остаются только двѣ неизбѣжныя дороги: или медленно зачахнуть, или помириться съ жизнію, какъ она есть... Последнее всего чаще случается. Въ высшихъ кругахъ общества, при этомъ не исчезаетъ поэзія внѣшности, и нарядъ остается навсегда обдуманно простъ, взглядъ разсѣянъ, насмѣшливъ и дологъ, и любовь душиста и быстра, какъ за-

писки и почеркъ; но въ среднихъ кругахъ общества, внѣшняя пошлость вѣрно отражаетъ внутреннюю, и милые полевые цвѣтки быстро вянутъ въ неловкихъ лапахъ довольнаго собою чиновника...

На другой день, въ домѣ отца Параша ждутъ гостя. Старикъ надѣлъ фракъ; дочь въ тайномъ волненіи; ея прическа такъ мила, а перчатки такъ свѣжи... Наконецъ гость является. Онъ говоритъ съ стариками, очаровываетъ ихъ, съ Парашею ни слова; но все въ немъ дышало «сознаніемъ внезапнаго сближенія».

И предаваясь дивной тишинѣ,
Онъ наслаждался страстно и вполне.

Поэтъ даже заставляетъ его «пылать святымъ и чистымъ жаромъ» и увѣряетъ, что онъ былъ любимъ... Предупреждая сомнѣніе читателей, авторъ спрашиваетъ ихъ:

Скажите—ваша память мнѣ поможетъ—
Какъ мнѣ назвать ту страстную тоску,
Ту грустную, невольную тревогу,
Которая беретъ васъ понемногу...
Къ чему намъ лицемѣрить, о, друзья!
Ее любовью называю я.

Наступаетъ ночь; хозяинъ приглашаетъ гостя погулять въ саду, и съ своею супругою понемногу отстаетъ отъ молодой четы. Душа Параша не совсѣмъ спокойна, а онъ не начинаетъ разговора за тѣмъ, что боится внезапныхъ ощущеній и чувствительныхъ порывовъ, за тѣмъ, что былъ смущенъ своимъ положеніемъ: онъ клялся въ любви только тогда, когда не любилъ; начиная же чувствовать жаръ любовной лихорадки, онъ зарывалъ свою любовь какъ кладъ. Жаль! прелестныя читательницы, охотницы до сладенькихъ стишковъ и восторженныхъ сценъ, вѣрно ожидали тутъ пламеннаго объясненія, при лунѣ и звѣздахъ; но герой поэмы ужасный прозаикъ: если онъ и допускалъ возможность исключеній, то

въ пошлость вѣрилъ твердо и всегда, и рѣдко ошибался, а о другомъ мѣрѣ не имѣлъ никакого понятія. Что же касается до самого поэта, то чувствительныя и восторженныя читательницы, навѣрное будутъ имъ еще менѣе довольны, нежели героемъ поэмы, и объявятъ его человѣкомъ безъ души и сердца, демономъ, который не вѣритъ любви и презираетъ прекрасное и высокое... Предоставляемъ ему самому защищаться противъ этого грознаго суда, и обратимся къ прерванной нити разсказа.

Сказавъ, что герою поэмы въ саду съ уѣздною барышнею было едва ли отраднѣе, чѣмъ въ аду, авторъ заставляетъ его постепенно таять и объявляетъ—влюбленнымъ! Какъ и почему это сдѣлалось? Поэтъ удовлетворительно отвѣчаетъ на эти вопросы:

Во первыхъ: ночь прекрасная была,
Ночь лѣтняя, спокойная, нѣмая:
Не свѣтила луна, хотя и взошла;
Рѣка, во тьмѣ таинственно сверкая,
Текла вдали... Дорожка къ ней вела:
А листья въ тишинѣ толпой незримой
Лепечуть. Вотъ они сошли въ оврагъ
И словно ихъ движеніемъ гонимый,
Предъ ними разступался мягкій прахъ...
Противиться не могъ онъ обаянью—
Онъ волю далъ безпечному мечтанью,
И улыбался мирно и вздыхалъ...
А свѣжій вѣтръ въ глаза ихъ лобызалъ.
А во вторыхъ: Параша не молчить,
И не вздыхаетъ съ приторной ужимкой,
Но говорить, и просто говорить.
Она такъ мило движется—какъ дымкой
Прозрачной тѣнью трепетно облить
Ея высокій станъ... онъ отдыхаетъ;
Ужъ онъ и радъ, что съ ней они вдвоемъ—
Заговорилъ, а сердце въ ней пылаетъ
Невѣдомымъ, томительнымъ огнемъ.
Ихъ запахомъ встрѣчаетъ кустъ незримый

И, словно тоже страстию томимый,
Вдали, вдали—на рубежъ степей
Греметь, поеть и плачетъ соловей.
И можетъ-быть, онъ началъ понимать
Всю прелесть первыхъ трепетныхъ движеній
Ея души—и сталъ въ немъ умирать
Крикавый рой смѣшныхъ предубѣжденій;
Но ей одной доступна благодать
Любви простой, и дѣтской, и стыдливой...
Нить! о любви не думаетъ она—
Но, какъ листокъ блестящій и стыдливый
Ее несетъ широкая волна...
Все въ этотъ мигъ кругомъ ей улыбалось,
Надъ ней одной все небо наклонялось,
И, колыхаясь медленно, трава
Ей вслѣдъ шептала милыя слова...

Уѣзжая домой, нашъ герой думалъ про себя: «Я радъ со-
сѣдамъ... Онъ человекъ богатый... дочь у нихъ одна и
«притомъ она мила». Думая такъ, онъ гналъ отъ себя дру-
гя, неумѣстные мечты, отголоски давно минувшихъ дней ..
А что же Параша? Ей казалось, что все прежнее, вся жизнь
ея измѣнилась; во снѣ ей видѣлся онъ, а поэту слышится
надъ нею спящею, какой-то «насмѣшливый» голосъ, который
говорить:

«Въ теплый вечеръ, въ уляхъ чистыхъ
«Зрѣютъ свѣтлыя соты;
«Въ теплый вечеръ липъ душистыхъ
«Раскрываются цвѣты;
«И тогда по нимъ слезами
«Потечетъ прозрачный медъ—
«Вьется жадно надъ цвѣтами
«Пчелъ ликующій народъ...
«Наклоня сладострастно
«Свой усталый стебелекъ,
«Гостя милаго напрасно
«Ни одинъ не ждетъ цвѣтокъ.
«Такъ и ты цвѣла стыдливо,
«И въ тебѣ, дитя мое,

«Созрѣвало прихотливо
«Сердце страстное твое...
«И теперь, въ красѣ разцвѣта,
«Обаянія полна,
«Ты стоишь подъ солнцемъ лѣта
«Одинокѣ и пышна.
«Такъ склонись же, стебель стройный;
«Такъ раскройся жь, мой цвѣтокъ;
«*Прилетѣлъ женихъ... достойный*
«Въ твой забытый уголокъ.

Однакожь странно: почему эти прекрасные стихи такъ неожиданно смѣняются такимъ прозаическимъ стихомъ— «съ достойнымъ женихомъ?»... Не забывайте, что эти стихи прозвучалъ насмѣшливый голосъ... Чей же это голосъ?— Должно быть, сатаны: эта догадка тѣмъ основательнѣе, что самъ поэтъ, вслѣдъ за тѣмъ, заставляетъ сатану «поникнуть угрюмою головою надъ любящей четою». Но не ожидайте сцены обольщенія: нашъ поэтъ — писатель **благодѣтельный**, а герой его поэмы не былъ **Донъ-Хуаномъ**—въ этомъ увѣряетъ насъ самъ авторъ:

Мой Викторъ не былъ Донъ-Хуаномъ... ей
Не предстали грозныя волненья.
«Тѣмъ лучше» скажутъ мнѣ: «разгулъ страстей
«Опасенъ» .. *Точно; лучше, безъ сомнѣнья,*
«*Спокойно жить и приживать дѣтей,*—
И не давать, особенно въ началѣ,
Щекамъ пылать.. склоняться головѣ...
А сердцу забываться—и такъ далѣ.
Не правда-ль? Общепринятой молвѣ
Я покоряюсь молча... поздравляю
Парашу—я судьбѣ ее вручаю—
Подобной жизнью будетъ жить она;
А *кажется хохочетъ сатана.*

Мой Викторъ пересталъ любить давно...
Въ немъ снѣзжала горѣли страсти скупю;
Но впрочемъ, тѣмъ же свѣтомъ рѣшено,
Что по любви жениться — даже глупо.
И вотъ въ кого ей было суждено

Влюбиться... Что жь? онъ человекъ прекрасный,
И—какъ умветь—самъ влюбленъ въ нее;
Ея души задумчивой и страстной
Сбылись надежды все... сбылось все
Чему она дать имя не умѣла,
О чемъ молиться смѣла и не смѣла...
Сбылось все... и оба влюблены...
Но все жь мнѣ слышенъ хохотъ сатаны.

Да чему же обрадовался лукавый?... Не готовится ли онъ измѣны, ревности, кинжала, яда, и другихъ золь, которыми нарушается супружеское счастье?... Ничего не бывало! Вы правы, чувствительныя и восторженные читательницы, говоря, что авторъ «Параша» человекъ прозаическій и холодный... Въ самомъ дѣлѣ, оставивъ сатану, онъ вдругъ извѣщаетъ васъ, что онъ долго былъ въ отсутствіи, лѣтъ черезъ пять посѣтилъ влюбленныхъ. Четвертый годъ, какъ они были супругами, и Викторъ какъ-то странно потолстѣлъ; но ее встревожилъ приходъ поэта, напомнивъ ей о прежнемъ, и она даже сгрустнула и поплакала;

Но грусть замужней женщины смѣшна.
Какъ ручеекъ извилистый, но плавный,
Катилась жизнь Прасковьи Николаевны!

Мужъ ее любилъ. «Можетъ быть, вы скажете, что онъ не стѣнилъ ея любви?» говорить поэтъ и отвѣчаетъ такъ: «кто знаетъ!»

Но—Боже! то ли думалъ я, когда,
Исполненный нѣмого обожанья,
Ея душъ я предрекалъ года
Святаго, благодатнаго страданья!
Съ надеждами разставшись навсегда,
Свыклася я съ суровымъ отчужденьемъ,
Но въ ней ласкалъ послѣднюю мечту
И на нее съ таинственнымъ волненьемъ
Глядѣлъ, какъ на любимую звезду...
И что жь? я былъ обманутъ такъ невинно,
Такъ просто, такъ естественно, такъ чинно,

Что въ истинѣ своихъ желаній я
Сталъ сомнѣваться, милые друзья.
И вотъ что ей сулили ночи той,
Той лѣтней ночи страстныхъ мгновенья,
Когда съ такой тревожной быстротой
Въ ея душѣ смѣнялись вдохновенья...
Прощай, Параша!... Время на покой;
Перо къ концу спѣшать нетерпѣливо...
Что жь мнѣ сказать о ней? Признаться вамъ—
Ее никто не назоветъ счастливой
Вполнѣ... она вздыхаетъ по часамъ,
И въ памяти хранить, какъ совершенство,
Невинности нелѣзное блаженство!
Я скоро съ ней разстался... и едва ль
Ее увижу вновь... ее мнѣ жаль...

Если и теперь не для всѣхъ будетъ понятенъ хохоть сатаны, то мы, право, не знаемъ, какъ и объяснить его... Этотъ сатана долженъ быть знакомъ русскимъ читателямъ, потому что они встрѣчались съ нимъ и въ «Онѣгинѣ», и въ «Горѣ отъ Ума», и въ «Ревизорѣ», и въ повѣстяхъ Гоголя, и въ «Герое Нашего Времени», и вмѣстѣ съ нимъ смѣялись или грустили надъ неточнымъ и превратнымъ употребленіемъ разныхъ ежедневно употребляемыхъ словъ. Въ «Парашѣ», навлекло на себя насмѣшку бѣса слово «любовь» и неумѣніе многихъ любить, и умѣніе ихъ дѣлать комедію изъ всякаго чувства. Наши юноши и дѣвы въ любви всего меньше думаютъ о любви, но и тѣ и другія ищутъ въ ней счастья, а счастье любви полагаютъ въ союзѣ съ нимъ и съ нею. Любовь, какъ всякое сильное чувство, какъ всякая глубокая страсть, есть сама себѣ цѣль; для любящихся она — долгъ, требующій служенія и жертвъ, и, предаваясь чувству, они не отступаютъ назадъ, что бы ни сулила имъ развязка ихъ романа — счастливый ли союзъ, или терновый вѣнецъ страданія и безвременную могилу... Но есть люди, которые очень уважаютъ чувство, пока оно сулитъ имъ вѣрное счастье и пока оно не требуетъ отъ нихъ ничего, кромѣ прекрасныхъ

словъ и поэтическихъ восторговъ... И потому участь такихъ людей рѣшается не страсть, не чувство, а теплая лѣтняя ночь и одинокая прогулка, располагающія къ нѣгѣ, мечтательности, и заставляющія расплываться душою и сердцемъ. И какъ иначе? для страсти надо воспитаться, развиться. А для этого надо возрасти въ такой общественной сферѣ, въ которой духовная жизнь черезъ дыханіе входитъ въ человѣка, а не изъ книгъ узнаётся имъ. Только тогда изъ его страсти можетъ выйти или серьезная повѣсть, или высокая драма, а не жалкая комедія, не карикатурная пародія для потѣхи сатаны...

Но, можетъ-быть, все это инымъ читателямъ покажется довольно темно, и они найдутъ очень серьезною развязку повѣсти. Въ самомъ дѣлѣ: влюбились и женились, оба молодые и съ достаткомъ, оба приличная партія другъ другу; дай Богъ такъ всякому!... И то правда! Такимъ читателямъ мы ничего не находимся отвѣтить, и рецензенту остается только извиниться передъ ними словами поэта:

Но вы добры, я слышалъ, и меня,
По глупости, простите ради Бога.

Другіе, можетъ-быть, станутъ благоразумно разсуждать, что выйди Параша, вмѣсто Виктора, за человѣка съ душою возвышенною, сердцемъ страстнымъ, и проч.,—она не утратила бы благоуханія души своей и въ пошломъ спокойствіи не забыла бы жаркаго волненія сердца и сладости страданія... Нѣтъ, еслибъ она была выше своей судьбы, не спокойствіе, а страданіе было бы удѣломъ ея—хотѣли мы сказать, но, вспомнимъ, что предупредительный поэтъ лучше насъ рѣшилъ этотъ вопросъ, мы ограничимся повтореніемъ его словъ:

Мнѣ жаль ея.. быть можетъ, еслибъ рокъ
Ее повелъ другой—другой дорогой...
Но рокъ—такъ всеми принято—жестокъ,
А потому и поступаетъ строго.

Выписанныя нами мѣста изъ поэмы достаточно говорятъ за дарованіе и мастерство автора. Стихъ обнаруживаетъ необыкновенный поэтический талантъ; а вѣрная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная изъ тайника русской жизни, изящная и тонкая иронія, подъ которою скрывается столько чувства, — все это показываетъ въ авторѣ, кромѣ дара творчества, сына нашего времени, носящаго въ груди своей всё скорби и вопросы его. Объ оригинальности мы не говоримъ: она то же, что талантъ — по крайней мѣрѣ, безъ нея нѣтъ таланта. Многіе найдутъ въ поэмѣ слѣды подражанія Пушкину и особенно Лермонтову: это неудивительно, ибо живая историческая послѣдовательность литературныхъ явленій всегда смѣшивается толпою съ холодной и бездушнѣйшей подражательностью. Но люди мыслящіе понимаютъ, что быть подъ неизбѣжнымъ вліяніемъ великихъ мастеровъ родной литературы, проявляя въ своихъ произведеніяхъ упорченное ими литературѣ и обществу, и рабски подражать — совсѣмъ не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающагося, второе — безталантности. Можно поддѣлаться подъ стихъ и подъ манеру писателя, но не подъ духъ и натуру его, ибо можно цѣлый вѣкъ проживать съ чужими словами и чужими манерами, но отъ собственнаго духа и собственной натуры отречься нельзя, каковы бы они ни были — велики или малы... Въ стихахъ г. Т. Л. столько жизни и поэзіи, въ созерцаніи его столько истины и вѣрности, что тутъ всякая мысль о подражательности нелѣпа. Вся поэма проникнута такимъ строгимъ единствомъ мысли, тона, колорита, такъ выдержана, что обличаетъ въ авторѣ не только творческій талантъ, но и зрѣлость и силу таланта, умѣющаго владѣть своимъ предметомъ. Вообще, нельзя не замѣтить, по случаю этой поэмы, какіе великіе успѣхи въ послѣднее время сдѣлали наша поэзія и наше общество; чтобъ убѣдиться въ этомъ, стоитъ только вспомнить о поэмкахъ, являвшихся до «Цыганъ» Пушкина... Иронія и юморъ, овла-

дѣвшіе современною поэзіею, всего лучше доказываютъ ея огромный успѣхъ: ибо отсутствіе ироніи и юмора всегда обличаютъ дѣтское состояніе литературы.

Для любителей мелкихъ прицѣпокъ, укажемъ на четыре неудачные стиха въ «Парашѣ». На стр. 7, строфа IV, стихъ: «Ея два брата умерли чахоткой» не клеится съ цѣлымъ и явно вставленъ для рифмы. Кстати: рифма къ нему «красоткой» нехороша, потому что слово «красотка» по-русски немного вульгарно. На стр. 23, строфа XXXI, въ стихъ «Отъ толпы съ презрѣніемъ отчуждался», вѣроятно есть опечатка, и его должно читать такъ: «Онъ толпы съ презрѣніемъ отчуждался». На стр. 29, послѣдній стихъ XLII-й строфы странно неумѣстенъ («Читатель — я, признайтесь, я смѣшонъ»). На стр. 33, третій стихъ прекрасной XLIX строфы испорченъ неправильнымъ удареніемъ: «Не свѣтила луна, хоть и вошла». — Больше не къ чему придратъся самому мелочному ловцу чужихъ ошибокъ и промаховъ.

Словно гармоническимъ аккордомъ оканчивается поэма послѣднею строфою, оставляя на душѣ глубокой слѣдъ взволнованной думы:

А если кто рассказъ небрежный мой
Прочтеть—и вдругъ задумавшись невольно
На мигъ одинъ поникнетъ головой
И скажетъ мнѣ спасибо: мнѣ довольно...
Тому давно—стоялъ я надъ кормой,
И плыли мы вдоль города чужаго;
Я былъ одинъ на палубѣ... волна
Вздымала насъ и опускала снова...
И вдругъ мнѣ кто-то машетъ изъ окна;—
Ето онъ, когда и гдѣ мы съ нимъ видались,
Не могъ я вспомнить... быстро мы промчались—
Ему въ отвѣтъ и я махнулъ рукой—
И городъ тихо скрылся за горой...

Дай Богъ, чтобъ наша встрѣча съ талантомъ автора «Параша» не была также случайна, но превратилась въ знаком-

ство продолжительное и прочное. Грустно было бы думать, что такой талант—не болѣе, какъ вспышка юности, кипѣніе молодой крови, а не признакъ призванія, и можетъ обмануть возбужденныя имъ ожиданія и надежды, какъ обманула поэта героиня его поэмы...

ФИЗИОЛОГІЯ ТЕАТРОВЪ, ВЪ ПАРИЖѢ И ВЪ ПРОВИНЦІЯХЪ. Соч. Куальяка. Спб. 1843.

ФИЗИОЛОГІЯ ВИВЕРА (ЛЮБИТЕЛЯ НАСЛАЖДЕНІЯ).
Джемса Руссо. Спб. 1843.

Нельзя не удивляться легкости, игривости и остроумію, съ какими Французы воспроизводятъ свою національную жизнь въ юмористическихъ и нравоописательныхъ очеркахъ. Это не то, что наши стопудовыя отзывающіяся потомъ труда и напряженія сатирическія и нравоописательныя статьи и статьи, въ которыхъ денежная спекуляція таращится изображать русскую жизнь и съ-лица и съ-изнанки, а между тѣмъ изображаетъ ее только наизусть, непохожею ни на какую жизнь. Такія статьи у насъ дѣлаются теперь къ картинкамъ, такъ что ихъ и печатаютъ и покупаютъ только для картинокъ. Въ Парижѣ, напротивъ, текстъ и картинки составляютъ союзъ двухъ дарованій, взаимно другъ другу помогающихъ. Доказательствомъ этому могутъ служить хоть вотъ эти двѣ книжки, заглавіе которыхъ выставлено въ началѣ нашей статьи: въ нихъ текстъ объясняетъ картинки, а картинки объясняютъ текстъ; и то и другое вѣрно отражаетъ въ себѣ дѣйствительность. Тѣмъ не менѣе, мы нисколько не радуемся появленію этихъ физиологій на русскомъ языкѣ; скажемъ болѣе: мы видимъ въ нихъ несомнѣнное доказательство той горькой истины, до какого глубокаго униженія и упадка дошла современная русская литература! Она держится и существуетъ не мыслию, не творчествомъ, не умомъ, не

поэзією, выражающимися въ словѣ, — а картинками, которыя забавляютъ праздную толпу взрослыхъ и старыхъ дѣтей. Чтò во Франціи является, какъ мелочь, какъ шутка и забава, отдыхъ отъ дѣла, какъ острое слово, сказанное за веселымъ столомъ, за бокаломъ шампанскаго, — у насъ это съ благоговѣніемъ переводятъ и какъ можно лучше издають. Это шутовское и жалкое благоговѣніе простирается до того, что переводчики, не понимая ироніи, принимаютъ за важное дѣло самыя шутки составителей французскихъ «Физиологій», — и одинъ изъ нихъ, именно переводчикъ «Вивёра», пресерьёзно возражаетъ, въ выноскахъ, на шутки умнаго и остраго Джемса Руссо... А между тѣмъ, педанты кричатъ: вотъ въ чемъ состоитъ французская литература! вотъ какими вздорами наполнена она! Это ужь точно — съ больной головы да на здоровую: Французы виноваты тѣмъ, что умѣютъ и шутить, занимаясь дѣломъ, а мы гордимся предъ ними тѣмъ, что, не дѣлая ничего важнаго, передаемъ дебелимъ языкомъ ихъ легкія и граціозныя дурачества. И чтò интереснаго для нашей публики въ этихъ парижскихъ «физиологіяхъ»? чтò пойметъ она въ нихъ? — Дѣло очень просто: она поступаетъ съ ними такъ же, какъ и съ русскими книжонками этого рода: не читаетъ ихъ, а любитъ одними картинками и только за нихъ платитъ деньги, благо цѣна имъ не высока. Хорошая публика! наконецъ-то наши ловкіе издатели, наши новые книгопродавцы-капиталисты, смѣнившіе Смирдина, который надарилъ тебя дешевыми и красивыми изданіями Крылова, Карамзина, Державина, Жуковскаго, Батюшкова, — наконецъ-то догадались они, чтѣмъ надо имъ тѣшить тебя, добраго недоросля! Глядя на ихъ подвиги по этой части, право, нельзя не удивляться ихъ ловкости и сметливости...

МОЛОДИКЪ, украинскій литературный сборникъ, издаваемый И. Бецимъ. Харьковъ. 1843.

Въ Украинѣ есть своя литература: послѣ «Молодика», въ этомъ не остается никакого сомнѣнія. Что такое «Молодикъ», мы, въ качествѣ Москалей, не знаемъ; знаемъ только, что это альманахъ, наполненный русскими статьями въ стихахъ и прозѣ, которыя многимъ, безъ сомнѣнія, очень понравятся. Харьковъ, по своему многолюдству и красотѣ, сравнительно съ другими губернскими городами, есть нѣкоторымъ образомъ столица Украины, а слѣдовательно и столица украинской литературы, украинской прозы и въ особенности украинскихъ стиховъ. Во всѣхъ русскихъ губерніяхъ, много пишется стиховъ, но въ Харьковѣ особенно. Стихи эти хороши, какъ только могутъ быть хороши провинціальныя стихи; въ столицахъ ихъ читаютъ мало, но за то много читаютъ въ провинціи, особенно на Украинѣ, и еще болѣе, вѣроятно, въ Харьковѣ. Это обстоятельство дѣлаетъ Харьковъ особенно интереснымъ городомъ и возбуждаетъ охоту покороче съ нимъ познакомиться. Вотъ почему, вѣроятно, одинъ изъ владчиковъ «Молодика», г. Основьяненко, пересказываетъ намъ въ «Молодикѣ» старинное преданіе объ «Основаніи Харькова». Г. Основьяненко, какъ извѣстно, владѣетъ необыкновеннымъ талантомъ рассказывать разныя старинныя преданія языкомъ легкимъ и понятнымъ даже простолюдину. Общаемъ бездну удовольствія тому, кто прочтетъ до конца «старинное преданіе» г. Основьяненки. Нельзя не пожалѣть, что въ «Молодикѣ» только и есть, что одна эта украинская статья, а всѣ прочія, или московскія, или нѣмецкія. Въ pendant къ «старинному преданію» г. Основьяненко, очень бы шла статья о Харьковѣ, въ которой было бы показано значеніе этого дѣйствительно замѣчательнаго города Россіи, въ торговомъ, промышленномъ и ученомъ отношеніяхъ; но такой статьи, къ сожалѣнію, въ «Молодикѣ» нѣтъ, а она была бы и лю-

бопытна и полезна. — Очень недуренъ отрывокъ изъ драматическаго сочиненія г. В. Корженевскаго «Горець», но тѣмъ болѣе жаль, что это сочиненіе помѣщено не вполнѣ, а потому теряетъ все свое достоинство. Переводы г. Бецакаго и г-жи Васильковичевой изъ Жанъ-Поль-Рихтера сдѣланы очень хорошо; но нельзя похвалить выбора переводчиковъ; переведенное ими могло бы остаться въ подлинникѣ безъ всякой потери для украинской публики. Сверхъ того, это совсѣмъ не альманачныя статьи. Жанъ-Поль-Рихтеръ—довольно странное явленіе. Это писатель, сверкающій искрами генія, но совсѣмъ не геній. Геній образуется изъ соединенія глубокаго разума съ сильнымъ разсудкомъ: разума въ Жанъ-Полѣ много, но разсудка нѣтъ ни на грошъ, и оттого творенія этого писателя представляютъ собою смѣсь грубой руды съ блестками чистаго золота. Иногда онъ удивляетъ широкостію и глубиною своихъ созерцаній, но чаще—дикостію и уродливостію выраженія и мыслей. Переводить его надо осторожно, избирая одно хорошее и обходя обыкновенное и дурное. Кромѣ того, по своему направленію, Жанъ-Поль принадлежитъ теперь къ писателямъ эпохи, которая для настоящаго времени уже мертва.

Стихотвореній въ «Молодикѣ» множество. Провинціальные поэты дѣятельны, благодаря невзыскательности своей публики и удивительной охотѣ ея къ чтенію стиховъ, которыхъ въ столицахъ, какъ сказано, читаютъ мало, если ихъ достоинство состоитъ только въ томъ, что они—стихи, а не проза. Боже мой, сколько поэтовъ на Украинѣ, и какъ хорошо, т. е. какъ много пишутъ они стиховъ, которые именно — стихи, а не проза! Гг. Бороздна, Дьяченко, Кленовъ, Лукашевичъ, Майсуровъ, Мещерскій, Недолинъ, Руэль, Чужбинскій, Щербина, Щоголевъ: все это украинскіе поэты... Изъ нихъ должно исключить только одного г. Кронеберга, хотя онъ живетъ и въ Харьковѣ. По таланту понимать и переводить Шекспира, г. Кронебергъ принадлежитъ къ замѣчательнымъ поэтамъ рус-

скихъ столицъ. Помѣщенный въ «Молодикѣ» отрывокъ изъ «Гамлета» возбуждаетъ живѣйшее желаніе прочесть весь переводъ этой драмы.

«Молодикъ» украшенъ нѣсколькими піесами, и въ прозѣ и въ стихахъ, петербургскихъ и московскихъ литераторовъ. Г. Погодинъ описываетъ Брюссель и Амстердамъ своими короткими фразами, напоминающими его знаменитые историческіе афоризмы. Эта статья г. Погодина такъ же замѣчательна, какъ и прежніе отрывки изъ его путевыхъ записокъ, которые онъ предлагалъ публикѣ въ «Москвитяинѣ» и «Бесѣдѣ Русскихъ Литераторовъ». Изъ столичныхъ поэтовъ, украсили «Молодикъ» своими стихами гг. Кукольникъ, Бенедиктовъ, Гребенка, Фетъ, Ѳ. Глинка, Шевыревъ. Посмертныя стихотворенія г. Соколовскаго знамениты своею длиннотою и прозаичностію; а три стихотворенія г. Шевырева знамениты тою превыспренностію мысли и выраженія, которыя рѣшительно недоступны уму слабыхъ смертныхъ, къ числу которыхъ мы смиренно и себя причисляемъ.

КАЗАКИ. *Повѣсть Александра Кузьмича. Спб. 1843.*
Двѣ части.

Кто не пишетъ въ наше время романовъ и повѣстей, особенно историческихъ романовъ и повѣстей? Кто? — только люди, ничего не пишущіе! Откуда же эта страсть, въ чемъ ея причины? Объ этомъ можно бы много сказать; но мы на этотъ разъ ограничимся немногими словами. Большая часть пишущаго народа вообразила себѣ, что романъ, особенно историческій, не поэзія, потому что пишется прозою. Эти господа думаютъ, что событія (т. е. завязка или развязка какого-нибудь приключенія, или происшествія) уже само по себѣ такъ интересно, что можетъ занять вниманіе читателя и доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ всегда

бываетъ одно и то же: герой, одаренный всѣми добродѣтелями, красотою и умомъ, влюбляется въ героиню, которая тоже — фениксъ своего пола. За нее обыкновенно сватается какой-нибудь «злодѣй», на сторонѣ котораго отецъ. Слѣдуютъ разныя препятствія и страданія; но вѣрность и постоянство все преодолеваютъ—даже здравый смыслъ,—и герои, по терпѣннн разнхъ несчастій, совокупаются наконецъ законнымъ бракомъ. Къ этому вздору г. сочинитель примѣшаетъ исторію, выведетъ нѣсколько историческихъ лицъ и заставитъ ихъ говорить и дѣйствовать для вождедѣннаго соединенія героевъ своего романа, такъ что у иного такого сочинителя и полтавская битва и бородинское сраженіе даются именно съ этою цѣлью и, кромѣ счастливаго брака глухихъ любовниковъ, не оставляютъ послѣ себя никакихъ результатовъ для міра. Согласитесь, что этакъ писать легко: нечего выдумывать, не надъ чѣмъ думать; взялъ перо—и пошелъ писать! Чудаки—эти сочинители! Они не понимаютъ, что сущность и достоинство романа (и историческаго, и не историческаго) не въ сюжетѣ; что сюжетъ—дѣло всегда готовое: бери только. Чтѣ составлять сюжетъ, напримѣръ, «Ламмермурской невѣсты» Вальтеръ-Скотта? Молодой человекъ любить дѣвушку, которая отвѣчаетъ на его любовь; они объяснились и помѣнялись кольцами; остается только получить согласіе родителей Люціи. Отецъ бы и не прочь отъ этого; но мать, ненавидѣвшая Равенсвуда, имѣніемъ котораго заставила завладѣть своего слабохарактернаго мужа, не хочетъ и слышать объ этомъ союзѣ, и заставляеть свою дочь выйдти замужъ за другаго. Встрѣтивъ неожиданное сопротивленіе со стороны дочери, леди Астонъ пользуется отсутствіемъ Равенсвуда и убѣждаетъ Люцію, что онъ измѣнилъ ей. Бѣдная слабая дѣвушка рѣшается, съ отчаянія, выйдти за немилаго; брачный контрактъ подписанъ ею, вдругъ входитъ въ залу Равенсвудъ, словно обвинительная тѣнь, вызванная изъ гроба вѣроломствомъ. Братья Люціи вызываютъ его на дуэль; онъ прини-

маеть ихъ вызовъ, и удаляется. Вечеромъ того же дня, по-мѣшавшаяся Люція чуть не зарѣзала своего мужа, а Равенсвудъ на утро исчезаетъ въ топкихъ болотахъ, черезъ которыя спѣшить на поединокъ. Тѣмъ и оканчивается романъ. Все это просто, даже обыкновенно. И кому не могъ бы прійти въ голову точно такой же, или подобный сюжетъ? Тысячи такихъ сюжетовъ приходили въ голову тысячѣ писателей,— и между тѣмъ никто не знаетъ ни ихъ именъ, ни ихъ романовъ, а «Ламмермурская Невѣста» Вальтеръ - Скотта извѣстна всему образованному міру и вѣчно будетъ вѣдома ему, какъ драгоценный алмазъ, украшающій корону великаго царя. Въ чемъ же состоитъ превосходство романа Вальтеръ-Скотта предъ тысячею другихъ романовъ съ столь же, или еще болѣе интересными, болѣе заманчивыми сюжетами? Въ талантѣ—скажутъ намъ. Но въ какомъ же талантѣ? Вѣдь таланты бываютъ разные: одинъ владѣеть талантомъ править государствомъ, другой одерживать побѣды на полѣ битвы, третій прорывать каналы и устраивать ходы подъ рѣками, четвертый измѣрять движеніе свѣтилъ небесныхъ, и т. п. Талантомъ поэзіи—скажутъ намъ. Такъ, но и этимъ еще не все сказано. Чтò такое поэзія, въ чемъ состоитъ она?—вотъ вопросъ! Дюжинные сочинители полагаютъ ее въ вымыслахъ воображенія. Но вѣдь и бредъ спящаго, мечты сумасшедшаго—вымыслы фантазіи; однакожь они—не поэзія. Должны же имѣть какой-нибудь опредѣленный характеръ вымыслы поэзіи, чтобъ отличаться отъ всѣхъ вымысловъ другаго рода. «Поэзія есть творческое воспроизведеніе дѣйствительности, какъ возможности». Поэтому, чего не можетъ быть въ дѣйствительности, то ложно и въ поэзіи; другими словами: чего не можетъ быть въ дѣйствительности, то не можетъ быть и поэтическимъ. Такое опредѣленіе поэзіи вводитъ фантазію въ живое органическое соотношеніе съ другими способностями души, и преимущественно—съ разумомъ. Чтобъ умѣть изображать дѣйствительность, мало даже дара творчества: нуженъ

еще разумъ, чтобъ понимать дѣйствительность. Кто хочетъ быть поэтомъ на бумагѣ, тотъ прежде долженъ быть поэтомъ въ душѣ и, по натурѣ своей, видѣть дѣйствительность съ ея поэтической стороны. Поэзія не въ однѣхъ книгахъ: она въ дыханіи жизни, въ чемъ бы не проявлялась эта жизнь—въ природѣ, въ исторіи, или въ частномъ бытѣ человѣка. Такимъ поэтомъ былъ Вальтеръ - Скоттъ, и оттого онъ смѣло могъ брать для своихъ романовъ самые простые, обыкновенные, даже избитые сюжеты, и дѣлать ихъ, въ своихъ романахъ новыми и необыкновенными. Оттого дѣйствующія лица его романовъ — живыя лица, живые люди, а не тѣни, не призраки; ихъ чувства и побужденія, добрыя и злыя, истинны; отношенія другъ къ другу естественны. Оттого, наконецъ, нѣтъ ничего легче, какъ рассказать въ нѣсколькихъ словахъ сюжетъ любимаго романа Вальтеръ - Скотта, и нѣтъ ничего труднѣе, какъ изложить содержаніе его даже въ большой статьѣ. Для истиннаго таланта, канва ничего не стѣбитъ, а важны краски и тѣни, которыми оживить онъ свою канву. Бездарность же, напротивъ, полагаетъ всю важность только въ канвѣ, а о краскахъ и тѣняхъ не думаетъ, не подозрѣвая того, что въ нихъ - то, въ этихъ краскахъ, въ этихъ тѣняхъ, и скрывается поэзія.

Такова новая историческая повѣсть «Казакъ». Сочинитель не жалѣлъ ни бумаги, ни чернилъ, ни словъ, ни фразъ, ни разговоровъ, ни описаній, ни происшествій — всего этого у него вдоволь; нѣтъ одного только — поэзіи! Читаешь, читаешь—въ глазахъ рябитъ, въ головѣ смутно, на душѣ скучно, и спрашиваешь себя: да къ чему же все это? Люди говорятъ, ходятъ, ѣздятъ, пьютъ, ѣдятъ, влюбляются, сражаются — все это, Богъ знаетъ, зачѣмъ и для чего. Да и люди ли это? Нѣтъ, тѣни, или, лучше сказать, марьйонетки дурной работы, приводимыя въ движеніе бѣлыми нитками, рукою неловкаго фокусника. Никакой истины, никакой естественности ни въ характерахъ, ни въ событіяхъ. Герой романа—лицо безцвѣт-

ное. Сочинитель увѣряетъ, что онъ — молодой Малороссъ, жившій въ концѣ XVII и началѣ XVIII вѣка. Но если такъ, — гдѣ же въ его характерѣ черты вѣка и страны? Посмотрите на Андрия Бульбу въ повѣсти Гоголя: это натура страстная, сильная, глубокая, благородная, — и совсѣмъ этимъ дикая и грубая при всей ея нѣжности и поэзии, потому что она родилась и возрасла въ варварское время среди полудикаго общества. А Василій Мурашко г. Кузмича — просто какой-то мечтатель въ родѣ образованнаго департаментскаго чиновника нашего времени, который читаетъ «Пчелку» и хлопаетъ въ Александринскомъ театрѣ. А его возлюбленная Настасья? — барышня изъ французскаго водевиля, передоженнаго на російскіе нравы. Въ чемъ же сюжетъ романа? Карубка, отецъ Настасьи, былъ пріятель покойному отцу Василья и прочитъ за него дочь свою. Карубка не любитъ Мазепы и подозрѣваетъ его въ измѣнѣ царю; но Мазепа позвалъ къ себѣ Карубку, — и тотъ, воротившись отъ него его поклонникомъ и врагомъ царя, прогоняетъ Василья и хочетъ отдать свою дочь за Чечеля. Василій похищаетъ Настасью, но не какъ казакъ, который за минуту готовъ отдать жизнь, а какъ резонёръ изъ плохой повѣсти: надѣлавъ шума, онъ возвращаетъ Настасью отцу, а самъ, съ слугою своимъ Тарко (пародією на Киршу въ «Юріи Милославскомъ»), пробирается къ царскому войску. Потомъ въ него влюбляется Катерина, дочь Скоропадскаго; маленькая сестра ея, съ дѣтскою наивною, высказываетъ тайну любви Катерины, отчего та конфузится и краснѣетъ, а Василій ни о чемъ не догадывается. Ну, точь въ точь сентиментальный романъ изъ чиновнической жизни! Катерина спасаетъ Василья отъ плѣна, а Тарко отъ смерти. Потомъ Василій дружится съ Т—ымъ, молодымъ русскимъ офицеромъ, который страстно влюбленъ въ Катерину, — и оба мечтателя приторными, сладенькими фразами разговариваютъ другъ съ другомъ о своихъ любезныхъ, — точь въ точь два офицера въ любомъ русскомъ водевилѣ, передѣланномъ

съ французскаго, и только что не говорят другъ другу: «монъ-шеръ». На полтавскомъ сраженіи Василій былъ тяжело раненъ, и, не давъ сдѣлать себѣ операци, поскакалъ къ умирающему Карубкѣ (который, подъ именемъ Рябко, отчаянно рѣзался съ Шведами, во изъясненіе своего раскаянія, что позволилъ Мазепѣ обмануть себя). Тамъ Василія опять ранили, и Рябко ѣдетъ къ Настасѣ съ страшною вѣстію. Читатель радуется, что глупый герой не будетъ больше надоѣдать ему своею пошлостію, и что длинная повѣсть кончилась: не тутъ-то было! Эта смерть придумана для эффекта: Василій воскресаетъ, чтобъ жениться и быть счастливымъ въ законномъ супружествѣ, по претерпѣннн толикихъ несчастій. Катерина до послѣдней страницы романа остается блѣдною и томною, любя Василія и только изъ угожденія волѣ родителя выходитъ замужъ за Т—ова. Этотъ Т—овъ есть не кто иной, какъ Петръ Толстой. По исторіи извѣстно, что Скоропадскому хотѣлось выдать замужъ (разумѣется, за кого-нибудь изъ Малороссіянъ) пятнадцатилѣтнюю дочь свою, на что онъ и просилъ разрѣшенія у Петра Великаго; но государь, вѣрный своей политикѣ и своимъ видамъ на Малороссію, далъ такой отвѣтъ Скоропадскому: «Въ ознаменованіе вѣрности, по примѣру своихъ предшественниковъ, гетманъ долженъ сговорить и выдать дочь за одного изъ чиновниковъ великороссійскихъ». Черезъ два года, зять Скоропадскаго, Толстой, получилъ нѣжинскій полкъ, по смерти полковника Жураховскаго, «во уваженіе вѣрной и усердно-радѣтельной службы тестя». Стало-быть, бракъ Толстаго съ дочерью Скоропадскаго былъ дѣломъ политическихъ расчетовъ, безъ всякихъ любовныхъ фразъ. Такъ бы и слѣдовало его изобразить. Но нѣкоторые сочинители не понимаютъ поэзіи истины и дѣйствительности, предпочитая ей шумиху избитыхъ и изношенныхъ вымысловъ празднаго воображенія...

Повѣсть г. Кузьмича, къ сожалѣнію, издана изячно. Говоримъ — «къ сожалѣнію», ибо видѣть прекрасно изданную

пустую книгу такъ же непріятно, какъ видѣть пустаго чело-
вѣка, пользующагося всѣми матеріальными благами жизни.

ПОВѢСТИ ИВАНА ГУДОШНИКА. *Собранныя Нико-
лаемъ Полевымъ. Въ двухъ частяхъ. Спб. 1843.*

Вѣроятно, для весьма многихъ ничего не можетъ быть за-
виднѣе участи стараго сочинителя, долго и неуспѣшно подви-
завшагося на литературномъ поприщѣ и, слѣдовательно, много
написавшаго. Въ самомъ дѣлѣ, если исключить небольшія
обиды, наносимыя самолюбію стараго сочинителя успѣхами
новаго поколѣнія, то это едва ли не счастливѣйшее состоя-
ніе въ человѣческой жизни! Старому сочинителю, написав-
шему на своемъ вѣку нѣсколько десятковъ повѣстей и ро-
мановъ, пять-шесть сочиненій историческихъ, полсотни патріо-
тическихъ драмъ, представлений, былей, небылицъ и анек-
дотовъ, сотню водевилей и нѣсколько сотенъ юмористиче-
скихъ, сатирическихъ и нравственно-философическихъ отрыв-
ковъ, замѣчаній и афоризмовъ, — на закатѣ дней остается
только очень пріятное и легкое занятіе: издавать плоды мно-
голѣтнихъ трудовъ своихъ и получать за нихъ деньги съ
почтенѣйшей публики... Не правда ли, завидное положеніе?...
Но и въ немъ есть непріятная сторона. Оно можетъ быть
вполнѣ хорошо только при одномъ, весьма важномъ условіи—
именно, если публика не разлюбила стараго сочинителя и
не охладѣла къ его сочиненіямъ. А это то, на бѣду старыхъ
сочинителей, случается очень рѣдко. Надобно, чтобъ сочинитель
обладалъ слишкомъ могучимъ дарованіемъ, или чтобъ предметы,
о которыхъ писалъ онъ въ свое время, заключали въ себѣ
какой-нибудь особенный интересъ для поколѣнія, смѣнившаго
его публику; иначе «труды» стараго сочинителя не привле-
кутъ ничего вниманія, и издавать ихъ вновь—то же, что
созидать капище въ честь идоловъ, которымъ поклонялись

наши незаренные свѣтомъ христіанства предки, но которымъ теперь никто ужъ не поклоняется. Гораздо чаще случается, и мы видимъ тому ежедневно примѣры, что старые сочинители выходятъ изъ себя отъ охлажденія къ нимъ публики и, совершенно забытые ею, употребляютъ тысячи усилій, часто весьма забавныхъ, чтобъ снова добыть себѣ поклонниковъ, бросаются на самые новые роды литературныхъ произведеній, ожесточенно преслѣдуютъ въ литературѣ все великое и истинно прекрасное, предъ чѣмъ впервые поблѣднѣли и показались въ настоящемъ своемъ видѣ жалкія порожденія ихъ скудной фантазіи, и наконецъ, истощившись въ безполезныхъ усиліяхъ, съ судорожнымъ, болѣзненнымъ жаромъ, проклинаютъ, надъ грудой вновь изданныхъ, но, увы!—нераскупленныхъ своихъ сочиненій, и новый міръ, и новое время, и новыя идеи,—какъ будто человѣчество виновато, что оно ушло впередъ, и какъ-будто было бы лучше, еслибъ оно оставилось на той точкѣ прогресса, на которой время застигло жалкіхъ старыхъ сочинителей!...

У насъ, въ настоящее время, есть много сочинителей, которые въ печатныхъ обращеніяхъ другъ къ другу давно уже взаимно называютъ себя «заслуженными литераторами», «ветеранами русской литературы», «учениками Дмитріева и Карамзина» и т. п. Нѣкоторые изъ такихъ сочинителей уже предпринимали новыя изданія своихъ сочиненій, но, испуганные плохимъ расходомъ ихъ въ публикѣ, остановились, вѣроятно, поджидая времени болѣе благопріятнаго, которое, впрочемъ, едва ли наступитъ. Другіе, еще болѣе ослѣпленные своими мнимыми достоинствами и заслугами, продолжаютъ возобновлять свои старыя писанія, находя, вѣроятно, въ столь невинномъ занятіи, утѣшеніе и усладу при огорченіяхъ и неудачахъ преклонныхъ лѣтъ.

Въ 1840 году, г. Полевой собралъ нѣсколько критическихъ статей своихъ, писанныхъ имъ для «Библіотеки для Чтенія» (гдѣ онѣ помѣщались, по собственному сознанію сочинителя,

съ чужими поправками, искаженіями и вставками), и издалъ въ двухъ томахъ подъ названіемъ «Очерки Русской Литературы». Книга вызвала только весьма двусмысленную улыбку на уста рецензентовъ и нѣкоторой части публики своимъ «введеніемъ», исполненнымъ странными признаніями à la Jules Janin, и осталась въ книжныхъ лавкахъ: залпъ выспихъ взглядовъ, которыми она была нагружена, не попалъ ни въ голову, ни въ карманы читателей. Затѣмъ, въ недавнемъ времени, г. Полевой предпринялъ полное изданіе своихъ драматическихъ сочиненій и переводовъ, которые, сначала «поштучно», погребались въ одномъ театральномъ сборникѣ и были его украшеніемъ.

Успѣхъ полного изданія «Драматическихъ Сочиненій и Переводовъ» былъ незавиднѣе успѣха критическихъ очерковъ. Теперь г. Полевой, при содѣйствіи какого-то книгопродавца Штукина, котораго имя въ первый разъ встрѣчается въ печати, подарилъ публику изданіемъ «Повѣстей Ивана Гудошника». Нѣкогда, въ блаженное старое время, лѣтъ пятнадцать назадъ, можетъ-быть, были люди, которымъ нравились историческія сказочки, гдѣ плавнымъ и величественнымъ слогомъ рассказывалось о томъ, какъ жили «наши предки Словене», и гдѣ, между тѣмъ, не было ничего похожего на жизнь нашихъ предковъ, гдѣ безбожно коверкался современный русскій языкъ въ тщетныхъ усиліяхъ поддѣлаться подъ ладъ старинной рѣчи; гдѣ, наконецъ, герои и героини падали въ обморокъ и говорили чувствительныя фразы, въ родѣ тѣхъ, какія встрѣчаются на каждой страницѣ «Кузмы Мирошева» и подобныхъ ему плохихъ романовъ. Но теперь, едва ли найдется такой добрый и невзыскательный человѣкъ, которому могли бы понравиться «Разказы Ивана Гудошника». Всѣ эти рассказы такъ скучны и до того проникнуты добродушною, умилительною пошлостью, что рѣшительно ни котораго изъ нихъ дочитать до конца нѣтъ возможности. И такъ, разбирать ихъ подробно — значило бы дѣлать имъ честь, которой они

не заслуживаютъ. Въ началѣ первой части, помѣщено предисловіе, которое поражаетъ какою-то ненатуральною задушевностью и приторною, тоже не совѣмъ естественною, любезностью, въ дравле-словенскомъ вкусѣ. Въ немъ, между прочимъ, высказывается мнѣніе г. Полеваго, будто бы не должно бранить того, что уже давно написано. Полно, такъ ли?... Мы, съ своей стороны, думаемъ совершенно иначе. По нашему мнѣнію, все дурное, являющееся въ печати, когда бы оно писано ни было, журналъ долженъ подвергать осужденію, — потому что предостерегать публику отъ плохихъ сочиненій, есть одна изъ главнѣйшихъ обязанностей добросовѣстнаго журнала...

КНЯЗЬ КУРВОКІЙ, *историческій романъ изъ событій XVI вѣка. Соч. Бориса Федорова. Въ четырехъ частяхъ. Спб. 1843.*

Кто не знаетъ Бориса Михайловича Ф(Ѳ)едорова? Это безспорно одинъ изъ знаменитѣйшихъ писателей нашего времени. На изчисленіе всѣхъ заслугъ его потребовалась бы цѣлая книга... Дѣйствительно, никто не доставлялъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ много торжествъ добродѣтели, никто столько разъ не казнилъ въ нихъ порока, какъ доблестный борзописецъ, о которомъ говоримъ мы: Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ дѣлалъ то и другое, по крайней мѣрѣ тысячу разъ, — и если свѣтъ не сдѣлался лучше, если добродѣтель по прежнему пребываетъ въ угнетеніи, а порокъ торжествуетъ, то ужь, конечно, не отъ недостатка дѣятельности сего сочинителя, а отъ того, что свѣтъ былъ чрезвычайно испорченъ прежде, нежели сочинитель сей началъ дѣйствовать. Не говоря уже о безчисленномъ количествѣ дѣтскихъ книгъ, которыхъ, къ сожалѣнію, никто не помнитъ и не читаетъ, Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ написалъ нѣсколько сказокъ, между прочимъ «Віо-

летту», одно из остроумнѣйшихъ «аллегорическихъ сочиненій», какія только когда-либо писались руками смертныхъ. Сверхъ того, въ продолженіе многихъ лѣтъ, въ «Трудахъ», издававшихся «Россійской Академіею», печатались постоянно стихотворенія Б. М. Ф(Ѳ)едорова, писанныя, большею частію, на разныя торжественныя случаи... Но и это еще не все. Въ короткіе промежутки, оставшіеся отъ столь важныхъ и разнообразныхъ занятій Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ изрѣдка возвышалъ свой голосъ въ нѣкоторыхъ повременихъ изданіяхъ, и есть, говорятъ, счастливые журналы, которые могутъ насчитать у себя по нѣскольку страницъ, украшенныхъ плодами вдохновенной музы сего дѣятельнаго сочинителя... Нѣтъ сомнѣнія, что столь неусыпные и многочисленныя труды давно уже доставили бы Б. М. Ф(Ѳ)едорову по крайней мѣрѣ вѣнецъ безсмертія, еслибъ на нихъ было обращено хоть какое-нибудь вниманіе благодарною публикою... Здѣсь время сказать, что, при всѣхъ достоинствахъ Б. М. Ф(Ѳ)едорова, изслѣданныхъ выше, онъ еще и глубочайшій философъ. Извѣстно, что сочиненія его, отъ перваго до послѣдняго, по какому-то странному и необъяснимому случаю, всѣми журналами единогласно подвергались и подвергаются жестокиѣмъ насмѣшкамъ и порицаніямъ. О дѣтскихъ книжкахъ его столько наговорено остротъ, и забавныхъ и пошлыхъ, что пересчитать ихъ нѣтъ возможности. Недавно еще одинъ журналъ серьезно рассказывалъ, что дѣтямъ за какую-то шалость, предлагали на выборъ два наказанія: чтеніе нравоучительныхъ сказокъ Бориса Михайловича или розги, и что дѣти избрали послѣднее. Баллимахъ дѣтскихъ книгъ, Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ перенесъ эту и тысячи подобныхъ ей насмѣшекъ, съ терпѣніемъ истинно стоическимъ. Въ возмездіе за все, онъ только продолжалъ ревностно и неусыпно трудиться на своемъ блестящемъ поприщѣ. И, вслѣдъ за осмѣянной книгой, выпускалъ другую, которая подвергалась не лучшей участи. Не было еще примѣра, чтобы хоть одинъ журналъ, сколько-нибудь одаренный здоровымъ смы-

сломъ и уважающій своихъ читателей, похвалилъ хоть одну строку, написанную Б. М. Ф(Ѳ)едоровымъ, а между тѣмъ Борисъ Михайловичъ донынѣ ревностно продолжаетъ писать! Не вѣрить онъ, что для «сочинительства» недостаточно одной страсти марать бумагу, какъ бы ни была сильна эта страсть,— не вѣрить, что добродѣтель, торжествующая въ его описаніяхъ, ничего не выигрываетъ отъ его усилій,—не вѣрить, что дѣтскія книги его пошлы и бесполезны, сатирическія иносказанія пошлы и никому не вредны, торжественныя и другія стихотворенія наводятъ дремоту; даже крайне плохая продажа книгъ, одно изъ очевидныхъ доказательствъ негодности литературнаго товара, не разувѣряетъ его въ достоинствѣ его сочиненій... Чтѣ жъ тутъ дѣлать!...

Да; Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ, къ несчастію, не только не перестаетъ писать, но даже въ послѣднее время значительно расширилъ кругъ своей дѣятельности. Крайняя испорченность настоящаго поколѣнія взрослыхъ людей, совершенно нечитающихъ сочиненій Бориса Михайловича, внушила ему мысль, что недостаточно заботиться объ исправленіи одного «юношества» тамъ, гдѣ всѣ члены общества заражены пороками. И онъ рѣшился... Продолжая поучать «юношество», онъ двадцать лѣтъ носилъ въ душѣ своей идею о возвращеніи на путь истинный всѣхъ и-каждаго, и наконецъ издалъ книгу, въ которой филантропическая и глубоко нравственная идея его является въ полномъ блескѣ. Эта книга—«Князь Курбскій»; она названа еще «историческимъ романомъ изъ событій XVI столѣтія»...

Здѣсь уже не дѣтямъ, но всему человѣчеству, безъ различія пола и возраста, говоритъ Борисъ Михайловичъ,—съ чрезвычайными ошибками противъ грамматики, т. е. синтаксиса и умѣнья ставить знаки препинанія,—что добродѣтель полезна, и рано ли, поздно ли, будетъ торжествовать, а порокъ вреденъ и непременно будетъ наказанъ. Вотъ собственныя слова Бориса Михайловича:

«Цѣль моего романа: (*двоеточіе*)!... показать, что никакія доблести, никакія заслуги не оградятъ отъ стыда и укоровъ; (*точка съ запятой!*) преступника предъ царемъ и отечествомъ; въ самой славѣ онъ не можетъ быть счастливъ, и казнится — въ собственной своей совѣсти».

Кто бы не узналъ, по однимъ этимъ строкамъ, почтеннѣйшаго Б. М. Ф(Ѳ)едорова, еслибъ даже на романъ не было его имени?... «За преступленіями слѣдуютъ угрызения совѣсти». Глубокая, оригинальная истина! Вы, можетъ-быть, скажете, что ее всѣ уже давно знаютъ безъ Б. М. Ф(Ѳ)едорова; что не стоило писать четырехъ частей для доказательствъ того —

Въ чемъ всѣ увѣрены давно;

что идея, которую избралъ Борисъ Михайловичъ, тысячу разъ была уже развиваема въ букваряхъ и прописяхъ... Все такъ; но у Б. М. Ф(Ѳ)едорова свои понятія о цѣляхъ, которыя должно избирать для сочиненія романовъ... Предоставляя себѣ удовольствіе возвратиться, въ концѣ статьи, къ предисловію, изъ котораго мы заимствовали вышеприведенныя строки и въ которомъ еще осталось много подобныхъ имъ, взглянемъ теперь на самый романъ, написанный съ такою прекрасною цѣлью.

Дѣйствіе романа начинается во время войны Русскихъ съ Ливоніею. «Россіяне», подъ предводительствомъ князя Курбскаго и другихъ славныхъ «мужей», празднуютъ за побѣдой побѣду. А въ Москвѣ, между тѣмъ, царь Іоаннъ Васильевичъ производитъ судъ и расправу: Адашевъ, Сильвестръ и многіе бояре, по навѣстамъ клеветниковъ, обвинены въ колдовствѣ и въ изведеніи чародѣйнымъ зельемъ царицы Анастасіи, которая на бѣду ихъ, около того времени умерла. Все это узнаемъ мы изъ разговоровъ бояръ, осаждающихъ ливонскіе города. За тѣмъ слѣдуетъ описаніе любви рыцаря Топпенберга къ дочери дерптскаго гражданина Риделя, Миннѣ. Ридель былъ богатъ, Минна прекрасна; удивительно ли, замѣчаетъ сочи-

нитель, что Тонненбергъ старался ей понравиться? Между рыцарями, Минна никого не видала отважнѣе и прекраснѣе: удивительно ли, продолжаетъ тотъ же сочинитель, что онъ нравился ей?

Юность его красовалась мужественнымъ видомъ, стройный станъ придавалъ ему величавость. Страстный взоръ часто безмолвный изъяснитель любви, и Минна, не понимая чувствъ своихъ, краснѣя застенчиво, опускала въ землю свои прелестные глаза голубые, встречаясь съ краснорѣчивыми взорами рыцаря, но снова желала ихъ встрѣтить. (*Какое сказано?*) Тонненбергъ невинному сердцу льстилъ такъ приятно, что прелестное личико Минны невольно обращалось къ нему, какъ *челнокъ по разлукѣ съ солнцемъ тоскующій*. При Тонненбергѣ ей въ шумныхъ собраніяхъ рыцарей не было скучно, безъ него и на вечеринкахъ не было весело. Прежде Минна любила подразнить новымъ нарядомъ завистливыхъ ратсгерскихъ дочекъ, но когда привыкла видѣть Тонненберга, то лишь тотъ нарядъ ей казался красивѣе, которымъ онъ любовался и самое легкое блестящее ожерелье тяготило ее, когда рыцарь отлучался изъ Дерпта.

До такой-то степени новыми, оригинальными, грамматически правильными фразами изображаетъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ любовь героевъ своего «сочиненія». Но рука его еще не расходилась; посмотрите, что будетъ дальше. Въ Минну влюбленъ также дворянинъ Вирландъ, котораго сочинитель выдаетъ за величайшаго остряка и насмѣшника. Вотъ образчикъ остроумія Вирланда. Рѣчь идетъ о рыцарѣ Зейденталѣ, который со всѣмъ соглашается, по привычкѣ, какъ думаетъ Ридель. «Этого не скажу (замѣчаетъ острякъ). Онъ соглашается потому, что иначе бы долженъ молчать, а молчать всю жизнь, также трудно какъ баронессѣ Крокштейнъ перестать говорить».

Чертовски остро!... Вирландъ старается всѣми силами замарать Тонненберга въ глазахъ «почтеннаго родителя» Минны и, наконецъ, посредствомъ какого-то письма, успѣваетъ въ своемъ намѣреніи. Ридель запретилъ Тонненбергу приходить къ нему въ домъ. Минна плачетъ, и въ одинъ прекрасный

день пропадаетъ; въ то же самое время пропадаетъ и Вирландъ, котораго всё считаютъ похитителемъ Минны. Тонненбергъ является къ огорченному родителю и вторично подучаетъ отъ него согласіе на бракъ съ Минной, если рыцарю удастся найти ее. Слѣдуетъ глава восьмая: «Болѣзненный Одръ». «Жизнь человѣческая», говоритъ Борисъ Михайловичъ, «подобна дню, который то проясняется, то вдругъ становится сумрачнымъ». Адашевъ, признанный достойнымъ смертной казни и только по особой милости разжалованный изъ воеводъ въ намѣстники выжженнаго Феллина, захворалъ. «Глаза его не могли узнавать окружающихъ. Тоскуя, въ жару бросался онъ изъ края въ край одра своего; то вдругъ вскакивалъ, то опускался безъ чувствъ на ложе; лицо его рдѣло, дыханіе ускорилося, уста засохли—и ничто не могло утолить жажды его». Онъ умеръ; «печать тлѣнія изобразилась на лицѣ прекрасномъ». Курбскій, простившись съ покойникомъ, отправился въ Москву. При вѣздѣ, онъ встрѣтилъ похоронный поѣздъ: хоронили жену Адашева. Иоаннъ Васильевичъ, между тѣмъ, продолжалъ казнить адашевцевъ. Заступничество Курбскаго только усилило ярость царя; самъ Курбскій подпалъ его гнѣву. Въ возникшей вслѣдъ за тѣмъ войнѣ съ Поляками, Курбскій оказалъ много мужества и предусмотрительности; но неудача подъ Новлемъ все испортила. Чтобъ унижить Курбскаго, Иоаннъ послалъ ему повелѣніе быть намѣстникомъ Юрьева. Здѣсь негодующій Курбскій узналъ, что самой его жизни угрожаетъ опасность. Тогда онъ рѣшился бѣжать. Поручивъ рыцарю Тонненбергу проводить жену и сына въ Нарву, къ Головинымъ, Курбскій сталъ приготовляться въ путь. Слѣдуетъ чувствительная картина. Тонненбергъ влюбился въ жену Курбскаго и, вмѣсто того, чтобъ везти въ Нарву, привезъ ее въ свой замокъ, окруженный подъемными мостами. Тутъ онъ открылъ ей любовь свою. «Злодѣй!» отвѣчала ему княгиня, со всѣмъ достоинствомъ оскорбленной добродѣтели: «ты забываешь, что говоришь съ женою князя Курбскаго, ты можешь держать»

меня въ неволѣ, даже лишитъ жизни, но кромѣ презрѣнія ничего не увидишь въ глазахъ моихъ». — Ночью княгиня подслушала разговоръ Тонненберга съ его приближенными, и узнала, что онъ дѣйствительно ужасный злодѣй. Богъ знаетъ, чѣмъ бы кончились наступательныя дѣйствія Тонненберга, еслибъ сама судьба не поспѣшила на выручку добродѣтели злополучной княгини: Тонненбергъ возвращаясь однажды съ добычи, былъ застигнутъ наводненіемъ и утонулъ. Всѣ жертвы, томившіяся въ замкѣ, получили свободу. Между ними княгиня знала Вирланда и Минну, которую, какъ теперь оказалось, похитилъ Тонненбергъ, вмѣстѣ съ остроумнымъ ея обожателемъ. Княгиня рѣшилась идти въ Нарву, но на дорогѣ заблудилась и попала въ хижину къ рыжему Эстонцу, который сначала хотѣлъ ее убить, а потомъ сжалился и предложилъ ей у себя пріютъ. Она жила у Эстонца нѣсколько лѣтъ. Эстонецъ имѣлъ обыкновеніе отправляться за дровами съ ея сыномъ; въ одну изъ такихъ поѣздокъ, Эстонца съѣли волки, а Юрій, по уши завязшій въ снѣгу, былъ вытаскенъ проѣзжимъ купцомъ и взятъ имъ на воспитаніе. Оплакавъ краснорѣчиво, хоть и безграмотно, потерю сына, княгиня отправилась въ Нарву. Для чего она не сдѣлала того прежде? спросите вы. Богъ ее знаетъ! ужъ видно такова была у нея натура! Между тѣмъ, Курбскій явился при дворѣ Сигизмунда и былъ принятъ чрезвычайно ласково. Король нарекъ его княземъ Ковельскимъ, осыпалъ богатствомъ и почестями и поставилъ на ряду съ первѣйшими своими вельможами. Но ничто не радуется измѣнника; ему тяжело на чужой землѣ; «въ самой славѣ онъ не можетъ быть счастливъ и — казнится въ собственной совѣсти»... Замѣчаете: цѣль романа видимо достигается!... Участіе, которое принималъ Курбскій въ непріязненныхъ дѣйствіяхъ Сигизмунда и потомъ Стефана Баторія противъ Россіи, еще болѣе увеличило его терзанія; бракъ съ графинею Дубровицкою совсѣмъ не имѣлъ тѣхъ послѣдствій, какихъ ожидалъ Курбскій: графиня оказалась вѣтре-

ною, пустою и капризною женщиною. Курбскій развелся съ женою, и въ ковельскомъ замкѣ своемъ, отъ нечего дѣлать, принялся наблюдать за полетомъ птицъ, сопровождая свои наблюденія чувствительными тирадами, въ родѣ слѣдующей:

«Онѣ (птицы) летятъ туда, гдѣ странствуетъ Гликерія (прежняя жена Курбскаго) съ сыномъ моимъ. Можетъ быть онѣ пролетали передъ ними, а я еще не скоро увижу родныхъ! Для чего я не могу увидѣть оставленныхъ мною? Не могу уже подать имъ помощи, и облегчить жребій ихъ, мнѣ самому безвѣстный! Летите птицы, вы возвратитесь въ прежній пріютъ свой, а я бѣжалъ изъ отечества!»

Такъ, именно такъ долженъ былъ думать и говорить Курбскій. Б. М. Ф(θ)едоровъ, такъ мастерски представившій его въ важнѣйшихъ случаяхъ жизни резонёромъ и селадоннымъ вздыхателемъ, а въ остальныхъ негодаемъ и глушцомъ, — правъ какъ нельзя болѣе. Да и можетъ ли ошибиться такой опытный и стародавній сочинитель?...

Но далѣе. Княгиня Курбская, узнавъ о вторичномъ бракѣ своего невѣрнаго супруга, сперва, какъ водится, упала въ обморокъ, а потомъ уѣхала въ Тихвинскую обитель и тамъ постриглась. Туда же прибыла прежняя воспитанница княгини, четвертая жена Іоанна Васильевича, Анна Колтовская. «Пріятность вида кроткой Анны», говоритъ Б. М. Ф(θ)едоровъ, «возбуждала общее удивленіе». Игуменья повела ее по кельямъ; въ одной изъ монахинь царица узнала прежнюю свою воспитательницу — княгиню Курбскую.

— «Неисповѣдимы судьбы Господни! воскликнула княгиня, *осмелюетъ руками*. — Царица приходитъ ко мнѣ, и я въ ней вижу свою питомицу! Богъ возвеличилъ твое смиреніе и утѣшилъ меня твоимъ присутствіемъ!»

— Велика ко мнѣ милость его! воскликнула Анна, — когда я еще вижу тебя. Здѣсь отрада душъ моей! Здѣсь въ благоговѣйныхъ молитвахъ прославляется имя Господне!

Когда царица прибыла въ Тихвинскую обитель, княгиня Курбская была уже на краю гроба. День-ото дня станови-

лось ей хуже. Послали за исповѣдникомъ. «Пришелъ почтенный старецъ въ сопровожденіи юнаго черноризца, его послушника». Молодой инокъ не сводилъ глазъ съ княгини.

«И она взглянула на него; до того времени не обращала она вниманія на окружающихъ ее, предавшись благоговѣйному чувству, но тутъ она *быстро, быстро* устремила взоръ на него, приподнялась, качая головою; сердце ея сказалося ей воскресшею надеждою: всѣ черты ея сына представились ей въ лицѣ инока, и она простерла къ нему дрожащія руки. «Сынъ мой, Юрій!» *исторлось* изъ устъ ея».

Въ заключеніе, княгиня взяла съ Юрія обѣщаніе отправиться къ отцу, и умерла. «О, родительница!» воскликнулъ Юрій, и упалъ безъ чувствъ на трупъ ея. — Князь Курбскій продолжалъ слѣдить, въ своемъ ковельскомъ замкѣ, за полетомъ птицъ и попрежнему говорилъ къ нимъ чувствительныя тирады, когда ему доложили о русскомъ странникѣ, который желаетъ съ нимъ увидѣться. Вошелъ Юрій. Курбскій не узналъ сына, и тотъ не счелъ нужнымъ открыться. Болѣе года жилъ онъ въ замкѣ отца подъ именемъ инока, разсуждая съ нимъ о любезномъ ихъ сердцу отечествѣ.

«Въ сихъ разговорахъ непримѣтно проходило время. Курбскій(,) *предаваясь стремленію мыслей, забывалъ свою скорбь и, удивляясь ли, что Юліанъ слушалъ его съ восторгомъ. Ему пріятно было питать дѣятельность размышленій его отца, чтобы только успокоить болѣзненное чувство его души.*

Наконецъ ему наскучило такое прекрасное занятіе, и онъ однажды сказалъ отцу, что, можетъ-быть, сынъ его живъ.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Курбскій, онъ погибъ съ моею Гликеріею; вѣрный слуга мой не нашелъ слѣдовъ ихъ; были и другіе слухи, но не оправдались. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что они (*слухи?*) погибли; я увѣрился въ смерти ихъ (?).

«Сынъ твой живъ?» *вскричалъ* Юліанъ, не удерживая болѣе порыва сердечнаго... «Ужели ты не узнаешь меня, *злополучный родитель?*»

Слѣдуютъ обниманія, цѣлованія и разсматриваніе какого-то рубца, по которому выходитъ, какъ дважды-два, что Юрій

дѣйствительно сынъ Курбскаго. Радуются; потомъ снова плачутъ. Чтобъ искупить грѣхи «злополучнаго родителя», Юрій рѣшается на великую жертву: онъ становится въ ряду русскихъ воиновъ, дерется съ Поляками и погибаетъ. Вскорѣ послѣ того въ Польшу приходитъ вѣсть о кончинѣ Іоанна Васильевича, а вслѣдъ затѣмъ умираетъ Стефанъ Баторій. Курбскій, забывъ свои немощи, спѣшитъ въ Гродно поклониться царственному праху своего покровителя. На дорогѣ онъ останавливается въ корчмѣ и здѣсь встрѣчается съ призракомъ, явленіе котораго Борисъ Михайловичъ изображаетъ слѣдующимъ образомъ:

Курбскій лежалъ на одрѣ, но тревоженъ былъ сонъ его, и глаза по временамъ открывались въ смутной дремотѣ. Внезапно слышитъ онъ шумъ... слышитъ, какъ хлопнуло окно при сильномъ порывѣ вѣтра... и въ сію минуту кто-то появился. Курбскій не вѣрять глазамъ своимъ: при свѣтѣ лампы, онъ видитъ самого Грознаго, въ черной одеждѣ инока: его волнистая *брада*, его посохъ остроко-
нечный.

Курбскій содрогнулся.—Что тебѣ? вскричалъ онъ, торопливо под-
нявшись съ одра, и устремивъ взоръ на страшное видѣніе.

— Я пришелъ за тобою, сказалъ гробовымъ голосомъ призракъ, остановивъ на немъ впалые, неподвижные глаза, и, стуча жезломъ, приближался къ одру князя.

— Отступи! воскликнулъ князь въ ужасномъ волненіи духа, отра-
жая призракъ знаменіемъ креста.

Привидѣніе уже стояло у одра его и подняло остроко-
нечный жезлъ.

За этою, чисто Шекспировскою сценою, слѣдуетъ вожде-
лѣнный конецъ. Слава Богу!

Изъ всѣхъ прелестей, которыхъ можно насчитать въ этомъ романѣ по крайней мѣрѣ до тысячи, насъ особенно поразило слѣдующее обстоятельство. На всѣхъ почти дѣйствіяхъ ге-
роевъ и героинь Б. М. Ф(Ѳ)едорова лежитъ печать какой-то
глупости и тупоумія, какъ-будто необходимыхъ спутниковъ
дѣлъ того времени. Этотъ странный колоритъ сообщенъ даже
нѣкоторымъ событіямъ чисто-историческимъ, нисколько непри-

надлежащимъ изобрѣтательности Бориса Михайловича. Отчего это? Вѣроятно, это сдѣлалось невольно, безсознательно... Царь Іоаннъ Васильевичъ, остающійся донинѣ нерѣшенной загадкой русской исторіи, обладавшій умомъ великимъ, плодомъ котораго было столько славныхъ дѣлъ, — окруженный въ самыхъ порокахъ и преступленіяхъ своихъ какимъ-то грознымъ, неприступнымъ величіемъ, этотъ Іоаннъ Васильевичъ совершенно разгаданъ въ романѣ Б. М. Ф(Ѳ)едорова. Борисъ Михайловичъ представилъ его бездушнымъ тираномъ, злодѣйствующимъ по внушенію глупыхъ и неискусно-сплетенныхъ клеветъ. Такъ искажаются въ рукахъ бездарности самые очевидные историческіе факты!... Князь Курбскій, какъ мы уже сказали, низведенъ до степени недалновиднаго и пошло-чувствительнаго резонѣра, и, обреченный «казниться въ собственной своей совѣсти», вмѣсто того, чтобъ дѣйствовать, безпрестанно толкуетъ о добродѣтели и о помраченныхъ измѣною заслугахъ своихъ, которыхъ, впрочемъ, изъ романа нисколько не видно. — Смѣшно вспомнить, какъ изображенъ у г. Ф(Ѳ)едорова дворъ Сигизмунда, графиня Дубровицкая, «почтенѣйшій» Радзивиль и другіе польскіе магнаты! Это—верхъ совершенства. Но стѣдуетъ ли говорить о такихъ мелочахъ? Какъ-будто можно было ожидать отъ почтеннѣйшаго Б. М. Ф(Ѳ)едорова болѣе того, что онъ далъ намъ? Борисъ Михайловичъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ представилъ намъ въ своемъ романѣ нѣсколько умилительно-трогательныхъ встрѣчъ и прощаній нѣжныхъ чадъ съ дрожайшими родителями, мужей съ женами, сестеръ съ братьями, вывелъ на сцену юродиваго, безъ котораго ни одинъ плохой историческій романъ обойтись не можетъ, наградилъ добродѣтель, наказалъ порокъ,—а до исторической вѣрности характеровъ, до колорита мѣста и времени и до всего прочаго, что требуется отъ историческаго романа, ему нѣтъ и дѣла. Было бы доказано, что злодѣй въ самой славѣ не можетъ быть счастливъ и казнится въ собственной совѣсти; все же прочее—вздоръ!...

Изъ выписокъ, приведенныхъ выше, читатели, между прочимъ, вѣроятно, замѣтили, что романъ Б. М. Ф(Ѳ)едорова написанъ плавнымъ, высоко-торжественнымъ слогомъ, какимъ нынѣшнее развратное человѣчество ужь не пишетъ. Что прикажете дѣлать? Въ наше время, когда нѣкоторые дерзкіе люди осмѣливаются говорить, что будто и литература и языкъ русскій значительно шагнули впередъ, Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ все еще придерживается старины, и округляетъ свои періоды по методѣ «Карамзинской рѣчи», не обращая вниманія на то, что самъ Карамзинъ, послѣ прозы Пушкина, не сталъ бы писать такъ, какъ писалъ въ свое время. Это метода, какъ всякому извѣстно, заключается въ употребленіи разнаго рода риторическихъ фигуръ и въ особенномъ расположеніи словъ, по которому причастія и прилагательныя имена ставятся весьма часто послѣ существительныхъ.

При всемъ нашемъ уваженіи къ почтеннѣйшему Б. М. Ф(Ѳ)едорову, мы, — не имѣя обыкновенія занимать читателей вздоромъ, какъ бы онъ ни былъ забавенъ, — ни за что не распространились бы такъ о «Князѣ Курбскомъ», еслибъ въ предисловіи къ этому роману не было строкъ, весьма замѣчательныхъ:

«Многіе знаменитые литераторы и любители словесности одобряли трудъ мой, въ которомъ видѣли начатки русскаго историческаго романа (?!??)»

Вотъ куда метнулъ почтеннѣйшій Борисъ Михайловичъ. Начатки русскаго историческаго романа—шутка! И въ чемъ же эти начатки?... Въ невѣрномъ и пошломъ до невѣроятности пересказѣ нѣкоторыхъ историческихъ событій, съ примѣсю пустяковъ собственнаго издѣлія сочинителя! Любопытно было бы услышать отъ самихъ знаменитыхъ литераторовъ и любителей словесности, какъ и съ какою миною отзывались они о романѣ почтеннѣйшаго Бориса Михайловича?... Не желая, чтобъ «скромное» предисловіе сочинителя ввело кого-нибудь въ заблужденіе, мы сочли долгомъ пока-

зять читателямъ «сочиненіе», въ которомъ «многіе видѣли начатки русскаго историческаго романа»,—въ полномъ и настоящемъ его блескѣ, и съ своей стороны повторяемъ, что не видѣли въ романѣ Б. М. Ф(Ѳ)едорова ничего, кромѣ въ высшей степени неудачнаго порожденія невѣроятныхъ, но, увы, бесполезныхъ усилій безталантности...

Сочинитель, какъ видно, страстно влюбленный въ свое хворое дѣтище, не ограничился въ предисловіи тѣмъ, что мы выписали. Съ чувствомъ рассказываетъ онъ, какъ двадцать слишкомъ лѣтъ сочинялъ «Курбскаго» и какія препятствія, соединенныя съ воспоминаніемъ горестныхъ для сочинителя потерь, замедляли появленіе романа, въ которомъ, какъ говоритъ онъ, принимали участіе (?) многіе любезные сердцу сочинителя особы. «Князь Курбскій взялъ такую долю въ моей жизни», заключаетъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ, «что я долженъ бы написать повѣсть о моемъ романѣ. Многіе ожидали его появленія, но мысль о тѣхъ изъ нихъ, которыхъ уже нѣтъ, нѣсколько разъ останавливала надолго мой трудъ; безъ нихъ тяжело мнѣ было оканчивать историческую картину, которая была предметомъ ихъ вниманія, участія, заботливости!» Покойники, видно, въ самомъ дѣлѣ, были добрые люди, и нѣтъ ничего страннаго, что Борисъ Михайловичъ такъ горько о нихъ сокрушается: онъ потерялъ въ нихъ, можетъ-быть, единственныхъ своихъ читателей!

«Сочиненіе» испещрено эпиграфами, которые, вмѣстѣ взятые, представляютъ живое подобіе такъ называемыхъ «россійскихъ пѣсенниковъ», гдѣ рядомъ съ стихами Пушкина безграмотные издатели помѣщаютъ недѣльные вирши разныхъ темныхъ стихоплетовъ. Напечатано оно на сѣровой бумагѣ, съ чрезвычайными ошибками, и посвящено памяти княгини Юсуповой, Н. М. Карамзина и А. С. Шишкова «благодѣвшихъ сочинителю». Словомъ, въ романѣ соблюдены всѣ, какъ внѣшнія, такъ и внутреннія условія, требуемыя отъ книги публикою, которая запасается умственною пищею отъ бра-

датыхъ букинистовъ, разносящихъ по лицу Россіи творенія, неприняемаыя въ порядочныхъ книжныхъ лавкахъ.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКАГО, сочиненіе Н. М. Карамзина. Изданіе И. Эйнерлима. Книга III. (Томы IX, X, XI и XII). Спб. 1843.

Карамзинъ воздвигнулъ своему имени прочный памятникъ «Исторією государства Россійскаго», хотя и успѣлъ довести ее только до избранія на царство дома Романовыхъ. Какъ всякій важный подвигъ ума и дѣятельности, историческій трудъ Карамзина пріобрѣлъ себѣ и безусловныхъ, восторженныхъ хвалителей, и безусловныхъ порицателей. Разумѣется, тѣ и другіе равно далеки отъ истины, которая въ серединѣ. Для Карамзина уже настало потомство, которое, будучи чуждо личныхъ пристрастій, судить ближе къ истинѣ. Главная заслуга Карамзина, какъ историка Россіи, состоитъ совсѣмъ не въ томъ, что онъ написалъ истинную исторію Россіи, а въ томъ, что онъ создалъ возможность въ будущемъ истинной исторіи Россіи. Были и до Карамзина опыты написать исторію, но тѣмъ не менѣе для Русскихъ исторія ихъ отечества оставалась тайною, о которой такъ или сякъ толковали одни ученые и литераторы. Карамзинъ открылъ цѣлому обществу русскому, что у него есть отечество, которое имѣетъ исторію, и что исторія его отечества должна быть для него интересна, и знаніе ея не только полезно, но и необходимо. Подвигъ великій! И Карамзинъ совершилъ его не столько въ качествѣ историческаго, сколько въ качествѣ превосходнаго бельетрическаго таланта. Въ его живомъ и искусномъ литературномъ разсказѣ вся Русь прочла исторію своего отечества и въ первый разъ получила о ней понятіе. Съ той только минуты сдѣлались возможными и изученіе русской исторіи, и ученая разработка ея матеріаловъ: ибо

только съ той минуты русская исторія сдѣлалась живымъ и всеобщимъ интересомъ. Повторяемъ: великое это дѣло совершилъ Карамзинъ преимущественно своимъ превосходнымъ бельетрическимъ талантомъ. Карамзинъ вполне обладалъ рѣдкою въ его время способностію говорить съ обществомъ языкомъ общества, а не книги. Бывшіе до него историки Россіи не были извѣстны Россіи, потому что прочесть ихъ исторію могло только одно испытанное школьное терпѣніе. Они были плохи, но ихъ не бранили. Исторія Карамзина, напротивъ, возбудила противъ себя жестокую полемику. Эта полемика особенно устремляется на собственно историческую или фактическую часть труда Карамзина. Большая часть указаній критиковъ дѣльна и справедлива; но укоризненный тонъ ихъ дѣлаетъ вреда больше самимъ критикамъ, нежели Карамзину. Трудъ его должно разсматривать не безусловно, а принимая въ соображеніе разныя временныя обстоятельства. Карамзинъ, воздвигая зданіе своей исторіи, былъ не только зодчимъ, но и каменьщикомъ, подобно Аристотелю Фіоравенти, который, воздвигая въ Москвѣ Успенскій соборъ, въ то же время училъ чернорабочихъ обжигать кирпичи и растворять известь. И потому фактическія ошибки въ исторіи Карамзина должно замѣчать для пользы русской исторіи, а обвинять его въ нихъ не должно. Гораздо важнѣе разборъ его понятій объ исторіи вообще и взглядъ его на исторію Россіи въ частности, равно какъ и манера его повѣствовать. Но и здѣсь должно брать въ соображеніе временныя обстоятельства: Карамзинъ смотрѣлъ на исторію въ духъ своего времени—какъ на поэму, писанную прозою. Занявъ у писателей XVIII вѣка ихъ литературную манеру изложенія, онъ былъ чуждъ ихъ критическаго, отрицающаго направленія. Поэтому, онъ сомнѣвался, какъ историкъ, только въ достовѣрности нѣкоторыхъ фактовъ; но нисколько не сомнѣвался въ томъ, что Русь была государствомъ еще при Рюрикѣ, что Новгородъ былъ республикой, на манеръ кароа-

генской, и что съ Іоанна III-го Россія является государствомъ, столь органическимъ и исполненнымъ самобытнаго, богатаго внутренняго содержанія, что реформа Петра Великаго скорѣе кажется возбуждающею соболъзнованіе, чѣмъ восторгъ, удивленіе и благодарность. Въ одномъ мѣстѣ своихъ сочиненій, Карамзинъ ставитъ въ вину Сумарокову, что тотъ, въ трагедіяхъ, «называя героевъ своихъ именами древнихъ князей русскихъ, не думалъ соображать свойства дѣла и языкъ ихъ съ характеромъ времени». И что же? такой же упрекъ можно сдѣлать самому Карамзину: герои его исторіи отчасти напоминаютъ собою героевъ трагедій Корнеля и Расина. Переводя ихъ рѣчи, сохранившіяся въ лѣтописяхъ, онъ лишаетъ ихъ грубой, но часто поэтической простоты, придаетъ имъ характеръ какой-то витіеватости, риторической плавности, симметріи и заботливой стилистической отдѣлки, такъ что эти рѣчи, въ его переводѣ, являются похожими на переводъ рѣчей римскихъ полководцевъ изъ исторіи Тита Ливія. Сличите отрывки въ подлинникѣ изъ писемъ Курбскаго къ Іоанну Грозному съ Карамзинскимъ переводомъ ихъ (въ текстѣ и примѣчаніяхъ), и вы убѣдитесь, что, переводя ихъ, Карамзинъ сохранялъ ихъ смыслъ, но характеръ и колоритъ давалъ совсѣмъ другой. Историческая повѣсть Карамзина «Марѳа Посадница» можетъ служить живымъ свидѣтельствомъ его историческаго созерцанія: герои его—герои Флоріановскихъ поэмъ, и они выражаются обработаннымъ языкомъ витіеватаго историка римскаго — Тита Ливія. Русскаго въ нихъ нѣтъ ничего, кромѣ словъ, какъ, напримѣръ, въ рѣчи боярина московскаго на новгородскомъ вѣчѣ, и въ отвѣтѣ ему Марѳы, въ которомъ она ссылается на исторію Рима и упоминаетъ о Готахъ, Вандалахъ и Эрулахъ!!...

Скажутъ, мы говоримъ о повѣсти Карамзина, а не объ исторіи: нѣтъ мы говоримъ о взглядѣ его на русскую исторію и жизнь нашихъ предковъ... И однакожь, мы далеки отъ дѣтскаго намѣренія ставить въ упрекъ Карамзину то, что

было недостаткомъ его времени. Нѣтъ, лучше воздадимъ благодарность великому человѣку за то, что онъ, давъ средства сознать недостатки своего времени, двинулъ впередъ послѣдовавшую за нимъ эпоху. Если когда-нибудь явится удовлетворительная исторія Россіи—этимъ обязано будетъ русское общество историческому же труду Карамзина, упрочившему возможность явленія истинной исторіи Россіи. Но и тогда исторія Карамзина не перестанетъ быть предметомъ изученія и для историка и для литератора, и новый историкъ Россіи не разъ сошлетя на нее въ трудѣ своемъ... Какъ памятникъ языка и понятій извѣстной эпохи, исторія Карамзина будетъ жить вѣчно.

Изданіе «Исторіи Государства Россійскаго», предпринятое г. Эйнерлингомъ, почти окончено; остается напечатать только «Ключъ», составляемый г. Строевымъ. О достоинствѣ этого изданія говорить нечего: лучшаго ничего нельзя ни требовать, ни вообразить, за исключеніемъ довольно высокой цѣны. Приложенія, сдѣланныя издателемъ, показываютъ, что онъ смотритъ на изданіе классическихъ писателей истинно европейски. Говорятъ: эти приложенія не важны. Пусть такъ; но пріятно имѣть въ одной книгѣ все, что только написано рукою автора. Статья «О Древней и Новой Россіи» чрезвычайно любопытна, какъ живое свидѣтельство историческихъ и политическихъ понятій Карамзина, и г. Эйнерлингъ очень хорошо сдѣлалъ, помѣстивъ и ее въ числѣ приложеній.

СТИХОТВОРЕНІЯ МИЛЬКЪВЕВА. Москва. 1843.

Иронія составляетъ одинъ изъ преобладающихъ элементовъ современной поэзіи. Это понятно: поэзія есть воспроизведеніе дѣйствительности, вѣрное зеркало жизни, — а гдѣ же больше иронія, какъ не въ самой дѣйствительности? кто же больше и злѣе смѣется надъ самимъ собою, какъ не жизнь?

Посмотрите, какъ любить она противорѣчіе, жертвою котораго бываетъ безпрестанно бѣдная человѣческая личность! Вотъ, напримѣръ, два актёра: одинъ — «безумецъ, гуляка праздный», неподозрѣвающій ни святости искусства, ни его высокаго назначенія, невѣжда безграмотный, лѣннivecъ, добродушный хвастунъ, — и между тѣмъ, въ грязной натурѣ скрыты богатые самородки великихъ чувствованій, могучихъ страстей; эта безумная голова озаряется горящимъ ореоломъ вдохновенія, — и рыдаетъ и колеблется многочисленная толпа при звукахъ голоса этого самовластнаго чародѣя, и каждый уносить съ собою изъ театра тѣ высокія откровенія, тѣ таинственные глаголы жизни, для принятія которыхъ нужно посвященіе... За что же этотъ даръ, это могущество слова, взора и жеста, это чудодѣйственная сила? За что, за какой подвигъ такая высокая награда! Пронія, иронія, иронія... Вотъ другой актёръ: страсть къ искусству — его жизнь; изученіе искусства — занятіе, забота, трудъ всей его жизни; стремленіе къ славѣ — болѣзнь его души... И вотъ появляется онъ передъ толпою, разбѣленный и разрумяненный, съ важнымъ видомъ, и ловко, смѣло, съ граціею повертываетъ картонною булавою гладиатора, или картоннымъ мечемъ Александра Македонскаго, величаво говорить съ другомъ своимъ Алхимересомъ объ измѣнѣ Амалафриды, — театръ дрожить отъ рукоплесканій, вызовамъ нѣтъ конца... Но отчего же въ этомъ восторгѣ толпы слышенъ одинъ шумъ и крикъ? отчего она съ такимъ же точно восторгомъ, черезъ минуту послѣ того, принимаетъ пошлый водевиль, и ни одинъ человѣкъ изъ нея не выходитъ изъ театра съ поникшею головою, съ грустнымъ раздумьемъ на челѣ?... Художникъ упоенъ, восхищенъ своимъ торжествомъ; онъ такъ низко, такъ почтительно кланяется вызывающей его толпѣ... Но отчего же такъ раздражаетъ его всякое двусмысленное сужденіе «немногихъ» — его, который такъ доволенъ «всеми»? Отчего же такъ уязвляетъ его легкая улыбка «немногихъ»? Что онъ видитъ въ ней? —

Иронію видить въ ней онъ, жертва ироніи, самъ воплощенная иронія дѣйствительности... Послѣ этого, какъ понятны эти слова Пушкинскаго Сальери:

Гдѣ жь правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній—не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердіи, моленій посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки правднаго?...

Это значитъ совсѣмъ не то, чтобъ жизнь состояла изъ однихъ противорѣчій, и чтобъ геній всегда былъ «праздный гуляка», а самоотверженіе труда и изученія всегда было признакомъ ограниченности и бездарности: нѣтъ, мы хотимъ сказать только, что дѣйствительность часто любитъ отступать отъ своихъ разумныхъ законовъ, часто любитъ пошутить сама надъ собою. Въ этомъ-то и состоитъ ея иронія. Вездѣ и повсюду видимъ мы эту иронію; вездѣ и повсюду видимъ мы жертвы этой ироніи, вездѣ и повсюду—и въ природѣ, и въ исторіи, и въ судьбѣ индивидуумовъ. Вотъ дѣвушка, одаренная столь дивною красотою, что, кажется, весь міръ долженъ преклониться передъ нею... И чтѣ же?—иногда (и чаще всего) оказывается, что душа ея пуста, сердце холодно, умъ ограниченъ, и велико только ея мелочное самолюбіе... Вотъ дѣвушка, вся созданная изъ великодушнаго самопожертвованія, изъ горячей любви и высокаго стремленія, созданная для того, чтобъ осчастливить жизнь достойнаго человѣка, быть наградою за великій подвигъ жизни,—но увѣ! никто не добивается этого счастья, этой награды: она дурна собою, ей не дано волшебнаго обаянія женственности, съ ней говорятъ, какъ съ умнымъ мужчиною... Заглянемъ ли въ исторію—и тамъ иронія царитъ надъ людьми. Никогда, говорятъ знатоки военнаго дѣла, никогда Наполеонъ не развертывалъ въ такой ширинѣ и глубинѣ своего военнаго генія, какъ передъ своимъ паденіемъ,—и все-

таки палъ, низринутый какой то невидимою рукою, какою-то странною иронією дѣйствительности... Сколько людей съ торжествомъ и славою выступило на историческое поприще; но одна минута, — и лавровый вѣнокъ смѣнялся шутовскимъ колпакомъ, — и эти люди оказывались столь же малыми для исторической арены, сколько были они велики для обыкновеннаго круга жизни. Стало-быть, имъ не было мѣста ни тамъ, ни здѣсь, — и тамъ и здѣсь имъ суждено было погибнуть жертвою ироніи.. Не мало представляетъ такихъ жертвъ ироніи область искусства и литературы. Этотъ мрачный законъ ироніи особенно часто тяготѣетъ надъ такъ называемыми «самоучками» и вообще надъ людьми, которые вдругъ измѣняютъ назначенную имъ судьбою дорогу жизни, и измѣняютъ вслѣдствіе сознанія тайнаго внутренняго призванія къ искусству. Дѣйствительно, тайный внутренній голосъ зоветъ и манитъ ихъ къ блестящей мечтѣ, раздаваясь во глубинѣ души ихъ звуками Вадимова колокольчика; грудь ихъ полна тревогою, и даже во снѣ слышать они слова: «встань изъ грязи, въ которую бросила тебя судьба, мужайся и иди впередъ, — лавры побѣды, удивленіе толпы и безсмертіе въ вѣкахъ ожидаютъ тебя!» Ужасенъ этотъ голосъ, ибо нельзя узнать, чей онъ — ангела-хранителя, или чернаго демона; такой вопросъ рѣшается только временемъ и фактами, — а въ этомъ-то и состоитъ иронія жизни. Правда, характеръ истиннаго призванія тѣмъ отличается отъ ложной тревоги, что въ немъ преобладаетъ сторона разсудка, тогда какъ въ послѣдней дѣйствуетъ преимущественно фантазія; но въ томъ-то и заключается возможность ошибки, что мечты фантазіи часто очень похожи на проявленіе дѣйствительности, и что въ этихъ мечтахъ есть своя доля дѣйствительности. Человѣкъ не доволенъ своимъ положеніемъ, имъ овладѣваетъ сильное, неодолимое стремленіе вырваться изъ тѣснаго круга, въ который поставила его судьба: это еще не значить, чтобъ внутренній голосъ этого человѣка звалъ его сдѣлаться великимъ дѣятелемъ въ сферѣ

исторіи или искусства; чаще всего этотъ внутренній голосъ означаетъ не болѣе, какъ стремленіе сдѣлаться просто человѣкомъ, развить въ себѣ всѣ данныя Богомъ духовныя силы: но въ томъ-то и состоитъ иронія жизни, что люди не всегда могутъ, или умѣютъ понять истинный смыслъ своихъ стремленій, и принимаютъ за тревогу генія зовъ къ человѣческому достоинству.

Литературная дѣятельность имѣетъ въ себѣ гораздо больше обаятельнаго, чѣмъ что-нибудь, можетъ-быть потому именно, что она представляетъ собою одно изъ важнѣйшихъ поприщъ для таланта. Вотъ почему молодые люди съ пылкимъ воображеніемъ и горячею кровью хотять у насъ быть непременно поэтами. Для нихъ всѣ люди раздѣляются на два разряда: на людей великихъ, т. е. поэтовъ, и на людей обыкновенныхъ, т. е. не поэтовъ. Если они почувствуютъ въ груди своей эту неопредѣленную тревогу, которая производится горячею кровью, пылкимъ воображеніемъ, маленькимъ избыткомъ чувства, искоркою ума, а главное — молодостію, — они сейчасъ хватаются за перо и пишутъ стихи, либо романъ. «Я поэтъ!» — за право сказать себѣ это слово, они готовы пожертвовать всѣмъ; но какъ это право не требуетъ особенно дорогихъ жертвъ, по крайней мѣрѣ выше того, что стоитъ одна или двѣ дести писчей бумаги да отважная досужестъ измарать ее разбѣренными строчками или размашистою прозою, — то многіе изъ нихъ легко добиваются счастья быть печатно посвященными въ поэты со стороны пріятельскаго журнала. Потомъ они издають книжечку своихъ стихотвореній. Пріятельскій журналъ заранѣе извѣщаетъ о выходѣ этой книжечки, какъ о дѣлѣ необыкновенномъ, потомъ расхваливаетъ книжечку; публика засыпаетъ за нею, — а сатана кохочетъ... И вотъ вамъ иронія жизни! Изъ такихъ бѣдныхъ стихотворцевъ особенно жалки такъ называемые поэты по призванію, поэты-самоучки и т. п. Между ними есть люди дѣйствительно съ призваніемъ — быть людьми порядочными

и образованными, съ потребностію развить въ себѣ природные дары; между ними бываютъ даже люди съ внутренними вопросами, на которые могли бы дать имъ отвѣтъ наука и нравственное развитіе; но они предпочитаютъ искать болѣе легкаго и болѣе пріятнаго разрѣшенія своихъ вопросовъ и находятъ его — въ поэзіи, но не въ поэзіи великихъ гениевъ творчества, а въ своихъ бѣдныхъ и жалкихъ виршахъ. Процессъ творчества они считаютъ какою-то кабалистикою: они думаютъ, что если найдетъ на человѣка дурь вдохновенія, то онъ безъ ума умёнъ, безъ науки свѣдущъ и можетъ видѣть безъ глазъ, слышать безъ ушей. А тутъ еще удивленіе людей, лавровый вѣнокъ славы, безсмертіе въ вѣкахъ, — все это за такую дешевую цѣну! И пишетъ нашъ поэтъ, и издаетъ онъ, наконецъ, книжечку своихъ стихотвореній; но міръ спокоенъ, люди и не подозрѣваютъ, что между ними явился гений...

Изъ числа такихъ явленій книжнаго міра принадлежать «Стихотворенія г. Милькѣва». Изъ посвященія книги и приложения къ ней письма поэта къ Василю Андреевичу Жуковскому, мы узнаемъ, что г. Милькѣвъ родился и выросъ на берегахъ Иртыша, чувствовалъ въ себѣ неодолимое стремленіе вырваться изъ тѣснаго, душнаго и ограниченнаго круга, въ который поставила его судьба, въ сферу болѣе высшую, болѣе человѣческую, которую онъ, почему-то, полагалъ для себя въ поэтической дѣятельности; и что, наконецъ, ободренный вниманіемъ В. А. Жуковскаго и пользуясь его просвѣщеннымъ покровительствомъ, переѣхалъ изъ Сибири въ Россію. Вообще, все письмо г. Милькѣва къ В. А. Жуковскому проникнуто простотою, умомъ и достоинствомъ. Къ интереснѣйшимъ подробностямъ этого письма принадлежатъ тѣ, изъ которыхъ мы узнаемъ, что г. Милькѣвъ чувствовалъ рѣшительное желаніе сдѣлаться поэтомъ при чтеніи Плутарха, когда ему было шестнадцать лѣтъ; онъ не имѣлъ никакого понятія о правилахъ стопосложенія, и до уразумѣ-

ніа ихъ долженъ былъ дойти собственною проницательностію. Также понялъ онъ и правила орфографіи русской. Безъ сомнѣнія, все это стоило ему большихъ трудовъ и большихъ усилій, какъ человѣку, лишенному всѣхъ пособій, какія представляютъ собою учителя и учебники. Изъ этого видно, что г. Милькѣвъ — то, что называется «поэтъ самородный», «поэтъ-самоучка». Самородные поэты особенно замѣчательны потому, что на ихъ твореніяхъ, какъ бы ни были они грубы и необдѣланы, всегда лежитъ печать оригинальности, столь часто чуждой обыкновеннымъ талантамъ. Таковъ былъ Кольцовъ, стихотворенія котораго, дышущія самобытнымъ вдохновеніемъ и талантомъ, до того оригинальны, что нѣтъ никакой возможности поддѣлаться подъ ихъ простую и наивную форму. Но, увы! не къ такимъ поэтамъ принадлежитъ самородный поэтъ, г. Милькѣвъ, если только принадлежитъ онъ къ какимъ-нибудь поэтамъ. Не только самобытности и оригинальности,—въ его стихахъ нѣтъ даже того, что прежде всего составляетъ достоинство всякихъ порядочныхъ стиховъ: нѣтъ таланта поэтическаго. Нашъ приговоръ можетъ быть жестокъ, но онъ тѣмъ не менѣе справедливъ, и это не трудно будетъ доказать при сколько-нибудь внимательномъ разсмотрѣніи лежащихъ передъ нами стихотвореній.

Они начинаются гимномъ къ солнцу:

*О дневный красавецъ, колосъ мірозданья!
Даря насъ торжественнымъ зрѣлищемъ дней
Выходишь ты съ бездной теплы и сіянья,
Въ коронѣ изъждительно-мощныхъ лучей.
Природы великой женихъ воцаренный,
Съ тѣхъ поръ, какъ ея украшеніемъ сталъ,
Когда не поспѣлъ ты на подвигъ священный,
Когда на державную цѣль опоздалъ.*

Остановимся на минуту на этихъ стихахъ, чтобъ спросить: есть ли въ этой кучѣ фразъ и словъ, есть ли въ ней — не говоримъ, поэзія, вдохновеніе—есть ли въ ней какой-нибудь

логическій смыслъ? Что такое: «дивный красавецъ, колоссъ мірозданія?» — Фразы, пустыя восклицанія, чуждыя всякаго поэтическаго воззрѣнія, лишеныя всякаго чувства... «Солнце выходитъ съ бездной тепла и сіянья, въ коронѣ зиждительно-мощныхъ лучей, даря насъ торжественнымъ зрѣлищемъ дней» что это такое написали вы, г. Милькѣевъ? Неужели выраженія: «бездна тепла и свѣта, торжественное зрѣлище дней» и лучи съ «зиждительно-мощнымъ» эпитетомъ, — неужели все это поэзія, а не дурная проза въ плохихъ стихахъ?... Положимъ, что солнце — женихъ природы, но почему же оно — воцаренный женихъ? Конечно, въ этомъ есть смыслъ, но только одинъ грамматическій, а всякаго другаго смысла тутъ нѣтъ и признака. И что за похвала такая солнцу, что оно всегда «поспѣвало на священный подвигъ» и никогда «не опаздывало на державную цѣль?» Вѣдь другими, болѣе простыми и болѣе богатыми смысломъ словами, это значить, что солнце всегда во-время встаетъ и во-время заходитъ... И что за подвигъ священный, что за державная цѣль?—Галлиматія!...

Въ остальной половинѣ стихотворенія, г. Милькѣевъ говоритъ къ солнцу, что его, солнце, древніе принимали за божество, но что мы, новые, уже «не дадимъ поклоненія», ибо знаемъ, что Богъ-то не оно, но что оно только создано Богомъ. Все это правда; но кто же не зналъ этой правды безъ стихотворенія г. Милькѣева? Вѣдь и то правда, что дважды два — четыре: неужели же эту истину надобно перекладывать на плохіе стихи? Древніе обожествили, въ поэтическомъ образѣ Апполлона, солнце, какъ отдѣльную благодѣтельную силу природы; — и сколько глубокаго значенія было заключено въ ихъ роскошно поэтическимъ мнѣѣ бога свѣта! Г. Милькѣевъ, конечно, разсудительнѣе Грековъ смотритъ на солнце, но это не мѣшаетъ ему ничего въ немъ не видѣть и говорить о немъ пустою прозою въ холодныхъ виршахъ, такъ какъ Греки, несмотря на всю младенческую

наивность своего воззрѣнія на солнце, такъ много въ немъ видѣли, и въ такихъ обаятельно творческихъ формахъ выражали свое созерцаніе!

Но перейдемъ ко второму стихотворенію въ книжкѣ г. Милькѣва: онъ воспѣваетъ въ немъ «Возрожденіе»:

Снѣга холоду *крутому*
Снѣга мертвымъ, *душинымъ* льдамъ.
Сну *болѣзненно-тьмому*,
Зимнимъ вихрямъ и снѣгамъ!
Миръ очнулся весь *глубоко*,
И прелестенъ и богатъ.
Одъвается *широко*
Въ *новосвадебный* нарядъ.

Стоять ли такіе стихи какого-нибудь дѣльнаго разбора? Въ нихъ нѣтъ ни одного живаго образа, никакой картины. Эпитеты дѣтски неточны, вычурны. А мысль всего стихотворенія—это чистое резонёрство о томъ о сѣмъ, а больше ни о чемъ! Ежегодная измѣняемость природы подаетъ поэту поводъ разсуждать, длинно и водяно, о неизмѣняемости человѣка. Пѣса оканчивается такими курьезными стихами:

И сынамъ твоимъ судьбами
Заповѣдавъ тотъ же путь,
Такъ же въ нихъ реветъ громами
Огнелюбивая грудь.

Хоть бы г-ну Бенедиктову такъ выразиться!...

Впрочемъ, едва ли у кого достанетъ силъ слѣдить за всѣми стихотвореніями г. Милькѣва. Въ одномъ у него—

Пылаютъ сердца, какъ лампы,
Еъ предвѣламъ парятъ неземнымъ.

Въ стихотвореніи «Сухарева Башня», г. Милькѣвъ такъ заставляеть Петра Великаго говорить полковнику Сухареву:

Хочу оставить я народу
Знакъ неподкупности твоей,
Гдѣ жилъ ты съ вѣрными стрѣльцами.
Построй тамъ башню, да про васъ
Она являетъ предъ тѣками
Животисующій разсказъ.

Потомъ стихотворецъ говоритъ о Брюсѣ, который

Сидѣлъ одинъ, какъ демонъ, точно
Съ неразрѣшимымъ сатаной,
Творя бесѣду полномерно.

Вода бассейна Сухаревой башни есть «бальзамъ холодный» и «живой, который льется въ наше тѣло, чтобы оно крѣпчало, свѣтлѣло всегдашней чистотой». Чудная вода! Она такъ и блещетъ въ чудныхъ стихахъ г. Милькѣва!...

Въ другомъ стихотвореніи нашего водянаго поэта

Мглою огненно-зыбучей
Вдругъ одѣтъ небесный сводъ...

Въ третьемъ стихотвореніи (стр. 22) поэту явилось таинственное видѣніе, въ которомъ, за мракомъ мистицизма, не видно смысла, и въ которомъ поэтъ говоритъ нескладными стихами

А грудь моя билась и сердце звучало,
Какъ будто нашествія тайнъ ожидало.

Въ четвертомъ стихотвореніи (стр. 73) поэтъ спрашиваетъ:

Кто надъ бездной власть докажетъ.
Ярость дикую уймешь
И безмолвіемъ обяжешь
Глубину ревучихъ водъ?

Вся эта болтовня клонится къ сравненію моря во время бури съ человѣческими страстями: какая пошлая риторика!

Есть стихотвореніе, въ которомъ, въ числѣ другихъ дико-винокъ,

*Земля, игралище пространства,
Сама вертится колесою:
И тверди гордыя свѣтила
Обречены на быстрый ходъ;
Круповращательная сила
Весь поворачиваетъ сводъ.*

Въ стихотвореніи «Буря», у г. Мильгѣва «удалый» вѣтеръ бьетъ въ рѣку, черный воронъ сидитъ на «сбснѣ», внимая «задорный» гулъ веселой, «молодой» грозы, машетъ крыльями «живо» подъ скрипъ деревъ и «трепетъ» (?) скалъ, и спрашиваетъ другаго ворона, куда сърый братъ стремилъ нынче «свои полеты», богатъ ли воротился онъ съ лихой и «доблестной» охоты и не слышалъ ли гдѣ «голоса» мечей... Боже мой, какая изысканная, какая высокопарная дичь!...

Но довольно! изъ выписаннаго можно видѣть, что въ стихахъ г. Мильгѣва не только нѣтъ никакихъ признаковъ поэтическаго дарованія, но даже видна положительная, рѣшительная бездарность. Г. Мильгѣвъ — подражатель г. Бенедиктова — подобно всѣмъ подражателямъ, доводящій до карикатуры и безъ того поразительные недостатки своего оригинала. Мы не встрѣтили въ цѣлой книжкѣ г. Мильгѣва ни одного поэтическаго стиха, ни одного живаго образа, ни одной картины; стихъ его есть не что иное, какъ насильственное сведеніе словъ, которыя ревутъ, видя себя поставленными вмѣстѣ. Въ выборѣ предметовъ, въ мысляхъ не замѣтно никакихъ слѣдовъ человѣческихъ симпатій, живыхъ стремленій, такта дѣйствительности. Особенно ссылаемся на два стихотворенія. Героиня одного—кто бы вы думали?—кукушка!!!... Въ этой несчастной кукушкѣ (стр. 49) г. Мильгѣвъ думалъ опоэтизировать народную легенду, надѣялся объективировать свои задушевныя вѣрованія, — и, самъ того не замѣчая, только унижилъ предметъ, который усиливался поднять. Другое стихотвореніе воспѣваетъ—что бы вы думали?—русскую сивуху, иначе нарицаемую «сиводаемъ»!!!... Это, вѣроятно, для народности! Хороша народность!...

Здравствуй, русское веселье,
Здравствуй, русское вино,
Православное (?) похмѣлье,
Чашь потопленное дно!
Ты по юношескимъ жиламъ,
Влагой крѣпости бѣжишь,
И къ бѣлымъ, *каленнымъ (?)* силамъ
Грудь увядшую стремишь!
Какъ возникли дни отчизны,
Кто изъ русскихъ чадъ, любя
Свой предѣлъ безъ укоризны,
Не отвѣдывалъ тебя?
Кто въ пылу борьбы кровавой
Дрался на-смерть и не пилъ?
Кто, привѣтствованный славой;
Чашь не пѣнилъ и не билъ?

Какъ кто, г. Милькѣевъ?—думаемъ, что всѣ порядочные люди въ Россіи... Пѣньте, пожалуй себѣ, въ чаши «пѣнное» и «зеленое», если это вамъ нравится, бейте не только чаши (т. е. стаканы и плошки), но и стекла во храмахъ русскаго Бахуса, мы не мѣшаемъ вамъ, — только, ради всего пристойнаго и образованнаго, увольте насъ отъ вашего радушнаго потчиванья; мы, право, не будемъ въ претензіи, если вы обнесете насъ, — такъ же, какъ не были бы въ претензіи, еслибы вы уводили насъ и отъ изліяній вашей музы... Очень забавно, что въ этомъ стихотвореніи г. Милькѣевъ причину генія Ломоносова полагаетъ въ несчастной страсти этого великаго человѣка къ пѣнному вину... О, милая наивность самородной музы! о горькая ядовитая иронія жизни! Стѣило ли пріѣзжать въ Москву съ береговъ Иртыша, если это было за тѣмъ только, чтобъ издать книжку такихъ стихотвореній? Стѣило ли о такомъ переѣздѣ писать въ журналахъ и ожидать отъ него столь многаго для русской поэзіи? Стѣило ли въ журналахъ извѣщать публику, какъ о чемъ-то важномъ, о скоромъ выходѣ въ свѣтъ такихъ стихотвореній? Чтѣ такое все это?—Иронія, корькая, ядовитая иронія жизни...

РУССКАЯ ГРАММАТИКА ДЛЯ РУССКИХЪ. *Виктора
Половцова. Спб. 1843.*

Грамматика г. Половцова, выходящая уже шестымъ изданіемъ, отличается отъ всѣхъ прочихъ русскихъ грамматикъ только своею методою, нынѣ, впрочемъ, принятою всѣми опытными, знающими свое дѣло преподавателями. Переходить отъ анализа къ синтезу, изъ примѣровъ извлекать правила—самая полезная система въ преподаваніи: объ этомъ въ наше время никто уже и спорить не будетъ. Но это болѣе дѣло учителя въ классахъ, нежели составителя систематическаго учебника. Въ этомъ смыслѣ, трудъ г. Половцова можно почесть скорѣе вспомогательнымъ средствомъ при изученіи грамматики, нежели полнымъ систематическимъ курсомъ. Для кого онъ назначалъ свою книгу? Для преподающихъ, или для учащихся? Для первыхъ, въ видѣ руководства въ классахъ, нуженъ курсъ въ полномъ, строгомъ систематическомъ порядкѣ, курсъ, который до сихъ поръ едва ли мы имѣемъ. Для учениковъ?—всякій согласится, что рѣдкій ребенокъ успѣетъ въ какой-либо наукѣ безъ помощи учителя. Паскаль, на двѣнадцатомъ году самоучкою постигшій Эвклидовы начала, для насъ не примѣръ. Но положимъ, что авторъ «Русской Грамматики для Русскихъ» хотѣлъ упростить изученіе своей науки до того, что дитя, читая и перечитывая его книгу, можетъ само собою достигнуть до полного свѣдѣнія правилъ отечественнаго языка. Учащійся, положимъ, открываетъ первую страницу и читаетъ: «Человѣкъ прежде думаетъ, а потомъ говоритъ. И такъ сперва надобно искать мысли (?), находить ихъ, схватывать и удерживать; далѣе сличать ихъ между собою, упрощать, соединять, раздѣлять, распространять и усиливать» и проч. Мы, знакомые съ теоріею мышленія, смекаемъ, что это такое; но поплемся на всѣхъ дѣтей въ свѣтъ: поймутъ ли они изъ этого хоть слово? Вы скажете: объяснить учитель. Такъ не лучше ли было бы написать

такую книгу, въ которой, по примѣрамъ, невыходящимъ изъ круга дѣтскихъ понятій, по маленьку, такъ сказать по пальцамъ, изъяснить, что такое значить мыслить, что такое слышать мысли между собою. Признаемся, мы сами не понимаемъ, что такое «искать мысли, схватывать, упрощать мысли»...

Какъ скоро дѣло дошло до науки, тутъ главное дѣло система, порядокъ, котораго мы не находимъ въ книгѣ г. Половцова. Онъ безпрестанно переходитъ отъ логическихъ началъ къ законамъ языка, отъ правилъ синтаксиса къ правиламъ, какъ ставить знаки препинанія; потомъ этимологія; потомъ опять правила правописанія... Но иногда, по своей методѣ, онъ переходитъ отъ примѣровъ къ правиламъ, а иногда, вопреки ей (стр. 3), отъ правилъ къ примѣрамъ; кое-что извлечено изъ законовъ рязума, что очень хорошо; а многое излагается такъ, безъ основанія, какъ и въ большой части другихъ грамматикъ.

Ограничимся нѣкоторыми отдѣльными замѣчаніями. «Тщательный разборъ нѣсколькихъ басенъ (почему же только басенъ?) и постоянное наблюденіе ученика за самимъ собою (!) лучше всѣхъ правилъ о знакахъ препинанія. Только невѣжды оправдываютъ себя незнаніемъ правилъ». Это ужъ очень наивно.—«Буква ъ употребляется въ словахъ: письмо, деньги, больше, меньше, весьма, тесьма, и нѣкоторыхъ другихъ». Въ какихъ же другихъ? Тутъ надобно или найти общее правило, или ужъ выписать всѣ слова, въ которыхъ употребляется буква ъ.—«Причастія имѣютъ три рода или числа» (?). Вѣрно авторъ хотѣлъ сказать—три рода и два числа.—«Междометіе есть частица рѣчи, выражающая ощущенія». Много ли поймутъ дѣти изъ этого опредѣленія?—«Въ словосочиненіи разсматривается составъ, происхожденіе и образованіе предложеній, а также значеніе и изложеніе сочиненій (по крайней мѣрѣ тѣхъ, которыми должно заниматься въ училищахъ)». Воля ваша, а значеніе и изложеніе сочиненій относятся уже къ теоріи прозы. Особенно, если возьмемъ въ со-

ображеніе, что въ училищахъ воспитанники, по мѣрѣ своихъ способностей, могутъ, а слѣдовательно и должны заниматься сочиненіями, довольно значительными по предмету и по содержанию.

Иные примѣры (а ихъ очень много въ книгѣ) выбраны не весьма удачно. Неужели для дѣтей, даже для самыхъ малолѣтнихъ, нечего выбрать изъ Карамзина, Жуковского, Пушкина, а эти писатели будто и не существуютъ для книги г. Половцова; вмѣсто того, онъ извлекаетъ таковыя словеса изъ книги, изданной въ 1762 году: «Человѣкъ духомъ и жизнью, а не деньгами и пожиткомъ богатъ. Хотя бѣ твои сундуки золотомъ да серебромъ наполнены были, однако ты отъ сего щ(сч)ас(т)ливѣйшимъ нез(с)дѣлаешься, ежели въ себѣ спокоенъ и своимъ состояніемъ доволенъ не будешь». Что за охота приучать дѣтей къ такому варварскому слогу?

СКАЗКА О МЕЛЬНИКѢ КОЛДУНѢ, О ДВУХЪ ЖИДКАХЪ И О ДВУХЪ ВАТРАКАХЪ. Соч. Е. Алипанова. Спб. 1843.

Имя г. Алипанова всегда приводитъ намъ на мысль другое, не менѣе прославленное имя Б. М. Ф(Ѳ)едорова, которому сочинитель «Мельника Колдуна» одолженъ открытіемъ и развитіемъ своего поэтическаго генія. Это было давно— въ тѣ времена, когда въ «Дамскомъ Журналѣ» печатались нѣжныя посланія «къ ней», «къ розѣ», къ «лимонамъ, апельсинамъ и дынямъ-мелонамъ», а въ «Благонамѣренномъ» помѣщались шарады и логогрифы. Въ тѣ достолюбезныя времена господствовала страсть повсюду открывать и приглубливать доморощенные русскіе таланты: русскихъ самоучекъ-астрономовъ и механиковъ, русскихъ музыкантовъ, и пуше всего поэтовъ. «Посмотрите, посмотрите», кричали тогда: «вотъ десятилѣтній мальчикъ, сынъ дьячка, грамотѣ не знаетъ,

а самоучкою дѣлаетъ часы и въ механикѣ заткнетъ за поясъ любого германскаго профессора. Вотъ стихи, сочиненные пахатнымъ крестьяниномъ, будущимъ Ломоносовымъ, будущимъ Бёрнсомъ». И всѣ радовались и умилялись; умилялись тому и мы, тогда еще малыя, неразумныя дѣти. Но особенно умилялся этимъ отраднымъ явленіемъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ, со славою Горация любившій соединять славу Мепената. Тогда еще онъ не нисходилъ до дѣтскихъ повѣстей, которыя впоследствии отпускалъ дюжинами и сотнями, тогда онъ въ одно и то же время вѣнчался сценическою славою за «Суматоху въ Маскарадѣ» и другія комедіи; въ «Дамскомъ Журналѣ» и «Благонамѣренномъ» печаталъ нѣжные стишки, большею частію воспѣвая цвѣты: розу, жасминъ, нарцисъ и даже резеду; обдумывалъ своего «Юлія Цесаря», трагедію высокую, а между тѣмъ тайлъ въ душѣ мысль гениальную—создать русскій романъ историческій, т. е. «Курбскаго». Въ это время, въ русскихъ вѣсяхъ отдаленныхъ возникли Слѣпушкинъ, Сухановъ и Алипановъ — три самобытные таланта поѣтическіе, будто цвѣты, одинако благоухающіе. Всѣхъ ихъ отыскалъ и прирѣлъ Б. М. Ф(Ѳ)едоровъ, къ поѣтической славѣ Россіи ревнующій.

Но гдѣ жъ теперь эти таланты и гдѣ ихъ слава? Не знаемъ, здравствуютъ ли гг. Сухановъ и Слѣпушкинъ, или съ добра ума забыли наставленія своего пѣстуна, перестали писать и снова принялись за свои честныя и полезныя занятія. Только въ сердце г. Алипанова глубоко запали назиданія Б. М. Ф(Ѳ)едорова, и онъ, увлеченный примѣромъ и стихотворною доблестью своего учителя, до сихъ поръ нижетъ рифмы. Вотъ плоды полезныхъ наставленій! Твореніямъ г. Алипанова указывали на храмъ безсмертія, а вмѣсто того они попали въ мѣшки букинистовъ на Макарьевскую армарку, въ руки деревенскихъ лакеевъ, и т. д.

Размахнулъ батракъ руками,
Въ столъ ударилъ кулаками,

Крикнулъ: я жь вамъ докажу,
Что отъ мертвыхъ не дрожу,
И съ кольцомъ явлюсь предъ вами:
Пусть отвѣтятъ сапогами,
Кто останется не правъ,—
У тебя таковъ ли нравъ?» (?!).
Споръ согласьемъ повершили: (?).
Дѣло сладили, скрутили,
Въ полу хлопнули полой, (?)
Какъ гора съ ихъ плечъ долой.

Вотъ какіе стихи пишетъ нашъ доморощенный Бёрнсъ. Эти стихи, оберточная бумага, грязное изданіе и типографія Сычова обнаруживаютъ, что «Сказка о Мельникѣ Колдунѣ» снискиваетъ въ вышеозначенной публикѣ славу... Чего жь больше?

ПОВѢСТИ А. ВЕЛЬТМАНА. *Спб. 1843.*

Г. Вельтману суждено играть довольно странную роль въ русской литературѣ. Вотъ уже около пятнадцати лѣтъ, какъ всѣ критики и рецензенты, единодушно признавая въ немъ замѣчательный талантъ, тѣмъ не менѣе остаются положительно недовольными каждымъ его произведеніемъ. По нашему мнѣнію (которое, впрочемъ, принадлежитъ не однимъ намъ) причина этого страннаго явленія заключается въ странности таланта г. Вельтмана. Это талантъ отвлеченный, талантъ фантазій, безъ всякаго участія другихъ способностей души, и при этомъ еще талантъ причудливый, капризный, любящій странности. Вотъ почему нельзя безъ вниманія и удовольствія прочесть ни одного произведенія г. Вельтмана, и въ то же время нельзя остаться удовлетвореннымъ ни однимъ его произведеніемъ. Встрѣчаете прекрасныя подробности — и не видите цѣлаго; поэтическія мѣста очаровываютъ вашу умъ — и смѣняются мѣстами, исполненными изысканности,

странности, чуждыми поэзіи; а когда дочтете до конца, спрашиваете себя: да что же это такое, и къ чему все это, и зачѣмъ все это? Особенно вредитъ автору желаніе быть оригинальнымъ: оно заставляетъ его накидывать покровъ загадочности на его и безъ того довольно неопредѣленные и неясныя созданія.

Лежація передъ нами пять повѣстей г. Вельтмана такъ же точно оправдываютъ наше мнѣніе о талантѣ этого автора, какъ и всѣ другія его произведенія. Во всѣхъ ихъ много проблесковъ истиннаго таланта, и ни въ одной нельзя видѣть поэтическаго возсозданія дѣйствительности. Первая называется «Пріѣзжій изъ уѣзда, или суматоха въ столицѣ»; она была первоначально напечатана въ одномъ плохомъ и теперь окончательно падающемъ московскомъ журналѣ. Содержаніе ея можетъ служить доказательствомъ, что авторъ владѣетъ инстинктомъ и тактомъ дѣйствительности. Въ ней описывается страшная суматоха въ Москвѣ отъ появленія въ ней генія: извѣстно, что нигдѣ такъ часто и такъ много не является геніевъ, какъ въ Москвѣ.

«Свѣдѣніе черезъ заборъ дошло и до Филата Кузмича, знатнаго почетнаго гражданина съ золотой медалью на шеѣ. До того Филата Кузмича, что купивъ себѣ *княжескія палаты*, только что не позолоченныя снаружи, сказалъ: что мнѣ до баръ! Я самъ господинъ! и подвѣдалъ въ княжескихъ палатахъ лежанки, и живетъ себѣ самъ-шестъ: Анисья Тихоновна, да Федя, да старуха, да дѣвка кухарка, да дворникъ. Бывало, тутъ у неразчетливаго князя сотъ пять гостей въ сутки перебиваетъ, пудовъ пять восковыхъ свѣчей въ вечеръ сожгутъ, рублей тысячу въ день скушаютъ, да двѣ выпьютъ: а теперь, у разчетливаго Филата Кузмича, ворота на-заперты, въ подворотню собаки на прохожихъ лаютъ, дескать «проваливай мимо! сама голую кость гложу!» Свѣту только божій день, лампадка передъ кивотомъ, да сальная свѣча. Золотая мебель прикрыта чехлами, чтобы не портилась отъ неупотребленія; пищи — щей горшокъ, самъ большой, да мостолыга мяса; за то самоваръ какой знатный! ведра въ три! жаль, чашечки *больно маленьки*, съ глоточекъ. Живетъ себѣ Филатъ Кузмичъ, словно чужое богатство стережетъ. Садъ былъ слиш-

«омъ великъ, такъ онъ повырубилъ его подъ огородъ, да посадилъ капустки и огурчиковъ. Оранжевую такъ таки *ранжерей* и оставилъ, только самъ не съестъ ни грушки, ни сливки, ни лимончика не сорветъ для домашняго обихода—все на откупъ. По парадному крыльцу не ходитъ; разъ пошелъ было, причудился ему въ дверяхъ офиціантъ мяжкой, стоитъ себѣ съ булавой, да словно кричить: куда тебя чортъ несетъ!—Съ тѣхъ поръ Филать Кузмичъ заперъ на ключъ парадное крыльцо.

«Слышалъ, Филать Кузмичъ, что люди говорятъ?—сказала Анисья Тихоновна: — говорятъ тово, явился вишь какой-то Яній, крылатый человекъ.

— Ой-ли?

«Знать тово, что ужъ это чудо какое? Явился въ имѣнь у князя Синегорскаго. Сегодня сюда привезутъ; чай, со всей Москвы ебъжится народъ. Что, кабы ты у дворецкаго мѣстечко добылъ, на хорахъ, что-ль, аль гдѣ у подвѣзда, смотрѣть маленько.

— А что тово, Федя! сходи, братъ, попроси ко мнѣ дворецкаго, такъ скажи, дѣльце тятенькѣ есть.

Федя побѣжалъ, а Филать Кузмичъ, значительно откашлянувшись, вынулъ бумажникъ съ ассигнаціями и сказалъ: постой, все устроимъ».

Не правда ли, что вѣрно? съ натуры? Но только и есть вѣрнаго и естественнаго во всей повѣсти. Все остальное—жаррикатура. Бываютъ на свѣтѣ такія происшествія, да только не такъ они дѣлаются... Къ слабымъ сторонамъ этой повѣсти принадлежитъ еще изображеніе московскаго высшаго общества: неужели гдѣ-нибудь можетъ быть такое высшее общество? Дуракъ мальчишка читаетъ блистательному сборщику князей, графовъ и разныхъ другихъ знаменитостей преглулые стишонки, и всѣ въ восторгъ и изъявляютъ этотъ восторгъ самыми пошлыми фразами.

Повѣсть «Радой» ужасно запутана, перепутана и нисколько не распутана. Въ ней есть прекрасныя подробности. Особенно прекрасно лицо Сербя, съ его восклицаніемъ: «Теперь піе, брате, за здоровье моей сестрицы Лильяны! піе руйно вино! была у меня сестра, да не стало!» и съ его разговоромъ о своей судьбѣ. Прекрасны также подробности объ отношеніяхъ

матери къ дочери, ненавидимой ею за то, что она была плодомъ насильственного брака съ немилымъ: это глубоко и вѣрно воспроизведено авторомъ. Но, несмотря на то, общаго впечатлѣнія повѣсть не производитъ, потому что ужъ слишкомъ перехитрена ея оригинальность и отрывчатость. Сверхъ того, она испещрена, безъ всякой нужды, молдаванскими словами, которыя оскорбляютъ и зрѣніе, и слухъ читателя и мѣшаютъ ему свободно слѣдовать за теченіемъ разсказа.

Пестрить свои разсказы странными словами—это страсть г. Вельмана. И потому вольтеровскія кресла онъ называетъ «розвальнями», какъ православные мужички называютъ особенный родъ дрянныхъ саней; «патэ» г. Вельманъ называетъ «лежанкою», а французское выраженіе *l'homme somme il faut* переводить «человѣкомъ какъ быть», забывъ, что оно давно переведено «порядочнымъ человѣкомъ».

«Путевыя Впечатлѣнія, и между прочимъ горшокъ ерани» — очень миленькій юмористическій разсказъ, въ которомъ даже много глубокой истины, подмѣченной въ женскомъ сердцѣ.

Прекрасная была бы повѣсть «Ольга»: въ ней такъ много естественности и вѣрности, за исключеніемъ идеальнаго лица садовника; начало ея—лирическая пѣснь, исполненная глубокаго чувства и истины. Но авторъ испортилъ ее счастливою развязкою черезъ посредство *deus ex machina*,—и изъ прекрасной повѣсти вышла пустая мелодрама.

Во всякомъ случаѣ, повѣсти г. Вельмана, хотя онѣ уже и не новы, могутъ быть перечитаны съ удовольствіемъ. А такъ какъ публикѣ русской теперь рѣшительно нечего читать, то она должна быть рада, что ей хоть есть что-нибудь порядочное перечитать снова.

ПРОВИНЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (*Ольскій*). *Описатель-
ный романъ XIX вѣка. Соч. Егора Классена. Часть
1. 1841.*

Со времени появленія «Мертвыхъ Душъ» — а этому прошло уже около года съ половиною, — никто не рѣшился издать романа. Даже самаго неустрашимаго барона Брамбеуса одолѣлъ страхъ и трусь велій, — и обѣщанная имъ, года три назадъ, «Идеальная Красавица» такъ и пропала безъ вѣсти, оставшись въ «Библіотекѣ» и недочитанною, и недописанною. Вотъ отчего столь многіе и такъ сильно сердились и еще сердятся на «Мертвыя Души»! Будь живъ теперь Лермонтовъ, никто бы не осмѣлился печатать своихъ стиховъ, и многіе потеряли бы охоту писать ихъ даже для собственнаго удовольствія. Вообще, надобно замѣтить, что Петербургъ давно уже занимается только приготовленіемъ повѣстей, а о романахъ и не думаетъ, — и только одинъ г. Ф(Ѳ)едоровъ недавно рѣшился проюркнуть съ своимъ «Княземъ Курбскимъ» мимо глазъ публики, въ надеждѣ быть незамѣченнымъ ею, въ чемъ и не ошибся. Но московская литература думаетъ объ этомъ иначе. Москва городъ романовъ по преимуществу. Посмотрите въ саможъ дѣлѣ, что дѣлаютъ, кромѣ этого, московскіе литераторы? Они не пишутъ, а оттого ихъ и не читаютъ и о нихъ не говорятъ; но, впрочемъ, они писатели, у которыхъ или былъ, или предполагается талантъ. Еслибъ они писали, ихъ, можетъ-быть, читали бы, и, вѣроятно, нашлись бы на Руси люди, которые даже и хвалили бы ихъ. Вотъ, напримѣръ, г. Кирѣевскій: онъ уже лѣтъ десять (такъ говорятъ московскіе слухи) собирается издать богатое собраніе русскихъ народныхъ пѣсенъ. Можетъ-быть, онъ и не успѣетъ издать ихъ при жизни своей — что-жь? — онъ издадутся послѣ его смерти, и если не мы, то наши дѣти будутъ читать ихъ. Г. Погодинъ уже около двадцати лѣтъ обѣщаетъ доказать, что Варяги были Скандинавы, и что Каченовскій ввелъ опа-

снѣй расколъ въ ученую литературу русской исторіи, — будьте увѣрены, что онъ когда-нибудь докажетъ намъ эту интересную истину. А если не успѣетъ — не бѣда: онъ передастъ ее какому-нибудь молодому ученому, и тотъ докажетъ. Г. Шевыревъ давно хлопочетъ объ истребленіи въ русской литературѣ вреднаго духа неуваженія къ писателямъ, съ которыми онъ, г. Шевыревъ, находился въ пріятельскихъ отношеніяхъ, для этого онъ рѣшился твердо, какими бы то ни было способами, заставить замолчать «литературныхъ бобылей» и безыменныхъ критиковъ», которые, кромѣ критикъ и рецензій, иногда пишутъ и типичскіе очерки... Не знаемъ, удастся ли г. Шевыреву его истинно благонамѣренное литературное предпріятіе; но знаемъ, что онъ не отстанетъ отъ него, не употребивъ всѣхъ усилій, не испробовавъ всѣхъ средствъ. Изъ живущихъ въ Москвѣ поэтовъ, всѣхъ даровитѣе г. Фетъ, а всѣхъ знаменитѣе гг. Языковъ и Хомяковъ. Оба они ничего или почти ничего не пишутъ; но за то о нихъ въ Москвѣ много пишутъ и еще больше говорятъ. На г. Хомякова друзья его смотрятъ, какъ на представителя въ поэзіи, славянскаго элемента. Такую странную извѣстность пріобрѣлъ онъ въ Москвѣ двумя стихотвореніями, въ которыхъ доказалъ, что древній Римъ и новая Англія скоро будутъ смѣнены Россією. Стихи г. Хомякова всегда звучны, но ужасно напряженны, — блестящи, но совершенно чужды поэзіи: это единственный ихъ недостатокъ; во всемъ остальномъ они столько хороши, сколько могутъ быть хороши славянскіе стихи. Въ Москвѣ издается даже литературно-ученый журналъ. Вотъ уже третій годъ, онъ обѣщаетъ развить какую-то мысль, но отлагаетъ исполненіе своего обѣщанія на неопредѣленный срокъ. Въ этомъ журналѣ печатаются преимущественно статьи о Славянахъ и славянскихъ литературахъ, стихотворенія г. Михайла Дмитріева, да брань на «Отечественныя Записки»... Кстати о стихотвореніяхъ г. Михайла Дмитріева: сей поэтъ пишетъ стихи уже больше двадцати

лѣтъ, но славою поэта никогда не пользовался даже въ кругу московскихъ своихъ пріятелей, гдѣ такъ легко дается слава поэта даже людямъ, ненаписавшимъ ни одного стиха. Чтобъ добиться этой постоянно убѣгающей его славы, г-нъ Михайло Дмитріевъ вмѣсто дидактическаго рода, въ бесполезномъ упражненіи которымъ онъ убѣдился, избрѣлъ теперь новый, до него небывалый родъ поэзіи, произведенія котораго можно было бы назвать «рифмованными денонціаціями» на безнравственность критиковъ, не признающихъ въ ихъ сочинителѣ ни искры поэтическаго таланта. Въ рукахъ человѣка талантливаго и остраго, такія стихотворенія были бы по крайней мѣрѣ опасны для его враговъ; но г. Михайло Дмитріевъ доставляетъ своимъ врагамъ только одно невинное удовольствіе—смѣяться надъ беззубою злостью его странныхъ стихотвореній.

Мы сказали выше, что Москва—по преимуществу городъ романовъ. Это до того справедливо, что Москву не удержало отъ романовъ даже появленіе «Мертвыхъ Душъ». Патріархъ московскихъ романистовъ, г. Загоскинъ, издалъ если не романъ, то физиологію Москвы въ разказахъ и сценахъ, подъ названіемъ «Москва и Москвичи», г. Воскресенскій издалъ, кажется, «Сердце Женщины». Романовъ прочихъ московскихъ романистовъ и не перечтешь. «Іоаннъ Грозный и Стефанъ Баторій. Историческій романъ. Сочиненіе А. А. Изданіе второе. Москва». — «Панъ Ягожинскій. Отступникъ и Мститель. Романъ, взятый изъ древнихъ польскихъ преданій А. П.-мт. Изданіе второе. Москва». — Видите ли это: все московскіе романы!

А сколько издали ихъ Касторъ и Поллуксъ московскихъ романистовъ—гг. Кузьмичевъ и Славинъ!... И вотъ теперь является умножить собою число сихъ геніальныхъ романистовъ г. Классень. Онъ такъ увѣренъ заранѣе въ успѣхѣ своего произведенія, что издалъ его только первую часть, предоставивъ себѣ издать вторую когда-нибудь, на досугѣ,

при благоприятныхъ обстоятельствахъ. Романъ его изданъ опрятно, хотя и украшенъ пятью плохими литографіями. Но что же содержаніе этого романа? Вотъ тутъ-то и бѣда, потому что въ романѣ г. Классена нѣтъ никакого содержанія, а есть путаница, въ которой ровно ничего нельзя понять и изъ которой ровно ничего нельзя упомянуть. Тутъ есть городничій, который боится жены, потому что она его больно щиплетъ, какъ только онъ скажетъ какую-нибудь глупость, а онъ только затѣмъ и раздвѣваетъ ротъ, чтобъ говорить глупости. Разъ, будучи на ярмаркѣ, городничій больно вскрикнулъ отъ щипка своей супруги, а одинъ изъ собесѣдниковъ бросился къ мужикамъ, продававшимъ квасъ, вырвалъ у нихъ кувшины, и сталъ лить квасъ на голову городничаго, облилъ всѣхъ дамъ, и, вѣроятно, отъ стыда, что надѣлалъ столько глупостей, упалъ въ рѣку и утонулъ. Все это г. Классенъ почитаетъ юморомъ и вѣрнымъ изображеніемъ провинціальныхъ нравовъ. Хорошъ эпиграфъ при первой главѣ этого романа:

Писать характеры людей

Есть два манера:

Перомъ Гомера

И ядомъ змѣй.

Такъ пишутъ мужи славы.—

Гдѣ жь славы взять,

Когда писать

Придется для забавы?

—

Такъ поэтъ на зубъ гнилой

Пробуетъ орѣхи;

Но раскусить лишь пустой—

Полный, для потѣхи,

Смелеть онъ на жернову

И поеть про скорлупу.

Этотъ эпиграфъ, смастеренный очевидно самимъ сочинителемъ, можетъ служить образчикомъ и вывѣскою слога, мыс-

лей, понятій и чувствъ, которыми отличается романъ. Это больше, чѣмъ просто бездарность: это явное отсутствіе здраваго смысла. Не только г. Воскресенскій, но даже гг. Кузьмичевъ и Славинъ—геніи первой величины въ сравненіи съ г. Класеномъ.

РАЗНЫЯ ПОВѢСТИ. *Спб. (Года не означено).*

На оборотѣ заглавнаго листка этой сѣренькой книжонки напечатано: «Изъ журнала Маякъ книжки XIX и XX 1841». Стало-быть, эта книжонка есть невинная спекуляція на вниманіе читателей: разныя повѣсти, оставшись въ этомъ никому неизвѣстномъ «Маякѣ» безъ читателей, хотѣли, во что бы ни стало, быть прочтенными, и для этого заблагоразсудили, черезъ два года, выйдти въ свѣтъ особенною книжкою. «Маякъ» уже не въ первый разъ прибѣгаетъ къ этому средству заставлять хоть кого-нибудь прочитывать нѣкоторыя изъ его статей. Къ несчастію этого темнаго журнала, гдѣ-то издающагося, и еще къ большому нашему несчастію, однимъ только рецензентамъ достанется прочитывать неслыханныя и чрезвычайныя статьи «Маяка», особо издаваемыя. Въ книжкѣ, о которой идетъ рѣчь, три повѣсти: первая изъ нихъ «Царское-Село» писана женщиною, благоразумно скрывшею свое имя; вторая—«Сельская Быль», сочинена какимъ-то г. Веселымъ, а третья, «Закладъ»—написана какимъ-то г. Тихорскимъ. Оба эти господина очень неблагоразумно выставили наружу свои имена. Первая повѣсть—пречувствительная; ужь такъ и видно, что дамской работы! Она начинается фразою: «Вы знаете, что лѣтніе мѣсяцы прожила я въ Царскомъ-селѣ». Не правда ли, что эта фраза очень неосторожно капнула съ пера на бумагу, и что каждый изъ читателей имѣетъ право отвѣтить на нее, бросая книгу подъ столъ: «Не знаю, да и знать не хочу»? Живучи въ Царскомъ-селѣ, сочинительница бродила

по его садамъ съ Виландомъ въ рукахъ. Боже мой! да кто жь теперь читаетъ Виланда и въ самой Германіи? Одинъ разъ сочинительница сѣла въ кусты (стр. 14, строка 19), и вытащивъ изъ большого ридикюля толстую не дамскую книгу, не теряя напрасно времени, принялась за чтеніе нѣмецкаго ученаго писателя, Платона, написавшаго «Республику». Право такъ! Любопытные могутъ справиться сами. Это самая достопримѣчательная и характеристическая черта повѣсти «Царское-село»: все остальное въ ней такой вздоръ, что не хочется и говорить о немъ, и нѣтъ силъ его запомнить. — «Сельская Быль» напечатана съ двумя эпитафиями — французскимъ: «C'est quelque chose de moujique?» и русскимъ: «Квасной патріотизмъ?» Мѣстами эта повѣсть довольно удачно переразбиваетъ «гуторъ», т. е. «мужицкую рѣчь», или «батъ по-мужицки», но въ сюжетѣ, въ мотивахъ, чувствахъ, мысляхъ, она — ложь лжей и нелѣпость нелѣпостей. Въ деревнѣ мота и дурака-помѣщика, между мужиками есть богачи! Между ними одинъ далеко превзошелъ въ добродѣтели и благотворительности Карамзинскаго «Флора Силина». «Кто третьяго года роздалъ на посѣвъ почти весь свой анбаръ; кто на свои деньги купилъ лошадь и корову вдовѣ Аксиньѣ; кто помогалъ хлѣбомъ и чѣмъ ни попало, вонъ его (одного парня) матери?» Фантазія! Ребята борются, а дѣвушки ободряютъ возлюбленныхъ своимъ присутвіемъ, взглядами и улыбками: русская національность въ флоріановскомъ пастушескомъ нарядѣ! У каждого парня есть зазноба, у каждой дѣвушки — любимецъ сердца; ребята всѣ молодцы и комплиментисты, а дѣвушки кокетки: — клевета на лапотную и сермяжную дѣйствительность, которая не влюбляясь женится, а женившись больно дерется! Анюта тоскуетъ по своему возлюбленномъ, а отецъ ее нѣжно спрашиваетъ о причинѣ грусти: тогда она не можетъ говорить отъ рыданій, и только, бросаясь къ отцу на шею, осыпаетъ его поцѣлуями (стр. 102). Къ довершенію всего, эта сермяжно-идеальная дѣва говоритъ своему брада-

тому родителю не ты, а вы, и если называетъ его «батюшкою», а не «папашею», то, вѣроятно, только изъ уваженія проповѣдуемой «Маякомъ» народности. На 139 стр. исправникъ краснѣетъ при фразѣ мужика, что съ бѣды да горя взятки гладки: невѣроятность! Г. Веселый (да простить ему Господь его неумѣстную веселость) хотѣлъ въ своей повѣсти изобразить неизреченное счастье быть мужикомъ, — и, самъ того не подозрѣвая, написалъ презлую каррикатуру на это счастье. Соперникъ идеальнаго героя повѣсти убиваетъ проѣзжаго куща и, съ вѣдома земской полиціи, подбрасываетъ окровавленное платье убитаго подъ полъ избы Федора, котораго осуждаютъ на кнутъ и каторгу. Къ счастью, земскаго засѣдателя лошадь разбила на смерть, и онъ, упавъ подлѣ церкви, успѣлъ покаяться въ своемъ злоумышленіи.

Повѣсть «Закладъ» г. Тихорскаго взята изъ малороссійскаго быта. Героиня повѣсти — Галя, въ звательномъ падежѣ Галю. Это напомнило намъ «Вечера на Хуторѣ» Гоголя, и потому мы уже не въ состояніи были дочестъ до конца сказки г. Тихорскаго. Охота же этимъ господамъ браться за изображеніе идиллическаго быта сельской Малороссіи послѣ «Сорочинской Ярмарки», «Утопленницы» и «Ночи передъ Рождествомъ»! Охота имъ сталкиваться съ Гоголемъ! Увѣряемъ васъ, господа-сочинители въ родѣ неизвѣстнаго г. Тихорскаго, что это для васъ также невыгодно, какъ для вывѣсочнаго маляра сталкиваться въ сюжетахъ своихъ аляповатыхъ картинъ съ грандіозными созданіями Брюлова, или граціозными твореніями Моллера.

Прочь эту вздорную книжонку!

ГОЛОСЪ ЗА РОДНОЕ. *Повѣсть. Соч. Ф. Фанъ - Димъ.*
Сиб. 1843.

Только что одну книжонку прогнали — глядимъ, лѣзеть другая, и все въ томъ же духѣ и въ томъ же тонѣ. Какъ и у первой, на оборотѣ заглавнаго листка безграмотно напечатано: «Изъ журнала Маякъ книжки XIX и XX 1841». Сколько помнится намъ, мы уже когда-то читали это маяковское нѣщечко и уже говорили о немъ въ Библиографической Хроникѣ «Отечественныхъ записокъ». Содержаніе этой книжонки вполнѣ соответствуетъ ея сѣренькой наружности: оно не то, чтобъ ужъ черезъ чуръ нелѣпо, да и не то, чтобъ и очень отличалась смысломъ, а такъ, середка на половинѣ. Главные элементы этой книжонки крайняя ограниченность взгляда и чрезвычайная бездарность выполненія; а результатъ ихъ—скука смертельная...

РѢЧЬ ОВЪ ИСТИННОМЪ ЗНАЧЕНІИ ПОЭЗІИ, *написанная для произнесенія въ торжественномъ собраніи Императорскаго Харьковскаго университета 30 августа 1843 года адъюнктомъ А. Метлинскимъ. Харьковъ. 1843.*

Въ этой «рѣчи» можно найти все, что угодно, кромѣ истиннаго значенія поэзіи. Авторъ очень ловко маневрируетъ около своего вопроса, но не нападаетъ на него, не хватаетъ его. Оттого, много фразъ и словъ, рѣчь длинна и скучна, а дѣла въ ней нѣтъ. Въ иныхъ мѣстахъ, пустѣйшій наборъ словъ выданъ за краткія многообъемлющія характеристики, напр.:

«Камознсъ, ограничившій свою поэму подвигами отечества, прозвучалъ тѣсною по бурнымъ океанамъ во смѣхъ мореходцамъ Лузитаніи. Въ Испаніи, Кальдеронъ раскрывалъ въ тайнахъ религіи мѣрное просвѣтлѣніе чловѣка, встревоженнаго бурєю мятежныхъ страстей; Сер-

вантесъ глубоко - пронизательнымъ взглядомъ обнажилъ двуличность жизни, въ которой нерѣдко суетливое ничтожество таится подъ видомъ торжественной важности мнимыхъ подвиговъ» (стр. 10—11).

Творецъ небесный! что это такое? Неужели это характеристики Камонса, Кальдерона и Сервантеса? И неужели такъ должно понимать великое созданіе Сервантеса — «Донъ Кихоть?» По всему замѣтно, что авторъ «Рѣчи» много читалъ и много думалъ, но, за отсутствіемъ въ душѣ непосредственнаго созерцанія таинства поэзіи, ничего не вычиталъ, ничего не выдумалъ. Говоря о сущности поэтическаго выраженія, авторъ «Рѣчи» приводит иногда такіе примѣры, въ которыхъ не только поэзіи, но и смысла нѣтъ, напр.:

Бѣжить въ свой путь съ весельемъ многимъ
По холмамъ грозный исполинъ;
Ступаетъ по вершинамъ строгимъ (т. е. острымъ),
Презрѣвъ глубоко дно долинъ.

Знаемъ, что противъ насъ подымутся крики и вопли за рѣзкій приговоръ стихамъ великаго человѣка. Отвѣчаемъ заранѣе этимъ господамъ: великаго человѣка, написавшаго эти стихи, уважаемъ, а въ этихъ стихахъ его все-таки не видимъ ни поэтическаго, ни другаго какого-либо смысла...

Силясь опредѣлить поэзію и такъ и этакъ, и видя, что такое дѣло рѣшительно не удастся, авторъ «Рѣчи» вздумалъ было противопоставить ее, какъ выраженіе духа, чувственности, забывъ, во-первыхъ, что чувственность есть необходимый моментъ самой поэзіи, что, во-вторыхъ, идеальная сущность поэзіи состоитъ не въ духовности, а въ идеальной всеобщности, дающей себя чувствовать въ индивидуальномъ и частномъ, и что, наконецъ, вслѣдствіе этого, сама чувственность можетъ имѣть всеобщее, идеальное значеніе, какое и имѣла у самаго эстетическаго въ мірѣ народа — древнихъ Грековъ. Все это показываетъ, что или г. Митлинскому надо еще поучиться, отложивъ сочиненіе рѣчей, или что тайнѣ

поэзіи нельзя выучиться, если натурѣ человека не присуще откровеніе этой тайны...

ОСАДА ТРОИЦЕ-СЕРГІЕВСКОЙ ЛАВРЫ, ИЛИ РУССКІЕ ВЪ 1608 ГОДУ. *Историческій романъ XVII вѣка. Три главы. Благотворительность, дума. Человѣкъ, дума, Александра С***. Спб. 1843.*

За бессмысленнымъ заглавіемъ этого «историческаго романа XVII вѣка», слѣдуетъ посвященіе, изъ котораго узнаемъ мы, что сочинитель «преданный сынъ», котораго фамилія—А. С—нъ, посвящаетъ галиматью о XVII вѣкѣ своимъ «достойнымъ родителямъ», Павлу Петровичу и Матронѣ Ивановнѣ, которыхъ фамилія—Прот—вы... Какая странная разница въ фамиліяхъ сына и обоихъ родителей! Но не будемъ останавливаться на этомъ... За посвященіемъ слѣдуетъ «Воззваніе къ публикѣ и рецензентамъ». Какъ оригинально это слово — воззваніе! Совершенно въ тонѣ и вкусѣ Кутейкина, извѣстнаго лица въ комедіи Фонъ - Визина «Недоросль!» Въ «воззваніи» остроумный сочинитель взываетъ, или гласитъ, что его романъ—не романъ, а только отрывки изъ романа, изданные имъ «для того, чтобъ узнать мнѣніе публики и благонамѣренныхъ рецензентовъ—заслуживаетъ ли, по этимъ главамъ, весь романъ быть напечатаннымъ, или должно оставить его въ портфель?» Что касается до насъ, то, при всей своей благонамѣренности, мы убѣждены, во-первыхъ, въ томъ, что цѣлаго романа у «преданнаго сына» нѣтъ и не будетъ, а эти главы сочинены имъ по случаю насущныхъ потребностей настоящаго дня; во-вторыхъ, что и эти главы, для чести русской словесности и русскаго книгопечатанія, должны были бы остаться въ портфель, или пойти на кухню для разныхъ домашнихъ потребностей, а не появляться въ свѣтъ, въ которомъ и безъ того много разной галиматши. За «воззваніемъ»

слѣдуютъ три отрывка, которые писаны двумя родами слога—высокимъ, т. е. напыщеннымъ до безсмыслицы, и низкимъ, площаднымъ и тривьяльнымъ. Вотъ образчики того и другаго. № 1-й слогъ надутый:

„Случалось ли вамъ послѣ отрадной ночи пить теплоту утренняго августовскаго солнца, когда роса колеблется по вѣточкамъ и блещетъ различными цвѣтами? И если случилось, то вы согласитесь, что эта теплота упоительно-сладостна... воздухъ тогда—поэзія и наслажденіе. Сіяніе роскошнаго дня возбуждаетъ чувство признательности; кровь стремится къ сердцу и удвоюетъ жизнь; въ то время бываетъ какъ-то отраднo-легко: тихій восторгъ оковываетъ душу. Мы *любимъ отпѣвки* чувствъ и возносимся выше вещественнаго міра“...

И такъ далѣе, и все такъ же хорошо. Или вотъ еще:

„Въ огромномъ пространствѣ мірозданія, на этомъ *великомынномъ* днѣ вселенной, усыпанномъ алмазными огнями, съ которыми *любитъ* иррать мысль поэта (вѣроятно, *преданнаго сына?*)“.

№ 2-й,— слогъ площадной:

„Слышь ты, и впрямь такъ! не удасться поганымъ смердамъ пощетится монастырскимъ добромъ; отрянемъ ихъ такъ, что и своихъ не узнаютъ! Экъ они больно *разботваемы* съ коврижнымъ царькомъ-то своимъ! Думаютъ, что вотъ мы - де нагрнемъ на монаховъ-то, такъ трусу и спразднуютъ,— *приходитетко!* мы васъ встрѣтимъ, *собачьи дѣти!* ужъ была не была,— смерть, такъ смерть,— одинъ разъ умирать-то! а кажишь, какъ появится подъ стѣнами, такъ вотъ выскочу, да и давай топоромъ мозжить ихъ безмозглыя башки — хорохорясъ проговорилъ молодой дѣтина, лѣтъ 26-ти.— Ну, что говорить съ *валлакамъ*-то, дѣдушка Фома!“...

И далѣе, все въ такомъ же вахлацкомъ тонѣ и вкусѣ. Да здравствуютъ вахлацкіе романы и вахлацкая литература!

За отрывками изъ вахлацкаго романа XVII вѣка слѣдуютъ, ни съ того, ни съ сего, какъ говорится—ни къ селу, ни къ городу,—двѣ думы: «Благотворительность» и «Человѣкъ». Эти думы писаны особеннымъ слогомъ, именно — галиматейнымъ. Вотъ образчикъ этого новаго слога: «Хороша, дивно,

обольстительно хороша высота поднебесная! какъ роскошна она! какъ великолѣпна она! то свѣтла какъ брильянтъ, то вдругъ пасмурна, какъ чело генія» (вѣроятно «преданнаго сына?»), когда онъ думаетъ о людяхъ; то лазурна, какъ эмаль, то, въ пеленахъ тумана, какъ надежда на будущность!» Въ этихъ думахъ, глубокомысленный сочинитель разсуждаетъ о неравенствѣ состояній и о торговлѣ, и притомъ такимъ глубокомысленнымъ образомъ, что изъ его разсужденій ровно ничего нельзя понять. Видно, догадавшись объ этомъ самъ, онъ «взываетъ», или «гласить»: «Да не скажетъ кто-нибудь, что это вздорная теорія, заносчивое умозрѣніе!» Слѣшимъ успокоить г. сочинителя увѣреніемъ, что заносчиваго умозрѣнія никто не найдетъ въ его книжкѣ, потому что въ ней нѣтъ никакого умозрѣнія; а вздорную теорію, — хочетъ онъ, или не хочетъ, — всякій увидитъ въ наборѣ словъ, который ему угодно было такъ не кстати назвать думою.

Замѣчательнень эпиграфъ къ этому вахлацкому роману XVII вѣка — самый вахлацкій эпиграфъ; такъ и видно, что — онъ произведеніе сочинителя отрывковъ изъ вахлацкаго романа:

Земля ходить по землѣ, облаченная въ пурпуръ и злато;
Земля идетъ въ землю прежде нежели хочетъ;
Земля строить на землѣ замки и башни;
Земля говорить землѣ: это все наше!...

Очень хорошо! Сколько глубокомыслія и поэзіи! Вахлаки будутъ отъ нихъ въ восторгѣ!

ДЕМОНЪ СТИХОТВОРСТВА. *Комедія, въ пяти дѣйствіяхъ.* Соч. В. Н. ...ю. Спб. 1843.

Вотъ эта комедія рѣшительно не хочетъ быть вахлацкою и претендуетъ на порядочный тонъ. Дѣйствующія лица ея — все или «аристократы», или литераторы. Но природы своей никому не побѣдятъ:

Гони природу въ дверь—она влетитъ въ окно!

Несмотря на всѣ претензіи комедіи, она принадлежитъ рѣшительно къ вахлацкой литературѣ. Посмотрите, напримѣръ, что за названія дѣйствующихъ лицъ: Добряковъ, Зорской, князь Болтуновъ, Лирова (молодая дѣвица, писательница), Пристрастѣевъ, Острословскій, Туманинъ (журналисты), Щеталовъ (кигопродавецъ), Продажный (служащій по министерству и редакторъ періодическаго изданія)... Настоящія куклы, съ надписями на лбу о личныхъ качествахъ, которыя назначено имъ представлять собою! При комедіи есть и предисловіе—нѣчто въ родѣ «воззванія», изъ котораго ясно значится, что 1) сочинитель весь вѣкъ свой прожилъ за 900 верстъ отъ Петербурга и за 700 верстъ отъ Москвы (оно и очень замѣтно какъ изъ тона предисловія, такъ и изъ самой поэзіи); что 2) сочинитель не имѣлъ до сихъ поръ случая видѣть въ лицо ни одного изъ теперешнихъ гг. журналистовъ и литераторовъ, кромѣ одного только, котораго талантъ онъ очень уважаетъ; что 3) въ рукописи его комедіи, тотчасъ по отсылкѣ ея въ Петербургъ, читавшія ее лица увидѣли въ ней пасквиль; но что, 4) въ ней нѣтъ рѣшительно никакого сходства ни съ однимъ журналистомъ, или литераторомъ. (Пред. стр. VII).

Публика, вѣроятно, будетъ очень благодарна сочинителю «Демона Стихотворства», что онъ такъ предупредительно поспѣшилъ ей отрекомендоваться и сообщить ей такія интересныя подробности о собственной своей особѣ. Теперь познакомимся съ комедіею. Это не трудно и недолго: таково свойство всѣхъ «вахлацкихъ» произведеній!

Зорскій, отставной корнетъ, бѣднякъ и поэтъ, влюбленъ въ племянницу Добрякова, Ольгу Львовну, которая, въ знакъ любви своей къ нему, находитъ очень острыми его плоскости очень поэтическими его плохіе стихи. Симпатія ея къ Зорскому простирается до того, что она сама безпрестанно гово-

рять плоскости и предурными стихами. Зорскій ужасно глупъ, что можно видѣть изъ того, что онъ говоритъ грубости князю Болтунову и вызываетъ его на дуэль за то только, что тотъ считаетъ поэзію вздоромъ, а людей, занимающихся ею — пустыми людьми. Болтуновъ это сказалъ Ольгѣ Львовнѣ, какъ свое мнѣніе, безъ всякаго намѣренія оскорбить Зорскаго, и тотчасъ же извинился передъ нимъ. Но Зорскій — поэтъ, слѣдовательно, по мнѣнію уѣздныхъ сочинителей, человѣкъ пламенный, грозный и храбрый. Съ Ольгою Львовною Зорскій обращается *en laquais endimanché*, а она съ нимъ *en servante endimanchée*. Надобно сказать, что Зорскій приготовилъ на сцену комедію своего сочиненія, которая потомъ и разыгрывается въ комедіи г. Н. . . го. Зорскій проситъ у Добрякова руки его племянницы; Добряковъ говоритъ, что онъ боится имѣть зятемъ человѣка, освистаннаго въ театрѣ, и потому въ такомъ только случаѣ рѣшится отдать за него свою племянницу, если его комедія будетъ хорошо принята публикою. Завязка — какъ видите — совершенно въ русскихъ нравахъ и обнаруживаетъ въ сочинителѣ большое знаніе русскаго общества и рѣдкую наблюдательность! Піесу Зорскаго даютъ на Александринскомъ театрѣ, и журналисты стараются ее уронить, посредствомъ клакеровъ, а князь Болтуновъ хлопочетъ, тѣмъ же способомъ, поддержать ее. Автора вызываютъ, и онъ женится. Вотъ и вся комедія! Но паѳосъ ея составляетъ не это, а портреты журналистовъ. Одного изъ нихъ, Туманина, вотъ какъ заставляеть говорить остроумный сочинитель:

Нашъ юный критицизмъ и наши умозрѣнья
 Повергли въ прахъ его творенья!...
 А есть комедія у насъ: ея творецъ —
 Мой закадычный другъ. — Вотъ это образецъ!
 Жизнь улетучилась въ созданьи этомъ дивномъ
 Въ какое слитное единство,
 И въ духѣ творчества субъектно-объективномъ
 Искусства видно въ немъ — цвѣтенъе, торжество!
 Пластичность образовъ и формы просвѣтлѣнье —

Въ ней осязательны. А какъ ужь соблюденъ
Основной общаго законъ.

Законъ замкнутости и обособленья!!!!—

Но чтобы уяснить мои слова

Хочу я разурьшить сперва,

Что есть комедія?...

Г. Не...въ, кажется, въ полной увѣренности, что, заставляя Туманина говорить эту галиматью, онъ очень зло подшутить надъ людьми, употребляющими слова: субъектъ, объектъ, обособленіе, замкнутость и т. д. Слова эти, дѣйствительно, должны казаться очень смѣшными въ глазахъ г. Не...ва и подобныхъ ему сочинителей: живя въ 900 верстахъ отъ Петербурга и въ 700 верстахъ отъ Москвы, онъ, разумѣется, не понимаетъ ихъ значенія, а довольное собою незнаніе всегда находитъ смѣшнымъ то, чего не знаетъ, и, не понявъ дѣла, всегда предается «вахлацкому» юмору. Конечно, можно смѣяться, но не надъ этими словами, а надъ ихъ неумѣстнымъ, или неправильнымъ употребленіемъ; но и тутъ можетъ смѣяться только тотъ, кто самъ понимаетъ ихъ. Не въ примѣръ будь сказано, слуги всегда смѣются надъ образомъ мыслей и выраженія господъ своихъ; но не слугамъ, а все господамъ же удастся умно и дѣльно смѣяться надъ этимъ! Въ своемъ предисловіи, г. Н...въ говоритъ, что въ изображенныхъ имъ журналистахъ онъ «желалъ изобразить три главныя направленія, которымъ (будто бы) слѣдуетъ наша литература: Остро-словскій изображаетъ собою духъ французской словесности, остроумной, легкой, антипоэтической (?!...); Туманинъ долженъ быть выраженіемъ нѣмецкой философіи, которая всегда почти изъясняется языкомъ туманнымъ, неопредѣленнымъ, надутымъ; Пристрастеву назначено быть представителемъ англійской литературы, которая составляетъ нѣчто среднее между двумя первыми». Изъ этого видно, что г. Не...въ глубоко изучилъ французскую, нѣмецкую и англійскую литературы, особенно нѣмецкую философію. Посмотрите, какъ ко-

ротко и ясно отдѣлалъ онъ ихъ! Французская литература— антипоэтическая, нѣмецкая философія—надута и туманна, а литература англійская есть нѣчто среднее между французскою литературою и нѣмецкою философіею! Онъ до того убѣжденъ въ своемъ познаніи этихъ литературъ и достоинствъ своей комедіи, что дѣлаетъ смѣлое предположеніе: «будь эта комедія переведена на иностранные языки, вѣрно нашлись бы въ Германіи и во Франціи добрые люди, которые сейчасъ узнали бы въ Пристрастьевѣ, Острословскомъ и Туманинѣ своихъ знакомыхъ литераторовъ». Совѣтуемъ г. Не...ву заняться переводомъ этой комедіи на нѣмецкій и французскій, да ужь кстати и на средній между этими языками, языкъ англійскій: за успѣхъ ручаемся:

Неужели же, спросятъ насъ, въ этой комедіи нѣтъ ничего хорошаго, и она никуда не годится? Выписавъ образчикъ ея комическаго слога, мы не выписывали изъ нея такихъ стиховъ, какъ эти, которые сочинитель вложилъ въ уста свѣтскаго человѣка и льва, князя Болтунова:

Здѣсь шикаютъ какія-то *ракалы*..

Да вѣтъ! ве *выирать имъ батальи!*

Кому выписанное нами понравится и найдетъ въ немъ талантъ, съ тѣмъ не будемъ спорить. Что касается до насъ, скажемъ, что въ русской литературѣ очень часто появляются произведенія, которыя далеко хуже еще и «Демона Стихотворства»: стало-быть, эта комедія не можетъ быть образцомъ возможной бездарности и нелѣпости. Ея характеръ — посредственность, — и тѣмъ хуже для нея. Намъ понравились въ ней только два стиха:

О, этотъ человѣкъ для остраго слова.

Не пощадить ни мать, ни отца!

Но и эти два стиха не сочинены г. Не...мъ, а вырваны имъ изъ третьей сатиры Милонова (см. «Сатиры, Посланія и другія мелкія стихотворенія Михайла Милонова». 1819, стр. 46).

Бъги его. страшись: для остраго словца
Въ сатиру уязвить онъ матеръ и отца.

Ни одинъ родъ поэзіи не труденъ такъ для нашихъ — не только сочинителей, но и литераторовъ, какъ комедія. Это понятно: хорошую трагедію такъ же мудрено написать, какъ и хорошую комедію; но легче написать посредственную трагедію, чѣмъ сколько-нибудь сносную комедію. Первая, т. е. посредственная трагедія, требуетъ лишь нѣкотораго жара и хорошаго стиха, а комедія, кромѣ того, еще и наблюдательности, знанія общества, и, главное, юмора, который есть самъ по себѣ талантъ. Наши комики всего менѣе знаютъ нравы даже того круга общества, среди котораго сами живутъ. Оттого, они всегда ищутъ смѣшнаго въ словахъ, а не въ понятіяхъ, въ покроѣ платья, а не въ складѣ ума, въ бородѣ и прическѣ *à la russe*, а не въ нравахъ и характерахъ; словомъ, они ищутъ комическаго снаружи, а не изнутри. И потому, самыми смѣшными лицами въ своихъ комедіяхъ являются — они же сами, ихъ сочинители. Сколько у насъ комиковъ и драматурговъ — числа вѣдь нѣтъ! а за исключеніемъ Фонъ-Визина, Грибоѣдова и Гоголя, комедія наша упорно стоитъ на одномъ мѣстѣ, не двигаясь впередъ. Къ ней теперь можно примѣнить слова одного умнаго литератора, сказанныя имъ за тринадцать лѣтъ предъ симъ *): «Вообще нашъ театръ представляетъ странное противорѣчіе съ самимъ собою: почти весь репертуаръ нашихъ комедій состоитъ изъ подражаній французамъ, и, несмотря на то, именно тѣ качества, которыя отличаютъ комедію французскую отъ всѣхъ другихъ — вкусъ, приличіе, остроуміе, чистота языка, и все, что принадлежитъ къ необходимымъ хорошаго общества, — все это совершенно чуждо нашему театру. Наша сцена, вмѣсто того, чтобъ быть зеркаломъ нашей жизни, служить увеличительнымъ зеркаломъ для однѣхъ

*) См. «Денница, альманахъ на 1830 годъ», стр. 64—65.

лакейскихъ нашихъ, далѣе которыхъ не проникаетъ наша комическая муза. Въ лакейской она дома, тамъ ея и гостиная, и кабинетъ, и зала, и уборная; тамъ проводитъ она весь день, когда не ѣздитъ на запяткахъ дѣлать визиты музамъ сосѣднихъ государствъ, и чтобъ русскую талію изобразить похоже, надобно представить ее въ ливреѣ и сапогахъ».

III.

ЖУРНАЛЬНАЯ ВСЯЧИНА.

АЛЕКСѢЙ ВАСИЛЬЕВИЧЪ КОЛЬЦОВЪ.

(некрологъ).

Еще смерть, еще утрата — еще не стало одного примѣчательнаго человѣка въ русской литературѣ и русскомъ обществѣ, которыя по справедливости могли гордиться имъ: извѣстный поэтъ русскій, Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ скончался въ Воронежѣ, прошлаго года, въ октябрѣ мѣсяцѣ, на тридцатьтретьемъ году отъ роду... Тяжела и горька была жизнь этого человѣка, страшна была смерть его... Въ продолженіе почти двухъ лѣтъ, онъ медленно хилѣлъ и таялъ, проводя время въ лѣченіи, то оправляясь, то вновь и еще сильнѣе одолеваясь тяжкимъ внутреннимъ недугомъ... Крѣпкая и сильная натура его могла бы еще преодолѣть болѣзнь тѣла, но семейныя огорченія, совершенное одиночество среди близкихъ ему, но непонимавшихъ его людей, потерянное время въ прошедшемъ и безнадежность въ будущемъ, горькія разочарованія въ томъ, что любилъ и за любовь къ чему встрѣтилъ вражду и ненависть, потрясли въ основаніи этотъ мощный благородный духъ... Пожраемый лютою чахоткою, одинокій и отчаянный, лишенный не только участія — даже пособій врачей (ибо ему не на что было покупать лѣкарства), Кольцовъ окончилъ страдальческую жизнь свою 19 октября прошлаго года, въ три часа по-полудни... Кто зналъ этого человѣка лично и умѣлъ понимать и цѣнить его, —

для тѣхъ неожиданное и уже позднее извѣстіе о смерти его было истиннымъ ударомъ...

Кольцовъ родился въ Воронежѣ, 1809 года, октября 2-го дня. Его не совсѣмъ основательно называли поэтомъ-самоучкою, смѣшивая съ простолюдинами, которые, въ зрѣлыхъ лѣтахъ выучившись грамотѣ, сочли это за право кропать стихи. Кольцовъ зналъ грамотѣ съ малолѣтства; по инстинкту, онъ всегда стремился къ сближенію съ людьми, отличенными искрою Божіею—и никогда не обманывался, въ своемъ выборѣ. Рано проснулась въ немъ страсть къ чтенію, и жадно читалъ онъ всякую книгу, какая только попадалась ему подъ руку. Дружба съ однимъ молодымъ человѣкомъ, Серебрянскимъ, подобнымъ ему горемыкою, котораго также уже нѣтъ на свѣтѣ, имѣла сильное и рѣшительное вліяніе на внутреннюю жизнь Кольцова. Серебрянскій былъ человѣкъ замѣчательный, съ душою, съ умомъ, съ рѣдкими дарованіями,—чему можетъ служить доказательствомъ статья его «Мысли о Музыкѣ». (Въ приложеніи къ Стихотвореніямъ Кольцова). Получивъ образованіе схоластическое, Серебрянскій взялъ отъ него только одни, хотя и скудные, свѣдѣнія, и самъ довѣршилъ свое воспитаніе черезъ чтеніе и черезъ суровую школу нужды, бѣдности и тяжелаго опыта, въ борьбѣ съ которыми и палъ, сраженный преждевременною смертію... Потомъ судьба свела Кольцова съ однимъ изъ тѣхъ людей, которые не всегда бываютъ извѣстны обществу, но благовѣйная память и таинственные слухи о которыхъ изъ тѣснаго кружка близкихъ имъ людей переходятъ иногда въ общество: мы говоримъ о Станкевичѣ... Черезъ него Кольцовъ вошелъ именно въ такой кругъ людей, котораго всегда жаждала душа его,—и единственными счастливыми эпохами въ его жизни были встрѣчи его съ этими людьми, во время его поѣздокъ, по торговымъ дѣламъ отца, въ Москву и Петербургъ. Небольшая книжка изданныхъ въ свѣтъ его стихотвореній, доставила ему честь личнаго знакомства съ Пушкинымъ, Жуковскимъ, княземъ

Вяземскимъ, княземъ Одоевскимъ и другими извѣстными литераторами, — и онъ былъ всѣми ими радушно принятъ и обласканъ. Нѣкоторые изъявили ему свое участіе даже оказаніемъ помощи въ дѣлахъ его, — и въ этомъ случаѣ Кольцовъ особенно хранилъ признательную память къ князю Вяземскому. 1836—1840 годы были самые счастливые для его развитія: Кольцовъ тогда былъ необходимъ для дѣлъ отца своего и потому часто бывалъ и долго жила въ Москвѣ и Петербургѣ, приобрѣтая себѣ книги и на собственные средства и получая ихъ въ подарокъ отъ всѣхъ знакомыхъ ему литераторовъ. Но, несмотря на то, онъ всегда чувствовалъ, что его воспитаніе неозвратно заключило его въ ограниченный кругъ нравственнаго существованія, — и его глубокій, смѣлый, ясный умъ, вѣрный тактъ дѣйствительности, служили ему больше къ горестному сознанію этой истины, чѣмъ къ выходу изъ заколдованной черты, обведенной вокругъ него судьбою. И онъ глубоко страдалъ, видя, что многое для него мудрено и непостижимо, потому только, что ново и непривычно. Съ раннихъ лѣтъ ринутый въ жизнь дѣйствительную, онъ коротко зналъ, глубоко понималъ ее, — и судя по его практическому такту, его иронической улыбкѣ, его осторожному разговору, многіе дивились, какъ онъ въ то же время могъ быть поэтомъ... Есть люди, которые смотрятъ на поэта, какъ на птицу въ клеткѣ, и заговариваютъ съ нимъ для того только, чтобъ заставить его пѣть: такъ любители соловьевъ трутъ ножикъ о ножикъ, чтобъ звуками этого тренія вызвать птицу на пѣніе... Зная хорошо дѣйствительную жизнь, участвуя, по неволѣ, въ ея дразгахъ, Кольцовъ не загрязнялъ души своей этими дразгами: его душа всегда оставалась чиста, возвышенна, благородна, хотя ироническая улыбка никогда не сходила съ устъ его... Противорѣчіе между дѣйствительностію, въ которую бросила его судьба, и между внутренними потребностями души, — вотъ что всегда было причиною его страданій, и вотъ что нако-

нецъ свело его въ раннюю могилу. Одаренный характеромъ сильнымъ, Кольцовъ умѣлъ терпѣть; но всякому терпѣнію бываетъ конецъ: онъ все могъ перенести, только не ядовитую ненависть тѣхъ, кого любилъ и отъ кого оторваться навсегда у него не было вѣшнихъ средствъ...

Какъ поэтъ, Кольцовъ былъ явленіемъ весьма примѣчательнымъ. Онъ обладалъ талантомъ сильнымъ, глубокимъ и энергическимъ, и, несмотря на то, долженъ былъ оставаться въ довольно ограниченной сферѣ искусства — сферѣ поэзіи народной. Въ своихъ «Думахъ», онъ рвался къ другимъ высшимъ мірамъ жизни и мысли, но выражалъ ихъ всегда въ своей однообразной народной формѣ. Если же смотрѣть на стихотворенія Кольцова какъ на произведенія народной поэзіи, которая уже перешла черезъ себя и коснулась высшихъ сферъ жизни и мысли, — то они останутся навсегда однимъ изъ любопытнѣйшихъ явленій русской литературы и поэзіи. О нихъ нельзя судить порознь, но собранныя вмѣстѣ, они представляютъ нѣчто цѣлое — самобытную и интересную въ самой ограниченности своей сферу творчества. Друзья покойнаго поэта, горячо любившіе его и какъ человѣка, желая достойно почтить его память, намѣрены издать въ скоромъ времени избранныя его стихотворенія, съ его портретомъ, fac-simile и біографіею.

ВИБЛЮГРАФИЧЕСКІЯ И ЖУРНАЛЬНЫЯ • ИЗВѢСТІЯ.

Новый годъ всегда бываетъ эпохою въ жизни нашей литературы и мгновеннымъ ея пробужденіемъ изъ обычной ея летаргіи. Въ это время только и слышишь о новостяхъ, по большей части интересныхъ лишь до ихъ появленія. Журналы тутъ всё выходятъ въ срокъ: иной за прошлый годъ опоздаетъ нѣсколькими книжками, а съ первою книжкою на новый годъ какъ разъ явится перваго января. По этимъ первымъ книжкамъ можно судить о состояніи журнала: если онъ въ первой книжкѣ не рвется изъ всѣхъ силъ, не старается возбудить вниманія разными шутками (напримѣръ, заставляя новыя книги плясать въ критикѣ, трепака и т. п.), а идетъ ровнымъ шагомъ, нынче, какъ вчера,—вѣрный знакъ, что журналъ чувствуетъ свою силу. Въ противномъ же случаѣ, вѣрный знакъ, что онъ падаетъ и пышными, часто фантастическими обѣщаніями, силится во что бы ни стало поддержать охладѣвшее къ нему вниманіе публики. Въ это же время года являются новыя журналы, прекращаются старыя, выходятъ альманахи, романы, стихотворенія, собранія сочиненій извѣстныхъ писателей... Новый 1843 годъ особенно счастливъ во многихъ изъ этихъ отношеній: онъ ознаменовался выходомъ четырехъ томовъ сочиненій Гоголя, полнаго собранія стихотвореній Лермонтова, новаго изданія сочиненій Державина. Что касается до романовъ,—они не замедлятъ появиться въ числѣ какого-нибудь бѣднаго, неполнаго десятка. Г. Загоскинъ уже началъ ихъ рядъ своимъ сочиненіемъ «Москва и Москвичи»; теперь очередь за г. Воскресенскимъ, а тамъ, Богъ дастъ, издадутъ по роману гг. Зотовъ и Штевень. Сверхъ того, это блистательное собраніе романовъ должно пополниться «Дѣвою Чудною» барона Брамбеуса, обѣщанною еще въ началѣ прош-

лаго года. Новыхъ журналовъ не явилось ни одного; изъ бывшихъ скончался во цвѣтѣ лѣтъ «Русскій Вѣстникъ»: смерть присѣкла дни этого недоросля на 5 и 6 книжкахъ (изданныхъ въ одной оберткѣ) за прошлый годъ; съ остальными подписчики увидятся когда-нибудь тамъ, гдѣ назначено свиданіе всѣмъ покойникамъ... Кромѣ «Русскаго Вѣстника», всѣ другіе журналы продолжаютъ и въ нынѣшнемъ году. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ дѣйствительно произошли большія или меньшія перемѣны. Взглянемъ на нихъ.

«Библіотека для Чтенія», по обыкновенію своему, перемѣнила цвѣтъ обертки, а въ Литературной Лѣтописи дала своимъ читателямъ спектакль, который мы назвали бы небывалою новостію въ исторіи русской журналистики, еслибъ этотъ спектакль не былъ уже вторымъ по счету. Въ первомъ, «Библіотека для Чтенія» заставила Шехеразату рассказывать султану-публикѣ разныя сказки о новыхъ книгахъ; во второмъ, т. е. нынѣшнемъ, она заставила плясать въ присядку книги «Были и Небылицы» съ «Супружескою Истиною» и «Голосомъ за Родное». Мысль чрезвычайно оригинальная и, вѣрно, многимъ изъ почитателей «Библіотеки для Чтенія» покажется даже остроумною... Теперь надо ожидать, что «Библіотека для Чтенія» когда-нибудь сама пропляшетъ въ присядку хоть съ повѣстями барона Брамбеуса. Замѣчательно однако безпристрастіе «Библіотеки для Чтенія»: въ первый ея книжкѣ за нынѣшній годъ напечатано новое «патріотическое представленіе» г. Полеваго, и въ той же самой книжкѣ препорядочно отдѣланы «Были и Небылицы» того же самаго г. Полеваго. Въ первой же книжкѣ «Библіотека для Чтенія» напечатана повѣсть Фань-Дима,— и въ той же книжкѣ «Голосъ за Родное» того же автора обреченъ на пляску въ шутовскомъ дивертисманѣ... Вообще книгамъ, о которыхъ объявляетъ прежде другихъ книжный магазинъ Ольхиной, въ «Библіотекѣ для Чтенія» пришлось играть не слишкомъ веселую, хотя и плясовую роль. Чтò же такое, спросятъ насъ, новое «представле-

ніе» г. Полеваго?—Да все то же, что и прежнія его «представленія»: чувствительная героиня, на которой хочет насильно жениться жестокой заимодавецъ ея матери, и когда ихъ обѣихъ тащить онъ въ тюрьму, является великодушный любовникъ, платитъ деньги, которыя на этотъ разъ ему словно съ неба падаютъ, и женится на «милой воровкѣ своего покоя»... Содержаніе повѣсти г. Фанъ-Дима такъ мудро, что никому не понять его: Герой ея—духъ, а извѣстно, когда духи дѣйствуютъ въ повѣстяхъ вмѣстѣ съ людьми, тогда здравый смыслъ уступаетъ мѣсто «чудесному»...

«Современникъ» выходитъ, въ нынѣшнемъ году, ежемѣсячно, въ числѣ двѣнадцати книжекъ. Отъ этого онъ много выигрываетъ, какъ журналъ. Первая книжка его предстаетъ по наружности, интересна по содержанію. Долгомъ почитаемъ указать на превосходную статью М. С. Куторги: «Людовикъ XIV» (историческій очеркъ) и просимъ «Современника» почаще дарить публику такими статьями.

«Москвитянинъ» въ первой книжкѣ своей предлагаетъ цѣлыя три переводныя повѣсти. Онѣ очень коротки, но какъ въ то же время онѣ и очень плохи, то эта краткость, стало быть, не вредитъ журналу. Историческихъ матеріаловъ въ немъ, по прежнему, много; также и славянскихъ сказокъ, которыя тоже можно назвать матеріалами для исторіи народной славянской поэзіи. Вообще, эти матеріалы дадутъ «Москвитянину» видъ альманаха, содержаніе котораго—матеріалы для исторіи и словесности Славянъ. Изданіе полезное и почетное, но оно не журналъ. Между тѣмъ, «Москвитянинъ», во что бы ни стало, хочетъ быть журналомъ. Для этого онъ изрѣдка разсуждаетъ о современной литературѣ и довольно часто обѣщаетъ поговорить о томъ, о другомъ. Въ первой книжкѣ онъ обозрѣваетъ русскую литературу 1842 года и доказываетъ сродство музы г. Бенедиктова съ музою Шиллера. Замѣчательнѣе всего въ этой статьѣ признаніе «Москвитянина», что онъ «не представилъ еще всего того, что сказать

имѣть», ибо «такое важное дѣло должно быть совершенно вслѣдствіе трудовъ многосложныхъ и новыхъ» (стр. 275). Между прочимъ, тамъ же намекается и прямо говорится, что всѣ журналы издаются съ промышленною цѣлю, и что исключеніе остается за однимъ «Москвитяниномъ»; мы въ этомъ никогда не сомнѣвались...

«Репертуаръ и Пантеонъ», превратившись въ зеркало театровъ русскаго и иностраннаго, сбросили съ себя затѣйливую обертку, на которой было изображено въ лицахъ, какая бываетъ страшная давка при раздачѣ книжекъ этого изданія... Видно, теперь уже давки нѣтъ, — и «Репертуаръ» является въ скромной и пристойной оберткѣ... Не понимаемъ, почему это изданіе носить двойное названіе: каковъ бы ни былъ покойникъ «Пантеонъ», въ немъ печатались драмы Шекспира, а въ «Репертуарѣ» печатается только то, что играется на Александринскомъ театрѣ... Въ 1 № напечатаны: «Русская Боярыня XVII столѣтія» г. Ободовскаго, «Школьный Учитель» г. Каратыгина и «Супруги-арестанты» г. Коровкина; изъ нихъ только «Школьнаго Учителя» можно видѣть на сценѣ, но прочесть нѣтъ возможности ни одной пьесы... По обыкновенію, 1-й номеръ «Репертуара» украшенъ статьею г. Булгарина, въ которой, по обыкновенію же, твердится въ тысячу первый разъ, что г-жа Каратыгина выше г-жи Алланъ и знаменитой Марсь. Г-жа Каратыгина дѣйствительно даровитая актриса, въ сравненіи съ прочими актрисами Александринскаго театра; она лучше ихъ держитъ себя, съ болѣшимъ умомъ и ловкостью играетъ; но между ею и г-жею Алланъ нѣтъ ничего общаго, а знаменитую Марсь еще болѣе слѣдовало бы оставить въ покоѣ... Прошлаго года «Репертуаръ» обѣщаль много приложеній — и не выполнилъ своего обѣщанія. За это онъ представляетъ теперь довольно большую и довольно плохую литографію — «Разъѣздъ изъ Александринскаго театра», въ которомъ, впрочемъ, есть кой-какія не совсѣмъ дурныя подробности, напримѣръ, купецъ съ женою, зѣвующіе истинно по-купечески!

Изъ газетъ, мы упомянемъ только объ одной, именно «Русскомъ Инвалидѣ», потому что о немъ можно было бы сказать много хорошаго. Съ увеличеніемъ своего формата и расширеніемъ программы, эта газета совершенно переродилась. Въ каждомъ ея номерѣ теперь есть фельетонъ, разсуждающій съ публикою о замѣчательнѣйшихъ явленіяхъ современной русской литературы, объ интереснѣйшихъ новостяхъ русскаго и за-граничнаго міра. И въ вышедшихъ доселѣ номерахъ есть любопытныя статьи въ отдѣленіи, слѣдующемъ за политическими извѣстіями, особенно «Исторія Русскаго Инвалида», составленная его основателемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что въ «Инвалидѣ» русская публика имѣетъ теперь газету, во всѣхъ отношеніяхъ соотвѣтствующую требованіямъ отъ изданій такого рода. Въ «Инвалидѣ» читатели находятъ все, что можно встрѣтить въ немногихъ только газетахъ; не находятъ въ немъ развѣ одного — полемики, сплетень, несообразныхъ съ достоинствомъ газеты официальной. И старанія редакціи «Инвалида» къ улучшенію этого изданія не остались тщетными: публика замѣтила перемену, и число подписчиковъ на «Инвалидъ», какъ слышно, чрезвычайно умножилось; со всѣхъ сторонъ слышны похвалы разнообразію, живости и занимательности фельетона, который умѣетъ быть занимательнымъ безъ брани, безъ торговыхъ криковъ... Пожелаемъ, чтобъ преобразованная въ нынѣшнемъ году газета, поддерживая въ себѣ этотъ характеръ, т. е. соединяя благородство тона и направленія съ занимательностію и разнообразіемъ содержанія, вывела, наконецъ, русскую публику изъ бѣдственной необходимости — довольствоваться жалкими листками печатной бумаги, выдаваемыми ей подъ именемъ газетъ и имѣющими претензіи на характеръ политико-литературнаго изданія.

Говорятъ, г. Вронченко перевелъ первую часть «Фауста». Пріятная новость: можно ожидать, что переводчикъ «Гамлета», «Макбета», «Манфреда» и «Дядювъ» прекрасно пе-

редастъ намъ великое твореніе Гёте. Если переводы г-на Вронченко не имѣютъ пока заслуженнаго успѣха въ большинствѣ публики, — этому причиною не слабость, не недостатки, а развѣ высокое достоинство ихъ. Г. Вронченко передаетъ не букву, а духъ переводимыхъ имъ великихъ твореній, показываетъ Шекспира такимъ, какъ онъ есть, не передѣланнымъ въ мишьятурныя статуйки. А такъ какъ Шекспиръ для большинства не доступенъ, то и переводы г-на Вронченко не всѣмъ нравятся. Въ этомъ отношеніи, г. Полевой, причисывающій и убирающій Шекспира по вкусу публики Александринскаго театра, всегда перебьетъ дорогу у г. Вронченко.

Самую свѣжую и интересную новость въ современной русской литературѣ, безъ всякаго сомнѣнія, составляетъ теперь нѣсколько новыхъ и доселѣ неизвѣстныхъ публикѣ стихотвореній покойнаго Лермонтова. Неожиданный случай доставилъ ихъ намъ въ руки, и мы успѣли подѣлиться съ нашими читателями высокимъ наслажденіемъ этихъ, какъ будто бы замогильныхъ звуковъ столь много обѣщавшей и столь временно замолкнувшей лиры. Нѣтъ нужды говорить и доказывать, что Лермонтовъ былъ великій поэтъ: въ этомъ уже давно и единодушно согласились всѣ, кто только не лишенъ здраваго смысла и эстетическаго чувства. Блескъ поэтическаго ореола загорѣлся надъ головой молодаго поэта тотчасъ же со времени появленія первыхъ его опытовъ. Немного Лермонтовъ успѣлъ произвести, но это немного тотчасъ же дало ему, во мнѣніи общества, мѣсто подлѣ Пушкина. Мало того: теперь уже спорять не о томъ, можетъ ли имя Лермонтова упоминаться вмѣстѣ съ именемъ Пушкина, но о томъ: кто выше—Пушкинъ, или Лермонтовъ? Подобный вопросъ и подобный споръ могутъ быть плодомъ самаго смѣшнаго дѣтства, если въ нихъ дѣло будетъ идти не объ идеяхъ, а объ именахъ. Вообще, сравненія одного великаго поэта

съ другимъ чрезвычайно трудны; если же въ нихъ видно желаніе возвысить или уронить его на счетъ другаго, то они просто нелѣпы и пошлы. Однакожь, злоупотребленіе какого-нибудь дѣла, не должно унижать самого дѣла, и сравненіе одного писателя съ другимъ, дѣлаемое съ цѣлью оцѣнить вѣрно и безпристрастно достоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, съ полнымъ уваженіемъ къ обоимъ, есть одна изъ важнѣйшихъ задачъ здоровой и основательной критики. Результатомъ такого сравненія никогда не можетъ быть пошлое заключеніе, что Пушкинъ никуда не годится, потому что Лермонтовъ, хорошъ, или что Лермонтовъ никуда не годится, потому что Пушкинъ хорошъ. Нѣтъ, результатомъ такого сравненія можетъ быть только объясненіе, въ чемъ именно заключается и великая, и слабая сторона того и другаго поэта, чѣмъ одинъ изъ нихъ и выше, и ниже другаго. Не время и не мѣсто распространяться здѣсь о такомъ важномъ вопросѣ, какъ сравненіе Пушкина и Лермонтова; но мы считаемъ кстати сказать по этому поводу нѣсколько словъ, тѣмъ болѣе, что теперь другіе толкуютъ объ этомъ кстати и не кстати, вкривь и вкось.

Сравненіе Пушкина съ Лермонтовымъ особенно трудно по тому горестному обстоятельству, которое какъ будто бы сдѣлалось неизбѣжною участію нашихъ великихъ поэтовъ: мы разумѣемъ безвременный конецъ ихъ поприща, вслѣдствіе котораго нельзя судить о нихъ, какъ о поэтахъ вполне развившихся и опредѣлившихся. Это особенно относится къ Лермонтову. Посмертныя сочиненія Пушкина — лучшія, художественнѣйшія его созданія, ясно обнаруживаютъ вполне установившееся направленіе его. Они не совсѣмъ безосновательно были приняты публикою холодно. Въ объясненіи противорѣчія, почему лучшія и художественнѣйшія созданія Пушкина не безосновательно приняты были публикою холодно, заключается объясненіе тайны поэзіи Пушкина и значенія его, какъ поэта. Пушкинъ—это художникъ по преимуществу. Его назначеніе

было—осуществить на Руси идею поэзіи, какъ искусства. Намъ скажутъ: неужели же до Пушкина не было на Руси ни поэзіи, ни поэтовъ, и неужели поэзія Пушкина не имѣеть никакой связи съ поэзіею предшествовавшихъ ему поэтовъ; неужели она не развилась исторически, а, словно съ неба, спустилась къ намъ? На такой вопросъ, имѣющей всю внѣшность истины и совершенно ложный въ сущности, мы отвѣтимъ вопросомъ же, только истиннымъ и извнѣ, и изнутри: неужели до Грековъ не было на землѣ искусства, и поэзія Индусовъ, изваянія Египтянъ не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ произведенія искусства? Нѣтъ, они составляютъ одинъ изъ интереснѣйшихъ предметовъ изученія для эстетики, археологін и исторіи изящнаго; а между тѣмъ искусство, какъ искусство, въ полномъ, пышномъ и благоуханномъ цвѣтѣ своего развитія явилось только у Грековъ, и, въ этомъ смыслѣ, послѣ Грековъ, ни одинъ народъ доселѣ не имѣлъ такого искусства. И все-таки это нисколько не противорѣчитъ той исторической истинѣ, что искусство Грековъ было подготовлено искусствомъ другихъ, предшествовавшихъ имъ на поприщѣ развитія народовъ. Такимъ же точно образомъ, не лишая заслуженной славы предшествовавшихъ Пушкину поэтовъ, не отрицая ихъ вліянія на него, вполне признавая, что безъ нихъ не было бы и его, можно утверждать, что поэзія, какъ искусство, какъ это, а не что-нибудь другое, явилась на Руси только съ Пушкинымъ и черезъ Пушкина. Для такого подвига, нужна была натура до того артистическая, до того художественная, что она и могла быть только такою натурою, и ничѣмъ больше. Отсюда проистекаютъ и великія достоинства и великіе недостатки поэзіи Пушкина. И эти недостатки, не случайные, а тѣсно связанные съ достоинствами, необходимо обуславливаются ими такъ же, какъ лицо необходимо обуславливаетъ собою затылокъ: потому что у кого есть лицо, у того не можетъ не быть затылка. Скажемъ сперва о достоинствахъ поэзіи Пушкина, а потомъ уже о недостаткахъ, необходимо вытекаю-

шихъ изъ самыхъ этихъ достоинствъ. Пушкинъ первый сдѣлалъ русскій языкъ поэтическимъ, а поэзію русскою. Стихъ его неподражаемо художественъ, пластиченъ, рельефенъ, упруго-мягокъ. Въ отношеніи къ художественности и виртуозности поэтическаго стиха и поэтическихъ образовъ, Пушкинъ можетъ быть сравниваемъ съ величайшими европейскими поэтами. Что бы ни говорили о стихѣ Жуковскаго (дѣйствительно превосходномъ), но между имъ и стихомъ Пушкина такое же (если еще не большее) разстояніе, какъ между стихомъ Дмитріева (И. И.) и стихомъ Жуковскаго. Но еще не велика была бы заслуга Пушкина, еслибъ достоинство стиха его было чисто внѣшнее, какъ, напримѣръ, стиха г. Языкова и другихъ; нѣтъ, стихъ Пушкина, полный мелодіи и гармоніи, силы и граціи, упругости и нѣжности, металлической твердости и хрустальной прозрачности, былъ выраженіемъ поэтической его натуры: этотъ дивный человѣкъ былъ художникомъ не только въ стихѣ своемъ, но и въ своемъ чувствѣ. Объяснимся. Чувство свойственно всякому человѣку, но у каждаго человѣка оно имѣетъ свой характеръ. Есть люди, у которыхъ самыя возвышенныя, самыя благородныя чувства имѣютъ въ себѣ что-то тяжелое, грубое; у другихъ самыя глубокія чувства имѣютъ въ себѣ что-то мягкое до слабости, и т. д. Преобладающій характеръ чувства Пушкина—художественная красота, виртуозность, если можно такъ выразиться, при гибкости и силѣ. Чувство Пушкина изящно само по себѣ, взятое отдѣльно отъ его выраженія; и выраженіе его, по одному уже этому, не могло не быть изящно. Каждое стихотвореніе Пушкина можетъ служить доказательствомъ нашихъ словъ; но мы въ особенности укажемъ на «Разлуку» (Для береговъ отчизны дальней). Подобно Гёте, Пушкинъ есть поэтъ внутренняго міра души, и можетъ быть, еще болѣе, чѣмъ Гёте, способенъ воспитать чувство человѣка, разработать и развить его, сдѣлать его эстетически прекраснымъ. Если поэзія, взятая только какъ искус-

ство, даже внѣ ея философскаго или нравственнаго значенія, улучшаетъ душу человѣка, то лучшее доказательство этому можетъ представить собою поэзія Пушкина. — Это только лицезаванная сторона поэзія Пушкина: взгляните на нее съ другой стороны, и васъ поразитъ ея объективность—качество, столь превозносимое непонимающими его настоящаго значенія людьми и столь близкое къ нравственному индифферентизму,—отсутствіе одного преобладающаго убѣжденія, а иногда даже устарѣлость во мнѣніяхъ и странныя предразсудки. Таковъ необходимо долженъ быть (особенно въ наше время) всякій художникъ, который только художникъ (т. е. вмѣстѣ съ тѣмъ не мыслитель, не глашатай какой-нибудь могучей думы времени). Онъ космополитъ въ мірѣ, явленія котораго, въ глазахъ его, всѣ равно прекрасны и равно интересны, какъ явленія природы въ глазахъ естествоиспытателя; онъ все любить и ни къ чему не прилѣпляется; ничего не ненавидитъ, ничего не отрицаетъ. Поэтическая дѣятельность Пушкина удивляетъ своею случайностію въ выборѣ предметовъ. Онъ пытается создать драму изъ русской исторіи до временъ Петра Великаго; дѣлаетъ изъ нее все, что можетъ сдѣлать гениальный поэтъ, — и если, при всемъ этомъ, ему удалось сдѣлать не слишкомъ много, то это ужъ не его вина. Поддѣлка двухъ Французовъ заставляетъ его взяться за народныя пѣсни Сербіи, — и онъ создаетъ рядъ пѣсенъ, дышавшихъ всею роскошью дикой поэзіи дикаго народа. Въ то же время, онъ, по свѣдѣнію, возсоздаетъ идеаль Донтъ-Хуана, — и производитъ драматическую поэмѣ, исполненную первоклассныхъ художественныхъ красотъ. Не спрашивайте: какое отношеніе, какую связь имѣютъ всѣ эти произведенія съ русскимъ обществомъ, съ русскою дѣйствительностію? Несмотря на глубоко національные мотивы поэзіи Пушкина, эта поэзія исполнена духа космополитизма, именно потому, что она сознавала самой себя только какъ поэзію и чуждалась всякихъ интересовъ внѣ сферы искусства. И вотъ причина, почему русское

общество вдругъ охладѣло къ своему великому, своему долгѣ любимому поэту, какъ скоро онъ достигъ апогеозы своего художческаго величія. Общество въ этомъ случаѣ и право и неправо—право потому что не всѣмъ же быть дилетантами и знатоками искусства; неправо—потому что Пушкинъ не могъ же въ угоду ему измѣнить своего великаго призванія—водворить поэзію, какъ искусство, въ жизни русской. Призваніе это заключалось въ самой натурѣ Пушкина, и не его вина, если общество, подобно самому поэту, приняло временное броженіе его молодой крови за выраженіе его природы...

Какъ творецъ русской поэзіи, Пушкинъ на вѣчныя времена останется учителемъ (*maestro*) всѣхъ будущихъ поэтовъ; но еслибъ кто-нибудь изъ нихъ, подобно ему, остановился на идеѣ художественности,—это было бы яснымъ доказательствомъ отсутствія гениальности, или великости таланта. Вотъ почему, или Лермонтовъ пошелъ дальше Пушкина, или онъ — талантъ обыкновенный, не стоящій тѣхъ разнообразныхъ толковъ и жаркихъ споровъ, предметомъ которыхъ онъ сдѣлался. Въ самомъ дѣлѣ, есть люди, которые считаютъ Лермонтова не болѣе, какъ счастливымъ подражателемъ Пушкина, еще не успѣвшимъ проложить собственной дороги для своего таланта. Это мнѣніе столь мелочно, и ошибочно, что не стоитъ и возраженія. Нѣтъ двухъ поэтовъ столь существенно различныхъ, какъ Пушкинъ и Лермонтовъ. Пушкинъ—поэтъ внутренняго чувства души; Лермонтовъ—поэтъ беспощадной мысли истины. Паеосъ Пушкина заключается въ сферѣ самого искусства, какъ искусства; паеосъ поэзіи Лермонтова заключается въ нравственныхъ вопросахъ о судьбѣ и правахъ человѣческой личности. Пушкинъ лелѣялъ всякое чувство, и ему любо было въ теплой сторонѣ преданія; встрѣчи съ демономъ нарушали гармонію духа его, и онъ содрагался этихъ встрѣчъ: поэзія Лермонтова растеть на почвѣ беспощаднаго разума и гордо отри-

цаеть преданіе. Для кого доступна великая мысль лучшей поэмы его «Бояринъ Орша», и особенно мысль сцены суда монаховъ надъ Арсеніемъ, тѣ поймутъ насъ и согласятся съ нами. Демонъ не пугаль Лермонтова: онъ былъ его пѣвцомъ. Послѣ Пушкина ни у кого изъ русскихъ поэтовъ не было такого стиха, какъ у Лермонтова и конечно Лермонтовъ обязанъ имъ Пушкину; но тѣмъ не менѣе у Лермонтова свой стихъ. Въ «Сказкѣ для Дѣтей» этотъ стихъ возвышается до удивительной художественности; но въ большей части стихотвореній Лермонтова онъ отличается какою-то стальною прозаичностью и простотою выраженія. Очевидно, что для Лермонтова стихъ былъ только средствомъ для выраженія его идей, глубокихъ и вмѣстѣ простыхъ своею безпощадною истиною, и онъ не слишкомъ дорожилъ имъ. Какъ у Пушкина грація и задумчивость, такъ у Лермонтова жгучая и острая сила составляетъ преобладающее свойство стиха: это трескъ грома, блескъ молніи, взмахъ меча, визгъ пули. Нѣкоторые критики находятъ очень смѣшнымъ, что Лермонтова называютъ русскимъ Байрономъ: это дѣйствительно смѣшно уже по одному сравненію трехъ тощенькихъ книжекъ безвременно погибшаго поэта русскаго съ огромною книгою компактной печати британскаго поэта, и это еще смѣшнѣе по сравненію колоссальной и всемірной славы европейскаго генія съ яркою извѣстностью въ своемъ отечествѣ быстро промелькнувшаго поэта русскаго. Еще разъ повторяемъ: это и смѣшно и нелѣпо. Но находить сродство въ духѣ Лермонтова съ духомъ Байрона (сродство, которое можетъ быть и не у поэта, какъ было оно у друга Байрона, Шеллея), и, при условіи полнаго развитія Лермонтова, провидѣть въ немъ не такое же точно (что невозможно), но соотвѣтственное Байрону явленіе: это, по нашему мнѣнію, нисколько не смѣшно, тѣмъ болѣе, что близко къ истинѣ. Есть еще третій родъ критикановъ (самый смѣшной и жалкій), которые увѣряютъ всѣхъ въ великомъ уваженіи, питаемомъ ими къ необыкновенному

таланту Лермонтова, и въ то же время говорятъ, что «въ стихахъ Лермонтова отзывается явно отголосокъ лиры другаго». Не знаемъ, что означаетъ подобное мнѣніе — ограниченность и слабость ума, совершенное отсутствіе эстетическаго чувства, или (говоря печатными словами одного критикана) «гадкую, притаенную мысль», которая, еслибъ могла дойти до Лермонтова, такъ же бы точно посмѣшила и потѣшила его, какъ, помнимъ мы, смѣшили и тѣшили его критики одного журнала объ его стихотвореніяхъ и «Героѣ Нашего Времени»... Мы убѣждены, что совершенно ничтоженъ будетъ тотъ, на кого подѣйствуетъ, хотя немного нелѣпое внушеніе, что поэзія русская въ лицѣ Лермонтова не сдѣлала ни шагу впередъ противъ Пушкина... Кстати замѣтимъ, что едва ли какой-нибудь классъ людей представляетъ столько аномалій, какъ классъ «критикановъ»: изъ нихъ есть такіе, которые, изъ зависти къ вашему успѣху и вашей извѣстности на поприщѣ недоступной имъ критики, готовы перевернуть ваши слова и съ умысломъ (если поймутъ ихъ) и безъ умысла (если не поймутъ). За послѣднее да простить имъ Богъ, ради ихъ умственной слабости! но за первое да накажетъ ихъ общественное мнѣніе... Вы сказали, напримѣръ, что Лермонтовъ пошелъ далѣе Пушкина, а они кричать, что вы употребляете Лермонтова какъ средство для того, чтобъ расторгнуть черезъ него союзъ молодаго поколѣнія съ Пушкинымъ и нарушить связь преданій. Это обвиненіе, достойное завистливаго педанта, очень похоже на знаменитый силлогизмъ? на дворѣ дождь идетъ, слѣдовательно, въ углу столъ стоитъ... Но оставимъ педантовъ, критикановъ, ихъ ограниченность и ихъ мелкую зависть, обратимся къ Лермонтову и скажемъ, что восемь новооткрытыхъ стихотвореній его принадлежать къ замѣчательнѣйшимъ его произведеніямъ, особенно: «Сонъ», «Тамара», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю» и «Выхожу одинъ я на дорогу». Въ нихъ нѣтъ ничего Пушкинскаго, но все Лермонтовское, —

разумѣется, для тѣхъ только, кто умѣетъ вникать не въ одну букву, но и въ духъ, и кто не можетъ видѣть въ Лермонтовѣ подражателя не только Пушкина и Жуковского, но даже и г. Бенедиктова...

ЛИТЕРАТУРНЫЯ И ЖУРНАЛЬНЫЯ ЗАМѢТКИ.

Представленіе «Женитьбы» на сценѣ Александринскаго театра снова оживило фельетонъ «Сѣверной Пчелы». «Наконецъ (восклицаетъ эта газета въ № 279 прошлаго года), въ бенефисъ г. Сосницкаго, мы видѣли ту знаменитую комедію Гоголя, о которой уже нѣсколько лѣтъ трубятъ его пріатели!»—Что за странная манера, въ дѣлѣ чисто литературномъ, говорить о «пріателяхъ»? Почему фельетонисту знать, кто пріатель Гоголю и кому Гоголь пріатель? Пушкинъ печатно называлъ Дельвига и другихъ своими друзьями и пріателями: стало-быть, другіе могли, не нарушая приличія, говорить, что такой-то и такой-то—друзья Пушкина; но никто не имѣлъ права называть печатно друзьями и пріателями Пушкина тѣхъ, которыхъ онъ самъ не называлъ этимъ именемъ тоже печатно. Гоголь ни одною строкою и никого не объявлялъ ни другомъ своимъ, ни пріателемъ и, сколько намъ извѣстно, еще никто не называлъ себя печатно ни другомъ, ни пріателемъ Гоголя. Слѣдовательно, «Сѣверная Пчела» самоуправно присвоила себѣ право навязывать Гоголю пріателей, изъ которыхъ онъ иныхъ и въ глаза не видывалъ. И послѣ этого фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» еще позволяетъ себѣ пускаться въ разглагольствованіе о хорошемъ литературномъ тонѣ, о приличіи, образованности!... у таланта Гоголя дѣйствительно много въ Россіи и друзей и пріателей, такъ же какъ и враговъ и недруговъ: это общая судьба всѣхъ высокихъ талантовъ; и вотъ объ этихъ-то друзьяхъ и пріателяхъ, врагахъ и недругахъ, позволительно разсуждать въ печати, невыходя изъ предѣловъ литературнаго вопроса. Взгляните на дальнѣйшіе подвиги фельетониста «Сѣверной Пчелы» касательно этого недающаго ей покою, хотя и не знающаго о ея существованіи Гоголя. За выписаннымъ нами восклицаніемъ

цаниемъ, слѣдуетъ изложеніе содержанія комедіи, для доказательства, что она никуда не годится, такъ что читатель можетъ подумать, будто «Женитьба» Гоголя хуже какой-нибудь «Шкуны Ньюгарлеби» г. Булгарина. Далѣе слѣдуютъ радостныя, исполненныя торжественности извѣстія о паденіи пьесы, о единодушномъ шиканьи, похвалы тонкому, изящному вкусу и свѣтской разборчивости публики Александринскаго театра... Старыя шутки, господа! На сценѣ давались и пьесы Пушкина: «Русалка», «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь» отрывки изъ «Цыганъ» — и все это не имѣло ни малѣйшаго успѣха, слѣдовательно, испытало паденіе... За то, на сценѣ же давались въ старину «Филатка и Мирошка», а теперь дается «Комедія о войнѣ Ѳедосьи Сидоровны съ Китайцами», съ одобреніемъ принятая публикою. Чтò это значить — предоставляемъ рѣшить г. фельетонисту...

Между прочимъ, фельетонистъ распространяется о какихъ-то партіяхъ, изъ которыхъ одну называетъ «здѣшнею», а другую «московскою», и послѣднюю заставляеть прославлять Гоголя, чтобъ черезъ это «заставить публику отвернуться отъ другихъ сатирическихъ и юмористическихъ писателей и романистовъ»... Ну, есть же изъ чего и хлопотать! Не зная никакой московской партіи, тѣмъ не менѣе жалѣемъ о ней, что она занимается такими мелочами, хваля и превознося Гоголя не за его прекрасныя созданія, а изъ желанія ронять то, чтò и само собою давно уже внѣ всякой опасности упасть, по смыслу русской пословицы: «лежачаго не бьютъ»... И что за смѣшная мысль, будто возможно возносить недостойное, или уронить достойное! Кто наши юмористическіе писатели, кромѣ Гоголя? — Фонъ-Визинъ, Крыловъ (баснописецъ), Нарѣжнѣй (романистъ), Грибоѣдовъ. Кто же не отдавалъ имъ должнаго, кто ронялъ ихъ?... «Пусть бы (восклицаетъ фельетонистъ) г. Гоголь выступилъ на журнальное поприще и сдѣлался критикомъ... тогда бы мы увидѣли какъ тѣ же самыя лица, которыя созидаютъ ему пьедесталь, чтобъ

поставить его рядомъ съ Гомеромъ, стали бы разбивать изъ всѣхъ силъ этотъ пьедесталъ!...» А! вотъ чтó? теперь мы понимаемъ, куда клонятся намеки фельетониста: г. Булгаринъ почитаетъ себя и сатирикомъ, и юмористомъ, и романистомъ, и критикомъ,—и по его мнѣнiю, люди безпристрастные потому не соглашаются съ нимъ въ его лестныхъ отзывахъ о самомъ себѣ, что онъ—критикъ!!... Иначе, его признавали бы чтѣмъ-то не меньше даже Гоголя!... Г. Булгаринъ и Гоголь — да это еще оригинальнѣе, чтѣмъ Гоголь и — Гомеръ!...

А между тѣмъ, Гоголь выступилъ на журнальное поприще и былъ критикомъ: въ «Арабескахъ» напечатаны его превосходныя критическiя статьи о Пушкинѣ, о Брюловѣ, о Шлёцерѣ, Миллерѣ и Гердерѣ, а въ 1 номерѣ «Современника» 1836 года, есть статья его «О движенiи журнальной литературы», въ которой съ неподражаемымъ юморомъ характеризована «Сѣверная Пчела» и разные критики!... Ужь не оттого ли въ «Сѣверной Пчелѣ» и понынѣ не отдается Гоголю должной справедливости?... По теорiи самой «Сѣверной Пчелы» выходить такъ...

Кстати о Гомерѣ и Гоголѣ: та же газета продолжаетъ увѣрять (см. № 285), будто «Отечественныя Записки» величаютъ Гоголя Гомеромъ... Просимъ покорнѣйше указать хоть одну страницу въ «Отечественныхъ Запискахъ», гдѣ была бы хоть одна строка, доказывающая справедливость такого обвинения. Въ «Отечественныхъ Запискахъ», напротивъ, нѣсколько разъ было писано противъ тѣхъ господъ, которые сочинили небывалое сходство Гоголя съ Гомеромъ, и разъ была напечатана большая статья въ опроверженiе этихъ странностей (Соч. Бѣлинскаго. Ч. VI, стр. 523). Какъ же назвать эту неприличную выходку «Сѣверной Пчелы» противъ «Отечественныхъ Записокъ»?

Изъ журнальныхъ новостей самая свѣжія — слѣдующія: «Сынъ Отечества» за 1842-й не додалъ только четырехъ книжекъ; «Русскій Вѣстникъ», опоздавшій въ 1841 году двумя книжками, въ нынѣшнемъ опоздалъ шестью книжками (т. е. цѣлымъ полугодомъ), а «Москвитянинъ» — только одною книжкою.

Журнальный мирлифлёръ и Жоржъ Зандъ. — Какой-то господинъ (мы забыли его имя) издаетъ въ Парижѣ модный листокъ въ родѣ *Follet*. Тутъ еще нѣтъ ничего удивительнаго. Но удивительно то, что этотъ господинъ, говорятъ, съ презрѣнiемъ смотритъ на всѣхъ своихъ собратьевъ (т. е. издателей модныхъ журналовъ, которыхъ, какъ извѣстно, въ Парижѣ очень много). Ему, во что бы ни стало, хочется прослыть знаменитымъ литераторомъ. Онъ, бѣдный, совершенно помѣшался на литературной славѣ, и статьи свои (которыя почитаетъ, разумѣется, великими произведенiями) еще въ рукописи читаетъ не только своимъ прiятелямъ, но всѣмъ наборщикамъ типографiи, въ которой печатается его листокъ, своему лакею и даже привратнику. Недавно онъ напечаталъ объ одномъ знаменитомъ скрипачѣ, талантъ котораго восхвалялъ въ прошлую зиму весь Парижъ — слѣдующія замѣчательныя строки:

„Прелестныя и милыя мои соотечественницы, о вы, богини красоты и моды! вы, восхищавшiяся дивнымъ упоительнымъ смычкомъ г. NN, истаявавшiя отъ нѣги и блаженства при роскошныхъ, неземныхъ, чародѣйственныхъ звукахъ этого смычка, вы, вѣрно, изумитесь, если я буду имѣть честь доложить вамъ, что г. NN нисколько не виновенъ въ наслажденiи, которое доставлялъ вамъ: я вамъ объявлю за тайну (будьте только скромны, прелестныя мои читательницы!): въ скрипкѣ г. NN заключена душа одной восхитительной дѣвушки, которая, увы! вслѣдствiе безнадежной любви похищена смертiю (не дай вамъ Богъ такой смертi!)... И эти звуки, пополамъ раздиравшiе ваше сердце, сжатое безъ сомнѣнiя корсетомъ превосходной работы г. F*** (Rue Richelieu, № 27), эти звуки, извлекавшiе изъ побѣдительныхъ и молниеносныхъ очей вашихъ жемчужны чистѣйшей грусти (жем-

чуть снова входить въ моду: превосходные жемчужные уборы мы видѣли въ магазинѣ Cazal, rue Montmartre, № 21) и эти звуки... повторяю я—о, это стонъ души страдальцы, „ея молитвы и жалобы, ея вздохи и рыданія“... и прочее.

Но этотъ удивительный любезникъ журнальный мпрли-флёръ, издатель моднаго листка, такъ галантерейно обращающійся съ дамами, которыя представляются ему, кажется, въ видѣ розанчиковъ, какъ Жевакину въ комедіи Гоголя «Женитьба», —питаетъ страшную ненависть только къ одной изъ всего прекраснаго пола, а именно къ баронессѣ Дюдеванъ (Жоржъ Зандъ). Однажды въ своемъ модномъ и галантерейномъ листкѣ послѣ краснорѣчиваго описанія модныхъ кружевныхъ блондовыхъ чепцовъ и послѣ разныхъ презамысловатыхъ комплиментовъ «очаровательнымъ брюнеткамъ и воздушнымъ блондинкамъ», онъ вдругъ обратился къ нимъ съ слѣдующею рѣчью:

«Я надѣюсь, мои восхитительныя читательницы, что вы не читаете Жоржа Занда? (которую, не понимаемъ, на какомъ основаніи именуютъ въ цѣлой Европѣ гениальною, великою писательницею)... Сохрани васъ Боже отъ этого! Она все кричитъ противъ брака, mesdames! Не слушайте ее... Я увѣренъ, что вы въ приданое мужу своему принесете чистѣйшее, возвышеннѣйшее счастье, а онъ—вашъ супругъ, колѣнопреклоненный, броситъ къ ногамъ вашимъ свое сердце, которое вы, натурально, поднимите, расцѣлуете и запрете въ шкатулочку, отличной работы г. Bergtrau jeune (rue des Lombards, 46 au fond de la cour), а ключикъ отъ этой шкатулочки будете носить у своего сердца!... Повѣрьте мнѣ, эта преспрославленная, пресловутая Жоржъ Зандъ сама не понимаетъ, что проповѣдуетъ въ неистовыхъ *Индіанахъ*, *Валентинахъ*, *Лемяхъ* и еще въ другихъ своихъ нелѣпыхъ романахъ... Бойтесь, какъ чумы, этихъ романовъ, mesdames! Она хочетъ растлить эстетическій дамскій вкусъ... и васъ—воздушныхъ, прозрачныхъ, роскошныхъ, газовыхъ, вѣйрныхъ радужныхъ созданій нарядить въ мужскіе рдеенготы и въ ваши розовыя губки (о! quelle horreur!) вложить сигару... Васъ, мои читательницы, одѣть въ мужскіе рдеенготы?... Нелѣпая мысль! да что же тогда останется дѣлать нашимъ несравненнымъ артисткамъ m-me Pollet и m-me Charbon, и прочимъ, которыя съ такимъ неземнымъ

совершенствомъ украшаютъ теперь цвѣтами и блондами ваши вдохновенныя головки и такъ ловко стягиваютъ ваши соблазнительныя ни съ чѣмъ несравненныя талии и облекаютъ васъ въ такія роскошныя платья изъ popeline или gros de Naples?

Говорятъ, Парижане очень смѣялись надъ этою выходкою журнальнаго мирлифлёра, издателя моднаго листка, который не шутя вообразилъ, что Жоржъ Зандъ хлопочетъ въ своихъ романахъ о томъ только, чтобъ отбить хлѣбъ у парижскихъ модистокъ!... Вотъ совершенно новый взглядъ на сочиненія Жоржъ Занда!... Журнальный мирлифлёръ, глупый любезникъ, выступающій противъ знаменитой писательницы!... Не правда ли, это очень смѣшно? Жаль, что у насъ нѣкоторые, по справедливости уважаемые образованною публикою журналисты почти съ такой же точки смотрятъ на Жоржъ Занда, какъ вышеприведенный журнальный мирлифлёръ, издатель моднаго листка. Увѣряютъ также, что у насъ есть такіе писатели, которые нисколько не хуже французскаго журнальнаго мирлифлёра изъясняются съ прекраснымъ полемъ.

Старинная пріятельница наша «Сѣверная Пчела» покончила старый годъ и начала новый достойнымъ ея образомъ: всѣмъ извѣстно, что эта газета отличается безпристрастіемъ, хорошимъ тономъ и безкорыстною любовію къ литературѣ, что она хвалитъ только хорошее и порицаетъ только дурное, смотритъ на дѣло, а не на лица, превозноситъ, когда этого требуетъ справедливость, своихъ враговъ, и говоритъ горькую правду своимъ друзьямъ. Все это такъ же извѣстно публикѣ, какъ и намъ: — полюбуемся же послѣдними подвигами этой газеты, въ назиданіе ближнимъ, въ поучительный примѣръ для литературной братіи, и въ собственное утѣшеніе... Особенную честь дѣлаетъ «Сѣверной Пчелѣ» то, что она не любитъ полемики, не любитъ журнальныхъ браней, и если презираетъ кого-нибудь, такъ молча, съ достоинствомъ. Всѣмъ извѣстно, что эта газета почитаетъ «Отечественныя Запи-

ски» журналомъ самымъ плохимъ, недостойнымъ никакого вниманія,—и вотъ то «презрительное молчаніе», которымъ наказываетъ она несчастныя «Отечественныя Записки». Въ послѣднемъ (295) номерѣ за прошлый годъ, «Сѣверная Пчела» извѣщаетъ своихъ читателей, что она «изъ любопытства (страсть кумушекъ!) заходила по нѣскольку разъ въ книжныя лавки передъ праздникомъ, особенно въ новый магазинъ г-жи Ольхиной, и видитъ, что публика, какъ бы нарочно, покупаетъ тѣ книги, которыя болѣе порицаются въ «Отечественныхъ Запискахъ» et Compagnie (?),—а порицанія этого журнала, по увѣренію «Сѣверной Пчелы», «сдѣлались нынѣ указателемъ (index) того, что надобно покупать: это такъ вѣрно, какъ то, что послѣ ночи наступаетъ день». Какая твердая, неколебимая увѣренность! Благодаря «Сѣверную Пчелу» за это любопытное извѣстіе и не желая за него остаться въ долгу, спѣшимъ, съ своей стороны, тоже порадовать ее извѣстіемъ, которое не менѣе утѣшительно и болѣе достоверно, ибо подкрѣпляется фактами, всему свѣту извѣстными. По книжнымъ лавкамъ мы не ходимъ, ни въ будни, ни въ праздники, зная, что тамъ ничего не услышишь, кромѣ вздорныхъ сплетень, до которыхъ мы смертельные неохотники; такая неохота, конечно, можетъ показаться странною «Сѣверной Пчелѣ», но что же дѣлать, когда это такъ? Иногда только бываемъ мы въ книжномъ магазинѣ г. Иванова, гдѣ находится и контора «Отечественныхъ Записокъ»; тамъ слышали мы, что расходятся именно тѣ книги, которыя хвалятся «Отечественными Записками», а плохо идутъ именно тѣ книги, о которыхъ «Отечественныя Записки», по совѣсти, не могутъ отзываться, какъ о литературныхъ произведеніяхъ. Извѣстно всѣмъ и каждому, что «Отечественныя Записки» высоко цѣнятъ талантъ Гоголя и видятъ великое произведеніе въ его «Мертвыхъ Душахъ»: судя по словамъ «Сѣверной Пчелы», этого было достаточно, чтобъ «Мертвыя Души» залежались въ лавкахъ; но, увы! всѣмъ и каждому извѣстно,

что «Мертвыя Души», напечатанныя въ числѣ около 3000 экземпляровъ, почти совсѣмъ раскуплены съ небольшимъ въ полгода!... Конечно, «Мертвыя Души» обязаны этимъ совсѣмъ не «Отечественнымъ Запискамъ», а собственно своему высокому достоинству; но ихъ чрезвычайный успѣхъ доказываетъ, вопреки увѣреніямъ «Сѣверной Пчелы», что «Отечественныя Записки» хвалятъ только достойное хвалы. Не прошло еще двухъ недѣль послѣ выхода четырехъ томовъ «Сочиненій Николая Гоголя», и уже нѣсколько сотъ экземпляровъ раскуплено нетерпѣливою публикою; эти сочиненія уже столько лѣтъ постоянно хвалятся «Отечественными Записками», и публика, несмотря на то, раскупаетъ ихъ... Какъ теперь согласить эти факты съ упомянутымъ извѣстіемъ «Сѣверной Пчелы»?... Сочиненія Гоголя постоянно унижаются и преслѣдуются бранью и выдумками въ «Сѣверной Пчелѣ», — и, несмотря на то, публика все-таки раскупаетъ ихъ... Кто же теперь index для публики — «Сѣверная Пчела» или «Отечественныя Записки»?...

Затѣмъ, «Сѣверная Пчела» жалуется, что «Отечественныя Записки» несправедливы къ ея издателямъ и сотрудникамъ.... Странная жалоба! Это значитъ жаловаться на то, что «Отечественныя Записки» имѣютъ свой образъ мыслей, свои убѣжденія, свой вкусъ: да кто-жь не имѣетъ права имѣть ихъ? Конечно, жаль, что не всѣ журналы и, особенно, не всѣ газеты имѣютъ мнѣніе, убѣжденіе и вкусъ; но какъ же и ихъ винить за это: чѣмъ виноватъ слѣпорожденный, что родился безъ зрѣнія?... Что «Отечественныя Записки» не могутъ, по совѣсти, хвалить устарѣлыхъ и забытыхъ сочиненій издателей «Сѣверной Пчелы», это очень понятно, это вытекаетъ изъ той же самой причины, по которой «Отечественныя Записки» не могутъ не хвалить, напр., Крылова, Пушкина, Жуковского, Грибоѣдова, Гоголя, Лермонтова... Мы даже не удивляемся и тому, что «Сѣверная Пчела» не жалуется «Отечественныхъ Записокъ»; этому должно

такъ быть, и это выходитъ изъ той же причины, по которой «Сѣверная Пчела» бранить Пушкина и Гоголя и восхищается сочиненіями своихъ издателей, драмами гг. Полеваго и Ободовскаго, компиляціею Ламбина, романами и повѣстями Фанъ - Дима и проч. Да, это такъ должно быть, и намъ было бы очень прискорбно, еслибы «Сѣверная Пчела» хвалила журналъ нашъ... Мы понимаемъ, что для этой газеты было бы очень пріятно и выгодно, еслибы «Отечественныя Записки» хвалили сочиненія ея издателей; да для «Отечественныхъ Записокъ»-то это было бы и непріятно и невыгодно: ибо «Отечественныя Записки» пользуются и гордятся репутаціею добросовѣстнаго журнала въ глазахъ образованнѣйшей части читающей русской публики... «А между тѣмъ (продолжаетъ эта газета) сами издатели «Сѣверной Пчелы» и ихъ сотрудники должны терпѣливо сносить всѣ несправедливости, потому что имъ нельзя печатать ничего похвальнаго о собственныхъ трудахъ» — И вслѣдъ за этими строками «Сѣверная Пчела» говоритъ:

«Теперь, напримѣръ, какъ поступили журналы съ новымъ сочиненіемъ Н. И. Греча: *Письма съ дороги?* Сказали ли гг. критики, что *по-русски нѣтъ и не бывало такого основательнаго*, хотя и краткаго описанія Италіи вообще и главныхъ столицъ ея, древняго и новаго Рима, Неаполя и подземной Помпеи съ планами и видами! Сказали ли критики, что ни при одномъ роскошномъ альманахѣ не было такихъ прелестныхъ гравюръ и притомъ двѣнадцать, какъ при этомъ сочиненіи, и что никогда еще за *четыре рубля серебромъ* не предлагали публикѣ столько картинокъ и политипажей!»

Вотъ и неопровержимое доказательство, что «Сѣверная Пчела», по свойственной ей скромности, никогда не хвалитъ сочиненій своихъ издателей!!... Неужели публика «Сѣверной Пчелы» добродушно вѣрить такимъ увѣреніямъ, не принимая ихъ въ превратномъ видѣ?... Если такъ, то поздравляемъ «Сѣверную Пчелу», — у ней добрая публика...

Въ томъ же номерѣ той же газеты находится странная

выходка противъ редактора «Нашихъ» за обѣщаніе его въ скоромъ времени напечатать статью: «Русскій фѣльетонистъ»... Фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» рѣшительно въ ужасѣ отъ обѣщанія редактора «Нашихъ»... Подумаешь, право, что дѣло идетъ о чьей-нибудь жизни и смерти... Да много ли у насъ фѣльетонистовъ, да они люди отличнѣйшіе, да они не сословіе—взываетъ растерявшаяся «Пчела»...

Есть отъ чего въ отчаяніе придти!

А дѣло очень просто, редакторъ «Нашихъ» хотѣлъ перепечатать изъ «Отечественныхъ Записокъ» (1841 г., Т. XV, отд. «Смѣси») прекрасную статью г. Панаева «Русскій Фѣльетонистъ» съ политипажамъ; но г. Панаевъ, не совсѣмъ довольный малымъ объемомъ своей статьи, написалъ для «Нашихъ» новую, которая отличается отъ прежней болѣею общностию и вѣрно представляетъ разныхъ русскихъ фѣльетонистовъ. О чемъ же тутъ вопіять?... изъ чего хлопоты?

Въ 1-мъ № «Сѣверной Пчелы» новаго, 1843 года, помѣщена статейка «Обозрѣніе журналовъ», въ которой опытные знатоки газетной психологіи провидятъ весьма сомнительное состояніе газеты... Въ этой статьѣ, «Сѣверная Пчела» извѣщаетъ, будто-бы «лестная довѣренность къ Сѣверной Пчелѣ побудила многихъ изъ ея постоянныхъ читателей отнести въ ея редакцію письменно, чтобъ редація извѣстила: на какіе журналы должно подписываться въ наступающемъ 1843 году; но (будто-бы) къ сожалѣнію, редація не можетъ вполне исполнить этого!»... Вотъ здѣсь «Сѣверная Пчела» рѣшительно побѣдила насъ: между постоянными читателями «Отечественныхъ Записокъ» нѣтъ ни одного, который бы такъ мало довѣрялъ своему уму и вкусу, чтобы сталъ просить у насъ совѣта, на какіе ему журналы подписываться и на какіе не подписываться... И вотъ «Сѣверная Пчела» начинаетъ совѣтовать «своимъ постояннымъ читателямъ», до небесъ пре-

вознося миѡы русской журналистики — «Сынъ Отечества» и «Русскій Вѣстникъ», находя въ нихъ идеалы всевозможнаго совершенства и только одинъ недостатокъ — неаккуратность въ выходѣ книжекъ (или совершенное прекращеніе выдачи книжекъ, какъ сдѣлалось съ «Русскимъ Вѣстникомъ»). Затѣмъ слѣдуютъ похвалы «Библиотекѣ для Чтенія» и ея редактору, который, по словамъ «Сѣверной Пчелы», «уважаетъ талантъ и заслугу, но если кого не любитъ, то умалчиваетъ вовсе о его сочиненіи» — вѣроятно, для изъявленія своего уваженія къ таланту и заслугѣ!!... Далѣе расхваленъ «Репертуаръ», а за нимъ — «Экономъ», и вотъ какъ: «Эконома нельзя хвалить Сѣверной Пчелѣ, потому что онъ принадлежитъ одному изъ издателей этой газеты, но публика доказала, что она благосклонна къ Эконому, который такъ усердно печется о хозяйствѣ своихъ читателей, и о кухнѣ ихъ, и о туалетѣ ихъ женъ и дѣтей, и наконецъ о ихъ здоровьѣ, и потому Эконому остается только благодарить публику за вниманіе»... Вотъ скромность, такъ скромность — тутъ уже самохвальства ни на волосъ!... Затѣмъ «Сѣверная Пчела» проситъ публику, подпискою на журналы, «поддержать существованіе», по крайней мѣрѣ, «четырехъ-сотъ семействъ, отъ ветошника до бумажнаго фабриканта, отъ типографскаго наборщика и переписчика до литератора»... Помилуйте, господа! да съ чего вы взяли, что публика обязана пещись о поддержаніи ветошниковъ, бумажныхъ фабрикантовъ, наборщиковъ и переписчиковъ? Публика покупаетъ книги и журналы для собственной пользы и удовольствія, и въ выборѣ книгъ и журналовъ руководствуется своимъ смысломъ и вкусомъ, имѣя въ виду лучшіе, т. е. способнѣйшіе доставить ей пользу и удовольствіе книги и журналы, а совѣзмъ не поддержку разнаго рабочаго народа!... Этакъ вы ставите ей въ обязанность покупать всякую печатную дрянъ — отъ книжекъ объ истребленіи клоповъ до спекуляцій на Исторію Россіи и Суворова и до залежалыхъ нравоописательныхъ рома-

новъ выписавшихся старыхъ сочинителей.. Въ заключеніе этой курьёзной статейки, «Сѣверная Пчела» проситъ не подписываться на тѣ журналы, о которыхъ въ статейкѣ не упомянуто; а не упомянуто въ ней объ «Отечественныхъ Запискахъ», «Современникѣ» и «Москвитяинѣ» (котораго еще недавно «Сѣверная Пчела» такъ перевозносила). Очевидно, вся эта буря въ стаканѣ воды устремлена на «Отечественныя Записки»,—и если въ этой статейкѣ «Сѣверная Пчела» скрѣпилась и умолчала о нихъ, за то тѣмъ шибче проговорилась о нихъ черезъ четыре нумера, какъ о томъ показано ниже.

Фельетонъ 6-го № «Сѣверной Пчелы» начинается похвалою первой книжки «Библиотекѣ для Чтенія», которая будто бы «появилась въ свѣтъ въ щегольскомъ розовомъ робронѣ» (вѣроятно обертокѣ), «съ богатымъ ожерельемъ, въ которомъ мы» (т. е. «Сѣверная Пчела») «замѣтили три дорогія отечественныя жемчужины: Пиръ—Бенедиктова, Хозяйка, повѣсть Фанъ-Дима и Ломоносовъ, драматическую повѣсть Н. А. Полеваго»... Каковъ восточный слогъ,—право, не хуже «отечественныхъ жемчужинъ», т. е. плохаго на погремушкахъ изысканныхъ фразъ основаннаго стихотворенія, плохой, на бессмысленномъ явленіи безплотнаго духа основанной повѣсти, и плохой, на общихъ избитыхъ мѣстахъ и фразахъ основанной драмы, гдѣ низкій заимодавецъ - старикъ хочетъ насильно жениться на дѣвушкѣ, а Ломоносовъ, ея великодушный женихъ, кстати уплачиваетъ долгъ и кстати женится... За тѣмъ слѣдуютъ подобострасныя похвалы и робкіе упреки «мелкому жемчугу» и алмазамъ «Библиотеки», которая заставила, въ своей «Лѣтописи», плясать Балакирева въ присядку съ «Супружескою Истиною» и о «Письмахъ съ Дороги» г. Греча сказала, что они не новость, потому что были уже напечатаны въ «Сѣверной Пчелѣ». Потомъ идутъ мелкія придирки къ одной ежедневной газетѣ, которая, къ досадѣ «Сѣверной Пчелы», стала несравненно

лучше и интереснѣе ея, преобразовавшись съ новаго года... Послѣ того «Сѣверная Пчела» приступаетъ уже къ главному предмету своей статьи — къ «Отечественнымъ Запискамъ»:

«Чтобъ корабль Р(р)усской Ж(ж)урналистики шелъ плавно по прѣсному морю Р(р)усской С(с)ловесности, на дно корабля, т. е. въ трюмъ, положены тяжелыя Отечественныя Записки. Полъ-книги набито мелкииъ шрифтомъ и мелочными сужденіями — ни вѣсть о чемъ! Все *сбито, перемѣшано, надуто и раздута*... и всегдашнее *блюдо*, которыиъ въ каждой книжкѣ Отечественныхъ Записокъ подчиваютъ своихъ читателей, *шпикованный*, *Ө. Булгаринъ*, подъ кисло-горькимъ соусомъ — тутъ какъ тутъ! Но только не тотъ *Ө. Булгаринъ*, который написалъ до *сорока томовъ повѣстей, романовъ и отдѣльныхъ статей* *), и который издаетъ, вмѣстѣ съ *Н. И. Гречемъ*, Сѣверную Пчелу, въ теченіе девятнадцати лѣтъ сряду! Нѣтъ, этотъ *Ө. Булгаринъ*, какъ *ежъ* (?), не дается въ руки встрѣчному и поперечному. У Отечественныхъ Записокъ есть *свой Ө. Булгаринъ*, ихъ собственнаго сочиненія, созданный ими по ихъ духу и разуму» (поиладьте! развѣ по духу и разуму «Эконома», потому что шпиковать зайцевъ и тетеревовъ его дѣло), «и этого-то *несчастнаго истукана* Отечественныя Записки ставятъ ниже гг. *Кони, Кузьмичева, Орлова*, и въ каждой книжкѣ *варятъ, жарятъ, шпикуютъ* — а настоящій *Ө. Булгаринъ* *и въ усъ себѣ не думетъ*... потому что это до него *не касается и не прикасается*».

Остановимся на этомъ. Не понимаемъ, съ чего взяла «Сѣверная Пчела», что «Отечественныя Записки» считаютъ г. *Ө. Булгарина* однимъ изъ тѣхъ мясныхъ припасовъ, которые и шпикуются, и употребляются на шпикъ?... Не знаемъ также, за что г. *Булгаринъ* называетъ себя *ежомъ*, несчастнымъ истуканомъ, варенымъ, жаренымъ, и пр. Еще менѣе понимаемъ, почему «Сѣверная Пчела» думаетъ, что «Отечественныя Записки» занимаютъ поварскимъ дѣломъ, неотъемлемо принадлежащимъ «Эконому», который издается г. *Ө. Булгаринымъ*!... Не вѣдаемъ, наконецъ, какую разницу находить она между шпикованнымъ, говоря ея словами, г. *Ө. Булгари-*

*) Что превосходить объемомъ труды *А. А. Орлова* и г. *Кузьмичева*, вмѣстѣ взятыхъ.

ринимъ и настоящимъ г. Θ. Булгаринимъ: въ 1 № «Отечественныхъ Записокъ» г. Θ. Булгаринъ представленъ такъ, какъ онъ есть—литераторомъ, который дружески хотѣлъ показать г. Полевому, какъ должно пускать въ ходъ книги о Суворовѣ, и литераторомъ, который «уже не воинъ, а писатель»... Все это сказано было «Отечественными Записками» на основаніи собственной статьи г. Θ. Булгарина, помѣщенной въ фельетонѣ 285 № «Сѣверной Пчелы» прошлаго года... Неужели повторить, со всею вѣрностію, чьи-нибудь напечатанныя уже слова, значить варить, жарить, шпиковать?...

Далѣе фельетонистъ «Сѣверной Пчелы» (т. е. Булгаринъ же), увѣряя, что онъ не читаетъ «Отечественныхъ Записокъ» (и, полноте шутить!—читаете, да еще какъ!...), заставляетъ своего сотрудника вырвать разныя фразы изъ разныхъ годовъ «Отечественныхъ Записокъ»—фразы дѣйствительно непостижимыя уму ученыхъ издателей «Сѣверной Пчелы». Болѣе всего пострадала отъ ихъ остроумія выписка изъ 2-й части «Фауста» Гёте (Соч. Бѣлинскаго. Ч. V, стр. 37), которую «Сѣверная Пчела», въ простотѣ невѣдѣнія, вѣрно приняла за сочиненіе редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Бѣдный Гёте, досталось же ему! Хорошая газета даже искажила его слова, нападаая на какія-то матеріи, тогда какъ у Гёте дѣло идетъ о матеряхъ; но это искаженіе сдѣлано безъ всякаго умысла: «Сѣверная Пчела» просто не поняла въ чемъ дѣло, и по своему обыкновенію называть бессмыслицею и галиматъею все, чтò превышаетъ ея фельетонныя понятія, въ грязь втоптала бѣднаго Гёте. А все оттого, что въ торопяхъ не рассмотрѣла въ нашей статьѣ не однажды повтореннаго имени Гёте и указанія на «Фауста», изъ котораго взято это мѣсто о «царственныхъ матеряхъ», превращенныхъ «Сѣверною Пчелою» въ «царственныя матеріи». Она такъ обрадовалась своей неспособности понимать глубокой смыслъ Гёте, или своей способности видѣть бессмыслицу въ идеяхъ Гёте, чтò начала издавать звуки, смыслъ которыхъ дѣйствительно

непостижимъ ни чьему уму, какъ, напримѣръ: «Ай, вай!» и пр. (см. 6 № «Пчелы» 1843): Зачѣмъ бы, кажется, нападать на то, чего разумѣть не дано свыше! Какъ, зачѣмъ? затѣмъ, чтобъ показать свое презрѣніе къ такому плохому журналу, какъ «Отечественныя Записки»? Это стѣдло того, чтобъ перечитывать его за всѣ годы, и въ 1843 году выписывать фразы изъ 1841 года! Право, господа, не мѣшало бы вамъ или лучше скрывать свои настоящія чувства, или ужъ не противорѣчить себѣ, увѣряя публику, что вы не читаете «Отечественныхъ Записокъ»? Да не мѣшало бы также вамъ быть поосторожнѣе въ своихъ нападкахъ на нашъ журналъ: вѣдь «Отечественныя Записки» не «Сѣверная Пчела» и не «Экономъ»: находить ошибки въ нихъ можно, но тѣмъ только, кто учился чему-нибудь, знаетъ что-нибудь, кромѣ теоріи шпигованія тетерекъ свинымъ саломъ...

Въ этомъ же фельетонѣ «Сѣверная Пчела» повторила въ тысячу первый разъ, что г. Краевскій «неизвѣстенъ вовсе въ исторіи русской литературы, потому что онъ не написал ни одного сочиненія». И это тоже не мѣшало бы оставить, изъ уваженія къ здравому смыслу: кто же повѣритъ вамъ, чтобы въ русской литературѣ былъ неизвѣстенъ человекъ, уже седьмой годъ сряду дѣйствующій на поприщѣ русской журналистики и пятый годъ редижирующий такой журналъ, какъ «Отечественныя Записки»?... Правда, онъ не писалъ ни романовъ, ни повѣстей, ни драмъ; но это доказываетъ только, что онъ ни романистъ, ни повѣствователь, ни драматургъ, а совсѣмъ не то, чтобъ онъ не былъ журналистомъ и, слѣдственно, литераторомъ. Всѣ очень видятъ, что вы это хорошо знаете; такъ же, какъ всѣ очень хорошо понимаютъ и ваше равнодушіе, и ваше презрѣніе къ «Отечественнымъ Запискамъ», и то, что вы ихъ совсѣмъ не читаете, хотя и знаете наизусть цѣлыя статьи изъ нихъ; всѣ знаютъ, что вы и вѣдать не хотите о существованіи «Отечественныхъ Записокъ», хотя только объ нихъ и жужжите, и хотя бы-

ваете долго не въ духѣ послѣ выхода каждой книжки этого журнала; безъ умолку толкуете о немъ по выходѣ каждой его книжки и почему-то умолкаете передъ выходомъ слѣдующей...

Въ 5 № «Сѣверной Пчелы» находится блистательное свидѣтельство скромности этой газеты, т. е. того, что она никогда не прославляетъ своихъ издателей. Вотъ чтò, между прочимъ, сказано въ ней при разборѣ «Записокъ артиллеріи майора Михаила Васильевича Данилова»:

«Въ особенности мило описаны дѣтскія лѣта автора; характеристика перваго его учителя, пономаря Брудастаго, экзекуція сврой кошки и тетушкинъ обычай съчь дворню за шалости своего племянника — описаны превосходно (*характеристика учителя описана превосходно* — по каковски это?)... Эти страницы живо напоминаютъ намъ *Ивана Выжигина*, который двинулъ всю литературную Русь на поприщѣ (*е*) романовъ. Враги Булгарина могутъ его осыпать всеми возможными субъективными стрѣлами мировой своей критики, но заслугъ его никогда не отнять, не помрачать. Полемика исчезнетъ, факты останутся. *Иванъ Выжигинъ* былъ первый (*послѣ* «Бурсака» и «Двухъ Ивановъ» Нарѣжнаго, — прибавимъ мы отъ себя) нашъ *Р(р)усскій романъ*, и дай Богъ, чтобъ послѣдователи Булгарина писали такіе же романы (вотъ ужъ это бесполезное во всѣхъ отношеніяхъ желаніе!). Вотъ новое доказательство всей естественности, всей истины разсказа Булгарина (гдѣ же доказательство? — въ «Сѣверной Пчелѣ»!!!)... Дѣтство майора Данилова описано съ тѣмъ же простодушіемъ, чистосердечіемъ и увлекательностію (должно быть съ *тѣмъ же*, если сама «Сѣверная Пчела» увѣряетъ: ей лучше знать все, чтò касается до ея издателя). Авторъ Выжигина не могъ знать Записокъ Данилова, а одинаковыя положенія должны были родить одинаковыя идеи».

Но чтò же общаго между забытымъ сатирическимъ романомъ и «Записками Данилова», кромѣ того, что то и другое писано русскими, а не греческими буквами? Если съ чѣмъ-нибудь есть общее у «Ивана Выжигина», такъ это съ сатирическимъ же романомъ А. Измайлова: «Евгеній или Пагубныя Слѣдствія дурнаго воспитанія и сообщества». Хотя этотъ

романъ напечатанъ въ 1799 году, но по сатирическому направлению и таланту сочинителя, онъ какъ разъ приходится въ родные батюшки «Ивану Выжигину», и надо сказать, что сынокъ уродился въ отца, а не въ проѣзжаго молодца, хотя и воспитанъ въ собачьей конурѣ.

Преобразование одной ежедневной политической газеты, совершившееся въ нынѣшнемъ году и много улучшившее эту газету, пробудило спящее соревнованіе «Сѣверной Пчелы»: она призвала къ себѣ на помощь, по части театальной критики, одного знатнаго сочинителя, написавшаго до сотни томовъ романовъ для публики толкучаго рынка, а по части критики литературной, одного пережившаго свою славу литератора, который только и дѣлаетъ, что хоронитъ одинъ журналъ за другимъ, стараясь поднять ихъ на ноги. Этотъ вольнопрактикующій журнальный врачъ дебютировалъ въ «Сѣверной Пчелѣ» (№ 2) слѣдующею многозначительною фразою: «Содержаніе (повѣсти графа Соллогуба) взято изъ большаго свѣта. Зная область его (т. е. большаго свѣта) только по наслышкѣ, мы готовы спросить: неужели такъ бываетъ въ большомъ свѣтѣ?» Слава Богу! Давно бы такъ пора! Послѣ этого добровольнаго признанія, которое, паче всякаго свидѣтельства, есть надежда, что «Пчела» перестанетъ толковать о дурномъ и вышемъ тонѣ и нападать, за сальности и неприличіе, на Гоголя, котораго читаетъ большой свѣтъ, не видя въ немъ ни сальностей, ни неприличія ..

Въ 1 № «Москвитянина» за 1843 годъ, въ статьѣ «Критическій перечень произведеній Р(р)усской С(с)ловесности за 1842 годъ», находится слѣдующее оригинальное сужденіе о г. Бенедиктовѣ, достойное быть сохраненнымъ для потомства:

«Несмотря на своихъ враговъ, онъ (г. Бенедиктовъ) остается всегда отмѣченъ (?) своею яркою особенностію въ Р(р)усской лирической П(п)овѣи. Главная черта его лпы (черта лиры...) *по нашему мнѣнію*

есть мысль, глубоко лежащая въ каждомъ изъ лучшихъ его произведеній, и растворенная часто, особенно прежде, теплотою душевною, въ отношеніи къ слиянію мысли и чувства (?!), М(м)уза Бенедиктова имѣетъ большое родство съ М(м)узою Шиллера, которая произвела на нее сильное вліяніе. Справедливо упрекали Бенедиктова въ изысканности выраженія, въ чемъ можно упрекнутьъ и славнаго Н(н)ѣмецкаго лирика; но никто не отниметъ у него особенности его стиха и звука, которыхъ онъ ни у кого не занялъ».

И такъ, дѣло рѣшено: г. Бенедиктовъ—Шиллеръ, г. Ленскій—Беранже и проч... Послѣ этого, сравненіе Гоголя съ Гомеромъ ужь не должно казаться нелѣпостію...

Въ какомъ-то миѣическомъ петербургскомъ журналѣ была, сказывали намъ, напечатана басня «Крысы»; къ удивленію нашему, эта же басня перепечатана въ № XII «Москвитянина» за 1842 годъ. Изъ этого мы заключили, что какъ остроумный сочинитель, такъ и редакторы обоихъ журналовъ, придаютъ большое значеніе этой баснѣ. Чтобъ доставить вящее наслажденіе всѣмъ имъ, перепечатываемъ басню и для нашихъ читателей:

Въ книгопродавческой обширной кладовой,
Среди печатныхъ книгъ, уложенныхъ стѣной,
Прогрызли какъ-то изъ подполья
Лазейку крысы для себя,
И поживиться всѣмъ любя,
Нашли довольно тутъ и пища, и приволья.
Не знаю, какъ печать,
Учились крысы разбирать;
Но дѣло въ томъ, онѣ, какъ знали,
Стихотворенія читали,
Позвію зубами рвали,
И начали судить, рядить,
Поэтовъ, какъ котовъ бранить,
И на Державина напали.
Одна безхвостая на полку взобралась:
Давно у этой забіяки
Отгрызли хвостъ собаки,
Но крысъ учить она взялась.

«Державинъ былъ талантъ для всѣхъ временъ великій!

«Великій онъ поэтъ лишь для своей норы,

«А не для нашей онъ норы;

«Для насъ пѣвецъ онъ полудикій!

«Для насъ — поэтъ въ немъ нѣтъ;

«Для насъ едва ли онъ какой-нибудь поэтъ;

«Для насъ все жертво въ немъ, скажу чистосердечно.

«Не ваша то вина, и не его, конечно,

«Мы не винимъ его, а судимъ лишь о немъ;

«Пусть судятъ же и насъ путемъ!...»

Такую крыса рѣчь и долго-бъ продолжала,

Но груда книгъ, свалаясь, безхвостую прижала;

Она пищить, скребеть... коть Васька близко былъ

И судъ по формѣ совершилъ.

Литературныхъ крысъ я наглости дивился;

Знать Васька коть запропастился.

—

Въ 35 № «Сѣверной Пчелы» перевозится до небесъ плохая драма г. Полеваго «Ломоносовъ», и, по обыкновенію, съ ожесточеніемъ порицаются «Отечественныя Записки» за то, что онѣ говорятъ правду о новомъ драматическомъ издѣліи г. Полеваго. «Не знаемъ, чему дивиться (воскликаетъ «Сѣверная Пчела»), храбрости ли Отечественныхъ Записокъ, которыя, вопреки истинѣ и общему мнѣнію, стремятся унижать достоинства писателей, не принадлежащихъ къ ихъ партіи, или терпѣнію публики!» Въ самомъ дѣлѣ, нужна особенная храбрость, чтобъ смѣть сказать правду о такомъ великомъ національномъ геніи, какъ г. Полевой! По нашему мнѣнію, гораздо больше нужно было храбрости разругать седьмую главу «Онѣгина», перевозноя до небесъ первыя шесть главъ его; но «Сѣверная Пчела» и это сдѣлала. Нужно было также довольно смѣлости, чтобъ разругать и лучшее произведеніе г. Загоскина «Юрій Милославскій», а потомъ хвалить слѣдовавшіе за нимъ посредственные его романы; но «Сѣверная Пчела» и это сдѣлала. Еще больше нужно смѣлости, чтобъ въ одномъ номерѣ газеты назвать «Уголино» г. Полеваго

пiесой равною по достоинству съ драмами Шиллера, а через три дня, въ той же газетѣ, поставитъ ее хуже всего худаго, оправдываясь передъ публикою въ первомъ отзывѣ кумовствомъ, саматадеріе?... Но чтобъ сказать правду о какомъ-нибудь поставщикѣ дюжинныхъ драмъ—для этого не нужно никакой храбрости, и какъ не хлопочетъ «Сѣверная Пчела», а изъ нашихъ отзывовъ объ издѣліяхъ драматической «гли» никогда не удастся ей сдѣлать страшнаго литературнаго преступленія...

Въ фѣльетонѣ того же знаменитаго нумера (35) «Сѣверной Пчелы», обанчивающагося апопееозою блиновъ въ екатериногофскомъ воксалѣ и въ кафе-ресторанѣ Беранжѣ, есть еще двѣ прекурёзныя диговинки. Фѣльетонистъ, превознося до небесъ, вмѣстѣ съ блинами, и «Ломоносова» г. Полеваго, упрекаетъ его только за характеръ Тредьяковского, и на какомъ бы—думали вы—основаніи? Послушайте самого фѣльетониста: «Точно ли былъ таковъ Тредьяковскій? Правда ли, что писалъ о немъ Ломоносовъ и другіе враги? Что бы было, еслибы потомство стало судить объ авторахъ (не сочинителяхъ ли?), напримѣръ, по сужденіямъ «Отечественныхъ Записокъ». — Вотъ, по истинѣ, странное описаніе! Ужъ не боится ли г. фѣльетонистъ, чтобы его нѣкогда не вывели въ какой-нибудь «драматической повѣсти»? Или, не думаетъ ли онъ, что кто-нибудь можетъ замаскироваться отъ потомства, когда онъ знаетъ, что и для современниковъ не такъ-то легко ходить долго подъ маскою? Державицъ сказалъ великую истину и высокую мысль въ этихъ стихахъ:

Какихъ ни вымышлай пружинъ,
Чтобъ мужу бую умудриться:
Не можно вѣкъ носить личинъ,
И истина должна открыться!

Вторую курёзную вещь въ этомъ фѣльетонѣ тоже выпи-
сываемъ цѣликомъ:

«Пропаала русская пословица: «по платью встрѣчаютъ, по уму про-
вожаютъ!» Теперь ни до платья, ни до чужаго ума никому нѣтъ дѣла,
если вашъ умъ не нуженъ другимъ для спекуляцій! Теперь собесѣд-
никовъ выбираютъ по адресъ-календарю или по биржевымъ извѣстї-
ямъ, а не по уму и любезности. А то ли было въ XVIII вѣкѣ? *Что*
было бы съ авторожъ, котораго писца имѣла бы такой блистатель-
ный устъхъ, какъ Ломоносовъ Н. А. Полегаю! Вспомнимъ о Сумаро-
ковѣ, Фонѣ-Визинѣ, Аблесимовѣ и многихъ другихъ».

Объ Аблесимовѣ, на этотъ счетъ, мы ничего не помнимъ;
а о Сумароковѣ хорошо помнимъ, что онъ, по своему раз-
дражительному сочинительскому самолюбію, былъ въ обще-
ствахъ не очень лестно принятъ. Фонѣ-Визинъ—совсѣмъ дру-
гое дѣло: это былъ не только умный, острый и образован-
ный человѣкъ, но и литераторъ честный...

Давно уже слышимъ мы, что въ «Петербургѣ» издается
какой-то журналъ подъ именемъ «Маяка», и желали, изъ лю-
бопытства, видѣть его: по справкамъ оказалось, что это
чрезвычайно трудно, и мы принуждены были отказаться отъ
своего желанія,—какъ вдругъ 24-й нумеръ «Сѣверной Пчелы»
снова возбудилъ въ насъ желаніе удостовѣриться въ суще-
ствованіи мнѣческаго журнала. На этотъ разъ, случай по-
могъ намъ неожиданно достать январскую книжку «Маяка»
на 1843 годъ,—и при всей нашей недовѣрчивости къ «Сѣ-
верной Пчелѣ», мы увидѣли, что все, сказанное въ ней (№
24) о «Маякѣ»—сушая правда, не выдумка. Перелистовавъ
эту книжку, мы тотчасъ увидѣли, что это журналъ «для не-
многихъ», и тотчасъ поняли, почему не могли такъ долго
убѣдиться собственными глазами въ его существованіи. Между
прочими диковинками—представьте себѣ, какой-то г. Марты-
новъ общается Степану Онисимовичу, издателю «Маяка», по-
дробный обзоръ стихотвореній А. С. Пушкина. Предвица удив-
леніе многихъ, что какой-то господинъ Мартыновъ общается
лучше всѣхъ бывшихъ и настоящихъ критиковъ оцѣнить
Пушкина, онъ (т. е. г. Мартыновъ) говорить:

„Лѣтописи *грамотности* или словесности, по вашему—литературы, представляютъ каждому изъ насъ убѣдительныя доказательства того, что самыя извѣстныя и знаменитыя цѣнители чужихъ произведеній часто впадаютъ въ непростительныя промахи: или слишкомъ заговариваются, или многое не договариваютъ, или многое переговариваютъ; между тѣмъ какъ люди, дотогѣ неизвѣстные, являются на сцену письменности съ ясными, прямыми и вѣрными взглядами на вещи этого рода, безъ малѣйшаго посягательства на *вышнія точки зрѣнія*, и прославленный отъ современниковъ писатель предстаетъ передъ потомствомъ съ оцѣпанными лаврами“ (Крит., стр. 24).

По мнѣнію г. Мартынова, всѣ критики, хвалившіе Пушкина, и пристрастны, и поверхностны; судя по этому и по другимъ фразамъ статьи г. Мартынова, видно, что онъ рѣшился общипать Пушкина не на шутку. Г. Мартыновъ говоритъ правду, что нѣтъ дѣла до извѣстности или неизвѣстности критика, лишь бы онъ дѣльно критиковалъ; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы какой-нибудь господинъ, хотя бы то былъ самъ г. Мартыновъ, не сдѣлавъ дѣла, а только посуливъ его, уже имѣлъ право расхвастаться имъ, какъ великимъ подвигомъ, и утверждать храбро, что всѣ критики заблуждались, а одинъ онъ попалъ на истину. Но въ «Маякѣ» этотъ тонъ принять, какъ видно, за основаніе изданія: имъ такъ и дышать всѣ статьи его. Г. издатель «Маяка» (если не ошибаемся, г. Бурачекъ) въ отвѣтъ на литературное хвостовство г. Мартынова, говоритъ, что для нашей литературы настала вѣкъ мишурности, что Батюшковъ былъ предвѣстникомъ, а Пушкинъ основателемъ и утвердителемъ этой мишурности; что противъ нея теперь ратуютъ, елико силъ хватаетъ «Маякъ», «Сынъ Отечества» и «Москвитянинъ», а прочіе журналы горой стоятъ за нее!... Боже великій, что это такое?... Но погодите—то ли еще впереди! «Сыну Отечества» «Маякъ» воздаетъ полную похвалу, какъ достойному его сподвижнику; но «Москвитяниномъ» онъ только вполовину доволенъ. «Москвитянинъ»—видите ли—противорѣчить самому себѣ, съ одной стороны утверждая, что рус-

ская литература должна свергнуть съ себя вліяніе лукаваго и буйствомъ разума омраченнаго Запада и быть самобытною и оригинальною; а съ другой стороны, утверждаетъ, что «Мертвыя Души» Гоголя — великое произведеніе, что Пушкинъ—великій поэтъ, и что Западъ образованнѣ насъ.

«Въ чемъ (воскликаетъ въ рыцарскомъ негодованіи нашъ восточный витязь)? въ вязкѣ блондою (блондъ?), въ развлеченіяхъ и услажденіяхъ жизни, въ желѣзныхъ дорогахъ, операхъ — въ роскоши—*пожалуй*; но въ любви къ Богу, въ добродѣтели, въ семейности, въ сердечной, духовной образованности, что безконечно важнѣе и труднѣе—Русскіе всегда были и есть выше Запада» (стр. 30).

Далѣе, издатель «Маяка» восклицаетъ: «Добрые Русскіе! вы всѣ согласны, что пора намъ бросить чужое и возвратиться къ своему?» и такъ заставляеть добрыхъ Русскихъ отвѣчать ему: «Да, да, мы всѣ согласны. Это хорошо. Давайте свое, свое, русское, родное! ура!» (стр. 31). «Стало быть, и Пушкинъ мишурникъ?» спрашиваютъ хоромъ добрые Русскіе г. издателя «Маяка»: «Какъ смѣть! мировой поэтъ! народный гений! краса и столбъ нашей литературы!»... Но издателя «Маяка» нельзя сбить съ толку цѣлому хору добрыхъ Русскихъ, — и онъ, ни мало не запинаясь, отвѣчаетъ такъ:

— «Добрые Русскіе! вѣдь это все пока *порожнія* рѣчи, слова — слова — слова! взгляды въ дѣло: разберемте Пушкина: вотъ г. Мартыновъ предлагаетъ вамъ свой исполнскій трудъ: выслушаемте его спокойно, не горячася, посудимъ, потолкуемъ,—убѣдимся и положимъ: «быть тому такъ»; всѣ заблуждались въ словесности, *въ поголовно*, и производители, и потребители. Кого же винить?—ложный духъ времени! Кому краснѣтъ — никому или всѣмъ: а на *людяхъ* не только смерть, и *стыдъ красенъ*. Смиримъ же свою неумѣстную гордость, отринемъ свою мнимую непогрѣзительность, падшими людьми и, подъ такимъ назидательнымъ урокомъ милующей разъ и навсегда перестанемъ повторять *порожнія* рѣчи!» (стр. 32).

Вотъ ужъ подлинно порожнія рѣчи! Какъ бы хорошо было, для чести здраваго смысла и русской литературы, еслибы онъ

перестали повторяться! И что за милый, наивный и патриархальный тонъ, что за короткость съ добрыми Русскими? Хорошо еще, что эти «добрые Русскіе» не слышатъ такихъ «порожнихъ» рѣчей! Видите ли: соберитесь-ка вкупѣ и влюбѣ, сядемъ кругомъ г. Мартынова, читающаго намъ свой исполнскій трудъ, состоящій изъ порожнихъ рѣчей,—да не горячася, спокойно,—и сознаемъ въ ничтожествѣ, или, нѣтъ бишь—въ мишурности нашего великаго поэта и въ собственной глупости, да, по старинному обычаю, и ударимъ челомъ, не боясь запачкать его въ грязи, премудрому г. Мартынову, наведшему насъ такъ легко и скоро на умъ-разумъ... Кстати ужъ за-одно въ смиреніи сердца повалается въ ногахъ и у новаго великаго муфтія россійской словесности, г. издателя «Маяка», что онъ растолковалъ намъ, невѣждамъ, что Пушкинъ не болѣе, какъ флигельманъ русской литературы, которая доселѣ повторяетъ его «мишурные артикулы» (стр. 32),—и только попросимъ, чтобы онъ, нашъ литературный муфтіи, смиловался, удержалъ порывъ своего мусульманскаго фанатизма, помня пословицу: гдѣ гнѣвъ, тамъ и милость!... Ну, добрые Русскіе! гаркнемъ же дружно и велегласно: помилуй, отецъ и командиръ, впередъ, право, не будемъ! Убѣдимся, вразумимся и дружно примемся лѣчиться!...

И это литература?... Но что жъ тутъ огорчаться: вѣдь это литература подземная,—задній дворъ литературы... Однакожъ, интересно знать, что разумѣютъ эти господа подъ «народностию» русской литературы и какія средства почитаютъ они необходимыми для того, чтобы наша литература сдѣлалась народною. Скучно выписывать, а дѣлать нечего, если ужъ начали. И такъ, слушайте «добрые Русскіе»:

«Давайте выражать русское горячее *чувство*, мудрое *знаніе* и *силу* богатырскую души, — живымъ, кипучимъ, роднымъ, народнымъ, маленько мужицкимъ словомъ... Что же, господа (надобно бы ребята или братцы)?... Да гдѣ же вы?... Куда жъ вы разбѣжались?...»

Надобно сказать, что вся эта галиматья изложена въ видѣ

спора между «Маякомъ» и «Москвитяниномъ». Изъ чего же спорять сія достойные сподвижники? За чтѣ вооружился «Маякъ» на «Москвитянина»? Имъ-то ужь совсѣмъ бы не слѣдовало ссориться. Но таковы люди! Это еще только перемолвочка— милые бранятся, только тѣшутся; а то бывають какія страшныя ссоры между (выражаясь маленько мужицкимъ слогомъ) закадышными друзьями!... Гоголь превосходно изобразилъ примѣръ такихъ разрывовъ самой пламенной дружбы въ лицѣ Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича... Главная разница въ характерахъ сихъ достойныхъ друзей состояла въ томъ, что Иванъ Ивановичъ былъ чрезвычайно тонкій и разборчивый на слова человѣкъ; а Иванъ Никифоровичъ любилъ иногда вернуть въ разговоръ маленько мужицкое словцо... Это и было причиною вражды, смѣнившей ихъ дружбу...

Любопытно и поучительно слѣдить за процессомъ возрастанія какой бы ни было большой славы. Никакая слава не дается даромъ: ее надо взять съ бою. Люди не охотно признають превосходство надъ собою одного человѣка, и готовы ревновать даже такому успѣху, который, собственно для нихъ, не имѣетъ никакой цѣны. Вотъ почему иногда глупецъ, незнающій грамотѣ, громче другихъ кричитъ противъ литературной славы, потому только, что она—слава. Но кромѣ бессознательной толпы есть еще особенный родъ непримиримыхъ враговъ литературной славы, которыхъ обязанность и назначеніе именно въ томъ и состоитъ, чтобы сдѣлать цѣннѣе вѣнокъ ея: сюда принадлежать маленькіе таланты съ большимъ самолюбіемъ, разная посредственность, для мелкаго эгоизма, которой всякій успѣхъ есть личная, кровная обида. Эта моль и тля враждебная всякой знаменитости, вѣчно воюетъ и грызется между собою; но при видѣ знаменитости, словно по инстинкту, дѣйствуетъ согласно и дружно. Взаимное истребленіе у нея идетъ довольно успѣшно: поле битвы покрывается трупами,—и изъ этихъ гниющихъ труповъ возникаетъ новая

моль, новая тля, и эта исторія повторяется безконечно. Но истребленіе истинной славы никогда не удастся этой завистливой породѣ насѣкомыхъ: мухи на время могутъ запачкать картину генія;

Но краски чуждыя, съ лѣтами,
Спадаютъ ветхой чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходитъ съ прежней красотой.

Но моли, тлѣ, мухамъ и подобнымъ тому дряннымъ насѣкомымъ довольно и того, если имъ удастся хоть на минуту затемнить славу и на время помѣшать ей успѣхамъ, чтобы между тѣмъ, подъ-шумокъ, пока общественное мнѣніе еще не установилось отъ своего нерѣшительнаго колебанія, воспользоваться крохами отъ убогой трапезы своей бѣдной извѣстности. Забавно смотрѣть, когда эта тля, видя, что дѣло славы уже совершилось, теряется въ отчаяніи, сбивается съ плана своей атаки: то, желая казаться безпристрастною въ глазахъ толпы, уже не позволяющей ей обманывать себя, лукаво хвалить знаменитость, то, вновь приходя въ безсильную ярость отъ глубоко уязвленнаго самолюбія, изступленною бранью изобличаетъ притворство своихъ предательскихъ похвалъ. Это часто случается во всякой литературѣ, гдѣ есть дюжинные таланты, есть посредственность, и гдѣ, между ними, возникаетъ иногда могучій талайтъ...

Кстати: чтò дѣлается въ нашей литературѣ? Увы, она предчувствуетъ весну, несмотря на зимній холодъ и снѣгъ, которые такъ некстати превратили весну въ зиму, — предчувствуетъ весну—и начинаетъ погружаться въ свою обычную летаргію, которая продолжится до послѣднихъ дней осени. И такъ, остаются одни журналы, которые, такъ и сякъ, но все же бодрствуютъ въ продолженіе цѣлаго года. Чтò же новаго въ журналахъ? — Самая послѣдняя и самая забавная новость въ нихъ—это рецензія «Библіотеки для Чтенія» на

изданіе сочиненій Гоголя, въ четырехъ томахъ. Эта рецензія особенно замѣчательна тѣмъ, что, за исключеніемъ немногихъ умышленно и неумышленно-ложныхъ взглядовъ, выраженныхъ неприлично бранчивыми фразами, о самихъ сочиненіяхъ почти ничего не сказано, а между тѣмъ, рецензія довольно длинна. О чемъ же говорится въ ней? О томъ, что Гоголь зазнался, подчиняясь прискорбному ослѣпленію самолюбія; что его понятія о своемъ значеніи въ искусствѣ «раздувались» болѣе и болѣе; что надобно же будетъ, рано или поздно, его «колоссальному тщеславію» подать въ отставку отъ «потѣшнаго» званія «перваго поэта нашего времени» за «неспособностью къ этому званію» и за «ранами, нанесенными самолюбію» (чьему?—не сказано въ рецензіи, но должно думать, что самолюбію рецензента «Библиотеки»); что ему, рецензенту, иногда становится страшно, чтобы, для большаго эффекта, Гомеръ Второй (т. е. Гоголь) не закололся, и тому подобное... Все это не выдуманно и нисколько не преувеличено нами: все это напечатано въ «Литературной Лѣтописи» «Библиотеки для Чтенія» за мартъ нынѣшняго года. Мы сочли необходимымъ подобное увѣреніе съ нашей стороны, что фразы «Библиотеки» переданы нами вѣрно, безъ искаженія и безъ преувеличенія: читая ихъ, мы не вѣрили собственнымъ глазамъ, а когда убѣдились, что наши глаза, не обманываютъ насъ, то не шутя стали бояться, чтобы «почтеннѣшій» рецензентъ, для большаго эффекта, не закололся: ибо подобныя фразы явно обнаруживаютъ разстройство, вслѣдствіе сильнаго припадку отчаянія. Къ какой стати, мѣсто разбора сочиненій автора, толковать о его самолюбіи, дѣйствительности котораго, къ довершенію всего, еще и доказать нечѣмъ? «Вечера на Хуторѣ» Гоголю кажутся менѣе заслуживающими вниманія публики, чѣмъ позднѣйшія его произведенія: если и допустить, что онъ ошибается, то гдѣ же тутъ самолюбіе? Развѣ смотрѣть ошибочно на свои произведенія—все равно, что увлекаться тщеславіемъ? Да и кто далъ право

рецензенту «Библиотеки» на цензорство нравовъ писателей? Если онъ видитъ въ себѣ идеальскій скромности, при огромномъ талантѣ — передъ нимъ: онъ можетъ, сколько ему угодно, любоваться своими нравственными совершенствами, одному ему извѣстными; но пусть удержится отъ «скромнаго» стремленія называть печатно извѣстнаго писателя зазнайкою, хвастуномъ, помѣшаннымъ отъ самолюбія, и т. п. Такія замашки обнаруживаютъ явно безпокойство и смущеніе духа! Мы знаемъ, что рецензентъ «Библиотеки» никогда не отличался эстетическимъ вкусомъ, мы помнимъ, что онъ бранилъ Пушкина и превозносилъ г. Тимоеева, поставилъ ни во что лучшее произведеніе Лажечникова—«Ледяной Домъ» и превозносилъ до небесъ плохой романъ г. Степанова—«Постоялый Дворъ»; съ презрѣніемъ отзывался объ историческихъ романахъ Вальтеръ-Скотта—и провозгласилъ г. Кукольника великимъ гениемъ... И такъ, нисколько не удивительно, что сочиненія Гоголя недоступны, по своей высотѣ, для вкуса и разумѣнія рецензента «Библиотеки», и еслибы его сужденія о нихъ происходили только изъ безвкусія и незнанія въ дѣлѣ изящнаго, то мы и не обратили бы на нихъ никакого вниманія, снисходительно позволяя ему судить и рядить по крайнему его разумѣнію. Но нѣтъ! Въ его бранчивыхъ приговорахъ, кромѣ безвкусія и невѣдѣнія, выказывается еще и худо скрываема враждебность, какое-то ожесточеніе противъ таланта Гоголя. Люди неизмѣющіе эстетическаго вкуса и эстетическаго образованія, могутъ находить, напримѣръ, комедію Гоголя «Женидьба» слабою, неудачною, если хотите; но никто изъ людей грамотныхъ не скажетъ, чтобы въ ней не было смысла. Что касается до «Разъѣзда», это превосходное произведеніе обратило на себя общее вниманіе и общія похвалы и друзей и недруговъ таланта Гоголя; а рецензентъ «Библиотеки» смѣло утверждаетъ, что нелѣпѣ этой пьесы міръ ничего не производилъ... Нѣтъ! какъ бы ни старался рецензентъ увѣрять насъ въ своемъ безвкусіи и невѣдѣніи,—мы повѣримъ ему

только на половину, а другую отнесемъ къ раздражительности глубоко оскорбленнаго самолюбія, которое сознало наконецъ бѣдность своего авторскаго дарованія. И, конечно, Гоголь былъ виною этого сознанія, равно какъ и того, что «Дѣва Чудная», которую сочинитель обѣщалъ, болѣе года назадъ тому, кончить и издать особою книгою, не являлось въ свѣтъ... Послѣ Гоголевскаго юмора, трудно имѣть свой юморъ, а послѣ «Миргорода», повѣстей въ родѣ «Шинели», романа въ родѣ «Мертвыхъ Душъ», кто же улыбнется при чтеніи «Фантастическихъ Путешествій» барона Брамбеуса и его повѣстей, гдѣ мандаринши ищутъ у себя блохъ и подробныя тому грубая сальности издають отъ себя свой особенный запахъ?... Нѣтъ, прошла, давно прошла пора авторскаго и юмористическаго гарцованія для сочинителей въ родѣ барона Брамбеуса! Конечно, въ этомъ, опять-таки, виноватъ Гоголь же, но, какъ говорить пословица, безъ вины виноватъ. Забавнѣе всего нападки рецензента «Библиотеки» на грязныя картины въ сочиненіяхъ Гоголя: подумаешь, дѣло идетъ о повѣстяхъ барона Брамбеуса... Особенно возмущаетъ нашего благовоспитаннаго рецензента то, что герои Гоголя «сморкаются, чихаютъ» и «падаютъ», и что они ругаются «канальями, подлецами, мошенниками, свиньями, свинтусами и оетюками»... Все это кажется ему особенно несовмѣстнымъ съ идеею поэмы: видно, что эту идею онъ вычиталъ изъ пѣтунки г. Толмачева или г. Георгіевскаго, гдѣ поэмы предписано сочинять непременно стихами и непременно «высокимъ слогомъ». Должно быть, ученому рецензенту не извѣстно, какъ въ поэмѣ поэмъ—«Илліадѣ» не только люди, но и боги ругаются другъ съ другомъ не лучше героевъ повѣстей Гоголя: такъ; напримѣръ, въ XXI пѣсни, Арей называетъ Палладу «наглою мухою», а Гера-богиня Артеиду-богиню—«безтыдною псицею», или, говоря проще—«сукою». Скажутъ: это недостатки поэзіи грубыхъ временъ: старыя пѣсни! не недостатки, а вѣрное изображеніе современной дѣйствительности, съ ея

бытомъ и ея понятіями! Г. Полевой выдумалъ съ горя называть юморъ Гоголя «малороссійскимъ жартомъ»; рецензентъ «Библіотеки», во всемъ другомъ несогласный съ г. Полевымъ, съ радостію подхватилъ это слово «жартъ», — и вышла нелѣпность; ибо малороссійскій глаголь «жартовать» значитъ — любезничать съ женщинами, слѣдовательно, слово «жартъ» не имѣеть никакого соотношенія съ понятіемъ о какомъ бы то ни было юморѣ — малороссійскомъ, или великороссійскомъ... Очень забавно также видѣть, какъ старается рецензентъ прикрыть неблаговидныя чувства свои къ таланту Гоголя противорѣчащими брани похвалами: изъ Поль-де-Коконъ онъ уже произвелъ его въ Диккенса, «Вечера на Хуторѣ» похваливаетъ, «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ» находитъ художественнымъ созданіемъ, съ похвалою отзывается о «Тарасѣ Бульбѣ», въ его первобытномъ видѣ, но для того, чтобы тѣмъ больше унизить это произведеніе, вновь передѣланное авторомъ. И въ то же время, всѣ эти повѣсти, въ глазахъ нашего рецензента не болѣе, какъ анекдоты!... Какъ все это мелко и ничтожно!

Новое доказательство старой истины — что худо рассчитанные удары бьютъ по воздуху, или задѣваютъ самого же бойца, — представляетъ собою и наша журнальная кумушка «Сѣверная Пчела». Мы думали, что послѣ выхода 3-й книжки «Отечественныхъ Записокъ» она догадается, что пора ей замолчать, и мысленно уже простились съ нею. Но привычка къ брани и мелочнымъ придиркамъ — вторая природа для этой достолюбезной газеты, — и вотъ она снова придирается къ «Отечественнымъ Запискамъ». Заговаривать съ нею мы никогда не были и не будемъ намѣрены; но отвѣчать ей положили себѣ за неизмѣнное правило. Въ 52 № своемъ, умолчавъ о томъ, что разсердило ее въ 3-й книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», «Сѣверная Пчела», ни съ того, ни съ сего, какъ муха вокругъ огня, засуетилась около нашей статьи о

Державинъ и... опалила себѣ крылья. Выдергивая тамъ и сямъ отдѣльныя фразы изъ нашей статьи, «Сѣверная Пчела» прибавляетъ къ нимъ остроумныя восклицанія собственнаго изобрѣтенія, и думаетъ, что она говоритъ дѣльно, остро и доказательно. Давно ли она говорила, что Державинъ перейдетъ къ потомству съ слишкомъ легкою ношею? а теперь, чтобы только противорѣчить «Отечественнымъ Запискамъ», рассуждаетъ о Державинѣ уже совершенно другимъ тономъ—именно тономъ пятигѣ г. Толмачева, Греча, Плаксина, Георгиевскаго и подныхъ имъ. Державина идеи, говоритъ она, не для своего только времени, но всегда хороши, ибо онъ воспѣвалъ добродѣтель и истину. Прекрасно; но вопросъ заключается не въ одномъ томъ, что воспѣвалъ, но еще и какъ воспѣвалъ. Лучшимъ доказательствомъ этому могутъ служить стихи Державина же о безсмертіи души, выписанные въ статьѣ «Сѣверной Пчелы»: мысль стиховъ прекрасна и истинна, а стихи изъ рукъ вонъ—плохи. И потому стиховъ читать теперь никто не станетъ; слѣдственно, и мысли ихъ не узнаетъ. Надергавъ нѣсколько фразъ изъ разныхъ мѣстъ большой статьи, не мудрено найти между ними противорѣчіе, особенно при явномъ желаніи найти его во что бы ни стало: поэтому, мы не будемъ спорить съ «Сѣверною Пчелою» объ этомъ предметѣ. Какъ понимаетъ, или какъ хочетъ понимать она все, касающееся до «Отечественныхъ Записокъ»,—видно изъ того, что смѣшную пародію на пьяно-студентскіе стихи, напечатанную въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ», приняла она за настоящіе стихи!... Впрочемъ, можетъ быть, она сдѣлала это и безъ умысла, въ простотѣ ума и сердца: вѣдь не всякому же дано понимать иронию, и есть много людей, которые все понимаютъ только въ буквальномъ смыслѣ, даже если ихъ увѣряютъ, что они необыкновенно умны... Наконецъ «Сѣверная Пчела» всѣ эти мелкія придирки повершаетъ формальною выдумкою, какъ доказательствомъ своего безсилія. Въ «Отечественныхъ Запи-

скахъ» 1840 года (т. X, отд. V, стр. 29—30) было сказано, что послѣ Лермонтова, изъ современныхъ живыхъ поэтовъ (гг. Кукольника, Бенедиктова, Бернета, Красова и проч.) «поэзія Кольцова есть не современно важное, но безотносительно примѣчательное явленіе» и что «никого изъ явившихся вмѣстѣ съ нимъ и послѣ него нельзя поставить съ нимъ на ряду». И что же? «Сѣверная Пчела» увѣряетъ, будто мы Кольцова поставили выше Гомера, Данта, Шекспира, Пушкина, Гоголя!... Вотъ до чего дошла эта жалкая газета: она перечитываетъ старые годы «Отечественныхъ Записокъ», чтобы переиначивать изъ нихъ фразы и навязывать имъ нелѣпости, которыхъ онѣ и не думали говорить!...

Въ 57 № той же газеты г. Булгаринъ сравниваетъ себя съ Сократомъ, въ котораго одинъ Аѳинянинъ бросилъ грязью, а «Отечественныя Записки», «Литературную Газету» и «Москвитянина» сравниваетъ съ этимъ Аѳиняниномъ! Вотъ по истинѣ забавное сравненіе! Г. Булгаринъ—и Сократъ!... Сократъ—и г. Булгаринъ!... Удивительное сближеніе! Дѣйствительно, въ жизни сихъ двухъ великихъ людей очень много сходнаго, хотя они раздѣлены тысячелѣтіями!...

Въ прошлой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы представили публикѣ интересный по своей странности и дикости фактъ современной русской литературы: доказательства «Маяка», что русскіе литераторы должны выражаться «маленько мужицкими» словами. «Маякъ», въ отношеніи къ странности мнѣній и языка, можно назвать «Петербургскимъ Москвитяниномъ»; теперь мы представимъ не менѣе любопытный фактъ сужденій и тона «Московского Маяка». Разбирая въ мартовской своей книжкѣ «Утреннюю Зарю», альманахъ г. Владиславева, вышедшій еще въ концѣ ноября прошлаго года, рецензентъ распространился, между прочимъ, о «Медвѣдѣ», повѣсти графа Соллогуба, и, по поводу этой повѣ-

сти, повѣдалъ смиренной братіи мудрость велію въ сицевыхъ словесахъ:

«Знающіе наизусть всѣ подробности П(е)тербургскаго свѣта говорятъ, что для нихъ повѣсть еще занимательнѣе, потому что они могутъ вѣрнѣе судить о сходствѣ копіи съ оригиналомъ самой жизни. Такое удовольствіе не касается искусства, но подаетъ намъ поводъ къ наблюденію надъ странною переимчивостію нашей сѣверной С(с)толицы и надъ нѣкоторыми особенностями ея нравовъ. Въ своенравномъ до безумія Парижѣ, явилась у людей странная охота титуловать себя именами животныхъ, называться львами, львицами, тиграми и проч. Если вникнуть въ дѣло, такъ вѣдь оно очень *задко*: эти(и) имена не признакъ ли какого то матеріальнаго пресыщенія жизнью въ тѣхъ людяхъ, которые удалились отъ христіанства? Страннымъ покажется въ наше время такое возвращеніе ко временамъ языческимъ, а оно до того вѣрно, что слѣдующія слова Іоанна Златоуста, какъ будто, сегодня написаны: «Какое можетъ представить благовидное извиненіе въ томъ, что *изъ льва дѣлаешь человека, а о себѣ не заботишься, когда изъ человека дѣлаешься львомъ*»... Неидетъ ли это къ нашему времени, когда человѣкъ постигъ чудное искусство доводить звѣрство львиное до кротости и общенія человѣческаго, а самъ вздумалъ называться именами самыхъ хищныхъ животныхъ, какъ будто хвастаясь своею животною натурою...

И проч. Всего не выпишемъ: довольно и этого; судить объ этомъ фактѣ не хотимъ: онъ говоритъ самъ за себя...

Недавно въ одномъ изъ листковъ «Сѣверной Пчелы» прочли мы извѣстіе, что г. Булгаринъ—Сократъ; теперь, изъ 86 № этой же газеты, узнаемъ, что г. Булгаринъ—Вальтеръ-Скоттъ! Въ смѣси этого нумера «Сѣверной Пчелы» находится статья «Журнальная всякая всячина. Письмо въ Дерптъ къ Ѳ. Б.», а въ статьѣ изъясняется искреннее сожалѣніе, что некому описывать въ «Пчелѣ» балагановъ и другихъ праздничныхъ увеселеній, за отсутствіемъ г. Булгарина. Замѣчательны послѣднія строки этой примѣчательной статьи.

«Вотъ очеркъ того, что служило бы вамъ канвою для нынѣшняго фельетона. Мы не коснулись неистощимаго предмета—Адмиралтей-

ской площади, съ удивительными представленіями Легата и Сулье, качелями, каруселями и желѣзными дорогами, не коснулись общаго характера нынѣшняго гулянья, *которыя бы вы передали намъ въ живомъ разсказѣ, въ полупластическомъ (?) изображеніи, если бы теперь не расстлаживали въ помѣщицѣй фуражкѣ и въ длинномъ деревенскомъ сертукѣ по полямъ и садамъ вашего Абботсфорта*».

Если сходство г. Булгарина съ Сократомъ не подвержено ни малѣйшему сомнѣнію, то еще менѣе можно сомнѣваться въ сходствѣ мызы Карлово съ Абботсфортомъ, а г. Булгарина съ Вальтеромъ-Скоттомъ: извѣстное дѣло, что когда великій романистъ шотландскій уѣзжаетъ на лѣто въ свое помѣстье, то въ мелкихъ газетахъ Эдинбурга не кому было описывать «полупластически» балагановъ и ихъ комедій, и тогда за это благородное занятіе, по необходимости, принималась разная литературная тля.

Въ 84 № «Сѣверной Пчелы», издаваемой гг. Булгаринимъ и Гречемъ, напечатанъ самый лестный отзывъ о плохомъ книжномъ издѣліи г. Булгарина— «Очерки русскихъ нравовъ, или лицевая сторона и изнанка рода человѣческаго». Тутъ, конечно, нѣтъ дива: «Сѣверная Пчела», безпристрастная и строгая, всегда отдаетъ справедливость всему хорошему, если только это хорошее сочинено или составлено гг. Булгаринимъ и Гречемъ, или ихъ почитателями. Не удивительно также и то, что эта газета смѣется надъ Жуи и разными пустышками, которыхъ повторяетъ и копируетъ г. Булгаринъ въ своихъ нравоописательныхъ статьяхъ... Еще менѣе удивительнымъ покажется вамъ, если въ одномъ изъ ближайшихъ нумеровъ «Сѣверной Пчелы» вы прочтете столь же обязательную и любезную статью о вновь вышедшей «Исторіи Петра Великаго», соч. г. Полеваго. Это будетъ не первымъ и не послѣднимъ примѣромъ трогательной дружбы и свѣтской любезности, какими отличается наша литература, несмотря на всѣ «кочерыжныя» исторіи, которыя такъ нерѣдко случаются съ нею.

Нѣсколько словъ «Москвитяину». Въ 6-й книжкѣ медленно выходящаго «Москвитянина» помѣщено окончаніе разбора «Полной Русской Хрестоматіи» г. Галахова. Всѣмъ извѣстно, какъ косо смотритъ аристархъ московскаго журнала на эту книгу. Предоставляя самому г. Галахову раздѣлаться съ его раздражительнымъ противникомъ, мы сами не можемъ не сдѣлать замѣтокъ на нѣкоторыя выходки г. Шевырева, устремленныя прямо на нашъ журналъ. У сего почтеннаго и достойнаго аристарха московскаго есть странная привычка: о чемъ бы ни говорилъ онъ,—придирчиво касаться «Отечественныхъ Записокъ». Это, можно сказать, его манія, его болѣзнь. А что у кого болить, тотъ о томъ и говорить. Изъ состраданія къ такому состоянію души почтеннаго критика московскаго, мы хотимъ откровеннымъ объясненіемъ способствовать къ проясненію его сознанія, нѣсколько затемненаго, можетъ быть, раздражительностію и пристрастіемъ.

Г. Шевыревъ находитъ страннымъ, что г. Галаховъ ставитъ имя Лермонтова не только вмѣстѣ съ именами Карамзина, Крылова, Жуковскаго и Пушкина, но даже Шиллера и Гёте. По нашему мнѣнію, если можно съ именами Шиллера и Гёте ставить не только Пушкина, но и Жуковскаго, и Крылова, и Карамзина,—то г. Галаховъ правъ, поставивъ вмѣстѣ съ ними имя Лермонтова. И ужь конечно, имя поэта Лермонтова скорѣе можетъ быть поставлено съ именами поэтовъ—Шиллера и Гёте, чѣмъ имя Карамзина, отличнаго литератора, извѣстнаго историка, но ни сколько не поэта. Неужели это не извѣстно г. Шевыреву?...

Вслѣдъ за этимъ страннымъ упрекомъ, г. Шевыревъ начинаетъ оправдываться передъ своими читателями (вѣроятно, предполагая, что у «Москвитянина» есть читатели) въ посягательствѣ на славу молодаго поэта, т. е. Лермонтова. «Мы», говоритъ онъ, «знаемъ, что Россія лишилась въ немъ одной изъ лучшихъ надеждъ молодаго поколѣнія. Мы съ радостію привѣтствовали прекрасное его дарованіе; не признавали

только направленія въ нѣкоторыхъ піесахъ, но увѣрены были, что оно измѣнилось бы въ послѣдствіи, потому что не представляло ничего оригинальнаго, отзывалось очевиднымъ подражаніемъ, свойственнымъ всякому молодому таланту при началѣ его поприща». Вѣшь извѣстно, что въ свое время г. Шевыревъ даже взялъ на себя трудъ показать, кому именно подражалъ Лермонтовъ, и открылъ, съ свойственною ему критическою проницательностію, что Лермонтовъ подражалъ не только Пушкину и Жуковскому, но даже и господину Бенедиктову!... Въ доказательство удивительной способности г. Шевырева открывать духъ подражательности тамъ, гдѣ нѣтъ его и тѣни, указываемъ кстати на высказанное имъ въ этой же статьѣ мнѣніе, будто бы Лермонтовъ въ «Мцыри» подражалъ Жуковскому!... Любопытно бы знать, какая изъ піесъ Жуковскаго послужила Лермонтову образцомъ для его «Мцыри»? Жаль, что г. Шевыревъ оставилъ насъ въ недоумѣніи касательно этого любопытнаго вопроса...

Почему же особенно негодуешь г. Шевыревъ на упоминаніе имени Лермонтова вмѣстѣ съ именами нѣкоторыхъ нашихъ писателей старой школы?—потому что Лермонтовъ рано умеръ, а тѣ довольно пожилы на свѣтѣ и успѣли написать и напечатать все, что могли и хотѣли. Вотъ по истинѣ странный критеріумъ для измѣненія достоинства писателей относительно другъ къ другу! Помилюйте: Грибоѣдовъ написалъ одну только комедію, да и ту несовершенную, какъ первый опытъ его самобытнаго творчества: неужели же Грибоѣдовъ, какъ поэтъ, не выше, на примѣръ, Озерова, написавшаго пять трагедій и нѣсколько мелкихъ піесъ? Безъ сомнѣнія, неизмѣримо выше, потому что, судя по пяти трагедіямъ, можно знать, что Озеровъ ничего не написалъ бы великаго, тогда какъ, судя по «Горе отъ Ума», нельзя ни опредѣлить, ни измѣрить высоты, на которую могъ бы подняться огромный талантъ (мы не боимся сказать — даже геній) Грибоѣдова. Лермонтовъ написалъ немного, но въ этомъ немногомъ видно очень многое.

Если г. Шевыревъ не видитъ этого, — мы не споримъ съ нимъ, ибо въ дѣлѣ личнаго вкуса спора быть не можетъ; но зачѣмъ же г. Шевыревъ непременно хочетъ, чтобъ его личный вкусъ былъ нормою для вкуса всѣхъ и каждаго, и зачѣмъ же онъ смотритъ чуть-чуть не какъ на уголовного преступника—на всякаго, кто хочетъ имѣть свой вкусъ, независимо отъ личнаго вкуса его, г. Шевырева? Всякое достоинство, всякая сила спокойны, именно потому, что увѣрены въ самихъ себѣ: они никому не навязываются, никому не напрашиваются; но идя своимъ ровнымъ шагомъ, не обращиваются назадъ, чтобъ видѣть, кланяются ли имъ другіе. Только раздражительное литературное самолюбіе раздувается и пыхтитъ, чтобъ его слушали и съ нимъ соображались, а видя, что его не замѣчаютъ и идутъ своею дорогою, кричить «слово и дѣло?». Это не сила, а безсиліе, —не достоинство, а мелочность... Здѣсь кстати замѣтить, въ какомъ еще дѣтскомъ состояніи находится русская литература и критика: спорять и кричать о томъ, зачѣмъ такъ, а не иначе размѣщены имена писателей, а не разсуждаютъ объ истинномъ значеніи этихъ именъ. Слѣдя за рядомъ мыслей г. Шевырева, мы должны поблагодарить его за повтореніе нѣкоторыхъ мыслей, впервые высказанныхъ по-русски въ нашемъ журналѣ, каковы слѣдующія: что Жуковскій внесъ романтическую стихію въ нашу поэзію; что Пушкинъ воспринялъ въ себя все приготовленное предшественниками и творчески внесъ полное сознаніе народнаго духа въ поэзію. Правда, эти наши мысли не далеко разнесутся столь мало читаемымъ журналомъ, каковъ «Москвитянинъ»; но все же мы благодарны г. Шевыреву и за внимательное изученіе критическихъ страницъ нашего журнала, и за совѣстливое повтореніе ихъ, безъ всякаго искаженія. Однакожъ, мы еще были бы благодарны г. Шевыреву, еслибъ онъ указывалъ на источники, которыми иногда пользуется въ своихъ статьяхъ, и которымъ онъ обязанъ хорошими мѣстами и мыслями своихъ статей.

Г. Шевыревъ настаиваетъ на томъ, что въ Лермонтовѣ не было ничего оригинальнаго: дѣло его личнаго вкуса и мы опять не споримъ! Но не можемъ не замѣтить снова, что напрасно г. Шевыревъ симптомы своего личнаго вкуса хочетъ выдать, во чтò бы то ни стало, за норму общаго здороваго вкуса. Онъ называетъ «Пѣсню про Царя Ивана Васильевича, Молодаго Опричника и Удалаго Купца Калашникова» лучшимъ произведеніемъ Лермонтова, а характеры Мцыри и Печорина призраками. Можетъ-быть, г. Шевыревъ и правъ, думая такъ; но, можетъ-быть, правы и другіе, думая не такъ. Вотъ, напримѣръ, мы осмѣливаемся думать, что пѣса эта есть юношеское произведеніе Лермонтова, что никогда бы онъ не обратился болѣе къ пѣсамъ такого содержанія. Кто читалъ Кошихина, тотъ не повѣритъ исторической правдоподобности «Пѣсни», особенно, если сличить ее съ тою пѣснію въ сборникѣ Кириши Данилова, которая подала Лермонтову поводъ написать его «Пѣсню» и которая называется «Мастрюкъ Темяковичъ»... Говоря о «Пѣснѣ» Лермонтова, г. Шевыревъ видитъ въ ней, между прочимъ, выраженіе «ироніи власти, какъ исторической черты въ характерѣ Иоанна Грознаго»: эта мысль намъ кажется справедливою; но хвалить ее не смѣемъ, ибо впервые она была высказана въ «Отечественныхъ Запискахъ».

До сихъ поръ г. Шевыревъ только излагалъ свои мысли, выдавая ихъ, съ нѣскольکو раздражительною настойчивостью, за несомнѣнно истинныя; но теперь онъ начинаетъ сердиться и браниться. Ни съ того, ни съ сего, переходитъ онъ вдругъ къ какимъ-то «литературнымъ промышленникамъ, которые, имѣя въ рукахъ своихъ нѣкоторыя стихотворенія Лермонтова, подъ именемъ его же (подъ его же именемъ?) печатають множество пустыхъ стиховъ». Обвиненіе немножко рѣзкое и несовсѣмъ вѣжливо и прилично выраженное! Слѣдовало бы доказать его фактами, перечисливъ по-именно это «множество пустыхъ стихотвореній, подъ именемъ Лермонтова печатае-

мых». Недавно въ «Отечественныхъ Запискахъ» напечатано было девять стихотвореній, изъ которыхъ восемь до того превосходны, что и безъ подписи имени автора всѣ люди съ эстетическимъ вкусомъ признали бы ихъ за стихотворенія Лермонтова. Неужели же г. Шевыревъ судить о достоинствѣ стихотвореній и узнаётъ, кѣмъ они написаны, только по подписи имени?... Нѣтъ, это что-то не такъ! А вотъ и доказательство: вслѣдъ же за тѣмъ, г. Шевыревъ увѣряетъ, будто бы «одинъ журналъ, обанкрутившійся стихотворцами, общаетъ намъ продолженіе стихотвореній Лермонтовыхъ безконечное» (надобно было бы правильнѣе сказать по-русски: общаетъ намъ безконечное продолженіе Лермонтовскихъ стихотвореній) «до тѣхъ поръ, пока не создастъ себѣ живаго поэта на прокатъ, для подкраски своей нескончаемой французско-русской прозы (?)». Какой же это журналъ, г. Шевыревъ?—Но вы не можете отвѣтить на нашъ вопросъ, ибо вы сочинили, выдумали этотъ журналъ... Выдумывать неправду—не значить ли сердиться? Сердиться — не значить ли сознавать себя неправымъ и, за свою вину, бранить другихъ?... Не хорошо!... Но это не все: гнѣвное вдохновеніе раздраженнаго московскаго критика создаетъ новые призраки, чтобъ было ему надъ кѣмъ показать свою храбрость, достойную манчскаго витязя... Этотъ же журналъ, по словамъ г. Шевырева, «самою позорною клеветою чернить совѣсть покойнаго поэта передъ глазами всей русской публики и не въ шутку увѣряетъ ее, что русская поэзія, въ лицѣ Лермонтова, въ первый разъ вступила въ самую тѣсную дружбу, съ кѣмъ бы вы думали?... съ чертомъ!» — «Такой чертовщины (прибавляетъ г. Шевыревъ) еще никогда не бывало ни въ русской литературѣ, ни въ русской критикѣ»!... Это уже слишкомъ! Подумалъ ли г. Шевыревъ объ этихъ словахъ, прежде чѣмъ сорвались они съ его пера, вѣроятно, «въ минуту жизни трудную» для него?... Какъ! неужели плоская шутка, или умышенное непониманіе чужихъ словъ—тоже считаетъ онъ

въ числѣ оружія противъ своихъ противниковъ? Дѣлая такую важную денонсіацію на нихъ, почему не почелъ онъ за нужное, и даже необходимое, выписать ихъ собственныя слова, какъ это дѣлають всѣ добросовѣстные критики?... «Наконецъ (говорить еще г. Шевыревъ) промышленники-книгопродавцы, вслѣдъ за промышленниками-журналистами, издають три тома стихотвореній Лермонтова и, въ числѣ ихъ, всѣ школьныя тетради покойнаго, всѣ тѣ поэмы и драмы, отъ которыхъ онъ со стыдомъ отрекся бы, еслибы былъ живъ, — и все это дѣлается подъ личиною уваженія къ поэту, а на самомъ дѣлѣ изъ однихъ корыстныхъ и низкихъ цѣлей, чтобы только именемъ Лермонтова привлечь невѣжественныхъ подписчиковъ и читателей». Подобныя обвиненія читали уже мы въ «Библиотеку для Чтенія», — и вотъ ихъ повторяетъ знаменитый критикъ, какъ будто въ оправданіе французской пословицы: *les beaux esprits se rencontrent*. Но основательны ли эти обвиненія? Не внушены ли они какимъ-нибудь другимъ чувствомъ — напримѣръ, завистью видѣть стихотворенія Лермонтова сперва въ непріязненномъ журналѣ, а потомъ отдѣльными изданными, стало-быть, никогда не видѣть ихъ въ своемъ журналѣ!... Какъ! неужели Лермонтовъ могъ написать что-нибудь такое, что не стоило бы печати, или могло оскорбить вкусъ публики, явившись въ печати? Кромѣ одного или, много, двухъ мелкихъ стихотвореній, по нашему убѣжденію, въ этихъ трехъ томахъ не найдется ни одного, которое было бы незначительно и не было бы въ тысячу разъ лучше лучшихъ стихотвореній, напримѣръ, гг. Языкова, Хомякова и Бенедиктова и *tutti quanti* — этихъ вѣчныхъ предметовъ критическаго удивленія г. Шевырева, который когда-то самъ писалъ стишонки немногимъ развѣ хуже ихъ... Такая поэма, какъ «Бояринъ Орша», неужели не болѣе, какъ школьная тетрадь? И притомъ, по какому праву, на какомъ основаніи настаиваетъ г. Шевыревъ, чтобы желаніе почитателей таланта Лермонтова имѣть у себя каждую строку его — было преступно,

равно какъ и желаніе издателей Лермонтова удовлетворить этому желанію большей части русской публики? Мало ли чего не напечаталъ бы самъ Лермонтовъ: вѣдь и Пушкинъ не напечаталъ бы, при жизни своей, лицейскихъ стихотвореній; но кто же не благодаренъ издателямъ за помѣщеніе ихъ въ полномъ собраніи его сочиненій? Г. Шевыревъ говоритъ: «Любопытна для исторіи военная школа Наполеона, но не имѣетъ она значенія въ жизни молодого генерала, сраженнаго почти на первомъ шагу своего военного поприща». Но еслибъ этотъ генералъ былъ Наполеонъ послѣ итальянской кампаніи? Для г. Шевырева сдѣланное Лермонтовымъ кажется только замѣчательнымъ, а намъ оно кажется великимъ; г. Шевыреву кажется, что мы ошибаемся, а намъ кажется, что онъ ошибается: изъ чего жъ тутъ браниться, и неужели безъ брани нельзя оставаться той и другой сторонѣ при своихъ убѣжденіяхъ? Мало того, что г. Шевыревъ печатно называетъ журналиста, печатавшаго въ своемъ журналѣ стихи Лермонтова, и при жизни и по смерти поэта, — журналистомъ - промышленникомъ, но даже позволяетъ себѣ сомнѣваться въ его уваженіи къ поэту и приписывать ему низкія и корыстныя цѣли... И противъ кого же онъ пишетъ это?—противъ журнала, который о немъ не позволяетъ себѣ такъ писать, хотя и могъ бы высказать ему много жесткихъ истинъ, не совсѣмъ-то здоровыхъ для литературной репутаціи г. Шевырева. Далѣе, г. Шевыревъ видитъ какихъ-то необыкновенныхъ поэтовъ въ гг. Языковѣ, Бенедиктовѣ и Хомяковѣ, особенно въ послѣднемъ; наше мнѣніе о сихъ господахъ діаметрально противоположно его мнѣнію: мы не видимъ въ нихъ никакихъ поэтовъ, особенно въ послѣднемъ; но тѣмъ не менѣе вѣримъ, что г. Шевыревъ восхищается ими gratis, не изъ какихъ-нибудь корыстныхъ и низкихъ цѣлей... Г. Шевыревъ видѣлъ въ Лермонтовѣ подражателя г. Бенедиктову; г. Павлова ставитъ онъ выше Гоголя; у поэзіи Жуковского и Пушкина отнималъ честь мысли и приписывалъ

ее, на ихъ счетъ, г. Бенедиктову, — и мы вѣримъ, что все это дѣлалъ онъ безъ всякаго злостнаго умысла, а такъ, отъ доброты сердца, и съ самымъ простодушнымъ убѣжденіемъ...

Въ доказательство, какъ иногда опасно свой личный вкусъ выдавать за общій, и какъ, въ этомъ отношеніи, не всякому слѣдуетъ быть слишкомъ смѣлымъ, — обращаемъ вниманіе читателей на то, что г. Шевыревъ находитъ дурными эти превосходные стихи Лермонтова, представляющіе въ себѣ живую и роскошную картину Кавказа.

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза,
Снѣгами вѣчными сиялъ;
И, глубоко внизу чертѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Вился излучистый Дарьялъ;
И Терекъ, прыгая, какъ львица,
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ, и хищный звѣрь и птица,
*Кружась въ лазурной высотѣ,
Глазю водѣ его внимали;*
И золотыя облака,
Изъ южныхъ странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонялись головой,
Слѣдя мелькающія волны;
И башни замковъ на скалахъ
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны?

Г. Шевыревъ видитъ тутъ подражаніе Марлинскому, и ужасно радъ грамматической неловкости, вслѣдствіе которой безграмотному читателю, — но только безграмотному, — можетъ показаться, что хищный звѣрь кружится вмѣстѣ съ птицею въ

лазурной высотѣ... Г. Шевыревъ видитъ отсутствіе полного грамматическаго смысла въ этихъ чудныхъ стихахъ Лермонтова:

А мой отецъ? Онъ какъ живой
Въ своей одеждѣ боевой
Являлся мнѣ, и помнилъ я:
Кольчуги звонъ, и блескъ ружья,
И гордый, непреклонный взоръ,
И молодыхъ мотыгъ сестеръ...

Съ грамматическою указкою не мудрено доказать ничтожество стиховъ не только Державина, но и Жуковского, и Пушкина, что и дѣлалъ, бывало, педанты добраго стараго времени.

Въ числѣ важныхъ обвиненій на издателя «Новой Хрестоматіи», г. Шевыревъ приводитъ его предпочтеніе Кольцову «передъ лучшими (?) нашими лириками современными—Языковымъ и Хомяковымъ». Это несправедливо: гг. Языковъ и Хомяковъ давно уже не лучшіе и не современные лирики, оба они пишутъ теперь мало и рѣдко, и оба пишутъ, какъ писали назадъ тому около двадцати лѣтъ. Кольцовъ, безъ всякаго сомнѣнія, неизмѣримо выше ихъ уже и потому только, что онъ былъ истинный поэтъ по призванію, между тѣмъ, какъ они только, звучные версификаторы, особенно послѣдній. Г. Шевыревъ говоритъ: «Въ Кольцовѣ весьма замѣчательна была наклонность къ философско-религіозной думѣ, которая таится въ простонародіи русскомъ». Не правда; гдѣ доказательство этого элемента въ нашемъ простонародіи? Ужь не въ народной ли русской поэзіи, гдѣ его нѣтъ ни слѣда, ни признака? Кольцовъ потому и имѣлъ наклонность къ философско-религіозной думѣ, что самобытнымъ стремленіемъ своей мощной натуры совершенно оторвался отъ всякой нравственной связи съ простонародьемъ, среди котораго возросъ. Г. Шевыревъ, считая по пальцамъ слоги и ударенія въ стихахъ Кольцова, не замѣтилъ, что ихъ метръ совершенно

особенный, образованный по метру народных пѣсень, но принадлежавшій собственно Кольцову. Пропускаемъ безъ вниманія бранчивыя выраженія г. Шевырева, излившіяся изъ досады, что Кольцовъ выбиралъ себѣ знакомства не по рекомендаціи г-на Шевырева и держался не его литературной партіи.

Говоря о помѣщеніи въ «Хрестоматію» переводныхъ піесъ г. Струговщикова, г. Шевыревъ вспоминаетъ, что въ «Римскихъ Элегіяхъ» Гёте, переведенныхъ г. Струговщиковымъ, не было правильного пентаметра. Положимъ, что и такъ: но развѣ въ этомъ дѣло, а не въ вѣрной поэтической передачѣ подлинника? Мы уже не говоримъ о томъ, что г. Струговщиковъ не хуже г. Шевырева знаетъ метрику; но какъ же начинать свои привязки съ метра! Г. Шевыреву кажется, что покойный И. И. Дмитріевъ лучше г. Струговщикова передалъ піесу Гёте, названную имъ «Размышленіемъ по случаю грома»,—и потомъ самъ же прибавляетъ, что Дмитріевъ далъ піесѣ другое значеніе, уклонясь отъ панъеистической мысли Гёте... Шутка! Послѣ этого, переводъ Дмитріева, разумѣется, болѣе есть искаженіе, чѣмъ переводъ.

Г. Шевыревъ ниже всего низаго поставилъ прекрасную піесу г. Огарева «Ноктурно»,—и по дѣломъ: зачѣмъ г. Огаревъ печатаетъ свои стихотворенія въ «Отечественныхъ Запискахъ», а не въ «Москвитянинѣ»? Г. Шевыревъ называетъ повѣсти г. Панаева—«Дочь Чиновнаго Человѣка» и «Бѣлую Горячку»—дюжинными повѣстями, годными только на пустыя страницы журналовъ: опять та же причина дурнаго расположенія московскаго критика и его пристрастнаго сужденія о повѣстяхъ г. Панаева—та же причина, т. е. «Отечественныя Записки!» И за чтó бы такъ почтенному критику сердиться на нашъ журналъ, столь изобильный хорошими и даже типическими произведеніями по части повѣствовательной?...

Далѣе, опять встрѣчаемъ негодованіе московскаго критика за предпочтеніе, отданное г. Галаховымъ Кольцову передъ

гг. Языковымъ и Хомяковымъ. Мы тоже съ этой стороны не совсѣмъ довольны издателемъ «Хрестоматіи»: ему бы совсѣмъ не слѣдовало помѣщать піесы гг. Языкова и Хомякова, особенно послѣдняго: зачѣмъ приучать мальчиковъ къ фразёрству и пустотѣ мыслей въ гладкихъ стихахъ? Г. Шевыревъ удивляется, что г. Галаховъ русскимъ пѣснямъ Кольцова отдаетъ преимущество предъ русскими пѣснями Дельвига; странное удивленіе! Да кто же не чувствуетъ и не знаетъ, что русская пѣсня забытаго Дельвига столько же русская, сколько, напр., идилліи г-жи Дезульеръ Теокритовскія; тогда какъ пѣсни Кольцова горять и трепещуть, насквозь проникнутыя русскимъ чувствомъ, русскою душою?...

Заключимъ наши замѣтки указаніемъ на странную выходку г. Шевырева противъ «Похвальнаго слова Петру Великому» почтеннаго профессора А. В. Никитенко, этого образцоваго произведенія, полного здравыхъ мыслей, краснорѣчія и отличающагося изящнымъ языкомъ. Московскаго критика возмутила слѣдующая мысль въ «Словѣ» г. Никитенко: «Но еслибъ и самый утонченный, разсчетливый эгоизмъ вздумалъ спросить, что каждый изъ насъ почерпнулъ на свою долю въ новомъ порядкѣ вещей? мы отвѣчали бы: честь существовать по-человѣчески и облагодтворять свое существованіе всѣми нашими силами матеріальными и нравственными». Г. Шевыревъ испещряетъ эти строки г. Никитенко и курсивомъ, и вопросительными знаками въ скобкахъ, а потомъ доноситъ... читателю, что «это неприлично и безнравственно въ смыслѣ и религіозномъ, и патріотическомъ, и исторически ложно!». Это, изволите видѣть, называется критикою у г. Шевырева... А между тѣмъ, онъ же, г. Шевыревъ, очень наивно находить сравненіе Петра съ Богомъ, сдѣланное Ломоносовымъ, нисколько не гиперболическимъ!... «Неужели же Русскій народъ до Петра Великаго не имѣлъ чести существовать по-человѣчески?» вопіетъ г. Шевыревъ. Если человѣческое существованіе народа заключается въ жизни ума, науки, искус-

ства, цивилизаціи, общественности, гуманности въ нравахъ и обычаяхъ, то существованіе это для Россіи начинается съ Петра Великаго, — смѣло и утвердительно отвѣчаемъ мы г. Шевыреву. Да и кто въ этомъ не увѣренъ, вмѣстѣ съ ораторомъ, который во всей рѣчи имѣлъ одну цѣль—показать, чѣмъ мы обязаны Петру, какъ просвѣтителю своему. Въ справедливости нашей мысли ссылаемся на любимые авторитеты г. Шевырева, и на Карамзина въ особенности. Петръ Великій—это новый Моисей, воздвигнутый Богомъ для изведенія русскаго народа изъ душнаго и темнаго плѣна азіатизма... Петръ Великій — это путеводная звѣзда Россіи, вѣчно долженствующая указывать ей путь къ преуспѣянію и славѣ... Петръ Великій—это колоссальный образъ самой Руси, представитель ея нравственныхъ и физическихъ силъ... Нѣтъ похвалы, которая была бы преувеличена для Петра Великаго, ибо онъ далъ Россіи свѣтъ и сдѣлалъ Русскихъ людьми... Г. Никитенко развиваетъ въ своей рѣчи эти же самыя мысли—и за одинъ-то изъ самыхъ простыхъ логическихъ изъ нихъ выводовъ г. Шевыревъ дѣлаетъ ему упреки, которые не знаемъ какъ и назвать; знаемъ только, что они въ высшей степени неприличны и нелѣпы. Пусть читатели сами разсудятъ, какое можно имѣть довѣріе къ критику, который такъ понимаетъ и толкуетъ разбираемыхъ имъ писателей...

Скажемъ въ заключеніе, что грустное зрѣлище представляетъ собою литература и критика, гдѣ считающіе себя представителями науки и просвѣщенія—или занимаются мелкими и пустыми вопросами, или на важные вопросы набрасываютъ тѣнь подозрительныхъ и двусмысленныхъ намековъ, готовые cadaго, кто не раздѣляетъ ихъ мнѣній, выставить какимъ-то противосмысленнымъ общему порядку явленіемъ... И между тѣмъ они-то первые и кричатъ противъ дурнаго тона, неприличной брани, грубаго неуваженія къ чужимъ мнѣніямъ, необразованной нетерпимости къ чужому убѣжденію, о безыменныхъ рыцаряхъ, о жолтыхъ перчаткахъ... Милостивые

государи! хотѣли бы мы сказать имъ: передъ вами ваши громкія имена, гражданскія и литературныя: умѣйте же поддерживать предполагаемый вами блескъ, умѣйте заставить уважать свое достоинство, уважая сами достоинство другихъ; передъ вами ваши жолтыя перчатки — не марайте же ихъ грязью мелкой журнальной брани и неприличныхъ выходокъ мелкаго и раздражительнаго самолюбія...

Въ № 129-мъ «Сѣверной Пчелы», одинъ изъ ея фѣлетонистовъ объявилъ важную истину по вопросу, почему нынче не пишутъ болѣе сказокъ въ родѣ «Модной Жены» Дмитріева?—Вы вѣрно скажете: потому же, почему нынче не пудрятъ волосъ, не носятъ фижмъ и мушекъ, не танцуютъ мишута и не поютъ:

Стонетъ сизый голубочекъ,
Стонетъ онъ и день и ночь:
Его миленькій дружокъ
Отлетѣлъ далеко прочь!

и прочая. Извините! Г. фѣлетонистъ увѣряетъ, что не пишутъ потому, что не умѣютъ писать такихъ сказокъ. А не умѣютъ, разумѣется, потому, что нынче нѣтъ талантовъ, равныхъ таланту Дмитріева. Ну, посудите сами, хорошо-ли это? Что Дмитріевъ былъ стихотворецъ съ большимъ талантомъ и даже поэтъ не безъ дарованія, — въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. А съ котораго времени перестали писать на Руси сказки въ родѣ «Модной Жены» Дмитріева, и вообще всякія сказки въ духѣ XVIII вѣка? Сколько мы помнимъ, давно! Послѣ Дмитріева, явился на Руси поэтъ неизмѣримо выше его — Жуковский: онъ не написалъ ни одной сказки, и ужъ вѣрно не по недостатку таланта. Правда, поэтъ, бывшій послѣ Дмитріева и тоже стоящій неизмѣримо выше его, Батюшковъ, написалъ одну сказку; но его «Странствователь и Домосѣдъ» былъ послѣд-

нею сказкою въ этомъ родѣ, появленіе которой, несмотря на достоинства языка и разсказа, уже не произвело никакого особеннаго впечатлѣнія на современниковъ. А сказка эта напечатана въ первый разъ въ «Амфіонѣ» Мерзлякова, въ 1815 году, слѣдовательно, около двадцати восьми лѣтъ тому назадъ, и съ тѣхъ поръ уже не было на русскомъ языкѣ ни одной сказки въ такомъ родѣ. Неужели же Батюшковъ былъ послѣдній даровитый поэтъ на Руси, и послѣ него не было ни одного поэта съ равнымъ ему талантомъ? Не знаешь, право: но послѣ Батюшкова былъ Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ... Неужели у этихъ поэтовъ не стало бы таланта для того, чтобы написать бездѣлку въ родѣ «Модной Жены»?...

Все это г. Булгаринъ, можетъ быть, понимаетъ и самъ какъ слѣдуетъ, да ему надобно, ему нужно понимать все это не такъ, какъ слѣдуетъ... Доказательство тому—въ слѣдующихъ словахъ того же фѣльетона: «Читайте даже по-русски, хотя бы изъ національной гордости. Скучно повторять старое, но я увѣренъ, что еще много есть людей, которымъ Карамзинъ, И. И. Дмитріевъ, Богдановичъ, Батюшковъ извѣстны или по отрывкамъ, или по слуху... обратитесь къ нимъ, и вамъ не будетъ стыдно за русскую литературу! Теперь новые журналисты, которые сами не пишутъ вовсе ничего (!!!), а только читаютъ корректуры своихъ сотрудниковъ, и насъ, учениковъ Карамзина и Дмитріева, называютъ уже старыми»!!! А, вотъ что—можемъ мы воскликнуть. Вотъ откуда оно, благоговѣніе къ Карамзину и Дмитріеву! Ученикъ хвалитъ учителя, по простому разсчету: если-де не будутъ читать моего учителя, который въ тысячу тысячъ разъ выше меня, то ужъ стануть ли читать меня, который въ тысячу тысячъ разъ хуже моего учителя?... Это напоминаетъ намъ, между прочимъ, и басню Крылова «Орелъ и Паукъ»... Положимъ, что Карамзинъ и Дмитріевъ такъ хорошо писали, что ихъ и теперь еще слѣдовало бы читать; да васъ-то, господа, за что читать?—Мы ихъ ученики, вос-

кликните вы. — Прекрасно, но вѣдь это напоминаетъ стихъ: «да наши предки Римъ спасли!» Притомъ же, мало ли у инаго и дѣйствительно великаго мастера безталанныхъ учениковъ: мастеру честь по заслугамъ, а до учениковъ кому какое дѣло?...

Въ этомъ же фѣльетонѣ находится забавная апологія Эжену Сю. Фѣльетонистъ видитъ генія въ этомъ блестящемъ, не бездарномъ, но поверхностномъ, пустомъ беллетристѣ французской литературы Защищая его отъ нападковъ за безнравственность, фѣльетонистъ говоритъ въ заключеніе: «По моему мнѣнію, только Жоржъ Зандъ, т. е., г-жа Дюдеванъ, написала безнравственныя вещи, но и она теперь опомнилась, удостовѣрясь, что слава безнравственнаго писателя— жалкая слава!» За тѣмъ слѣдуетъ апологія книжному магазину г. Ольхина и клятвенныя увѣренія, что нѣтъ возможности перечислить и переименовать всѣ хорошія новыя русскія книги, которыя продаются въ этомъ магазинѣ. Право, чѣмъ толковать о Жоржъ Зандѣ, лучше бы вамъ, господа, ограничиться разсужденіями о Эженѣ Сю, да диограммами разнымъ магазинамъ... Кстати о безнравственности Жоржъ Занда. О нравственности Гёте также много было толковъ и за и противъ; о ней спорять и теперь, соглашаясь однакожь въ томъ, что Гёте былъ великій писатель. Но кто же и когда сомнѣвался въ нравственности Шиллера? Теперь не думаютъ этого даже люди, которые глупѣе самого Николаи, нападавшаго на Шиллера и Гёте. Однакожь, въ первыя минуты появленія своего, яркая звѣзда генія Шиллера не могла не показаться многимъ безнравственною, пока эти многіе не приглядѣлись и не попривыкли къ ея нестерпимому блеску. На Байрона смотрѣли, какъ на чудовище нечестія; теперь на него смотрятъ какъ на страдальца. Было время, когда у насъ Пушкина считали безнравственнымъ писателемъ, и боялись

давать его читать дѣвушкамъ и молодымъ людямъ; теперь никто не побоятся дать его въ руки даже дѣтямъ.

Фельетонъ 135 № «Сѣверной Пчелы» наполненъ льстивыми разглагольствованіями о провинціи. Тамъ-то — видите ли — процвѣтають и просвѣщеніе, и добродѣтель, и счастье, и вкусъ изящный, и образованность, и начитанность, и патриотизмъ, и всѣ благородныя чувства, все великое, святое и прекрасное жизни; а отчего? — оттого, что оттуда присылаются требованія за пятью печатами на книги, журналы, газеты... Льстивыя разглагольствованія оканчиваются гимнами и дирамибами въ честь книжнаго магазина г. Ольхина и во славу издаваемыхъ имъ книжныхъ издѣлій... О tempoга, о шогес! Мимоходомъ разруганы «Мертвыя Души» и «Ревизоръ», какъ клевета на провинцію и каррикатуры на провинціальныя нравы. Жаль, что при этомъ удобномъ случаѣ не объявлено, почему же провинція съ такою жадностію схватала «Мертвыя Души» и «Ревизора»: объясненіе было бы очень интересно... Между прочимъ, вотъ что еще сказано въ этой любопытной статьѣ: «Не многимъ изъ городскихъ жителей извѣстно, что нѣкоторые изъ господъ журналистовъ и книгопродавцевъ печатають особыя объявленія для провинцій, и что въ этихъ объявленіяхъ они говорятъ о себѣ и о своихъ журналахъ и лавкахъ такія вещи, которыя возбуждали бы общій хохотъ въ столицѣ, гдѣ на людей и на дѣла смотреть вблизи! Эти несчастные спекуляторы думаютъ, что они ловятъ на удочку простодушныхъ провинціаловъ, а въ провинціяхъ, напротивъ, платятъ имъ деньги изъ состраданія, изъ жалости — руководствуясь однимъ патриотизмомъ». О какихъ объявленіяхъ, секретно рассылаемыхъ въ провинцію, говорится здѣсь? Правда, было нѣкогда разслано въ провинцію печатное объявленіе о публичныхъ чтеніяхъ г-на Греча, очень ловко написанное, и оно было, въ свое время, перепечатано въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому

Инвалиду» (1840). Оно случайно попало въ редакцію этой газеты, будучи прислано изъ провинціи; иначе, Петербургъ и не увидѣлъ бы его. Что же касается до спекулянтскихъ книгопродавческихъ объявленій, — они безпрестанно попадаютъ даже въ фѣльетонахъ иныхъ газетъ, гдѣ изданія разныхъ вздоровъ, въ родѣ «Супружеской Истины» и перепечатку залежалыхъ издѣлій выписавшихся и вышедшихъ изъ моды старыхъ писакъ — величаютъ оживленіемъ русской литературы!

Въ этомъ же фѣльетонѣ замѣчено, что «есть и теперь въ провинціалахъ свое смѣшное и кое-что такое, что бѣ надлежало истреблять орудіемъ благонамѣренной сатиры, но до этого именно еще не коснулись нынѣшніе комики и сатирики». Такъ кто же, по вашему мнѣнію, коснулся этого? Ужь не старые ли сатирики, ученики Карамзина и Дмитріева? Гдѣ имъ! Понятіе о сатирѣ далеко ушло впередъ со временъ Карамзина и Дмитріева. Теперь сатириками поставляютъ за честь называть себя только выписавшіеся старые писакъ — ученики, въ сатирѣ, Сумарокова. Сатиру замѣнили теперь художественныя созданія — романъ и комедія, какъ выраженія общественной жизни, и такой романъ имѣемъ мы въ «Мертвыхъ Душахъ», и такую комедію — въ «Ревизорѣ». — Тутъ же рассказанъ чувствительнымъ слогомъ учениковъ Карамзина трогательный примѣръ душевной болѣзни, которую Нѣмцы называютъ *Neiſſweh*, а русскіе — тоскою по родинѣ. Кто-то до того близкій г. фѣльетонисту (собственныя слова его), что его можно счесть за самого г. фѣльетониста, стосковался на чужбинѣ — по чемъ бы вы думали? — по какой-то рыбѣ (должно быть, соленой севрюжинѣ — самая національная рыба!) и гнилыхъ дикихъ грушахъ... Человѣкъ этотъ началъ худѣть и впалъ было въ меланхолію, да, къ счастью, послѣшилъ воротиться на родину... Нѣтъ, господа ученики Карамзина! вы отстали даже и отъ Карамзина, который никогда не поставлялъ любви къ родинѣ въ любви къ рыбѣ и гнилымъ гру-

шамъ. А еще хотите, чтобъ васъ читали, и берете смѣлость восклицать къ людямъ, которые боятся скуки деревенской жизни: «А мы-то на чтѣ!» Такого рода деликатное восклицаніе могло сорваться только съ пера какого-нибудь дюжиннаго писаки...

Весь фѣльетонъ 140 № «Сѣверной Пчелы» наполненъ нападками на совѣстничество, которымъ съ умыслу неправильно переводится слово «сопсиггесе», означающее не совѣстничество, а соревнованіе. «Сѣверная Пчела» — отъявленный врагъ всякаго соревнованія и страстная поклонница и любительница монополіи! Гдѣ теперь старинные гродетуръ и гроденапли, кожаные венеціанскіе золоченые и росписныѣ обои, гобелены, обои шолковые, севрскій и майенскій фарфоръ, богемское стекло, брабантскія кружева, филиграновая работа? — восклицаетъ онъ. Всѣ эти вещи безспорно были очень хороши, но такъ дороги, что ими пользовалась только небольшая часть привилегированныхъ людей. Благодаря дешевизнѣ, свободному производству и индустріи XIX вѣка, теперь несравненно большее противъ прошлаго вѣка число людей пользуется благодѣяніями цивилизаціи и образованности; можно надѣяться, что со временемъ, благодаря имъ же, и еще несравненно большее число людей начнетъ жить по-человѣчески, т. е., съ удобствомъ, опрятностію и даже изяществомъ. И такъ, хвала соревнованію, свободному производству, индустріи и въ особенности благодѣтельной дешевизнѣ — этому новому покровительному генію нашего времени! Ими спасется бѣдное, страдающее отъ разныхъ монополій человѣчество! «Сѣверную Пчелу» приводитъ въ негодованіе дешевизна поѣздокъ за-границу. Другое дѣло, говоритъ она, когда ѣдетъ ученый, артистъ, фабрикантъ, мастеровой; а то праздношатающіеся, которые не читаютъ даже сочиненій учениковъ Карамзина и Дмитріева!... Но еслибы послѣдніе не могли ѣздить дешево, то и первые принуждены были бы сидѣть

дома. По мнѣнію «Сѣверной Пчелы», соревнованіе, ошибочно называемое ею совѣстничествомъ, погубило литературу и въ Европѣ, и у насъ въ Россіи... Въ самомъ дѣлѣ, еслибъ, наприимѣръ, «Сѣверная Пчела» одна пользовалась литературною монополіею, т. е., единоторжіемъ, мы увѣрены, русская литература развѣла бы въ одинъ годъ... Кто же усомнится въ этомъ!...

Въ слѣдующей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ», между прочимъ, познакомимъ мы читателей съ другимъ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы». Подобно первому, онъ «знаменитый», хотя и не разъ немилосердо обруганный въ «Сѣверной Пчелѣ» романистъ; подобно первому, онъ написалъ въ жизнь свою томовъ семьдесятъ и намѣренъ еще столько же написать; сверхъ того, онъ еще и драматургъ не послѣдній... Имя его... но мы скажемъ вамъ знаменитое его имя въ слѣдующій разъ; а пока заключимъ наши «Замѣтки» курьезнымъ, но нисколько не вымышленнымъ извѣстіемъ, что одинъ журналъ, издающійся въ монгольско-китайскомъ духѣ, находя языкъ Пушкина не русскимъ, вознамѣрился перевести всего Пушкина по-русски!!!... Для этого прискалъ онъ себѣ какого-то дешеваго горемычнаго шитю, существованіе котораго «мистеріозно», т. е., покрыто тайною... Вотъ какія чудныя дѣла готовы совершиться въ русской литературѣ!...

Въ предыдущей книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» мы остановились на обѣщаніи познакомить читателей со вторымъ фельетонистомъ «Сѣверной Пчелы». Къ сожалѣнію, не можемъ теперь выполнить нашего обѣщанія: второй фельетонистъ такъ замѣчательнъ и оригиналенъ, что если знакомить его съ нашими читателями, такъ ужъ не черезъ легкій силуэтъ, не черезъ очеркъ, а черезъ портретъ—и не грудной портретъ, а портретъ во весь ростъ. Это требуетъ много времени и мѣста, а у насъ теперь не много и того и другого, почему и принуждены мы исполненіе нашего обѣщанія

отложить до слѣдующей книжки «Отечественныхъ Записокъ», гдѣ кстати ужь познакоимъ читателей и съ третьимъ фѣльетонистомъ «Сѣверной Пчелы», г. Z. Z., мужемъ ума глубокаго и превыспренняго, котораго эта газета выставляетъ впередъ только въ торжественныхъ случаяхъ. Теперь же поговоримъ о «Письмѣ г-на О. Б. г-ну Гречу, за-границу», напечатанномъ въ 150 и 151 №№ «Сѣверной Пчелы», и еще кое о чемъ.

Не знаемъ достовѣрно, кто этотъ таинственный г. О. Б., но по всему видно—онъ человекъ старый. «Я (говорить онъ) долго жилъ въ чужихъ краяхъ, въ Наполеоновской Франціи и въ прѣтической Германіи, въ эпоху ея сладкихъ надеждъ и мечтательности, видѣлъ героическую Испанію во время борьбы ея за честь и правду». Слышите ли: былъ и въ Испаніи! Вотъ истинно всемірный путешественникъ! За этимъ объясненіемъ слѣдуютъ похвалы тогдашней Германіи и, въ особенности, ея филистерской семейственности, ея гофратской патриархальности, и въ этихъ похвалахъ встрѣчается фраза: «потому что для того, чтобъ спѣть» и пр. Эта фраза свидѣтельствуетъ, что почтенный старичокъ, авторъ ея, вѣроятно, плохой ученикъ Карамзина, подобно другимъ сотрудникамъ «Сѣверной Пчелы», пишетъ дѣйствительно лучше насъ, которыхъ эта газета упрекаетъ въ незнаніи и искаженіи русскаго языка. Но это пока въ сторону. Лучше всего, что нашъ старичокъ-весельчакъ, потѣшающій публику забавными рассказами, ставитъ тогдашней Германіи въ заслугу, что у нея «не было ни такой обширной, или правильнѣе, такой всеобщей торговли, ни столько фабрикъ и мануфактуръ, какъ теперь»!... За то, говорить онъ, вовсе не было ропота, и роскошь состояла въ семейномъ счастіи. Знаемъ мы это нѣмецкое семейное счастье — возьмите его себѣ даромъ и восхищайтесь имъ сами! Затѣмъ, восторженныя похвалы Нѣмкамъ: увы, и это теперь ужь устарѣлая пѣсня, которой никто не слушаетъ и надъ которою всѣ смѣются!...

Сколько ни высчитывайте сортовъ картофеля — все будетъ картофель!...

Послѣ Германіи, слѣдуютъ похвалы Наполеоновской Франціи, которую г. *Θ. Б.*, по собственнымъ словамъ его, «прошелъ нѣсколько фразъ вдоль и поперекъ». Военный терроризмъ Наполеона приводитъ его въ восторгъ; онъ восхищается даже конскрипціею, которая лишила Францію цвѣта молодаго народонаселенія, принесеннаго въ жертву Молоху ненасытнаго честолюбія... Жаль, что эта статья не переведена на французскій языкъ: ходившіе по бѣлому свѣту подъ орлами Наполеона солдаты пришли бы отъ нея въ неописанное восхищеніе... Прежніе веселые и легкіе Французы удостоились всей похвалы г. *Θ. Б.*; за то нынѣшніе, угрюмые, страждущіе общественными недугами, измученные общественными вопросами, подверглись всей его немилости. А за что, главное? Тѣ были весельчаки, кутилы... Чтобъ убѣдить всѣхъ въ истинѣ своей идеи, г. *Θ. Б.* выдумалъ, будто бы теперешняя французская литература снова возвращается къ вкусу бесплоднаго и безвкуснаго, въ литературномъ отношеніи, Наполеоновскаго времени, будто является Жуи въ тысячѣ новыхъ видахъ и будто бы Скрибъ пишетъ комедіи въ родѣ Мариво!!.. Что за дребедень! А если Парижъ ходитъ смотрѣть Рашель, такъ ужъ давнымъ давно доказано, что въ этомъ нѣтъ никакого возвращенія къ старинѣ: смотреть Рашель, а не Корнеля и Расина; не будетъ Рашели — и Корнеля и Расина некому будетъ смотрѣть.

Далѣе, узнаемъ мы, что тотъ же г. *Θ. Б.* не любитъ ни дилижансовъ, ни пароходовъ, ни желѣзныхъ дорогъ, ни оставовъ въ трактирахъ: не мудрено — старость!

Книга г. Вольфсона о русской литературѣ не понравилась г. *Θ. Б.* еще больше желѣзныхъ дорогъ; начавъ ее бранить, онъ опять высказалъ все свое умѣніе писать, какъ онъ претендуетъ, Карамзинскимъ языкомъ: «Эти люди (пишетъ онъ) даже поверхностно не знаютъ Россіи, наполненной чужестран-

цами, которые находятъ у насъ помощь, гостепрїимство, ласку и всякую — помощь!» Пламенная фантазія г. Ө. Б. сперва уноситъ его въ объятія достойнаго его друга, Менцеля, и потомъ къ западнымъ Славянамъ. Эти послѣдніе разспрашиваютъ его, что дѣлается въ русской литературѣ, и онъ, слогомъ Хераскова, повѣствуетъ имъ о войнѣ московскихъ литераторовъ съ петербургскими, и какъ нѣсколько истыхъ богатырей изъ московскихъ литераторовъ побратались (собственное выраженіе г. Ө. Б.) съ воинами петербургскими: вѣроятно, тонкій намекъ на дружбу г. Полеваго съ прежними его литературными противниками, гг. Гречемъ и Булгаринымъ!... Говоря о драмѣ г. Полеваго «Ломоносовъ», въ которой пляшетъ Тредьяковскій, г. Ө. Б. глубокомысленно замѣчаетъ: «Теперь, конечно, ни одинъ литераторъ не станетъ плясать за деньги, но изъ чести мало ли что дѣлается!» Не споримъ противъ этого...

Это длинное письмо г-на Ө. Б., напечатанное въ двухъ №№ «Сѣверной Пчелы» оканчивается торжественнымъ двоярбомъ, въ прозѣ, въ честь новаго книгопродавца, г. Ольхина, и его книжнаго магазина... И такъ, все это путешествіе по Франціи, Испаніи и Германіи сдѣлано было для того, чтобъ подъѣхать къ книжному магазину и воспѣть ему въ прозѣ оду громкую, какъ пѣвали ее своимъ милостивцамъ россійскіе пїиты прошлаго вѣка?... было изъ чего хлопотать! Г. Ө. Б., въ своемъ пїитическомъ (выражаясь его же словомъ) жару, приписываетъ г. Ольхину даже гражданскіе подвиги... Прислушайтесь сами: «Но вотъ, рядомъ съ Смирдинымъ, возсталъ новый дѣятель (какой высокой слог!), М. Д. Ольхинъ, и съ любовью къ русской литературѣ, съ Смирдинскимъ добродушіемъ, сложилъ на алтарѣ русскаго просвѣщенія значительный денежный капиталъ, безъ котораго, при лучшихъ намѣреніяхъ и желаніяхъ, литература невольна отодвигается въ предгуттенберговскую эпоху, когда умственная дѣятельность сжималась въ тѣсныхъ манускриптахъ. Посмотрите

на великолѣпное изданіе г. Ольхина Полной Анатоміи геніальнаго Пирогова! Какой книгопродавецъ, безъ чистой любви къ общему благу, рѣшился бы на этотъ подвигъ? Г. Ольхину природа дала то, чѣмъ прославились баронъ Котта, Брокгаузъ, Дидотъ, Лавока и другіе двигатели литературы; онъ умѣетъ цѣнить трудъ и людей—и, нѣтъ никакого сомнѣнія, что и русская публика его оцѣнитъ! Я слыхалъ (слышалъ?), что у г. Ольхина изготовляется изданій болѣе, чѣмъ на 280,000 рублей ассигнаціями. Вотъ это такъ книгопродавецъ! Дай Богъ ему и писателей по этому размѣру!»

Вотъ это оиміамъ, такъ ужъ оиміамъ! скажемъ мы отъ себя. И греческіе боги такого не нюхивали!... А между тѣмъ любопытно было бы знать, не этимъ ли 280,000, потраченнымъ г. Ольхинымъ на рукописи, обязаны своимъ существованіемъ: «Супружеская Истина», «Голосъ за Родное», «Полныя Сочиненія Ѳ. Булгарина» и многія другія въ этомъ же родѣ произведенія?... И изданіе ихъ не есть ли лепта на алтарь просвѣщенія?

Мы какъ-то разъ обѣщали читателямъ познакомить ихъ съ однимъ изъ фельетонистовъ «Сѣверной Пчелы», и что же? наше обѣщаніе многими было растолковано въ дурную сторону. Говорили, что мы хотимъ написать типъ, составленный изъ чертъ частной жизни почтеннаго фельетониста... Что за смѣшные люди! Неужели не знаютъ они, что, во-первыхъ, личности не могутъ быть печатаемы, и, во-вторыхъ, что мы не любимъ ихъ и пишемъ всегда такъ, чтобъ читатель могъ сказать:

Тутъ не лицо, а только литераторъ!

Давно уже въ «Сѣверной Пчелѣ» печатаются фельетоны, подписываемые завѣтными и таинственными буквами Р. З. Эти буквы многихъ приводили въ крайнее изумленіе, и никто не

хотѣлъ вѣрить, чтобъ онѣ означали г. Рафаила Зотова, о которомъ порядочная читающая публика узнала изъ перваго тома «Ста Русскихъ Литератовъ».

Для насъ нисколько не было удивительно ни то, что г. Рафаиль Зотовъ захотѣлъ быть фѣльетонистомъ «Сѣверной Пчелы», ни то, что «Пчела» рѣшилась г. Рафаила Зотова взять къ себѣ въ фѣльетонисты. Однакожь мы думали, что это дѣло, для пользы и чести обѣихъ сторонъ, останется въ секретѣ. Оно и было въ секретѣ довольно долго. Надъ фѣльетонами г. Рафаила Зотова читатели сперва смѣялись, потомъ зѣвали за ними, а наконецъ вовсе перестали ихъ читать,— какъ вдругъ, въ 155 № «Сѣверной Пчелы» нынѣшняго года, великій незнакомецъ, подобно Вальтеръ-Скотту, снялъ съ себя маску и, къ удивленію публики, рѣшился назваться собственнымъ своимъ именемъ. «Вы уже читали мой фѣльетонъ о нѣмецкой пѣвицѣ Валькеръ», говоритъ онъ, давая тѣмъ знать, что онъ фѣльетонистъ «Сѣверной Пчелы» и что его фѣльетоны даже находятъ себѣ читателей. «Достается мнѣ, какъ фѣльетонисту Сѣверной Пчелы», — восклицаетъ онъ далѣе, давая тѣмъ знать, что у него есть даже враги, и что его фѣльетоны надѣлали ему враговъ... Не довольствуясь этими небылицами, онъ начинаетъ увѣрять, что «пишетъ по внутреннему убѣжденію и съ чистою благонамѣренностію». — «Я (говоритъ онъ) ищу лучшаго въ области искусствъ, хочу содѣйствовать къ усовершенствованію отечественныхъ дарованій, и самымъ скромнымъ образомъ представляю къ этому (?) мои мнѣнія. Опытности моей—увы!—(именно, увы!) въ театральномъ дѣлѣ, вѣрно, у меня не отнимутъ и жесточайшіе враги мои. Давъ на сцену болѣе девяноста піесъ (въ томъ числѣ болѣе двадцати оперъ), я, кажется, могу знать и сцену и музыку». Каковъ тонъ! Не правда ли, что и приличный и скромный?

Этого бы довольно для знакомства съ фѣльетонистомъ «Сѣверной Пчелы», но мы прибавимъ еще нѣсколько «нѣкото-

рых чертъ». Въ 209 № той же газеты, г. Рафаиль Зотовъ принялся разсуждать о новостяхъ французской литературы. Вотъ неоспоримыя доказательства: говоря о «Консюэло» Жоржъ Занда, г. Р. З. Пърпору вездѣ называетъ Порпозою, графъ Альбертъ Рудольштадтъ названъ у него Фридрихомъ; Консюэло, у нашего фельетониста, является къ графу Рудольштадту съ рекомендательнымъ письмомъ отъ графа Джустиниани, — тогда какъ у Жоржъ Занда онъ является къ нему съ письмомъ отъ Пърпоры; наконецъ, у фельетониста, Пърпора не позволяеть Консюэлѣ отвѣчать на письма Альберта, — тогда какъ, у Жоржъ Занда, Пърпора, не имѣвшій никакого права что-либо запрещать Консюэлѣ, крадетъ у нея, изъ корыстныхъ разсчетовъ, ея письмо къ Альберту... Изъ этого видно, что г. Рафаиль Зотовъ разсказалъ не содержаніе «Консюэлы», а пародію на содержаніе этого превосходнаго произведенія. — Говоря о романѣ Дюма «Жоржъ», фельетонистъ пускается въ любезности, напоминающія собою любезности князя Шаликова. «Много (говорить онъ) есть неправдоподобнаго, но милыя читательницы вѣрно этого не замѣтятъ: сквозь слезы этого не видать». Какъ это остро и мило!..

Забавнѣе всего, что г. Рафаиль Зотовъ, въ одномъ изъ послѣднихъ нумеровъ (№ 268) «Сѣверной Пчелы», не вытерпѣлъ и разразился такимъ гнѣвомъ на «Отечественныя Записки», что невозможно безъ улыбки состраданія читать его филиппики. Г. Р. Зотовъ кричитъ въ ужасѣ, что «критики Отечественныхъ Записокъ съ фанатическою яростію возстаютъ на всякое произведеніе не изъ ихъ литературной касты», общается критикамъ «Отечественныхъ Записокъ» «участъ лаятеля Зоила» и съ сокрушеннымъ сердцемъ старается убѣдить насъ, что «литературный приговоръ дѣло великое», что «онъ долженъ быть произносимъ съ осторожностью, потому что можегъ ободрить и убить дарованіе», что наконецъ «приговоръ Отечественныхъ Записокъ не можетъ оскорбить писателя», и пр. и пр. Но да успокоится почтенный фельето-

нисть: никакая критика не убьетъ его «дарованія», по самой простой причинѣ.

Но довольно о г. Рафаилѣ Зотовѣ, фельетонистѣ «Сѣверной Пчелы» и авторѣ девятиста драматическихъ пьесъ и полу-сотни невѣдомыхъ міру романовъ. Поговоримъ о третьемъ фельетонистѣ той же газеты.

Еще въ концѣ прошлаго года, «Сѣверная Пчела» возвѣстила, что съ будущаго 1843 года въ ней участвуетъ какой-то знаменитый русскій литераторъ; впрочемъ, рѣшающійся появляться въ ней не иначе, какъ инкогнито, подъ буквами Z. Z. Въ 197 № «Сѣверной Пчелы» напечатана статья этого втораго великаго незнакомца, г. Z. Z., о новомъ изданіи сочиненій Державина. Между прочими нескладницами, выданными, однакоже, за «вышіе взгляды», таинственный г. Z. Z. сильно нападаетъ на какого-то «журнальнаго смѣльчака», который будто-бы неуважительно отзывался о Державинѣ, и котораго отзывъ будто-бы встрѣченъ былъ всѣми съ должнымъ негодованіемъ. Разумѣется, тутъ дѣлаются, кстати, намеки на «заносчивую полуученость», на «удивительную дерзость» и подобные пороки, въ которыхъ, бывало, старики упрекали г. Полеваго даже за дѣльныя и здравыя его сужденія о Сумароковѣ, Херасковѣ и другихъ старыхъ и новыхъ знаменитостяхъ. Помнимъ, что его называли также и «смѣльчакомъ», и притомъ за такія мнѣнія, въ которыхъ теперь никто не видитъ ни малѣйшей смѣлости. Времена переходчивы, и жизнь страшно играетъ людьми: смѣлыхъ она лишаетъ смѣлости, «вышіе взгляды» превращаетъ въ плоскія общія мѣста, людей, которые думали, что за ними не поспѣваетъ время, превращаетъ въ отсталыхъ и ворчунцовъ, для которыхъ каждая новая мысль есть преступленіе,—и... мало ли, какъ еще смѣется жизнь надъ людьми! Но, во всякомъ случаѣ, смѣлость—не порокъ, а достоинство, ибо она выходитъ изъ любви къ истинѣ и есть свойство души благородной и пыл-

кой; тогда какъ робость—признакъ бѣдности духа и мелкости ума. Смѣлостью доходятъ люди до сознанія новыхъ истинъ; смѣлостью движется общество. Тѣ, которые чувствуютъ въ себѣ свѣжую силу дѣятельности и священный огонь истины—неужели должны омущаться криками и клеветою какихъ-нибудь заживо-умершихъ quasi-знаменитостей?... О, нѣтъ! впередъ и впередъ! Ограниченность и зависть забудутся, а благая дѣятельность и любовь къ истинѣ всегда будутъ замѣнены и дадутъ плодъ свой во время свое...

«Сѣверная Пчела», которая, какъ извѣстно, состоитъ по особымъ порученіямъ при «Отечественныхъ Запискахъ», хлопочетъ объ извѣстности ихъ, и умышенно, но съ добрымъ намѣреніемъ говоритъ о нихъ разныя нелѣпости. Въ «Отечественныхъ Запискахъ», въ отдѣлѣ Критики, печатались въ нынѣшнемъ году, по поводу «Сочиненій Пушкина» большія статьи, по части исторіи русской литературы; эти статьи имѣютъ связь между собою, и часто одна статья есть развитіе мыслей, едва обозначенныхъ въ предыдущей, или, напротивъ, повтореніе въ краткихъ словахъ того, что было прежде въ подробности изложено *). «Сѣверная Пчела», ревнуя къ пользамъ «Отечественныхъ Записокъ», догадалась, что имъ бы весьма хотѣлось обратить на эти историческія статьи вниманіе публики, и, въ порывѣ своей ревности, принялась за дѣло весьма ловко: она знаетъ, что въ предметъ столь щекотливомъ, какъ исторія литературы, особенно современной, значеніе каждаго слова измѣняется, смотря по тому, гдѣ оно поставлено, что ему предшествуетъ и что за нимъ слѣдуетъ, а наконецъ потому, какой смыслъ данъ этому слову предшествовавшимъ изложеніемъ. По причинѣ этой умышенной и весьма благонамѣренной разсѣянности, «Сѣверная Пчела»,

*) Поэтому мы соединимъ всѣ эти статьи, печатавшіяся четыре года—въ отдѣлѣ критики 1844 года.

выписавъ наудачу нѣсколько словъ о Карамзинѣ, Державинѣ, Жуковскомъ и другихъ,—такъ сводить ихъ вмѣстѣ, что нечитавшіе «Отечественныхъ Записокъ» могутъ подумать, будто онѣ питаютъ величайшую злобу противъ всѣхъ именъ, которыми русская литература обязана своею славою. Вотъ что значитъ усердіе, руководимое опытною журнальною тактикою! «Сѣверная Пчела» вырываетъ клочками фразы изъ длинныхъ статей и приписываетъ имъ такой смыслъ, какого они не имѣли. Она знаетъ, что есть люди, которыхъ никакъ не убѣдишь, что, напримѣръ, слова: «Г-нъ А. болѣе замѣчателенъ по мыслямъ» отнюдь не значать, что у г. А. нѣтъ чувства, или: «г. Б. болѣе замѣчателенъ по блестящему стику» отнюдь не значить, что у г. Б. отсутствіе мыслей. Что дѣлать! есть на семь свѣтѣ такіе господа Половинкины, которые читаютъ только половину книги, половину страницы, половину фразы, едва ли не половину слова,—и изъ этихъ половинокъ шиваютъ себѣ цѣлое мнѣніе. Вотъ такихъ-то людей и имѣетъ въ виду добрая и услужливая газета: она знаетъ, что эти люди, прочитавъ вырванные ею строки, разсердятся и бросятся читать «Отечественныя Записки»; тутъ-то они и пойманы: прочитавъ, они найдутъ совсѣмъ другое, примирятся съ журналомъ и сдѣлаются постоянными его читателями. Такъ и слѣдуетъ поступать, если хочешь услужить! Вотъ примѣръ недавній: въ 256 № «Сѣверная Пчела» производитъ фальшивую атаку на статью «Отечественныхъ Записокъ» о Жуковскомъ. Она вырываетъ изъ статьи разныя фразы, которыя, безъ связи съ цѣлымъ, дѣйствительно могутъ имѣть призракъ того смысла, который какъ-будто хочется найти въ нихъ фельетонисту. Вслѣдствіе этихъ вырванныхъ тамъ и сямъ короткихъ фразъ изъ огромной статьи, «Отечественныя Записки» дѣйствительно могутъ сдѣлаться въ глазахъ поверхностныхъ читателей, такимъ журналомъ, который не умѣетъ отдавать должной справедливости Карамзину, Жуковскому и другимъ знаменитымъ и заслуженнымъ дѣателямъ русской литературы. Не видно ли

въ этомъ горячаго усердія доброй газеты къ пользамъ «Отечественныхъ Записокъ»; такой способъ нападенія былъ бы уже слишкомъ неловокъ, еслибъ онъ былъ внушенъ враждебностію и желаніемъ вредить. Всякій основательный читатель, развернувъ «Отеч. Записки» и вникнувъ въ смыслъ цѣлой статьи, увидѣлъ бы тотчасъ, что «Сѣв. Пчела» съ дурнымъ умысломъ искажала содержаніе статьи и доноситъ... читателямъ не то, что сказано «Отечественными Записками». Конечно, всякій основательный читатель и теперь можетъ это сдѣлать, но теперь онъ увидитъ, что «Сѣверная Пчела» сдѣлала это съ добрымъ намѣреніемъ и похвалитъ ея умѣнье достигать доброй цѣли, т. е. какъ можно чаще заставлятъ своихъ читателей заглядывать въ «Отечественныя Записки». Дѣлая видъ: будто заступается за Жуковскаго противъ «Отечественныхъ Записокъ», «Сѣверная Пчела» спрашиваетъ: «Кто ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію?» А о чемъ же и говорится, что же и доказывается въ статьѣ «Отечественныхъ Записокъ», какъ не то именно, что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую литературу? Эта почтенная газета увѣряетъ еще, будто Лермонтова мы считаемъ равнымъ Карамзину писателемъ... Какое противорѣчіе! Мы превозносимъ Лермонтова, равняя его съ унижаемымъ нами Карамзинымъ!!!... Воля ваша, а это — верхъ усердія въ желаніи услужить намъ! Правда, излишество этого усердія довело почтеннаго фельетониста до негѣпости и бессмыслицы; но благое намѣреніе чего не оправдываетъ! Правда, мы никогда не равняли Лермонтова съ Карамзинымъ, потому что было бы негѣпо сравнивать великаго поэта съ знаменитымъ литераторомъ и историкомъ, и Лермонтова если можно съ кѣмъ сравнивать, такъ развѣ съ Жуковскимъ, съ Пушкинымъ, а ужь отнюдь не съ Карамзинымъ; но вѣдь «Сѣверной Пчелѣ» до этого что за дѣло? Ей нужно заставить, какими бы то ни было средствами, всѣхъ и cadaго читать «Отечественныя Записки», а до смысла и правды нѣтъ надобности... Она говоритъ, что мы

называемъ Жуковскаго изряднымъ переводчикомъ: кто читалъ нашу статью, тотъ помнить, что мы вездѣ называемъ Жуковскаго то превосходнымъ, то безпримѣрнымъ переводчикомъ. Чтò же причиною этого «изряднаго» искаженія нашихъ словъ, если не излишество усердiя къ нашимъ пользамъ? «Сѣверная Пчела» ставитъ намъ (разумѣется, притворно) въ великую вину нашъ отзывъ о забытыхъ теперь балладахъ Жуковскаго «Людмилѣ» и «Свѣтланѣ»; но кто изъ людей, имѣющихъ хоть сколько нибудь смысла и вкуса, не согласится безусловно съ нашимъ мнѣнiемъ объ этихъ незрѣлыхъ, юношескихъ произведенiяхъ поэта, столь богатаго другими произведенiями великаго достоинства? Вѣрно, чувствуя, что эта нападка на насъ уже чрезчуръ усердна, «Сѣверная Пчела» придирается къ языку и восклицаетъ: «Зачѣмъ же вы, великiе мужи нашего времени, пишете, какъ писали подъячiе прошлаго времени? Стихи, которыми она, т. е. баллада написана! Такъ не напишеть ни одинъ посредственный литераторъ!»... Часъ отъ часу лучше! Вѣдь можно сказать— и всѣ Русскiе всегда говорили, говорятъ и будутъ говорить: такая-то поэма писана гекзаметрами, а такая-то шестистопными ямбическими стихами, а нельзя, видите, сказать: стихи, которыми писана баллада... «Сѣверная Пчела» говоритъ, въ «Отечественныхъ Запискахъ» грамматики нѣтъ ни капли; чувствуете ли гиперболу? Чувствуете ли, что самъ фельетонистъ совсѣмъ этого не думаетъ и напередъ убѣжденъ, что никто ему не повѣритъ? «Сѣверная Пчела» какъ бы издѣвается надъ нашею фразою: «почувствуете себя скучающими и утомленными»; можетъ-быть, такъ нельзя сказать по-русски, но по-русски это можно и очень можно сказать. — «Сѣверная Пчела» дѣлаетъ видъ, будто ее страшитъ то, что «Отечественныя Записки» овладѣваютъ непрекословно литературнымъ поприщемъ и утверждаютъ на немъ свое мнѣнiе. Тонкiй намекъ, тонкая похвала, которую тотчасъ можно замѣтить подъ покровомъ умысленной боязни! Разумѣется, «Сѣверная

Пчела» очень хорошо понимаетъ, что достичь этой цѣли журналъ можетъ только своимъ внутреннимъ достоинствомъ, силою своего мнѣнія, а не фэльетонными продѣлками, т. е. криками о своихъ мнимыхъ заслугахъ, бранью на все талантливое и даровитое и т. п. — Добрая газета говоритъ, что «Отечественныя Записки льстятъ юношеству и дѣтей называютъ умнѣе отцовъ. Опять тонкая штука! Кто же повѣритъ, будто «Сѣв. Пчела» такъ ужъ недалековидна, будто не понимаетъ, что процессъ совершенствованія общества производится именно черезъ умственный и нравственный успѣхъ юныхъ поколѣній? Было время, когда жгли колдуновъ и пытали не однихъ обвиненныхъ, но и подозрѣваемыхъ въ преступленіи; теперь этого нѣтъ вовсе: не выше ли же, не умнѣе ли люди нашего времени людей тѣхъ варварскихъ и невѣжественныхъ временъ? А какимъ образомъ люди нашего времени стали такъ выше и такъ умнѣе людей того времени? — разумѣется, не вдругъ, а черезъ постепенное улучшеніе cadaго новаго поколѣнія передъ старымъ. Разумѣется, наши понятія свѣжѣе, шире и глубже понятій отцовъ нашихъ — такъ же, какъ понятія дѣтей нашихъ будутъ свѣжѣе, шире и глубже нашихъ понятій. Иначе, дѣти наши были бы жалкимъ поколѣніемъ, недостойнымъ дышать воздухомъ и видѣть свѣтъ Божій. — Дальше, «Сѣверная Пчела» совѣтуетъ своимъ читателямъ внимательнѣе прочесть, въ нашей статьѣ о Жуковскомъ, мѣсто отъ словъ: «гораздо выше романтизмъ греческій» до словъ: «въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя Антѣросъ», и убѣждаетъ при этомъ отцовъ и матерей не давать въ руки своимъ дѣтямъ «Отечественныхъ Записокъ». Ловкій оборотъ, раздражающій любопытство тѣхъ, которые не читали нашей статьи о Жуковскомъ! Извѣстно, что все таинственное, воспрѣщаемое, только привлекаетъ къ себѣ, а не отталкиваетъ. И потому, избави васъ Богъ подозрѣвать въ этихъ словахъ «Сѣверной Пчелы» злой умыселъ или черную клевету. Ничего этого нѣтъ. Все это не

болѣе, какъ журнальная штука. Во-первыхъ, «Сѣверная Пчела» знаетъ, что указываемое ею мѣсто заключаетъ въ себѣ такіе факты о древнемъ мірѣ, которые изучаются юношествомъ какъ предметъ искусства древностей и исторіи, и которые могутъ казаться неприличными только чопорному жеманству мѣщанъ во дворянствѣ. Во-вторыхъ, какіе же родители позволяютъ малолѣтнимъ дѣтямъ читать журналы, издаваемые для взрослыхъ людей? Вѣроятно, если отецъ находитъ въ журналѣ что-нибудь интересное и полезное для дѣтей, самъ читаетъ имъ это, выпуская при чтеніи все, чего не слѣдуетъ дѣтямъ знать. Такъ, напримѣръ, что интереснаго и поучительнаго для дѣтей узнать изъ 170 № «Сѣверной Пчелы», что г. Гречъ, разсерженный голландскою медленностію, «не могъ удержаться отъ древняго восклицанія, которымъ на Руси выражаются всякія движенія душевныя», и которое заставило его просить у двухъ Нѣмцевъ извиненія въ томъ, что онъ Русскій («Сѣверная Пчела», № 170)?... Что полезнаго увидятъ они въ рассказахъ того же г. Греча (присылаемыхъ изъ Парижа) о подвигахъ парижскихъ воровъ и мошенниковъ, или о походеніяхъ французскихъ актрисъ, напримѣръ, о болѣзни дѣвицы Рашель, которая избавится отъ этой болѣзни черезъ шесть недѣль? Что наставительнаго прочтутъ они въ «юмористическихъ» статейкахъ г. Булгарина, гдѣ говорится о взяточникахъ, подъячихъ, и проч., и проч. Дѣтямъ тутъ нечего читать, старики же посмѣиваются, поморщиваются, а все-таки читаютъ... «Сѣверная Пчела» знаетъ это очень хорошо, и потому-то такъ смѣло нападаетъ на «Отечественныя Записки». Чтобъ не пропустить времени подписки на журналы, она теперь удваиваетъ свое усердіе и нарочно громоздитъ нелѣпость на нелѣпости, чтобъ только выказать намъ свою службу, за что мы и благодаримъ ее всепокорно. Она ужъ прямо говорить, что всѣ наши сужденія о литературѣ (№ 256) «сущая нелѣпица и одинъ расчетъ». Такъ и надо! она, вѣдь,

знаеть, что никто не повторить этого о журналѣ, который давно уже пользуется извѣстностью, какъ лучший русскій журналъ, и который приобрѣлъ уже огромный успѣхъ и довѣріе въ публикѣ. Этого мало: она теперь, кажется, въ сотый разъ увѣряеть, будто «Отечественныя Записки» издаются для какого-то бѣднаго семейства, тогда какъ давно уже доказано, что «Отечественныя Записки» никогда не издавались, не издаются и не будутъ издаваться въ пользу какого бы то ни было бѣднаго семейства, и что онѣ составляютъ собственность издателя ихъ, ни съ кѣмъ имъ не раздѣляемую. Такое усердіе къ нашимъ пользамъ намъ даже кажется немножко излишнимъ. Зачѣмъ прибѣгать къ подобнымъ ухищреніямъ для привлеченія намъ подписчиковъ, которыхъ и безъ того много? «Сѣверная Пчела» можетъ доставлять, какъ доставляла и до сихъ поръ, намъ читателей простыми средствами, т. е. браня насъ ежедневно.—Вотъ что касается до извѣщенія ея (№ 256), будто бы «Отечественныя Записки» обязаны своимъ существованіемъ (?!) великодушному самоотверженію бумажнаго фабриканта, бумагопродавца и типографщика г. Жернакова (!!!???)—это другое дѣло: она, во-первыхъ, хотѣла риторическимъ языкомъ сказать простую истину—что «Отечественныя Записки» печатаются въ типографіи г. Жернакова, которая дѣйствительно работаетъ очень усердно, хотя и не самоотверженно, потому что весьма исправно получаетъ за это довольно значительную плату; во-вторыхъ, ей хотѣлось намекнуть, что «Отечественныя Записки» съ будущаго года не будутъ уже печататься въ типографіи г. Жернакова, а перенесутся въ другую типографію; но остерегалась это сдѣлать, дожидаясь нашего о томъ извѣщенія; мы же, съ своей стороны, не считали за нужное извѣщать о такой бездѣлицѣ. Но теперь, чтобъ выручить изъ бѣды «Сѣверную Пчелу», желавшую подать намъ случай опровергнуть объявленія ея, будто журналъ нашъ не могъ и не можетъ существовать безъ типографіи г. Жернакова,—вынуждены сказать, что, дѣйствительно, съ будущаго

года «Отечественныя Записки» будутъ печататься въ типографіи г. Глазунова и К^о, гдѣ уже, нарочно для нихъ, куплена большая скоропечатная машина, могущая отпечатывать до 1000 листовъ въ часъ, и приготовленъ новый шрифтъ изъ знаменитой словолитни г. Ревильйона. Первая книжка «Отечественныхъ записокъ» 1844 года будетъ уже набрана этимъ шрифтомъ и отпечатана на этой машинѣ. Скорость печатанія доставитъ намъ возможность ранѣе разсылать книжки для иногородныхъ читателей, нежели какъ было дѣлаемо это до сихъ поръ. Довольно ли?

Но напрасно, намъ кажется, «Сѣверная Пчела» жадуется, будто мы обижаемъ ее за ея похвалы г. Ольхину. Опять не то, и вѣроятно опять изъ усердія къ намъ! Мы смѣемся только надъ гимнами и диэирамбами ея г. Ольхину, о которомъ она говоритъ, что—не то воздвигся, не возсталъ новый дѣятель, котораго природа одарила дивными качествами ума и сердца, потому что онъ издаетъ сочиненія г. Θ. Булгарина, ничего ему за нихъ незаплативши (№ 256 «Сѣверной Пчелы») Дѣйствительно, со стороны г. Ольхина очень великодушно употребить значительную сумму на изданіе стараго литературнаго хлама, котораго, конечно, у него никто покупать не будетъ; но что же въ этомъ пользы для русской литературы? По нашему мнѣнію, это даже и совсѣмъ не литературное дѣло. Въ томъ же номерѣ «Сѣверной Пчелы» говорится, что «иностранные журналы берутъ деньги съ актѣровъ, авторовъ и книгопродавцевъ за похвалы» и къ этому прибавляетъ эгегическимъ тономъ: «Быть можетъ: но у насъ нѣ(е)кому дать и нѣ(е)кому взять! Какой актѣръ, какой авторъ, какой книгопродавецъ у насъ дастъ деньги?» Въ самомъ дѣлѣ, должно быть прискорбно,—и мы не можемъ не уважать этого унынія нашей доброй газеты, хотя, право, никакъ не въ силахъ раздѣлять его, потому что ничего не понимаемъ по этой части... Но это эпизодъ, вставка: обратимся къ главному.

«Сѣверная Пчела» служить намъ не только тогда, когда

бранить «Отечественныя Записки», вызывая этимъ насъ на побѣдоносное опроверженіе, но и тогда, когда восхваляетъ такіе журналы, похвалу которымъ всякій прійметъ не иначе, какъ за иронію. Прежде всего она преусердно хвалитъ самое себя: къ этому уже всѣ привыкли, и всякій знаетъ этому цѣну. Потомъ она увѣряетъ публику, что «Сынъ Отечества», подъ редакціею г. Масальскаго, сдѣлался «прекраснымъ, прелюбопытнымъ, справедливымъ и безпристрастнымъ въ своихъ сужденіяхъ журналомъ», и что будто бы сей г. Масальскій «трудами своими заслужилъ почетное имя въ литературѣ, а благонамѣренностію своихъ критикъ приобрѣлъ уваженіе даже своихъ противниковъ», и что, «къ совершенству издаваемаго имъ «Сына Отечества» не достаетъ только аккуратности въ выходѣ книжекъ... Какъ непримѣтно и больно уколоть этимъ несчастный «Сынъ Отечества *)»!

Вотъ также черта услужливости «Сѣверной Пчелы» въ отношеніи къ намъ. Ей (№ 232) не понравилось сужденіе наше объ «Исторіи Государства Россійскаго» Карамзина, и она начинаетъ разсуждать, какое имѣетъ право судить объ исторіи Карамзина издатель «Отечественныхъ Записокъ»? и рѣшаетъ, что онъ не имѣетъ никакого права, ибо не написалъ нѣсколькихъ сочиненій, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества. Какъ, спросите вы: неужели для того, чтобы имѣть право критиковать, напримѣръ, «Иліаду» критикъ сперва самъ долженъ написать поэму не хуже Гомеровою? Неужели критика не есть самостоятельный талантъ, который выказывается не въ своемъ призваніи, въ своемъ дѣлѣ, т. е. въ критикѣ, а въ поэзіи, въ исторіи и т. д?... Да послѣ этого, не только поэты и историки лишатъ критиковъ права судить о поэтическихъ и историческихъ сочиненіяхъ, но нельзя бу-

*) А «Сына Отечества» до сихъ поръ вышло только пять книжекъ, т. е. послѣдняя книжка его была за май, тогда какъ у насъ теперь декабрьскіе морозы!

деть сказать и портному, зачѣмъ онъ испортилъ фракъ, не опасаясь услышать отъ него въ оправданіе: а вы развѣ умѣете сшить фракъ лучше моего, что беретесь критиковать мою работу? — Еще образчикъ: «Сѣверная Пчела» выдумываетъ (№ 250), будто мы упрекаемъ г. Θ . Булгарина въ старости, словно въ порокѣ какомъ - нибудь, тогда какъ мы говорили не о старости его, а о томъ, что онъ выдаетъ за новость понятія и идеи, которыя были новы, интересны и основательны назадъ тому лѣтъ тридцать съ небольшимъ, и о томъ еще, что г. Θ . Булгаринъ давно уже весь выписался... Чтѣ же дѣлаетъ «Сѣверная Пчела»? Она, примѣромъ Вальтеръ-Скотта, Вольтера, Гете, Шарля Нодье, Ламартина, Кузена, Вильмена, Гизо, Баранта, Шатобриана, Карамзина и Жуковского начала доказывать, что г. Θ . Булгаринъ и въ преклонныхъ лѣтахъ можетъ быть отличнымъ прозаикомъ, критикомъ, историкомъ и романистомъ!!!... Скажите, пожалуйста, можно ли такъ шутить!

Лестное вниманіе къ намъ со стороны «Сѣверной Пчелы» и вѣрная долговременная служба ея «Отечественнымъ Запискамъ» трагуетъ насъ до глубины души, и мы, въ концѣ года, обязанностью считаемъ свидѣтельствовать ей нашу искреннюю благодарность. Почти не бываетъ нумера этой газеты, въ которомъ не говорилось бы, прямо, или косвенно, объ «Отечественныхъ Запискахъ», особенно въ субботнихъ фельетонахъ, которые пишутся исключительно для однѣхъ «Отечественныхъ Записокъ». «Сѣверная Пчела» учитъ наизусть и знаетъ всѣ статьи наши, особенно критическія, библиографическія и журнальныя замѣтки, въ то же время притворно увѣряя публику, будто издатели и сотрудники и въ руки не берутъ «Отечественныхъ Записокъ», почитая для себя униженнымъ читать ихъ, и еще болѣе - писать о нихъ. Намъ не для чего притворяться, и потому мы можемъ прямо и открыто сказать, что читаемъ въ «Сѣверной Пчелѣ» аккуратно всѣ статьи и статейки, въ которыхъ упоминается что-либо

объ «Отечественныхъ Запискахъ». Благодарность — чувство невольное, а мы такъ одолжены «Сѣверною Пчелою»! Будемъ надѣяться, что въ слѣдующемъ году усердіе «Сѣверной Пчелы» не ослабнетъ, и она не разъ подастъ намъ поводъ поговорить о самихъ себѣ публикѣ: она знаетъ, что безъ этого повода мы никогда не говоримъ о себѣ. И такъ, добрая сотрудница наша, до новаго года!...

IV.

Т Е А Т Р Ъ.

РУССКІЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ.

ЖЕНИТЬБА. *Оригинальная комедія въ двухъ дѣйствіяхъ, сочиненіе Н. В. Гоголя (автора „Ревизора“).*

Въ ожиданіи выхода полного собранія сочиненій Гоголя скажемъ здѣсь нѣсколько словъ о характерахъ въ новой комедіи его «Женитьба». Подколесинъ — не просто вялый и нерѣшительный человѣкъ съ слабою волею, которымъ можетъ всякій управлять: его нерѣшительность преимущественно выказывается въ вопросѣ о женитьбѣ. Ему страхъ какъ хочется жениться, но приступить къ дѣлу онъ не въ силахъ. Пока вопросъ идетъ о намѣреніи, Подколесинъ рѣшителенъ до героизма; но чуть коснулось исполненія — онъ труситъ. Это недугъ, который знакомъ слишкомъ многимъ людямъ, поумнѣе и пообразованнѣе Подколесина. Въ характерѣ Подколесина авторъ подмѣтилъ и выразилъ черту общую, слѣдовательно, идею. Подколесинъ покоряется одному Кочкареву, потому что тотъ нахаль, которому не уступить — значитъ рѣшиться на исторію, конечно, не опасную, но за то неприличную, а одно стоитъ другаго, Кочкаревъ — добрый и пустой малый, нахаль и разбитная голова. Онъ скоро знакомится, скоро дружится и сейчасъ на *ты*. Горе тому, кто удостоится его дружбы! Кочкаревъ переставитъ у него по своему мебель въ комнатѣ, да еще будетъ ругать, если тотъ не усердно будетъ помогать ему распоряжаться въ своемъ домѣ, Кочкаревъ навяжетъ другу своего портнаго, своего са-

пожника не потому, чтобъ убѣжденъ былъ въ ихъ превосходствѣ, а для того только, чтобъ сказать: «я рекомендовалъ». Кочкаревъ хочетъ, чтобъ все шло и дѣлалось черезъ него, и чтобъ всё говорили: «этотъ человекъ на всё руки». Для этого онъ готовъ хлопотать, биться до пота лица, перенести что угодно. Другъ его собирается купить домъ: у Кочкарева ужъ есть на примѣтѣ домъ—отличнѣйшій во всѣхъ отношеніяхъ, именно такой, какой нуженъ его другу; онъ самъ, правду сказать, и не былъ въ этомъ домѣ, но готовъ сейчасъ же расписать расположеніе его комнатъ, доказать его удобство, выгодность, побожиться за достоинство каждой половицы, каждаго строения. Если другъ не захочетъ смотрѣть этого дома, онъ потащитъ его, будетъ упрашивать, умолять, а въ случаѣ рѣшительнаго отказа, разсорится съ другомъ по своему: назоветъ его и «свиньей» и «подлецомъ». Первые слова его свахѣ, которую засталъ онъ у Подколесина, были: «Ну, послушай, на кой чортъ ты меня женила?» Изъ этого видно уже, что женитьба не очень осчастливила его, и что не ему бы хлопотать о женитьбѣ другихъ. Но не тутъ-то было: провѣдавъ о чужомъ дѣлѣ, онъ уже похожъ на гончую собаку, почувшшую зайца; чтобъ похлопотать, онъ описываетъ женитьбу самыми обольстительными красками, какія только можетъ ему дать его грубая фантазія. И потому, если актёръ, выполняющій роль Кочкарева, услышавъ о намѣреніи Подколесина жениться, сдѣлаетъ значительную мину, какъ человекъ, у котораго есть какая-то цѣль,—то онъ испортитъ всю роль съ самаго начала. Въ концѣ пьесы, Кочкаревъ, вѣбсившись на Подколесина, самъ говоритъ: «Да если ужъ пошло на правду, то и я хорошъ. Ну, скажите, пожалуйста, вотъ я на всѣхъ сошлюсь: ну не олухъ ли я, не глупъ ли я? Изъ чего бьюсь, кричу, вида горло пересохло? Скажите, что онъ мнѣ? родня что ли? И что я ему такое — нянька, тетка, свекруха, кума что ли? Изъ какого же дьявола, изъ чего, изъ чего, я хлопочу о немъ, не знаю себѣ покою, не-

легкая прибрала бы его совѣсьмъ? — А просто чортъ знаетъ изъ чего! поди ты, спроси иной разъ человѣка, изъ чего онъ что-нибудь дѣлаетъ!» Въ этихъ словахъ — вся тайна характера Кочкарева. Жевакинъ — не кривляка, не шутъ: это старый селадонъ, а потому и щеголь, несмотря на свой старинный мундиръ. Куда бы ни занесла его судьба — хоть въ Китай, не только въ Сицилію — онъ вездѣ замѣтитъ одно только «розанчики этакіе». Кромѣ «розанчиковъ» для него ничто на свѣтѣ не существуетъ. — Анучкинъ — человѣкъ, живущій и бредящій однимъ — высшимъ обществомъ, котораго онъ никогда и во снѣ не видывалъ и съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго. Онъ почитаетъ себя образованнымъ человекомъ, и, услышавъ о Сициліи, сейчасъ захотѣлъ узнать, говорятъ ли тамъ «барышни» по-французски. Барышни, французскій языкъ и обхождение высшего общества — въ этомъ для него и смыслъ жизни и цѣль жизни, и кромѣ этого, для него ничто не существуетъ. Много попадается Анучкиныхъ на бѣломъ свѣтѣ: они-то громче всѣхъ хлопаютъ актѣрамъ и вызываютъ ихъ; они-то восхищаются всякимъ плоскимъ и грубымъ двусмысліемъ въ водевилѣ, и осуждаютъ пьесы за неприличный тонъ: они-то не любятъ ни на сценѣ, ни въ книгахъ людей низкаго званія и грубыхъ выраженій. Анучкинъ — въ высшей степени типическое лицо, для представленія котораго на театрѣ нужно много ума и таланта. — Пятое дѣйствующее лицо — Яичница (экзекуторъ). Это человѣкъ грубый, матеріальный; но онъ живетъ и служитъ въ Петербургѣ — стало-быть не похожъ на провинціального медвѣдя. Вообще, для хорошаго выполненія ролей, созданныхъ Гоголемъ, актѣрамъ всего нужнѣе — наивность, отсутствіе всякаго желанія и усилія смѣшнить. Если человѣкъ имѣетъ смѣшную или слабую сторону, онъ тѣмъ и возбуждаетъ смѣхъ, что не предполагаетъ въ себѣ ничего смѣшнаго или страннаго. Въ обществѣ, никто не станетъ стараться смѣшнить другихъ на свой счетъ, а сцена должна быть зеркаломъ общества...

Лицо Свахи въ «Женитьбѣ» — одно изъ самыхъ живыхъ и типическихъ созданий Гоголя. Бойкость, яркость движеній, трещоточный разговоръ, должны быть прежде всего схвачены актрисою, выполняющею эту роль; малѣйшая вялость, тяжеловатость сейчасъ испортятъ дѣло. Это баба, наметавшаяся въ своемъ ремеслѣ; ея не разстроитъ никакое обстоятельство, не смутитъ никакое возраженіе; у нея готовъ отвѣтъ на всякій вопросъ. Невѣста спрашиваетъ сваху про одного изъ жениховъ, не пьетъ ли онъ. «А пить, не прекословлю, пить! Чтѣ же дѣлать? ужъ онъ титулярный совѣтникъ, за то такой тихій, какъ шолкъ», отвѣчаетъ сваха и, въ утѣшеніе, прибавляетъ: «Впрочемъ, чтѣ жъ такого, что иной разъ выпьетъ лишнее? Вѣдь не всю же недѣлю бываетъ пьянъ — иной день выберется и трезвый». Про другаго она говоритъ: «Немножко заикается, за то ужъ такой скромный».

Сколько юмора, какой языкъ, какіе характеры, какая типическая вѣрность натурѣ! Но, увы, словно нетопыри прекраснымъ знаніемъ овладѣли нашею сценою пошлыми комедіи съ пряничною любовью и неизбежною свадьбою! Это называется у насъ «сюжетомъ». Смотри на наши комедіи и водевили и принимая ихъ за выраженіе дѣйствительности, вы подумаете, что наше общество только и занимается, что любовью, только и живетъ и дышитъ, что ею! И какую любовь — безкорыстною, безъ всякаго расчета на приданое, на связи и покровительство!...

РУССКАЯ ВОЯРЫНЯ XVII СТОЛѢТІЯ. *Драматическое представленіе въ одномъ дѣйствіи, съ свадебными пѣснями и пляской, соч. П. Г. Ободовскаю.*

Трагедія, водевиль и балетъ, вмѣстѣ взятые, составляютъ «драматическое представленіе», по мнѣнію знаменитыхъ дра-

матурговъ Александринскаго театра—гг. Полеваго и Ободовскаго.

У нихъ, какъ у истинныхъ геніевъ, своя логика и своя эстетика! Собственно «драматизмъ» по этой оригинальной логикѣ и глубокомысленной эстетикѣ, долженъ заключаться въ внезапныхъ встрѣчахъ отцовъ съ дѣтьми, мужей съ женами, любовниковъ съ любовницами. Окончаніе всегда должно быть счастливое — торжество добродѣтели, наказаніе порока: это ужъ для нравственности. Сочинивъ такой замысловатый рецептъ изъ такихъ простыхъ и дешевыхъ снадобій, сіи достойные драматурги много уже составили по немъ прекраснѣйшихъ «драматическихъ представленій», которыя достойно удивили и восхитили публику Александринскаго театра. Не станеть ни чьей памяти сосчитать, въ который уже разъ г. Ободовскій удостоился лавроваго вѣнка Софокла, когда восхищенная и до глубины тронутая публика Александринскаго театра такъ единодушно хлопала, слушая восхитительное пѣніе г-жи Гусевой и смотря на очаровательную пляску г-жи Каратыгиной. Содержаніе «Боярыни XVII Столѣтія» состоитъ въ томъ, что въ деревню и домъ жены псковскаго воеводы Морозова пожаловалъ невзначай отрядъ Шведовъ, которые напились пьяны, заставили Морозову (назавшуюся женою дворецкаго) плясать, и предводитель ихъ клялся, если найдетъ семейство Морозовыхъ, отомститъ ему за смерть своего отца; а Морозова призрѣла у себя взятаго вмѣстѣ съ мертвыми съ поля битвы старика-Шведа; и вотъ, какъ предводитель отряда наконецъ узналъ, что онъ въ домѣ у Морозовой и что она его одурачила, то и началъ «клятися и ратитися», махать руками и кричать, да и схватился было за мечъ; тогда Морозова бросается съ своимъ малолѣтнимъ сыномъ въ комнату, гдѣ стоялъ бочонокъ съ порохомъ, и въ великолѣпномъ монологѣ, не жалѣя груди, грозитъ поднести свѣчу къ бочонку; но какъ въ такомъ случаѣ погибла бы добродѣтель и восторжествовалъ бы порокъ, а сверхъ того и взрывъ

большой избы, набитой народомъ, неудобноисполнителемъ на сценѣ, то по всѣмъ симъ причинамъ, вдругъ выздоравливаетъ старикъ Шведъ и, съ крикомъ: «сынъ!» бросается къ начальнику шведскаго отряда, а тотъ кричитъ: «родитель мой!» и бросается къ старику, а рабъ хлопаетъ...

Очевидно, что содержаніе новаго «драматическаго представленія» г. Ободовскаго есть не что иное, какъ переложеніе русской исторіи на римскіе нравы, по незнанію русскихъ нравовъ... Сочинители извѣстнаго разряда не понимаютъ, что каждый народъ доблестенъ по своему, въ своихъ формахъ — Русскіе по-русски, Римляне по-римски, что Пожарскій, Мининъ и Сусанинъ совершили свои великія дѣла безъ монологовъ изъ Расиновскихъ трагедій, не рисуясь по театральному. Но угадывать форму идеи есть дѣло таланта: посредственность все представляетъ въ одинаковыхъ риторическихъ формахъ. Впрочемъ, какъ пѣніе г-жи Гусевой и пляска г-жи Каратыгиной, такъ и «драматическое представленіе» г. Ободовскаго совершенно приплыло по вкусу нѣкоторой части публики: авторъ былъ вызванъ, и мы сами слышали, какъ многіе, даже весьма почтенные люди, т. е. люди въ лѣтахъ и съ вѣсомъ, говорили: «Вотъ это — шеса; это не то, что какая-нибудь Женитьба!» Именно, совсѣмъ не то — мы согласны съ этимъ...

БРАТЯ КУЩЫ, ИЛИ ИГРА ОЧАСТІЯ. Драма въ пяти дѣйствіяхъ, въ стихахъ, переведенная съ нѣмецкаго П. Г. Ободовскимъ.

РУВЕНСЪ ВЪ МАДРИТѢ. Историческая драма въ четырехъ дѣйствіяхъ, въ стихахъ, передѣланная съ нѣмецкаго. Дѣйствіе 1-е: ЧЕСТЬ ТАЛАНТУ; дѣйствіе 2-е: ВРАЖДА И НУЖДА; дѣйствіе 3-е: ЛЮБОВЬ И ДОЛГЪ; дѣйствіе 4-е: КАРТИНА СМЕРТИ.

Поэзія каждаго народа тѣсно сопряжена съ его жизнію и исторіею. Отсюда изъясняются успѣхи извѣстнаго народа въ одномъ родѣ поэзіи и неуспѣхи его въ другомъ. Какъ нація, отличающаяся внутреннею, субъективною настроенностію духа, Германія вся высказалась и вылилась въ лирической поэзіи. Ни одинъ народъ въ Европѣ не имѣетъ столько замѣчательныхъ лириковъ, какъ Нѣмцы, и ни въ одной европейской литературѣ лирическая поэзія не развилась до такой степени, какъ въ нѣмецкой литературѣ. Созерцательность, какъ начало внутреннее и спокойное, противоположное дѣятельному началу, составляетъ отличительную черту мыслительно-идеальнаго характера Нѣмцевъ, — и ей-то обязаны они своею музыкальнію и своимъ лиризмомъ. За то, какъ у народа болѣе семейственнаго, чѣмъ общественнаго, болѣе созерцающаго, чѣмъ дѣйствующаго, у Нѣмцевъ нѣтъ ни драмы, ни романа. Всѣ попытки ихъ въ этихъ родахъ ознаменованы печатію особеннаго ничтожества, жалкаго безсилія и смѣшнаго уродства. Въ этомъ случаѣ, должно исключить одного Шиллера. Но этотъ великій поэтъ въ драмахъ своихъ остался вѣренъ національному духу: преобладающій характеръ его драмъ—чисто лирической, и онѣ ничего общаго не имѣютъ съ прототипомъ драмы, изображающей дѣйствительность—съ драмою Шекспира. Въ своей сферѣ, драмы Шиллера—великія, вѣковыя созданія; но ихъ не должно смѣшивать съ настоящею драмою новаго міра, и онѣ гораздо больше имѣ-

ють общаго съ греческою трагедією, чѣмъ съ Шекспировскою драмою. Для бѣльшаго поясненія нашей мысли скажемъ, что къ такому роду драмъ, какъ Шиллеровскія, относится и «Манфредъ» Байрона. Надо быть слишкомъ великимъ лирикомъ, чтобы свободно ходить на котурнѣ Шиллеровской драмы: простой талантъ, взобравшійся на ея котурнѣ, непремѣнно падаетъ съ него — прямо въ грязь. Вотъ отчего всѣ подражатели Шиллера такъ приторны, пошлы и несносны. «Фаустъ» и «Прометей» Гёте — тоже національныя нѣмецкія драмы, ибо глубокое философское содержаніе высказалось въ нихъ бурнымъ потокомъ лирическаго пафоса, а драматизмъ ихъ одна внѣшняя форма; отъ драматизма онѣ взяли только діалогъ. За то, всѣ прочія драмы Гёте, кромѣ одного «Гетца», представляющаго собою какое-то странное исключеніе изъ общаго правила, — живыя свидѣтельства неспособности Нѣмцевъ къ драмѣ, какъ выраженію дѣйствительности. Не говоря уже о такихъ жалкихъ созданіяхъ, какъ «Клавиго», «Стелло», «Братъ и Сестра», — самымъ «Эгмонтомъ» Гёте можетъ, какъ драмою, очароваться только неопытное эстетическое чувство, не умѣющее отличать поддѣлки и ложныхъ усилій отъ свободнаго творчества. Изъ романа Нѣмцы сдѣлали какой-то свой особенный родъ поэзіи; они въ немъ то сентиментальничали съ Августомъ Лафонтеномъ, то тѣшились фантазмагорическими аллегоріями съ Шписомъ, то превращали дѣйствительность въ фантазмагорію съ реніальнымъ сумасбродомъ Гофманомъ, котораго геній задохся въ тѣснотѣ идеальной и гофратской дѣйствительности. Отъ этого въ литературномъ мірѣ нѣтъ ничего хуже нѣмецкихъ романовъ, повѣстей и, въ особенности, драмъ. Къ несчастію, число послѣднихъ безконечно велико и со дня на день все пребываетъ, какъ полая вода весной, грозя затопить театръ. Но Англичанъ и Французовъ, имѣющихъ свою національную и истинную драму, не легко обморочить сладкими супами нѣмецкой драматической кухни: они на нихъ не смотрятъ. Благодаря досужеству

и бездарности нѣкоторыхъ російскихъ сочинителей и переводчиковъ, намъ, Русскимъ, досталось на долю, зѣвая и морщась, лакомиться приторными отъ сладости драматическими супами Нѣмцевъ. Въ XVII № «Репертуара» за прошлый годъ, напечатана драма Гудкова «Вернеръ, или Сердце и Свѣтъ». Боже великій, что это за дивная галиматья, что за геніальность бездарности? Не знаешь, чему болѣе дивиться въ ней: незнанію ли сердца человѣческаго, или незнанію свѣта! Нѣтъ, не далась Нѣмцамъ драма, не дался имъ театр: въ послѣднемъ, у нихъ много изученія, ума, даже учености, но нѣтъ жизни и натуры, — натянута въ позахъ, въ манерахъ, въ дикци, бюргерство и честность, гофратство и аккуратность, но не сценическое искусство, не поэзія...

«Братья Купцы» и «Рубенсъ въ Мадридѣ» принадлежать къ самымъ образцовымъ уродамъ драматической нѣмецкой гунстамеры. Сжучно, тяжело, и для насъ, и для читателей, было бы пересказыванье этой путаницы приключеній и походовъ, лишенныхъ всякой правдоподобности и естественности, — путаницы, которая составляетъ содержаніе этихъ двухъ приторныхъ драмъ. Жили да были, — изволите видѣть — два брата въ Лондонѣ: одинъ изъ нихъ бѣднякъ и гуляка, а другой человѣкъ тверезый, какъ говорятъ у насъ на Руси, и богачъ; бѣднякъ совсѣмъ проигрался и, попавъ въ тюрьму, просить брата помочь ему, но тотъ и слышать не хочетъ; вотъ Нѣмцу и стало досадно на жестокосердіе брата богача; черкнулъ перомъ Нѣмецъ — и богачъ сталъ бѣденъ и попалъ въ тюрьму, а бѣднякъ разбогатѣлъ, и бывший богачъ просить милостыни у бывшего бѣдняка, бывший бѣднякъ заупрямился было, но авторъ-Нѣмецъ, видя, что это безнравственно, заставилъ братьевъ помирились, они обнимаются и плачутъ, какъ два подгулявшіе бюргера; раѣкъ хлопаетъ, и занавѣсъ опускается. Этотъ вздоръ переведенъ, достойными его стихами, тщаніемъ и усердіемъ извѣстнаго драматурга Александринскаго театра. — Рубенса не любить испанскій грандъ, г. Тол-

ченовъ 1-й; за то его любить грандесса, которую онъ тоже обожаетъ. Грандъ, чтобъ уронить Рубенса при испанскомъ дворѣ, выписываетъ изъ Голландіи учителя его, старика фанъ-Орста; но Рубенсъ посылаетъ тому вдвое больше денегъ, входитъ переряженный подъ именемъ фанъ-Орста въ домъ гранда и пишетъ портретъ съ его жены. Тутъ, разумѣется, нѣжныя и патетическія сцены любви въ нѣмецкомъ вкусѣ, ахи, страхи, охи, вздохи, слезы, фразы; обманъ открывается; грандъ такъ и лѣзетъ на стѣну—хочетъ Рубенса весьма живота лишитъ; а тотъ, махая мечомъ картоннымъ, пугаетъ и гранда и слугъ его, идетъ во дворецъ — и навлекаетъ на себя гнѣвъ короля; но королева спасаетъ Рубенса, приходитъ въ его мастерскую, заставляетъ соперниковъ помириться и объявляетъ имъ, что оба они назначены послами—одинъ въ Римъ, другой въ Лондонъ. Рубенсъ выставленъ въ этой драматической шумихѣ шутомъ, фарсѣромъ и фразеромъ; великаго человѣка и художника нѣтъ и тѣни.

ЛОМОНОСОВЪ, ИЛИ ЖИЗНЬ И ПОЭЗІЯ. *Драматическая повѣсть въ пяти дѣйствіяхъ, въ прозѣ и стихахъ, соч. Н. А. Полеваго. Дѣйствіе первое: рыбагъ; дѣйствіе второе: поэтъ; дѣйствіе третье: цѣпи жизни; дѣйствіе четвертое: поэтъ и люди; дѣйствіе пятое: вѣдкій человѣкъ.*

Г. Полевой и г. Ободовскій завладѣли сценою Александринскаго театра, вниманіемъ и восторгомъ его публики. И если нельзя не завидовать лаврамъ сихъ достойныхъ драматурговъ, то нельзя не завидовать и счастью публики Александринскаго театра; она счастливаѣе и англійской публики, которая имѣла одного только Шекспира, и германской, которая имѣла одного только Шиллера: она, въ лицѣ гг. Полеваго и Ободовскаго,

имѣть вдругъ и Шекспира, и Шиллера! Г. Полевой — это Шекспиръ публики Александринскаго театра; г. Ободовскій — это ея Шиллеръ. Первый отличается разнообразіемъ своего гения и глубокимъ знаніемъ сердца человѣческаго; второй избыткомъ лирическаго чувства, которое такъ и хлещетъ у него черезъ край, потокомъ огнедышущей лавы. Тамъ, гдѣ у г. Полеваго не хватаетъ гения, или оказывается недостатокъ въ сердцевѣдѣніи, онъ обыкновенно прибѣгаетъ къ балетнымъ сценамъ и, подъ звуки жалобно протяжной музыки, устроиваетъ патетическія сцены разставанія нѣжныхъ дѣтей съ дражайшими родителями, или вѣрнаго супруга съ обожаемою супругою. Тамъ, гдѣ у г. Ободовскаго изсякаетъ на минуту самородный источникъ бурно-пламеннаго чувства, онъ прибѣгаетъ къ выскѣ, заставляя героя (а иногда и героиню) патетически-патріотической драмы отхватывать въ присядку какой-нибудь національный танецъ. Обвиняютъ г. Ободовскаго въ подражаніи г. Полевому; но вѣдь и Шиллеръ подражалъ Шекспиру! Обвиняютъ г. Полеваго въ похищеніяхъ у Шекспира, Шиллера, Гёте, Мольера, Гюго, Дюма и прочихъ; но это не только не похищенія—даже не заимствованія; извѣстно, что Шекспиръ бралъ свое, гдѣ ни находилъ его: то же дѣлаетъ и г. Полевой, въ качествѣ Шекспира Александринскаго театра. Г. Полевой пишетъ и драмы, и комедіи, и водевили; Шекспиръ писалъ только драмы и комедіи: стало-быть, гений г. Полеваго еще разнообразнѣе, чѣмъ гений Шекспира. Шиллеръ писалъ однѣ драмы и не писалъ комедій: г. Ободовскій тоже пишетъ однѣ драмы и не пишетъ комедій. Г. Полевой началъ свое драматическое поприще подражаніемъ «Гамлету» Шекспира; г. Ободовскій началъ свое драматическое поприще переводомъ «Дона Карлоса» Шиллера. Подобно Шекспиру, г. Полевой началъ свое драматическое поприще уже въ лѣтахъ зрѣлаго мужества, а до тѣхъ поръ, подобно Шекспиру, съ успѣхомъ упражнялся въ разныхъ родахъ искусства, свойственныхъ незрѣлой юности, и, подобно Шекспиру, началъ

свое литературное поприще нѣсколькими лирическими піесами, о которыхъ, въ свое время, извѣстилъ російскую публику г. Свиньянъ. Г. Ободовскій, подобно Шиллеру, началъ свое драматическое поприще въ лѣта пылкой юности. Намъ возразить, можетъ - быть, что Шекспиръ не прибѣгалъ къ балетнымъ сценамъ, и Шиллеръ не заставлялъ плясать своихъ героевъ; такъ: но вѣдь нельзя же ни въ чемъ найти совершеннаго сходства; притомъ же, балетныя сцены и пляски можно отнести скорѣе къ усовершенствованію новѣйшаго драматическаго искусства на сценѣ Александринскаго театра, чѣмъ къ недостаткамъ его. Послѣ Шекспира и Шиллера, драматическое искусство должно же было подвинуться впередъ, — и оно подвинулось: въ драмахъ г. Полеваго, съ приличною важною минутой выступки, а въ драмахъ г. Ободовскаго, съ дробною быстротою малоросійскаго трепака, — въ чемъ, сверхъ того, выразились и степенныя лѣта перваго сочинителя, и порывистая юность втораго. Что же касается до несходствъ, — ихъ можно найти и еще нѣсколько. Шекспиръ началъ свое поприще несчастью: г. Полевой счастливо; Шекспиръ не обольщался своею славою и смотрѣлъ на нее съ улыбкою горькаго британскаго юмора: г. Полевой вполне умѣетъ цѣнить пожатые имъ на сценѣ Александринскаго театра лавры. Шиллеръ былъ гонимъ въ юности и уважаемъ въ лѣта мужества: г. Ободовскій былъ ласкаемъ и уважаемъ со дня вступленія своего на драматическое поприще, и т. д.

Еслибы не усердіе и трудолюбіе сихъ достойныхъ драматурговъ, — русская сцена пала бы совершенно, за неимѣніемъ драматической литературы. Теперь она только и держится, что г-ми Полевымъ и Ободовскимъ, которыхъ, поэтому, можно назвать русскими драматическими Атлантами. Обыкновенно, они дѣйствуютъ такъ: когда сцена истощится, они пишутъ новую піесу, и піеса эта дается разъ пятьдесятъ сряду, а потомъ уже совсѣмъ не дается. Такъ недавно гѣшилъ г. Ободовскій публику Александринскаго театра своею неподобною

драмоу «Русская Боярыня XVII столѣтія»; такъ недавно тѣ-
шилъ г. Полевой публику Александринскаго театра «Еленою
Глинскою», а на прошлой масляницѣ потѣшалъ ее «Ломоно-
совымъ», который былъ данъ ровно девятнадцать разъ, и
который уже едва ли данъ будетъ въ двадцатый разъ. Сама
«Сѣверная Пчела» (зри 35 №) выразилась объ этомъ такъ:
Дайте десять разъ сряду піесу, и она уже старая! Всѣ ее
видѣли, всѣ наслаждались ею, и занимательность пропала.
А пусть бы играли ту же піесу два раза въ недѣлю, она
была бы свѣжа въ теченіе года. Вотъ придетъ масляница, и
къ посту піеса превратится въ Демьянову уху. Полно, правда
ли это? Намъ кажется, что для такой піесы, какъ «Ломоно-
совъ», очень выгодно быть представленной девятнадцать
разъ въ продолженіе двадцати дней, по пословицѣ: куй же-
лѣзо, пока горячо. Чтò изящно, то всегда интересно, и за-
нимательность хорошей піесы не можетъ пропасть ни съ
того, ни съ сего. «Горе отъ ума» и «Ревизоръ» и теперь
даются и всегда будутъ даваться. А «Ломоносовъ» и К° по-
шумятъ, пошумятъ недѣли двѣ-три, да и умрутъ скоропо-
стижно, пропадутъ безъ вѣсти.

Г. Ксенофонтъ Полевой сдѣлалъ изъ жизни Ломоносова
нѣчто среднее между повѣстью и біографіею. Онъ вѣрно при-
держивался тѣхъ немногихъ и главныхъ фактовъ жизни Ло-
моносова, которые дошли до нашего времени, вѣрно дер-
жался духа, разлитаго въ твореніяхъ Ломоносова, и очень
искусно замѣстилъ пробѣлы въ жизни Ломоносова возможными
и вѣроятными распространеніями и вымыслами, которые не
противорѣчатъ ни извѣстнымъ фактамъ жизни, ни духу тво-
реній Ломоносова. Такимъ образомъ, у г. К. Полеваго вышла
книга искусно изложенная. Г. Н. Полевой, соревнующій всѣмъ
прошедшимъ успѣхамъ, отъ водевиля Аблесимова, драмъ Ива-
нова и Ильина, до многочисленныхъ драматическихъ опытовъ
князя Шаховскаго, поревновалъ и успѣху брата своего, г. К.
Полеваго, — и изъ хорошей книги выкроилъ плохую драму,

въ которой, ради драматической шумихи дурнаго тона и трескучихъ эффектовъ, нарушилъ историческую истину и изъ характера отца русской учености и литературы сдѣлалъ жалкую каррикатуру. Жизнь Ломоносова нисколько не драматическая, и г. К. Полевой очень хорошо поступилъ, сдѣлавъ изъ нея нѣчто среднее между біографіею и повѣстью. Ломоносовъ былъ человекъ съ душою поэтической; мы охотно допускаемъ въ немъ и талантъ поэтической; но кому же неизвѣстно, что наука была преобладающею страстью его, и что заслуги его въ области науки несравненно значительнѣе и выше, чѣмъ въ области поэзіи и краснорѣчія? Г. Полевой, не разъ печатно говорившій, что Ломоносовъ не поэтъ, сдѣлалъ въ своей драмѣ Ломоносова по преимуществу поэтомъ и на его поэтическомъ стремленіи основалъ пафосъ своей драмы. Какъ вамъ покажется это противорѣчіе критика съ поэтомъ (ибо г. Полевой не шутя считаетъ себя поэтомъ)? Но это противорѣчіе не единственное: г. Полевой, въ продолженіе почти десятилѣтняго изданія своего «Телеграфа», постоянно и съ какимъ-то ожесточеніемъ преслѣдовалъ драматическіе труды князя Шаховскаго, а теперь самъ неутомимо подвизается на его поприщѣ, и притомъ въ томъ же духѣ, въ тѣхъ же понятіяхъ объ искусствѣ, только съ меньшимъ талантомъ, нежели князь Шаховской. И такихъ противорѣчій между г. Полевымъ, какъ бывшимъ критикомъ, и между г. Полевымъ, какъ теперешнимъ дѣйствующимъ на поприщѣ изящной словесности, можно найти много. Откуда же происходятъ эти противорѣчія, въ чемъ ихъ источникъ, гдѣ ихъ причина? По нашему мнѣнію, эти противорѣчія суть нѣчто кажущееся, въ самомъ же дѣлѣ ихъ нѣтъ. Какъ критикъ, г. Полевой не выше г. Полеваго романиста и драматурга. Критика г. Полеваго отличалась вкусомъ, остроуміемъ, здравымъ смысломъ, когда въ нее не вмѣшивались пристрастіе и оскорбленное сочинительское самолюбіе; но законы изящнаго, глубокой смыслъ искусства всегда были и навсегда

остались тайною для критики г. Полеваго. Вотъ почему теперь пріятнѣе перечитывать его рецензіи, чѣмъ его критики, и вотъ почему въ его критикахъ теперь уже не находятъ мыслей и даже не могутъ понять, о чемъ въ нихъ толкуется; и видятъ въ нихъ одни фразы и слова. Кто глубоко понимаетъ сущность искусства, тотъ благоговѣнно чтитъ искусство и никогда не рѣшится унижать его литературною дѣятельностію безъ призванія, безъ таланта. Но положимъ, что могутъ иногда быть подобныя нравственныя аномаліи, и что человѣкъ, глубоко понимающій искусство, можетъ имѣть иногда слабость чувствовать въ себѣ призваніе, котораго ему не дано, и видѣть въ себѣ талантъ, котораго въ немъ нѣтъ, все же въ его произведеніяхъ, какъ бы ни были они холодны, сухи и скучны, будутъ видны его понятія объ искусствѣ. Но драмы г. Полеваго—живое опроверженіе того, что онъ писывалъ, бывало, о чужихъ драмахъ, а критика его—рѣшительное ауто-да-фе для его драмъ. Нѣтъ, поверхностная критика г. Полеваго была зерномъ его теперешнихъ драмъ, и между ею и ими нѣтъ большаго противорѣчія. Критикъ г. Полевой былъ моложе, слѣдовательно, живѣе и сильнѣе нравственно; драматургъ г. Полевой — уже сочинитель, который все для себя рѣшилъ и опредѣлилъ, которому нечего больше узнавать, нечему больше учиться; вотъ и вся разница....

И, однакожь, основать драму жизни Ломоносова на исключительномъ стремленіи къ поэзіи, понимая Ломоносова совсѣмъ не какъ поэта,—это противорѣчіе уже не эстетикъ, а развѣ здравому смыслу. Но что г. Полевой человѣкъ умный, въ этомъ никто не сомнѣвается, и мы увѣрены, что онъ самъ прежде другихъ видѣлъ несообразность въ основной идеѣ своей «драматической повѣсти». Зачѣмъ же допустилъ онъ эту несообразность? Очевидно, что здѣсь увлекла его непреодолимая охота быть драматургомъ вопреки призванію и способностямъ. Какъ умный человѣкъ, онъ понималъ очень хо-

рошо, что нѣтъ никакой возможности заинтересовать толпу идеєю стремленія къ наукѣ, и что стремленіемъ къ поэзіи можно заинтересовать толпу, хотя она и не понимаетъ, чтѣ такое поэзія. Конечно, это показываетъ въ сочинителѣ легкость и неглубокость эстетическихъ, ученыхъ и литературныхъ убѣжденій. Чтѣ за любовь, чтѣ за уваженіе къ искусству, если хлопанье, крики и вызовы толпы могутъ ихъ ослаблять и уничтожать?

Когда идея, взятая въ основаніе произведенія, ложна сама въ себѣ, то и при талантѣ автора произведеніе не можетъ быть удачно; если же тутъ дѣло идетъ о сочинителѣ безъ призванія и способности, то изъ произведенія выходитъ нелѣпость. Если эта нелѣпость исполнена трескучихъ и грубыхъ эффектовъ и выставляется на удивленіе толпы, то она можетъ имѣть сильный, хотя и мгновенный успѣхъ...

Но мы отдалились отъ предмета статьи — «драматической повѣсти» г. Полеваго; обратимся къ ней. Рассказывать ея содержанія не будемъ, потому что это содержаніе — повтореніе тѣхъ изношенныхъ эффектовъ и истертыхъ общихъ мѣстъ, изъ которыхъ уже сто разъ клеилъ г. Полевой свои «драматическія представленія». Первый актъ вертится весь на любви—не Ломоносова, слава Богу, а Вавилы къ Настѣ, на которой отецъ хочетъ заставить Ломоносова жениться. Любовь—самый ложный мотивъ въ русской драмѣ, когда дѣло идетъ о женитьбѣ. Въ мужицкомъ быту не бываетъ французскихъ водевилей. Это ложь! Второй актъ опять состоитъ изъ любви—Ломоносова къ дочери его хозяйки, Христинѣ. Скряга и ростовщикъ Кляузъ далъ матери Христины денегъ взаймы и, зная, что ей нечѣмъ заплатить, хочетъ заставить ее выдать за него дочь свою, или пойти въ тюрьму. Когда уже старуху ташутъ въ тюрьму, Ломоносовъ кстати является съ деньгами, платитъ долгъ, выгоняетъ Кляуза, признается г-жѣ Энслебенъ въ любви къ ея дочери, проситъ ея руки. Какъ все это старо, пошло и приторно! Въ третьемъ актѣ,

Ломоносовъ презираетъ Вольфа, не ходитъ къ нему на лекціи, терпитъ нужду и говоритъ фразы. Пришедши разъ домой, онъ видитъ, что жена его спитъ у колыбели дочери, горестно задумывается, цѣлуетъ дочь, становится на колѣни, читаетъ молитву и, разыгравъ эту минутную сцену, уходитъ въ Россію. Эпизодъ завербованія, въ третьемъ актѣ, лишень всякой правдоподобности, всякой исторической истины и всякаго смысла. Въ четвертомъ актѣ, г. Полевой хотѣлъ изобразить въ лицѣ Ломоносова отношеніе поэта къ людямъ; людей онъ дѣйствительно представилъ довольно полными, но въ Ломоносовѣ показалъ не поэта, не ученаго, а какого-то брызгу, который на словахъ города беретъ, а на дѣлѣ малодушенъ и слабохарактеренъ, какъ плаксивый ребенокъ. Въ пятомъ актѣ, г. Полевой показываетъ намъ большой свѣтъ; вотъ это ужъ совсѣмъ напрасно! Его большой свѣтъ похожъ на пирушку подгулявшихъ сочинителей средней руки, которые подъ хмѣлкою, мирятся послѣ своихъ грязныхъ ссоръ, обнимаются, цѣлуются, называютъ другъ друга «почтеннѣйшими» и даже пляшутъ въ присядку, подогнувъ свои мелодраматическія колѣни. Кстати: на вельможескомъ балѣ, изображенномъ чудною кистію г. Полеваго, пляшетъ Тредьяковскій, подъ напѣвъ глупыхъ стиховъ своихъ. Что даже и вельможи стараго времени любили иногда потѣшиться ученымъ народомъ, который по большей части былъ горькимъ пьяницей и добровольнымъ шутомъ,—это фактъ; но чтобъ у вельможи на балѣ могъ плясать въ присядку Тредьяковскій,—это, вѣроятно, принадлежитъ къ поэтическому вымыслу г. Полеваго. Но нападки на г. Полеваго нѣкоторыхъ литераторовъ за Тредьяковского совершенно несправедливы. Мы помнимъ, что за это нападали на г. Лажечникова и «Библіотека для Чтенія», а въ драмѣ г. Полеваго, характеръ Тредьяковского есть повтореніе созданнаго г. Лажечниковымъ характера Тредьяковского въ «Лядяномъ домѣ». Говорятъ, что Тредьяковскій могъ писать плохіе стихи и, все-таки, быть порядочнымъ

человѣкомъ. Не знаемъ, такъ ли это, но вотъ анекдотъ о Тредьяковскомъ, изъ записокъ Пушкина:

Тредьяковскій пришелъ однажды жаловаться Шувалову на Сумарокова. „Ваше высокопревосходительство! Меня Александръ Петровичъ такъ ударилъ въ правую щеку, что она до сихъ поръ у меня болитъ“. — Какъ же, братецъ? отвѣчалъ ему Шуваловъ: у тебя болитъ правая щека, а ты держишься за лѣвую? — „Ахъ, В. В., вы имѣете резонъ“, отвѣчалъ Тредьяковскій, и перенесъ руку на другую сторону. Тредьяковскому не разъ случалось быть битымъ. Въ дѣлѣ Волынскаго сказало, что сей однажды въ какой-то праздникъ потребовалъ оду у придворнаго пинты Василія Тредьяковскаго; но ода была не готова и пылкій статсъ-секретарь наказалъ тростію оплошнаго стихотворца.

Хорошъ порядочный человѣкъ! Скажутъ: то было такое время! Однакожъ, въ такое же время Ломоносовъ писалъ къ Шувалову, хотѣвшему помирить его съ Сумароковымъ: «Я, ваше высокопревосходительство, не только у вельможъ, но ниже у Господа моего Бога дуракомъ быть не хочу».

ИГРОКИ. *Оригинальная комедія въ одномъ дѣйствіи. Соч. Гоголя.*

Драматическіе опыты Гоголя представляютъ собою какое-то исключительное явленіе въ русской литературѣ. Если не принимать въ соображеніе комедіи Фонъ - Визина, бывшія въ свое время исключительнымъ явленіемъ и «Горе отъ Ума», тоже бывшее исключительнымъ явленіемъ, въ свое время, — драматическіе опыты Гоголя среди драматической русской поэзіи съ 1835 года до настоящей минуты — это Чимборазо среди низменныхъ, болотистыхъ мѣстъ, зеленый и роскошный оазисъ среди песчаныхъ степей Африки. Послѣ повѣстей Гоголя, съ удовольствіемъ читаются повѣсти и нѣкоторыхъ другихъ писателей; но послѣ драматическихъ пьесъ Гоголя, ничего нельзя ни читать, ни смотрѣть на театрѣ. И между

тѣмъ, только одинъ «Ревизоръ» имѣлъ огромный успѣхъ, а «Женитьба» и «Игроки» были приняты или холодно, или даже съ непріязнію. Не трудно угадать причину этого явленія: литература наша хотя и медленно, но все же идетъ впередъ, а театръ давно уже остановился на одномъ мѣстѣ. Публика читающая и публика театральная—это двѣ совершенно различныя публики, ибо театръ посѣщаютъ и такіе люди, которые ничего не читаютъ и лишены всякаго образованія. У Александринскаго театра своя публика, съ собственною физиономіею, съ особенными понятіями, требованіями, взглядомъ на вещи. Успѣхъ пьесы состоитъ въ вызовѣ автора, и, въ этомъ отношеніи, не успѣваютъ только или ужъ черезчуръ безмысленныя и скучныя пьесы, или ужъ слишкомъ высокія созданія искусства. Слѣдовательно, ничего нѣтъ легче, какъ быть вызваннымъ въ Александринскомъ театрѣ,—и дѣйствительно, тамъ вызовы и громки, и многократны: почти каждое представленіе вызываютъ автора, а инаго по два, по три, по пяти и по десяти разъ. Изъ этого видно, какіе патріархальные нравы царствуютъ въ большой части публики Александринскаго театра! За-границею вызовъ бываетъ наградою подвига и признакомъ неожиданно великаго успѣха,—то же, что триумфъ для римскаго полководца. Въ Александринскомъ театрѣ вызовъ означаетъ страсть пошумѣть и покричать на свои деньги—чтобъ не даромъ онѣ пропадали; къ этому надо еще прибавить способность восхищаться всякимъ вздоромъ и простодушное неумѣніе сортировать по степени достоинства однородныя вещи. Отсюда происходитъ и страсть вызывать актѣровъ. Инаго вызовутъ десять разъ, и ужъ рѣдкаго не вызовутъ ни разу. Вызываютъ актѣровъ не по одному разу и въ Михайловскомъ театрѣ, но очень рѣдко, какъ и слѣдуетъ,—именно въ тѣхъ только случаяхъ, когда артистъ, какъ говорится, превзойдетъ самого себя. Въ Михайловскомъ театрѣ тоже аплодируютъ, кричатъ «браво», и въ остроумныхъ пьесахъ выражаютъ свой восторгъ смѣхомъ; но все бываетъ тамъ

кстати, именно тогда только, когда нужно, и во всемъ присутствуетъ благородная умѣренность—признакъ образованности и уваженія къ собственному достоинству человѣка. Кого легко разсмѣшить, тому непонятна истинная острота, истинный комизмъ. Піесы, восхваляющія большую часть публики Александринскаго театра, раздѣляются на поэтическія и комическія. Первыя изъ нихъ—или переводы чудовищныхъ нѣмецкихъ драмъ, составленныхъ изъ сентиментальности, пошлыхъ эффектовъ и ложныхъ положеній,—или самородныя произведенія, въ которыхъ, надутую фразеологію и бездушными возгласами, унижаются почтенныя историческія имена: пѣсни и пляски кстати и некстати доставляющія случай любимой актрисѣ пропѣть или проплясать, и сцены сумасшествія составляютъ необходимое условіе драмъ этого рода, возбуждаютъ крики восторга, бѣшенство рукоплесканій. Піесы комическія всегда—или переводы, или передѣлки французскихъ водевилей. Эти піесы совершенно убили на русскомъ театрѣ и сценическое искусство и драматическій вкусъ. Водевиль есть легкое, граціозное дитя общественной жизни во Франціи: тамъ онъ имѣетъ смыслъ и достоинство; тамъ онъ видитъ для себя богатые матеріалы въ ежедневной жизни, въ домашнемъ быту. Къ нашей русской жизни, къ нашему русскому быту, водевиль идетъ, какъ санная ѣзда и овчинныя шубы къ жителямъ Неаполя. И потому переводный водевиль еще имѣетъ смыслъ на русской сценѣ, какъ любопытное зрѣлище домашней жизни чужаго народа; но передѣланный, переложенный на русскіе нравы, или, лучше сказать, на русскія имена, водевиль есть чудовище безсмыслицы и нелѣпости. Содержаніе его, завязка и развязка, словомъ—баснь (fable), взяты изъ чуждой намъ жизни, а между тѣмъ большая часть публики Александринскаго театра увѣрена, что дѣйствіе происходитъ въ Россіи, потому что дѣйствующія лица называются Иванами Кузьмичами и Степанидами Ильинишнами. Грубый каламбуръ, плоская острота, плохой куплетъ—дополняютъ

очарованіе. Какое же тутъ можетъ быть драматическое искусство? Оно можетъ развиваться только на почвѣ роднаго быта, служа зеркаломъ дѣйствительности своего народа. Но эти незаконные водевили не требуютъ ни естественности, ни характеровъ, ни истины; а между тѣмъ они служатъ прототипомъ и нормою драматической литературы для публики Александринскаго театра. Артисты его (между которыми есть люди съ яркими дарованіями и замѣчательными способностями), не имѣя ролей, выражающихъ взятые изъ дѣйствительности и творчески обработанные характеры, не имѣютъ нужды изучать ни окружающей ихъ дѣйствительности, которую они призваны воспроизводить, ни своего искусства, которому они призваны служить. Не играя піесъ, проникнутыхъ внутреннимъ единствомъ, они не могутъ сдѣлать привычки къ единству и цѣлостности (*ensemble*) хода представленія, и каждый изъ нихъ старается фигурировать передъ толпою отъ своего лица, не думая о піесѣ и о своихъ товарищахъ. Мы несправедливы были бы по крайней мѣрѣ къ нѣкоторымъ изъ нихъ, еслибы стали отрицать въ нихъ всякій порывъ къ истинному искусству; но противъ теченія плыть нельзя, и, видя холодность и скуку толпы, они по неволѣ принимаются за ложную манеру, ради рукоплесканій и вызововъ. И вотъ, когда имъ случится играть піесу, созданную высокимъ талантомъ изъ элементовъ чисто русской жизни,—они дѣлаются похожими на иностранцевъ, которые хорошо изучили нравы и языкъ чуждаго имъ народа, но которые все-таки не въ своей сферѣ и не могутъ скрыть поддѣлки. Такова участь піесъ Гоголя. Чтобъ наслаждаться ими, надо сперва понимать ихъ, а чтобъ понимать ихъ, нужны вкусъ, образованность, эстетическій тактъ, вѣрный и тонкій слухъ, который уловитъ всякое характеристическое слово, поймаетъ на лету всякій намекъ автора. Одно уже то, что лица въ піесахъ Гоголя—люди, а не маріонетки, характеры, выхваченные изъ тайника русской жизни,—одно уже это дѣлаетъ ихъ скучными для большей части публики

Александринскаго театра. Сверхъ того, въ пьесахъ Гоголя нѣтъ этого пошлаго, избитаго содержанія, которое начинается приторною любовью, а оканчивается законнымъ бракомъ; но вмѣсто этого, въ нихъ развиваются такія событія, которыя могутъ быть, а не такія, какихъ не бываетъ и какія не могутъ быть. Простота и естественность недоступны для толпы.

«Игроки» Гоголя давно уже напечатаны; слѣдовательно, нѣтъ никакой нужды рассказывать ихъ содержаніе. Скажемъ только, что это произведеніе, по своей глубокой истинѣ, по творческой концепціи, художественной отдѣлкѣ характеровъ, по выдержанности въ цѣломъ и въ подробностяхъ, не могло имѣть никакого смысла и интереса для большей части публики Александринскаго театра, которая, къ довершенію всего, — по тому случаю, что въ тотъ же вечеръ Рубини играла на Большомъ театрѣ, — была и очень немногочисленна и ужъ слишкомъ неразборчиво составлена. Изъ ролей особенно хорошо были выполнены роль Швахнева (г. Самойловымъ) и Замухрышкина (г. Каратыгинымъ 2-мъ).

Кстати: въ 18 № «Московскихъ Вѣдомостей» пишутъ о бенефисѣ Щепкина, въ которомъ давались «Женитьба» и «Игроки» Гоголя. Изъ статьи этой видно, что обѣ пьесы были разыграны прекрасно. Кто знаетъ московскій театръ, тотъ повѣритъ, что пьесы Гоголя были представлены достойнымъ образомъ, достойнымъ и ихъ и громкаго имени творца ихъ. Всѣ русскія пьесы, т. е. хорошія русскія пьесы, а не «Боярыня XVII вѣка» и «Елена Глинская», идутъ на московскомъ театрѣ гораздо лучше, чѣмъ переводныя. «Горе отъ Ума» играется тамъ прекрасно; «Ревизоръ» тоже (за исключеніемъ роли Хлестакова, для которой не нашлось актѣра въ обѣихъ столицахъ нашихъ). Жаль, что въ статьѣ «Московскихъ Вѣдомостей» ничего не говорится о приѣмѣ, какой публика сдѣлала пьесамъ Гоголя, превосходнымъ по себѣ и прекрасно разыграннымъ. На Александринскомъ театрѣ «Же-

нитьба» была принята очень дурно, — и не мудрено: вкусъ нѣкоторыхъ посѣтителей Александринскаго театра избалованъ такими высокими созданіями, каковы: «Федосья Сидоровна, или Война съ Китайцами», «Русская Боярыня XVII вѣка» и «еще Русланъ и Людмила».

ВОЛНЕННЫЙ ВОЧЕНОКЪ, ИЛИ ОНЪ НА ЯВУ.

*Старинная нѣмецкая сказка, въ двухъ дѣйствіяхъ,
соч. Н. А. Полеваго.*

Это новое «драматическое представленіе» нашего знаменитаго драматурга все составлено или изъ сантиментально-мѣщанскихъ, или изъ юмористическихъ сценъ. Сынъ знатнаго барона живетъ у бочара въ подмастерьяхъ, изъ любви къ дочери его, Гретхенъ; любовники воркуютъ, цѣлуются и говорятъ другъ другу сладенькія пошлости. Губертъ, другой подмастерье бочара Ганца, ревнуетъ къ Фрицу Гретхенъ, подсматриваетъ за ними и рассказываетъ все Кунигундѣ, злой и бранчивой женѣ бочара. Кунигунда кричитъ, бранится, выходитъ изъ себя; ее никто не слушаетъ. Является Юганъ Пумпангикокъ, управитель барона Гохвольшпицвица, отца мнимаго Фрица; потомъ самъ баронъ — и уводитъ силою подмастерья-самоэванца. Во второмъ актѣ, Илья Бушъ, старый пьяница, рассказываютъ Ганцу о какомъ-то кладѣ, который можетъ дасться только тому бочару, въ дочь котораго влюбился бы баронъ, и такъ далѣе. Ганцъ исчезаетъ съ Бушемъ, и въ его отсутствіе домъ его описывается за долги, а жена съ дочерью выгоняются изъ описаннаго дома. Наконецъ, является Ганцъ; онъ везетъ на тачкѣ боченокъ, и кто ни заглянетъ въ этотъ боченокъ — даже самъ бургмейстеръ — всѣ кланяются Ганцу; Ганцъ велитъ бургмейстеру проплясать съ однимъ изъ почетныхъ жителей городка, — и г. Толченонъ 1-й (бургмейстеръ) пускается съ г. Дранше (Кондрадъ Шварцъ)

въ плясъ. Разуѣтся, публика Александринскаго театра, при сей вѣрной оказіи, предается громкому хохоту, а раѣкъ, какъ говорится въ простонародіи, животика надрываетъ со смѣху. Тогда актёръ, игравшій бочара Ганца (г. Сосницкій), обращается къ зрителямъ, говоря имъ что-то въ родѣ слѣдующаго: «Что-де вы такъ смѣетесь, какъ будто бы между вами есть хоть одинъ, который не проплясалъ бы ради этого боченка?» Черта знанія человѣческаго сердца истинно-Шекспировская! Изъ нея видно, что сочинитель долго и основательно изучалъ науку сердца человѣческаго... Надо сказать, что въ это время Ганць успѣлъ уже купить себѣ баронскій замокъ и слѣдовательно, баронское званіе. Затѣмъ, является баронъ Гохвольшпицвицъ и униженно соглашается на бракъ своего сына съ баронессою Гретхенъ. Ганць ломается, дѣлаетъ язвительныя выходки на счетъ волшебнаго всемогущества золота надъ душою человѣка, и т. п. Піеса оканчивается, какъ водится, пріячными восторгами жениха съ невѣстою. Чтобъ дополнить характеристику этого новаго «драматическаго представленія знаменитаго нашего «драматическаго представителя», г. Николая Полеваго, мы должны прибавить еще, что оное «драматическое представленіе» во многихъ мѣстахъ, для услажденія вкуса почтеннѣйшей публики Александринскаго театра, съ избыткомъ сдобрено и начинено знатнымъ количествомъ оплеухъ, тумачковъ, паденій вверхъ ногами и тому подобными драматическими эффектами... За то вѣдь ужъ и смѣху-то что было! Любо-дорого послушать!

ПОЛЧАСА ЗА КУЛИСАМИ. *Комедія въ одномъ дѣйствіи,*
соч. Н. А. Полеваго.

О, неутомимый нашъ «драматическій представитель»! когда находите вы время писать такое множество «драматическихъ представленій»? О вы, который написали намъ неконченную

«Исторію Русскаго Народа» для взрослыхъ людей, и потомъ, тоже неконченную, исторію Россіи для малолѣтнихъ читателей; оставшуюся въ рукописи «Исторію Петра Великаго» — вѣроятно для взрослыхъ людей, и потомъ напечатанную «Исторію Петра Великаго» — кажется, для малолѣтнихъ читателей; вы, который обѣщали издать многое множество до сихъ поръ неизданныхъ книгъ; вы, который написали нѣсколько романовъ, много повѣстей, издали нѣсколько томовъ юмористическихкихъ статей, нѣсколько томовъ переводныхъ повѣстей и всякой всячины, помѣщавшейся въ вашемъ журналѣ; вы, который писали о философіи, объ исторіи, о политической экономіи, о невещественномъ капиталѣ, о политикѣ, объ агрономіи и сельскомъ хозяйствѣ, о санскритской и китайской грамматикахъ, о лингвистикѣ, о литературахъ и языкахъ всего земнаго шара, объ эстетикѣ, и проч. и проч., гдѣ же и перечислить намъ все, что вы знаете, и о чемъ вы писали на вѣку своемъ! Скажите намъ, о, нашъ Вольтеръ и Гёте по всеобъемлемости свѣдѣній, многосторонности генія и разнообразію произведеній! скажите намъ, когда успѣли вы написать столько «драматическихкихъ представленій»? Они рождаются у васъ, какъ грибы послѣ дождя; вы производите ихъ дюжинами! Не изобрѣли ли вы паровой машины для изготовленія этого товара, — машины, въ которой перемалываются Шекспиръ, Шиллеръ, Вальтеръ-Скоттъ, Коцебу, князь Шаховской, г. Б. Ф(Ѳ)едоровъ и вашъ собственный геній, и изсмѣси всего этого выходятъ «драматическія представленія»? Вотъ сейчасъ любовались мы вашимъ «Волшебнымъ Боченкомъ», до краевъ наполненнымъ чистымъ золотомъ истинно-Шекспировской фантазіи, истинно-Шекспировскаго юмора, — и не успѣли мы отдохнуть отъ могущественныхъ и сладостныхъ впечатлѣній вашей бочарной піесы, какъ вы, неутомимый чародѣй, ведете насъ въ новой піесѣ на полчаса за кулисы, гдѣ, вѣроятно, увидимъ мы чудеса...

Такъ думали мы про себя въ антрактѣ между «Разказомъ»

г-жи Курдюковой» и пьесю г. Полеваго «Полчаса за Булисами»... Взвизвѣвшійся занавѣсъ прервалъ наши думы. Вглядываемся, вслушиваемся... ба! да это что-то знакомое! гдѣ-то мы читали это... А! да это старая пьеса «Утро въ кабинетѣ знатнаго барина», изъ «Новаго Живописца Общества и Литературы», издававшася при «Московскомъ Телеграфѣ». Любопытные могутъ найти ее въ тридцать третьей части «Московского Телеграфа» (1830): въ отдѣльно изданномъ, въ 1832 году, «Новомъ Живописцѣ Общества и Литературы» ея почему-то нѣтъ... «Полчаса за Булисами» отличается отъ «Утра въ Кабинетѣ Знатнаго барина» только собственными именами дѣйствующихъ лицъ: г. Беззубовъ послѣдняго названъ въ первомъ дюкомъ де-Шанюи; остальное также немножко офранцужено. И такъ, новому «драматическому представленію» г. Полеваго тринадцать лѣтъ. Порадовавшись неожиданному свиданію съ старымъ знакомымъ, мы подивились экономіи сочинителя, у котораго всякая дрянь идетъ въ дѣло.

РАЗСКАЗЪ Г-ЖИ КУРДЮКОВОЙ ОНЪ ОТЪЪЗДѢ ЕЯ ЗА ГРАНИЦУ.

Не понимаемъ, какимъ образомъ этотъ разговоръ попалъ въ число «драматическихъ представленій», но онъ дѣйствительно былъ представленъ на сценѣ Александринскаго театра, въ бенефисъ г-жи Сосницкой. Впрочемъ, мы уже слышали его на сценѣ Александринскаго театра: тогда онъ доставилъ намъ гораздо больше удовольствія, потому, во-первыхъ, что мы слушали его въ первый разъ, и потому, во-вторыхъ, что тогда онъ былъ гораздо короче... Для всякой шутки есть свое время, и повтореніе сегодня того, что, можетъ-быть, смѣшило вчера, наводитъ скуку и возбуждаетъ досаду. Мы думаемъ, что русское общество теперь уже далеко впереди

г-жи Курдюковой... Впрочемъ, и то сказать: публика Александринскаго театра крѣпко и громко хлопала сенсациямъ г-жи Курдюковой: видно, онѣ для нея и новы и забавны...

РЕЦЕПТЪ, ДЛЯ ИСПРАВЛЕНІЯ МУЖЕЙ. *Комедія-водевиль въ двухъ дѣйствіяхъ, взятая съ французскаго Н. А. Коровкина.*

На этотъ разъ, драматическій геній г. Боровкина едва ли не одержалъ блистательной побѣды надъ драматическимъ геніемъ г-на Полеваго: по крайней мѣрѣ, во время этой пьесы всѣ казались какъ-то оживленнѣе, какъ люди, очнувшіеся послѣ приема дурмана. Содержаніе этой пьесы состоитъ въ томъ, что одна молодая женщина, по совѣту доктора, исправляетъ мужа похѣсу, начавъ сама рыскать по баламъ и давать балы. Пьеса недурна и разыграна была хорошо.

СПИСОКЪ КНИГЪ, ОТЗЫЗЫ О КОТОРЫХЪ, ПО НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕЙ, НЕ ВОШЛИ ВЪ СЕДЬМУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО СОБРАНІЯ.

1843 г. *Отечественныя Записки. Кн. 2.* Сказка за сказкой. Т. III.— Мысли Русскаго вслухъ на новый годъ.—*Кн. 3.* Повѣсти и Разказы, Н. Кукольника. Т. I.—Статейки въ стихахъ. Т. I.—*Кн. 4.* Записки покойнаго Колечкина.—*Кн. 5.* Книга судьбы или чародѣй въ гостиныхъ. — Петербургскій театраль. — *Кн. 7.* На совѣ грядущій, соч. Сологуба.—Статейки въ стихахъ. Т. II.— Мысли Паскаля.—*Кн. 8.* Странствователь по сушѣ и морямъ. *Кн. 1.* Драгоценный подарокъ дѣтямъ, или русская азбука.—Разказъ П. М.—Средство выдавать дочерей замужъ.—*Кн. 9.* Исповѣдь.—Исторія похода 1815 г., соч. Фонъ-Дамница. — Библіотека хозяйственныхъ и коммерческихъ зданій. — *Кн. 10.* Сочиненіе Зенеды Р—вой.—Памятная книжка для молодыхъ людей. — Притчи и повѣсти, выбранныя изъ Крумахера. — *Кн. 11.* Повѣсти и разказы Кукольника. Т. II.—Картины русскихъ нравовъ.— Странствователь по сушѣ и морямъ. Кн II.—Разказъ П. М.—Памятникъ искусствъ.—*Кн. 12.* Молодикъ на 1843 годъ.

КОНЕЦЪ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ СЕДЬМОЙ ЧАСТИ.

1843.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

1.

Бритика.

	Стр.
Русская литература въ 1842 г.	9
Сочиненія Державина	58
Сочиненія Зепенды Р—ой	152

2.

Вибліографія.

Стихотворенія Лермонтова.	197
Сочиненія Державина	198
Сказка за сказкой. Т. II.	205
Были и небылицы	206
Исторія Суворова	209
Супружеская истица	213
Сочиненія Н. Гоголя	216
Божественная комедія Данте, пер. Фанъ-Дима	223
Драматическія сочиненія и переводы Н. Полеваго. Т. III	224
Переводчикъ или сто одна повѣсть	232
Аристократка, быль, рассказанная Л. Брантомъ	234
Сельское чтеніе	241
Драматическія сочиненія и переводы Н. Полеваго. Т. IV	245
Физиологія женатаго человека	247
Путевыя записки по Россіи	248
Параша, рассказъ въ стихахъ. Т. Л.	256
Физиологія театровъ въ Парижѣ и въ провинціяхъ — Физиологія Вивера	276

	Стр.
Молодигъ украинскій литературный сборникъ	278
Казаки, повѣсть Александра Кузьмича	280
Повѣсти Ивана Гудошника	286
Князь Курбскій, соч. Б. Федорова	289
Исторія государства Россійскаго, соч. Карамзина	302
Стихотворенія Милькѣева	305
Русская грамматика для русскихъ, соч. Половцова	317
Сказка о мельникѣ колдунѣ и проч., соч. Алипапова	319
Повѣсти А. Вельтмана	321
Провинціальная жизнь, соч. Егора Классена	325
Разныя повѣсти	329
Голосъ за родное, повѣсть Фанъ-Дима	332
Рѣчь объ истинномъ значеніи повѣи, Метлинскаго	—
Осада Троице-Сергіевской Лавры, историческій романъ	334
Демонъ стихотворства, комедія	336

3.

Журнальная всячина.

Алексій Васильевичъ Кольцовъ (некрологъ)	345
Библиографическія и журнальныя извѣстія	349
Литературныя и журнальныя замѣтки	363

4.

Т е а т р ъ .

Русскій театръ въ Петербургѣ	437
--	-----

Списокъ книгъ, отзывы о которыхъ, по незначительности своей, не вошли въ седьмую часть	464
---	-----

СОЧИНЕНІЯ

В. БЪЛИНСКАГО.

СОЧИНЕНІЯ
В. БЪЛИНСКАГО.

СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА И ЕГО ФАКСИМИЛЕ.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ.

Издание шестое.

ЦѢНА ЗА КАЖДУЮ ЧАСТЬ 1 Р. 25 К.

МОСКВА
Типографія А. И. Мамонтова и Ко, Леонтьевскій пер., № 5
1892

1844.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

I.

КРИТИКА.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЪ 1843 ГОДУ.

Литература наша находится теперь въ состояніи кризиса: это не подвержено никакому сомнѣнію. По многимъ признакамъ замѣтно, что она, наконецъ, твердо рѣшилась или принять дѣльное направленіе и не даромъ называться «литературою», или—какъ говорить у Гоголя Иванъ Александровичъ Хлестаковъ—«смертію окончить жизнь свою». Последнее обстоятельство, прискорбное для всѣхъ, было бы очень горестно и для насъ, еслибъ мы не утѣшали себя мудрою и благородною поговоркою: «все, или ничего!» Въ смиренномъ сознаніи дѣйствительной нищеты гораздо больше честности, благородства, ума и мужественнаго великодушія, чѣмъ въ дѣтскомъ тщеславіи и ребяческихъ восторгахъ отъ мнимаго, воображаемаго богатства. Изъ всѣхъ дурныхъ привычекъ, обличающихъ недостатокъ прочнаго образованія и излишество добродушнаго невѣжества, самая дурная — называть вещи не настоящими ихъ именами. Но, слава Богу, наша литература теперь рѣшительно отстаетъ отъ этой дурной привычки, и если изъ кое-какихъ литературныхъ захолустій раздаются еще довольно часто самохвальные возгласы, публика знаетъ уже, что это не голосъ истины и любви, а вопль или литературнаго торгашества, которое жаждетъ прибытковъ на счетъ добродушныхъ читателей, или самолюбивой и задорной бездарности, которая, въ своей лѣности и апатіи, въ своемъ бездѣйствіи

и своихъ мелочныхъ произведеніяхъ, думаетъ видѣть неопровержимыя доказательства неизчерпаемаго богатства русской литературы. Да, публика уже знаетъ, что это торгашество и эта бездарность, по большей части соединяющіяся вмѣстѣ, спекулируютъ на ея любовь къ родному, къ русскому — и свои пошлыя произведенія называютъ «народными», сколько въ надеждѣ привлечь этимъ вниманіе простодушной толпы, столько и въ надеждѣ зажать ротъ неумолимой критикѣ, которая, признавая патриотизмъ святымъ и высокимъ чувствомъ, поэтому самому съ большимъ ожесточеніемъ преслѣдуетъ же - патриотизмъ, соединенный съ бездарностью. Публика знаетъ, что ей уже нечего искать въ романахъ и повѣстяхъ изъ русской исторіи, или преданій старины, ибо она знаетъ, что русская исторія и русская старина сами по себѣ, а таланты нашихъ сочинителей и взглядъ ихъ на вещи — сами по себѣ, и что русскій бытъ, историческій и частный, состоитъ не въ однихъ только русскихъ именахъ дѣйствующихъ лицъ, но въ особенностяхъ русской жизни, развившейся подъ неотразимымъ влияніемъ мѣстности и исторіи, — такъ же, какъ патриотизмъ состоитъ не въ пышныхъ возгласахъ и общихъ мѣстахъ, но въ горячемъ чувствѣ любви къ родинѣ, которое умѣетъ высказаться безъ восклицаній и обнаруживается не въ одномъ восторгѣ отъ хорошаго, но и въ болѣзненной враждебности къ дурному, неизбѣжно бывающему во всякой землѣ, слѣдовательно, во всякомъ отечествѣ. Больше же всего и яснѣе всего публика сознаетъ, что ей нечего читать, несмотря на возстаніе и воздвиженіе разныхъ непризванныхъ оживителей и воскресителей русской литературы и несмотря на громкіе возгласы ихъ хвалителей. Это истина неоспоримая. Книгопродавцы то и дѣло выпускаютъ въ свѣтъ объявленія о новыхъ книгахъ, которыя они издали и которыя они намѣрены издать, — объявленія, печатаемые на листахъ чудовищной величины, гигантскимъ и мелкимъ шрифтомъ, безъ подтипа-

жей и съ политипажами, и съ великолѣпными похвалами этимъ книгамъ, написанными книгопродавческимъ слогомъ; возвѣщаемыя книги дѣйствительно выходятъ въ свѣтъ и продаются по объявленнымъ цѣнамъ, — а читателямъ отъ этого не легче, потому что читать все-таки нечего! Библиографы и рецензенты въ отчаяніи: имъ совсѣмъ нѣтъ работы, нечего разбирать, не надъ чѣмъ потрунить, да нечего и похвалить; въ беллетристическихъ книгахъ картинки хороши или сносны, а текстъ плосокъ до того, что не за чтѣ зацѣпиться; потомъ бѣлая часть книгъ все учебники, изрѣдка хороше, но чаще невинныя и въ добрѣ и злѣ. Отдѣленіе библиографіи въ журналахъ со дня на день теряетъ свою занимательность въ глазахъ публики, которая всегда читала рецензію съ большею жадностью, бѣльшимъ вниманіемъ и бѣльшимъ удовольствіемъ, чѣмъ самую книгу, на которую написана рецензія. Журналы также въ отчаяніи; имъ остается разбирать только другъ друга: занятіе невинное и забавное, которое, впрочемъ, едва ли можетъ занять публику больше преферанса и домашнихъ сплетней!

Куда же дѣвались наши книги? гдѣ же наша литература? «Да ихъ поглотили толстые журналы!» кричатъ со всѣхъ сторонъ. «Какихъ книгъ, какой литературы хотите вы, если любая книжка толстаго журнала въ состояніи поглотить въ себя литературный бюджетъ цѣлаго года?» А вотъ въ чемъ зло: толстые журналы виноваты! Но сколько же у насъ издается толстыхъ журналовъ?—Два: «Отечественныя Записки» и «Библіотека для чтенія». Попробуемъ провѣрить фактически справедливость этого умозрительнаго обвиненія.

«Отечественныя Записки» состоятъ изъ восьми отдѣловъ, изъ которыхъ цѣлыя пять совершенно невинны въ поглощеніи русскихъ книгъ: мы говоримъ объ отдѣлахъ Современной Хроникѣ Россіи, Критики, Библиографической Хроники, Иностранной Литературы и Смѣси, въ которые ни коимъ образомъ не могутъ войдти статьи въ книгу величяною, или

статьи, которыя могли бы быть изданы отдѣльно и не были рождены срочною и дневною потребностью журнала. Въ отдѣлы: Наукъ и Художествъ и Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще иногда входят статьи до того огромныя, что могли бы составить порядочной величины книгу: таковы были, въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ «Отечественныхъ Записокъ» 1841 года, статьи «Альбигойцы и крестовые противъ нихъ походы», «Греція въ нынѣшнемъ своемъ состояніи» (1841), «Гёте» (1842), «Средняя Азія по новѣйшимъ изслѣдованіямъ Гумбольдта» (1843), и др., и въ отдѣлѣ Домоводства, Сельскаго Хозяйства и Промышленности вообще «Отечественныхъ Записокъ» 1842 года, огромная статья г. Сабурова «Записки Пензенскаго Земледѣльца о теоріи и практикѣ сельскаго хозяйства». Каждая изъ этихъ статей есть большая книга; но, во - первыхъ, такихъ большихъ статей немного бываетъ въ журналахъ; а во-вторыхъ, онѣ своимъ появленіемъ въ печати обязаны только журналу. Упомянутыя статьи въ отдѣлѣ «Наукъ» — переводныя или сокращенныя изъ нѣсколькихъ книгъ, изданныхъ на иностранныхъ языкахъ: «Отечественныя Записки» никому не помѣшали бы перевести или составить ихъ и издать въ свѣтъ, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ этихъ сочиненій изданы были въ подлинникѣ нѣсколько лѣтъ назадъ, — и, однакожь, никто и не подумалъ приняться за нихъ. А почему? — да потому, что въ журналѣ ихъ прочли всѣ читающіе журналъ, а явивъ они отдѣльною книгою, то переводчикъ или составитель остался бы невознагражденнымъ, издатель въ убыткѣ, и прекрасное сочиненіе было бы прочитано много-много нѣсколькими десятками человѣкъ; для большинства же публики они остались бы вовсе неизвѣстными. И мало ли на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ хорошихъ историческихъ сочиненій, которыя соединяютъ въ себѣ ученость содержанія съ популярностью изложенія? Кто же мѣшаетъ ихъ кому-нибудь переводить и издавать? Неужели толстые журналы?

Вѣдь они, кажется, не пользуются правомъ монополіи касательно переводовъ иностранныхъ сочиненій? Притомъ же, всѣ наши журналы, безъ исключенія, грѣхъ обвинить въ скорости и послѣдности, съ которою они представляли бы въ переводахъ своимъ читателямъ новыя учено-популярныя иностранныя сочиненія, и которая препятствовала бы кому-нибудь переводить и издавать ихъ отдѣльно. Чтѣ же касается до статьи г. Сабурова, то и ей ничто не мѣшало явиться отдѣльною книгою, кромѣ развѣ естественнаго для книги желанія быть прочитанною не ограниченнымъ числомъ присяжныхъ любителей книгъ такого содержанія, а цѣлою публикою... Теперь остается одинъ отдѣлъ, на который въ особенности должно падать обвиненіе въ поглощеніи книгъ и литературы: это отдѣлъ Словесности, гдѣ помѣщаются стихотворенія, повѣсти и другія беллетристическія статьи. Но, во-первыхъ, стихотвореній въ нынѣшнихъ журналахъ, и толстыхъ и тонкихъ, печатается немного, потому что посредственныхъ никто не хочетъ читать, хорошія же рѣдки, а превосходныхъ, послѣ Лермонтова, уже никто не пишетъ; во-вторыхъ, въ отдѣлѣ словесности помѣщаются не одни русскіе повѣсти и романы, но и переводные, и самыя большіе всегда бывають переводные; въ-третьихъ, ни тѣмъ, ни другимъ никто не мѣшалъ бы являться отдѣльными книгами, еслибы они сами этого захотѣли, ибо, повторяемъ, толстые журналы не пользуются правомъ монополіи для печатанія оригинальныхъ и переводныхъ романовъ и повѣстей.

Все сказанное объ «Отечественныхъ Запискахъ» можно приложить и къ «Библіотекѣ для Чтенія»: слишкомъ большія статьи и въ ней помѣщаются, изрѣдка, въ отдѣлахъ Наукъ и Художествъ и Промышленности и Сельскаго Хозяйства, — чаще, въ отдѣлѣ Русской Словесности, и очень часто въ отдѣлѣ Словесности Иностранной, гдѣ передѣлываются на русскій языкъ иностранныя повѣсти и романы.

Многочисленны же должны быть русскія книги и богата же

должна быть русская литература, если онѣ цѣликомъ поглощаются тремя отдѣлами двухъ журналовъ,—тремя отдѣлами, состоящими на половину изъ переводныхъ статей!!...

Однакожь, скажутъ намъ, до существованія толстыхъ журналовъ книгъ выходило гораздо больше!...

Это справедливо; но причина этого не въ толстыхъ и не въ тонкихъ журналахъ. Для книгъ ученаго содержанія у насъ нѣтъ еще публики, и наши ученые, еслибъ они много писали и много издавали, дѣлали бы это для собственнаго удовольствія и сами были бы и читателями, и покупателями собственныхъ своихъ книгъ. Это фактъ, противъ очевидной дѣйствительности котораго не устоятъ никакія фразы и возгласы, какъ бы ни были они великолѣпны. Ученая литература наша всегда была до того бѣдна, что странно было бы и называть ее литературою, какъ странно называть библіотекою шкафъ съ нѣсколькими десятками разрозненныхъ книгъ. Но прежде ученыхъ книгъ выходило еще меньше, чѣмъ теперь. И все лучшее по этой части является теперь только или черезъ прямое посредство правительства, или подъ его покровительствомъ, особенно книги спеціальнаго содержанія, какъ-то: историческіе акты, сочиненія по части статистики, по части инженерной, горной и т. п. Сочиненія медицинскія болѣе независимы, и потому врачебная литература, въ сравненіи съ другими, болѣе богата, ибо въ значительномъ (по числу своему) сословіи врачей все же есть люди, болѣе или менѣе слѣдящіе за ходомъ науки, которая, по крайней мѣрѣ, даетъ имъ хлѣбъ. Учебныя книги у насъ можно издавать только при условіи, чтобъ онѣ были приняты въ руководство въ казенныхъ учебныхъ заведеніяхъ. Въ послѣднее время учебная литература обогатилась многими хорошими книгами, изъ которыхъ первое мѣсто по достоинству занимаютъ руководства, изданныя для военно-учебныхъ заведеній. Итакъ, при всей бѣдности ученой и учебной литературы, настоящее время все-таки имѣетъ большое

преимущество предъ прежнимъ, когда исторіи г. Кайданова, географіи Зябловскаго, грамматики г. Греча и риторики гг. Толмачева и Кошанскаго—считались отличными учебниками. Что касается до собственно беллетристической литературы, или, какъ ее называютъ иначе — изящной словесности, въ прежнее время, т. е. отъ двадцатыхъ до сороковыхъ годовъ, она казалась столь же богатою и процвѣтающею, сколь теперь кажется бѣдною и увядающею. Но если она казалась богатою, изъ этого не слѣдуетъ, чтобъ она и была богата въ самомъ дѣлѣ. Въ двадцатыхъ годахъ публика была въ восторгѣ отъ избытка литературныхъ сокровищъ. Но въ чемъ состояли эти сокровища? Въ крошечныхъ альманахахъ, наполненныхъ крошечными отрывками изъ крошечныхъ поэмъ, крошечныхъ драмъ, крошечныхъ повѣстей, которыми, большею частію, никогда не суждено было явиться вполнѣ, т. е. съ началомъ и концомъ. Вспомните, сколько, бывало, шума и радости производило появленіе «Сѣверныхъ Цвѣтовъ!» А что было въ нихъ? Двѣ-три новыя пьесы Пушкина или Жуковскаго, которыя, конечно, были бы всегда драгоценными перлами во всякаго рода изданіяхъ; но вмѣстѣ съ ними съ восторгомъ, равно дѣтскимъ, читались, перечитывались, учились наизусть и переписывались въ тетрадки стихотворенія и другихъ поэтовъ, изъ которыхъ одни были точно съ замѣчательными талантами, а другіе вовсе безъ таланта, владѣя гладкимъ стихомъ и модною манерою выражать бывшія тогда въ модѣ чувства унынія, грусти, дѣли, разочарованія и тому подобное. Сверхъ того, въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» были литературныя обозрѣнія г. Сомова, аллегоріи г. Θ. Глинки, даже статьи Владиміра Измайлова. Въ наше время такіе альманахи ужь невозможны: и самыя стихотворенія Пушкина или Лермонтова не заставили бы никого заплатить десять рублей за маленькую книжечку, въ которой, за исключеніемъ трехъ-четыреухъ превосходныхъ стихотвореній, все остальное — или посредственность, или

просто вздоръ. Мы не говоримъ о другихъ альманахахъ, потянувшихся длиною вереницею за «Сѣверными Цвѣтами», какъ-то: «Уранія», «Сѣверной Лирѣ», «Невскомъ Альманахѣ», «Сириусѣ», «Царскомъ Селѣ» и многомъ множествѣ другихъ. Чтò же выходило тогда кромѣ альманаховъ? — Поэмки въ стихахъ, которыхъ теперь и названій нельзя вспомнить, равно какъ и именъ ихъ сочинителей; разныя драматическія произведенія, теперь забытыя вмѣстѣ съ именами ихъ производителей, да еще безобразныя и чудовищныя переводы поэмъ и романовъ Вальтеръ - Скотта вмѣстѣ съ глупыми романами виконта Дарленкура... Въ такомъ положеніи была наша литература отъ начала такъ называемаго романтизма до 1829 года. Лучшія и многочисленнѣйшія статьи въ тогдашнихъ журналахъ, преимущественно въ «Московскомъ Телеграфѣ», были переводныя, а оригинальныя большею частію состояли изъ отрывковъ. Стихи преобладали тогда надъ прозою и наводняли журналы и альманахи; въ то же время стихи издавались и отдѣльными книжками, то подъ именемъ «поэмъ», то подъ именемъ «собраній сочиненій» такого-то. И, несмотря на то, изъ замѣчательныхъ поэтовъ никто не былъ изданъ въ то время. «Горе отъ Ума» ходило въ рукописи по всѣмъ краямъ обширнаго русскаго царства. Стихотвореній Пушкина была издана только небольшая книжка въ 1826 году. Настоящее изданіе собранія сочиненій Пушкина началось уже съ 1829 года. Сочиненія наиболѣе уважавшихся поэтовъ того времени, какъ-то: Баратынскаго, Веневитинова, Языкова, Подолинскаго, Козлова, Давыдова, Дельвига, Полежаева, были изданы уже въ тридцатыхъ годахъ *). Итакъ, гдѣ же это богатство книжной производительности двадцатыхъ годовъ, которое уличило бы наше время въ литературной бѣд-

*) За исключеніемъ только первой части сочиненій Веневитинова, изданной въ 1829 году.

ности? Это богатство было мнимое, призрачное; оно заключалось въ новизнѣ, которая добродушно принималась въ то время за гениальность, въ отрывкахъ, которые считались за цѣлыя великія творенія, на честное слово сочинителей,— въ потопѣ стиховъ, которые, благодаря гладкости, сладостной лѣни и унылому раздумью, принимались за поэзію. И это множество стиховъ являлось не оттого, чтобы поэты того времени писали много, но оттого, что слишкомъ много поэтовъ писало въ то время. Десять тысячъ стихотворцевъ, написавъ каждый по десятку стихотвореній, подарятъ свѣтъ такую громадою стиховъ, въ сравненіи съ которою полное собраніе сочиненій такихъ плодовитыхъ поэтовъ, какъ Байронъ, Гёте, Шиллеръ, будетъ небольшая книжечка. Нашихъ поэтовъ грѣхъ обвинять въ плодовитости: это грѣхъ, въ которомъ они рѣшительно невинны. Самъ Пушкинъ, дѣятельнѣйшій и плодовитѣйшій изъ всѣхъ русскихъ поэтовъ, писалъ слишкомъ мало и слишкомъ лѣниво въ сравненіи съ великими европейскими поэтами. Но это, конечно, была не его вина: наша дѣйствительность не слишкомъ богата поэтическими элементами и немного можетъ дать содержанія для вдохновеній поэта, — такъ же какъ нашъ плоскій материкъ, заслоненный сѣрымъ и сырымъ небомъ, не много можетъ дать видовъ для пейзажнаго живописца. Пушкинъ, впрочемъ, взялъ все, что могъ взять. Но что сдѣлали другіе поэты, вмѣстѣ съ нимъ вышедшіе на литературное поприще? Одинъ изъ нихъ представилъ публикѣ собраніе многолѣтнихъ поэтическихъ трудовъ въ двухъ томикахъ, другіе—въ одномъ мињятурномъ томикѣ. За то всѣ они были изданы очень красиво и съ большими пробѣлами. Скажутъ: «но вѣдь достоинство поэта измѣряется качествомъ, а не количествомъ написаннаго имъ». Иногда, и чаще всего, тѣмъ и другимъ,—отвѣчаемъ мы. Источникъ поэтической дѣятельности есть творческая натура,—и чѣмъ болѣе одаренъ поэтъ

творческою силою, тѣмъ, естественно, онъ дѣятельнѣе, подобно пароходу, который тѣмъ быстрѣ летитъ, чѣмъ огромнѣе его машина и чѣмъ жарче она топится. Неистощимость и разнообразіе всякой поэзіи зависятъ отъ объема ея содержанія, и чѣмъ глубже, шире, универсальнѣе идеи, одушевляющія поэта и составляющія паеосъ его жизни, тѣмъ, естественно, разнообразнѣе и многочисленнѣе его произведенія: тучная, богатая растительными силами почва не истощается одною богатою жатвою, а сухая и песчаная не даетъ и одной порядочной жатвы. Если поэтъ мало писалъ, значить, ему было не о чемъ больше писать, потому что вдохновлявшей его идеи, по ея поверхности и малкости, едва стало на два, на три десятка болѣе или менѣе разнообразныхъ, хотя въ то же время болѣе или менѣе и прекрасныхъ пьесокъ. Вотъ почему, когда иной знаменитый поэтъ нашъ соберется наконецъ издать собраніе своихъ стихотвореній, всѣмъ извѣстныхъ прежде изъ журналовъ и альманаховъ, то очень должно остерегаться читать тѣ его стихотворенія, которыя послѣ изданія этого сборника будетъ онъ изрѣдка печатать въ журналахъ. Причина очевидна: наши поэты большею частью издаютъ собранія своихъ поэтическихъ трудовъ, какъ памятники, дорогіе ихъ сердцу, лучшихъ дней ихъ жизни, когда они любили и мечтали. Но когда человѣкъ перестаетъ мечтать, истративъ на мечты лучшую половину своей жизни, въ которую слѣдовало бы мыслить, и когда волею или неволею, сходится и мирится онъ съ пошлою дѣйствительностію, за незнаніемъ разумной дѣйствительности, открывающейся только мысли и сознанію, а не чувствамъ и мечтамъ — тогда талантъ оставляетъ его, и въ такомъ случаѣ всего лучше поторопиться ему издать свои сочиненія. Жаль только, что эти счастливыя дѣти своего времени въ сборникѣ часто являются гостями, опоздавшими на пиръ и пришедшими въ старомодныхъ костюмахъ: они бывають неприятно поражены холоднымъ пріемомъ даже

со стороны тѣхъ самыхъ людей, которые пять-шесть лѣтъ назадъ, были отъ нихъ въ восторгѣ...

Но обратимся къ двадцатымъ годамъ русской литературы. Въ это ультра-романтическое и ультра-стихотворное время проза была въ самомъ жалкомъ состояніи. Пушкинъ почти ничего не писалъ прозою. Нѣсколько статей Веневитинова принадлежатъ къ прозѣ теоретической, а не поэтической, а въ этомъ родѣ прозы было кое-что, болѣе или менѣе замѣчательное. Кромѣ мыслящихъ статей Веневитинова, въ сферѣ поэтической прозы отличались тогда трескучія эффектами и фразою повѣсти Марлинскаго и приводили добродушную публику въ неописанный восторгъ. Чтобъ нѣсколькими словами охарактеризовать бѣдность изящной прозы того времени, стоитъ только замѣтить, что даже и повѣсти одного московскаго ученаго, совершенно лишенныя фантазіи, нищія талантомъ, богатыя чорствою сухостію чувства и грубымъ цинизмомъ понятій и выраженій, многимъ и очень многимъ нравились, хотя тогда же многіе смѣялись надъ этими жалкими порожденіями незаконныхъ притязаній на талантъ и поэзію. Послѣ этого, удивительно ли, что для большинства того времени дивомъ-дивнымъ казались повѣсти г. Полеваго, чуждыя всякаго творчества, но не чуждыя нѣкоторой избрѣтательности, бѣдныя чувствомъ, но богатыя чувствительностію, лишенныя идеи, но достаточно напигигованныя высшими взглядами, — повѣсти, представлявшія вмѣсто характеровъ образы безъ лицъ, т. е. неопредѣленныя полумысли автора, — повѣсти, не щеголявшія слогомъ, но ловко владѣвшія фразою и не безъ основанія претендовавшія на нѣкоторое достоинство разсказа, обличавшее въ авторѣ литературное образованіе и навыкъ, — повѣсти, невинныя въ какомъ бы то ни было тактѣ дѣйствительности и способности хотя приблизительно понимать дѣйствительность, но очень и очень виновныя въ мечтательности и натянутомъ, приторномъ абстрактномъ идеализмѣ, который презираетъ

землю и матерію, питается воздухомъ и высокопарными фразами и стремится все «туда» (dahin!)—въ эту чудную страну праздношатающагося воображенія, въ эту вѣчную Атлантиду себялюбивыхъ мечтателей?... Удивительно ли, что и люди, не принадлежавшіе къ большинству, считали эти повѣсти за весьма пріятное явленіе въ русской литературѣ? Вѣдь тогда еще не было ни «Пиковой Дамы», ни «Капитанской Дочки» Пушкина, ни повѣстей Гоголя, ни «Героя нашего времени» Лермонтова ..

Впрочемъ, гг. Погодинъ и Полевой слишкомъ много писали повѣстей только съ 1829 года. Этотъ годъ былъ довольно замѣтнымъ поворотомъ отъ стиховъ къ прозѣ, и нельзя не согласиться, что, считая отъ этого времени до 1836 года, литература наша была болѣе оживлена и болѣе богата книгами, чѣмъ прежде и послѣ того. Въ этотъ промежутокъ времени появились «Вечера на Хуторѣ близъ Диканьки», «Арабески», «Миргородъ» и «Ревизоръ» Гоголя, и самъ Пушкинъ началъ обращаться къ прозѣ, напечатавъ лучшія свои повѣсти—«Пиковую Даму» и «Капитанскую Дочку». Этого уже слишкомъ довольно, чтобъ не только считатьъ это время богатымъ и обильнымъ литературными произведеніями, но и видѣть въ немъ новую, прекрасную эпоху русской литературы. Числительное богатство книгъ и обиліе литературныхъ новинокъ было еще значительнѣе. Въ 1829 году, г. Ѳ. Булгаринъ издалъ своего «Выжигина», а въ слѣдующемъ году—«Дмитрія Самозванца». Первый изъ этихъ романовъ имѣлъ большой успѣхъ; онъ въ короткое время былъ весь раскупленъ и особенно понравился низшимъ слоямъ читающей публики, которые, повѣривъ на слово сочинителю, не затруднились увидѣть въ его безличныхъ изображеніяхъ вѣрную картину современной русской дѣйствительности. Очевидно, что въ это невинное заблужденіе ввели ихъ русскія имена дѣйствующихъ лицъ въ «Выжигинѣ», названія русскихъ городовъ и областей, а главное—запутанныя и неестествен-

ныя похождения продувнаго героя романа. Добряки не замѣтили, что все это — старыя погудки на новый ладъ, какъ говорить пословица, т. е. Дюкре-дю-Менилевскія романтическія пружины съ Сумароковскими нападками на лихоимство и мошенничество. При этомъ не должно забывать, что первыя попытки въ новомъ родѣ всегда принимаются хорошо. Публикѣ того времени показался новостью—романъ съ русскими именами. Она забыла, что какой-то А. Измайловъ въ этомъ отношеніи предупредилъ г. Θ. Булгарина цѣлыми тридцатью годами, ибо въ его романѣ «Евгеній, или пагубныя слѣдствія дурнаго воспитанія и общества», изданномъ въ 1799 году, дѣйствіе происходитъ въ Россіи и герой романа называется Евгеніемъ—имя столь же русское, сколько и иностранное. Фамилія Евгенія — Негодяевъ, фамиліи прочихъ дѣйствующихъ лицъ романа: Лицемѣрка, Вѣтровъ, Тысячниковъ, Бездѣльниковъ, Простаковъ, коллежскій ассесоръ Назарій Антоновичъ Миловзоровъ, Воровъ, Подлянковъ, Развратинъ, и пр. Вѣроятно, эти остроумно придуманныя г. А. Измайловымъ русскія фамиліи и подали г. Θ. Булгарину счастливую мысль назвать героевъ своего романа Вороватыными, Ножовыми и пр. Это обстоятельство также доставило «Выжигину» значительный успѣхъ. Впрочемъ, «Выжигинъ», изобрѣтательностію, манерою, яркимъ изображеніемъ характеровъ, движеніемъ сердца человѣческаго и нравственно-сатирическимъ направленіемъ живо напоминавшій собою «Евгенія» г. А. Измайлова, далеко превзошелъ его въ правильности языка, хотя и уступилъ ему въ живости разсказа. Публика того времени, по свойственной ей забывчивости, не догадалась также, что г. Θ. Булгаринъ предупрежденъ былъ, какъ романистъ, писателемъ новымъ и даровитымъ, и что въ 1824 году вышелъ «Бурсакъ», а въ 1825 — «Два Ивана, или страсть къ тяжбамъ» Нарѣжнаго. Эти два замѣчательныя произведенія были первыми русскими романами. Они явились въ такое время, когда еще публика не была въ

состояніи оцѣнить ихъ, и лучшіе юмористическіе очерки характеровъ и сценъ простонароднаго быта назвала сальностями, а немножко таланта увидѣла въ романической развязкѣ «Бурсака». Все это было съ руки г. Θ . Булгарину и помогло ему прослыть первымъ романистомъ на Руси. Однакожь, его «Дмитрій Самозванецъ» оборвался: его убилъ успѣхъ «Юрія Милославскаго», вышедшаго въ свѣтъ нѣсколькими недѣлями прежде «Самозванца»; который, безъ этого прискорбнаго для него обстоятельства, безъ сомнѣнія получилъ бы еще большій успѣхъ, чѣмъ «Выжигинъ». Последующіе романы г. Θ . Булгарина уже имѣли самый посредственный успѣхъ, и то благодаря только овладѣвшей публикою страсти къ романамъ, которая тогда смѣнила ея страсть къ стихамъ. «Петръ Ивановичъ Выжигинъ» имѣлъ несчастіе столкнуться съ «Рославлевымъ»; несмотря на слабость втораго романа г. Загоскина, онъ былъ все-таки неизмѣримо выше «Петра Ивановича Выжигина», хотя въ этомъ романѣ выведенъ и самъ Наполеонъ, къ несчастью обрисованный столь неудачно, что его такъ же трудно отличить отъ Петра Ивановича Выжигина, какъ и Петра Ивановича Выжигина отъ Наполеона. Четвертый романъ г. Θ . Булгарина «Мазепа» упалъ рѣшительно, несмотря на искусную и усердную поддержку со стороны «Библиотеки для чтенія», публика уже не хотѣла читать повторенія того, что уже надобно ей въ прежнихъ романахъ г. Θ . Булгарина. Еще менѣе замѣтила и оцѣнила она неподражаемый юморъ сего нравственно-сатирическаго сочинителя, разлитый въ его «Запискахъ Титулярнаго Совѣтника Чухина»; это было полнымъ паденіемъ—*chûte complète*! Мода на романы такъ была сильна, г. е. романы такъ хорошо расходились въ то время, что даже сочинитель множества грамматикъ, прочитавшій, по словамъ «Библиотеки для Чтенія», въ корректурѣ всю русскую литературу, г. Н. Гречъ — издалъ довольно длинную и сообразно съ тѣмъ довольно скучную повѣсть — «Поѣздка въ

Германію» и потомъ длинный романъ, начиненный разными чудесами на манеръ Анны Радлейфъ—«Черная Женщина». Сильный въ то время на порищѣ журналистики баронъ Брамбеусъ силился искусною и усердною рецензією, наполненною разсужденіями о магнетизмѣ, дать ходъ первому изданію «Черной Женщины», ставилъ ее выше романовъ Вальтеръ-Скотта и считалъ за счастье, по собственнымъ словамъ его, бѣжать за колесницею триумфатора, т. е. г. Греча. Такова была тогда романоманія, что все сходило съ рукъ благополучно, и всякая сказка давала болѣе или менѣе вѣрный барышъ! Но второе изданіе «Черной Женщины», поступившее въ составъ вышедшихъ въ 1838 году въ пяти частяхъ «Сочиненій Николая Греча», потонуло въ Летѣ вмѣстѣ со всѣми пятью частями этихъ сочиненій.

Послѣ романовъ г. Θ. Булгарина, намъ тотчасъ же слѣдовало бы говорить о судьбѣ романовъ г. Загоскина, которые начинали являться послѣ «Выжигина» и убили на повалъ всѣ романы г. Θ. Булгарина; но послѣ имени г. Θ. Булгарина какъ-то невольно ложится подъ перо имя г. Н. Греча, да и романы обоихъ сихъ сочинителей похожи другъ на друга, какъ дѣти одного отца, отличаясь мертвою правильностью и грамматическою чистотою языка, при отсутствіи всякихъ другихъ качествъ. «Юрій Милославскій» былъ въ свое время, безъ всякаго сомнѣнія, пріятнымъ и замѣчательнымъ литературнымъ явленіемъ. Его дѣйствующія лица не только носятъ русскія имена, но и говорятъ русскою рѣчью и даже чувствуютъ и мыслятъ по-русски, что было въ то время совершенно новымъ явленіемъ въ русской литературѣ. Присовокупите къ этому добродушное увлеченіе автора, мѣстами очень похожее если не на вдохновеніе, то на одушевленіе, разсказъ плавный, не натянутый, языкъ не всегда правильный, какъ у гг. Θ. Булгарина и Н. Греча, но всегда живой, — и вы поймете причину чрезвычайнаго успѣха этого романа. Г. Загоскинъ радушно, отъ души, со

всѣмъ хлѣбосолецтвомъ старыхъ временъ угостилъ русскую публику своимъ «Юріемъ Милославскимъ». Но этимъ все и оканчивается. Историческаго въ этомъ романѣ нѣтъ ничего: всѣ лица его списаны съ простолюдиновъ нашего времени. Характеры, завязка и развязка романа—все обнаруживаетъ въ авторѣ русскаго драматическаго писателя, навывкшаго поддѣльную сценическую дѣйствительность почитать за зеркало настоящей русской жизни. Въ 1612 годъ онъ перенесъ отдѣльныя сцены 1812 года, подмѣченныя имъ въ деревняхъ,—и былъ убѣжденъ, что остался вѣренъ исторіи. Въ «Рославлевѣ» онъ принялся болѣе за свое дѣло — за изображеніе того, что видѣлъ самъ на Руси въ 1812 году. И еслибъ онъ остался вѣренъ своему таланту и призванію — рисовать отдѣльныя сцены и картины простонароднаго и помѣщичьяго деревенскаго быта,—его второй романъ былъ бы не безъ достоинствъ. Но авторъ почелъ нужнымъ основать все на мелодраматической завязкѣ, а главное возымѣлъ немножко смѣлую претензію — изобразить, словно въ поэмѣ, великій 1812 годъ, со всѣмъ его историческимъ значеніемъ и характеромъ, — и какимъ же образомъ? черезъ мелодраматическую любовишку, черезъ портреты безцвѣтнаго героя, Рославлева, избитаго въ комедіяхъ лица добраго малаго Зарѣцкаго, черезъ нѣсколько добродушныхъ оригиналовъ въ родѣ Буркина и Иволгина и посредствомъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ и вымышленныхъ сценъ бородинской битвы, въ которыхъ разговариваютъ между собою пріятели, забавные герои романа... Очевидно, что автора ввелъ въ заблужденіе непонятый имъ Вальтеръ-Скоттъ и непонятое значеніе историческаго романа. Какъ бы то ни было, но чѣмъ большаго ожидала нетерпѣливая публика отъ «Рославлева», тѣмъ меньше дождалась она. Послѣдующіе романы г. Загоскина были уже одинъ слабѣе другаго. Въ нихъ онъ ударился въ какую-то странную, псевдо-патріотическую пропаганду и политику, и началъ съ особенною любовію живописать раз-

битые носы и свороченныя скулы извѣстнаго рода героевъ, въ которыхъ онъ думаетъ видѣть достойныхъ представителей чисто русскихъ нравовъ, и съ особеннымъ пафосомъ прославлять любовь къ соленнымъ огурцамъ и кислой капустѣ.

За г. Загоскинымъ, вышелъ на литературное поприще въ качествѣ романиста г. Лажечниковъ. Онъ дебютировалъ историческимъ романомъ «Послѣдній Новикъ», дѣйствіе котораго происходитъ то въ Лифляндіи, то въ Россіи, и дѣйствующія лица котораго—Нѣмцы и Русскіе. Это обстоятельство дѣлитъ романъ какъ бы на двѣ стороны, изъ которыхъ первая какъ - то лучше обрисована и занимательнѣе представлена авторомъ, чѣмъ послѣдняя. Какъ первый опытъ въ этомъ родѣ, романъ г. Лажечникова слишкомъ полонъ и многорѣчивъ, во вредъ художнической соразмѣрности и пропорціональности; но, несмотря на этотъ недостатокъ, онъ необыкновенно живъ, какъ всякій плодъ слишкомъ горячей и запальчивой дѣятельности. Второй романъ г. Лажечникова—«Ледяной Домъ» уже не столько сложенъ и юношески горячъ, какъ «Послѣдній Новикъ», за то болѣе строенъ и простъ, безъ ущерба занимательности; а нѣкоторыя главы, какъ, напримѣръ, «Соперники» и «Родины Козы», могутъ считаться украшеніемъ не только «Ледянаго Дома», но и замѣчательными произведеніями русской литературы. Въ «Басурманѣ» очень удачно сдѣланъ очеркъ характера Іоанна III и вообще хороши тѣ сцены, гдѣ авторъ выводитъ это грозное и великое лицо русской исторіи. Во всемъ остальномъ, нельзя сказать, чтобъ авторъ очень удачно воспользовался прекрасно-придуманною основою своего романа—представить противоположность европейскаго элемента жизни—азіятскому и нарисовать потрясающую сердце картину гибели человѣчески развившагося и образованнаго существа, сдѣлавшагося жертвою дикихъ нравовъ, среди которыхъ забросила его судьба. Вообще, скажемъ откровенно, романамъ г. Лажечникова особенно вредятъ два обстоятельства. Во-первыхъ,

авторъ не довольно отрѣшился отъ стараго литературнаго направленія — видѣть поэзію внѣ дѣйствительности и украшать природу по произвольно задуманнымъ идеаламъ. Оттого, въ его русскихъ романахъ есть что-то не совсѣмъ русское, что-то похожее на европейскій бытъ въ русскихъ костюмахъ. Такова, напримѣръ, любовь Волынскаго къ Маріюрицѣ, невѣрная исторически и невозможная поэтически, по ея несообразности съ климатомъ, мѣстностію и нравами. Она какъ будто изъ Италіи или Испаніи пріѣхала въ Петербургъ, чтобъ доставить автору нѣсколько эффектныхъ сценъ. Что же касается до украшенія природы, — оно не есть исключительная принадлежность псевдо-классицизма; перемѣнились слова, а сущность дѣла осталась та же для многихъ нынѣшнихъ поэтовъ, — и псевдо-романтикъ Викторъ Гюго, еще съ большимъ усердіемъ, по своему украшаетъ природу въ романахъ и драмахъ, чѣмъ украшали ее псевдо-классики Корнель, Расинъ и Вольтеръ. Второй недостатокъ романовъ г. Лажечникова, имѣющій тѣсную связь съ первымъ, — это неровный, какъ будто неправильный и тяжелый языкъ. Многие, по этому случаю, упрекали г. Лажечникова въ неумѣніи писать по-русски и незнаніи русскаго языка: — обвиненіе смѣшное и недѣльное, достойное грамматистовъ - рутинеровъ! Нѣтъ, не отъ незнанія языка, не отъ неспособности владѣть имъ, г. Лажечниковъ пишетъ неровнымъ слогомъ; даже не оттого, что будто бы онъ не занимается его отдѣлкою, а развѣ оттого, что онъ слишкомъ занимается отдѣлкою, и еще отъ ложной манеры, которую многие наши писатели, волею или неволею, сознательно или безсознательно, больше или меньше, заняли у Марлинскаго, и которая заставила ихъ пешись больше объ эффектной красотѣ, чѣмъ о благородной простотѣ, строгой точности и ясной опредѣленности выраженія. Во всякомъ случаѣ, русскій романъ, начатый г. Загоскинымъ, въ произведеніяхъ г. Лажечникова сдѣлалъ большой шагъ впередъ, — и если романы г. Заго-

скина проще, наивнѣе и легче романовъ г. Лажечникова, за то романы послѣдняго далеко выше по мысли и вообще гораздо удовлетворительнѣе для образованнаго класса читателей. Нельзя не пожалѣть, что г. Лажечниковъ не избѣгнулъ общей участи многихъ русскихъ писателей—замолчать послѣ двухъ или трехъ опытовъ и лишить публику надежды дожидаться отъ него чего-нибудь такого чтó напомнило бы его первые опыты, столь много обѣщавшіе...

Если рѣчь зашла о прозаикахъ-романистахъ этой эпохи, то было бы несправедливо умолчать о г. Вельтманѣ. Онъ дебютировалъ забытымъ теперь «Странникомъ» — калейдоскопическою и отрывочною смѣсью въ стихахъ и прозѣ, нелишенною однакожь оригинальности и казавшеюся тогда занимательною и острою. Потомъ онъ издалъ какую-то поэму въ стихахъ. Первымъ и, по обыкновенію большей части русскихъ писателей, лучшимъ его романомъ былъ «Кошечей Безсмертный» — странная, но поэтическая фантазмагорія. Надо сказать правду, у г. Вельтмана несравненно больше фантазія, чѣмъ у романистовъ, о которыхъ мы говорили выше, и потому онъ гораздо больше поэтъ, чѣмъ они. Но его фантазія стаетъ только на поэтическія мѣста; съ цѣлымъ же произведеніемъ она никогда не въ состояніи управиться. Оригинальность фантазія г. Вельтмана часто сбивается на странность и вычурность въ вымыслахъ. Прочитавъ его романъ, помнишь прекрасныя, исполненныя поэзіи мѣста, но цѣлое тотчасъ изглаживается изъ памяти. Къ романическимъ и поэтическимъ вымысламъ г. Вельтманъ примѣшиваетъ какой-то археологическій мистицизмъ и вноситъ свою страсть къ этимологическимъ объясненіямъ историческихъ и даже доисторическихъ вопросовъ. Все это очень безобразить его романы. Туманность и неопредѣленность въ вымыслахъ и характерахъ также принадлежитъ къ недостаткамъ романовъ г-на Вельтмана. Каждый новый его романъ былъ повтореніемъ недостатковъ перваго, съ ослабленіемъ

красотъ его. Все это сдѣлало то, что г. Вельтманъ пользуется гораздо меньшею извѣстностью и меньшимъ авторитетомъ, нежели какихъ бы заслуживало его замѣчательное дарованіе.

Почти въ то же время явились на сцену и другіе романисты, имѣвшіе бѣльшій или меньшій успѣхъ, какъ, напримеръ г. Ушаковъ, котораго «Киргизъ-Кайсакъ» не лишень былъ кое-какихъ относительныхъ достоинствъ. Романъ, скрывающаго свое имя автора — «Семейство Холмскихъ» имѣлъ замѣчательный успѣхъ; въ немъ попадаются довольно живыя картины русскаго быта, въ юмористическомъ родѣ: но онъ утомителенъ избытками пружинами вымысла и избыткомъ сантиментальности, соединенной съ резонерствомъ. Марлинскій гарцовалъ въ журналахъ своими трескучими повѣстями до 1836 года: особо и вполне онѣ были изданы въ 1838—1839 годахъ. Изъ новыхъ нувеллистовъ, въ началѣ тридцатыхъ годовъ, явился даровитый казакъ Луганскій, съ своими оригинальными розказнями на русско-молодецкій ладъ, которые онъ потомъ мало-по-малу началъ оставлять для лучшаго тона и содержанія. Какъ сказки, такъ и повѣсти Луганскаго были плодомъ сколько замѣчательнаго дарованія, столько же и прилежной наблюдательности, изощренной многостороннею житейскою опытностью автора, человѣка бывалаго и коротко-ознакомившагося съ бытомъ Россіи почти на всѣхъ концахъ ея.—Гг. Погодинъ и Полевой, съ особеннымъ усердіемъ принявшіеся за повѣсти съ 1829 года, издали, въ тридцатыхъ годахъ, собранія этихъ повѣстей. Въ началѣ же тридцатыхъ годовъ неожиданно вышла первая часть дотолѣ никому неизвѣстныхъ стихотвореній г. Бенедиктова, котораго талантъ въ стихахъ то же, что талантъ Марлинскаго въ прозѣ; время уже доказало справедливость приговора, какимъ встрѣчены были критикою первые опыты г. Бенедиктова. Но не всѣ критики были такъ строги къ этому блестящему стихотворцу; одинъ московскій критикъ и словесникъ, притомъ

же самъ пиита, объявилъ, что до г. Бенедиктова поэзія наша (представителями которой, разумѣется, были Державинъ, Крыловъ, Жуковский, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ) была чужда мысли, и что только въ изящныхъ произведеніяхъ г. Бенедиктова русская поэзія въ первый разъ явилась вооруженная мыслию... — Еще прежде г. Бенедиктова вышелъ на литературное поприще г. Кукольникъ съ лирическими стихотвореніями, драмами въ стихахъ, а потомъ съ повѣстями, романами, журнальными статьями, и пр. Въ его литературной и поэтической дѣятельности замѣтнѣе всего — усиліе обыкновеннаго таланта подняться на высоты, доступныя только гению, и потому если нельзя отрицать въ немъ таланта, то нельзя и опредѣлить степени характера и заслугъ этого таланта. — Мы, можетъ-быть, забыли и еще кое-какія произведенія, имѣвшія въ то время большій или меньшій успѣхъ, и умножившія собою число интересовавшихъ публику книгъ; но не обо всѣхъ же говорить! Лучше скажемъ, что князь Одоевскій, почти ничего отдѣльно не издававшій доселѣ подъ своимъ именемъ, съ 1824 года постоянно печаталъ въ современныхъ изданіяхъ повѣсти и рассказы особеннаго рода, въ которыхъ нравственныя идеи облекались то въ поэтическіе образы, то въ живое слово, исполненное паэоса краснорѣчія... Но о нихъ мы скоро будемъ имѣть случай говорить подробнѣе.

Съ 1839 года въ русской литературѣ совершился замѣтный переломъ. Книжная торговля упала, книгъ стало выходить гораздо менѣе, и литература начала казаться бѣднѣе прежняго. Пушкинъ умеръ, и два года печатались въ «Современникѣ» его посмертныя произведенія. Это были послѣднія и самыя высокія, самыя зрѣлыя созданія вполне развившагося и возмужавшаго его художческаго гения. Въ первомъ томѣ «Ста Русскихъ Литераторовъ» былъ напечатанъ его «Каменный Гость» и отрывокъ изъ романа. Все остальное, дотолѣ неизвѣстное публикѣ, появилось только въ

1841 году, въ трехъ послѣднихъ томахъ полнаго собранія его сочиненій. Долго тянулось для публики изданіе новыхъ, неизвѣстныхъ ей сочиненій Пушкина, — и этимъ утомилось не вниманіе, а ожиданіе публики!... Съ 1837 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Лермонтова, въ первый разъ изданныя особо въ 1840 году, равно какъ и его «Герой нашего времени». Съ 1837 же года начали появляться повѣсти графа Соллогуба, г. Панаева и другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ молодыхъ писателей. Въ числѣ молодыхъ, съ 1838 года явился одинъ старый: это покойный Основьяненко, между безцсленными повѣстями котораго, написанными въ продолженіе какихъ-нибудь четырехъ лѣтъ, особенно замѣчателенъ «Панъ Халявскій» — сатирическая картина старинныхъ нравовъ Малороссіи; во всѣхъ другихъ повѣстяхъ и романахъ своихъ онъ повторялъ или сентиментальность своей «Маруси» или юморъ «Пана Халявскаго», и въ послѣднее время значительно выписался. Еще съ 1827 года все новое въ русской литературѣ начало прятаться въ журналахъ, и особыми книгами большею частію стали появляться только или альманахи, или сборники уже извѣстныхъ публикѣ изъ журналовъ сочиненій, или, наконецъ, новыя изданія старыхъ сочиненій. Новое, внѣ журналовъ и альманаховъ, показывалось рѣже и рѣже, а послѣ смерти Лермонтова, послѣдовавшей въ 1841 году, что печаталось и въ журналахъ состояло изъ оставшихся стихотвореній этого поэта, столь рано умершаго для русской литературы, которую его великій талантъ одинъ былъ бы въ состояніи сдѣлать интересною не для однихъ насъ, русскихъ. Бѣдность и нищета болѣе и болѣе начали вторгаться даже въ журналы — эти теперь почти единственные представители «богатства» русской литературы. Бѣденъ былъ хорошими повѣстями 1842 годъ, но прошлый 1843 оказался еще бѣднѣе. Объ отдѣльно выходившихъ книгахъ теперь много нельзя разговаривать. Въ 1842 году вышли «Мертвыя Души»

Гоголя — твореніе столь глубокое по содержанію и великое по творческой концепціи и художественному совершенству формы, что оно одно пополнило бы собою отсутствіе книгъ за десять лѣтъ и явилось бы одинокимъ среди изобилія въ хорошихъ литературныхъ произведеніяхъ. Впрочемъ, 1842 г. все-таки былъ богаче прошлаго отдѣльно вышедшими книгами, равно какъ и замѣчательными повѣстями, помѣщенными въ журналахъ и альманахахъ.

Выведенный нами изъ этого обзора результатъ, повидимому, противорѣчить началу статьи. Мы хотѣли доказать, что литература настоящаго времени только по наружности бѣднѣе литературы прежнихъ временъ, а въ сущности выше ея; — и между тѣмъ фактами доказали совсѣмъ противное. Но мы начали съ того, что литературная бѣдность нашего времени по своимъ причинамъ почтенна, и въ этомъ смыслѣ составляетъ пріобрѣтеніе, а не утрату... Объяснимся. Какъ отъ литературы двадцатыхъ годовъ прочныя и дѣйствительныя пріобрѣтенія остались только въ сочиненіяхъ Пушкина *) и въ «Горѣ отъ Ума» Грибоѣдова, все же прочее имѣетъ болѣе или менѣе относительное, такъ сказать, историческое, значеніе, — точно такъ и отъ литературы тридцатыхъ годовъ у насъ есть прочныя и дѣйствительныя пріобрѣтенія только въ сочиненіяхъ Гоголя и Лермонтова, а все остальное или уже получило свое относительное историческое значеніе, или, за недостаткомъ времени, еще не выдержало пробы, могущей опредѣлить его безусловную цѣнность. И если отъ 1823 года до начала четвертаго столѣтія вышло много (сравнительно съ прежнимъ и послѣдующимъ временемъ) романовъ, драмъ и другихъ произведеній изящной словесности, то не должно забывать, что это была пора опытовъ и попы-

*) Мы не упоминаемъ имени Жуковскаго потому, что дѣятельность этого поэта не относится исключительно къ двадцатымъ годамъ; она началась раньше этого времени около семнадцати лѣтъ и, къ славѣ и чести русской литературы, не кончилась до сихъ поръ.

токъ, —пора, въ которую все новое не могло не удаваться. Вѣдь и «Выжигины» съ «Самозванцемъ», по мнимои ихъ новизнѣ, сначала имѣли успѣхъ да еще какой! — неужели же и ихъ должно считать сокровищами русской литературы, теперь, когда читавшіе ихъ уже совсѣмъ забыли, а нечитавшіе вовсе не имѣютъ никакого желанія прочитать! Нападки на пьянство, воровство, шулерство, и лихоимство, какъ на пороки губельные для виѣшняго и внутренняго благосостоянія людей, — неужели эти нападки, состоявшіе въ истертыхъ моральныхъ сентенціяхъ, и теперь должно принимать за идеи; а бездушныя риторическія олицетворенія пороковъ и добродѣтелей, выдаваемые за характеры, дѣйствительно должно принимать за живыя лица, вмѣсто того, чтобъ видѣть въ нихъ куклы, раскрашенныя грубою мазилкою и безобразно вырѣзанныя ножницами изъ оберточной бумажки?... Конечно, первые романы г. Загоскина всегда будутъ удостоиваемы почетнаго упоминанія отъ историка русской литературы, и никто не станетъ отрицать ихъ относительнаго достоинства для времени, въ которое они явились, и даже ихъ болѣе или менѣе полезнаго вліянія на современную имъ русскую литературу: но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобъ мы ихъ читали и перечитывали, какъ творенія всегда новыя, или чтобъ мы въ «Юри Милославскомъ» и теперь видѣли вѣрную картину русскихъ 1612 г., а въ «Рославлевѣ» — русскихъ 1812 года. Подобныя мысли и двѣнадцать лѣтъ тому назадъ едва ли кому входили въ голову: а теперь всякій видитъ въ этихъ романахъ не болѣе, какъ литературные (а отнюдь не художественные) очерки не русскихъ 1612 и 1812 годовъ, а русскаго простонародья во всѣ годы, какіе вамъ угодно... Многое бываетъ хорошо для своего времени, и иное живетъ вѣкъ, иное десять лѣтъ, иное годъ, а иное одинъ день... Всѣ эти «Поѣздки въ Германію», «Черныя Женщины», «Киргизъ - Кайсаки», «Коты Бурмоськи», «Семейства Холмскихъ» и тому подобныя про-

изведенія не могли не нравиться въ свое время; но время это прошло, уже не воротится для нихъ, и теперь, если бы кто сталъ ими угощать публику, выхваляя ихъ достоинства, публика могла бы отвѣтить: «хороши были покойники—вѣчная имъ память; не будемъ тревожить ихъ праха»...

Отчего же, спросятъ, теперь не является такихъ же болѣе или менѣе удовлетворительныхъ для нашего времени сочиненій, какія выходили тогда въ такомъ значительномъ числѣ?—Въ этомъ вопросѣ—вся сущность дѣла. Мы сказали выше, что то время было временемъ опытовъ и попытокъ въ разныхъ родахъ. Теперь это время миновалось: все уже испытано, и, чтобъ проложить въ искусствѣ новую дорогу, нуженъ геній, или по крайней мѣрѣ, великій талантъ, а геніи и великіе таланты не рождаются десятками и дюжинами. Вы хотите отличиться, напримѣръ, на поприщѣ лирической поэзіи — за чтò вамъ приняться: за оды? — ихъ вѣкъ давно прошелъ; за элегіи? — хорошо; но вы должны сказать въ нихъ что-нибудь новое. О грусти, разочарованіи, идеалахъ, неземныхъ дѣвахъ, лунѣ, сладостной лѣни, разгульныхъ пирахъ, шипучемъ винѣ, отчаяніи, ненависти къ людямъ, погибшей юности, измѣнѣ, кинжалахъ, ядахъ — обо всемъ этомъ уже было сказано и пересказано тысячу разъ и въ изящныхъ созданіяхъ Пушкина, и толпою его подражателей. Теперь уже васъ не станутъ читать, если вы захотите удивлять размашистостію бойкой фразы, яркою звонкостію стиха, восторженными диэирамбами въ честь голубоокихъ молодыхъ дѣвъ и шумныхъ пировъ удалой юности, — потому что въ этомъ васъ предупредилъ г. Языковъ и, предупредилъ какъ человѣкъ съ талантомъ, который шелъ своею дорогою, какава бы ни была она, и умѣлъ быть оригинальнымъ, какова бы ни была эта оригинальность. Г. Языковъ, уже самымъ этимъ временнымъ успѣхомъ своей поэзіи, навсегда уничтожилъ невозможность такой поэзіи:— въ этомъ-то и состоитъ его неотъемлемая заслуга русской

литературѣ и неотъемлемое право на мѣсто въ исторіи русской литературы. Еслибъ неизбѣжно было читать кого-нибудь изъ васъ, такъ ужь, конечно, его, а не васъ: оригиналы всегда предпочитаютъ копіямъ. Хотите ли вы блеснуть выписными чувствами, выраженными ослѣпительно-вычурными фразами и натянуто-смѣлою метафорою,—васъ и тутъ предупредилъ г. Бенедиктовъ и тоже предупредилъ, какъ челоувѣкъ съ дарованіемъ, который самъ проложилъ себѣ дорогу, какова бы она ни была, и былъ оригиналенъ, чтобъ не говорили о его оригинальности. Г. Бенедиктовъ тѣмъ и оказалъ важную услугу русской литературѣ, что самымъ успѣхомъ своей поэзіи сдѣлалъ навсегда смѣшною такую поэзію. Для этого тоже нуженъ талантъ! Геній или великій талантъ уничтожаетъ для другихъ возможность прославиться на его счетъ посредствомъ подражанія, а такіе маленькіе, хотя и яркіе и самобытные таланты, призванные показать примѣръ уклоненія искусства отъ настоящей его цѣли, спасаютъ въ будущемъ искусство отъ этихъ уклоненій именно возможностью для другихъ подражать имъ въ ихъ ложномъ направленіи. Это заслуга отрицательная, но и для нея нужно имѣть талантъ, нужно, чтобъ въ основѣ такого ложнаго вдохновенія была своя истинная струя поэзіи, подобно золотымъ крупинкамъ въ массѣ рѣчнаго песка. Теперь уже невозможны такіе поэты, какъ гг. Языковъ и Бенедиктовъ или, лучше сказать, невозможенъ сколько-нибудь значительный успѣхъ со стороны такихъ поэтовъ. Недавно, въ Москвѣ, нѣкто г. Милькѣевъ, о близкомъ пришествіи котораго въ литературный міръ заранѣе трубили пріятельскіе журналы, какъ о чудѣ-чудномъ и дивѣ-дивномъ, издалъ книжку стихотвореній, которыя по формѣ, показали въ немъ ученика гг. Языкова и Бенедиктова, а по содержанию ученика г. Хомякова; не чувствуя въ себѣ довольно силы, чтобъ хоть сравняться съ своими образцами, не только превзойти ихъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ желая во чтѣ бы то ни

стало показаться оригинальнымъ, онъ не придумалъ ничего лучшаго, какъ превзойти свой образецъ въ направленіи своей поэзіи и, взявъ за основаніе неопредѣленно и темно поняту ю мысль о народности, довести ее до послѣдней нелѣпости. Для этого онъ началъ воспѣвать восторженными стихами русскую сивуху и доказывать, что Ломоносовъ оттого только и сдѣлался преобразователемъ русскаго слова, что имѣлъ несчастную страсть невоздержности, которую московскій поэтъ поставилъ ему въ великую заслугу... Видите ли, какъ трудно теперь сдѣлаться поэтомъ на чужой счетъ, безъ таланта, безъ образованія, безъ идеи, безъ призванія!... Пушкинъ, при жизни своей, не былъ понятъ: при началѣ его поприща, имъ поверхностно восхищались и думали походить на него, усвоивъ себѣ не тайну, не жизнь, а только легкость его стиха,—при концѣ его поприща, легкомысленно къ нему охладѣли, считали себя выше его потому только, что не были въ состояніи понять его, указывая на его ошибки и промахи, дѣйствительно важные, и не умѣя измѣрить высоты, дѣйствительно недосыгаемой, на которую сталъ его возмужавшій творческій геній. Но посмертныя его сочиненія, которыми онъ, при жизни своей, не торопился угощать русскую публику, столь хорошо знакомую ему по долговременному опыту, многимъ невольно открыли глаза на истинное значеніе Пушкина. Кратковременная, но изумительная своей огромностью дѣятельность Лермонтова на поэтическомъ поприщѣ окончательно лишила насъ надежды видѣть частыя появленія новыхъ замѣчательныхъ поэтовъ и новыхъ замѣчательныхъ произведеній поэзіи: послѣ Пушкина и Лермонтова трудно быть не только замѣчательнымъ, но и какимъ-нибудь поэтомъ! Мечъ и шлемъ Ахилла изъ всѣхъ греческихъ героевъ могли оспаривать только Аяксъ и Одиссей. И теперь въ журналахъ изрѣдка появляются стихотворенія, выходящія за черту посредственности; но когда въ томъ же номерѣ журнала находишь стихотвореніе Лермонтова, то не хочется и читать другихъ. Въ

1842 году вышли стихотворенія г. Майкова; и тѣ изъ нихъ, которыя имъ написаны въ антологическомъ родѣ, обнаруживаютъ талантъ необыкновенный: ихъ читали, ими восхищались, ихъ хвалили, за авторомъ безпорно осталось титло замѣчательно даровитаго человѣка, но уже не было преувеличенныхъ похвалъ и толковъ о гениальности; поэтъ занялъ свое мѣсто, очень почетное, но которое, однакъ, не показало его всѣмъ на особенной высотѣ,—ибо всѣ поняли, что прекрасные опыты въ антологическомъ родѣ еще не разгадка послѣдняго слова современности и не удовлетвореніе всѣхъ ея потребностей. Къ тому же, всѣ не антологическіе опыты г. Майкова почти ничтожны и не общаются въ будущемъ особеннаго развитія и особенныхъ успѣховъ со стороны поэта. А между тѣмъ, было время, когда люди съ несравненно меньшимъ талантомъ, чѣмъ талантъ г. Майкова, считались едва не гениями, и стихотворенія ихъ были всѣмъ извѣстны. Непріятели «Отечественныхъ Записокъ» не разъ, ясно и намеками, старались внушить публикѣ мысль будто-бы мы, для успѣха нашего журнала, производимъ въ гениі поэтовъ, помѣщающихъ свои произведенія въ нашемъ журналѣ. Здѣсь мы считаемъ кстати не словами, а фактами, доказать несправедливость подобнаго обвиненія.

Наиболѣе превозносимые нами поэты, изъ новыхъ,—Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Лермонтовъ и Гоголь. Изъ нихъ только одинъ Лермонтовъ былъ постояннымъ вкладчикомъ «Отечественныхъ Записокъ»; Пушкинъ и Грибоѣдовъ ничего не могли печатать въ журналѣ, начавшемся послѣ ихъ смерти, а Гоголь хотя и живъ и пишетъ, но доселѣ не помѣстилъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» ни одной строки своей. Мы хвалимъ *gratis*, и наша любовь, наше уваженіе къ великимъ умершимъ всегда были и будутъ жарче и благоговѣйше, чѣмъ къ малымъ живымъ, хотя для нашего журнала послѣдніе могли бѣ быть полезнѣе первыхъ... Мы цѣнимъ въ поэтѣ талантъ и гениі независимо отъ его сотрудичества или несотрудиче-

ства въ нашемъ журналѣ. Мы были бы въ восторгѣ, еслибъ явился новый Лермонтовъ, и безъ умолка хвалили бы его, еслибъ онъ печаталъ свои стихи хотя бы даже въ «Маякѣ». Но—увы!—несмотря на весь пылъ нашихъ желаній привѣтствовать на Руси появленіе новаго великаго таланта, — мы ни въ чужихъ, ни въ нашемъ журналѣ не видимъ не только новаго Лермонтова, но и что-нибудь похожее на него!...

Итакъ, о стихахъ нечего говорить. Настоящее время неплодотворно и неудобно для нихъ, ибо требуетъ отъ стиховъ или очень многого, или ничего.

До сихъ поръ, говоря о стихахъ, мы разумѣли преимущественно лирическую поэзію. Обратимся къ тому роду поэзій, который является въ стихахъ и въ прозѣ. Назадъ тому лѣтъ десять, нѣкто, г. Зиловъ, издалъ книжку басень и послѣ, въ одномъ стихотвореніи, горько жаловался, что-де теперь читаютъ все неистовые романы, а басень не читаютъ. Изъ этого видно, что г. Зиловъ только въ половину постигъ дѣло; правда, для басни давно уже и безвозвратно прошло время, но г-ну Зилову слѣдовало бы обратить вниманіе и на то, что его басни были плохи, и что ему не слѣдовало бы съ такими баснями являться послѣ Хомницера, Дмитріева и Крылова. Сказка въ родѣ «Модной Жены» и «Причудницы» Дмитріева, и «Странствователя и Домосѣда» Батюшкова тоже давно отжила свой вѣкъ; но сказка въ родѣ «Графа Нулина» Пушкина и «Казначейши» Лермонтова можетъ здравствовать и теперь—

Да за нее не всякъ умѣетъ ваяться!...

Она въ особенности требуетъ юмора, а юморъ есть столько же умъ, сколько и талантъ. Однимъ словомъ, такая сказка и теперь—претрудная вещь. Романъ въ родѣ «Онѣгина», поэмы въ родѣ поэмы Пушкина и Лермонтова могутъ быть и теперь; но ихъ всѣ какъ-то боятся, и мы знаемъ только одинъ счаст-

ливый опытъ въ этомъ родѣ, явившійся въ послѣднее время, именно маленькую поэму «Парашу», вышедшую въ прошломъ году. Этотъ родъ поэзи гораздо труднѣ лирической, ибо требуетъ не ощущеній и чувствъ мимолетныхъ, которыя могутъ быть и у многихъ, но и дара поэзи, и образованнаго, умнаго взгляда на жизнь—что бываетъ очень не у многихъ. Писать же поэмы, какъ писали ихъ, напримѣръ, Козловъ, г. Подолинскій и прочіе, и теперь бы могли многіе; даже, лѣтъ пять назадъ, за нихъ принялся было поэтъ не безъ дарованія, г. Бернетъ; по попытка оказалась неудачною: новое время,—новыя и требованія, болѣе трудныя для исполненія, чѣмъ прежнія. Опять вина не поэтовъ, а времени,—и ясно, что теперь нашу литературу обѣднило время, съ его неудобноисполнимыми требованіями, а не недостатокъ въ охотникахъ писать и въ такихъ талантахъ, какихъ довольно было во время оно.... Драматическая поэзія допускаетъ равно и стихи и прозу, даже то и другое вмѣстѣ. Въ числительномъ отношеніи это у насъ самая богатая отрасль литературы. Еще въ 1786—1794 годахъ былъ изданъ «Россійскій Театръ» въ сорока-трехъ частяхъ: судите же, какое богатство! Трагедіи писали у насъ и Третьяковскій, и Ломоносовъ, и Сумароковъ, и Херасковъ, и Княжнинъ, и Озеровъ, и Брюковскій и многіе, многіе; а писавшихъ комедіи нѣтъ возможности перечестъ на-скоро. И, однакожь, порядочныхъ трагедій въ псевдоклассическомъ французскомъ родѣ только четыре—Озерова; трагедію, въ родѣ Шекспировскихъ драматическихъ хроникъ, мы имѣемъ только одну—«Бориса Годунова» Пушкина; и въ его драматическихъ сценахъ—нѣсколько опытовъ трагедіи собственно («Пиръ во время Чумы» «Мозартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Русалка», «Каменный Гость»). Больше не на что указать. Что касается до комедіи, въ которой съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ, упражнялось множество писателей, какъ - то: Сумароковъ, Херасковъ, Княжнинъ, Капнисть, Крыловъ, князь Шахов-

скій, гг. Загоскинъ, Хмѣльницкій, Писаревъ и пр. и пр.,—несмотря на огромное богатство нашей литературы въ произведеніяхъ этого рода, все-таки рѣшительно не на что указать, кромѣ «Бригадира» и «Недоросля» Фонъ-Визина, «Горя отъ ума» Грибоѣдова, «Ревизора» и «Женидьбы» Гоголя, и его же «Сценъ» («Игроки», «Тяжба», «Лакейская» и пр.). Итакъ, чтобъ написать теперь трагедію, которая была бы не хуже «Бориса Годунова» и другихъ драматическихъ опытовъ Пушкина,—надо имѣть талантъ Пушкина. Нѣкоторые писатели, дѣйствительно, отважно рѣшились допытываться своего счастья на этомъ тревожномъ морѣ. Г. Хомяковъ написалъ драмы «Ермакъ» и «Дмитрій Самозванецъ», изъ которыхъ первая даже была поставлена на сцену. Но всѣ скоро признали въ казакахъ г. Хомякова не казаковъ XVI столѣтія, а скорѣе нѣмецкихъ студентовъ добраго стараго времени; вмѣсто характеровъ, увидѣли олицетвореніе извѣстныхъ лирическихъ ощущеній и чувствованій, и вообще нѣчто въ родѣ пародіи на драматическій лиризмъ Шиллера, пародіи, написанной, впрочемъ, бойкими, гладкими и даже, иногда, живыми стихами. Въ «Самозванцѣ» уже не только одни лирическія ощущенія и чувствованія, но и кое-какія доморощенные идеи о русской исторіи и русской народности; стихи такъ же хороши, какъ и въ «Ермакѣ», мѣстами довольно удачная поддѣлка подъ русскую рѣчь, и при этомъ совершенное отсутствіе всякаго драматизма; характеры — сочиненные по рецепту; герой драмы—идеальный студентъ на нѣмецкую статью; тонъ дѣтскій, взгляды невысокіе, недостатокъ такта дѣйствительности—совершенный... Потомъ, выступилъ на драматическое поприще г. Кукольникъ, съ своими драмами изъ жизни итальянскихъ художниковъ. Отвлеченная идеальность, мѣстами хорошія лирическія выходки, изрѣдка недурныя драматическія положенія; но въ общности невѣрность концепціи, монотонность вымысла и формы, недостатокъ истиннаго драматизма, и, вслѣдствіе того, непо-

бѣдная скука при чтеніи—вотъ характеристика этихъ драмъ г. Кукольника. Но у него есть еще и другой родъ драмъ—это русско-историческія, какъ, наприм., «Рука Всевышняго отечество спасла», «Скопинъ Шуйскій» и «Князь Холмскій». Въ этихъ нѣтъ ничего общаго съ «Борисомъ Годуновымъ», который до того проникнуть вездѣ истинно Шекспировскою вѣрностію исторической дѣйствительности, что самые недостатки его, — какъ-то: отсутствіе драматическаго движенія, преобладаніе эпическаго элемента и, вслѣдствіе этого — какое то холодное, хотя и величавое спокойствіе, разлитое во всей пьесѣ — проходятъ оттого, что она слишкомъ безукоризненно вѣрна исторической дѣйствительности русской жизни. Въ драмахъ г. Кукольника нѣтъ и признаковъ этой дѣйствительности: все ложно, на ходуляхъ; лучшія мѣста — просто сценическіе эффе́кты, и сквозь русскіе охабни, кафтаны и сарафаны пробивается что-то не русское какъ въ русско-историческихъ повѣстяхъ Марлинскаго, какъ въ русскихъ пѣсняхъ Дельвига. Доказательствомъ справедливости нашихъ словъ можетъ служить и то, что этотъ родъ драмы ловко былъ усвоенъ гг. Ободовскимъ, Полевымъ, В. Зотовымъ и другими сочинителями этого разряда. Но у г. Кукольника есть еще особый родъ драмы—это передѣланные въ драматическую форму анекдоты изъ жизни Петра Великаго (напр., «Иванъ Рябовъ, рыбакъ архангелогородскій»); въ нихъ много хорошаго, хоть и нѣтъ драмы, ибо изъ анекдота никакъ нельзя сдѣлать драму. Г. Полевой не упустилъ изъ вида отличиться и въ драмѣ, какъ отличился уже въ лирической поэзіи, въ романѣ, въ повѣсти, въ критикѣ, въ исторіи, въ журналистикѣ, въ политической экономіи, въ эстетикѣ, въ филологіи, въ философіи, въ лингвистикѣ и пр. и пр. Особенный характеръ трагедій (или «драматическихъ представлений»), комедій, водевилей, анекдотическихъ драмъ г. Полеваго, — всеобъемлемость, универсальность; въ нихъ все найдете: немножко Шекспира, немножко Мольера, немножко

Вальтеръ-Скотта, немножко Дюкре-дю-Мениля и Августа Лафонтена. Дюма гдѣ-то сказалъ, что онъ не похищаетъ чужаго въ своихъ сочиненіяхъ, но, подобно Шекспиру и Мольеру, беретъ свое, гдѣ только увидитъ его; эти слова можно приложить къ г. Полевому: ему все годится, все подручно, — и исторія, и повѣсть, и романъ, и анекдотъ, Шекспиръ и Коцебу, Шиллеръ и г. Букольникъ: онъ все беретъ и у всѣхъ учится; его драмы рождаются и умираютъ десятками, подобно лѣтнимъ эфемеридамъ. Нашъ Вольтеръ и Гёте, онъ все; онъ единъ — цѣлая литература, цѣлая наука. Извольте же угоняться за нимъ! пріймитесь за драму: онъ взялъ или возьметъ всевозможные сюжеты, какіе бы вы ни придумали, воспользуется всякими новыми драматическими эффектами — все вмѣститъ онъ въ свою драму, во всемъ предупредитъ васъ. Нѣтъ, лучше и не беритесь за драму: кромѣ г. Полеваго, вамъ загораживаютъ дорогу гг. Хомяковъ и Кукольникъ. Вамъ поневолѣ придется выдумать свою драму, новую, небывалую, а это невозможно, потому что уже всѣ источники изобрѣтенія истощены, всѣ роды перепробованы, всѣ дороги избиты. Нуженъ геній, нуженъ великій талантъ, чтобъ показать міру творческое произведеніе, простое и прекрасное, взятое изъ всѣмъ извѣстной дѣйствительности, но вѣющее новымъ духомъ, новою жизнью. Еслибъ вы даже вздумали сочинить произведеніе въ родѣ «Разбойниковъ» Шиллера, — васъ и тутъ предупредилъ, еще въ 1800 году, Нарѣжный, своимъ «Дмитріемъ Самозванцемъ». Не пишите и романтической трагедіи съ дико-завывающими фразами, бѣдными смысловъ, но богатыми неистовствомъ, съ сюжетомъ, заимствованнымъ изъ поэмы Байрона: васъ уже предупредилъ г. Олинъ своимъ «Корсаромъ». Да, теперь потому ничего не пишутъ, что уже все написано; потому и трудно прославиться, что нужно для этого не новизну выкинутой штуки, а много, много таланта, если не генія!...

Комедія еще болѣе приводитъ въ отчаяніе, нежели драма.

Въ драмѣ посредственность можетъ похитить что нибудь у Шекспира, Вальтеръ-Скотта, Мольера, подняться на дыбы, ослѣпить толпу дикими и грубыми эффектами, пѣніемъ, пляскою, родственными обниманіями и т. п.; но въ комедіи со-всѣмъ не то. Искусство смѣшить труднѣе искусства трогать. Неразвитаго человѣка можно растрогать поддѣльною чувствительностью, крикомъ вмѣсто чувства, эффектомъ вмѣсто потрясающей сцены; но, чтобъ заставить разсмѣяться, даже грубымъ смѣхомъ, нужна природная веселость и своего рода юморъ. Скажутъ: толпу можно смѣшить въ сценическихъ пьесахъ переодѣваніями, оплеухами, толчками, потасовкою, неприличными и грубыми двусмысленностями, плоскими шутками и тому подобными комическими эффектами. Такъ и дѣлаетъ бѣлая часть доморощенныхъ нашихъ драматурговъ, сочинителей и передѣлывателей комедій и водевилей: верхняя публика громко хохочетъ, нижняя аплодируетъ; но это обманъ сцены: ловкую игру актѣра принимаютъ за достоинство пьесы, которая по своему позабавитъ одинъ вечеръ толпу, на другой вечеръ уже не нравится самой этой толпѣ, а въ чтеніи никуда не годится съ перваго раза. Если на минуту она была пріобрѣтеніемъ сцены, то ни на одну минуту не составляла пріобрѣтенія для литературы. Такія пьесы десятками рождаются сегодня и десятками умираютъ завтра. Водевилистовъ и комиковъ нашихъ въ недѣлю не перечесть по пальцамъ, ихъ, произведеніямъ нѣтъ числа, а драматической литературы нѣтъ у насъ! Ни одинъ петербургскій чиновникъ, получающій до 1000 рублей жалованья и поработавшій въ какой-нибудь газетѣ, по части объявленій о сигарочныхъ и о овощныхъ лавочкахъ, не затруднится написать комедію, изображающую высшій свѣтъ, котораго онъ, бѣднякъ, и во снѣ не видалъ и о тонѣ котораго онъ судить по манерамъ своего начальника отдѣленія. Комедія требуетъ глубокаго, остраго взгляда въ основы общественной морали, и притомъ надо, чтобъ наблюдающій ихъ юмористически

своимъ разумѣніемъ стоялъ выше ихъ. Наши же доморощенные драматурги, — по большей части люди среднихъ кружковъ, въ которыхъ съ успѣхомъ отличаются своею любезностью и остроуміемъ, — стараются, въ своихъ комедіяхъ и водевиляхъ, быть «критиканами» (критиканъ—тривіальное слово, равнозначительное зубоскалу) и возбуждать смѣхъ или пошлыми каламбурами, или плоскими остротами надъ модными костюмами, бородами и прическами à la gusse, надъ простотою провинціала, пріѣхавшаго въ Петербургъ, словомъ, надъ всякою странною внѣшностью. Не таковъ истинный комизмъ и истинный юморъ. Для него внѣшность смѣшна не сама по себѣ, но какъ выраженіе внутренняго міра души человѣка, отраженіе его понятій и чувствъ. Мы могли бы привести изъ комедій Гоголя тысячу примѣровъ истиннаго комизма, но ограничимся двумя: вспомните сцену, гдѣ городничій распекаетъ купцовъ за ихъ доносъ ревизору: «Жаловаться? а кто тебѣ помогъ сплутовать, когда ты строишь мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебѣ, козлиная борода! Ты позабылъ это. Я, показавши это на тебя, могъ бы тебя также спровадить въ Сибирь... Что скажишь, а?»... Вотъ это комизмъ, отъ котораго какъ-то тяжело смѣешься! Человѣкъ, безъ стыда, безъ совѣсти, ставить себѣ въ заслугу, что онъ помогъ другому сплутовать, и, словно оскорбленная добродѣтель, съ благороднымъ негодованіемъ упрекаетъ другаго въ неблагодарности, какъ въ черномъ и низкомъ дѣлѣ. Это онъ говорить при женѣ и дочери, и это же онъ сказалъ бы при сынѣ, еслибъ у него былъ сынъ. Фамусовъ, въ «Горѣ отъ Ума» говорить Скалозубу:

Нѣтъ! я передъ родней, гдѣ встрѣтится, ползкомъ,
Сыщу ее на днѣ морскомъ!

При мнѣ служащіе чужіе очень рѣдки:
Все больше сестрины, свояченицы дѣтки.

Одинъ Молчалинъ мнѣ не свой
И то затѣмъ, что дѣловой.

Какъ станешь представлять къ крестикшу, или къ мѣстечку.
Ну какъ не порадовать родному человѣчку?

Черта глубоко комическая! Въ Петербургѣ, слава Богу, эта черта не слишкомъ бросается въ глаза, но въ провинціальной глуши принципъ родства такъ силенъ, что тамъ скорѣе рѣшатся десять лѣтъ сряду не играть въ преферансъ, чѣмъ показать холодность къ родственнику въ семьдесятъ-седемьомъ колѣнѣ. Будь онъ плутъ отъявленный и человѣкъ съ самою дурною репутаціею, но если онъ вамъ родственникъ, онъ, отъ роду не выдавъ васъ, не только лѣзетъ съ своими губами къ вашему лицу, но и селится въ вашемъ домѣ, съ семьею, съ дворнею, и заставляетъ васъ втайнѣ проклинать судьбу, которая дала вамъ возможность имѣть собственный домъ. И онъ правъ: не останавливаться же ему въ трактирѣ, прїѣхавъ изъ своего помѣстья въ губернской городъ, когда у него есть родственники; вѣдь они же обидѣлись бы такимъ грубымъ съ его стороны поступкомъ!... И что же? здѣсь еще не конецъ смѣшному: они дѣйствительно обидѣлись бы, еслибъ онъ остановился не у нихъ, и они же проклинали бы втайнѣ и его, и себя, а наружно дѣлали бы сладкія мины сквозь слезы, еслибъ онъ у нихъ остановился... Вотъ онъ, неисчерпаемый источникъ истиннаго комизма! Онъ вокругъ насъ и даже въ самихъ насъ. Благодаря ему, мы смѣшны въ собственныхъ глазахъ. Но чуть только начнемъ мы писать комедію, выходитъ книга, въ которой много словъ, много пошлостей, много вздора, и нѣтъ нисколько истины, дѣйствительности. Интрига всегда завязана на прыничной любви, увѣнчивающейся законнымъ бракомъ, по преодоленіи разныхъ препятствій. Любовь у насъ во всемъ — и въ стихахъ, и въ романахъ, и въ повѣстяхъ, и въ трагедіяхъ и въ комедіяхъ, и въ водевиляхъ. Подумаешь, что на Руси люди только и дѣлаютъ, что влюбляются, да, по преодоленіи разныхъ препятствій, женятся,—и, замѣтите, всегда безкорыстно, безъ расчетовъ на приданое, на связи, на выгодное

мѣсто, всегда на дѣвѣ идеальной, дочери бѣдныхъ, но благородныхъ родителей. Гоголь сказалъ правду: «Теперь сильнѣе завязываетъ драму стремленіе достать выгодное мѣсто, блеснуть и затмить, во что бы то ни стало, другаго, отмстить за пренебреженіе, за насмѣшку. Не болѣе ли имѣютъ теперь электричества денежный капиталъ, выгодная женитьба, чѣмъ любовь?» Но нашимъ комикамъ этого и въ голову не входило. Пошлый любовникъ съ прычными фразами; пошлая барышня, вѣчно въ родѣ сентиментальной *servante endiablée*; разлучникъ негодяй и дядя-резонеръ—неизмѣнныя лица ихъ комедій. Всѣ говорятъ, словно по книгѣ читаютъ; не услышишь живаго слова, и нѣтъ признака того, что бываетъ въ дѣйствительности. Оно и лучше: никто не узнаетъ себя и не осердится. Волки сыты и овцы цѣлы. Зато, если среди кучи этихъ вздорныхъ произведеній, появится водевильчикъ со смысломъ и хоть съ легонькимъ намекомъ на то, что въ самомъ дѣлѣ бываетъ, хоть съ искрою истины и вѣрности дѣйствительности, — Боже мой! сколько шума, какой триумфъ! Словно появилось вѣковое произведеніе!... Такое событіе совершилось недавно, — и въ одной газетѣ авторъ хорошенькаго водевильчика приглашался передѣлать драматическія сочиненія Гоголя, чтобъ сдѣлать ихъ сносными!... Мы совѣтовали бы сочинителямъ оставить Гоголя въ покоѣ и прискаты себѣ какого-нибудь водевилиста, который бы исправлялъ и сдѣлалъ сколько-нибудь сносными ихъ собственныя, изъ чужихъ лоскутьевъ сшитыя «драматическія представленія».

И вотъ, мы перебрали всѣ роды поэзій, чтобъ показать, что теперь ни въ одномъ нѣтъ возможности съ успѣхомъ дѣйствовать не только бездарности, посредственности, но и людямъ не безъ таланта. Бѣдность современной литературы происходитъ оттого, что все перепробовано, и новизною уже нельзя блеснуть какъ талантомъ. Это бѣдность честная, благородная, которая въ тысячу разъ лучше мнимаго богатства.

Это успѣхъ, а не паденіе, огромный шагъ впередъ, а не назадъ. Теперь уже запертъ путь къ извѣстности и знаменитости всякому, у кого нѣтъ большаго таланта. Вслѣдствіе этого, безталантность, посредственность и мелкія дарованія, которыхъ еще больше на бѣломъ свѣтѣ, чѣмъ людей совершенно бездарныхъ, принялись за свое дѣло, на которое назначены они природою и судьбою: они составляютъ историческія компиляціи и статейки о нравахъ для политапажныхъ изданій. Когда картинки плохи, текстъ читается столько внимательно, сколько это нужно для объясненія картинокъ; когда картинки хороши (такъ, папримѣръ, картинки г. Тимма), текстъ вовсе не читается; но сочинители отъ этого ничего не теряютъ: ихъ книги покупаются для картинокъ, и читатели не въ претензіи за вздорную галиматью текста. И читатели правы: простительнѣе восхищаться хорошими картинками, чѣмъ пустыми книгами...

Время дѣтскихъ восторговъ прошло, и настаетъ время мысли. Публика сдѣлалась требовательнѣе. Правда, она сама не отдала себѣ отчета въ томъ, чего требуетъ, но уже не удовлетворяется всѣмъ, чѣмъ не поподчуетъ ее досужая дѣятельность писакъ. Время сознанія еще не настало, но уже близко начало этого сознанія. Пышные возгласы и великолѣпныя фразы ужъ всѣмъ кажутся пошлыми, и ими ужъ никого нельзя заинтересовать. Никто не станетъ сомнѣваться въ существованіи русской литературы; но всякій имѣетъ право требовать настоящаго взгляда на ея объемъ и степень ея важности, и всякій имѣетъ право смѣяться при пышныхъ сравненіяхъ ея съ иностранными литературами. Что у насъ есть литература, для этого достаточно знать, что у насъ есть Пушкинъ, и что мы, кромя Пушкина, съ гордостію можемъ указать еще на нѣсколько именъ. Наша литература имѣетъ и свою исторію, потому что всѣ замѣчательныя ея явленія исторически послѣдовательны и одни факты объясняются другими, предшествовавшими. Все это

такъ; но вмѣстѣ съ этимъ мы не должны забывать, что наша литература вначалѣ была пересаженнымъ цвѣткомъ, жизненность котораго долго поддерживалась искусственно, за стеклами теплицы. Очень и очень недавно начала она пускать корни въ русскую почву. И такъ еще доселѣ тѣсна эта почва! Гдѣ та сплоченная масса, изъ жизни которой, какъ цвѣтокъ изъ почки, возникла бы наша поэзія и обратно дѣйствовала бы одинаково на всю эту массу? Какое отношеніе имѣетъ наша современная поэзія съ поэзіею народною? Онѣ не только не родня одна другой—даже незнакомы другъ съ другомъ. Прочтите пьесу Пушкина не только мужику, но хоть иному и купцу первой гильдіи: что онѣ о ней скажутъ?... Гдѣ наша публика, которая силою своего мнѣнія, уронила бы безстыдно-торговый журналъ, или, по крайней мѣрѣ, ограничила бы его дерзость и наглость? Она на многое сердится, многимъ недовольна, но чѣмъ именно, этого она сама не знаетъ, потому что она—не сплошная масса, а собраніе людей, различныхъ состояній, круговъ, требованій, понятій, привычекъ, собраніе людей, не связанныхъ между собою единствомъ мнѣнія. Выходятъ «Мертвыя Души»: большинство публики ими недовольно, охотно соглашается съ журнальною бранью враговъ автора—и въ то же время читаетъ, перечитываетъ и въ короткое время раскупаетъ двойное изданіе (2,400 экземпляровъ) «Мертвыхъ Душъ». Это фактъ, и очень многозначительный! Для удовлетворенія своей жажды къ чтенію (а жажды къ чтенію въ ней нельзя отрицать), она ищетъ все новаго, большею частію забывая старое. По пробуйте сказать слово, что въ Ломоносовѣ, Державинѣ, Карамзинѣ есть не только достоинства, но и недостатки и что, писатели прошлой эпохи, они для насъ уже далеко не то, чѣмъ были для нашихъ отцовъ и дѣдовъ,—и тотчасъ же многіе закричатъ, что у васъ нѣтъ уваженія къ заслуженнымъ авторитетамъ, что вы нагло топчете въ грязь великія имена и т. п. И въ публикѣ сейчасъ же раздадутся

голоса: «да, да, въ самомъ дѣлѣ! какъ это можно, на что это похоже!» И, вы думаете, это говорятъ люди, изучившіе Ломоносова, Державина, Карамзина? Нисколько; они даже и не читали этихъ писателей, но они привыкли по наслышкѣ уважать эти имена. Оттого-то инымъ и легко ихъ увѣрять въ чемъ угодно, и заставлять смотрѣть на дѣльную критику, которая силится показать истинное значеніе писателя, какъ на злонамѣренную брань.

Та же незрѣлость и шаткость и въ нашей литературѣ. У насъ есть поборники европеизма, есть славянофилы и др.; ихъ называютъ литературными партіями. Смѣшное названіе! Всякія партіи имѣютъ свои корни въ обществѣ и бывають отголосками или выраженіями различій и противорѣчій общественнаго мнѣнія. Наши же партіи состояются изъ литературныхъ кружковъ, изъ которыхъ въ каждомъ случайно набралось человекъ десятокъ, сошедшихся на вечерѣ, за чаемъ въ нѣкоторыхъ невинныхъ литературныхъ мнѣніяхъ и вкусахъ. И эти-то кружки называютъ себя «партіями». Въ добрый часъ! Чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало! Литераторство у насъ—дѣло между другими важнѣйшими дѣлами, отдыхъ отъ служебныхъ занятій, а чаще всего оно имѣетъ простое значеніе лишнихъ полутора или двухъ тысячъ рублей въ годъ въ добавокъ къ жалованью. Много ли у насъ литераторовъ, которые посвятили себя одной литературѣ, по призванію, по страсти къ ней? У насъ уже понимаютъ, что занятіе литературою между прочимъ—дѣло очень почтенное, особенно, если оно прибыльно...

При такомъ направленіи публики, странно было бы требовать литературы въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Съ другой стороны, и литература наша только въ немногихъ своихъ исключеніяхъ выше этой публики; но, взятая вообще, совершенно по плечу ей. Наши литераторы большею частію не артисты, а диллетанты, которые между дѣломъ и без-

дѣльемъ почитываютъ и пописываютъ. Они убѣждены, что можно прежде всего дѣлать что-нибудь, хоть спекуляціи, а потомъ, въ свободное отъ главныхъ занятій время, почему и не написать чего-нибудь — вѣдь оно же и выгодно, между прочимъ. Они убѣждены, что если кто написалъ въ жизнь свою три порядочныхъ романа, то уже великій писатель; а кто настрочилъ десятокъ фельетоновъ — тотъ уже знаменитый литераторъ. Два-три стихотворенія даютъ у насъ право на извѣстность; водевилъ отворяетъ ворота въ храмъ славы. Оттого, при всей бѣдности нашей литературы, у насъ литераторовъ бездна. Особенно богатъ ими Петербургъ. Затѣйте новый журналъ, новую газету, или, какъ теперь это болѣе въ ходу, воскресите старый журналъ или газету, — вы ни за миллионы не найдете издателя, который далъ бы новому изданію направленіе, жизнь и ходъ; за то сотрудниковъ и особенно переводчиковъ не оберетесь. Даже не нужно искать и звать ихъ — сами придутъ. Сто или двѣсти изъ нихъ принесутъ вамъ, на первый случай, по сотнѣ стихотвореній, въ которыхъ нѣтъ ни поэзіи, ни смысла; пятьдесятъ принесутъ обѣщаній — къ такому-то числу представить по повѣсти, и, при сей вѣрной оказіи, спросятъ васъ, по-чѣмъ вы платите съ листа; десять принесутъ вамъ, въ самомъ дѣлѣ, по повѣсти, исполненной канцелярскаго юмора и чиновнической ироніи, или высокаго трагическаго паэоса à la Марлинскій, — что однако не снабдитъ васъ матеріаломъ для вашего журнала. Что касается до критики и библіографіи, — въ Петербургѣ столько критиковъ и библіографовъ, что при ихъ помощи вамъ легко было бы издавать сто толстыхъ и тысячу тонкихъ журналовъ. И не мудрено: вѣдь въ Петербургѣ родился тотъ знаменитый Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, который сочинилъ и «Сумбеку», и «Фенеллу», и «Юрія Милославскаго», издавалъ «Библиотеку для Чтенія» и всѣ журналы, издававшіеся въ Петербургѣ... Критика у насъ считается самымъ легкимъ реме-

словъ; за нее берутся все съ особенной охотой, и рѣдко кому входитъ въ голову, что для критики нужно имѣть талантъ, вкусъ, познанія, начитанность, нужно умѣть владѣть языкомъ. Большая часть, напротивъ, думаетъ, что для этого нужно только знать, что все наши—геніи и таланты, а все не наши—люди не безъ таланта, если они намъ не мѣшаютъ, и люди бездарные, если мѣшаютъ. Теорія, какъ видите, самая простая, и чтобъ понять ее сразу, не нужно учиться, трудиться, думать, развиваться, имѣть мнѣніе, взглядъ, убѣжденіе. И потому нѣтъ ничего обыкновеннѣе, какъ услышать жалобы въ родѣ слѣдующихъ: «Скажите, пожалуйста, за что онъ (имя рекъ) разобралъ мой романъ, мою повѣсть, драму, водевиль, журналъ или книгу? Что я ему сдѣлалъ? Въдъ мы съ нимъ пишемъ въ разныхъ родахъ, или въ разныхъ журналахъ, и помѣшать другъ другу не можемъ?» Почти никому въ голову не входитъ, что можно безъ всякихъ личныхъ отношеній къ человѣку, и даже зная его съ хорошей стороны, уважая его характеръ и сердце, не любить его взгляда на тотъ или другой предметъ и энергически противодѣйствовать этому взгляду, такъ же, какъ можно, любя и уважая человѣка, не уважать его сочиненій, какъ оскорбляющихъ вкусъ и умъ. Значитъ, понимаютъ энергію антипатіи за соперничество по деньгамъ, по самолюбію, по извѣстности и другимъ мелкимъ страстишкамъ и пристрастишкамъ; но не понимаютъ энергіи антипатіи къ тому, что кажется ошибочнымъ мнѣніемъ, ложнымъ убѣжденіемъ, умысленнымъ или неумысленнымъ заблужденіемъ, безвкусіемъ, бездарностію. Кто-нибудь издалъ плохой романъ, въ которомъ удачно польстилъ грубому вкусу большинства и чрезъ то пріобрѣлъ большой успѣхъ, — а вы написали критику, въ которой показали въ истинномъ свѣтѣ незаконное чадо площадной фантазіи: вы завистникъ, ибо вамъ никто не повѣритъ, чтобъ можно было разсердиться на книгу, которая до васъ не касается; но все повѣрятъ, что можно

взбѣситься на чужой успѣхъ... И такіе-то «нравы» существуютъ между классомъ такъ называемыхъ литераторовъ!... Оттого, наши критики не занимаются старыми писателями, отъ которыхъ имъ уже ни пользы, ни потери быть не можетъ. Сегодня умеръ писатель, хотя бы великій, и завтра уже нечего толковать о немъ, исключая развѣ случая, если его сочиненія издаются, и расходъ ихъ можетъ повредить расходу сочиненій критика или его пріятелей. Безъ этого случая, критики наши говорятъ только о современныхъ явленіяхъ, какъ бы они ни были ничтожны, особенно если эти сочиненія — ихъ собственные. За то какъ тяжка у насъ роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ и не отдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія!... И тѣмъ хуже ему, если онъ столько уважаетъ истину и столько смиряется передъ нею, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защищалъ съ жаромъ и съ энергіею, но которое, въ процессѣ своего непрерывно движущагося сознанія, онъ уже не можетъ болѣе признавать за справедливое!... Не смотреть на то, что перемѣна мнѣнія не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и поставила его, или могла поставить, въ непріятное положеніе къ людямъ, которые довѣряли его авторитету, — не говоря уже о томъ, что отрѣчься отъ своего мнѣнія, значить признаться въ ошибкѣ, а это не совсѣмъ лестно для человѣческаго самолюбія, которое всегда склонно поддерживать, что дважды два — пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогрѣшительнымъ. А имѣть свой взглядъ, свое убѣжденіе, судить на какихъ-нибудь основаніяхъ, а не по голосу толпы — да это значить ни больше, ни меньше какъ прослыть человѣкомъ безпокойнымъ и безнравственнымъ. Вздумайте писать не отрывочныя фразы, но большія и дѣльныя статьи, которыя бы стоили вамъ много труда и

размышленія, напримѣръ, о Державинѣ, Жуковскомъ, Батюшковѣ, Пушкинѣ, Лермонтовѣ, — и на васъ польется проливной дождь брани. Нужды нѣтъ, что вы говорите съ доказательствами, съ доводами; пусть въ вашихъ статьяхъ видны будутъ любовь и уваженіе къ разбираемымъ вами писателямъ, — сейчасъ найдутся люди, которые закричатъ въ одинъ голосъ: «ложь, пристрастіе, неуваженіе къ великимъ именамъ, дерзкое презрѣніе къ признаннымъ всѣми авторитетамъ!» И тщетно стали бы вы говорить въ отвѣтъ на эти брани, что вы отнюдь не признаете себя непогрѣшительнымъ и очень хорошо знаете, что можете ошибаться, подобно всѣмъ людямъ, но желаете, чтобъ вамъ доказали вашу ошибку и показали, въ чемъ именно и почему именно вы ошибаетесь: ваше желаніе, ваше справедливое требованіе никогда не будутъ выполнены, потому что противники ваши находятъ свои причины видѣть ваши мнѣнія ложными и пристрастными, но не находятъ въ себѣ ни силъ, ни умѣнья, слѣдовательно, и ни охоты доказать справедливость своего обвиненія противъ васъ. А что же дѣлаетъ въ это время публика? Большая часть ея всегда охотнѣе присоединяется къ этимъ крикунамъ, ибо если и большая часть нашихъ литераторовъ, заправляющихъ мнѣніемъ публики, подъ «критикою» разумѣютъ брань, а слово «критиковать» объясняютъ словомъ «ругать», то какъ же иначе стали бы понимать критику большинство, толпа? У насъ ужъ такъ изстари ведется: если кого хвалить, такъ ужъ все надо находить безусловно хорошимъ, и позволяется слегка замѣтить что-нибудь, развѣ только о неисправности изданія, опечатки и т. п.; а если кого бранить, такъ ужъ бей съ плеча! Поэтому, критики съ самостоятельнымъ взглядомъ у насъ всегда играли очень непріятную роль. Для доказательства этого, предлагаемъ здѣсь на выдержку нѣсколько строкъ Мерзлякова, выписанныхъ нами изъ «Вѣстника Европы» 1813 года (часть XLVII, стр. 224—227):

„Можетъ быть нѣкоторые скажутъ, что у насъ литература еще не весьма богата и не можетъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ общества; что критика еще не найдетъ обильнаго для себя поля, и что ея заниматься рано. Но правда ли, что мы такъ бѣдны? Для чего обижать самимъ себя! Мы уже имѣемъ превосходныхъ писателей почти во всѣхъ родахъ словесности. Одинъ Державинъ представляетъ огромнѣйшій, разнообразный садъ для ума и вкуса разборчиваго! Кому непріятно внимать величественной лирѣ Ломоносова? Кто откажется слѣдовать за Богдановичемъ въ очаровательные чертоги Амура? или, оживясь патріотизмомъ, стремиться на крылахъ пламенныхъ за важнымъ Херасковымъ подъ твердыни казанскія, къ грознымъ пожарамъ Чесмы! Но на что, возражать, касаться сихъ почтенныхъ именъ? Они уже освящены общими мнѣніемъ!—Странное благоговѣніе къ мужамъ великимъ,—думать, что мы дѣлаемъ имъ честь, когда не смѣемъ заглянуть въ ихъ сочиненія, не смѣемъ сказать объ нихъ ни слова! Такого рода уваженіе похоже на набожность Китайцевъ, благоговѣющихъ передъ старыми своими книгами, которыя, будучи неприступны для ума просвѣщеннаго, остаются корыстію мышей и времени! И у насъ есть Китайцы въ семъ смыслѣ! Для чего-жъ и для кого трудились сіи великіе писатели? Хотѣли-ль они быть полезными будущему поколѣнію? Если хотѣли, то дали право разбирать свои сочиненія! И кого-жъ другаго почитать разборомъ, какъ не ихъ? Только твердые камни полируются; слабые и легкіе не стоятъ и не выносятся полировки.

„Странное мнѣніе имѣемъ мы о критикѣ! Дитя не смотритъ только на подаренныя ему куклы, но ихъ раскладываетъ, даетъ имъ мѣста, разговариваетъ съ ними; хорошій бібліотекаръ не кидаетъ книгъ въ кучу, но даетъ имъ порядокъ, знаетъ каждой цѣну и достоинство; садовникъ также поступаетъ съ своими любимыми цвѣтами и деревьями; онъ пользуется отъ трудовъ своихъ. Почему же мы, имѣя такія сокровища на языкѣ російскомъ, хотимъ знать ихъ только по имени, или, что еще хуже, повторять объ нихъ чужія мысли, часто невѣрныя? для чего самому не имѣть своего мнѣнія, самому не наслаждаться? Мнѣ докажутъ, что мнѣнія мои ложны — отступаюсь; но я человекъ—и имѣю право мыслить. Но у насъ мало писателей! И такъ, хотите ли, чтобъ ихъ число умножалось? Будьте къ нимъ внимательнѣе, или тоже разбирайте ихъ; отъ этого они умножаются и скорѣе достигаютъ совершенства. Умножаются, почему? Вниманіе публики возбуждаетъ соревнованіе. Увидѣвъ, что истинное достоинство отличено, слабость обнаружена, увидѣвъ, сколь почтенно выйдти изъ обыкновеннаго круга людей, всякій захочетъ испытать

силы на столь блистательномъ поприщѣ. Докажите важность искусства,—атлеты не замедлятъ явиться. Я сказалъ: *скорѣе достигаютъ совершенства*; писатель не достигнетъ его, если публика не въ силахъ, или не хочетъ судить объ немъ; ибо въ рукахъ публики—его награды, она раздражаетъ его честолюбіе, и возбуждаетъ къ великимъ усиліямъ. Равнодушіе наше—убійство словесности. Публика и писатель другъ друга награждаютъ: писатель даетъ ей пищу; она его образуетъ; одинъ доставляетъ ей удовольствіе, другая вѣнчаетъ его славою! Свидѣтели той другой истины — всѣ просвѣщенные государства Европы. Ни въ какое время не было у нихъ столько хорошихъ писателей, какъ при царствованіи критики“.

Итакъ, на что жаловался умный литераторъ и что силится онъ растолковать назадъ тому ровно тридцать лѣтъ, на это же можно жаловаться и это же должно объяснять—теперь! Вотъ какъ быстро и шибко подвигается впередъ наше литературное образованіе!... Сказано, что Державинъ великъ: такъ зачѣмъ намъ знать, какъ, чѣмъ и почему онъ великъ; а если онъ великъ, какіе же у него могутъ быть недостатки? Чтобъ узнать, почему онъ великъ и какіе въ немъ есть недостатки, надо его читать, изучать, думать о немъ, а чтобъ знать, что онъ великъ и никакихъ недостатковъ не имѣетъ, для этого не нужно прочесть ни одной его оды, что вѣдь гораздо легче! Такъ думаютъ, хотя и не такъ говорятъ. И напрасно бы вы стали доказывать, что хотя Гомеръ и Шекспиръ и несравненно выше Державина, однакожъ, и они, оставаясь по-прежнему великими геніями, все-таки для насъ не то, чѣмъ были въ свое время, ибо жизнь неистощима въ проявленіяхъ творческой силы, и всякое время должно имѣть свою поэзію, соотвѣтствующую требованіямъ этого времени. Васъ не будутъ слушать, ибо требуютъ словъ, а не идей, дѣтскихъ споровъ за имена, а не объясненія значеній этихъ именъ. «Какъ!» кричатъ вамъ: «пересчитывая знаменитыхъ вашихъ писателей, вы имя Жуковскаго поставили послѣ имени Батюшкова;—конечно Батюшковъ былъ человекъ съ талантомъ, но все же нельзя его равнять съ Жуковскимъ!»

Или: «вы Пушкина поставили на одну доску съ Баратынскими!» При этихъ крикахъ остается только заткнуть уши; вы видите, что васъ не поняли, вашимъ словамъ придали дѣтское значеніе, о которомъ вы и не думали,—и вамъ невольно становится стыдно собственныхъ своихъ словъ, вы лучше хотите, чтобъ вамъ приписывали какія угодно негѣпости, нежели оправдываться и объясняться. Вы, напримѣръ, сказали, что есть два рода великихъ поэтовъ: одни, съ печатью олимпійскаго происхожденія на челѣ, изображаютъ міръ, какъ онъ есть, принимая его дѣйствительное состояніе, во всякій данный моментъ, за непреложно-разумное: и таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ — Шекспиръ, и къ такому разряду поэтовъ принадлежитъ нашъ Пушкинъ; другіе, недовольные уже совершившимся цикломъ жизни, носятъ въ душѣ своей предчувствіе ея будущаго идеала: таковъ былъ величайшій представитель этого рода поэтовъ — Байронъ, и къ такому разряду принадлежитъ нашъ Лермонтовъ. Вы сказали это для того, чтобъ обозначить характеръ и духъ поэзіи Пушкина и поэзіи Лермонтова, понимая всю неизмѣримость разстоянія, раздѣляющаго великаго міроваго поэта Шекспира отъ великаго русскаго поэта Пушкина, и громаднаго Байрона отъ безвременно погибшаго юноши; а вамъ кричатъ: «О-го! вотъ какъ! Пушкинъ наравнѣ съ Шекспиромъ, Пушкинъ — Шекспиръ, а Лермонтовъ—Байронъ!...» Чтѣ тутъ говорить! Все важное такъ легко сдѣлать смѣшнымъ въ глазахъ толпы, которая не вникаетъ въ дѣло и увлекается плоскою шуткою... Вотъ еще примѣръ дѣтскости понятій въ русско-й литературѣ о критикѣ: сколько литераторовъ, сколько критиковъ писало, пишетъ, и, вѣроятно, еще долго будетъ писать, что дѣло критика—гладить по головкѣ всякаго писаку въ надеждѣ, что авось-либо выйдетъ изъ него геній или талантъ, что строгая критика можетъ убить возникающій талантъ, а о талантѣ де нельзя судить по первому произве-

денію. Напрасно станете вы возражать на это, что истиннаго призванія не убьетъ никакая критика—ни строгая, ни снисходительная, ни пристрастная, ни ложная; что не убиваются ею, особенно теперь, даже посредственность и бездарность, и что не стоитъ жалѣть о талантѣ, струсившемъ по самолюбію перваго суроваго приговора критики, ибо дороги таланты, а не талантики...

Но не будемъ вдаваться въ крайности. Смѣшно было прошлое добродушное самохвальство русской литературы, которая такъ смѣло мѣрилась силами съ любою европейскою литературою и на французскую даже смотрѣла съ презрѣніемъ, живя и дыша, въ то же время, займами у нея; также смѣшно можетъ быть и отчаяніе за русскую литературу. Будемъ смотрѣть на то, что есть, смѣло не прикрашивая дѣйствительности мечтами и призраками, но будемъ смотрѣть на нее безъ ненависти и страха. У насъ есть немного,—это правда, но есть же; не будемъ преувеличивать того, что имѣемъ, но не будемъ и отказываться отъ того, что есть у насъ. Наша литература началась съ 1739 года (отъ появленія первой оды Ломоносова), и для какихъ-нибудь ста-четырехъ лѣтъ мы имѣемъ даже много, если не будемъ считаться, словно съ ровнями, съ европейскими литературами, которыя развились вѣками. Но важнѣе всего то, что наша юная, возникающая литература, какъ мы замѣтили выше, имѣетъ уже свою исторію, ибо всѣ ея явленія тѣсно сопряжены съ развитіемъ общественнаго образованія на Руси, и всѣ находятся въ болѣе или менѣе живомъ, органически послѣдовательномъ соотношеніи между собою.

Бѣдность русской литературы въ настоящее время—также необходимое слѣдствіе историческаго развитія и хода ея вообще. Мы уже говорили объ этомъ; но намъ еще остается сказать кое-что. Мы съ особенною подробностью развили ту мысль, что всѣ роды попытокъ и опытовъ ужь исто-

щены, а потому обыкновенно таланты лишены возможности въ чемъ-нибудь успѣвать; но мы только мимоходомъ замѣтили, что въ то же время даны образцы истиннаго творчества, которымъ подражать нельзя и которые если не мѣшаютъ съ бѣльшимъ или меньшимъ успѣхомъ дѣйствовать талантамъ, то уже не подражательнымъ, а самобытнымъ, и которые убили совершенно возможность успѣха для обыкновенныхъ дарованій, доселѣ игравшихъ такую важную роль. Объ этомъ стоитъ поговорить подробнѣе и обстоятельнѣе.

Въ нѣкоторыхъ русскихъ журналахъ, публика встрѣчаетъ постоянныя выходы и нападки на Гоголя, уже давно начавшіяся. Въ нихъ обыкновенно смѣются надъ малороссійскимъ *жартомъ*, надъ украинскимъ юморомъ и т. п. Недавно, въ одномъ изъ такихъ журналовъ, по поводу разбора какой-то книги въ юмористическомъ тонѣ сказано:

„Надо сказать по совѣсти: велика сила подражательности въ нашей литературѣ. Мы долго не шутили; насъ считали въ Европѣ за народъ серьезный и нѣсколько угрюмый; говорили даже, будто мы всегда поемъ, но никогда не смѣемся; все это могла быть правда въ прежнее время: но дѣло въ томъ, что у насъ не было только образчиковъ порядочной шутки, настоящаго степнаго *жартованія*. Съ тѣхъ поръ какъ Малороссійская фарса посѣтила нашу важную и чинную литературу подъ именемъ юмору, остроуміе и веселость вдругъ у насъ развязались. Вотъ что значить—не испытать дѣло лично! Нѣкогда остроуміе казалось намъ мудреною вещью! Мы съ такимъ почтеніемъ снимали шляпу передъ всякимъ остроуміемъ! Попробовавъ сами этого чуднаго искусства, мы удивились его легкости... *Se n'est que ça?*... спросилъ каждый изъ насъ у своего сосѣда съ изумленіемъ.—И шутливость вспыхнула изъ насъ волнаюмъ. Теперь мы шутимъ, *жартуемъ*, *фарсимъ*, какъ чумаки въ степи“.

Авторъ этихъ строкъ хотѣлъ сказать одно, а вышло у него совсѣмъ другое. Онъ хотѣлъ пошутить, посмѣяться, уколоть к о е - к о г о, не называя его по имени, — и указалъ на фактъ современной русской литературы, фактъ, который трудно сдѣлать смѣшнымъ и не такому остроумному перу,

какимъ владѣеть авторъ выписанныхъ нами строкъ. Фактъ этотъ состоитъ въ томъ, что со времени выхода въ свѣтъ «Миргорода» и «Ревизора», русская литература приняла совершенно новое направленіе. Можно сказать безъ преувеличенія, что Гоголь сдѣлалъ въ русской романтической прозѣ такой же переворотъ, какъ Пушкинъ въ поэзіи. Тутъ дѣло идетъ не о стилистикѣ, и мы первые признаемъ охотно справедливость многихъ нападокъ литературныхъ противниковъ Гоголя на его языкъ, часто небрежный и неправильный. Нѣтъ, здѣсь дѣло идетъ о двухъ болѣе важныхъ вопросахъ: о слогѣ и созданіи. Къ достоинствамъ языка принадлежитъ только правильность, чистота, плавность, чего достигаетъ даже самая пошлая бездарность путемъ рутины и труда. Но слогъ, это — самъ талантъ, сама мысль. Слогъ, — это рельефность, осязаемость мысли, въ слогѣ весь человѣкъ; слогъ всегда оригиналенъ какъ личность, какъ характеръ. Поэтому у всякаго великаго писателя свой слогъ; слога нельзя раздѣлить на три рода—высокій, средній и низкій: слогъ дѣлится на столько родовъ, сколько есть на свѣтѣ великихъ или, по крайней мѣрѣ, сильно даровитыхъ писателей. По почерку узнаютъ руку человѣка, и на почеркѣ основываютъ достовѣрность собственноручной подписи человѣка: по слогу узнаютъ великаго писателя, какъ по кисти—картину великаго живописца. Тайна слога заключается въ умѣньѣ до того ярко и выпукло излагать мысли, что онѣ кажутся какъ-будто нарисованными, изваянными изъ мрамора. Если у писателя нѣтъ никакого слога, онъ можетъ писать самымъ превосходнымъ языкомъ, и все таки неопредѣленность и ея—необходимое слѣдствіе — многословіе будутъ придавать его сочиненію характеръ болтовни, которая утомляетъ при чтеніи и тотчасъ забывается по прочтеніи. Если у писателя есть слогъ, его эпитетъ рѣзко опредѣлительнъ, всякое слово стоитъ на своемъ мѣстѣ, и въ немногихъ словахъ схватывается мысль, по объему своему требующая мно-

гихъ словъ. Дайте обыкновенному переводчику перевести сочиненіе иностраннаго писателя, имѣющаго слогъ: вы увидите, что онъ своимъ переводомъ расплодитъ подлинникъ, не передавъ ни его силы, ни опредѣленности. Гоголь вполне владѣеть слогомъ. Онъ не пишетъ, а рисуетъ; его фраза, какъ живая картина, мечется въ глаза читателю, поражая его своею яркою вѣрностію природѣ и дѣйствительности. Самъ Пушкинъ въ своихъ повѣстяхъ далеко уступаетъ Гоголю въ слогѣ, имѣя свой слогъ и будучи, сверхъ того, превосходнѣйшимъ стилистомъ, т. е. владѣя въ совершенствѣ языкомъ. Это происходитъ оттого, что Пушкинъ въ своихъ повѣстяхъ далеко не то, что въ стихотворныхъ произведеніяхъ, или въ «Исторіи Пугачевского Бунта», написанной по Тацитовски. Лучшая повѣсть Пушкина, «Капитанская Дочка», далеко не сравнится ни съ одною изъ лучшихъ повѣстей Гоголя, даже въ его «Вечерахъ на Хуторѣ». Въ «Капитанской Дочкѣ» мало творчества и нѣтъ художественно-очерченныхъ характеровъ, вмѣсто которыхъ есть мастерскіе очерки и силуэты. А между тѣмъ, повѣсти Пушкина стоятъ еще гораздо выше всѣхъ повѣстей предшествовавшихъ Гоголю писателей, нежели сколько повѣсти Гоголя стоятъ выше повѣстей Пушкина. Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на Гоголя — не какъ образецъ, которому бы Гоголь могъ подражать, а какъ художникъ, сильно двинувшій впередъ искусство не только для себя, но и для другихъ художниковъ открывшій въ сферѣ искусства новые пути. Главное вліяніе Пушкина на Гоголя заключалось въ той народности, которая, по словамъ самого Гоголя, «состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа». Статья Гоголя «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ» лучше всякихъ разсужденій показываетъ, въ чемъ состояло вліяніе на него Пушкина. Приученная къ тону и манерѣ повѣстей Марлинскаго, русская публика не знала, что и подумать о «Вечерахъ» Гоголя. Это былъ совершенно новый міръ творчества, котораго никто

не подозрѣвалъ и возможности. Не знали что думать о немъ, не знали слишкомъ ли это что-то хорошее, или слишкомъ дурное. Повѣсти въ «Арабескахъ»: «Невскій Проспектъ» и «Записки Сумасшедшаго», потомъ «Миргородъ» и наконецъ «Ревизоръ» вполне обрисовали характеръ Гоголевой поэзіи, и публика, равно какъ и литераторы, раздѣлились на двѣ стороны, изъ которыхъ одна, преусердно читая Гоголя, увѣрилась, что имѣетъ въ немъ русскаго Поль-де-Кока, котораго можно читать, но подъ рукою, не всѣмъ признаваясь въ этомъ; другая увидѣла въ немъ новаго великаго поэта, открывшаго новый, неизвѣстный доселѣ міръ творчества. Число послѣднихъ было несравненно меньше числа первыхъ, но за то послѣдніе, въ этомъ случаѣ, представляли собою публику, а первые—толпу. Наша толпа отличается невѣроятною чопорностію, достойною мѣщанскихъ нравовъ: она всего больше хлопочетъ о хорошемъ тонѣ высшаго общества, и видитъ другой тонъ именно въ тѣхъ произведеніяхъ, которыя читаются въ салонахъ высшаго общества. Между тѣмъ, реформа въ романической прозѣ не замедлила совершиться и всѣ новые писатели романовъ и повѣстей, даровитые и бездарные, какъ-то невольнo подчинились вліянію Гоголя. Романисты и нувеллисты старой школы стали въ самое затруднительное и самое забавное положеніе: браня Гоголя и говоря съ презрѣніемъ о его произведеніяхъ, они невольнo впадали въ его тонъ и неловко подражали его манерѣ. Слава Марлинскаго сокрушилась въ нѣсколько лѣтъ, и всѣ другіе романисты, авторы повѣстей, драмъ, комедій, даже водевилей изъ русской жизни, внезапно обнаружили столько неподозрѣваемой въ нихъ дотолѣ бездарности, что съ горя перестали писать; а публика (даже большинство публики) стала читать и обращать вниманіе только на молодыхъ талантливыхъ писателей, которыхъ дарованіе образовалось подъ вліяніемъ поэзіи Гоголя. Но такихъ молодыхъ писателей у насъ немного, да и они пишутъ очень мало. И

вотъ еще одна изъ главныхъ причинъ бѣдности современной русской литературы! Если кто больше всего и больше всѣхъ виноватъ въ ней, такъ это, безъ сомнѣнiя, Гоголь. Безъ него у насъ много было бы великихъ писателей, и они писали бы и теперь съ прежнимъ успѣхомъ; безъ него Марлинскiй и теперь считался бы живописцемъ великихъ страстей и трагическихъ коллизiй жизни; безъ него публика русская и теперь восхищалась бы «Дѣвою Чудною» барона Брамбеуса, видя въ ней пучину остроумiя, бездну юмору, образецъ изяшнаго слогу, сливки занимательности, и пр. и пр.

Гоголь убилъ два ложныя направленiя въ русской литературѣ: натянутый, на ходуляхъ стоящiй идеализмъ, махающiй мечемъ картоннымъ, подобно разрумяненному актѣру, и потомъ—сатирическiй дидактизмъ. Марлинскiй пустилъ въ ходъ эти ложныя характеры, исполненные не силы страстей, а кривлянiй поддѣльнаго байронизма; всѣ принялись рисовать то Карловъ Мооровъ въ черкесской буркѣ, то Лировъ и Чайльдъ-Гарольдовъ въ канцелярскомъ вицъ-мундирѣ. Можно было подумать, что Россiя отличается отъ Итали и Испанiи только языкомъ, а отнюдь не цивилизацiею, не нравами, не характеромъ. Никому въ голову не приходило, что ни въ Итали, ни въ Испанiи люди не кривляются, не говорятъ изысканными фразами, и не безпрестанно рѣжутъ другъ друга ножами и кинжалами, сопровождая эту рѣзню высокопарными монологами. Презрѣнiе къ простымъ чадамъ земли дошло до послѣдней степени. У кого не было колоссальнаго характера, кто мирно служилъ въ департаментѣ, или ловко сводилъ концы съ концами за секретарскимъ столомъ въ земскомъ или уѣздномъ судѣ, говорилъ просто, не читалъ стиховъ и поэзiю предпочиталъ существенности,—тотъ уже не годился въ герои романа или повѣсти и неизбежно дѣлался добычею сатиры и нравоучительною цѣлью. И—Боже мой! — какъ страшно бичевала эта сатира всѣхъ простыхъ, положительныхъ людей за то, что они не герои не колос-

сальные характеры, а ничтожные пигмеи человечества. Она такъ безобразно отдѣлывала ихъ своею мочальною кистию, своими грязными красками, что они нисколько не походили на людей, и были до того уродливы, что, глядя на нихъ, уже никто не рѣшался брать взятку, ни предаваться пьянству, плутовству, и пр. Прошло это время, — и общество, которое такъ хорошо уживалось съ такою литературою, теперь часто ссорится съ нею, говоря: какъ можно писать то-то, выставлять это-то, выдумывать такое-то — и многіе изъ этого общества чуть не со слезами на глазахъ клянутся, что ничего не бываетъ, напримѣръ, подобнаго тому, что выставлено въ «Ревизорѣ», что «все это ложь, выдумка, злая «критика», что это обидно, безнравственно, и проч. И всѣ, довольные и недовольные «Ревизоромъ», знаютъ чуть не наизусть эту комедію Гоголя... Такое противорѣчіе стоитъ того, чтобъ обратить на него вниманіе.

Прежде сатира смѣло разгуливала между народомъ, среди бѣлаго дня и даже не заботилась объ инкогнито, но прямо и открыто называлась своимъ собственнымъ именемъ, т. е. сатирою, — и никто не сердился на нее, никто даже не замѣчалъ ея гримасъ и кривляній. Отчего это? — Оттого, что никто не узнавалъ себя въ ней; оттого, что она нападала на пороки общіе, которыхъ всякій имѣеть полное право не принять на свой счетъ; оттого что она была книгою, печатною бумагою, невиннымъ школьнымъ упражненіемъ по классу риторики... И давно ли нраво-описательные, нравственно-сатирическіе романы, юмористическія статьи и статейки являлись стаями, какъ вороны на крышахъ домовъ, каркая на проходящихъ во все воронье горло? — и на нихъ никто не сердился, даже какъ сердятся лѣтомъ на докучныхъ мухъ. Сочинитель гордо называлъ себя сатирикомъ, гонителемъ людскихъ пороковъ, — и гонимые люди безъ боязни подходили къ своему гонителю, дряхлomu, беззубому бульдогу, гладили его по толстой и лоснящейся шеѣ, и охотно кормили его из-

быткомъ своей трапезы. Отчего это? — оттого, что пороки, которые гналъ старикъ, были совсѣмъ не пороки, а развѣ отвлеченныя идеи о порокахъ, риторическія тропы и фигуры. Это были своего рода бараны и мельницы, съ которыми храбро и отважно сражался сатирической донъ - Кихоть, — такъ же, какъ добродѣтель, за которую онъ ратовалъ, была для него воображаемою Дульцинеею, а для другихъ — толстою, безобразною коровницею. Теперь нѣтъ сатиры, и только развѣ какой-нибудь старшій сочинитель рѣшится величаться вышедшимъ изъ моды именемъ «сатирика»: теперь пишутся романы и повѣсти безъ всякихъ сатирическихъ намѣреній и цѣлей, — а между тѣмъ, всѣ на нихъ сердятся. Отчего-жь это? — оттого, что теперь и великіе и малые таланты, и посредственность, и бездарность — всѣ стремятся изображать дѣйствительныхъ, не воображаемыхъ людей; но такъ какъ дѣйствительные люди обитаютъ на землѣ и въ обществѣ, а не на воздухѣ, не въ облакахъ, гдѣ живутъ одни призраки, то, естественно, писатели нашего времени вмѣстѣ съ людьми изображаютъ и общество. Общество также — нѣчто дѣйствительное, а не воображаемое, и потому его сущность составляютъ не одни костюмы и прически, но и нравы, обычаи, понятія, отношенія и т. д. Человѣкъ, живущій въ обществѣ, зависитъ отъ него и въ образѣ мыслей и въ образѣ своего дѣйствованія. Писатели нашего времени не могутъ не понимать этой простой, очевидной истины, и потому, изображая человѣка, они стараются вникать въ причины, отчего онъ таковъ или не таковъ, и т. д. Вслѣдствіе этого, естественно, они изображаютъ не частныя достоинства или недостатки, свойственныя тому или другому лицу, отдѣльно взятому, но явленія общія. Большинство же публики именно тамъ - то и видитъ личности, гдѣ ихъ нѣтъ и быть не можетъ. Прегніе такъ называемые сатирики именно списывали съ извѣстныхъ имъ лицъ — и казались въ глазахъ всѣхъ неподлежащими упреку въ личностяхъ. И это очень

понятно: сами оригиналы не узнавали себя въ снятыхъ съ нихъ копяхъ, потому что сатирики не могли печатно касаться обстоятельствъ того или другаго лица и ограничивались общими чертами пороковъ, слабостей и странностей, которыя, будучи отвлечены отъ живой личности, превращались въ образы безъ лицъ. Притомъ же эти сатирики смотрѣли на пороки и слабости людей, какъ на что-то принадлежащее тому или другому индивидуальному лицу, какъ на что-то произвольное, что это лицо могло имѣть и не имѣть по своей волѣ и что приобрести или отъ чего избавиться оно легко могло по прочтеніи убѣдительной сатиры, гдѣ ясно, по пальцамъ, доказана выгода и сладость добродѣтели и опасныя, пагубныя слѣдствія порока. Вотъ почему эти добрые сатирики брали человѣка, не обращая вниманія на его воспитаніе, на его отношенія къ обществу, и тормозили на досугъ это созданное ихъ воображеніемъ чучело. Въ основаніе своего сатирическаго донъ-кихотства они положили общественную нравственность, добродушно не подозрѣвая того, что ихъ сатиры, опирающіяся на общественную нравственность, ужасно противорѣчили этой нравственности. Такъ, на примѣръ, въ числѣ первыхъ добродѣтелей они полагали безусловное повиновеніе родительской власти, и въ то же время толковали юношеству, что бракъ по расчету — дѣло безнравственное, что низкопоклонство, лесть изъ выгодъ, взяточничество и казнокрадство — тоже дѣла безнравственныя. Очень хорошо; но что иному юношѣ дѣлать, если онъ съ малолѣтства, почти съ материнскимъ молокомъ, всосалъ въ себя мистическое благоговѣніе къ доходнымъ должностямъ, теплымъ мѣстамъ, къ значительности въ обществѣ, къ богатству, къ хорошей партіи, блестящей карьерѣ; если его младенческой слухъ былъ оглушенъ не словами любви, чести, самоотверженія, истины, а словами: взялъ, получилъ, приобрѣлъ, надулъ и т. п.? Положимъ, что такому юношѣ природа не отказала въ человѣческихъ чувствахъ и стрем-

леніяхъ; положимъ, что въ немъ пробудилась любовь къ достойной, но бѣдной, простаго званія дѣвушкѣ, любовь запрещающая ему соединиться съ противною ему богатою дуροю, на которой, по разсчетамъ, приказываютъ ему жениться; положимъ, что въ юношѣ пробудилось человѣческое достоинство, запрещающее ему кланяться богатому плуту, или чиновному негодяю; положимъ, что въ немъ пробудилась совѣсть, запрещающая употреблять во зло ввѣренныя ему высшею властію вѣсы правосудія и расхищать ввѣренныя его безкорыстію общественныя суммы: что ему тутъ дѣлать? Сатирикъ не затруднится отъ такого вопроса и, не задумавшись, отвѣтитъ: «жениться на предметѣ любви своей, служить честно и вѣрно отечеству»... Прекрасно; но гдѣ же повиновеніе родительской власти, гдѣ уваженіе къ родительскому благословенію на вѣки нерушимому, гдѣ страхъ тяжкаго отцовскаго проклятія!... И потомъ, гдѣ уваженіе къ общественному мнѣнію, къ общественной нравственности? Вѣдь общество не спрашиваетъ васъ, по любви, или не по любви женились вы, а спрашиваетъ, сколько вы взяли за женою, и приличная ли она вамъ партія; общество не спрашиваетъ васъ, какимъ образомъ сдѣлались вы богачемъ, когда ему извѣстно, что вашъ батюшка не оставилъ вамъ ни копѣйки, а за супругою вы взяли ни Богъ знаетъ что, или вовсе ничего не взяли: общество знаетъ только, что вы богачъ, и потому считаетъ васъ очень хорошимъ — «благонамѣреннымъ» человѣкомъ.... Послушайся нашъ юноша сатирика, что бы вышло? — отецъ его бросилъ бы, жалуясь на неповиновеніе и презрѣніе къ его власти; потомъ, онъ прошелъ бы съ женою и дѣтьми черезъ всѣ мытарства, черезъ всѣ униженія голодной, неопрятной, оборванной бѣдности; видѣлъ бы къ себѣ презрѣніе общества, а за свою правоту, за свое безкорыстіе былъ бы заклеименъ отъ всѣхъ страшными названіями безпокойнаго, опаснаго и «неблагонамѣреннаго» человѣка, вольнодумца и проч. и проч. И неужели вы,

«благонамѣренные» сатирики, бросите въ него камень осужденія, если, истощась и обезсилѣвъ въ тяжелой и бесплодной борьбѣ, онъ дойдетъ до страшнаго убѣжденія, что его бѣдность, его несчастія — необходимыя слѣдствія отцовскаго гнѣва, заслуженная кара за презрѣніе общественнаго мнѣнія и общественной нравственности?... Но къ счастью или къ несчастію — не знаемъ, право, — такіе случаи весьма рѣдки, какъ исключенія изъ общаго правила. По большей части бываетъ такъ: юноша не долго колеблется между любовью и выгодною женитьбою, между «завиральными идеями» о безкорыстіи и правотѣ и уваженіемъ общества: онъ женится на комъ прикажутъ дражайшіе родители, живетъ съ женою какъ всѣ, т. е. прилично содержать ее, воспитываетъ дѣтей своихъ какъ всѣ, т. е. прилично кормить и одѣваетъ ихъ, учитъ по французски и танцовать, а послѣ этого перваго и важнѣйшаго періода воспитанія отдаетъ въ учебное заведеніе, потомъ выгодно пристраиваетъ въ службу, выгодно женить (или выдаетъ замужъ) и, умирая, отказываетъ имъ «благопріобрѣтенное» на службѣ имѣніе. И что же? Въ началѣ его поприща, всѣ превозносятъ его, какъ почтительнаго сына, въ концѣ поприща — какъ нѣжнаго супруга, примѣрнаго отца, «благонамѣреннаго» чиновника, и заключаютъ такъ: «вотъ что значитъ уваженіе къ общественной нравственности! вотъ что значитъ родительское благословеніе, навѣки нерушимое!» Итакъ, нашъ «благонамѣренный» сатирикъ, бичъ пороковъ, самымъ нелѣпымъ образомъ противорѣчилъ самому себѣ: поставивъ выше всѣхъ добродѣтелей повиновеніе не Богу, не истинѣ, а эгоистическимъ разчетамъ, онъ въ то же время училъ юношу слѣдовать свободному выбору сердца, какъ знаменію благословенія Божія, и запрещалъ ему торговать священнѣйшими склонностями своей души; поставивъ выше всякой награды любовь и уваженіе общества, онъ въ то же время училъ юношу оскорблять основныя правила этого самаго обще-

ства... Впрочемъ, онъ это дѣлалъ, самъ не зная что дѣлаетъ, и потому его сатиры не производили никакихъ слѣдствій. Бывало, выйдетъ сатирической романъ съ похождениями какого-нибудь пройдохи, въ родѣ извѣстныхъ похажений Совѣстрала-Большаго Носа, — романъ, въ которомъ уже самыя имена дѣйствующихъ лицъ — Ухорѣзовы, Надуваловы, Шлюхины, Правосудовы, Безпристрастовы, Безкорыстины, Миловидины, Правдолюбобы и т. д., обнаруживали нравственную мысль сочинителя, — и что же? — самый отъявленный взяточникъ, самый безчестный казнокрадъ, самый отчаянный шулеръ, читалъ этотъ романъ съ удовольствіемъ и вездѣ расхваливалъ его вслухъ, говоря: «какой славный слогъ! во всемъ чистѣйшая нравственность; добродѣтель торжествуетъ, порокъ наказанъ — чего же больше? чудесный романъ!».

Теперь это блаженное время прошло безвозвратно, вмѣстѣ съ дѣтствомъ нашей литературы. Теперь выходятъ изъ моды и герои добродѣтели, и чудовища злодѣйства, ибо ни тѣ, ни другіе не составляютъ массы общества. Вмѣсто ихъ, дѣйствуютъ люди обыкновенные, какихъ больше всего на свѣтѣ — ни злые, ни добрые, ни умные, ни глупые, по большей части положительно необразованные, положительно невѣжды, но отнюдь не дураки. Ихъ смѣшное заключается въ противорѣчій ихъ словъ съ дѣлами, въ лицемерномъ и превратномъ смыслѣ, въ какомъ они говорятъ о добродѣтели, о безкорыстїи, о благонамѣренности. А они говорятъ все, какъ одинъ: слѣдовательно, этотъ «одинъ» или эти «все» есть общество, — неужели же, скажутъ намъ, наше общество стоитъ на такой низкой степени, что ничего не можетъ дать писателю кромѣ смѣшнаго и комическаго? Неужели наше общество ужъ до такой степени хуже и ничтожнѣ общества всѣхъ другихъ государствъ Европы? — На этотъ вопросъ мы можемъ отвѣчать и искренно, и удовлетворительно. Кто знакомъ съ современными европейскими литературами, тотъ не можетъ

не знать, что ихъ направленіе, взятое вообще, а не частно, еще болѣе юмористическое, чѣмъ направленіе нашей литературы. Прочтите, напримѣръ, «Оливера Твиста» и «Бэрнеби Роджа» Диккенса, перваго теперь романиста Англiи, и вы убѣдитесь, что въ просвѣщенной Англiи, гордящейся тысячелѣтнею цивилизаціею, такъ же много чудаковъ, оригиналовъ, невѣждъ, глупцовъ, плутовъ, мошенниковъ, воровъ, какъ и вездѣ, да еще, въ придачу, много такихъ злодѣевъ и изверговъ, которые въ другихъ странахъ попадаютъ только какъ рѣдкія исключенія. Прочтите «Les Mystères de Paris» Эжена Сю,—и вы порадуетесь тому, что живете въ Петербургѣ, а не въ Парижѣ и что если въ тѣсной толпѣ рискуете иногда лишиться платка, часовъ, кошелька, зато никогда не трепещете за свою жизнь... Но, скажутъ намъ, въ «Бэрнеби Роджъ» и въ «Парижскихъ Тайнахъ» есть нѣсколько и такихъ лицъ, на которыхъ отдыхаетъ душа читателя, утомленная зрѣлищемъ злодѣйствъ. — Правда; но зато нельзя не согласиться, что добродѣтельные лица въ романѣ Диккенса безцвѣтны и скучны; таковы: идеальная Эмма, ея возлюбленный Эдвардъ Честеръ, Гэрдаль и мать Бэрнеби; а въ «Парижскихъ Тайнахъ» — невѣроятны. Изъ добродѣтельныхъ лицъ романа Диккенса, всѣхъ лучше милая, граціозная и кокетливая Долли, забавный оригиналъ ея отецъ, мистеръ Уарденъ, и ея возлюбленный Джой; вы въ нихъ видите и слабости и странности, но еще болѣе любите ихъ за эти слабости и странности, черезъ которыя и узнаете въ нихъ живыя человѣческія лица, дѣйствительные характеры, а не картонныя куклы съ надписями на лбу: «гонимая добродѣтель, несчастная любовь, идеальная дѣва», и т. п. Въ «Парижскихъ Тайнахъ» также лучшія лица — не самыя добродѣтельныя, какъ идеальный и небывалый Родольфъ, а тѣ, въ которыхъ добрыя природныя начала борются съ искусственными, т. е. привитыми обстоятельствами и враждебнымъ вліяніемъ общественнаго устройства, какъ, напри-

мѣръ: Шуринеръ, Марсіаль, — и, право, гризетка Риголетта правдоподобнѣе Гуалёзы... Люди вездѣ люди; ни одинъ народъ не хуже другаго; вездѣ есть злоупотребленія, пороки, странности, противорѣчія словъ съ дѣлами и дѣлъ съ словами, нравственныхъ понятій съ истинною нравственностью. Вся разница въ формахъ и отношеніяхъ. У насъ проситель иногда заходитъ съ задняго крыльца къ своему судѣ съ секретными доказательствами правоты своего дѣла; въ Англіи и Франціи кандидаты на разныя выборныя должности низкими интригами и подкупамъ располагають избирателей въ свою пользу. И тутъ и тамъ — богатая жатва для наблюдательнаго живописца общества. Здѣсь опять могутъ намъ сказать, что нечего и хлопотать попусту, не изъ чего и раздражать того и другаго, третьяго и четвертаго, если люди всегда были людьми и всегда будутъ ими. Да, люди всегда будутъ людьми — прежніе не лучше и не хуже нынѣшнихъ. нынѣшніе не лучше и не хуже прежнихъ, но общество улучшается и на его улучшеніи основанъ законъ развитія цѣлаго человѣчества. Было время, когда даже истинно добрые, благородные и умные люди были убѣждены въ существованіи чернокнижія и съ ревностью, одушевляемые желаніемъ общаго блага, жгли чернокнижниковъ; теперь и злые, и глупые, и невѣжественные люди уже не вѣрятъ чернокнижію и чужды желанія жечь живыхъ людей даже и за дѣйствительныя преступленія. Чтò это значить? — то, что люди и теперь остались тѣми же, какими были, а общество улучшилось. Во всѣ вѣка бывали мудрые и благіе законодатели, но только въ XVIII вѣкѣ могли огласить міръ изрѣченныя съ трона божественныя слова: «Лучше простить десять виновныхъ, нежели наказать одного невиннаго». Чтò это значить, если не то, что люди все тѣ же, а общество улучшается?... Современники благословляли въ Россіи вѣкъ Екатерины Великой; мы, ихъ потомки, подтвердили правдивость этого благословенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ, мы имѣемъ свои

причины быть гордыми и счастливыми, что живемъ въ настоящее, а не въ другое какое-нибудь время... Что это значить, если опять не то же, что люди и теперь тѣ же, а общество ушло далеко впередъ?... Вотъ здѣсь-то и обнаруживается вся благодѣтельность роли, какая назначена книгопечатанію самимъ Провидѣніемъ. Что прежде шло и развивалось съ трудомъ и медленно, то теперь идетъ и развивается легко и быстро. А это тогда только и возможно, когда литература будетъ не забавою празднаго бездѣля, а сознаниемъ общества, когда она будетъ заниматься не стихами, да сказочками, гдѣ влюблись и женились, а будетъ вѣрнымъ зеркаломъ общества, и не только вѣрнымъ отголоскомъ общественнаго мнѣнія, но и его ревизоромъ и контролеромъ.

Общество не то, что частный человекъ: человека можно оскорбить, можно оклеветать, — общество выше оскорбленій и клеветы. Если вы не вѣрно изобразили его, если вы придали ему пороки и недостатки, которыхъ въ немъ нѣтъ — вамъ же хуже: васъ не станутъ читать, и ваши сочиненія возбуждать смѣхъ, какъ неудачныя каррикатуры. Указать же на истинный недостатокъ общества, значить оказать ему услугу, значить избавить его отъ недостатка. А можно ли за это сердиться? Кто ядовитѣе, язвительнѣе Гогарта изображалъ англійское общество въ лицѣ всѣхъ его сословій? — и однакожь Англія не осудила Гогарта за *lèse-nation*, но гордо именуеть его однимъ изъ любимѣйшихъ и достойнѣйшихъ сыновъ своихъ. Да и есть ли какая-нибудь возможность оскорбить сословіе, выставивъ съ смѣшной или даже предосудительной стороны одного изъ его членовъ? Всякое сословіе состоитъ изъ большаго количества людей, а во всякомъ, даже небольшомъ количествѣ людей, найдутся всякаго рода недостойные и низкіе характеры, — не говоря уже о томъ, что не можетъ быть сословія, которое бы не имѣло, вмѣстѣ съ добрыми сторонами, и своихъ дурныхъ сторонъ; честь

сословія состоитъ не въ томъ, чтобъ не имѣть дурныхъ сторонъ (ибо это рѣшительно невозможное дѣло), а въ томъ, чтобъ умѣть открывать глаза на свои дурныя стороны и отрѣшаться отъ нихъ. Кто усомнится въ томъ, чтобъ рыцарство среднихъ вѣковъ не было цвѣтомъ государствъ, красою общества своего времени, его благороднѣйшимъ словіемъ, что оно не совершило блистательнѣйшихъ подвиговъ, не обезсмертило себя великими дѣлами? И между тѣмъ, кому не извѣстно, что это же самое рыцарство, вслѣдствіе духа тѣхъ грубыхъ и варварскихъ временъ, грабило на большихъ дорогахъ купеческіе обозы, разбойнически рѣзало мирнаго путешественника, звѣрски злоупотребляло свою феодальную власть надъ вассалами и рабами? И, несмотря на то, потомки этого рыцарства — цвѣтъ аристократіи современной Англіи, нисколько не думаютъ ни стыдиться, ни скрывать этого; они съ восторгомъ читаютъ романы Вальтеръ-Скотта и гордятся ими, вмѣсто того, чтобъ ненавидѣть ихъ, какъ пятно на чести своихъ предковъ, слѣдственно и на ихъ собственной чести. Это доказываетъ сколько сознание національнаго величія, столько и зрѣлость развитія общественности въ Англіи.

Ни чему другому, какъ робкому несознанію собственнаго національнаго величія и незрѣлости нашей общественности, можно приписать эту раздражительность, которая во всемъ видитъ неуваженіе то къ тому, то къ другому сословію. Какъ скоро выведенъ въ повѣсти чиновникъ, на шеѣ котораго прищелѣпо повязанъ галстукъ, а на рукахъ блестятъ засаленныя желтыя перчатки, какъ свидѣтельство его тщетныхъ претензій на щегольство хорошаго тона, тотчасъ всѣ чиновники обижаются, говоря: «вотъ какъ насъ отдѣлываютъ; служи послѣ этого!» Они какъ-будто и не хотятъ знать, что можно быть неуклюжимъ, неловкимъ въ обществѣ, и въ то же время можно быть умнымъ, благороднымъ человѣкомъ и хорошимъ чиновникомъ, — не хотятъ знать,

что если одинъ чиновникъ дурно и неопратно одѣвается, имѣя претензіи на свѣтскость, изъ этого еще нисколько не слѣдуетъ, чтобъ всѣ чиновники походили на него. Если воинъ окажется на сраженіи чудеса храбрости и получить георгіевскій крестъ, вѣдь его товарищи, не участвовавшіе въ дѣлѣ, или не отличавшіеся въ немъ, не почитаютъ себя въ правѣ жаловаться, что имъ не дали этого креста: какое же будутъ имѣть право оскорбляться всѣ военные, если объ одномъ изъ нихъ (и то вымышленномъ лицѣ) напечатаютъ въ сказкѣ, что ему случилось струсить на сраженіи, какъ, на примѣръ, князю Блѣстину, выведенному въ романѣ г. Загоскина «Рославлевъ, или Русскіе въ 1812 году?» И если г. Загоскинъ, самъ участвовавшій въ великой отечественной войнѣ, вывелъ, между многими храбрыми лицами своего романа, одного труса, — можетъ ли такая, впрочемъ всегда и вездѣ возможная, черта служить пятномъ для арміи, которая сражалась подъ Бородинымъ и въ числѣ предводителей своихъ имѣла Барклая-де-Толли, Кутузова, Багратиона, Ермолова, Милорадовича, Раевского и многихъ другихъ, извѣстныхъ и славныхъ въ мірѣ?... Было время, когда наши писатели только и дѣлали, что нападали на русское общество высшаго и средняго круга за его страсть къ французскому языку. Это былъ дѣйствительно недостатокъ со стороны нашего общества: но могли ли оскорбить его нападки, и притомъ еще не совсѣмъ несправедливые, писателей, когда оно знало, что тѣ же самые офицеры гвардіи, которые по-русски объяснялись только по официальнымъ дѣламъ службы, геройски жертвовали своею жизнію въ битвахъ противъ тѣхъ же самыхъ Французовъ, языкъ которыхъ они больше любили и лучше знали, чѣмъ свой родной?...

Сатира—ложный родъ. Она можетъ смѣшнить, если умна и ловка, но смѣшнить, какъ остроумная карриатура, набросанная на бумагу карандашемъ даровитаго рисовальщика. Романъ и повѣсть выше сатиры. Ихъ цѣль — изображать

вѣрно, а не каррикатурно, не преувеличенно. Произведенія искусства, они должны не смѣшить, не поучать, а развивать истину творчески вѣрнымъ изображеніемъ дѣйствительности. Не ихъ дѣло разсуждать, напримѣръ, объ отеческой власти и сыновнемъ повиновеніи: ихъ дѣло — представить или норму истинныхъ семейственныхъ отношеній, основанныхъ на любви, на общемъ стремленіи ко всему справедливому, доброму, прекрасному, на взаимномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству, къ своимъ человѣческимъ правамъ; или изобразить уклоненіе отъ этой нормы — произволь отеческой власти, для корыстныхъ расчетовъ истребляющей въ дѣтахъ любовь къ истинѣ и добру, и необходимое слѣдствіе этого — нравственное искаженіе дѣтей, ихъ неуваженіе, неблагодарность къ родителямъ. Если ваша картина будетъ вѣрна — ее поймутъ безъ вашихъ разсужденій. Вы были только художникомъ и хлопотали изъ того, чтобъ нарисовать возникшую въ вашей фантазіи картину, какъ осуществленіе возможности, скрывавшейся въ самой дѣйствительности; и кто не посмотритъ на эту картину, всякій, пораженный ея истинностію, и лучше почувствуетъ и сознаетъ самъ все то, что вы стали бы толковать и чего бы никто не захотѣлъ отъ васъ слушать... Только берите содержаніе для вашихъ картинъ въ окружающей васъ дѣйствительности и не украшайте, не перестраивайте ея, а изображайте такую, какова она есть на самомъ дѣлѣ, да смотрите на нее глазами живой современности, а не сквозь закопѣлые очки морали, которая была истинна во время оно, а теперь превратилась въ общія мѣста, многими повторяемая, но уже никого не убѣждающія... Идеалы скрываются въ дѣйствительности; они — не произвольная игра фантазіи, не выдумки, не мечты; и въ то же время, идеалы — не списокъ съ дѣйствительности, а угаданная умомъ и воспроизведенная фантазією возможность того или другаго явленія. Фантазія есть только одна изъ главнѣйшихъ спо-

собностей, условливающихъ поэта: но она одна не составляетъ поэта; ему нуженъ еще глубокий умъ, открывающій идею въ фактѣ, общее значеніе въ частномъ явленіи. Поэты, которые опираются на одну фантазію, всегда ищутъ содержанія своихъ произведеній за тридцать земель въ тридцатомъ царствѣ или въ отдаленной древности; поэты, вмѣстѣ съ творческою фантазіею обладающіе и глубокимъ умомъ, находятъ свои идеалы вокругъ себя. И люди дивятся, какъ можно съ такими малыми средствами сдѣлать такъ много, изъ такихъ простыхъ матеріаловъ построить такое прекрасное зданіе...

Этотъ творческою фантазіею и этимъ глубокимъ умомъ обладаетъ въ замѣчательной степени Гоголь. Подъ его перомъ старое становится новымъ, обыкновенное изящнымъ и поэтическимъ. Поэтъ національный, болѣе нежели кто-нибудь изъ нашихъ поэтовъ, всѣми читаемый, всѣмъ извѣстный, Гоголь все-таки не высоко стоитъ въ сознаніи нашей публики. Это противорѣчіе очень естественно и очень понятно. Комизмъ, юморъ, иронія — не всѣмъ доступны, и все, что возбуждаетъ смѣхъ, обыкновенно считается у большинства ниже того, что возбуждаетъ восторгъ возвышенный. Всякому легче понять идею, прямо и положительно выговариваемую, нежели идею, которая заключаетъ въ себѣ смыслъ противоположный тому, который выражаютъ слова ея. Комедія—цвѣтъ цивилизаци, плодъ разившейся общестственности. Чтобъ понимать комическое, надо стоять на высокой степени образованности. Аристофанъ былъ послѣднимъ великимъ поэтомъ древней Греціи. Толпѣ доступенъ только внѣшній комизмъ: она не понимаетъ, что есть точки, гдѣ комическое сходится съ трагическимъ и возбуждаетъ уже не легкій и радостный, а болѣзненный и горькій смѣхъ. Умирая, Августъ, повелитель полу-міра, говорилъ своимъ приближеннымъ: «Комедія кончилась; кажется, я хорошо сыгралъ свою роль — рукоплещите же, друзья мои!» Въ этихъ

словахъ глубокой смыслъ: въ нихъ высказалась иронія уже не частной, а исторической жизни... И толпа никогда не пойметъ такой ироніи. Такимъ образомъ, поэтъ, который возбуждаетъ въ читателѣ созерцаніе высокаго и прекраснаго и тоску по идеалѣ изображеніемъ низкаго и пошлаго жизни, въ глазахъ толпы никогда не можетъ казаться жрецомъ того же самаго изящнаго, которому служить и поэты, изображавшіе великое жизни. Ей всегда будетъ видѣться жартъ въ его глубокомъ юморѣ, и смотря на вѣрно воспроизведенныя явленія пошлой ежедневности, она не видитъ изъза нихъ незримо-присутствующіе тутъ же свѣтлые образцы. И еще много времени пройдетъ, и много поколѣній выступить на поприще жизни прежде, чѣмъ Гоголь будетъ понятъ и оцѣненъ по достоинству большинствомъ.

«Сочиненія Николая Гоголя» въ четырехъ томахъ означены 1842 годомъ, но вышли они въ февралѣ прошлаго года, а потому и должны принадлежать къ литературнымъ явленіямъ 1843 года. Имѣя въ виду въ скоромъ времени, въ особой статьѣ, въ отдѣлѣ Критики, рассмотреть подробно всѣ сочиненія Гоголя,—мы не будемъ теперь распространяться на счетъ этихъ четырехъ томовъ. Это повлекло бы насъ слишкомъ далеко и заставило бы выйти изъ предѣловъ журнальной статьи, ибо объ одномъ «Театральномъ Развѣздѣ послѣ перваго представленія комедіи» можно написать цѣлую статью. Въ этихъ четырехъ томахъ между старымъ много и новаго, а нѣкоторыя пьесы или поправлены и дополнены, или вовсе передѣланы авторомъ.

Изъ книгъ, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательнѣйшія суть не болѣе, какъ изданія разныхъ сочиненій, уже бывшихъ извѣстными публикѣ изъ журналовъ и альманаховъ. Да и того такъ немного, что безъ труда можно перечестъ.

«На Сонъ Грядущій» — вторая часть сборника сочиненій графа Соллогуба. Въ ней помѣщены уже извѣстныя публикѣ

пьесы: «Приключеніе на Желѣзной дорогѣ», «Аптекарьша», «Ямщикъ, или шалость молодого гусарскаго офицера» (драматическая картина), «Левъ», «Медвѣдь», и новая пьеса: «Неоконченныя повѣсти». — «Аптекарьша» и «Медвѣдь» принадлежать къ числу лучшихъ произведеній даровитаго автора; читателямъ уже извѣстно это мнѣніе объ этихъ двухъ повѣстяхъ графа Соллогуба. «Приключеніе на Желѣзной дорогѣ» — легонькій по содержанію рассказъ, исполненный, впрочемъ, простоты и истины и изложенный съ обыкновеннымъ искусствомъ автора «Аптекарьши». — «Ямщикъ» не чуждъ прекрасныхъ подробностей и вѣрно схваченныхъ чертъ русскаго быта; но въ цѣломъ, это — довольно слабое произведеніе. Герой (генераль Сѣверинъ) этой драматической картины — лицо до крайности сантиментальное и неправдоподобное; монологи его — риторика. Въ представленіи быта крестьянскаго много промаховъ противъ истины дѣйствительности: зато превосходно лицо Саввы Саввича, равно какъ и его неотлучнаго Ларьки: оба они въ высшей степени вѣрны. «Левъ» — мастерской типической очеркъ одного изъ самыхъ характеристическихъ явленій свѣтской жизни. «Неоконченныя повѣсти» общають намъ цѣлый рядъ прекрасныхъ рассказовъ, если только авторъ захочетъ въ самомъ дѣлѣ воспользоваться этою счастливою мыслию. Первая повѣсть, которою начинается рядъ «неоконченныхъ повѣстей», исполнена сильнаго интереса и потрясаетъ душу читателя благородною простотою изложенія глубоко прочувствованнаго авторомъ содержанія. А содержаніе это такъ же просто, какъ и его изложеніе: это одна изъ тысячи исторій, которыя такъ часто совершаются въ глазахъ всѣхъ при свѣтѣ дневномъ, и которыя все-таки немногими замѣчаются...

О сочиненіяхъ Зинаиды Р-вой была въ «Отечественныхъ Запискахъ» (Соч. Бѣл. Ч. VII. ст. 151) особая статья, въ которой подробно изложено наше мнѣніе о повѣстяхъ этой даровитой писательницы, столь рано похищенной смертію у

русской литературы. Въ четырехъ частяхъ «Сочиненій Зинаиды Р-вой» только одна новая, нигдѣ прежде ненапечатанная повѣсть: это—вторая часть «Напраснаго Дара», неоконченная по причинѣ внезапной смерти автора...

Небольшая книжка «Повѣстей А. Вельтмана», вышедшая въ прошломъ году, содержитъ въ себѣ пять рассказовъ, изъ которыхъ четыре были уже давно напечатаны въ разныхъ журналахъ. При бѣдности современной русской литературы, эта книжка была пріятнымъ явленіемъ.

Въ прошломъ же году вышли второй и третій томы «Сказки за Сказкой». Въ нихъ были, между прочимъ, помѣщены весьма интересныя повѣсти и рассказы г. Кукольника: «Позументы», «Монтекки и Капулетти», или «Чернышевскій міръ» и «Часовой»; особенно хороша повѣсть — «Позументы». Въ этомъ же безсрочномъ изданіи напечатана богатая хорошими частностями повѣсть казака Луганскаго: «Савелій Грабъ, или Двойникъ».

Въ прошломъ же году вышли два тома «Повѣстей и Рассказовъ» г. Кукольника. Въ первомъ изъ нихъ помѣщено шесть уже извѣстныхъ публикѣ рассказовъ изъ временъ Петра Великаго: «Лихончиха», «Новый Годъ», «Благодѣтельный Андроникъ», «Капустинъ», «Сказаніе о синемъ и зеленомъ сукнѣ», «Прокуроръ». Всѣ эти повѣсти и рассказы исполнены большаго интереса и обнаруживаютъ въ авторѣ много поэтической сноровки и историческаго такта. Но повѣсти и рассказы втораго тома, за исключеніемъ «Психеи», богатой прекрасными частностями, не заслуживаютъ никакого вниманія и могутъ быть употребляемы только развѣ какъ лѣкарство отъ бессонницы и въ этомъ случаѣ съ большою пользою.

Въ началѣ прошлаго года вышли «Сочиненія Державина» въ четырехъ частяхъ,—изданіе во всѣхъ отношеніяхъ болѣе неудовлетворительное, чѣмъ удовлетворительное, какъ мы и имѣли уже случай доказать въ свое время.

Изъ новыхъ произведеній, появившихся въ прошломъ году, можно указать только на небольшую поэму «Параша», которая по необыкновенно умному содержанію и прекраснымъ, поэтическимъ стихамъ, была бы замѣчательнымъ явленіемъ и не въ такое бѣдное для литературы время, какъ наше.

«Сельское Чтеніе», издаваемое княземъ Одоевскимъ и г. Заблоцкимъ и дважды изданное въ прошломъ году, по своей цѣли и назначенію должно относиться больше къ числу полезныхъ, чѣмъ беллетристическихъ книгъ. Необыкновенный успѣхъ этой прекрасно составленной книжки породилъ множество неудачныхъ подражаній.

По части оригинальныхъ беллетристическихъ произведеній, вышедшихъ въ прошломъ году, больше не о чемъ говорить: вѣдь не начать же разсуждать о такихъ твореніяхъ каковы: «Были и Небылицы» г. Ивана Балакирева, многочисленныя творенія автора «Мужа подъ Башмакомъ»; «Дочь Разбойника, или любовникъ въ бочкѣ», г-на Ѳ. Кузмичева; «Клятва при гробѣ Матери, или Мститель за убійство», драма г. Голощанова; «Старичекъ Весельчакъ, разсказывающій давнія московскія были» (Москва, изданіе четвертое); «Разгулье купеческихъ сынковъ въ Марьяной рошѣ, или проваливай! наши гуляютъ!» Истинно-сатирическая повѣсть 1835 года, съ цыганскими пѣснями (Москва, изданіе пятое); «Козелъ Бунтовщикъ или Машина свадьба», г. Базилевича (Москва, изданіе третье); «Стенька Разинъ, атаманъ разбойниковъ», «Казаки», г. Кузмичева; «Князь Курбскій», г. Ф(Ѳ)еодорова, и разныя сочиненія гг. Скосырева, Куражскогова, Калачилина, Классена, Милькѣева, Графчикова, Колотенко и пр.

Изъ переводныхъ книгъ беллетристическаго содержанія, вышедшихъ въ прошломъ году, замѣчательны: «Мысли Паскаля», переводъ г. Бутовскаго; тринадцатый выпускъ, издаваемый г. Кетчеромъ, «Шекспира», заключающій въ себѣ комедію «Укрощеніе Строптивой»; первый и второй выпуски

издаваемого г. Тимовскимъ «Испанскаго Театра», заключающіе въ себѣ комедіи «Жизнь есть Сонъ» и «Саламейскій Алькальдъ»; прозаическій переводъ г. Фанъ-Дима «Божественной комедіи» Данте, превосходно изданный, съ рисунками Флакмана, и стихотворный переводъ Шиллерова «Вильгельма Телля», г. Ѳ. Миллера.

Изъ оригинальныхъ сочиненій учебно-беллетристическаго содержанія въ прошломъ году замѣчательны; «Прогулки Русскаго въ Помпеи», г. Левшина; «Описаніе Турецкой войны въ царствованіе Императора Александра, съ 1806 до 1812 года», новое твореніе знаменитаго нашего военнаго историка, генерала - лейтенанта Михайловскаго - Данилевскаго; «Странствованіе по Сушѣ и Морямъ» (двѣ книжки), интересные и живые рассказы, самымъ пріятнымъ образомъ знакомящіе читателя съ разными странами, народами и племенами земнаго шара; «Описаніе Бухарскаго Ханства», г. Н. Ханыкова; третій томъ компактнаго изданія «Исторія Государства Россійскаго», Карамзина; пятнадцатый (и послѣдній) томъ втораго изданія Голикова «Дѣяній Петра Великаго»; второе изданіе «Руководства къ познанію средней исторіи, для среднихъ учебныхъ заведеній», г. Смарагдова; «Исторія Малороссіи», г. Маркевича, и «Исторія Петра Великаго», г. Полеваго.

Спеціально-ученая литература все болѣе и болѣе представляетъ самыя утѣшительныя результаты, для чего достаточно указать только на «Акты Археографической Коммиссіи» и на изданіе «Остромирова Евангелія»; но какъ предметъ нашей статьи—преимущественно книги по части изящной словесности или беллетристики, имѣющія интересъ не для нѣкоторыхъ только ученыхъ, но общій—для всѣхъ образованныхъ людей, то мы не будемъ распространяться о спеціально-ученыхъ явленіяхъ прошлагодней литературы.

Намъ остается теперь сдѣлать перечень всего замѣчательнаго по части изящной литературы, оригинальной и перевод-

ной, что явилось въ продолженіе 1843 года въ журналахъ, ненасытимую жадность которыхъ обвиняють въ поглощеніи всей русской литературы. Посмотримъ, сколько сочиненій успѣло съѣсть это чудовище, т. е. наша журналистика. Но увы! мы боимся, чтобъ этотъ левіаѳанъ литературнаго міра не превратился въ одну изъ тѣхъ тощихъ коровъ, которыхъ видѣлъ во снѣ Фараонъ и которыя не потолстѣли, съѣвъ тучныхъ коровъ!... Наши сочиненія не такъ жирны и не такъ многочисленны, чтобъ отъ нихъ могли слишкомъ жирѣть наши журналы,—и еслибъ мы не рѣшились въ этой статьѣ говорить объ общемъ значеніи современнаго состоянія литературы, а приступили бы прямо къ обзору литературныхъ явленій прошлаго года, показавшихся отдѣльно и помѣщенныхъ въ журналахъ, наша статья по неволѣ вышла бы очень коротка.

Начнемъ съ стихотвореній. Прошлый 1843 годъ, вѣроятно, послѣдній богатый въ этомъ отношеніи годъ: въ продолженіи его, напечатано (въ «Отечественныхъ Запискахъ») нѣсколько посмертныхъ стихотвореній Лермонтова. Изъ нихъ: «Незабудка», «Избави Богъ», «Смерть», «Когда весной разбитый ледъ», «Ребенка милаго рожденье», «Они любили другъ друга» «Къ портрету стараго гусара», «Посвященіе, приписанное въ концѣ поэмы «Демонъ», равно какъ и отрывочно напечатанная поэма «Измаиль-Бей», принадлежать къ самой ранней эпохѣ поэтической дѣятельности Лермонтова и замѣчательны не столько въ эстетическомъ, сколько въ психологическомъ отношеніи, какъ факты духовной личности поэта. Въ эстетическомъ отношеніи, эти пьесы поражаютъ то энергическимъ стихомъ, то могучимъ чувствованіемъ, то яркою мыслию; но въ цѣломъ онѣ довольно слабы и отзываются юношескою незрѣлостію. Пьесы «Романсъ къ***», «Не плачь, не плачь, мое дитя», «Изъ-подъ таинственной, холодной полумаски», «Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю», «Сонъ», ровно интересныя какъ въ

эстетическомъ, такъ и въ психологическомъ отношеніи, принадлежать, безъ всякаго сомнѣнія, къ эпохѣ полного развитія могучаго таланта незабвеннаго поэта, а піесы: «Утесъ», «Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой», «Морская Царевна», «Тамара» и «Выхожу одинъ я на дорогу» принадлежать къ лучшимъ созданіямъ Лермонтова. Всѣ эти піесы составляютъ четвертую часть изданныхъ въ 1842 году «Стихотвореній М. Лермонтова», которая скоро должна выйти въ свѣтъ. Въ «Современникѣ» была помѣщена корсиканская повѣсть «Матео Фальконе», передѣланная Жуковскимъ изъ Шамиссо стихами, съ присовокупленіемъ интереснаго письма автора къ издателю «Современника»: письмо это заключаетъ въ себѣ изложеніе теперешняго взгляда знаменитаго поэта на поэзію.— Стихотворенія нынче мало читаются, но журналы, по уваженію къ преданію, почитаютъ за необходимое сдобриваться стихотворными продуктами, которыхъ поэтому появляется еще довольно много. Изъ нихъ можно указать въ особенности на довольно многочисленныя стихотворенія г. Фета, между которыми встрѣчаются истинно-поэтическія, и на стихотворенія Т. Л. (автора «Параши»), всегда отличающіяся оригинальностью мысли. Попадаются въ журналахъ стихотворенія и другихъ поэтовъ, болѣе или менѣе исполненныя поэтическаго чувства, но они уже не имѣютъ прежней цѣны, и становится очевиднымъ, что ихъ творцы или должны, сообразуясь съ духомъ времени, перестроить свои лиры и запѣть на другой ладъ, или уже не рассчитывать на вниманіе и симпатію читателей.

Оригинальными повѣстями прошлогодніе журналы значительно бѣднѣе журналовъ третьяго года. Мы разумѣемъ здѣсь качественную, а не количественную бѣдность. Въ каждой книжкѣ каждаго журнала (за исключеніемъ «Москвитянина») непременно есть русская повѣсть, но какая—это другое дѣло. Вотъ перечень лучшихъ ориги-

нальных повѣстей въ прошлогоднихъ журналахъ: «Тля», г. Панаева; «Чайковскій», г. Гребенки; «Изъ Записокъ Неизвѣстнаго», юмористическій очеркъ Сергѣя Нейтральнаго (въ «Отечественныхъ Запискахъ»); «Вахъ Сидоровъ Чайкинъ», В. Луганскаго; «Райна, королева Болгарская», г. Вельтмана (въ «Библиотекѣ для Чтенія»); «Жизнь Человѣка, или Прогулка по Невскому проспекту», Луганскаго; «Хмѣль, сонъ и явь», его же («въ Москвитянинѣ»); «Черный Тараканъ» (фантастическій романъ изъ жизни одного чиновника), В. Зотова (въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ»). Сверхъ того, въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены повѣсти: «Армарка», г-жи Закревской; «1812 годъ въ провинціи», рассказы Г. Ѳ. Основьяненко; «Ничего, Хроника Петербургскаго Жителя», барона Ѳ. Бюлера; «Двѣ сестры», г-жи Жуковой; «Дженнатъ и Бока», чеченская повѣсть Л. Ф. Екельна; «Необыкновенный Завтракъ», Н. А. Некрасова;— въ «Библиотекѣ для Чтенія»: «Хозяйка», г. Ѳ. Фанъ-Дима; «Историческая Красавица», Н. В. Кукольника; «Гримаса моего Доктора», И. И. Лажечникова; «Волгинъ», г. В.; «Хижина подъ Скалами», г. Корсакова; «Идеальная Красавица», Барона Брамбеуса.

«Тля» г. Панаева, отличается свойственно этому писателю сатирическою мѣткостью. Собственно, это не повѣсть, а очеркъ, отличающійся вѣрностію дѣйствительности. Жаль, что этотъ очеркъ имѣетъ слишкомъ мѣстное значеніе и въ Петербурга теряетъ много своего интереса. «Чайковскій», г. Гребенки исполненъ превосходныхъ частныхъ, обнаруживающихъ въ авторѣ несомнѣнное дарованіе. Характеръ полковника, отца героини повѣсти, многія черты историческаго малороссійскаго быта поражаютъ своею поэтическою вѣрностію. Но цѣлое этой повѣсти не выдержитъ строгой критики. Особенно вредитъ ей мелодраматизмъ. Мстительная цыганка колдунья, злодѣй Герцикъ, кстатѣ укусившая его змѣя—все это мелодраматическіе эффекты. Тѣмъ не менѣе, повѣсть г. Гребенки была одною изъ лучшихъ повѣ-

стей прошлаго года. «Изъ Записокъ Неизвѣстнаго» — очеркъ, исполненный легкаго юмора и пріятный въ чтеніи. «Вакхъ Сидоровъ Чайкинъ» — одна изъ лучшихъ повѣстей казака Луганскаго, исполненная интереса и вѣрно схваченныхъ чертъ русскаго быта. Замѣчательна, по ловкому и пріятному разсказу, его же «Жизнь Человѣка»; но «Хмѣль, Сонъ и Явь» имѣетъ достоинство психологическаго портрета русскаго человѣка, мастерски схваченнаго съ природы. Эта повѣсть имѣла бы большой интересъ и была бы очень полезна и для читателей низшаго разряда: почему ее пріятно было бы увидѣть перепечатанною въ «Сельскомъ Читеніи». «Райна, королева Болгарская» — не повѣсть, а фантазмагорія, подобно всѣмъ произведеніямъ г. Вельтмана. Дѣйствующія лица говорятъ въ ней двумя манерами: то языкомъ совершенно понятнымъ для насъ, но отличающимся колоритомъ древне-болгарскимъ, то языкомъ романовъ нашего времени. Одинъ изъ главныхъ героевъ фантазмагоріи — русскій князь Святославъ, котораго г. Вельтманъ рисуетъ намъ такъ обстоятельно, какъ будто бы самъ жилъ въ его время и все видѣлъ своими глазами. Удивительнѣе всего въ этой повѣсти, что мѣстами она не лишена интереса... «Черный Тараканъ» — разсказъ не безъ юмора и не безъ занимательности. Намъ нужды нѣтъ знать, тотъ ли это г. Зотовъ написалъ ее, который пишетъ такія ужасныя драмы, стихотворенія, «Театраловъ», «Побрякушки» и пр., или совсѣмъ другой г. Зотовъ: мы знаемъ только, что его «Черный Тараканъ» — очень недурная вещь.

Изъ драматическихъ произведеній, напечатанныхъ въ журналахъ вмѣсто повѣстей, замѣчательнѣе, какъ мастерской эскизъ, но не больше, драматическій очеркъ г. Т. Л. (автора «Параши») «Неосторожность». Въ «Библиотекѣ для Читенія» были помѣщены: «Монументъ», историческій анекдотъ, въ трехъ картинахъ, въ прозѣ, г. Кукольника (несмотря на натянутость паюса, вещь не безъ достоинства); «Ломоносовъ»,

или Жизнь и Поэзія», г. Полеваго, «Проекты», его же; «Братья», драма въ пяти дѣйствіяхъ, г. Каменскаго.

Вотъ и всѣ наши беллетристическія сокровища за прошлый годъ! Нисколько неудивительно, что отъ этой пищи наши журналы не стали здоровѣе... Говоря о переводныхъ піесахъ, мы будемъ упоминать только о болѣе замѣчательныхъ, а о посредственныхъ, или обыкновенныхъ умолчимъ вовсе. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» были помѣщены: «Андре», романъ Жоржъ Занда, одно изъ лучшихъ произведеній этого автора, даже по признанію самихъ враговъ его. «Эмэ Веръ», романъ какого-то Француза, очень ловко прикидывающагося Вальтеръ-Скоттомъ, доказываетъ ту истину, что когда геній проложитъ новую дорогу въ искусствѣ, то и обыкновенные таланты могутъ ходить по ней съ успѣхомъ. Впрочемъ, у автора «Эмэ Вера» много дарованія; романъ его исполненъ интереса; многіе характеры, и особенно пастора-фанатика Барбантана, братьевъ Рено и Гаспара, матери ихъ, г-жи Монморъ, обрисованы мастерски; многія сцены исполнены необыкновеннаго драматизма. «Солидный Человѣкъ», романъ Шарля Бернара, отличается обыкновенными достоинствами всѣхъ сочиненій этого даровитаго писателя. Это мастерская картина современнаго французскаго общества. Не по изложенію, а по содержанію, заслуживаетъ упоминовенія «Жена Золотыхъ Дѣлъ Мастера», повѣсть Шарля Ребо; писатель съ бѣльшимъ талантомъ могъ бы чудеснымъ образомъ воспользоваться подобнымъ сюжетомъ.— Въ «Библіотекѣ для Чтенія» лучшія переводныя повѣсти — «Лавка Древностей», романъ Диккенса. «Лавка Древностей» слабѣ другихъ романовъ Диккенса: въ ней онъ повторяетъ самого себя, и лица этого романа, равно какъ и его пружины, уже не поражаютъ новостію. «Умницы» — передѣлка изъ романа мистрисъ Троллопъ, интересна какъ картина, хотя уже не новая, но всегда вѣрная, нравовъ современнаго англійскаго общества. «Послѣдній изъ Бароновъ», романъ

Большера, довольно занимателенъ, какъ историческая картина положенія ученаго въ варварскіе средніе вѣка. — Въ «Современникѣ», въ продолженіи всего прошлаго года, тянулся начатый еще въ 1842 году романъ шведской писательницы Фредерики Бремеръ «Семейство, или домашнія радости и огорченія». Онъ вышелъ теперь весь отдѣльно и потому мы изложили наше мнѣніе о немъ въ Библиографической Хроникѣ этой же книжки «Отечественныхъ Записокъ». — Въ «Репертуарѣ» были помѣщены вполнѣ «Парижскія Тайны» Эжена Сю. Романъ этотъ надѣлалъ много шума во всей Европѣ и у насъ также, и, несмотря на всѣ его недостатки, принадлежитъ къ замѣчательнымъ явленіямъ современной литературы. Онъ порожденъ романами Диккенса и, далеко уступая имъ въ достоинствѣ, возбудилъ такой энтузіазмъ, котораго не производилъ ни одинъ романъ даровитаго англійскаго романиста: таково умѣнье французскихъ писателей дѣйствовать всегда на массу! Такъ какъ съ «Парижскими Тайнами» только теперь ознакомились многіе изъ русскихъ читателей и такъ какъ толки о нихъ еще не прекратились ни въ публикѣ, ни въ журналахъ, — то, можетъ быть, мы еще и поговоримъ объ этомъ романѣ подробнѣе въ отдѣлѣ Критики. Въ «Репертуарѣ» же переведенъ рассказъ Жоржъ Занда «Муни Робэнъ», весьма замѣчательный не по сюжету, а по мысли и ея изложенію. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» и «Репертуарѣ» помѣщено по отрывку изъ Гётева «Вильгельма Мейстера». Отрывокъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» представляетъ нѣчто цѣлое, какъ-то показываетъ его названіе: «Маріанна». О достоинствѣ перевода нечего говорить: довольно сказать, что онъ принадлежитъ г. Струговщикову. Въ «Библиотекѣ для Чтенія» помѣщенъ переводъ съ испанскаго, сдѣланный г. Тимковскимъ, прелестной комедіи Лопеса де-Веги: «Собака на Снѣгъ». Въ «Репертуарѣ и Пантеонѣ» помѣщенъ переводъ прозою драмы Шекспира «Троиль и Крессида».

Изъ замѣчательныхъ статей учено-беллетристическихъ, въ прошлогоднихъ журналахъ слѣдующія: въ «Отечественныхъ Запискахъ»: «Дневникъ камеръ-юнкера Берхгольца» — живая картина русскихъ нравовъ временъ Петра Великаго, писанная очевидцемъ; «Гёте и графиня Штольбергъ» (эта же статья помѣщена и въ «Репертуарѣ»); «Философія Анатоміи», превосходно составленная г. Галаховымъ статья, представляющая современный взглядъ на одно изъ величайшихъ человѣческихъ знаній; «Пуло-Пенангъ, Сингапуръ и Манила» (изъ записокъ русскаго морскаго офицера во время путешествія вокругъ свѣта въ 1840 году), А. И. Бутакова; «Нижній-Новгородъ и Нижегородцы въ смутное время», П. И. Мельникова; «Рубины и итальянская музыка», — ва; «Дворъ королей англійскихъ»; «Книгопечатаніе»; «Юсифъ II, императоръ германскій»; три статьи А. И. Ис — ра — «Диллетантизмъ въ Наукѣ», его же — «Буддизмъ въ Наукѣ» и его же статья «По поводу одной драмы». Къ числу учено-беллетристическихъ же статей можно отнести и напечатанную въ отдѣлѣ Сельскаго хозяйства «Отечественныхъ Записокъ» — «Табачная промышленность въ Россіи», А. В., потому что авторъ умѣлъ придать этой статьѣ общій интересъ и изложить ее съ замѣчательной степенью литературнаго изящества. — Въ отдѣлѣ Наукъ и Художествъ «Библиотеки для Чтенія» особенно замѣчательны статьи: «Плѣнь Англичанъ въ Афганистанѣ», «Записки о Сѣверной Америкѣ» Диккенса и «Томасъ Бекетъ». — «Современникъ» тоже не имѣетъ недостатка въ ученыхъ статьяхъ, особенно касающихся до Скандинавіи; но лучшая ученая статья «Современника», равно какъ и одна изъ лучшихъ учено-беллетристическихъ статей во всей прошлогодней журналистикѣ, это — Историческіе Очерки М. С. Буторги: «Людовикъ XIV». Въ «Москвитянинѣ»: «О законахъ благоустройства и благочинія, или что такое полиція?», «Смерть Барла XII», статья очень хорошо составленная г. Голо-

вачевымъ изъ исторіи Карла XII, изданной Лундبلادомъ и Бодьмеромъ.

По части критики, въ «Отечественныхъ Запискахъ» прошлаго года были слѣдующія статьи: «Русская литература въ 1842 году», «О сочиненіяхъ Державина», «О Мертвыхъ Душахъ Гоголя» (Голосъ изъ провинціи), «Объ Исторіи Малороссіи», г. Маркевича; четыре статьи: «О Жуковскомъ, Батюшковѣ и Пушкинѣ», и «О сочиненіяхъ Зинаиды Р—вой». Сверхъ того, въ «Отечественныхъ Запискахъ» постоянно помѣщались подробные отчеты о французской, англійской и нѣмецкой литературахъ. Въ «Москвитяинѣ» замѣчательна критическая статья «О Путевыхъ Письмахъ изъ Германіи, Франціи и Италіи» г. Греча.

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о духѣ и направленіи русскихъ журналовъ за прошлый годъ; но мы уже говорили объ этомъ не разъ; а какъ это дѣло остается все въ томъ же видѣ, то лучше ужъ больше не говорить. Наше дѣло было указывать на духъ, направленіе и замѣчательные поступки того или другаго журнала. Мы исполняли это въ продолженіи пяти лѣтъ и исполняли усердно, можетъ быть, усерднѣе, нежели сколько нужно было. Теперь нѣтъ надобности въ этомъ: журналовъ новыхъ нѣтъ; а въ старыхъ— все по старому, и говорить о нихъ значило бы повторять сказанное нѣсколько разъ. Всякое повтореніе скучно, а тѣмъ болѣе повтореніе истинъ, сдѣлавшихся теперь, благодаря «Отечественнымъ Запискамъ», убѣжденіемъ большей части образованныхъ читателей. Пусть всякій идетъ своей дорогою. Наша публика разнообразна до безконечности, и каждый изъ составляющихъ ее слоевъ найдетъ, что ему нужно. Пусть всѣ читаютъ, кому что нравится, лишь бы читали. Скажемъ нѣсколько словъ въ общихъ чертахъ. Въ «Библіотекѣ для Чтенія» лучшимъ отдѣломъ по прежнему была Смѣсь, а самыми бѣдными, сухими и тощими — отдѣлы Критики и Литературной Лѣтописи. Въ Смѣси «Отечественныхъ Записокъ», между

переводными, много было и оригинальныхъ, болѣе или менѣе замѣчательныхъ статей, каковы: «Поѣздка въ Китай», Дэ-мина (двѣ статьи); «Два письма изъ Пекина», В. Горскаго; «Замѣчанія и анекдоты о кожно-американскомъ львѣ», г. А. Бутакова; «Сцены изъ жизни Буряты», А. Мордвинова; «Поѣздка на Алтай», г. Мейера; «Итальянская Опера въ Петербургѣ» (Рубини, Виардо - Гарсія, Тамбурины, Ассандри, Пазини и Тadini); «Отвѣтъ г. Шевыреву на разборъ его русской Хрестоматіи г. Галахова»; «Москвитянинъ о Коперникѣ» и «Записки Вѣдрина»; прекрасный рассказъ г. Н. Ковалевскаго: «Переселеніе Ивана Ивановича изъ Гадячскаго Уѣзда въ Миргородскій»; юмористическій очеркъ: «Балъ у псарей, или дежурство въ новый годъ». Изъ переводныхъ особенно интересны: «Семейная жизнь въ Соединенныхъ Штатахъ»; «Шутти, или сожиганіе вдовъ въ Индіи»; «Патеръ Мэтью», и проч. — «Современникъ» съ прошлаго года выходитъ ежемѣсячно, что еще болѣе должно было придать ему интереса. — Къ числу прошлогоннихъ литературныхъ новостей принадлежитъ возстановленіе «Репертуара и Пантеона»: это изданіе въ прошломъ году значительно поправилось, такъ что представляетъ теперь собою очень занимательный и пестрый сборникъ разныхъ статей по части театра, повѣстей, біографическихъ очерковъ жизни художниковъ и проч. Если печатаемыя имъ драматическія произведенія, даваемыя на русской сценѣ, по большой части плохи, — это не его вина: онъ обѣщался быть между прочимъ, и зеркаломъ русской сцены, а по русской пословицѣ: «нечего на зеркало пенять, если лицо криво». За то, въ немъ есть хорошія переводныя пьесы и пьески, которыя не были даны на русской сценѣ, и цѣликомъ помѣщены «Парижскія Тайны» Эжена Сю.

Изъ этого обзорнія читатели могутъ видѣть фактическое доказательство, что толстота нашихъ журналовъ отнюдь не причина крайняго убожества современной русской

литературы. Да и что за дело, какъ появилось хорошее литературное произведение — отдельною книгою, или въ журналѣ? Дело въ томъ, чтобъ какъ можно больше появлялось такихъ произведений. Что касается до журналовъ—несмотря на ихъ толстоту, наша журналистика бѣдна, и надо желать, чтобъ журналовъ было больше. Даже въ томъ, что они поглощаютъ въ себя все лучшее и замѣчательнѣйшее, появляющееся въ литературѣ, есть явная польза: благодаря этому обстоятельству, всякое литературное хорошее произведение прочитывается не десятками, не сотнями, а цѣлыми тысячами читателей. Конечно, такое произведение, какъ «Мертвыя Души» Гоголя, не имѣетъ нужды въ посредствѣ журналовъ для пріобрѣтенія себѣ многочисленныхъ читателей; но вѣдь то—«Мертвыя Души», одно изъ такихъ произведений, которыя составляютъ исключенія изъ общаго правила и бываютъ рѣзкимъ явленіемъ во всякой литературѣ. Обыкновенно, у насъ замѣчательный успѣхъ всякой книги состоитъ въ расходѣ пяти или, много, семи сотъ экземпляровъ; будучи же помѣщены въ журналахъ (разумеется, не во всѣхъ, а въ какихъ-нибудь двухъ, не больше), они находятъ себѣ тысячи читателей. Итакъ, вмѣсто пустыхъ и неосновательныхъ нападокъ на журналы, лучше пожелать увеличенія ихъ числа и бѣльшаго ихъ распространенія въ публикѣ. Слѣдующіе стихи, написанные въ Вяземскимъ назадъ тому лѣтъ пятнадцать, и теперь еще новые истиною своего содержанія очень идутъ къ вопросу, о которомъ мы говоримъ,—почему мы и заключаемъ ими нашу статью:

Дай Богъ намъ болѣе журналовъ:

Плодятъ читателей они.

Гдѣ есть повѣтріе на чтење,

Въ чести тамъ грамота, перо;

Гдѣ грамота—тамъ просвѣщенье;

Гдѣ просвѣщенье—тамъ добро.

Сочиненія Александра Пушкина. Санктпетербургъ.

Одиннадцать томовъ. MDCCCXXXVIII—MDCCCXLI*).

I.

Обозрѣніе русокой литературы отъ Державина до Пушкина.

Давно уже обѣщали мы полный разборъ сочиненій Пушкина: предлагаемая статья есть начало выполненія нашего обѣщанія, замедлившагося по причинамъ, изложеніе которыхъ не будетъ здѣсь излишнимъ. Всѣмъ извѣстно, что восемь томовъ сочиненій Пушкина изданы послѣ смерти его, весьма небрежно во всѣхъ отношеніяхъ — и типографскомъ (плохая бумага, некрасивый шрифтъ, опечатки, а индѣ и искаженный смыслъ стиховъ), и редакціонномъ (пьесы расположены не въ хронологическомъ порядкѣ по времени ихъ появленія изъ подъ пера автора, а по родамъ, изобрѣтеннымъ Богъ знаетъ чьимъ досужествомъ). Но чтò всего хуже въ этомъ изданіи — это его неполнота: пропущены пьесы, помѣщенныя самимъ авторомъ въ четырехъ-томномъ собраніи его сочиненій, не говоря уже о пьесахъ, напечатанныхъ въ «Современникѣ» и при жизни и послѣ смерти Пушкина. Последніе три тома сдѣланы компанією издателей-книгопродавцевъ, которые чтò могли сдѣлать, какъ издатели,

*) Четыре первыя статьи этого разбора были напечатаны въ „Отечественныхъ Запискахъ“ 1843 года; статьи 5, 6, 7 и 8 — 1844 года, статьи 9 и 10 — въ 1845, а статья 11 — въ 1846 году.

сдѣлали хорошо, т. е. издали эти три тома красиво и опрятно, но такъ же неполно, какъ были изданы (не ими, впрочемъ) первые восемь томовъ. Справедливый ропотъ публики, которая, заплатя за одиннадцать томовъ сочиненій Пушкина шестьдесятъ-пять рублей асс. (сумму довольно значительную и для книги, хорошо и полно изданной), все-таки не имѣла въ рукахъ полнаго собранія сочиненій Пушкина, — этотъ ропотъ, соединенный съ столь же дурнымъ расходомъ трехъ послѣднихъ, какъ и восьми первыхъ томовъ, и справедливое негодование нѣкоторыхъ журналистовъ на такое оскорбленіе тѣни великаго поэта: все это побудило издателей трехъ остальныхъ томовъ сочиненій Пушкина обѣщать отдѣльное дополненіе къ нимъ, въ которомъ публика могла бы найти рѣшительно все, что написано Пушкинымъ и что не вошло въ одиннадцать томовъ полнаго собранія его сочиненій. А пропущено такъ много, что изъ дополненія вышелъ бы цѣлый томъ, — и тогда полное собраніе сочиненій Пушкина состояло бы пока изъ двѣнадцати томовъ. Говоримъ — пока; ибо въ рукописи остаются еще матеріалы къ исторіи Петра Великаго, предпринятой Пушкинымъ. Говорятъ, что этихъ матеріаловъ стало бы на добрый томъ, и только одному Богу извѣстно, когда русская публика дождется этого тома... Итакъ, пока хорошо было бы дождаться хоть дополненія-то, обѣщаннаго издателями трехъ послѣднихъ томовъ. О немъ много толковали, и мы даже видѣли опыты приготовления къ этому дѣлу, которое интересовало насъ еще и какъ удобный предлогъ къ началу обѣщанной нами статьи о Пушкинѣ. Но время шло, а вождѣленное дополненіе не являлось, и мы, право, не знаемъ, явится ли оно когда-нибудь; если же явится, то не потребуетъ ли еще другаго дополненія?... Это рѣшило насъ, не дожидаясь исполненія чужихъ обѣщаній, приняться наконецъ за исполненіе своихъ собственныхъ.

Но, кромѣ того, была и еще другая, болѣе важная, такъ

сказать болѣе внутренняя причина нашей медленности. Година безвременной смерти Пушкина, съ теченіемъ дней, отодвигается отъ настоящаго все далѣе и далѣе, нечувствительно привыкають смотрѣть на поэтическое поприще Пушкина не какъ на прерванное, но какъ на оконченное вполне. Много творческихъ тайнъ унесъ съ собою въ раннюю могилу этотъ могучій поэтический духъ;— но не тайну своего нравственнаго развитія, которое достигло своей апогеи, и потому общало только рядъ великихъ въ художественномъ отношеніи созданій, но уже не общало новой литературной эпохи, которая всегда ознаменовывается не только новыми твореніями, но и новымъ духомъ. Исключительные поклонники Пушкина, съ нимъ вмѣстѣ вышедшіе на поприще жизни и подъ его вліяніемъ образовавшіеся эстетически, уже рѣзко отдѣляются отъ новаго поколѣнія своею закоснѣлостію и своею тупостію въ дѣлѣ разумнѣнн смѣннвшнхъ Пушкина корифеевъ русской литературы. Съ другой стороны, новое поколѣніе, развившееся на почвѣ новой общественности, образовавшееся подъ вліяніемъ впечатлѣннй отъ поэзіи Гоголя и Лермонтова, высоко цѣнн Пушкина, въ то же время судить о немъ безпристрастно и спокойно. Это значить, что общество движется, идетъ впередъ черезъ свой вѣчный процессъ обновленія поколѣннй, и что для Пушкина настаетъ уже потомство. На Руси все растетъ не по годамъ, а по часамъ, и пять лѣтъ для нея — почти вѣкъ. Но новое мнѣніе о такомъ великомъ явленіи, какъ Пушкинъ, не могло образоваться вдругъ и явиться совсѣмъ готовое; но, какъ все живое, оно должно было развиться изъ самой жизни общества: каждый новый день, каждый новый шагъ въ жизни и въ литературѣ должны были измѣнять и образъ воззрѣнн на Пушкина.

По мѣрѣ того, какъ рождались въ обществѣ новыя потребности, какъ измѣнялся его характеръ и овладѣвали умомъ его новыя думы, а сердце волновали новыя печали и новыя

надежды, порожденные совокупностью всѣхъ фактовъ его движущейся жизни,— всѣ стали чувствовать, что Пушкинъ, не утрачивая въ настоящемъ и будущемъ своего значенія какъ поэтъ великій, тѣмъ не менѣе былъ и поэтомъ своего времени, своей эпохи, и что это время уже прошло, эта эпоха смѣнилась другою, у которой уже другія стремленія, думы и потребности. Вслѣдствіе этого Пушкинъ является передъ глазами наступающаго для него потомства уже въ двойственномъ видѣ: это уже не поэтъ, безусловно великій и для настоящаго, и для будущаго, какимъ онъ былъ для прошедшаго, но поэтъ, въ которомъ есть достоинства безусловныя и достоинства временныя, который имѣетъ значеніе артистическое и значеніе историческое, словомъ, поэтъ, только одною стороною принадлежащій настоящему и [будущему, которыя, болѣе или менѣе удовлетворяются и будутъ удовлетворяться имъ, а другою, болѣею и значительнѣйшею стороною вполнѣ удовлетворившій своему настоящему, которое онъ вполнѣ выразилъ и которое для насъ— уже прошедшее. Правда, Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ творческихъ гениевъ, тѣхъ великихъ историческихъ натуръ, которыя, работая для настоящаго, приготавливаютъ будущее, и потому самому уже не могутъ принадлежать только одному прошедшему; но въ томъ-то и состоитъ задача здравой критики, что она должна опредѣлить значеніе поэта и для его настоящаго и для будущаго, его историческое и его безусловное художественное значеніе. Задача эта не можетъ быть рѣшена однажды навсегда, на основаніи чистаго разума: нѣтъ, рѣшеніе ея должно быть результатомъ историческаго движенія общества. Чѣмъ выше явленіе, тѣмъ оно жизненнѣе, а чѣмъ жизненнѣе явленіе, тѣмъ болѣе зависитъ его сознаніе отъ движенія и развитія самой жизни. Лучшее что можно сказать въ похвалу Пушкину и въ доказательство его величія, — то, что, при самомъ появленіи его на поэтическую арену, онъ встрѣченъ былъ и безуслов-

ными похвалами необдуманного энтузіазма, и ожесточенною бранью людей, которые въ рожденіи его поэтической славы увидѣли смерть старыхъ литературныхъ понятій, а вмѣстѣ съ ними и свою нравственную смерть, — что запальчивые крики похвалъ и порицаній не умолкали ни на минуту ни въ продолженіи всей его жизни, ни послѣ самой его жизни, и что каждое новое произведеніе его было яблокомъ раздора и для публики, и для привилегированныхъ судей литературныхъ. Теперь утихаютъ эти крики: знавъ, что для Пушкина настало потомство, ибо запальчивость при мнѣніи существуетъ только для предметовъ столь близкихъ глазамъ современниковъ, что они не въ состояніи видѣть ихъ ясно и вполне по причинѣ самой этой близости. Судъ современниковъ бываетъ пристрастенъ; однако-жь въ его пристрастіи всегда бываетъ своя законная и основательная причинность, объясненіе которой есть тоже задача истинной критики.

Ни одно произведеніе Пушкина—ни даже самъ «Онѣгинъ» — не произвело столько шума и криковъ, какъ «Русланъ и Людмила»: одни видѣли въ немъ величайшее созданіе творческаго гениа, другіе — нарушеніе всѣхъ правилъ піитики, оскорбленіе здраваго эстетическаго вкуса. То и другое мнѣніе теперь могло бы показаться равно нелѣпнымъ, если не подвергнуть ихъ историческому разсмотрѣнію, которое покажетъ, что въ нихъ обѣихъ былъ смыслъ и оба они до известной степени были справедливы и основательны. Для насъ теперь «Русланъ и Людмила» — не больше какъ сказка, лишенная колорита мѣстности, времени, народности, а потому и не правдоподобная; не смотря на прекрасные стихи, которыми она написана, и проблемски поэзіи, которыми она поражаетъ мѣстами, она холодна, по признанію самого поэта (Т. XI, стр. 226), и въ наше время не у всякаго даже юноши станеть охоты и терпѣнія прочесть ее всю, отъ начала до конца. Противъ этого едва-ли кто станеть теперь спорить. Но въ то время, когда явилась эта поэма въ свѣтъ,

она дѣйствительно должна была показаться необыкновенно великимъ созданіемъ искусства. Вспомните, что до нея пользовались еще безотчетнымъ уваженіемъ и «Душенька» Богдановича, и «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ» Жуковского: какимъ же удивленіемъ должна была поразить читателей того времени сказочная поэма Пушкина, въ которой все было такъ ново, такъ оригинально, такъ обольстительно—и стихъ, которому подобнаго дотогѣ ничего не бывало, стихъ легкій, и складъ рѣчи, и смѣлость кисти, и яркость красокъ и граціозныя шалости юной фантазіи, и игривое остроуміе, самая вольность не цѣломудренныхъ, но тѣмъ не менѣ поэтическихъ картинъ!.... По всѣму этому, «Русланъ и Людмила»—такая поэма, явленіе которой сдѣлало эпоху въ исторіи русской литературы. Если бы какой нибудь даровитый поэтъ написалъ въ наше время такую же сказку и такими же прекрасными стихами, въ авторѣ этой сказки никто не увидѣлъ бы великаго таланта въ будущемъ, и сказки никто бы читать не сталъ; но «Русланъ и Людмила», какъ сказка вѣ-время написанная, и теперь можетъ служить доказательствомъ того, что не ошиблись предшественники наши, увидѣвъ въ ней живое пророчество появленія великаго поэта на Руси. У всякаго времени свои требованія, и теперь даже обыкновенному таланту, не только гению, нельзя дебютировать чѣмъ-нибудь въ родѣ «Руслана и Людмилы» Пушкина, «Оберона» Виланда, или — пожалуй, и «Orlanda Furioso». Аріоста; но всѣ эти поэмы шуточные, волшебныя, рыцарскія и сказочныя явились въ свое время и подъ этимъ условіемъ прекрасны и достойны вниманія и даже удивленія. Итакъ, юноши двадцатыхъ годовъ (изъ которыхъ многимъ теперь уже далеко за сорокъ) были правы въ энтузіазмѣ, съ которымъ они встрѣтили «Руслана и Людмилу».

Съ другой стороны, имѣла причину и враждебность, съ которою литературные старовѣры встрѣтили поэму Пушкина: въ ней не было ничего такого, что привыкли они по-

читать поэзію; эта поэма была въ ихъ глазахъ буйнымъ отрицаніемъ ихъ литературнаго корана. Такъ называемая война классицизма (жертвой подражательности утвержденныхъ формъ) съ романтизмомъ (стремленіемъ къ свободѣ и оригинальности формъ) была у насъ отголоскомъ такой же войны въ Европѣ, и первая поэма Пушкина послужила поводомъ къ началу этой войны, пережитой Пушкинымъ. Слѣдовавшія затѣмъ поэмы и лирическія стихотворенія Пушкина были для него рядомъ поэтическихъ триумфовъ. Энтузіасты провозгласили его сѣвернымъ Байрономъ, представителемъ современнаго человѣчества. Причиною этого неудачнаго сравненія было не одно то, что Байрона мало знали и еще меньше понимали, но и то, что Пушкинъ былъ на Руси полнымъ выразителемъ своей эпохи. Однако-жь какъ скоро начало устанавливаться въ немъ броженіе кипучей молодости, а субъективное стремленіе начало исчезать въ чисто-художественномъ направленіи, — къ нему стали охлаждать, толпа ожесточенныхъ противниковъ стала возрастать въ числѣ, даже самые поклонники или начали примыкать къ толпѣ порицателей, или переходить къ нейтральной сторонѣ. Наиболѣе зрѣлыя, глубокія и прекраснѣйшія созданія Пушкина были приняты публикой холодно, а критиками оскорбительно. Нѣкоторые изъ этихъ критиковъ очень удачно воспользовались общимъ расположеніемъ въ отношеніи къ Пушкину, чтобъ отомстить ему или за его къ нимъ презрѣніе, или за его славу, которая имъ почему-то не давала покоя, или, наконецъ, за тяжелые уроки, которые онъ проповѣдывалъ имъ иногда въ легкихъ стихахъ летучихъ эпиграммъ.

Съ другой стороны, люди, искренно и страстно любившіе искусство, въ холодности публики къ лучшимъ созданіямъ Пушкина видѣли только одно невѣжество толпы, увлекающейся юношескими и незрѣлыми произведеніями, но неумѣющей цѣнить обдуманнѣе твореній строгаго искус-

ства. Смотря на искусство съ точки зрѣнія исключительной и односторонней, его жаркіе поборники не хотѣли понять, что если симпатіи и антипатіи большинства бываютъ часто бессознательны, зато рѣдко бываютъ бессмысленны и безосновательны, а, напротивъ, часто заключаютъ въ себѣ глубокий смыслъ. Странно же, въ самомъ дѣлѣ, было думать, чтобъ то самое общество, которое такъ дружно, такъ радостно, словно потрясенное электрическимъ ударомъ, въ первый еще разъ въ жизни своей откликнулось на голосъ пѣвца и нарекло его своимъ любимымъ, своимъ народнымъ поэтомъ, странно было думать, чтобъ то же самое общество вдругъ охолодѣло къ своему поэту за то только, что онъ созрѣлъ и возмужалъ въ своемъ гениі, сдѣлался выше и глубже въ своей творческой дѣятельности! А между тѣмъ, это охлажденіе — фактъ, достовѣрность котораго можно доказать свидѣтельствомъ самого поэта въ его запискахъ (томъ XI), въ нѣкоторыхъ мѣстахъ «Онегина», въ стихотвореніи «Поэтъ» слышится горькая жалоба оскорбленной народной славы. Изъ этого нельзя было не заключить, что если публика была не совсѣмъ права въ своей холодности къ поэту, то и поэтъ все же не былъ жертвою ея прихоти и, по винѣ или безъ вины съ своей стороны, но не случайно же, а по какой-нибудь причинѣ, испыталъ на себѣ ея охлажденіе. Но отвѣта на эту загадку еще не было; отвѣтъ скрывался во времени, и только время могло дать его. Безвременная смерть Пушкина еще больше запутала вопросъ: какъ и должно было ожидать, она снова и съ болѣею силою обратила къ падшему поэту сочувствіе и любовь общества. Восторженные поклонники искусства тѣмъ болѣе были поражены смертію поэта и тѣмъ болѣе скорбѣли о ней, что вскорѣ за тѣмъ появившіяся въ «Современникѣ» посмертныя сочиненія Пушкина изумили ихъ своимъ художественнымъ совершенствомъ, своею творческою глубиною. Образъ Пушкина, украшенный страдаль-

ческою кончиною, предстоялъ предъ ними во всемъ блескѣ поэтической апофеозы: это былъ для нихъ не только великій русскій поэтъ своего времени, но и великій поэтъ всѣхъ народовъ и всѣхъ вѣковъ, гений европейскій, слава всемірная... Но не успѣло еще войти въ свои берега взволнованное утратою поэта чувство общества, какъ подняла свое жужжаніе и шипѣніе на страдальческую тѣнь великаго злопамятная посредственность, мучимая болью отъ глубокихъ царапинъ, еще незажившихъ слѣдовъ львиныхъ когтей... Она начала и прямо и косвенно толковать о поэтическихъ заслугахъ Пушкина, стараясь унижить ихъ; не впадъ и кстати начала сравнивать Пушкина и съ Мининымъ, и съ Пожарскимъ, и съ Суворовымъ, вмѣсто того, чтобъ сравнивать его съ поэтами своей родины... Подобныя нелѣпости не заслуживали бы ничего, кромѣ презрѣнія, какъ выраженіе бессильной злобы; но веселое скаканіе водовозныхъ существъ на могилѣ павшаго съ бою льва возмущаетъ душу, какъ зрѣлище неприличное и отвратительное; а наглое безстыдство низости имѣетъ свойство выводить изъ терпѣнія достоинство, сильное одною истиною... Мудрено ли, что и такое ничтожное само по себѣ обстоятельство, раздражая людей, способныхъ понять и оцѣнить Пушкина какъ должно, только болѣе и болѣе увлекало ихъ въ благородномъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и безотчетномъ удивленіи къ великому поэту?...

Между тѣмъ, время шло впередъ, а съ нимъ шла впередъ и жизнь, порождая изъ себя новыя явленія, дающія сознанію новые факты и подвигающія его на пути развитія. Общество русское съ невольнымъ удивленіемъ, полнымъ ожиданія и надежды чего-то великаго, обратило взоры на новаго поэта, смѣло и гордо открывшаго ему новыя стороны жизни и искусства. Равенъ ли по силѣ таланта, или еще выше Пушкина былъ Лермонтовъ—не въ томъ вопросъ: несомнѣнно только, что даже и не будучи выше Пушкина,

Лермонтовъ призванъ былъ выразить собою и удовлетворить свою поэзію несравненно высшее, по своимъ требованіямъ и своему характеру, время, чѣмъ то, котораго выраженіемъ была поэзія Пушкина. И менѣе чѣмъ въ какія нибудь пять лѣтъ, протекшія отъ смерти Пушкина, русское общество успѣло и радостно встрѣтить пышный восходъ и горестно проводить безвременный закатъ новаго солнца своей поэзіи!... Другой поэтъ, вышедшій на литературное поприще при жизни Пушкина и привѣтствованный имъ, какъ великая надежда будущаго, послѣ долгаго и скорбнаго безмолвія, подарилъ наконецъ публику такимъ твореніемъ, которое должно составить эпоху и въ лѣтописяхъ литературы, и въ лѣтописяхъ развитія общественнаго сознанія... Все это было безмолвною, фактической философіею самой жизни и самого времени для рѣшенія вопроса о Пушкинѣ. Толки о Пушкинѣ наконецъ прекратились, но не потому, чтобъ вопросъ о немъ переставалъ интересовать публику, а потому, что публика не хочетъ уже слышать повторенія старыхъ, одностороннихъ мнѣній, требуя мнѣнія новаго и независимаго отъ предубѣжденій въ пользу или невыгоду поэта. Повторяемъ: мнѣніе это могло выработаться только временемъ и изъ времени, и—чуждые ложнаго стыда,— не побоямся сказать, что одною изъ главныхъ причинъ, почему не могли мы ранѣе выполнить своего обѣщанія нашимъ читателямъ, касательно разбора сочиненій Пушкина, было сознаніе неясности и неопредѣленности собственнаго нашего понятія о значеніи этого поэта. Знаемъ, что такое признаніе пробудитъ остроуміе нашихъ доброжелателей: въ добрый часъ—пусть себѣ острятся! Мы не завидуемъ готовымъ натурамъ, которыя все узнаютъ за одинъ присѣсть и, узнавши разъ, одинаково думаютъ о предметѣ всю жизнь свою, хвалясь неизмѣнчивостію своихъ мнѣній и неспособностію ошибаться. Да, не завидуемъ, ибо глубоко убѣждены, что только тотъ

не ошибался въ истинѣ, кто не искалъ истины, и только тотъ не измѣнялъ своихъ убѣжденій, въ комъ нѣтъ потребности и жажды убѣжденія; исторія, философія и искусство— не то, что математика съ ея вѣчными неподвижными истинами: движеніе математики, какъ науки, состоитъ не въ движеніи ея истинъ, а въ открытіи новыхъ и кратчайшихъ путей къ достиженію неизмѣнныхъ результатовъ. Въ царствѣ математики нѣтъ случайности и произвола, за то нѣтъ и жизни; но исторія, философія и искусство живутъ какъ природа, какъ духъ человѣческій, выражаемые ими, живутъ, вѣчно измѣняясь и обновляясь; ихъ единство скрыто въ многообразіи и разнообразіи, необходимость—въ свободѣ, разумность—въ случайности. Кто хочетъ уловлять своимъ сознаниемъ законы ихъ развитія, тотъ самъ, подобно имъ, долженъ развиваться и доходить до результатовъ истины не въ легкомъ наслажденіи апатическаго спокойствія, а въ болѣзняхъ и мукахъ рожденія: зерно истины въ благодатной душѣ то же, что младенецъ въ утробѣ матери—предметъ пламенной любви и трудныхъ попеченій, источникъ блаженства и скорбей...

Кромѣ того, насъ останавливали еще предѣлы замышляемой нами статьи. Наблюдая за ходомъ отечественной литературы, мы, естественно, часто должны были въ прошедшемъ отыскивать причины настоящаго и прозрѣвать въ историческую связь явленій. Чѣмъ болѣе думали мы о Пушкинѣ, тѣмъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы, и убѣждались, что писать о Пушкинѣ значитъ писать о цѣлой русской литературѣ, ибо какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что, несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе, слѣдственно, у нея есть исторія. Мы да-

леги отъ самолюбивой мысли удовлетворительно развить это воззрѣніе на русскую литературу и желаемъ только одно—хоть намекнуть на это воззрѣніе и продолжить другимъ дорогу тамъ, гдѣ еще не протоптано и тропинки. Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше насъ: мы первые порадуемся ихъ успѣху, а сами для себя будемъ довольны и тѣмъ, если намъ намекомъ на это воззрѣніе удастся положить конецъ старымъ толкамъ о русской литературѣ и произвольнымъ личнымъ сужденіямъ о русскихъ писателяхъ...

Вотъ для чего, приступая къ критическому разсмотрѣнію сочиненій Пушкина, мы шпочли за необходимое сперва обозрѣть ходъ и развитіе русской поэзіи (ибо предметъ нашихъ статей будетъ не литература въ обширномъ смыслѣ, а только поэзія русская) съ самаго ея начала. Выходъ новаго изданія сочиненій Державина доставилъ намъ удобный случай взглянуть съ нашей точки зрѣнія на его творенія, и нашу статью о Державинѣ мы считаемъ началомъ статьи о Пушкинѣ, почему и намѣрены связать объ эти статьи обзоромъ историческаго развитія русской поэзіи отъ Державина до Пушкина, черезъ что статья наша о Державинѣ будетъ еще пополнена и уяснена общею идеею, которая должна быть основою всего ряда этихъ статей, образующихъ собою критическую исторію «изящной литературы» русской. Вслѣдъ за статьями о Пушкинѣ, мы немедленно приступимъ къ разбору (тоже давно нами обѣщанному) сочиненій Гоголя и Лермонтова. И хотя въ нашемъ журналѣ не разъ и не мало было говорено объ этихъ писателяхъ,—однако же общаемыя статьи нисколько не будутъ повтореніемъ сказаннаго.

Русская литература есть не туземное, а пересадное растеніе. Это обстоятельство даетъ особенный характеръ ей самой и ея исторіи; не понять этого обстоятельства, или не обратить на него всего вниманія, значитъ не понять ни

русской литературы, ни истории. Мы начали ее характеристику сравнением — и продолжим сравнением же. Одни растения, будучи перенесены в новый климат и пересажены в новую почву, сохраняют свой прежний вид и свои прежние качества; другие изменяются в томъ и другомъ по влиянію на нихъ новаго климата и новой почвы. Русская литература можетъ быть сравниваема съ растениями втораго рода. Ее история, особенно до Пушкина (отчасти еще и до сихъ поръ), состоитъ въ постоянномъ стремленіи — отрѣшиться отъ результатовъ искусственной пересадки, взять корни вѣ новой почвѣ и укрѣпиться ея питательными соками. Идея поэзіи была выписана вѣ Россію по почтѣ изъ Европы и явилась у насъ какъ заморское нововведеніе. Ее понимали какъ искусство слагать вирши на разные торжественные случаи. Тредьяковскій былъ привилегированнымъ придворнымъ пѣнтой и «воспѣвалъ» даже балы и маскарады придворные, словно какъ государственныя событія. Ломоносовъ, первый русскій поэтъ, тоже понималъ поэзію, какъ «воспѣваніе» торжественныхъ случаевъ, и первая ода его (и вѣ то же время первое русское стихотвореніе, написанное правильнымъ размѣромъ) была пѣснію на взятіе русскими войсками Хотина. Это было вѣ 1738 г.; стало быть, теперь этому сто четыре года. Впрочемъ, «пѣснопѣвческой» и «воспѣвательный» взглядъ на поэзію созданъ не нашими первыми поэтами: такъ смотрѣли тогда на поэзію во всей просвѣщенной Европѣ. Всеобщемо извѣстностью тогда пользовались только древнія литературы, изъ которыхъ греческая была или по наслышкѣ извѣстна, или искаженно и превратно понимаема, а латинская, лучше знаемая и болѣе доступная и любимая, считалась идеаломъ всякой изящной литературы. Изъ новѣйшихъ литературъ пользовались всеобщемо извѣстностію только французская и итальянская, особенно первая, ибо она наиболѣе находилась подъ влияніемъ латинской, по крайней мѣрѣ, во внѣшнихъ формахъ. Нѣ-

мецкой изящной литературы тогда еще не существовало; испанская и английская не были известны за пределами своих земель.

И такъ, изъ новѣйшихъ литературъ, французская царила надъ всѣми другими, гордо презирая английскую и испанскую, какъ выраженіе крайняго безвкусія, почитая Данта уродливымъ поэтомъ, и восхищаясь по своему Петраркою и Тассомъ. Вліяніе древнихъ литературъ на французскую (а слѣдственно и на всѣ другія въ Европѣ того времени) состояло въ условныхъ понятіяхъ о высшей формѣ поэтическихъ произведеній и уподобленіяхъ встати и не встати изъ языческой мифологіи. У древнихъ стихи не читались, а говорились речитативомъ съ аккомпаньманомъ музыкальнаго инструмента — лиры; оттого у древнихъ «пѣть» значило въ переносномъ значеніи «сочинять стихи». Въ новомъ мірѣ стихи не пѣлись, а читались, и лиры совсѣмъ не существовало; но приличіе требовало, чтобъ въ стихахъ не обходилось безъ «пою» и «лиры». Мифологія была выраженіемъ жизни древнихъ, и ихъ боги были не аллегоріями, не символами, не риторическими фигурами, а живыми понятіями въ живыхъ образахъ. Въ новомъ мірѣ царила религія Христа и, стало быть, боговъ не было; но, несмотря на то, нельзя было написать никакого стихотворенія, гдѣ бы не стрѣляли изъ Лука Амуры и Купидоны, не были Борей, Нептунъ не воздымалъ моря, Зефиры не дышали прохлагою и т. д. А почему?— потому что такъ было у Грековъ и Римлянъ! По воззрѣнію Грековъ, трагедія могла быть только апоэеозомъ государственной жизни, а оттого у нихъ дѣйствовали въ ней только представители стихій государственности: цари, герои, военачальники, правители, жрецы (а по связи ихъ жизни съ религіею и боги); народъ же могъ присутствовать на сценѣ только въ видѣ хора, выражавшаго лирическими изліяніями свое участіе не въ происходящемъ передъ его глазами событіи, но свое участіе къ происходившему

передъ его глазами событію. Единство основной идеи считалось у Грековъ столько необходимымъ условіемъ для трагедіи, какъ и для всякаго другаго произведенія поэзіи; единство же мѣста и времени отнюдь не считалось необходимою, но часто соблюдалось какъ по простотѣ и немногосложности дѣйствія, такъ и по обширности сцены. Драматурги новѣйшаго міра поняли это по своему. Набожно хранили они въ трагедіи правило тріединства; допускали въ нее только царей и героевъ съ ихъ наперсниками, а изъ простаго народа позволяли появляться на сценѣ однимъ «вѣстникамъ». Вотъ что значитъ принять фактъ за идею! Созданія греческой поэзіи, вышедшія изъ жизни Грековъ и выразившія ее собою, показали для новыхъ поэтовъ нормою и первообразомъ для поэзіи народовъ другой религіи, другаго образованія, другаго времени! Это особенно видно изъ понятія псевдо-классиковъ объ эпосѣ: греческій эпосъ «Иліаду» и рабскій сколокъ съ нея—«Энеиду» приняли они за эпосъ всеобщій и думали, что до скончанія міра всѣ эпическія поэмы должны писаться по ихъ образцу, безъ малѣйшаго отступленія, даже начинаться не иначе какъ «муза, воспой», или «пою». Поэтому истинная «Иліада» среднихъ вѣковъ—«Божественная Комедія» Данта, выразившая собою всю глубину духовной жизни своего времени въ свойственныхъ этой жизни и этому времени формахъ казалась имъ не эпическою поэмою, а уродливымъ произведеніемъ. Да и какъ могло быть иначе?—она начиналась не съ глагола «пою» и называлась—о, ужасъ!—комедіею!... Эпическая поэзія, по понятію псевдо-классиковъ, должна была «воспѣвать» какое-нибудь великое событіе въ жизни человѣчества, или въ жизни народа,—и въ какую бы эпоху, у какого бы народа ни произошло это событіе, оно должно быть наряжено въ багряницу или тогу, лишиться мѣстнаго колорита, приводиться въ движеніе сверхъестественными силами, выражаться напыщенно и безцвѣтно,—чего необходимо требуетъ

всякая поддѣлка подъ чужую форму и тѣмъ болѣе подъ чужую жизнь. Вотъ происхожденіе риторической поэзіи. Основаніе ея — отложеніе отъ жизни, отпаденіе отъ дѣйствительности; характеръ — ложь и общія мѣста. Такая-то поэзія была перенесена на Русь.

Ломоносовъ былъ первымъ основателемъ русской поэзіи и первымъ поэтомъ Руси. Для насъ теперь непонятна такая поэзія: она не оживляетъ нашего воображенія, не шевелитъ сердца, а только производитъ въ насъ скуку и зѣвоту. Но если сравнить Ломоносова съ Сумароковымъ и Херасковымъ — стихотворцами, вышедшими на поприще послѣ него, — то нельзя не признать въ Ломоносовѣ значительнаго дарованія, которое пробивается даже въ ложныхъ формахъ риторической поэзіи того времени. Только одинъ Державинъ былъ несравненно больше поэтъ, чѣмъ Ломоносовъ: до Державина же Ломоносову не было никакихъ соперниковъ, и хотя Сумароковъ и Херасковъ сѣбѣ считали современниками не ниже его, но имъ до него—

Какъ до звезды небесной далеко!

Сравнительно съ ними, языкъ его чистъ и благороденъ, слогъ точенъ и силенъ, стихъ исполненъ блеска и паренія. Если же не всякій могъ такъ писать, какъ Ломоносовъ, значитъ — нужно имѣть талантъ, чтобъ писать такъ, какъ писалъ онъ. Поэзія Корнея и Расина для насъ — ложная, риторическая поэзія, и намъ отъ нея спится такъ же сладко, какъ и отъ поэзіи Сумарокова; но, чтобъ и теперь писать такъ, какъ писали въ свое время Корнель и Расинъ, надо имѣть большой талантъ; писать же такъ, какъ писалъ Сумароковъ, не нужно было никакого таланта и въ его время, а нужна была только охота и страсть къ писанію. Въ одахъ Ломоносова: «Къ Юву», «Утреннее» и «Вечернее размышленіе о величествѣ Божиемъ», кромѣ замѣчательнаго искусства версификаціи, видны еще одушевленіе и чувство, чего не-

замѣтно ни въ одномъ стихотвореніи Сумарокова или Хераскова. Поэзія Ломоносова—хвалебная и торжественная по преимуществу. Сумароковъ писалъ, по крайней мѣрѣ, комедіи, эклоги, сатиры, кромѣ трагедій и одъ; Ломоносовъ писалъ только оды, и кромѣ ихъ написалъ двѣ трагедіи, да неоконченную поэму «Петриаду». Таковъ былъ духъ времени; такъ понимали тогда поэзію въ Европѣ, и разстояніе между «Петриадою» Ломоносова и «Генриадою» Вольтера, право, не велико. Въ «Петриадѣ» Ломоносовъ описываетъ дворецъ Нептуна на днѣ Бѣлаго моря: нашъ поэтъ не подумалъ о томъ, что отвелъ слишкомъ холодную квартиру обитателю Средиземнаго моря и греческаго Архипелага. Петръ Великій и—Нептунъ, морской богъ древнихъ Грековъ; какое сближеніе! Понятно, почему не кончилъ Ломоносовъ своей дикой, напыщенной поэмы: у него было отъ природы столько здраваго смысла и ума, что онъ не могъ кончить подобнаго *tour de force* воображенія, поднятаго на дыбы. Трагедіи Ломоносова похожи на его «Петриаду». Сумароковъ писалъ во всѣхъ родахъ, чтобъ сравняться съ господиномъ Вольтеромъ, и во всѣхъ равно былъ безталантенъ. Но о поэзіи тогда думали иначе, нежели думаютъ теперь, и, при страсти къ писанію и раздражительномъ самолюбіи, трудно было не сдѣлаться великимъ гениемъ. Современники были безъ ума отъ Сумарокова. Вотъ что говорить о немъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ и умнѣйшихъ людей Екатерининскихъ временъ, Новиковъ, въ своемъ «Опытѣ историческаго словаря о россійскихъ писателяхъ»:

„Различныхъ родовъ стихотворными и прозаическими сочиненіями приобрѣлъ онъ себѣ великую и безсмертную славу не только отъ Россіянъ, но и отъ чужестранныхъ академій и славнѣйшихъ европейскихъ писателей. И хотя первый изъ Россіянъ онъ началъ писать трагедіи по всѣмъ правиламъ театральнаго искусства, но столько успѣлъ въ оныхъ, что заслужилъ названіе сѣвернаго Расина. Его эклоги равняются знающими людьми съ Виргиліевыми и поднесъ

еще остались неподражаемы; а притчи его почитаются сокровищемъ россійскаго Парнаса; и въ семь родъ стихотвореніями далеко превосходить онъ Фэдра и де-ля-Фонтена, славнѣйшихъ въ семь родъ. Впрочемъ, все его сочиненія любителями россійскаго стихотворства весьма много почитаются“. (стр. 207—208).

Такия похвалы Сумарокову теперь, конечно, очень смѣшны, но онѣ имѣютъ свой смыслъ и свое основаніе, доказывая, какъ важны, полезны и дороги для успѣховъ литературы тѣ смѣлые и неутомимые труженики, которые въ простотѣ сердца принимаютъ свою страсть къ бумагоманію за великій талантъ. При всей своей бездарности, Сумароковъ много способствовалъ къ распространенію на Руси охоты къ чтенію и къ театру. Современники дорожатъ такими людьми, добродушно удивляясь имъ, какъ геніямъ. Вотъ что говоритъ тотъ же Новиковъ о Василии Кирилловичѣ Тредьяковскомъ:

„Сей мужъ былъ великаго разума, многого ученія, обширнаго знанія и непримѣрнаго трудолюбія; весьма знающъ въ латинскомъ, греческомъ, французскомъ, италіянскомъ и въ своемъ природномъ языкѣ; также въ философіи, богословіи, краснорѣчій и въ другихъ наукахъ. Полезными своими трудами приобрѣлъ себя безсмертную славу, и первый въ Россіи сочинилъ правила новаго россійскаго стихосложенія, много сочинилъ книгъ, а перевелъ и того больше, да и столь много, что кажется невозможнымъ, чтобъ одного человека достало къ тому столько силъ; ибо одну древнюю Ролленеву исторію перевелъ онъ два раза... При томъ не обинуясь, къ его чести сказать можно, что онъ первый открылъ въ Россіи путь къ словеснымъ наукамъ, а паче къ стихотворству: причемъ былъ первый профессоръ, первый стихотворецъ и первый, положившій толико труда и прилежанія въ переводѣ на россійскій языкъ преполезныхъ книгъ“ (ст. 118—119).

Мы не безъ намѣренія дѣлаемъ эти выписки; свидѣтельство современниковъ, какъ всегда пристрастное, не можетъ служить доказательствомъ истины и послѣднимъ отвѣтомъ на вопросъ; но оно всегда должно приниматься въ соображеніе при сужденіи о писателяхъ, ибо въ немъ всегда есть своя часть истины, часто невозможная для потомства. По-

сему, мы не разъ еще прибѣгнемъ къ подобнымъ выпискамъ въ продолженіе нашей статьи, чтобъ показать ими, какъ смотрѣли на того или другаго писателя его современники, изъ чего нѣкоторымъ образомъ, можно судить о степени его важности и въ исторіи литературы.

Громкою славою пользовались у знатоковъ и любителей литературы того времени четверо писателей изъ школы Ломоносова—Поповскій, Херасковъ, Петровъ и Костровъ. Поповскій обязанъ своею громкою извѣстностію въ то время лестнымъ отзывамъ Ломоносова о переведенномъ имъ стихами «Опытѣ о Человѣкѣ» Попа. Вотъ что говоритъ о Поповскомъ Новиковъ:

„Опытъ о человѣкѣ славнаго въ ученомъ свѣтѣ Попія перевелъ онъ съ французскаго языка на російскій съ такимъ искусствомъ, что по мнѣнію знающихъ людей гораздо ближе подошелъ къ подлиннику и не знавъ англійскаго языка, что доказываетъ какъ его ученость, такъ и проницаніе въ мысли авторскія. Содержаніе сей книги столь важно, что и прозою исправно перевести ее трудно, но онъ перевелъ съ французскаго, перевелъ въ стихи и перевелъ съ совершеннымъ искусствомъ, какъ философъ и стихотворецъ: напечатана сія книга въ Москвѣ 1757 года. Онъ переложилъ съ латинскаго языка въ латинскіе стихи Горациеву эпистолю о стихотворствѣ и нѣсколько изъ его одъ; также перевелъ прозою книгу о воспитаніи дѣтей, состоящую въ двухъ частяхъ, славнаго Локка: *сей переводъ по мнѣнію знающихъ людей едва не превосходитъ ли и подлинникъ*. Онъ сочинилъ нѣсколько рѣчей читанныхъ въ публичныхъ собраніяхъ, и также писалъ торжественныя оды. Вообще стихотворство его чисто и плавно, а изображенія просты, ясны, пріятны и превосходны“ (стр. 168—169).

Поповскій умеръ 30 лѣтъ и сжегъ свой переводъ Тита Ливія (котораго перевелъ больше половины) и переводъ многихъ одъ Анакреона, будучи недоволенъ своими переводами и боясь, чтобъ послѣ его смерти они не были напечатаны. Стихи Поповскаго, по своему времени, дѣйствительно хороши, а недовольство его несовершенствомъ трудовъ своихъ еще болѣе обнаруживаетъ въ немъ человѣка

съ дарованіемъ. Замѣчательно, что многія мѣста переведеннаго имъ «Опыта» были не пропущены тогдашнею цензурою.

Херасковъ написалъ цѣлыхъ двѣнадцать томовъ. Онъ былъ и эпикъ, и лирикъ, и трагикъ, писалъ даже «слезныя драмы» и комедіи, и во всемъ этомъ обнаружилъ большую страсть къ литературѣ, большое добродушіе, большое трудолюбіе и— большую безталантность. Но современники думали о немъ иначе и смотрѣли на него съ какимъ-то робкимъ благоговѣніемъ, какого не возбуждали въ нихъ ни Ломоносовъ, ни Державинъ. Причиною этого было то, что Херасковъ подарилъ Россію двумя эпическими или героическими поэмами—«Россіядою» и «Владиміромъ». Эпическая поэма считалась тогда высшимъ родомъ поэзіи, и не имѣть хоть одной поэмы народу, значило тогда не имѣть поэзіи. Какова же должна быть гордость отцовъ нашихъ, которые знали, что у Итальянцевъ была одна только поэма—«Освобожденный Іерусалимъ», у Англичанъ тоже одна—«Потерянный Рай», у Французовъ одна, и то недавно написанная—«Генріада», у Нѣмцевъ одна, почти въ одно время съ поэмами Хераскова написанная,—«Мессіада», даже у самихъ Римлянъ только одна поэма, а у насъ, Русскихъ, такъ же какъ и Грековъ, цѣлыя двѣ! Каковы эти поэмы,—объ этомъ не разсуждали, тѣмъ болѣе, что никому въ голову не приходила мысль о возможности усомниться въ ихъ высокомъ достоинствѣ. Самъ Державинъ смотрѣлъ на Хераскова съ благоговѣніемъ и разъ, безъ умысла, написалъ мадригалъ въ стихотвореніи «Ключъ», который оканчивается слѣдующими стихами:

Творца безсмертной Россіады,
Священный Гребеневскій ключъ,
Поимъ водой ты стихотворства.

Дмитріевъ такъ выразилъ свое удивленіе къ Хераскову въ этой надписи къ его портрету:

Пускай отъ зависти сердца землю вь ноютъ;
Хераскову они вреда не принесутъ:
Владиміръ, Іоаннъ щитомъ его покроютъ
И въ храмъ безсмертья проведутъ.

Мы увидимъ ниже, какъ долго еще продолжалось мистическое уваженіе къ творцу «Россиады» и «Владиміра» несмотря на сильныя возстанія противъ его авторитета нѣкоторыхъ державныхъ умовъ: оно совершенно окончилось только при появленіи Пушкина. Причина этого мистическаго уваженія къ Хераскову заключается въ риторическомъ направленіи, глубоко охватившемъ нашу литературу. Кромѣ этихъ двухъ стихотворныхъ поэмъ, Херасковъ написалъ еще три поэмы въ прозѣ: «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» и «Нума Помпилій, или Процвѣтающій Римъ». «Похожденія Телемака» Фенелона, «Гонзальвъ Кордуанскій» и «Нума Помпилій» Флоріана были образцами прозаическихъ поэмъ Хераскова. Замѣчательно предисловіе автора къ первой изъ нихъ: «Мнѣ совѣтовали переложить сіе сочиненіе стихами, дабы видъ эпической поэмы оно пріяло. Надѣюсь, могутъ читатели повѣрить мнѣ, что я въ состояніи былъ издать сіе сочиненіе стихами; но я не поэму писалъ, а хотѣлъ сочинить простую токмо повѣсть, которая для стихословія не есть удобна. Кому извѣстны піитическія правила, тотъ при чтеніи сей книги почувствуетъ, для чего не стихами она написана». Далѣе, Херасковъ возстаетъ противъ мнѣнія Тредьяковскаго, утверждавшаго, что поэмы должны писаться безъ рифмъ, и что «Телемакъ» именно потому не ниже «Иліады», «Одиссеи» и «Энеиды» и выше всѣхъ другихъ поэмъ, что писанъ безъ рифмъ. Дѣтское простодушіе этихъ мнѣній и споровъ лучше всего показываетъ, какъ далеки были словесники того времени отъ истиннаго понятія о поэзіи, и до какой степени видѣли они въ ней одну риторикку. Въ «Полидорѣ» особенно замѣчательно внезапное обращеніе Хераскова къ русскимъ

писателямъ. Имена ихъ означены только заглавными буквами — характерическая черта того времени чрезвычайно скрупулёзнаго въ дѣлѣ печати. Но мы выпишемъ ихъ имена вполне, кромѣ тѣхъ, которыя трудно угадать:

„Такова есть сила пѣвословія, что боги сами восхищаются привлекательнымъ музъ пѣніемъ, музъ небесныхъ, пиршества ихъ на холмистомъ Олимпѣ сопровождающихъ; и кто не восхитится стройностію лиръ пріятныхъ? чье сердце не тронется сладостнымъ гласомъ музами вдохновенныхъ пѣнговъ!—сердце суровое и нечувствительное, единый наружный токмо слухъ имѣющее, или пріятности стихотворства ощущать не сотворенное. Можетъ ли чувствительная душа, можетъ ли въ восторгъ не прійти, внимая громкому и важному пѣнію наперсника музъ, парящаго Ломоносова? Можетъ ли кто не плѣниться нѣжными и пріятными твореніями С? *) Я *пою* въ моемъ отечествѣ, и пѣнговъ российскихъ исчисляю; мнѣ они путь къ горѣ парнасской проложили; свѣтомъ ихъ озаряемый, *востыль* я российскихъ древнихъ царей и героевъ; *востыль* Кадма не стопосложнымъ, но простымъ слогомъ; нынѣ повѣствую Полидора, не внимая сужденію нелюбителей российского слова, ни укоризнамъ завистливыхъ челоуѣковъ, въ униженіи другихъ славу свою поставляющихъ. Но пусть они гиппокренскаго источника прежде меня достигнуть, тогда, уступивъ имъ лавры, спокойно за нами послѣдую; слабыя и недостойныя творенія забвенны будутъ. А вы, мои предшественники, вы, мои достославные современники, въ памяти нашихъ потомковъ впечатлѣнны и славимы вѣчно будете, — и ты, бардъ временъ нашихъ, превосходный пѣвецъ и тщательный списатель красоты натуры **)! И ты, Державинъ, во вѣки не умрешь по твоему вдохновенному свыше изреченію. Но не давай прохладяться священному пламени, въ духѣ твоёмъ музами воспаленномъ: музы не любить, кто, ими призываемъ будучи, рѣдко съ ними бесѣдуетъ. Тебѣ, любимецъ музъ, Русскій путешественникъ Карамзинъ; тебѣ, чувстви-

*) Должно быть, дѣло идетъ о *Евстафій Станевичъ*, весьма плохомъ пѣтвѣ того времени.

**) Здѣсь, вѣроятно, идетъ дѣло о *Бобровѣ*, авторѣ описательной поэмы „Херсонида, или лѣтній день на полуостровѣ Херсонидѣ“ и разныхъ лирическихъ стихотвореній. Бобровъ замѣчательнъ тѣмъ, что былъ знакомъ съ англійскою литературою и подражалъ ей писателямъ Пѣповской школы.

тельный Нелединскій; тебѣ, пріятный пѣвецъ Дмитріевъ; тебѣ Богдановичъ, творецъ Душеньки, и тебѣ, Петровъ, писатель одъ громогласныхъ, важною преисполненныхъ, то же я вѣщаю. А вы, юные музъ питомцы, вы, російскаго пѣснопѣвца любители! шествуйте ко храму ихъ медленно, осторожно и рачительно; онъ воздвигнуть на горѣ высокой; стези къ нему, пробирають сквозь скалы крутыя, извитыя, перепутанныя. Достигнувъ парнасскія вершины, изліанный потъ вашъ, раченіе, тщательность ваша, осѣняющими гору древесами прохлаждены будутъ; чело ваше пріосѣнится вѣнцемъ неувядаемымъ. Но памятуйте, что ядовитость, самолюбіе и тщеславіе музамъ неприличны суть; онѣ дѣвы и любятъ непорочность нравовъ, любятъ нѣжное сердце, сердце чувствующее, душу мыслящую. Неправильныя добродѣтели главнымъ своимъ видомъ, вольнодумцы, горделивые стопослагатели, блага общаго нарушители друзьями ихъ нарѣчься не могутъ. Буди цѣломудръ и кротокъ, кто безсмертныя пѣсни составлять хочеть! Таковы строги суть уставы горы парнасской, на коей возсѣдять безсмертныя пѣны, вити и прочіе други Фивовы“.

(Тв. Хераск. Т. XI, стр. 1—3).

Бѣдный Херасковъ! думалъ ли онъ, пиша эти строки, что, всю жизнь свою строго исполнявъ нравственныя правила своей эстетики, онъ тѣмъ не менѣе самъ будетъ забытъ неблагодарнымъ потомствомъ?

Странно, однако, что отзывъ Новикова о Херасковѣ сдѣланъ въ довольно умѣренныхъ выраженіяхъ: «Вообще сочиненія его весьма много похваляются, а особливо, трагедія Бориславъ; оды, пѣсни, обѣ поэмы, всѣ его сатирическія сочиненія и Нума Помпилій приносятъ ему великую честь и похвалу. Стихотворство его чисто и пріятно, слогъ текущъ и твердъ, изображенія сильны и свободны; его оды наполнены стихотворческаго огня, сатирическія сочиненія остроты и пріятныхъ замысловъ, а Нума Помпилій философическихъ разсужденій; и онъ по справедливости почитается въ числѣ лучшихъ нашихъ стихотворцевъ, и заслуживаетъ великую похвалу» (стр. 237),

Петровъ считался громкимъ лирикомъ и остроумнымъ сатирикомъ. Трудно вообразить себѣ что-нибудь жестче, грубѣе и напыщеннѣе дебой лиры этого семинарскаго пѣвца. Въ

одъ его «На побѣду россійскаго флота надъ турецкимъ» много той напыщенной высокопарности, которая почиталась въ то время лирическимъ восторгомъ и пѣстическимъ пареніемъ. И потому эта ода особенно восхищала современниковъ. И дѣйствительно, она лучше всего прочаго, написаннаго Петровымъ, потому что все прочее изъ рукъ вонъ плохо. Грубость вкуса и площадность выраженій составляютъ характеръ даже нѣжныхъ его стихотвореній, въ которыхъ онъ воспѣвалъ живую жену и умершаго сына своего. Но такова сила преданія: Каченовскій еще въ 1813 году, когда Петрова давно уже не было на свѣтѣ, восхвалялъ его въ своемъ «Вѣстникѣ Европы!» Странно, что въ «Опытѣ историческаго Словаря о россійскихъ писателяхъ» Новиковъ холодно и даже насмѣшливо, а потому и весьма справедливо, отозвался о Петровѣ: «Вообще о сочиненіяхъ его сказать можно, что онъ напрягается идти по слѣдамъ россійскаго лирика; и хотя нѣкоторые и называютъ уже его вторымъ Ломоносовымъ, но для сего сравненія надлежитъ ожидать важнаго какого-нибудь сочиненія, и послѣ того заключительно сказать, будетъ ли онъ второй Ломоносовъ, или останется только Петровымъ и будетъ имѣть честь слыть подражателемъ Ломоносова» (стр. 163). Этотъ отзывъ взбѣсилъ Петрова, и онъ отвѣтилъ сатирою на «Словарь», которая можетъ служить образцомъ его сатирическаго остроумія:

..... Я плюю на Словаря,
Въ немъ имя ты мое найдешь безъ фонаря!
Смотритко, тамо я какъ солнышко блистаю!
На самой маковкѣ Парнаса превитаю!
То правда, косна желвь тамъ сдѣлана орломъ.
Кукушка лебедемъ, ворона соколомъ;
Тамъ монастырскіе запечны лежебоки
Пожалованы всѣ въ искусники глубоки;
Коль вѣрить Словарю, то сколько есть дворовъ.
Столь много на Руси великихъ авторовъ;
Тамъ подлой на ряду съ писцомъ стоятъ алырщикъ,
.....

Съ баклагой сбитенщикъ, и водоливъ съ бадьей;
А все то авторы, все мужи имениты,
Да были до сихъ поръ оплошностью забыты:
Теперь свѣтъ умному обязанъ молодцу,
Что полну ихъ именъ оставилъ памятку;
Въ дни древни, въ старину жилъ былъ де царь Ватуто,
Онъ былъ, да жилъ, да былъ, и сказка-то вся тутю.
Такой-то въ эдакомъ писатель жилъ году;
Ни строчки на своемъ не издалъ онъ роду;
При всемъ томъ слогъ имѣлъ. повѣрьте, молодецкой;
Зналъ греческій языкъ, китайской и турецкой.
Тотъ умныхъ сколько-то наткалъ проповѣдей:
Да ихъ въ печати нѣтъ. О! былъ онъ грамотный;
Въ семь годъ цвѣлъ Ома, а въ эдакомъ Ерема;
Какая же по немъ осталася поэма?
Слогъ пылокъ у сего и разумъ такъ летучъ,
Какъ молнія въ эфиръ сверкающа изъ тучъ.
Сей первый издалъ въ свѣтъ шутиливую піесу,
По точнымъ правиламъ и хохота повѣсу.
Сей надпись начерталъ, а этотъ патерикъ;
Въ томъ разума былъ пудъ, а въ этомъ четверикъ.
Тотъ истину хранилъ, чтилъ сердцемъ добродѣтель,
Друзьямъ былъ вѣрный другъ и бѣднымъ благодѣтель;
Въ великомъ тѣлѣ духъ великой же имѣлъ,
И видя смерть въ глазахъ былъ мужественъ и смѣлъ.
Словарникъ знаетъ все, въ комъ умъ глубокъ, въ комъ мелокъ
Кто съ нимъ ватажился, былъ другъ ему и братъ,
Во святцахъ тотъ его не меньше какъ Сократъ.

Костровъ прославилъ себя переводомъ шести пѣсенъ «Илиады» шести-стопнымъ ямбомъ. Переводъ жестокъ и дебелъ, Гомера въ немъ нѣтъ и признаковъ; но онъ такъ хорошо соотвѣтствовалъ тогдашнимъ понятіямъ о поэзии и Гомерѣ, что современники не могли не признавать въ Костровѣ огромнаго таланта.

Изъ старой до-Державинской школы пользовался большою извѣстностію подражатель Сумарокова—Майковъ. Онъ написалъ двѣ трагедіи, сочинялъ оды, посланія, басни, въ особенностяхи прославился двумя такъ называемыми «комическими»

поэмами: «Елисей, или раздраженный Вакхъ» и «Игрокъ Ломбера». Г. Гречъ, составитель послужныхъ и литературныхъ списковъ русскихъ литераторовъ, находитъ въ поэмахъ Майкова «необыкновенный пѣстическій даръ»; но мы, кромѣ площадныхъ красоть и веселости дурнаго тона, ничего въ нихъ не могли найти.

Съ Державина начинается новый періодъ русской поэзіи, и какъ Ломоносовъ былъ первымъ ея именемъ, такъ Державинъ былъ вторымъ. Въ лицѣ Державина поэзія русская сдѣлала великій шагъ впередъ. Мы сказали, что въ нѣкоторыхъ стихотворныхъ пьесахъ Ломоносова, кромѣ замѣчательнаго по тому времени совершенства версификаціи, есть еще и одушевленіе и чувство; но здѣсь должны прибавить, что характеръ этого одушевленія и этого чувства обнаруживается въ Ломоносовѣ скорѣе оратора, чѣмъ поэта, и что элементовъ художественныхъ рѣшительно незамѣтно ни въ одномъ его стихотвореніи. Державинъ, напротивъ, чисто художническая натура, поэтъ по призванію; произведенія его преисполнены элементовъ поэзіи какъ искусства, и если, несмотря на то, общій и преобладающій характеръ его поэзіи—риторическій, въ этомъ виновать не онъ, а его время. Въ Ломоносовѣ боролись два призванія—поэта и ученаго, и послѣднее было сильнѣе перваго; Державинъ былъ только поэтъ, и больше ничего. Въ стихотвореніяхъ его уже нечего удивляться одушевленію и чувству,—это не первое и не лучшее ихъ достоинство: они запечатлѣны уже высшимъ признакомъ искусства—проблесками художественности. Муза Державина сочувствовала музѣ эллинской, царицѣ всѣхъ музъ, и въ его анакреонтическихъ одахъ промелькиваютъ пластическіе и граціозные образы древней антологической поэзіи; а Державинъ, между тѣмъ, не только не зналъ древнихъ языковъ, но я вообще лишенъ былъ всякаго образованія. Потому въ его стихотвореніяхъ нерѣдко встрѣчаются образы и картины чисто русской природы, выраженные со

всею оригинальною русскаго ума и рѣчи. И если все это только промелькиваетъ и проблескиваетъ, какъ элементы и частности, а не является цѣлымъ и оконченнымъ, какъ созданія выдержанныя и полныя, такъ что Державина должно читать всего, чтобы изъ разсѣянныхъ мѣстъ въ четырехъ томахъ его сочиненій составить понятіе о характерѣ его поэзіи, а ни на одно стихотвореніе нельзя указать, какъ на художественное произведеніе, — причина этому, повторяемъ, не въ недостаткѣ, или слабости таланта этого богатыря нашей поэзіи, а въ историческомъ положеніи и литературы, и общества того времени. Посѣянное Екатериною II возросло уже послѣ нея, а при ней вся жизнь русскаго общества была сосредоточена въ высшемъ сословіи, тогда какъ всѣ прочія были погружены во мракъ невѣжества и необразованности. Слѣдовательно, общественная жизнь (какъ совокупность извѣстныхъ правилъ и убѣжденій, составляющихъ душу всякаго общества человѣческаго) не могла дать творчеству Державина обильныхъ матеріаловъ. Хотя онъ и воспользовался всѣмъ, что только могло оно ему дать, однако этого было достаточно только для того, чтобы поэзія его, по объему ея содержанія, была глубже и разнообразнѣе поэзіи Ломоносова (поэта временъ Елизаветы), но не для того, чтобы онъ могъ сдѣлаться поэтомъ не одного своего времени. Сверхъ того, такъ какъ всякое развитіе совершается постепенно и послѣдующее всегда испытываетъ на себѣ неизбѣжное вліяніе предшествовавшаго, то Державинъ не могъ, вопреки своей поэтической натурѣ, смотрѣть на поэзію иначе, какъ съ точки зрѣнія Ломоносова, и не могъ не видѣть выше себя не только этого учителя русской литературы и поэзіи, но даже Хераскова и Петрова. Однимъ словомъ: поэзія Державина была первымъ шагомъ къ переходу вообще русской поэзіи отъ риторики къ жизни, но не больше.

Мы здѣсь только повторяемъ, для связи настоящей статьи, гешимѣ нашего воззрѣнія на Державина: кто хочетъ доказа-

тельство, тѣхъ отсылаемъ къ нашей статьѣ о Державинѣ (Ч. VII, стр. 55).

Важное мѣсто долженъ занимать въ исторіи русской литературы еще другой писатель Екатерининскаго вѣка: мы говоримъ о Фонъ-Визинѣ. Но здѣсь мы должны на минуту воротиться къ началу русской литературы. Кромѣ того обстоятельства, что русская литература была, въ своемъ началѣ, нововведеніемъ и пересадкою,—начало ея было ознаменовано еще другимъ обстоятельствомъ, которое тѣмъ важнѣе, что оно вышло изъ историческаго положенія русскаго общества и имѣло сильное и благодѣтельное вліяніе на все дальнѣйшее развитіе нашей литературы до сего времени, и доселѣ составляетъ одну изъ самыхъ характеристическихъ и оригинальныхъ чертъ ея. Мы разумѣемъ здѣсь ея сатирическое направленіе. Первый по времени поэтъ русскій, писавшій варварскимъ языкомъ и силлабическимъ стихосложениемъ, Кантемиръ, былъ сатирикъ. Если взять въ соображеніе хаотическое состояніе, въ которомъ находилось тогда русское общество, эту борьбу умирающей старины съ возникающимъ новымъ, то нельзя не признать въ поэзіи Кантемира явленія жизненнаго и органическаго, и ничего нѣтъ естественнѣе, какъ явленіе сатирика въ такомъ обществѣ.

Съ легкой руки Кантемира, сатира вѣдрилась, такъ сказать, въ нравы русской литературы, и имѣла благодѣтельное вліяніе на нравы русскаго общества. Сумароковъ велъ ожесточенную войну противъ «крошваго зелья» — лихоимцевъ; Фонъ-Визинъ казнилъ въ своихъ комедіяхъ дикое невѣжество стараго поколѣнія и грубый лоскъ поверхностнаго и вѣшняго европейскаго полуобразованія новыхъ поколѣній. Сынъ XVIII вѣка, умный и образованный, Фонъ-Визинъ умѣлъ смѣяться вмѣстѣ и весело, и ядовито. Его «Посланіе къ Шумилову» переживетъ всѣ толстыя поэмы того времени. Его письма къ вельможѣ изъ-за границы, по своему содержанію, несравненно дѣльнѣе и важнѣе «Писемъ Рус-

скаго Путешественника»: читая ихъ, вы чувствуете уже начало французской революціи въ этой страшной картинѣ французскаго общества, такъ мастерски нарисованной нашимъ путешественникомъ, хотя, рисуя ее, онъ, какъ и сами Французы, далекъ былъ отъ всякаго предчувствія возможности, или близости страшнаго переворота. Его исповѣдь и юмористическія статьи, его вопросы Екатеринѣ II, — все это исполнено для насъ величайшаго интереса, какъ живая лѣтопись прошедшаго. Языкъ его, хотя еще не Карамзинскій, однако уже близокъ къ Карамзинскому. Но, по предмету нашей статьи, для насъ всего важнѣе двѣ комедіи Фонъ-Визина— «Недоросль» и «Бригадиръ». Обѣ онѣ не могутъ назваться комедіями въ художественномъ смыслѣ этого слова: это скорѣе плодъ усилія сатиры стать комедією, но этимъ-то и важны онѣ: мы видимъ въ нихъ живой моментъ развитія разъ занесенной на Русь идеи поэзіи, видимъ ея постепенное стремленіе къ выраженію жизни, дѣйствительности. Въ этомъ отношеніи, самые недостатки комедій Фонъ-Визина дороги для насъ, какъ факты тогдашней общественности. Въ ихъ резонёрахъ и добродѣтельныхъ людяхъ слышится для насъ голосъ умныхъ и благонамѣренныхъ людей того времени,—ихъ понятія и образъ мыслей, созданные и направленные съ высоты престола.

Хемницеръ, Богдановичъ и Капнисть тоже принадлежать уже ко второму періоду русской литературы: ихъ языкъ чище, и книжный риторическій педантизмъ замѣтенъ у нихъ менѣе, чѣмъ у писателей Ломоносовской школы. Хемницеръ важнѣе остальныхъ двухъ въ исторіи русской литературы: онъ былъ первымъ баснописцемъ русскимъ (ибо притчи Сумарокова едва-ли заслуживаютъ упоминовенія), и между его баснями есть нѣсколько истинно прекрасныхъ и по языку, и по стиху, и по наивному остроумію. Богдановичъ произвелъ фуроръ своею «Душенькою»: современники были отъ нея безъ ума. Для этого достаточно привести, какъ свидѣ-

тельство восторга современниковъ, три слѣдующія надгробія Дмитріева творцу «Душеньки»:

I.

Привѣсьте къ урнѣ сей, о граціи! вѣнецъ:
Здѣсь Богдановичъ спитъ, любимый вашъ пѣвецъ.

II.

Въ спокойствіи, въ мечтахъ его текли всѣ лѣта
Но онъ внимаемъ былъ владычицей полсвѣта,
И въ памяти его Россія сохранить.
Сынъ Феба! возгордись: здѣсь музъ любимецъ спитъ.

III.

На руку преклонясь вечернею порою,
Амуръ невидимо здѣсь часто слезы льетъ.
И мыслить, отягченъ тоскою:
Кто Душеньку теперь такъ мило воспоетъ?

Во второму изданію сочиненій Богдановича, вышедшему уже въ 1818 году, приложено множество эпитафій и элегій, написанныхъ во время оно по случаю смерти пѣвца «Душеньки» (а онъ умеръ въ 1802 году). Между ними особенно замѣчательны три; первая принадлежитъ издателю Платону Бекетову, человѣку умному и не безъизвѣстному въ литературѣ, вотъ она:

Зефиръ ему перо изъ крылъ своихъ давалъ,
Амуръ водилъ рукой: онъ *Душеньку* писалъ.

Вторая написана близкимъ родственникомъ автора «Душеньки», Иваномъ Богдановичемъ:

Не нужно надписями могилу ту пестрить,
Гдѣ *Душенька* одна все можетъ замѣнить.

Третья принадлежитъ анониму и написана по французски:

Quoique bien tu sois l'auteur,
De ce poëme enchanteur,
Tu seras un téméraire,
Si tu mets au bas ton nom,
Bogdanoviz! pour bien faire
Il faut signer Apollon.

Кстати: въ предисловіи ко второму изданію сочиненій Богдановича, издатель говоритъ, что перваго изданія (1809 — 1810) не успѣло разойтись и 200 экземпляровъ, какъ въ Москву вступилъ непріятель; сочиненія Богдановича, разумѣется, подверглись общей участи всѣхъ книгъ въ это смутное время, и потому въ послѣдствіи уцѣлѣвшіе экземпляры перваго изданія сочиненій Богдановича, вмѣсто двѣнадцати рублей, продавались въ книжныхъ лавкахъ по шестидесяти рублей!... Восторженное удивленіе къ Богдановичу продолжалось долго. Самъ Пушкинъ съ любовію и увлеченіемъ не разъ дѣлалъ къ нему обращенія въ стихахъ своихъ. А между тѣмъ, для насъ теперь поэма эта лишена всякаго признака поэтической прелести. Стихи ея, необыкновенно гладкіе и легкіе для своего времени, теперь и тяжелы, и неблагозвучны; наивность разсказа и нѣжность чувствъ приторны, а содержаніе ребячески-ничтожно. И ни въ содержаніи, ни въ формѣ «Душеньки» Богдановича нѣтъ и тѣни поэтическаго міога и пластической красоты эллинской. Чтò-жь было причиною восторга современниковъ?—не чтò другое, какъ необычайная для того времени легкость стиха, состоявшаго изъ не однообразнаго количества стопъ, отсутствіе тяжелаго и напыщенно-восторженнаго тона, начинавшаго надоѣдать, и при этомъ соблазнительная вольность содержанія картинъ, законно допущенная шутливымъ родомъ стихотворенія и льстившая фантазіи и чувству читателей.

Капнистъ писалъ оды, между которыми инныя отличались элегическимъ тономъ. Стихъ его отличался необыкновенною легкостью и гладкостью для своего времени. Въ элегическихъ одахъ его слышится душа и сердце. Но этимъ и оканчиваются всѣ достоинства его поэзіи. Онъ часто злоупотреблялъ своею грустью и слезами, ибо грустилъ и плакалъ въ одной и той же одѣ на нѣсколькихъ страницахъ. Капнистъ знаменитъ еще, какъ авторъ комедіи «Ябеда». Это произведеніе незначительно въ поэтическомъ отношеніи, но

принадлежитъ къ исторически важнымъ явленіямъ русской литературы, какъ смѣлое и рѣшительное нападеніе сатиры на кривотворство, ябеду и лихоимство, такъ страшно терзавшія общество прежняго времени.

Теперь мы приблизились къ одной изъ интереснѣйшихъ эпохъ русской литературы. Посѣянное и насажденное Екатериною II начало возрастать и приносить плоды. По мѣрѣ того, какъ цивилизація и просвѣщеніе стали утверждаться на Руси, начала распространяться и литературная образованность. Вслѣдствіе этого, появленіе преобразовательныхъ талантовъ, имѣвшихъ вліяніе на ходъ и направленіе литературы, стало чаще и обыкновеннѣе, чѣмъ прежде, а новые элементы стали скорѣе входить въ литературу. Въ то время, какъ Державинъ былъ уже въ апогеѣ своей поэтической славы, оставаясь на одномъ и томъ же мѣстѣ, не двигаясь ни назадъ, ни впередъ; въ то время, какъ были еще живы Херасковъ, Петровъ, Костровъ, Богдановичъ, Княжнинъ и Фонъ-Визинъ; въ то время, когда еще Крыловъ былъ юношею по 21-му году, Жуковскому было только шесть лѣтъ отъ роду, Батюшкову только два года, а Пушкина еще не было на свѣтѣ, — въ то время одинъ молодой человѣкъ 24 лѣтъ отправился за границу. Это было въ 1789 году, а молодой человѣкъ этотъ былъ — Карамзинъ. По возвращеніи изъ за границы, онъ издавалъ въ 1792 и 1793 годахъ «Московский Журналъ», въ которомъ помѣщали свои сочиненія Державинъ и Херасковъ. Въ 1794 году, онъ издалъ въ двухъ частяхъ альманахъ «Агладъ» и альманахъ «Мои Бездѣлки» (въ двухъ частяхъ); въ 1797 — 1799 годахъ онъ напечаталъ три тома «Аениды», а въ 1802 и 1803 годахъ издавалъ основанный имъ журналъ «Вѣстникъ Европы», который въ 1808 году издавалъ — Жуковский. Въ 1804 г., въ первый разъ была представлена въ Петербургѣ трагедія Озерова — «Эдипъ въ Аѣинахъ»; а въ 1805, 1807 и 1809 годахъ были въ первый разъ представлены его трагедіи —



«Фингалъ», «Димитрій Донской» и «Поликсена». Съ 1793 по 1807 годъ начали появляться комедіи и другіе драматическіе опыты Крылова, а около 1810 года появились его басни *). Съ 1815 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковского и Батюшкова.

Карамзинъ имѣлъ огромное вліяніе на русскую литературу. Онъ преобразовалъ русскій языкъ, совлекиши его съ ходуль латинской конструціи и тяжелой славянщины и приблизивъ къ живой, естественной, разговорной русской рѣчи. Своимъ журналомъ, своими статьями о разныхъ предметахъ и повѣстями онъ распространялъ въ русскомъ обществѣ познанія, образованность, вкусъ и охоту къ чтенію. При немъ и вслѣдствіе его вліянія, тяжелый педантизмъ и школярство смѣнились сантиментальностью и свѣтскою легкостью, въ которыхъ много было страннаго, но которыя были важнымъ шагомъ впередъ для литературы и общества. Повѣсти его ложны въ поэтическомъ отношеніи, но важны по тому обстоятельству, что наклонили вкусъ публики къ роману, какъ изображенію чувствъ, страстей и событій частной и внутренней жизни людей. Карамзинъ писалъ и стихи. Въ нихъ нѣтъ поэзіи, и они были просто мыслями и чувствованіями умнаго человѣка, выраженными въ стихотворной формѣ; но они простотою своего содержанія, естественностью и правильностью языка, легкостью (по тому времени) версификаціи, новыми и болѣе свободными формами расположенія, были тоже шагомъ впередъ для русской поэзіи.

Но для нея гораздо болѣе сдѣлалъ другъ и сподвижникъ Карамзина — Дмитріевъ, который былъ старше его только пятью годами. Дмитріевъ не былъ поэтомъ въ смыслѣ лирика; но его басни и сказки были превосходными и истинно-

*) Въ каталогъ Смирдина не означено перваго изданія басенъ Крылова, а второе вышло въ 1815—1816 годахъ.



поэтическими произведеніями для того времени. Пѣсни Дмитріева нѣжны до приторности,—но таковъ былъ тогда всеобщій вкусъ. Оды Дмитріева сильно отзываются риторикою; но, несмотря на то, онѣ были большимъ успѣхомъ со стороны русской поэзіи. Грозозвучность и пареніе, составлявшія тогда необходимое условіе оды, въ нихъ довольно умѣренны, а выраженіе просто, не говоря уже о правильности языка и тщательной отдѣлкѣ стиха. Формы одъ Дмитріева оригинальны, какъ, напримѣръ, въ «Ермакѣ», гдѣ поэтъ рѣшился вывести двухъ сибирскихъ шамановъ, изъ которыхъ старшій рассказываетъ молодому, при шумѣ волнъ Иртыша, о гибели своей отчизны. Стихи этой пьесы для нашего времени и грубы, и шероховаты, и непоэтичны, но для своего времени они были превосходны, и отъ нихъ вѣяло духомъ новизны. Что же касается до манеры и тона пьесы, — это было рѣшительное нововведеніе, и Дмитріевъ потому только не былъ прозванъ романтикомъ, что тогда не существовало еще этого слова. Вообще въ стихотвореніяхъ Дмитріева, по ихъ формѣ и направленію, русская поэзія сдѣлала значительный шагъ къ сближенію съ простотою и естественностью, словомъ—съ жизнью и дѣйствительностью: ибо въ нѣжно вздыхательной сантиментальности все же больше жизни и природы, чѣмъ въ книжномъ педантизмѣ. Рѣчи, которыя поэтъ влагаетъ въ уста шамановъ, исполнены декламаціею и стараются блистать высокимъ слогомъ—это правда; но мысль въ жалобахъ и разказахъ шамана на берегу Иртыша выказать подвигъ Ермака—это уже не риторическая, а поэтическая мысль. Тутъ еще нѣтъ поэзіи, но есть уже стремленіе къ ней, и видно желаніе проложить для поэзіи новые пути.

Въ это время въ русской литературѣ замѣтно уже пробужденіе духа критицизма. Нѣкоторые старые авторитеты начали уже покачиваться. Въ 1802 году Карамзинъ написалъ статью «Пантеонъ Россійскихъ Авторовъ». Въ ней ни слова

не сказано о живыхъ писателяхъ—о Державинѣ и Херасковѣ, ибо это считалось тогда неприличнымъ; также ни слова не сказано о Петровѣ, хотя уже со дня смерти его прошло болѣе трехъ лѣтъ; можно догадываться, что Карамзинъ не хотѣлъ возстановлять противъ себя почитателей этого поэта, къ которымъ принадлежали всѣ грамотные люди, и въ то же время не хотѣлъ хвалить его противъ своего убѣжденія. Эта литературная уклончивость была въ характерѣ Карамзина. Въ «Пантеонѣ» было въ первый еще разъ высказано справедливое сужденіе о Тредьяковскомъ. Вотъ что говорить о немъ Карамзинъ:

„Еслибы охота и прилежность могли замѣнить дарованіе, кого бы не превзошелъ Тредьяковскій въ стихотворствѣ и краснорѣчій? Но упрямый Аполлонъ вѣчно скрывается за облакомъ для самозванцевъ-поэтовъ и сыплетъ лучи свои единственно на тѣхъ, которые родились съ его печатью. *Не только дарованіе, но и самый вкусъ не приобрѣтается; и самый вкусъ есть дарованіе. Ученіе образуетъ, но не производитъ автора.* Тредьяковскій учился во Франціи у славнаго Роллена; зналъ древніе и новые языки; читалъ всѣхъ лучшихъ авторовъ и написалъ множество томовъ въ доказательство, что онъ... не имѣлъ способности писать“.

Сужденіе Карамзина о Сумароковѣ мягче и уклончивѣе, нежели о Тредьяковскомъ; но тѣмъ не менѣе оно было страшнымъ приговоромъ колоссальной славѣ этого пигмея.

„Сумароковъ еще сильнѣе Ломоносова дѣйствовалъ на публику, избравъ для себя сѣеру обширнѣйшую. Подобно Вольтеру, онъ хотѣлъ блистать во многихъ родахъ, - и современники называли его нашимъ Расиномъ, Мольеромъ, Лафонтеномъ, Буало. *Потомство не такъ думаетъ;* но, зная трудность первыхъ опытовъ и невозможность достигнуть вдругъ совершенства, оно съ удовольствіемъ находить многія красоты въ твореніяхъ Сумарокова и не *хочетъ быть строгимъ критикомъ его недостатковъ.* Уже *вѣжамъ не курится передъ кумиромъ;* но не тронемъ мраморнаго подножія; оставимъ въ цѣлости и надпись: *Великій Сумароковъ!*... Соорудимъ новыя статуи, если надобно; не будемъ разрушать тѣхъ, которыя воздвигнуты благородною ревностію отцовъ нашихъ!“

Замѣчательно, что Карамзинъ ставилъ въ недостатокъ трагедіямъ Сумарокова то, что «онъ старался болѣе описывать чувства, нежели представлять характеры въ ихъ эстетической и нравственной истинѣ», и что, «называя героевъ своихъ именами древнихъ русскихъ князей, не думалъ соображать свойства, дѣла и языкъ ихъ съ характеромъ времени». Нельзя не увидѣть въ такихъ замѣчаніяхъ сужденія необыкновенно умнаго человѣка и великаго шага впередъ со стороны литературы и общества. Правда, Карамзинъ находитъ многіе стихи въ трагедіяхъ Сумарокова «нѣжными и милыми», а иные даже «сильными и разительными»; но не забудемъ, что всякое сознаніе развивается постепенно, а не родится вдругъ, что Карамзинъ и такъ уже видѣлъ неизмѣримо дальше литераторовъ старой школы, и, сверхъ того, онъ, можетъ-быть, боялся, что ему совсѣмъ не повѣрятъ, если онъ скажетъ истину вполнѣ, или не смягчитъ ея незначительными въ сущности уступками.

Остроумная и ѣдкая сатира Дмитріева «Чужой Толкъ» также служить свидѣтельствомъ возникшаго духа классицизма. Она устремлена противъ громогласнаго «одопѣнія», которое начинало уже досаждало слуху. Поэтъ заставляетъ, въ своей сатирѣ, говорить одного старика съ такою «любезною простотою дѣдовскихъ временъ»:

Что за диковинка? гдѣтъ двадцать ужъ прошло,
Какъ мы, напрягши умъ, наморщивши чело,
Со всеусердіемъ все оды пишемъ, пишемъ,
А ни себѣ, ни имъ похвалъ нигдѣ не слышимъ!
Ужели выдалъ Фебъ свой именной указъ,
Чтобъ не дерзалъ никто надѣяться изъ насъ
Быть Флакку, Рамлеру и ихъ собратья равнымъ,
И столько-жъ, какъ они, во пѣснопѣнны славнымъ?
Какъ думаешь!... Вчера случилось мнѣ слычать
И ихъ и вашу пѣснь: въ ихъ... нечего читать!
Листочекъ, много три, а любо какъ читаешь—
Не знаю, какъ-то самъ какъ будто бы летаешь!
Судя по краткости, увѣренъ, что они

Писали ихъ рѣзвась, а не четыре дни;
То какъ бы намъ не быть еще и ихъ счастливей,
Когда мы во сто разъ прилежней, терпеливей?
Вѣдь нашъ начнетъ писать, то всѣ забавы прочь!
Надъ парюю стиховъ просиживаетъ ночь,
Потвѣтъ, думаетъ, чертить и жечь бумагу;
А иногда беретъ такую онъ отвагу.
Что цѣлый годъ сидитъ надъ одою одной!
И подлинно, ужъ весь приложить разумъ свой!
Ужъ прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,
Но очень полная—иная въ двѣсти строфъ!
Судите-жь, сколько тутъ хорошихъ есть стишковъ!
Къ тому-жь, и въ правилахъ: сперва прочтешь вступленье,
Тутъ предложеніе, а тамъ и заключенье—
Точь-вточь, какъ говорятъ учены по церквамъ!
Со всѣмъ тѣмъ нѣтъ читать охоты—вижу самъ.
Возьму ли, напримѣръ, я оды на побѣды,
Какъ покорили Крымъ, какъ въ моръ гибли Шведы!
Всѣ тутъ подробности сраженья нахожу,
Гдѣ было, какъ, когда, короче я скажу;
Въ стихахъ реляція! прекрасно!... а зѣваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю.
На праздникъ, иль на что подобное тому:
Тутъ найдешь то, чего-бъ нехитрому уму
Не выдумать и въѣкъ: *зари багряны персты,
И райскій кринъ, и Фебъ, и небеса отаерсты!*
Такъ громко, высоко!... а нѣтъ, не веселитъ
И сердца, такъ сказать, ни чуть не шевелитъ.

Одинъ изъ собесѣдниковъ беретъ объяснить старику причину такого грустнаго явленья. Эта причина, увы! и теперь еще не совсѣмъ состарѣлась, и теперь еще не совсѣмъ анахронизмъ! Слушайте:

Я самъ языкъ боговъ, поэзію люблю
И нашей, какъ и вы, утѣшенъ также мало;
Однако-жь здѣсь въ Москвѣ толкался я не мало
Межъ нашихъ Пиндаровъ, и всѣхъ ихъ замѣчалъ:
Большая часть изъ нихъ—лейбъ-гвардіи капралъ,
Ассессоръ, офицеръ, какой-нибудь подъячій,

Иль изъ кунсть-камеры антикъ въ пыли ходячій,
Уродовъ стражъ—народъ все нужный, должностной...

А вотъ и объясненіе причины дѣятельности нашихъ поэтовъ:

Къ тому-жъ у древнихъ дѣлъ была, у насъ другая:
Горацій, напримѣръ, восторгомъ грудь питая,
Чего желалъ? О, онъ—онъ бралъ не свысока:
Въ вѣкахъ безсмертія, а въ Римѣ лишь вѣнка
Изъ лавровъ, иль изъ миртъ, чтобъ Делія сказала:
„Онъ славенъ,—черезъ него и я бессмертна стала!“
А нашихъ многихъ дѣлъ: иль дружество съ князькомъ,
Который отъ роду не читывалъ другаго,
Кромѣ придворнаго подчасъ мѣсяцеслова,
Иль похвала своихъ пріятелей, а имъ
Печатный каждый листъ быть кажется святымъ.

Приписывая неуспѣхи нашихъ поэтовъ убѣжденію, что если
у кого есть природный даръ, тотъ имѣетъ право ничему не
учиться и быть невѣждою,—злой аристархъ презабавно опи-
сываетъ, какъ писались встарину громкія оды:

И вотъ какъ писывалъ поэтъ природный оду:
Лишь пушекъ громъ подастъ пріятну вѣсть народу,
Что Римникскій Альяндъ Поляковъ разгромилъ,
Иль Ферзенъ ихъ вождя, Костюшку, полонилъ—
Онъ тотчасъ за перо и разомъ вывелъ: *ода!*
Потомъ въ одинъ присѣсть: *такого дня и года!*
„Тутъ какъ?... *Пою!*... Иль нѣтъ, уже это старина.
„Не лучше-ль *даждь мнѣ, Фебъ?*... Иль такъ: *не ты одна*
„*Подпала подъ ятлу, о чалмоносна Порта?*
„Но что же мнѣ прибрать къ ней въ рѣму, кромѣ чорта?
„Нѣтъ, нѣтъ, не хорошо: я лучше поброжу,
„И воздухомъ себя открытымъ освѣжу“.
Пошолъ, и на пути такъ въ мысляхъ разсуждаетъ:
„Начало никогда пѣвцовъ не устрашаетъ;
„Что хочешь, то мели! Вотъ штука, какъ хвалить
„Героя-то придетъ! Не знаю съ кѣмъ сравнить?
„Съ Румянцевымъ его, иль съ Грейгомъ, иль съ Орловымъ?
„Какъ жаль, что древнихъ я не читывалъ! а съ новымъ—
„Не ловко что-то все!—Да просто напишу:
„*Ликуй, герой! ликуй! герой ты! возглашашу.*

„Изрядно! тутъ же что? Тутъ надобенъ восторгъ.
„Скажу: *кто заѣху мнѣ отчюности расторгъ?*
„*Я вижу молній блескъ! Я слышу съ горня свѣта*
И то, и то... А тамъ? извѣстно, многи мѣта!
„Брависсимо! и планъ, и мысли, все ужъ есть!
„Да здравствуетъ поэтъ! Осталось присѣсть!—
„Да только написать, да и печатать смѣло!“
Бвѣжитъ на свой чердакъ, чертить, и въ шляпѣ дѣло!
И оду ужъ его тисненью продають,
И въ одѣ ужъ его намъ ваке продають.
Вотъ такъ пиндарилъ онъ, и всѣ ему подобны,
Едва ли вывѣски надписывать способны!

Право, не дурно было бы, еслибъ какой-нибудь даровитый поэтъ нашего времени написалъ современный «Чужой Толкъ» и объяснилъ, какъ пишутся теперь романы, повѣсти и «патріотическія драмы»...

Дмитріевъ заставляетъ, въ своей сатирѣ, говорить плохаго стихотворца—

Пою!... иль нѣтъ, ужъ это старина!

А между тѣмъ, это «пою», вмѣстѣ съ «лирою» такъ часто попадаетъ и въ стихахъ самого Дмитріева и въ стихахъ Карамзина. Это перешло отъ писателей предшествовавшихъ двухъ школъ—Ломоносовской и Державинской, которыя подъ «литературою» разумѣли и «пѣснопѣніе»: кто бы, что бы ни писалъ—въ стихахъ, или въ прозѣ, — онъ пѣлъ, а не писалъ. Державинъ, въ стихотвореніи своемъ «Прогулка въ Царскомъ Селѣ» дѣлаетъ такое обращеніе къ Карамзину:

И ты, сиди при розѣ,
Такъ, дней весеннихъ сынъ,
Пой, Карамзинъ!—и въ прозѣ
Гласъ слышенъ соловьиный.

Въ стихотвореніяхъ Дмитріева и Карамзина, русская поэзія сдѣлала значительный шагъ впередъ и со стороны направленія, и со стороны формы; но изъ-подъ риторическаго вліянія далеко еще не освободилась. Фебы, лиры, гласы, усѣ-

ченія, піитическія вольности и болѣе или менѣе прозаическая фактура только ослабились въ ней, но не исчезли; они удержались въ ней по преданію, которое дошло даже и до Пушкина, какъ увидимъ это послѣ. Но важно то, что если поэзія и удержала риторическій характеръ, за то какъ она, такъ и вообще беллетристика русская пріобрѣли новый характеръ вслѣдствіе направленія, даннаго имъ Карамзинымъ и Дмитріевымъ: мы говоримъ о сентиментальности. Не Карамзинъ съ Дмитріевымъ изобрѣли ее; они только привили ее къ русской литературѣ. Она преобладала въ литературѣ и въ нравахъ всей Европы XVII и XVIII вѣка. На счетъ сентиментальности много можно сказать смѣшнаго и забавнаго; но мы хотимъ судить о ней, а не потѣшаться ею. Она — важное явленіе въ отношеніи къ историческому развитію человѣчества, котораго процессъ всегда совершается переходами изъ крайности въ крайность. Феодальная дикость и грубость нравовъ Европы среднихъ вѣковъ совершенно исчезли только при Лудовикѣ XIV — представителѣ новаго, противоположнаго эпохѣ рыцарства, времени; но, исчезнувъ, эта феодальная дикость, естественно, уступила мѣсто изнѣженности чувствъ. Мушины и женщины исчезли: ихъ замѣнили пастухи и пастушки; поэты вздыхали, охали и ахали; красавицы стонали, какъ горлинки; madame Дезульеръ воспѣвала барашковъ и голубковъ, наивно завидуя ихъ праву любить открыто, не стыдясь добрыхъ людей. Это вздыхательное и чувствительное направленіе существовало въ Европѣ до тѣхъ самыхъ поръ, какъ страшныя бури и грозныя волненія политическія, разразившіяся надъ нею въ концѣ прошлаго вѣка, не измѣнили ея характера и нравовъ. Россія не знала возродившейся Европы до славной для себя эпохи 1814 года, и результаты этого новаго знакомства обнаружили въ ея литературѣ только со времени появленія Пушкина и начала войны романтизма съ классицизмомъ. До того же времени, наши поэты и литераторы продолжали

поклоняться старымъ авторитетамъ: Мерзляковъ критиковалъ съ голоса Лагарпа и переводилъ идилліи madame Дезульберъ; Озеровъ подражалъ Расину; въ Крыловѣ видѣли подражателя Лафонтена; Батюшковъ низкопоклонничалъ передъ какимъ-нибудь Парни, котораго далеко превосходилъ талантомъ; Жуковскій вполнину шелъ особымъ путемъ, вполнину покорялся вліянію Карамзинской школы. Итакъ, русская литература познакомилась и сошлась съ европейскою сентиментальностію почти въ ту минуту, какъ Европа навсегда разсталась съ своею сентиментальностію. Эта встрѣча была необходима и полезна для русской литературы и нравовъ ея общества. Въ Европѣ сентиментальность смѣнила феодальную грубость нравовъ; у насъ она должна была смѣнить остатки грубыхъ нравовъ до-Петровской эпохи. Это понятно тамъ, гдѣ не только просвѣщеніе и литература, но и общительность и любовь были нововведеніемъ. Сентиментальность, какъ раздражительность грубыхъ нервовъ, разслабленныхъ и утонченныхъ образованіемъ, выразила собою моментъ ощущенія (sensation) въ русской литературѣ, которая до того времени носила на себѣ характеръ книжности. Смѣшны теперь намъ эти романическія имена: Нина, Каллиста, Леонія, Эмилія, Лилетта, Леонъ, Милонъ, Модестъ, Эрастъ; но въ свое время они имѣли глубокой смыслъ: въ нихъ выразилась человѣческая склонность къ романической мечтательности, къ жизни сердцемъ. Въ лицѣ Карамзина русское общество обрадовалось, въ первый разъ узнавъ, что у него, этого общества, есть душа и сердце, способныя къ нѣжнымъ движеніямъ. Это называлось тогда «наслаждаться чувствительностію». Кто могъ плакать въ умиленіи отъ пѣсни Дмитріева «Стонетъ сизый голубочекъ», тотъ, конечно, понималъ поэзію лучше того, кто видѣлъ ее только въ торжественныхъ одахъ на разныя иллюминаціи. Поэзія предшествовавшей школы пугала женщинъ, а стихи Дмитріева, Карамзина и Нелединскаго-Мелецкаго женщины знали

наизусть, ими воспитывались цѣлыя поколѣнія. Карамзина читали всѣ грамотные люди, претендовавшіе на образованность; многихъ изъ нихъ только Карамзинъ и могъ заставить приняться за чтеніе книгъ и полюбить это занятіе, какъ пріятное и полезное.

Въ одинъ годъ съ Карамзинымъ (1765) родился Макаровъ, человѣкъ, которому суждено было играть въ русской литературѣ роль созвѣздія Карамзина хотя они и не были знакомы другъ съ другомъ. Въ 1803 году, Макаровъ издавалъ журналъ «Московскій Меркурій», статьи котораго отличались такимъ же направленіемъ и такимъ же языкомъ, какъ и статьи Карамзина. Макаровъ былъ одаренъ вкусомъ, талантами, путешествовалъ по Европѣ и вообще принадлежалъ къ умнѣйшимъ и образованнѣйшимъ людямъ своего времени. Сравните его разборъ сочиненій Дмитріева и разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича: оба эти разбора писаны какъ будто однимъ и тѣмъ же человѣкомъ. Макаровъ защищалъ Карамзина противъ извѣстнаго въ то время фанатическаго пуризма русскаго языка. Выступилъ Макаровъ на поприще литературы въ 1795 году съ прекраснымъ нереводомъ, впрочемъ, посредственнаго романа «Графъ де Сентъ-Меранъ, или Новыя Заблужденія Ума и Сердца». Онъ же перевелъ двѣ первыя части «Атеноровыхъ Путешествій по Греціи и Азіи» Лантье, изданныя имъ въ 1802 г. Бъ сожалѣнію, этотъ примѣчательный человѣкъ не долго жилъ: онъ умеръ въ 1804 году.

Капнистъ, по вліянію на него Карамзина, долженъ быть причтенъ къ числу писателей Карамзинской школы, въ которой замѣчательны также: Подшиваловъ и Бенитскій, хорошіе прозаики; Мелединскій-Мелецкій, прославившійся нѣжными пѣснями въ которыхъ много непритворной чувствительности; Долгорукій, издававшій свои стихотворенія подъ сантиментальнымъ титуломъ «Бытіе Моего Сердца», поэтъ чувствительный и сатирическій, нерѣдко отличавшійся не-

поддѣльнымъ русскимъ юморомъ; Милоновъ, замѣчательный сатирикъ; Воейковъ, стихотворецъ, переводчикъ эклогъ Виргилія, описательныхъ поэмъ Делиля, обезсмертившій себя однимъ извѣстнымъ въ рукописи стихотвореніемъ, потомъ журналистъ, прославившійся полемикою; Когошкинъ и Хмѣльницкій, переводчики и подражатели Мольера; Василій Пушкинъ, стихотворецъ, и Владиміръ Измайловъ, прозаикъ.

Озеровъ и Крыловъ являются, особенно послѣдній, самостоятельными дѣятелями въ Карамзинскомъ періодѣ нашей литературы, хотя и принадлежатъ къ школѣ преобразователя русскаго языка. Послѣ Сумарокова, на поприщѣ драматической литературы со славою подвизался Княжнинъ. У него не было самостоятельнаго таланта, но какъ онъ былъ человекъ умный, образованный, знавшій иностранные языки и хорошо владѣвшій русскимъ, — то и пользовался съ успѣхомъ богатою трапезою французскаго театра, лѣпя свои трагедіи и комедіи изъ отрывковъ французскихъ драматурговъ, которые переводилъ почти слово въ слово. Сочиненія этого трудолюбиваго писателя представляетъ собою значительный успѣхъ русской драматической поэзіи, со стороны вкуса и языка: онъ далеко оставилъ за собою предшественника своего Сумарокова. По еще дальше его самого оставилъ за собою Озеровъ. Это былъ талантъ положительный и появленіе его было эпохою въ русской литературѣ, которая имѣла въ немъ своего Расина. Неспособный рисовать страсти и характеры, онъ увлекалъ живымъ изображеніемъ чувствъ. Трагедія его сколокъ съ французской и потому не удивительно, что теперѣ онъ забытъ театромъ совершенно, и его не играютъ и не читаютъ; но въ исторіи русской литературы, онъ никогда не будетъ забытъ. Языкъ русскій въ трагедіяхъ Озерова, сдѣлалъ большой шагъ впередъ. Въ одно время съ Озеровымъ явился Крюковскій, котораго трагедія «Пожарскій» имѣла необыкновенный успѣхъ, но не по литературному достоинству, а по похвальнымъ чувствамъ

патріотизма, которыя не могли не пробудить сочувствія въ эпоху борьбы Россіи съ Наполеономъ.

Крыловъ писалъ комедіи весьма замѣчательныя по остроумію; но слава его, какъ баснописца, не могла не затмить его славы, какъ комика. Крыловъ далеко оставилъ за собою и Хемницера, и Дмитріева и достигъ въ баснѣ возможнаго совершенства. Басни Крылова—сокровищница русскаго практическаго смысла, русскаго остроумія и юмора, русскаго разговорнаго языка; онѣ отличаются и простодушіемъ, и народностью. Крыловъ вполне народный писатель, и теперь уже воспитатель не менѣе тридцати поколѣній. Басня, какъ родъ поэзіи, довольно ложный родъ: ея явленіе возможно только у народа, находящагося еще въ младенчествѣ, и потому ея родина—Востокъ. У Грековъ она въ-время явилась съ Эзопомъ. Французы, хотѣвшіе въ литературѣ во всемъ подражать древнимъ, рѣшили, что у нихъ должна быть басня, потому что она была у Грековъ; а мы, Русскіе, во всемъ подражавшіе Французамъ, рѣшили, что и у насъ должна быть басня, потому что у Французовъ есть басня. Впрочемъ, у насъ басня явилась съ Хемницеромъ болѣе кстати и болѣе въ-время, чѣмъ у Французовъ явилась она съ Лафонтеномъ. Этотъ ложный родъ удивительно привился къ французской литературѣ и получилъ тамъ особенную народную форму; баснѣ посчастливилось и у насъ: во Франціи она имѣла Лафонтена, у насъ—Крылова, а за это ей можно простить ея ложность какъ рода поэзіи. Знатоки говорятъ, что архитектура во вкусѣ рококо — ложная архитектура; положимъ такъ; но Растрелли тѣмъ не менѣе великій художникъ. Чѣмъ бы ни была басня, но Лафонтенъ и Крыловъ по справедливости составляютъ славу и гордость своихъ отечественныхъ литературъ.

Мы выше сказали, что съ 1805 года начали появляться въ журналахъ стихотворенія Жуковскаго и Батюшкова. Каждый изъ этихъ поэтовъ составлялъ собою школу въ русской

литературѣ и вносилъ въ нее новыя элементы жизни; но явленіе обоихъ мало было чувствуемо въ продолженіи Карамзинскаго періода; настоящая пора ихъ дѣятельности началась послѣ знаменитаго 1814 года: тогда и вліяніе ихъ стало ощутительнѣе.

II.

Карамзинъ и его заслуги;—Карамзинскій періодъ русской литературы: Дмитріевъ, Крыловъ, Озеровъ, Жуковскій и Ватюшковъ.—Значеніе романтизма и его историческое развитіе.

Карамзинымъ началась новая эпоха русской литературы. Преобразование языка отнюдь не составляетъ исключительнаго характера этой эпохи, какъ думаютъ многіе. Какъ бы ни была велика реформа, произведенная кѣмъ нибудь, или сама собою происшедшая въ языкѣ, — она никогда не можетъ быть фактомъ особенной важности. Языкъ, взятый самъ по себѣ, есть только посредствующій матеріалъ, и его движеніе можетъ быть только формальное. Но всегда важно движеніе языка вслѣдствіе движенія мысли: и вотъ гдѣ важность реформы, произведенной Карамзинымъ, и вотъ почему Карамзину принадлежитъ честь основанія новой эпохи русской литературы. Карамзинъ ввелъ русскую литературу въ сферу новыхъ идей,—и преобразование языка было уже необходимымъ слѣдствіемъ этого дѣла. Загляните въ журналы въ романы, въ трагедіи и вообще стихотворенія эпохи, предшествовавшей Карамзину: вы увидите въ нихъ какую-то стоячесть мысли, книжность, педантизмъ и риторику, отсутствіе всякой живой связи съ жизнью. Карамзинъ первый на Руси замѣнилъ мертвый языкъ книги живымъ языкомъ общества. До Карамзина, у насъ на Руси, думали, что книги пишутся и печатаются для однихъ «ученыхъ», и что неученому почти такъ же не пристало брать въ руки

книгу, какъ профессору танцовать. Оттого, содержаніе книгъ, по тогдашнему мнѣнію, должно было быть какъ можно болѣе важнымъ и дѣльнымъ, т. е. какъ можно болѣе тяжелымъ и скучнымъ, сухимъ и мертвымъ. Болѣе всѣхъ подходилъ тогда къ идеалу великаго поэта — Херасковъ, потому что былъ тяжелъ и скученъ до невыносимости. Онъ воспѣлъ въ двухъ огромныхъ поэмахъ два важныя событія изъ русской исторіи, и воспѣлъ ихъ, не справляясь съ исторіею, не стараясь быть ей вѣрнымъ. Исторіи русской онъ даже и не зналъ фактически. Россія освободилась отъ татарскаго ига не какимъ-нибудь рѣшительнымъ ударомъ, который бы нанесенъ былъ Татарамъ соединенными силами всей Руси, мгновенно и мощно возставшей противъ общаго врага. Куликовская битва осталась безъ рѣшительныхъ послѣдствій: по крайней мѣрѣ, она не помѣшала Татарамъ выжечь Москву; въ царствованіе же Іоанна III не было никакой великой военной битвы съ Татарами, хотя и была битва, такъ сказать, дипломатическая. Татарское иго распалось само собою, вслѣдствіе внутренняго ослабленія царства Батяя. И потому, русская исторія никого не можетъ назвать освободителемъ земли русской отъ ига татарскаго. Іоаннъ Грозный, взятіемъ Казани и Астрахани, только добилъ остатки издыхающаго монгольскаго чудовища. Но Хераскову нуженъ былъ герой для его поэмы, потому что безъ героя не бываетъ поэмы. И онъ нашелъ его въ Іоаннѣ Грозномъ, простодушно смѣшавъ его съ Іоанномъ III, въ царствованіе котораго была торжественно признана независимость Руси отъ Татаръ. «Ученые» того времени были безъ ума отъ поэмы Хераскова; они знали ее чуть не наизусть, — а теперь всякій счелъ бы за подвигъ, еслибы ему удалось осилить чтеніемъ отъ начала до конца это тяжелое, стопудовое произведеніе. Не удовольствовавшись поэмою, Херасковъ не хотѣлъ лишить своихъ читателей и романа: онъ написалъ романъ «Кадмъ и Гармонія» и «Полидоръ, сынъ

Кадма и Гармоніи». Но, Боже мой, что-жь это былъ за романъ. Аллегорическое олицетвореніе гоңимой и подъ конецъ торжествующей добродѣтели, образы безъ лицъ, событія безъ пространства и времени! Но потому-то это и былъ романъ въ духѣ своего времени, романъ, который могли читать и «ученые», не унижая своего достоинства,—и потому же романы эти названы были «поэмами». Карамзинъ первый на Руси началъ писать повѣсти, которыя заинтересовали общество и казались пустыми и ничтожными для педантовъ,—повѣсти, въ которыхъ дѣйствовали люди, изображалась жизнь сердца и страстей посреди обыкновеннаго повседневнаго быта. Конечно, въ такихъ повѣстяхъ, какъ «Бѣдная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Островъ Борнгольмъ», «Рыцарь нашего Времени», «Чувствительный и Великодушный», и проч., никто не будетъ теперь искать творческаго воспроизведенія дѣйствительности, никто не будетъ читать ихъ какъ художественныя произведенія, ради эстетическаго наслажденія, никто не будетъ ими восхищаться; но, вмѣстѣ съ тѣмъ, никто изъ мыслящихъ людей не скажетъ, чтобъ въ повѣстяхъ Карамзина не было своего неотъемлемаго интереса и для нашего времени — интереса историческаго. Чуждыя творчества, они все-таки не чужды таланта, ума, одушевленія, чувства,—и въ нихъ, какъ въ зеркалѣ, вѣрно отражается жизнь сердца, какъ ее понимали, какъ она существовала для людей того времени. Что же касается до художественности, — требовать ея отъ повѣстей Карамзина было бы несправедливо и странно, сколько потому, что Карамзинъ не былъ поэтомъ и не обнаруживалъ особенныхъ притязаній на талантъ поэтическій, столько и потому, что въ его время даже въ Европѣ не существовало романа и повѣсти какъ художественнаго произведенія. XVIII вѣкъ создалъ себѣ свой романъ, въ которомъ выразилъ себя въ особенной, только одному ему свойственной формѣ: философскія повѣсти Вольтера и юмористическіе рассказы Свифта

и Стерна, — вотъ истинный романъ XVIII вѣка. «Новая Элоиза» Руссо выразила собою другую сторону этого вѣка отрицанія и сомнѣнія—сторону сердца, и потому она казалась больше пророчествомъ будущаго, чѣмъ выраженіемъ настоящаго, — и многіе изъ людей того времени (въ томъ числѣ Карамзинъ) видѣли въ «Новой Элоизѣ» только одну сантиментальность, которою одной восхищались. Въ остроумныхъ романахъ Француза Пиго-Лебрена и Нѣмца Крамера вѣсѣть преобладающій духъ XVIII вѣка. Но въ особенномъ ходу и въ особенномъ уваженіи у толпы были въ прошломъ вѣкѣ романы Радклеифъ, Дюкре - дю - Мениля, мадамъ Жанли, мадамъ Коттэнъ, и т. п. Надо признаться, что по таланту Карамзинъ не былъ ниже этихъ людей, и если не дальше, то и не ближе ихъ видѣлъ. Переводомъ повѣстей Мармонтеля и нѣкоторыхъ повѣстей Жанли, Карамзинъ оказалъ русскому обществу столь же важную услугу, какъ и своими собственными повѣстями. Это значило ни больше, ни меньше, какъ познакомить русское общество съ чувствами, образомъ мыслей, а слѣдовательно и съ образомъ выраженія образованнѣйшаго общества въ мірѣ. Новыя идеи, естественно, требовали и новаго языка. Карамзина обвиняли въ галлицизмахъ выраженій, не видя того, что, если это была вина съ его стороны, то прежде всего его должно было обвинять въ галлицизмахъ мыслей, — но въ этомъ былъ виноватъ не онъ, а та всемірно - историческая роль, которая назначена міродержавнымъ промысломъ французскому народу, и которая даетъ ему такое нравственное вліяніе на всѣ другіе народы цивилизованнаго міра. Скорѣе должно поставить въ великую заслугу Карамзину его галломанство: черезъ него ожила наша литература. Еслибы Карамзинъ былъ только преобразователемъ языка (не будучи прежде всего нововодителемъ идей), онъ ограничился бы только отрицаніемъ устарѣлыхъ словъ и выраженій, бѣльшею чистотою и отдѣлкою въ формѣ, но складъ рѣчи,

словомъ,—слогъ его остался бы Ломоносовскимъ, и онъ не былъ бы создателемъ современнаго новаго языка. Въ этомъ отношеніи языкъ Фонъ-Визина рѣзко отдѣляется отъ языка Ломоносовскаго и близко подходитъ къ языку Карамзинскому; но тѣмъ не менѣе Фонъ - Визинъ относится къ писателямъ Ломоносовскаго періода русской литературы и насколько не можетъ считаться преобразователемъ русскаго языка. Вотъ почему мы думаемъ, что тотъ не понимаетъ Карамзина и не умѣетъ достойно оцѣнить его подвига, кто думаетъ въ немъ видѣть только преобразователя и обновителя русскаго языка. Это значить унижать Карамзина, а не хвалить его. Карамзинъ создалъ на Руси образованный литературный языкъ, и создалъ потому, что Карамзинъ былъ первый на Руси образованный литераторъ, а первымъ образованнымъ литераторомъ сдѣлался онъ потому, что научился у Французовъ мыслить и чувствовать, какъ слѣдуетъ образованному человѣку. «Письма Русскаго Путешественника», въ которыхъ онъ такъ живо и увлекательно разсказалъ о своемъ знакомствѣ съ Европою, легко и пріятно познакомили съ этою Европою русское общество. Въ этомъ отношеніи «Письма Русскаго Путешественника» — произведеніе великое, несмотря на всю поверхностность и всю мелкость ихъ содержанія: ибо великое не всегда только то, что само по себѣ дѣйствительно велико; но иногда и то, что достигаетъ великой цѣли, какимъ бы то ни было путемъ и средствомъ. Можно сказать съ увѣренностію, что именно своей легкости и поверхностности обязаны «Письма Русскаго Путешественника» своимъ великимъ вліяніемъ на современную имъ публику: эта публика не была еще готова для интересовъ болѣе важныхъ и болѣе глубокихъ. Въ своемъ «Московскомъ Журналѣ», а потомъ въ «Вѣстникѣ Европы», Карамзинъ первый далъ русской публикѣ истинно журнальное чтеніе, гдѣ все соответствовало одно другому: выборъ піесъ— ихъ слогу, оригинальныя піесы—переводнымъ,

современность и разнообразіе интересовъ — умѣнію передать ихъ занимательно и живо, и гдѣ были не только образцы легкаго свѣтскаго чтенія, но и образцы литературной критики, и образцы умѣнія слѣдить за современными политическими событіями и передавать ихъ увлекательно. Вездѣ и во всемъ Карамзинъ является не только преобразователемъ, но и начинателемъ, творцомъ. Сама «Исторія Государства Россійскаго» — этотъ важнѣйшій трудъ его, есть ни что иное, какъ начало, первый основной камень зданія историческаго изученія, историческихъ трудовъ въ Россіи. «Исторія Государства Россійскаго» не есть исторія Россіи: это скорѣе исторія московскаго государства, ошибочно принятаго историкомъ за какой-то высшій идеаль всякаго государства. Слогъ ея не историческій: это скорѣе слогъ поэмы, писанной мѣрною прозою, поэмы, типъ которой принадлежитъ XVIII вѣку. Тѣмъ не менѣе, безъ Карамзина, Русскіе не знали бы исторіи своего отечества, ибо не имѣли бы возможности смотрѣть на нее критически. Какъ первый опытъ, написанный даровитымъ литераторомъ, «Исторія Государства Россійскаго» — твореніе великое, котораго достоинство и важность никогда не уничтожатся: вытѣсненная историческою и философскою критикою изъ рода твореній, удовлетворяющихъ потребностямъ современнаго общества, «Исторія» Карамзина навсегда останется великимъ памятникомъ въ исторіи русской литературы вообще и въ исторіи литературы русской исторіи.

Есть два рода дѣятелей на всякомъ поприщѣ: одни своими дѣлами творятъ новую эпоху, дѣйствуютъ на будущее; другіе дѣйствуютъ въ настоящемъ и для настоящаго. Первые бывають не признаны, не поняты, не оцѣнены и часто даже гонимы и ненавидимы своими современниками; ихъ апопееоза создается въ будущемъ, когда уже самыя кости ихъ истлѣють въ могилѣ; вторые — всегда любимцы и властелины своего времени, но, уваженные, превознесенные и

счастливые при жизни своей, они получают уже совѣтъ не то значеніе послѣ ихъ смерти, а иногда переживаютъ свою славу. Безъ сомнѣнія, первые выше вторыхъ, ибо это натуры великія и геніяльныя, тогда какъ вторые — только сильно и ярко даровитыя натуры. Первые, если они дѣйствуютъ на литературномъ поприщѣ, завѣщываютъ потомству творенія вѣчныя, неумирающія; вторые — пишутъ для своихъ современниковъ, и ихъ произведенія для будущихъ поколѣній получаютъ уже не безусловное, но только историческое значеніе, какъ памятники извѣстной эпохи. Къ числу дѣятелей втораго разряда принадлежитъ Карамзинъ... Это мнѣніе выговаривается не въ первый разъ, и не нами первыми оно выговорено; но оно возбуждало противъ себя живое противодѣйствіе; нельзя даже сказать, чтобы и теперь еще не было людей, которымъ оно крѣпко не по душѣ. Этихъ людей можно раздѣлить на два разряда. Къ первому принадлежатъ еще оставшіеся доселѣ въ живыхъ современники Карамзина, видѣвшіе или разсвѣтъ его славы, или помнящіе апогею его славы. Застигнутые потокомъ новаго, они, естественно, остались вѣрны тѣмъ первымъ, живымъ впечатлѣніямъ своего лучшаго возраста жизни, которыя обыкновенно рѣшаютъ участь человѣка, разъ навсегда заключая его въ извѣстную нравственную форму. Эти люди, живущіе памятью сердца, не могутъ выйти изъ убѣжденія, что Карамзинъ былъ великій геній, и что его творенія вѣчны и равно свѣжи для настоящаго и будущаго, какъ они были для прошедшаго. Это заблужденіе, — но такое заблужденіе, которому нельзя отказать не только въ уваженіи, но и въ участіи, ибо оно выходитъ изъ памяти сердца, всегда святой и почтенной. Вполнѣ цѣня и уважая великій подвигъ Карамзина, мы тѣмъ не менѣе хотимъ видѣть дѣло въ его настоящемъ свѣтѣ и его истинныхъ границахъ, не умаляя и не преувеличивая; и потому не можемъ читать этихъ стиховъ съ восторгомъ людей, проникнутыхъ

сердечнымъ вѣрованіемъ въ непреложную истинность ихъ мысли:

Лежить вѣнецъ на мраморѣ могилы;
Ей молится Россія вѣрный сынъ;
И будетъ въ немъ для дѣлъ прекрасныхъ силы
Святое имя: Карамзинъ *).

Но въ то же время мы далеки и отъ всякаго непріязненнаго чувства, которое производится противоположностію убѣжденій и которое, естественно, могло-бъ быть вызвано въ насъ этими стихами: мы не только понимаемъ, но и уважаемъ источникъ этого восторга, не совсѣмъ согласнаго съ дѣйствительностью факта. Поэтъ выше говорить о «лучшемъ времени своей жизни»:

О! въ эти дни, какъ райское видѣнье,
Былъ съ нами онъ, теперь ужъ не земной,
Онъ для меня живое провидѣнье.
Онъ съ юности товарищъ твой.
О! какъ при немъ все сердце разгоралось!
Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ!
Въ младенческой душѣ его, казалось,
Небесный ангелъ обиталъ!

Эти стихи напоминаютъ намъ другіе, болѣе трогачіе насъ:

Сыны другаго поколѣнья,
Мы въ новомъ—прошлогодній цвѣтъ;
Живыхъ намъ чужды впечатлѣнья,
А нашимъ въ нихъ сочувствій нѣтъ.
Они, что любимъ, разлюбили,
Страстямъ ихъ насъ не волновать!
Ихъ не было тамъ, гдѣ мы были,
Гдѣ будутъ—намъ ужъ не бывать!
Нашъ міръ—имъ храмъ опустошенный,
Ихъ баснословье—наша быль,
И то, что пепель намъ священный,
Для нихъ одна нѣмая пыль.

*) «Стихотворенія Жуковскаго». Т. VI. стр. 30.

Такъ мы развалинамъ подобны,
И на распутіи живыхъ
Стоимъ, какъ памятникъ надгробный
Среди обителѣй людскихъ *).

Грустное положеніе! но таковъ законъ историческаго хода времени. Рано или поздно, онъ постигаетъ, въ свою очередь, каждое поколѣніе!

Увы! на жизненныхъ браздахъ
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падуть;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...
Такъ наше вѣтренное племя
Растеть, волнуется, кипить
И къ гробу праотцевъ тѣснить.
Придетъ, придетъ и наше время,
И наши внуки въ добрый часъ
Изъ міра вытѣснятъ и насъ.

Въ этомъ болѣе, нежели въ чемъ-нибудь другомъ открывается трагическая сторона жизни и ея иронія. Прежде физической старости и физической смерти, постигаетъ чело-вѣка нравственная старость и смерть. Исключеніе изъ этого правила остается слишкомъ за немногими... И благо тѣмъ, которые умѣютъ и въ зиму дней своихъ сохранить благодатный пламень сердца, живое сочувствіе ко всему великому и прекрасному бытія, — которые, съ умиленіемъ вспоминая о лучшемъ своемъ времени, не считаютъ себя среди кипучей, движущейся жизни современной дѣйствительности, какими-то заклятыми тѣнями прошедшаго, но чувствуютъ себя въ живой, родственной связи съ настоящимъ и благо-словеніями привѣтствуютъ свѣтлую зарю будущаго... Благо имъ, этимъ вѣчно юнымъ старцамъ! не только свѣжее утро и знойный полдень блестятъ для нихъ на небѣ: Господь

высылаеть имъ и успокоительный вечеръ, да отдохнуть они въ его кроткомъ величїи...

Какъ бы то ни было, но свѣтлое торжество побѣды новаго надъ старымъ да не омрачится никогда жесткимъ словомъ, или горькимъ чувствомъ враждебности противъ падшихъ. Побѣжденнымъ — состраданіе, за какую бы причину ни была проиграна ими битва! Падшїй въ борьбѣ противъ духа времени заслуживаетъ больше сожалѣнія, нежели проигравшїй всякую другую битву. Признавшїй надъ собою побѣдителемъ духъ времени заслуживаетъ больше, чѣмъ сожалѣнія, заслуживаетъ уваженіе и участіе, — и мы должны не только оставить его въ покоѣ оплакивать предшедшихъ героевъ его времени и не возмущать насмѣшливою улыбкою его священной скорби, но и благоговѣнно остановиться передъ нею...

Другое дѣло тѣ слѣпые поклонники старыхъ авторитетовъ, которые видятъ одинъ фактъ, не понимая его идеи, стоятъ за имя, не зная, какое значеніе привязать къ нему, и для которыхъ дороги только старыя имена, какъ для нумизматовъ дороги только истертыя монеты. Это люди буквы, школяры и педанты. Вотъ они-то и составляютъ тотъ второй разрядъ безусловныхъ поклонниковъ старыхъ авторитетовъ. Для нихъ и Шекспиръ — титанъ творческой силы и Ломоносовъ — также титанъ творческой силы; а почему? — потому что оба эти имени — имена уже старыя, къ которымъ они, педанты и старовѣры литературные, давно уже прислушались и привыкли. По той же самой причинѣ, для нихъ возмутительно видѣтъ имена Карамзина и Лермонтова, поставленные рядомъ: справясь съ литературною табелью о рангахъ, они видятъ большую разницу — не въ характерѣ дѣятельности, не въ родѣ таланта Карамзина и Лермонтова, а въ лѣтахъ и титулахъ этихъ писателей, и говорятъ о послѣднемъ: «куда ему — молодъ больно!» Равнымъ образомъ они убѣждены, въ простотѣ ума и сердца, что творенїя Карамзина не только

по формѣ, но и по содержанію ихъ, могутъ для нашего времени имѣть такой же интересъ, какой имѣли они для своего времени. Разумѣется, эти педанты и буквобды не стоятъ ни возраженій, ни споровъ, и можно оставлять безъ отвѣта ихъ зазорные крики. Чтѣ бы ни говорили они, для всѣхъ мыслящихъ людей ясно, какъ день Божій, что творенія Карамзина могутъ теперь составлять только болѣе или менѣе любопытный предметъ изученія въ исторіи русскаго языка, русской литературы, русской общественности, но уже нисколько не имѣютъ, для настоящаго времени, того интереса, который заставляетъ читать и перечитывать великихъ и самобытныхъ писателей. Въ сочиненіяхъ Карамзина все чуждо нашему времени — и чувства, и мысли, и слогъ, и самый языкъ. Во всемъ этомъ ничего нѣтъ нашего, и все это навсегда умерло для насъ.

Дѣятельность Карамзина была по преимуществу дѣятельность литератора, а не поэта, не ученаго. Онъ создалъ русскую публику, которой до него не было: — подѣ «публикою» мы разумѣемъ извѣстный кругъ читателей. До Карамзина нечего было читать по-русски, потому что все не многое, написанное до него, несмотря на свои хорошія стороны, было ужасно тяжело и торжественно, и годилось для однихъ «ученыхъ», а не для общества. Карамзинъ умѣлъ захотѣть русскую публику къ чтенію русскихъ книгъ. Какъ мы замѣтили выше, въ этомъ помогъ ему не новый, созданный имъ языкъ, а французское направленіе, которому подчинился Карамзинъ, и котораго необходимымъ слѣдствіемъ былъ его легкій и пріятный языкъ. Въ первой статьѣ мы уже упоминали о Дмитріевѣ, какъ о сподвижникѣ Карамзина. Дѣйствительно, Дмитріевъ, для стихотворнаго языка сдѣлалъ почти то же, чтѣ Карамзинъ для прозаическаго, и сдѣлалъ это такимъ же точно образомъ, какъ Карамзинъ: поэзія Дмитріева, по ея духу и характеру, а слѣдовательно и по формѣ, есть чисто французская поэзія XVIII вѣка. Съ

Карамзинимъ кончился Ломоносовскій періодъ русской литературы, періодъ тяжелаго и высокопарнаго книжнаго направленія, и весь періодъ отъ Карамзина до Пушкина слѣдуетъ называть Карамзинскимъ.

Но этотъ періодъ имѣетъ свои подраздѣленія, ибо въ продолженіе его литература обогащалась новыми элементами и двигалась впередъ. Къ этому періоду принадлежитъ Крыловъ, который одинъ могъ бы быть представителемъ цѣлаго періода литературы. Онъ создалъ національную русскую басню и тѣмъ первый внесъ въ литературу русскую элементъ народности. Но какъ въ баснѣ, великій русскій баснописецъ имѣлъ образцомъ великаго французскаго баснописца, — какъ въ ней онъ былъ какъ бы продолжателемъ дѣла, начатаго Хемницеромъ и продолженнаго Дмитриевымъ, и какъ, сверхъ того, родъ его поэзіи не былъ такимъ родомъ, черезъ который можно-бъ было стать во главѣ литературной эпохи, — то Крыловъ по справедливости можетъ считаться однимъ изъ блистательнѣйшихъ дѣятелей Карамзинскаго періода, въ то же время оставаясь самобытнымъ творцомъ новаго элемента русской поэзіи — народности. Другое дѣло — Озеровъ: несмотря на дарованіе ярко замѣчательное, онъ былъ результатомъ направленія, даннаго русской литературѣ Карамзинимъ. Въ трагедіяхъ Озерова преобладающій элементъ — сантиментальность. По формѣ же онъ — сколокъ съ французской трагедіи. Нѣтъ нужды распространяться здѣсь о Капнистѣ, Василіи Пушкинѣ, Владимірѣ Измайловѣ, Крюковскомъ, Милоновѣ и другихъ людяхъ съ большаимъ или меньшимъ талантомъ, игравшихъ большую или меньшую роль въ Карамзинскій періодъ: всѣ они были созданы духомъ Карамзина и выразили направленіе, данное имъ русской литературѣ. Въ своемъ мѣстѣ мы упомянемъ о болѣе самостоятельныхъ и болѣе замѣчательныхъ писателяхъ этой эпохи, каковы: Гнѣдичъ, Мерзляковъ и князь Вяземскій. Теперь же слѣшимъ перейти къ двумъ знаменитостямъ не только этого

періода, но и вообще русской литературы — Жуковскому и Батюшкову.

Нашу литературу вообще нельзя обвинить въ стоячести и коснѣлости. Въ ней всегда было движеніе впередъ, даже въ Ломоносовскій періодъ. Если Херасковъ и Петровъ не только не подвинулись передъ Ломоносовымъ, но еще и отстали отъ него, хотя явились и послѣ, за то какая же чудовищная разница между Ломоносовымъ и Державинымъ, между притчами Сумарокова и баснями Хемницера, между комедіями Сумарокова и комедіями Фонъ-Визина, между прозою не только Сумарокова, но и самого Ломоносова, даже какая значительная разница между драматургомъ Сумароковымъ и драматургомъ Княжининымъ! Карамзинскій періодъ ознаменовался несравненно сильнѣйшимъ движеніемъ впередъ. Мы уже упомянули о Крыловѣ, какъ о поэтѣ Карамзинской эпохи, внесемъ въ русскую поэзію совершенно новый для нея элементъ — народность, которая только проблескивала и промелькивала временами въ сочиненіяхъ Державина, но въ поэзіи Крылова явилась главнымъ и преобладающимъ элементомъ. Такого великаго и самобытнаго таланта, каковъ талантъ Крылова, было-бы достаточно для того, чтобъ ему самому быть главою и представителемъ цѣлаго періода литературы; но (какъ мы уже замѣтили выше) ограниченность рода поэзіи, избраннаго Крыловымъ, не могла допустить его до подобной роли. Басни Крылова давно уже пережили творенія Карамзина; онѣ будутъ читаться до тѣхъ поръ, пока русское слово не перестанетъ быть живою рѣчью живаго народа; но, несмотря на то, въ исторіи русской литературы Крыловъ всегда будетъ занимать свое мѣсто между замѣчательнѣйшими дѣятелями того періода русской литературы, главою и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Въ нѣкоторомъ отношеніи, такова же была въ исторіи русской литературы и роль Жуковского. Таланта Жуковского также стало бы, чтобъ явиться главою и

представителемъ цѣлаго періода молодой, рождающейся литературы. Жуковскій внесъ новый, живой, можетъ-быть, еще болѣе важный элементъ въ русскую поэзію, чѣмъ элементъ, внесенный Крыловымъ; Жуковскій проложилъ себѣ собственный путь, въ которомъ не было ему предшественниковъ; муза Жуковского возрасла, воспиталась на почвѣ, въ то время никому изъ Русскихъ невѣдомой и недоступной, — и, несмотря на то, было бы дѣломъ чистаго произвола отмѣтить именовъ Жуковского какой-нибудь изъ періодовъ русской литературы, и не видѣть въ немъ опять таки одного изъ знаменитѣйшихъ, или даже и самаго знаменитѣйшаго дѣятеля въ томъ періодѣ русской литературы, главою и представителемъ котораго былъ Карамзинъ. Вънецъ поэзіи Жуковского составляютъ его переводы и заимствованія изъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ: въ этомъ онъ самобытенъ, какъ единственный глава и представитель своей собственной школы; въ этомъ выразился моментъ самаго сильнаго и плодovitаго движенія впередъ русской литературы Карамзинскаго періода. Но у Жуковского есть и оригинальныя произведенія, особенно патріотическія пьесы и посланія; сверхъ того, онъ былъ знаменитъ еще какъ отличный писатель и переводчикъ въ прозѣ. И вотъ съ этой - то стороны онъ является писателемъ, совершенно подчиненнымъ вліянію Карамзина, во многихъ отношеніяхъ даже ученикомъ его. Конечно, по языку, оригинальныя стихотворенія Жуковского (въ особенности патріотическія пьесы и посланія) гораздо выше стихотвореній Карамзина и Дмитріева; но ихъ духъ, направленіе, характеръ, содержаніе — все это нисколько не отступаетъ отъ идеала поэзіи XVIII вѣка, — идеала поэзіи, который такъ присущъ и родственъ былъ Карамзинскому взгляду на поэзію вообще. Чтò же касается до Жуковского, — онъ является въ ней совершенно ученикомъ Карамзина, и если въ отношеніи къ стилистикѣ ученикъ подвинулся дальше учителя, то взглядъ на пред-

меты, складъ ума, характеръ слога и языка—все это чисто карамзинское. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только прочесть критическіе разборы Жуковскаго сатиръ Кантемира и басень Крылова, статьи его: «Марьяна Роща», «Три Сестры», «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ», «Писатель въ обществѣ» и проч. Выборъ переводныхъ статей въ прозѣ у Жуковскаго тоже отличается совершенно Карамзинскимъ духомъ, несмотря на то, что многія статьи переведены съ нѣмецкаго. Намъ, можетъ-быть, возразятъ, что «Рафаэлева Мадонна» есть тоже оригинальная статья въ прозѣ Жуковскаго, но что въ ней уже нѣтъ ничего Карамзинскаго. Правда; но просимъ не забывать, что эта статья написана Жуковскимъ въ 1820 году — въ то время, когда вліяніе Карамзина на русскую литературу уже ослабѣло съ одной стороны, усилившись съ другой: тогда Карамзинъ былъ уже историкомъ Россіи, а собственно литературныя его произведенія уже забывались. Вообще, въ это время Жуковскій сталъ дѣйствовать какъ-то самостоятельное, освободившись отъ вліянія Карамзина. Надобно еще замѣтить, что въ это время вліяніе на литературу и слава Жуковскаго достигли своего высшаго развитія, тогда какъ до сего времени Жуковскій былъ какъ-будто въ тѣни. Ему удивлялись, его хвалили; но онъ все-таки писалъ для «немногихъ». И, какъ тогда понимали его! Его называли «балладистомъ», въ немъ видѣли пѣвца могола и привидѣній... Ему подражали, но въ чемъ?—въ формѣ, а не въ духѣ, — и рядъ бессмысленныхъ и нелѣпыхъ балладъ былъ плодомъ этого подражанія. Ему удивлялись, какъ русскому Тиртею, какъ пѣвцу народной славы, — и «Пѣвцы во Станѣ» и «На Кремль» доказали, какъ не мудрено подражать подобной народности... Но передъ двадцатыми годами и въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія Жуковскій получилъ именно то значеніе, какое онъ всегда имѣлъ. Тогдашняя молодежь, развившаяся подъ вліяніемъ великихъ событій 1814

года, съ жадностью бросилась на нѣмецкую литературу, съ которою Жуковский давно уже породнилъ русскій умъ и русскую музу. Всѣ заговорили о романтизмѣ, о новой теоріи поэзій; всѣ возстали противъ владычества псевдо-классической французской поэзій. Въ поэзій русской явились луна и туманы, уныніе и грусть, смерть и гробъ. Но въ это время уже кончился Карамзинскій періодъ русской литературы, и черезъ десять лѣтъ сама исторія Карамзина сдѣлалась предметомъ неумѣренныхъ и не всегда справедливыхъ нападокъ. Лучезарная звѣзда поэтической славы Жуковского вспыхнула и загорѣлась ярко уже въ новомъ періодѣ русской литературы: тогда уже явился Пушкинъ, и для Жуковского, еще во всей порѣ его дѣятельности, уже наставало потомство... Періода, означеннаго именемъ Жуковского, не было въ русской литературѣ... И однакожь, необъятно велико значеніе этого поэта для русской поэзій и литературы! Имя его давно славно и почтенно; похвалы ему никогда не умолкали. Но, къ сожалѣнію, эти похвалы уже лѣтъ тридцать пять поются какъ-то на одинъ голосъ и состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же словъ, изъ однихъ и тѣхъ же выраженій. А вѣдь дѣло критики совсѣмъ не въ томъ, чтобъ провозгласить писателя великимъ талантомъ или гениемъ: это скорѣе дѣло общественнаго мнѣнія чѣмъ критики. Дѣло критики — привести въ сознаніе, путемъ анализа, общественное мнѣніе и показать значеніе, смыслъ таланта, или генія, опредѣлить тотъ жизненный элементъ, который составляетъ исключительное свойство его произведеній и которымъ онъ обогатилъ родную литературу и жизнь своего общества. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» впервые было сказано, что заслуга Жуковского состоитъ въ томъ, что онъ ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ и что истиннымъ романтикомъ русскимъ былъ совсѣмъ не Пушкинъ (какъ объ этомъ кричали лѣтъ двадцать), а Жуковский. Слово истины не падаетъ даромъ, и наше мнѣніе

подхватили нѣкоторые «именные» (въ противоположность «безыменнымъ») критики, — тѣ самыя, которые право критики основываютъ не на талантѣ и чувствѣ изящнаго, а по китайски — на экзаменахъ и числѣ и цвѣтѣ мандаринскихъ шариковъ. Но сказать даже и отъ себя (не только повторить чужое мнѣніе), что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію, еще не значитъ все сказать: должно развить и доказать это положеніе. И мы теперь очень рады, что, назначивъ статьѣ о Пушкинѣ столь широкія рамы, можемъ представить во введеніи къ ней картину историческаго развитія всей литературы русской, а вмѣстѣ съ тѣмъ и привести въ исполненіе давнишнее желаніе наше вполне развить и высказать нашъ взглядъ на поэта, которому мы такъ много обязаны въ дѣлѣ собственнаго нашего развитія, съ мыслию о которомъ сливается для насъ столько прекрасныхъ и живыхъ воспоминаній, — поэзія котораго давно срослась съ нашимъ сердцемъ, и къ которому теперь мы, въ то же время, чужды всякихъ восторженныхъ предубѣжденій... Мы надѣемся, что для публики подобная статья не можетъ не быть интересна, ибо ей дорогъ предметъ ея, — а отъ кого же услышать она о немъ живое, современное слово? Неужели отъ задорливыхъ педантовъ, которые кричать только объ именности и безыменности, какъ о правѣ критиковать, и всякое чужое мнѣніе считаютъ или дерзкимъ, или продажнымъ, потому только, что хоть оно и не ихъ мнѣніе, однакожъ, находятъ себѣ сочувствіе и отзывъ въ ущербъ ихъ педантическимъ возгласамъ, всегда подписаннымъ ихъ собственнымъ именемъ?... Дождитесь отъ нихъ!...

Батюшковъ также пользуется на Руси большимъ и заслуженнымъ вниманіемъ, и также ждетъ себѣ критической оцѣнки. Имя его связано съ именемъ Жуковскаго: они дѣйствовали дружно въ лучшіе годы своей жизни; ихъ разлучила жизнь, но имена ихъ всегда какъ то вмѣстѣ ложатся

подъ перо критика и историка русской литературы. Батюшковъ имѣеть важное значеніе въ русской литературѣ — конечно, не такое какъ Жуковскій, но тѣмъ не менѣе самобытное. Онъ явился на поприще нѣсколько позже Жуковского и занимаетъ мѣсто въ литературѣ тотчасъ послѣ него. Поэтому весьма удобно опредѣлить его значеніе (не теряясь въ подробностяхъ) въ одной статьѣ съ Жуковскимъ, — что и постараемся мы сдѣлать теперь.

Жуковскій ввелъ въ русскую поэзію романтизмъ. Что же такое романтизмъ вообще и романтизмъ Жуковского въ особенности? — Вотъ вопросъ, отъ рѣшенія котораго зависитъ опредѣленіе значенія, какое имѣеть Жуковскій въ русской литературѣ... У насъ много говорили, толковали и спорили о романтизмѣ. «Московскій Телеграфъ» былъ журналомъ, какъ бы издававшимся для романтизма, — а журналъ этотъ существовалъ съ 1825 по 1834 годъ. Но если толки о романтизмѣ кончились на Руси съ «Московскимъ Телеграфомъ», то начались они гораздо раньше, именно въ исходѣ втораго десятилѣтія текущаго столѣтія. Но отъ всего этого вопросъ не уяснился, и романтизмъ по-прежнему остался таинственнымъ и загадочнымъ предметомъ. Его поняли, какъ противоположность французскому псевдо-классицизму. Отсюда, естественно, вышла ошибка: какъ подъ классицизмомъ разумѣли извѣстную условную форму искусства, такъ подъ романтизмомъ стали разумѣть нарушеніе правилъ этой условной формы. И потому, кто соблюдалъ въ трагедіи знаменитыя три единства, героями ея дѣлалъ только царей и ихъ наперсниковъ, заставляя ихъ говорить напыщенно и важно, — тотъ считался классикомъ; кто же въ своей драмѣ переносилъ дѣйствіе изъ одного мѣста въ другое, на нѣсколькихъ страницахъ сосредоточивалъ событіе, совершившееся въ промежуткѣ не одного десятка лѣтъ, число актовъ своей драмы не хотѣлъ ограничивать завѣтною суммою пяти, а дѣйствующими лицами въ ней позволялъ быть людямъ вся-

каго званія, — тотъ считался ультра - романтикомъ. Взглядъ «Телеграфа» на романтизмъ былъ именно таковъ. Лучшимъ доказательствомъ этого служатъ теперешнія драматическія издѣлія бывшаго издателя «Московского Телеграфа»: подобно классическимъ трагедіямъ добраго стараго времени, драмы г. Полеваго такъ же точно сколки и рабскія копія, только съ другихъ образцовъ, и въ нихъ не видно даже таланта подражательности, а видна одна способность передразниванья и смѣлаго заимствованія, — между тѣмъ, какъ именно передразниванье и заимствованіе ставилъ г. Полевой въ непростительный грѣхъ псевдо-классическимъ поэтамъ. Очевидно, что онъ классицизмъ и романтизмъ полагалъ во внѣшней формѣ. Пушкина поэмы, мелкія стихотворенія, самая фактура стиха, — все было ново и нисколько не походило на образцы существовавшей до него русской поэзіи: и за это то именно г. Полевой, вмѣстѣ съ другими, провозгласилъ Пушкина романтикомъ, нисколько не подозревая романтика въ Жуковскомъ.

Дѣйствительно, у романтической поэзіи необходимо должна быть своя форма, не похожая на форму классической, но это потому, что всякая оригинальная идея имѣетъ свою, ей присущую, оригинальную форму, всякій самобытный духъ является въ свойственной ему самобытной личности. Однакожь, какъ форма есть твореніе явившагося въ ней духа, то, отправляясь отъ формы, никогда нельзя постичь заключеннаго въ ней духа; наоборотъ, только отправляясь отъ духа, можно постичь и самый духъ и выразившую его форму. Поэтому сущность романтизма заключается въ его идеѣ, а не въ произвольныхъ случайностяхъ внѣшней формы.

Романтизмъ — принадлежность не одного только искусства, не одной только поэзіи: его источникъ въ томъ, въ чемъ источникъ и искусства и поэзіи — въ жизни. Жизнь тамъ, гдѣ человѣкъ, а гдѣ человѣкъ, тамъ и романтизмъ.

Въ тѣснѣйшемъ и существеннѣйшемъ своемъ значеніи романтизмъ есть ни что иное, какъ внутренній міръ души человѣка, сокровенная жизнь его сердца. Въ груди и сердцѣ человѣка заключается таинственный источникъ романтизма: чувство, любовь есть проявленіе или дѣйствіе романтизма, и потому почти всякій человѣкъ — романтикъ. Исключеніе остается только или за эгоистами, которые кромѣ себя никого любить не могутъ, или за людьми, въ которыхъ священное зерно симпатіи и антипатіи задавлено и заглушено или нравственною неразвитостью, или матеріальными нуждами бѣдной и грубой жизни. Вотъ самое первое, естественное понятіе о романтизмѣ.

Законы сердца, какъ и законы разума, всегда одни и тѣ же, и потому человѣкъ, по натурѣ своей, всегда былъ, есть и будетъ одинъ и тотъ же. Но какъ разумъ, такъ и сердце живутъ, а жить значитъ развиваться, двигаться впередъ: поэтому человѣкъ не можетъ одинаково чувствовать и мыслить всю жизнь свою; но его образъ чувствованія и мышленія измѣняется сообразно возрастамъ его жизни: юноша иначе понимаетъ предметы и иначе чувствуетъ, нежели отрокъ; возмужалый человѣкъ много разнится, въ этомъ отношеніи, отъ юноши, старецъ отъ мужа, хотя всѣ они чувствуютъ однимъ и тѣмъ же сердцемъ, мыслятъ однимъ и тѣмъ же разумомъ. Это различіе въ характерѣ чувства и мысли вытекаетъ изъ природы человѣка и существуетъ для каждаго: оно связано съ его неизбѣжнымъ свойствомъ расти, мужать и старѣться физически. Но человѣкъ имѣетъ не одно только значеніе существа индивидуальнаго и личнаго. Кромѣ того, онъ еще членъ общества, гражданинъ своей земли, принадлежитъ къ великому семейству человѣческаго рода. Поэтому онъ — сынъ времени и воспитанникъ исторіи: его образъ чувствованія и мышленія видоизмѣняется сообразно съ общественностью и національностью, къ которымъ онъ принадлежитъ, съ историческимъ

состояніемъ его отечества и всего человѣческаго рода. Итакъ, чтобъ вѣрнѣе опредѣлить значеніе романтизма, мы должны указать на его историческое развитіе. Романтизмъ не принадлежитъ исключительно одной только сферѣ любви: любовь есть только одно изъ существенныхъ проявленій романтизма. Сфера его, какъ мы сказали, — вся внутренняя, душевная жизнь человѣка, та таинственная почва души и сердца, откуда поднимаются всѣ неопредѣленные стремленія къ лучшему и возвышенному, стараясь находить себѣ удовлетвореніе въ идеалахъ, творимыхъ фантазією. Здѣсь, для примѣра, укажемъ только на то, какъ проявлялась любовь — по преимуществу романтическое чувство — въ историческомъ движеніи человѣчества.

Востокъ — колыбель человѣчества и царство природы. Человѣкъ на Востокѣ — сынъ природы: младенцемъ лежитъ онъ на груди ея и старцемъ умираетъ на ея же груди. Востокъ и теперь остался вѣренъ основному закону своей жизни — естественности, близкой къ животности. Любовь на Востокѣ навсегда осталась въ первомъ моментѣ своего проявленія: тамъ она всегда выражала и теперь выражаетъ не болѣе, какъ чувственное, на природѣ основанное, стремленіе одного пола къ другому. Само собою разумѣется, что первый и основной смыслъ любви заключается въ заботливости природы о поддержаніи и размноженіи рода человѣческаго. Но еслибъ въ любви людей все ограничивалось только этимъ расчетомъ природы, — люди не были бы выше животныхъ. Слѣдственно, это чувственное стремленіе въ любви человѣка одного пола къ человѣку другого пола есть только одинъ изъ элементовъ чувства любви, его первый моментъ, за которымъ, въ развитіи, слѣдуютъ высшіе, болѣе духовные и нравственные моменты. Востоку суждено было остановиться на первомъ моментѣ любви и въ немъ найти полное осуществленіе этого чувства. Отсюда вытекаетъ семейственность, какъ главный и осно-

вный элементъ жизни восточныхъ народовъ. Имѣть потомство — первая забота и высочайшее блаженство восточнаго жителя; не имѣть дѣтей, — это для него знаменіе небеснаго проклятія, нравственнаго отверженія. По закону іудейскому, бесплодныя женщины были побиваемы камнями, какъ преступницы. Отцы тамъ женили сыновей своихъ еще отроками; братъ долженъ былъ жениться на вдовѣ своего брата, чтобы «возстановить сѣмя своему брату». Отсюда же выходитъ и восточная полигамія (многоженство). Гаремы существовали на Востокѣ всегда, и ихъ нельзя считать исключительно принадлежащими исламу. Обитатель Востока смотритъ на женщину, какъ на жену или какъ на рабыню, но не какъ на женщину, потому что отъ женщины мужчина всегда добивается взаимности, какъ необходимаго условія счастливой любви,—отъ жены или рабы онъ требуетъ только покорности. Для него — это вещь, очень искусно приравненная самою природою для его наслажденія: кто же станетъ церемониться съ вещью? Миѣны—самое вѣрное свидѣтельство романтической жизни народовъ. Въ миѣахъ Востока мы не находимъ еще ни идеала красоты, ни идеала женщины. Всѣ миѣны по преимуществу выражаютъ одно неутолимое вождельніе—одно чувство: сладострастіе,—одну идею: вѣчную производительность природы.

Гораздо выше романтизмъ греческій. Въ Греціи любовь является уже въ высшемъ моментѣ своего развитія: тамъ она — чувственное стремленіе, просвѣтленное и одухотворенное идеею красоты. Тамъ уже въ самомъ началѣ миѣческаго сознанія, за явленіемъ Эроса (любви, какъ общей сущности міровой жизни) тотчасъ слѣдуетъ рожденіе Афродиты — красоты женской. Афродита собственно была не богинею любви, но богинею красоты. Когда родилась она изъ волнъ морскихъ и вышла на берегъ, къ ней сейчасъ присоединилась любовь и желаніе. Этотъ граціозный миѣ достаточно объясняетъ собою сущность и характеръ эллин-

скаго понятія объ отношеніяхъ обоихъ половъ. Грекъ обожалъ въ женщинѣ красоту, а красота уже порождала любовь и желаніе; слѣдовательно, любовь и желаніе были уже результатомъ красоты. Отсюда понятно, какъ у такого нравственно-эстетическаго народа, какъ Греки, могла существовать любовь между мужчинами, освященная миеомъ Ганимеда,—могла существовать не какъ крайній развратъ чувственности (единственное условіе, подъ которымъ она могла бы являться въ наше время), а какъ выраженіе жизни сердца. Примѣры такой любви были очень нерѣдки у Грековъ. Вотъ одинъ изъ самыхъ поразительныхъ. Павзаній говоритъ, что онъ нашелъ въ одномъ мѣстѣ статую юноши, названную антэросъ (взаимную любовь), и рассказываетъ услышанную имъ отъ жителей того мѣста легенду о происхожденіи этой статуи. Одинъ юноша, тронутый необыкновенною красотою другаго, почувствовалъ къ нему непреодолимо страстное стремленіе. Встрѣтивъ въ отвѣтъ на свое чувство совершенную холодность и напрасно истощивъ мольбы и стоны къ ея побѣжденію, онъ бросился въ море и погибъ въ немъ. Тогда прекрасный юноша, вдругъ проникнутый и пораженный силою возбужденной имъ страсти, почувствовалъ къ погибшему такое сожалѣніе и такую любовь, что и самъ добровольно погибъ въ волнахъ того же моря. Въ честь обоихъ погибшихъ и была воздвигнута статуя—антэросъ.

У Грековъ была не одна Венера, но три: Уранія (небесная), Пандемось (обыкновенная) и Апострофія (предохраняющая или отвращающая). Значеніе первой и второй понятно безъ объясненій: значеніе третьей было — предохранять и отвращать людей отъ гибельныхъ злоупотребленій чувственности. Изъ этого видно, что нравственное чувство всегда лежало въ самой основѣ національнаго эллинскаго духа. Однакожь, это нисколько не противорѣчитъ тому, что преобладающій элементъ ихъ любви было неукротимое, страстное стремленіе, требовавшее или удовлетворенія; или ги-

бели. Поэтому они смотрѣли на Эроса, какъ на бога страшнаго и жестокаго, для котораго было какъ бы забавою губить людей. Множество трагическихъ легендъ любви у Грековъ вполне оправдываетъ такой взглядъ на Эроса — это маленькое крылатое божество съ коварною улыбкою на младенческомъ лицѣ, съ гибельнымъ лукомъ въ рукѣ и страшнымъ колчаномъ за плечами. Кому не извѣстно преданіе о любви Сафо къ Фаону и о скалѣ левкадской? А сколько легендъ о страстной любви между братьями и сестрами, любви, которая оканчивалась или смертью безъ удовлетворенія, или казнью раздраженныхъ боговъ въ случаѣ преступнаго удовлетворенія! Овидій передалъ потомству ужасную легенду о такой любви дочери къ отцу. Старая няня несчастной ввела ее въ темнотѣ на ложе отца, упоеннаго виномъ и неподозрѣвавшаго истины, — и сперва Эвмениды, а потомъ превращеніе было наказаніемъ боговъ, постигшимъ несчастную. Но сколько граціи и гуманности въ греческой любви, когда она увѣнчивалась законною взаимностію! Недаромъ, въ прелестномъ мифѣ Эроса и Психеи, Греки выразили поэтическую мысль брачнаго сочетанія любви съ душою! Павзаній рассказываетъ о статуѣ стыдливости трогательную, исполненную души и граціи романтическую легенду. Статуя эта изображала дѣвушку, которой преклоненная голова была накрыта покрываломъ. Вотъ смыслъ этой статуи: когда Одиссей, женившись на Пенелопѣ, рѣшился возвратиться изъ Лакедемона въ Итаку, Икаръ, престарѣлый царь, тесть его, не вынося мысли о разлукѣ съ дочерью, со слезами умолялъ его остаться. Улиссъ уже готовъ былъ взойти на корабль, — старецъ палъ къ его ногамъ. Тогда Улиссъ сказалъ ему, чтобы онъ спросилъ свою дочь, кого она выберетъ между ними — отца или мужа; Пенелопа, не говоря ни слова, покрылась покрываломъ, — и старецъ изъ этого безмолвнаго и граціозно-женственнаго отвѣта понялъ, что мужъ для нея дороже отца, хотя страхъ и нежеланіе оскорбить чувство родительской

любви и сковали уста ея... Это романтизм! Въ ученіи вдохновеннаго философа, божественнаго Платона, греческое созерцаніе любви возвышается до небснаго просвѣтлѣнія, такъ что ничего не оставляетъ въ побѣду надъ собою среднимъ вѣкамъ, этой ультра-романтической эпохѣ...

„Наслажденіе красотою (говорить этотъ величайшій романтикъ не только древней Греціи, но и всего міра) въ этомъ мірѣ возможно въ чловѣкѣ только по воспоминанію той единой, истинной и совершенной красоты, которую душа припоминаетъ себѣ въ первоначальной ея родиѣ. Вотъ почему зрѣлище прекраснаго на землѣ, какъ воспоминаніе о красотѣ горней, способствуетъ тому, чтобъ окрылить душу къ небесному и возвращать ее къ божественному источнику всякой красоты... Красота была свѣтлаго вида въ то время, когда мы счастливымъ хоромъ слѣдовали за Діемъ, въ блаженномъ видѣніи и созерцаніи, другіе же за другими богами; мы зрѣли и совершали блаженнѣйшее изъ всѣхъ таинствъ; приобщались ему всецѣлымъ, непричастнымъ бѣдствіямъ, которыя въ позднее время насъ постигли; погружались въ видѣніи совершенныя, простыя, не страшныя, но радостныя, и созерцали ихъ въ свѣтѣ чистомъ, сами будучи чисты и незапятнаны тмѣ, что мы, нынѣ влача съ собою, называемъ тѣломъ, мы, заключенные въ него, какъ въ раковину... Красота одна получила здѣсь этотъ жребій быть пресвѣтлою и достойною любви. Не вполне посвященный, развратный стремится къ самой красотѣ, не смотря на то, что носить ея имя; онъ не благоговѣетъ передъ нею, а подобно четвероному ищетъ одного чувственнаго наслажденія, хочетъ слить прекрасное съ своимъ тѣломъ... Напротивъ того, вновь посвященный, увидѣвъ богамъ подобное лицо, изображающее красоту, сначала трепещетъ; его объемлетъ страхъ; потомъ, созерцая прекрасное, какъ бога, онъ обожаетъ, и, еслибы не боялся, что назовутъ его безумнымъ, онъ принесъ бы жертву предмету любимому...“

Нельзя не согласиться, что никогда романтизмъ не являлся въ такомъ лучезарномъ и чистомъ свѣтѣ своей духовной сущности, какъ въ этихъ словахъ величайшаго изъ мудрецовъ классической древности...

Но все это показываетъ только глубину эллинскаго духа, часто въ созерцаніяхъ своихъ опережавшаго самого себя, и

не только не противорѣчить, но еще подтверждаетъ истину, что нафось къ красотѣ составляетъ высшую сторону жизни Грековъ. А богиня красоты, — какъ мы уже замѣтили выше, — сопровождалась у нихъ любовью и желаніемъ... Чувство красоты, какъ только красоты, а не красоты и души вмѣстѣ, не есть еще высшее проявленіе романтизма. Женщина существовала для Грека въ той только мѣрѣ, въ какой была она прекрасна, и ея назначеніе было удовлетворять чувству изящнаго сладострастія. Самая стыдливость ея служила къ усиленію страстнаго упоенія мужчины. Елена «Илиады» — представительница греческой женщины: и боги и смертные иногда называютъ ее безстыдною и презрѣнною, но ей покровительствуетъ сама Киприда и собственною рукою возводитъ ее на ложе Александра-боговиднаго, позорно бѣжавшаго съ поля битвы; за нее сражаются и цари и народы, гибнетъ Троя, пылаетъ Иліонъ — священная обитель царственнаго старца Пріама... Въ пьесахъ, такъ превосходно переведенныхъ Батюшковымъ изъ греческой антологіи, можно видѣть характеръ отношеній любящихся, какъ, напримѣръ, въ этой эпиграммѣ:

Свершилось: Никагоръ и пламенный Эротъ
За чашей вакховой Аглаю побѣдили...
О радость! здѣсь они сей поясъ разрѣшили,
Стыдливости дѣвической оплотъ.
Вы видите: кругомъ разсѣяны небрежно
Одежды пышныя надменной красоты,
Покровы легкіе изъ дыма бѣлоснѣжной,
И обувь стройная и свѣжіе цвѣты:
Здѣсь всѣ развалины роскошнаго убора,
Свидѣтели любви и счастья Никагора!

Въ этой пьескѣ схвачена вся сущность романтизма по греческому возрѣнію: это — изящное, проникнутое граціею наслажденіе. Здѣсь женщина — только красота, и больше ничего; здѣсь любовь — минута поэтическаго, страстнаго упоенія, и больше ничего. Страсть насытилась — и сердце летитъ

къ новымъ предметамъ красоты. Грекъ обожалъ красоту и всякая прекрасная женщина имѣла право на его обожаніе. Грекъ былъ вѣренъ красотѣ и женщинѣ, но не этой красотѣ, или этой женщинѣ. Когда женщина лишалась блеска своей красоты, она теряла вмѣстѣ съ нимъ и сердце любившаго ее. И если Грекъ цѣнилъ ее и въ осень дней ея, то все же оставаясь вѣрнымъ своему воззрѣнію на любовь, какъ на изящное наслажденіе:

Тебѣ-ль оплакивать утрату юныхъ дней?

Ты въ красотѣ не измѣнилась.

И для любви моей

Отъ времени еще прелестнѣе явилась.

Твой другъ не дорожитъ неопытной красой,
Незрѣлой въ таинствахъ любовнаго искусства:

Безъ жизни взоръ ея стыдливый и нѣмой.

И робкій поцѣлуй безъ чувства.

Но ты владычица любви,

Ты страсть вдохнешь и въ мертвый камень;

И въ осень дней твоихъ не погасаетъ пламень,

Текущій съ жизнію въ крови...

Сколько страсти и задушевной граціи въ этой эпиграммѣ!

Въ Лансѣ нравится улыбка на устахъ,

Ея пльнительны для сердца разговоры;

Но мнѣ милѣй ея потупленные взоры

И слезы горести внезапной на очахъ.

Я въ сумерки, вчера, одушевленный страстью.

У ногъ ея любви всѣ клятвы повторялъ,

И съ поцѣлуемъ къ сладострастью

На ложе роскоши тихонько увлекалъ...

Я таялъ, и Ланса жѣла...

Но вдругъ уныла, поблѣднѣла,

И слезы градомъ изъ очей!

Смущенный, я прижалъ ее къ груди моей;

«Что сдѣлалось, скажи, что сдѣлалось съ тобою?»

— Спокойна, ничего, безсмертными клянусь!

Я мыслю была встревожена одною:

Вы всѣ обманчивы, и я... тебя страшусь.—

Романтическая лира Эллады умѣла воспѣвать не одно только счастье любви, какъ страстное и изящное наслажденіе и не одну муку нераздѣленной страсти: она умѣла плакать еще и надъ урною милого праха, и элегія, — этотъ ультраромантический родъ поэзій, — былъ созданъ ею же, свѣтлою музою Эллады. Когда отъ страстно любящаго сердца смерть отнимала предметъ любви прежде, чѣмъ жизнь отнимала любовь, — Грекъ умѣлъ любить скорбною памятью сердца:

Въ обители ничтожества унылой,
О, незабвенная! прими потоки слезъ,
И вопль отчаянья надъ хладною могилой.
И горсть, какъ ты, минутныхъ розъ.
Ахъ, тщетно все! цзъ вѣчной сѣни
Ничѣмъ не призовемъ твоей прискорбной тѣни:
Добычу не отдастъ завистливый Андъ.
Здѣсь опьяннѣе; все холодно молчить;
Нагробный факелъ мой лишь мраки освѣщаетъ...
Что, что вы сдѣлали, властители небесъ?
Скажите, что краса такъ рано погибаетъ?
Но ты, о мать—земля! съ сей данью горькихъ слезъ,
Прими почившую, поблекшій цвѣтъ весенній,
Прими и успокой въ гостепріимной сѣни!

Но примѣры романтизма греческаго не въ одной только сферѣ любви. «Иліада» усѣяна ими. Вспомните Ахиллеса,

Въ сердцѣ питавшаго скорбь о красно-опоясанной дѣвѣ,
Силою Атрида отъятой.

Когда уводятъ отъ него Бризеиду, страшный силою и могуществомъ герой—

Бросилъ друзей Ахиллесъ и, далеко отъ всѣхъ одинокій,
Съль у пучины съдой и, взирая на Понть темноводный,
Руки въ слезахъ простиралъ, умоляя любезную мать...

Эта сила, эта мощь, которая скорбитъ и плачетъ о нанесенной сердцу ранѣ, вмѣсто того, чтобъ страшно мстить за нее, — что же это такое, если не романтизмъ? А тѣнь несчастливца Патрокла, явившаяся Ахиллу во всѣ?

Только Пелидъ на берегу неумолжно-шумящаго моря
Тяжко стенищій лежалъ, окруженный толпой Мирмидонявъ,
Ницъ на полянѣ, гдѣ волны лишь шумныя билися въ берегъ.
Тамъ надъ Пелидомъ сонъ, сердечныхъ тревогъ укротитель.
Сладкій разлился: герой истомилъ благородные члены,
Гектора быстро гоня подъ высокой стѣной Іліона.
Тамъ Ахиллему явилась душа несчастливца Патрокла,
Призракъ, величіемъ съ нимъ и очами прекрасными сходный;
Та-жь и одежда, и *голосъ тотъ самый, сердцу знакомый...*

Тѣнь Патрокла умоляетъ Ахилла о погребеніи и о томъ еще,
когда прійдетъ часъ Ахилла, то чтобъ кости ихъ покоились
въ одной урнѣ... Ахиллъ отвѣчаетъ возлюбленной тѣни радостною готовностію совершить ея «завѣты крѣпкіе» и молить ее приблизиться къ нему для дружнаго объятія...

Рекъ, и жадныя руки любимца обнять распростеръ онъ;
Тщетно: *душа Мекетиды, какъ облако дыма, сквозь землю*
Съ воємъ ушла. И вскочилъ Ахиллъ, пораженный видѣньемъ,
И руками всплеснулъ, и печальный такъ говорилъ онъ:
«Боги! такъ подлинно есть и въ андромѣ домъ подземномъ
«Духъ челоуѣка и образъ, но онъ совершенно безплотный!
«Цѣлую ночь, я видѣлъ, душа несчастливца Патрокла
«Все надо мною стоила, стенающій, плачущій призракъ;
«Все мнѣ завѣты твердила, ему совершенно подобая!»

Это ли не романтизмъ?

А старецъ Пріамъ, лобызающій руки убійцы дѣтей своихъ,
и умоляющій его о выкупѣ Гекторова тѣла?

Старецъ, никѣмъ непримѣченный, входитъ въ покой, и Пелиду
Въ ноги упавъ, обымаетъ колѣна и руки целуетъ,
Страшныя руки, дѣтей у него погубившія многихъ...

.....
«Вспомни отца своего, Ахиллесъ, безсмертнымъ подобный.
«Старца такого-жь, какъ я на порогѣ старости скорбной!
«Можетъ быть въ самый сей мигъ, и его окруживши, сосѣди
«Ратью тѣснятъ, и не кому старца отъ горя изобвинтъ...
«Но по крайней онъ мѣрѣ, что живъ ты и зная и слыша,
«Сердце тобой веселить, и вседневно льстится надеждой,

«Милаго сына узрѣвъ, возвратившагося въ домъ изъ-подъ Трои.
«Я же, несчаствѣйшій смертный, сыновъ возрастилъ браноносныхъ
«Въ Троѣ святой, и изъ нихъ ни единого мнѣ не осталось!
«Я пятьдесятъ ихъ имѣлъ при нашествіи рати ахейской:
«Ихъ девятнадцать братьевъ отъ матери было единой;
«Прочихъ родили другія любезныя жены въ чертогахъ:
«Многимъ Арей истребитель сломилъ имъ несчастнымъ колѣна,
«Сынъ остался одинъ, защищалъ онъ и градъ нашъ и гражданъ;
«Ты умертвилъ и его, за отчизну сражавшагося храбро.
«Гектора! Я для него прихожу къ кораблямъ мирмидонскимъ;
«Выкупить тѣло его, приношу драгоцѣнный я выкупъ.
«Храбрый, почти ты боговъ, надъ мнойъ злополучіемъ сжался.
«Вспомнивъ Пелея родители! я еще болѣе жалокъ!
«Я испытую, чего на землѣ не испытывалъ смертный:
«*Мужа, убійцы дѣтей моихъ, руки къ устамъ прижимаю!*»
Такъ говоря, возбудилъ объ отцѣ въ немъ печальныя думы;
За руку старца онъ взявъ, отъ себя отклонилъ его тихо.
Оба они вспоминая: Приамъ знаменитаго сына,
Горестно плакалъ, у ногъ Ахиллесовыхъ въ прахъ простертый;
Царь Ахиллесъ, то отца вспоминая, то друга Патрокла,
Плакалъ—и горестный стонъ ихъ кругомъ раздавался по дому.

Заклучимъ наши указанія на романтизмъ греческій прекрасною эпиграммою, переведенною Батюшковымъ же изъ греческой антологіи; она называется—«Яворъ къ Прохожему»:

Смотрите, виноградъ кругомъ меня какъ вьется!
Какъ любить мой полуистлѣвшій пенъ!
Я нѣкогда ему давалъ отрадну тѣнь;
Завялъ: но виноградъ со мной не разстается.

Зевеса умоли.

Прохожій, если ты для дружества способенъ,
Чтобъ другъ твой моему былъ нѣкогда подобенъ
И пепель твой любилъ, оставиши на землѣ.

Въ основѣ всякаго романтизма непремѣнно лежитъ мистицизмъ, болѣе или менѣе мрачный. Это объясняется тѣмъ, что преобладающій элементъ романтизма есть вѣчное и неопредѣленное стремленіе, не уничтожаемое никакимъ удовлетвореніемъ. Источникъ романтизма,—какъ мы уже замѣтили выше,—есть таинственная внутренность груди, мистическая

сущность бьющагося кровью сердца. Поэтому у Грековъ всѣ божества любви и ненависти, симпатіи и антипатіи, были божества подземныя, титаническія, дѣти Урана (неба) и Геи (земли), а Уранъ и Гея были дѣти Хаоса. Титаны долго оспаривали могущество боговъ олимпійскихъ, и хотя громами Зевеса они были низринуты въ тартаръ, но одинъ изъ нихъ — Прометей, предсказалъ паденіе самого Зевеса. Этотъ мифъ о вѣчной борьбѣ титаническихъ силъ съ небесными глубоко знаменателенъ: ибо онъ означаетъ борьбу естественныхъ, сердечныхъ стремленій человѣка съ его разумнымъ сознаніемъ, и хотя это разумное сознаніе наконецъ восторжествовало въ образѣ олимпійскихъ боговъ надъ титаническими силами естественныхъ и сердечныхъ стремленій, — но оно не могло уничтожить ихъ, ибо титаны были безсмертны подобно олимпійцамъ; — Зевесъ только могъ заключить ихъ въ подземное царство вѣчной ночи, оковавъ цѣпями, но и оттуда они успѣли же наконецъ потрясти его могущество. Глубоко знаменательная мысль лежитъ въ основѣ Софокловой «Антигоны». Героиня этой трагедіи падаетъ жертвою любви своей къ брату, враждебно столкнувшейся съ закономъ гражданскимъ: ибо она хотѣла погребсти съ честію тѣло своего брата, въ которомъ представитель государства видѣлъ врага отечества и общественнаго спокойствія. Эта страшная борьба романтическаго элемента съ элементами религіозными, государственными и мыслительными, — борьба, въ которой заключается главный источникъ страданій бѣднаго человѣчества, кончится тогда только, когда свободно примирятся божества титаническія съ божествами олимпійскими. Тогда настанетъ новый золотой вѣкъ, который столько же будетъ выше перваго, сколько состояніе разумнаго сознанія выше состоянія естественной, животной непосредственности. Самый мистическій, слѣдственно, самый романтическій поэтъ Греціи былъ Гезіодъ — одинъ изъ первоначальныхъ поэтовъ Эллады; и потомъ самый романтическій

поэтъ Греціи былъ трагикъ Эврипидъ — одинъ изъ послѣднихъ ея поэтовъ.

Впрочемъ, романтизмъ не былъ преобладающимъ элементомъ въ жизни Грековъ: онъ даже подчинялся у нихъ другому, болѣе преобладающему элементу — общественной и гражданской жизни. Поэтому романтизмъ греческій всегда ограничивался и уравнивался другими сторонами эллинскаго духа и не могъ доходить до крайностей нелѣпаго. Изъ мифовъ Танталя и Сизифа видно, какъ чуждо было духу греческому остановиться на идеѣ неопредѣленнаго стремленія. Танталя мучится въ подземномъ мірѣ безконечно ненасытимою жаждою; Сизифъ долженъ безпрестанно падающій тяжкій камень поднимать снова; эти наказанія, такъ же какъ и самыя титаническія силы, имѣютъ въ себѣ что-то безмѣрное, тяжело-безконечное: въ нихъ выражается ненасытимость внутренне-личнаго естественнаго вождельнія, которое въ своемъ непрерывномъ повтореніи не достигаетъ до спокойствія, удовлетворенія: ибо божественный смыслъ Грековъ понималъ пребываніе въ неопредѣленномъ стремленіи не какъ высочайшее божество, въ смыслѣ новѣйшей романтики, но какъ проклятіе, и заключилъ его въ тартаръ.

Не такимъ является романтизмъ въ средніе вѣка. Хотя романтизмъ есть общее духу человѣческому явленіе, во все времена и для всехъ народовъ присущее, но онъ считается какою-то исключительною принадлежностію среднихъ вѣковъ и даже носить на себѣ имя народовъ романскаго происхожденія, игравшихъ главную роль въ эту великую и мрачную эпоху человѣчества. И это произошло не отъ ошибки, не отъ заблужденія: средніе вѣка — дѣйствительно романтическіе по превосходству. Въ Греціи, какъ мы видѣли, романтизмъ былъ силою мрачною, всегда движущеюся, вѣчно борющеюся съ богами Олимпа и вѣчно держащею ихъ въ страхѣ; но эта сила всегда была побѣждаема высшею силою олимпійскихъ божествъ: въ средніе вѣка, напротивъ, романтизмъ

составлялъ безпримѣрную, самобытную силу, которая, не будучи ничѣмъ ограничиваема, дошла до послѣднихъ крайностей противорѣчія и бессмыслицы. Этимъ страннымъ міромъ среднихъ вѣковъ управлялъ не разумъ, а сердце и фантазія. Казалось, что міръ снова сдѣлался добычею разнужданныхъ элементарныхъ силъ природы: сорвашіеся съ цѣпей титаны снова ринулись изъ тартара и овладѣли землею и небомъ,—и надъ всѣмъ этимъ снова распростерлось мрачное царство хаоса... Всего удивительнѣе, что это движеніе совершалось въ противорѣчій съ своимъ сознаниемъ. Олимпійскія силы у Грековъ выражали общее и безусловное, а титаническія были представителями индивидуальнаго, личнаго начала. Въ средніе вѣка всѣ начала назывались чужими, противоположными имъ именами. Движеніе ихъ было чисто сердечное и страстное, а совершалось оно не во имя сердца и страсти, а во имя духа; движеніе это развило до послѣдней крайности значеніе человѣческой личности, совершилось же оно не во имя личности, а во имя самой общей, безусловной и отвлеченной идеи, для выраженія которой не доставало словъ — ихъ замѣняли символы и условныя формы. Въ этомъ странномъ мірѣ, безуміе было высшею мудростію, а мудрость — буйствомъ; смерть была жизнью, а жизнь — смертію, и міръ распался на два міра — на презираемое здѣсь и неопредѣленное таинственное тамъ. Все жило и дышало чувствомъ безъ дѣйствительности, порываніемъ безъ достиженія, стремленіемъ безъ удовлетворенія, надеждою безъ совершенія, желаніемъ безъ выполненія, страстною, безпокойною дѣятельностію безъ цѣли и результата. Хотѣли чувствовать для того только, чтобъ стремиться, желать — чтобъ желать, а дѣйствовать — чтобъ не быть въ покоѣ. На тѣло смотрѣли не какъ на проявленіе и орудіе духа, а какъ на вериги и темницу духа, не раздѣляли мнѣнія древнихъ, что только въ здоровомъ тѣлѣ можетъ обитать и здоровая душа, но, напротивъ, были убѣждены, что только

изможденное и устарѣвшее до времени тѣло могло быть ода- рено ясновидѣніемъ истины... Чудовищныя противорѣчія во всемъ! Дикій фанатизмъ шелъ объ руку съ святотатствомъ; злодѣйство и преступленіе смѣнялись покаяніемъ, крайность котораго казалось, превосходила силы духа человѣческаго; набожность и кощунство дружно жили въ одной и той же душѣ. Понятіе о чести сдѣлалось краеугольнымъ камнемъ общественнаго зданія; но честь полагали въ формѣ, а не въ сущности: рыцарь, неявившійся на вызовъ смерти, видѣлъ честь свою погибшею; но выходя на большія дороги гра- бить купеческіе обозы, онъ не боялся увидѣть опозореннымъ гербъ свой... Любовь къ женщинѣ была воздухомъ, кото- рымъ люди дышали въ то время. Женщина была царицею этого романтическаго міра. За одинъ взглядъ ея, за одно ея слово—умереть казалось слишкомъ ничтожною жертвою, по- бѣдить одному тысячи—слишкомъ легкимъ дѣломъ. Прохаты десятки верстъ, на дорогѣ помятъ бока и поломать свои кости въ поединкѣ, въ проливной дождь и бурю простоять подъ окномъ «обожаемой дѣвы», чтобъ только увидѣть въ окнѣ промелькнувшую тѣнь ея—казалось высочайшимъ блажен- ствомъ. Доказать, что «дама его сердца» прекраснѣе и до- бродѣтельнѣе всѣхъ женщинъ въ мірѣ, доказать это людямъ, которые никогда не видали его дамы, и доказать имъ это силою руки, гибкостью тѣла, лезвіемъ меча и остріемъ ники— казалось для рыцаря священнымъ дѣломъ. Онъ смотрѣлъ на свою даму, какъ на существо безплотное; чувственное стре- мленіе къ ней онъ почелъ бы профанацію, грѣхомъ, она была для него идеаломъ, и мысль о ней давала ему и хра- брость и силу. Онъ призывалъ ея имя въ битвахъ, онъ умира- лъ съ ея именемъ на устахъ. Онъ былъ ей вѣренъ всю жизнь,—и еслибъ для этой вѣрности у него не хватило люб- ви въ сердцѣ, онъ легко замѣнилъ бы ее аффектацію. И это страстно-духовное, это трепетно-благоговѣйное обожаніе избранной «дамы сердца» нисколько не мѣшало жениться на

другой, или быть въ самой грѣховной связи съ десятками другихъ женщинъ,—не мѣшало самому грубому, циническому разврату. То идеаль, а то дѣйствительность: зачѣмъ же имъ было мѣшать другъ другу?... Надо отдать въ одномъ справедливость среднимъ вѣкамъ: они обожали красоту, какъ и Греки; но въ свое понятіе о красотѣ внесли духовный элементъ. Греки понимали красоту только какъ красоту строго правильную, съ изящными формами, оживленными граціею; красота среднихъ вѣковъ была красотою не одной формы, но и какъ чувственное выраженіе нравственныхъ качествъ, болѣе духовная, чѣмъ тѣлесная,—красота для художественнаго возсозданія которой скульптура была уже слишкомъ бѣднымъ искусствомъ, и которую могла воспроизводить только живопись. Для Грековъ красота существовала въ цѣломъ, и потому ихъ статуи были нагія, или полунагія; красота среднихъ вѣковъ вся была сосредоточена въ выраженіи лица и глазъ. Нельзя не согласиться, что понятіе среднихъ вѣковъ о красотѣ—болѣе романтическое и болѣе глубокое, чѣмъ понятіе древнихъ. Но средніе вѣка и тутъ не умѣли не исказить дѣла крайностію и преувеличеніемъ: они слишкомъ любили туманную неопредѣленность выраженія въ лицѣ женщины, и въ ихъ картинахъ она является какъ-будто совсѣмъ безъ формъ, совсѣмъ безъ тѣла, какъ-будто тѣнью, призракомъ какимъ-то. Въ понятіи о блаженствѣ любви средніе вѣка были діаметрально противоположны Грекамъ. Вступить въ любовную связь съ дамою сердца, значило бы тогда осквернить свои святѣйшія и задушевнѣйшія вѣрованія; вступить съ нею въ бракъ—унизить ее до простой женщины, увидѣть въ ней существо земное и тѣлесное... Да соединеніе съ любимой женщиною и не казалось тогда какою-то необходимостію. Любили для того, чтобъ любить, и мистика сердечныхъ движеній отъ мысли любить и быть любимымъ—была самымъ полнымъ удовлетвореніемъ любви и наградою за любовь. Еслибъ конюхъ влюбился въ дочь гордаго барона,—

его ожидало бы неземное счастіе, небесное блаженство; онъ даже не захотѣлъ бы и знать, любить ли его: для него достаточно было сознанія, что онъ любитъ. Вотъ уже подлинно счастіе, котораго не могла лишить судьба, сокровище, котораго никто не могъ похитить!... И хорошо дѣлали тѣ, которые ограничивались платоническимъ обожаніемъ молча, съ фантазіями про себя: бракъ всегда бывалъ гробомъ любви и счастія. Бѣдная дѣвушка, сдѣлавшись женою, промѣнивала свою корону и свой скипетръ на оковы, изъ царицы становилась рабою и въ своемъ мужѣ, дотолѣ преданнѣйшемъ рабѣ ея прихотей, находила деспотическаго властелина и грознаго судью. Безусловная покорность его грубой и дикой волѣ дѣлалась ея долгомъ, безропотное рабство—ея добродѣтелью, а терпѣніе—единственною опорой въ жизни. Пьяный и бѣшенный, онъ мстилъ ей за дурное расположеніе своего духа, онъ могъ бить ее, равно какъ и свою собаку, въ сердцахъ на дурную погоду, мѣшавшую ему охотиться. При малѣйшемъ подозрѣніи въ невѣрности, онъ могъ ее зарѣзать, удавить, сжечь, зарыть живую въ землю,—и увы!—такія исторіи не были въ средніе вѣка слишкомъ рѣдкими, или исключительными событіями! И вотъ она — царица общества и повелительница храбрыхъ и сильныхъ! И вотъ онъ—чудовищный и нелѣпый романтизмъ среднихъ вѣковъ, столь поэтической, какъ стремленіе, и столь отвратительный, какъ осуществленіе на дѣлѣ! Но довольно о немъ. Съ нимъ всѣ болѣе или менѣе знакомы, ибо о немъ даже и по-русски писано много. Но мы еще возвратимся къ нему, говоря о поэзіи Жуковскаго.

Романтизмъ среднихъ вѣковъ не умиралъ и не исчезалъ: напротивъ, онъ царить еще надъ современнымъ намъ обществомъ, но уже измѣнившійся и выродившійся; а будущее готовитъ ему еще большее измѣненіе. Чтò же убило его въ томъ видѣ, въ какомъ существовалъ онъ въ средніе вѣка?—Свѣтъ просвѣщенія, разогнавшій въ Европѣ мракъ невѣже-

ства, — успѣхи цивилизаціи, открытіе Америки, изобрѣтеніе книгопечатанія и пороха, римское право, и вообще изученіе классической древности. Странное дѣло! Въ Греціи романтизмъ разрушилъ свѣтлый міръ олимпійскихъ боговъ: ибо что же были ученія и таинства элевзинскія, какъ не романтизмъ глубокомысленный и мистическій? Туманныя неопредѣленныя предчувствія высшей духовной сущности, пробудившіяся въ душѣ Грековъ, — находились въ явной противоположности съ рѣзко опредѣленнымъ, яснымъ, но въ то же время и внѣшнимъ міромъ олимпійскихъ боговъ. А такъ какъ сами боги эти лишь по отцу исходили отъ духа, по матери же, исключая Аполлона и Артемиды — рождены были изъ нѣдръ земли, божества довременно-титаническаго, то и духъ Эллиновъ, не удовлетворяясь олимпійцами, обратился къ подземнымъ титаническимъ силамъ, которыя такъ симпатически гармонировали съ міромъ его задушевной жизни, съ его сердцемъ. Нѣкогда погранное могущество древнихъ титаническихъ боговъ возстало теперь преображенное, пріявшее въ себя всю жизнь души, неудовлетворявшейся видимымъ. Это была та же древняя элементарная природа, но уже пришедшая въ гармонію, проникнутая высшею духовностію, не гибельная и пожирающая, но дружественная человѣку, сосредоточенная въ кроткихъ мистическихъ образахъ Цереры и Вакха, которые въ элевзинскихъ мистеріяхъ являлись уже божествами подземнаго міра, таинственными и всеобъемлющими. Подъ вліяніемъ элевзинскихъ таинствъ развилась поэзія Эсхила, столь враждебная Зевсу, и поэзія Эврипида, — развилась вся философія Греціи, и въ особенности философія величайшаго изъ романтиковъ — Платона. Слѣдовательно, въ Греціи романтизмъ, какъ выраженіе подземныхъ титаническихъ силъ, игралъ роль демона, подкопавшаго царство Зевеса. Въ новомъ же мірѣ, романтизмъ сталъ представителемъ царства титаническаго, мрачнаго царства страданій и скорби; ничѣмъ неутолимымъ порывомъ сердца; а разрушителемъ этого романтиз-

ма, демономъ сомнѣнія и отрицанія—явилось царство Зевеса, т. е. царство свѣтлаго и свободнаго разума. Та же исторія только совершенно наоборотъ! Всѣмъ извѣстно, какіе страшные удары нанесены были среднимъ вѣкамъ демономъ ироніи! Какое страшное, въ этомъ отношеніи, произведеніе «Донъ-Кихоть» Сервантеса! Реформатское движеніе было явнымъ убійствомъ среднихъ вѣковъ. XVIII вѣкъ дорѣзалъ его радикально. Этотъ умнѣйшій и величайшій изъ всѣхъ вѣковъ былъ особенно страшенъ для среднихъ вѣковъ...

Вслѣдствіе страшныхъ потрясеній и ударовъ, нанесенныхъ романтизму XVIII-мъ вѣкомъ, романтизмъ явился въ наше время совершенно перерожденнымъ и преображеннымъ. Романтизмъ нашего времени есть сынъ романтизма среднихъ вѣковъ, но онъ же очень сродни и романтизму греческому. Говоря точнѣе, нашъ романтизмъ есть органическая полнота и всецѣлость романтизма всѣхъ вѣковъ и всѣхъ фазисовъ развитія человѣческаго рода: въ нашемъ романтизмѣ, какъ лучи солнца въ фокусъ зажигательнаго стекла, сосредоточились всѣ моменты романтизма, развившагося въ исторіи человѣчества, и образовали совершенно новое цѣлое. Общество все еще держится принципами стараго, средне-вѣковаго романтизма, обратившагося уже въ пустыя формы за отсутствіемъ умершаго содержанія; но люди, имѣющіе право называться «солью земли», уже силятся осуществить идеалъ новаго романтизма. Наше время есть эпоха гармоническаго уравниванія всѣхъ сторонъ человѣческаго духа. Стороны духа человѣческаго неизчислимы въ ихъ разнообразіи; но главныхъ сторонъ только двѣ: сторона внутренняя, задушевная, сторона сердца, словомъ, романтика, — и сторона сознающаго себя разума, сторона общаго, разумѣя подъ этимъ словомъ сочетаніе интересовъ, выходящихъ изъ сферы индивидуальности и личности. Въ гармоніи, т. е. во взаимномъ сопроникновеніи одной съ другою этихъ двухъ сторонъ духа, заключается счастье современнаго человѣка.

Романтизмъ есть вѣчная потребность духовной природы чело-
вѣка; ибо сердце составляетъ основу, коренную почву его
существованія, а безъ любви и ненависти, безъ симпатіи
и антипатіи челоуѣкъ есть призракъ. Любовь — поэзія и
солнце жизни. Но горе тому, кто, въ наше время, зданіе
счастія своего вздумаетъ построить на одной только любви
и въ жизни сердца вознадеется найти полное удовле-
твореніе всѣмъ своимъ стремленіямъ! Въ наше время, это зна-
чило бы отказаться отъ своего челоуѣческаго достоинства,
изъ муцины сдѣлаться—самцомъ! Міръ дѣйствительный имѣ-
етъ равныя, если еще не бодшія права на челоуѣка, и въ
этомъ мірѣ челоуѣкъ является прежде всего сыномъ своей
страны, гражданиномъ своего отечества, горячо принимаю-
щимъ къ сердцу его интересы и ревностно поборающимъ.
по мѣрѣ силъ своихъ, его преуспѣванію на пути нравствен-
наго развитія. Любовь къ челоуѣчеству, понимаемому въ
его историческомъ значеніи, должна быть живоносною мыс-
лію, которая просвѣтляла бы собою любовь его къ роди-
нѣ. Историческое созерцаніе должно лежать въ основѣ этой любви
и служить указателемъ для дѣятельности, осуществляющей
эту любовь. Знаніе, искусство, гражданская дѣятельность—
все это составляетъ для современнаго челоуѣка ту сторону
жизни, которая должна быть только въ живой органиче-
ской связи съ стороною романтики, или внутренняго за-
душевнаго міра челоуѣка,—но не замѣняться ею. Если чело-
уѣкъ захочетъ жить только сердцемъ, во имя одной любви,
и въ женщинѣ найти цѣль и весь смыслъ жизни, — онъ
непремѣнно дойдетъ до результата самаго противоположнаго
любви, т. е. до самаго холоднаго эгоизма, который жи-
ветъ только для себя и все относитъ къ себѣ. Если, на-
противъ, челоуѣкъ, презрѣвъ жизнью сердца, захотѣлъ бы
весь отдаться интересамъ общимъ, — онъ или не избѣ-
жалъ бы тайной тоски и чувства внутренней неполноты и
пустоты, или, если не почувствовалъ бы ихъ, то внесъ бы

въ міръ высокой дѣятельности сухое и холодное сердце, при которомъ не бываетъ у человѣка ни высокихъ помысловъ, ни плодотворной дѣятельности. Итакъ, эгоизмъ и ограниченность, или неполнота— въ обѣихъ этихъ крайностяхъ; очевидно, что только изъ гармоническаго ихъ сопроникновенія одной другою выходитъ возможность полнаго удовлетворенія, а слѣдственно и возможность свойственнаго и присущаго душѣ человѣка счастья, основаннаго не на песчаномъ берегу случайности, а на прочномъ фундаментѣ сознанія. Въ этомъ отношеніи мы гораздо ближе къ жизни древнихъ, чѣмъ къ жизни среднихъ вѣковъ, и гораздо выше тѣхъ и другихъ. Ибо, въ нашемъ идеалѣ, общество не угнетаетъ человѣка насчетъ естественныхъ стремленій его сердца, а сердце не отрываетъ его отъ живой общественной дѣятельности. Это не значить, чтобъ общество позволяло теперь человѣку, между прочимъ, и любиться, но это значить, что уже нѣтъ, или, по крайней мѣрѣ, болѣе не должно быть борьбы между сердечными стремленіями и общественнымъ устройствомъ, примиренными разумно и свободно. И въ наше время, жизнь и дѣятельность въ сферѣ общаго есть необходимость не для одного мужчины, но точно такъ же и для женщины: ибо наше время создало уже, что и женщина такъ же точно человѣкъ, какъ и мужчина, и создало это не въ одной теоріи (какъ это же сознавали и средніе вѣка), но и въ дѣйствительности. Если же мужчинѣ позорно быть самцомъ на томъ основаніи, что онъ человѣкъ, а не животное, то и женщинѣ позорно быть самкою на томъ основаніи, что она — человѣкъ, а не животное. Ограничить же кругъ ея дѣятельности скромностью и невинностью въ состояніи дѣвическомъ, спальнею и кухнею въ состояніи замужества (какъ это было въ средніе вѣка)—не значить ли это лишить ее правъ человѣка, а изъ женщины сдѣлать самкою? Но, скажутъ намъ: женщина — мать, а назначеніе матери свято и высоко—она воспитательница дѣтей своихъ.

Прекрасно! Но вѣдь воспитывать не значитъ только выкармливать и вынянчивать (первое можетъ сдѣлать корова, или коза, а второе нянька), но и дать направленіе сердцу и уму, — а для этого развѣ не нужно, со стороны матери, характера, науки, развитія, доступности ко всѣмъ человѣческимъ интересамъ?... Нѣтъ, міръ знанія, искусства, словомъ, міръ общаго долженъ быть столько же открытъ женщинѣ, какъ и мужчинѣ, на томъ основаніи, что и она, какъ и онъ, прежде всего—человѣкъ, а потомъ уже любовница, жена, мать, хозяйка, и проч. Вслѣдствіе этого, отношенія обоихъ половъ къ любви и одного къ другому въ любви дѣлаются совсѣмъ другими, нежели какими они были прежде. Женщина, которая умѣетъ только любить мужа и дѣтей своихъ, а больше ни о чемъ не имѣетъ понятія и больше ни къ чему не стремится, — такъ же точно смѣшна, жалка и недостойна любви мужчины, какъ смѣшонъ, жалокъ и недостойнъ любви женщины мужчина, который только на то и способенъ, чтобъ влюбиться, да любить жену и дѣтей своихъ. Такъ какъ истинно человѣческая любовь теперь можетъ быть основана только на взаимномъ уваженіи другъ въ другъ человѣческаго достоинства, а не на одномъ капризѣ чувства и не на одной прихоти сердца.—то и любовь нашего времени имѣетъ уже совсѣмъ другой характеръ, нежели какой имѣла она прежде. Взаимное уваженіе другъ въ другъ человѣческаго достоинства производитъ равенство, а равенство—свободу въ отношеніяхъ. Мужчина перестаетъ быть властелиномъ, а женщина—рабою, и съ обѣихъ сторонъ устанавливаются одинаковыя права и одинаковыя обязанности; послѣднія, будучи нарушены съ одной стороны, тотчасъ же не признаются болѣе и другою. Вѣрность перестаетъ быть долгомъ, ибо означаетъ только постоянное присутствіе любви въ сердцѣ: нѣтъ болѣе чувства — и вѣрность теряетъ свой смыслъ; чувство продолжается — вѣрность опять не имѣетъ смысла: ибо что за заслуга быть вѣрнымъ своему счастью!

Мы сказали выше, что романтизмъ нашего времени есть органическое единство всѣхъ моментовъ романтизма, развившагося въ исторіи человѣчества. Приступая къ развитію этой мысли, замѣтимъ прежде, что теперь для всякаго возраста и для всякой ступени сознанія должна быть своя любовь, т. е. одинъ изъ моментовъ развитія романтизма въ исторіи. Смѣшно было бы требовать, чтобъ сердце въ восемнадцать лѣтъ любило, какъ оно можетъ любить въ тридцать и сорокъ, или наоборотъ. Есть въ жизни человѣка пора восточнаго романтизма; есть пора греческаго романтизма; есть пора романтизма среднихъ вѣковъ. И во всякую пору человѣка, сердце его само знаетъ, какъ надо любить ему и какой любви должно оно отозваться. И съ каждымъ возрастомъ, съ каждою ступеню сознанія въ человѣкѣ, измѣняется его сердце. Измѣненіе это совершается съ болью и страданіемъ. Сердце вдругъ охладѣваетъ къ тому, что такъ горячо любило прежде и это охлажденіе повергаетъ его во всѣ муки пустоты, которой не чѣмъ ему наполнить, — раскаянія, которое все-таки не обратитъ его къ оставленному предмету, — стремленія, котораго оно уже боится, и которому оно уже не вѣрить. И не одинъ разъ повторяется въ жизни человѣка эта романическая исторія, прежде чѣмъ достигнетъ онъ до нравственной возможности найти своему успокоенному сердцу надежную пристань въ этомъ вѣчно волнуемомъ морѣ неопредѣленныхъ внутреннихъ стремленій. И тяжело дается человѣку эта нравственная возможность: дается она ему цѣною разрушенныхъ надеждъ, несбывшихся мечтаній, побитыхъ фантазій, цѣною уничтоженія всего этого романтизма среднихъ вѣковъ, который истиненъ только, какъ стремленіе, и всегда ложенъ, какъ осуществленіе! И не каждый достигаетъ этой нравственной возможности; но большая часть падаетъ жертвою стремленія къ ней, падаетъ съ разбитымъ на всю жизнь сердцемъ, нося въ себѣ, какъ проклятіе, память о другомъ разбитомъ навсегда сердцѣ,

о другомъ навѣки погубленномъ существованіи... И здѣсь-то заключается неисчерпаемый источникъ трагическихъ положеній, печальныхъ романтическихъ исторій, которыми такъ богата современная дѣйствительность, наша грустная эпоха, которой не достаетъ еще силъ ни оторваться совершенно отъ романтизма среднихъ вѣковъ, ни возвратиться вновь и вполне въ обманчивыя объятія этого обаятельнаго призрака... Но иные спасаются отъ общей участи времени, находя въ самомъ же этомъ времени не всѣми видимыя и не всѣмъ доступныя средства къ спасенію. Это спасеніе возможно не иначе, какъ только черезъ совершенное отрицаніе неопредѣленнаго романтизма среднихъ вѣковъ; однакожь, это не есть отрицаніе отъ всякаго идеализма и погруженіе въ прозу и грязь жизни, какъ понимаетъ ее толпа, но просвѣтлѣніе идеєю самыхъ простыхъ житейскихъ отношеній, очеловѣченіе естественныхъ стремленій. Для человѣка нашего времени не можетъ не существовать прелесть изящныхъ формъ въ женщинѣ, ни обаятельная сила эстетически-страстнаго наслажденія. И, несмотря на то, это будетъ ни одна чувственность, ни одна страсть, но вмѣстѣ съ тѣмъ и глубокое цѣломудренное чувство, привязанность нравственная, связь духовная, любовь души къ душѣ. Это будетъ растеніе, котораго прекрасный и роскошный цвѣтъ проливаетъ въ воздухъ аромать, а корень кроется во влажной и мрачной почвѣ земли. Восточная любовь основана на различіи половъ: основаніе это истинно, и недостатокъ восточной любви заключается не въ томъ, что она начинается чувственностью, но въ томъ, что она также и оканчивается чувственностью. Мужчинѣ можно влюбиться только въ женщину, женщинѣ — только въ мужчину: слѣдовательно, половое различіе есть корень всякой любви, первый моментъ этого чувства. Грекъ обо-жалъ въ женщинѣ красоту, какъ только красоту, придавая ей въ вѣчныя сопутницы грацію. Основа такого воззрѣнія на женщину истинна и въ наше время, и надо имѣть ду-

бовую натуру и заскоруждое чувство, чтобъ смотрѣть на красоту, не плѣняясь и не трогаясь ею; но одной красоты въ женщинѣ мало для романтизма нашего времени. Романтизмъ среднихъ вѣковъ пошелъ далѣе древнихъ въ понятіи о красотѣ: онъ отказался отъ обожанія красоты, какъ только красоты, и хотѣлъ видѣть въ ней душевное выраженіе. Но это выраженіе понялъ онъ до того неопредѣленно и туманно, что древняя пластическая красота относилась къ идеалу его красоты, какъ прекрасная дѣйствительность къ прекрасной мечтѣ. Понятіе нашего времени о красотѣ выше созерцанія древняго и созерцанія среднихъ вѣковъ: оно не удовлетворяется красотой, которая только что красота и больше ничего, какъ эти прекрасныя, но холодныя мраморныя статуи греческія съ безцвѣтными глазами; но оно также далеко и отъ безплотнаго идеала среднихъ вѣковъ. Оно хочетъ видѣть въ красотѣ одно изъ условій, возвышающихъ достоинство женщины, и вмѣстѣ съ тѣмъ ищетъ въ лицѣ женщины опредѣленнаго выраженія, опредѣленнаго характера, опредѣленной идеи, отблеска опредѣленной стороны духа. Въ наше время умный человѣкъ, уже вышедшій изъ пелень фантазіи, не станетъ искать себѣ въ женщинѣ идеала всѣхъ совершенствъ: — не станетъ потому, во-первыхъ, что не можетъ видѣть въ самомъ себѣ идеала всѣхъ совершенствъ, и не захочетъ запросить больше, нежели сколько самъ въ состояніи дать, а во-вторыхъ, потому, что не можетъ, какъ умный человѣкъ, вѣрить возможности осуществленнаго идеала всѣхъ совершенствъ, ибо онъ — опять-таки какъ умный, а не фантазирующій человѣкъ, — знаетъ, что всякая личность есть ограниченіе «всего» и исключеніе «многаго», какими бы достоинствами она ни обладала, и что самыя эти достоинства необходимо предполагаютъ недостатки. Найти одну или, пожалуй, нѣсколько нравственныхъ сторонъ, и умѣть ихъ понять и оцѣнить — вотъ идеаль разумной (а не фантастической) любви на-

шего времени. Красота возвышает нравственные достоинства; но безъ нихъ красота въ наше время существуетъ только для глазъ, а не для сердца и души. Въ чемъ же должны заключаться нравственные качества женщины нашего времени? — Въ страстной натурѣ и возвышенно-простомъ умѣ. Страстная натура состоитъ въ живой симпатіи ко всему, что составляетъ нравственное существованіе человѣка; возвышенно-простой умъ состоитъ въ простомъ пониманіи даже высокихъ предметовъ, въ тактѣ дѣйствительности, въ смѣлости не бояться истины, ненаблѣнной и ненарушенной фантазію. Въ чемъ состоитъ блаженство любви по понятію нашего времени? — Въ наше время о полномъ безусловномъ счастіи въ любви могутъ мечтать только или отроки, или духовно-малолѣтныя натуры. Это, во-первыхъ, потому, что міръ романтизма не можетъ вполнѣ удовлетворить порядочнаго человѣка, а во-вторыхъ, потому, что наше время какъ-то вообще не удобно для всякаго счастья, а тѣмъ менѣе для полного. Возможное счастье любви въ наше время зависитъ отъ способности дорожить одареннымъ благородною душою существомъ, которое, при сердечной симпатіи къ вамъ, столько же можетъ понимать васъ такъ, какъ вы есть (ни лучше, ни хуже), сколько и вы можете понимать его, и понимать въ томъ, что составляетъ принадлежность нравственнаго существованія человѣка. Видѣть и уважать въ женщинѣ человѣка — не только необходимое, но и главное условіе возможности любви для порядочнаго человѣка нашего времени. Наша любовь проще, естественнѣе, но и духовнѣе, нравственнѣе любви всѣхъ предшествовавшихъ эпохъ въ развитіи челоуѣчества. Мы не преклонимъ колѣнъ передъ женщиною за то только, что она прекрасна собою, какъ это дѣлали Греки; но мы и не бросимъ ея, какъ наскучившую намъ игрушку, лишь только чувство наше насытилось обладаніемъ. Это не значитъ, чтобъ наше сердце не могло иногда охладѣвать безъ причины; но

для насъ нѣтъ большаго несчастія, какъ, взявъ на себя нравственную отвѣтственность въ счастіи женщины, разтерзать ее сердце, хотя бы и невольно. Мы ни съ кѣмъ не станемъ драться, чтобъ заставить кого-нибудь признать любимую нами женщину за чудо красоты и добродѣтели, какъ это дѣлали рыцари; но мы уважемъ ее дѣйствительныя права, и, не дѣлая ее своею царицею, не захотимъ видѣть въ ней не только свою рабу, но и низшее (почему-то) насъ существо... Мы не увидимъ въ ней, какъ средніе вѣка, какого-то безплотнаго существа высшей природы, но вполне признаемъ ее человѣкомъ... Мать нашихъ дѣтей, она не унижится, но возвысится въ глазахъ нашихъ, какъ существо, свято выполнившее свое святое назначеніе, и наше понятіе о ея нравственной чистотѣ и непорочности не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ грязно-чувственнымъ понятіемъ, какое придавалъ этому предмету экзальтированный романтизмъ среднихъ вѣковъ: для насъ нравственная чистота и невинность женщины—въ ея сердцѣ, полнотѣ любви, въ ея душѣ, полной возвышенныхъ мыслей... Идеаль нашего времени—не дѣва идеальная и неземная, гордая своею невинностью, какъ скупецъ своими сокровищами, отъ которыхъ ни ему, ни другимъ не лучше жить на свѣтѣ: нѣтъ, идеаль нашего времени—женщина, живущая не въ мірѣ мечтаній, а въ дѣйствительности осуществляющая жизнь своего сердца, — не такая женщина, которая чувствуетъ одно, а дѣлаетъ другое. Въ наше время любовь есть идеальность и духовность чувственнаго стремленія, которое только ею и можетъ быть законно, нравственно и чисто; безъ нея же оно и въ самомъ бракѣ есть униженіе человѣческаго достоинства, грѣховный позоръ и растлѣніе женщины...

Много нужно было времени, битвъ, бореній, переворотовъ и страданій, чтобъ явилась человѣчеству заря новаго романтизма и настала для него эпоха освобожденія отъ романтизма среднихъ вѣковъ. Давно уже условія жизни и

основы общества были другія, непохожія на тѣ, которыми крѣпки были средніе вѣка, но романтизмъ среднихъ вѣковъ все еще держалъ Европу въ своихъ душныхъ оковахъ, и — Боже мой! — какъ еще для многихъ гибельныя клещи этого искаженного и выродившагося призрака!... XVIII вѣкъ нанесъ ему ударъ страшный и рѣшительный; но дѣло тѣмъ, не кончилось: какъ лампа вспыхиваетъ ярче передъ тѣмъ, когда ей надо угаснуть, такъ сильнѣе, въ началѣ нынѣшняго вѣка, возсталъ было изъ своего гроба этотъ покойникъ. Всякое сильное историческое движеніе необходимо порождаетъ реакцію своей крайности: вотъ причина внезапнаго проявленія романтизма среднихъ вѣковъ въ литературѣ XIX вѣка. Онъ воскресъ въ странѣ, которой умственную жизнь составляетъ теорія, созерцаніе, мистицизмъ и фантазерство, и которой дѣйствительную жизнь составляетъ пошлость бюргерства, гофратства и филистерства, — въ Германіи. Въ концѣ XVIII вѣка тамъ явился великій поэтъ, одною стороною своего необъятнаго генія принадлежавшій человѣчеству, а другой нѣмецкой національности. Мы говоримъ о Шиллерѣ, поэзія котораго поражаетъ своею двойственностію при первомъ взглядѣ. Паеосъ ея составляетъ чувство любви къ человѣчеству, основанное на разумѣ и сознаниі; въ этомъ отношеніи Шиллера можно назвать поэтомъ гуманности. Въ поэзіи Шиллера, сердце его вѣчно исходитъ самою живою, пламенною и благородною кровью любви къ человѣку и человѣчеству, ненависти къ фанатизму религіозному и національному, къ предрасудкамъ, къ кострамъ и блчамъ, которые раздѣляютъ людей и заставляютъ ихъ забывать, что они — братья другъ другу. Провозвѣстникъ высокыхъ идей, жрецъ свободы духа, на разумной любви основанной, поборникъ чистаго разума, пламенный и восторженный поклонникъ просвѣщенной, изящной и гуманной древности, — Шиллеръ въ то же время — романтикъ въ смыслѣ среднихъ

вѣковъ! Странное противорѣчіе! А между тѣмъ, это противорѣчіе не подлежитъ никакому сомнѣнію. Мы думаемъ, что первою стороною своей поэзіи Шиллеръ принадлежитъ человѣчеству, а второю онъ заплатилъ невольную дань своей національности. Шиллеръ высокъ въ своемъ созерцаніи любви; но это любовь мечтательная, фантастическая: она боится земли, чтобъ не замараться въ ея грязи, и держится подъ небомъ, именно въ той полосѣ атмосферы, гдѣ воздухъ рѣдокъ и неспособенъ для дыханія, а лучи солнца свѣтять не грѣя... Женщина Шиллера — это не живое существо съ горячею кровью и прекраснымъ тѣломъ, а блѣдный призракъ; это не страсть, а аффектація. Женщина Шиллера любитъ больше головою, чѣмъ сердцемъ, и она у него на пьедесталѣ и подъ стекляннымъ колпакомъ, чтобъ не пахнулъ на нее вѣтеръ и не коснулся ея прахъ земли. Въ балладахъ своихъ Шиллеръ воскресилъ весь піетизмъ среднихъ вѣковъ со всею безотчетностію его содержанія, со всѣмъ простодушіемъ его невѣжества. Послѣ Шиллера образовалась въ Германіи цѣлая партія романтическая, представителями которой были братья Шлегели, Тикъ и Новалисъ. Это все были натуры болѣе или менѣе даровитыя, но безъ всякой искры генія, и они ухватились со всѣмъ жаромъ прозелитовъ за слабую сторону Шиллера, думая найти въ ней все, и хлопоча, сколько хватило ей силъ, о возобновеніи въ новомъ мірѣ формъ жизни среднихъ вѣковъ. Самъ Гёте — человѣкъ высшаго закала, поэтъ мысли и здраваго разсудка, въ легендѣ среднихъ вѣковъ высказалъ страданія современнаго человѣка («Фаустъ»); а въ своемъ «Вертерѣ» явился онъ романтикомъ тоже въ духѣ среднихъ вѣковъ. Многія баллады его (какъ, наприм., «Лѣсной царь», «Рыбакъ» и проч.) дышатъ романтизмомъ того времени. — Это движеніе, возникшее въ Германіи, сообщилося всей Европѣ. Въ Англій явился поэтъ всего менѣе романтической и всего болѣе распространившій страсть

къ феодальнымъ временамъ. Вальтеръ-Скоттъ — самый положительный умъ; герои его романовъ всѣ влюблены, но какъ—этого онъ не раскрываетъ; его дѣло влюбить и женить, а до мистики и страсти, до его развитія и характера онъ никогда не касается. А между тѣмъ, онъ почти безвыходный жилецъ среднихъ вѣковъ: онъ съ такою страстью и такою словоохотливостью описываетъ и кольчугу, и гербъ, и рыцарскую залу, и замокъ, и монастырь той эпохи... Былъ въ Англии другой, еще болѣе великій поэтъ и романтикъ по преимуществу; но тотъ надѣлалъ много вреда и нисколько не принесъ пользы среднимъ вѣкамъ. Образъ Прометея, во всемъ колоссальномъ величїи, въ какомъ передала его намъ фантазія Грековъ, явился вновь въ типическомъ образѣ Байрона; но онъ былъ провозвѣстникомъ новаго романтизма, а старому нанесъ страшный ударъ. Во Франціи тоже явилась романтическая школа въ духѣ среднихъ вѣковъ; она состояла не изъ однихъ поэтовъ, но и мыслителей, и силилась воскресить не только романтизмъ, но и католицизмъ, — что было съ ея стороры очень послѣдовательно. Представителями романтической поэзіи во Франціи были въ особенности два поэта — Гюго и Ламартинъ. Оба они истощили воскресшій романтизмъ среднихъ вѣковъ, и оба пали, засыпанные мусоромъ безобразнаго зданія, которое тщетно усиливались выстроить наперекоръ современной дѣятельности. Имъ недоставало цемента, такъ крѣпко связавшаго колоссальные готическіе соборы среднихъ вѣковъ. Вообще, неестественная попытка воскресить романтизмъ среднихъ вѣковъ давно уже сдѣлалась анахронизмомъ во всей Европѣ. Это была какая-то странная вспышка, на которой опалили себѣ крылья замѣчательные таланты, и которая много повредила своимъ геніямъ.

Но у насъ этотъ романтизмъ, искусственно воскрешенный на минуту въ Европѣ, имѣлъ совсѣмъ другое значеніе. Россія реформою Петра Великаго до того примкнулась къ жизни

Европы, что не могла не ощущать на себѣ вліянія происходивших тамъ умственныхъ движеній. У Россіи не было своихъ среднихъ вѣковъ, и въ литературѣ ея не могло быть самобытнаго романтизма, — а безъ романтизма поэзія то же, что тѣло безъ души. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескивалъ романтизмъ греческій, но не болѣе какъ только проблескивалъ. Впрочемъ, еслибы въ то время явился на Руси поэтъ, вполне проникнутый греческимъ созерцаніемъ и вполне владѣвшій пластицизмомъ греческой формы, — то и въ такомъ случаѣ русская литература выразила бы собою только одинъ моментъ романтизма, за которымъ оставалось бы ожидать другаго. Карамзинъ, какъ мы уже не разъ замѣчали, внесъ въ русскую литературу элементъ сентиментальности, которая — ни что иное, какъ пробужденіе ощущенія (sensation), первый моментъ пробуждающейся духовной жизни. Въ сентиментальности Карамзина ощущеніе является какою — то отчасти болѣзненною раздражительностію нервовъ. Отсюда это обиліе слезъ и истинныхъ, и ложныхъ. Какъ бы то ни было, эти слезы были великимъ шагомъ впередъ для общества; ибо, кто можетъ плакать не только о чужихъ страданіяхъ, но и вообще о страданіяхъ вымышленныхъ, тотъ, конечно, больше человѣкъ, нежели тотъ, кто плачетъ тогда только, когда его больно бьютъ. И однакожь, ощущеніе есть только приготовленіе къ духовной жизни, только возможность романтизма, но еще не духовная жизнь, не романтизмъ: то и другое обнаруживается какъ чувство (sentiment), имѣющее въ основѣ своей мысль. Одухотворить нашу литературу могъ только романтизмъ среднихъ вѣковъ, болѣе близкій и болѣе доступный обществу, нежели греческій романтизмъ, требующій для своего уразумѣнія особеннаго посвященія путемъ науки. Въ Жуковскомъ русская литература нашла своего посвятителя въ таинства романтизма среднихъ вѣковъ. Назначеніе сентиментальности, введенной Карамзинымъ въ русскую литературу, было — расшевелить общество

и приготовить его къ жизни сердца и чувства. Поэтому явление Жуковского вскорѣ послѣ Карамзина очень понятно и вполне согласно съ законами постепеннаго развитія литературы, а через нее—общества. Равнымъ образомъ понятенъ путь, которымъ Жуковский привелъ къ намъ романтизмъ. Это былъ путь подражанія и заимствованія—единственный возможный путь для литературы, не имѣвшей и не могшей имѣть корня въ общественной почвѣ и исторіи своей страны. Надобно было случиться такъ, чтобъ поэтическая натура Жуковского носила въ себѣ сильную родственную симпатію къ музѣ Шиллера и, въ особенности, къ ея романтической сторонѣ. Жуковский познакомился съ своимъ любимымъ поэтомъ при его жизни, когда слава его была на своей высшей точкѣ, — и вышелъ на поприще русской литературы почти непосредственно за смертію Шиллера. Хотя Жуковский всегда дѣйствовалъ какъ необыкновенно даровитый переводчикъ, но на него не должно смотрѣть только какъ на превосходнаго переводчика. Онъ переводилъ особенно хорошо то, что гармонировало съ внутреннею настроенностію его духа, и въ этомъ отношеніи бралъ свое вездѣ, гдѣ только находилъ его—у Шиллера по преимуществу, но вмѣстѣ съ тѣмъ и у Гёте, у Матиссона, Уланда, Гебеля, Вальтеръ-Скотта, Томаса Мура, Грея и другихъ нѣмецкихъ и англійскихъ поэтовъ. Многие онъ даже не столько переводилъ, сколько передѣлывалъ, иное заимствовалъ мѣстами и вставлялъ въ свои оригинальныя пьесы. Однимъ словомъ, Жуковский былъ переводчикомъ на русскій языкъ не Шиллера или другихъ какихъ-нибудь поэтовъ Германіи и Англии: нѣтъ, Жуковский былъ переводчикомъ на русскій языкъ романтизма среднихъ вѣковъ, воскрешеннаго въ началѣ XIX вѣка нѣмецкими и англійскими поэтами, преимущественно же Шиллеромъ. Вотъ значеніе Жуковского и его заслуга въ русской литературѣ.

Жуковский началъ свое поэтическое поприще балладами. Этотъ родъ поэзіи имъ начать, созданъ и утвержденъ на Руси:

современники юности Жуковского смотрѣли на него преимущественно какъ на автора балладъ, и въ одномъ своемъ посланіи Батюшковъ назвалъ его «балладникомъ». Подъ балладою тогда разумѣли краткій разсказъ о любви, большею частію несчастной; могилу, вѣсть, привидѣніе, ночь, луну, а иногда домовыхъ и вѣдьмъ считали принадлежностію этого рода поэзіи,—больше же ничего не подозрѣвали. Но въ балладѣ Жуковского заключался болѣе глубокой смыслъ, нежели могли тогда думать. Баллада и романсъ — народная пѣсня среднихъ вѣковъ, прямое и наивное выраженіе романтизма феодальныхъ временъ, произведенія по-преимуществу романтическія. Первою балладою, обратившею на Жуковского общее вниманіе, была «Людмила», передѣланная имъ изъ Бюргеровой «Леноры», которую онъ впослѣдствіи перевелъ. «Ленора» доставила въ Германіи громкое имя своему творцу. Золотое то время, когда подобными вещами можно снискивать себѣ славу! Такое время миновалось даже для Россіи. Но «Людмила» Жуковского явилась кстати: она имѣла успѣхъ въ родѣ того, какимъ воспользовались «Душенька» Богдановича и «Бѣдная Лиза» Карамзина. Для русской публики все было ново въ этой балладѣ. Стихи, которыми она писана, для нашего времени уже не кажутся особенно поэтическими; въ ней даже есть просто плохіе стихи, какихъ рѣшительно нѣтъ въ другихъ балладахъ Жуковского; но и «Людмила» въ то время могла быть написана только Жуковскимъ,—и стихи этой баллады не могли не удивить всѣхъ своею легкостью, звучностью, а главное—своимъ складомъ, совершенно необычнымъ, новымъ и оригинальнымъ. Содержаніе баллады—самое романтическое, во вкусѣ среднихъ вѣковъ: дѣвушка, узнавъ, что милый ея палъ на полѣ битвы, ропщетъ на судьбу, и за то ее постигаетъ страшное наказаніе: милый пріѣзжаетъ за нею на конѣ и увозитъ ее — въ могилу, и хоръ тѣней воеетъ надъ нею эту моральную сентенцію:

Смертныхъ ропоть безразсуденъ;
Царь всевышній правосуденъ;
Твой услышалъ стонъ Творецъ:
Часть твой билъ, насталъ конецъ.

Было время (и оно давно - давно уже прошло для насъ), когда эта баллада доставляла намъ какое-то сладостно страшное удовольствіе, и, чѣмъ больше ужасала насъ, тѣмъ съ большею страстью мы читали ее. Дѣти нынѣшняго времени стали умнѣе, — и мы не думаемъ, чтобъ теперь даже и между ними могли найдтись почитатели «Людмилы». А между тѣмъ, повторяемъ, она самое романтическое произведеніе въ духѣ среднихъ вѣковъ. И еслибы мы не помнили, какъ она коротка казалась намъ во время оно, несмотря на свои двѣсти пятьдесятъ два стиха, — то не могли бы теперь довольно надивиться тому, какъ достало у поэта терпѣнія и силы написать столь длинную балладу въ такомъ родѣ... Но у всякаго времени свои вкусы и привязанности. Мы теперь не станемъ восхищаться «Бѣдною Лизою», однакожь эта повѣсть, въ свое время, исторгла много слезъ изъ прекрасныхъ глазъ, прославила Лизинъ Прудъ и испестрила кору растущихъ надъ нимъ березъ чувствительными надписями. Старожилы говорятъ, что вся читающая Москва ходила гулять на Лизинъ Прудъ, что тамъ были и мѣста свиданія любовниковъ, и мѣста дуэлей. И много было писано потомъ повѣстей въ такомъ родѣ; но ихъ тотчасъ же забывали по прочтеніи, а до насъ не дошли даже и названія ихъ, — знакъ, что только талантъ умѣеть угадывать общую потребность и тайную думу времени. Всѣ произведенія, которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться въ исторіи: это курганы, указывающіе на путь народовъ и на мѣста ихъ роздыховъ... Къ такимъ произведеніямъ принадлежитъ «Людмила» Жуковскаго. Сверхъ того, романтизмъ этой баллады состоитъ не въ одномъ нелѣпомъ содержаніи ея, на изобрѣтеніе котораго стало бы самаго дюжиннаго таланта,

но въ фантастическомъ колоритѣ красокъ, которыми оживлена мѣстами эта дѣтски-простодушная легенда, и которыя свидѣтельствуютъ о талантѣ автора. Такіе стихи, какъ на примѣръ, слѣдующіе, были для своего времени откровеніемъ тайны романтизма:

Слышу шорохъ тихихъ тѣпей:
Въ часъ полуночныхъ видѣній,
Въ дымъ облака, толпой,
Прахъ оставя гробовой
Съ позднимъ мѣсяца восходомъ,
Легкимъ, свѣтлымъ хороводомъ,
Въ цѣпь воздушную свились —
Вотъ за ними повесились;
Вотъ поютъ воздушныя лики:
Будто въ листьяхъ павилики
Вьется легкій вѣтерокъ;
Будто плещеть ручеекъ.

Или вотъ эта фантастическая картина ночной природы;

Вотъ и мѣсяцъ величавый
Всталъ надъ тихою дубравой:
То изъ облака блеснетъ,
То за облако зайдетъ;
Съ горъ простерты длинны тѣни;
И лѣсовъ дремучихъ сѣни,
И зеркало зыбкихъ водъ,
И небесъ далекій сводъ
Въ *сѣтлый сумракъ* облечены...
Спать пригорки отдаленны,
Боръ заснулъ, долина спитъ...
Чу!... полночный часъ звучитъ.
Потряслись дубовъ вершины;
Вотъ повѣялъ отъ долины
Перелетный вѣтерокъ...
Скачетъ по полю вѣдокъ...

Такіе стихи вполне оправдываютъ восторгъ и удивленіе, которыми была нѣкогда встрѣчена «Людмила» Жуковскаго:

тогдашнее общество безсознательно почувствовало въ этой балладѣ новый духъ творчества, новый міръ поэзіи—и общество не ошиблось.

«Свѣтлана» оригинальная баллада Жуковского, была признана за его *chef-d'oeuvre*, такъ что критики и словесники того времени (она была напечатана въ 1813 году, стало-быть, тридцать лѣтъ назадъ тому) титуловали Жуковского «пѣвцомъ Свѣтланы». Въ этой балладѣ Жуковскій хотѣлъ быть народнымъ; но о его притязаніяхъ на народность мы скажемъ послѣ. Содержаніе «Свѣтланы» извѣстно всѣмъ и каждому: оно самое романтическое, и вообще лучшая критика, какая когда либо написана была о «Свѣтланѣ», заключается въ посвятельномъ куплетѣ баллады:

Въ ней большія чудеса,
Очень мало складу.

«Алина и Альсимъ», кажется, принадлежитъ къ числу оригинальныхъ балладъ Жуковского. Она отличается какимъ-то простодушіемъ въ тонѣ, несвойственнымъ нашему времени и вызывающимъ на уста не совсѣмъ добрую улыбку; но ея содержаніе, несмотря на романтизмъ, исполнено смысла и должно было имѣть самое разумное вліяніе на свое время. Вѣроятно, такіе стихи, какъ слѣдующіе, не одними прекрасными устами повторялись набожно:

Что пользы въ платьѣ дорогое
Себя рядить?
Богатство на землѣ прямое
Одно: любить.

Картина свиданія Алины съ Альсимомъ, представшимъ передъ нею подъ видомъ продавца золотыхъ вещей, нарисована кистью грустною и меланхолическою; нѣкоторые стихи проникнуты самымъ обаятельнымъ романтизмомъ, какъ, напримеръ, эти:

Блестала красота младая
Въ его чертахъ;
Но блядевь; борода густая;
Печаль въ глазахъ.
*Мила для взоровъ живость цвѣта,
Знакъ юныхъ дней:
Но блѣдный цвѣтъ, тоски примѣта,
Еще миль.*

Развязка баллады—дѣтская мелодрама: кинжалъ, убійство невинныхъ и терзаніе совѣсти убійцы. Мы думаемъ, что такимъ окончаніемъ испорчена баллада, имѣвшая для своего времени великое достоинство.

Не знаемъ, что подало поводъ Жуковскому написать «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ»; но мысль «Вадима», составляющаго вторую часть этой огромной баллады, заимствована имъ изъ романа Шписа «Старикъ вездѣ и нигдѣ». Мѣсто дѣйствія этой баллады въ Кіевѣ и Новѣгородѣ; но мѣстныхъ и народныхъ красокъ—никакихъ. Это нисколько не русская, но чисто романтическая баллада въ духѣ среднихъ вѣковъ. Мы еще возвратимся къ ней.

Говорятъ, что «Эолова Арфа»—оригинальное произведеніе Жуковского: не знаемъ; но, по крайней мѣрѣ, достоверно то, что она — прекрасное и поэтическое произведеніе, гдѣ сосредоточенъ весь смыслъ, вся благоухающая прелесть романтики Жуковского. Эта любовь, несчастная по неравенству состояній, младенчески невинная, мечтательная и грустная, это свиданіе подъ дубомъ, полное тихаго блаженства и трепетнаго предчувствія близкаго горя, и арфа, повѣшенная «залогомъ прекрасныхъ минувшихъ дней», и явленіе милой тѣни одинокой красавицѣ, сопровождаемое таинственными звуками и возвѣстившее утрату всего милаго на землѣ: все это такъ и дышетъ музыкою сѣвернаго романтизма, неопредѣленнаго, туманнаго, унылаго, возникшаго на гранитной почвѣ Скандинавіи и туманныхъ берегахъ Альбіона... Надо

живо помнить первыя лѣта своей юности, когда сердце уже полно тревоги, но страсти еще не охватили его своимъ порывистымъ пламенемъ,—надо живо помнить эти дни сладкой тоски, мечтательнаго раздумья и тревожнаго порыванія въ какой-то таинственный міръ, которому сердце вѣрить, но котораго уста не могутъ назвать,—надо живо помнить это время своей жизни, чтобъ понять, какое глубокое впечатлѣніе должны производить на юную душу эти прекрасныя стихи послѣдняго куплета баллады:

И нѣтъ уже Минваны...
Когда отъ потоковъ, холмовъ и полей
Восходятъ туманы,
И свѣтитъ, какъ въ дымъ, луна безъ лучей —
Двѣ видятся тѣни:
Слившись, летятъ
Къ знакомой имъ сѣни...
И дубъ шевелится, и струны звучатъ.

Минвана—не гордая красавица юга, съ роскошными формами тѣла, огненными глазами, цвѣтущая здоровьемъ, пышущая страстію; нѣтъ, это блѣдная красота сѣвера, тихая и кроткая, похожая на какое-то милое, воздушное видѣніе; красота, трогаящая своею болѣзненностью, очаровывающая своею томностию, идеаль романтической красоты и въ особенности идеаль красоты Жуковскаго... Со стороны художественной въ этой балладѣ есть одинъ важный недостатокъ: если нельзя сказать, чтобы она была растянута, то и нельзя сказать, чтобъ она была сжата столько, сколько бы это нужно было для полнаго и сильнаго впечатлѣнія.

«Рыцарь Тогенбургъ» — прекрасный и вѣрный переводъ одной изъ лучшихъ балладъ Шиллера. Рыцарь любитъ дѣвушку, которая не понимаетъ чувства любви; тревоги военной жизни и жаркія схватки съ мусульманами не охладили въ рыцарѣ его несчастной страсти; возвратившись на ро-

дину, онъ узнаеть, что она — монахиня; тогда онъ скрывается въ убогой кельѣ, по сосѣдству монастыря, какъ гробъ схоронившаго въ себѣ всѣ надежды его на блаженство жизни, —

И душѣ его унылой
Счастье тамъ одно:
Дождаться, чтобъ у милой
Стукнуло окно.
Чтобъ прекрасная явилась,
Чтобъ отъ вышины
Въ тихій долъ лицомъ склонилась,
Ангель тишины.

Въ одно прекрасное утро, злополучный рыцарь умеръ, смотря на окно... Подлинно—«рыцарь печальнаго образа»!... Какъ жаль, что Шиллеръ воскресилъ его не совсѣмъ въ пору да во-время! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокия и прозаическія, мы жалѣемъ объ этомъ рыцарѣ, но не какъ о человѣкѣ, постигнутомъ рокомъ и несущемъ на себѣ тяжкое бремя дѣйствительнаго несчастія, а какъ о сумасшедшемъ... По истинѣ бѣдняжка для насъ немного смѣшенъ и жалокъ... Чтò дѣлать? въ этомъ отношеніи, мы совершенно классики, и нисколько не романтики. Во-первыхъ, мы не вѣримъ, чтобъ все назначеніе мужчины заключалось только въ любви, и чтобъ всѣ силы души его должны были сосредоточиться въ одномъ этомъ чувствѣ; во-вторыхъ, мы мало уважаемъ вѣрность до гроба и считаемъ ее натяжкою воли, аффектаціею, а не свободно горящимъ огнемъ чувства; въ-третьихъ, мы не вѣримъ возможности любви нераздѣльной, — и если можемъ допустить ее, то не иначе, какъ болѣзнь или помѣшательство. Любовь вспыхиваетъ отъ сближенія, взаимность раздражаетъ и поддерживаетъ ея энергію; невниманіе и холодность вызываютъ чувство оскорбленнаго самолюбія, униженнаго достоинства—и уничтожаютъ возможность любви. Есть люди и въ наше время, которые готовы

увѣрить себя въ какомъ угодно чувствѣ, и которые никогда не будутъ имѣть благородной смѣлости сознаться передъ самими собою, что ихъ чувство у нихъ не въ сердцѣ, не въ крови, а въ головѣ и фантази. Они думаютъ, что измѣнить разъ овладѣвшему ими чувству постыдно, и цѣлую жизнь натягиваются силою воли держать себя въ этомъ чувствѣ. *A force de forger...* — и ихъ вымышленное чувство въ самомъ дѣлѣ даетъ имъ призракъ радости и тоски, какъ будто бы и дѣйствительное чувство. Бѣдняки рисуются передъ самими собою и не нарадуются своей глубокой и сильной натурѣ, которая если полюбить разъ, то ужъ навсегда, и скорѣе умереть, чѣмъ измѣнить своему чувству. Они не знаютъ, что въ этой добродѣтели давно уже побѣдилъ ихъ знаменитый витязь донъ-Кихоть, который до могилы остался вѣренъ своей прекрасной Дульцинеѣ, котораго одна мысль о сей очаровательной дамѣ его сердца укрѣпляла на великіе подвиги, на битвы съ мельницами и баранами, дѣлая его и несчастнымъ и блаженнымъ... А что такое донъ-Кихоть? — Человѣкъ вообще умный, благородный, съ живою и дѣятельною натурою, но который вообразилъ, что ничего не стоитъ въ XVI вѣкѣ сдѣлаться рыцаремъ XII вѣка—стоитъ только захотѣть...

Мы выше замѣтили, что романтизмъ не есть достояніе и принадлежность одной какой-нибудь страны или эпохи: онъ—вѣчная сторона натуры и духа человѣческаго; онъ не умеръ послѣ среднихъ вѣковъ, а только преобразился. Итакъ, нашъ новѣйшій романтизмъ не думаетъ отрицать любви, какъ естественнаго стремленія сердца, но только требуетъ, чтобъ это стремленіе не было подземною, темною, адскою силою, вовлекающею человѣка, какъ пасть гремучей змѣи, въ бездну погибели. Не отнимая у чувства свободы, нашъ романтизмъ требуетъ, чтобъ и чувство, въ свою очередь, не отнимало у человѣка свободы, а свобода есть разумность. Гдѣ же разумность—въ болѣзненномъ чувствѣ, приковавшемъ одного

человѣка къ другому, когда этотъ другой свободенъ? Въ такомъ случаѣ Богъ съ нею—съ любовью! Широка жизнь, и много дорогъ на ея безконечномъ пространствѣ, и любую изъ нихъ можетъ выбрать себѣ свободная дѣятельность мужчины. Грустно видѣть человѣка, который потерялъ все, что любилъ, и котораго сердце эту потерю навсегда сокрушено и разбито; но никто не осудитъ такого человѣка: его скорбь имѣетъ имя, она дѣйствительна — онъ оплакиваетъ то, что звалъ своимъ, чѣмъ былъ счастливъ. Но сдѣлаться жертвою призрака, мечты, прихоти больнаго воображенія, каприза неразумнаго сердца, сосредоточить всѣ свои желанія на женщинѣ, которая о насъ не думаетъ, посвятить всю жизнь свою на то, чтобъ урядкою изрѣдка смотрѣть на нее въ почтительномъ разстояніи—какая унижительная. какая презрѣнная роль! Въ одной сказкѣ сумасброднаго романтика Гофмана, человѣкъ влюбляется въ автомата и гибнетъ жертвою этой любви: не похожъ ли на него рыцарь Тогенбургъ?... Въ средніе вѣка понимали любовь какъ какое-нибудь неизбѣжное, роковое предназначеніе. Романтизмъ нашей эпохи понимаетъ дѣло проще, безъ всякаго мистицизма. Онъ не думаетъ, чтобъ для мужчины существовала только одна женщина въ мірѣ, а для женщины — только одинъ мужчина въ мірѣ. Выборъ предмета любви основанъ на капризѣ сердца; любовь зависитъ отъ сближенія, а сближеніе отъ случайности. Не удалось здѣсь — удастся тамъ; не сошлись съ одною, сойдется съ другою. Это опять не значитъ, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по волѣ своей: это значитъ только то, что если каждый можетъ любить только извѣстный идеалъ, но никогда никакой идеалъ не является въ мірѣ въ одномъ экземплярѣ, но существуетъ въ большемъ или меньшемъ числѣ видоизмѣненій и оттѣнковъ. Нашъ романтизмъ хлопочетъ не о томъ, — однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобъ не разбить другаго, предавшагося вамъ сердца

и не быть причиною несчастія его жизни. Вы любите только разъ въ жизни и были до гроба вѣрны одной только привязанности: прекрасно! Но не дѣлайте изъ этого общаго для всѣхъ правила! Одинъ такъ, другой иначе, тотъ — одинъ разъ въ жизни, а этотъ — десять разъ; оба равно правы, лишь бы только на совѣсти котораго нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастіе. Нѣтъ преступленія любить нѣсколько разъ въ жизни, и нѣтъ заслуги любить только одинъ разъ; упрекать себя за первое и хвастаться вторымъ — равно нелѣпо...

Когда двѣ эпохи такъ противоположно расходятся во взглядѣ на одни и тѣ же предметы, то поэзія старой эпохи теряетъ свою силу для новой. Если какая нибудь эпоха выразила собою одинъ изъ моментовъ всемірно - историческаго развитія, то ея поэзія всегда имѣетъ свою историческую важность: но только ея собственная поэзія, а неподдѣльная подъ нею. И потому, готическіе соборы среднихъ вѣковъ и въ наше время сильно дѣйствуютъ на душу, а баллады Шиллера, несмотря на всю поэтическую прелесть ихъ, ни для кого не занимательны. Скажемъ болѣе: чѣмъ выше, по своему художественному достоинству, такія баллады, какъ «Рыцарь Тогенбургъ», тѣмъ большее сожалѣніе возбуждаютъ онѣ въ читателѣ нашего времени, что столько пушечныхъ зарядовъ потрачено по воробьямъ... Разумѣется, это можно ставить въ упрекъ Шиллеру, но отнюдь не Жуковскому: ибо первый, въ приведенныхъ нами стихотвореніяхъ, старался воскресить давно умершіе интересы, когда современная жизнь кипѣла великими вопросами и историческій духъ, какъ подземный кротъ, подрывалъ старыя основы новой дѣйствительности; а второй усвоивалъ юной, едва рождавшейся литературѣ плодотворныя для нея элементы, и юное, едва возрождавшееся общество знакомилъ съ новыми, необходимыми ему интересамъ. Итакъ, чтобъ еще полнѣе и опредѣленнѣе высказать сущность и характеръ

романтизма средних вѣковъ, а вмѣстѣ съ нимъ и романтики Жуковского, — бросимъ бѣглый взглядъ на содержаніе еще нѣкоторыхъ балладъ его.

Одинъ добрый пустынный разъ завелъ къ себѣ въ лѣсную келью заблудившагося путника, — потомъ узналъ въ немъ свою любезную, послѣ чего, сорвавъ съ себя накладную бороду, Эдвинъ поклялся жить и умереть вмѣстѣ съ Мальвиною. Это, вѣроятно, случилось такъ давно, что теперь трудно и повѣрить, чтобъ когда-нибудь могло случиться. — Эдвинъ любилъ Эльвину, но богатый отецъ его запретилъ ему видѣться съ бѣдною дѣвушкою. Что тутъ дѣлать? Не читавшіе этой баллады могутъ подумать, что Эдвинъ былъ школьникъ, котораго отецъ могъ высѣчь за непослушаніе. Ничего не бывало! Онъ былъ малый на возрастъ, уже знакомый съ страстями:

Увы, Эдвинъ! Въ какой борьбѣ въ немъ страсти!

И ни одной нѣтъ силы побѣдить...

Какъ не признать отцовской власти?

Но какъ же не любить?

Такъ вотъ что затрудняло и заставляло его страдать! Его отецъ былъ отецъ по понятіямъ средних вѣковъ, т. е. человѣкъ, который за бѣдный даръ жизни, считалъ себя въ правѣ лишать сына счастья по произволу своей прихоти, другими словами — считалъ сына своимъ рабомъ, своею вещью... Въ наше время отецъ имѣетъ совсѣмъ другое значеніе: его связываетъ съ дѣтьми не столько кровь, сколько духъ; онъ считаетъ своею заслугою не то, что далъ дѣтямъ своимъ физическое существованіе, но то, что онъ далъ имъ, черезъ воспитаніе, основанное на любви, нравственную жизнь. Еслибъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастье его жизни, на основаніи собственныхъ корыстныхъ расчетовъ, — всѣ бы увидѣли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ

нимъ: ибо если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ и отца. Но въ средніе вѣка думали объ этомъ иначе, и отецъ считалъ своимъ священнымъ правомъ быть деспотомъ, а сынъ — своею священною обязанностию быть вещью дражайшаго родителя. Такъ думалъ нашъ Эдвинъ, а потому и слегъ съ горя въ постель, рѣшившись смертію окончить жизнь свою; но прежде ему хотѣлось взглянуть на Эльвину, которая, принявъ его послѣдній вздохъ, тоже не захотѣла больше жить и едва успѣла добѣжать до своей матери, какъ и умерла. Вотъ какъ любили прежде и какъ тогда опасно было «дражайшимъ родителямъ» разлучать вѣрныя сердца! Но вмѣстѣ съ тѣмъ, должно замѣтить, что въ то время, когда появились на русскомъ языкѣ обѣ эти баллады, онѣ были важны для воспитанія въ обществѣ человѣческихъ чувствъ и не могли не дѣйствовать на нравственное образованіе новыхъ поколѣній. — Варвикъ, похититель короны и убійца своего царственного воспитанника, законнаго наслѣдника престола, наказанъ — наводненіемъ; спасаясь въ челнокъ, онъ принужденъ протянуть руку утопающему младенцу — призраку погубленнаго имъ царевича, который и увлекаетъ его въ волны. Стихи этой баллады чудесные, описанія картинныя, цѣль нравственная — все хорошо, только ни мало не правдоподобно... — Рыцарь Адельстанъ купилъ у сатаны счастье любви общаніемъ расплатиться съ нимъ за это своимъ первенцомъ; но лишь подаль онъ ему младенца, какъ и очутился самъ въ его когтяхъ, а младенецъ спасся какимъ то чудомъ. Стихи этой баллады звучные, живописные; содержаніе поучительно, но не для людей грамотныхъ и сколько нибудь образованныхъ, а именно для того класса людей, который по безграмотности совсѣмъ не читаетъ балладъ... — Славный боецъ былъ Гаральдъ: но не въ добрый часъ захотѣлось ему напиться воды изъ ручья — выпилъ и окаменѣлъ: это была злая шутка со стороны фей, которыя обольстили и увлекли спутниковъ Га-

ражда.... Какъ хорошо, что въ наше прозаическое время феи перевелись и мы можемъ пить воду, не боясь окаменѣть!...—Слуга убивъ своего паладина, надѣлъ на себя его доспѣхи и, по причинѣ ихъ тяжести, утонулъ въ рѣкѣ, куда сбросилъ его конь убитаго рыцаря: достойное наказаніе убійцѣ! — Одинъ жестокій епископъ сжегъ въ сараѣ, какъ мышей, бѣдный народъ, просившій у него хлѣба въ голодный годъ, и за то былъ наказанъ мышами же, которыя съѣли живьемъ самого его... Чудные вѣка были эти времена феодализма! Всякая добродѣтель въ нихъ немедленно награждалась, и всякій порокъ немедленно наказывался. Пострадать невинно тогда не было никакой возможности: въ чемъ бы ни обвиняли васъ — хотя бы въ отцеубійствѣ, — но если вы были убѣждены въ своей невинности, вамъ стоило только опустить руку въ кипятокъ и быть увѣреннымъ, что рука ваша не обожжется, а этимъ чудомъ и другихъ убѣдить въ чистотѣ вашей совѣсти... Должно быть, теперь свойство горячей воды много измѣнилось: проклятая равно сваритъ и виновную и невинную руку. Вотъ и извольте жить въ такія времена, да читать баллады, въ чудесахъ которыхъ разувѣряетъ васъ эта положительная дѣйствительность! Хуже всего то обстоятельство, что въ наше прозаическое время чтеніе чудесныхъ балладъ не доставляетъ никакого удовольствія, но наводитъ апатію и скуку... Вотъ, напримѣръ, какъ хороша «Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка ѣхала на черномъ конѣ вдвоемъ, и кто сидѣлъ впереди». Жуковскій превосходно перевелъ ее съ англійскаго (кажется, изъ Сутэя); но вѣдь дочтеть ее до конца, право, нѣтъ силъ. Старушка эта была,—страшная колдунья, сколько можно судить по ея собственной исповѣди:

„Здѣсь вмѣсто дня была мнѣ ночи мгла;
И кровь младенцевъ проливала,
Власы невѣсть въ огнѣ волшебномъ жгла,
И кости мертвыхъ похищала“.

Боясь дьявола, который долженъ, по уговору, прийти за ея тѣломъ (ужь не знаемъ, зачѣмъ понадобилось лукавому тѣло старухи, когда душа ея была и безъ того въ его когтяхъ), старуха просить сына своего, чернеца, отстоять молитвами ея кости отъ покушеній нечистаго. Однакожь тотъ взявъ свое, на черномъ конѣ похитивъ старую колдунью. И подѣломъ ей; но вотъ бѣда: мы рѣшительно не вѣримъ ни колдунамъ, ни колдуньямъ, и если ни за что въ свѣтѣ не позволимъ имъ проливать кровь нашихъ младенцевъ, то охотно позволимъ имъ жечь въ волшебномъ и какомъ угодно огнѣ остриженные волосы нашихъ невѣстъ (если имъ вздумается обрѣзать свои волосы) и похищать кости нашихъ мертвыхъ. Впрочемъ, колдуны нашего времени, колдуны классическіе, гораздо умнѣе колдуновъ романтическихъ: если кровь младенцевъ, волосы (или, пожалуй, даже и власы) невѣсть и кости мертвыхъ не дадутъ имъ денегъ, они не станутъ и гнаться за ними. Что же касается до костей мертвыхъ собственно, то для ихъ спокойствія въ матери-сырой-землѣ гораздо опаснѣе всякихъ колдуновъ студенты медицинскихъ факультетовъ и вообще люди, занимающіеся врачебною наукою: ни одинъ изъ этихъ господъ не усомнится спрятать въ свой карманъ выглянувшій изъ земли черепъ, въ полной увѣренности (которой, по совѣсти и здравому разсудку, нельзя не оправдать и не одобрить), что покойный владѣлецъ черепа не будетъ въ претензіи на такое поруганіе, и что для него рѣшительно все равно—гнить ли въ землѣ, или въ ученомъ кабинетѣ споспѣшествовать успѣхамъ благотѣльнаго для челоувѣчества знанія. Итакъ, чтобъ восхититься балладою, въ которой описывается путешествіе старухи колдуньи въ адъ съ чортомъ и на чортѣ, надо имѣть способность съ поднявшимися на головѣ волосами и выпученными отъ ужаса глазами слушать всѣ глупыя бредни черни о колдунахъ и чертяхъ,—а способность эта можетъ быть только плодомъ самаго грубаго невѣжества, отъ котораго теперь освобождается мало-

по-малу даже и чернь. Такія баллады могли бы пугать развѣ только нѣжное и впечатлительное (*impressionable*) воображеніе дѣтей: но кто же захочетъ нравственно губить дѣтей на всю жизнь, давая имъ въ руки такого рода баллады?... Это было бы далеко превзойти въ преступленіи старую колдунью, которая

...Кровь младенцевъ проливала,
Власы невѣсть въ огнѣ волшебномъ жгла,
И кости мертвыхъ похищала.

И, однакожь, Жуковскій такъ былъ вѣренъ своему романтическому направленію въ духѣ среднихъ вѣковъ, что баллады самаго страннаго содержанія переведены имъ уже послѣ 1820 года. Къ числу такихъ балладъ принадлежитъ и баллада о старухѣ колдуньѣ, ѣхавшей въ адъ съ дьяволомъ на чортѣ. Переведенная имъ «Ленора» напечатана была въ 1831 году. — Какъ на образецъ неумѣреннаго и несвоевременнаго романтизма, укажемъ на балладу «Изолина». Пѣвецъ Алонзо возвратился изъ Палестины и началъ пѣть подъ окнами своей Изолины; но узнавъ, что она умерла, онъ самъ сію же минуту умираетъ, а Изолина воскресаетъ отъ его пѣсни: вотъ и все! — Еще болѣе характеризуетъ романтизмъ среднихъ вѣковъ баллада «Доника», которой содержаніе состоитъ въ томъ, что въ прекрасную невѣсту рыцаря ни съ того, ни съ сего вдругъ вселился бѣсъ и оставилъ ее при алтарѣ, куда пришла она вѣнчаться, но оставилъ ее вмѣстѣ съ ея жизнію... Вотъ онъ, романтизмъ среднихъ вѣковъ, мрачное царство подземныхъ демонскихъ силъ, отъ которыхъ нѣтъ защиты самой невинности и добродѣтели! Греческій романтизмъ никогда не доходилъ до такихъ недѣлностей, унижающихъ человѣческое достоинство. — Баллады: «Братоубійца», «Королева Урака и пять Мучениковъ» и «Покаяніе» суть ни чтò иное, какъ католическія легенды среднихъ вѣковъ. Последняя — лучшая изъ нихъ и по сти-

хамъ и по содержанію. «Замокъ Смальгольмъ», прекрасная баллада Вальтеръ-Скотта, прекрасными стихами переведенная Жуковскимъ, поэтически характеризуетъ мрачную и исполненную злодѣйствъ и преступленій жизнь феодальныхъ временъ. По языку, это одно изъ удивительнѣйшихъ произведеній Жуковского.

Въ собственно-лирическихъ произведеніяхъ, переведенныхъ и передѣланныхъ Жуковскимъ съ нѣмецкаго языка, открывается еще болѣе, чѣмъ въ балладахъ, сущность и характеръ его романтизма. Что такое этотъ романтизмъ? Это — желаніе, стремленіе, порывъ, чувство, вздохъ, стонъ; жалоба на несвершенныя надежды, которымъ не было имени, грусть по утраченномъ счастьи, которое, Богъ знаетъ, въ чемъ состояло; это — міръ, чуждый всякой дѣйствительности, населенный тѣнями и призраками, конечно, очаровательными и милыми, но тѣмъ не менѣе неуловимыми; это — уныло, медленно текущее, никогда не оканчивающееся настоящее, которое оплакиваетъ прошедшее и не видитъ передъ собою будущаго; наконецъ, это — любовь, которая питается грустью, и которая безъ грусти не имѣла бы чѣмъ поддержать свое существованіе. Поищемъ въ стихахъ Жуковского оправданія нашего неопредѣленнаго и туманнаго опредѣленія его поэзіи. Подробный разборъ каждаго стихотворенія далеко бы завлекъ насъ, и потому мы выберемъ одно изъ самыхъ характеристическихъ, а потомъ, въ параллель ему, сдѣлаемъ указанія на основную мысль другихъ болѣе или менѣе замѣчательныхъ его стихотвореній: черезъ это мы укажемъ на основной мотивъ всѣхъ мелодій его поэзіи, ибо всѣ стихотворенія Жуковского ни что иное, какъ разныя варьяціи на одинъ и тотъ же мотивъ. Во всѣмъ имъ идутъ какъ эпитафій, два послѣдніе стиха, которыми оканчивается пьеса «Тоска по Миломъ»:

Любовь, ты погибла; ты, радость, умчалась:
Одна о минувшемъ тоска мнѣ осталась.

«Тайнственный Посѣтитель» есть одно изъ самыхъ характеристическихъ стихотвореній Жуковского. Прочтемъ его.

Кто ты, призракъ, гость прекрасный?
Къ намъ откуда прилеталъ-
Безотвѣтно и безгласно,
Для чего отъ насъ пропалъ?
Гдѣ ты? Гдѣ твоё селенье?
Что съ тобой? Куда исчезъ?
И зачѣмъ твоё явленье
Въ поднебесную съ небесъ?

Не *Надежда*-ль ты младая,
Приходящая порой
Изъ невѣдомаго края
Подъ волшебной пеленой?
Какъ она, неумолимо
Радость мнѣ на часъ
Показалъ ты, съ нею мимо
Пролетѣлъ и бросилъ насъ.

Не *Любовь* ли намъ собою
Тайно ты изобразилъ?
Дни любви, когда одною
Миръ одной прекрасенъ былъ?
Ахъ! тогда сквозь покрывало
Неземнымъ казался онъ...
Снять покровъ; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье — сонъ.

Не волшебница ли *Дума*
Здѣсь въ тебѣ явилась намъ?
Удаленная отъ шума
И мечтательно къ устамъ
Приложивши перстъ, приходитъ
Къ намъ, какъ ты, она порой,
И въ минувшее уводитъ
Насъ безмолвно за собой.

Иль въ тебѣ сама святая
Здѣсь *Поэзія* была?...

Къ намъ, какъ ты, она изъ рая
Два покрыва принесла;
Для небесъ лазурно ясный,
Чистый, бѣлый для земли;
Съ ней все близкое прекрасно.
Все знакомо, что вдали.

Иль *Предчувствіе* сходило
Къ намъ во образъ твоимъ
И понятно говорило
О небесномъ, о святомъ?
Часто въ жизни то бывало:
Кто-то свѣтлый подлетитъ
И подыметъ покрывало,
И въ далекое манитъ.

Поняли-ль вы, кто такой этотъ «таинственный посѣтитель»? Самъ поэтъ не знаетъ, кто онъ, и думаетъ видѣть въ немъ то Надежду, то Любовь, то Думу, то Поэзію, то Предчувствіе... Но эта-то неопредѣленность, эта-то туманность и составляетъ главную прелесть, равно какъ и главный недостатокъ поэзіи Жуковскаго. Попытаемся объяснить ее.

Есть въ человѣкѣ чувство безконечнаго; оно составляетъ основу его духа, и стремленіе къ нему есть пружина всякой духовной дѣятельности. Безъ стремленія къ безконечному нѣтъ жизни, нѣтъ развитія, нѣтъ прогресса. Сущность развитія состоитъ въ стремленіи и достиженіи. Но когда человѣкъ чего-нибудь достигаетъ, онъ не останавливается на этомъ, не удовлетворяется этимъ вполне; напротивъ, торжество достиженія бываетъ въ его душѣ непродолжительно и скоро побѣждается новымъ стремленіемъ. Отсюда чувство внутренняго недовольства, неудовлетворенія ничѣмъ въ жизни; отсюда тайная тоска. Можно сказать, что человѣкъ бываетъ счастливѣе, пока онъ борется съ препятствіями къ достиженію, нежели когда онъ наслаждается побѣдою борьбы, праздникомъ достиженія. Иначе и быть не можетъ. Чѣмъ глубже

натура человѣка, тѣмъ сильнѣе въ немъ стремленіе, и тѣмъ менѣе способенъ онъ къ удовлетворенію.

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь;
Картиной, звукомъ, выраженьемъ—
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть.
И въ нѣжномъ сѣмени сокрытый,
Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ...
Но, ахъ, сколь мало въ немъ развито!
И малое — сколь бѣдный цвѣтъ!

говорить Шиллеръ. Таково свойство безконечнаго: духъ человѣка въ состояніи охватить его только въ моментальномъ, конечномъ его проявленіи, въ условіяхъ временной послѣдовательности, и потому, достигая чего-нибудь, онъ тотчасъ же видитъ, что не достигнулъ всего. Тогда онъ отрицаетъ достигнутое имъ нѣчто, какъ не выражающее безконечнаго, и думаетъ достигнуть его въ другомъ. Въ этомъ состоитъ сущность жизни, какъ непрерывнаго развитія, непрерывнаго движенія впередъ. И когда это стремленіе осуществляется въ сферѣ практическаго міра, когда оно есть вѣчное дѣланіе, непрерывное творчество, тогда стремленіе это есть дѣйствительная сила человѣка, тогда для него есть цѣль, и если достиженіе не удовлетворяетъ такого человѣка, тѣмъ не менѣе оно для него — прогрессъ, и новое стремленіе его выше предшествовавшаго, новая цѣль выше достигнутой. Но есть натуры аскетическія, чуждыя историческаго смысла дѣйствительности, чуждыя практическаго міра дѣятельности, живущія въ отвлеченной идеѣ: такія натуры стремленіе къ безконечному принимаютъ за одно съ безконечнымъ и хотятъ, во что бы то ни стало, найдти свое удовлетвореніе въ одномъ стремленіи. Въ этомъ есть своя сторона истины, и такіе люди, конечно, несравненно выше людей самыхъ практическихъ и дѣятельныхъ, незнакомыхъ съ

стремленіемъ, а удовлетворяющихся самыми простыми и положительными цѣлями житейскими. Но тѣмъ не менѣе, они — люди односторонніе, ибо пружину дѣйствія принимаютъ за само дѣйствіе и за цѣль дѣйствія: это такая же ошибка, какъ еслибъ кто, желая узнать, который часъ, вмѣсто того, чтобъ посмотрѣть на циферблатъ, открылъ внутренность часовъ и началъ смотрѣть на спиральную цѣпочку.

Итакъ, содержаніе поэзіи Жуковского, ея пафосъ составляетъ стремленіе къ безконечному, принимаемое за само безконечное, движущую силу — за цѣль движенія. Совершенно чуждая исторической почвы, лишенная всякаго практическаго элемента, эта поэзія вѣчно стремится, никогда не достигая, вѣчно спрашиваетъ самое себя, никогда не давая отвѣта:

Цль опять отъ вышины
Вѣсть знакомая несется?
Или снова раздается
Милый голосъ старины?
Или тамъ, куда летять
Птичка, странникъ поднебесный.
Все еще сей неизвѣстный
Край *желаннаго* сокрытъ?...
Кто-жь къ невѣдомымъ брегамъ
Путь невѣдомый укажетъ?
Ахъ! найдется, кто мнѣ скажетъ
Очарованное Тамъ?

Озаряся, доль туманный;
Раступися, мракъ густой;
Гдѣ найду сходи желанный?
Гдѣ воскресну я душой?
Испещренные цвѣтами.
Красны холмы вижу тамъ...
Ахъ, зачѣмъ я не съ крылами!
Полетѣлъ бы я къ холмамъ.

Вотъ два отрывка изъ двухъ разныхъ стихотвореній: не варьяціи ли это на мотивъ «таинственнаго посѣтителя»?...

И въ доказательство этого можно бы привести по отрывку почти изъ каждаго стихотворенія Жуковскаго...

Есть въ жизни человѣка время, когда онъ бываетъ полонъ безотчетнаго стремленія, безотчетной тревоги. И если такой человѣкъ можетъ потомъ сдѣлаться способнымъ къ стремленію дѣйствительному, имѣющему цѣль и результатъ, онъ этимъ будетъ обязанъ тому, что у него было время безотчетнаго стремленія. Такая пора безотчетнаго стремленія и бессознательныхъ порывовъ была и у человѣчества: въ этомъ-то и состоитъ сущность романтизма среднихъ вѣковъ. Если въ романтизмъ современной Европы нѣтъ мрака и много свѣта, такъ это потому, что Европа пережила романтизмъ среднихъ вѣковъ. И если мы въ поэзіи Пушкина найдемъ больше глубокаго, разумнаго и опредѣленнаго содержанія, больше зрѣлости и мужественности мысли, чѣмъ въ поэзіи Жуковскаго,—это потому, что Пушкинъ имѣлъ своимъ предшественникомъ Жуковскаго. Жуковский своею поэзіею пополнилъ въ русской жизни недостатокъ историческихъ среднихъ вѣковъ, и, благодаря ему, для русскаго общества стала не только доступна, но и родственна и романтическая поэзія среднихъ вѣковъ и романтическая поэзія начала XIX вѣка. А это съ его стороны великій подвигъ, которому награда—не простое упоминовеніе въ исторіи отечественной литературы, но вѣчное славное имя изъ рода въ родъ...

Всякій предметъ имѣетъ двѣ стороны, и находить въ немъ не одно хорошее—совсѣмъ не значить осуждать его. Романтизмъ среднихъ вѣковъ, разумѣется, не годится для нашего времени; теперь онъ не истина, а ложь; но въ свое время онъ былъ истиною. Былъ и въ исторіи русской литературы и русскаго общества моментъ, когда для нихъ романтизмъ среднихъ вѣковъ былъ необходимымъ элементомъ жизни, живымъ сѣменемъ, которымъ должна была оплодотвориться почва русской поэзіи. Великъ подвигъ того, кто

удовлетворилъ этой потребности; но тѣмъ не менѣе, мы не должны оставаться при одномъ безотчетномъ удивленіи къ этому подвигу, — должны сознать его въ настоящемъ его значеніи, увидѣть всѣ его стороны. Мало того, чтобъ сказать, что Жуковскій ввелъ романтизмъ въ русскую поэзію: надо показать этотъ романтизмъ въ его настоящемъ видѣ.

Любовь играетъ главную роль въ поэзіи Жуковскаго. Какой же характеръ этой любви? въ чемъ ея сущность?— Сколько мы понимаемъ, это не любовь, а скорѣе потребность, жажда любви, стремленіе къ любви, и потому любовь въ поэзіи Жуковскаго — какое-то неопредѣленное чувство. Это—

Унынія прелесть, волненье надежды,
И радость и трепеть при встрѣчѣ очей,
Ласкающій голосъ— души восхищенье,
Могущество тихихъ, таинственныхъ словъ,
Присутствія радость, томленья разлуки.

Скажутъ: все это несомнѣнные примѣты, общіе признаки любви. Согласны; но потому-то и видимъ мы въ этомъ неопредѣленность, что это слишкомъ общія примѣты. Любовь— обще-человѣческое чувство; но въ каждомъ человѣкѣ оно принимаетъ свой оригинальный оттѣнокъ, свою индивидуальную особенность,—въ произведеніяхъ поэта тѣмъ болѣе. Мы слышимъ въ поэзіи Жуковскаго стоны растерзаннаго сердца, видимъ слезы по несбывшимся сладостнымъ надеждамъ, — и сочувствуемъ этому горю безъ утѣшенія, этой скорби безъ выхода, этому страданію безъ исцѣленія; но не видимъ живаго голоса, столь дорогаго сердцу поэта: для насъ, это — видѣніе, призракъ... Въ слѣдующихъ стихахъ мы встрѣчаемъ идеалъ и предмета любви и самой любви,— идеалъ, созданный нашимъ поэтомъ:

Въ тотъ часъ, какъ тишиною
Земля облечена,

Въ молчаніи вселенной
Одна обвороженой
Душъ она слышна;
Къ устамъ твоимъ она
Касается дыханьемъ;
Ты слышишь съ содроганьемъ
Знакомый звукъ рвчей,
Задумчивыхъ очей
Встрѣчаешь взоръ пріятный,
И запахъ ароматный
Плвнительныхъ кудрей
Во грудь твою лѣтси.
И мыслишь: ангелъ вѣтся
Незримый надъ тобой.
При ней—задумчивъ, сладкой
Исполненный тоской,
Ты робокъ, лишь украдкой
Стремишь къ ней томный взоръ.
Въ немъ сердце выметаетъ;
Не смѣлъ твой разговоръ;
Твой умъ не обрѣтаетъ
Ни мыслей, ни рвчей;
Задумчивость, молчанье—
И страсти мечтанье—
Языкъ души твоей;
Забыты всѣ желанья...

Все это очень вѣрно, но только до извѣстной степени. Есть пора въ жизни человѣка, когда только въ этомъ заключены самыя страстныя желанія его сердца, самыя пламенные сны его фантази; но эта пора скоро проходитъ, и сердце человѣка загорается новыми желаніями. Юноша не можетъ любить, какъ любить отрокъ на переходѣ въ юношество, его мечты дѣйствительныя, и стыдливое молчаніе и несмѣлый разговоръ не долго въ состояніи удовлетворять его. Кромѣ того, сама любовь, какъ все живое, растетъ, движется, желанія влекутъ и стремятъ за собою другія желанія, и это продолжается до тѣхъ поръ, пока любовь не пріиметъ опредѣленнаго характера, и любящіеся не прійдутъ

въ опредѣленные отношенія другъ къ другу. Вообразимъ себѣ чету любящихся, которые всю жизнь свою только и дѣлаютъ, что стыдливо потупляютъ свои взоры, какъ скоро встрѣтятся, и ведутъ другъ съ другомъ несмѣлый разговоръ; вѣдь это была бы довольно странная картина, хотя и обаятельная въ своемъ началѣ... Жуковский въ этомъ отношеніи ужь слишкомъ романтикъ въ смыслѣ среднихъ вѣковъ: ему довольно только носить чувство въ своемъ сердцѣ, и онъ бережетъ и лелѣетъ его такимъ, какимъ зашло оно въ его сердце; онъ испугался бы его измѣняемости и увидѣлъ бы въ ней непостоянство... Мы уже разъ замѣтили въ «Отечественныхъ Запискахъ», что есть натуры, которыхъ вся жизнь — выраженіе какого-нибудь возраста человеческого, и что Крыловъ, въ своихъ басняхъ, — вѣчно юный младенецъ, а Жуковский, въ своихъ романтическихъ произведеніяхъ, — никогда не старѣющійся юноша...

Мы сдѣлали бы большой недосмотръ, еслибъ, говоря о поэзіи Жуковского, не обратили вниманія на скорбь и страданіе, какъ на одинъ изъ главнѣйшихъ элементовъ всякой романтической поэзіи, и поэзіи Жуковского въ особенности. Посмотрите, какія мечты и образы вѣчно занимаютъ ее! Тамъ «дѣва въ черной власяницѣ» молится на владѣищѣ передъ образомъ Богоматери и непремѣнно отходить въ другой міръ; тутъ... но мы лучше выпишемъ вполнѣ одну изъ самыхъ характеристическихъ пьесъ въ этомъ родѣ:

Дорогой шла дѣвица;
Съ ней другъ ея молодой:
Болѣзненны ихъ лица,
Наполнены взоръ тоской.
Другъ друга лобызаютъ
И въ очи и въ уста —
И снова разцвѣтаютъ
Въ нихъ жизнь и красота,
Минутное веселье!
Двухъ колоколовъ звонъ:

Она проснулась въ кельѣ;
Въ тюрьмѣ проснулся онъ.

Такое направленіе поэзіи Жуковскаго очень естественно и понятно: такъ какъ она чужда всякаго историческаго созерцанія, всякаго чувства прогресса, всякаго идеала высокой будущности человѣчества,—то міръ подлунный для нея есть міръ скорбей безъ исцѣленія, борьбы безъ надежды и страданія безъ выхода. Поэтому въ поэзіи Жуковскаго вопли сердечныхъ мукъ являются не раздирающими душу диссонансами, но тихую сердечною музыкою, и его поэзія любитъ и голубить свое страданіе какъ свою жизнь и свое вдохновеніе. Жуковскаго можно назвать пѣвцомъ сердечныхъ утратъ,— и кто не знаетъ его превосходной элегіи на «Кончину Королевы Виртембергской» — этого высокаго католическаго реквиэма, этого скорбнаго гимна житейскаго страданія и таинства утратъ?... Это въ высшей степени романтическое произведеніе въ духѣ среднихъ вѣковъ. Оно всегда прекрасно; но если вы хотите насладиться имъ вполне и глубоко—прочтите его, когда сердце ваше постигнетъ скорбная утрата... О, тогда въ Жуковскомъ найдете вы себѣ друга, который раздѣлитъ съ вами ваше страданіе и дастъ ему языкъ и слово...

Всѣ сочиненія Жуковскаго можно раздѣлить на три разряда: къ первому относятся мелкія романтическія пьесы и оригинальныя, которыхъ немного, и не столько переведенныя, сколько усвоенныя его музою; потомъ собственно переводы и, наконецъ, оригинальныя произведенія, которыя не могутъ быть названы романтическими.

Къ послѣднимъ принадлежатъ посланія и разныя патріотическія пьесы, писанныя на извѣстные случаи. Это самая слабая сторона поэзіи Жуковскаго; въ ней онъ невѣренъ своему призванію, и потому холоденъ и исполненъ риторики. Прочтите его «Пѣснь Барда надъ громомъ Славянъ-Побѣди-

телей», «На смерть Графа Каменскаго», «Пѣвца во Станѣ Русскихъ Воиновъ», «Пѣвца въ Кремлѣ» и проч. — и вы не узнаете Жуковскаго. Несмотря на звучный и крѣпкій стихъ, вы почувствуете себя утомленными и скучающими, читая эти пьесы; вы удивитесь, какъ мало въ нихъ жизни, чувства, движенія, свободы. Причина этому, разумѣется, не отсутствіе въ сердцѣ поэта святой любви къ родинѣ. Но кто же могъ бы отрицать это чувство, напримѣръ, въ Крыловѣ? А между тѣмъ, Крыловъ не написалъ ни одной оды, ни одного патріотическаго стихотворенія въ лирическомъ родѣ. Онъ получилъ отъ природы талантъ для басни: въ такомъ случаѣ, онъ хорошо сдѣлалъ, что не писалъ одъ и трагедій. Жуковский, по натурѣ своей — романтикъ, и ничто такъ не внѣ его таланта и призванія, какъ стихотворенія общественныя, на исторической почвѣ основанныя. «Пѣвцу во Станѣ Русскихъ Воиновъ» Жуковский обязанъ своею славою: только черезъ эту пьесу узнала вся Россія своего великаго поэта; и это произведеніе было весьма полезно въ свое время. Но что же доказываетъ это? — только, что тогда понимали поэзію иначе, нежели какъ понимаютъ ее теперь (а понимали ее тогда, какъ риторику въ стихахъ). Въ «Пѣвцѣ во Станѣ Русскихъ Воиновъ» нѣтъ даже чувства современной дѣйствительности: въ этой пьесѣ вы не услышите ни одного выстрѣла изъ пушки, или изъ ружья, въ ней нѣтъ и признаковъ пороховаго дыма, — въ ней летаютъ и свистятъ не пули, а стрѣлы, генералы являются воинами не въ киверахъ или фуражкахъ, а въ шлемахъ, не въ мундирахъ и шинеляхъ, а въ броняхъ, не со шпагами въ рукахъ, а съ мечами и копьями; къ довершенію этой пародіи на древность, всѣ они — съ щитами... Все это признакъ риторики; ибо поэзія проста: она не чуждается обыкновенныхъ предметов дѣйствительности, не боится сдѣлаться отъ нихъ прозою, но поэтизируетъ самыя прозаическія вещи. И неужели жерла пушекъ, изрыгающія огонь и смерть тысячамъ; неужели дула

ружей, посылающія издалека вѣрную смерть; неужели трех-
гранный штыкъ, стальною стѣною низлагающій сомкнутые
ряды,—неужели все это имѣеть въ себѣ менѣе поэзіи, чѣмъ
кольчуги, щиты, стрѣлы и копья древности?... Напротивъ,
послѣдшіе—дѣтскія игрушки въ сравненіи съ первыми, блѣд-
ная проза въ сравненіи съ страшною и грандіозною поэзіею. И
потомъ, къ чему эти славяне и эти барды славянскіе? Съ На-
полеономъ дрались совсѣмъ не славяне, а Русскіе! Скажутъ:
но развѣ Русскіе не славянскаго племени народъ? — Поло-
жимъ, что и такъ; но развѣ всѣ народы западной Европы
не тевтонскаго племени: а кто скажетъ, что Русскіе дра-
лись подъ Бородинымъ съ Тевтонами, на томъ основаніи, что
Галлія, нѣкогда была завоевана Франками, а Франки были
народъ тевтонскаго племени? И потомъ, какіе барды были
у славянъ? Да сверхъ того бардъ Жуковскаго очень похожъ
на скандинавскаго скальда. Вообще, ничего не чужда до та-
кой степени поэзія Жуковскаго, какъ русскихъ національ-
ныхъ элементовъ. Можетъ быть, это недостатокъ, но въ то
же время и достоинство: еслибъ национальность составляла
основную стихію поэзіи Жуковскаго,—онъ не могъ бы быть
романтикомъ, и русская поэзія не была бы оплодотворена
романтическими элементами. Поэтому всѣ усилія Жуковскаго
быть народнымъ поэтомъ возбуждаютъ грустное чувство,
какъ зрѣлище великаго таланта, который, вопреки своему
призванію, стремится идти по чуждому ему пути.

Лучшія мѣста въ нѣкоторыхъ патріотическихъ пьесахъ
Жуковскаго—тѣ, въ которыхъ онъ является вѣрнымъ своему
романтическому элементу. Таково, напримѣръ, въ «Пѣвцѣ
во Станѣ Русскихъ Воиновъ»:

Любви сей полный кубокъ въ даръ!
Среди борьбы кровавой
Друзья, святой питайте жаръ:
Любовь одно со славою.
Кому здѣсь жребій удѣленъ

Знать тайну страсти милой,
Кто сердцу сердцемъ обречень,
Тоть съяло, съ бодрой силой
На все великое летить;
Нѣтъ страха, нѣтъ преграды;
Чего, чего не совершить
Для сладостной награды?
Ахъ, мысль о той, кто все для насъ,
Намъ спутникъ неизмѣнный;
Вездѣ знакомый слышимъ гласъ;
Зримъ образъ незабвенный;
Она на бранныхъ знаменахъ,
Она въ пылу сраженья;
И въ шумѣ стана, и въ мечтахъ
Веселыхъ сповидѣнья.
Отвѣдай врагъ исторгнуть щить
Рукою данный милой;
Свитой объѣтъ на немъ горитъ:
Твоя и за могилой!
О, сладость тайныя мечты!
Тамъ, тамъ за сипей далью.
Твой ангелъ, дѣва красоты,
Одна съ своей печалью
Грустить, о другѣ слезы лить;
Душа ея въ молитвѣ,
Бойся вѣсти, вѣсти ждеть:
«Увы! не палъ ли въ битвѣ?»
И мыслить: «Скоро ль, дружній мнѣ
Твои мнѣ слушать звуки?
Лети, лети свиданья часть,
Смѣнить тоску разлуки».
Друзья! блаженнѣйшая часть
Любезнымъ быть спасеньемъ,
Когда-жъ предѣлъ нашъ въ битвѣ пасть—
Погибнемъ съ наслажденьемъ;
Святое имя призовемъ
Въ минуту смертной муки;
Кѣмъ мы дышали въ мирѣ семъ.
Съ той нѣтъ и тамъ разлуки:
Туда душа перенесетъ
Любовь и образъ милой...

О други, смерть не все возьметъ;
Есть жизнь и за могилою.

Слѣдующее мѣсто есть ни что иное, какъ profession de foi рыцарства среднихъ вѣковъ, какъ-будто выраженное огненнымъ словомъ Шиллера:

А мы?... Довѣренность Творцу!
Чтобъ-ни было, незримый
Ведетъ насъ къ лучшему концу
Стезей непостижимой.
Ему, друзья, отважно въ слѣдъ!
Прочь низкое! прочь злоба!
Духъ бодрый на дорогъ бѣдъ,
До самой двери гроба;
Въ высокой долъ—простота,
Нежадность въ наслажденьи,
Въ союзѣ съ ровнымъ—правога,
Въ могуществомъ—смиренье;
Обѣтамъ—вѣчность; чести—честь:
Покорность—правой власти;
Для дружбы все, что въ мѣрѣ есть;
Любви—весь пламень страсти;
Успѣха—скорби; просьбъ—дань;
Погибели—спасенье;
Могущему пороку—брань.
Безсильному—презрѣнье;
Неправдѣ—грознаго правды гласъ;
Заслугъ—воздаянье;
Спокойствіе—въ послѣдній часъ;
При гробъ—упованье.

Посланія — странный родъ, бывшій въ большемъ употребленіи у русской поэзіи до Пушкина. Они всегда были длинны и скучны, и почти всегда писались шестистопными ямбами: вотъ главная характеристическая черта ихъ. Посланія Жуковского отличаются отъ другихъ хорошими стихами и не чужды прекрасныхъ мѣстъ въ романтическомъ духѣ. Таковы, наприм., слѣдующіе стихи изъ посланія къ Филалету:

Скажу-ль? мнѣ ужасовъ могила не являетъ;
И сердце съ горестнымъ желаньемъ ожидаетъ.
Чтобъ Промысла рука обратно то взяла.
Чѣмъ я безрадостно въ семь мѣръ бременился.
Ту жизнь, въ которой я столь мало насладился,
Которую давно надежда не златить.
Къ младенчеству-ль душа прискорбная летить.
Считаю-ль радости мнувшаго— какъ мало!
Нѣтъ! счастье къ бытію меня не приучало;
Мой юношескій цвѣтъ безъ запаха отцвѣлъ.
Едва въ душѣ моей для дружбы я созрѣлъ—
И что же! предо мной увядшаго могила;
Душа, не воспылавъ, свой пламень угасила;
Любовь... но я въ любви нашелъ одну мечту,
Безумца тяжкій сонъ, тоску безъ раздѣленья
И невозвратное надеждъ уничтоженье.

Эти прекрасные стихи вдвойнѣ замѣчательны: они исполнены глубокаго чувства; въ нихъ слышится вопль души,— и они доказываютъ фактически, что не Пушкинъ, а Жуковский первый на Руси выговорилъ элегическимъ языкомъ жалобы человѣка на жизнь. Иначе и быть не могло. Жуковский былъ первымъ поэтомъ на Руси, котораго поэзія вышла изъ жизни. Какая разница въ этомъ отношеніи между Державинимъ и Жуковскимъ! Поэзія Державина столь же безсердечна; сколько сердечна поэзія Жуковскаго. Оттого, торжественность и высокопарность сдѣлались преобладающимъ характеромъ поэзіи Державина, тогда какъ скорбь и страданія составляютъ душу поэзіи Жуковскаго. До Жуковскаго на Руси никто и не подозрѣвалъ, чтобъ жизнь человѣка могла быть въ тѣсной связи съ его поэзіею, и чтобъ произведенія поэта могли быть вмѣстѣ и лучшею его биографіею. Тогда люди жили весело, потому что жили внѣшнею жизнію и въ себя не заглядывали глубоко.

Пой, пляши. кружись Параша!
Руки въ боки подпирай!

восклицалъ Державинъ.

Прочь отъ насъ Катонъ. Сенека,
Прочь угрюмый Эпиктетъ!
Безъ утѣхъ для человека
Пусть. несносенъ былъ бы свѣтъ!

восклицалъ Дмитріевъ. Эти пѣвцы и тогда умѣли плакать, но не умѣли скорбѣть. Жуковский, какъ поэтъ по преимуществу романтической, былъ на Руси первымъ пѣвцомъ скорби. Его поэзія была куплена имъ цѣною тяжкихъ утратъ и горькихъ страданій; онъ нашелъ ее не въ иллюминаціяхъ, не въ газетныхъ реляціяхъ, а на днѣ своего растерзаннаго сердца, во глубинѣ своей груди, истомленной тайными муками...

Въ посланіи къ Тургеневу, мы встрѣчаемъ столь же поразительное мѣсто, какъ и то, которое сейчасъ выписали изъ посланіи къ Филалету:

. . . И мы въ сей край незримый
Летимъ душой за милыми во слѣдъ;
Но къ намъ отъ нихъ желанной вѣсти нѣтъ;
Лишь тайное живетъ въ насъ ожиданье...
Когда-жь, когда?... Другъ милый, упованье!
Гробами ихъ рубежь означенъ тотъ,
На коемъ насъ свободы гевій ждетъ
Съ спокойствіемъ, безчувствіемъ, забвеньемъ.
*Пришедъ туда, о другъ, съ какимъ презрѣньемъ
Мы бросимъ взоръ на жизнь, на мусный свѣтъ,
Гдѣ милому одинъ минувшій цвѣтъ,
Гдѣ доброму смѣдовъ ко счастью нѣтъ,
Гдѣ мнѣ надъ соотѣстною властителъ,
Гдѣ все, мой другъ, или жертва, или губитель!...*
Дай руку, братъ! какъ знать, куда нашъ путь
Насъ приведетъ, и скоро-ль онъ свершится,
И что еще во мглѣ судьбы таятся.—
Но дружба намъ звѣздой отрады будь;
О прочемъ здѣсь останемся безпечны;
Намъ счастья нѣтъ: за то и мы не-тѣчны.

Въ посланіяхъ Жуковскаго, вообще длинныхъ и прозаическихъ, встрѣчаются кромѣ прекрасныхъ романтическихъ мѣстъ, и высокія мысли безъ всякаго отношенія къ романтизму. Такъ, напр., въ посланіи (121—139 стр. 2-го тома) встрѣчаемъ слѣдующіе стихи:

Такъ! и на бѣдствіи земныя положишь
Онъ свѣтлозарную печать благотворенья!
Ниспосылаемый имъ ангелъ разрушенья
Взрываетъ, какъ бразды, земныя племена,
Въ нихъ жизни свѣжія бросаетъ сѣмена,
И, обновленные, пышнѣе расцвѣтають!
Какъ бури въ зной поля, бѣды ихъ возрождаютъ!

Въ слѣдующемъ за тѣмъ посланіи встрѣчаемъ эти высокіе пророческіе стихи, въ которыхъ слышится голосъ умиленной Россіи:

Тебѣ его младенческія лѣта!
Отъ ихъ пелень ко входу съ бури свѣта
Пускай тебѣ во слѣдъ онъ перейдетъ
Съ душой, на все прекрасное готовой;
Наставленный: достойнымъ счастья быть,
Великое съ величіемъ сносить,
Не трепетать, встрѣчая рокъ суровый,
И быть въ дѣлахъ временъ своихъ красой.
Лѣта пройдутъ, подвижникъ молодой,
Откинувши младенчества забавы,
Онъ полетитъ въ путь опыта и славы...
Да встрѣтитъ онъ обильный чествомъ въкъ!
Да славнаго участникъ славный будетъ!
Да на чредѣ высокой не забудетъ
Святѣйшаго изъ званій: *человѣкъ!*
Жить для вѣковъ въ величій народномъ
Для блага *всѣхъ*—*свое* забывать,
Лишь въ голосъ отечества свободномъ
Съ смиреніемъ дѣла свои читать:
Вотъ правила царей великихъ внуку.
Съ тобой ему начать сію науку.

Изъ оригинальныхъ стихотвореній Жуковскаго особенно замѣчательны «Теонъ и Эсхинъ» и баллада «Узникъ», если только они — его оригинальныя стихотворенія (въ Смирдинскомъ изданіи «Сочиненій Жуковскаго» только при немногихъ переводныхъ пьесахъ означены имена авторовъ). Это самыя романтическія произведенія, какія только выходили изъ подъ пера Жуковскаго. Эсхинъ долго бродилъ по свѣту за счастіемъ—оно убѣгало его.

И роскошь, и слава, и Вакхъ, и Эротъ—
Лишь сердце они изнурели;
Цвѣтъ жизни былъ сорванъ; увяла душа:
Въ ней скука смѣнила надежду.

Возвращаясь на родину, Эсхинъ видитъ—

Все тѣ-жь берега, и поля, и холмы,
И тоже прекрасное небо;
Но гдѣ-жь озарившая нѣкогда ихъ
Волшебнымъ сіяньемъ Надежда?

И приходитъ онъ къ другу своему Теону; тотъ сидѣлъ въ раздумьѣ на порогѣ своей хижины, въ виду гроба изъ бѣлаго мрамора; друзья обнялись; лицо Эсхина скорбно и мрачно, взоръ Теона скорбень, но ясенъ. Эсхинъ говоритъ объ обманывающей сердце мечтѣ, о счастіи, и спрашиваетъ друга—не та же ли участь постигла и его?

Теонъ указалъ, вздыхая, на гробъ...
«Эсхинъ, вотъ безмолвный свидѣтель,
Что боги для счастья послали намъ жизнь,—
Но съ нею печаль неразлучна.
О нѣтъ, не ропщу на Зевесовъ законъ;
И жизнь, и вселенна прекрасны,
Не въ радостяхъ быстрыхъ, не въ сложныхъ мечтахъ
Я видѣлъ земное блаженство.
Что можетъ разрушить въ минуту судьба,
Эсхинъ, то на свѣтъ не наше;
Но сердца нетлѣвныя блага: любовь
И сладость возвышенныхъ мыслей—

Вот счастье; о другъ мой, оно не мечта.

Эскинь, я любилъ и былъ счастливъ;

Любовью моя освѣтилась душа.

И жизнь въ красотѣ мнѣ предстала.

При блескѣ возвышенныхъ мыслей я зрѣлъ

Яснѣ великость творенья:

Я вѣрилъ, что путь мой лежитъ по землѣ

Къ прекрасной возвышенной цѣли.

Увы! я любилъ... и ея уже нѣтъ!

Но счастье вдвоемъ столь живое,

На вѣки-ль исчезло? И прежніе дни

Вотще ли столь были прелестны?

О, нѣтъ: никогда не погибнетъ ихъ слѣдъ;

Для сердца прошедшее вѣчно;

Страданье въ разлукѣ есть та же любовь;

Надъ сердцемъ утрата бессильна.

И скорбь о прошедшемъ не есть ли, Эскинь.

Обътъ неизмѣнной надежды:

Что гдѣ-то въ знакомой, но тайной странѣ,

Погибшее намъ возвратится?

Кто разъ полюбилъ, тотъ на свѣтѣ, мой другъ.

Уже одинокимъ не будетъ...

Ахъ, свѣтъ, гдѣ она предо мною цвѣла—

Онъ тотъ же: все ею онъ полонъ.

По той же дорогѣ стремлюся одинъ,

И къ той же возвышенной цѣли,

Къ которой такъ бодро стремился вдвоемъ,—

Сихъ узъ не разрушить могла

Сей мыслью высокой украшена жизнь;

Я взоромъ смотрю благодарнымъ

На землю, гдѣ столько разсыпано благъ.

На полное славы творенье.

Спокойно смотрю я съ земли рубежа

На сторону лучшія жизни;

Сей сладкой надеждою міръ озаренъ,

Какъ небо сияньемъ авроры.

Съ сей сладкой надеждой я выше судьбы.

И живнъ мнѣ земная священна;

При мысли великой, что я *человѣкъ*,

Всегда возвышаюсь душою.

А втотъ безмолвный, таинственный гробъ...

О, другъ мой, онъ вѣрный свидѣтель,
Что лучшее въ жизни еще впереди,
Что *тѣрно* желанное будетъ;
Сей гробъ, затворенная къ счастью дверь
Отворится... жду и надѣюсь!
За нимъ ожидаетъ сопутникъ меня,
На мигъ мнѣ явившійся въ жизни.
О другъ мой, искавъ измѣняющихъ благъ,
Искавъ наслажденій минутныхъ,
Ты вѣрныя блага утратилъ свои—
Ты жизнь презирать научился,
Съ симъ гибельнымъ чувствомъ ужасенъ и свѣтъ;
Дай руку: близъ вѣрнаго друга,
Съ природой и жизнью опять примиришь;
О, вѣрь мнѣ, прекрасна вселенная!
Все небо намъ дало, мой другъ, съ бытіемъ.
Все въ жизни къ великому средство:
И горестъ, и радость—все къ цѣли одной:
Хвала Жизнодавцу-Зевесу.

На это стихотвореніе можно смотрѣть, какъ на программу всей поэзіи Жуковскаго, какъ на положеніе основныхъ принциповъ ея содержанія. Всѣ блага жизни невѣрны: стало-быть, благо внутри насъ; здѣсь все проходитъ и измѣняетъ намъ: стало-быть, неизмѣнное впереди насъ. Прекрасно! Но неужели же изъ этого слѣдуетъ, чтобъ мы здѣсь сидѣли сложа руки, ничего не дѣлая, пытаюсь высокими мыслями и благородными чувствованіями?... Эта односторонность, нравственный аскетизмъ, крайность и заблужденіе ультра-романтизма... Какимъ образомъ человѣкъ можетъ идти «къ прекрасной, возвышенной цѣли», стоя на одномъ мѣстѣ и бесѣдуя съ самимъ собою о лучшей жизни на порогѣ своей хижины, въ виду мраморнаго гроба?... И неужели эта «прекрасная, возвышенная цѣль» есть только лучшее счастье человѣка, а личное счастье человѣка только въ любви къ женщинѣ?... О, если такъ, то по закону совпаденія крайностей, эта любовь есть величайшій эгоизмъ!... Смерть —

дѣло слѣпаго случая—похитила у насъ ту, которой обязаны были нашимъ земнымъ счастьемъ: не будемъ приходить въ отчаяніе—да и для чего? вѣдь это только временная разлука, вѣдь скоро мы опять женимся на ней—тамъ; сядемъ же на порогъ нашей хижины, сложимъ руки и, не сводя глазъ съ ея гроба, будемъ восхищаться «полнымъ славы твореніемъ, красотою вселенной, и будемъ утѣшать себя мыслию, что все дано намъ небомъ съ бытіемъ, и все въ жизни — средство къ великому, и что горе и радость — все къ одной цѣли!» Нѣтъ, и еще разъ — нѣтъ! Только въ половину истинна такая аскетическая философія! Законно и праведно требованіе человѣка на личное счастье; разумно и естественно его стремленіе къ личному счастью; но въ одномъ ли сердцѣ долженъ заключаться весь міръ его счастья? Вотъ вопросъ, на который не даетъ намъ рѣшенія поэзія Жуковского. Еслибъ вся цѣль нашей жизни состояла только въ нашемъ личномъ счастьи, а наше личное счастье заключалось бы только въ одной любви: тогда жизнь была бы дѣйствительно мрачною пустынею, заваленною гробами и разбитыми сердцами, была бы адомъ, передъ страшною существенностію котораго поблѣднѣли бы поэтическіе образы земнаго ада, начертанные гениемъ суроваго Данте... Но — хвала вѣчному Разуму, хвала попечительному Промыслу! есть для человѣка и еще великій міръ жизни, кромѣ внутренняго міра сердца — міръ историческаго созерцанія и общественной дѣятельности,—тотъ великій міръ, гдѣ мысль становится дѣломъ, а высокое чувствованіе — подвигомъ, и гдѣ два противоположные берега жизни—здѣсь и тамъ — сливаются въ одно реальное небо историческаго прогресса, историческаго безсмертія... Это міръ непрерывной работы, нескончаемаго дѣланія и становленія, міръ вѣчной борьбы будущаго съ прошедшимъ, — и надъ этимъ міромъ носится Духъ Божій, оглащающій хаосъ и мракъ своимъ творческимъ и мощнымъ глаголомъ: «да будетъ!», и вызывающій имъ

свѣтлое торжество настоящаго — радостные дни новаго тысячелѣтнаго царства Божія на землѣ... И благо тому, кто не празднымъ зрителемъ смотрѣлъ на этотъ океанъ шумно несущейся жизни, кто видѣлъ въ немъ не одни обломки кораблей, яростно вздымающіяся волны, да мрачную, лишь молніями освѣщенную ночь, кто слышалъ въ немъ не одни вопли отчаянія и крики гибели, но кто не терялъ при этомъ изъ вида и путеводной звѣзды, указывающей на цѣль борьбы и стремленія, кто не былъ глухъ къ голосу свыше: «борись и погибай, если надо: блаженство впереди тебя, и если не ты—братья твои насладятся имъ и восхвалятъ вѣчнаго Бога силъ и правды!» Благо тому, кто, не довольствуясь настоящею дѣйствительностію, носилъ въ душѣ своей идеалъ лучшаго существованія, жилъ и дышалъ одною мыслию—споспѣшествовать, по мѣрѣ данныхъ ему природою средствъ, осуществленію на землѣ идеала,—рано поутру выходилъ на общую работу и съ мечемъ, и съ словомъ, и съ заступомъ, и съ метлою, смотря по тому, что было ему по силамъ, и кто являлся къ своимъ братіямъ не на одни пиры веселія, но и на плачь и сѣтованія.... Благо тому, кто, падая въ борьбѣ за свѣтлое дѣло совершенствованія, съ упованіемъ страстнаго блаженства погружался въ успокоительное лоно силы, вызывавшей его на дѣло жизни, и восклицалъ въ священномъ восторгѣ: «все тебѣ и для тебя, а моя высшая награда — да святится имя твое и да прійдетъ царствіе твое!...»

Обаятельна жизнь сердца; но безъ практической дѣятельности, источникъ которой заключался бы въ паеосѣ къ идеѣ, самый богато - надѣленный дарами природы человекъ рискуетъ скоро изжить всю жизнь и остаться при одной пустотѣ мечтательныхъ ожиданій и дѣйствительнаго отвращенія къ чувству бытія. Романтизмъ, безъ живой связи и живаго отношенія къ другимъ сторонамъ жизни, есть величайшая односторонность!

«Узникъ» — одно изъ самыхъ благоуханныхъ романтическихъ произведеній Жуковского. Заключенный въ тюрьмѣ юноша слышитъ за стѣною голосъ такой же, какъ онъ самъ, узницы:

„И такъ всѣ блага замѣнить
Могилой;
И бросить свѣтъ, когда въ немъ жить
Такъ мило!
Ахъ, дайте въ свѣтъ подышать;
Еще мнѣ рано умирать.
Лишь мигъ весеннимъ бытiемъ
Жила я;
Лишь мигъ на празднигѣ земномъ
Была я;
Душа готовилась любить...
И все покинуть, все забыть!“

Юноша сжился душою съ узницею, которой онъ никогда не видалъ. Въ ней вся жизнь его, и онъ не проситъ самой воли. И что нужды, что онъ никогда не видалъ ея, что она для него — не болѣе, какъ мечта? Сердце человѣка умѣетъ обманывать и себя, и разумокъ, особенно если съ нимъ вступить въ союзъ фантазія. Нашъ узникъ не хочетъ и знать, что-бъ заговорило сердце его тогда, когда глаза его увидѣли бы таинственную узницу.

„Не ты-ль—онъ мнитъ—давно была
Любима?
И не тебя-ль душа звала,
Тошима
Желанья смутнаго тоской,
Волненьемъ жизни молодой?
Тебя въ пророчественномъ снѣ
Видалъ я;
Тобою въ пламенной веснѣ
Дышалъ я;
Ты мнѣ цвѣла въ живыхъ цвѣтахъ;
Твой образъ вѣялъ въ облакахъ.“

Молодая узница умерла въ своей тюрьмѣ: узникъ былъ освобожденъ;—

Но хладно принялъ онъ привѣтъ
Свободы:
Прекраснаго ужъ въ міръ нѣтъ:
Дни, годы
Напрасно будутъ проходить...
Погибшаго не возвратить.
.
И тихо въ сумракъ ночей
Онъ бродить,
И съ неба темнаго очей
Не сводить:
Звѣзда знакомая тамъ есть;
Она къ нему приноситъ вѣсть...
О миломъ вѣсть и въ міръ иной
Призванье...
И дѣлится съ тайной онъ звѣздой
Страданье;
Ея краса оживлена;
Ему въ ней свѣтитса она.
Онъ таятъ, гаснутъ, и угась...
И мнилось,
Что вдругъ въ предпоследній часъ
Явилось
Все то, чего душа ждала—
И жизнь въ улыбкѣ отошла...

«Сказка о царѣ Берендеѣ, о сынѣ его Иванѣ-царевичѣ, о хитростяхъ Кощея безсмертнаго и о премудростяхъ Марьи Царевны, Кощеевой дочери» и «Сказка о спящей царевнѣ» были весьма неудачными попытками Жуковского на русскую народность. О нихъ никакимъ образомъ нельзя сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Вообще—быть народнымъ, значило бы для Жуковского отказаться отъ романтизма,—а это для него было бы все равно, что отказаться отъ своей природы, отъ своего духа, сло-

вомъ — отъ самого себя. Въ «Громобоѣ» Жуковскій тоже хотѣлъ быть народнымъ, но, наперекоръ его волѣ, эта русская сказка у него обратилась какъ-то въ нѣмецкую—что-то въ родѣ католической легенды среднихъ вѣковъ. Лучшія мѣста въ ней—романтическія, какъ напр., это:

Увы! пора любви придетъ:
Вамъ сердце тайну скажетъ,
Для васъ украситъ Божій свѣтъ,
Вамъ милаго покажетъ;
И взоръ наполнится тоской,
И тихимъ грудь желаньемъ,
И, распаленныя душой,
Влекомы ожиданьемъ,
Для васъ взойдетъ краснѣе день.
И будетъ лугъ душнѣйшій,
И сладостнѣйшій дубравы тѣнь,
И птичка голоснѣйшій.

«Вадимъ» весь преисполненъ самымъ неопредѣленнымъ романтизмомъ. Этотъ «Новгородскій рыцарь» ѣдетъ самъ не зная куда, руководимый таинственнымъ звонкомъ... Онъ долженъ стремиться къ небесной красотѣ, не обольщаясь землею. И вотъ для обольщенія его предстала ему земная красота, въ образѣ кіевской княжны...

Лазурны очи опусти,
Въ объятіяхъ Вадима,
Она какъ тихое дити,
Лежала недвижима;
И что съ невинною душой
Сбылось—не постигала;
Лишь сердце билось, и порою,
Вся всыхнувъ, трепетала;
Лишь пламень гаснущій сіялъ
Свезовъ тѣнь рѣсницъ склоненныхъ,
И вздохъ невольный вылеталъ
Изъ устъ воспламененныхъ.

А витязь?... Что съ его душой?...
Увы! сихъ взоровъ сладость,
Сихъ чистыхъ, подъ его рукой
Горящихъ персей младость,
И мягкій шолкъ кудрей густыхъ,
По раменамъ разлитыхъ,
И свѣжій блескъ ланитъ младыхъ,
И усть полукрытыхъ
Палящій жаръ, и тихій гласъ,
И милое смятенье,
И ночи таинственный часъ,
И вокругъ уединенье —
Все чувство разжигало въ немъ...
О власть очарованья!
Уже исполнены огнемъ
Кипящаго лобзанья,
На дѣвственныхъ ея устахъ
Его уста горѣли,
И жарче розы на щекахъ
Дрожащей дѣвы рдѣли;
И все... но вдругъ смутился онъ,
И въ радостномъ волненьи
Затрепеталъ... знакомый звонъ
Раздался въ отдаленьи;
И долго жалобно звенѣлъ
Онъ въ безднѣ поднебесной;
И кто-то, чудилось, летѣлъ
Незримый, но извѣстный;
И взоръ, исполненный тоской,
Мелькалъ сквозь покрывало;
И подъ воздушной пеленой
Печальное вздыхало...
Но вдругъ сильнѣй потрясся лѣсъ,
И небо зашумѣло...
Вадимъ взглянулъ — *приракъ* исчезъ;
А въ вышнихъ... звенѣло,
И вслѣдъ за милою *мечтой*
Душа его стремится...

**Колокольчикъ, какъ видите, зазвенѣлъ очень кстати...
Вадимъ отказался отъ кievской княжны, а вмѣстѣ съ нею и**

отъ кievской короны, освободилъ двѣнадцать спящихъ дѣвъ и на одной изъ нихъ женился. Но что было потомъ и кто эти дѣвы и что съ ними стало—все это осталось для насъ такую же тайною, какъ и для самого поэта... Право, намъ кажется, что напрасно отказался Вадимъ отъ кievской княжны. Это напоминаетъ намъ фантастическую сказку Гофмана — «Золотой Горшокъ»: тамъ студентъ Ансельмъ, цѣною многихъ лишеній и сумасбродствъ, добивается до неизрѣченнаго блаженства обнять, вмѣсто женщины—змѣю, которая, какъ ловкая, увертливая змѣя, и ускользаетъ изъ его рукъ... Вадимъ, кажется обнялъ еще меньше, чѣмъ змѣю, обнялъ—мечту, призракъ. Но за то, онъ былъ вѣренъ до гроба своей мечтѣ... И то не малое утѣшеніе!...

Содержаніе «Ундины» взято Жуковскимъ изъ сказки Ламота Фуке; но въ стихахъ Жуковскаго обыкновенная сказка явилась прекраснымъ поэтическимъ созданіемъ. «Ундина» одно изъ самыхъ романтическихъ его произведеній. Основная мысль ея—олицетвореніе стихійной силы природы. Ундина — дочь воды, внучка стараго Потока. Нельзя довольно надивиться, какъ искусно нашъ поэтъ умѣетъ слить фантастическій міръ съ дѣйствительнымъ міромъ, и сколько заповѣдныхъ тайнъ сердца умѣлъ онъ разоблачить и высказать въ такомъ сказочноиъ произведеніи. По красотамъ поэтическимъ «Ундина» есть такое созданіе, которое требовало бы подробнаго разбора, и потому мы ограничимся указаніемъ на одно изъ самыхъ романтическихъ мѣстъ этой поэмы:

Какъ намъ добрый читатель, сказать: къ сожалѣнью, или къ счастью, что наше

Горе земное не надолго! Здѣсь разумью я горе
Сердца глубокое, нашу всю жизнь губящее горе,
Горе, которое съ милымъ потеряннымъ благомъ сливается
Насъ во-едино, которымъ утрата для насъ не утрата
Смерть — вдвоемъ бытіе, а жизнь — порывъ непрестанный
Къ той чертѣ, за которую милое наше изъ міра
Прежде насъ перешло. Есть, правда, много избранныхъ

Душъ на свѣтъ, въ которыхъ святая печаль, какъ свѣча предъ
иконою,

Ярко горитъ, пока догоритъ; но она и для нихъ ужъ

Все не та подъ-конецъ, какою была при началѣ,

Полная, чистая; много инаго, чужаго

Между утратою нашей и нами уже протѣснилось;

Вотъ наконецъ и всю измѣняемость здѣшняго въ самой

Нашей печали мы видимъ... итакъ, скажу къ сожалѣнью

Наше горе земное не надо долго...

Эта поэма принадлежитъ къ позднѣйшимъ произведеніямъ Жуковского, а оттого ея романтизмъ какъ-то сговорчивѣе и дѣлаетъ болѣе уступокъ разуму и дѣйствительности...

Не будемъ распространяться о достоинствѣ перевода «Орлеанской Дѣвы» Шиллера: это достоинство давно и всѣми единодушно признано. Жуковский своимъ превосходнымъ переводомъ усвоилъ русской литературѣ это прекрасное произведение. И никто, кромѣ Жуковского, не могъ бы такъ передать этого по преимуществу романтическаго созданія Шиллера, и никакой другой драмы Шиллера Жуковский не былъ бы въ состояніи такъ превосходно передать на русскій языкъ, какъ превосходно передалъ онъ «Орлеанскую Дѣву». — Въ особенную заслугу Жуковскому здравый эстетическій вкусъ долженъ поставить переводъ балладъ Шиллера: «Рыцарь Тогенбургъ»; «Ивиковы Журавли», «Кассандра», «Графъ Габсбургскій», «Поликратовъ Перстень», «Кубокъ», и пьесы Шиллера же — «Горная дорога»; все это переведено превосходно. — Но если что составляетъ истинный ореолъ Жуковского, какъ переводчика — это его переводъ слѣдующихъ трехъ пьесъ Шиллера; «Торжество Побѣдителей», «Жалоба Цереры» и «Элевзинскій Праздникъ». Еслибъ кромѣ этихъ пьесъ Жуковский ничего не перевелъ, ничего не написалъ, — и тогда имя его не было бы забыто въ исторіи русской литературы.

«Торжество Побѣдителей» есть одно изъ величайшихъ и благороднѣйшихъ созданій Шиллера. Въ немъ гений этого поэта является съ лучшей своей стороны. Великая душа Шил-

лера горячо сочувствовала всему великому и возвышенному, и это сочувствіе ея было воспитано и развито на исторической почвѣ. Глубоко проникъ этотъ великій духъ въ тайну жизни древней Эллады, и много высокихъ вдохновеній пробудила въ немъ эта дивная страна. Онъ такъ краснорѣчиво оплакалъ паденіе ея боговъ, онъ съ такою страстію говорилъ о ея искусствѣ, ея гражданской доблести, ея мудрости. И нигдѣ съ такою полнотою и такою силою не выразилъ онъ, не воспроизвелъ поэтическаго образа Эллады, какъ въ «Торжествѣ Побѣдителей». Эта пьеса есть апофеоза всей жизни, всего духа Греціи: эта пьеса—вмѣстѣ и поэтическая тризна и побѣдная пѣснь въ честь отечества, боговъ и героевъ. Она написана въ греческомъ духѣ, облита свѣтомъ міробъемлющаго созерцанія греческаго. Шиллеръ говоритъ не отъ себя: онъ воскресилъ Элладу и заставилъ ее говорить отъ самой себя и за самое себя. Величіе и важность греческой трагедіи слиты въ этой пьесѣ Шиллера съ возвышенною и кроткою скорбью греческой элегіи. Въ ней видится и свѣтлый Олимпъ съ его блаженными обитателями, и подземное царство Аида, и земля, съ ея добромъ и зломъ, съ ея величіемъ и ничтожностію, — и царящая надъ всѣми ими мрачная Судьба, верховная владычица боговъ и смертныхъ... Нельзя шире и вѣрнѣе воспроизвести нравственной физиономіи народа, уже не существующаго столько тысячелѣтій!

Побѣдоносные Греки готовятся отплыть отъ враждебныхъ береговъ Трои въ свое отечество и собрались къ острогрудымъ кораблямъ праздновать тризну въ честь минувшаго. Калхасъ приноситъ жертву богамъ.

Судъ оконченъ; споръ рѣшился.
Прекратилася борьба,
Все исполнила судьба—
Градъ великій сокрушился.

Каждый изъ героевъ, участвовавшихъ въ великомъ событіи паденія «священнаго Пріамова града», высказывается ка-

кимъ-нибудь сужденіемъ, примѣненнымъ къ обстоятельству. Хитроумный Одиссей замѣчаетъ, что не всякій насладится миромъ, возвратившись въ свой домъ, и, пощаженный богомъ войны, часто падаетъ жертвою вѣроломства жены. Менелай говоритъ о неизбѣжномъ судѣ всевидящаго Крониды, карающаго преступленія. Особенно замѣчательны слова Аякса Оленда:

Пусть веселый взоръ счастливыхъ
(Оилеевъ сынъ сказалъ)
Зреть въ богахъ боговъ правдивыхъ;
Судъ ихъ часто сѣнь бывалъ:
Сколькихъ добрыхъ жизнь поблекла!
Сколькихъ низкихъ рокъ щадить!...
Нѣтъ великаго Патрокла;
Живъ презрительный Терситъ.

Но эта горестная и мрачная мысль сейчасъ же, по свойству всеобщаго и многосторонняго духа греческаго, разрѣшается въ веселое и свѣтлое созерцаніе:

Смертный, вѣчный Дій Фортунь
Своейравной предалъ насъ;
Уловляя же быстрый часъ,
Не тревожа сердца втунъ.

Вообще, эти четверостишія, слѣдующія за каждымъ куплетомъ, напоминаютъ собою хоръ изъ греческой трагедіи. Олендъ продолжаетъ:

Лучшихъ бой похитилъ ярый!
Вѣчно памятенъ намъ будь,
Ты, мой братъ, ты, подъ удары
Подставлявшій твердо грудь,
Ты, который насъ пожаромъ
Осажденныхъ защитилъ...
Но коварнѣйшему даромъ
Щитъ и мечъ Ахилловъ былъ.
Миръ тебѣ во мглахъ Эрева
Жизнь твою не прахъ пожажь;
Ты своею силой палъ,
Жертва гибельнаго гнѣва.

Воспоминаніе объ Ахиллѣ дышетъ всею полнотою греческаго созерцанія героизма:

О Ахиллѣ! о мой родитель?
(Возгласилъ Неоптолемъ)
Быстрый міра посвятитель.
Жребій лучшей взялъ ты въ немъ.
Житіе въ любви племенъ дьями
Благо первое земли;
Будемъ славны именами
И сокрытые въ пыми!

Слава дѣей твоихъ нетлѣнна:
Въ пѣняхъ будетъ цвѣсть она.
Жизнь живущихъ невѣрна,
Жизнь отжившихъ неизмѣнна!

Великодушная похвала Гектору, вложенная Шиллеромъ въ уста Діомеда, есть истинный образецъ высокаго (*du sublime*) въ чувствованіи и выраженіи:

Смерть велитъ умолкнуть злобѣ;
(Діомедъ провозгласилъ)
Слава Гектору во гробѣ!
Онъ краса Пергама былъ.
Онъ за край, гдѣ жили дѣды,
Великодушно пролилъ кровь.
Побѣдившимъ честь победы!
Охранявшему—любовь!

Кто, на судъ явись кровавый.
Славно палъ за отчій домъ,
Тотъ, почтенный и врагомъ,
Будетъ жить въ преданьяхъ славы!

Но что можетъ сравниться съ этою трогательною, этою умиляющею душу картиною «убѣленнаго жизнію» Нестора, съ словами кроткаго утѣшенія подающаго кубокъ страждущей Гекубѣ! Здѣсь въ рѣзкой характеристической чертѣ схвачена вся гуманность греческаго народа:

Несторъ жизнью убъленный.
Нацѣдаль вина сіалъ
И Гекубъ сокрушенной
Дружелюбно выпить далъ.
Пей страданій утоленье,
Добрый вакховъ даръ вино:
И веселость и забвенье
Проливаетъ въ насъ оно.
Пей, страдалица! печали
Утоляются виномъ:
Боги жалостные въ немъ
Подкрѣпленье сердцу дали.

Вспомни матеръ Ниобею:
Что извѣдала она!
Сколь ужасная надъ нею
Казнь была совершена!
Но и съ нею, безотрадной,
Добрый Вахъ не даромъ былъ;
Онъ струею виноградной
Въ мигъ тоску въ ней усыпиль.
Если грудь виномъ согрѣта
И въ устахъ вино кипить,—
Скорби наши быстро мчигъ
Ихъ смывающая Лета!

Эта высокая ораторія заключается мрачнымъ финаломъ: про-
рочество Кассандры намекаетъ на перемѣнчивость участи всего
подлуннаго и на горе, ожидающее самихъ побѣдителей Трои:

И вперила взоръ Кассандра,
Внявъ шепнувшимъ ей богамъ,
На пустынный берегъ Скамандра,
На дымящійся Пергамъ.
*Все великое земное
Разлетается какъ дымъ:
Нынѣ жребій выпалъ Трои,
Завтра выпадетъ друмижъ.*

Но съ греческимъ міросозерцаніемъ несообразно оканчивать
высокую пѣснь раздирающимъ душу диссонансомъ: богатая

и полная жизнь сыновъ Эллады въ самой себѣ, даже въ собственныхъ диссонансахъ, находила выходъ въ гармонию и примиреніе съ жизнью, — и потому пьеса Шиллера достойно заключается утѣшительнымъ обращеніемъ отъ смерти къ жизни, словно музыкальнымъ аккордомъ:

Смертный, силъ, насъ гнетущей,
Покоряйся и терпи!
Спящій въ гробъ, мирно спи!
Жизнью пользуйся живущій!

Такой былъ греческій романтизмъ: на гробахъ и могилахъ загоралась для него вѣчная заря жизни, несчастія и гибель индивидуальнаго не скрывала отъ его глубокаго и широкаго взгляда торжественнаго хода и блаженствующей, полноты общаго; на веселыхъ пиршествахъ ставилъ онъ урны съ пепломъ почившихъ, статуи смерти, и, глядя на нихъ, восклицалъ:

Спящій въ гробъ, мирно спи!
Жизнью пользуйся, живущій!

Смерть для Грека являлась не мрачнымъ, отвратительнымъ остовомъ, но прекраснымъ, тихимъ, успокоительнымъ геніемъ сна, кротко и любовно смежавшимъ на вѣки утомленныя страданіемъ и блаженствомъ жизни очи...

Переводъ Жуковскаго «Торжества Побѣдителей» есть образецъ превосходныхъ переводовъ, — такъ что если, при тщательномъ сравненіи, иныя мѣста окажутся не вполне вѣрно, или не вполне сильно переданными, — за то еще болѣе найдется мѣстъ, которыя въ переводѣ сильнѣе и лучше выражены. Такъ, напримѣръ, у Шиллера сказано просто: «И въ дикое празднество радующихся примѣшивали онѣ (плѣнныя жены и дѣвы троянскія) плачевное пѣніе, оплакивая собственные страданія и паденіе царства». У Жуковскаго это выражено такъ:

И съ побѣдной пѣснью дикой
Ихъ сливался тихій огоньъ
По тебѣ, святой великой,
Невозвратный Имякъ.

«Жалоба Цереры» — тоже одно изъ величайшихъ созданий Шиллера — передана по-русски Жуковскимъ съ такимъ же изумительнымъ совершенствомъ, какъ и «Торжество Побѣдителей». Въ этой пьесѣ Шиллеръ воспроизвелъ романтическій образъ элевзинской Цереры — нѣжной и скорбящей матери, оплакивающей утрату дочери своей, Прозерпины, похищенной мрачнымъ владыкою подземнаго царства, суровымъ Аидомъ:

Сколь завидна мнѣ печальной
Участь смертныхъ матерей!
Легкій пламень погребальной
Возвращаетъ имъ дѣтей;
А для насъ, боговъ нетлѣнныхъ,
Что усладю утрату?
Насъ, безрадостно-блаженныхъ,
Парки строгія щадятъ...
Парки, парки, поспѣшите
Съ неба въ адъ мепя послать;
Правъ богами не щадите:
Вы обрадуете мать.

Въ поэтическомъ образѣ брошеннаго въ землю зерна, котораго корень ищетъ ночной тьмы и питается стивсовой струей, а листь выходитъ въ область неба и живетъ лучами Аполлона, — въ этомъ дивно поэтическомъ образѣ Шиллеръ выразилъ глубокую идею связи романтическаго міра сердца и чувства съ міромъ сознанія и разума, и сдѣлалъ самый поэтическій намекъ на скорбь и утѣшеніе божественной матери: этотъ корень, ищущій ночной тьмы и питающійся стивсовой водою, и этотъ листь, радостно рвущійся на свѣтъ и поднимающійся къ небу —

Ими таинственно слита
Область тьмы съ странною днѣ,
И приходятъ отъ Коцита
Милой вѣстью отъ меня;
И ко мнѣ въ живомъ дыханьѣ
Молодыхъ цвѣтовъ весны
Подымается признание,
Гласъ родной изъ глубины;
Онъ разлуку улаждаетъ,
Онъ душѣ моей твердитъ,
Что любовь не умираетъ
И въ отшедшихъ за Коцить.

Сколько скорбной и умиленной любви въ этомъ обращеніи
романтической богини къ любимымъ чадамъ ея материнскаго
сердца—къ цвѣтамъ:

О. привѣтствую васъ, чада
Разцвѣтающихъ полей!
Вы тоски моей улада,
Образъ дочери моей!
Васъ налью благоуханьемъ,
Напою живой росой
И съ авроринымъ сіяньемъ
Поравню красотой;
Пусть весной природы младость,
Пусть осенній мракъ полей
И мою въщаетъ радость,
И печаль души моей!

Въ «Элевзинскомъ Праздникѣ» Шиллера есть опять поэ-
тическая апопееза Цереры; но здѣсь эта богиня представ-
лена уже съ другой ея стороны. Въ «Жалобѣ Цереры» эта
богиня является представительницею греческаго романтизма;
въ «Элевзинскомъ Праздникѣ» она является божествомъ бла-
готворно дѣятельнымъ — очеловѣчиваетъ и одухотворяетъ
подобныхъ троглодитамъ людей, научая ихъ земледѣлію, со-
единяетъ ихъ въ общества, даетъ имъ боговъ и храмы, низ-

водитъ къ нимъ ремесла и искусства и посѣваетъ между ними сѣмена гражданственности. Эта превосходная поэма Шиллера превосходно переведена Жуковскимъ.

Вѣроятно, увлеченный Шиллеровскимъ созерцаемъ великаго міра греческой жизни, Жуковский и самъ написалъ пьесу въ этомъ же родѣ — «Ахиллъ». Въ ней есть прекрасныя мѣста; но вообще въ греческое созерцаніе Жуковский внесъ слишкомъ много своего, — и тонъ ея выраженія сдѣлался оттого гораздо болѣе унылымъ и расплывающимся, нежели сколько слѣдовало бы для пьесы, которой содержаніе взято изъ греческой жизни и которая написана въ греческомъ духѣ. Равнымъ образомъ, къ недостаткамъ этой пьесы принадлежитъ еще и то, что она больше растанута, чѣмъ сжата, а потому утомляетъ въ чтеніи. Но, несмотря на то, въ ней есть красоты, иногда напоминающія пьесы Шиллера въ этомъ родѣ, и вообще «Ахиллъ» Жуковского — одно изъ замѣчательныхъ его произведеній.

Какъ романтикъ по натурѣ, Шиллеръ созерцалъ греческую жизнь съ ея романтической стороны, и вотъ причина, почему многіе недалновидные критики не хотѣли въ его произведеніяхъ греческаго содержанія видѣть вѣрное воспроизведеніе духа Эллады; но это уже была вина ихъ, недалновидныхъ критиковъ, а не вина Шиллера. Вольно же было имъ и не подозрѣвать, что въ Греціи былъ свой романтизмъ! Жуковский — тоже, какъ романтикъ по натурѣ, былъ въ состояніи превосходно передать пьесы Шиллера греко-романтического содержанія. По этой же причинѣ, его переводы такихъ пьесъ Гёте болѣе не удачны, чѣмъ удачны; ссылаемся на «Мою Богиню» (т. VI, стр. 65). Это понятно: Гёте смотрѣлъ на Грецію совсѣмъ съ другой стороны, нежели Шиллеръ; послѣдній болѣе видѣлъ ея внутреннюю, романтическую сторону; Гёте — видѣлъ больше ея опредѣленную, свѣтлую олимпійскую сторону. Оба великіе поэта смотрѣли вѣрно на Грецію, каждый видя разныя, но ея же собственныя

стороны. Когда же Гёте сходилъ съ Шиллеромъ въ созерцаніи греческой жизни (какъ, напримѣръ, въ «Прометей» и «Коринеской Невѣстѣ»), — онъ отыскивалъ въ немъ и выражалъ болѣе философскую его сторону. И въ этомъ отношеніи Гёте былъ вѣренъ своему духу. Романтическое направленіе Жуковскаго совершенно внѣ сферы Гётева созерцанія, и потому Жуковскій мало переводилъ изъ Гёте, и все переведенное или заимствованное изъ него переиждивалъ по своему, за исключеніемъ только чисто-романтическихъ въ духѣ среднихъ вѣковъ пьесъ Гёте, каковы, напримѣръ, баллады: «Лѣсной Царь» и «Рыбакъ». И если талантъ Жуковскаго, какъ переводчика, совершенно внѣ сферы поэзіи Гёте, — отсюда нисколько еще не слѣдуетъ, чтобъ причиною этого была высота генія Гёте. Жуковскій переводилъ же превосходно Шиллера, а геній Шиллера ничѣмъ не ниже генія Гёте. Вообще, мысль считать Шиллера ниже Гёте — и нелѣпа, и устарѣла. Жуковскій — необыкновенный переводчикъ, и потому именно способенъ вѣрно и глубоко воспроизводить только такихъ поэтовъ и такія произведенія, съ которыми натура его связана родственною симпатією.

«Идеалы» Шиллера переведены не совсѣмъ удачно. Переводъ этотъ относится къ первой порѣ поэтической дѣятельности Жуковскаго. Ужь одно то, что, переводя эту пьесу, онъ переиждивилъ названіе ея «Идеалы» на «мечты» — одно ужъ это показываетъ, какъ не глубоко вникъ онъ въ мысль ея. Многіе стихи въ этой пьесѣ просто нехороши; многія выраженія лишены точности и опредѣленности. Вотъ, для показательства, цѣлый куплетъ:

И неестественнымъ стремленьемъ
Весь міръ въ мою тѣснился грудь:
Картиной, звукомъ, *выраженьемъ*,
Во все я жизнь хотѣлъ вдохнуть,
И въ нѣжномъ съемени сокрытой,
Сколь пышнымъ мнѣ казался свѣтъ...

*Но, азъ, сколь мало въ немъ развито!
И мало — сколь бѣдный цвѣтъ!*

Какъ-то чувствуется само собою, что вмѣсто «выраженьемъ», надо было поставить «словомъ»; послѣдніе четыре стиха такъ неловки, что едва-едва можно догадываться о мысли Шиллера.

Другимъ образомъ, но также не удачно переведена пьеса Байрона, начинающаяся, въ переводѣ, стихомъ: «Отымаютъ наши радости». Жуковский далъ ей совѣтъ другой смыслъ и другой колоритъ, такъ что Байроновскаго въ ней ничего не осталось, а замѣненнаго переводчикомъ, послѣ даже прозаическаго, но вѣрнаго перевода, нельзя читать съ удовольствіемъ. Вотъ самый близкій прозаическій переводъ пьесы Байрона:

„Нѣтъ радостей, какія можетъ дать намъ міръ, въ замѣну тѣхъ, которыя онъ отнимаетъ у насъ въ то время, когда ужъ жаръ первыхъ мыслей остываетъ въ печальномъ увяданіи чувствъ. Не одна только свѣжесть ланитъ вянетъ скоро, — нѣтъ, свѣжій румянецъ сердца исчезаетъ прежде самой юности.

И эти немногія души, которымъ удастся уцѣлѣть послѣ ихъ разрушеннаго счастья, наплывають на мели преступленій, или уносятся въ океанъ буйныхъ страстей. Ихъ путеводный компасъ изломанъ, или стрѣлка его напрасно указываетъ на берегъ, къ которому ихъ разбитая ладья никогда не причалить.

Тогда-то сходить на душу тотъ мертвенный холодъ, подобный самой смерти; сердце не можетъ сочувствовать страданіямъ другихъ, не смѣетъ думать о своихъ собственныхъ страданіяхъ; ручей слезъ покрывается тяжелой ледяною корою; а если и блестятъ еще очи, то это блескъ льда.

Хотя остроуміе порою ярко сверкаетъ еще въ устахъ, и смѣхъ развлекаетъ сердце въ часы полуночи, которые не даютъ уже прежней надежды на успокоеніе, но все это какъ листы плюща, обвиваю-

шлася вокругъ развалившейся башни: зеленые и дико свѣжіе сверху, сѣрые и землистые снизу.

О, еслибъ могъ я чувствовать, какъ чувствовалъ прежде, быть тѣмъ чѣмъ былъ... или плакать объ исчезнувшемъ, какъ бывало плакалъ... Какъ бы ни былъ мутенъ и нечистъ ручей, найденный нечаянно въ пустынь, онъ кажется сладостнымъ и отраднымъ: такъ отрадны были бы мнѣ мои слезы среди опустошенной степи моей жизни.

Сличите хоть второй куплетъ нашего буквального прозаическаго перевода съ стихотворнымъ переводомъ Жуковскаго:

Наше счастье разбитое
Видимъ мы игрушкой волнъ;
И въ далекій мракъ сердитое
Море мчитъ нашъ бѣдный челнъ.
Стрѣлки нѣтъ путеводительной.
Иль вотще ей магнитъ
Въ бурю къ пристани спасительной
Челнъ безбаруеный манитъ.

То ли это?... Въ послѣднихъ двухъ куплетахъ еще болѣе искажена мысль Байрона.

Но странное дѣло!—нашъ русскій пѣвецъ тихой скорби и унылаго страданія обрѣлъ въ душѣ своей крѣпкое и могучее слово для выраженія страшныхъ подземныхъ мукъ отчаянія, начертанныхъ молніеносною кистию титаническаго поэта Англіи! «Шильйонскій Узникъ» Байрона переданъ Жуковскимъ на русскій языкъ стихами, отзывающимися въ сердцѣ какъ ударъ топора, отдѣляющій отъ туловища невинно-осужденную голову. Здѣсь въ первый разъ крѣпость и мощь русскаго языка явилась въ колоссальномъ видѣ и до Лермонтова болѣе не являлась. Каждый стихъ въ переводѣ «Шильйонскаго Узника» дышетъ страшною энергіею, и надо совершенно потерять, чтобъ выписать лучшее изъ этого перевода, гдѣ каждая страница есть равно лучшая. Но мы напомнимъ

здѣсь нашимъ читателямъ только эту ужасную картину душевнаго ада, въ сравненіи съ которымъ адъ самого Данте кажется какимъ-то раемъ:

Но что потомъ сбылось со мной
Не помню... свѣтъ казался тьмой,
Тьма свѣтомъ; воздухъ исчезалъ;
Въ оцѣпенѣннн стоялъ,
Безъ памяти безъ бытія
Межъ камней хладнымъ камнемъ я;
И видѣлось, какъ въ тяжкомъ снѣ,
Все блѣднымъ, темнымъ, тусклымъ мнѣ;
Все въ смутную слилося тѣнь;
То не было ни ночь, ни день,
Ни тяжкій свѣтъ тюрьмы моея,
Столь ненавистный для очей:
То было тьма безъ темноты;
То было бездна пустоты
Безъ протяженья и границъ,
То были образы безъ лицъ,
То страшный міръ какой-то былъ,
Безъ неба, свѣта и свѣтилъ,
Безъ времени, безъ дней и лѣтъ,
Безъ промысла, безъ благъ и бѣдъ,
Ни жизнь, ни смерть какъ сонъ гробовъ,
Какъ океанъ безъ береговъ,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, темный и тѣмой.

Много было расточено похвалъ переводу отрывка изъ поэмы Томаса Мура «Дивъ и Пери»; но переводъ этотъ далеко ниже похвалъ: онъ тяжелъ, прозаиченъ, и только мѣстами проблескиваетъ въ немъ поэзія. Впрочемъ, можетъ быть причиною этого и самъ оригиналъ, какъ не совсѣмъ естественная поддѣлка подъ восточный романтизмъ. Несравненно выше, по достоинству перевода, почти нигдѣмъ незамѣченная поэма «Судъ въ Подземельѣ».

«Овсяный Бисель», «Красный Карбункулъ», «Деревенскій

Сторожъ въ Полночь», «Сраженіе съ Змѣемъ», «Неожиданное Свиданіе», «Путешественникъ и Поселянка» (изъ Гёте), «Нормандскій Обычай», «Тлѣнность», «Война мышей съ Лягушками», «Ценксъ и Гальціона» и отрывки изъ «Энеиды» и «Иліады» принадлежать къ числу замѣчательныхъ переводовъ Жуковскаго. Въ отрывкахъ изъ «Иліады» стихъ легче, чѣмъ стихъ Гнѣдича; но въ послѣднемъ, по нашему мнѣнію, болѣе жизни, болѣе греческаго духа и колорита. Впрочемъ, Жуковскій эти отрывки изъ «Иліады» перевелъ съ латинскаго.

Сдѣлаемъ перечень всѣмъ пьесамъ Жуковскаго и переводнымъ, и подражательнымъ, и оригинальнымъ, которыя мы считаемъ или лучшими, или самыми характеристическими его произведеніями. Изъ балладъ: «Рыцарь Тогенбургъ», «Ивиковы Журавля», «Лѣсной Царь», «Кассандра», «Три Пѣсни», «Графъ Габсбургскій», «Узникъ», «Эолова Арфа», «Ахиллъ», «Поликратовъ Перстень», «Старый Рыцарь», «Роландъ Оруженосецъ», «Плаваніе Карла Великаго», «Кубокъ», «Замокъ Смальгольмъ», «Перчатка», «Покаяніе», «Отрывки изъ испанскихъ романсовъ о Сидѣ». Изъ мелкихъ лирическихъ пьесъ: «Тоска по миломъ», «Цвѣтокъ», «Пѣснь Араба надъ могилою коня», «Шловецъ», «Счастливъ тотъ, кому забавы», «О, милый другъ, теперь съ тобою радость», «Минувшихъ дней очарованье», «Жалоба», «Вѣрность до гроба», «Голосъ съ того свѣта», «Ночь», «Утѣшеніе въ слезахъ», «Къ мѣсяцу», «Пѣсня Бѣдняка», «Весеннее Чувство», «Утѣшеніе», «Таинственный Посѣтитель», «Мотылекъ и Цвѣты», «Къ мимопролетѣвшему знакомому генію», «Желаніе», «Младенецъ», «Сонъ», «Счастіе во снѣ», «Къ востоку, все къ востоку», «Розы разцвѣтаютъ», «Замокъ на берегу моря», «Горная дорога», «Пѣвецъ», «Жизнь», «Узникъ къ мотыльку, влетѣвшему въ его темницу», «Элизіумъ», «Путешественникъ», «Славянка», «Вечеръ», «На кончину Королевы Виртембергской», «Сельское Кладбище», «Море», «Прама-

теръ Внукъ», «Къ Филону», «Двѣ Пѣснѣ», «Привидѣніе», «Мечта», «Побѣдитель», «Три путника», «Видѣніе», «Теонъ и Эскинъ», «Счастіе», «Ночной Смотръ», «Утренняя Звѣзда», «Лѣтній Вечеръ».

Многія изъ этихъ пьесъ уже не могутъ имѣть такого интереса, какой имѣли прежде, и не могутъ читаться съ такимъ восторгомъ и упоеніемъ, съ какими читались прежде; но причина этого заключается совсѣмъ не въ талантѣ Жуковскаго, а въ содержаніи и духѣ этихъ пьесъ. У всякаго времени есть своя задушевная дума, то радостная, то тяжелая; есть свои потребности и свои интересы, а потому и своя поэзія. Неувядаемость поэзіи каждой эпохи зависитъ отъ идеальной значительности этой эпохи, отъ глубины и общности идеи, выраженной ея историческою жизнію. Долѣ всѣхъ живутъ такія произведенія искусства, которыя во всей полнотѣ и во всей силѣ передаютъ то, что было самаго истиннаго, самаго существеннаго и самаго характеристическаго въ эпохѣ. Все же, что не выполняетъ этихъ условій или выполняетъ ихъ неудовлетворительно,—все такое теряетъ свой интересъ въ другую эпоху и мало-по-малу на вѣки смывается волнами шумно несущейся жизни. И немногое, слишкомъ немногое выносятся наверхъ волнами этого глубокаго и безбрежнаго океана, и какъ много тонетъ въ его бездонной глубинѣ!...

Многія пьесы Жуковскаго, совершенно отжившія для нашего времени, все-таки имѣютъ свой историческій интересъ, и безъ нихъ полное изданіе сочиненій Жуковскаго не имѣло бы общаго характера поэзіи Жуковскаго. Таковы: «Людмила», «Алина и Альсимъ», «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ», «Пѣвецъ во Станѣ Русскихъ Воиновъ», и проч. — Посланія Жуковскаго заключаютъ въ себѣ мѣстами и отрывками характеристическія черты времени, въ которое они писаны; сверхъ того, въ нихъ, какъ замѣтили мы выше, встрѣчаются поэтическіе проблески и замѣчательныя мысли. Осо-

бенно слабыми пьесами (иныя по формѣ, иныя по содержанию, иныя по тому и другому) считаемъ мы слѣдующія: «Пѣснь барда надъ гробомъ Славянъ побѣдителей», «Пѣвецъ въ Кремль», «Пиршество Александра, или сила гармоніи» (изъ Драйдена); «Гимнъ», (подражаніе Томсену), «Библия», «Сонъ Могольца», «Эпимесидъ», «Орелъ и Голубка», «Добрая Мать», «Сиротка», «Подробный Отчетъ о Лунѣ» (какое-то странное гезушѣ всего говореннаго поэтюмъ о лунѣ въ разныхъ стихотвореніяхъ его), «Алонзо», «Доника», «Ленора», «Королева Урака», «Баллада, въ которой описывается, какъ одна старушка ѣхала на черномъ конѣ вдвоемъ, и кто сидѣлъ впереди», «Двѣ были и еще одна», «Фридолинъ» (прекрасный переводъ странной по содержанию пьесы Шиллера), «Сказка о Царѣ Берендеѣ и Сказка о Спящей царевнѣ». Что касается до «Аббадоны» — это мастерской, превосходный переводъ изъ самой натянутой, какая только была въ свѣтѣ, и совершенно забытой теперь поэмы.

Мы бы опустили одну изъ самыхъ характеристическихъ чертъ поэзіи Жуковскаго, еслибъ не упомянули о дивномъ искусствѣ этого поэта живописать картины природы и владать въ нихъ романтическую жизнь. Утро ли, полдень ли, вечеръ ли, ночь ли, ведро ли, буря ли, или пейзажъ, — все это дышетъ въ яркихъ картинахъ Жуковскаго какою-то таинственною, исполненною чудныхъ силъ жизнію... Примѣры лучше всего объясняютъ нашу мысль касательно этого предмета:

Стоялъ среди цвѣтуція равнины
 Старинный Ирлингфоръ,
 И пышныя съ высотъ его картины
 Повсюду видѣлъ взоръ.
 Авопъ, шумя подъ древними стѣнами,
 Ихъ пѣной орошалъ,
 И низкій берегъ съ лѣсистыми холмами
 Въ струяхъ его дрожалъ.

Тамъ пламенѣль береговъ на тихомъ склонѣ
Закатъ съвозъ рѣдкій лѣсъ;
И трепеталь во дремлющемъ Авоиѣ
Съ звѣздами сводъ небесъ.
Вдали, вблизи разсыпанныя села
Дымились по утрамъ,
Отъ рѣзвыхъ стадъ долина вся шумѣла
И вторилъ лѣсъ рогамъ.
Спѣвшиль съ пути прохожій совратися
На Ирлинггоръ взглянуть,
И, красотою его плѣняся,
Онъ забывалъ свой путь.

(«Варвикъ»).

Владыко Морвены
Жилъ въ дѣдовскомъ замкѣ могучій Ордалъ,
Надъ озеромъ стѣны
Зубчатыя замокъ съ холма возвышалъ.
Прибрежны дубравы
Склонились къ водамъ,
И стался кудрявый
Кустарникъ по злачнымъ окрестнымъ холмамъ.
Спокойствіе сѣней
Дубравныхъ тамъ часто лай псовъ нарушалъ;
Рогатыхъ оленей
И вепрей и ланей могучій Ордалъ
Съ отважными псами
Гонялъ по холмамъ;
И доли съ холмами
Шумя отзывали ловущимъ рокамъ.

.
На темные своды
Багрянымъ щитою покатилаь луна;
И озера воды
Струистымъ сіяньемъ покрыла она;
Отъ замка, отъ сѣней
Дубравъ по брегамъ
Огромные тѣней

Легли великаны по гладкимъ водамъ.

.

Прохладно дышетъ

Тамъ вѣтеръ вечерній и въ листьяхъ шумить,

И вѣтки колышетъ,

И ареу лобзаеть... но ареа молчитъ.

Творенія радость,

Настала весна—

И въ свѣжую младость,

Красу и веселье земля убрана.

И яркимъ сяньемъ

Холмы осыпалъ вечерьющій день;

На землю съ молчаньемъ

Сходила ночная росистая тѣнь;

Ужъ синіе своды

Блестали въ звездахъ;

Сравнилися воды,

И вѣтеръ улегся на спящихъ листьяхъ.

(«Эолова Ареа»).

И вотъ... насталъ послѣдній день;

Ужъ солнце за горою;

И стелется вечерня тѣнь

Прозрачной пеленою;

Ужъ сумракъ... смерклось... вотъ луна

Блеснула изъ-за тучи;

Легла на горы тишина.

Утихъ и лѣсъ дремучій;

Рѣка сравнялась въ берегахъ;

Зажглись свѣтлые ночи;

И сонъ глубокій на поляхъ;

И близокъ часъ полночи...

.

И все въ ужасной тишинѣ;

Окрестность какъ могила;

Вотъ... каркнулъ воронъ на стѣнѣ;

Вотъ... стая псовъ завывла;

И вдругъ... протяжно полночь бьетъ:

Нашли на небо тучи;

Рѣка надулась; боръ реветъ;
И жчится прахъ летучій...
Напрасно вѣтъ вѣтерогъ
Съ душистыми долины;
И свѣтъ луны сребрить потокъ
Сквозь темны липъ вершины;
И ласточка зари восходъ
Встрѣчаетъ щебетаньемъ:
И роща въ тѣнь свою зоветъ
Листочковъ трепетаньемъ;
И шумъ бѣгущихъ съ поля стадъ
Съ пастушьими рогами
Вечерній мракъ животворятъ,
Теряясь за холмами...

Увы! ужъ и послѣдній день
Край неба озлащаетъ;
Сквозь темную дубравы сѣнь
Блнстанье проникаетъ;
Все тихо, весело, свѣтло;
Все нѣгой сладкой дышетъ;
Рѣка прозрачна, какъ стекло;
Едва, едва колышетъ .
Листами легкій вѣтерогъ;
Въ поляхъ благоуханье;
Еъ цвѣтку прилипнулъ мотылекъ
И пьетъ его дыханье...
(«Громобой»).

И воцарилась всюду тишина;
Все спитъ... лишь изрѣдка въ далекой мглѣ промчится
Невнятный гласъ... или колыхнется волна...
Иль сонный листъ зашевелится.
Я на берегу одинъ... окрестность вся молчить...
Какъ привидѣнне, въ туманѣ предо мною
Семья молодыхъ березъ недвижимо стоитъ
Надъ усыпленною водою.
Вхожу съ волненіемъ подъ ихъ священный кровъ;

Мой слухъ въ сей тишинѣ привѣтный голосъ слышитъ:

Какъ бы зѣрное тамъ есть межъ листовъ.

Какъ бы невидимое дышетъ;

Какъ бы сокрытая подъ юныхъ дровъ корой.

Съ сей очарованной жмущаясь тишиномъ.

Душа незримая подѣмлетъ голосъ свой

Съ моею бесѣдовать душою.

И нѣкто урнѣ сей безмолвный присѣдить;

И, мнится, на меня вперилъ онъ томны очи;

Безъ образа лица, и зракъ туманный слить

Съ туманнымъ мракомъ полуночи.

Смотрю... и, мнится, все, что было жертвой лѣтъ.

Опять въ видѣнннхъ прекрасномъ воскресаетъ;

И все, что жизнь сулитъ, и все, чего въ ней нѣтъ,

Съ надеждой къ сердцу прилетаетъ...

(«Славянка»).

Такихъ примѣровъ мы могли бы выписать и еще больше, но думаемъ, что и этихъ слишкомъ достаточно, чтобы показать, что изображаемая Жуковскимъ природа — романтическая природа, дышащая таинственною жизнію души и сердца исполненная высшаго смысла и значенія.

Стихъ Жуковского неизмѣримо выше стиха всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ: онъ исполненъ мелодіи и вмѣстѣ съ тѣмъ какой-то сжатой крѣпости и энергіи. Такого стиха требовали содержаніе и духъ поэзіи Жуковского. И, несмотря на то, еще многого не доставало этому стиху: онъ еще далеко не совсѣмъ свободенъ, не совсѣмъ глубоокъ. Содержаніе поэзіи Жуковского было такъ односторонне, что стихъ его не могъ отразить въ себѣ всѣ свойства и все богатство русскаго языка. Батюшковъ тоже не мало сдѣлалъ для русскаго стиха; но, несмотря на соединенныя заслуги этихъ двухъ поэтовъ, созданіе вполне поэтическаго и вполне художественнаго стиха принадлежало Пушкину. Кромѣ односторонности содержанія поэзіи Жуковского, не должно еще забывать, что поэтическая дѣятельность его двойственна: въ

одной онъ является, какъ романтикъ, самобытенъ и оригиналенъ; въ другой — подъ вліяніемъ предшествовавшихъ ему поэтовъ и, особенно, подъ вліяніемъ идей Карамзина. Правда онъ и въ патриотическія стихотворенія и въ посланія внесъ что-то свое, ему собственно, какъ романтику, принадлежащее; но стихъ въ этихъ пьесахъ все-таки отзывается болѣе или менѣе фактурою старыхъ мастеровъ нашей поэзіи. Попадаютъ въ стихотвореніяхъ Жуковского стихи тяжелые и темные, какъ, напримѣръ, эти:

Ихъ одобренье намъ награда,
А порицаніе — ограда
Отъ убивающія даръ
Надменной мысли совершенства.

Иногда разстановка словъ напоминаетъ Ломоносова, какъ, напримѣръ:

А ты, дарующій и тронъ и власть царямъ,
Ты, на совѣтъ ихъ сидящій благодатью,
Ознаменуй Твоей дѣла мои печатью.

Есть, наконецъ, стихи (правда, ихъ поискать да поискать), въ которыхъ вѣетъ духъ Хараскова, какъ напримѣръ:

Бѣгутъ — во прахъ и громъ, и шлемъ, и щитъ,
Впереди, съ тылу, съ боковъ и рядомъ? страхъ бѣжить.

Жуковскій не могъ не имѣть сильнаго вліянія на Пушкина; но, въ свою очередь, и Пушкинъ имѣлъ сильное вліяніе на Жуковского: всѣ стихотворенія написанныя имъ уже по истеченіи втораго десятилѣтія текущаго вѣка, отличаются несравненно лучшимъ языкомъ и стихомъ. Къ общимъ недостаткамъ поэзіи Жуковского принадлежитъ часто невыдержанность въ цѣломъ: рѣдкая пьеса его не теряетъ многого изъ своего достоинства отсутствіемъ сжатости и всего лишняго. Превосходная элегія «На Смерть Королевы Виртем-

бергской» может служить образцомъ этого недостатка: въ ней есть лишніе куплеты, замедляющіе безъ нужды развитіе главной мысли и своюю растянутою прозаичностью ослабляющіе впечатлѣніе цѣлаго.

Неизмѣримъ подвигъ Жуковскаго и велико значеніе его въ русской литературѣ! Его романтическая муза была для дикой степи русской поэзіи элевзинскою богинею Церерою: она дала русской поэзіи душу и сердце, познакомивъ ее съ таинствомъ страданія, утратъ, мистическихъ откровеній и полного тревоги стремленія «въ оный таинственный свѣтъ», которому нѣтъ имени, нѣтъ мѣста, но въ которомъ юная душа чувствуетъ свою родную, завѣтную сторону. Есть пора въ жизни человѣка, когда грудь его полна тревоги и волнуется тоскливымъ порываніемъ безъ цѣли, когда горячія желанія съ быстротою смѣняють одно другое, и сердце, желая многого, не хочетъ ничего; когда опредѣленность убиваетъ мечту, удовлетвореніе подсѣкаетъ крылья желанію, когда человѣкъ любитъ весь міръ, стремится ко всему и не въ состояніи остановиться ни на чемъ; когда сердце человѣка порывисто бьется любовью къ идеалу и гордымъ презрѣніемъ къ дѣйствительности, и юная душа, расправляя мощныя крылья, радостно взвивается къ свѣтлому небу, желая забыть о существованіи земнаго праха. Въ эту пору жизни человѣка любовь робка и стыдлива, жаждетъ одного только сочувствія и удовлетворяется долгимъ взглядомъ, таинствомъ присутствія милаго существа, и за тихое пожатіе руки не пожелаетъ полного обладанія. Правда, въ этой порѣ много односторонности, много ложнаго, больше фантазіи, чѣмъ сердца, и за нею непремѣнно должна слѣдовать пора горячаго и тяжелаго разочарованія, для того, чтобъ человѣкъ пришелъ въ состояніе понять истину, какъ она есть, простую и прекрасную собственною красотою, а не радужнымъ нарядомъ фантазіи; чтобъ онъ могъ понять, что вѣчное и безконечное является въ преходящемъ и конечномъ, что идея въ фактахъ, душа въ тѣлѣ... Но эта пора юноше-

скаго энтузіазма есть необходимый моментъ въ нравственномъ развитіи человѣка, — и кто не мечталъ, не порывался въ юности къ неопредѣленному идеалу фантастическаго совершенства, истины, блага и красоты, тотъ никогда не будетъ въ состояніи понимать поэзію — не одну только создаваемую поэтами поэзію, но и поэзію жизни; вѣчно будетъ онъ влачиться низкою душою по грязи грубыхъ потребностей тѣла и сухаго, холоднаго эгоизма. Пора безотчетнаго романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ есть необходимый моментъ не только въ развитіи человѣка; но и въ развитіи каждаго народа и цѣлаго человѣчества. Средніе вѣка были этимъ великимъ моментомъ развитія народовъ западной Европы, а слѣдовательно всего человѣчества, и этотъ моментъ всемірно-историческаго развитія выразился въ искусствѣ среднихъ вѣковъ. Мы, Русскіе, позже другихъ вышедшіе на поприще нравственно-духовнаго развитія, не имѣли своихъ среднихъ вѣковъ: Жуковскій далъ намъ ихъ въ своей поэзіи, которая воспитала столько поколѣній и всегда будетъ такъ краснорѣчиво говорить душѣ и сердцу человѣка въ извѣстную эпоху его жизни. Жуковскій — это поэтъ стремленія, душевнаго порыва къ неопредѣленному идеалу. Произведенія Жуковскаго не могутъ восхищать всѣхъ и каждаго во всякій возрастъ: они внятно говорятъ душѣ и сердцу въ извѣстный возрастъ жизни или въ извѣстномъ расположеніи духа: вотъ настоящее значеніе поэзіи Жуковскаго, которое она всегда будетъ имѣть. Но Жуковскій, кромѣ того, имѣетъ великое историческое значеніе для русской поэзіи вообще: одухотворивъ русскую поэзію романтическими элементами, онъ сдѣлалъ ее доступною для общества, далъ ей возможность развитія, и безъ Жуковскаго мы не имѣли бы Пушкина. Сверхъ того, есть еще другая великая заслуга русскому обществу со стороны Жуковскаго: благодаря ему, нѣмецкая поэзія — намъ родная, и мы умѣемъ понимать ее безъ того усилія, которое условливается чуждою національнію. Еще въ дѣтствѣ мы,

черезъ Жуковскаго, приучаемся понимать и любить Шиллера, какъ бы своего національнаго поэта, говорящаго намъ русскими звуками, русскою рѣчью.

III.

Обзоръ поэтической дѣятельности Батюшкова; характеръ его поэзи. — Гвѣдичъ; его переводы и оригинальныя сочиненія. — Мерзляковъ. — Князь Вяземскій. — Журналы конца карамзинскаго періода.

Батюшковъ далеко не имѣетъ такого значенія въ русской литературѣ, какъ Жуковскій. Послѣдній дѣйствовалъ на нравственную сторону общества посредствомъ искусства; искусство было для него какъ бы средствомъ къ воспитанію общества. Заслуга Жуковскаго собственно передъ искусствомъ состояла въ томъ, что онъ далъ возможность содержанія для русской поэзи. Батюшковъ не имѣлъ почти никакого вліянія на общество, пользуясь великимъ уваженіемъ только со стороны записныхъ словесниковъ своего времени, и хотя заслуги его передъ русскою поэзію велики, однакожь, — онъ оказалъ ихъ совсѣмъ иначе, чѣмъ Жуковскій. Онъ успѣлъ написать только небольшую книжку стихотвореній, и въ этой небольшой книжкѣ не всѣ стихотворенія хороши и даже хорошія далеко не всѣ равнаго достоинства. Онъ не могъ имѣть особенно сильнаго вліянія на современное ему общество и современную ему русскую литературу и поэзію: вліяніе его не обнаружилось на поэзію Пушкина, которая приняла въ себя или, лучше сказать, поглотила въ себя всѣ элементы, составлявшіе жизнь твореній предшествовавшихъ поэтовъ. Державинъ, Жуковскій и Батюшковъ имѣли особенно сильное вліяніе на Пушкина: они были его учителями въ поэзи, какъ это видно изъ его лицейскихъ стихотвореній. Все, что было су-

щественнаго и жизненнаго въ поэзіи Державина, Жуковскаго и Батюшкова,—все это присуществовало поэзіи Пушкина, переработанное ея самобытнымъ элементомъ. Пушкинъ былъ прямимъ наслѣдникомъ поэтическаго богатства этихъ трехъ маэстро русской поэзіи,—наслѣдникомъ, который, собственною дѣятельностью, до того увеличилъ полученные имъ капиталы, что масса прибрѣтеннаго имъ самимъ подавила собою полученную и пущенную имъ въ оборотъ сумму. Какъ умѣли и могли, мы старались показать и открыть существенное и жизненное въ поэзіи Державина и Жуковскаго; теперь остается намъ сдѣлать это въ отношеніи къ поэзіи Батюшкова.

Направленіе поэзіи Батюшкова совсѣмъ противоположно направленію поэзіи Жуковскаго. Если неопредѣленность и туманность составляютъ отличительный характеръ романтизма въ духѣ среднихъ вѣковъ,—то Батюшковъ столько же классикъ, сколько Жуковскій романтикъ: ибо опредѣленность и ясность—первыя и главныя свойства его поэзіи. И еслибъ поэзія его, при этихъ свойствахъ, обладала хотя бы столь же богатымъ содержаніемъ, какъ поэзія Жуковскаго, — Батюшковъ, какъ поэтъ, былъ бы гораздо выше Жуковскаго. Нельзя сказать, чтобъ поэзія его была лишена всякаго содержанія, не говоря уже о томъ, что она имѣетъ свой совершенно самобытный характеръ; но Батюшковъ какъ-будто не сознавалъ своего призванія и не старался быть ему вѣрнымъ, тогда какъ Жуковскій, руководимый непосредственнымъ влеченіемъ своего духа, былъ вѣренъ своему романтизму и вполне исчерпалъ его въ своихъ произведеніяхъ. Свѣтлый и опредѣленный міръ изящной, эстетической древности — вотъ что было призваніемъ Батюшкова. Въ немъ первомъ изъ русскихъ поэтовъ, художественный элементъ явился преобладающимъ элементомъ. Въ стихахъ его много пластики, много скульптурности, если можно такъ выразиться. Стихъ его часто не только слышимъ уху, но видимъ глазу: хочется ощупать извивы и складки его мраморной драпи-

ровки. Жуковский только через Шиллера познакомился съ древнею Элладою. Шиллеръ, какъ мы замѣтили въ предшествовавшей статьѣ, смотрѣлъ на Грецію преимущественно съ романтической стороны ея, — и русская поэзія не знала еще Греціи съ ея чисто художественной стороны, не знала Греціи, какъ всемірной мастерской, черезъ которую должна пройти всякая поэзія въ мірѣ, чтобъ научиться быть изящною поэзіею. Въ анакреонтическихъ стихотвореніяхъ Державина проблескиваютъ черты художественнаго рѣзца древности, но только проблескиваютъ, сейчасъ же теряясь въ грубой и неуклюжей обработкѣ цѣлаго, и эти проблески античности тѣмъ больше дѣлаютъ чести Державину, что онъ, по своему образованію и по времени, въ которое жилъ, не могъ имѣть никакого понятія о характерѣ древняго искусства, и если приближался къ нему въ проблескахъ, то не иначе, какъ благодаря только своей поэтической натурѣ. Это показываетъ, между прочимъ, чѣмъ бы могъ быть этотъ поэтъ и что бы могъ онъ сдѣлать, еслибъ явился на Руси въ другое, болѣе благопріятное для поэзіи время. Но Батюшковъ сблизился съ духомъ изящнаго искусства греческаго сколько по своей натурѣ, столько и по большому или меньшему знакомству съ нимъ черезъ образованіе. Онъ былъ первый изъ русскихъ поэтовъ, побывавшій въ этой міровой студіи міроваго искусства; его перваго поразили эти изящныя головы, эти соразмѣрные торсы — произведенія волшебнаго рѣзца, исполненнаго благородной простоты и спокойной пластической красоты. Батюшковъ, кажется, зналъ латинскій языкъ, и, кажется, не зналъ греческаго; неизвѣстно, съ какого языка перевелъ онъ двѣнадцать пьесъ изъ греческой антологіи: этого не объяснено въ коротенькомъ предисловіи къ изданію его сочиненій, сдѣланномъ Смирдинымъ; но приложенные къ статьѣ «О Греческой Антологіи» французскіе переводы этихъ же самыхъ пьесъ позволяютъ думать, что Батюшковъ перевелъ ихъ съ французскаго. Это послѣднее обстоятель-

ство разительно показываетъ, до какой степени натура и духъ этого поэта было родственны эллинской музѣ. Для тѣхъ, кто понимаетъ значеніе искусства, какъ искусства, и кто понимаетъ, что искусство, не будучи прежде всего искусствомъ, не можетъ имѣть никакого дѣйствія на людей, каково бы ни было его содержаніе, — для тѣхъ должно быть понятно, почему мы приписываемъ такую высокую цѣну переводамъ Батюшкова двѣнадцати маленькихъ пьесокъ изъ греческой антологіи. Въ предшествовавшей статьѣ мы выписали большую часть антологическихъ его пьесъ; здѣсь приведемъ, для примѣра, одну самую короткую:

Сокроемъ навсегда отъ зависти людей
Восторги пылкіе и страсти упоенныя;
Какъ сладокъ поцѣлуй въ безмолвіи ночей,
Какъ сладко тайное любви наслажденье!

Такого стиха, какъ въ этой пьескѣ, не было до Пушкина, ни у одного поэта, кромѣ Батюшкова; мало того: можно сказать рѣшительнѣе, что до Пушкина ни одинъ поэтъ, кромѣ Батюшкова, не въ состояніи былъ показать возможности такого русскаго стиха. Послѣ этого Пушкину стоило не слишкомъ большаго шага впередъ начать писать такими антологическими стихами, какъ вотъ эти:

Я вѣрю: я любимъ; для сердца нужно вѣрить.
Нѣтъ, милая моя не можетъ лицедрить;
Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ,
Стыдливость робкая, харитъ безцвѣнный даръ,
Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность
И ласковыхъ именъ младенческая вѣжность.

Вообще, надо замѣтить, что антологическія стихотворенія Батюшкова уступаютъ антологическимъ пьесамъ Пушкина только развѣ въ чистотѣ языка, чуждаго произвольныхъ усѣченій и всякой неровности и шероховатости, столь извини-

тельныхъ и неизбежныхъ въ то время, когда явился Батюшковъ. Совершенство антологическаго стиха Пушкина — совершенство, которымъ онъ много обязанъ Батюшкову — отразилось вообще на стихъ его. Приводимъ здѣсь снова два послѣдніе стиха выписанной нами антологической пьесы:

Какъ сладко поцѣлуй въ безмолвіи ночей,
Какъ сладко тайное любви наслажденье!

Вспомните стихотвореніе Пушкина: «Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ? Я встрѣчаю» (т. IV, стр, 303) стихотвореніе это нисколько не антологическое, но посмотрите, какъ послѣдніе стихи его напоминаютъ своею фактурою антологическую пьесу Батюшкова:

И дѣва въ сумерки выходитъ на крыльцо:
Открыта шея, грудь и вьюга ей въ лицо!
Но бури сѣвера не вредны русской розѣ.
Какъ жарко поцѣлуй пылаетъ на морозѣ!
Какъ дѣва русская свѣжа въ пыли снѣговъ!

Благодаря Пушкину тайна антологическаго стиха сдѣлалась доступна даже обыкновеннымъ талантамъ; такъ, напримѣръ, многія антологическія стихотворенія г. Майкова не уступаютъ въ достоинствѣ антологическимъ стихотвореніямъ Пушкина, между тѣмъ, какъ г. Майковъ не обнаружилъ никакого дарованія ни въ какомъ родѣ поэзіи, кромѣ антологическаго. Послѣ г. Майкова встрѣчаются превосходныя стихотворенія въ антологическомъ родѣ у г. Фета. Г. Майковъ нашелъ себѣ подражателя въ г. Крешевѣ, антологическія стихотворенія котораго не совсѣмъ чужды поэтическаго достоинства,—и явились такія стихотворенія въ началѣ втораго десятилѣтія настоящаго вѣка, они составили бы собою эпоху въ русской литературѣ; а теперь ихъ никто не хочетъ и замѣчать,—что не совсѣмъ неосновательно и несправедливо.

Какого же удивленія заслуживаетъ Батюшковъ, который первый на Руси создалъ антологическій стихъ, только развѣ по языку, и то весьма не многимъ, уступающій антологическому стиху Пушкина? И не въ правѣ ли мы думать, что Батюшкову обязанъ Пушкинъ своимъ антологическимъ, а вслѣдствіе этого и вообще своимъ стихомъ? Жуковскій не могъ не имѣть большаго вліянія на Пушкина; кому не извѣстно его обращеніе къ нему, какъ къ своему учителю, въ «Русланѣ и Людмилѣ»?

Поэзіи чудесный гений,
Пѣвецъ таинственныхъ видѣній,
Любви, мечтаній и чертей,
Могиль и рая вѣрный житель,
И музы вѣтренной мосѣ
Наперсникъ, тѣстунъ и хранитель!

Дальнѣйшіе стихи этого отрывка, несмотря на ихъ шуточный тонъ, показываютъ, какъ сильно дѣйствовали на дѣтское воображеніе Пушкина даже и «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ». Но вліяніе Жуковскаго на Пушкина было больше нравственное, чѣмъ артистическое, и трудно было бы найти и указать въ сочиненіяхъ Пушкина слѣды этого вліянія, исключая развѣ лицейскія его стихотворенія. Пушкинъ рано и скоро пережилъ содержаніе поэзіи Жуковскаго, и его ясный, опредѣленный умъ, его артистическая натура гораздо болѣе гармонировали съ умомъ и натурою Батюшкова, чѣмъ Жуковскаго. Поэтому вліяніе Батюшкова на Пушкина виднѣе, чѣмъ вліяніе Жуковскаго. Это вліяніе особенно замѣтно въ стихѣ, столь артистическомъ и художественномъ: не имѣя Батюшкова своимъ предшественникомъ, Пушкинъ едва ли бы могъ выработать себѣ такой стихъ.

Батюшкову по натурѣ его было очень сродно созерцаніе благъ жизни въ греческомъ духѣ. Въ любви онъ совсѣмъ не романтикъ. Изящное сладострастіе — вотъ паеосъ его

поэзии. Правда, въ любви его, кромѣ страсти и граціи, много нѣжности, а иногда много грусти и страданія; но преобладающій элементъ ея всегда — страстное вождельніе, увѣнчиваемое всею нѣгою, всѣмъ обаяніемъ исполненнаго поэзіи и граціи наслажденія. Есть у него пьеса, которую можно назвать апофеозомъ чувственной страсти, доходящей въ неукротимомъ стремленіи вождельнія до бѣшеннаго и, въ то же время, въ высшей степени поэтическаго и граціознаго безумія. Этимъ страстнымъ вдохновеніемъ обязанъ нашъ поэтъ самой древности, и содержаніе взято имъ изъ ея миеологической жизни: оно въ яркихъ краскахъ рисуется веселое празднество и обаятельно-буйныхъ, очаровательно-безстыдныхъ жриць Вакха:

Всѣ на праздникъ Эригоны
Жрицы Вакховы темя;
Вѣтры съ шумомъ разнесли
Громкій вой ихъ, плескъ и стоны.
Въ чащѣ дикой и глухой
Нимфа юная отстала;
Я за ней—она бѣжала
Легче серны молодой.
Эвры волосы завѣвали,
Перевитые плющемъ,
Нагло ризы поднимали
И свивали ихъ клубкомъ.
Стройный стая, кругомъ обвитый
Хмѣля желтаго вѣнцомъ,
И пылающа ланиты
Розы яркимъ багрецомъ,
И уста въ которыхъ таеъ
Пурпуровый виноградъ—
Все въ неистовой прельщаеъ,
Въ сердце льеъ огонь и ядъ!
Я за ней... она бѣжала
Легче серны молодой;—
Я вастигъ: она упала!
И тимпанъ подъ головой!
Жрицы Вакховы промчались

Съ громкимъ воплемъ мимо насъ;
И по роцѣ раздавались
„Эвое!“ и нѣги гласъ.

Такіе стихи и въ наше время превосходны; при первомъ же своемъ появленіи они должны были поразить общее вниманіе, какъ предвѣстіе скорого переворота въ русской поэзіи. Это еще не Пушкинскіе стихи, но послѣ нихъ уже надо было ожидать не другихъ какихъ-нибудь, а Пушкинскихъ... Такъ все готово было къ явленію Пушкина, — и конечно, Батюшковъ много и много способствовалъ тому, что Пушкинъ явился такимъ, какимъ явился дѣйствительно. Одной этой заслуги со стороны Батюшкова достаточно, чтобъ имя его произносилось въ исторіи русской литературы съ любовью и уваженіемъ.

Судя по родственности натуры Батюшкова съ древнею музою и по его превосходному поэтическому таланту, можно было бы подумать, что онъ обогатилъ нашу литературу множествомъ художественныхъ произведеній, написанныхъ въ древнемъ духѣ, и множествомъ мастерскихъ переводовъ съ греческаго и латинскаго:—ничуть не бывало! Кромѣ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологіи, Батюшковъ ничего не перевелъ изъ греческихъ поэтовъ, а съ латинскаго перевелъ только три элегіи изъ Тибулла—и то вольнымъ переводомъ. Переводъ Батюшкова мѣстами слабъ, вялъ, растянутъ и прозаиченъ, такъ что тяжело прочесть цѣлую элегію вдругъ; но мѣстами этотъ же переводъ такъ хорошъ, что заставляетъ сожалѣть, зачѣмъ Батюшковъ не перевелъ всего Тибулла, этого латинскаго романтика. Какое бы ни былъ переводъ этотъ въ цѣломъ, но мѣста, подобныя слѣдующимъ, выкупили бы его недостатки:

Единственный мой богъ и сердца властелинъ,
Я былъ твоимъ жрецомъ, Киприды милый сынъ!
До гроба я носилъ твои оковы нѣжны,
И ты Амуръ, меня въ жилища безмятежны,

Въ Элизій приведешъ таинственной стезей,
Туда, гдѣ вѣчный май межъ рощей и полей;
Гдѣ расцвѣтасть нарѣ киннамона лозы
И воздухъ напоенъ благоуханьемъ розы;
Тамъ слышно пѣнье птицъ и шумъ бѣющихъ водъ;
Тамъ дѣвы юныя, сплетая въ хороводъ,
Мелькаютъ межъ деревьевъ, какъ легки привидѣнья;
И тотъ, кого постигъ, въ минуту упоенья,
Въ объятіяхъ любви неутомимый рокъ,
Тотъ поситъ на челѣ изъ свѣжихъ миртъ вѣнокъ.

Но ты мнѣ вѣрная, другъ милый и безцѣнный.
И въ мирной хижинѣ, отъ взоровъ сокровенной.
Съ наперстницей любви, съ подругою твоей,
На мигъ не покидай домашнихъ алтарей.
При шумѣ зимнихъ вьюгъ, подъ снѣгу безопасной.
Подруга въ темну ночь зажжетъ свѣтильникъ ясной
И тихо вретено кружа въ рукѣ своей,
Разскажетъ повѣсти и были старыхъ дней.
А ты, склоня слухъ на сладки небылицы,
Забудешься, мой другъ; и томныя зеницы
Закроетъ тихій сощъ, и пряслица изъ рукъ
Падеть... и у дверей предстанетъ твой супругъ.
Какъ небожъ посланный внезапно добрый геній.
Бѣги навстрѣчу мнѣ, бѣги изъ мирной снѣи,
Въ прелестной наготѣ явись моимъ очамъ,
Власы разстѣяны небрежно по плечамъ,
Вся грудь лилейная и ноги обнаженны...
Когда-жъ Аврора намъ, когда сей день блаженный
На розовыхъ коняхъ, въ блистаньи принесетъ
И Делію Тибуллъ въ восторгъ обойметъ?

Элегія, изъ которой сдѣлали мы эти выписки, не означена никакою цифрою. Она вся переведена превосходно, и если въ ней много незаконныхъ усѣченій и есть хотя одинъ такой стихъ, какъ:

Богами свержены во области бездонны,—

то не должно забывать, что все это принадлежитъ болѣе къ недостаткамъ языка, чѣмъ къ недостаткамъ поэзіи; а во время

Батюшкова никто не думалъ видѣть въ этомъ какіе бы то ни было недостатки. Если переводъ III-ей элегіи Тибулла и уступить въ достоинствѣ переводу первой, тѣмъ не менѣе онъ читается съ наслажденіемъ; но XI элегія переведена Батюшковымъ болѣе неудачно, чѣмъ удачно: немногіе хорошіе стихи затоплены въ ней потокомъ вялой и растянutoй прозы въ стихахъ.

Кромѣ двѣнадцати пьесъ изъ греческой антологіи и трехъ элегій изъ Тибулла, памятникомъ сочувствія и уваженія Батюшкова къ древней поэзіи остается только переведенная имъ изъ Мильвуа поэма «Гезіодъ и Омиръ, соперники». Не имѣя подъ руками французскаго подлинника, мы не можемъ сравнить съ нимъ русскаго перевода; но не много нужно про-нищательности, чтобъ понять, что подъ перомъ Батюшкова эта поэма явилась болѣе греческою, чѣмъ въ оригиналѣ. Вообще, эта поэма не безъ достоинствъ, хотя въ то же время и не отличается слишкомъ большими достоинствами, какъ бы этого можно было ожидать отъ ея сюжета.

Что мѣшало Батюшкову обогатить русскую литературу превосходными произведеніями въ духѣ древней поэзіи и превосходными переводами, мы скажемъ объ этомъ ниже.

Страстная, артистическая натура Батюшкова стремилась родственно не къ одной Элладѣ: ей, какъ южному растенію, еще привольнѣе было подъ благодатнымъ небомъ роскошной Авзоніи. Отечество Петрарки и Тасса было отечествомъ музы русскаго поэта. Петрарка, Аріостъ и Тассо, особливо послѣдній, были любимѣйшими поэтами Батюшкова. Смерти Тассо посвятилъ онъ прекрасную элегію, которую можно принять за апоѳеозу жизни и смерти пѣвца «Іерусалима»; стихотвореніе «Къ Тассу» — родъ посланія, довольно большаго, хотя и довольно слабаго, также свидѣтельствуеть о любви и благоговѣннн нашего поэта къ пѣвцу Годфреда; сверхъ того Батюшковъ перевелъ, впрочемъ, довольно неудачно, небольшо-й отрывокъ изъ «Освобожденнаго Іерусалима». Изъ Пет-

рарки онъ перевелъ только одно стихотвореніе—«На смерть Лауры», да написалъ подражаніе его IX канцонѣ—«Вечеръ». Всѣмъ тремъ поэтамъ Италіи онъ посвятилъ по одной прозаической статьѣ, гдѣ излилъ свой восторгъ къ нимъ, какъ критикъ. Особенно замѣчательно, что онъ какъ-будто гордится, словно заслугою, открытіемъ, которое удалось ему сдѣлать при многократномъ чтеніи Тассо: онъ нашелъ многія мѣста и цѣлыя стихи Петрарки въ «Освобожденномъ Іерусалимѣ», что, по его мнѣнію, доказываетъ любовь и уваженіе Тассо къ Петраркѣ. И при всемъ томъ, Батюшковъ такъ же слишкомъ мало оправдалъ на дѣлѣ свою любовь къ итальянской поэзіи, какъ и къ древней. Почему это — увидимъ ниже.

Страстность составляетъ душу поэзіи Батюшкова, а страстное упоеніе любви—ея паеосъ. Онъ и переводилъ Парни и подражалъ ему; но въ томъ и другомъ случаѣ оставался самимъ собой. Слѣдующее подражаніе Парни—«Ложный Стыдъ», даетъ полное и вѣрное понятіе о паеосѣ его поэзіи:

Помнишь ли, мой другъ безцвѣнный,
Какъ съ Амурами, тишкомъ,
Мракомъ ночи окруженный,
Я къ тебѣ прокрался въ домъ?
Помнишь ли, о другъ мой нѣжный!
Какъ дрожащая рука
Отъ побѣды неизбежной
Защищалась—но слегка?
Слышенъ шумъ—ты испугалась;
Свѣтъ блеснулъ и въ мигъ погасъ;
Ты къ груди моей прижалась,
Чуть дыша .. блаженный часъ!
Ты пугалась; я смѣлся.
«Намъ ли въдать, Хлоя, страхъ?
«Гименей за все ручался,
«И Амуры на часахъ.
«Все въ безмолвіи глубокомъ,
«Все почало сладкимъ сномъ!
«Дремлетъ Аргусъ томнымъ ономъ

«Подъ мореевомъ крыломъ!»
Рано утрення розы
Запылали въ небесахъ...
Но любви безцѣнны слезы,
Но улыбка на устахъ;
Томно персей волнованье
Подъ прозрачномъ полотномъ.
Молча новое свиданье
Объщали вечеркомъ.
Еслибъ Зевсова десятица
Мнѣ вручила ночь и день:
Поздно-бъ юная денница
Прогоняла черну тѣнь!
Поздно-бъ солнце выходило
На восточное крыльцо;
Чуть блеснуло-бъ, и сокрыло
За лѣсъ рдяное лицо;
Долго-бъ тѣни пролежали
Влажной ночи на поляхъ;
Долго-бъ смертные вкушали
Сладострастїе въ мечтахъ.
Дружбъ дамъ я часъ единый,
Вакху часъ и сну другой:
Остальною-жъ половиной
Подвлюсь, мой другъ, съ тобой!

Въ прелестномъ посланіи къ Ж*** и В*** «Мои Пенаты», съ такою же яркостію высказывается преобладающая страсть поэзіи Батюшкова. Окончательные стихи этой прелестной пьесы представляютъ изящный эпикуреизмъ Батюшкова во всей его поэтической обаятельности:

Пока бѣжить за нами
Богъ времени съдой
И губить дугъ съ цвѣтами
Безжалостной косой,
Мой другъ, скорѣй за счастьемъ
Въ путь жизни полетимъ,
Упьемся сладострастьемъ
И смерть опередимъ;
Сорвемъ цвѣты украдкой

Подъ лезвеемъ косы,
И лънью жизни краткой
Продлимъ, продлимъ часы!
Когда же Парки тощи
Нить жизни допрядуть,
И насъ въ обитель ночи
Ко праѣдамъ снесутъ—
Товарищи любезны!
Не сътуйте о насъ!
Къ чему рыданья слезны,
Наемныхъ ликовъ гласъ?
Къ чему сіи куренья,
И колокола вой,
И томны псалмопѣнья
Надъ хладною доской?
Къ чему?... но вы толпами
При мѣсячныхъ лучахъ
Сберитесь, и цвѣтами
Усѣйте мирный прахъ;
Иль бросьте на гробницы
Боговъ домашнихъ лжкъ,
Двѣ чаши, двѣ цѣвницы.
Съ листьями павиликъ;
И путникъ угадаетъ
Безъ надписей златыхъ,
Что прахъ тутъ почиваетъ
Счастливицевъ молодыхъ!

Нельзя согласиться, что въ этомъ эпикуреизмѣ много чело-
вѣчнаго, гуманнаго, хотя, можетъ - быть, въ то же время
много и односторонняго. Какъ бы то ни было, но здравый
эстетическій вкусъ всегда поставитъ въ большое достоин-
ство поэзіи Батюшкова ея опредѣленность. Вамъ, можетъ,
не понравится ея содержаніе, такъ же, какъ другаго можетъ
оно восхищать: но оба вы, по крайней мѣрѣ, будете знать—
одинъ, что онъ не любитъ, другой—что онъ любитъ. И ужъ ко-
нечно, такой поэтъ, какъ Батюшковъ—больше поэтъ, чѣмъ,
напримѣръ, Ламартинъ съ его медитаціями и гармоні-
ями, сотканными изъ вздоховъ, оховъ, облаковъ, тумановъ,

паровъ, тѣней и призраковъ... Чувство, одушевляющее Батюшкова, всегда органически жизненно, и потому оно не распространяется въ словахъ, не кружится на одной ногѣ вокругъ самого себя, но движется, растетъ само изъ себя, подобно растенію, которое, проглянувъ изъ земли стебелькомъ, является пышнымъ цвѣткомъ, дающимъ плодъ. Можетъ-быть немного найдется у Батюшкова стихотвореній, которыя могли бы подтвердить нашу мысль; но мы не достигли бы до нашей цѣли—познакомить читателей съ Батюшковымъ, еслибъ не указали на это предестное его стихотвореніе — «Источникъ»:

Буря умолкла, и въ ясной лазури
Солнце явилось на западѣ намъ:
Мутный источникъ, слѣдъ яростной бури,
Съ ревомъ и съ шумомъ бѣжитъ по полямъ!
Заона! приблизься: для дѣвы невинной
Пальмы подъ тѣнью здѣсь роза цвѣтеть;
Падая съ камня источникъ пустынный
Съ ревомъ и пѣной сквозъ дебри течеть!
Дебри ты, Заона, собой озарила!
Сладко съ тобою въ пустынныхъ краяхъ,
Пѣсни любви ты мнѣ повторила—
Вътеръ унесъ ихъ на тихихъ крылахъ!
Голось твой, Заона, какъ утра дыханье,
Сладостно шепчетъ, несясь по цвѣтамъ:
Тише, источникъ, прерви волнованье,
Съ ревомъ и съ пѣной стремясь по полямъ!
Голось твой, Заона, въ душѣ отозвался:
Вижу улыбку и радость въ очахъ!
Дѣва любви! я къ тебѣ прикасался,
Съ медомъ пилъ розы на влажныхъ устахъ!
Заона краснѣеть?... О другъ мой невинный,
Тихо прижмися устами къ устамъ!
Будь же ты скромнѣе, источникъ пустынный,
Съ ревомъ и съ шумомъ стремясь по полямъ!
Чувствую персей твоихъ волнованье
Сердца бѣенье и слезы въ очахъ,
Сладостно дѣвы стыдливой роптанье!

Заэна! о Заэна, смотри, тамъ въ водахъ
Быстро несется цвѣтокъ розмаринный;
Воды умчались,—цвѣточка ужъ нѣтъ!
Время быстрѣе, чѣмъ токъ сей пустынный,
Съ ревомъ который сквозъ дебри течеть.

Время погубить и прелесть и младость!...
Ты улыбулась, о дѣва любви!
Чувствуешь въ сердцѣ томленье и сладость,
Сильны восторги и пламень въ крови!...
Заэна, о Заэна!—тамъ голубь невинный
Съ страстной подругой завидуютъ намъ...
Вздохи любви—источникъ пустынный
Съ ревомъ и шумомъ умчить по полямъ!

Нужно ли объяснять, что лежащее въ основѣ этого стихотворенія чувство, въ началѣ тихое и какъ бы случайное, въ каждой новой строфѣ все идетъ crescendo, разрѣшаясь гармоническимъ аккордомъ вздоховъ любви, унесенныхъ пустыннымъ источникомъ... И сколько жизни, сколько граціи въ этомъ чувствѣ!...

Но не одиѣ радости любви и наслажденія страсти умѣлъ воспѣвать Батюшковъ: какъ поэтъ новаго времени, онъ не могъ въ свою очередь не заплатить дани романтизму. И какъ хорошъ романтизмъ Батюшкова: въ немъ столько опредѣленности и ясности! Элегія его—это ясный вечеръ, а не темная ночь, вечеръ въ прозрачныхъ сумеркахъ котораго всѣ предметы только принимаютъ на себя какой-то грустный оттѣнокъ, а не теряютъ своей формы и не превращаются въ призраки... Сколько души и сердца въ стихотвореніи «Послѣдняя Весна», и какіе стихи!

Въ поляхъ блистаетъ май веселый!
Ручей свободно зажурчалъ
И яркій голось филомелы
Угрюмый боръ очаровалъ:
Все новой жизни пьетъ дыханье!
Пѣвецъ любви, лишь ты унылъ!
Ты смерти вѣрной предвѣщанье

Въ печальномъ сердцѣ заключилъ;
Ты бродишь слабыми стопами
Въ послѣдній разъ среди полей,
Прощаясь съ ними и съ лѣсами
Пустынной родины твоей.
„Простите, рощи и долины,
„Родныя рѣки и поля!
„Весна пришла, и часъ копчины
„Неотразимой вижу я.
„Такъ Эпидавра прорицанье
„Въпало мнѣ: въ послѣдній разъ
„Услышишь горлицъ воркованье
„И гальціоны тихій гласъ;
„Зазеленѣютъ гибки лозы,
„Поля одвѣнутся въ цвѣты,
„Тамъ первыя увидишь розы
„И съ ними вдругъ увянешь ты.
„Ужъ близокъ часъ... цвѣточки милы,
„Къ чему такъ рано увядать?
„Закройте памятникъ унылый,
„Гдѣ прахъ мой будетъ истлѣвать;
„Закройте путь къ нему собою
„Отъ взоровъ дружбы навсегда,
„Но если Делія съ тоскою
„Къ нему приблизится: тогда
„Исполните благоуханьемъ
„Вокругъ пустынный небосклонъ
„И томнымъ лмтевѣмъ трепетаньемъ
„Мой сладко очаруйте сонъ!“
Въ поляхъ цвѣты не увядали,
И гальціоны въ тихій часъ
Стенанья рощи повторяли.
А бѣдный юноша... погасъ!
И дружба слезъ не уронила
На прахъ любимца своего;
И Делія не посѣтила
Пустынный памятникъ его:
Лишь пастырь въ тихій часъ денницы,
Какъ въ поле стадо выгонялъ,
Унылой пѣснью возмущалъ
Молчанье мертвое гробницы.

Грація — неотступный спутникъ музы Батюшкова, что бы она ни пѣла — буйную ли радость вакханаліи, страстное ли упоеніе въ любви, или грустное раздумье о прошедшемъ, скорбь сердца, оторваннаго отъ милыхъ ему предметовъ. Что можетъ быть граціознѣе этихъ двухъ маленькихъ элегій.

О память сердца! ты сильнѣй
Разсудка памяти печальной,
И часто сладостью своей
Меня въ странѣ плѣняешь дальней.
Я помню голосъ милыхъ словъ,
Я помню очи голубыя,
Я помню локоны золотые
Небрежно вьющихся власявъ.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь нарядъ простой
И образъ милой, незабвенной
Повсюду странствуетъ со мной.
Хранитель гений мой любовью
Въ утѣху даешь разлуку онъ:
Засну-ль—приникнетъ къ изголовью
И усладитъ печальный сонъ

Зефиръ послѣдній свѣзлъ сонъ
Съ рѣсницъ, окованныхъ мечтами;
Но я—не къ счастью пробужденъ
Зефира тихими крылами.
Ни сладость розовыхъ лучей
Предтечи утренняго Феба.
Ни кроткій блескъ лазури неба,
Ни запахъ вѣющій съ полей,
Ни быстрый летъ коня ретива
По скату бархатныхъ луговъ,
И гончихъ лай, и звонъ роговъ
Вокругъ пустыннаго залива;
Ни что души не веселитъ,
Души встревоженной мечтами.
И гордый умъ не побѣдитъ
Любви холодными словами.

Замѣчательно, что у Батюшкова есть прекрасная небольшая элегія, которая не что иное, какъ очень близкій и очень удачный переводъ одной строфы изъ четвертой пѣсни Байронова «Чайльдъ-Гарольда». Вотъ по возможности близкая передача въ прозѣ этой строфы (CLXXVIII): «Есть удовольствіе въ непроходимыхъ лѣсахъ, есть прелесть на пустынномъ берегу, есть общество вдали отъ докучныхъ, въ сосѣдствѣ глубокаго моря, и ропотъ волнъ его есть своя мелодія. Я тѣмъ не менѣе люблю человѣка, но я тѣмъ болѣе люблю природу вслѣдствіе этихъ свиданій съ нею, на которыя я спѣшу, забывая все, чѣмъ бы я могъ быть, или чѣмъ былъ прежде, для того, чтобы сливаться со всею вселенною и чувствовать то, что я никогда не въ состояніи выразить, но о чемъ однакожь не могу и молчать». — Вотъ переводъ Батюшкова:

Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ,
Есть радость на приморскомъ брегѣ,
И есть гармоніи въ семь говорѣ валовъ,
Дробящихся въ пустынномъ бѣгѣ.
Я ближняго люблю—но ты природа-мать,
Для сердца ты всего дороже!
Съ тобой, владычица, привыкъ я забывать
И то, чѣмъ былъ, какъ былъ молоде,
И то, чѣмъ нынѣ сталъ подъ холодомъ годовъ,
Тобю въ чувствахъ оживаю:
Иль выразить душа не знаетъ стройныхъ словъ,
И какъ молчать объ нихъ не знаю.

Козловъ перевелъ и слѣдующія пять строфъ, и выдалъ это за собственное произведеніе: но крайней мѣрѣ, въ третьемъ изданіи его сочиненій не означено, откуда взято первое стихотвореніе во второй части «Къ Морю», посвященное Пушкину. Къ довершенію всего, переводъ такъ водянь, что въ немъ нѣтъ никакихъ признаковъ Байрона. Сравните три послѣдніе стиха перваго куплета съ переводомъ Батюшкова:

Природу я душою обнимаю,
Она мнѣй; *ностичь* стремлюся я
Все то, чему *нѣтъ* словъ, но что *таить* нельзя.

то-ли это?...

Безпечный поэтъ-мечтатель, философъ-эпикуреецъ, жрецъ любви, нѣги и наслажденія, Батюшковъ не только умѣлъ задумываться и грустить, но зналъ и диссонансы сомнѣнія и муки отчаянія. Не находя удовлетворенія въ наслажденіяхъ жизни и нося въ душѣ страшную пустоту, онъ восклицалъ въ тоскѣ своего разочарованія:

Минутны странники, мы ходимъ по гробамъ,
Всѣ дни утратами считаемъ;
На крыльяхъ радости летимъ къ своимъ друзьямъ,
И что-жь?—ихъ урны обнимаемъ!

.....
Такъ все здѣсь суетно въ обители суетъ!
Пріянь и дружество непрочю!
Но гдѣ, скажи, мой другъ, прямой сіяетъ свѣтъ?
Что вѣчно чисто, непорочно?
Напрасно вопрошалъ я опытность вѣковъ
И Кліи мрачныя скрижали;
Напрасно вопрошалъ всѣхъ міра мудрецовъ,—
Они безмолвны пребывали.
Какъ въ воздухѣ перо кружится здѣсь и тамъ,
Какъ въ вихрѣ тонкій прахъ летаетъ,
Какъ судно безъ руля стремится по волнамъ
И вѣчно пристани не знаетъ:
Такъ умъ мой посреди волненій погибалъ.
Всѣ жизни прелести затмились;
Мой геній въ горести свѣтильникъ погашалъ
И музы свѣтлыя сокрылись.

Бросая общій взглядъ на поэтическую дѣятельность Батюшкова, мы видимъ, что его талантъ былъ гораздо выше того, что сдѣлано имъ, и что во всѣхъ его произведеніяхъ есть какая-то недоконченность, неровность, незрѣлость. Съ превосходнѣйшими стихами мѣшаются у него иногда стихи старинной

фактуры, лучшія пьесы не всегда выдержаны и не всегда чужды прозаическихъ и растянутыхъ мѣстъ. Въ его поэтическомъ призваніи Греція борется съ Италією, югъ съ сѣверомъ, ясная радость съ унылою думою, легкомысленная жажда наслажденія вдругъ смѣняется мрачнымъ, тяжелымъ сомнѣніемъ, и тирская багряница эпикурейца робко прячется подъ власяницу суроваго аскетика. Отсюда происходитъ, что поэзія Батюшкова лишена общаго характера, и если можно указать на ея паѳосъ, то нельзя не согласиться, что этотъ паѳосъ лишенъ всякой увѣренности въ самомъ себѣ, и часто походитъ на контрабанду съ опасеніемъ и боязнію, провозимую черезъ таможенную пѣтизма и морали. Батюшковъ былъ учителемъ Пушкина въ поэзіи, онъ имѣлъ на него такое сильное вліяніе, онъ передалъ ему почти готовый стихъ,— а между тѣмъ, чтó представляютъ намъ творенія самого этого Батюшкова? Кто теперь читаетъ ихъ, кто восхищается ими? Въ нихъ все принадлежитъ своему времени, и почти ничего нѣтъ для нашего. Артистъ, художникъ по призванію, по натурѣ и по таланту, Батюшковъ неудовлетворителенъ для насъ и съ эстетической точки зрѣнія. Откуда же эти противорѣчія? Гдѣ причина ихъ?— Не трудно дать отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Творенія Жуковскаго—это цѣлый періодъ нашей литературы, цѣлый періодъ нравственнаго развитія нашего общества. Ихъ можно находить односторонними, но въ этой-то односторонности и заключается необходимость, оправданіе и достоинство ихъ. Съ произведеніями музы Жуковскаго связано нравственное развитіе каждаго изъ насъ въ извѣстную эпоху нашей жизни, и потому мы любимъ эти произведенія, даже и будучи отдѣлены отъ нихъ неизмѣримымъ пространствомъ новыхъ потребностей и стремленій: такъ возмужалый человѣкъ любить волненія и надежды своей юности, надъ которыми самъ же уже смѣется. Жуковскій весь отдался своему направленію, своему призванію. Онъ—романтикъ во

всемъ, что есть лучшаго въ его поэзіи, и не-романтикъ только въ неудачныхъ своихъ опытахъ, число которыхъ, впрочемъ, уступаетъ числу лучшихъ, т. е. романтическихъ его произведеній. Батюшковъ написалъ по нѣскольку пьесъ на нѣсколько мотивовъ — и вотъ все. Мы въ этой статьѣ, выписали почти все лучшее изъ произведеній Батюшкова: такъ немного у него лучшаго! Направленіе и духъ поэзіи его гораздо опредѣленнѣе и дѣйствительнѣе направленія духа поэзіи Жуковскаго: а между тѣмъ, кто изъ Русскихъ не знаетъ Жуковскаго, и многіе ли изъ нихъ знаютъ Батюшкова не по одному только имени?

Главная причина всѣхъ этихъ противорѣчій заключается, разумеется, въ самомъ талантѣ Батюшкова. Это былъ талантъ замѣчательный, но болѣе яркій, чѣмъ глубокій, болѣе гибкій, чѣмъ самостоятельный, болѣе граціозный, чѣмъ энергическій. Батюшкову немногаго не доставало, чтобъ онъ могъ переступить за черту, раздѣляющую большой талантъ отъ геніяльности. И вотъ почему онъ всегда находился подъ вліяніемъ своего времени. А его время было странное время, — время, въ которое новое являлось, не смѣняя стараго и старое и новое дружно жили другъ подлѣ друга, не мѣшая одно другому. Старое не сердилось на новое потому что новое низко кланялось старому и на вѣру, по преданію, благоговѣло передъ его богами. Посмотрите, какъ безсознательно восхищался Батюшковъ представителями русскаго Парнасса:

Пускай веселы тѣни
Любимыхъ мнѣ пѣвцовъ,
Оставляя тайны сѣни
Стигійскихъ береговъ,
Иль области зеирны,
Воздушною толпой
Слетятъ на голосъ лирный
Бесѣдовать со мной!...
И мертвые съ живыми

Вступили въ хоръ одинъ!...
Что вижу? ты предъ ними
Парнасскій исполинь,
Пѣвецъ героевъ, славы,
Вслѣдъ вихрямъ и громамъ.
Нашъ лебедь величавый,
Плывешь по небесамъ.
Въ толпѣ и музъ и грацій
То съ лирой, то съ трубой,
Нашъ *Линдартъ*, *нашъ Горацийъ*
Сливаетъ голосъ свой.
Онъ громокъ, быстръ и силенъ,
Какъ Суна средъ степей.
И нѣженъ, тихъ, умиленъ
Какъ вешній соловей.
Фантазіи небесной
Давно любимый сынъ (?)
То повѣстью прелестной
Плѣняетъ Карамзинъ,
То мудраго Платона
Описываетъ намъ,
И ужинъ Агатона,
И наслажденья храмъ;
То древню Русь и нравы
Владимира времени,
И въ колыбели славы
Рожденіе славянъ.
За ними *сильфъ прекрасный*
Воспитанникъ Харитъ,
На цитръ сладкогласной
О Душенькѣ бречитъ;
Мелецкаго съ собою
Улыбкою зоветъ,
И съ нимъ рука съ рукою.
Гимнъ радости поетъ...
Съ эротами играя,
Философъ и пѣить,
Близъ Федра и Пильпая
Тамъ Дмитріевъ сидитъ:
Бесѣдуя съ звѣрями,
Какъ счастливый дитя.

Парнасскими цвѣтами
Скрылъ истину шутя.
За нимъ въ часы свободы
Поютъ среди цвѣтовъ
Два баловня природы
Хемницеръ и Крыловъ.
Наставники-питы,
О фебвы жрецы!
Вамъ, вамъ плетутъ хариты
Безсмертные вѣнцы!
Я вами здѣсь вкушаю
Восторги піэриды,
И въ радости зываю:
О музы! я пить!

Что такое эти стихи, если не крикъ безотчетнаго восторга? Для Батюшкова всѣ писатели, которыми привыкъ онъ восхищаться съ дѣтства, равно велики и бессмертны. Державинъ у него — «нашъ Пиндаръ, нашъ Горацій», какъ будто бы для него мало чести быть только нашимъ Пиндаромъ, или только нашимъ Гораціемъ. Если Батюшковъ тутъ же не назвалъ Державина еще и нашимъ Анакреономъ, — это, вѣроятно, потому, что Анакреонъ, какъ длинное имя, не пришло въ мѣру стиха. Батюшковъ съ Гораціемъ былъ знакомъ не по слуху, и не видѣлъ, что между Гораціемъ — поэтомъ умиравшаго, развратнаго языческаго общества, и между Державинимъ, — поэтомъ, для котораго еще не было никакого общества, нѣтъ рѣшительно ничего общаго! Если Батюшковъ и не зналъ по-гречески, — онъ могъ имѣть понятіе о Пиндарѣ по латинскимъ и нѣмецкимъ переводамъ; но это, видно, не помогло ему понять, что еще менѣе какого бы то ни было сходства между Державинимъ и Пиндаромъ, котораго вдохновенная, возвышенная поэзія была голосомъ цѣлаго народа — и какого еще народа!... Если Батюшковъ не упомянулъ въ этихъ стихахъ о Херасковѣ и Сумарковѣ, это вѣроятно, потому, что первому изъ нихъ

были уже нанесены страшные удары Мерзляковымъ и Строевымъ (П. М.), а второй мало-помалу какъ-то самъ истерся въ общественномъ мнѣніи. Впрочемъ, это не мѣшаетъ Батюшкову титуловать Хераскова громкимъ именемъ «пѣвца Россіады» и приписывать ему какую-то «славу писателя». Разсуждая о такъ называемой «легкой поэзіи» Батюшкова, такъ разсказываетъ ея исторію на Руси:

„Такъ называемый эротическій и вообще легкой родъ поэзіи воспріялъ у насъ начало со временъ Ломоносова и Сумарокова. Опыты ихъ предшественниковъ были маловажны: языкъ и общество еще не были образованы. Мы не будемъ исчислять всѣхъ видовъ, раздѣленій и измѣненій легкой поэзіи, которая менѣе или болѣе принадлежитъ къ важнымъ родамъ: но замѣтимъ, что на поприщѣ изящныхъ искусствъ, подобно какъ и въ нравственномъ мірѣ, ничто прекрасное и доброе не теряется, приноситъ со временемъ пользу и дѣйствуетъ непосредственно на весь составъ языка. Стихотворная повѣсть Богдановича, первый и прелестный цвѣтокъ легкой поэзіи на языкѣ нашемъ, ознаменованный истиннымъ и великимъ (!) талантомъ; остроумныя, неподражаемыя сказки Дмитріева, въ которыхъ поэзія въ первый разъ украсила разговоръ лучшаго общества; посланія и другія произведенія сего стихотворца, въ которыхъ философія (?) оживилась неувыдаемыми цвѣтами выраженія; басни его, въ которыхъ онъ боролся съ Лафонтеномъ и часто побѣждалъ его; басни Хемницера и оригинальныя басни Крылова, которыхъ остроумныя, счастливыя стихи сдѣлались пословицами, ибо въ нихъ видны и тонкій умъ наблюдателя свѣта, и рѣдкій талантъ; стихотворенія Карамзина, исполненные чувства, образецъ ясности и стройности мыслей; Горацианскія оды Капниста; вдохновенныя страстью пѣсни Пелединскаго; прекрасныя подражанія древнимъ Мерзлякова; баллады Жуковского, сіяющія воображеніемъ, часто *своекрапнымъ* (?), но всегда пламеннымъ, всегда сильнымъ; стихотворенія Востокова, въ которыхъ видно отличное дарованіе поэта, напитаннаго чтеніемъ древнихъ и германскихъ писателей; наконецъ стихотворенія Муравьева, гдѣ изображается, какъ въ зеркалѣ, прекрасная душа его; посланія князя Долгорукова, исполненные живости; нѣкоторыя посланія Воейкова, Пушкина и другихъ новѣйшихъ стихотворцевъ, писанныя слогомъ чистымъ и всегда благороднымъ: всѣ сіи блестящія произведенія дарованія и остроумія менѣе или болѣе приближались къ желанному совершенству. и всѣ—

нѣтъ сомнѣнія — принесли пользу языку стихотворному, образовали его, очистили, утвердили“.

‘Такъ! скажемъ мы отъ себя, въ этомъ нѣтъ сомнѣнія: сочиненія всѣхъ этихъ поэтовъ принесли свою пользу въ дѣлѣ образованія стихотворнаго языка; но нѣтъ и въ томъ сомнѣнія, что между ихъ стихомъ и стихомъ Жуковскаго и Батюшкова легло цѣлое море разстоянія, и что «Душенька» Богдановича, сказки Дмитріева, гораціанскія оды Капниста, подражанія древнимъ Мерзлякова, стихотворенія Востокова, Муравьева, Долгорукова, Воейкова, и Пушкина (Василія) только до появленія Жуковскаго и Батюшкова могли считаться образцами легкой поэзіи и образцами стихотворнаго языка. Батюшковъ ни однимъ словомъ не даетъ чувствовать, что прославляемые имъ сочиненія любимыхъ имъ писателей принадлежать извѣстному времени и носятъ на себѣ, какъ необходимый отпечатокъ, его недостатки. И потомъ, что за взглядъ на относительную важность каждаго изъ нихъ: Дмитріевъ у него выше Брылова, народнаго русскаго баснописца, котораго многіе стихи обратились въ пословицы, какъ и многіе стихи изъ «Горя отъ ума», тогда какъ басни Дмитріева, не смотря на ихъ неотъемлемое достоинство, теперь совершенно забыты. И немудрено: въ нихъ Дмитріевъ является не болѣе какъ счастливымъ подражателемъ и переводчикомъ Лафонтена; но онъ чуждъ всякой оригинальности, самобытности и народности. Стихотворенія Карамзина, которыя гораздо ниже стихотвореній Дмитріева, и которыя послѣ стихотвореній Жуковскаго тотчасъ же сдѣлались невозможными для чтенія, Батюшковъ находитъ «исполненными чувства и образцами ясности и стройности мыслей». Кто теперь знаетъ стихотворенія Муравьева? — Батюшковъ въ восторгѣ отъ нихъ. Ломоносовъ для него былъ однимъ изъ величайшихъ поэтовъ міра. Опыты въ легкой поэзіи предшественниковъ Ломоносова и Сумарокова были мало-

важны, по словамъ Батюшкова: стало быть, опыты Ломоносова и Сумарокова были уже не маловажны. Но что же легкаго написалъ Ломоносовъ и что же порядочнаго сочинилъ Сумароковъ?... И такъ смотрѣлъ на русскую литературу человѣкъ, знакомый съ французскою, нѣмецкою, итальянскою, англійскою (?) и латинскою литературами, въ подлинникѣ читавшій Руссо, Шенье, Шиллера, Петрарку, Тасса, Аріоста, Байрона (?), Тибулла и Овидія!... Но всего поразительнѣе, въ этомъ отношеніи, «Письмо» Батюшкова къ И. М. М. А. о сочиненіяхъ г. Муравьева». Дѣло идетъ о сочиненіяхъ Михаила Никитича Муравьева, бывшаго товарища министра народнаго просвѣщенія, попечителя Московскаго университета; онъ родился въ 1757, а умеръ въ 1827 году, и оставилъ послѣ себя память благороднаго человѣка и страстнаго любителя словесности. Какъ писатель, М. Н. Муравьевъ принадлежалъ къ Ломоносовской школѣ. Слогъ и языкъ его не Карамзинскій, хотя и казался для своего времени образцовымъ. Въ сочиненіяхъ его, дѣйствительно, видно много любви къ просвѣщенію, душа добрая и честная, характеръ благородный; но особенно литературнаго или эстетическаго достоинства они не имѣютъ. Когда вышли въ свѣтъ сочиненія Муравьева, изданныя послѣ смерти его подъ титуломъ: «Опыты исторіи словесности и нравоученія», — Батюшковъ написалъ письмо, о которомъ мы упомянули выше. Въ этомъ письмѣ онъ горько упрекаетъ тогдашнихъ журналистовъ за ихъ молчаніе о такой превосходной книгѣ, каковы сочиненія Муравьева. Въ числѣ этихъ сочиненій, состоящихъ изъ отдѣльныхъ статей, есть нѣсколько такъ называемыхъ «разговоровъ въ царствѣ мертвыхъ», въ которыхъ авторъ пренаивно сводитъ Ромула съ Кіемъ, Карла Великаго съ Владиміромъ, Горація съ Кантемиромъ, и заставляетъ ихъ спорить, а къ концу спора согласиться, что Россія не уступаетъ въ силѣ и просвѣщеніи ни одному народу въ мірѣ... Батюшковъ въ восторгѣ отъ этихъ мертвыхъ разговоровъ: онъ от-

даетъ имъ преимущество даже передъ разговорами Фонтенеля. «Французскій писатель (говоритъ онъ) гонялся единственно за остроуміемъ: дѣйствующія лица въ его разговорахъ разрѣшаютъ какую-нибудь истину блестящими словами; они, кажется намъ, любятъ сами тѣмъ, что сказали. Подъ перомъ Фонтенеля нерѣдко древніе герои преобразуются въ придворныхъ Людовика времени и напоминаютъ намъ живо учтивыхъ пастуховъ того же автора, которымъ не достаеъ парика, манжеть и красныхъ каблуконъ, чтобъ шаркать въ королевской передней, какъ замѣчаетъ Вольтеръ — не помню въ которомъ мѣстѣ. Здѣсь совершенно тому противное: всякое лицо говоритъ приличнымъ ему языкомъ, и авторъ знакомитъ насъ, какъ будто невольно, съ Рюрикомъ, съ Карломъ Великимъ, съ Кантемиромъ съ Горациемъ и проч.» Но, увы! — именно этого - то и нѣтъ въ разговорахъ Муравьева. Историческіе собесѣдники Фонтенеля похожи по крайней мѣрѣ хоть на придворныхъ Людовика XIV, а герои Муравьева рѣшительно ни на кого не похожи, даже просто на людей. Вообще, Батюшковъ прославляетъ Муравьева какъ-то риторически: иначе, чѣмъ объяснить эту схоластическую фразу: «онъ любилъ отечество и славу его, какъ Цицеронъ любилъ Римъ» (стр. 97)? Есть еще у Муравьева рядъ стиховъ нравственнаго содержанія, названныхъ у него общимъ именемъ «Обитатель Предмѣстія». Языкъ этихъ статей довольно чистъ и ближе подходитъ къ Карамзинскому, чѣмъ къ Ломоносовскому; содержаніе много говоритъ въ пользу автора, какъ человѣка съ самыми добрыми расположеніями души и сердца; но и все тутъ: ни идей, ни воззрѣній, ни картинъ, ни слога. Батюшковъ говоритъ: «Син разговоры (мертвыхъ) и Письма Обитателя Предмѣстія могутъ замѣнить въ рукахъ наставниковъ лучшія произведенія иностранныхъ писателей» (стр. 102). Вотъ какъ!... Вообще, давно уже замѣчено, что у насъ на святой Руси не умѣютъ въ мѣру ни похвалить, ни похулить: если превозносить на-

чнуть, такъ уже выше лѣса стоячаго, а если бранить, такъ уже прямо втопчуть въ грязь... «Другіе отрывки (продолжаетъ Батюшковъ) принадлежать къ высшему роду словесности. Между ними повѣсть «Оскольдъ», въ которой авторъ изображаетъ походъ сѣверныхъ народовъ на Царьградъ, блистаетъ красотою» (стр. 106). Какими же?—Красотою самой натянутой и надутой риторики. Въ числу такихъ повѣстей-поэмъ принадлежать: «Кадмъ и Гармонія», «Полидоръ, сынъ Кадма и Гармоніи» Хераскова, «Марѳа Посадница» Карамзина. Самъ Батюшковъ написалъ пренелѣпную вещь въ такомъ же духѣ: она называется «Предславъ и Добрыня, старинная повѣсть». Въ заключеніе статьи своей о сочиненіяхъ Муравьева, Батюшковъ выписываетъ эти стихи разбираемаго имъ автора:

Ты (муза) утро дней моихъ прилежно посѣщала,
Почто-жь печальная распространилась мгла,
И ясный полдень мой покрыла черной тѣнью!
Иль лавровъ по слѣдамъ твоимъ не соберу
И въ пѣсняхъ не пройду къ другому поколѣнью,
Или я весь умру?

«Нѣтъ (воскликаетъ Батюшковъ), мы надѣемся, что сердце человеческое бессмертно. Всѣ пламенные отпечатки его въ счастливыхъ стихахъ поэта побѣждаютъ самое время. Музы сохраняютъ въ своей памяти пѣсни своего любимца, и имя его перейдетъ къ другому поколѣнію съ именами, съ священными именами мужей добродѣтельныхъ» (стр. 122). Увы! предсказаніе критика не сбылось: восхваляемый имъ авторъ былъ уже забытъ еще въ то время, какъ онъ сулилъ ему бессмертіе... Чтò это означаетъ: односторонность ума, недостатокъ вкуса? — Нисколько! Немного людей, столь богатыхъ счастливыми дарами духовной природы, какъ Батюшковъ. Онъ былъ сынъ своего времени, — вотъ гдѣ причина его недостатковъ. Средствами своей природы онъ былъ уже

далѣ своего времени; но мыслию, сознаниемъ, онъ шелъ за нимъ, а не впереди его. Онъ зналъ много языковъ, и много читалъ на нихъ, но смотрѣлъ на вещи глазами «Вѣстника Европы» блаженной памяти, и даже современной исторіи учился по газетнымъ реляціямъ, а потому Наполеонъ, въ глазахъ его, былъ не болѣе, какъ новый Атилла, Омаръ, всесвѣтный зажигатель и разбойникъ (стр. 99). Еще страннѣе его взглядъ на Руссо: этотъ взглядъ до наивности близорукъ и подслѣповатъ (стр. 3, 17). Батюшковъ видѣлъ въ Руссо только мечтателя и софиста. Странное дѣло! Наши русскіе поэты, даже не обдѣленные образованіемъ, знакомые съ Европою черезъ тѣ языки, почти всегда отличались какою-то ограниченностію взгляда и понятій при замѣчательномъ, а иногда великомъ талантѣ... Это мы еще будемъ имѣть случай замѣтить...

Но едва ли не жесточе всѣхъ постигла эта участь Батюшкова. Онъ весь заключенъ во мнѣніяхъ и понятіяхъ своего времени, а его время было переходомъ отъ Карамзинскаго классицизма къ Пушкинскому романтизму (Пушкина вѣдь считали первымъ русскимъ романтикомъ!). Батюшковъ съ уваженіемъ говорить даже о меценатствѣ и замѣчаетъ въ одномъ мѣстѣ (стр. 47), что одинъ вельможа удостоиваетъ музъ своимъ покровительствомъ, вмѣсто того, чтобъ сказать, что онъ удостоивается чести быть полезнымъ музамъ.

Какъ на самую рѣзкую, на самую характеристическую черту эстетическаго и критическаго образованія Батюшкова, уважемъ на статью его «Аріостъ и Тассъ». Это нѣчто въ родѣ критическихъ статей нашихъ старинныхъ аристарховъ о «Россіадѣ» Хераскова. Какъ хорошо это мѣсто! какой чудесный этотъ стихъ! какое живое описаніе представляетъ собою эта глава—вотъ характеръ критики Батюшкова. Объ идеяхъ, о цѣломъ, о вѣкѣ, въ которомъ написана поэма, о ея недостаткахъ—ни слова, какъ-будто-бы ничего этого въ ней и не бывало! больше всего восхищается Батюшковъ

описаніемъ одной битвы, которое, судя по его же прозаическому переводу, довольно надуту. Это картина напоминаетъ ему стихи Ломоносова:

Различнымъ образомъ повержены тѣла:
Иный съ размаха мечъ занесъ на сопостата,
Но прежде прободенъ, удара не скончалъ.
Иный, забывъ врага, прельщался блескомъ злата,
Но мертвый на корысть желанную упалъ.
Иный, отъ сильнаго удара убѣгая,
Стремлявъ на низъ слетѣлъ и *стонеть* подь конемъ.
Иный, пронзенъ, *угасъ*, противника сражая.
Иный врага повергъ и *умеръ* самъ на немъ.

Кромѣ того, что Батюшковъ эти дебелые и безобразные стихи находить прекрасными, онъ еще видитъ въ разстановкѣ словъ: *стонеть*, *угасъ* и *умеръ*, какую-то особенную силу. «Замѣтимъ мимоходомъ для стихотворцевъ (говорить онъ), какую силу получаютъ самыя обыкновенныя слова, когда они постановлены на своемъ мѣстѣ» (стр. 225—226).

Таковы были литературныя и эстетическія понятія и убѣжденія Батюшкова. Они достаточно объясняютъ, почему такъ нерѣшительно было направленіе его поэзіи и почему написанное имъ такъ далеко ниже его чудеснаго таланта. Превосходный талантъ этотъ былъ задушенъ временемъ. При этомъ не должно забывать, что Батюшковъ слишкомъ рано умеръ для литературы и поэзіи. Кажется его литературная дѣятельность совершенно прекратилась съ 1819-мъ годомъ, когда онъ былъ въ самой цвѣтущей порѣ умственныхъ силъ—ему тогда было только 32 года отъ роду (онъ родился въ 1787 году). Мы не знаемъ даже, прочелъ ли Батюшковъ хотя одно стихотвореніе Пушкина. «Русланъ и Людмила» появилась въ 1820 году. Такъ Пушкинъ, въ свою очередь, не прочелъ ни одного стихотворенія Лермонтова. И, можетъ быть, для Батюшкова настала бы новая пора лучшей и высшей дѣятельности, еслибъ враждебная русскимъ музамъ судьба не отняла его такъ рано отъ ихъ служенія. Появленіе Пуш-

кина имѣло сильное вліяніе на Жуковского: можетъ-быть, еще сильнѣйшее вліяніе имѣло бы оно на Батюшкова. Выходъ въ свѣтъ «Руслана и Людмилы» и возбужденные этою поэмою толки и споры о классицизмѣ и романтизмѣ были эпохою обновленія русской литературы, ея окончательнаго освобожденія изъ подъ вліянія Ломоносова и началомъ эмансипаціи изъ подъ вліянія Карамзина... Несмотря на всю свою поверхностность, эта эпоха развязала крылья генію русской литературы и поэзіи. И, вѣроятно, талантъ Батюшкова въ эту эпоху явился бы во всей своей силѣ, во всемъ своемъ блескѣ.

Но не такъ угодно было судьбѣ. И потому намъ лучше говорить о томъ, что было, нежели о томъ, что бы могло быть. Написанное Батюшковымъ, какъ мы уже сказали, — далеко ниже обнаруженнаго имъ таланта, далеко не выполняетъ возбужденныхъ имъ же самимъ ожиданій и требованій. Неопредѣленность, нерѣшительность, неоконченность и невыдержанность борются въ его поэзіи съ опредѣленностію, рѣшительностію и выдержанностію. Прочтите его превосходную элегію «На развалинахъ Замка въ Швеціи»: какъ все въ ней выдержано, полно, окончено! Какой роскошный и, вмѣстѣ съ тѣмъ, упругій, крѣпкій стихъ!

Тамъ воинъ нѣкогда, Одена храбрый внукъ,
Въ бояхъ приморскихъ посѣдѣлый,
Готовилъ сына въ брань, и стрѣлъ пернатыхъ пукъ.
Броню завѣтну, мечъ тяжелый,
Онъ юношѣ вручалъ израненой рукой,
И громко восклицалъ, поднимая дрожащи длани:
«Тебѣ онъ обреченъ, о богъ, властитель брани,
Всегда и всюду твой!

А ты, мой сынъ, клянись мечемъ твоихъ отцовъ,
И Геллы клятвою кровавой,
На западныхъ струяхъ быть ужасомъ враговъ,
Иль пасть, какъ предки пали, съ славой!»
И пылкій юноша мечъ праѣдковъ лобзалъ

И къ персямъ прижималъ родительскія длани,
И въ радости, какъ конь, при звукъ новой брани,
Кипѣлъ и трепеталъ!

Война, война врагамъ отеческой земли!

Суда на утро восшумѣли,
Запѣвились моря, и быстры корабли
На крыльяхъ бури полетѣли!
Въ долинахъ Нейстрии раздался браней громъ,
Туманный Альбионъ изъ край въ край пылаеть,
И Гелла день и ночь въ Валгаллу провожаетъ
Погибшихъ блѣдный сонмъ.

Ахъ, юноша! спѣши къ отеческимъ брегамъ,
Назадъ лети съ добычей бранной;
Ужь вѣтъ кроткій вѣтръ во слѣдъ твоимъ судамъ,
Герой, побѣдою избранный.
Ужь скальды пиршества готовятъ на холмахъ,
Ужь дубы въ пламени, въ сосудахъ медь свергаетъ.
И вѣстникъ радости отцамъ провозглашаетъ
Побѣды на моряхъ.

Здѣсь, въ мирной пристани, съ денницей золотой
Тебя невѣста ожидаетъ,
Къ тебѣ, о юноша, слезами и мольбой,
Боговъ на милость преклоняетъ...
Но вотъ, въ туманѣ тамъ, какъ стая лебедей,
Бѣлѣютъ корабли, несомые волнами;
О вѣй, попутный вѣтръ, вѣй тихими устами
Въ вѣтрила кораблей!

Суда у береговъ, на нихъ уже герой
Съ добычей женъ иноплеменныхъ;
Къ нему спѣшитъ отецъ съ невѣстою *младой* *)
И лики скальдовъ вдохновенныхъ.
Красавица стоитъ безмолвствуя въ слезахъ,
Едва на жениха взглянуть украдкой смѣетъ,
Потупя ясный взоръ, краснѣетъ и блѣднѣетъ,
Какъ мѣсяцъ въ небесахъ.

*) Повесть нашего времени вмѣсто «съ невѣстою *младой*», сказалъ бы: «съ невѣстою *молодой*». — и оно, разумѣется, было-бы лучше; но во время Батюшкова большую полагали красоту въ славянизмѣ

Не такова другая элегія Батюшкова — «Тѣнь Друга»; начало ея превосходно:

Я берегъ покидалъ туманный Альбіона;
Казалось, онъ въ волнахъ свинцовыхъ утопалъ,
За кораблемъ вилася гальціона,
И тихій гласъ ея пловцовъ увеселялъ.
Вечерній вѣтръ, валовъ плесканье,
Однообразный шумъ и трепеть парусовъ,
И кормчаго на палубѣ зыванье
Ко стражѣ, дремлющей подъ говоромъ валовъ,—
Все сладкую задумчивость питало.
Какъ очарованный, у мачты я стоялъ,
И сквозъ туманъ и ночи покрывало
Свѣтила сѣвера любезнаго искалъ.

Повторимъ уже сказанное нами разъ: послѣ такихъ стиховъ нашей поэзіи надобно было или остановиться на одномъ мѣстѣ, или, развиваясь далѣе, выражаться въ Пушкинскихъ стихахъ; такъ естественъ переходъ отъ стиха Батюшкова къ стиху Пушкина. Но окончаніе элегіи «Тѣнь Друга» не соотвѣтствуетъ началу: отъ стиха—

И вдругъ... то былъ ли сонъ? предсталъ товарищъ мнѣ,
начинается громкая декламация, гдѣ не замѣтно ни одного истиннаго, свѣжаго чувства и ничто не потрясаетъ сердца внезапно охлажденнаго и постепенно утомляемаго читателя, особенно, если онъ читаетъ эту элегію вслухъ.

Этимъ же недостаткомъ невыдержанности отличается и знаменитая его элегія «Умирающій Тассъ». Начало ея, отъ стиха: «Какое торжество готовить древній Римъ?» до стиха: «Тебѣ сей даръ... пѣвецъ Ерусалима!» превосходно; слѣдующіе затѣмъ двѣнадцать стиховъ тоже прекрасны; но отъ стиха: «Друзья, о! дайте мнѣ взглянуть на пышный Римъ» начинается риторика и декламация, хотя мѣстами и съ про-

словъ, считая его особенно приличнымъ для такъ называемаго «высокаго слога».

блесками глубокаго чувства и истинной поэзии. Чудесны эти стихи:

И ты, о вѣчный Тибръ, поитель всѣхъ племень,
Засѣянный *) костями гражданъ вселенной
Вась, вась привѣтствуетъ изъ сихъ унылыхъ мѣсть
Безвременной кончивъ обреченный!
Свершилось! Я стою надъ бездной роковой
И не вступаю при плескахъ въ Капитолій;
И лавры славные надъ дряхлой головой
Не усладятъ пѣвца свирѣпой доли.

Но что такое, если не пустое разглагольствіе, не надутая риторика и не трескучая декламация — вотъ эти стихи?—

Увы! съ тѣхъ поръ добыча злой судьбины,
Всѣ горести узнавъ, всю бѣдность бытія,
Фортуною изрытыя пучины
Разверзлись подо мной и крокъ не умолкаль!
Изъ веси въ весь, изъ странъ (?) въ страну гонимый,
Я тщетно на землѣ пристанища искалъ:
Повсюду персть ея неотразимый!
Повсюду молніи карающей (?) пѣвца!

Такая же риторическая шумиха и отъ стиха: «Друзья, но что мою стѣсняетъ страшно грудь?» до стиха: «Рукою музъ и славы соплетенный». Слѣдующіе затѣмъ шестнадцать стиховъ очень не дурны, а отъ стиха: «Смотрите! онъ сказалъ рыдающимъ друзьямъ» до стиха: «Средь ангеловъ Елеонора встрѣтить» опять звучная и пустая декламация. Заключение превосходно, подобно началу:

И съ именемъ любви божественной погасъ;
Друзья надъ нимъ въ безмолвіи рыдали,
День тихо догоралъ... и колокола гласъ
Разнесъ кругомъ по стогнамъ вѣсть печали.

*) Эпитетъ „засѣянный костями“ не точенъ въ отношеніи къ Тибру: это можно было сказать только о холмахъ, на которыхъ построена Римъ, или о землѣ Италія вообще.

„Погибъ Торквато нашъ!“ воскликнулъ съ плачемъ Римъ,
„Погибъ пѣвецъ, достойный лучшей доли!“...
На утро факеловъ узрѣли мрачный дымъ
И трауромъ покрылся Капитолій.

Въ отношеніи къ выдержанности, какая разница между
«Умиравшимъ Тассомъ» Батюшкова и «Андреемъ Шенье»
Пушкина, хотя обѣ эти элегіи въ одномъ родѣ!

Послѣ Жуковского Батюшковъ первый заговорилъ о разочарованіи, о несбывшихся надеждахъ, о печальномъ опытѣ, о потухающемъ пламенигѣ своего таланта...

- Я чувствую.—мой даръ въ поэзіи погасъ,
• И муза пламенигѣ небесный потушила;
Печальна опытность открыла
Пустыню новую для глазъ;
Туда влечетъ меня осиротѣлый геній.
Въ поля бесплодныхъ, въ непроходимыя сѣни,
Гдѣ счастья нѣтъ слѣдовъ,
Ни тайныхъ радостей неизъяснимыхъ сновъ,
Любимцамъ фебовымъ отъ юности извѣстныхъ,
Ни дружбы, ни любви, ни пѣсней музъ прелестныхъ,
Которыя всегда душевну скорбь мою,
Какъ лотосъ, силою волшебной врачевали.
Нѣтъ, нѣтъ! себя не узнаю
Подъ новымъ бременемъ печали.

Что Жуковскій сдѣлалъ для содержанія русской поэзіи, то Батюшковъ сдѣлалъ для ея формы: первый вдохнулъ въ нее душу живу, второй далъ ей красоту идеальной формы. Жуковскій сдѣлалъ несравненно больше для своей сферы, чѣмъ Батюшковъ для своей,—это правда; но не должно забывать, что Жуковскій, раньше Батюшкова начавъ дѣйствовать, и теперь еще не сошелъ съ поприща поэтической дѣятельности, а Батюшковъ умолкъ навсегда съ 1819 года, тридцати-двухъ лѣтъ отъ роду... Заслуги Жуковского и теперь передъ глазами всѣхъ и cadaго; имя его громко и славно и для новѣйшихъ поколѣній; о Батюшковѣ большинство знаетъ теперь

по наслышкѣ и по воспоминанію; но если немногія прекрасныя стихотворенія его уже не читаются и не перечитываются теперь, то имени учителя Пушкина въ поэзіи достаточно для его славы; а если въ двухъ томахъ его сочиненій еще нѣтъ его безсмертія,—оно тѣмъ не менѣе сіяетъ въ исторіи русской поэзіи...

Замѣчательнѣйшими стихотвореніями Батюшкова считаемъ мы слѣдующія: «Умирающій Тассъ», «На развалинахъ замка въ Швеціи», три «Элегіи изъ Тибулла», «Воспоминанія» (отрывокъ), «Выздоровленіе», «Мой Геній», «Тѣнь друга», «Веселый Часъ», «Пробужденіе», «Таврида», «Послѣдняя Весна», «Къ Г—чу», «Источникъ», «Есть наслажденіе и въ дикости лѣсовъ», «О, пока безцѣнна младость», «Гезіодъ и Омиръ—соперники», «Къ Другу», «Мечта», «Бесѣда Музъ», «Карамзину», «Мои Пенаты», «Отвѣтъ Г—чу», «Къ П—ну», «Посланіе И. М. М. А.», «Къ Н. Н.», «Пѣснь Гаральда Смѣлаго», «Вакханка», «Ложный страхъ», «Радость» (подражаніе Касті), «Къ Н.», «Подражаніе Аріосту», «Изъ Антологіи» двѣнадцать пьесъ изъ греческой антологіи. Мы означили здѣсь всѣ пьесы, по чему-либо и сколько-нибудь замѣчательныя и характеризующія поэзію Батюшкова, но не упомянули о двухъ, которыя въ свое время производили, какъ говорится, фуроръ,—это: «Плянный» (Въ мѣстахъ, гдѣ Рона протекаетъ) и «Разлука» (Гусаръ на саблю опираясь). Обѣ онѣ теперь какъ-то странно опошлелись, особенно послѣдняя—безъ улыбки нельзя читать ихъ. И между тѣмъ, обѣ онѣ написаны хорошими стихами, какъ бы для того, чтобъ служить доказательствомъ, что не можетъ быть прекрасна форма, которой содержаніе пошло, не могутъ долго нравиться стихи, которыхъ чувства ложны и приторны. Прекрасными стихами также написана моральная пьеса «Счастливецъ» (подражаніе Касті); но мораль сгубила въ ней поэзію. Сверхъ того, въ ней есть куплетъ, который разсмѣшилъ даже современниковъ этой пьесы, столь снисходительныхъ въ дѣлѣ поэзіи:

Сердце наше кладеть *мрачной*:
Тагъ покоенъ сверху видъ;
Но пустить ко дну... *ужасно!*
Крокодилъ на немъ лежитъ!

Какъ прозаикъ, Батюшковъ занимаетъ въ русской литературѣ одно мѣсто съ Жуковскимъ. Это превосходнѣйшій стилистъ. Лучшія его прозаическія статьи, по нашему мнѣнію, слѣдующія: «О характеръ Ломоносова», «Вечеръ у Кантемира», «Нѣчто о Поэтѣ и Поэзіи», «Прогулка въ Академію Художествъ», «Путешествіе въ Замокъ Сирей». Также очень интересны всѣ его статьи, названныя, во второмъ изданіи, общимъ именемъ «Писемъ» и «Отрывковъ»: онѣ знакомятъ съ личностію Батюшкова, какъ человѣка. Статья «Двѣ Аллегоріи» характеризуетъ время, въ которое она написана: авторъ начинаетъ ее признаніемъ, что всѣ аллегоріи вообще холодны, но что его аллегоріи говорятъ разсудку, а потому и хороши. Онъ забылъ, что всѣ аллегоріи потому-то и нелѣпы и холодны, что говорятъ одному разсудку, претендуя говорить сердцу и фантазіи... «Отрывокъ изъ писемъ русскаго офицера о Финляндіи» показываетъ, что фантазія Батюшкова была поражена двумя крайностями—югомъ и сѣверомъ, свѣтлою, роскошною Италіею и мрачною, однообразною Скандинавіею. Эта статья написана какъ-будто бы въ соотвѣтствіе съ элегіею «На развалинахъ Замка въ Швеціи». Языкъ и слогъ этой статьи слыли за образцовые, и вообще она считалась лучшимъ произведеніемъ Батюшкова въ прозѣ. А между тѣмъ, она есть ни чтѣ иное, какъ переводъ изъ «*Harmonies de la Nature*» Ласепада; отрывокъ, переведенный Батюшковымъ, можно найти въ любой французской хрестоматіи, подъ названіемъ: *Les forêts et les habitans des régions glaciales*. Сказанное Ласепедомъ о Сѣверной Америкѣ Батюшковъ храбро приложилъ къ Финляндіи — и дѣло съ концемъ. Удивляться этому нечего: въ тѣ блаженныя времена подобныя заимство-

ванія считались завоеваніями; ихъ не стыдились, но ими хвалились... Въ статьяхъ своихъ: «Прогулка въ Академію Художествъ» и «Двѣ Аллегоріи» Батюшковъ является страстнымъ любителемъ искусства, человѣкомъ, одареннымъ истинно артистическою душою.

Имя Батюшкова невольно напоминаетъ намъ другое любезное русскимъ музамъ имя, имя друга его—Гнѣдича, талантъ и заслуги котораго столько же важны и знамениты, сколько—увы! и не оцѣнены доселѣ. Не беремся за трудъ, можетъ быть, превосходящій наши силы; но посвятимъ нѣсколько словъ памяти человѣка даровитаго и незабвеннаго. Съ именемъ Гнѣдича соединяется мысль объ одномъ изъ тѣхъ великихъ подвиговъ, которые составляютъ вѣчное пріобрѣтеніе и вѣчную славу литературъ. Переводъ «Иліады» Гомера на русскій языкъ есть заслуга, для которой нѣтъ достойной награды. Знаемъ, что наши похвалы покажутся многимъ преувеличенными; но «многіе» много ли понимаютъ и умѣютъ ли вникать, углубляться и изучать? Невѣжество и легкомысліе поспѣшны на приговоры, и для нихъ все то мало и ничтожно, чего не разумѣютъ они. А чтобъ быть въ состояніи оцѣнить подвигъ Гнѣдича, потребно много и много разумѣнія. Чтобъ быть въ состояніи оцѣнить переводъ «Иліады», прежде всего надо быть въ состояніи понять «Иліаду», какъ художественное произведеніе, — а это не такъ-то легко. Теперь уже и Шекспиръ требуетъ комментаріевъ, какъ поэтъ чуждой намъ эпохи и чуждыхъ намъ нравовъ, — тѣмъ болѣе Гомеръ, отдѣленный отъ насъ тремя тысячами лѣтъ. Міръ древности, міръ греческій недоступенъ намъ непосредственно, безъ изученія. «Иліада» есть картина не только греческой, но и религіозной Греціи; а у насъ, на русскомъ языкѣ, нѣтъ не только порядочной, но и сколько-нибудь сносной греческой мифологіи, безъ которой чтеніе «Иліады» непонятно. Сверхъ того, нѣкоторые ученые люди, знающіе много фактовъ, но чуждые идеи и лишеныя эстетическаго чувства, за какое-то удовольствіе

считаютъ распространять нелѣпныя понятія о поэмѣхъ божественнаго Омира, перевода ихъ съ подлинника слогомъ русской сказки объ Емельѣ-Дурачкѣ. Съ подлинника — говорятъ они гордо! Дѣйствительно, для разумнѣя «Иліады» знаніе греческаго языка—великое дѣло; но оно не дастъ человѣку ни ума, ни эстетическаго чувства, если въ нихъ отказала ему природа. Тредьяковскій зналъ много языковъ, но отъ того не былъ ни умнѣе, ни разборчивѣе въ дѣлѣ изящнаго; а Шекспиръ, не зная по-гречески, написалъ поэму «Венера и Адонисъ». Такого рода ученые, увѣряющіе, что Греки раскрашивали статуи боговъ (что дѣйствительно дѣлали древніе—только не Греки, а жители Помпеи, не задолго передъ Р. Х., когда вкусъ къ изящному былъ во всеобщемъ упадкѣ),—такого рода ученые, знающіе по-гречески и по-латыни, напоминаютъ собою переведенную съ нѣмецкаго Жуковскимъ сказку: «Кабудъ-Путешественникъ» («Переводы въ прозѣ В. Жуковскаго» ч. III, стр. 92). Вотъ эти и подобныя имъ господа изволятъ увѣрять, что Гнѣдичъ перевелъ «Иліаду» напыщенно, надутю, изысканно, тяжелымъ языкомъ, смѣсью русскаго съ славянщиною. А другіе и рады такимъ сужденіямъ; не смѣя напасть на тысячелѣтнее имя Гомера, они восторгались «Иліадою» вслухъ, зѣвая отъ нея про себя: и вотъ имъ даютъ возможность свалить свое невѣжество, свою ограниченность и свое безвкусіе на дурной будто-бы переводъ. Нѣтъ, что ни говори эти господа, а Русскіе владѣютъ едва ли не лучшимъ въ мірѣ переводомъ «Иліады». Этотъ переводъ, рано или поздно, сдѣлается книгою классическою и настольною и станетъ краеугольнымъ камнемъ эстетическаго воспитанія. Не понимая древняго искусства, нельзя глубоко и вполнѣ понимать вообще искусство. Переводъ Гнѣдича имѣетъ свои недостатки: стихъ его не всегда легокъ, не всегда исполненъ гармоніи, выраженіе не всегда кратко и сильно; но всѣ эти недостатки вполнѣ выкупаются вѣяніемъ живаго элинскаго духа, разлитаго въ гекзаметрахъ Гнѣдича.

Слѣдующее двустипіе Пушкина на переводъ «Иліады» — не пустой комплиментъ, но глубоко-поэтическая и глубоко-истинная передача производимаго этимъ переводомъ впечатлѣнія:

Слышу умолинувшій звукъ божественной элинской рѣчи;
Старца великаго тѣнь чую смущенной душой.

Глубоко-артистическая натура Пушкина умѣла сочувствовать древнему міру и понимать его: это доказывается многими его произведеніями на древній ладъ; стало-быть, авторитетъ Пушкина, въ дѣлѣ суда надъ переводомъ Гнѣдича, не можетъ не имѣть вѣса и значенія, — и Пушкинъ высоко цѣнилъ переводъ Гнѣдича. Вотъ еще стихотвореніе Пушкина, свидѣтельствующее о его уваженіи къ труду и имени переводчика «Иліады»:

Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ;
Тебя мы долго ожидали;
И свѣтель ты сошелъ съ таинственныхъ вершинъ,
И вынесъ намъ свои скривалы.
И что-жь? ты насъ обрѣлъ въ пустынь подъ шатромъ,
Въ безумствѣ суетнаго шира,
Поющихъ буйну пѣснь и скачущихъ кругомъ
Отъ насъ созданнаго кумира.
Смутились мы, твоихъ чуждаясь лучей.
Въ порывѣ гнѣва и печали.
Ты проклялъ насъ, безмысленныхъ дѣтей.
Разбилъ листы своей скривалы.
Нѣтъ! ты не проклялъ насъ. Ты любишь съ высоты
Скрываться въ тѣнь долины малой;
Ты любишь громъ небесъ, и также вземлешь ты
Журчанью пчель надъ розой алой.

Нѣтъ, не настало еще время для славы Гнѣдича; оцѣнка подвига его еще впереди: ее приведетъ распространяющееся просвѣщеніе, плодъ основательнаго ученія...

Гнѣдичъ какъ-бы считалъ себя призваннымъ на переводъ

Гомера, мы увѣрены, что только время не позволило ему перевести и «Одиссею». Гомеръ былъ его любимѣйшимъ пѣвцомъ, и Гнѣдичъ силился создать апоѳеозу своему герою въ поэмѣ «Рожденіе Гомера». Поэма эта написана въ древнемъ духѣ, очень хорошими стихами, но длинна и растянута: совсѣмъ не кстати приплетены къ ней судьбы Гомера въ новомъ мірѣ. — Переводъ идилліи Теоокрита «Сиракузянки, или праздника Адониса», съ присовокупленнымъ къ нему, въ видѣ предисловія, разсужденіемъ объ идилліи, есть двойная заслуга Гнѣдича: переводъ превосходенъ, а разсужденіе глупокомысленно и истинно. Но кто оцѣнитъ этотъ подвигъ, кто пойметъ глубокой смыслъ и художественное достоинство идилліи Теоокрита, не имѣя понятія о значеніи, какое имѣлъ для древнихъ Адонисъ, и о праздникахъ въ честь его?... «Рыбаки», оригинальная идиллія Гнѣдича, есть мастерское произведеніе, но оно лишено истины въ основаніи: изъ подъ рубища петербургскихъ рыбаковъ виднѣются складки греческаго хитона, и русскими словами, русскою рѣчью прикрыты понятія и созерцанія чисто - древнія... При всемъ этомъ, въ «Рыбакахъ» Гнѣдича столько поэзіи, жизни, прелести, такая роскошь красокъ, такая наивность выраженія! Замѣчательно, что эта идиллія написана въ 1821 году, а въ 1820 году были уже изданы идилліи г. Панаева! Не знаемъ, въ которомъ году переведена Гнѣдичемъ идиллія Теоокрита и написано предисловіе къ ней: если въ одно время съ появленіемъ идиллій г. Панаева, то поневолѣ подивисься противорѣчіямъ, изъ которыхъ состоитъ русская литература...

Кромѣ «Рыбаковъ», у Гнѣдича мало оригинальныхъ произведеній; нѣкоторыя изъ нихъ не безъ достоинствъ, но нѣтъ превосходныхъ, и всѣ они доказываютъ, что онъ владелъ несравненно бѣльшими силами быть переводчикомъ, чѣмъ оригинальнымъ поэтомъ. Замѣчательно, что стихъ Гнѣдича часто бывалъ хорошъ не по времени. Слѣдующее стихотвореніе «Къ К. Н. Батюшкову», написанное въ 1807 г.,

вдвойнѣ интересно: и какъ образецъ стиха Гнѣдича, и какъ фактъ его отношеній къ Батюшкову:

Когда придешь въ мою ты хату,
Гдѣ бѣдность въ простотѣ живетъ?
Когда поклонишься пенату,
Который дни мои блюдетъ?
Приди, раздѣлимъ спѣвь убогу,
Сердца виномъ воспламенимъ,
И вмѣствъ — пѣснопѣнья богу
Часы досуга посвятимъ,
А вечеръ, скучный долгою,
Въ веселыхъ сократимъ мечтахъ;
Надъ всей подлунной стороною
Мечты прочимся на крылахъ.
Туда, туда въ тотъ край счастливый,
Въ тѣ земли солнца полетимъ,
Гдѣ Рима прахъ краспорѣчивый
Иль градъ святой Ерусалимъ.
Узримъ средь дикой Палестины
За божій гробъ святую рать,
Гдѣ цвѣтъ Европы, паладины
Летѣли въ битвахъ умирать.
Пѣвецъ ихъ Тассъ, тебѣ любезный,
Съ кѣмъ твой давно сроднился духъ,
Сладкорѣчивый, гордый, вѣжнѣй,
Нашъ очаруетъ взоръ и слухъ.
Иль мой пѣвецъ — царь пѣснопѣвнѣй,
Не умирающій Омиръ,
Среди безчисленныхъ видѣннѣй
Откроетъ намъ весь древннѣй миръ.
О, пѣснь волшебная Омира
Нашъ въ мигъ перенесетъ, пѣвцовъ,
Въ край героическаго міра
И поэтическихъ боговъ.
Зевеса, мечущаго грома,
И всѣхъ бессмертныхъ вокругъ отца,
Пары ихъ свѣтлыя, и дома
Увидимъ въ пѣсняхъ ны слѣща.
Иль посѣтимъ Морвенъ Фингаловъ,

Ту Сельму, домъ его отцовъ,
Гдѣ на пирахъ сто арфъ звучало,
И пламенъло сто дубовъ;
Но гдѣ давно лишь вѣтеръ ночи
Съ пустынной шепчется травой,
И только звѣздъ безмертныхъ очи
Тамъ свѣтятъ съ блѣдною луной.
Тамъ Оссіанъ теперь мечтаетъ.
О битвахъ, о дѣлахъ былыхъ;
И лирой—тѣни вызываетъ
Могучихъ праотцовъ своихъ.
И вотъ Тренморъ, отецъ героевъ.
Чертогъ воздушный растворивъ,
Летитъ на тучахъ, съ сонмомъ воевъ,
Къ пѣвцу и вѣоръ и слухъ склонивъ.
За нимъ тѣнь легкая Мальвины.
Съ златою арфою въ рукахъ,
Обнявшись съ тѣнію Майны,
Плывутъ на легкихъ облакахъ.
Но, вдругъ, возможно ли словамъ
Пересказать, иль описать,
О чемъ случается съ друзьями
Подъ часъ веселый помечтать?
Счастливъ, счастливъ еще несчастный,
Съ которымъ хоть мечта живеть;
Въ дняхъ сумрачныхъ, день сердцу ясный
Онъ хоть въ мечтаніяхъ найдетъ.
Жизнь наша есть мечтанье тѣни;
Нѣтъ сущихъ благъ въ земныхъ странахъ.
Приди-жь, подь кровомъ дружной сѣни
Повселиться хоть въ мечтахъ.

Въ то время такіе стихи были довольно рѣдки, хотя Жуковскій и Батюшковъ писали несравненно лучшими. «На Гробъ Матери» (1805), «Скоротечность Юности» (1806), «Дружба» замѣчательны, какъ и приведенная выше пѣса Гнѣдича. Знаменито въ свое время было стихотвореніе его «Перуанецъ къ Испанцу» (1805): теперь, когда отъ поэзіи требуется прежде всего вѣрность дѣйствительности и естественности, теперь оно отзывается риторикою и декламаціею

на манеръ блѣдной Мельпомены XVIII вѣка; но нѣкоторые стихи въ немъ замѣчательны энергією чувства и выраженія, не смотря на прозаичность.

Гнѣдичъ перевелъ изъ Байрона (1824) еврейскую мелодію, переведенную впоследствии Лермонтовымъ («Душа моя мрачна, какъ мой вѣнецъ»); переводъ Гнѣдича слабъ: видно, что онъ не понялъ подлинника. Гнѣдичъ принадлежитъ, по своему образованію, къ старому до-Пушкинскому поколѣнію нашихъ писателей. Оттого всѣ оригинальныя пьесы его длинны и растянуты, а многія прозаичны до послѣдней степени, какъ, напримѣръ, «Къ И. А. Крылову» (стр. 215). Оттого же онъ перевелъ прозою Дюсисовскаго «Леара» или передѣлалъ Шекспировскаго «Лира» — не помнимъ хорошенько; оттого же онъ перевелъ стихами Вольтеровскаго «Танкреда». Но переводъ его «Простонародныхъ пѣсень нынѣшнихъ Грековъ», изданный въ 1825 году, есть еще прекрасная заслуга русской литературѣ. Жаль, что нѣтъ полного изданія сочиненій Гнѣдича. Сдѣланное имъ самимъ въ 1834 году очень не полно: въ немъ нѣтъ «Леара», нѣтъ «Илиады», нѣтъ введенія къ простонароднымъ пѣснямъ нынѣшнихъ Грековъ и сравненія ихъ съ русскими пѣснями; нѣтъ статьи его о древнемъ стихосложеніи, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы»; нѣтъ переведенныхъ шести-стопнымъ ямбомъ 7, 8, 9, 10 и 11-й пѣсень «Илиады»; нѣтъ «Разсужденія о причинахъ, замедляющихъ просвѣщеніе въ Россіи». Такой писатель, какъ Гнѣдичъ, стоилъ бы изданія полного собранія литературныхъ трудовъ его.

Къ знаменитѣйшимъ дѣятелямъ литературы Карамзинскаго періода принадлежитъ Мерзляковъ. Онъ извѣстенъ, какъ поэтъ (оды), какъ переводчикъ (переводы изъ древнихъ, стихами), какъ пѣсенникъ (русскія пѣсни) и какъ теоретикъ словесности и критикъ. Оды его — образецъ надутости, прозаичности выраженія, длинноты и скуки. Переводы его изъ древнихъ заслуживаютъ вниманія. Мерзляковъ не перевелъ

ничего большого вполне, но изъ большихъ произведений только отрывки, какъ-то изъ «Илиады», «Одиссеи», изъ трагиковъ—Эсхила, Софокла и Еврипида. Всѣ эти опыты, конечно, не бесполезны; но они не даютъ понятія о своихъ оригиналахъ. Мерзляковъ не владѣлъ стихомъ: языкъ его жестокъ и прозаиченъ. Сверхъ того, на древнихъ онъ смотрѣлъ сквозь очки французскихъ критиковъ и теоретиковъ, отъ Буало до Лагарпа, и потому видѣлъ ихъ не въ настоящемъ ихъ свѣтѣ, хотя и читалъ ихъ въ подлинникѣ. Къ первой части изданныхъ имъ, въ 1825 году, въ двухъ частяхъ, «Подражаній и переводовъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ» приложено разсужденіе «О началѣ и духѣ древней трагедіи и о характерахъ трехъ греческихъ трагиковъ»; изъ этого разсужденія очень ясно видно, какъ мало понималъ Мерзляковъ начало и духъ древней трагедіи и характеръ трехъ греческихъ трагиковъ...

О жертвы общаго отчизны заключенья,
Въ дни славы вѣрныя и вѣрны въ дни пльненья,
Подруги юныя, не отрекитесь вы,
Еще подпорой быть сей рабственной главы,
Которая досель гордилася вѣнцами:
Царицы болѣ нѣтъ;—невольница предъ вами!]
Но я, какъ прежде, вамъ и нынѣ мать и другъ!...
И бѣдствія мои, и старости недугъ,
Единый жребій нашъ: вотъ право для злосчастныхъ
На помощь и любовь душъ злобѣ непричастныхъ!
Прострите руки мнѣ, приподнимите... Ахъ!
Нѣтъ силъ, болѣзнь и хладъ во всѣхъ моихъ костяхъ!—
Вѣщайте, что совѣтъ вождей опредѣляетъ:
Куда насъ грозный судъ судьбины посылаетъ?
Куда еще влечить срамъ, скорбь свою и пльнѣ?
Иль островъ сей для насъ могилой обреченъ?

Кто бы—думали вы—говорить такими дебелыми, жесткими и безтолковыми стихами?—Гекуба, въ трагедіи Эврипида!... Хорошій же былъ поэтъ этотъ Эврипидъ, если онъ по-гречески такъ же выражался, какъ заставляетъ его выразиться

по-русски переводчикъ!... Впрочемъ, нѣкоторые переводы изъ древнихъ Мерзлякова не безъ достоинства. Онъ перевелъ вполне «Освобожденный Иерусалимъ» Тасса, и перевелъ его привилегированнымъ встарину раздѣломъ для эпическихкихъ поэмъ—шестистопнымъ ямбомъ. Переводъ этотъ тяжелъ и дубоватъ, безъ всякихъ достоинствъ. Причина этому опять двоякая: Мерзляковъ не владѣлъ стихомъ и на эпическія поэмы смотрѣлъ съ Херасковской точки зрѣнія, какъ на чтѣ-то натянuto - высокое, надuto - великолѣнное и дубовато-тяжелое. Насмѣшники увѣряютъ, будто въ его переводѣ «Освобожденнаго Иерусалима» есть стихи:

Вскипѣлъ Бульонъ, течеть во храмъ.

Не ручаемся за достовѣрность такого указанія: мы не имѣли силы одолѣть чтеніемъ весь переводъ...

Въ русскихъ пѣсняхъ Мерзлякова больше чувствительности, чѣмъ чувства. Лучшія изъ нихъ написаны имъ уже послѣ двадцатыхъ годовъ текущаго столѣтія. Вообще онъ не безъ достоинствъ и выше пѣсень Дельвига, хотя и далеко ниже пѣсень Кольцова.

Какъ эстетикъ и критикъ, Мерзляковъ заслуживаетъ особенное вниманіе и уваженіе. Ученикъ Буало, Баттѣ и Лагарпа, онъ слѣдовалъ теоріи, которая теперь уже виѣ спора и даже насмѣшекъ; но онъ слѣдовалъ ей и проповѣдывалъ ее, какъ умный и краснорѣчивый человекъ. Ложны были его основанія, но онъ былъ имъ вездѣ вѣренъ и развивалъ ихъ послѣдовательно и живо. Словомъ, въ этомъ отношеніи на Мерзлякова можно смотрѣть, какъ на умнаго представителя литературныхъ понятій цѣлой эпохи. Въ ошибкахъ его виновато его время; достоинства его принадлежать ему самому. Вотъ почему его теоретическія и критическія статьи и теперь пріятно читать, хоть и нисколько не соглашаешься съ ними. Въ 1812 году Мерзляковъ читалъ публично въ Москвѣ теорію изящнаго, въ домѣ князя Б. В. Голицына. Чтенія эти

были напечатаны въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 года. Не знаемъ, были ли возобновлены когда эти чтенія, но въ издававшемся имъ, въ 1815 году, журналѣ «Амфіонъ» напечатано только чтеніе, въ которомъ онъ опредѣляетъ изящное, понимая его такъ: «При надлежащей стройности, правильности и точности подражанія, занимательность предмета, основанная на отношеніи его къ намъ самимъ».

Первыми нашими критиками были Карамзинъ и Макаровъ. Особенно славилась въ свое время—разборъ Карамзина «Душеньки» Богдановича, а Макарова—сочиненій Дмитріева. Критика эта состояла въ восхищеніи отдѣльными мѣстами и въ порицаніи отдѣльныхъ же мѣстъ, и то больше въ стилистическомъ отношеніи. Обыкновенно восхищались удачнымъ стихомъ, удачнымъ звукоподражаніемъ, и порицали какофонію, или грамматическія неправильности. Не такова уже критика Мерзлякова. Ложная въ основаніяхъ, она уже толкуетъ объ идеѣ, о цѣломъ, о характерахъ; она строга, сколько можетъ быть строгою. Для критики Мерзлякова писатели русскіе уже не всѣ равно велики, но одинъ выше, другой ниже и всѣ не безъ недостатковъ. Она благоговѣетъ передъ Сумароковымъ, и тѣмъ съ неменьшею суровостью выставляетъ его недостатки. Она видитъ въ Херасковѣ знаменитаго поэта, и отъ нея плохо пришлось его «Россіядѣ». Огромный разборъ «Россіяды», написанный Мерзляковымъ, возбудилъ общій ропотъ, хотя этотъ разборъ написанъ не только съ уваженіемъ, но и съ любовью къ Хераскову. Критика Мерзлякова была смѣла не по времени и притомъ нерѣшительна, а потому однихъ оскорбила, другихъ ужаснула, третьихъ не удовлетворила и немногимъ понравилась. Во всякомъ случаѣ, эта критика принадлежитъ къ любопытнѣйшимъ фактамъ исторіи русской литературы. Она напечатана въ цѣлыхъ семи книжкахъ «Амфіона».

Но еще любопытнѣйшій фактъ исторіи русской литературы представляетъ собою журналъ, издававшійся въ 1815 году, мо-

людямъ человѣкомъ, студентомъ Московскаго университета— Павломъ Строевымъ. Журналъ этотъ назывался «Современный Наблюдатель Россійской Словесности» и заключалъ въ себѣ статьи преимущественно критическаго содержанія. Изъ такихъ статей, самую умную, живую, юношески смѣлою и благородною, самую интересною была— «О Россiадѣ», поэмѣ г. Хераскова (Письмо къ дѣвицѣ Д.). Не можемъ не выпи- сать здѣсь начала перваго письма:

„Что скажете теперь поборники славы Хераскова — пишете вы, милостивая государыня,—г. Мерзляковъ покажетъ истинныя достоин- ства его поэмы“. Эти слова сильны въ устахъ вашихъ. Хотя я не ищю славы быть поборникомъ Хераскова: однакожь мнѣнiе мое объ его поэмѣ, мнѣ кажется, не совсемъ несправедливо. Охотно бы же- лалъ согласиться съ вами; но нѣкоторыя обстоятельства увѣряютъ меня въ противномъ. Я говорю не съ тѣми изъ вашего пола, кои, выслушавъ лекцію какого-нибудь профессора, все похваляютъ, все превозносятъ. Вы, милостивая государыня, сами занимаетесь Слове- сностию; вы читали древнихъ и новыхъ писателей; имѣете отлич- ный вкусъ и рѣдкiя познанiя. Какiя прiятныя воспоминанiя произ- водятъ во мнѣ тѣ зимнiе вечера, когда мы предъ пылающимъ ка- миномъ разсуждали о русскихъ сочиненiяхъ. Споры ваши бывали иногда жарки, я съ вами не соглашался, представлялъ доказытель- ства, и вы, съ нѣжною улыбкою, называли меня Катономъ въ Сло- весности. Кто подумаетъ, чтобы дѣвушка въ цвѣтущихъ лѣтахъ своего возраста и въ наше время занималась Словесностию; чтобы дѣвушка, говорю я, знала языкъ Гомеровъ и Виргилiевъ. Я вижу румянецъ стыдливости на щекѣхъ вашихъ, но похвалы мои не ле- стны; онѣ неволью вырываются изъ устъ моихъ. Въ какой вос- торгъ приведенъ я былъ вашимъ желанiемъ возобновить наши суж- денiя — но увы! они останутся только на бумагѣ; ничто не можетъ замѣнить вашего присутствiя. Разговоры въ писемѣхъ будутъ сухи: сладостное краснорѣчiе дѣвушки, прiятная улыбка лучше всякихъ логическихъ доказательствъ.

Нѣтъ сомнѣнiя, что г. Мерзляковъ предпринялъ полезный трудъ, разобравъ Россиду; жаль только, что она не можетъ стоять на ряду съ произведенiями, обезсмертившими имена своихъ сочинителей. Я думаю, даже немногiе имѣли терпѣнiе прочитать ее. Отчего же ее такъ хвалятъ? Оттого, что вкусъ публики у насъ еще не уста-

новился. Давно прославляетъ *Нового Стерна*—десять человекъ, не читавшихъ даже сей комедіи, съ нимъ соглашаются; Клитъ называетъ его сочиненіемъ глупымъ — и сотни готовы повторить его ругательства. Безспорно Сумароковъ былъ единственнымъ стихотворцемъ своего времени; но кто станетъ нынѣ восхищаться его сочиненіями? Между тѣмъ Сумарокова считаютъ стихотворцемъ образцовымъ, достойнымъ нашего подражанія. Закоренѣлыя мнѣнія опровергать трудно; это то же, что силиться вырвать огромный дубъ, въ продолженіи цѣлыхъ вѣковъ пускавшій въ нѣдра земли свои корни. Конечно сіи мнѣнія ослабѣютъ и совершенно лишатся своего достоинства, но это требуетъ времени. Между тѣмъ истинныя дарованія остаются иногда въ неизвѣстности. Тысячи рукоплещаютъ при представленіи *Недоросля*; но многіе ли понимаютъ истинныя достоинства сей комедіи? Многіе-ли знаютъ, что она достойна стоять на ряду съ *Мизантропами* и *Тартюфами*? Не стыдно ли даже намъ, что мы не имѣемъ полного собранія сочиненій г. Фонъ-Визина, сего безсмертнаго писателя, коимъ по всей справедливости мы можемъ гордиться. То, что я сказалъ о Сумароковѣ, можно отнести къ Хераскову и къ нѣкоторымъ другимъ стихотворцамъ. Они приобрѣли похвалы отъ своихъ современниковъ, коихъ вкусъ былъ еще необразованъ. Сія похвала безпрестанно повторялась, и стихотворцы приобрѣли великую славу^а.

Г. Павелъ Строевъ доказалъ ясно и неопровержимо, что «Россіяда» и по содержанію, и по формѣ—сущій вздоръ; что историческое событіе въ ней искажено, характеры перевернаны, чудесное нелѣпо, поэтическія краски сухи и холодны, выраженіе дико. Въ заключеніе, онъ находитъ во всей «Россіадѣ» только десять сряду хорошихъ стиховъ.

Какимъ превратностямъ подверженъ здѣшній свѣтъ!
 Въ немъ блага твердаго, въ немъ вѣрной славы нѣтъ:
 Великіе моря, лѣса, и грады скрылись,
 И царства многія въ пустыни претворились;
 Гремѣлъ побѣдами, владѣлъ вселенной Римъ.
 Но слава римская исчезла яко дымъ,
 И небо никому блаженства не вручало,
 Котораго-бъ лучей ничто не помрачало.
 Не можетъ счастья не жеркнуть красота;
 И въ солнцѣ и въ лунѣ есть темныя мѣста.

И это действительно лучше и единственно хорошие стихи во всей «Россiадѣ». Какой страшный урокъ былъ преподавъ этимъ юношею разнымъ ученымъ колпакамъ!...

При именахъ Жуковского и Батюшкова нельзя не вспомнить имени князя Вяземскаго. Онъ дѣйствовалъ какъ поэтъ и какъ критикъ, и въ обоихъ случаяхъ дѣятельность его всегда вызывалась какимъ - нибудь обстоятельствомъ. Всѣ стихотворенiя его-то, что Французы называютъ *pièces de circonstance*. Общiй характеръ ихъ — свѣтскiй, салонный; но между ними нѣкоторыя показываютъ въ поэтѣ живаго свѣдѣтеля вечера жизни Державина, воспитанника Карамзина, друга Жуковского и Батюшкова. Какъ авторъ двухъ статей критическаго содержанiя — «О характерѣ Державина» и «О жизни и сочиненiяхъ Озерова», князь Вяземскiй болѣе замѣчательнъ, нежели какъ поэтъ. Въ этихъ статьяхъ онъ является критикомъ въ духѣ своего времени, но безъ всякаго педантизма, судить свободно, не какъ ученый, а какъ простой члѣовѣкъ съ умомъ, вкусомъ и образованiемъ, и излагаетъ свои мысли съ увлекательнымъ жаромъ и краснорѣчiемъ, изящнымъ языкомъ. Съ появленiя Пушкина, для князя Вяземскаго настала новая эпоха дѣятельности: стихотворенiя его, не измѣнившись въ духѣ, измѣнились къ лучшему въ формѣ; а прозаическiя статьи его (какъ, напримеръ, разговоръ классика съ романтикомъ, вмѣсто предисловія къ «Бахчисарайскому Фонтану») много способствовали къ освобожденiю русской литературы отъ предразсудковъ французскаго псевдо-классицизма.

Съ 1813 года начали проникать въ русскiе журналы темныя слухи о какомъ-то романтизмѣ. Въ «Духѣ Журналовъ» даже переведена была грозная статья противъ Августа Шлегеля, въ защиту классическаго французскаго театра. Вмѣстѣ съ романтизмомъ, стали вкрадываться въ наши журналы слухи о какомъ - то великомъ англiйскомъ поэтѣ г-нѣ Биронѣ, или Бейронѣ, или Байронѣ. Въ «Вѣстникѣ Ев-

ропы» 1813 года было напечатано маленькое стихотворение Пушкина «На смерть Кутузова». Въ «Россійскомъ Музеумѣ, или Журналѣ Европейскихъ Новостей» на 1815 годъ, издававшемся В. Измайловымъ, то и дѣло печатались лицейскія стихотворенія Пушкина. Но въ ученикѣ и подражателѣ Державина, Жуковского и Батюшкова никто еще не предузнавалъ будущаго великаго поэта Россіи... Въ 1820 году появилась въ свѣтъ первая поэма Пушкина «Русланъ и Людмила», а въ журналѣ «Сынъ Отечества» съ этого времени стали появляться мелкія его стихотворенія... Тогда-то возгорѣлась ожесточенная война на перьяхъ между классицизмомъ и романтизмомъ и начался крутой переворотъ въ литературныхъ понятіяхъ и воззрѣніяхъ... Карамзинскій періодъ русской литературы кончился...

IV.

Имѣлъ онъ пѣсень дивный даръ
И голосъ шуму водъ подобный.

Великія рѣки составляютъ изъ множества другихъ, которыя, какъ обычную дань, несутъ имъ обиліе водъ своихъ. И кто можетъ, разложить химически воду, напримѣръ, Волги, чтобъ узнать въ ней воды Оки или Камы? Принявъ въ себя столько рѣкъ, и большихъ и малыхъ, Волга пышно катитъ свои собственныя волны, и всѣ, зная о ея безчисленныхъ похищеніяхъ, не могутъ указать ни на одно изъ нихъ, плывя по ея широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана твореніями предшествовавшихъ поэтовъ. Скажемъ болѣе: она приняла ихъ въ себя, какъ свое законное достоиніе, и возвратила ихъ міру въ новомъ, преображенномъ видѣ. Можно сказать и доказать, что безъ Державина, Жуковского и Батюшкова не было бы и Пушкина, что онъ ихъ ученикъ; но нельзя сказать, и еще менѣе доказать, чтобъ онъ

что-нибудь заимствовалъ отъ своихъ учителей и образцовъ, или чтобъ гдѣ нибудь и въ чемъ-нибудь онъ не былъ неизмѣримо выше ихъ. Поэзія Державина была прежде временною, а потому и неудавшеюся попыткою на народную поэзію. Могучій геній Державина явился слишкомъ не во-время и не могъ найти въ народной жизни своего отечества какіе-нибудь элементы, какое-нибудь содержаніе для поэзіи. Общество его времени хорошо понимало поэзію патронажства, лесть и угодничества; но о всякой другой поэзіи не имѣло рѣшительно никакого понятія, и, слѣдовательно, не имѣло въ ней никакой потребности, никакой нужды. Слава Державина была основана не на общественномъ мнѣніи, котораго тогда не было ни признака, ни тѣни, особенно въ дѣлѣ литературы: нѣтъ, слава Державина была основана на просвѣщенномъ вниманіи немногихъ къ его таланту. И если во всей Россіи того времени было человѣкъ десять, или двадцать, болѣе или менѣе умѣвшихъ цѣнить этотъ высочайшій талантъ, то остальные, человѣкъ сто или двѣсти, изъ которыхъ состояла тогдашняя читающая публика, кричали о немъ съ голоса первыхъ, сами хорошенько не понимая собственного крика. Гдѣ-жъ тутъ было явиться истинной поэзіи и великому поэту? Правда, природа производитъ таланты, не спрашиваясь времени и не справляясь, нужны они или нѣтъ; но вѣдь великіе поэты творятся не одною природою: они творятся и обществомъ, т. е. историческимъ положеніемъ общества. Думать, что поэтъ составляетъ одинъ талантъ—значитъ грубо ошибаться. Разумѣется, прежде всего поэтомъ дѣлаетъ человѣка талантъ; но къ этому также необходимы еще и характеръ, и образованіе, и направленіе, которые завяжутся отъ общества, среди котораго является поэтъ. Чтобъ поэтически воспроизводить дѣйствительность, мало одного природнаго таланта,—нужно еще, чтобъ подъ рукою поэта была поэтическая дѣйствительность. Хорошо было Грекамъ творить ихъ изящныя, исполненныя идеальной красоты статуи;

когда греческіе художники и на площадяхъ, и на улицахъ, и на рынкахъ безпрестанно встрѣчали то мужчинъ съ головою Зевеса, съ станомъ Аполлона, то женщинъ съ выраженіемъ величаво-строгой красоты Паллады, съ роскошными формами Афродиты, или обаятельною прелестью Харитъ. Только итальянскимъ живописцамъ среднихъ вѣковъ былъ доступенъ идеалъ Мадонны, ибо типъ ея видѣли безпрестанно въ прекрасныхъ женщинахъ своего богатаго красотою отечества. Странное дѣло! Всѣ понимаютъ, что нельзя сдѣлаться великимъ живописцемъ, имѣя какой бы то ни было великій талантъ, если въ годы изученія искусства нѣтъ хорошихъ натурщиковъ; всѣ понимаютъ, что великій живописецъ, творя идеальную красоту, все-таки нуждается, во время своей работы, въ образцѣ дѣйствительности; а никто не хочетъ понять, что точно также и для великихъ поэтовъ образцомъ ихъ идеальныхъ созданій служить тоже окружающая ихъ дѣйствительность. Природа творитъ великихъ полководцевъ, когда ей угодно, а не только на случай войны; но безъ войны и великій полководецъ проживетъ весь свой вѣкъ, даже и не подозрѣвая, что онъ—великій полководецъ: только во времена сильныхъ движеній общественныхъ люди, одаренные отъ природы большими военными способностями, дѣлаются великими полководцами. Чопорный, натянутый Расинъ въ древней Греціи былъ бы страстнымъ и глубокомысленнымъ Эврипидомъ; а во Франціи, въ царствованіе Людовика XIV, и самъ страстный, глубокомысленный Эврипидъ былъ бы чопорнымъ и натянутымъ Расиномъ. Таково вліяніе исторіи и общества на талантъ! У насъ этого не хотятъ и знать. Кричатъ о Державинѣ, что онъ гений; стиховъ его давно уже совсѣмъ не читаютъ, а считаютъ чуть не безбожниками тѣхъ, кто осмѣливается говорить, что теперь поэзія Державина—слишкомъ непитательная и невкусная пища для эстетическаго вкуса. Повторяемъ не разъ уже сказанное и, смѣемъ надѣяться, доказанное нами, что при всей огромности таланта,

который мы и не думаемъ отрицать, и предъ которымъ мы умѣемъ благоговѣть больше, нежели всѣ крикуны и лицемеры, вопіющіе противъ насъ, — Державинъ не принадлежитъ къ тѣмъ вѣчно-юнымъ гениямъ, которыхъ созданія никогда не старѣются, всегда новы и интересны. Поэзія Державина была блестящею и интересною попыткою, для успѣха которой не были готовы ни русское общество, ни русскій языкъ, ни образованіе самого поэта. Это поэзія, носящая на себѣ всѣ родовые признаки своего времени, а потому для насъ, Русскихъ, имѣющая свой историческій интересъ; но какъ время этой поэзіи, такъ сама эта поэзія чужды всякаго дѣйствительнаго и опредѣленнаго идеальнаго содержанія, которое дается только сильно развитою народною жизнію. Лучшее, что есть въ поэзіи Державина,—это намеки на поэзію, часто недостигающіе цѣли по ихъ неопредѣленности и темнотѣ; проблески поэзіи, часто погасающіе въ водяной массѣ риторики; словомъ, это несвязный дѣтскій поэтическій лепетъ, но еще не поэзія. Въ поэзіи Державина есть и полѣтстая возвышенность, и могучая крѣпость, и яркость великолѣпныхъ картинъ, и несмотря на ея раздражительность, есть что-то отзывающееся стихіями сѣверной природы; но все это является въ ней не въ стройныхъ созданіяхъ, вѣрныхъ и выдержанныхъ по концепціи и отличающихся художественною полнотою и оконченностію, но отрывочно, мѣстами, проблесками. Словомъ, это еще не поэзія, а только стремленіе къ поэзіи.

Задумчивая и мечтательная поэзія Жуковскаго совершенно чужда главнаго недостатка поэзіи Державина: она исполнена содержанія, но вмѣстѣ съ тѣмъ лишена разнообразія и многосторонности. Ни одному поэту такъ много не обязана русская поэзія, въ ея историческомъ развитіи, какъ Жуковскому, и между тѣмъ, въ созданіяхъ Жуковскаго, поэзія является не столько искусствомъ, сколько служительницею и провозвѣстницею тайнъ внутренней жизни. Жуков-

скій— романтикъ въ духѣ среднихъ вѣковъ, а не художникъ. По своей натурѣ онъ чуждъ этой способности, совершенно поэтической и артистической, свободно переноситься во всѣ сферы жизни и воспроизводить ея явленія въ ихъ разнообразіи и свойственной каждому изъ нихъ особенности. Ему чуждо это свойство Протея, принимать всѣ виды и формы и оставаться въ то же время самимъ собою, — это свойство, въ которомъ заключается сущность поэзіи, какъ искусства. Поэзія Жуковского была отголоскомъ его жизни, вздохомъ по утраченнымъ радостямъ, разрушеннымъ надеждамъ, поэтическою трезною надъ умершимъ для очарованія сердцемъ. Поэзія души и сердца, она чужда всѣхъ другихъ интересовъ и рѣдко выходитъ изъ-за магическаго круга неопредѣленныхъ стремленій и туманныхъ мечтаній. Это ея величайшій недостатокъ, но это же и ея величайшее достоинство. Она была необходима не для самой себя, а какъ средство къ развитію русской поэзіи, она явилась не какъ готовая уже поэзія. подобно Палладѣ, родившейся во всеоружіи, а какъ моментъ возникавшей русской поэзіи. Она обогатила русскую поэзію содержаніемъ, котораго ей не доставало; указала ей на богатые и неисощимые источники европейской поэзіи, которой явленія умѣла съ непостижимымъ искусствомъ усваивать русскому языку. Сверхъ того, Жуковский далеко подвинулъ впередъ и русскій языкъ, придавъ ему много гибкости и поэтическаго выраженія.

Въ поэзіи Батюшкова преобладаетъ элементъ чисто художественный. Это видно и въ фактурѣ его стиха, и вообще въ пластическомъ характерѣ формъ его произведеній; это же видно и въ артистическомъ, полномъ страсти стремленіи его къ наслажденію, къ вѣчному пиру жизни; это же видно и въ разнообразіи предметовъ его поэтическихъ пѣсень. Это преимущества поэзіи Батюшкова передъ поэзіею Жуковского; но поэзія Жуковского несравненно богаче поэзіи Батюшкова содержаніемъ. Поэзія Батюшкова скользитъ по жизни, едва

зацѣпляясь за нее; содержаніе ея весьма скудно и бѣдно. Самая художественность стиха его не достигла полного своего развитія: Батюшковъ любилъ произвольныя усѣченія прилагательныхъ; между превосходнѣйшими стихами у него встрѣчаются негладкіе и даже непоэтическіе; сверхъ того, вѣрныя преданія русской поэзіи и примѣру отца ея—Ломоносова, Батюшковъ очень и очень не чуждъ риторике.

Вотъ въ короткихъ словахъ все, что было сказано нами въ предшествовавшихъ трехъ статьяхъ. Приступая, наконецъ, къ критическому обзорѣню поэтической дѣятельности Пушкина, мы почили за нужное повторить сказанное нами въ прежнихъ статьяхъ, чтобъ яснѣе показать читателямъ историческую связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами.

Мы видѣли, что эти поэты, оказавшіе такія великія услуги рождающейся русской поэзіи, только способствовали ея рожденію, но не родили ея, болѣе были предтечами поэта, чѣмъ поэтами. Безъ сравненія съ Пушкинымъ, каждый изъ нихъ—поэтъ; но если сравнивать ихъ съ нимъ, нельзя не согласиться, что между ими и Пушкинымъ такое же отношеніе, какъ между большими рѣками и еще несравненно болѣею, которая составляется изъ ихъ соединенныхъ водъ, поглощаемыхъ ею.

Пушкинъ явился именно въ то время, когда только что сдѣлалось возможнымъ явленіе на Руси поэзіи, какъ искусства. Двѣнадцатый годъ былъ великою эпохою въ жизни Россіи. По своимъ слѣдствіямъ, онъ былъ величайшимъ событіемъ въ исторіи Россіи послѣ царствованія Петра Великаго. Напряженная борьба на смерть съ Наполеономъ пробудила дремавшія силы Россіи и заставила ее увидѣть въ себѣ силы и средства, которыхъ она дотолѣ сама въ себѣ не подозрѣвала. Чувство общей опасности сблизило между собою сословія, пробудило духъ общности и положило начало гласности и публичности, столь чуждыхъ прежней патріар-

хальности, впервые столь жестоко поколебанной. Чтобы видѣть, какое огромное вліяніе имѣли на Россію великія событія 1812 — 1814 годовъ, достаточно прислушаться къ толкамъ старожиловъ, которые съ горестію говорятъ, что съ двѣнадцатаго года и климатъ въ Россіи измѣнился къ худшему, и все стало дороже: добряки не понимаютъ, что дороговизна эта была необходимымъ слѣдствіемъ увеличивавшихся нуждъ образованной жизни, слѣдовательно, признаковъ сильно двинувшейся впередъ цивилизації. Въ это время, вслѣдствіе ею же вызванныхъ событій, Франція, столько времени боровшаяся ко всею Европою и ознакомившаяся въ этой борьбѣ съ своими сосѣдями, уже начала отрекаться отъ своихъ литературныхъ предрасудковъ. Она увидѣла, что у сосѣдей ея есть не только умъ и талантъ, но и богатая литература; она поняла, что Корнель и Расинъ еще не исключительные представители творческаго изящества, а Шекспиръ, Гёте и Шиллеръ — совсѣмъ не представители замѣчательныхъ дарованій, искаженныхъ дурнымъ вкусомъ и незнаціемъ истинныхъ правилъ искусства; она догадалась даже, что ни классическая «*Arts Poetica*» Горация, ни подражательная ей «*L'Art Poétique*» Буало, ни теорія Баттѣ, ни критика Лагарпа уже не могутъ быть эстетическимъ Кораномъ, и что въ туманныхъ умозрѣніяхъ Нѣмцевъ вообще и романтическихъ созерцаніяхъ Шлегелей въ частности есть много истиннаго и вѣрнаго касательно искусства. Словомъ, романтизмъ вторгся и во Францію, тѣся и изгоняя ея псевдо-классическій китаизмъ, основанный на гордой мысли, что только однимъ Французамъ Богъ далъ и умъ, и вкусъ, отказавъ въ этихъ дарахъ всѣмъ другимъ націямъ. Франція жадно прислушивалась къ мрачнымъ и громовымъ звукамъ лиры Байрона, предчувствуя въ нихъ свое собственное возрожденіе къ новой жизни, и поэтическіе рассказы Вальтеръ - Скотта о среднихъ вѣкахъ появлялись уже на французскомъ языкѣ почти въ то же время, какъ появлялись въ Лондонѣ на англійскомъ. Паденіе воен-

наго терроризма Наполеона развязало Франціи руки не только въ политическомъ отношеніи, но и въ отношеніи къ наукѣ и литературѣ: ненавидимые и гонимые имъ «идеологи» свободно и ревностно принялись за свое дѣло; литература и поэзія ожили. Это имѣло прямое и сильное вліяніе на нашу литературу. Когда увѣнчанная славою Россія начала отдыхать отъ своихъ побѣдъ и торжествъ и процвѣтать миромъ въ «гордомъ и полномъ довѣрїи покоѣ», наши обветшалые и заплесневѣлые журналы того времени и патриархъ ихъ, «Вѣстникъ Европы», начали терять свое вліяніе и перестали, съ своими запоздалыми идеями, быть оракулами читающей публики. Явилась новая публика съ новыми потребностями, публика, которая изъ самыхъ источниковъ иностранныхъ, а не изъ заплесневѣлыхъ русскихъ журналовъ, начала черпать понятія и сужденія о литературѣ и искусствахъ, и которая начала слѣдить за успѣхами ума человѣческаго, наблюдая ихъ собственными глазами, а не черезъ тускляя очки устарѣвшихъ педантовъ. Около двадцатыхъ годовъ, въ «Сынѣ Отечества» начались споры за романтизмъ; вскорѣ послѣ того появились альманахи, какъ прибѣжище новыхъ литературныхъ потребностей и новаго литературнаго вкуса, которые, съ 1825 года, нашли своего представителя и выразителя въ «Московскомъ Телеграфѣ». Впрочемъ, да не подумаютъ читатели, чтобъ въ этомъ поверхностномъ quasi-романтизмѣ мы видѣли какую-то великую истину, дѣйствительность которой и теперь не подвержена сомнѣнію. Нѣтъ, такъ называемый романтизмъ двадцатыхъ годовъ, этотъ недоучившійся юноша съ немногимъ - растрепанными волосами и чувствами, теперь смѣшонъ съ своими старыми претензіями; его «выспіе взгляды» теперь сдѣлались косыми, близорукими, а сбивчивыя и неопредѣленныя теорїи превратились въ пустыя фразы и обветшалыя слова. Но всякому свое! Справедливость требуетъ согласиться, что, въ свое время, этотъ псевдо-романтизмъ принесть великую пользу литературѣ, освободивъ ее отъ бо-

лотной стоячести и заплесневѣлости и указавъ ей столько широкихъ и свободныхъ путей. Доказательствомъ этого можетъ служить, что лучшіе поэтическіе труды Жуковскаго совершены имъ или около или послѣ двадцатыхъ годовъ какъ-то: переводъ «Торжества Побѣдителей», «Жалобы Цереры», «Элевзинскаго Праздника», «Орлеанской Дѣвы», «Ундины» и проч. Даже самый стихъ Жуковскаго сдѣлалъ съ того времени большой шагъ впередъ. Батюшковъ умеръ для русской литературы въ самое время этого періода, и потому новое литературное направленіе не имѣло на него вліянія. Тѣмъ не менѣе можно предполагать съ достовѣрностію, что, безъ этого несчастнаго случая въ жизни Батюшкова, его ожидала бы эпоха обильнѣйшей и высшей дѣятельности, нежели та, какую онъ успѣлъ обнаружить, и что только тогда узнали бы Русскіе, какой великій талантъ имѣли они въ немъ. При всей художественности, при всей пластичности стиха Батюшкова, ему все еще чего-то не достаетъ: видно, что этотъ шагъ суждено было сдѣлать человѣку новому и свѣжему, незатвердѣвшему въ литературныхъ преданіяхъ. Этимъ человѣкомъ былъ Пушкинъ...

Приступая къ критическому обзорѣнню твореній Пушкина, мы будемъ строго держаться хронологическаго порядка, въ какомъ являлись они. Пушкинъ отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ отличается именно тѣмъ, что по его произведеніямъ можно слѣдить за постепеннымъ развитіемъ его не только какъ поэта, но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ человѣка и характера. Стихотворенія, написанныя имъ въ одномъ году, уже рѣзко отличаются, и по содержанію, и по формѣ, отъ стихотвореній, написанныхъ въ слѣдующемъ и потому, его сочиненій никакъ нельзя издавать по родамъ, какъ издаются сочиненія Державина, Жуковскаго и Батюшкова, особенно перваго и послѣдняго. Это обстоятельство чрезвычайно важно: оно говоритъ сколько о великости творческаго генія Пушкина столько и объ органической жизненности его поэзіи,—

органической жизненности, которой источникъ заключался, уже не въ одномъ безотчетномъ стремленіи къ поэзіи, но въ томъ, что почвою поэзіи Пушкина была живая дѣйствительность и всегда плодотворная идея. Между тѣмъ, въ безобразномъ посмертномъ изданіи сочиненій Пушкина 1838 года (восемь томовъ), стихотворенія расположены по родамъ, раздѣленіе которыхъ основывалось на произволѣ лица, которому была поручена редакція. Вотъ почему въ нашей статьѣ, несмотря на то, что въ заглавіи ея выставлено изданіе 1838 года, мы будемъ руководствоваться изданными при жизни самого поэта изданіями 1826, 1829, 1832 и 1835 годовъ. Но прежде всего мы остановимся на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ, помѣщенныхъ въ IX-мъ томѣ, 1841 года. Нѣкоторые господа сильно нападали на издателей трехъ послѣднихъ томовъ сочиненій Пушкина за помѣщеніе его «лицейскихъ» стихотвореній, говоря, что это сдѣлано для наполненія книжекъ хоть какимъ-нибудь матеріаломъ за недостаткомъ хорошаго, и что печатать произведенія поэта, которыхъ онъ самъ не считалъ достойными печати, значитъ оскорблять его память. Ничто не можетъ быть нелѣпѣ такой мысли. Мы очень уважаемъ дарованія и таланты такихъ поэтовъ, какъ Веневитиновъ, Полежаевъ, Баратынскій, Козловъ, Давыдовъ и другіе; но все-таки думаемъ, что, изъ уваженія къ нимъ же, не слѣдуетъ печатать ихъ слабыя произведенія, тѣмъ болѣе, что они никому и ни въ какомъ отношеніи не могутъ быть интересны, а между тѣмъ могутъ повредить извѣстности этихъ авторовъ. Но когда дѣло идетъ о такихъ поэтахъ и писателяхъ, какъ Ломоносовъ, Державинъ, Фонъ - Визинъ, Карамзинъ, Крыловъ, Жуковскій, Батюшковъ, Грибоѣдовъ и, въ особенности, Пушкинъ и Лермонтовъ,—то каждая строка, написанная ихъ рукою, принадлежитъ потомству и должна быть сохранена для него, ибо она напоминаетъ собою или черту ихъ времени, или фактъ о ихъ образѣ мыслей и характерѣ.

«Лицейскія» стихотворенія Пушкина, кромѣ того, что показываютъ, при сравненіи съ послѣдующими его стихотвореніями, какъ скоро выросъ и возмужалъ его поэтический гений,—особенно важны еще и въ томъ отношеніи, что въ нихъ видна историческая связь Пушкина съ предшествовавшими ему поэтами; изъ нихъ видно, что онъ былъ сперва счастливымъ ученикомъ Жуковского и Батюшкова, прежде чѣмъ явился самостоятельнымъ мастеромъ. Впервые,—сколько помнимъ мы,—появилось стихотвореніе Пушкина («Отечество въ слезахъ — познало вѣсть ужасну!») въ «Вѣстникѣ Европы» 1813 г. Онъ написалъ его, когда ему не было и четырнадцати лѣтъ отъ роду, при полученіи извѣстія о смерти Кутузова. Часто стали появляться въ печати стихотворенія Пушкина въ 1815 г. въ «Россійскомъ Музеумѣ», журналѣ, издававшемся Владиміромъ Измайловымъ. Всѣ они являлись тамъ съ подписью только начальныхъ буквъ имени и фамиліи Пушкина, и всѣ они, по подлиннымъ рукописямъ покойнаго поэта, помѣщены въ IX-мъ томѣ его сочиненій между «лицейскими» стихотвореніями. Потомъ стихотворенія Пушкина стали появляться въ «Сынѣ Отечества» и большая часть ихъ вошла уже въ сдѣланныя имъ самимъ изданія его сочиненій.

«Лицейскія» стихотворенія не богаты поэзіею, но часто удивляютъ красотою и изяществомъ стиха. Фактура этого стиха совсѣмъ не Пушкинская: она принадлежитъ Жуковскому и Батюшкову. Далеко уступая этимъ поэтамъ въ поэзіи, Пушкинъ,—едва шестнадцатилѣтній юноша,—иногда не только не уступалъ имъ въ стихѣ, но еще едва ли не смѣлѣе и не бойчѣе владѣлъ имъ. Изъ нихъ только три пьесы ужъ слишкомъ плохи, а именно: «Бова» (отрывокъ изъ поэмы), «Красавицѣ, которая нюхала табакъ» и «Безвѣріе». Первая пьеса написана Пушкинымъ явно въ подражаніе «Ильѣ Муромцу» Карамзина, которому она, впрочемъ, нисколько не уступаетъ въ достоинствѣ стиха и вымысла. Подобно «Ильѣ

Муромцу» Карамзина, «Бова» не конченъ, вѣроятно, по одной и той же причинѣ: мысль объихъ этихъ пьесъ такъ дѣтски ложна и поддѣльна, что изъ нея ничего не могло выйти цѣлаго, и оба поэта сами соскучились ею, не доведя ея до конца. По самому началу «Бовы» видно, что «Илья Муромецъ» Карамзина, слишкомъ восхищавшій юный вкусъ Пушкина, разманилъ его затѣять эту поэму:

Часто, часто я бесѣдовалъ
Съ болтуномъ страны элинскія,
И не смѣлъ осиплымъ голосомъ
Съ Шопеленомъ и съ Риематовымъ
Воспѣвать героевъ сѣвера.
Несравненнаго Виргилія
Я читалъ и перечитывалъ,
Не стараясь подражать ему
Въ вѣжныхъ чувствахъ и гармоніи.
Разбиралъ я Нѣмца Клопштока
И не могъ понять премудраго;
Не хотѣлъ я воспѣвать, какъ онъ—
Я хочу, чтобъ меня поняли
Всѣ отъ мала до великаго.
За Мильтономъ и Камюэнсомъ
Опасался я безъ крылъ парить,
Но вчера, въ архивахъ росяся,
Отыскалъ я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Прочиталъ—и въ восхищеніи
Про Бову пою царевича.

Не правда ли, что это очень напоминаетъ столь знакомое и презнакомое всѣмъ начало «Ильи Муромца»?—Пьеса «Красавицѣ, которая нюхала табакъ» отличается сатирическимъ и сантиментальнымъ характеромъ, столь свойственнымъ нашей старинной поэзіи. Она написана до того плохими стихами, что намъ, привыкшимъ подъ Пушкинскимъ стихомъ разумѣть высшее изящество стиха, странно думать, что эти стихи писаны Пушкинымъ, хотя бы и тринадцатилѣтнимъ.

«Безвѣріе» — дидактическая пьеса, которая сотнями писалась въ блаженное старое время, — риторическое распространіе какой-нибудь темы плохими стихами.

Въ дѣтскихъ и юношескихъ опытахъ Пушкина замѣтно вліяніе даже Капниста и Василя Пушкина. Больше всего видно на нихъ вліяніе Жуковскаго и, особенно, Батюшкова; но вліянія Державина почти совсѣмъ незамѣтно. Это не значить, чтобъ въ натурѣ Пушкина, какъ художника, не было ничего родственнаго съ поэтической натурою Державина, или чтобъ Пушкинъ не любилъ Державина и не восхищался его произведеніями. Напротивъ, Пушкинъ благоговѣлъ передъ Державинимъ. Въ запискахъ своихъ, онъ съ такою любовью рассказываетъ, какъ на лицейскомъ публичномъ экзаменѣ читалъ онъ, въ двухъ шагахъ отъ Державина, свои «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» и восхитилъ ими маститаго поэта. Это было въ 1815 году; Пушкину было тогда шестнадцать лѣтъ. Этотъ случай Пушкинъ всегда считалъ великимъ событіемъ въ своей жизни. Онъ упоминаетъ о немъ въ одномъ изъ своихъ «лицейскихъ» стихотвореній — «Къ Жуковскому»; тутъ же съ юношескимъ восторгомъ упоминаетъ и объ одобреніи Карамзина, Дмитриева и того поэта, къ которому обращено было это посланіе, — одобреніе, которымъ они привѣтствовали его дѣтскіе опыты. Въ другое, позднѣйшее время, въ эпоху мужественной зрѣлости своего генія, Пушкинъ, говоря о своей музѣ, сдѣлалъ поэтической намекъ на лучшее воспоминаніе своей юности:

И свѣтъ ее съ улыбкой встрѣтилъ;
Успѣхъ насъ первый окрылилъ;
Старикъ Державинъ насъ замѣтилъ
И, въ гробъ сходя, благословилъ.

Но, при всемъ этомъ, громогласный одовоспѣвательный характеръ Державинской поэзіи былъ столько не въ натурѣ и не въ духѣ Пушкина, что на его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ нѣтъ почти никакихъ слѣдовъ ея вліянія. Только

одна кантата «Леда», изъ всѣхъ «лицейскихъ» стихотвореній, отзывается языкомъ Державина, но вмѣстѣ и Батюшкова; а самый родъ пьесы (кантата) напоминаетъ одного Державина. Этимъ почти и оканчивается все сближеніе. Но если сравнить, въ «Онѣгинѣ» и другихъ позднѣйшихъ произведеніяхъ Пушкина, картины русской природы — именно осени и зимы, то нельзя не увидѣть, что онѣ носятъ на себѣ отпечатокъ какой-то родственности съ Державинскими картинами въ томъ же родѣ. Этого нельзя доказать сравнительными выписками изъ того и другаго поэта; но это очевидно для людей, которые способны проникать далѣе буквы и отыскивать аналогію въ духѣ поэтическихъ произведеній. Проблескивающіе по временамъ и мѣстами элементы Державинской поэзіи суть живопись сѣверно-русской природы; народность, сатира и художественность, — все это составляетъ полноту и богатство поэзіи Пушкина, и все это достигло въ ней своего совершеннаго развитія и опредѣленія. Державинская поэзія, въ сравненіи съ Пушкинскою, это — заря предразсвѣтная, когда бываетъ ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы съ свѣтомъ: брежжетъ невѣрный полумракъ, обманчивый полусвѣтъ, вдали на небѣ какъ - будто блѣбуетъ полоса свѣта и въ то же время догораютъ готовые погаснуть ночныя звѣзды, а всѣ предметы являются въ неестественной величинѣ и ложномъ видѣ. Пушкинская поэзія, въ сравненіи съ Державинскою, это — роскошный, полный сіянія и блеска полдень лѣтняго дня: всѣ предметы земли озарены свѣтомъ неба и являются въ своемъ собственномъ, опредѣленномъ, ясномъ видѣ, и самая даль только дѣлаетъ ихъ болѣе поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словомъ, поэзія Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзія Пушкинская, а поэзія Пушкинская есть во-время явившаяся и вполне достигшая своей опредѣленности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзія Державинская...

Пьесы «Къ Наташѣ», «Разсудокъ и любовь», «Къ Машѣ», «Слеза», «Погребъ», «Истина», «Застольная Пѣсня», «Делія», «Стансы» (изъ Вольтера), «Къ Деліи», «Къ ней», «Мѣсяцъ», «Я Лилу слушалъ у клавира», «Къ Жуковскому», «Пирующіе Друзья», «Къ Дельвигу», «Фіалъ Анакреона», «Къ Дельвигу», «Фавнъ и Пастушка», «Къ Живописцу», «Сновидѣніе», «Романсъ»,—всѣ эти пьесы, по изобрѣтенію, по формѣ и по именамъ Лилы, Нины, Маши, Наташи и т. п., напоминаютъ собою предшествовавшую Жуковскому и Батюшкову эпоху русской литературы, или, по крайней мѣрѣ, ту школу поэзіи русской, которая не испытывала на себѣ вліянія этихъ двухъ поэтовъ. Такъ, напримѣръ, пьеса «Къ Живописцу» написана какъ-будто Державинымъ, предлагающимъ живописцу написать портретъ его Милены или Плѣниры; а пьесы: «Слеза», «Погребъ», «Истина» написаны какъ-будто на мотивъ извѣстной прелестной пѣсенки Дениса Давыдова «Мудрость», которая начинается куплетомъ:

Мы недавно отъ печали,
Лиза, я, да Купидонъ,
По богалу осушали,
Да просили мудрость вонъ.

Чтобъ дать понятіе о духѣ этой школы, представителями которой были Капнистъ, Нелединскій-Мелецкій, В. Пушкинъ, Давыдовъ, мы выпишемъ коротенькое стихотвореніе Пушкина «Сновидѣніе»:

Недавно обольщенъ прелестнымъ сновидѣньемъ,
Въ вѣнцѣ сіяющемъ царемъ я зрѣлъ себя;
Мечталось, я любилъ тебя—
И сердце билось наслажденьемъ.
Я страсть свою у ногъ въ восторгахъ изъяснялъ.
Мечты! ахъ! отчего вы счастья не продлили?
Но боги не всего теперь меня лишили:
Я только царство потерялъ.

Въ посланіи «Къ Жуковскому» Пушкинъ разсуждаетъ, въ довольно прозаическихъ стихахъ, о литературныхъ вопросахъ, особенно занимавшихъ дядю его, Василія Пушкина, и ту эпоху, которой В. Пушкинъ былъ однимъ изъ представителей. В. Пушкинъ, въ прозаическихъ, но иногда очень острыхъ сатирахъ, нападалъ на плохихъ стихотворцевъ и славянофиловъ—враговъ Карамзина—того времени. Въ посланіи своемъ «Къ Жуковскому» молодой Пушкинъ, подъ влияніемъ дяди своего, также нападаетъ на рифмачей и славянофиловъ и судить о русской литературѣ.

Рифмачей называетъ онъ «Варягами»:

Далеко дикихъ лиръ несется рвзкій вой;
Варяжскіе стихи визжитъ Варяговъ строй.

Ть слогомъ Никона печатають поэмы,
Одни славянскихъ одъ громады громоздятъ,
Другіе въ бѣшеныхъ трагедіяхъ хрипятъ;
Тотъ, вѣрный своему мятежному союзу,
На сцену возведя звѣвающую музу,
Безсмертныхъ геніевъ сорвать съ Парнасса мнитъ:
Рука содрогнулась, ударъ его скользить.
Вотче бросается съ завистливымъ кинжаломъ:
Куплетомъ раненъ онъ, низверженъ въ прахъ журналомъ.
При свистахъ критики къ собратьямъ онъ бѣжитъ,
И маковый вѣнецъ Фециасу ими свить.
Всѣ, руку наложивъ на томъ Телемахиды,
Клянутся отомстить сотрудииковъ обиды,
Волнуясь, встають неистовой толпой.
Бѣда, кто въ свѣтъ рожденъ съ чувствительной душой,
Кто тайно могъ пѣвнть красавицъ нѣжной лирой,
Кто смѣло просвисталъ шутиливою сатирой,
Кто выражается правдивымъ языкомъ,
И русской глупости не хочетъ бить челомъ:
Онъ врагъ отечества, онъ свѣтель разврата.
И рѣчи сыплются дождемъ на супостата.

Читая эти стихи, невольно переносишься въ то блаженное время нашей литературы, о которомъ теперь, за исклю-

ченіємъ пожилыхъ и записныхъ литераторовъ, немногіе имѣютъ понятіе. Въ этомъ посланіи, слогъ, фактура стиха, понятія, взглядъ на вещи—все принадлежитъ времени, которое предшествовало Жуковскому и Батюшкову и проглядѣло ихъ явленіе. Но тутъ есть нѣчто и самостоятельное, принадлежащее Пушкину какъ представителю уже новаго поколѣнія: это жестокая нападка на Тредьяковскаго и, въ особенности, на Сумарокова:

Ты-ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,
Безъ силы, безъ огня, съ посредственнымъ умомъ,
Предразсужденіямъ обязанный взнцомъ
И съ Пинда сброшенный и проклятый Расиномъ?
Ему-ли карлику, тягаться съ исполиномъ?
Ему-ль оспаривать тотъ лавровый вѣнецъ,
Въ которомъ возблисталъ безсмертный нашъ пѣвецъ,
Веселье Россіянъ полуночное диво?
Нѣтъ! въ тихой Летъ онъ потонетъ молчаливо!
Ужъ на челѣ его забвенія печать.
Предбудущимъ въкамъ что могъ онъ передать?
Страшилась грація цинической свирѣли,
И персты грубые на лиръ костевляи.

Замѣчательнъ еще въ этомъ посланіи юношескій жаръ и рьяность, съ какими Пушкинъ призываетъ талантливыхъ пѣвцовъ на брань съ писаками. Онъ указываетъ имъ на Феба, сражающаго Пнеона, и требуетъ мщенія за погибшаго жертвою зависти Озерова:

Ліющая съ небесъ и жизнь, и вѣчный свѣтъ,
Стрѣлою гибели десница Аполлона
Сражаетъ наконецъ ужаснаго Пнеона;
Смотрите! пораженъ враждебными стрѣлами,
Съ потухшимъ факеломъ, съ недвижными крылами,
Къ вамъ Озерова духъ взываетъ, други, мсть!
Вамъ оскорбленный вкусъ, вамъ знанья дали вѣсть.

Летите на враговъ—и Фебъ и музы съ вами!
Разите варваровъ кровавыми стилями,
Невѣжество, смирясь, потупить хладный взоръ;
Спѣсивый риторовъ безграмотный соборъ...

Въ заключеніи молодой поэтъ рѣшается, не боясь гоненій и зависти невѣждъ и рифмачей, «ученью руку давъ», смѣло идти прямою дорогою... Это значило возвѣстить о себѣ довольно громко: послѣдствія показали, что этотъ юноша имѣлъ полное на то право...

Въ пьесахъ: «Наслажденіе», «Къ принцу Оранскому», «Сраженный рыцарь», «Воспомяніе въ Царскомъ Селѣ», и «Наполеонъ на Эльбѣ» замѣтно вліяніе Жуковскаго; въ нихъ преобладаетъ элегическій тонъ въ духѣ музы Жуковскаго: стихъ очень близокъ къ стиху Жуковскаго, въ самомъ взглядѣ на предметъ видна зависимость ученика отъ учителя.

«Воспомянія въ Царскомъ Селѣ» написаны звучными и сильными стихами, хотя вся пьеса эта не болѣе, какъ декламация и риторика. Такими же стихами написана и пьеса «Наполеонъ на Эльбѣ», содержаніе которой теперь кажется забавно дѣтскимъ. Пушкинъ заставляетъ Наполеона «свирѣпо прошептать» разныя ругательства на самого себя, превозносить своихъ враговъ, а о себѣ самомъ отзываться какъ объ ужасномъ mauvais sujet. Между прочимъ, Наполеонъ у него «свирѣпо прошептываетъ»:

«Полночи царь молодой! ты двинулъ ополченья,
И гибель вслѣдъ пошла кровавымъ знаменамъ,
Отозвалось могучаго паденье—
И миръ земль и радость небесамъ,
А мнѣ—позоръ и поношенье!»

Чему удивляться, что шестнадцатилѣтній мальчикъ такъ смотрѣлъ на Наполеона въ то время, какъ на него такъ же

точно смотрѣли и престарѣлые и возмужавшіе поэты! Гораздо удивительнѣе, что этотъ мальчикъ, черезъ пять лѣтъ послѣ того, сказалъ о Наполеонѣ:

Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ,
Народовъ ненависть почилъ
И лучъ безсмертія горитъ!

Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутитъ укоромъ
Его развѣчанную тѣнь!
Хвала! онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ!

Эти стихи и особенно этотъ взглядъ на Наполеона, какъ освѣжительная гроза раздалась въ 1821 году, надъ полемъ русской литературы, заросшимъ сорными травами общихъ жѣсть, и многіе поэты, престарѣлые и возмужалые, прислушивались къ нему съ удивленіемъ, поднявъ встревоженные головы вверхъ, словно гуси на громъ...

Но между «лицейскими» стихотвореніями гораздо болѣе ознаменованныхъ сильнымъ вліяніемъ Батюшкова. Таковы пьесы: «Къ Натальѣ», «Къ Молодой Актрисѣ», «Князю А. М. Горчакову», «Осгаръ», «Эвлега», «Воспоминаніе» (Пушину), «Сонъ» (отрывокъ), «Къ Молодой Вдовѣ», «Мое Завѣщаніе Друзьямъ», «Наѣздникъ», «Къ Г...у», «Мечтатель», «Къ П...у», «Къ Б...ву», «Городокъ». Даже въ пьесахъ, написанныхъ подъ вліяніемъ другихъ поэтовъ, замѣтно въ то же время и вліяніе Батюшкова: такъ гармонировала артистическая натура молодого Пушкина съ артистическою натурою Батюшкова! Художникъ инстинктивно узналъ художника и избралъ его преимущественнымъ образцомъ своимъ. Это показываетъ, до такой степени силенъ былъ въ Пушкинѣ ху-

дожническій инстинктъ. Какъ ни много любилъ онъ поэзію Жуковскаго, какъ ни сильно увлекался обаятельностью ея романтическаго содержанія, столь могущественною надъ юною душою, но онъ нисколько не колебался въ выборѣ образца между Жуковскимъ и Батюшковымъ, и тотчасъ же, безсознательно, подчинился исключительному влиянію послѣдняго. Вліяніе Батюшкова обнаруживается въ «лицейскихъ» стихотвореніяхъ Пушкина не только въ фактурѣ стиха, но и въ складѣ выраженія, и особенно во взглядѣ на жизнь и ея наслажденія. Во всѣхъ ихъ видна нѣга и упоеніе чувствъ, столь свойственныя музѣ Батюшкова; и въ нихъ проглядываетъ мѣстами унылость и веселая шутовскость Батюшкова. Пушкинъ занялъ у него даже любимыя имена, и въ особенности Хлою и Делю, и манеру пересыпать свои стихотворенія мифологическими именами Купидона, Амура, Марса, Аполлона и проч., и любимыя его выраженія «цитерская сторона, дѣвственная лилея» и тому подобныя. Вспомните стихотворенія Батюшкова, заимствованныя имъ изъ Парни, и потомъ посланіе «Къ П—ну», и сравните съ нимъ пьесы Пушкина «Къ Натальѣ» и «Къ Молодой Вдовѣ»: вы увидите въ нихъ Пушкина ученикомъ Батюшкова. По отдѣлѣ и стику, первое стихотвореніе слишкомъ отзывается дѣтскою незрѣлостію; но слѣдующее и по стихамъ напоминаетъ Батюшкова. Пьесы: «Оскаръ» и «Эвлега» навѣяны скандинавскими стихотвореніями Батюшкова. Въ то время пользовалось большою извѣстностью дѣйствительно прекрасное посланіе Батюшкова къ Жуковскому — «Мои Пенаты». Оно родило множество подражаній. Пушкинъ написалъ, въ родѣ и духѣ этого стихотворенія, довольно большую пьесу «Городокъ». Подобно Батюшкову, Пушкинъ въ этомъ стихотвореніи говоритъ о своихъ любимыхъ писателяхъ, которые заняли мѣсто на полкахъ его избранной библіотеки. Только онъ говоритъ не объ однихъ русскихъ писателяхъ, но и объ иностранныхъ. Несмотря на явную подражательность Ба-

тюшкову, которою запечатлѣна эта пьеса, въ ней есть нѣчто и свое, Пушкинское: это не стихъ, который довольно плохъ, но шаловливая вольность, чуждая того, что Французы называютъ *pruderie* и столь свойственная Пушкину. Онъ нисколько не думаетъ скрывать отъ свѣта того, что всѣ дѣлаютъ съ наслажденіемъ наединѣ, но о чемъ всѣ, при другихъ, говорятъ тономъ строгой морали; онъ называетъ всѣхъ своихъ любимыхъ писателей... Юношеская заносчивость, безпрестанно придирающаяся сатирую къ бездарнымъ писакамъ и, особенно, главѣ ихъ, извѣстному Свистову, также характеризуютъ Пушкина.

Въ нѣкоторыхъ изъ «лицейскихъ» стихотвореній сквозь подражательность проглядываетъ уже чисто Пушкинскій элементъ поэзіи. Такими пьесами считаемъ мы слѣдующія: «Окно», «Элегія» (числомъ восемь), «Гораций», «Усы», «Желаніе», «Заздравный Кубокъ», «Къ товарищамъ передъ выпускомъ». Онъ не всѣ равнаго достоинства, но нѣкоторыя по тогдашнему времени просто прекрасны. А тогдашнее время было очень невзыскательно и неразборчиво. Оно издало (1815—1817) двѣнадцать томовъ «Образцовыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ» и потомъ (1822—1824) ихъ же переиздало съ исправленіями, дополненіями и умноженіемъ и, наконецъ, не удовольствуясь этимъ напечатало (1821—1822) «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводовъ въ стихахъ и прозѣ, вышедшихъ въ свѣтъ отъ 1816 по 1821 годъ» и «Собраніе новыхъ русскихъ сочиненій и переводъ въ стихахъ и прозѣ, вышедшихъ въ свѣтъ съ 1821 по 1825 годъ». Большая часть этихъ «образцовыхъ» сочиненій весьма легко могли бы почестся образчиками бездарности и безвкусія. «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» Пушкина были дѣйствительно одною изъ лучшихъ пьесъ этого сборника, а Пушкинъ никогда не помѣщалъ этой пьесы въ собраніи своихъ сочиненій, какъ-будто не признавая ее своею, хотя она и напоминала ему одну изъ лучшихъ минутъ его

юности! И потому стихотворенія Пушкина, о которыхъ мы начали говорить, имѣли бы полное право, особенно тогда, смѣло идти за образцовыя и не въ такомъ сборникѣ; — только черезъ мѣру строгій художнической вѣкъ Пушкина могъ исключить изъ собранія его сочиненій такую пьесу, какъ, напримѣръ, «Горацій». Переводъ изъ Горація, или оригинальное произведеніе Пушкина въ гораціанскомъ духѣ, — что бы ни была она, только никто изъ старыхъ, ни изъ новыхъ русскихъ переводчиковъ и подражателей Горація не говорилъ такимъ гораціанскимъ языкомъ и складомъ и такъ вѣрно не передавалъ индивидуальнаго характера гораціанской поэзіи, какъ Пушкинъ въ этой пьесѣ, къ тому же и написанной прекрасными стихами. Можно ли не слышать въ нихъ живаго Горація? —

Кто изъ боговъ мнѣ возвратилъ
Того, съ кѣмъ первые походы
И браней ужасъ и дѣлилъ,
Когда за призракомъ свободы
Насъ Брутъ отчаянный водилъ;
Съ кѣмъ я тревоги боевыя
Въ шатрѣ за чашей забывалъ.
И кудри плющемъ увитыя
Сирійскимъ мирромъ умащалъ?
Ты помнишь часъ ужасный битвы,
Когда я, трепетный квиритъ,
Бѣжалъ, нечестно броса щить,
Творя обѣты и молитвы?
Какъ я боялся, какъ бѣжалъ!
Но Эрмія самъ незапною тучей
Меня покрылъ и въ даль умчалъ
И спасъ отъ смерти неминучей.
А ты, любимецъ первый мой,
Ты снова въ битвахъ очутился...
И нынѣ въ Римъ ты возвратился.
Въ мой домикъ темный и простой.
Сядись подъ сѣнь моихъ пенатовъ!
Давайте чаши! не жалѣй

Ни винъ моихъ, ни ароматовъ!
Готовы чаши; мальчикъ! лей;
Теперь некстати воздержанье:
Какъ дикій Скифъ, хочу я пить
И, съ другомъ празднуя свиданье,
Въ винъ разсудокъ утопить.

Въ этомъ стихотвореніи видна художническая способность Пушкина свободно переноситься во всё сферы жизни, во всё вѣка и страны, — видѣнъ тотъ Пушкинъ, который при концѣ своего поприща, нѣсколькими терцинами въ духъ Дантовой «Божественной комедіи», познакомилъ Русскихъ съ Дантомъ больше, чѣмъ могли бы это сдѣлать всевозможные переводчики, — какъ можно познакомиться съ Дантомъ, только читая его въ подлинникъ... Въ слѣдующей маленькой элегіи уже видѣнъ будущій Пушкинъ — не ученикъ, не подражатель, а самостоятельный поэтъ:

Медлительно влекутся дни мои,
И каждый мигъ въ увядшемъ сердцѣ множить
Всѣ горести несчастливой любви
И тяжкое безуміе тревожить.
Но я молчу; не слышенъ ропотъ мой.
Я слезы лью... мнѣ слезы утѣшенье.
Моя душа, объятая тоской,
Въ нихъ горькое находить наслажденье.
О, жизни сошь! лети, не жаль тебя!
Исчезани въ тьмѣ, пустое привидѣнье!
Мнѣ дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру — любя!

Въ пьесѣ «Къ товарищамъ передъ выпускомъ» вѣетъ духъ, уже совершенно чуждый прежней поэзіи. И стихъ, и понятіе, и способъ выраженія — все ново въ ней, все имѣетъ корнемъ своимъ простой и вѣрный взглядъ на дѣйствительность, а не мечты и фантазіи, облеченныя въ прекрасныя фразы. Поэтъ, готовый съ товарищами своими выйдти на

большую дорогу жизни, мечтаетъ не о томъ, что всё они достигнуть и богатства, и славы, и почестей, и счастья, а предвидитъ то, что всего чаще и всего естественнѣе бываетъ съ людьми.

Разлука ждетъ насъ у порогу;
Зоветь насъ свѣта дальній шумъ,
И каждый смотритъ на дорогу
Въ волненьи юныхъ пылкихъ думъ.
Иной подъ киверь спрятавъ умъ,
Уже въ воинственномъ парадѣ
Гусарской саблею махнулъ:
Въ крещенской утренней прохладѣ
Красиво мерзнетъ на парадѣ,
А грѣться ѣдетъ въ караулъ.
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатнаго въ прихожей
Покорнымъ плутомъ зрить себя.

Несмотря на всю незрѣлость и дѣтскій характеръ первыхъ опытовъ Пушкина изъ нихъ видно, что онъ глубоко и сильно сознавалъ свое призваніе, какъ поэта, и смотрѣлъ на него какъ на жречество. Его восхищала мысль объ этомъ призваніи и онъ говоритъ въ посланіи къ Дельвигу:

Мой другъ! и я пѣвецъ! и мой смиренный путь
Въ цвѣтахъ украсила богиня пѣснопѣнья,
И мнѣ въ младую боги грудь
Вліяли пламень вдохновенья!

Жажда славы сильно волновала эту молодую и пылкую душу, и заря поэтического безсмертія казалась ей лучшею цѣлью бытія:

Ахъ, вѣдаетъ мой добрый геній,
Что предпочелъ бы я скорѣй
Безсмертію души моей
Безсмертіе своихъ твореній.

Такихъ и подобныхъ этимъ стиховъ, доказывающихъ, сколь много занимало Пушкина его поэтическое призваніе, очень много въ его «лицейскихъ» стихотвореніяхъ. Между ними замѣчательно стихотвореніе «Къ моей Чернильницѣ»:

Подруга думы празднои,
Чернильница моя!
Мой вѣкъ однообразный
Тобой украсилъ я.
*Какъ часто другъ веселья
Съ тобою забывалъ
Условный часъ поэмья
И праздничный бокаль!*
Подъ сънью хиты скромной.
Въ часы печали томной.
Была ты предо мной
Съ лампадой и мечтой.
Въ минуты вдохновенья
Къ тебѣ я прибѣгалъ
И музу призывалъ
На ширъ воображенья.
Сокровища мои
На днѣ твоємъ таятъ...
Тебя я посвятилъ
Занятіямъ досуга
И съ лѣнью примирилъ:
Она твоя подруга!
Съ тобой успѣхъ узналъ
Отшельникъ неизвѣстный...
Завѣтный твой кристаллъ
Хранить огонь небесный;
И подъ-вечеръ, когда
*Перо по книжкѣ бродитъ,
Безъ всякаго труда
Оно въ тебѣ находитъ
Концы моихъ стиховъ
И вѣрность выраженья.
То звуковъ или словъ
Нежданное стеченье,
То юдкой шутки соль,*

*То странность рифмы новой,
Неслыханной дотолъ.*

Вотъ уже какъ рано проснулся въ Пушкинѣ артистическій элементъ: еще отрокомъ, безъ всякаго труда находя въ чернильницѣ концы своихъ стиховъ, думалъ онъ о вѣрности выраженья и задумывался надъ неожиданнымъ стеченіемъ звуковъ или словъ и странностью дотолъ неслыханной новой рифмы! Къ такимъ же чертамъ принадлежитъ вольность и смѣлость въ понятіяхъ и словахъ. Въ одномъ посланіи онъ говорить:

Устрой гостямъ пирушку;
На столикъ воцарой
Поставь *пивную кружку*
И кубокъ пуншевой.

За исключеніемъ Державина, поэтической натурѣ котораго никакой предметъ не казался низкимъ, изъ поэтовъ прежняго времени никто не рѣшился бы говорить въ стихахъ о пивной кружкѣ, и самый пуншевой кубокъ каждому изъ нихъ показался бы прозаическимъ: въ стихахъ тогда говорилось не о кружкахъ, а о фіалахъ, не о пивѣ, а объ амброзіи и другихъ благородныхъ, но не существующихъ на бѣломъ свѣтѣ напиткахъ. Затѣявъ писать какую-то новгородскую повѣсть «Вадимъ», Пушкинъ, въ отрывкѣ изъ нея, употребилъ стихъ: «Но тынъ обросъ крапивою дикою». Слово тынъ, взятое прямо изъ міра славянской и новгородской жизни, поражаетъ сколько своею смѣлостію, столько и поэтическимъ инстинктомъ поэта. Изъ прежнихъ поэтовъ, едва ли бы кто не испугался пошлости и прозаичности этого слова. Мы нарочно приводимъ эти, повидимому, мелкія черты изъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, чтобъ ими указать на будущаго преобразователя русской поэзіи и будущаго національнаго поэта. Теперь странно видѣть какую-то смѣлость въ употребленіи слова тынъ; но мы говоримъ не о

теперешнемъ, а о прошломъ времени: что легко теперь, то было трудно прежде. Теперь всякій рифмачъ смѣло употребляетъ въ стихахъ всякое русское слово, но тогда слова, какъ и слогъ, раздѣлялись на высокія и низкія, и фальшивый вкусъ строго запрещалъ употребленіе послѣднихъ. Нуженъ былъ талантъ могучій и смѣлый, чтобъ уничтожить эти австралійскіе табу въ русской литературѣ. Теперь смѣшно читать нападки тогдашнихъ аристарховъ на Пушкина, — такъ они мелки, ничтожны и жалки; но аристархи упрямо считали себя хранителями чистоты русскаго языка и здраваго вкуса, а Пушкина—искажителемъ русскаго языка и вводителемъ всяческаго литературнаго и поэтическаго безвкусіа...

Изъ тѣхъ «лицейскихъ» стихотвореній Пушкина, которыя мы назвали лучшими и наиболѣе самостоятельными его произведеніями, нѣкоторыя впослѣдствіи онъ измѣнилъ и передѣлалъ, и внесъ въ собраніе своихъ сочиненій. Такова, напримѣръ, пьеса «Друзьямъ».

Къ чему, веселые друзья,
Мое тревожитъ васъ молчанье?
Запѣвъ последнее прощанье,
Ужъ муза смолкнула моя.
Напрасно лиру взялъ я въ руки
Бряцать веселья на пирахъ,
И на ослабленныхъ струнахъ
Искалъ потерянные звуки.
Богами вамъ еще даны
Златые дни, златыя ночи,
*И на любовь устремлены
Отнежь исполненные очи!*
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечеръ скоротечный,
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуса я.

Впослѣдствіи, Пушкинъ такъ передѣлалъ эту пьесу:

Богами вамъ еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томныхъ двѣхъ устремлены
На васъ внимательныя очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечеръ скоротечный,
И вашей радости безпечной
Сквозь слезы улыбнуса я.

Черезъ уничтоженіе первыхъ восьми стиховъ и перемѣну одиннадцатаго и двѣнадцатаго изъ безобразнаго куска мрамора вышла прелестная статуэтка... Мы не знаемъ, были ли переправлены Пушкинымъ другія изъ «лицейскихъ» его стихотвореній, или они съ перваго раза удачно написались, — только значительное число ихъ вошло въ собраніе его сочиненій, изданныхъ въ 1826 и 1829 году. Такъ какъ собраніе 1826 года, вышедшее маленькою книжкою, потомъ все вошло въ слѣдующее четырехъ-томное изданіе (1829—1835), составивъ первую его часть, — то мы и будемъ ссылаться, въ нашемъ разборѣ, только на это послѣднее изданіе, тѣмъ болѣе, что оно выходило въ свѣтъ подъ редакціею самого Пушкина.

Итакъ, въ первый томъ и отчасти во второй «Сочиненій Александра Пушкина» (1829) много вошло его «лицейскихъ» стихотвореній 1815—1817 годовъ, и потомъ такихъ его стихотвореній, которыя писаны имъ вскорѣ по выходѣ изъ лицей и которыя, вмѣстѣ съ «лицейскими», вошедшими въ первый томъ изданія, можно охарактеризовать именемъ переходныхъ. Въ нихъ видѣнъ уже Пушкинъ, но еще болѣе или менѣе вѣрный литературнымъ преданіямъ, еще ученикъ предшествовавшихъ ему мастеровъ, хотя часто и побѣждающій своихъ учителей; поэтъ даровитый, но еще не самостоятельный и — если можно такъ выразиться — общающій Пушкина, но еще не Пушкинъ. Въ этихъ переходныхъ стихотвореніяхъ видна живая историческая связь Пушкина съ предшествовавшею ему литературою, и они перемѣшаны

съ пьесами, въ которыхъ видѣнъ уже зрѣлый талантъ, и въ которыхъ Пушкинъ является истиннымъ художникомъ, творцомъ новой поэзіи на Руси.

Такими переходными пьесами считаемъ мы слѣдующія: «Къ Лицинію», «Гробъ Анакреона», «Пробужденіе», «Друзьямъ», «Пѣвецъ», «Амуръ и Гиеней», «Ш***ву», «Торжество Вакха», «Разлука», «П***ну», «Дельвигу», «Выздоровленіе», «Прелестницѣ», «Жуковскому», «Увы, зачѣмъ она блистаетъ», «Русалка», «Стансы Т—му», «В—му», «Кривоцову», «Черная Шаль», «Дочери Карагеоргія», «Война», «Я пережилъ мои мечтанья», «Гробъ юноши», «Къ Овидію», «Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ», «Друзьямъ», «Гречанкѣ», «Сводъ неба мракомъ обложился», «Телѣга Жизни», «Прозерпина», «Вакхическая Пѣсня», «Козлову», «Ты и вы» и нѣсколько эпиграммъ которыми оканчивается вторая часть и которыми Пушкинъ заплатилъ невольную дань тому времени, когда онъ вышелъ на поэтическое поприще. Эпиграммы, мадригалы, надписи къ портретамъ были тогда въ большомъ ходу и составляли особенный родъ поэзіи, которому въ пѣтикахъ посвящалась особая глава. Только Державинъ и Жуковский не писали эпиграммъ; но Батюшковъ былъ до нихъ большой охотникъ и, вѣроятно, его то примѣръ особенно увлекъ Пушкина.

Замѣчательно, что во второй части собранія стихотвореній Пушкина уже меньше переходныхъ пьесъ, а въ третьей ихъ совѣмъ нѣтъ: въ ней содержатся только пьесы, проникнутыя насквозь самобытнымъ духомъ Пушкина и отличающіяся всѣмъ совершенствомъ художественной формы его созрѣвшаго и возмужавшаго гения. Въ первой части всего больше переходныхъ пьесъ; но въ ней же, между переходными пьесами, есть довольно и такихъ, которыя, по содержанию и по формѣ, обличаютъ уже оригинальность и самостоятельность, составляющія характеръ Пушкинской поэзіи. Чтобы яснѣе было нашимъ читателямъ, что мы разумѣемъ,

подъ «переходными» стихотвореніями Пушкина, мы поименуемъ и противоположныя имъ чисто Пушкинскія пьесы, находящіяся въ первой части; онѣ начинаются не прежде, какъ съ 1819 года, въ такомъ порядкѣ: «Мечтателю», «Уединеніе» (которое, впрочемъ, только по содержанію, а не по формѣ, можно отнести къ числу чисто Пушкинскихъ пьесъ), «Домовому», «N. N.», «Недоконченная Картина», «Возрожденіе», «Погасло дневное свѣтило», и въ особенности начинающіяся съ 1820: «Виноградъ», «0 дѣва-роза, я въ оковахъ», «Доридѣ», «Рѣдѣтъ облаковъ летучая гряда», «Нереида», «Дорида», «Ч***ву», «Мой другъ, забыты мной слѣды минувшихъ лѣтъ», «Умолкну скоро я», «Муза», «Діонея», «Дѣва», «Примѣты», «Земля и Море», «Красавица передъ зеркаломъ», «Алексѣеву», «Ч***ву», «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный», «Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ Морю», «Коварность», «Ночной Зефиръ» и «Подражанія корану». Обо всѣхъ этихъ пьесахъ наша рѣчь впереди; скажемъ сперва нѣсколько словъ только о «переходныхъ».

Въ переходныхъ пьесахъ Пушкинъ больше всего является счастливымъ ученикомъ (прежнихъ мастеровъ, особенно Батюшкова, — ученикомъ, побѣдившимъ своихъ учителей. Стихъ его уже лучше, чѣмъ у нихъ, и пьесы въ цѣломъ отличаются большею выдержанностію. Собственно Пушкинскій элементъ въ нихъ составляетъ элегическая грусть, преобладающая въ нихъ. Съ перваго раза замѣтно, что грусть болѣе къ лицу музѣ Пушкина, болѣе родственна ей, чѣмъ веселая и шаловливая шутовскость. Часто иная пьеса начинается у него игриво и весело, а заключается унылымъ чувствомъ, которое, какъ финальный аккордъ въ музыкальномъ сочиненіи, одинъ остается на душѣ, изглаживая въ ней всѣ предшествовавшія впечатлѣнія. Маленькое стихотвореніе «Друзьямъ» можетъ служить образцомъ такихъ пьесъ и доказательствомъ справедливости нашей мысли. Поэтъ гово-

рить о шумномъ днѣ разлуки, о буйномъ пирѣ Вакха, о кликахъ безумной юности, при громѣ чашъ и звукѣ лиръ, и о той широкой чашѣ, которая, удовлетворяя скифскую жажду, виѣчала въ свои широкіе края цѣлую бутылку, — и вдругъ эта веселая, шаловливая картина неожиданно за-ключается такою элегическою чертою:

Я пилъ и думаю сердечной
Во дни минувшіе леталъ,
И горе жизни скоротечной,
И сны любви воспоминалъ.

Но грусть Пушкина не есть сладенькое чувствованьеце нѣжной, но слабой души; это всегда грусть души мощной и крѣпкой, и тѣмъ обаятельнѣе дѣйствуетъ она на читателя, тѣмъ глубже и сильнѣе отзывается въ самыхъ сокровенныхъ тайникахъ его сердца, и тѣмъ гармоничнѣе потрясаетъ его струны. Пушкинъ никогда не расплывается въ грустномъ чувствѣ; оно всегда звенить у него, но не за-глушая гармоніи другихъ звуковъ души, и не допуская его до монотонности. Иногда, задумавшись, онъ какъ-будто вдругъ встряхиваетъ головою, какъ левъ гриввою, чтобъ отогнать отъ себя облако унынія, и мощное чувство бодрости, не изглаживая совершенно грусти, даетъ ей какой-то особенный освѣжительный и укрѣпляющій душу характеръ. Такъ и въ приведенной нами сейчасъ пьесѣ внезапное чувство мгновенной грусти тотчасъ же смѣнилось у него бодримъ и широкимъ размахомъ прояснѣвшей души:

Меня смѣшила ихъ измѣна:
И скорбь исчезла предо мной,
Какъ исчезаетъ въ чашахъ пѣна
Подъ зашипѣвшею струей.

Изъ переходныхъ пьесъ Пушкина лучшія тѣ, въ которыхъ болѣе или менѣе проглядываетъ чувство грусти, такъ что пьесы, вовсе лишенные его, отзываются какою-то прозаичностью, а при немъ и незначительныя пьесы получаютъ

значеніе. Такъ, напримѣръ, піеска «Я пережилъ мои желанья», какъ ни слаба она, невольно останавливаетъ на себѣ вниманіе читателя своимъ послѣднимъ куплетомъ:

Такъ позднимъ хладомъ пораженный,
Какъ бури слышенъ зимній свистъ.
Одинъ на вѣтвѣ обнаженной
Трепещетъ запоздалый листъ.

Сколько этой поэтической грусти, этого поэтического раздумья въ прелестномъ стихотвореніи «Гробъ Юноши»!

А онъ увялъ во цвѣтѣ лѣтъ!
И безъ него друзья пируютъ,
Другихъ ужъ полюбить успѣвъ,
Ужъ рѣдко, рѣдко именуютъ
Его въ бесѣдѣ юныхъ дѣвъ.
Изъ милыхъ женъ его любившихъ.
Одна, быть можетъ, слезы льетъ
И память радостей почившихъ
Привычной думою зоветъ...
Къ чему?...

Все окончаніе этой прекрасной пьесы, заключающее въ себѣ картину гроба юноши, дышетъ такою свѣтлою, ясною и отрадною грустью, какую знала и дала знать міру только поэтическая душа Пушкина... Пьеса «Къ Овидію» въ цѣломъ сбивается нѣсколько на старинный дидактическій тонъ посланій, но въ немъ много прекраснаго и, особенно, начиная съ стиха: «Суровый Славянинъ я слезъ не проливалъ» до стиха: «Неслися издали, какъ томный стонъ разлуки»; и лучшую сторону этого стихотворенія составляетъ его элегическій тонъ.

Изъ переходныхъ стихотвореній Пушкина слабѣйшими можно считать: «Русалку», «Черную шаль», «Сводъ неба мракомъ обложился». «Русалка» прекрасна по идеѣ, но поэтъ не совладѣлъ съ этою идеею, — и кто хочетъ понять, до какой степени прекрасна и исполнена поэзіи эта идея, тотъ долженъ видѣть превосходное произведеніе нашего дарови-

таго живописца Моллера. Въ этой картинѣ, художникъ воспользовался заимствованною имъ у поэта идеею несравненно лучше, чѣмъ самъ поэтъ. «Русалка» Пушкина отзывается юношескою незрѣлостію; «Русалка» Моллера есть богатое и роскошное созданіе зрѣлаго таланта. — «Черная Шаль» при своемъ появленіи возбудила фуроръ въ русской читающей публикѣ, но подобно «Гусару» Батюшкова, теперь какъ-то опошлилась и чрезвычайно нравится любителямъ «пѣсенниковъ». Теперь очень не рѣдкость услышать, какъ поетъ эту пьесу какой-нибудь разгульный простолюдинъ, вмѣстѣ съ пѣснію г. О. Глинки: «Вотъ мчится тройка удалая», или: «Ты не повѣришь, какъ ты мила»... «Сводъ неба мракомъ обложился» есть ни что иное, какъ отрывокъ изъ новгородской поэмы «Вадимъ», которую затѣвалъ было Пушкинъ въ своей юности, и которой суждено было остаться неоконченною. Одинъ отрывокъ помѣщенъ между «лицейскими» стихотвореніями, въ IX томѣ, подъ названіемъ «Сонъ», и Пушкинъ не хотѣлъ его печатать. Стихъ отрывка «Сводъ неба мракомъ обложился» хорошъ, но прозаиченъ. Герои, выставленные Пушкинымъ въ этомъ отрывкѣ — Славяне; одинъ старикъ, другой прекрасный юноша съ кручиною въ глазахъ—

На немъ одежда Славянина
И на бедрѣ славянской мечъ,
Славянь вотъ очи голубыя,
Вотъ ихъ и волосы златые,
Волнами падшіе до плечъ.

Старикъ—человѣкъ бывалый:

Видалъ онъ дальнія страны.
По сушѣ, по морю носился,
Во дни былые, въ дни войны
На западъ, на югъ бился
Дѣля добычу и труды
Съ суровымъ племенемъ Одена.
И передъ нимъ враговъ ряды

Бѣжали, какъ морская пѣна.
Въ часъ бури, къ чернымъ берегамъ.
Внималъ онъ радостнымъ хваламъ
И арфамъ скальдовъ изступленныхъ
И очи дѣвъ иноплеменныхъ
Красою чуждой привлекалъ.

Очевидно, что это не тѣ Славяне, которые втихомолку отъ исторіи и украдкою отъ человѣчества жили да поживали себѣ въ стѣпахъ, болотахъ и дебряхъ нынѣшней Россіи; но Славяне Карамзинскіе, которыхъ существованіе и образъ жизни не подвержены ни малѣйшему сомнѣнію только въ «Исторіи Государства Россійскаго». Изъ такихъ Славянъ нельзя было сдѣлать поэмы, потому что для поэмы нужно дѣйствительное содержаніе, и ея героями могутъ быть только дѣйствительные люди, а не ученые фантазіи и не историческія гипотезы... Кто видалъ Славянскіе мечи? Дреколья и теперь можно видѣть... Кто видалъ Славянскую боевую одежду временъ баснословнаго Вадима, или баснословнаго Гостомысла?... Лапти и сермяги можно и теперь видѣть...

«Пѣснь о Вѣщемъ Олегѣ» совсѣмъ другое дѣло: поэтъ умѣлъ набросить какую-то поэтическую туманность на эту болѣе лирическую, чѣмъ эпическую пѣсу, — туманность, которая очень гармонируетъ съ историческою отдаленностью представленнаго въ ней героя и событія, и съ неопредѣленностію глухаго преданія о нихъ. Оттого пѣса эта исполнена поэтической прелести, которую особенно возвышаетъ разлитый въ ней элегическій тонъ, и какой-то чисто русскій складъ изложенія. Пушкинъ умѣлъ сдѣлать интереснымъ даже коня Олегова, — и читатель раздѣляетъ съ Олегомъ желаніе взглянуть на кости его боеваго товарища:

Вотъ ѣдетъ могучій Олегъ со двора,
Съ нимъ Игорь и старые гости,
И видятъ: на холмъ у берега Днѣпра,
Лежатъ благородныя кости;
*Ихъ моютъ дожди, засыпаетъ ихъ пыль,
И отътеръ волнуетъ надъ ними ковыль...*

Вся пьеса эта удивительно выдержана въ тонѣ и въ содержаніи: послѣдній куплетъ удачно замыкаетъ собою поэтическій смыслъ цѣлаго и оставляетъ на душѣ читателя полное впечатлѣніе:

Ковши круговые запынясь шишатъ
На тринзѣ плачевной Олега:
Книзь Игорь и Ольга на холмѣ сидятъ;
Дружина пируетъ у брега;
Бойцы поминаютъ минувшіе дни
И битвы, гдѣ вмѣстѣ рубились они.

Нельзя того же сказать о всѣхъ переходныхъ пьесахъ Пушкина въ отношеніи къ выдержанности и цѣлостности: во многихъ изъ нихъ не чувствуешь, чтобъ онѣ были кончены на мѣстѣ, или чтобъ въ нихъ не было сказано лишняго, или чтобъ въ нихъ было сказано, чтò бы можно и должно было сказать. Этого недостатка совершенно чужды пьесы чисто Пушкинскія, и совершеннымъ отсутствіемъ въ нихъ этого недостатка Пушкинъ рѣзко отдѣляется отъ всѣхъ предшествовавшихъ ему поэтовъ.

Исчисляя пьесы Пушкина въ первой части, мы не упомянули объ одной изъ замѣчательнѣйшихъ — «Наполеонъ». Это стихотвореніе двойственно: въ нѣкоторыхъ куплетахъ его видишь Пушкина самобытнаго, а въ нѣкоторыхъ чувствуешь чтò-то переходное. Такія мысли, высказанныя такими стихами, какъ эти, могли принадлежать только великому поэту:

Надъ урной, гдѣ твой прахъ лежить,
Народовъ ненависть почилъ,
И лучъ безсмертія горитъ.

Искуплены его стяжанья
И зло воинственныхъ чудесъ
Тоскою душевною изгнанья
Подъ снѣго чуждою небесъ.
И знойный островъ заточенья
Полночный парусъ посвятить,

И путникъ слово примиренья
На ономъ камнѣ начертить,
Гдѣ, устремивъ не волны очи,
Изгнанныкъ помнилъ звукъ мечей.
И льдистый ужасъ полуночи,
И небо Франціи своей;
Гдѣ иногда въ своей пустынь,
Забывъ войну, потомство, тронъ.
Одинъ, одинъ о миломъ сынѣ
Въ изгнаньи горькомъ думалъ онъ.
Да будетъ омраченъ позоромъ
Тотъ малодушный, кто въ сей день
Безумнымъ возмутить укоромъ
Его развѣщанную тѣнь!
Хвала!... онъ русскому народу
Высокій жребій указалъ,
И міру вѣчную свободу
Изъ мрака ссылки завѣщалъ.

Но все остальное въ этой пьесѣ какъ-то рѣзко отзывается тономъ декламации и нѣсколько напряженною восторженностью, подъ которою скрывается болѣе раздраженія, чѣмъ вдохновенія. Впрочемъ, и тутъ много оригинальнаго, чтò было до Пушкина неслыхано и невидано въ русской поэзіи, какъ, напримѣръ, выраженія: «осужденный властитель, могучій баловень побѣдъ, изгнанныкъ вселенной, для котораго настаетъ потомство, обезславленная земля, своенравная воля, блистательный позоръ» и тому подобныя.

Отчасти то же можно сказать и о другомъ превосходномъ произведеніи Пушкина—«Андрей Шенье», которое помѣщено во второй части и было написано уже въ 1825 году. Пять куплетовъ, которыми начинается эта элегія, сильно отзываются декламациею, которая совсѣмъ не въ натурѣ Пушкинскаго духа и которая показываетъ, какъ долго удерживалось на немъ вліяніе воспитавшей его старой школы русской поэзіи. Конецъ этой пьесы тоже нѣсколько натянуть; но середина, отъ стиха: «Не узрю васъ, дни славы, дни блажен-

ства» до стиха: «Ты, слава, звукъ пустой» — исполнены всей очаровательности Пушкинской поэзіи.

Есть еще стихотвореніе, котораго мы съ умысломъ не поименовали, чтобы поговорить о немъ особенно: это — «Демонъ», пьеса, которая, при своемъ появленіи, поразила всѣхъ изумленіемъ по глубокости высказанной въ ней мысли и по совершенству художнической формы. Сказать ли?... Эта пьеса теперь пережила свою славу, и время изрекло надъ ней свой судъ. Есть что-то простодушно юношеское въ ея выраженіи, и теперь нельзя безъ улыбки читать этихъ, нѣкогда столь дивныхъ стиховъ:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія —
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья —
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь.

и проч. Самъ этотъ демонъ, который прекрасное звалъ мечтою, презиралъ вдохновеніе, не вѣрилъ любви и свободѣ насмѣшливо смотрѣлъ на жизнь, — самъ онъ теперь давно уже поступилъ въ разрядъ демоновъ средней руки, — и теперь совсѣмъ не нужно быть демономъ, чтобы отъ души смѣяться надъ тою любовію, тою свободою, надъ которыми онъ смѣялся. Словомъ, этотъ страшный тогда демонъ, теперь страшенъ развѣ только для слишкомъ юнаго чувства и неопытнаго ума: сердца возмужалыя и умы опытные теперь уже не страшатся и другаго демона, пострашнѣе Пушкинскаго. Но о «демонѣ» мы еще будемъ говорить.

Предлагаемая статья есть ни что иное, какъ только введеніе въ статьи собственно о Пушкинѣ. Мы имѣли въ виду показать историческую связь Пушкинской поэзіи съ поэзію

предшествовавшихъ ему мастеровъ; старались охарактеризовать Пушкина, какъ только еще ученика въ поэзіи. Предоставляемъ судить нашимъ читателямъ, до какой степени успѣли мы въ этомъ. Главный трудъ нашъ еще впереди. Многіе, можетъ-быть, недовольны, что эти статьи долго тянутся и безпрестанно прерываются статьями посторонними. Такой упрекъ былъ бы не совѣмъ основателенъ. Задуманный и начатый нами рядъ статей нисколько не принадлежитъ къ разряду обыкновенныхъ и случайныхъ журнальныхъ критикъ: это скорѣе обширная критическая исторія русской поэзіи, а такой трудъ не можетъ быть совершенъ наскоро и какъ нибудь, но требуетъ изученія, обдуманности и труда, и времени. Въ лучшихъ иностранныхъ журналахъ иногда рядъ статей объ одномъ предметѣ тянется не одинъ годъ, и публика нисколько не въ претензіи за эту медленность. Оцѣнить критически такого поэта, какъ Пушкинъ—трудъ немаловажный, тѣмъ болѣе, что о немъ мало сказано, хотя и много писано. Обыкновенно восхищались отдѣльными мѣстами и частностями, или нападали на частные недостатки,—и потому охарактеризовать особность поэзіи Пушкина, опредѣлить его значеніе, какъ поэта русскаго, показать его вліяніе на современниковъ и потомство, его историческую связь съ предшествовавшими и послѣдовавшими ему поэтами — значить предпринять трудъ совершенно новый. Какъ мы выполнимъ его—не наше дѣло судить о томъ; по крайней мѣрѣ, мы хотимъ дѣлать, что можемъ и что обязаны, взявшись за изданіе журнала. Несовершенство труда извинительно; но нѣтъ оправданій для лѣнности и равнодушія къ благороднымъ, важнымъ интересамъ и вопросамъ,—равнодушія, происходящаго или отъ невѣжества, или отъ корыстнаго разсчета, или отъ того и другаго вмѣстѣ...

У.

Въ гармоніи соперникъ мой
Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйной,
Иль иволги палѣвъ живой,
Иль ночью моря гулъ глухой,
Иль шопоть рѣчки тихоструйной.

Взглядъ на русскую критику. — Понятіе о современной критикѣ. — Исслѣдованіе паеоса поэта, какъ первая задача критики. — Паеосъ поэзіи Пушкина вообще. — Разборъ лирическихъ произведеній Пушкина.

Прежде, нежели приступимъ къ разсмотрѣнію тѣхъ сочиненій Пушкина, которыя запечатлѣны его самобытнымъ творчествомъ, почитаемъ нужнымъ изложить наше воззрѣніе на критику вообще. Доселѣ въ русской литературѣ существовало два способа критиковать. Первый состоялъ въ разборѣ частныхъ достоинствъ и недостатковъ сочиненія, изъ котораго обыкновенно выписывали лучшія или худшія мѣста, восхищались ими, или осуждали ихъ, а на цѣлое сочиненіе, на его духъ и идею не обращали никакого вниманія. Съ этимъ способомъ критики русскую литературу познакомили Карамзинъ и Макаровъ: первый—своимъ разборомъ сочиненій Богдановича, второй—сочиненій Дмитріева. Такой способъ критики, очевидно, поверхностенъ и мелоченъ, даже ложенъ, ибо если критикъ смотритъ на частности поэтического произведенія безъ отношенія ихъ къ цѣлому, то необходимо долженъ находить дурнымъ хорошее и хорошимъ дурное, смотря по произволу своего личнаго вкуса. Подобная критика могла существовать только въ эпоху стилистики, когда на сочиненія смотрѣли исключительно со стороны языка и слога, и восхищались удачною фразою, удачнымъ стихомъ,

ловкимъ звукоподражаніемъ и т. п. Теперь такая критика была бы очень легка, ибо для того, чтобъ отличить хорошіе стихи отъ слабыхъ или обыкновенныхъ, теперь не нужно слишкомъ много вкуса, а довольно навыка и литературной смѣтливости. Но какъ все въ мірѣ начинается съ начала, то и такая критика для своего времени была необходима и хороша, и въ то время не всякій могъ съ успѣхомъ за нее браться, а успѣвали въ ней только люди съ умомъ, талантомъ и знаніемъ дѣла. Съ Мерзлякова начинается новый періодъ русской критики: онъ уже хлопоталъ не объ отдѣльныхъ стихахъ и мѣстахъ, но разсматривалъ завязку и изложеніе цѣлаго сочиненія, говорилъ о духѣ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Это было значительнымъ шагомъ впередъ для русской критики, тѣмъ болѣе, что Мерзляковъ критиковалъ съ жаромъ, основательностію и замѣчательнымъ краснорѣчіемъ. Но, несмотря на то, его критика была безплодна, потому что была несвоевременна: онъ критиковалъ на основаніяхъ Баттѣ, Блера, Лагарпа, Эшенбурга, — основаніяхъ, которыя, не болѣе какъ черезъ пять лѣтъ, и въ самой Россіи сдѣлались анахронизмомъ. Съ двадцатыхъ годовъ критика русская начала предъявлять претензіи на философію и высшіе взгляды. Она уже перестала восхищаться удачными звукоподражаніями, красивымъ стихомъ, или ловкимъ выраженіемъ, но заговорила о народности, о требованіяхъ вѣка, о романтизмѣ, о творчествѣ и тому подобныхъ, дотолѣ неслыханныхъ новостяхъ. И это было также важнымъ шагомъ впередъ для русской критики, ибо если она еще и сама темно и сбивчиво понимала свои требованія, повторяемая ею съ чужаго голоса, тѣмъ не менѣе она произвела ими живую реакцію псевдо-классическому направленію литературы. Сверхъ того, она прорвала плотину авторитетства, которая держала литературу въ апатической неподвижности и идеи замѣняла именами. Такъ, напримѣръ, при всемъ умѣ, дарованіяхъ, учености и образованности, которыми обладалъ

Мерзляковъ, онъ отъ души считалъ Хераскова, Сумарокова и Петрова великими поэтами. Романтическая критика первая осмѣлилась сказать правду объ этихъ писателяхъ и столкнуться съ пьедестала ихъ глиняные кумиры, которые сейчасъ же и развалились отъ этого толчка; вѣдь глина — не мѣдь и не мраморъ! Конечно, какъ псевдо-классическая критика Мерзлякова въ своей старческой неподвижности не умѣла видѣть такой же разницы между истиннымъ поэтомъ Державинымъ и риторомъ-поэтомъ Ломоносовымъ, между огромнымъ поэтомъ Державинымъ и прозаическими стихотворцами Сумароковымъ, Петровымъ и Херасковымъ, между самобытнымъ и даровитымъ фонъ-Визинимъ и между холоднымъ заимствователемъ чужеземныхъ вдохновеній — Княжнинимъ, между народнымъ и гениальнымъ баснописцемъ Крыловымъ и даровитымъ переводчикомъ и подражателемъ Лафонтена Дмитриевымъ, — такъ же точно и мнимо-романтическая критика не замѣчала, въ запальчивости своего юношескаго одушевленія, неизмѣримой разницы между Пушкинымъ и вышедшими по слѣдамъ его блестящими и даже вовсе не блестящими талантами и талантиками, и, подобно первой, въ короткое время надѣлала, вмѣсто огромныхъ глиняныхъ кумировъ, множество фарфоровыхъ и фаянсовыхъ статуэтокъ. Но, несмотря на то, она дала просторъ уму и фантазій, освободивъ ихъ отъ Прокрустова ложа авторитета и стѣснительныхъ условленныхъ правилъ. Жизненность романтической критики болѣе всего доказывается тѣмъ, что она продолжалась менѣе десяти лѣтъ и родила изъ себя другую, болѣе строгую, хотя и не болѣе твердую и определенную критику. Передъ тридцатыми годами и особенно съ тридцатыхъ годовъ русская критика заговорила другимъ тономъ и другимъ языкомъ. Ея притязанія на философскія воззрѣнія сдѣлались настойчивѣе; она начала цитовать, кстати и некстати, не только Жанъ-Поля Рихтера, Шиллера, Канта и Шеллинга, но даже и Платона, заговорила объ эстетическихъ теоріяхъ и грозно возстала на Пушкина и его школу.

Даже собственно-романтическая критика, та самая, которая нѣсколько лѣтъ сряду провозглашала Пушкина «сѣвернымъ Байрономъ» (какъ-будто бы англійскій Байронъ родился на югѣ, а не на сѣверѣ Европы) и «представителемъ современнаго человѣчества», даже и она отложила отъ Пушкина и объявила его чуждымъ «высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ вѣка»... Несмотря на смѣшную сторону этого факта въ немъ нельзя не признать большого шага впередъ и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности. Смѣшная же сторона состоитъ въ неопредѣленности и шаткости требованій, которыя эта критика предъявляла съ такою суровостью и профессорскою важностію. Тогда ожидали отъ поэта не того, для чего былъ онъ призванъ своею природою и требованіями времени, а подтвержденія и оправданія теоріи, которую составилъ себѣ господинъ-критикъ,—и если творенія поэта не улегались плотно на Прокрустовомъ ложѣ теоріи критика, критикъ или вытягивалъ ихъ за ноги, или обрубалъ имъ ноги (даже и голову—смотря по обстоятельствамъ), или, наконецъ, объявлялъ, что поэтъ ничтоженъ, малъ, чуждъ высшихъ взглядовъ и отсталъ отъ вѣка. Такъ одинъ «ученый» критикъ тридцатыхъ годовъ, сравнивая Пушкина съ Байрономъ, нашель, что герои поэмъ Пушкина относятся къ героямъ поэмъ Байрона, какъ мелкіе бѣсенята къ сатанѣ и что, ergo, Пушкинъ никуда не годится. Этому ученому критику и въ голову не входило, что Пушкинъ такъ же точно не былъ обязанъ быть Байрономъ, какъ Байронъ—Гомеромъ, и что Пушкина должно разсматривать, какъ Пушкина, а не какъ Байрона. Обманутому внѣшнимъ сходствомъ формы поэмъ Байрона, этому ученому критику еще менѣе входило въ голову, что между Пушкинымъ и Байрономъ не было ничего общаго въ направленіи и духѣ таланта и что, слѣдовательно, тутъ неумѣстно было какое-бы то ни было сравненіе. Другой критикъ, не ученый, но за то съ высшими взглядами, объявилъ Пушкину опалу за то, что тотъ отсталъ отъ вѣка, т. е. отъ

туманно-неопредѣленныхъ теорій критика. Наконецъ, явился вскорѣ послѣ того третій критикъ, изъ ученыхъ, который о какомъ бы русскомъ поэтѣ ни заговорилъ, безпрестанно обращался къ итальянскимъ поэтамъ, съ которыми у русскихъ поэтовъ ничего общаго не было и быть не могло. Такимъ образомъ, если всеудо-классическая критика была ложна оттого, что основывалась только на старыхъ авторитетахъ, ничего не зная о явленіи и существованіи новыхъ, а мниморомантическая критика была слаба оттого, что, за неимѣніемъ времени, слишкомъ поверхностно, больше по наслышкѣ, чѣмъ изученіемъ, познакомилась съ новыми авторитетами,—то критика тридцатыхъ годовъ была неосновательна отъ избытка эклектического знакомства со множествомъ теорій и образцовъ.

Гдѣ же безопасный проходъ между Сциллою безсистемности и Харибдою теорій? Судите поэта безъ всякихъ теорій,—ваша критика будетъ отзываться произволомъ личнаго вкуса, личнаго мнѣнія, которое важно для однихъ васъ, а для другихъ—не законъ; судите поэта по какой-нибудь теоріи,—вы разовьете, и, можетъ быть, очень хорошо, свою теорію, можетъ-быть, очень хорошую, но не покажете намъ разбираемаго вами поэта въ его истинномъ свѣтѣ. Какой же путь должна избрать критика нашего времени?

Гёте гдѣ-то сказалъ: «Какого читателя желаю я?—такого, который бы меня, себя и цѣлый міръ забылъ и жилъ бы только въ книгѣ моей». Нѣкоторые нѣмецкіе аристархи оперлись на это выраженіе великаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эстетической критики. И однакожь, односторонность Гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго: принявъ его на вѣру и безусловно, критика только и дѣлала бы, что кланялась въ поясъ то тому, то другому поэту, ибо, такъ какъ все имѣетъ свою причину и основаніе—даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то, если критикъ будетъ смотрѣть на произ-

веденіе поэта безъ всякаго отношенія къ его личности, забывая о самомъ себѣ и о цѣломъ мірѣ, — естественно, что творенія этого поэта — будь они только ознаменованы большою или меньшею степенью таланта — явятся непогрѣшительными и достойными безусловной похвалы. При нѣмецкой апатической терпимости ко всему, что бываетъ и дѣлается на бѣломъ свѣтѣ, при нѣмецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не можетъ сдѣлаться ни чѣмъ, — мысль, высказанная Гёте, поставляетъ искусство цѣлью самому себѣ и черезъ это самое освобождаетъ его отъ всякаго соотношенія съ жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Дѣйствительно, нѣмецкая критика, при разсматриваніи произведеній искусства, всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно возвращается въ тѣсную сферу эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобъ обращаться изрѣдка къ характеристикѣ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь — не обращаетъ никакого вниманія. И оттого, жизнь давно уже оставила тѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождаютъ такой критикѣ! Но съ другой стороны, мысль Гёте имѣетъ глубокой смыслъ, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый актъ въ процессѣ критики. Чтобъ разбирать критически писателя, прежде всего должно изучить его. Если вы съ кѣмъ нибудь горячо спорите о важномъ предметѣ, для васъ ничего не можетъ быть больнѣе, какъ если противникъ вашъ, не давая себѣ труда вслушиваться въ ваши слова и взвѣшивать ваши доводы, будетъ придавать имъ другое значеніе и, слѣдовательно отвѣчать вамъ не на ваши, а на свои собственные мысли, справедливости которыхъ и не думали вы поддерживать. Если вы хотите, чтобъ съ вами спорили и понимали васъ, какъ должно, то и сами должны быть добросовѣстно внимательны къ своему противнику и принимать его слова и доказательства именно въ томъ значеніи, въ какомъ

онъ обращаетъ ихъ къ вамъ. Но еще добросовѣстнѣе и строже должно прилагаться это правило къ критикѣ: разбираемый вами поэтъ, какъ лицо судимое, часто безотвѣтное, не можетъ въ минуту вашего кривотолкованія остановить васъ и доказать вамъ, что вы не такъ его поняли. Сверхъ того, все имѣетъ свою причину и свое основаніе, а человѣкъ, по самолюбію, или по пристрастію къ извѣстнымъ увлекшимъ его идеямъ, любитъ всему давать свои причины и основанія, которыя потому именно и покажутся ему истинными, что онѣ — его, а не чьи нибудь. Этой слабости подвержены не одни только ограниченные люди и невѣжды, но и умы сильные, широкіе, особенно если они нетерпѣливы и не хладнокровно пытливы. Иногда человѣку мѣшаетъ видѣть вещи въ настоящемъ ихъ свѣтѣ даже то, что составляетъ его истинное достоинство. Что напримѣръ, выше и почтеннѣе въ человѣкѣ, какъ не способность глубокаго убѣжденія? — А между тѣмъ, она то и заставляетъ человѣка враждебно смотрѣть на всякую мысль, противорѣчащую его убѣжденію, — и часто онъ тѣмъ упрямѣе отвергаетъ ея истинность, чѣмъ одностороннѣе его убѣжденіе, которое такъ тѣсно слилось со всѣмъ его существомъ, что онъ не въ состояніи отдѣлится отъ себя. И, однакожь, всякое изслѣдованіе непремѣнно требуетъ такого хладнокровія и безпристрастія, которыя возможны человѣку только при условіи полнаго отрицанія своей личности на время изслѣдованія. Поэтому, чтобъ произнести сужденіе о какомъ нибудь поэтѣ, тѣмъ болѣе о великомъ, должно сперва изучить его, а для этого должно войти въ міръ его творчества не иначе, какъ забывъ его, себя и все на свѣтѣ. Въ этотъ міръ не должно вносить никакихъ требованій, никакихъ заранѣе приготовленныхъ понятій и вопросовъ, никакихъ страстей, а тѣмъ менѣе — пристрастій, никакихъ убѣжденій, а тѣмъ менѣе — предубѣжденій. Надо совершенно отказаться отъ роли судьи и актѣра, и ограничиться только ролью посторонняго любопытнаго свидѣтеля и зрителя. Такъ точно, если вы възъ-

жаете въ чужую землю съ цѣлью изучить ея нравы и обычаи, вы должны забыть на время, что вы гражданинъ своей земли, и сдѣлаться совершеннымъ космополитомъ. Иначе, обычаи этой чуждой вамъ страны будете вы оцѣнять на курсъ обычаевъ вашего отечества и, естественно, найдете въ ней хорошимъ только то, что сходно съ обычаями вашего отечества, а все противоположное или не похожее на нихъ безусловно признаете дурнымъ. Всѣ народы потому только и образуютъ свою жизнь одинъ общій аккордъ всемірно-исторической жизни человѣчества, что каждый изъ нихъ представляетъ собою особенный звукъ въ этомъ аккордѣ, ибо изъ совершенно одинаковыхъ звуковъ не можетъ выйдти аккордъ. Какъ самое худшее, такъ и самое лучшее въ каждомъ народѣ есть то, что принадлежитъ только одному ему и что противоположно худшему и лучшему, или, по крайней мѣрѣ, не сходно съ худшимъ и лучшимъ всякаго другаго народа. Общее выше частнаго, безусловное выше индивидуальнаго, разумъ выше личности: это истина несомнѣнная, противъ которой нечего сказать; но вѣдь общее выражается въ частномъ, безусловное—въ индивидуальномъ, а разумъ—въ личности, и безъ частнаго индивидуальнаго и личнаго, общее безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая дѣйствительность. Творческая дѣятельность поэта представляетъ собою также особый, цѣльный, замкнутый въ самомъ себѣ міръ, который держится на своихъ законахъ, имѣетъ свои причины и свои основы, требующія, чтобъ ихъ прежде всего приняли за то, что онѣ суть на самомъ дѣлѣ, а потомъ уже судили о нихъ. Всѣ произведенія поэта, какъ бы ни были разнообразны и по содержанію, и по формѣ, имѣютъ общую всѣмъ имъ фізіономію, запечатлѣны только имъ свойственною особенностію, ибо всѣ они истекли изъ одной личности, изъ единаго и нераздѣльнаго я. Такимъ образомъ, приступая къ изученію поэта, прежде всего должно уловить въ многообразіи и разнообразіи его произведеній

тайну его личности, т. е. тѣ особенности его духа, которыя принадлежать только ему одному. Это, впрочемъ, значить не то, чтобъ эти особенности были чѣмъ-то частнымъ, исключительнымъ, чуждымъ для остальныхъ людей: это значить, что все общее человѣчеству никогда не является въ одномъ человѣкѣ, но каждый человѣкъ, въ ббльшей или меньшей мѣрѣ, рождается для того, чтобъ своею личностію осуществить одну изъ безконечно разнообразныхъ сторонъ необъемлемаго, какъ міръ и вѣчность, духа человѣческаго. Въ этой миссіи вѣчной инкарнаціи заключается все достоинство, вся важность личности: ибо она есть осуществленіе, реализація, дѣйствительность духа. Личность одна не можетъ всего объять и потому, будучи этимъ, она уже не есть то или это; представляя собою нѣчто, она уже есть исключеніе изъ всего. Личности безчисленны и разнообразны, какъ стороны духа человѣческаго; каждая существуетъ потому, что необходима, слѣдовательно, каждая имѣетъ законное право на существованіе. Поэтому ничего нѣтъ несправедливѣе, какъ мѣрять чью-либо личность аршиномъ другой личности, которая всегда или противоположна или чѣмъ-нибудь разнится отъ нея. Есть въ мірѣ люди хладнокровные, люди пылкіе и опрометчивые; есть люди хладнокровные и осторожные: пылкій скажетъ ложь, если скажетъ, что хладнокровные люди излишни въ мірѣ и что лучше было бы, еслибъ ихъ не было; точно такъ же ложно будетъ подобное сужденіе и хладнокровнаго о пылкомъ.

Итакъ, источникъ творческой дѣятельности поэта есть его духъ, выражающійся въ его личности, и перваго объясненія духа и характера его произведеній должно искать въ его личности. А это возможно только при строгомъ соблюденіи требованія, которое дѣлаетъ Гёте отъ своего читателя. Всякая личность есть истина, въ большемъ или меньшемъ объемѣ, а истина требуетъ изслѣдованія спокойнаго и безпристрастнаго, требуетъ, чтобъ къ ея изслѣдованію приступали съ уваженіемъ къ ней, по крайней мѣрѣ, безъ принятаго зара-

нѣе рѣшенія найдти ее ложью. Но, скажутъ, если всякая личность есть истина, то и всякій поэтъ, какъ бы ни былъ ничтоженъ, долженъ быть изучаеми по мысли Гёте? Ничуть не бывало! Во-первыхъ, не всякій, кто пишетъ стихи, выражаетъ свою личность: выражаетъ ее тотъ, кто родился поэтомъ; во-вторыхъ, не всякая личность, но только замѣчательная, стоитъ изученія; въ третьихъ, не всякій человѣкъ есть личность, но многіе люди, по своей безличности, походятъ на плохо оттиснутую гравюру, въ которой, какъ ни бейся, не отличишь дерева отъ копны сѣна, лошади отъ дома, а деревяннаго чурбана отъ человѣка. Природа ли производитъ, или воспитаніе и жизнь дѣлаетъ ихъ такими,—это не касается до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы насъ, еслибъ мы вздумали объ этомъ разсуждать; намъ довольно только сказать, что есть на свѣтѣ безличныя личности, что ихъ, къ несчастію, гораздо больше, чѣмъ личныхъ, и что, чѣмъ личность поэта глубже и сильнѣе, тѣмъ онъ болѣе поэтъ. Приступить съ такими важными спорами къ суду надъ маленькимъ поэтомъ—все равно, что описать жизнь какого нибудь столоначальника въ земскомъ судѣ слогомъ Плутарха, автора біографій Александра Македонскаго, Цезаря и другихъ великихъ людей древности, или сѣвъ въ лодку, чтобъ покататься по болоту, поставить передъ собою компасъ и разложить морскую карту. Но тѣмъ болѣе должно остерегаться приступать безъ особеннаго вниманія къ изученію великаго поэта, въ твореніяхъ котораго отражается великая личность. Если вы изучили ее съ строгимъ безпристрастіемъ и поняли вѣрно, вы уже не носитесь, по волѣ вѣтра, въ воздушныхъ пространствахъ своей прихотливой фантазіи, но стоите твердою ногою на прочной почвѣ; вы уже не требуете отъ поэта того, чего бы хотѣлось вамъ, но оцѣняете то, что онъ самъ вамъ далъ; вы не смѣшиваете съ нимъ себя или другія личности, но видите его самого такимъ, какимъ онъ есть; не навязываете ему своихъ убѣжденій, или предубѣжде-

ній, но взвѣшиваете его идеи, его понятія. Вы сроднились съ нимъ, потому что изучили его; вы полюбили его, потому что поняли. Вы знаете, почему онъ шель этимъ путемъ, а не другимъ; вы не объявите его ничтожнымъ, потому что въ немъ нѣтъ ничего общаго съ Байрономъ, или другимъ любимымъ вами поэтомъ; вы не скажете о немъ, что онъ отсталъ отъ вѣка, потому что не читаетъ вашего журнала и не вѣритъ вашимъ заветнымъ, но и сбивчивымъ, туманнымъ и неопредѣленнымъ предчувствіямъ, которыя вы смѣло выдаете за идеи и высшіе взгляды. Нѣтъ, вы будете судить о немъ на основаніи его личности, будете отъ него требовать только того, что могъ бы онъ сдѣлать на основаніи уже сдѣланнаго имъ. Когда вы кончите его изученіе, проникните въ сокровенный духъ его поэзіи, уловите тайну его личности,— тогда правило Гёте, что читатель поэта долженъ забыть читаемаго имъ поэта, самого себя и весь міръ, вы имѣете право откинуть прочь, какъ уже лишнее и ненужное. Ваша личность снова вступаетъ въ свои права и вы изъ ученика дѣлаетесь судьей. Вы требуете отъ поэта, чтобъ онъ былъ вѣренъ не вами предписанному ему направленію, но своему собственному, чтобъ онъ не противорѣчилъ себѣ самому, своей собственной натурѣ, не уклонялся отъ своего призванія (ибо вы поняли его призваніе изъ его же собственныхъ твореній, а не навязали ему его отъ себя), словомъ, вы требуете отъ него той внутренней послѣдовательности, которая составляетъ необходимое условіе всякой разумной дѣятельности. И если вы находите, что онъ сдѣлалъ меньше, чѣмъ бы могъ сдѣлать, меньше, нежели сколько самъ даль право требовать отъ него, что онъ измѣнялъ стремленію собственнаго духа, вы смѣло изречете ему свой приговоръ, и это, однако-жь, не помѣшаетъ вамъ отдать ему полную справедливость въ томъ, что составляетъ его неотъемлемую заслугу. Вы отличите въ его твореніяхъ недостатки произвольные отъ недостатковъ, которые тѣсно соединены съ

достоинствами его поэзии и составляют ихъ оборотную сторону. При этомъ, вы строго вникните въ обстоятельства, которыя независимо отъ его воли, не могли не имѣть большаго или меньшаго вліянія на его дѣятельность и больше всего на духъ времени, въ которое онъ явился, на нравственное состояніе, въ которомъ онъ засталъ общество, и покажете, шелъ ли онъ наравнѣ съ своимъ временемъ, былъ ли его хорегомъ, или только старался подпѣвать подъ его пѣсни. Обстоятельства его частной жизни только тогда войдутъ въ ваше разсмотрѣніе, когда они будутъ въ живой связи съ его твореніями. Есть поэты, которыхъ жизнь тѣсно связана съ ихъ поэзіею, и есть поэты, которыхъ важна только нравственная жизнь. Этого различія, вытекающаго изъ свойства личности, не должно терять изъ вида. Гёте также нельзя мѣрять на мѣрку Байрона, какъ и Байрона нельзя мѣрять на мѣрку Гёте: это были натуры діаметрально противоположныя одна другой, и кто бы осудилъ Гёте, что онъ жилъ и писалъ не въ такомъ духѣ, какъ Байронъ, или наоборотъ, тотъ сказалъ бы величайшую нелѣпость. Это все равно, что отъ могучаго слона требовать быстроты и ловкости тигра, или наоборотъ; и слонъ и тигръ, каждый по своему хорошъ и необходимъ въ цѣпи природы. Натуры Гёте и Шиллера были діаметрально противоположны одна отъ другой, и однако-жь самая эта противоположность была причиною и основною взаимной дружбы и взаимнаго уваженія обоихъ великихъ поэтовъ: каждый изъ нихъ поклонялся въ другомъ тому, чего не находилъ въ себѣ. Задача критики состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобъ рѣшить, почему Гёте жилъ и писалъ не такъ, какъ жилъ и писалъ Шиллеръ; но въ томъ, почему Гёте жилъ и писалъ, какъ Гёте, а не какъ кто нибудь другой...

Но какимъ же образомъ уловить тайну личности поэта въ его твореніяхъ? Чтò должно дѣлать для этого при изученіи произведеній его?

Изучить поэта значитъ не только ознакомиться, черезъ

усиленное и повторяемое чтение, съ его произведеніями, но и перечувствовать, пережить ихъ. Всякій истинный поэтъ, на какой бы ступени художественнаго достоинства ни стоялъ, а тѣмъ болѣе всякій великій поэтъ никогда и ничего не выдумываетъ, но облакаетъ въ живыя формы обще-человѣческое. И потому, въ созданіяхъ поэта, люди, восхищающіеся ими, всегда находятъ что-то давно знакомое имъ, что-то свое собственное, что они сами чувствовали, или только смутно и неопредѣленно предощущали, или о чемъ мыслили, но чему не могли дать яснаго образа, чему не могли найти слова, и что, слѣдовательно, поэтъ умѣлъ только выразить. Чѣмъ выше поэтъ, т. е. чѣмъ обще-человѣченнѣе содержаніе его поэзіи, тѣмъ проще его созданія, такъ что читатель удивляется, какъ ему самому не вошло въ голову создать что-нибудь подобное: вѣдь это такъ просто и легко! Сочиненія, въ которыхъ люди ничего не узнаютъ своего и въ которыхъ все принадлежитъ поэту, не заслуживаютъ никакого вниманія, какъ пустяки. На этой-то общности, по которой созданіе поэта столько же принадлежитъ всему человѣчеству, сколько и ему самому,—на этой-то общности и основывается возможность всѣмъ и каждому, въ комъ есть человѣческое (т. е. духовное, разумное), переживать произведенія художника, изучая ихъ. Пережить творенія поэта значитъ переносить, перечувствовать въ душѣ своей все богатство, всю глубину ихъ содержанія, переболѣть ихъ болѣзнями, перестрадать ихъ скорбями, переблаженствовать ихъ радостью, ихъ торжествомъ, ихъ надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи нѣкоторое время подъ его исключительнымъ вліяніемъ, не полюбивъ смотрѣть его глазами, слышать его слухомъ, говорить его языкомъ. Нельзя изучить Байрона, не бывъ нѣкоторое время байронистомъ въ душѣ, Гёте—гёттистомъ, Шиллера—шиллеристомъ, и т. д. Конечно, такое добровольное подчиненіе чуждому вліянію есть еще только экстатическое увлеченіе поэтомъ, а не спокойное,

строгое и истинное его пониманіе, — и до этого пониманія можно дойти только черезъ переходъ изъ восторженнаго увлеченія къ хладнокровно спокойному созерцанію; но это увлеченіе поэтомъ есть первый и необходимый моментъ въ процессѣ его изученія. И потому, нельзя въ одно время изучить болѣе одного поэта, нельзя на это время не считать его выше всѣхъ другихъ поэтовъ, нельзя не утратить своей способности понимать произведенія другихъ поэтовъ и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до такой степени обойметъ и наполнитъ собою человѣка, что сдѣлается костью отъ костей его, плотью отъ плоти его, — въ душѣ человѣка уже нѣтъ мѣста для другой мысли!

Обще-человѣческое безгранично только въ своей идеѣ; но, осуществляясь, оно принимаетъ извѣстный характеръ, извѣстный колоритъ, такъ сказать. Оттого, хотя всѣ великіе поэты выражали, въ своихъ созданіяхъ, обще-человѣческое, однако - жь 'творенія каждаго изъ нихъ отличаются своимъ собственнымъ характеромъ. Великъ Шекспиръ и великъ Байронъ; но рѣзкая черта отличаетъ творенія одного отъ твореній другаго. Чѣмъ выше поэтъ, тѣмъ оригинальнѣе міръ его творчества, — и не только великіе, даже просто замѣчательные поэты тѣмъ и отличаются отъ обыкновенныхъ, что ихъ поэтическая дѣятельность ознаменована печатью самобытнаго и оригинальнаго характера. Въ этой характерной особности заключается тайна ихъ личности и тайна ихъ поэзіи. Уловить и опредѣлить сущность этой особности значитъ найти ключъ къ тайнѣ личности и поэзіи поэта. Въ чемъ же должно искать этого ключа?

Каждое поэтическое произведеніе есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Еслибъ мы допустили, что эта мысль есть только результатъ дѣятельности его разсудка, мы убили бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ дѣлѣ, что мудренаго было бы сдѣлаться поэтомъ, и кто бы не въ состояніи былъ сдѣлаться поэтомъ

по нуждѣ, по выгодѣ, или по прихоти, еслибъ для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее въ придуманную же форму? Нѣтъ, не такъ это дѣлается поэтами по натурѣ и призванію! У того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята, — произведеніе все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, — и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ cadaго въ выраженной имъ мысли, не смотря на всю ея правдивость! Но между тѣмъ, такъ-то именно и понимаетъ толпа искусство, этого-то именно и требуетъ она отъ поэтовъ! Придумайте ей, на досугѣ, мысль лучше, да потомъ и обдѣлайте ее въ какой-нибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото! Вотъ и дѣло съ концомъ! Нѣтъ, не такія мысли и не такъ овладѣваютъ поэтомъ и бывають живыми зародышами живыхъ созданій! Искусство не допускаетъ къ себѣ отвлеченныхъ философскихъ, а тѣмъ менѣе разсудочныхъ идей: оно допускаетъ только идеи поэтическія; а поэтическая идея — это не силлогизмъ, не догматъ, не правило, это — живая страсть, это — паѳосъ... Чтѣ такое паѳосъ? — Творчество — не забава, и художественное произведеніе — не плодъ досуга, или прихоти; оно стѣбитъ художнику труда: онъ самъ не знаетъ, какъ западаетъ въ его душу зародышъ новаго произведенія; онъ носитъ и вынашиваетъ въ себѣ зерно поэтической мысли, какъ носить и вынашиваетъ мать младенца въ утробѣ своей; процессъ творчества имѣетъ аналогію съ процессомъ дѣторожденія и не чуждъ мукъ, разумѣется, духовныхъ, этого физическаго акта. И потому, если поэтъ рѣшится на трудъ и подвигъ творчества, значить, что его къ этому движетъ, стремится кака-то могучая сила, кака-то непобѣдимая страсть. Эта сила, эта страсть — паѳосъ. Въ паѳосѣ поэтъ является влюбленнымъ въ идею, какъ въ прекрасное, живое существо, страстно проникнутымъ ею, — и онъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ и не какою-либо одною

способностью своей души, но всею полнотою и цѣлостью своего нравственнаго бытія,— потому идея является въ его произведеніи, не отвлеченною мыслью, не мертвою формою, а живымъ созданиемъ, въ которомъ живая красота формы свидѣтельствуесть о пребываніи въ ней божественной идеи, и въ которой нѣтъ черты, свидѣтельствующей о спивкѣ, или спайкѣ,— нѣтъ границы между идеею и формою, но та и другая является цѣлымъ и единымъ органическимъ созданиемъ. Идеи истекають изъ разума; но живое творить и рождаетъ не разумъ, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеею отвлеченною и поэтической: первая плодъ ума, вторая — плодъ любви, какъ страсти. Но отчего же, скажутъ, называть это паэсомъ, а не страстью?— Оттого, что слово «страсть» заключаетъ въ себѣ понятіе болѣе чувственное, тогда какъ слово «паэсъ» заключаетъ въ себѣ понятіе болѣе нравственное. Въ страсти много индивидуальнаго, личнаго, своекорыстнаго, темнаго; въ ней можетъ быть даже низкое и подлое, потому что можно питать страсть не только къ женщинѣ, но и къ женщинамъ, не только въ славѣ, но и къ почестямъ, можно питать страсть къ деньгамъ, къ вину, къ гастрономіи. Въ страсти много чисто чувственнаго, кровнаго, нервическаго, тѣлеснаго, земнаго. Подъ «паэсомъ» разумѣется тоже страсть, и притомъ соединенная съ волненіемъ крови, съ потрясеніемъ всей нервной системы, какъ и всякая другая страсть; но паэсъ всегда есть страсть, возжигаемая въ душѣ человѣка идеею и всегда стремящаяся къ идеѣ, слѣдовательно, страсть чисто духовная, нравственная, небесная. Паэсъ простѣе умственное постиженіе идеи превращаетъ въ любовь къ идеѣ, полную энергіи и страстнаго стремленія. Въ философіи идея является безплотною; черезъ паэсъ она превращается въ тѣло, въ дѣйствительный фактъ, въ живое созданіе. Отъ слова паэсъ или патосъ (pathos) происходитъ слово патетическій, наиболѣе употребляемое въ отношеніи къ драматической поэзіи,

какъ къ наиболѣе исполненной паэоса по своей сущности. Но мы лучше объяснимъ значеніе паэоса указаніемъ на него въ великихъ произведеніяхъ искусства.

Паэось Шекспировой драмы «Ромео и Джульета» составляетъ идея любви,—и потому пламенными волнами, сверкающими яркимъ свѣтомъ звѣздъ, льются изъ устъ любовниковъ восторженные патетическія рѣчи... Это паэось любви, потому, что въ лирическихъ монологахъ Ромео и Джульеты видно не одно только любованіе другъ другомъ, но и торжественное, гордое, исполненное упоенія, признаніе любви, какъ божественнаго чувства. Въ тѣхъ монологахъ Ромео и Джульеты, когда ихъ любви начало угрожать несчастіе, бурнымъ потокомъ изливается энергія раздраженнаго чувства, вдругъ встрѣтившаго препятствіе своему вольному и широкому разливу.—Паэось «Гамлета» составляетъ борьба негодованія на порокъ и преступленіе съ безсиліемъ вступить съ ними въ открытый и отчаянный бой, какъ того требуетъ сознаніе долга. Гамлетъ въ покойномъ королѣ страстно любилъ отца и высоко уважалъ великаго человѣка; — этого король въроломно, измѣннически убить — и кѣмъ-же?—шуткомъ и пьяницею, человѣкомъ бездушнымъ и подлымъ, который укралъ у своего роднаго брата и корону, и жизнь, и честь его жены, Гамлетовой матери, которая, по ничтожеству своего характера, дѣлать съ убійцею своего царя и брата, а ея мужа, несправедливо добытую власть и оскверненное прелюбодѣніемъ ложе!... Сколько причинъ для Гамлета мстить неумолимо, страшно, за поруганное право, за грѣхъ цареубійства, и братоубійства, за порокъ матери, за украденную подъ полою корону, за добродѣтель, за величіе, за себя самого!... Онъ знаетъ, что ему должно дѣлать, на что его вызвала судьба,—и онъ робѣетъ предстоящаго подвига, блѣднѣетъ страшнаго вызова, колеблется и только говорить, вмѣсто того, чтобы дѣлать въ своей позорной нерѣшительности. Но если слаба его воля, то душа его столько же велика, сколько и чиста.

Онъ это сознаеть, — и съ какою горечью, съ какою страстью, высказывается его презрѣніе къ самому себѣ въ этихъ большихъ монологахъ, которые, тотчасъ, какъ онъ остается одинъ и сдерживаемое имъ доселѣ чувство получаетъ свободу, вырываются изъ него, словно огромная рѣка, скинувшая съ себя вешній ледъ и затопляющая окрестныя поля... Въ этихъ патетическихъ монологахъ выказывается весь паѳосъ этой трагедіи, выступаетъ наружу та внутренняя эксцентрическая сила, которая заставила поэта взяться за перо, чтобъ сложить съ души своей тяготившее ее бремя... Такихъ примѣровъ можно было бы привести много, но для объясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, каждое поэтическое произведеніе должно быть плодомъ паѳоса, должно быть проникнуто имъ. Безъ паѳоса нельзя понять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему силу и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочиненіе. Поэтому выраженія: «въ этомъ произведеніи есть идея, а въ этомъ нѣтъ идеи», не совсѣмъ точны и опредѣленны. Въмѣсто этого должно говорить: «въ чемъ состоитъ паѳосъ этого произведенія?» или «въ этомъ произведеніи есть паѳосъ, а въ этомъ нѣтъ». Это будетъ гораздо опредѣленнѣе и точнѣе: потому что многіе ошибочно принимаютъ за идею то, что можетъ быть идеею вездѣ, кромѣ произведенія, гдѣ ее думаютъ видѣть, и гдѣ она въ самомъ-то дѣлѣ, является просто резонёрствомъ, кое-какъ прикрытымъ шивными лохмотьями бѣдной формы, изъ подъ которой такъ и свозить его нагота. Паѳосъ — другое дѣло. Надо быть совершенно лишеннымъ всякаго эстетическаго такта, чтобъ увидѣть паѳосъ въ произведеніи холодномъ, мертвомъ, въ которомъ идея съ формою слиты какъ масло съ водою, или сшиты на живую нитку бѣлыми стежками.

Какъ ни многочисленны, какъ ни разнообразны созданія великаго поэта, но каждое изъ нихъ живетъ своею жизнью, а потому и имѣетъ свой паѳосъ. Тѣмъ не менѣе весь міръ

творчества поэта, вся полнота его поэтической дѣятельности тоже имѣетъ свой единый паѳосъ, къ которому паѳосъ каждаго отдѣльнаго произведенія относится какъ часть къ цѣлому, какъ оттънокъ, видоизмѣненіе главной идеи, какъ одна изъ ея безчисленныхъ сторонъ. И это относится не къ однимъ одностороннимъ поэтамъ, каковъ былъ, напр., Байронъ, но также и къ такимъ, чьихъ произведенія удивляютъ своею многосторонностію и многообразіемъ направленій, каковъ, напр., Шекспиръ. И это очень естественно: всякая личность единична; у ней можетъ быть много интересовъ и направленій, но всегда подъ преобладающимъ вліяніемъ одного главнаго; а такъ какъ личность есть живой и непосредственный источникъ творческой дѣятельности, то и всѣ произведенія поэта должны быть запечатлѣны единымъ духомъ, проникнуты единымъ паѳосомъ. И вотъ этотъ-то паѳосъ, разлитый въ полнотѣ творческой дѣятельности поэта, есть ключъ къ его личности и къ его поэзіи. Первымъ дѣломъ, первую задачу критика должна быть разгадка, въ чемъ состоитъ паѳосъ произведеній поэта, котораго взялся онъ быть изъяснителемъ и оцѣнщикомъ. Безъ этого онъ можетъ раскрыть нѣкоторыя частныя красоты, или частныя недостатки, въ произведеніяхъ поэта, наговорить много хорошаго а проросъ къ нимъ; но значеніе поэта и сущность его поэзіи останутся для него такъ же тайною, какъ и для читателей, которые думали бы найти въ его критикѣ разрѣшеніе этой тайны. Сверхъ того, онъ рискуетъ быть или пристрастнымъ хвалителемъ, или, что одно и то же, пристрастнымъ порицателемъ поэта, приписать ему достоинства и недостатки, чьихъ въ немъ нѣтъ, или не замѣтить тѣхъ, которые въ немъ есть. Но главное—онъ всегда ошибется въ общемъ выводѣ своихъ изслѣдованій о поэтѣ. Именно такимъ образомъ грѣшила противъ поэтовъ русская критика тридцатыхъ годовъ. Такъ, наприм., одинъ критикъ того времени поставилъ въ величайшую вину поэзіи Жуковскаго то, что она совершенно лишена народ-

ности. Еслибъ онъ понялъ, что паэось поэзіи Жуковскаго есть романтизмъ — плодъ жизни западной Европы въ средніе вѣка и, слѣдовательно, элементъ, котораго совершенно чужда русская народность, — онъ не сталъ бы нападать на знаменитаго поэта за то, что составляетъ его величайшую заслугу.

Говоря о такомъ многостороннемъ и разнообразномъ поэтѣ, какъ Пушкинъ, нельзя не обращать вниманія на частности, нельзя не указывать въ особенности на то или другое даже изъ мелкихъ его стихотвореній, и тѣмъ менѣе можно не говорить отдѣльно о каждой изъ большихъ его пьесъ; нельзя также не дѣлать изъ него бѣльшихъ или меньшихъ выписокъ; но, ограничившись только этимъ, критикъ не далеко бы ушелъ. Прежде всего нуженъ взглядъ общій не на отдѣльныя пьесы, а на всю поэзію Пушкина, какъ на особый и цѣлый міръ творчества. Этотъ общій взглядъ будетъ, въ лабиринтѣ разнообразныхъ и многочисленныхъ твореній поэта, ариадниною нитью и для критика, и для его читателей; при помощи этого взгляда сдѣлаются понятными и всѣ частности, и не будетъ нужды обращать вниманія на каждую изъ нихъ, а только на главнѣйшія. Разумѣется, этотъ общій взглядъ долженъ быть основанъ на вѣрномъ уразумѣніи паэоса поэта. Но какъ объяснить и опредѣлить паэось — предварительно-ли это сдѣлать, такъ чтобъ указаніями на отдѣльныя пьесы только подтверждать свою мысль или начать аналитически и изъ разбора частныхъ дойти до опредѣленія паэоса? Мы думаемъ, что первое лучше, ибо творенія Пушкина такъ извѣстны всѣмъ и каждому, что можно говорить объ общемъ значеніи его поэзіи, не боясь не быть понятнымъ. Притомъ же, наше дѣло — раскрыть передъ читателями не процессъ нашего изученія Пушкина, а оправдать результатъ этого изученія.

Много и многими было писано о Пушкинѣ. Всѣ его сочиненія не составляютъ и сотой доли порожденныхъ ими печатныхъ толковъ. Одни споры классиковъ съ романтиками

за «Руслана и Людмилу» составили бы порядочную книгу, еслибы ихъ извлечь изъ тогдашнихъ журналовъ и издать вмѣстѣ. Но это было бы интересно только какъ историческій фактъ литературной образованности и литературныхъ нравовъ того времени,—фактъ, узнавъ который, нельзя не воскликнуть:

Свѣжо преданіе, а вѣрится съ трудомъ!

И таковы всѣ толки нашихъ аристарховъ о Пушкинѣ, и хвалебные и порицательные; изъ нихъ ничего не извлечешь, ничѣмъ не воспользуешься. Исключеніе остается только за статью Гоголя «О Пушкинѣ» въ «Арабескахъ», изданныхъ въ 1835 году. Объ этой замѣчательной статьѣ мы еще не разъ вспомнимъ въ продолженіи нашего разбора.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собою разумѣется, что одинъ онъ этого сдѣлать не могъ. Въ первыхъ нашихъ статьяхъ мы изложили весь ходъ изящной словесности на Руси, показали начало и развитіе ея поэзіи, участіе, какое принимали въ этомъ предшествовавшіе Пушкину поэты, равно какъ и ихъ заслуги. Повторимъ здѣсь уже сказанное нами сравненіе, что всѣ эти поэты относятся къ Пушкину, какъ малыя и великія рѣки — къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важнѣе рѣкъ; но безъ нихъ оно не могло бы образоваться. Такое сравненіе не можетъ быть оскорбительно для поэтовъ, предшествовавшихъ Пушкину, особенно, если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая дѣятельность Жуковскаго явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зрѣлые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинѣ, а Батюшковъ погасъ для

литературы въ цвѣтѣ лѣтъ и силы. Чтобъ изложить нашу мысль сколько возможно яснѣе и доказательнѣе, мы посвятили особую статью на разборъ не только ученическихъ стихотвореній ребенка-Пушкина, но и стихотвореній юноши-Пушкина, носящихъ на себѣ слѣды вліянія предшествовавшей школы. Эти послѣднія стихотворенія несравненно ниже тѣхъ, въ которыхъ онъ явился самобытнымъ творцомъ, но въ то же время они и далеко выше образцовъ, подъ вліяніемъ которыхъ были написаны. Тогда же мы замѣтили, что въ первой части «Стихотвореній Александра Пушкина» (1829) пьесъ, писанныхъ подъ вліяніемъ прежней школы, больше, чѣмъ во второй, а въ третьей ихъ уже нѣтъ вовсе, но что и въ первой части почти на половину находится самобытныхъ стихотвореній Пушкина. Эта первая часть заключаетъ въ себѣ стихотворенія, писанныя отъ 1815 до 1824 года; они расположены по годамъ, и потому можно видѣть, какъ съ каждымъ годомъ Пушкинъ являлся менѣе ученикомъ и подражателемъ, хотя и превзошедшимъ своихъ учителей и образцовъ, и болѣе самобытнымъ поэтомъ. Вторая часть заключаетъ въ себѣ пьесы, писанныя отъ 1825 до 1829 года, и только въ отдѣлѣ стихотвореній 1825 года замѣтно еще нѣкоторое вліяніе старой школы, а въ пьесахъ, слѣдующихъ за тѣмъ годовъ, оно уже исчезло совершенно. Читая стихотворенія Пушкина, отзывающіяся вліяніемъ прежней школы, чувствуешь и видишь, что была на Руси поэзія прежде Пушкина; но, читая по выбору только самобытныя его стихотворенія, не то что не вѣришь, а совершенно забываешь, что была на Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналенъ, новъ и свѣжъ міръ его поэзіи! Тутъ нельзя даже сказать: то же, да не то! напротивъ, тутъ невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Державина, часто столь неуклюжій и прозаическій, нерѣдко бываетъ, въ поэтическомъ отношеніи, могучъ, ярокъ, но въ отношеніи къ просодіи,

грамматикѣ, синтаксису и особенно къ акустическимъ требованіямъ языка, онъ ниже стиха не только Дмитріева, но и Карамзина; стихъ Дмитріева и даже Озерова во всѣхъ этихъ отношеніяхъ неизмѣримо ниже стиха Жуковского и Батюшкова,—и было время, когда нельзя было не вѣрить, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дошелъ до крайней и послѣдней степени совершенства, — и между тѣмъ, этотъ стихъ относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относится къ стиху Жуковского и Батюшкова... Правда, впоследствии, т. е., при Пушкинѣ, стихъ Жуковского много усовершенствовался и въ переводѣ «Шильйонскаго Узника», а также отчасти и въ переводѣ «Суда въ Подземельи» походилъ на крѣпкую дамасскую сталь, и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную крѣпость, эту необыкновенную сжатость и тяжело-упругую энергію ему сообщалъ тонъ поэмы Байрона и характеръ ея содержанія, — и Пушкинъ, еслибы онъ написалъ поэму въ такомъ тонѣ и духѣ, конечно, умѣлъ бы придать этому стиху еще новыя качества, сохранивъ главные свойства стиха Жуковского,—чему можетъ служить доказательствомъ его поэма «Мѣдный Всадникъ». Обращаясь къ общей характеристикѣ стиха Жуковского и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствіи эстетическаго чутья и такта можно не видѣть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихѣ: ибо подъ стихомъ разумѣемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли,—форму, которая одна прежде и больше всего другаго, свидѣтельствуетъ о дѣйствительности и силѣ таланта поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется; стихъ, который, какъ тѣло человѣка, есть откровеніе, осуществленіе души—идеи: стихъ, которому нельзя выучиться, нельзя подражать, подъ который всякая поддѣлка, какъ бы

ни была она ловка и искусна, всегда будеть мертва, относясь къ нему, какъ искусно - сдѣланная восковая статуя или автоматъ относится къ живому человѣку. И потому стихъ Пушкина, въ самобытныхъ его пьесахъ вдругъ какъ бы сдѣлавшій крутой поворотъ, или рѣзкій разрывъ въ исторіи русской поэзіи, нарушившій преданіе, явившій собою что-то небывавшее, непохожее ни на что прежнее, — этотъ стихъ былъ представителемъ новой, дотогѣ небывалой поэзіи. И что же это за стихъ! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельною игрою романтической рифмы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полнотѣ; онъ нѣженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, душистъ и благовоненъ, какъ весна, крѣпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукѣ богатыря. Въ немъ и обольстительная, невыразимая прелесть и грація, въ немъ ослѣпительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодіи и гармоніи языка и приема, въ немъ вся нѣга, все упоеніе творческой мечты, поэтическаго выраженія. Еслибъ мы хотѣли охарактеризовать стихъ Пушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по превосходству поэтическій, художественный артистическій стихъ, — и этимъ разгадали бы тайну паюса всей поэзіи Пушкина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; но она не поглащаетъ всего вашего вниманія; не ей исключительно удивляетесь вы: васъ болѣе всего поражаетъ и занимаетъ разлитое въ поэзіи Гомера древне - эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне - эллинскій міръ. Вы на Олимпѣ среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевъ; вы очарованы этой благородною простотою, этой изящною патріархальностью героическаго вѣка народа, нѣкогда представлявшаго въ лицѣ своемъ цѣлое

человѣчество; но поэтъ остается у васъ какъ-бы въ сторонѣ, и его художество вамъ кажется чѣмъ - то уже необходимо принадлежащимъ къ поэмѣ, и потому вамъ какъ - будто не приходится въ голову остановиться на немъ и подивиться ему. Въ Шекспирѣ васъ тоже останавливаетъ прежде всего не художникъ, а глубокий сердцеѣдецъ, мірообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ будто признается вами безъ всякихъ словъ и объясненій. Такъ, разсуждая о великомъ математикѣ, указываютъ на его заслуги наукъ, не говоря объ удивительной силѣ его способности соображать и комбинировать до бесконечности предметы, Въ поэзіи Байрона прежде всего обойметъ вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смѣлость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ поэзіи Гёте передъ вами выступаетъ поэтически - созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души челоѣка. Въ поэзіи Шиллера вы преклонитесь съ любовію и благоговѣніемъ передъ трибуномъ челоѣчества, провозвѣстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и нравственно прекраснаго. Въ Пушкинѣ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго всѣми чарами поэзіи, призваннаго для искусства, какъ для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически - прекрасному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ достоинства, всѣ недостатки его поэзіи, — и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенною полнотою насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слѣдствіе, какъ оборотную сторону его же достоинствъ...

Призваніе Пушкина объясняется исторіею нашей литературы. Русская поэзія — пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должна быть выраженіемъ жизни, въ обширномъ значеніи этого слова, обнимающаго собою весь міръ физическій и нравственный. До этого ее можетъ довести

только мысль. Но чтобъ, быть выраженіемъ жизни, поэзія прежде всего должна быть поэзіею. Для искусства нѣтъ никакого выигрыша отъ произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозаично. Такое произведение похоже на женщину съ великою душою, но съ безобразнымъ лицомъ: ей можно удивляться, но полюбить ея нельзя; а между тѣмъ немножко любви сдѣлало бы счастливѣе, чѣмъ много удивленія, не только ее, но и мужчину, въ которомъ она возбудила это удивленіе. Произведенія не поэтическія бесплодны во всѣхъ отношеніяхъ; между тѣмъ какъ произведенія на половину прозаическія бываютъ полезны для общества и для частныхъ людей; но они дѣйствуютъ и въ этомъ отношеніи только на половину. Гдѣ помнятъ начало поэзіи, гдѣ поэзія явилась не какъ плодъ національной жизни, а какъ плодъ цивилизаціи, тамъ для полнаго развитія поэзіи нужно прежде всего выработать поэтическую форму; ибо, повторяемъ, поэзія прежде всего должна быть поэзіею, а потомъ уже выражать собою то и другое. Вотъ причина явленія Пушкина такимъ, какимъ онъ былъ, и вотъ почему онъ ни чѣмъ другимъ быть не могъ. До него у насъ не было даже предчувствія того, что такое искусство, художество, которое составляетъ собою одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человѣческаго. До него поэзія была только краснорѣчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась какъ удобное средство для доброй цѣли, какъ бѣлила и румяна для блѣднаго лица старушки-истины. Это мертвое понятіе о пользѣ поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей породило такъ называемую дидактическую поэзію и было выражено Мерзляковымъ въ слѣдующихъ стихахъ, кажется, переведенныхъ имъ изъ Тассо:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ
Несетъ фіалъ, сладкими упитанъ по краямъ:

Счастливецъ, обольщенъ, пьетъ горькое цѣленье,
Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченною пилюлею, подслащеннымъ лекарствомъ. И потому въ ней истинная, вдохновенная и творческая поэзія только проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массѣ риторической воды. Много было сдѣлано для языка, для стиха, кое-что было сдѣлано и для поэзіи; но поэзіи, какъ поэзіи, то-есть, такой поэзіи, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была бы поэзіей — такой поэзіи еще не было! Пушкинъ былъ призванъ быть живымъ откровеніемъ ея тайны на Руси. И такъ какъ его назначеніе было завоевать, усвоить навсегда русской землѣ поэзію какъ искусство, такъ, чтобъ русская поэзія имѣла потомъ возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзією и перейти въ рифмованную прозу — то, естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться исключительно художникомъ,

Еще разъ: до Пушкина были у насъ поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ. Поэтому, даже самыя первыя незрѣлыя юношескія его произведенія, каковы: «Русланъ и Людмила», «Братья-разбойники», «Кавказскій Плѣнникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ», отмѣтили своимъ появленіемъ новую эпоху въ исторіи русской поэзіи. Всѣ, не только образованные, даже многіе просто грамотные люди, увидѣли въ нихъ не просто новыя поэтическія произведенія, но совершенно новую поэзію, которой они не знали на русскомъ языкѣ не только образца, но на которую они не видали никогда даже намекъ. И эти поэмы читались всею грамотною Россією; онѣ ходили въ тетрадкахъ, переписывались дѣвушками, охотницами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамейкахъ,

украдкою отъ учителя, сидѣльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. И это дѣлалось не только въ столицахъ, но даже и въ уѣздныхъ захолустьяхъ. Тогда - то поняли, что различіе стиховъ отъ прозы заключается не въ риѳмъ и размѣръ только, но что и стихи, въ свою очередь могутъ быть и повѣстическіе и прозаическіе. Это значило уразумѣть поэзію уже не какъ что-то внѣшнее, но въ ея внутренней сущности. Явись теперь на Руси поэтъ, который былъ бы неизмѣримо выше Пушкина, — его появленіе уже не могло бы надѣлать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что, послѣ Пушкина, поэзія уже не невиданная, не неслыханная вещь. И потому же самому теперь уже слишкомъ слабый успѣхъ могъ получить поэтъ, который, не уступая Пушкину въ талантѣ, даже превосходя его въ этомъ отношеніи, былъ бы, подобно ему, преимущественно художникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ поэмахъ Пушкина видно такъ много этого художества, которымъ такъ рѣзко отдѣлялись онѣ отъ произведеній прежнихъ школъ, то еще болѣе художества въ самобытныхъ лирическихъ пьесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и, слѣдовательно, обогнали ихъ; но мелкія пьесы Пушкина, ознаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ и были во время появленія ихъ въ свѣтъ. Это понятно: поэма требуетъ той зрѣлости таланта, которую даетъ опытъ жизни, — и этой зрѣлости нѣтъ нисколько въ «Русланъ и Людмила», «Братьяхъ-Разбойникахъ» и «Кавказскомъ Плѣнникѣ», а въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» замѣтенъ только успѣхъ въ искусствѣ; но юность самое лучшее время для лирической поэзіи. Поэма требуетъ знанія жизни и людей, требуетъ созданія характеровъ, слѣдовательно своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуетъ богатства ощущеній, — а когда же

грудь человѣка наиболѣе богата ощущеніями, какъ не въ лѣта юности?

Тайна Пушкинскаго стиха была заключена не въ искусствѣ «сливать послушныя слова въ стройныя размѣры и замыкать ихъ звонкою риемой», но въ тайнѣ поэзіи. Душѣ Пушкина присущна была прежде всего та поэзія, которая не въ книгахъ, а въ природѣ, въ жизни, — присущно художество печатъ котораго лежитъ на «полномъ твореніи славы». Разумъ, это — духъ жизни, душа ея; поэзія, это — улыбка жизни, ея свѣтлый взглядъ, играющій всѣми переливами быстро сгнѣняющихся ощущеній. Бываютъ женщины, одаренныя отъ природы рѣдкою красотою, но которыхъ строго правильныя черты лица поражаютъ какою-то сухостью, а движенія лишены граціи; такія женщины могутъ быть по своему ослѣпительно блестящими и возбуждать удивленіе, но ихъ появленіе не заставитъ ничье сердце забиться отъ невѣдомаго волненія, ихъ красота не родитъ любви, а красота, но сопутствуемая харитою любви, лишена жизни, лишена поэзіи. Такъ точно и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивленіе, еслибъ онѣ не были насквозь проникнуты поэзією; не любовью — небеснымъ огнемъ жизни, а холодною сыростью могилы вѣяло бы отъ нихъ. Пусть свѣтила небесныя образуютъ собою стройныя міры; не тѣмъ только возвышаютъ они душу созерцающаго ихъ человѣка, но поэзією своего таинственнаго мерцанія; но дивною красотою живой игры своихъ блѣдно огнистыхъ лучей; въ ихъ стройномъ ходѣ Пиеагоръ видѣлъ не одну математику въ фактѣ, но и слышалъ гармонію міровъ... Еслибъ солнце только грѣло и свѣтило, оно было бы не болѣе, какъ огромный фонарь, огромная печка; но оно проливаетъ на землю яркій, весело дрожащій, радостно играющій лучъ, — и земля встрѣчаетъ этотъ лучъ улыбкою, а въ этой улыбкѣ — невыразимое очарованіе, неуловимая поэзія... Природа полна не однѣхъ органическихъ силъ, — она полна и поэзіи, которая наиболѣе свидѣтельствуетъ о ея жизни: въ ея вѣчномъ движеніи, въ

колыханіи ея лѣсовъ, въ трепетѣ серебристаго листа, на которомъ любовно играетъ лучъ солнца, въ ропотѣ ручья, въ явніи вѣтра, волнующаго золотистую жатву, разлитъ для человѣка таинственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки эоловой арфы, то веселые, радостные, какъ пѣснь взвивающагося подъ небо жаворонка... Человѣкъ еще болѣе исполненъ поэзіи. Отчего вамъ такъ хочется разцѣловать этого ребенка, шумно играющаго на лугу; отчего такъ плѣняются васъ и его блестящіе чистою радостію глаза, его дышащая блаженствомъ улыбка, живость и рѣзвость его движеній?—Что общаго между вами, измученнымъ жизнью, опытомъ и житейскими заботами, вами, человекомъ пожилымъ и мудрымъ, и между имъ, ничего не понимающимъ, почти безсознательнымъ существомъ? Зачѣмъ же торопливо бѣжа по важному дѣлу съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругъ остановились на лугу, забывъ ваши важныя дѣла, и съ улыбкою умиленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснилось, забота на мигъ слетѣла съ него, и улыбка счастья на мгновение освѣтила ваше угрюмое лицо, какъ лучъ солнца, проникнувшій сквозь щель въ мрачное подземелье и трепетно заигравшій на сыромъ его полу?... Оттого, что видъ этого дитяти пахнулъ на васъ поэзіею жизни... Вотъ прекрасная, молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите никакого опредѣленнаго выраженія—это не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвышенности мысли и стремленій, словомъ, ничто не говоритъ вамъ въ этомъ лицѣ ни о какомъ рѣзко выпечатавшемся нравственномъ качествѣ: оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью — и больше ничего; вы не влюблены въ эту женщину и чужды желанію быть любимымъ ею; вы спокойно любуетесь прелестью ея движеній, Траціею ея манеръ,—и въ то же время, въ ея присутствіи, сердце ваше бьется какъ-то живѣе, и кроткая гармонія счастья мгновенно разливается въ душѣ вашей... Отчего это, если не

оттого, что красота сама по себѣ есть качество и заслуга, и притомъ еще великая? Прекрасна и любезна истина и добродѣтель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другаго стоять; одно другаго замѣнить не можетъ, но то и другое въ одинаковой степени составляетъ потребность нашего духа. Вотъ почему древніе Греки, въ своемъ поэтическомъ политеизмѣ обожествили не только истину, знаніе, могущество, мудрость, доблесть, справедливость, цѣломудріе, но и красоту, сопровождаемую харитами любви и желанія... По ихъ религіозному созерцанію, исполненному поэзіи и жизни, богиня красоты обладала таинственнымъ поясомъ. —

. всѣ обаянія въ немъ заключались:

Въ немъ и любовь и желанія, въ немъ и знакомства и просьбы,
Льстивыя рѣчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.

Чтобъ выразить всю силу неотразимаго вліянія на душу и сердце человѣка поэзіи Гомера, Греки говорили, что онъ похитилъ поясъ Афродиты...

Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладѣлъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущеніе, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у него невыразимой поэзіи. Онъ созерцалъ природу и дѣйствительность подъ особеннымъ угломъ зрѣнія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтической. Муза Пушкина, это — дѣвушка-аристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородною простотою, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болѣе возвышены виртуозностію формы, до того усвоенной ею, что эта форма сдѣлалась ей второю природою.

Самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина не восходятъ далѣе 1819 года, и съ каждымъ слѣдующимъ годомъ увеличиваются въ числѣ. Изъ нихъ прежде всего обратимъ вни-

маніе на тѣ маленькія пьесы, которыя, и по содержанію и по формѣ, отличаются характеромъ античности, и которыя съ перваго раза должны были показать въ Пушкинѣ художника по превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзіи. Пластическая рельефность выраженія, строгій классическій рисунокъ мысли, полнота и оконченность цѣлаго, нѣжность и мягкость отдѣлки въ этихъ пьесахъ обнаруживаютъ въ Пушкинѣ счастливаго ученика мастеровъ древняго искусства. А между тѣмъ, онъ не зналъ по-гречески, и вообще многосторонній, глубокой художнической инстинктъ замѣнялъ ему изученіе древности, въ школѣ которой воспитываются всѣ европейскіе поэты. Этой поэтической натурѣ ничего не стоило быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферѣ жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, гдѣ бы ни встрѣтилъ онъ ихъ, свободно и охотно ложились на полотно подъ его кистью.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подражаній греческимъ поэтамъ; не говоря уже о попыткѣ Кострова перевести «Иліаду» и о многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерзлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ; но, не смотря на все это, за исключеніемъ отрывковъ изъ переводимой Гнѣдичемъ «Иліады», на русскомъ языкѣ не было ни одной строки, ни одного стиха, который бы можно было принять за намекъ на древнюю поэзію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствѣ съ музою элинской, и который превосходно перевелъ нѣсколько пьесъ изъ антологіи. Пушкинъ почти ничего не переводилъ изъ греческой антологіи, но писалъ въ ея духѣ такъ, что его оригинальныя пьесы можно принять за образцовые переводы съ греческаго. Это большой шагъ впередъ передъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторонѣ Пушкина большое преимущество и въ достоинствѣ стиха. Посмотрите, какъ элински, или какъ ар-

тистически (это одно и то же) рассказал Пушкинъ о своемъ художественномъ призваніи, почувствованномъ имъ еще въ лѣта отрочества; эта пьеса называется «Муза»:

Въ младенчествѣ моемъ она меня любила
И семистольную цѣвницу мнѣ вручила;
Она внимала мнѣ съ улыбкой, и слегка
По звонкимъ скважинамъ пустаго тростника
Уже наигрывалъ я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ.
Съ утра до вечера въ нѣмой тѣнп дубовъ
Прилежно я внималъ урокамъ дѣвы тайной;
И, радуя меня наградою случайной,
Откинувъ локоны отъ милаго чела,
Сама изъ рукъ моихъ свирѣль она орада:
Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ
И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова въ антологическомъ родѣ такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина!

Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умѣлъ сдѣлать изъ шестистопнаго ямба—этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пошлости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчаялись какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ паросскимъ мраморомъ для чудныхъ изваяній, видимыхъ слухомъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ,—и вамъ покажется, что вы видите передъ собою превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волнъ, лобзающихъ Тавриду,
На утренней зарѣ я видѣлъ Нереиду.
Сокрытый межъ деревъ, едва я смѣлъ дохнуть;
Надъ ясною влагою полубогиня грудь
Младую, бѣлую какъ лебедь, воздымала
И влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустическое богатство, мелодія и гармонія русскаго языка въ первый разъ явились во всемъ блескѣ въ стихахъ Пушкина. Мы не знаемъ ничего, что могло бы, въ этомъ отношеніи, сравниться съ этою пескою:

Я вѣрю, — я люблю; для сердца нужно вѣрить.
Нѣтъ, милая моя не можетъ лицемѣрить;
Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ,
Стыдливость робкая, харитъ безцѣнный даръ,
Нарядовъ и рѣчей пріятная небрежность
И ласковыя именъ младенческая тѣжность.

Правда, послѣдній стихъ есть не болѣе, какъ вѣрный переводъ стиха Андре Шенье — «*Et des noms carressants la mollesse enfantine*»; но если гдѣ имѣеть глубокий смыслъ выраженіе: «онъ беретъ свое, гдѣ ни увидитъ его», то конечно, въ отношеніи къ этому стиху, который Пушкинъ умѣлъ сдѣлать своимъ.

Тѣмъ же античнымъ духомъ вѣетъ и въ антологическихъ пьесахъ Пушкина, писанныхъ гекзаметромъ. Между ними особенно превосходны пьесы «Трудъ» и «Чистый лоснится полъ; чаши блистаютъ» (первая оригинальная, вторая изъ Ксенофана Колофонскаго). Мы ограничимся выпискою, тоже превосходной, но только маленькой пьесы, принадлежащей, впрочемъ, къ самому позднѣйшему времени поэтической дѣятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревнивая дѣва бранила;
Къ ней на плечо преклоненъ, юноша вдругъ задремалъ.
Дѣва тотчасъ умогла, сонъ его легкій лелѣя,
И улыбалась ему, тихія слезы лія.

Пушкинъ никогда не оставлялъ совершенно этого рода стихотвореній; но въ первую пору своей поэтической дѣятельности особенно много писалъ ихъ. Это понятно: созер-

цаніе любви и наслажденій жизни въ духѣ древнихъ особенно соотвѣтствуетъ эпохѣ юности каждаго человѣка. Вотъ перечень всѣхъ антологическихъ стихотвореній Пушкина: «Виноградъ», «О дѣва - роза, я въ оковахъ», «Доридѣ», «Рѣдѣтъ облаковъ летучая гряда», «Нереида», «Дорида», «Муза», «Діонея», «Дѣва», «Примѣты», «Красавица передъ зеркаломъ», «Ночь», «Сафо», «Кобылица молодая», «Царско-сельская статуя», «Отрокъ», «Рифма», «Трудъ», «Чистый лоснится полъ», «Славная флейта», «Теонъ», «Юношу горько рыдая», «LVIII ода Анакреона», «Богъ веселый винограда», «Юноша, скромно пируй», «Мальчику» (изъ Катулла), «Узнаемъ коней ретивыхъ» (изъ Анакреона), «Леила». Последнія семь, послѣ превосходной пьесы «Юношу горько рыдая», не отличаются особеннымъ поэтическимъ достоинствомъ; но слѣдующія двѣ просто неудачны: «Кто на снѣгахъ возрастилъ Теокрытовы нѣжныя розы» и «На переводъ Илиады».

Перечтите пьесы: «Домовому», «Недоконченная картина», «Возрожденіе», «Умолкну скоро я», «Земля и Море», «Александръ», «Ч***ву», «Зачѣмъ безвременную скуку», «Люблю вашъ сумракъ неизвѣстный», и еще болѣе пьесы: «Простишь ли мнѣ ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ морю», — взгляните и вслушайтесь въ этотъ стихъ, въ этотъ оборотъ мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найдете чистую поэзію, безукоризненное искусство, полное художество, безъ малѣйшей примѣси прозы, какъ старое крѣпкое вино, безъ малѣйшей примѣси воды. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ вы можете придраться къ мысли, недостаточно глубокой, къ взгляду на вещи, слишкомъ юному, или слишкомъ отзывающемуся эпохою; но со стороны поэзіи выраженія и поэзіи созерцанія, вамъ нечего будетъ осудить. Сравните и эти пьесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзіи: между ними не будетъ никакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображеніе тѣхъ пьесъ Пуш-

кина, которыя мы означили именовъ переходныхъ и о которыхъ говорили подробно въ предшествовавшей статьѣ. Это не значитъ, чтобъ въ произведеніяхъ прежнихъ школъ не было ничего примѣчательнаго, или чтобъ они были вовсе лишены поэзіи: напротивъ, въ нихъ много примѣчательнаго, и они исполнены поэзіи, но есть безконечная разница въ характерѣ ихъ поэзіи и характерѣ поэзіи Пушкина. Произведенія прежнихъ школъ, въ отношеніи къ произведеніямъ Пушкина—то же, что народная пѣсня, исполненная души и чувства, народнымъ напѣвомъ пропѣтая простолюдиномъ, въ отношеніи къ лирической пѣсни поэта-художника, положенной на музыку великимъ композиторомъ и пропѣтой великимъ пѣвцомъ.

Сравнимъ, для доказательства, пьесу замѣчательнѣйшаго изъ прежнихъ поэтовъ, «Пѣсня», съ пьесою Пушкина «Ненастный день потухъ»:

О, милый другъ, теперь съ тобою радость!
А я одинъ—и мой печальнъ путь;
Живи, вкушай невинной жизни сладость;
Въ душѣ не измѣнись; достойна счастья будь...
Но не отринь, въ толпѣ плываемыхъ тобою,
Ты друга прежняго, увядшаго душою;
Веселье ихъ дѣли—ему отрадой будь;
Его, мой другъ, не позабудь.

О, милый другъ, намъ рокъ велѣлъ разлуку;
Дни, мѣсяцы и годы пролетать;
Вотще къ тебѣ простру отъ сердца руку.—
Ни голосъ твой, ни взоръ меня не усладятъ;
Но и вдали съ тобой душа моя согласна,
Любовь ни времени, ни мѣсту не подвластна;
Всегда, вездѣ ты мой хранитель ангелъ будь,
Меня, мой другъ, не позабудь.

О, милый другъ, пусть будетъ прахъ холодной
То сердце, гдѣ любовь къ тебѣ жила:

Есть лучшей мѣрь; тамъ мы любить свободны;
Туда душа моя ужъ все перенесла;
Туда всечастное стремить меня желанье;
Тамъ свидимся опять: тамъ наше воздаянье;
Сей върой сладкою полна въ разлукъ будь—
Меня, мой другъ, не позабуди.

Чувство, составляющее паеосъ этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а слѣдовательно, и истинны; оно можетъ быть напущено на человѣка мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямствомъ фантазій; но и напущенное чувство, по странному противорѣчю человѣческой природы, такъ же можетъ быть источникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охотно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сентиментальность и отсутствие всякой страстности, есть голосъ души, языкъ сердца, красноорѣчіе чувства; но оно—не поэзія. Его форма болѣе красноорѣчива, тѣмъ поэтична; въ его выраженіи, болѣзненно грустномъ и расплывающемся, есть что-то прозаическое, темное, лишенное мягкости и нѣжности художественной отдѣлки. А между тѣмъ, это одно изъ лучшихъ произведеній старой школы русской поэзіи и въ свое время производило фуроръ. Теперь сравните его съ пьесою Пушкина, въ которой выражена та же мысль разлуки съ любимымъ предметомъ:

Невѣстный день потухъ; невѣстной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Какъ привидѣніе, за рощею сосновой
 Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мнѣ наводитъ!
Далеко тамъ, луна въ сіяніи восходитъ;
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;
Тамъ море движется роскошной пеленой .
 Подъ голубыми небесами...
Вотъ время: по горь теперь идетъ она

Къ брегамъ потопленнымъ шумящими волнами;
Тамъ, подъ завѣтными скалами,
Теперь она сидитъ печальна и одна...
Одна... никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ;
Никто ея колѣвъ въ забвеньи не дѣлуетъ;
Одна... ничьимъ устамъ она не предастъ
Ни плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ.
.....
Никто ея любви небесной не достоинъ.
Не правда-ль, ты одна... ты плачешь... я спокоенъ.
.....
Но если.....

Здѣсь не то: въ пафосѣ стихотворенія столько жизни, страсти, истины!... Луна, восходящая надъ сосновою рощею, напоминаетъ поэту другую луну, которая, въ это томительное для его души время, восходитъ, далеко, тамъ, гдѣ природа такъ роскошно прекрасна,—и поэтъ предается невольно мечтѣ о ней, которая въ эту пору, одна идетъ къ берегу моря и садится подъ его скалами... Не ревность, а страсть трепещущая за свое блаженство, заставляетъ его успокаивать себя мыслию, что она—одна, и что ему должно быть спокойнымъ... И сколько жизни, какой энергической порывъ страсти высказывается въ словѣ: «но если», отрывисто заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма? Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихѣ, даже отдѣльно взятомъ, такъ и видѣнъ слѣдъ художническаго рѣзца, оживлявшаго мраморъ!—Какая безконечная разница?...

Чтобъ еще болѣе показать эту разницу (а это мы считаемъ особенно важнымъ и необходимымъ, по смыслу статьи нашей) сдѣлаемъ еще сравненіе. Вотъ два куплета изъ лучшихъ въ большой и прекрасной пьесѣ Жуковского, принадлежащей уже къ позднѣйшему времени его поэтической дѣятельности:

О наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты,
Гдѣ милому мгновенье лишь дано
Гдѣ скорбь безъ крылъ, а радости крылаты,
И гдѣ на вѣкъ минувшее одно...
По что-жъ мы здѣсь мечтами такъ богаты,
Когда мечтамъ не сбыться суждено?
Внимая гласъ надежды, намъ цюющей,
Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей.

.
Здѣсь радости—не наше обладанье.
Пролетные плѣвнители земли,
Лишь по пути заносить къ намъ преданье
О благахъ, намъ обѣщанныхъ вдали;
Земля жилаецъ безвыходный страдаецъ;
Ему на часть судьбы насъ обрекли;
Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ;
Земная жизнь—страданія питомецъ.

Это уже не «напущенное» чувство; нѣтъ, это вопль страшно потрясенной души, это голосъ растерзаннаго, истекающаго кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки болѣе краснорѣчіе, чѣмъ поэзія. Стихъ тянется какъ то тяжело и однообразно, во всей формѣ этого стихотворенія есть что-то темное и несвободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замѣтно преобладаніе метафоры. Разумѣется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто не знаетъ пьесы Пушкина «19 октября»? Послѣ обращеній къ каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ, поэтъ говоритъ:

Пируйте же, пока еще мы тутъ!
Увы! нашъ кругъ часъ отъ часу рѣдѣть:
Кто въ гробъ спить, кто дальній сиротѣть;
Судьба глядитъ, мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому-жъ изъ насъ подѣ старость день лица
Торжествовать придется одному—

Несчастный другъ! средѣ новыхъ поколѣній
Доучный гость и лишній и чужой.
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...

Какая глубокая и, вмѣстѣ съ тѣмъ, свѣтлая скорбь! каждая мысль сама по себѣ такъ исполнена поэзій, независимо отъ формы, вполне художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій всѣхъ друзей своихъ другъ, доучный, лишній и чужой гость среди новыхъ поколѣній, дрожащею рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ, — это не просто поэтическіе стихи, это поэтическая картина! Но не въ духѣ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствѣ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодрого чувства стихами:

Пушай же онъ, съ отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведеть,
Какъ нынѣ я, затворникъ вашъ опальной,
Его провель безъ горя и заботъ.

Пушкинъ не даетъ судьбѣ побѣды надъ собою; онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады. Какъ истинный художникъ, онъ владѣлъ этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ дѣйствительности, который на «здѣсь» указывалъ ему какъ на источникъ и горя и утѣшенія, и заставлялъ его искать цѣленіе въ той же существенности, гдѣ постигла его болѣзнь. И, право, въ этой силѣ, опирающейся на внутренемъ богатствѣ своей природы, болѣе вѣры въ промыселъ и оправданія путей его, чѣмъ во всѣхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Намъ скажутъ, можетъ-быть, что мы сравнили между собою только по нѣскольку куплетовъ, вырванныхъ изъ большихъ пьесъ, а не цѣлыя пьесы. Выписка вполне такихъ огромныхъ

пьеса была бы неумѣстна въ журнальной статьѣ; притомъ же, пьесы эти должны быть слишкомъ извѣстны каждому образованному читателю. Кто хочетъ, пусть самъ сравнитъ ихъ въ цѣломъ: онъ тогда увидитъ еще яснѣе, что и въ цѣломъ огромное преимущество на сторонѣ пьесы Пушкина, потому что, несмотря на ея значительную величину, она вездѣ ровна, вездѣ выдержана и какъ будто въ одну минуту, легко и свободно, излилась изъ взволнованной души поэта, — между тѣмъ, какъ поэма Жуковского очень неровна, потому что не чужда мѣстъ растянутыхъ, холодныхъ и вялыхъ, почему ее трудно прочесть заразъ. Первая пьеса, это — арія, пропѣтая пѣвцомъ, который вполнѣ владѣетъ своимъ голосомъ, не даетъ пропасть ни одной ноткѣ, не ослабѣетъ ни на одно мгновение отъ начала до конца ариі... Вторая пьеса, это арія, пропѣтая мѣстами превосходно, а мѣстами холодно и даже фальшиво. Мы нарочно остановились на этомъ обстоятельствѣ, потому что особенная принадлежность поэзіи Пушкина и одно изъ главнѣйшихъ преимуществъ его передъ поэтами прежнихъ школъ, — полнота, оконченность, выдержанность и стройность созданий. Поэзія чувства, поэзія естественная, не отличается этимъ качествомъ: въ ней всегда видно усиліе высказать чувство, и оттого стройность и соразмѣрность исчезаютъ въ плодовитости. Въ поэзіи художественной — соразмѣрность, стройность, полнота и ровность бывають уже естественнымъ слѣдствіемъ творческой концепціи, художественной мысли, лежащей въ основаніи поэтического произведенія. У Пушкина никогда не бываетъ ничего лишняго, ничего недостающаго, но все въ мѣру, все на своемъ мѣстѣ, конецъ гармонируетъ съ началомъ, — и, прочитавъ его пьесу, чувствуешь, что отъ нея нечего убавить и къ ней нечего прибавить. И въ этомъ, какъ и во всемъ другомъ, Пушкинъ является по преимуществу художникомъ. Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборѣ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всѣ предметы были равно исполнены поэзіи. Его

«Онѣгинъ», напримѣръ, есть поэма современной, дѣйствительной жизни не только со всею ея поэзію, но и со всею ея прозою, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лѣто, и гнилая дождливая осень и морозная зима; тутъ и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди и жизнь мирныхъ помѣщиковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сѣнокосъ, о винъ,
О царя, о своей роднѣ;

тутъ и мечтательный поэтъ Ленскій, и тривьяльный забіяка и сплетникъ Зарѣцкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго, съ метлою въ рукѣ, дверь кофейной, — и всѣ они, каждый по своему, прекрасны и исполнены поэзіи. Пушкину не нужно было ѣздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукою здѣсь, на Руси, на ея плоскихъ и однообразныхъ степяхъ, подъ ея вѣчно-сѣрымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бѣдныхъ городахъ. Чтò для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; чтò для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны, или лѣта, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ, по крайней мѣрѣ на то время, пока не увидите его же картины весны или лѣта:

Дни поздней осени бранятъ обыкновенно
Но мнѣ она мила, чистатель дорогой:
Красою тихою, блистающей смиренно,
Какъ нелюбимое дитя въ семьѣ родной,
Къ себѣ меня влечетъ. Сказать вамъ откровенно:
Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной;
Въ ней много добраго, любовникъ не тщеславный,
Умѣлъ я отыскать мечтою своенравной.

Какъ это объяснить? Мнѣ нравится она,
Какъ, вѣроятно, вамъ чахоточная дѣва
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бѣдняжка клонится безъ ропота, безъ гнѣва:
Улыбка на устахъ увянувшихъ видна;
Могильной пропасти она не слышитъ зѣва,
Играетъ на лицѣ еще багровый цвѣтъ,
Она жива еще сегодня—завтра нѣтъ.
Унылая пора! очей очарованье!
Пріятна мнѣ твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
Въ багрецѣ и въ золото одѣтые лѣса,
Въ ихъ сѣняхъ вѣтра шумъ и свѣжее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса.
И рѣдкій солнца лучъ; и первые морозы.
И отдаленныя сѣдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лѣта — этой «варриатуры южныхъ зимъ»: она похожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декорационныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія деревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Морозъ и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, другъ прелестный.
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры,
На встрѣчу сѣверной Авроры,
Звѣздою сѣвера явись!
Вечоръ, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутномъ небѣ мгла носилась;
Луна, какъ блѣдное пятно,
Сивозъ тучи мрачныя желтѣла,
И ты печальная сидѣла—
А нынче... погляди въ окно:
Подъ голубыми небесами
Великолѣпными коврами,
Блестя на солнцѣ, снѣгъ лежитъ;

Прозрачный лёсъ одинъ чернѣть,
И ель сквозь иней зеленѣть,
И рѣчка подо льдомъ блестить.
Вся комната янтарнымъ блескомъ
Озарена. Веселымъ трескомъ
Трещить затопленная печь.
Приятно думать о лежанкѣ.
Но знаешь: не велѣтъ ли въ санки
Кобылку бурую запретъ?
Скользя по утреннему снѣгу,
Другъ милый, предадимся бѣгу
Нетерпѣливаго коня,
И навѣстимъ поля пустыни,
Лѣса, недавно столь густые,
И берегъ милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно вѣрна русской дѣйствительности, изображаетъ ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи, общій голосъ нарекъ его русскимъ національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только на половину вѣрнымъ. Народный поэтъ—тотъ, котораго весь народъ знаетъ, какъ, на примѣръ, знаетъ Франція своего Беранже; національный поэтъ—тотъ, котораго знаютъ всѣ сколько-нибудь образованные классы, какъ, на примѣръ, нѣмцы знаютъ Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаетъ ни одного своего поэта; онъ поетъ себѣ доселѣ «Не бѣлы то снѣжки», не подозрѣвая даже того, что поетъ стихи, а не прозу... Слѣдовательно, съ этой стороны, смѣшно было и говорить объ эпитетѣ «народный» въ примѣненіи къ Пушкину, или къ какому бы то ни было поэту русскому. Слово «национальный» еще обширнѣе въ своемъ значеніи, чѣмъ «народный». Подъ «народомъ» всегда разумѣютъ массу народонаселенія, самый низшій и основной слой государства. Подъ «націею» разумѣютъ весь народъ, всѣ сословія, отъ низшаго до высшаго, составляющія государственное тѣло. Национальный поэтъ выражаетъ въ своихъ твореніяхъ и основную,

безразличную, неуловимую для опредѣленія субстанціальную стихію, которой представителемъ бываетъ масса народа, и опредѣленное значеніе этой субстанціальной стихіи, развившейся въ жизни образованнѣйшихъ сословій націи. Національный поэтъ — великое дѣло! Обращаясь къ Пушкину, мы скажемъ, по поводу вопроса о его національности, что онъ не могъ не отразить въ себѣ географически и физиологически народной жизни, ибо былъ не только Русскій, но притомъ Русскій надѣленный отъ природы гениальными силами; однакожъ въ томъ, что называютъ народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его необыкновенно великій художническій тактъ. Онъ въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэмѣ «Русалка»: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэмѣ «Каменный Гость»: она, и по природѣ страны, и по нравамъ своихъ героевъ, такъ и дышетъ воздухомъ Испаніи; прочтите его «Египетскія ночи»: вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примѣровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно и этихъ трехъ. И что же это доказываетъ, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такою истинною рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались вѣрностію природѣ? Чтобъ изслѣдовать основательнѣе этотъ вопросъ, мы считаемъ нужнымъ сдѣлать довольно большую выписку изъ статьи Гоголя «Нѣсколько словъ о Пушкинѣ»:

«При имени Пушкина тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право

рѣшительно принадлежить ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

«Самая его жизнь, совершенно русская. Тотъ же разгулъ и раздолье, къ которому иногда позабывшись стремится Русскій и которое всегда правится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣтъ. — Судьба какъ нарочно забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкою, величавою характерностью; гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи перерывается подъ-облачными горами и обвѣвается югомъ. Исполинскій, покрытый вѣчнымъ снѣгомъ Кавказъ среди знойныхъ долинъ, поразила его; онъ, можно сказать, вызвалъ силу души его и разорвалъ послѣднія цѣпи, которыя еще тяготѣли на свободныхъ мысляхъ. Его плѣнила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горцевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набѣги; и съ этихъ поръ кисть его приобрѣла тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смѣлость, которая такъ дивила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуетъ ли онъ боевую схватку Чеченца съ казакомъ—слогъ его молнія; онъ такъ же блещетъ, какъ свергающія сабли, и летитъ быстрѣ самой битвы. Онъ одинъ только пѣвецъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всею душою и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великолѣпными крымскими ночами и садами. Можетъ быть оттого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннѣе тамъ, гдѣ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означалъ всю силу свою, и оттого произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имѣли чудную магическую силу: имъ изумлялись даже тѣ, которые не имѣли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смѣлое болѣе всего доступно, сильнѣе и просторнѣе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая вся еще жаждетъ одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэтъ въ Россіи не имѣлъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространялась такъ быстро. Всѣ кетати и некетати считали обязанностію проговорить, а иногда исковеркать,

какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имѣло въ себѣ что-то электрическое, и стояло только кому нибудь изъ досужныхъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду.

«Онъ при самомъ началѣ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей национальной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется будто это чувствуютъ и говорятъ они сами. Если должно сказать о тѣхъ достоинствахъ, которые составляютъ принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротѣ описанія и въ необыкновенномъ искусствѣ немногими чертами означить весь предметъ. Его эпитетъ такъ отчетливъ и смѣлъ, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его легка. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цѣлой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькой пьесѣ вмѣщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

«Но послѣднія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со всѣмъ своимъ грознымъ величіемъ и державно возносящеюся изъ за облакъ вершиною, и онъ погрузился въ сердце Россіи, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изслѣдованію жизни и нравовъ своихъ соотечественниковъ и захотѣлъ быть вполнѣ національнымъ поэтомъ,—его поэмы уже не всѣхъ поразили тою яркостью и ослѣпительной смѣлостью, какими дышетъ у него все, гдѣ ни являются Эльбрусъ, Горцы, Крымъ и Грузія.

«Явленіе это, кажется, не такъ трудно разрѣшить: будучи поражены смѣлостью его кисти и волшебствомъ картинъ, всѣ читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерывъ, чтобы отечественныя и историческія происшествія являлись предметомъ его поэзіи, позабывая, что нельзя тѣми же красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болѣе спокойный и гораздо менѣ исполненный страстей быть русскій. Масса публики, представляющая въ лицѣ своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричитъ: изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинѣ; представь дѣла нашихъ предковъ въ такомъ видѣ, какъ они были. Но попробуй поэтъ, послушный ея велѣнью, изобразить все въ совершенной истинѣ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговоритъ: это вяло, это слабо, это не хорошо, это не мало не похоже на то, что было. Масса народа похожа въ этомъ случаѣ на

женщину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портретъ совершенно похожій, но горе ему, если онъ не умѣлъ скрыть всѣхъ ея недостатковъ. Русская исторія только со времени послѣдняго ея направленія при императорахъ приобретаетъ яркую живость; до того характеръ народа большею частію былъ безцвѣтенъ; разнообразіе страстей ему мало было извѣстно. Поэтъ не виноватъ; но и въ народѣ тоже весьма извинительно чувство придать бѣльшій размѣръ дѣламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть сколько можно выше свой слогъ, дать силу безсильному говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себѣ не сохраняетъ сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его сторонѣ, а вмѣстѣ съ нимъ и деньги; или быть вѣрну одной истинѣ, быть высокимъ тамъ, гдѣ высокъ предметъ, быть рѣзкимъ и смѣлымъ, гдѣ истинно рѣзкое и смѣлое, быть спокойнымъ и тихимъ, гдѣ не кипитъ происшествіе. Но въ этомъ случаѣ, прощай, толпа! ея не будетъ у него, развѣ когда самый предметъ, изображаемый имъ, уже такъ великъ и рѣзокъ, что не можетъ не произвести всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не избралъ поэтъ, потому что хотѣлъ остаться поэтомъ и потому что у всякаго, кто только чувствуетъ въ себѣ искру святаго призванія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талантъ такимъ средствомъ. Никто не станетъ спорить, что дикій горецъ въ своемъ воинственномъ костюмѣ, вольный какъ воля, самъ себѣ и судія и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засѣдателя, и, несмотря на то, что онъ зарывалъ своего врага, притаясь въ ущелья, или выжегъ цѣлую деревню, однако-же онъ болѣе поражаетъ, сильнѣе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракѣ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ.—Но тотъ и другой—они оба явленія принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имѣть право на наше вниманіе, хотя по естественной причинѣ то, что мы рѣже видимъ, всегда сильнѣй поражаетъ наше воображеніе, и предпочтеть необыкновенному обыкновенное есть не больше, какъ неразсчетъ поэта, неразсчетъ предъ его многочисленной публикою, а не передъ собою. Онъ ни чуть не теряетъ своего достоинства, даже можетъ быть еще болѣе приобретаетъ его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цѣнителей. Мнѣ пришло на память одно происшествіе изъ моего дѣтства. Я всегда чувствовалъ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ писанный мною пейзажъ, на первомъ планѣ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревнѣ; знатоки и судьи мои были окружные сосѣди.

Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головою и сказалъ: хорошій живописецъ выбираеть дерево рослое, хорошее, на которомъ бы листья были свѣжше, хорошо растущее, а не сухое. Въ дѣтствѣ мнѣ казалось досадно слышать такой судъ, но послѣ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпѣ. Сочиненія Пушкина, гдѣ дышетъ у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понимать тотъ, чья душа носить въ себѣ чисто русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нѣжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять неблестящія съ виду русскія пѣсни и русскій духъ, потому что, чѣмъ предметъ обыкновеняе, тѣмъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. По справедливости ли оцѣнены послѣднія его поэмы? Опредѣлялъ ли, понималъ ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней неприступной повѣи, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа?—по крайней мѣрѣ печатно нигдѣ не произнеслась имъ вѣрная оцѣнка и онѣ остались донынѣ не тронуты».

Все это очень справедливо, особенно опредѣленіе національнаго поэта: «Поэтъ даже можетъ быть и тогда національнымъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами». И, если хотите, съ этой точки зрѣнія, Пушкинъ болѣе національно-русскій поэтъ, нежели кто-либо изъ его предшественниковъ; но дѣло въ томъ, что нельзя опредѣлить, въ чемъ же состоитъ эта національность. Въ томъ, что Пушкинъ чувствовалъ и писалъ такъ, что его соотечественникамъ казалось, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами? Прекрасно! Да какъ же чувствуютъ и говорятъ они? чѣмъ отличается ихъ способъ чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй?... Вотъ вопросы, на которые не можетъ дать отвѣта настоящее, ибо Россія, по преимуществу—страна будущаго...

Обращаясь снова къ нашей мысли о художественности, какъ преобладающемъ паюсѣ поэзіи Пушкина, замѣтимъ еще его удивительную способность дѣлать поэтическими самыя прозаическіе предметы. Что наприимѣръ, можетъ быть прозаичнѣе выѣзда въ саняхъ моднаго франта въ сюртукѣ съ бобровымъ воротникомъ? Но у Пушкина это — поэтическая картина:

Ужь темно; въ санки онъ садится:
„Пади! пади!“ раздался крикъ;
Морозной пылью серебрится
Его бобровый воротникъ.

Или что можетъ быть прозаичнѣе такой мысли, что-де въ городѣ не было мостовой и всѣ тонули въ грязи, но что уже въ немъ начали дѣлать мостовую? Страшно и подумать втискать такую мысль въ стихъ! Но Пушкинъ этого не побоялся, и у него вышла поэтическая картина въ прекрасныхъ поэтическихъ стихахъ:

Въ году недѣль пять — шесть Одесса
По волѣ бурнаго Зевеса,
Потоплена, запружена,
Въ густой грязи погружена.
Всѣ дома на аршинъ загрязнута,
Лишь на ходуляхъ пѣшеходъ
По улицѣ дерзаетъ вбродъ;
Кареты, люди тонуть, вянутъ,
И въ дрожкахъ волѣ, рога склона,
Смѣняютъ хилаго коня.
Но ужъ дробить каменя молотъ,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный городъ,
Какъ-будто кованной бровей.

Для Пушкина также не было такъ называемой низкой природы; поэтому онъ не затруднился никакимъ сравненіемъ, никакимъ предметомъ, бралъ первый попавшійся ему

подъ-руку, и все у него являлось поэтическимъ, а потому прекраснымъ и благороднымъ. Какъ хорошо, напримѣръ, это, взятое изъ низкой природы, сравненіе:

Стократъ блаженъ, кто преданъ вѣрѣ,
Кто, хладный умъ угомонивъ,
Покоится въ сердечной нѣгѣ,
Какъ пьяный путникъ на коленѣ.

Или, какъ прекрасна у него вотъ эта «низкая природа»:

Иныя нужны мнѣ картины:
Люблю песчаный косорогъ,
Передъ избушкой двѣ рябины,
Калитку, сломанный заборъ,
На небѣ сѣренькія тучи,
Передъ гумномъ соломы куча,
Да прудъ подъ сѣнью липъ густыхъ—
Раздолье утокъ молодыхъ;
Теперь мила мнѣ балалайка,
Да пьяный топотъ трепака
Передъ порогомъ кабака;
Мой идеалъ теперь—хозяйка,
Мои желанія—покой,
Да щей горшокъ, да самъ большой...

Тотъ еще не художникъ, котораго поэзія трепещетъ и отвращается прозы жизни, кого могутъ вдохновлять только высокіе предметы. Для истиннаго художника — гдѣ жизнь, тамъ и поэзія.

Талантъ Пушкина не былъ ограниченъ тѣсною сферою одного какого-нибудь рода поэзіи: превосходный лирикъ, онъ уже готовъ былъ сдѣлаться превосходнымъ драматургомъ, какъ внезапная смерть остановила его развитіе. Эпическая поэзія также была свойственнымъ его таланту родомъ поэзіи. Въ послѣднее время своей жизни, онъ все болѣе и болѣе склонялся къ драмѣ и роману и, по мѣрѣ того,

отдалялся отъ лирической поэзіи. Равнымъ образомъ, онъ тогда часто забывалъ стихи для прозы. Это самый естественный ходъ развитія великаго поэтическаго таланта въ наше время. Лирическая поэзія, обнимающая собою міръ ощущеній и чувствъ, съ особенною силою кипящихъ въ молодой груди, становится тѣсною для мысли возмужалаго человѣка. Тогда она дѣлается его отдохомъ, его забавою между дѣломъ. Дѣйствительность современнаго намъ міра полнѣе, и глубже и шире въ романѣ и драмѣ. — О поэмахъ и драматическихъ опытахъ Пушкина мы будемъ говорить въ слѣдующей статьѣ, а теперь остановимся на его лирическихъ произведеніяхъ.

Пушкина нѣкогда сравнивали съ Байрономъ. Мы уже не разъ замѣчали, что это сравненіе болѣе чѣмъ ложно, ибо трудно найти двухъ поэтовъ, столь противоположныхъ по своей натурѣ, а слѣдовательно, и по паеосу своей поэзіи, какъ Байронъ и Пушкинъ. Мнимое сходство это вышло изъ ошибочнаго понятія о личности Пушкина. Зная кипучую, разгульную, исполненную тревогъ и бѣдъ его юность, думали видѣть въ немъ духъ гордый, неукротимый, титаническій. Основываясь на какомъ-нибудь десяткѣ ходившихъ по рукамъ его стихотвореній, исполненныхъ громкихъ и смѣлыхъ, но тѣмъ не менѣе неосновательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видѣть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было бы болѣе ошибиться во мнѣніи о человѣкѣ! Въ тридцать лѣтъ Пушкинъ распрощался съ тревогами своей кипучей юности не только въ стихахъ, но и на дѣлѣ. Надъ «рукописными» своими стишгами онъ потомъ самъ смѣялся. Но все это въ сторону; главное дѣло въ томъ, что натура Пушкина (и въ этомъ случаѣ самое вѣрное свидѣтельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бывають слѣдствіемъ страстно дѣятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живою, могучею мыслию, въ жертву которой приносится и жизнь и талантъ. Онъ не принадле-

жалъ исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринѣ; въ сферѣ своего поэтическаго міросозерцанія, онъ, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же какъ и въ природѣ, видѣлъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Еслибъ его натура была другая, и онъ шелъ по этому несвойственному ей пути, то безъ сомнѣнія, это было бы въ немъ больше, чѣмъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношеніи былъ только вѣренъ своей натурѣ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или порицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другаго за то, что у него русые, а не черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждаютъ нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубину, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ человѣчно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формѣ, столь художнически спокойной, столь граціозной! Что составляетъ содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастья и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаетъ, ничего не проклинаетъ, на все смотреть съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ то необыкновенно свѣтла и прозрачна; она умиряетъ муки души и цѣлитъ раны сердца. Общій колоритъ поэзіи Пушкина и въ особенности лирической—внутренняя красота человѣка и лелѣющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человѣческое чувство уже прекрасно потому самому, что оно человѣческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувство изящное. Мы здѣсь разу-

мѣемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нѣтъ, каждое чувство, лежащее въ основаніи каждаго его стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себѣ: это не просто чувство человѣка, но чувство человѣка - художника, человѣка - артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ человѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоюго пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастическаго, мечтательнаго, ложнаго, призрачно - идеальнаго; она вся проникнута насквозь дѣйствительностью; она не кладетъ на лицо жизни бѣлизъ и румянъ, но показываетъ ее въ ея естественной, истинной красотѣ; въ поэзіи Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земля. Поэтому, поэзія Пушкина не опасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе, — ложь, которая ставитъ человѣка во враждебныя отношенія съ дѣйствительностью, при первомъ столкновеніи съ нею, и заставляетъ безвременно и бесплодно истощать свои силы на гибельную съ нею борьбу. И при всемъ этомъ, кромѣ высокаго художественнаго достоинства формы, такое артистическое изящество человѣческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтвержденіе нашей мысли? — Почти каждое стихотвореніе Пушкина можетъ служить доказательствомъ. Еслибъ мы захотѣли прибѣгнуть къ выпискамъ, имъ не было бы конца. Намъ стоило бы только поименовать цѣлый рядъ стихотвореній; но, чтобъ мысль наша имѣла надъ читателемъ убѣждающую силу живаго впечатлѣнія, выпишемъ здѣсь нѣсколько пьесъ совершенно различнаго тона и содержанія.

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя сѣждаетъ;
На дѣвственныхъ устахъ улыбка замираетъ.

Давно твоей яглой узоры и цвѣты
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты
Грустить. О, я знатокъ въ дѣвической печали!
Давно глаза мои въ душѣ твоей читали.
Любви не утаишь: мы любимъ, и какъ насъ,
Дѣвицы нѣжныя, любовь волнуетъ васъ.
Счастливы ювоши! Не кто, скажи, межъ ними,
Красавецъ молодой съ очами голубыми,
Съ кудрями черными? Краснѣешь?... Я молчу,
Но знаю, знаю все; и, если захочу,
То назову его. Но онъ ли вѣчно бродить
Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводить?
Ты втайнѣ ждешь его. Идетъ, и ты бѣжишь,
И долго вслѣдъ за нимъ незримая глядишь.
Никто на праздникъ блистательнаго мая
Межъ колесницами роскошными летая,
Никто изъ юношей свободнѣй и смѣлѣй
Не властвуетъ конемъ по прихоти своей.

Это сама прелесть, сама грація, полная души и нѣжности, страстная и «плѣнительная», выражаясь любимымъ эпитетомъ Пушкина! Ни у какого другаго русскаго поэта не найдете вы стихотворенія, въ которомъ бы такъ счастливо сочетались изящно-гуманное чувство съ пластически изящною формою.

Когда любовію и нѣгой упоенный,
Безмолвно передъ тобой колѣнопреклоненный.
Я на тебя глядѣлъ и думалъ: ты моя,
Ты знаешь, милая, желалъ ли славы я;
Ты знаешь: удаленъ отъ вѣтреннаго свѣта,
Скучая суетнымъ прозваніемъ поэта,
Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ
Жужжанью дальнему упрековъ и похвалъ.
Могли-ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонивъ ко мнѣ томительные взоры
И руку на главу мнѣ тихо наложивъ,
Шептала ты: скажи, ты любишь; ты счастливъ?
Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой другъ, меня не позабудешь?
А я стѣсненное молчаніе хранилъ.

Я наслажденіемъ весь помонъ былъ, и мнилъ,
Что нѣтъ грядущаго, что грозный день разлуки
Не придетъ никогда... И что же? Слезы, муки,
Измѣны, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдругъ... Что я? гдѣ я? Стою,
Какъ путникъ молніей постигнутый въ пустынь,
И все передо мной затмилося! И нынѣ
Я новымъ для меня желаніемъ томимъ:
Желаю славы я, чтобъ именемъ моимъ
Твой слухъ былъ пораженъ всечасно; чтобъ ты мною
Окружена была; чтобъ громкою молвою
Все, все вокругъ тебя звучало обо мнѣ;
Чтобъ, гласу вѣрному внимая въ тишинѣ,
Ты помнила мои послѣднія моленья
Въ саду во тьмѣ ночной, въ минуту разлученья.

Это чувство юности; но вотъ оно же — уже чувство че-
ловѣка возмужалаго, — и въ немъ та же трогающая душу
гуманность, та же артистическая прелесть:

Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ,
Въ душѣ моей угасла не совсѣмъ;
Но пусть она васъ больше не тревожить:
Я не хочу печалить васъ ничѣмъ.
Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томимъ;
Я васъ любилъ такъ искренно, такъ вѣрно,
Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

Наконецъ, это изящно-гуманное чувство отзывается чѣмъ-то
благоуханно - святымъ въ испытанномъ, но не побѣжденномъ
жизнію поэтѣ:

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться!
Спокойствіе свое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться.
Нѣтъ, полно мнѣ любить. Но почему-жъ порой
Не погружуся я въ минутное мечтаванье,

Когда нечаянно пройдетъ передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,—
Пройдетъ и скроется? Ужель не можно мнѣ
Глазами слѣдовать за ней, и въ тишинѣ
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни сей:
Веселья, миръ души, безпечные досуги,
Все — даже счастье того, кто избранъ ей,
Кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруга?...

Кромѣ уже поименованныхъ и частію выписанныхъ нами самобытныхъ пьесъ изъ первой части, перечтите таже слѣдующія, которыя поименуемъ мы теперь въ хронологическомъ порядкѣ: «Сожженное письмо», «Я помню чудное мгновеніе», «Зимняя дорога», «Отвѣтъ Ѡ. Т***», «Ангель», «Соловей», «Близъ мѣстъ, гдѣ царствуетъ Венеція златая», «Наперсникъ», «Предчувствіе», «Цвѣтокъ», «Не пой, красавица, при мнѣ», «Городъ пышный, городъ бѣдный», «Птичка», «Иностранкѣ», «На холмахъ Грузіи лежитъ ночная тѣнь», «Не плѣняйся бранной славой», «Поѣдемъ, я готовъ», «Когда твои младыя лѣта», «Зима, что дѣлать намъ въ деревнѣ?», «Калмычкѣ», «Что въ имени тебѣ моемъ?», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Отвѣтъ Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Цыганы», «Мадона», «Зимній Вечеръ», «Какоевъ я прежде былъ, такоевъ и нынѣ я», «Анчаръ», «Подъѣзжая подъ Ижоры», «Примѣты», «Красавица», (въ альбомѣ Т***), «Признаніе», (къ Александрѣ Ивановичѣ О — й), «Желаніе», «Пажъ, или пятнадцатилѣтній король», «Ея глаза», «Разставаніе», «Романсъ», («Предъ Испанкой благородной»), «Послѣдніе цвѣты», «Кто знаетъ край, гдѣ небо блещетъ». Здѣсь не названа только «Разлука» («Для береговъ отчизны дальней»), — не названа для того, чтобъ сказать, что едва ли граціозно-гуманная муза Пушкина создавала что-нибудь благоуханнѣе, чищѣе, святѣе и, вмѣстѣ съ тѣмъ изящнѣе этого стихотворенія, по чувству и по формѣ.

Какъ на послѣднее доказательство преобладанія въ Пушкинѣ художественнаго элемента надъ всѣми другими, какъ доказательство, что онъ, взявшись за перо, по волѣ или по неволѣ, уже не могъ не быть художникомъ даже въ свѣтскомъ комплиментѣ, въ привѣтствіи, возложенномъ приличіемъ, указываемъ на пьесы: «Баратынскому изъ Бессарабіи», «Примите Невскій Альманахъ», «Княгиня З. А. Волконской», «Отвѣтъ Катенину», «И. В. С***», «Отвѣтъ А. И. Готовцевой», «Е. Н. У***вой», «Сѣтованіе», «А. Д. Баратынской», «Д. В. Давыдову» (при посылкѣ исторіи Пугачевского бунта), «Къ женщинѣ поэту», «В. С. Ф***», (при полученіи поэмы его), «Въ Альбомѣ» («Долго сихъ листовъ завѣтныхъ»).

Мы сказали, что чтеніе Пушкина должно сильно дѣйствовать на воспитаніе, развитіе и образованіе изящно-гуманнаго чувства въ человѣкѣ. Да; не во гнѣвъ будь сказано нашимъ литературнымъ старовѣрамъ, нашимъ сухимъ моралистамъ, нашимъ черствымъ, анти-эстетическимъ резонѣрамъ,—никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ (если въ нихъ было и еще не умерло зерно эстетическаго и человѣческаго чувства) читателей, какъ Пушкинъ, потому что мы не знаемъ на Руси болѣе нравственнаго, при великости таланта, поэта какъ Пушкинъ. Старовѣры еще не могутъ забыть — кто Ломоносова, кто Сумарокова, кто того, кто другаго. Что касается до моралистовъ и резонѣровъ (между которыми много найдете людей ограниченныхъ, хотя и добрыхъ и даже благонамѣренныхъ, но еще болѣе фарисеевъ и тартюфовъ),—они, ратуя противъ Пушкина, какъ безнравственнаго поэта, обыкновенно любятъ ссылаться или на шаловливья въ эротическомъ родѣ произведенія его юности, и на поэму «Русланъ и Людмила», не чуждую многихъ поэтическихъ вольностей; или на стихотворенія — «Демонъ», «Даръ напрасный, даръ случайный». Но перваго они не ставятъ же въ вину Державину—автору

«Мельника» и многих довольно вольных анакреонтических стихотворений, ибо, не смотря на нихъ, считаютъ его въ высшей степени «нравственнымъ» поэтомъ. Равнымъ образомъ, восхищаясь «Душенькою» Богдановича, они тоже не думаютъ находить ее «безнравственною». Чѣмъ же Пушкинъ виноватъ передъ ними? — Этого они сами не понимаютъ, и потому оставимъ ихъ въ покоѣ... Относительно же «Демона», мы еще будемъ говорить о томъ, что Пушкинскій демонъ не изъ самыхъ опасныхъ, и что это — скорѣе чертёнокъ, нежели чортъ. Прибавимъ къ этому только, что, и не будучи демоническимъ поэтомъ, Пушкинъ имѣлъ право и не могъ не знать иногда муки сомнѣнія: ибо этой муки совершенно чужды только природы мелкія, ничтожныя, сухія и мертвыя. Пьеса «Даръ напрасный, даръ случайный» есть не что иное, какъ порожденіе одной изъ тѣхъ тяжелыхъ минутъ нравственной апатіи и душевнаго отчаянія, которыя неизбѣжны, какъ минуты, для всякой живой и сильной природы; но она отнюдь не есть выраженіе паэоса Пушкинской поэзіи, а скорѣе—случайное противорѣчіе паэосу его поэзіи. Призваніе Пушкина, характеръ и направленіе его поэзіи гораздо болѣе выражается въ этомъ стихотвореніи:

Въ часы забавъ, иль празднои скуки,
Бывало лиръ я моей
Ввзвралъ извѣженные звуки
Безумства, лъни и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звонъ я прерывалъ,
Когда твой голосъ величавой
Меня внезапно поражалъ.
Я лилъ потоки слезъ нежданныхъ,
И ранамъ совѣсти моей
Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
Отраденъ чистый былъ елей.
И нынѣ съ высоты духовной
Мнѣ руку простираешь ты,

И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйныя мечты.
Твоимъ огнемъ душа палима,
Отвергла мракъ земныхъ суетъ,
И внемлетъ арфѣ серафима
Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцаніи міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положеніе, если не всегда утѣшительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ — поэтому она отличается характеромъ болѣе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выказывается болѣе, какъ чувство, или какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностію, муза Пушкина, умѣетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противорѣчій жизни; но она смотритъ на нихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (*resignatio*), какъ бы призывая ихъ роковую неизбѣжность и не нося въ душѣ своей идеала лучшей дѣйствительности и вѣры въ возможность его осуществленія. Такой взглядъ на міръ вытекалъ уже изъ самой природы Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящною елейностію, кротостію, глубиною и возвышенностію своей поэзіи, и въ этомъ же взглядѣ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію, Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ, и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнію всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго. Эту мысль мы полнѣе и яснѣе разовьемъ въ статьѣ о Лермонтовѣ, въ которой постоянно будемъ имѣть въ виду сравненіе обоихъ этихъ поэтовъ.

Въ стихвореніи «Чернь» заключается художническое profession de foi Пушкина. Онъ презираетъ чернь и, на ея приглашеніе исправлять ее звуками лиры, отвѣчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія:

Подите прочь! какое дѣло
Поэту мирному до васъ?
Въ развратъ каменѣйте смѣло:
Не оживить васъ лиры гласъ;
Душъ противны вы какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
*Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ:
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.*

Дѣйствительно, смѣшны и жалки тѣ глупцы, которые смотрятъ на поэзію, какъ на искусство втискивать въ разгѣр-ренныя строчки съ рифмами разныя правоучительныя мысли и требуютъ отъ поэта непременно, чтобъ онъ воспѣвалъ имъ все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидѣть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведеніи, если въ немъ нѣтъ общихъ правоучительныхъ мѣствъ. Но если до истины можно доходить не тѣмъ, чтобъ соглашаться съ глупцами, то и не тѣмъ, чтобъ противорѣчать имъ,— а тѣмъ, чтобъ, забывая о ихъ существованіи, смотрѣть на предметъ глазами разума. Не только поэты, съ ихъ «вдохновеніями, сладкими звуками и молитвами», но и сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравниваетъ поэтовъ, не имѣли бы

никакого значенія, еслибъ набожная толпа не соприсутствовала алтарямъ и жертвоприношеніямъ. Толпа, въ смыслѣ массы народной, есть прямая хранительница народнаго духа, непосредственный источникъ таинственной психеи народной жизни. Народъ (взятый какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состояніи породить изъ себя великихъ поэтовъ, не стоитъ названія народа или націи— съ него довольно чести называться просто племенемъ. Поэтъ, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизни своего народа, не можетъ ни быть, ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ. Никто, кромѣ людей ограниченныхъ и духовно-молодѣтныхъ, не обязываетъ поэта воспѣвать непременно гимны добродѣтели и карать сатирою пороки; но каждый умный человекъ вправѣ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отвѣты на вопросы времени, или, по крайней мѣрѣ, исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. И дѣйствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдѣ онъ просто воплощаетъ въ живыя прекрасныя явленія свои поэтическія созерцанія, но не тамъ, гдѣ хочетъ быть мыслителемъ и рѣшителемъ вопросовъ. Превосходно его стихотвореніе «Поэтъ», въ которомъ онъ развиваетъ мысль, что поэтъ, пока не потребуетъ его Аполлонъ къ священной жертвѣ, ничтожнѣе всѣхъ ничтожныхъ дѣтей міра, а какъ скоро коснется его слуха божественный зовъ, душа его стряхиваетъ съ себя нечистый сонъ жизни, какъ пробудившійся орелъ; но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кипитъ поэтами, которые пошлы, когда не пишутъ, и становятся благородны и чисты, когда вдохновляются; но тѣмъ не менѣе, всѣ видятъ въ нихъ теперь не болѣе, какъ великихъ людей на малыя дѣла: всѣ знаютъ, что эти господа скоро выписываются и изъ денегъ громкими фразами, увѣряютъ

другихъ въ томъ, чему нѣкогда сами вѣрили, но чему теперь уже сами первые на вѣрятъ. Наше время преклонитъ колѣни только передъ художникомъ, котораго жизнь есть лучшій комментарий на его творенія, а творенія — лучшее оправданія его жизни. Гёте не принадлежалъ къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіею; но практический и историческій индифферентизмъ не далъ бы ему сдѣлаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлющаго генія. Личность Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служеніе, равно какъ и недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тѣмъ не менѣе были причиною постепеннаго охлажденія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумѣренный восторгъ возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношеніи, пьесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ личность. И чѣмъ совершеннѣе становился Пушкинъ, какъ художникъ, тѣмъ болѣе скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика, съ одной стороны, не была въ состояніи оцѣнить художественнаго совершенства его послѣднихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны, она въ правѣ была искать въ поэзи Пушкина болѣе нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ея вина). Между тѣмъ, избранный Пушкинымъ путь оправдывается его натурою и призваніемъ: онъ не палъ, а только сдѣлался самимъ собою, но по несчастію въ такое время, которое было очень неблагоприятно для подобнаго направленія, отъ котораго выигрывало искусство, и мало пріобрѣтало общество. Какъ бы то ни было, нельзя винить Пушкина, что онъ не могъ выйти изъ закодированнаго круга своей личности, — и со всею добросовѣстностью человѣка и художника написалъ свое превосходное стихотвореніе «Поэту»:

Поэтъ, не дорожи любовію народною!
Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ;
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной;
Но ты останься твердь, спокоенъ и угрюмъ.
Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды высокихъ думъ,
Не требуя награды за подвигъ благородной.
Онъ въ самомъ тебѣ. Ты самъ свой высшій судъ;
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?
Доволенъ? Такъ пускай толпа тебя бранить,
И плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь горитъ,
И въ дѣтской рязвости колеблетъ твой треножникъ.

И Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величій непонятнаго и оскорбленнаго художника. И когда онъ писалъ свои лучшія творенія — «Скупаго Рыцаря», «Египетскія Ночи», «Русалка», «Мѣднаго Всадника», «Галуба», «Каменнаго Гостя», онъ всего менѣе рассчитывалъ на восторгъ публики и потому не торопился издавать ихъ...

Изъ мелкихъ произведеній его болѣе другихъ отличаются присутствіемъ глубокой и яркой мысли, и вмѣстѣ съ тѣмъ національнаго чувства, въ истинномъ значеніи этого слова, стихотворенія, посвященныя памяти Петра Великаго. Имя Петра Великаго должно быть нравственною точкою, въ которой должны сосредоточиться всѣ чувства, всѣ убѣжденія, всѣ надежды, гордость, благоговѣніе и обожаніе всѣхъ Русскихъ: Петръ Великій — не только творецъ бывшаго и настоящаго величія Россіи, но и всегда останется путеводною звѣздою русскаго народа, благодаря которой Россія будетъ всегда идти своею настоящею дорогою къ высокой цѣли нравственнаго, человѣческаго и политическаго совершенства. И Пушкинъ нигдѣ не является ни столько высокимъ, ни столько національнымъ поэтомъ, какъ въ тѣхъ вдохновеніяхъ, которыми обязанъ онъ великому имени творца Россіи. Эти сти-

хотворенія достойны своего высокаго предмета. Жаль только, что ихъ слишкомъ мало. Изъ поэмъ, Петръ является въ «Полтавѣ» и «Мѣдномъ Всадникѣ»: объ нихъ мы будемъ говорить въ слѣдующей статьѣ. Изъ мелкихъ стихотвореній Петру посвящены только двѣ пьесы, — но это перлы поэзій Пушкина. Бромъ простоты и величія въ мысляхъ, въ чувствахъ и въ выраженіи, есть что-то русское, народное въ самомъ тонѣ и складѣ этихъ пьесъ. Кто изъ образованныхъ Русскихъ (если онъ только дѣйствительно Русскій) не знаетъ превосходной пьесы, носящей скромное и повидимому незначительное названіе «Стансовъ»? Эта пьеса драгоцѣнна русскому сердцу въ двухъ отношеніяхъ: въ ней, словно изваянный, является колоссальный образъ Петра; въ связи съ нимъ находимъ въ ней поэтическое пророчество, такъ чудно и вполне сбывавшееся, о блаженствѣ нашихъ дней:

Въ надеждѣ славы и добра
Глижу впередъ и безъ боязни;
Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой онъ привлекъ сердца,
Но нравы укротилъ наукой,
И былъ отъ буйнаго стрѣльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукой.

Самодержавною рукой
Онъ смѣло сѣялъ просвѣщенье,
Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.

То академикъ, то герой,
То мореплаватель, то плотникъ,
Онъ всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ,
Во всемъ будь пращуръ подобенъ:

Какъ онъ неутомимъ и твердъ,
И памятью, какъ онъ, незлобенъ.

Какое величіе и какая простота выраженія! Какъ глубоко знаменательны, какъ возвышенно благородны эти простыя житейскія слова — плотникъ и работникъ!... Кому неизвѣстна также превосходная пьеса Пушкина — «Пиръ Петра Великаго»? Это — высокое художественное произведеніе, и въ то же время — народная пѣсня. Вотъ передъ такою народностію въ поэзіи мы готовы преклоняться; вотъ это — патриотизмъ, передъ которымъ мы благоговѣмъ... А ужъ воля ваша, ни народности, ни патриотизма не видимъ мы ни искорки въ новѣйшихъ «драматическихъ представленіяхъ» и романахъ съ хвастливыми фразами, съ квашеною капустою, кулаками и подбитыми лицами...

Никто изъ русскихъ поэтовъ не умѣлъ съ такимъ непостижимымъ искусствомъ спрыскивать живую водою своей творческой фантазіи немножко дубоватые матеріалы народныхъ нашихъ пѣсень. Прочтите «Жениха», «Утопленника», «Бѣсовъ» и «Зимній Вечеръ», — и вы удивитесь, увидя, какой очаровательный міръ поэзіи умѣлъ вызвать поэтъ своимъ волшебнымъ жезломъ изъ такихъ скудныхъ стихій... Эти пьесы въ тысячу разъ лучше его же такъ называемыхъ сказокъ, этихъ уродливыхъ искаженій и безъ того уродливой поэзіи... но о нихъ рѣчь впереди. И если такихъ пьесъ, какъ «Женихъ», «Утопленникъ», «Бѣсы», и «Зимній Вечеръ», у Пушкина немного, въ этомъ, конечно, виновата ограниченность и бѣдность сферы нашей народной поэзіи. Но Пушкинъ умѣлъ извлечь изъ нея дивную поэму, на половину фантастическую, на половину фактически-положительную, и въ обоихъ случаяхъ удивительно поэтически вѣрную дѣйствительности русской жизни. Мы говоримъ о «Русалкѣ», о которой, впрочемъ, рѣчь также впереди.

Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзіи, рѣзко отдѣ-

ляющимъ ее отъ прежней школы, принадлежить его художническая добросовѣстность. Пушкинъ ничего не преувеличиваетъ, ничего не украшаетъ, ничѣмъ не эффектируетъ, никогда не взводитъ на себя великолѣпныхъ, но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездѣ является такимъ, каковъ былъ дѣйствительно. Такъ, напримѣръ, онъ узнаетъ о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ: какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, невыносимой муки!... Но сердце наше — вѣчная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подѣйствовала на Пушкина роковая вѣсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увела наконецъ, и вѣрно надо мной
Младая тѣнь уже летала;
Но не доступная черта межъ нами есть.
Напрасно чувство возбуждалъ я;
Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть.
И равнодушно ей внималъ я:
Такъ вотъ кого любилъ я пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такою нѣжною, томительной тоской,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!
Гдѣ муки, гдѣ любовь? Увы! въ душѣ моей
Для бѣдной легковѣрной тѣни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ, ни пѣни.

Да, непостижимо сердце человѣческое, и, можетъ-быть, тотъ же самый предметъ внушилъ впоследствии Пушкину его дивную «Разлуку» («Для береговъ отчизны дальней»)... Въ отношеніи въ художнической добросовѣстности Пушкина, такова же его превосходная пьеса «Воспоминаніе»: въ ней онъ не рисуется въ мантій сатанинскаго величія, какъ это дѣлають часто мелкодушные талантики, но просто какъ человѣкъ

оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, но то, что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдаетъ отъ нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совѣсти... Та же художническая добросовѣстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любятъ щеголять мелкіе таланты, изукрашивая ихъ небывальными красками, и изъ русской природы смѣло дѣлая пародію на итальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходнѣйшихъ и, вѣроятно, по этой причинѣ, наименѣ замѣченныхъ и оцѣненныхъ пьесъ Пушкина — «Капризъ»:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузой,
Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой.
Что-жь ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить
И пѣсенкою насъ веселой позабавить?
Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогой,
За ними черноземъ, равнины скать отлогой,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ-жь нивы свѣтлыя? гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка? На дворѣ, у низкаго забора
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и то изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждуть перваго борей.
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетъ издали лѣниваго попенка.
Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ:
Скорѣй, ждуть некогда, давпо-бъ ужъ скоронилъ!

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природѣ. Онъ созерцалъ ее удивительно вѣрно и живо, но не углублялся въ ея тайный языкъ. Оттого онъ рисуетъ ее, но не мыс-

лить о ней. И это служить новымъ доказательствомъ того, что паеосъ его поэзіи былъ чисто артистическій, художническій, и того, что его поэзіи должна сильно дѣйствовать на воспитаніе и образованіе чувства въ человѣкѣ. Если съ кѣмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имѣеть нѣкоторое сходство, такъ болѣе всего съ Гёте, и онъ еще болѣе, нежели Гёте, можетъ дѣйствовать на развитіе и образованіе чувства. Это, съ одной стороны, его преимущество передъ Гёте и доказательство, что онъ больше, нежели Гёте, вѣренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны, въ этомъ же самомъ неизмѣримомъ превосходствѣ Гёте передъ Пушкинымъ: ибо Гёте—весь мысль, и онъ не просто изображалъ природу, а заставлялъ ее раскрывать передъ нимъ ея завѣтныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантеистическое созерцаніе природы и—

Была ему звѣздная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была—полная невыразимаго, но безмолвнаго очарованія живая картина. Образцомъ Пушкинскаго созерцанія природы могутъ служить пьесы: «Туча» и «Обвалъ». Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ пьесъ, обѣ онѣ—живопись въ поэзіи...

Мы уже говорили о разнообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположныя сферы жизни. Въ этомъ отношеніи, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкинъ напоминаетъ Шекспира. Это доказываютъ даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматическіе опыты. Взглянемъ, въ этомъ отношеніи, на первыя. Превосходнѣйшія пьесы въ антологическомъ родѣ, запечатлѣнныя духомъ древнеэллинской музыки, подражанія Корану, вполне передающія

духъ исламизма и красоты арабской поэзіи — блестящій алмазъ въ поэтическомъ вѣнцѣ Пушкина! «Въ крови горитъ огонь желанья», «Вертоградъ моей сестры», «Пророкъ» и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненной глубокаго смысла и названной «Отрывкомъ» (т. IX, стр. 183), представляютъ красоты восточной поэзіи другаго характера и вышаго рода, принадлежатъ къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго генія-протeya. Мы говорили уже о «Женихѣ», «Утопленникѣ», «Бѣсахъ» и «Зимнемъ вечерѣ», — пьесахъ, образующихъ собою отдѣльный міръ русско-народной поэзіи въ художественной формѣ. «Пѣсни Западныхъ Славянъ» болѣе, чѣмъ что-нибудь доказываютъ непостижимый поэтическій тактъ Пушкина и гибкость его таланта. Известно происхожденіе этихъ пѣсень и продѣлка даровитаго француза Мериме, вздумавшаго посмѣяться надъ колоритомъ мѣстности. Не знаемъ, коковы вышли на французскомъ языкѣ эти поддѣльные пѣсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онѣ дышатъ всею роскошью мѣстнаго колорита, и многія изъ нихъ превосходны, несмотря на однообразіе, — неизбѣжное, впрочемъ, свойство всѣхъ народныхъ произведеній. — «Подражанія Данту» можно счесть за отрывочные переводы изъ «Божественной Комедіи», и они даютъ о ней лучшее и вѣрнѣйшее понятіе, чѣмъ всѣ доселѣ сдѣланные по-русски переводы въ стихахъ и прозѣ. «Начало поэмы» («Стамбулъ гяуры нынѣ славятъ») какъ будто написано Туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ видѣнъ въ этомъ талантъ по превосходству артистическій, художественный! И то ли еще увидимъ, въ этомъ отношеніи, въ большихъ пьесахъ Пушкина!

Сдѣлаемъ теперь общій взглядъ на всѣ мелкія стихотворенія и поговоримъ о нѣкоторыхъ въ частности. О стихотвореніяхъ, заключающихся въ первой части, мы говорили почти обо всѣхъ. При началѣ поэтическаго поприща, Пушкина живо интересовала современная исторія — направленіе,

которому онъ скоро совершенно измѣнилъ. Онъ воспѣлъ смерть Наполеона; въ превосходной пьесѣ своей «Бъ Морю», онъ принесъ достойную дань памяти Байрона, охарактеризовавъ его личность этими немногими, но сильными чертами:

Твой образъ былъ на немъ означенъ.
Онъ духомъ созданъ былъ твоимъ:
Какъ ты, могущъ, глубокъ и мраченъ.
Какъ ты, ничѣмъ неукротимъ..

Андре Шенье былъ отчасти учителемъ Пушкина въ древней классической поэзии, и въ элегии, означенной именемъ французскаго поэта, Пушкинъ, многими прекрасными стихами, вѣрно воспроизвелъ его образъ. Въ превосходной пьесѣ «19 октября», мы знакомимся съ самимъ Пушкинымъ какъ съ человѣкомъ, для того, чтобъ любить его, какъ человѣка. Вся эта пьеса посвящена имъ воспоминанію объ отсутствующихъ друзьяхъ. Многія черты въ ней принадлежать уже къ прошедшему времени: такъ, напримѣръ, теперь, когда уже вывелись восторженные юноши - поэты, въ родѣ Ленскаго (въ «Онѣгинѣ») никто не говоритъ «о Шиллерѣ, о славѣ, о любви», но пьеса отъ этого тѣмъ дороже для насъ, какъ живой памятникъ прошлаго.

«Сцена изъ Фауста» есть не переводъ изъ великой поэмы Гёте, а собственное сочиненіе Пушкина въ духѣ Гёте. Превосходная пьеса, но паюсъ ея не совсѣмъ Гётевскій. Прекрасная маленькая пьеска: «Воронъ къ ворону летитъ» есть передѣлка на русскій ладъ баллады Вальтеръ-Скотта. Пьесы, составляющія третью часть, болѣе проникнуты грустью, но не элегическою; это даже не грусть, а скорѣе важная дума испытаннаго жизнію и глубоко всмотрѣвшагося въ нее таланта. Чувство гуманности во многихъ пьесахъ этой части доходить до какого-то внутренняго просвѣтлѣнія. Таковы въ особенности пьесы: «Когда твои младыя лѣта» и «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ». Заключеніе послѣдней превосходно:

есть что-то похожее на пантеистическое міросозерцаніе Гёте въ послѣднемъ куплетѣ: томимый грустнымъ предчувствіемъ близкаго конца, поэтъ говоритъ, что ему хотѣлось бы заснуть навѣки въ родномъ краѣ, хотя для безчувственного тѣла вездѣ равно истлѣвать—

И пусть у гробоваго входа
Младая будетъ жизнь играть.
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять!

Изъ этого, какъ изъ многихъ, особенно большихъ, пьесъ Пушкина, видно, что онъ поставлялъ выходы изъ диссонансовъ жизни и примиреніе съ трагическими законами судьбы не въ заоблачныхъ мечтаніяхъ, а въ опирающейся на самое себя силѣ духа...

Въ третьей же части находится превосходное стихотвореніе «Къ Вельможѣ». Это — полная, дивными красками написанная картина русскаго XVIII вѣка. Нѣкоторые крикливые глупцы, не понявъ этого стихотворенія, осмѣливались, въ своихъ полемическихъ выходкахъ, бросать тѣнь на характеръ великаго поэта, думая видѣть лезть тамъ, гдѣ должно видѣть только въ высшей степени художественное достиженіе и изображеніе цѣлой эпохи въ лицѣ одного изъ замѣчательнѣйшихъ ея представителей. Стихи этой пьесы — само совершенство, и вообще вся пьеса одно изъ лучшихъ созданій Пушкина; поэтъ, съ дивною вѣрностью изобразивъ то время, еще болѣе оттѣняетъ его черезъ контрастъ съ нашимъ:

Все измѣнилось. Ты видѣлъ вихорь бури,
Паденіе всего, союзъ ума и фурій,
Свободой грозною воздвигнутый законъ,
Подъ гильотинною Версаль и Трианонъ,
И мрачнымъ ужасомъ смѣненны забавы.
Преобразился міръ при громахъ новой славы,

Давно Ферней умолкъ. Приятель твой Вольтерь,
Превратности судьбъ разительный примѣръ,
Не успокоившись и въ гробовомъ жилищѣ,
Донывъ странствуетъ съ кладбища на кладбище.
Баронъ д'Ольбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ,
Энциклопедія скептической причетъ,
И колкій Бомарше, и твой безносый Касти,
Всѣ, всѣ уже прошли. Ихъ мнѣнья, толки страсти
Забыты для другихъ. Смотри, вокругъ тебя
Все новое кипитъ, бывшее истребя.
Свидѣтелями бывъ вчерашняго паденья,
Едва опомнились младыя поколѣнья.
Жестокихъ опытовъ собирая поздній плодъ.
Они торопятся съ расходомъ свестъ приходъ.
Имъ некогда шутить, обѣдать у Темиры,
Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной лиры,
Звукъ лиры Байрона развлечъ едва ихъ могъ.

Вообще, третья часть заключаетъ въ себѣ лучшія мелкія пьесы Пушкина, не говоря уже о двухъ превосходнѣйшихъ драматическихъ очеркахъ — «Моцартъ и Сальери» и «Пиръ во время чумы». Въ самомъ стихѣ видѣнъ большой успѣхъ. И между тѣмъ, аристархами того времени эта часть была принята очень дурно. «Кавказъ», «Обваль», «Монастырь на Казбекѣ», «На холмахъ Грузіи лежитъ ночная мгла», «Не плѣняйся бранной славой», «Когда твои младыя лѣта», «Зима. Что дѣлать намъ въ деревнѣ», «Зимнее Утро», «Калмычкѣ», «Что въ имени тебѣ моемъ», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Въ часы забавъ, иль празднои скуки», «Къ Вельможѣ», «Поэту», «Отвѣтъ Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Бѣсы», «Трудъ», «Цыгане», «Мадонна», «Эхо», «Клеветникамъ Россіи», «Бородинская Годовщина», «Узникъ», «Зимній Вечеръ», «Даръ напрасный, даръ случайный», «Какоеъ я прежде былъ, такоеъ и нынѣ я», «Анчаръ», «Примѣты»: во всѣхъ этихъ пьесахъ критиканы 1832 года увидѣли несомнѣнные признаки паденія Пушкина!... То-то были люди со вкусомъ!...

Четвертая часть преимущественно занята русскими сказками и «Пѣснями Западныхъ Славянъ»; мелкихъ пьесъ много, но онѣ всѣ превосходны. «Гусарь», «Будрысь и его Сыновья», «Воевода» — мастерскіе переводы изъ Мицкевича; «Красавица», двѣ пьесы «подражаній древнимъ» и «Элегія» («Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье») принадлежать къ лучшимъ произведеніямъ Пушкина. Кромѣ того, въ четвертой части напечатанъ «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ», явившійся въ первый разъ въ видѣ предисловія къ первой главѣ «Евгенія Онѣгина». Этотъ «Разговоръ» отзывается первою эпохою поэтической дѣятельности Пушкина и не совсѣмъ кстати попалъ въ четвертую часть его сочиненій.

Къ позднѣйшимъ сочиненіямъ Пушкина, которыя бы должны были составить пятую часть его мелкихъ стихотвореній, принадлежатъ: «Туча», «Аквилонъ», «Пиръ Петра Великаго» «Полководецъ» (одно изъ превосходнѣйшихъ созданій Пушкина), «Покровъ, упитанный язвительною кровью» (изъ А. Шенье). Въ IX-й томъ изданныхъ по смерти его сочиненій вошли нѣкоторыя изъ старыхъ, непопавшихъ по недосмотру въ первые тома, и нѣкоторыя изъ новыхъ произведеній, которыхъ авторъ не хотѣлъ печатать, а нѣкоторыя и изъ дѣйствительно послѣднихъ его произведеній. Во всякомъ случаѣ, лучшія изъ нихъ: «Памятникъ», «Разлука», «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума», «Три ключа», «Пажъ, или пятнадцатилѣтній король», «Подражаніе Итальянскому», «Подражаніе Арабскому» («Отрокъ милый, отрокъ нѣжный»), «М. А. Г.», «Лицейская Годовщина», «Къ Гнѣдичу» («Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ»), «Разставаніе», «Романсъ», «Ночью, во время безсонницы», «Заклинаніе», «Капризъ», «Подражаніе Данту», «Отрывокъ», «Послѣдніе цвѣты», «Кто знаетъ край, гдѣ небо блещетъ», «Осень», «Начало поэмы», «Герой», «Молитва», «Опять на родинѣ», да еще пропущенныя вовсе: «Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу» и «Признаніе» (А. И. О—й).

До какого состоянія внутренняго просвѣтлѣнія возвысился духъ Пушкина въ послѣднее время, могутъ служить фактомъ двѣ маленькія пьески—«Элегія» и «Три Ключа»:

Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье
Мнѣ тяжело, какъ смутное похмѣлье;
Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней
Въ моей душѣ, чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй.
Мой путь унылъ. Сузить мнѣ трудъ и горе
Грядущаго волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать!
Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать,
И, вѣдаю, мнѣ будутъ наслажденья
Межъ горестей, заботъ и тревоженья:
Порой опять гармоніей уныю,
Надъ вымысломъ слезами обольюсь,
И, можетъ-быть, на мой закатъ печальной
Блеснетъ любовь улыбкою прощальной.

—
Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробіялись три ключа:
Ключъ юности—ключъ быстрый и мятежной,
Кипить, бѣжитъ, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поить;
Послѣдній ключъ—холодный ключъ забвенья,
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ.

Заклучимъ нашъ обзоръ мелкихъ лирическихъ пьесъ Пушкина мнѣніемъ о нихъ Гоголя, — мнѣніемъ, въ которомъ, конечно, сказано больше и лучше, нежели сколько и какъ сказали мы въ цѣлой статьѣ нашей:

«Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ — этой прелестной антологіи Пушкинъ разпостороненъ необыкновенно и является еще обширнѣе, виднѣе, нежели въ поэмахъ. Нѣкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ рѣзко ослѣпительны, что ихъ способенъ понимать всякой, но за то большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенною для многочисленной толпы. Чтobъ быть способну

понимать ихъ, нужно имѣть слишкомъ тонкое обоняніе; нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только одиѣ слишкомъ рѣзкіи и крупныя черты. Для этого нужно быть въ некоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который встѣ птячку не болѣе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсѣмъ неопредѣленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привычному глотать извѣія крѣпостнаго повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній—рядъ самыхъ ослѣпительныхъ картинъ. Это тотъ ясный міръ, который такъ дышетъ чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струѣ какой-нибудь серебряной рѣчки, въ которомъ быстро и ярко мелькаютъ ослѣпительныя плечи, или бѣлыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздія винограда, или мирты и древесная сѣнь, созданная для жизни. Тутъ все: и наслажденіе, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругъ объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здѣсь нѣтъ этого каскада краснорѣчія, увлекающаго только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединится съ другими и оглушаетъ паденіемъ всей массы, но если отдѣлить ее, она становится слабою и безсильною. Здѣсь нѣтъ *краснорѣчія*, здѣсь одна *поэзія*; никакого наружнаго блеска, все просто, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается невдругъ; все законизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, но они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словѣ бездна пространства: каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходитъ то, что эти мелкія сочиненія перчитываешь нѣсколько разъ, тогда какъ достоинства этого не имѣеть сочиненіе, въ которомъ слишкомъ просвѣчиваетъ одна главная идея.

«Мнѣ всегда было странно слышать сужденія объ нихъ многихъ, слышавшихъ знатоками и литераторами, которымъ я болѣе довѣрялъ, покаимъ еще не слышалъ ихъ толковъ объ этомъ предметѣ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которыхъ можно испытать вкусъ и эстетическое чувство разбирающаго ихъ критика. Непостижимое дѣло! казалось, какъ бы ихъ не быть доступными всѣмъ! Они такъ просто-возвышены, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и вмѣстѣ такъ дѣтски-чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увя! это неотразимая истина: чѣмъ болѣе поэтъ становится поэтомъ, чѣмъ болѣе изображаетъ онъ чувства, знакомыя поэтамъ, тѣмъ замѣтнѣе уменьшается кругъ обступившей его толпы и, наконецъ, такъ становится тѣсенъ, что онъ можетъ перечестъ по пальцамъ всѣхъ своихъ истинныхъ дѣятелей».

VI.

Поэмы: «Русланъ и Людмила», «Кавкаскій плѣнникъ», «Бахчисарайскій Фонтанъ», «Вратья-Разбойники».

Нельзя ни съ чѣмъ сравнить восторга и негодованія, возбужденныхъ первою поэмою Пушкина—«Русланъ и Людмила». Слишкомъ немногимъ гениальнымъ твореніямъ удавалось производить столько шума, сколько произвела эта дѣтская и нисколько не гениальная поэма. Поборники новаго увидѣли въ ней колоссальное произведеніе, и долго послѣ того величали они Пушкина забавнымъ титломъ «пѣвца Руслана и Людмилы». Представители другой крайности, слѣпые поклонники старины, почтенные колпаки, были оскорблены и приведены въ ярость появленіемъ «Руслана и Людмилы». Они увидѣли въ ней все, чего въ ней нѣтъ—чуть не безбожіе, и не увидѣли въ ней ничего изъ того, что именно есть въ ней, то есть, хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мѣстами, проблесковъ поэзіи. Перелистуйте отъ скуки, журналы 1820 года,—и вы съ трудомъ повѣрите, что все это писалось и читалось не болѣе, какъ какихъ нибудь 24 года назадъ... И это относится не къ однѣмъ порицательнымъ, но и къ хвалительнымъ статьямъ, которыми наводнились журналы того времени вслѣдствіи появленія «Руслана и Людмилы». Впрочемъ, подобное явленіе столько же понятно, сколько естественно и обыкновенно. Люди, которымъ не дано способности углубляться въ сущность вещей, раздѣляются на старовѣровъ и на верхоглядовъ. Первые стоятъ за старое и слѣдуютъ мудрому правилу: «все старое хорошо, потому что оно—старое, а все новое дурно, потому что оно—новое»; вторые стоятъ за новое и слѣдуютъ мудрому правилу: «все новое хорошо, потому что оно—новое,

а все старое дурно, потому что оно—старое». Несмотря на всю противоположность этихъ двухъ партій, онѣ очень похожи одна на другую, потому что источникъ ихъ воззрѣнія, при всемъ своемъ различіи, одинъ и тотъ же: это — нравственная слѣпота, препятствующая видѣть сущность предмета. Старовѣры, какъ люди всегда дряхлые, если не годами, то душою, управляются привычкою, которая замѣняетъ имъ размышленіе и избавляетъ ихъ отъ всякой умственной работы. Привыкнувъ съ молодости слышать, что такой-то писатель великъ, они не заботятся узнать, почему онъ великъ и точно ли онъ великъ, и готовы считать безбожникомъ всякаго, кто осмѣлился бы усомниться въ величіи этого писателя. Такимъ-то образомъ, до появленія Пушкина, у нашихъ словесниковъ слыли за великихъ писателей Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Богдановичъ, — и, въ ихъ глазахъ, Державинъ потому же самому былъ великъ, почему и Сумароковъ съ Херасковымъ, то есть, по неоспоримому праву давности, а совѣтъ не потому, чтобъ они умѣли чувствовать и постигать красоты его поэзіи. У кого есть эстетическій вкусъ и кто способенъ находить красоты въ Державинѣ, тотъ уже не можетъ восхищаться Сумароковымъ, Херасковымъ, или Петровымъ, — а словесники, о которыхъ мы говоримъ, равно благоговѣли передъ Сумароковымъ и Херасковымъ, какъ и передъ Державиннымъ, Ломоносова же считали одни наравнѣ съ Державиннымъ, другіе ставили выше Державина, а третьи оставались въ недоумѣніи, кому изъ нихъ отдать пальму первенства. Ясный знакъ, что всѣми этими мнѣніями управляла привычка, одна привычка и больше ничего... Каково же было дожить этимъ старымъ дѣтямъ привычки до такого страшнаго поруганія, когда общій голосъ публики нарекъ знаменитымъ поэтомъ какого-то Александра Пушкина, который, по метрическимъ книгамъ, жилъ на свѣтѣ не болѣе двадцати одного года! Къ вящему соблазну, реченный Пушкинъ осмѣ-

лился писать такъ, какъ до него никто не писалъ на Руси, возымѣлъ неслыханную дерзость, или паче отъявленное буйство — идти своимъ собственнымъ путемъ, не взявъ себѣ за образецъ ни одного изъ законодателей парнасскихъ, великихъ поэтовъ иностранныхъ и россійскихъ, каковы: Гомеръ, Пиндаръ, Virgilij, Гораций, Овидій, Тассъ, Мильтонъ, Корнель, Расинъ. Буало, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Дмитріевъ и проч. А извѣстно и вѣдомо было въ тѣ времена каждому, даже и не учившемуся въ семинаріи, что талантъ безъ подражанія геніямъ, утвержденнымъ давностію, гибнетъ втунѣ жертвою собственнаго своевольства. Самъ Жуковскій, хотя онъ и крѣпко насолилъ словесникамъ своими балладами и своимъ романтизмомъ, самъ Жуковскій держался Шиллера; а Батюшковъ именно потому и былъ отличнымъ поэтомъ, что подражалъ Парни и Милльвуа, которые, вмѣстѣ взятые, не годились ему и въ парнасскіе камердинеры... По всѣмъ этимъ резонамъ, долой Пушкина! Или онъ, или мы; а вмѣстѣ съ нимъ намъ тѣсно на землѣ!.. И это продолжалось не менѣе десяти лѣтъ сряду. Однакожь Пушкинъ устоялъ, и теперь развѣ только какія-нибудь литературныя аномаліи, которыхъ одно имя возбуждаетъ смѣхъ, вопіютъ еще нерѣдко противъ законности правъ Пушкина на титул великаго поэта; но они противопоставляютъ ему уже не Сумарокова съ Херасковымъ, а своихъ собственныхъ, нарочно для этого случая испеченныхъ геніевъ, которые

. . . немножечко деруть,
За то ужъ въ ротъ хвѣльнаго не берутъ,
И всѣ съ прекраснымъ поведеньемъ.

Такъ всегда время побѣждаетъ предрассудки людей, и на ихъ развалинахъ возстановляетъ побѣдоносное знамя истины; но тѣмъ не менѣе для будущаго времени всегда остается та же работа. Въ продолженіи почти пятнадцати лѣтъ, всѣ привыкли къ имени Пушкина и къ его славѣ, а потому всѣ и

повѣрили наконецъ, что Пушкинъ—великій поэтъ. Но отъ этого дѣло не исправилось для будущихъ поэтовъ, и ихъ всегда будутъ принимать не съ одними кликами восторга, но и съ свистками и съ каменьями, до тѣхъ поръ, пока не привыкнутъ къ ихъ именамъ и ихъ славѣ. Развѣ теперь не то же самое сбывается на нашихъ глазахъ съ Гоголемъ и Лермонтовымъ, что было съ Пушкинымъ? Есть люди, которые, по какому-то внутреннему бессознательному побужденію, съ жадностію читаютъ каждое новое произведеніе Гоголя и чуть не наизусть знаютъ всѣ прежнія его сочиненія, а между тѣмъ приходятъ въ непритворное негодованіе, если при нихъ Гоголя называютъ великимъ поэтомъ... Подождите еще нѣсколько,—привыкнутъ, и тогда—горе человѣку, который сдѣлаетъ хотя бы дѣльное замѣчаніе не въ пользу Гоголя... Такова ужъ натура этихъ людей! Они кланяются только побѣдителю и признаютъ власть только того, кого боятся...

Но не лучше старовѣровъ и верхогляды, которые рукоплещутъ только торжеству настоящей минуты и не хотятъ знать о заслугѣ, которую сами же прославляли за нѣсколько дней передъ тѣмъ. Для нихъ хорошо только новое, и въ литературѣ они видятъ только моду. Новый водевиль, пустой и ничтожный, какъ всѣ водевили, для нихъ важнѣе и «Бориса Годунова» Пушкина, и «Горя отъ ума» Грибоѣдова, и «Ревизора» Гоголя. Они совсѣмъ не то, что люди движенія, которые, въ своей крайности, восторгаясь новымъ литературнымъ явленіемъ, отрицаютъ всякую заслугу со стороны прежнихъ писателей. Нѣтъ, верхогляды совсѣмъ не фанатики: они не отрицаютъ важности старыхъ писателей и старыхъ сочиненій, а просто не хотятъ ихъ знать; старо же для нихъ все, что появилось хотя за день до какой-нибудь пошлости, занявшей ихъ сегодня. Каждый изъ нихъ знаетъ по именамъ всѣхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ, но ни одинъ изъ нихъ не читалъ ни Ломоносова, ни Державина,

ни Карамзина, ни Дмитриева, ни Озерова. Они читаютъ только современное, новое, хотя бы оно состояло изъ сущихъ пустяковъ.

Мы не говоримъ здѣсь о тѣхъ приверженцахъ старины, которые отстаиваютъ старое противъ новаго по привязанности къ школѣ, къ принципамъ, въ которыхъ воспитались. Въ людяхъ этого разряда много смѣшнаго и жалкаго, но много и достойнаго любви и уваженія. Это не дѣти привычки, о которыхъ мы говорили выше; это—дѣти извѣстной доктрины, извѣстнаго ученія, извѣстной мысли. Равнымъ образомъ и противоположные имъ поклонники новаго, какъ новой мысли, новаго созерцанія, новаго духа, заслуживаютъ любовь и уваженіе, несмотря на ихъ крайности и смѣшныя, одностороннія убѣжденія. Фанатизмъ не есть истина, но безъ фанатизма нѣтъ стремленія къ истинѣ. Фанатизмъ—болѣзнь, но вѣдь болѣзнь есть принадлежность только живаго, а не мертваго: камень или трупъ не знаютъ болѣзни...

Причиною энтузіазма, возбужденнаго «Русланомъ и Людмилою», было конечно, и предчувствіе новаго міра творчества, который открывалъ Пушкинъ всѣми своими первыми произведеніями, но еще болѣе это было просто обольщеніе невиданною дотошъ новинкою. Какъ бы то ни было, но нельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская литература не представляла ничего подобнаго «Руслану и Людмилѣ». Въ этой поэмѣ все было ново: и стихи, и поэзія, и шутка, и сказочный характеръ вмѣстѣ съ серьезными картинами. Но бѣшенаго негодованія, возбужденнаго сказкою Пушкина, нельзя было бы совсѣмъ понять, еслибъ мы не знали о существованіи старовѣровъ, дѣтей привычки. На чтѣ озлились они? На нѣсколько вольныя картины въ эротическомъ духѣ!—Но они давно уже знакомы были съ ними черезъ Державина и въ особенности черезъ Богдановича... Притомъ же они никогда не ставили этихъ вольностей въ вину, напримѣръ, Аріосту, Парни, несмотря на то, что вольности въ «Рус-

ланѣ и Людмилѣ» — сама скромность, само цѣломудріе въ сравненіи съ вольностями этихъ писателей. Это были писатели старыя: къ ихъ славѣ давно уже всѣ привыкли, и потому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавнѣ всего, что «Душенька» Богдановича была признаваема старовѣрами за произведеніе классическое, то-есть такое, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство котораго уже не подвержено никакому сомнѣнію. Судя по этому, имъ-то бы и надобно было особенно восхититься поэмю Пушкина, которая во всѣхъ отношеніяхъ была неизмѣримо выше «Душеньки» Богдановича. Стихъ Богдановича прозаиченъ, вялъ, водянь, языкъ обветшалый и сверхъ того до нельзя искаженный такъ называвшимися тогда «питическими вольностями»; поэзіи почти нисколько; картины блѣдны, сухи. Словомъ, несмотря на всю незначительность «Руслана и Людмилы», какъ художественнаго произведенія, смѣшно было бы доказывать неизмѣримое превосходство этой поэмы передъ «Душенькою». Сверхъ того, она навѣяна была на Пушкина Аріостомъ, и русскаго въ ней кромѣ имени нѣтъ ничего; романтизма столь ненавистнаго тогдашнимъ словесникамъ, въ ней тоже нѣтъ ни искорки; романтизмъ даже осмѣянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходкѣ противъ «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ». Коротче: поэма Пушкина должна была бы составить торжество псевдо-классической партіи того времени. Но не тутъ-то было! При второмъ изданіи «Руслана и Людмилы», вышедшимъ въ 1828 году, припечатано нѣсколько ругательныхъ статей на эту поэму, написанныхъ въ 1820 году; перечтите ихъ, — и вы не повѣрите глазамъ своимъ! Для образчика такихъ критикъ выписываемъ отрывокъ одной изъ нихъ, напечатанной въ «Вѣстникѣ Европы» 1820 года (т. СХІ, стр. 216—220) по случаю помѣщеннаго въ «Сынѣ Отечества» отрывка изъ «Руслана и Людмилы» еще до появленія этой поэмы вполнѣ:

«Теперь прошу обратить ваше вниманіе на новый ужасный пред-

метъ, который, какъ у Камюенса Мысь буръ, выходитъ изъ нѣдръ морскихъ и показывается посреди Океана Россійской словесности. Пожалуйста, напечатайте же мое письмо: быть можетъ, люди, которые грозятъ нашему терпѣнью новымъ бѣдствіемъ, опомнятся, разсмиются — и остановятъ намъреніе сдѣлаться изобрѣтателями новаго рода русскихъ сочиненій».

«Дѣло вотъ въ чемъ: Вамъ извѣстно, что мы отъ предковъ получили небольшое бѣдное наслѣдство литературы, т.-е. сказки и пѣсни народныя. Что объ нихъ сказать? Если мы бережемъ старинныя монеты даже самыя безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Безъ всякаго сомнѣнія! Мы любимъ вспоминать все относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому времени дѣтства, когда какая-нибудь пѣсня или сказка служила намъ невинною забавой и составляла все богатство познаній? Видите сами, что я не прочь отъ собиранія и изысканія Русскихъ сказокъ и пѣсень; но когда узналъ я, что наши словесники приняли старинныя пѣсни совсѣмъ съ другой стороны, громко закричали о величїи, плавности, силѣ, красотахъ, богатствѣ нашихъ старинныхъ пѣсень, начали переводать ихъ на Нѣмецкій языкъ, и наконецъ такъ влюбились въ сказки и пѣсни, что въ стихотворенїяхъ XIX вѣка заблестали *Ерусалы* и *Босы* на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный!»

«Чего добраго ждать отъ повторенія болѣе жалкихъ, нежели смѣшныхъ лепетаній?... чего ждать, когда наши поэты начинаютъ пародировать *Киришу Данилова*?»

«Возможно ли просвѣщенному, или хоть немного свѣдущему человеку терпѣть, когда ему предлагаютъ новую поэму, писанную въ подражаніе *Еруслану Лазаревичу*? Извольте же заглянуть въ 15 и 16 №№ *Сына Отечества*. Тамъ неизвѣстный пѣтъ на образчикъ представляетъ намъ отрывокъ изъ поэмы своей *Людмила и Русланъ* (не Ерусланъ ли?). Не знаю, что будетъ содержать цѣлая поэма; но образчикъ хоть кого выведетъ изъ терпѣнія. Пѣтъ оживляетъ мужичка самъ съ ногою: а борода съ локоть, придаетъ еще ему безконечныя усы (С. Отеч., стр. 121), показываетъ намъ вѣдьму, шапочку невидимку и проч. Но вотъ что всего драгоценнѣе: Русланъ наѣзжаетъ въ полѣ на побитую рать, видитъ богатырскую голову, подъ которой лежитъ мечъ кладенецъ; голова съ нимъ разглагольствуетъ, сражается... Живо помню, какъ все это, бывало, я слушалъ отъ няньки моей; теперь на старости сподобился вновь то же услышать отъ поэтовъ нынѣшняго времени... Для большей точности или, чтобы лучше выразить всю прелесть стариннаго нашего пѣсно-

словія, поэтъ и въ выраженіяхъ уподобился Ерусланову разсказчику, на примѣръ:

. . . Шутите вы со мною,
Всѣхъ удаляю васъ бородою!...

Каково?

. . . Объяхалъ голову кругомъ
И сталъ предъ носомъ молчаливо.
Щекотитъ поздри копиемъ...

Картина, достойная Кириши Данилова! Далѣе чихнула голова, за нею и эхо *чихаетъ*... Вотъ что говорить рыцарь:

Я вду, вду не свищу,
А какъ навду, не спущу ..

Потомъ рыцарь ударяетъ голову въ *щеку* тяжелой *рукавицей*... Но увольте меня отъ подробнаго описанія, и позвольте спросить: еслибы въ Московское Благородное Собраніе какъ -нибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ, и закричалъ бы зычнымъ голосомъ; *здорово ребята!* Неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться! Бога ради, позвольте мнѣ старику сказать публикѣ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появленіи подобныхъ странностей. Зачѣмъ допускать, чтобы плоскія шутки старины снова появлялись между нами. Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвѣщеннымъ, отвратительна, а не мало не смѣшна и не забавна.
Dixi.

Житель Бутырской слободы.

Итакъ, ясно, что «бутырскаго» критика оскорбилъ прежде всего сказочный характеръ поэмы «неизвѣстнаго пѣтца», т. е. Пушкина. Но какой же, если не сказочный характеръ Аріостова «Orlando furioso»? Правда, рыцарскій сказочный міръ заключаетъ въ себѣ несравненно больше поэзии и занимательности, чѣмъ бѣдный міръ русскихъ сказокъ; но что касается до сказочныхъ нелѣпостей, столь оскорбившихъ вкусъ бутырскаго критика, — ихъ довольно въ poemѣ Аріоста, — и онѣ, право, стѣять «мужичка самъ съ ногой, а борода съ локоть»,

или головы богатыря. Но, видите ли, Аріостъ, — писатель классическій, котораго слава уже утверждена была слишкомъ двумя столѣтіями: стало-быть, къ нему и къ его славѣ уже привыкли... Вольно же было Пушкину сочинить новую поэму, которой не было еще и года отъ роду, какъ ее ужъ въ пухъ разругали... При томъ же, Аріоста самъ Вольтеръ объявилъ «величайшимъ изъ новѣйшихъ поэтовъ»: стало быть, послѣ такого авторитета, какъ авторитетъ Вольтера, смѣло можно было хвалить Аріоста, не боясь попасться въ просакъ. Вѣдь литературные авторитеты, подобно Борану, на то и существуютъ, чтобъ люди могли быть умны безъ ума, свѣдуши безъ ученія, знаючи безъ труда и размышленія и безошибочно правы безъ помощи здраваго смысла. Вотъ другое дѣло, еслибъ кто изъ признанныхъ авторитетовъ, напримѣръ, Ломоносовъ или Поповскій, могли объявить свое мнѣніе въ пользу «Руслана и Людмилы», тогда всѣ единодушно признали бы эту сказку гениальнымъ произведеніемъ! Хорошая порука—важное дѣло, и чужой умъ—всегда спасеніе для тѣхъ, у кого нѣтъ своего... Что бутырскій критикъ нашель пошлыми не только выраженія «удавить бороною, стать передъ носомъ, щекотать ноздри копьемъ» и «ѣду не свищу, а наѣду не спущу», но и «умирающій лучъ солнца», это опять происходило отъ привычки къ облизаннымъ прозаическомъ общимъ мѣстамъ предшествовавшей Пушкину поэзіи, и отъ непривычки къ благородной простотѣ и близости къ натурѣ. Все привычка! Одинъ бутырскій критикъ до того ожесточился противъ «Руслана и Людмилы», что рифмы «языкомъ» и «копьемъ» назвалъ мужицкими... Видите ли: строго придирались даже къ версификаціи Пушкина, они, эти безъусловные поклонники всѣхъ русскихъ поэтовъ до Пушкина, которые изо всѣхъ силъ и со всевозможнымъ усердіемъ уродовали русскій языкъ незаконными усѣченіями, насиліемъ грамматики и разными «пѣвическими вольностями». Какое бы ни былъ стихъ въ «Русланѣ и Людмилѣ», но

въ сравненіи со стихомъ «Душеньки» Богдановича, сказокъ Дмитріева, «Странствователя и Домосѣда» Батюшкова и даже «Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ» Жуковского, онъ — само изящество, сама поэзія. Оскорбленная привычка этого не замѣчала, а если замѣчала, то для того только, чтобъ, излишней привязчивости, ставить молодому поэту въ непростительную вину то, что считала чуть не достоинствомъ въ старыхъ. Какъ человекъ съ огромнымъ талантомъ, эту привязчивость возбудилъ къ себѣ и Грибоѣдовъ. При «Вѣстникѣ Европы» одинъ бутырскій критикъ состоялъ въ должности явнаго зюла всѣхъ новыхъ яркихъ талантовъ; поэтому, «Горе отъ ума» возбудило всю желчь его. Такъ, между прочимъ, было сказано по поводу отрывка изъ «Гори отъ ума», помещеннаго въ альманахѣ «Талія»: «Смѣемъ надѣяться, что всѣ, читавшіе отрывокъ, позволятъ намъ, отъ лица всѣхъ, просить г. Грибоѣдова издать всю комедію». Бутырскій критикъ «Вѣстника Европы», указавъ на эти слова, восклицаетъ: «Напротивъ, лучше попросить автора не издавать ея, пока не перемѣнитъ главнаго характера и не исправитъ слога» («Вѣстн. Европы, 1825, № 6, стр. 115).

Мы указываемъ на всѣ эти диковинки, разумѣется, не для того, чтобъ доказать ихъ чудовищную нелѣпость: игра не стояла бы свѣчь, да и смѣшно было бы снова позывать къ суду людей, и безъ того уже давно проигравшихъ тяжбу во всѣхъ инстанціяхъ здраваго смысла и вкуса. Нѣтъ, мы хотѣли только охарактеризовать время и нравы, которые засталъ Пушкинъ на Руси при своемъ появленіи на поэтическое поприще, а вмѣстѣ съ тѣмъ и показать, какую роль чудовищно-привычка играетъ тамъ, гдѣ бы должны были играть роль только умъ и вкусъ. Оставимъ же въ сторонѣ эти допотопныя ископаемыя древности, заключающіяся въ затвердѣлыхъ пластахъ «Вѣстника Европы», и обратимся къ «Руслану и Людмилѣ».

Бутырскіе критики, какъ мы видѣли, особенно оскорби-

лись въ «Русланѣ и Людмилѣ» тѣмъ, что показалось имъ въ этой поэмѣ колоритомъ мѣстности и современности въ отношеніи къ ея содержанію. Но именно этого-то совѣмъ и нѣтъ въ сказкѣ Пушкина: она столько же русская, сколько и нѣмецкая или китайская. Кирша Даниловъ не виновать въ ней ни душою, ни тѣломъ, ибо въ самой худшей изъ собранныхъ имъ русскихъ пѣсень больше русскаго духа, чѣмъ во всей поэмѣ Пушкина, хотя онъ, въ своемъ поэтическомъ прологѣ къ ней, и сказалъ: «Тамъ русскій духъ, тамъ Русью пахнетъ». Вѣроятно, Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, когда писалъ «Руслана и Людмилу»: иначе, онъ не могъ бы не увлечься духомъ народно-русской поэзіи, и тогда его поэма имѣла бы, по крайней мѣрѣ, достоинство сказки въ русско-народномъ духѣ и притомъ написанной прекрасными стихами. Но въ ней русскаго—одни только имена, да и то не всѣ. И этого руссизма нѣтъ такъ же и въ содержаніи, какъ и въ выраженіи поэмы Пушкина. Очевидно, что она—плодъ чуждаго вліянія и скорѣе пародія на Аріоста, чѣмъ подражаніе ему, потому что надѣлать нѣмецкихъ рыцарей изъ русскихъ богатырей и витязей—значитъ изгазить ровно и нѣмецкую и русскую дѣйствительность. Намъ такъ мало осталось памятниковъ отъ до-историческихъ временъ Руси, что Владиміръ красное-солнышко столько же для насъ мѣръ, сколько Владиміръ, просвѣтитель Руси, историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, въ которыхъ является дѣйствующимъ лицомъ языческой Владиміръ, явно сложены въ позднѣйшія времена. И потому Пушкинъ отъ преданія только и воспользовался, что словомъ «солнце», приложеннымъ къ имени Владиміра. Пожива небогатая! Во всемъ остальномъ, его Владиміръ-солнце—пародія на какого-нибудь Карла Великаго. Таковы же Русланъ, и Рогдай, и Фарлафъ: дѣйствительность ихъ, историческая и поэтическая, такой же точно пробы, какъ и дѣйствительность Фишва, Наины, богатырской головы и Черномора. Пуш-

кинъ съ особенною радостью ухватился, было, за такъ называемаго «вѣщаго Баяна», понявъ слово «баянь» какъ нарицательное и равнозначительное словамъ: «скальдъ, бардъ, менестрель, трубадуръ, миннезингеръ». Въ этомъ онъ раздѣляя заблужденіе всѣхъ нашихъ словесниковъ, которые, нашедъ въ «Словѣ о Полку Игоревѣ» вѣщаго баяна, соловья стараго времени, который «еще кому хотяше пѣснь творити, то растекашется мыслію по древу, сѣрымъ волкомъ по земли, шизымъ орломъ подь облакъ»,—заключили изъ этого, что Гомеры древней Руси назывались баянами. Что въ древней Руси были свои пѣсенники, сказочники, балагуры и прибаутчики, такъ же, какъ и теперь въ простомъ народѣ бывають подобные,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; но по смыслу текста «Слова», ясно видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Баянь «Слова» такъ неопредѣленъ и загадоченъ, что на немъ нельзя построить даже и остроумныхъ догадокъ, на которыя такъ щедры досужіе антикваріи, а тѣмъ менѣе можно заключить изъ него что-нибудь достовѣрное. И потому весь баянь Пушкина—ни болѣе, не менѣе, какъ риторическая фраза. О прологѣ къ «Руслану и Людмилѣ» дѣйствительно можно сказать: «Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ»; но этотъ прологъ явился только при второмъ изданіи поэмы, то есть, черезъ восемь лѣтъ послѣ перваго ея изданія, стало быть, тогда, какъ Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзіи. Первые семнадцать стиховъ, которыми начинается «Русланъ и Людмила», отъ стиха: «Дѣла давно минувшихъ дней» до стиха: «Низко кланяясь гостямъ», дѣйствительно «пахнуть Русью»; но ими начинается и ими же и оканчивается русскій духъ всей это поэмы; больше въ ней его слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Мы даже подозрѣваемъ, что не были-ль эти семнадцать счастливыхъ стиховъ поводомъ къ присочиненію къ нимъ всей поэмы... Какъ бы то ни было, только поэма эта — шалость сильнаго, еще

незрѣлаго таланта, который, кипя жаждою дѣятельности, схватился безъ разбора за первый предметъ, мысль о которомъ какъ-то промелькнула передъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы—шуточный. Поэтъ не принимаетъ никакого участія въ созданныхъ его фантазією лицахъ. Онъ просто—чертилъ арабески и потѣшался ихъ забавною странностію. Оттого, какъ самъ Пушкинъ справедливо замѣчалъ впоследствии, она холодна. Въ самомъ дѣлѣ, въ ней много граціи, игривости; остроумія; есть живость, движеніе и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодѣ о Финнѣ проглядываетъ чувство; оно вспыхиваетъ на минуту въ воззваніи Руслана къ усѣянному костями полю, но это воззваніе оканчивается нѣсколько риторически. Все остальное холодно.

Вообще «Русланъ и Людмила» для двадцатыхъ годовъ имѣла то же самое значеніе, какое «Душенька» Богдановича для семидесятыхъ годовъ. Разумѣется, великъ перевѣсъ на сторонѣ поэмы Пушкина и въ отношеніи къ превосходству времени, и къ превосходству таланта. Но наше время далеко впереди обѣихъ этихъ эпохъ русской литературы, — и потому, если «Душеньку» теперь нѣтъ никакой возможности прочесть отъ начала до конца, по доброй волѣ, а не по нуждѣ, которая можетъ заставить прочесть и «Телемахиду», то «Руслана и Людмилу» можно только перелистывать, отъ нечего дѣлать, но уже нельзя читать, какъ что-нибудь дѣльное. Ея литературно-историческое значеніе гораздо важнѣе значенія художественнаго. По своему содержанію и отдѣлкѣ она принадлежитъ къ числу переходныхъ пьесъ Пушкина, которыхъ характеръ составляетъ подновленный классицизмъ: въ нихъ Пушкинъ является улучшеннымъ, усовершенствованнымъ Батюшковымъ. Въ «Русланѣ и Людмилѣ», какъ мы уже сказали выше, нѣтъ ни признака романтизма; даже ощущеніе недостатка поэзіи, несмотря на все изящество выраженія и всю прелесть стиха, несслыханныя до того времени. Скажемъ больше: даже со стороны формы, какъ немного она

выше обветшалыхъ формъ прежней поэзіи, — есть звенья, соединяющія «Руслана и Людмилу» съ прежнею школою поэзіи: мы разумѣемъ здѣсь употребленіе словъ «брада, глава» и произвольное употребленіе усѣченныхъ прилагательныхъ, которыхъ въ поэмѣ Пушкина найдется больше десятка. Словомъ, еслибъ не недостатокъ самомыслительности и не избытокъ привычки, такъ называемые классики того времени должны были бы торжествовать, какъ свою побѣду надъ такъ называвшимися тогда романтиками, появленіе «Руслана и Людмилы», — на Пушкинѣ сосредоточить всѣ надежды своей партіи, а истиннаго представителя романтизма, слѣдовательно, самаго опаснаго ихъ врага видѣть въ Жуковскомъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣкоторые изъ нихъ были какъ будто близки къ этому взгляду. Въ «Вѣстникѣ Европы» 1824 года одинъ классикъ разсердился за то, что г. Верстовскій, положившій на музыку «Черная Шаль» Пушкина, назвалъ ее кантатою.

«Почему (говорить бутырскій классикъ) Г. Верстовскій возвелъ простую пѣсню на степень кантаты? Такого ли содержанія бывають кантаты собственно такъ называемыя? Тѣкими ли видимъ ихъ у Драйдена, у Жаъ-Баттиста Руссо и у другихъ поэтовъ знаменитыхъ? (*Хороши знаменитости—Драйденъ и Жаъ-Баттистъ Руссо!*) Истощивъ средства свои на страсти, бунтующія въ душѣ безвѣстнаго человека, что употребить онъ, когда нужно будетъ силою музыки возвысить значительность словъ въ тѣхъ кантатахъ, гдѣ историческія или мѳологическія во многихъ отношеніяхъ намъ извѣстныя и для всѣхъ просвѣщенныхъ людей занимательныя лица страдаютъ или торжествуютъ? — Въ пѣснѣ Г-на Пушкина представляется намъ какой-то Молдаванинъ, убившій какую-то любимую имъ красавицу, которую соблазнилъ какой-то Армянинъ. Достойно ли это того, чтобъ искусный композиторъ изыскивалъ средства потрясать сердца слушателей, чтобъ для пѣсни тратилъ сокровища музыки? Не значить ли это воздвигнуть огромный пьедесталъ для маленькой красивой куклы, хотя бы она сдѣлана была на Севрской фабрикѣ? Угадывая причины, побудившія Г. Верстовскаго къ сему подвигу и знаю напередъ одинъ изъ отвѣтовъ: «Г. А. Пушкинъ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ поэтовъ нашихъ». Что касается до стиховорства, я самъ отдаю ему совершенную справедливость; стихи его отменно гладки,

плавны, чисты; не знаю кого изъ нашихъ сравнить съ нимъ въ искусствѣ стопосложенія; скажу болѣе; *г. Пушкинъ не охотникъ щеголять эпитетами, не бросается ни въ сентиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ пустословіе; онъ живъ и стремителенъ въ разсказъ; употребляетъ слова въ надлежащемъ иль смыслѣ; наблюдаетъ умную соразмѣрность въ раздѣленіи мыслей*: все это составляетъ *внѣшнюю* (?) красоту его стихотвореній. Гдѣ-жь однако тѣ качества, которыя по словамъ Горация, составляютъ Поэта? гдѣ *mens divinior*? гдѣ *os magna sonaturum*? (№ 1, стр. 70 и 71). —

Замѣчаете ли, что нашъ бутырскій критикъ видѣлъ кое-что въ Пушкинѣ, и если не увидѣлъ всего, — ему помѣшала при-вычка. Пушкинъ не любилъ щеголять эпитетами, не бросался ни въ сентиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ пустословіе; онъ живъ и стремителенъ въ разсказѣ, употребляетъ слова въ надлежащемъ ихъ смыслѣ, наблюдаетъ умную соразмѣрность въ раздѣленіи мыслей: все это дѣйствительно составляло неотъемлемыя качества Пушкинской поэзіи, и качества великія; но — видите ли, — по мнѣнію бутырскаго классика, это не больше какъ *внѣшняя* (?) красота стихотворенія Пушкина, потому что гдѣ же въ нихъ *mens divinior* (божественное безуміе, изступленіе, восторгъ), гдѣ *os magna sonaturum*? А что такое разумѣли подѣ этимъ наши псевдоклассическіе критики? Вотъ что:

...Кто завѣсу мнѣ вѣчности расторгъ!
Я вижу молній блескъ! Я слышу съ горни свѣта
И то, и то!...

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитріева «Чужой Толкъ» — и вы еще лучше поймете, что наши классики разумѣли подѣ *mens divinior*. Хотя многія изъ первыхъ произведеній Пушкина (какъ, напримѣръ, «Черная шаль», «Наполеонъ» «Андрей Шенье») не чужды декламации и риторической напряженности, но для нашихъ классиковъ этого было

мало; они не могли увидѣть въ Пушкинѣ *mens divinior*, — такъ привыкли они къ напыщенной шумихѣ одопѣній своего времени! Посмотрите, изъ чего хлопотали бѣдняжки: изъ названій, изъ словъ — «ода, кантата, пѣсня» и т. п. Мы сами слышали однажды, какъ глава классическихъ критиковъ, почтенный, умный и даровитый Мерзляковъ сказалъ съ каеодры: «Пушкинъ пишетъ хорошо, но, Бога ради, не называйте его сочиненій поэмами!» Подъ словомъ «поэма» классики привыкли видѣть что-то чрезвычайно важное. Съ «кантатами» ихъ познакомили Драйденъ и Жанъ-Баптистъ Руссо: стало-быть, то уже не кантата, что не было рабскою копіею съ какойнибудь кантаты этихъ двухъ риторовъ-стихотворцевъ. И какимъ образомъ страсти безвѣстнаго человѣка могли быть предметомъ такого высокаго рода поэзіи, какъ кантата?—съ нихъ было бы за глаза довольно и нѣжной пѣсенки, въ родѣ: «Стонеть сизый голубочекъ»: вѣдь въ залы входятъ только господа, а слуги остаются въ передней! Въ то время высокой и священный санъ человѣка не признавался ни за что, и человѣкъ считался ниже не только титулярнаго совѣтника, но и простаго канцеляриста. Какъ же можно было видѣть равнодушно, что талантливый композиторъ тратитъ сокровища музыки на чувство какого-то Армянина...

А между тѣмъ бутырскіе классики были близки и къ тому, чтобы увидѣть въ Жуковскомъ истиннаго своего врага, какъ это можно замѣтить изъ слѣдующихъ строкъ:

«Будучи однимъ изъ почитателей (но не слѣпыхъ и раболѣпныхъ) таланта нашего отличнаго стихотворца, В. А. Жуковскаго, я такъ же какъ и прочіе мои соотечественники, восхищался многими прекрасными его произведеніями. Такъ, м. г. м., и я, хотя не имѣю чести быть орлиной породы, съмыль прямо смотрѣть на солнце, любовался блескомъ его и согрѣвался живительною его теплотою до тѣхъ поръ, пока западные, чужеземные туманы и мраки не обложили его и не заслонили свѣтъ его отъ слабыхъ глазъ моихъ, слабыхъ потому, что не могутъ видѣть свѣта съвозъ мракъ и туманъ. Говоря языкомъ

общепонятнымъ, я съ восхищеніемъ читалъ и перечитывалъ Пѣвца во станѣ русскихъ воиновъ, переводъ Греевой элегии, Людмилу, Свѣтлану, Эолову арфу, многія мѣста изъ Двѣнадцати Спящихъ Дѣвъ и разныя другія стихотворенія г-на Жуковскаго. Но съ нѣкотораго времени, когда имя его стало появляться подъ стихотвореніями, въ которыхъ все нѣмецкое, кромѣ буквъ и словъ, — восторгъ и удивленіе во мнѣ уступили мѣсто сожалѣнію о томъ, что стихотворецъ съ такими превосходными дарованіями оставилъ красоты и приличія языка: оставилъ тѣ средства, которыми онъ усыновилъ Русскимъ Людмилу, Ахилла и столько другихъ произведеній словесности чужестранной... оставилъ, и для чего же? Что-бы ввести въ нашъ языкъ обороты, блестящіе ума и безпонятную выпренность нынѣшнихъ Нѣмцевъ стихотворцевъ-мистиковъ! Если первыя баллады Жуковскаго породили толпу подражателей, которые только жалкимъ образомъ его передразнивали, не умѣя подражать красотамъ, разсыпаннымъ щедро рукою въ прежнихъ его произведеніяхъ, — то мудрено ли, что теперь люди съ превосходными дарованіями, или вовсе и безъ дарованій, съ жадностію подражаютъ въ немъ тому, что находятъ по своимъ силамъ?... Истинный талантъ долженъ принадлежать своему Отечеству; человѣкъ одаренный таковымъ талантомъ, если избираетъ поприщемъ своимъ Словесность, долженъ возвысить славу природнаго языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выраженіями ему свойственными; геній имѣетъ даже право вводить новые, но не иноплеменные, и никогда не выпускать изъ виду свойства и приличія языка отечественнаго» (*В. Е. 1821, т. СХVІІ, стр. 19—21*).

Но и тутъ, ясно, привычка помѣшала увидѣть дѣло такъ, какъ оно было: бутырскій классикъ не видалъ романтизма въ самыхъ ультра-романтическихъ пьесахъ Жуковскаго, какковы: «Людмила», «Свѣтлана», «Эолова Арфа», «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ», но увидѣлъ его въ позднѣйшихъ, лучшихъ и по содержанію и по формѣ, произведеніяхъ Жуковскаго. Подлинно, въ младенческое время литературы и старцы поневолѣ бываютъ дѣтьми...

Восторги, возбужденные «Русланомъ и Людмилою», равно какъ и необыкновенный успѣхъ этой поэмы, несмотря на всю дѣтскость ея достоинствъ, гораздо естественнѣе и понятнѣе, чѣмъ яростныя нападки на нее бутырскихъ клас-

сиковъ. Не говоря уже о томъ, что всякая удачная новость ослѣпляетъ глаза, въ «Русланъ и Людмила» русская поэзія дѣйствительно сдѣлала огромный шагъ впередъ, особенно со стороны технической. Всѣ восхищались ея прекраснымъ языкомъ; стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно-поэтическими, граціозною шуткою, рассказомъ плавнымъ, увлекательнымъ, живымъ и быстрымъ, всею этою игривою затѣйливостью, шаловливостью и причудливостью арабесковъ въ характерахъ и событіяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывалось ея заглавіе и самое содержаніе, естественности, поэтической мысли, вполне художественной отделки. Образца для нея не было на русскомъ языкѣ, а если и были прежде попытки въ этомъ родѣ, то такія ничтожныя, что сравненіе съ ними не могло бы сбавить цѣны съ «Руслана и Людмилы». У кого изъ прежнихъ поэтовъ можно было найти стихи, подобные, на примѣръ, этимъ:

И вотъ невѣсту молодую
Ведутъ на брачную постель;
Огни погасли... и ночную
Лампаду зажигаетъ Лель.
Свершились милыя надежды.
Любви готовятся дары;
Падутъ ревнивыя одежды
На царградскіе ковры...
Вы слышите-ль влюбленный шопоть
И поцѣлуевъ сладкій звукъ,
И прерывающійся ропоть
Послѣдней робости?...

Или:

Но прежде юношу ведутъ
Къ *великолпной русской банн*.
Ужъ волны дымяныя текутъ
Въ ея серебряныя чаши,
И брызжутъ хладныя фонтаны;

Разостланъ роскошью коверъ;
На немъ усталый ханъ ложится;
Прозрачный паръ надъ нимъ клубится;
Потупя нѣги полный взоръ,
Прелестныя, полунагія,
Въ заботѣ нѣжной и нѣмой,
Вкругъ хана дѣвы молодыя
Тѣнятся рѣзвою толпой.
Надъ рыцаремъ иная машеть
Вѣтвями молодыхъ березъ,
И жаръ отъ нихъ душистый пахнетъ;
Другая сокомъ вешнихъ розъ
Устала члены прохлаждаетъ,
И въ ароматахъ потопляетъ
Темнокудрявые волосы.
Восторгомъ витязъ упоенной
Уже забылъ Людмилы плѣнной
Недавно милыя красы;
Томится сладостнымъ желаньемъ;
Бродящій взоръ его блещитъ,
И, полный страстнымъ ожиданьемъ.
Онъ таетъ сердцемъ, онъ горитъ.

Конечно, теперь смѣшно заблужденіе людей того времени, которые въ «Русланѣ и Людмилѣ» думали видѣть поэтическое возсозданіе народно-русскаго сказочнаго міра; но въ двадцатыхъ годахъ, право, неумудрено было, въ первый разъ читая такіе стихи, до того увлечься ими, чтобъ въ описаніи какой-то небывалой, фантастической бани, увидѣть «великолѣпную русскую» баню. Кому не извѣстно великолѣпіе нашихъ бань, гдѣ въ такомъ употребленіи «сокъ весеннихъ розъ», а «вѣтви молодыхъ березъ» прозаически называются вѣтниками?

Эпизодъ къ «Руслану и Людмилѣ» исполненъ элегической поэзіи; но, какъ и прологъ къ этой же поэмі, онъ, если не ошибаемся, былъ написанъ послѣ нея; при ней же явился только во второмъ ея изданіи, въ 1828 году.

Потому ли, что изумительные успѣхи Пушкина и быстрый

ходъ его распространяющейся славы слишкомъ озадачили бутырскихъ критиковъ и классиковъ, или потому, что они уже сами начали привыкать къ поэзіи Пушкина, — только противъ «Кавказскаго Плънника» уже почти совсѣмъ не было воплей, а, напротивъ, ему раздавались вездѣ только хвалебныя гимны. Даже въ «Вѣстникѣ Европы» 1823 года была помѣщена похвальная критика этой поэмы (вышедшей въ 1822 году). Эта критика особенно замѣчательна и въ свое время весьма прославилась тѣмъ, что ея сочинитель, при всемъ своемъ стараніи и усердіи, никакъ не могъ догадаться, что сдѣлалось съ черкешенкою и что означаютъ эти прекрасныя поэтическія стихи:

Вдругъ волны глухо зашумѣли
И слышенъ отдаленный стонъ.
На дикій берегъ выходитъ онъ.
Глядитъ назадъ... брега ястми
И отъенные бѣтми;
Но нтъ Черкешенки молодой
Ни у бреговъ, ни подъ горой...
Все жертво... на брегахъ уснувшихъ
Лишь вѣтра слышенъ легкій звукъ,
И при лунѣ въ волнахъ плеснувшихъ
Струистый исчезаетъ кругъ...

Такова была тогда привычка къ прозаичности прежней поэзіи, что слишкомъ поэтической, и по тому уже самому слишкомъ ясный оборотъ, назывался темнымъ и неопредѣленнымъ. Да, Пушкину предстоялъ подвигъ — воспитать и развить въ русскомъ обществѣ чувство изящнаго, способность понимать художество, — и онъ вполне совершилъ этотъ великій подвигъ!

«Кавказскій Плънникъ» былъ принятъ публикою еще съ большимъ восторгомъ, чѣмъ «Русланъ и Людмила», и, надо сказать, эта маленькая поэма вполне достойна была того приѣма, которымъ ее встрѣтили. Въ ней Пушкинъ явился

вполнѣ самимъ собою и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вполнѣ представителемъ своей эпохи: «Кавказскій Плѣнникъ» насъ сквозь проникнуть ея паэосомъ. Впрочемъ, паэосъ этой поэмъ—двойственный: поэтъ былъ явно увлеченъ двумя предметами—поэтической жизнію дикихъ и вольныхъ горцевъ, и потомъ—элегическимъ идеаломъ души, разочарованной жизнію. Изображеніе того и другаго слилось у него въ одну роскошно-поэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его воинственными жителями въ первый разъ былъ воспроизведенъ русскою поэзію,—и только въ поэмѣ Пушкина въ первый разъ русское общество познакомило съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россіи по оружію. Мы говоримъ «въ первый разъ»: ибо какихъ-нибудь двухъ строфъ, довольно прозаическихъ, посвященныхъ Державинымъ изображенію Кавказа, и отрывка изъ посланія Жуковскаго къ Воейкову, посвященнаго тоже довольно прозаическому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ не достаточно для того, чтобъ получить какое нибудь, хотя сколько-нибудь приблизительное понятіе объ этой поэтической сторонѣ. Мы вѣримъ, что Пушкинъ съ добрымъ намѣреніемъ выписалъ въ примѣчаніяхъ къ своей поэмѣ стихи Державина и Жуковскаго, и съ полною искренностію, отъ чистаго сердца, хвалить ихъ; но тѣмъ не менѣе онъ оказалъ имъ черезъ это слишкомъ плохую услугу: ибо, послѣ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа, никто не повѣритъ, чтобъ въ тѣхъ выпискахъ шло дѣло о томъ же предметѣ... Мы не будемъ выписывать изъ поэмъ Пушкина картинъ Кавказа и горцевъ: кто не знаетъ ихъ наизусть? Скажемъ только, что, несмотря на всю незрѣлость таланта, которая такъ часто проглядываетъ въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ», несмотря на слишкомъ юношеское одушевленіе зрѣлищемъ горъ и жизнію ихъ обитателей, — многія картины Кавказа въ этой поэмѣ и теперь еще не потеряли своей поэтической цѣнности. Принимаясь за «Кавказскаго Плѣнника» съ гордымъ намѣреніемъ слегка перелистывать его, вы неза-

мѣтно увлекаетесь имъ, перечитываете его до конца и говорите: «все это юно, незрѣло, и однако-жь такъ хорошо!» Какое же дѣйствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великолѣпно-роскошныя картины Кавказа при первомъ появленіи въ свѣтъ поэмы! Съ тѣхъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кавказъ сдѣлался для Русскихъ завѣтною страню не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзіи, страню кипучей жизни и смѣлыхъ мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дѣлѣ существовавшее родство Россіи съ этимъ краемъ, купленнымъ драгоцѣнною кровію сыновъ ея и подвигами ея героевъ. И Кавказъ—эта колыбель поэзіи Пушкина, сдѣлался потомъ и колыбелью поэзіи Лермонтова...

Какъ истинный поэтъ, Пушкинъ не могъ описаній Кавказа вмѣстить въ свою поэму, какъ эпизодъ кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а слѣдовательно и прозаически, и потому онъ тѣсно связалъ свои живыя картины Кавказа съ дѣйствіемъ поэмы. Онъ рисуетъ ихъ не отъ себя, но передаетъ ихъ, какъ впечатлѣнія и наблюденія плѣнника—героя поэмы, и оттого онѣ дышатъ особенною жизнію, какъ будто самъ читатель видитъ ихъ собственными глазами на самомъ мѣстѣ. Кто былъ на Кавказѣ, тотъ не могъ не удивляться вѣрности картинъ Пушкина: взгляните, хотя съ возвышенностей, при которыхъ стоитъ Пятигорскъ, на отдаленную цѣпь горъ,—и вы невольно повторите мысленно эти стихи, о которыхъ вамъ, можетъ быть, не случалось вспоминать цѣлые годы:

Великолѣпныя картины!
Престолы вѣчныя снѣговъ,
Очамъ казались ихъ вершины
Недвижной цѣпью облаковъ,
И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый,
Въ вѣнцѣ блистая ледяномъ,
Эльбрусъ огромный, величавый,
Бывалъ на небѣ голубомъ.

Описанія дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизни горцевъ—дышать чертами ярко вѣрными. Но черкешенка, связывающая собою обѣ половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только внѣшнемъ образомъ вѣрное дѣйствительности. Въ изображеніи черкешенки особенно выказалась вся незрѣлость, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положеніе, въ которое поставилъ поэтъ два главные лица своей поэмы, черкешенку и плѣнника, — это положеніе, наиболѣе плѣнившее публику, отзывается мелодрамою и, можетъ быть, по тому самому такъ сильно увлекло самого молодого поэта. Но—такова сила истиннаго таланта!—при всей театральности положенія, на которомъ завязанъ узелъ поэмы, при всей его безпѣвности, въ отношеніи къ дѣйствительности,—въ рѣчахъ черкешенки и плѣнника столько элегической истины чувства, столько сердечности, столько страсти и страданія, что ничѣмъ нельзя оградиться отъ ихъ обаятельнаго увлеченія, при самомъ ясномъ сознаніи въ то же время, что на всемъ этомъ лежитъ печать какой-то дѣтскости. Съ особенною силою дѣйствуетъ на душу читателя сцена освобожденія плѣнника черкешенкою, и эти стихи—

Пилу дрожащей взявъ рукой,
Къ его ногамъ она склонилась:
Визжитъ жемъзо подь пилей,
Слеза невольная скатилась—
И цѣпь распалась и гремѣть...

Чувство свободы борется въ этой сценѣ съ грустью по судьбѣ черкешенки: вы понимаете, что, исполненный этого чувства свободы, плѣнникъ не могъ не предложить своей освободительницѣ того, въ чемъ прежде такъ основательно и благородно отказывалъ ей; но вы понимаете также, что это только порывъ, и что черкешенка, наученная страданіемъ, не могла увлечься этимъ порывомъ. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавицѣ, мученическая смерть

которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышетъ свободнѣе по мѣрѣ того, какъ плѣннику, въ туманѣ, начинаютъ сверкать русскіе штывки, а до его слуха доходятъ оклики сторожевыхъ казаковъ.

Но что же такое этотъ плѣнникъ?—Это вторая половина двойственнаго содержанія и двойственнаго пафоса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успѣхомъ не меньше, если не больше, чѣмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Плѣнникъ, это— «герой того времени». Тогдашніе критики справедливо находили въ этомъ лицѣ и неопредѣленность, и противорѣчивость съ самимъ собою, которыя дѣлали его какъ бы безличнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плѣнника и возбудилъ собою такой восторгъ въ публикѣ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видѣлъ въ немъ, болѣе или менѣе, свое собственное отраженіе. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнѣйшей дѣятельности, это кипѣніе крови при душевномъ холодѣ, это чувство пресыщенія, послѣдовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смѣнившее собою голодъ и жажду, эта жажда дѣятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездѣйствіи и апатической лѣни, словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это—черты «героевъ нашего времени» со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родилъ или выдумалъ ихъ: онъ только первый указалъ на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до него, а при немъ ихъ было уже много. Они не случайное, но необходимое, хотя и печальное явленіе. Почва этихъ жалкихъ пустоцвѣтовъ не поэзія Пушкина, или чья бы то ни была, но общество. Это оттого, что общество живетъ и развивается какъ всякій индивидуумъ: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногда—и старости. Поэзія русская до Пушкина была отголоскомъ, выраженіемъ

младенчества русскаго общества. И потому, это была поэзія до наивности невинная: она гремѣла одами на иллюминаціи, писала нѣжные стишки въ милымъ и была совершенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дѣйствительностію ея была—мечта, а потому ея дѣйствительность была самая аркадская, въ которой невинное блѣяніе барашковъ, воркованіе голубковъ, поцѣлуи пастушковъ и пастушекъ, и сладкія слезы чувствительныхъ душъ, прерывались только не менѣе невинными возгласами: «пою», или «о ты, священна добродѣтель!» и т. п. Даже романтизмъ того времени былъ такъ наивно-невиненъ, что искалъ эффектовъ на кладбищахъ и пересказывалъ съ восторгомъ старыя бабьи сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, вѣдьмахъ, колдуньяхъ, о дѣвѣ за ропотъ на судьбу за живо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобныя невинныя пустяки. Въ трагедіи тогдашняя поэзія очень пристойно выплясывала чинный менуэтъ, дѣлая изъ Донскаго какого-то крикуна въ римской тогѣ. Въ комедіи она преслѣдовала именно тѣ пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществѣ не было, и не дотрогивалась именно до тѣхъ, которыми оно было полно,—такъ что комедіи Фонъ-Визина являются, въ этомъ отношеніи, какими-то исключеніями изъ общаго правила. Въ сатиры тогдашняя поэзія нападала скорѣе на пороки древнегреческаго и римскаго, или старо-французскаго общества, чѣмъ русскаго. Невинность была всесовершеннѣйшая, а оттого, разумѣется, эта поэзія была и нравственною въ высшей степени. Общество пило, ѣло, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по-нынѣшнему умѣли веселиться, и передъ неутомимыми плясунами тогдашняго времени самыя зазорныя нынѣшніе танцоры — просто старики, которые похороннымъ маршемъ выступаютъ тамъ, гдѣ бы надо было вывертывать ногами и выстукивать каблуками такъ, чтобъ полъ трещалъ и окна дрожали. Быть безусловно счастливымъ, это—привилегія младенчества. Младенецъ играетъ жизнью — плещется

въ ея свѣтлой волнѣ и безотчетно любитъся брызгами, которыя производятъ его рѣзвыя движенія; онъ всѣмъ восхищается, все находитъ лучшимъ, нежели оно есть на самомъ дѣлѣ,—и если ему скоро надоѣдаетъ одна игрушка, то также скоро плѣняется его другая. Не таковъ уже возрастъ отрочества—переходъ отъ дѣтства къ юношеству. Правда, и тутъ человѣкъ все еще играетъ въ игрушки, но уже не тѣ игрушки; мѣняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваетъ ихъ съ своимъ идеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находитъ осуществленія своего неопредѣленнаго желанія, въ которомъ самъ себѣ не можетъ дать отчета. Лишеніе игрушки — для него горе, ибо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. Съ юношествомъ эта жизнь сердца и ума вспыхиваетъ полнымъ пламенемъ, и страсти вступаютъ въ борьбу съ сомнѣніемъ. Тутъ много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастье только въ непосредственности бытія; отрочество есть начало пробужденія, а юность полное пробужденіе сознанія, корень котораго всегда горекъ; сладкіе же плоды его—для будущихъ поколѣній, какъ богатое и выстраданное наслѣдіе отъ предковъ потомкамъ...

«Кавказскій Плѣнникъ» Пушкина засталъ общество въ періодъ его отрочества и почти на переходѣ изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. И Пушкинъ былъ самъ этимъ плѣнникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведеніи идеалъ, мучившій поэта, какъ его собственный недугъ, — для поэта значить навсегда освободиться отъ него. Это же лицо является и въ слѣдующихъ поэмахъ Пушкина, но уже не такимъ, какъ въ «Кавказскомъ Плѣнникѣ»: слѣдя за нимъ, вы безпрестанно застааете его въ новомъ моментѣ развитія, и видите, что оно движется, идетъ впередъ, дѣлается сознательнѣе, а потому и интереснѣе для васъ. Тѣмъ-то Пушкинъ, какъ великій поэтъ, и отличался отъ толпы своихъ подражателей, что, не

измѣняя сущности своего направленія, всегда крѣпко держась дѣйствительности, которой былъ органомъ, всегда говорилъ новое, между тѣмъ, какъ его подражатели и теперь еще хрипылыми голосами допѣваютъ свои старыя и всѣмъ надоѣвшія пѣсни. Въ этомъ отношеніи, «Кавказскій Плѣнникъ» есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извѣстное время, и, подъ этимъ условіемъ, она всегда будетъ казаться прекрасною. Еслибъ въ наше время даровитый поэтъ написалъ поэму въ духѣ и тонѣ «Кавказскаго Плѣнника»,—она была бы безусловно ничтожнѣйшимъ произведеніемъ, хотя бы въ художественномъ отношеніи и далеко превосходила Пушкинскаго «Кавказскаго Плѣнника», который въ сравненіи съ нею, все бы остался такъ же хорошъ, какъ и безъ нея.

Лучшая критика, какая когда либо была написана на «Кавказскаго Плѣнника», принадлежитъ самому же Пушкину. Въ статьѣ его «Путешествіе въ Арзерумъ» находятся слѣдующія слова, написанныя имъ черезъ семь лѣтъ послѣ изданія «Кавказскаго Плѣнника»: «Здѣсь нашель я измаранный списокъ Кавказскаго Плѣнника и, признаюсь, перечель его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено вѣрно». Не знаемъ, къ какому времени относится слѣдующее сужденіе Пушкина о «Кавказскомъ Плѣнникѣ», но оно очень интересно, какъ фактъ, доказывающій, какъ смѣло умѣлъ Пушкинъ смотрѣть на свои произведенія: «Кавказскій Плѣнникъ — первый неудачный опытъ характера, съ которымъ я насилу сладилъ, онъ былъ принятъ лучше всего, что я ни написалъ, благодаря нѣкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но за то Н. и А. Р., и я мы вдоволь надъ нимъ посмѣялись» (т. XI, стр. 227). Слова: «характеръ, съ которымъ я насилу сладилъ», особенно замѣчательны: они показываютъ, что поэтъ силился изобразить внѣ себя (объективировать) настоящее состояніе своего духа, и потому самому не могъ вполне этого сдѣлать.

Въ художественномъ отношеніи «Кавказскій Пльнникъ» принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній Пушкина, въ которыхъ онъ являлся еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзіи. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзіи, но еще нѣтъ художества. Содержаніе всегда бываетъ соотвѣтственно формѣ, и наоборотъ; недостатки одного тѣсно связаны съ недостатками другой, и наоборотъ. Въ отдѣлкѣ стиховъ «Кавказскаго Пльнника» замѣтно еще, хотя и меньше, чѣмъ въ «Русланѣ и Людмиѣ» вліяніе старой школы. Встрѣчаются неточныя выраженія, какъ, напримѣръ, въ стихѣ: «Удары шашекъ ихъ жестокихъ», или «Гдѣ обнялъ грозное страданье»; попадаютъ слова: глава, молодой, власы. Вступленіе нѣсколько тяжеловато, какъ и въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ»; но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозаическихъ почти совсѣмъ нѣтъ, поэзія выраженія почти вездѣ необыкновенно богата. Какъ фактъ для сравненія поэзіи Пушкина вообще съ предшествовавшею ему поэзіею, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ «Кавказскомъ Пльнникѣ» самое прозаическое понятіе, что Черешенка учила пльнника языку ея родины:

Съ неясной рѣчю сливаетъ
Очей и знаковъ разговоръ;
Поетъ ему и пѣсни горь,
И пѣсни Грузіи счастливой,
И памяти нетерпимой
Передастъ языкъ чужой.

Нѣкоторыя выраженія исполнены мысли, и многія мѣста отличаются поразительною вѣрностью дѣйствительности времени, котораго пѣвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ. Примѣръ того и другаго представляютъ эти прекрасные стихи:

Людей и свѣтъ извѣдалъ онъ,
Узналъ невѣрной жизни цѣну.

Въ сердцахъ друзей нашедъ мнѣну,
Въ мечтахъ любви безумный сонъ,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презрѣнной суеты,
И непрязни двуязычной,
И простодушной клеветы.
Отступникъ свѣта, духъ природы,
Покинулъ онъ родной предѣлъ
И въ край далекій полетѣлъ
Съ веселымъ призракомъ свободы.

Въ этихъ немногихъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но рѣзко-характеристическая картина пробудившаго сознанія общества въ лицѣ одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе,—и все, что люди почитаютъ хорошимъ по привычкѣ, тяжело пало на душу человѣка, и онъ въ явной враждѣ съ окружающею его дѣйствительностію, въ борьбѣ съ самимъ собою; недовольный ничѣмъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ, за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженіи: «быть жертвою простодушной клеветы»? Вѣдь клевета не всегда бываетъ дѣйствиємъ злобы: чаще всего она бываетъ плодомъ невиннаго желанія разсѣяться занимательнымъ разговоромъ, а иногда и плодомъ доброжелательства и участія столь же искренняго, сколько и неловкаго. И все это поэтъ умѣлъ выразить однимъ смѣлымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые начали являться такіе эпитеты!

По мнѣнію Пушкина, «Бахчисарайскій Фонтанъ» слабѣе «Кавказскаго Плѣнника»: съ этимъ нельзя вполне согласиться. Въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ» (вышедшемъ въ 1824 году) замѣтенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэзія роскошнѣе, благоуханнѣе. Въ основѣ этой поэмы лежитъ мысль до того огромная, что она могла бы быть подъ-силу только вполне развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совла-

далъ съ нею и, можетъ быть, оттого-то и былъ къ ней уже слишкомъ строгъ. Въ дикомъ Татаринѣ, пресыщенномъ гаремною любовію, вдругъ вспыхиваетъ болѣе человѣческое и высокое чувство къ женщиѣ, которая чужда всего, что составляетъ прелесть владыки и что можетъ плѣнять вкусъ азіатскаго варвара. Въ Маріи—все европейское, романтическое: это дѣва среднихъ вѣковъ, существо кроткое, скромное, дѣтски-благочестивое. И чувство, невольно внушенное ея Гирею, есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ дномъ татарскую натуру деспота-разбойника. Самъ не понимая, какъ, почему и для чего, онъ уважаетъ святыню этой беззащитной красоты, онъ—варваръ, для котораго взаимность женщины никогда не была необходимымъ условіемъ истиннаго наслажденія,—онъ ведетъ себя въ отношеніи къ ней почти такъ, какъ паладинъ среднихъ вѣковъ:

Гирей несчастную щадить:
Ея унынье, слезы, стоны
Тревожатъ хана краткій сонъ;
И для нея смягчаетъ онъ
Гарема строгіе законы.
Угрюмый сторожъ ханскихъ женъ
Ни днемъ, ни ночью къ ней не входитъ,
Рукой заботливой не онъ
На ложе сна ее возводитъ,
Не смѣетъ устремиться къ ней
Обидный взоръ его очей;
Она въ купальнѣ потаенной
Одна съ невольницей своей;
Самъ ханъ боится дѣвы плѣнной
Печальный возмущать покой.
Гарема въ дальномъ отдѣленъ
Позволено ей жить одной:
И мнится, въ томъ уединенъи
Сокрылся нѣкто неземной.

Большаго отъ Татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревнивою Зареюю. Нѣтъ и Заремы:

. она
Гарема стражами нѣмыми
Въ пучину водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла княжна.
Свершилось и ея страданье.
Какая-бъ не была вина,
Ужасно было наказанье!

Смертью Маріи не кончились для хана муки нераздѣленной любви:

Дворецъ угрюмый опустѣлъ.
Его Гирей опять оставилъ;
Съ толпой Татаръ въ чужой предѣлъ
Онъ злой набѣгъ опять направилъ;
Онъ снова въ буряхъ боевыхъ
Несется мрачный, яровожадный;
Но въ сердцѣ хана чувствъ иныхъ
Таится пламень безотрадный.
Онъ часто въ сѣчахъ рожовыхъ
Подъемлетъ саблю и съ размаха
Недвижимъ остается вдругъ,
Глядитъ съ безуміемъ вокругъ,
Блѣднѣетъ, будто полный страха,
И что-то шепчетъ и порой
Горючи слезы льетъ рѣкой.

Видите ли: Марія взяла всю жизнь Гирей; встрѣча съ нею была для него минутою перерожденія, и если онъ отъ новаго, невѣдомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдѣлался человѣкомъ, то уже животное въ немъ умерло, и онъ пересталъ быть Татариномъ *comme il faut*. Итакъ, мысль поэмы перерожденіе (если не просвѣтлѣніе) дикой души черезъ высокое чувство любви. Мысль великая и глубокая! Но молодой поэтъ не справился съ нею, и характеръ его поэмы, въ ея самыхъ патетическихъ мѣстахъ, является мелодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находилъ, что «сцена Заремы съ Марією имѣетъ драматическое достоинство» (т. XI, стр. 227 и 228), тѣмъ не менѣе ясно, что въ этомъ драма-

тизмъ проглядывает мелодраматизмъ. Въ монологъ Заремы есть эта аффектація, это театральное изступленіе страсти, въ которыя всегда впадаютъ молодые поэты и которыя всегда восхищаютъ молодыхъ людей. Если хотите эта сцена обнаружила тогда сильныя драматическіе элементы въ талантѣ молодаго поэта, но не болѣе, какъ элементы, развитія которыхъ слѣдовало ожидать въ будущемъ. Такъ въ эффектной картинѣ молодаго художника, опытный взглядъ знатока видитъ несомнѣнный залогъ будущаго великаго живописца, несмотря на то, что картина сама по себѣ не многого стоить; такъ молодой даровитый трагическій актёръ не можетъ скрыть крикомъ и рѣзкостью своихъ жестовъ избытка огня и страсти, которые кипятъ въ его душѣ, но для выраженія которыхъ онъ не выработалъ еще простой и естественной манеры. И потому, мы гораздо больше согласны съ Пушкинымъ касательно его мнѣнія насчетъ стиховъ: «Онъ часто въ сѣчахъ роковыхъ» и пр. Вотъ что говоритъ онъ о нихъ: «А. Р. хототагъ надъ слѣдующими стихами (NB мы выписали ихъ выше)... Молодые писатели вообще не умѣютъ изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрогаются, хохочутъ дико, скрежещутъ зубами, и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама» (т. XI, стр. 228).

Несмотря на то, въ поэмѣ много частныхъ обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Маріи (особенно Маріи) прелестны, хотя въ нихъ и проглядываетъ наивность нѣсколько юношескаго одушевленія. Но лучшая сторона поэмы, это—описанія, или, лучше сказать, живыя картины мухаммеданскаго Крыма: онѣ и теперь чрезвычайно увлекательны. Въ нихъ нѣтъ этого элемента высоты, который такъ проглядываетъ въ «Кавказскомъ Пѣнникѣ» въ картинахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но онѣ непобѣдимо очаровываютъ эту кроткую и роскошную поэзію, которыми запечатлѣна соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда вѣрны мѣстности. Картина гарема, дѣтскія ша-

ловливыя забавы лѣнивой и уныло однообразной жизни ода-
лискъ, татарская пѣсня—все это и теперь еще такъ живо,
такъ свѣжо, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзіи, напри-
мѣръ, въ этихъ стихахъ:

Настала ночь; покрылись тѣнью
Тавриды сладостной поля;
Вдали подъ тихой лавровъ сѣнью
Я слышу пѣнье соловья;
За хоромъ звѣздъ луна восходить,
Она съ безоблачныхъ небесъ
На доли, на холмы, на лѣсъ
Сіянье томное наводитъ.
Покрыты бѣлой пеленой,
Какъ тѣни легкія мелькая,
По улицамъ Бахчисарая,
Изъ дома въ домъ, одна къ другой
Простыхъ Татаръ спѣшать супруги
Дѣлать вечерніе досуги.

Описание евнуха, прислушивающагося подозрительнымъ слу-
хомъ къ малѣйшему шороху, какъ-то чудно сливается съ кар-
тиною этой фантастически-прекрасной природы, и музыкаль-
ность стиховъ, сладострастіе созвучій нѣжатъ и дѣлѣютъ оча-
рованное ухо читателя:

Но все вокругъ него молчить;
Одни фонтаны сладкозвучны
Изъ мраморной темницы бьютъ,
И съ милой розой неразлучны
Во мракъ соловья поютъ...

Здѣсь даже неправильныя усѣченія не портятъ стиховъ.
И какою истинно-лирическою выходкою, исполненною пафоса,
замыкаются эти роскошно-сладострастные картины волшебной
природы Востока:

Какъ милы темныя красы
Ночей роскошнаго Востока!

Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая нѣга въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,
Гдѣ подъ вліяніемъ луны
Все полно тайнъ и тишины,
И вдохновеній сладострастныхъ!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзіи, которыми такъ полонъ «Бахчисарайскій Фонтанъ», въ немъ плѣняетъ еще эта легкая, свѣтлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навѣянная на поэта чудно-прозрачными и благоуханными ночами Востока, и поэтической мечтою, которую возбудило въ немъ преданіе о таинственномъ фонтанѣ во дворцѣ Гиреевъ. Описаніе этого фонтана дышетъ глубокимъ чувствомъ:

Есть надпись: ѣдкими годами
Еще не гладилась она.
За чуждыми ея чертами
Журчить во мраморъ вода
И каплетъ холодными слезами.
Не умолая никогда.
Такъ плачетъ мать во дни печали
О сынѣ, падшемъ на войнѣ.
Младья дѣвы въ той странѣ
Преданье старины узнали,
И мрачный памятникъ онѣ
Фонтаномъ слезъ именовали.

Слѣдующіе стихи (до конца) составляютъ превосходнѣйшій музыкальный финалъ поэмы; словно *gesumé*, они сосредоточиваютъ въ себѣ всю силу впечатлѣнія, которое должно оставить въ душѣ читателя чтеніе цѣлой поэмы: въ нихъ и роскошь поэтическихъ красокъ, и легкая, свѣтлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навѣянная немолчнымъ журчаніемъ «Фонтана Слезъ» и представлявшая разгоряченной фантазіи поэта таинственный образъ мелькавшей летучею тѣнью женщины... Гармонія послѣднихъ двадцати стиховъ упоительна:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира,
Забывъ и славу и любовь,
О, скоро васъ увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склонъ приморскихъ горъ,
Воспоминай тайныхъ полный,
И вновь таврическія волны
Обрадуютъ мой жадный взоръ.
Волшебный край, очей отрада!
Все живо тамъ: холмы, лѣса,
Янтарь и яхонтъ винограда,
Долинъ пріютная краса,
И струй и тополей прохлада,
Все чувство путника манить,
Когда въ часъ утра безмятежной,
Въ горахъ дорогою прибрежной,
Привычный конь его бѣжитъ,
И зеленѣющая влага
Предъ нимъ и блещетъ и шумитъ
Вокругъ утесовъ Аю-дага...

Вообще, «Бахчисарайскій Фонтанъ» — роскошно поэтическая мечта юноши, и отпечатокъ юности лежитъ равно и на недостаткахъ его и на достоинствахъ. Во всякомъ случаѣ, это — прекрасный, благоухающій цвѣтокъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребовательно, какъ всѣми юношескими произведеніями, въ которыхъ полнота силъ замѣняетъ строгую обдуманность концепціи, и роскошь щедрою рукою разбросанныхъ красокъ — строгую отчетливость выполнения.

Теперь намъ предстоитъ говорить о поэмѣ, которая была поворотнымъ кругомъ уже созрѣвшаго таланта Пушкина на путь истинно художественной дѣятельности: это — «Цыгане». Въ «Русланъ и Людмила» Пушкинъ является даровитымъ и шаловливымъ ученикомъ, который во время класса, украдкою отъ учителя, чертитъ затѣйливыя арабески, плоды его причудливой и рѣзвой фантазіи; въ «Кавказскомъ Пльнникѣ»

и «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», это — молодой поэтъ, еще неопытными пальцами пробующій извлекать изъ музыкальнаго инструмента самобытные звуки, плоды первыхъ, горячихъ вдохновеній; но въ «Цыганахъ» онъ — уже художникъ, глубоко вглядывающійся въ жизнь и мощно владѣющій своимъ талантомъ. «Цыганами» открывается средняя эпоха его поэтической дѣятельности, къ которой мы причисляемъ еще «Евгенія Онѣгина» (первыя шесть главъ), «Полтаву», «Графа Нулина», такъ же какъ съ «Бориса Годунова» начинается послѣдняя, высшая эпоха его вполне возмужавшей художественной дѣятельности, къ которой мы причисляемъ и всѣ поэмы, послѣ его смерти напечатанныя. Въ слѣдующей статьѣ, мы рассмотримъ «Цыганъ», «Полтаву», «Евгенія Онѣгина» и «Графа Нулина»; а эту статью заключимъ взглядомъ на «Братьевъ - Разбойниковъ», маленькую поэмку, которую по многимъ отношеніямъ, считаемъ престраннымъ явленіемъ.

На первомъ изданіи «Цыганъ», вышедшемъ въ 1827 году, выставлено въ заглавіи: «писано въ 1824 году»; то же самое выставлено и въ заглавіи вышедшихъ въ 1827 же году «Братьевъ Разбойниковъ», которые первоначально были напечатаны въ одномъ альманахѣ 1825 года. Стало-быть, объ эти поэмы написаны Пушкинымъ въ одинъ годъ. Это странно, потому что ихъ раздѣляетъ неизмѣримое пространство: «Цыганы» — произведеніе великаго поэта, а «Братья - Разбойники» — не болѣе, какъ ученическій опытъ. Въ нихъ все ложно, все натянуто, все мелодрама, и ни въ чемъ нѣтъ истины, отчего эта поэма очень удобна для пародій. Будь она написана въ одно время съ «Русланомъ и Людмилою» — она была бы удивительнымъ фактомъ огромности таланта Пушкина, ибо въ ней стихи бойки, рѣзки и размашисты, рассказъ живой и стремительный. Но какъ произведеніе, современное «Цыганамъ», эта поэма — неразгаданная вещь. Ея разбойники очень похожи на Шиллеровыхъ удалцевъ третьяго разряда изъ шайки Карла Моора, хотя по внѣш-

ности событія и видно, что оно могло случиться только въ Россіи. Языкъ разсказывающаго повѣсть своей жизни разбойника слишкомъ высокъ для мужика, а понятія слишкомъ низки для человѣка изъ образованнаго сословія; отсюда и выходитъ декламация, проговоренная звучными и сильными стихами. Грѣзы большого разбойника и монологи, обращаемые имъ въ бреду къ брату — рѣшительно мелодрама. Поэма бѣдна даже поэзіею, которою такъ богато все, что ни выходило изъ подъ пера Пушкина, даже «Русланъ и Людмила». Есть въ «Братьяхъ-Разбойникахъ» даже плохіе стихи и прозаическіе обороты, какъ, напримѣръ: «Межь ними зрится и бѣглець». «Насъ другъ ко другу приковали».

VII.

Поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Графъ Нулинъ».

«Цыганы» были приняты съ общими похвалами, но въ этихъ похвалахъ было что-то робкое, нерѣшительное. Въ новой поэмѣ Пушкина подозрѣвали что-то великое, но не умѣли понять въ чемъ оно заключалось и, какъ обыкновенно водится въ такихъ случаяхъ, расплывались въ восклицаніяхъ и не жалѣли знаковъ удивленія. Такъ поступили журналисты: публика была прямодушнѣе и добросовѣстнѣе. Мы хорошо помнимъ это время, помнимъ, какъ многіе были неприятно разочарованы «Цыганами» и говорили, что «Кавказскій Пльнникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ» гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэтъ вдругъ переросъ свою публику и однимъ орлинымъ взмахомъ очутился на высотѣ, недоступной для большинства. Въ то время, какъ онъ уже самъ безпощадно смѣялся надъ первыми своими поэмами, его добродушные поклонники еще бредили Пльнникомъ, Черкешенкою, Зареюмою, Маріею, Гиреемъ, братьями разбойниками,

и только по какой-то робости похваливали «Цыганъ», или боясь окомпрометтировать себя, какъ образованныхъ судей изящнаго, или дѣтски восхищаясь пѣснью Земфиры и сценикою убійства. Явный знакъ, что Пушкинъ уже пересталъ быть выразителемъ нравственной настроенности современнаго ему общества, и что отсель онъ явился уже воспитателемъ будущихъ поколѣній. Но поколѣнія возникаютъ и образуются не днями, а годами, и потому Пушкину не суждено было дожидаться воспитанныхъ его духомъ поколѣній — своихъ истинныхъ судей. «Цыганы» произвели какое-то колебаніе въ быстро-возраставшей до того времени славѣ Пушкина; но послѣ «Цыганъ» каждый новый успѣхъ Пушкина былъ новымъ его паденіемъ, — и «Полтава», послѣднія и лучшія главы «Онѣгина», «Борисъ Годуновъ» были приняты публикою холодно, а нѣкоторыми журналистами съ ожесточеніемъ и съ оскорбительными криками безусловнаго неодобренія.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что писано было въ нихъ о «Цыганахъ»: вы удивитесь, какъ можно было такъ мало сказать о столь многомъ! Тутъ найдете только о Байронѣ, о цыганскомъ племени, о небезгрѣшности ремесла — водить медвѣдя, объ успѣшномъ развитіи таланта «пѣвца Руслана и Людмилы», удивленіе къ дѣйствительно удивительнымъ частностямъ поэмы, нападки на будто бы греческій стихъ: «И отъ судебъ защиты нѣтъ», осужденіе будто бы вялаго стиха: «И съ камня на траву свалился» — и многое въ этомъ родѣ; но ни слова ни намека на идею поэмы.

А между тѣмъ, поэма заключаетъ въ себѣ глубокую идею, которая большинствомъ была совсѣмъ не понята, а немногими людьми, радушно привѣтствовавшими поэму, была понята ложно, — что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Пушкина. И послѣднее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думалъ сказать не то, что сказалъ въ самомъ дѣлѣ. Это особенно доказываетъ, что непосредственно творческій элементъ въ Пуш-

кинѣ былъ несравненно сильнѣ мыслительнаго сознательнаго элемента, такъ что ошибки послѣдняго, какъ бы безъ вѣдома самого поэта, поправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцанія само собою торжествовала надъ неправильностью рефлексій поэта. Повторяемъ: «Цыганы» служатъ неопровержимымъ доказательствомъ справедливости нашего мнѣнія. Идея «Цыганъ» вся сосредоточена въ героѣ этой поэмы — Алеко. А что хотѣлъ Пушкинъ выразить этимъ лицомъ? — Не трудно отвѣтить: всякій, даже съ перваго, поверхностнаго взгляда на поэму, увидитъ, что въ Алеко Пушкинъ хотѣлъ показать образецъ человѣка, который до того проникнуть сознаниемъ человѣческаго достоинства, что въ общественномъ устройствѣ видитъ одно только униженіе и позоръ этого достоинства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни, Алеко въ дикой цыганской волѣ ищетъ того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предрасудками и приличіями, добровольно закабалившее себя на унижительное служеніе идолу золота. Вотъ что хотѣлъ Пушкинъ изобразить въ лицѣ своего Алеко; но успѣлъ ли онъ въ этомъ, то ли именно изобразилъ онъ? — Правда, поэтъ настаиваетъ на этой мысли, и видя, что поступокъ Алеко съ Земфиroyю явно ей противорѣчить, сваливаетъ всю вину на «роковыя страсти, живущія подъ разодранными шатрами», и на «судьбы, отъ которыхъ нигдѣ нѣтъ защиты». Но весь ходъ поэмы, ея развязка и, особенно, играющее въ ней важную роль лицо стараго цыгана, неоспоримо показываютъ, что, желая и думая изъ этой поэмы создать апофеозу Алеко, какъ поборника правъ человѣческаго достоинства, поэтъ, вмѣсто этого, сдѣлалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему людей, изрекъ надъ нимъ судъ неумолимо трагическій и вмѣстѣ съ тѣмъ горько ироническій.

Кому не случалось встрѣчать въ обществѣ — людей, которые изъ всѣхъ силъ бьются прослыть такъ называемыми

«либералами», и которые достигают не болѣе, какъ неза-
виднаго прозвища жалкихъ крикуновъ? Эти люди всегда по-
ражаютъ наблюдателя самымъ простодушнымъ, самымъ коми-
ческимъ противорѣчьемъ своихъ словъ съ поступками. Много
можно было бы сказать объ этихъ людяхъ характеристиче-
скаго, чѣмъ такъ рѣзко отличаются они отъ всѣхъ другихъ
людей; но мы предпочитаемъ воспользоваться здѣсь чужою,
уже готовою характеристикю, которая соединяетъ въ себѣ
два драгоценныя качества — краткость и полноту: мы говоримъ
объ этихъ удачныхъ стихахъ покойнаго Дениса Давыдова:

А глядишь—нашъ Мирабо
Стараго Гаврилу,
За изматое жабо,
Хлещеть въ усъ да въ рыло;
А глядишь—нашъ Лафаятъ,
Брутъ или Фабрицій,
Мужичковъ подъ прессъ кладеть
Вмѣстѣ съ свекловицей.

Такіе люди, конечно, смѣшны, и съ нихъ довольно легонь-
каго водевиля, или сатирической пѣсенки, ловко сложенной
Давыдовымъ; но поэмы они не стоятъ. Никакъ нельзя сказать,
чтобъ Алеко Пушкина былъ изъ этихъ людей, но и нельзя
также сказать, чтобъ онъ не былъ имъ сродни. Великая мысль
является въ дѣйствительности двойственно — комически и
трагически, смотря по личнымъ качествамъ людей, въ кото-
рыхъ она выражается. Дурная страсть въ человѣкѣ ничтож-
номъ или забавна, какъ глупость, или отвратительна, какъ
мерзость; дурная страсть въ человѣкѣ съ характеромъ и
умомъ ужасна: первая наказывается хохотомъ или пре-
зрѣніемъ, смѣшаннымъ съ омерзениемъ; вторая служить для
людей трагическимъ урокомъ, потрясающимъ душу. Вотъ
почему для первой довольно легонькаго водевиля, или са-
тирической пѣсенки, много уже, если комедіи; для второй

нужна сатира Барбье, и ея не погнушается даже трагедія Шекспира. Глупецъ, который корчитъ изъ себя Мирабо, есть ни что иное, какъ маленькій эгоизмъ, который не любитъ для себя тѣхъ самыхъ стѣснительныхъ формъ, которыми любитъ душить другихъ. Дайте этому эгоизму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истину, пока она не противорѣчитъ ему, — и передъ вами весь Алеко, такой, какимъ создалъ его Пушкинъ. Не страсти погубили Алеко. «Страсти» — слишкомъ неопредѣленное слово, пока вы не назовете ихъ по именамъ: Алеко погубила одна страсть, и эта страсть — эгоизмъ! Прослѣдите за Алеко въ развитіи цѣлой поэмы и вы увидите, что мы правы.

Приведя встрѣченнаго за холмомъ, подлѣ цыганскаго табора, Алеко, Земфира говоритъ своему отцу, между прочимъ:

Онъ хочетъ быть, какъ мы Цыганомъ;
Его преслѣдуетъ законъ.

Въ этихъ словахъ Алеко является еще только таинственнымъ загадочнымъ лицомъ, не болѣе; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можетъ показаться ни преступникомъ вслѣдствіе эгоизма, ни жертвою несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхностности, готовъ съ-разу принять его за мученика идеи. Но вотъ таборъ снялся; Алеко уныло смотритъ на опустѣлое поле и не смѣетъ растолковать себѣ тайной причины своей грусти. Онъ, наконецъ, волею, какъ Божія птичка, солнце весело блестя надъ его головою: о чемъ же его тоска? Поэтъ прочитъ ему, что страсти, нѣкогда такъ свирѣпо игравшія имъ, только на время присмирѣли въ его измученной груди, и что скоро онъ снова проснутся... Опять страсти! но какія же? А вотъ увидимъ...

Можетъ быть, Алеко только внѣшнимъ образомъ, по чув-

ству досады, разорвалъ связи съ образованнымъ обществомъ, и ему тяжка исполненная лишений дикая воля бѣднаго бродящаго племени, ибо, какъ мудро замѣтилъ ему старшій Цыгань,

. . . . Не всегда мила свобода
Тому, кто къ нѣгъ приученъ.

Нѣтъ! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, въ которой

Все скучно, дико, все нестройно;
Но все такъ живо-неспокойно,
Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ,
Такъ чуждо этой жизни праздной,
Какъ пѣснь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалѣеть ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ, — Алеко отвѣчаетъ:

О чемъ жалѣть? Когда-бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышать утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ,
*Люби стыдятся, мысли юнятся,
Торжуютъ волею своей,
Главы предъ идолами клонятъ
И просятъ денегъ да чиней.*
Что бросилъ я? Измѣнъ волнение,
Предразсуждений приговоръ,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позоръ.

Какой энергическій, полный мощнаго негодованія голосъ! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ паѳосомъ рѣчь! Съ какою неотразимою силою увлекаетъ душу это про-

рочески обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можешь не вѣрить, чтобъ человѣкъ, обладающій такою силою жечь огнемъ устъ своихъ, не былъ существомъ высшаго разряда,—существомъ, исполненнымъ свѣтлаго разума и пламенной любви къ истинѣ, глубокой скорби объ униженіи человѣчества... Вы видите въ немъ героя убѣжденія, мученика выспихъ, недоступныхъ толпѣ откровеній... Какъ высоко стоитъ онъ надъ этою презрѣнною толпою, которую такъ нещадно поражаетъ громомъ своего благороднаго негодованія!... Но здѣсь то и скрывается великій урокъ для оцѣнки истиннаго достоинства; здѣсь-то и можно видѣть, какъ легко быть героемъ на счетъ чужихъ пороковъ, заблужденій и слабостей, и какъ мудрено быть героемъ на свой собственный счетъ,—какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, но если по словамъ, то не иначе, какъ подтвержденнымъ дѣлами. Изречь энергическое, полное благороднаго негодованія проклетіе; не только на какое-нибудь общество, или какой-нибудь народъ, но и на цѣлое человѣчество, гораздо легче, нежели самому поступить справедливо въ собственномъ своемъ дѣлѣ. И потому изрекать анаѹему такъ же не всякій имѣеть право, какъ и изрекать благословеніе; это могутъ только пріавшіе свыше власть и посвященіе. Какъ поучать другихъ имѣеть право только знающій самъ то, чему берется поучать,—такъ и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можетъ только тотъ, кто самъ уже твердою ступою привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себѣ—не болѣе, какъ звукъ пустой: оно важно только какъ выраженіе мысли; а мысль сама по себѣ—не болѣе, какъ призракъ чего-то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь, какъ идеальная сущность дѣйствительности. Все, что не подходитъ подъ мѣрку пракческаго примѣненія,—ложно и пусто. Вотъ почему необходимо должно обращать вниманіе не только на то, дѣйствительно ли истинно сказанное, но и на то, кѣмъ

оно сказано. По этой же причинѣ, въ устахъ призванныхъ и посвященныхъ, иногда и старыя истины получаютъ новую форму и новую силу убѣжденія, какъ-будто бы онѣ были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, иногда и новыя, оригинально выраженные мысли пропадаютъ безъ дѣйствія, какъ-будто истертыя общія мѣста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ, доходитъ дѣло и до страстей, появленіе которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердцемъ Алеко одолеваетъ ревность.

Эта страсть свойственна или людямъ по самой натурѣ эгоистическимъ, или людямъ неразвитымъ нравственно. Считать ревность необходимою принадлежностью любви — непростительное заблужденіе. Человѣкъ нравственно-развитый любить спокойно, увѣренно, потому что уважаетъ предметъ любви своей (любовь безъ уваженія для него невозможна). Положимъ, что онъ замѣчаетъ къ себѣ охлажденіе со стороны любимаго предмета, какая бы ни была причина этого охлажденія изъ исчисленныхъ поэтомъ:

Кто устоитъ противъ разлуки,
Соблазна новой красоты,
Противъ усталости и скуки
Иль своеправія мечты?

это охлажденіе заставить его страдать, потому что любящее сердце не можетъ не страдать при потерѣ любимаго сердца; но онъ не будетъ ревновать. Ревность, безъ достаточнаго основанія, есть болѣзнь людей ничтожныхъ, которые не уважаютъ ни самихъ себя, ни своихъ правъ на привязанность любимаго ими предмета; въ ней высказывается мелкая тиранія существа, стоящаго на степени животнаго эгоизма. Такая ревность невозможна для человѣка нравственно-раз-

витаго; но такимъ же точно образомъ невозможна для него и ревность на достаточномъ основаніи: ибо такая ревность непремѣнно предполагаетъ мученія подозрительности, оскорбленія и жажды мщенія. Подозрительность совершенно излишняя для того, кто можетъ спросить другаго о предметѣ подозрѣнія съ такимъ же яснымъ взоромъ, съ какимъ и самъ отвѣтитъ на подобный вопросъ. Если отъ него будутъ скрываться, то любовь его перейдетъ въ презрѣніе, которое если не избавитъ его отъ страданія, то дастъ этому страданію другой характеръ и сократитъ его продолжительность; если же ему скажутъ, что его болѣе не любятъ,—тогда муки подозрѣнія тѣмъ менѣе могутъ имѣть смыслъ. Чувство оскорбленія для такого человѣка также невозможно, ибо онъ знаетъ, что прихоть сердца, а не его недостатки причиною потери любимаго сердца, и что это сердце, переставъ любить его, не только не перестало его уважать, но еще сострадаетъ, какъ другъ, его горю, и винитъ себя, не будучи въ сущности виновато. Чтò касается до жажды мщенія—въ этомъ случаѣ, она была бы понятна только какъ выраженіе самаго животнаго, самаго грубаго и невѣжественнаго эгоизма, который невозможенъ для человѣка нравственно-развитаго. И за чтò тутъ мстить?—за то, что любившее васъ сердце уже не бьется любовію къ вамъ! Но развѣ любовь зависитъ отъ воли человѣка и покоряется ей? И развѣ не случается, что сердце, охладѣвшее къ вамъ, не терзается сознаніемъ этого охлажденія словно тяжкою виною, страшнымъ преступленіемъ? Но не помогутъ ему ни слезы, ни стоны, ни самообвиненія, и тщетны будутъ всѣ усилія его заставить себя любить васъ по прежнему... Такъ чего же вы хотите отъ любимаго вами, но уже не любящаго васъ предмета, если сами сознаете, что его охлажденіе къ вамъ теперь такъ же произошло не отъ его воли, какъ не отъ нея произошла прежде его любовь къ вамъ? Хотите ли, чтобъ этотъ предметъ, скрывая насильственно свое къ вамъ охлажденіе, обманывалъ васъ, ради

вашего счастья, притворною любовію?—Но такое желаніе со стороны вашей могло бы выйдти только изъ самаго грубаго, животнаго эгоизма: ибо, если вы человѣкъ, существо нравственно-развитое, то вы должны думать и заботиться гораздо больше о счастіи связаннаго съ вами отношеніями любви предмета, чѣмъ о своемъ собственномъ. И притомъ, надо быть слишкомъ пошлымъ человѣкомъ, чтобъ допустить обмануть и успокоить себя принужденною любовію, и надо быть слишкомъ подлымъ человѣкомъ, чтобъ, понимая такую любовь, какъ она есть, удовлетворяться ею: это значило бы принести чужое счастье въ жертву своему собственному— и какому счастію!... Когда любовь съ которой нибудь стороны кончилась, вмѣстѣ жить нельзя: ибо тотъ не понимаетъ любви и ея требованій и за любовь принимаетъ грубую, животную чувственность, кто способенъ пользоваться ея правами отъ предмета, хотя бы и любимаго, но уже нелюбимаго. Такая «любовь» бываетъ только въ бракахъ, потому что бракъ есть обязательство,—и, можетъ быть, оно такъ тамъ и нужно; но въ любви такія отношенія суть оскорбленіе и профанация не только любви, но и человѣческаго достоинства. Всѣ такіе случаи невозможны для человѣка нравственно-развитаго.

Есть много родовъ образованія и развитія, и каждое изъ нихъ важно само по себѣ, но всѣхъ ихъ выше должно стоять образованіе нравственное. Одно образованіе дѣлаетъ васъ человѣкомъ ученымъ, другое — человѣкомъ свѣтскимъ, третье—административнымъ, военнымъ, политическимъ и т. д.; но нравственное образованіе дѣлаетъ васъ просто человѣкомъ, т. е. существомъ, отражающимъ на себѣ отблескъ божественности, и потому высоко стоящимъ надъ міромъ животнымъ. Хорошо быть ученымъ, поэтомъ, воиномъ, законодателемъ и проч., но худо не быть при этомъ человѣкомъ; быть же человѣкомъ, значитъ имѣть полное и законное право на существованіе и не будучи ничѣмъ другимъ, какъ

только человѣкомъ. Въ чемъ же состоитъ нравственное образованіе, нравственное развитіе? Такъ какъ человѣкъ не только существуетъ, но еще и мыслить, то всякій предметъ, въ отношеніи къ нему, существуетъ не только практически, но и теоретически, и человѣкъ только тогда вполнѣ владѣетъ предметомъ, тогда схватываетъ его съ этихъ обѣихъ сторонъ. Но одно практическое обладаніе предметомъ еще значить что-нибудь, тогда какъ одно теоретическое ровно ничего не значить. И потому теоретическая нравственность, открывающаяся въ однихъ системахъ и словахъ, но не говорящая за себя, какъ дѣло, какъ фактъ, выходящая только изъ созерцаній ума, но неимѣющая глубокихъ корней въ почвѣ сердца, — такая нравственность стѣитъ безнравственности и должна называться китайскою или фарисейскою. Истинная нравственность прозябаетъ и растетъ изъ сердца, при плодотворномъ содѣйствіи свѣтлыхъ лучей разума. Ея мѣрило — не слова, а практическая дѣятельность. Въ сферѣ теорій и созерцаній, быть героемъ добродѣтели въ тысячу разъ легче, нежели въ дѣйствительности выслужить чинъ коллежскаго регистратора или, пообѣдавъ, почувствовать себя сытымъ. Такъ какъ сфера нравственности есть по преимуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется преимущественно изъ взаимныхъ отношеній людей другъ къ другу, — то здѣсь-то, въ этихъ отношеніяхъ, — и больше нигдѣ, должно искать примѣтъ нравственнаго, или безнравственнаго человѣка, а не въ томъ, какъ человѣкъ разсуждаетъ о нравственности, или какой системы, какого ученія и какой категоріи нравственности онъ держится. Слова, какъ бы ни были краснорѣчивы, хотя бы произносились страстнымъ голосомъ и сопровождались не только порывистыми жестами, но, при случаѣ, и горячими слезами, — слова сами по себѣ все таки стѣять не больше всякой другой болтовни: здѣсь, какъ и вездѣ, дѣло — въ дѣлѣ. Одинъ изъ высочайшихъ и священнѣйшихъ принциповъ истинной нравственности заключается въ религіозномъ

уваженіи къ человѣческому достоинству во всякомъ человѣкѣ, безъ различія лица, прежде всего за то, что онъ — человѣкъ, и потомъ уже за его личныя достоинства, по той мѣрѣ, въ какой онъ ихъ имѣеть, — въ живомъ, симпатическомъ сознаниіи своего братства со всѣми, кто называется человекомъ. Вотъ что разумѣли мы подъ словомъ «нравственно развитый человѣкъ», говоря о томъ, какимъ образомъ показалъ бы себя такой человѣкъ въ отношеніи къ любимой имъ особѣ, когда она почему бы то ни было разлюбить его. Естественно, что никогда не выказывается такъ рѣзко-опредѣленно нравственность или безнравственность человѣка, какъ въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ судитъ своего ближняго по отношенію къ самому себѣ и гдѣ въ эти отношенія вмѣшивается страсть: ибо въ такихъ случаяхъ ему предстоитъ быть къ самому себѣ строгимъ безъ эффектовъ, безпристрастнымъ безъ гордости, справедливымъ безъ униженія, между тѣмъ, какъ въ такихъ — то именно обстоятельствахъ человѣкъ, по чувству эгоизма, и увлекается крайностями, т. е. или бываетъ къ себѣ пристрастно — снисходительнымъ, обвиняя во всемъ своего ближняго, или, что бываетъ рѣже, изъ самаго безпристрастія своего и своей къ себѣ строгости дѣлаетъ эффектную мелодраму. Поэтому наше приложеніе идеи нравственности къ дѣлу любви очень удобно для рѣшенія вопроса, потому что любовь, какъ одна изъ сильнѣйшихъ страстей, увлекающихъ человѣка во всѣ крайности больше, чѣмъ всякая другая страсть, — можетъ служить пробнымъ камнемъ нравственности. Если человѣкъ, находящійся въ положеніи Алеко, подавшего намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ, есть истинно нравственный человѣкъ, то въ любимой имъ особѣ онъ съ большею страстію, чѣмъ въ комъ-нибудь другомъ, уважаетъ права свободной личности, а, слѣдовательно, и невольныя естественныя стремленія ея сердца. Въ такомъ случаѣ, натурально, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не приметъ за преступленіе, или такъ называемую на языкѣ

пошлыхъ романовъ «невѣрность», и еще менѣе согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безъ любви и для его счастья отказаться отъ счастья новой любви, можетъ - быть, бывшей причиною ея къ нему охлажденія. Еще болѣе естественно, что въ такомъ случаѣ ему остается сдѣлать только одно:—со всѣмъ самоотверженіемъ души любящей, со всею теплотою сердца, постигшаго святую тайну страданія, благословить его, или ее, на новую любовь и новое счастье, а свое страданіе, если нѣтъ силъ освободиться отъ него, глубоко сохранить отъ всѣхъ, и въ особенности отъ него, или отъ нея, въ своемъ сердцѣ. Такой поступокъ немногими можетъ быть оцѣненъ, какъ выраженіе истинной нравственности; многіе, воспитанные на романахъ и повѣстяхъ съ ревностію, измѣнами, кинжалами и ядами, найдутъ его даже прозаическимъ, а въ человѣкѣ, такимъ образомъ поступившемъ, увидятъ отсутствіе понятія о чести. Дѣйстви-тельно, по понятіямъ, искаженно перешедшимъ къ намъ отъ среднихъ вѣковъ, мужчинѣ надо кровью смыть подобное безчестіе и, какъ говоритъ Алеко, «хищнику и ей коварной вонзятъ кинжалъ въ сердце», а женщинѣ приобѣгнуть къ яду, или къ слезамъ и безмолвной тоскѣ; но не должно забывать, что то, чтó могло имѣть смыслъ въ варварскіе сред-ніе вѣка,—въ наше просвѣщенное время уже не имѣетъ никакого смысла. Въ образованномъ человѣкѣ нашего времени, Шекспировъ Отелло можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ тѣмъ однако-жъ условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій же образованный человѣкъ нашего времени только разсмѣется отъ новыхъ Отелликовъ въ родѣ Марсея въ нелѣпой повѣсти Эжена Сю «Крао», и безымен-наго господина въ отвратительной повѣсти Дюма «Une Ven-geance». Но люди, которымъ нужно доказать, что въ наше

время кинжалы, яды и даже пистолеты, вследствие ревности, суть ни что иное, какъ пошлые театральные эффекты, или результаты болѣзненного безумія, животнаго эгоизма и дикаго невѣжества, — такіе люди не стѣять того чтобъ тратить на нихъ слова. Слава Богу, такихъ людей теперь уже немного и теперь гораздо больше людей, которые принимаютъ слова за одно съ дѣлами; вотъ имъ-то предложимъ мы вопросъ, ближе относящійся къ предмету нашей статьи: что сказать о человѣкѣ, который, по его словамъ, идетъ на равнѣ съ вѣкомъ, и для этого толкуетъ о правѣ человѣческомъ (нарушаемомъ его сосѣдомъ по имѣнію) и объ эмансипаціи женщины, но который, если его жена позволить себѣ сдѣлать, въ отношеніи къ нему сотую долю того, что безъ всякаго позволенія дѣлаетъ онъ въ отношеніи къ ней, — сейчасъ перемѣняетъ тонъ и готовъ хоть за дубьѣ приняться?... Не правда ли, что, глядя на него, невольно запоешь въ полголоса съ Давыдовымъ:

А глядишь: нашъ Мирабо
Стараго Гаврилу,
За измятое жабо,
Хлещетъ въ усь да въ рыло?...

Вотъ почему не смѣхъ, а смѣшанное съ ужасомъ отвращеніе возбуждаютъ слова Алеко въ отвѣтъ на простодушный, трогательный и поэтический разсказъ стараго Цыгана о Мариулѣ:

Да какъ же ты не поспѣшилъ
Тотчасъ во слѣдъ неблагодарной,
И хищнику и ей, коварной,
Кинжала въ сердце не возилъ?

Итакъ, вотъ онъ — страдалецъ за униженное человѣческое достоинство, человѣкъ, который презрѣлъ предрасудки образованной общественности и нашелъ счастье въ цыганскомъ таборѣ!... Турокъ въ душѣ, онъ считалъ себя впереди цѣ-

лой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъ личности!... И какъ великъ, какъ истинно (т. е. внутренно, духовно) свободенъ предъ нимъ старый Цыганъ, этотъ сынъ природы, бѣдности, незнающій въ простотѣ сердца никакихъ теорій нравственности! Сколько поэзіи и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвѣтѣ Алеко:

Къ чему? вольнѣ птицы младость.
Кто въ силахъ удержать любовь?
Чредою всемъ дается радость:
Что было, то не будетъ вновь!

Отвѣтъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго Цыгана окончательно и вполне раскрываетъ тайну его характера:

Я не таковъ. Нѣтъ, я, не споря,
Отъ правъ моихъ не откажусь;
Или хоть мщеньемъ наслажусь.
О, нѣтъ! когда-бъ надъ бездной моря
Нашелъ я спящаго врага,
Клянусь, и тутъ моя нога
Не пощадила бы злодѣя;
Я въ волны моря не блвднѣю,
И беззащитнаго-бъ толкнулъ;
Внезапный ужасъ пробуждены
Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ,
И долго мнѣ его паденья
Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гуль.

Изъ этихъ словъ видно, что никакая могучая идея не владела душою Алеко, но что все его мысли и чувства, и дѣйствія вытекали, во-первыхъ, изъ сознанія своего превосходства надъ толпою, состоящаго въ умѣ болѣе блестящемъ и созерцательномъ, чѣмъ глубокомъ и дѣятельномъ; во-вторыхъ, изъ чудовищнаго эгоизма, который гордъ самимъ собою, какъ добродѣтелю. «Эта женщина» (какъ разсуждаетъ эгоизмъ Алеко) «отдалась мнѣ, и я счастливъ ея любовью, слѣдовательно, я

имѣю на нее вѣчное и ненарушимое право, какъ на мою рабу, на мою вещь. Она измѣнила—и я не могу уже быть счастливъ ея любовью: она должна упоить меня сладостью мщенія. Ея обольститель лишилъ меня счастья,—и долженъ за это заплатить мнѣ жизнью». Не спрашивайте Алеко, не казалъ ли бы онъ самъ себя смертію, еслибъ онъ самъ измѣнилъ любимой имъ женщинѣ и съ свойственною эгоистамъ жестокостію оттолкнулъ ее отъ груди своей: не трудно угадать, какъ бы поступилъ и что бы заговорилъ Алеко въ подобномъ обстоятельстве. Эгоизмъ изворотливъ, какъ хамелеонъ: мало того, что такой человекъ, какъ Алеко, въ подобномъ случаѣ сталъ бы рисоваться передъ самимъ собою, какъ великодушный и невинный губитель чужаго счастья,—онъ, пожалуй, еще почелъ бы себя вправѣ мстить смертію оставленной имъ женщинѣ, которая преслѣдуетъ его своими доуками, упреками, слезами и моленіями, съ чего-то вообразивъ, что имѣеть на него какія-то права, какъ будто бы онъ созданъ не для жизни, а для ея удовольствія и, подобно дитяти, лишень воли. Не спрашивайте его также, имѣеть ли на его жизнь право человекъ, у котораго онъ отбилъ любовницу: съ свойственнымъ эгоизму безстыдствомъ, Алеко, въ такомъ случаѣ, началъ бы предъ вами витіевато либеральничать и доказывать пышными фразами, что на женщину имѣеть законное право только тотъ, кто, любя ее, любимъ ею, и что онъ, Алеко первый бы уступилъ великодушно свою любовницу тому, кого бы она полюбила. Изъ этого-то животнаго эгоизма вытекаетъ и животная мстительность Алеко. Человекъ нравственный и любящій живетъ для идеи, составляющей паюсъ цѣлаго его существованія; онъ можетъ и горько презирать, и сильно ненавидѣть, но скорѣе по отношенію къ своей идеѣ, чѣмъ къ своему лицу. Онъ не снесеть обиды и не позволитъ унижить себя, но это не мѣшаетъ ему умѣть прощать личныя обиды: въ этомъ случаѣ, онъ не слабъ, а только великодушенъ. Натуры блестящія,

но въ сущности мелкія, потому что эгоистическія, — чужды стремленія къ идеѣ или идеалу: онѣ во всемъ ставятъ сосредоточіемъ свое милое Я. Если они и заберутъ себѣ въ голову, что живутъ для какой-то идеи, то не возвышаются до идеи, а только нагибаются до нея, думаютъ не себя облагородить и освятить проникновеніемъ идеею, но идею осчастливить своимъ султанскимъ выборомъ. И тогда ихъ идея, въ ихъ глазахъ, потому только истина, что она — ихъ идея, и потому всякій не признающій ея истинности, есть ихъ личный врагъ. Но, будучи оскорблены въ дѣлѣ личной страсти, эти люди думаютъ, что въ ихъ лицѣ оскорбленъ весь міръ, вся вселенная, и никакая месть не кажется имъ незаконною. Таковъ Алеко!

Скажутъ, что созданіе такого лица не дѣлаетъ чести поэту, тѣмъ болѣе, что онъ ясно хотѣлъ сдѣлать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбою человѣка. Дѣйствительно, это было бы такъ, еслибъ поэтъ не противопоставилъ стараго цыгана лицу Алеко, можетъ быть, безсознательно повинувая тайной внутренней логикѣ, непосредственнаго творчества. И потому идею поэмы «Цыганы» должно искать не въ одномъ лицѣ, а тѣмъ менѣе только въ лицѣ Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмѣ Пушкина какъ бы для того только, чтобъ представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противорѣчіе съ самимъ собою было причиною его гибели, — и онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступления, примиряется съ преступникомъ: Алеко не убиваетъ себя: онъ остается жить, — и это рѣшеніе дѣйствуетъ на душу читателя сильнѣе всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравненіе Алеко съ подстрѣленнымъ журавлемъ, печально остающимся на полѣ, въ то время, когда станца весело поднимается на воздухъ, чтобъ летѣть къ благословеннымъ краямъ юга, выше всякой трагической

спены. Сидя на камнѣ, окровавленный, съ ножомъ въ рукахъ, «блѣдный лицомъ», Алеко молчитъ, но молчаніе краснорѣчиво: въ немъ слышится нѣкое признаніе справедливости постигшей его кары, и, можетъ-быть, съ этой самой минуты въ Алеко звѣрь уже умеръ, а человѣкъ воскресъ...

Вы скажете: слишкомъ поздно. Чтѣ-жъ дѣлать! такова, видно, натура этого человѣка, что она могла возвыситься до очеловѣченія только цѣною страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судѣ надъ падшимъ и наказаннымъ, а лучше тѣмъ строже будемъ къ самимъ себѣ, пока мы еще не пали, и заранѣе воспользуемся великимъ урокомъ. Еслибъ Алеко устоялъ въ гордости своего мщенія, мы не помирились бы съ нимъ: ибо видѣли бы въ немъ все того же звѣря, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ заслуженность своей кары,—и мы должны видѣть въ немъ человѣка: а человѣкъ человѣка какъ осудить?...

Убитая чета уже въ землѣ.

. Когда же ихъ закрыли
Послѣдней горстію земной,
Онъ молча, медленно склонился
И съ камня на траву свалился.

Какое простое и сильное въ благородной простотѣ своей изображеніе самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послѣдніе стиха, на которые такъ напали критики того времени, какъ на стихи вялые и прозаическіе! Гдѣ-то было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имѣлъ горячій споръ съ кѣмъ-то изъ своихъ друзей, за эти два стиха, и наконецъ вскричалъ: «Я долженъ былъ такъ выразиться; я не могъ иначе выразиться!» Черта обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому Цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можетъ гордиться всякая литература. Есть въ этомъ Цыганѣ что-то

патріархальное. У него нѣтъ мыслей: онъ мыслить чувствомъ,—и какъ истинны, глубоки, человѣчны его чувства! Языкъ его исполненъ поэзіи. Въ тонѣ рѣчи его столько простоты, наивности, достоинства, самоотрицанія (résignation), кротости, теплоты и елейности. И какъ вѣренъ онъ себѣ во всемъ,—тогда ли, какъ рассказываетъ своимъ простодушнымъ и поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овидіи; или когда, въ исполненной дикаго огня, дикой страсти и дикой поэзіи пѣсни Земфиры припоминаетъ стараго друга; или когда, утѣшая Алеко въ охлажденіи Земфиры, по своему, но такъ вѣрно и истинно объясняетъ ему натуру и права женскаго сердца и рассказываетъ трогательную повѣсть о самомъ себѣ, о своей любви къ Маріулѣ и ея измѣнѣ, которую онъ, въ своей цыганской простотѣ, такъ человѣчно, такъ гуманно нашелъ совершенно закононою... Но въ сценѣ похоронъ и прощанія съ Алеко, онъ является, самъ того не подозревая, въ своей цыганской дикости, въ истинно-трагическомъ величіи и кротко изрекаетъ несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

«Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казимъ,
Не пужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ.
Мы робки и добры душою,
Ты золь и смѣль; - оставь же насъ,
Прости! да будетъ миръ съ тобою».

Замѣтьте этотъ стихъ: «Ты для себя лишь хочешь воли»:— въ немъ весь смыслъ поэмы, ключъ къ ея основной идеѣ. Послѣ этого, можно-ли сомнѣваться въ глубоконравственномъ характерѣ поэмы? Нѣтъ, это возможно только для людей близорукихъ и ограниченныхъ, для невѣждъ - моралистовъ,

которые привыкли видѣть нравственность только въ азбучныхъ сѣнтенціяхъ...

Нѣкоторые критики того времени особенно нападали на эпилогъ, находя его похожимъ на хоръ изъ какой-нибудь греческой трагедіи. Греческаго въ этомъ эпилогѣ нѣтъ ничего; а осужденія онъ заслуживаетъ. Въ немъ рефлексія поэта взяла на минуту верхъ надъ посредственностью творчества, и, вслѣдствіе этого, онъ пришелся совершенно не встать къ содержанію поэмы, въ явномъ противорѣчій съ ея смысломъ:

Но счастья нѣтъ и между вами,
Природы бѣдные сыны!
И подъ издранными шатрами
Живутъ мучительные сны.
И ваши сны кочевья
Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ.
И всюду страсти роковыя,
И отъ судьбъ защиты нѣтъ.

Къ чему тутъ судьбы и къ чему толки о томъ, что счастье нѣтъ и между бѣдными дѣтьми природы? Несчастіе принесено къ нимъ сыномъ цивилизаціи, а не родилось между ними и черезъ нихъ же. Но главное: поэту слѣдовало бы въ заключительныхъ стихахъ сосредоточить мысль всей поэмы, такъ энергически выраженной стихомъ: «Ты для себя лишь хочешь воли». Но, какъ мы выше замѣтили, Пушкинъ-поэтъ былъ гораздо выше Пушкина-мыслителя. Еслибы въ духъ Пушкина оба эти элемента были равносильны, и еслибы, къ этому, роскошный цвѣтъ его поэзіи имѣлъ своею почвою вполне развившуюся многовѣчную цивилизацію,—тогда, конечно, Пушкинъ былъ бы равенъ величайшимъ поэтамъ Европы...

Можетъ-быть, инымъ покажется недостаткомъ въ «Цыганахъ» то, что въ этой поэмѣ дикій Цыганъ, такъ сказать, пристыжаетъ высоту своихъ созерцаній и чувствованій

понятія сына цивилизаціи, и такимъ образомъ заставляеть насъ видѣть идеаль нравственно - просвѣтленнаго чело-
вѣка въ бродящемъ дикарѣ. Это несправедливо. Алеко есть одно
изъ явленій цивилизаціи, но отнюдь не полный ея пред-
ставитель. Сверхъ того, несмотря на всю возвышенность
чувствованій стараго Цыгана, онъ не высшій идеаль чело-
вѣка: этотъ идеаль можетъ реализироваться только въ су-
ществѣ сознательно-разумномъ, а не въ непосредственно-
разумномъ, не вышедшемъ изъ - подъ опеки у природы и
обычая. Иначе, развитіе чело-вѣчества черезъ цивилизацію
не имѣло бы никакого смысла, и люди, чтобъ сдѣлаться
разумными и справедливыми, должны бы въ дикомъ состо-
яніи видѣть свое признаніе и свою цѣль. Чело-вѣчество
должно было помириться съ природою, но не иначе, какъ
достигши этого примиренія свободно, путемъ духовнаго,
противоположнаго природѣ, развитія. Для того - то и рас-
пался нѣкогда чело-вѣкъ съ природою и объявилъ ей борьбу
на смерть, чтобъ стать выше ея и потомъ, даже прими-
рившись съ нею, быть выше ея, какъ духъ выше матеріи,
сознающій разумъ выше бессознательной дѣйствительности.
Бываютъ собаки, одаренныя не только удивительнымъ ин-
стинктомъ, подходящимъ близко къ смыслу, но и удивитель-
ными добродѣтелями, какъ-то вѣрностью и привязанностью
къ чело-вѣку, простирающимися до готовности жертвовать
жизнію за чело-вѣка. И въ то же время бываютъ люди не
только съ весьма ограниченными способностями, но и съ
положительно - низкими страстями и злою, развращенною
волею. И однакожь самый плохой чело-вѣкъ выше самой
лучшей собаки, хотя онъ и внушаетъ къ себѣ одно пре-
зрѣніе и отвращеніе, тогда какъ послѣдняя пользуется об-
щимъ удивленіемъ и любовью: такъ и самый худшій между
интеллектуально развитыми черезъ цивилизацію людьми,
въ царствѣ разума занимаетъ высшую ступень, нежели са-
мый лучший изъ людей, взлелѣянныхъ на лонѣ природы;

последній всегда—не болѣе, какъ прекрасная случайность, или существо, обязанное своими достоинствами случайному дару удавшейся организациі, — тогда какъ самые недостатки и пороки перваго болѣе или менѣе отражаютъ на себѣ необходимый моментъ въ историческомъ развитіи общества, или даже цѣлаго человѣчества. Добродѣтели послѣдняго не зависятъ отъ прошедшаго, и потому не даютъ результатовъ въ будущемъ: это талантъ, скрытый въ землю, отъ котораго человѣчество не богатѣетъ. И потому жизнь непосредственно естественнаго человѣка ни въ какомъ случаѣ не можетъ обогатить человѣчества великимъ урокомъ. И если въ поэмѣ Пушкина, старый Цыганъ способствуетъ, самъ того не зная, къ преподаванію намъ великаго урока, — то не самъ собою, а черезъ Алеко, этого сына цивилизациі. Здѣсь онъ какъ бы играетъ роль хора въ греческой трагедіи, который иногда изрекаетъ великія истины о совершающемся передъ его глазами событіи, не принимая самъ въ этомъ событіи никакого дѣятельнаго участія.

Сколько «Цыганы» выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концепировкѣ характеровъ, по развитію дѣйствія и по художественной отдѣлкѣ. Нельзя сказать, чтобъ во всѣхъ этихъ отношеніяхъ, поэма не отзывалась еще чѣмъ-то... не то, чтобъ незрѣлымъ, но чѣмъ-то еще не совсѣмъ дозрѣлымъ. Такъ, напримѣръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и молодаго Цыгана, несмотря на все ихъ достоинство отзываются нѣсколько мелодраматическимъ колоритомъ, и вообще въ отдѣлкѣ всей поэмы не достаетъ твердости и увѣренности кисти, какъ въ тѣхъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степени совершенства, чтобъ совсѣмъ не походить на краски, что составляетъ величайшее торжество живописи, какъ художества. Въ «Цыганахъ» есть даже погрѣшности въ слогѣ. Такъ, напримѣръ, въ стихѣ: «Тогда старикъ, приближась, рекъ», слово рекъ отзывается

тяжелюю книжностію, равно какъ и эпитетъ «подъ издранными шатрами», вмѣсто изодранными. Но два стиха—

Медвѣдь, бѣглець родной берлоги.
Косматый гость его шатра,—

можно назвать ультра-романтическими, потому что все неточное, неопредѣленное, сбивчивое, неясное, бѣдное положительнымъ смысломъ, при богатствѣ кажущагося смысла, — все такое должно называться романтическимъ, тогда какъ все опредѣлительно и точно прекрасное должно называться классическимъ, разумѣя подъ «классическимъ» древне-греческое. Что такое «бѣглець родной берлоги»? Не значить-ли это, что медвѣдь бѣжалъ безъ позволенія и безъ паспорта изъ своей берлоги? Хорошо бѣгство для того, кто взять насильно, при помощи дубины и рогатины! Этотъ медвѣдь — похищенецъ, если можно такъ выразиться, но отнюдь не бѣглець. Что такое «косматый гость шатра»? Что медвѣдь добровольно поселился въ шатрѣ Алеко? Хорошо гость, котораго ласковый хозяинъ держитъ у себя на цѣпи, а при случаѣ угощать дубиною! Этотъ медвѣдь скорѣе плѣнникъ, чѣмъ гость.

По всему сказанному, мы относимъ «Цыганъ», вмѣстѣ съ «Полтавою» и первыми шестью главами «Евгенія Онѣгина» къ числу поэмъ, въ которыхъ видна только близость, но еще не достиженіе той высокой степени художественнаго совершенства, которая была собственностью таланта Пушкина и которая развернулась, въ первый разъ, во всей полнотѣ ея, въ «Борисѣ Годуновѣ» — этомъ безукоризненно высокою, со стороны художественной формы, произведеніемъ.

Намъ не разъ случалось слышать нападки на эпизодъ объ Овидіи, какъ неумѣстный въ поэмѣ и неестественный въ устахъ Цыгана. Признаемся: по нашему мнѣнію, трудно выдумать что-нибудь нелѣпѣе подобнаго упрека. Старый Цыганъ рассказываетъ, въ поэмѣ Пушкина, не исторію, а пре-

даніе, и не о поэтѣ римскомъ (Цыганъ ничего не смыслить ни о поэтахъ, ни о Римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикѣ, который былъ «младъ и живъ незлобною душою, имѣлъ дивный даръ пѣсень и подобный шуму водъ голосъ». Сверхъ того, «Цыганы» Пушкина—не романъ и не повѣсть, но поэма; а есть большая разница между романомъ и повѣстью и между поэмою. Поэма рисуетъ идеальную дѣятельность и схватываетъ жизнь въ ея высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона и, порожденные ими, поэмы Пушкина. Романъ и повѣсть, напротивъ, изображаютъ жизнь во всей ея прозаической дѣятельности, независимо отъ того, стихами или прозою они пишутся. И потому «Евгеній Онѣгинъ» есть романъ въ стихахъ, но не поэма; «Графъ Нулинъ»—повѣсть въ стихахъ, но не поэма. Въ «Онѣгинѣ» и «Нулинѣ» мы видимъ лица дѣйствительныя и современныя намъ; въ «Цыганахъ» всѣ лица идеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещутъ свѣтомъ очей, ибо они одного цвѣта съ лицомъ: такъ же мраморны или мѣдяны, какъ и лицо. Такимъ образомъ, эпизодъ въ родѣ разсказа стараго Цыгана объ Овидіи, въ «Цыганахъ», какъ поэмѣ, столь же возможенъ, естественъ и умѣстенъ, сколько былъ бы онъ страненъ и смѣшонъ въ «Онѣгинѣ», или «Нулинѣ», хотя бы онъ былъ вложенъ въ уста тому или другому герою той или другой повѣсти. И что бы ни говорили о неумѣстности этого эпизода непризванные критики,—ихъ толки будутъ свидѣтельствовать только о безвкуси и мелочности ихъ взгляда на искусство. Эпизодъ объ Овидіи заключаетъ въ себѣ гораздо больше поэзіи, нежели сколько можно найти ее во всей русской литературѣ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духѣ того времени, когда вышли «Цыганы», извлекаемъ изъ записокъ Пушкина слѣдующее мѣсто: «О Цыганахъ одна дама замѣтила, что во всей поэмѣ одинъ только честный человѣкъ, и то медвѣдь.

Покойный Р. негодовалъ, зачѣмъ Алеко водить медвѣдя и еще собираетъ деньги съ глазѣющей публики. В. повторилъ то же замѣчаніе (Р. просилъ меня сдѣлать изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примѣръ благороднѣе). Всего бы лучше сдѣлать изъ него чиновника, или помѣщика, а не Цыгана. Въ такомъ случаѣ, правда, не было бы и всей поэмы: *ma tanto meglio*» (соч. А. П., т. XI, стр. 206). Вотъ при какой публикѣ явился и дѣйствовалъ Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать вниманія при оцѣнкѣ заслугъ Пушкина.—«Цыганы» были первымъ усиліемъ, первою попыткою Пушкина создать что-нибудь важное и зрѣлое, какъ по идеѣ, такъ и по исполненію. Мы показали, до какой степени удалось ему это: «Цыганы» оставили далеко за собою все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэтѣ великія силы; но, въ то же время, въ этой поэмѣ виднѣнь только могучій порывъ къ истинно-художественному творчеству, но еще не полное достиженіе желанной цѣли стремленія. Черезъ два года послѣ «Цыганъ» (т. е. въ 1829 году) вышла новая поэма Пушкина—«Полтава», въ которой рѣзко выразилось усиліе поэта оторваться отъ прежней дороги и твердою ногою стать на новый путь творчества. Но гдѣ видно усиліе, тамъ еще нѣтъ достиженія: достигнуть желаемого, значить—спокойно, свободно, слѣдовательно, безъ всякихъ усилій, овладѣть имъ. Поэтому въ «Полтавѣ» видны какая-то нерѣшительность, какое-то колебаніе, вслѣдствіе которыхъ изъ этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но въ то же время и нестройное, странное, неполное. «Полтава» богата новымъ элементомъ—народностью въ выраженіи; почти всякое мѣсто, отдѣльно взятое въ ней, превосходитъ все, написанное прежде Пушкинымъ, по силѣ, полнотѣ и роскоши поэтическаго выраженія, — и въ то же время, въ этой поэмѣ нѣтъ единства, она не представляетъ собою цѣлаго. Содержаніе ея до того огромно, что одна смѣлость поэта коснуться такого содержанія есть уже заслуга,

тѣмъ болѣе, что многія частности показываютъ, что поэтъ достоинъ былъ своего предмета, — и все-таки, читая «Полтаву» и дивясь ея великимъ красотамъ, спрашиваешь себя: что же это такое? Рассмотрѣніе причинъ такого явленія очень любопытно, и мы постараемся изслѣдовать этотъ вопросъ столько подробно и удовлетворительно, сколько это въ нашихъ силахъ.

Какъ недостатки, такъ и достоинства «Полтавы» были равно непоняты тогдашними критиками и тогдашнею публикою. Между тѣмъ, ни одно произведение Пушкина, послѣ «Руслана и Людмилы», не возбуждало такихъ споровъ и толковъ, какъ «Полтава». Ее бранили съ ожесточеніемъ, безъ всякаго уваженія къ лицу великаго поэта; и съ тѣхъ поръ, нѣкоторые критики, обрадовавшись своей собственной смѣлости и своему открытію, что и Пушкина можно бранить, какъ какого-нибудь обыкновеннаго стихотворца, не упускали случая пользоваться своею похвальною смѣлостію и своимъ счастливымъ открытіемъ. Такимъ образомъ, въ разныхъ журналахъ и на разные голоса, но одинаково неприлично и несправедливо были разруганы—«Полтава», «Графъ Нулинъ», «Борисъ Годуновъ», седьмая глава «Евгенія Онѣгина», третья часть мелкихъ стихотвореній и пр. Мы увидимъ, каковы были эти критики, или, лучше сказать, эти брани, потому что критики не есть брань, а брань не есть критика. Обратимся къ «Полтавѣ».

Главный недостатокъ «Полтавы» вышелъ изъ желанія поэта написать эпическую поэму. Хотя Пушкинъ принадлежалъ къ той новой литературной школѣ, которая отреклась отъ преданій псевдо-классицизма; хотя онъ, поэтому, и смѣялся надъ «чахоточнымъ отцомъ немного тощей Энеиды», въ первой главѣ «Онѣгина» шутилъ объщавъ написать «поэму пѣсень въ двадцать пять», а седьмую главу его кончилъ этою острою эпиграммою на завѣтное «пою» старинныхъ эпическихъ поэмъ:

Но здѣсь съ побѣдою поздравимъ
Татьяну милую мою,
И въ сторону свой путь направимъ,
Чтобъ не забыть о комъ пою...
Да кстати здѣсь о томъ два слова:
Пою пріятеля младова
И множество его причудъ,
Благослови мой долгій трудъ,
О ты, эпическая муза!
И тырмый посохъ мнѣ вручишь,
Не дай блуждать мнѣ окосъ и окривъ.
Довольно. Съ плечъ долой обуза!
Я классицизму отдалъ честь;
Хоть поздно, а вступленье есть...

однако, все это еще не доказываетъ, чтобъ легко было отрѣшиться начисто отъ преобладающихъ преданій этой эпохи, въ которую мы родились и развились. Несмотря на то, что Пушкинъ самъ былъ великимъ реформаторомъ въ русской литературѣ,—литературныя преданія тѣмъ не менѣе отягочили надъ нимъ, что можно видѣть изъ его безусловнаго уваженія ко всѣмъ представителямъ прежней русской литературы. Итакъ, въ «Полтавѣ» ему хотѣлось сдѣлать опытъ эпической поэмы въ новомъ духѣ. Что такое эпическая поэма! — Идеализированное представленіе такого историческаго событія, въ которомъ принималъ участіе весь народъ, которое слито съ религіознымъ, нравственнымъ и политическимъ существованіемъ народа и которое имѣло сильное вліяніе на судьбы народа. Разумѣется, если это событіе касалось не одного народа, но и цѣлаго человѣчества,—тѣмъ ближе поэма должна подходить къ идеалу эпоса. Такъ смотрѣли на эпическую поэму всѣ образованные люди со временъ упадка древне-греческой національности и возникновенія александрийской школы почти до начала XIX столѣтія, слѣдовательно, болѣе двухъ тысячъ лѣтъ. А отчего произошло такое понятіе объ эпосѣ?—отъ того, что у Грековъ была «Иліада» и

«Одиссея» — больше не отъ чего. Причина довольно забавная, но тѣмъ не менѣ понятная, ибо таково всегда вліяніе народа, имѣющаго всемірно-историческое значеніе, на всѣ другіе народы: они подражаютъ ему рабски во всемъ, начиная отъ искусства до покроя платья. У Грековъ была «Иліада», которая нѣкоторымъ образомъ служила имъ книгою откровенія, изъ которой вытекала вся ихъ позднѣйшая поэзія и которую читали не одни ученые, но зналъ наизусть каждый Эллинь, понимавшій сколько-нибудь достоинство и счастье быть Эллиномъ. Стало-быть, почему же не имѣть такой поэмы, напримѣръ, и Римлянамъ? Но какъ же бы это сдѣлать, если такой поэмы у Римлянъ не явилось въ полусторическую эпоху ихъ политическаго существованія? — Очень просто: если ея не создалъ духъ и геній народа, — ее долженъ создать какой-нибудь записной поэтъ. Для этого ему стоитъ только подражать «Иліадѣ». Въ ней воспѣто важнѣйшее событіе изъ традиціонной исторіи Грековъ — взятіе Трои: стало-быть, надо порыться въ лѣтописяхъ своего отечества, чтобъ поискать такого же. Да вотъ чего же лучше — основаніе Латинскаго государства въ Италіи, черезъ мнимое пришествіе Энея въ Италію. Въ подробностяхъ тоже остается только копировать «Иліаду» и «Одиссею» съ небольшими перемѣнами, какъ, напримѣръ, Гомеръ начинаетъ свою поэму: «Муза, воспой» и пр., а вы начните просто, отъ себя; «пою-де такого-то мужа», и пр. Если же могла быть у Римлянъ эпопея, такимъ легкимъ образомъ сочиненная, то почему же бы не могла она быть и у всѣхъ новѣйшихъ народовъ? И вотъ у Итальянцевъ явился «Освобожденный Іерусалимъ», у Англичанъ — «Потерянный Рай», у Испанцевъ — «Араукана», у Португальцевъ — «Lusiades» («Лузитане?»), у Французовъ — «Генріада», у Нѣмцевъ — «Мессіада», у насъ, Русскихъ, недоконченная «Петріада», да еще (если упомянуть ради смѣха) пресловутыя, стопудовыя «Россіада» и «Владиміръ». Происхожденіе всѣхъ этихъ поэмъ такъ же

незаконно, какъ и образца ихъ «Энеиды». Она явилась вслѣдствіе «Иліады»; но вѣдь «Иліада» была столько же непосредственнымъ созданіемъ цѣлаго народа, сколько и преднамѣреннымъ, сознательнымъ произведеніемъ Гомера. Мы считаемъ за рѣшительно несправедливое мнѣніе, будто бы «Иліада» есть не чтò иное, какъ сводъ народныхъ рассудовъ: этому слишкомъ рѣзко противорѣчитъ ея строгое единство и художественная выдержанность. Но въ то же время нельзя сомнѣваться, чтобы Гомеръ не воспользовался болѣе или менѣе готовыми матеріалами, чтобы воздвигнуть изъ нихъ вѣковѣчный памятникъ эллинской жизни и эллинскому искусству. Его художественный гений былъ плавильною печью, черезъ которую грубая руда народныхъ преданій и поэтическихъ пѣсень и отрывковъ вышла чистымъ золотомъ. Гомеръ написалъ обѣ свои поэмы черезъ 200 лѣтъ послѣ совершенія воспѣтыхъ въ нихъ событій, а событія эти совершались почти за 1200 лѣтъ до Р. Х., слѣдовательно, во времена миѳическія, да и самъ Гомеръ жилъ въ эпоху до-историческую; отсюда и происходитъ дѣвственная наивность его поэмъ, вслѣдствіе которой и доселѣ описанный имъ міръ, несмотря на его чудесность, носитъ на себѣ печать дѣйствительности. Притомъ же, «Одиссея» послѣ «Иліады» ясно доказываетъ невозможность въ одномъ произведеніи исчерпать всю жизнь народа, и потому сторона героизма и доблести выражена въ «Иліадѣ», а гражданская мудрость — въ «Одиссеѣ». «Энеида» написана, напротивъ, во времена перерзѣлости и паденія народа; она есть произведеніе одного человѣка, безъ всякаго участія народа, и почти безъ помощи поэтическихъ преданій. Какая же это эпопея въ родѣ «Иліады» и чтò у ней общаго съ «Иліадою»? Это просто—старческое произведеніе, которое силось показаться младенческимъ. И притомъ, паѳосъ римской жизни былъ совсѣмъ другой, чѣмъ паѳосъ греческой; слѣдовательно, Эней — ложно-римскій герой. Настоящій герой римскій, это—даже не Юлій Цезарь, а развѣ братья Гракхи; на-

стоящій же эпосъ римскій,—это кодексъ Юстиніана, оказавшаго Римлянамъ услугу въ родѣ той, которую Пизистратъ оказалъ Грекамъ, собравъ во-едино отрывки Гомеровыхъ поэмъ. Несмотря на то, что герой «Энеиды» носитъ названіе благочестиваго (pius), а ея творецъ—дѣвственнаго (Virgilius), эта поэма явилась во времена упадка нравственности, во времена всеобщаго національнаго разврата, когда древняя правда и доблесть римская погибли навсегда, когда литература жила не гениемъ народнымъ, а покровительствомъ Мecenата, когда Горацийъ въ прекрасныхъ стихахъ воспѣвалъ эгоизмъ, малодушіе, низость чувствъ. И хотя никакъ нельзя отрицать многихъ важныхъ достоинствъ въ «Энеидѣ», написанной прекрасными стихами и заключающей въ себѣ многія драгоцѣнныя черты издыхавшаго древняго міра,—тѣмъ не менѣе, эти достоинства относятся просто къ памятнику древней литературы, оставленному даровитымъ поэтомъ, но не къ эпической поээмъ,—и, какъ эпическая поэма, «Энеида» весьма жалкое произведение. То же самое можно сказать и обо всѣхъ другихъ попыткахъ въ этомъ родѣ. «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса написанъ по академической формѣ и, въ угодность академіи, былъ своимъ авторомъ нѣсколько разъ переуродованъ. Воспѣтое въ немъ событіе касалось всего христіанскаго міра, но поэтъ жилъ послѣ этого событія почти пятьсотъ лѣтъ спустя, когда Итальянцы давно уже перестали вѣрить не только необходимости сражаться съ Сарацинами или Турками за что-нибудь другое, кромѣ денегъ, но даже и святости свѣтѣйшаго отца-папы. Прекрасныя октавы (затверженныя даже народомъ) и отдѣльныя красоты въ «Освобожденномъ Іерусалимѣ» все-таки не спасаютъ его отъ несчастія быть неудачною попыткою на эпическую поэму. «Потерянный рай», кромѣ достоинства поэтическихъ частныхъ, замѣчательнъ еще, какъ литературный отголосокъ мрачнаго пуританизма и грозныхъ временъ Кромвеля; но какъ эпическая поэма, онъ длиненъ, скученъ и уродливъ. Сама «Генріада» имѣетъ значеніе со

всѣмъ не эпической поэмы, а какъ протестъ противъ католической нетерпимости, — что доказывается выборомъ героя, который былъ протестантъ въ душѣ, и во времена самаго дикаго фанатизма умѣлъ быть человекомъ, въ разумномъ значеніи этого слова. «Мессіада» замѣчательна, какъ памятникъ нѣмецкаго трудолюбія, терпѣнія и отвлеченнаго мистицизма; это произведеніе тщательно обработанное въ литературномъ отношеніи, но ужасно растянутое тяжелое и скучное. Только «Божественная комедія» Данте подходит подъ идеаль эпической поэмы, къ которому такъ тщетно стремились всѣ исчисленныя нами. И это потому, что Данте не думалъ подражать ни Гомеру, ни Вергилію. Его поэма была полнымъ выраженіемъ жизни среднихъ вѣковъ, съ ихъ схоластическою теологіею и варварскими формами ихъ жизни, гдѣ боролось столько разнородныхъ элементовъ. Если въ поэмѣ Данте играетъ такую роль Вергилій, — это произошло вслѣдствіе самыхъ естественныхъ и неизбѣжныхъ причинъ: Вергилій пользовался даже въ средніе вѣка какимъ-то суевѣрнымъ уваженіемъ въ Италіи, такъ что сами монахи чуть не причислили его къ лику католическихъ святыхъ. Форма поэмы Данте такъ самобытна и оригинальна, какъ и вѣющій въ ней духъ, — и только развѣ колоссальныя готическіе соборы могутъ соперничать съ нею въ чести быть великими поэмами среднихъ вѣковъ. Между тѣмъ, въ поэмѣ Данте не воспѣвается никакого знаменитаго историческаго событія, имѣвшаго великое вліяніе на судьбу народа; въ ней даже нѣтъ ничего героическаго, и ея характеръ по преимуществу — схоластически-теологическій, какимъ наиболѣе отличались средніе вѣка. Слѣдственно, то, что хотѣли видѣть только въ эпическихъ поэмахъ на манеръ «Энеиды», можетъ быть и въ сочиненіяхъ совсѣмъ другаго рода: не знаменитое событіе, а духъ народа, или эпохи долженъ выражаться въ твореніи, которое можетъ войти въ одну категорію съ поэмами Гомера. И потому смѣло можно сказать, что Нѣмцы имѣютъ

свою «Иліаду» не въ жалкой «Мессіадѣ» Клопштока, а развѣ въ «Фаустѣ» Гёте. Изъ всего этого мы выводимъ слѣдствіе, что мысль — воспѣвать знаменитое историческое событіе, и изъ этого дѣлать эпическую поэму принадлежитъ къ эстетическимъ заблужденіямъ человѣчества, и что на этомъ зыбкомъ основаніи ничего нельзя создать, особенно въ наше время, когда въ исторической жизни умирающее прошедшее борется съ возникающимъ новымъ, когда, вслѣдствіе этого, все такъ нерѣшительно, разъединено, слабо и безхарактерно, и когда дѣйствуютъ только отдѣльныя личности, но не массы. Вообще, духъ среднихъ вѣковъ особенно былъ враждебенъ эпопее, потому что онъ сильно развилъ чувство индивидуальности и личности, столь благопріятное драмѣ и столь противоположное эпосу, въ которомъ главный герой, естественно, само событіе, подчиняющее себѣ волю отдѣльныхъ лицъ, а не отдѣльныя лица борющіяся съ событіемъ. Оттого, въ новомъ мірѣ, даже романъ — этотъ истинный его эпосъ, эта истинная его эпическая поэма, — тѣмъ больше имѣетъ успѣха, чѣмъ больше проникнуть элементомъ драматическимъ, столь противоположнымъ эпическому. И хотя, вслѣдствіе разъ принятаго и навсегда утвердившагося ложнаго мнѣнія, эпическая поэзія, по преданію отъ древности, ошибочно приложенному къ требованіямъ новаго міра, и считалась высшимъ родомъ поэзіи и высочайшимъ произведеніемъ человѣческаго генія, — однако этимъ высшимъ родомъ поэзіи въ немъ всегда была, такъ какъ и теперь есть, драма, если уже въ поэзіи непременно одинъ который нибудь родъ долженъ быть высшимъ.

Конечно, Пушкинъ былъ столько поэтъ и столько умный человѣкъ, что не могъ понимать эпосъ по мѣркѣ не только какой-нибудь дюжинной «Россіады», но даже и умной и щегольской «Генріады», которыхъ несчастная форма уже слишкомъ устарѣла и опошшила для времени, когда онъ явился. Но въ то же время отъ возможности эпической поэмы въ новой формѣ онъ не могъ совершенно отречься. И потому,

естественно, его идеаль эпической поэмы заключался въ нео-классицизмѣ, или классицизмѣ, подновленномъ такъ называемымъ романтизмомъ. Художественный тактъ Пушкина не могъ допустить его выбрать содержаніе для эпической поэмы изъ русской исторіи до Петра Великаго,—и потому онъ остановился на величайшей эпохѣ русской исторіи—на царствованіи великаго преобразователя Россіи, и воспользовался величайшимъ его событіемъ—полтавскою битвою, въ торжествѣ которой заключалось торжество всѣхъ трудовъ, всѣхъ подвиговъ, словомъ, всей реформы Петра Великаго. Но въ поэмѣ Пушкина, состоящей изъ трехъ пѣсень, полтавская битва, равно какъ и герой ея—Петръ Великій, являются только въ послѣдней (третьей) пѣсни; тогда какъ двѣ заняты любовью Мазепы къ Маріи и его отношеніями къ ея родственникамъ. Поэтому полтавская битва составляетъ какъ-бы эпизодъ изъ любовной исторіи Мазепы и ея развязку; этимъ явно унижается высота такого предмета, и эпическая поэма уничтожается сама собою! А между тѣмъ, эта поэма носить названіе «Полтавы»; слѣдственно, ея герой, ея мысль должна бы быть полтавская битва, ибо названіе поэтическаго произведенія всегда важно, потому что оно всегда указываетъ или на главное изъ его дѣйствующихъ лицъ, въ которыхъ воплощается мысль сочиненія, или прямо на эту мысль. Вотъ первая ошибка Пушкина, и ошибка великая! Но, можетъ-быть, намъ возразятъ, что Пушкинъ совсѣмъ не думалъ писать эпической поэмы, и что герой его поэмы—Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возраженіе тѣмъ естественнѣе, что Пушкинъ, какъ говорили и даже писали въ то время, сперва хотѣлъ назвать свою поэму—«Мазепою», но почему-то послѣ, когда приступилъ къ ея печатанію, переименовалъ ее въ «Полтаву». Положимъ, что это такъ, но и съ этой точки зрѣнія «Полтава» будетъ произведеніемъ ошибочнымъ въ ея общности, или цѣломъ. Какую мысль хотѣлъ выразить поэтъ черезъ эту исторію любви, смѣшанной съ политическими за-

мыслими и черезъ нихъ пришедшей въ соприкосновеніе съ полтавскою битвою?— Неужели эту: какъ опасно обольщать, особенно на старости лѣтъ, юную невинность? И неужели мысль всей поэмы кроется въ мелодраматическомъ смущеніи Мазепы при видѣ опустѣлаго Кочубеева хутора, мимо котораго промчался онъ съ шведскимъ королемъ съ поля полтавской битвы? И стоило ли для такой мысли, конечно, очень похвальной и нравственной, но тѣмъ не менѣе слишкомъ частной и нисколько не исторической, — стоило ли для нея изображать полтавскую битву и Петра Великаго? Не думаемъ! Конечно, любовь Мазепы къ дочери Кочубея имѣетъ историческое значеніе по отношенію къ доносу озлобленнаго Кочубея на Мазепу; но въ отношеніи къ Полтавской битвѣ, она, эта любовь, не болѣе какъ эпизодъ, какъ историческая подробность, — и полтавская битва имѣетъ огромное значеніе сама по себѣ, не только безъ любви Мазепы, но и безъ самого Мазепы. Еслибъ поэтъ главною своею мыслию имѣлъ любовь Мазепы, онъ долженъ бы полтавскую битву ввести въ свою поэму, какъ эпизодъ, важный только по его отношенію къ лицу одного Мазепы, оставивъ въ тѣни колоссальный образъ Петра и упомянувъ развѣ только о мелодраматической смерти казака, влюбленнаго въ Марію, который ѣздилъ съ доносомъ Кочубея къ Петру, а въ полтавской битвѣ безумно бросился на Мазепу и, на смерть пораженный Войнаровскимъ, умеръ съ именемъ Маріи на устахъ. Иначе, весь эпизодъ полтавской битвы необходимо долженъ былъ выйдти какою-то особою поэмою въ поэмѣ, безъ всякаго соотношенія къ любовной исторіи Мазепы — какъ оно и дѣйствительно вышло, ко вреду цѣлой поэмы. А это ясно доказываетъ, что Пушкинъ хотѣлъ, во что-бы ни стало, воспользоваться случаемъ къ созданію чего-то въ родѣ эпической поэмы; полтавская же битва, такъ кстати пришедшаяся къ любовной исторіи Мазепы, была такимъ соблазнительнымъ случаемъ, что поэтъ не могъ пропустить его для осуществленія своей мечты. Но

въ этой мечтѣ о возможности эпической поэмы и заключается причина зыбкаго основанія «Полтавы», ибо даже изъ самой полтавской битвы нельзя сдѣлать поэмы. Эта битва была мыслию и подвигомъ одного человѣка; народъ принималъ въ ней участіе, какъ орудіе въ рукахъ Великаго, котораго понять и оцѣнить могло только потомство и для котораго судъ потомства едва начался только со временъ Екатерины Второй. Вообще, изъ жизни Петра Великаго гениальный поэтъ могъ бы сдѣлать не одну, а множество драмъ, но рѣшительно ни одной эпической поэмы. Петръ Великій слишкомъ личень и характеренъ, слѣдовательно, слишкомъ драматиченъ для какой-бы то ни было поэмы. Сверхъ того, для поэмъ годятся только лица полумисторическія и полумифическія; отдаленность эпохи, въ которую они жили, способствуетъ совокупить все извѣстное о ихъ жизни въ нѣсколькихъ поэтическихъ мгновеніяхъ. Въ жизни же историческаго лица, не отдаленнаго отъ насъ пространствомъ вѣковъ и чуждыми намъ условіями быта, всегда бываетъ слишкомъ много тѣхъ прозаическихъ подробностей, которыхъ нельзя выбрасывать, не впадая въ напыщенность и высокопарность.

Итакъ, изъ «Полтавы» Пушкина эпическая поэма не могла выйти по причинѣ невозможности эпической поэмы въ наше время, а романтическая поэма, въ родѣ Байроновской, тоже не могла выйти по причинѣ желанія поэта слить ее съ невозможною эпическою поэмою. И потому «Полтава» явилась поэмою безъ героя. Мы уже доказали, что смѣшно было бы считать Петра Великаго героемъ поэмы, въ которой главная и большая часть дѣйствія посвящена любовной исторіи Мазепы. Но и самъ Мазепа также не можетъ считаться героемъ «Полтавы». Байронъ, въ своей исполненной энергіи и величіи поэмѣ, названной именовъ Мазепы, изобразилъ это лицо исторически невѣрно; но какъ онъ въ этомъ изображеніи былъ вѣренъ поэтической истинѣ, то изъ его Мазепы вышло лицо колоссально-поэтическое: тамъ мы видимъ одно

изъ тѣхъ титаническихъ лицъ, которыя въ такомъ изобиліи порождалъ глубокой духъ англійскаго поэта... Но Пушкинъ, лучше Байрона знавшій Мазепу, какъ историческое лицо, хотѣлъ быть вѣренъ исторіи, — и въ этомъ сдѣлалъ большую ошибку; ибо, скажите, Бога ради, что за герой поэмы, о которомъ самъ поэтъ говорить:

Что радъ и честно и безчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ;
Что ни единой онъ обиды
Съ тѣхъ поръ какъ живъ не забывалъ,
Что далеко преступны виды
Старикъ надмѣнный простираетъ;
Что онъ не вѣдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни.
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нѣтъ отчизны для него.

Герой какого бы ни было поэтическаго произведенія, если оно только не въ комическомъ духѣ, долженъ возбуждать къ себѣ сильное участіе со стороны читателя. Еслибъ этотъ герой былъ даже злодѣй, — и тогда онъ долженъ дѣйствовать на читателя силой своей воли, грандіозностью своего мрачнаго духа. Но въ Мазепѣ мы видимъ одну низость интригана, состарѣвшагося въ козняхъ. Чувствуя это, Пушкинъ хотѣлъ дать прочное основаніе своей поэмѣ и дѣйствіямъ Мазепы въ чувствѣ мщенія которымъ поклонялся Мазепа Петру за личную обиду со стороны послѣдняго. Мы узнаемъ это изъ разговора Мазепы съ Орликомъ, наканунѣ полтавской битвы:

Нѣтъ, поздно, русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно рѣшилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стѣсненной злостью. Подъ Азовымъ

Однажды я съ царемъ суровымъ
Во ставкѣ ночью пировалъ.
Полны виномъ кипѣли чаши.
Кипѣли съ ними рѣчи наши.
Я слово смѣлое сказалъ.
Смутялись гости молодые—
Царь вспыхнулъ, чашу уронилъ.
И за усы мои съдые
Меня съ угрозой ухватилъ.
Тогда, смирясь въ безсильномъ гнѣвѣ,
Отмстить себѣ я клятву далъ;
Носилъ ее какъ мать во чревѣ
Младенца носить. Срокъ насталъ.
Такъ, обо мнѣ воспоминанье
Храпитъ онъ будетъ до конца.
Петру я посланъ въ наказанье;
Я тернъ въ листахъ его вѣнца.
Онъ далъ бы грады родовые
И жизни лучшіе часы,
Чтобъ снова, какъ во дни былые
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для насъ надежды:
Кому бѣжать, рѣшить заря.

Нѣтъ нужды говорить о художественномъ достоинствѣ этого разсказа: въ немъ видѣнъ великій мастеръ. Все въ немъ дышетъ нравами тѣхъ временъ, все вѣрно исторіи. Но хотя этотъ разсказъ и основанъ на историческомъ преданіи, онъ тѣмъ не менѣе нисколько не поясняетъ характера Мазепы, не даетъ единства дѣйствию поэмы. Можно основать поэму на паѳосѣ дикаго, безщаднаго мщенія; но это мщеніе, въ такомъ случаѣ, должно быть рычагомъ всѣхъ дѣйствій лица, должно быть цѣлію самому себѣ. Такое мщеніе не разбираетъ средствъ, не боится препятствія и не колеблется отъ страха неудачи. Но Мазепа былъ очень расчетливъ для такого мщенія; еслибъ онъ зналъ, что его измѣна не удался,—мало того, еслибъ онъ, накануне полтавской битвы, предвидя ея развязку, могъ еще разъ об-

мануть Петра и разыграть роль невиннаго,—онъ перешель бы на сторону Петра. Нѣтъ, на измѣну подвигла его надежда успѣха, надежда получить изъ рукъ шведскаго короля хотя и вассальскую, хотя только съ призракомъ самобытности, однако все же корону. Это ли мщеніе? Нѣтъ, мщеніе видить одно—своего врага, и готово вмѣстѣ съ нимъ броситься въ бездну, погубить врага хотя бы цѣною собственной гибели. Слова Мазепы, что «русскому царю поздно съ нимъ мириться» могутъ быть приняты не за чтò иное, какъ за хвастовство отчаянія. Петръ былъ совсѣмъ не такой человекъ, который удостоилъ бы Мазепу чести видѣть въ немъ своего врага и рѣшился бы, даже ради спасенія своего царства, мириться съ нимъ: онъ видѣлъ въ Мазепѣ не болѣе, какъ возмущившагося своего подданнаго, измѣнника. Мазепа этого не могъ не знать къ своему несчастію: онъ былъ человекъ ума тонкаго и хитраго. Но еслибъ даже и на мщеніи Мазепы основанъ былъ весь планъ поэмы Пушкина, то къ чему же въ ней любовная исторія Мазепы, если не къ тому, чтобъ разъединить интересъ поэмы? Но, можетъ-быть, мысль поэта заключается во взаимной любви Мазепы и Маріи? Старикъ, страстно влюбленный въ молодую дѣвушку, тоже страстно въ него влюбленную,—это мысль глубоко-поэтическая, и надо сказать, что Пушкинъ умѣлъ нарисовать ее кистью великаго живописца. Нѣкоторые изъ критиковъ того времени сильно возставали противъ возможности и естественности такой любви; но ихъ нападки не стоятъ не только возраженій, даже какого бы то ни было вниманія. Эти господа забыли объ «Отелло» Шекспира — поэта, который въ знаніи человѣческаго сердца и страстей имѣетъ, конечно, большій, чѣмъ они, авторитетъ. Но Шекспиръ представилъ такую любовь какъ фактъ, не изслѣдуя его законовъ, потому что другой нравственный вопросъ долженъ былъ составить паюсъ его драмы. Нашъ поэтъ, напротивъ, анализируетъ самую возможность и естественность такого явленія. И надо сказать,

что, въ этомъ отношеніи, онъ истинно Шекспировски внесъ свѣточъ поэзіи во мракъ вопроса и далъ на него такой удовлетворительный отвѣтъ, какого можно ожидать только отъ великаго поэта:

Мгновенно сердце молодое
Горить и гаснетъ. Въ немъ любовь
Проходить и приходитъ вновь,
Въ немъ чувство каждый день иное.
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылаетъ сердце старика,
Окаменѣлое годами.
Упорно, медленно оно
Въ огнь страстей раскалено;
Но поздній жаръ ужъ не остынетъ
И съ жизнью лишь его покинетъ.

Далѣе, мы увидимъ, что любовь Маріи къ Мазепѣ развита и объяснена еще подробнѣе, глубже, съ мастерствомъ, передъ которымъ невольно останавливается, пораженный удивленіемъ, читатель. Но на любовь Мазепы къ Маріи все-таки нельзя смотрѣть, какъ на пагубу поэмы: ибо эта любовь не заставила его ни на минуту поколебаться въ его мрачныхъ замыслахъ. Бѣгство Маріи страшно смутило Мазепу, но оно не имѣло никакого вліянія на ходъ и развитіе поэмы. Смущеніе Мазепы при видѣ Кочубеева хутора и потомъ при видѣ сумасшедшей Маріи кажется намъ мелодраматическою подставкою со стороны поэта. Можетъ-быть, это происходитъ еще и оттого, что послѣ такого событія, какъ полтавская битва съ ея слѣдствіями, интересъ любви уже не можетъ не ослабѣть. Здѣсь опять видна главная ошибка поэта, хотѣвшаго связать романтическое дѣйствіе съ эпопеею. И вотъ почему «Полтава» не производитъ на читателя того единаго, полнаго совершенно удовлетворяющаго впечатлѣнія, которое должно производить всякое глубоко-концепированное и строго обдуманное поэтическое твореніе.

Но отдѣльныя красоты въ «Полтавѣ» изумительны. Если «Цыганы» далеко превзошли всѣ предшествовавшія имъ произведенія Пушкина, и по идеѣ и по исполненію,—то «Полтава» уступая «Цыганамъ» въ единствѣ плана, далеко превосходитъ ихъ въ совершенствѣ выраженія. Изъ всѣхъ поэмъ Пушкина, въ «Полтавѣ», въ первый разъ стихъ его достигъ своего полнаго развитія, вполне ставъ Пушкинскимъ. Критики того времени не безъ основанія придирались къ двумъ или тремъ неправильно усѣченнымъ прилагательнымъ, которыя такъ неожиданно напомнили собою «питиическія вольности» прежней школы, напримѣръ: сонну вмѣсто сонную, тризну тайну вмѣсто тризну тайную; на нѣсколько смѣлыхъ нововведеній, какъ напримѣръ, въ стихъ: «Онъ, должный быть отцомъ и другомъ». Но мы укажемъ и еще на нѣсколько незамѣченныхъ ими погрѣшностей, какъ, напримѣръ, на неумѣстные славянизмы—«младой, благостыни, главы», и въ особенности на два поражающія своею неточностію выраженія: первое въ монологѣ Мазепы противъ Кочубея, котораго, Богъ знаетъ почему, называетъ онъ «вольнодумцемъ», и въ разговорѣ свирѣпаго (и вообще весьма прозаически выражающагося во всей поэмѣ) Орлика, которой совѣтуетъ Кочубею, на допросѣ, «питаться мыслию суровой». Но вотъ и все. За исключеніемъ этого, стихи въ «Полтавѣ»—верхъ совершенства.

Обращаясь къ отдѣльнымъ красотамъ «Полтавы», не знаешь на чемъ остановиться—такъ много ихъ. Почти каждое мѣсто, отдѣльно взятое на удачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять всѣхъ этихъ мѣстъ, и укажемъ только на нѣкоторые. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тѣмъ не менѣе его изображеніе (отъ стиха: «Между полтавскихъ казаковъ» до стиха: «И взоры въ землю опускалъ») представляетъ собою необыкновенно мастерскую картину. Слѣдующій за тѣмъ от-

рывокъ отъ стиха: «Кто при звѣздахъ и при лунѣ» до стиха: «Царю Петру отъ Кочубея» выше всякой похвалы: это вмѣстѣ и народная пѣсня, и художественное созданіе. Кочубей, ожидающій въ темницѣ своей казни, его разговоръ съ Орликомъ (за исключеніемъ того, что говоритъ самъ Орликъ),—все это начертано кистью столь широкою, могучею и въ то же время спокойною и увѣренною, что читатель не знаетъ чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ея эстетической прелести. Можно ли читать безъ упоенія, столько же полного грусти, сколько и наслажденія, эти стихи:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещутъ.
Своей дремоты превозмочь
Не хочетъ воздухъ. Чуть трепещутъ
Сребристыхъ тополей листы.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Бѣлою Церковью сіяетъ.
И пышныхъ гетмановъ сады
И старый замокъ озаряетъ.
И тихо, тихо все кругомъ;
Но въ замкѣ шопоть и смятенье
Въ одной изъ башенъ подъ окномъ.
Въ глубокомъ, тяжкомъ размысленн.
Окованъ Кочубей сидитъ.
И мрачно на небо глядитъ.
Заутра казнь. Но безъ боязни
Онъ мыслить отъ ужасной казни;
О жизни не жалветъ онъ:
Что смерть ему? желанный сонъ.
Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый. .
Дрема долить. Но, Боже правый!
Къ ногамъ злодѣя, молча пасть.
Какъ безусловное созданье,
Царемъ быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье.
Утратить жизнь и съ нею честь,
Друзей съ собой на плаху вѣсть,

Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья,
Ложась безвиннымъ подъ топоръ,
Врага веселый встрѣтить взоръ.
И смерти кинуться въ объятя,
Не завѣщая никому
Вражды къ злодю своему!...
И вспомнилъ онъ свою Полтаву.
Обычный кругъ семьи, друзей,
Минувшихъ дней богатство, славу.
И пѣсни дочери своей,
И старый домъ, гдѣ онъ родился.
Гдѣ зналъ и трудъ и мирный сонъ.
И все, чѣмъ въ жизни наслаждался.
Что добровольно бросилъ онъ,
И для чего?

Отвѣтъ Кочубея Орлику на допросъ послѣдняго о зарытыхъкладахъ былъ расхваленъ даже присяжными хулителями «Полтавы», и потому мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаются, а Мазепа, въ это время, сидитъ у ногъ спящей дочери мученика и думаетъ:

Ахъ вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тотъ стой одинъ передъ грозюю.
Не призывай къ себѣ жены:
Въ одну телѣгу впрячь не можно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань.

Въ тоскѣ страшныхъ угрызений совѣсти, злодѣй сходить въ садъ, чтобъ освѣжить пылающую кровь свою,—и обаятельная роскошь лѣтней малороссійской ночи, въ контрастѣ съ мрачными душевными муками Мазепы, блещетъ и сверкаетъ какою-то страшно-фантастической красотой:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звѣзды блещуть.

Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздухъ. Чуть трепещуть
Сребристыхъ тополей листы.
Но мрачны странныя мечты
Въ душѣ Мазепы: звѣзды ночи,
Какъ обвинительныя очи,
За нимъ насмѣшливо глядятъ,
И тополи, стѣснившись въ рядъ,
Качая тихо головою,
Какъ судьи шепчуть межъ собою,
И лѣтней теплой ночи тѣма
Душна, какъ черная тюрьма.
Вдругъ... слабый крикъ... невнятный стонъ
Какъ-бы изъ замка слышитъ онъ.—
То былъ ли сонъ воображенья,
Иль плачь совы, иль звѣри вой,
Иль пытки стонъ, иль звукъ иной—
Но только своего волненья
Преодолѣть не могъ старикъ,
И на протяжный слабый крикъ
Другимъ отвѣтствовалъ—тѣмъ крикомъ,
Которымъ онъ въ весельи дикомъ,
Поля сраженья оглашалъ,
Когда съ Забѣлой, съ Гамалѣемъ,
И съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ
Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорятъ, что хвалить мудренѣе, чѣмъ бранить! Чтобъ быть достойнымъ критикомъ такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ—и еще какимъ! И потому мы, въ сознаниі нашего безсилія, скажемъ убогою прозою, что если эта картина мученій совѣсти Мазепы можетъ подозрительному уму показаться нѣсколько мелодраматическою выходкою (по той причинѣ, что Мазепѣ, какъ закоренѣлому злодѣю, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и краснѣть, подобно юношѣ, отъ привѣта красоты),—то мастерство, съ которымъ

выражены эти мученія, выше всякихъ похвалъ и утомляетъ собою всякое удивленіе. Сцена между женою Кочубея и ея дочерью замѣчательно хороша по роли, какую играетъ въ ней Марія. Вопросъ изумленной, еще неочнувшейся отъ сна женщины, которая почти понимаетъ и въ то же время страшится понять ужасный смыслъ внезапнаго явленія матери, этотъ вопросъ: «Какой отецъ? какая казнь?», равно какъ и всѣ вопросительные и восклицательные отвѣты,—исполненъ драматизма. Картина казни Кочубея и Искры отличается простотою и спокойствіемъ, которыя, въ соединеніи съ ея страшною вѣрностью дѣйствительности, производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатлѣніе, еслибъ творческое вдохновеніе поэта не ознаменовало ея печатію изящества. Этотъ палачъ, который, гуляя и веселяся на роковомъ помостѣ, алчно ждетъ жертвы и то играючи, беретъ въ бѣлыя руки тяжелый топоръ, то шутить съ веселою чернью, — и этотъ безпечный народъ, который, по совершеніи казни, идетъ домой, толкая межъ собой про свои вѣчныя работы: какая глубоко истинная, хотя въ то же время и безотраднo тяжелая мысль во всемъ этомъ!

Но чтó всѣ эти разбѣянные богатою рукою поэта красоты — передъ красотою третьей пѣсни! И не удивительно: паеосъ этой третьей пѣсни устремленъ на предметъ колоссально-великій... Тутъ мы видимъ Петра и полтавскую битву... Мазепскою кистию изобразилъ поэтъ преступные, мрачные помыслы, кипѣвшіе въ душѣ Мазепы; его притворную болѣзнь и внезапный переходъ съ одра смерти на поприще власти-тельства; гнѣвъ Петра, его сильныя и быстрыя мѣры къ удержанію Малороссіи... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу XII-му:

И ты, любовникъ бранной славы,
Для шлема кинувшій вѣнецъ,
Твой близокъ день: ты вальъ Полтавы
Вдали завидѣлъ наконецъ.

Картина полтавской битвы начертана кистію широкою и смѣлою; она исполнена жизни и движенія: живописецъ могъ бы писать съ нея, какъ съ природы. Но явленіе Петра въ этой картинѣ, изображенное огненными красками, поражаетъ читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенія, поднимающимъ волосы на головѣ, — производитъ на него такое впечатлѣніе, какъ будто-бы онъ видитъ передъ глазами совершеніе какого-нибудь таинства, какъ будто бы ибѣій богъ, въ лучахъ нестерпимой для взоровъ смертнаго славы, проходитъ передъ нимъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный гласъ Петра:
«За дѣло, съ Богомъ!» Изъ шатра,
Толпой любимцевъ окруженный,
Выходитъ Петръ. Его глаза
Сіяють. Ликъ его ужасенъ.
Движенія быстры. Онъ прекрасенъ.
Онъ весь, какъ божія гроза.
Идетъ. Ему кони подводятъ.
Ретивъ и смиренъ вѣрный конь;
Почуя роковой огонь
Дрожить, глазами косо водить
И мчится въ прахъ боевомъ,
Гордяся могучимъ сѣдокомъ.
Ужъ близокъ полдень. Жаръ пылаетъ.
Какъ пахарь, битва отдыхаетъ.
Кой-гдѣ гарцуютъ казаки;
Ровняясь строятся полки;
Молчитъ музыка боевая;
На холмахъ пушки присмирѣвъ
Прервали свой голодный ревъ.
И се—равнину оглашая
Далече грянуло ура:
Полки увидѣли Петра.
И онъ промчался предъ полками
Могущъ и радостенъ какъ бой.

Онъ поле пожиралъ очами.
За нимъ во слѣдъ неслись толпой
Сии птенцы гвѣзда Петрова —
Въ премѣнахъ жребія земнаго,
Въ трудахъ державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметевъ благородный,
И Брюсъ, и Боуръ, и Репнинъ.
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелинъ.

Представьте себѣ великаго творческаго генія, который столько лѣтъ носилъ и мѣлѣялъ въ душѣ своей замыслы преобразования цѣлаго народа, который столько трудился, въ потѣ царственнаго чела своего,—представьте его въ ту рѣшительную минуту, когда онъ начинаетъ видѣть, что его тяжба съ вѣками, его гигантская борьба съ самою природою, съ самою возможностью готова увѣнчаться полнымъ успѣхомъ,—представьте себѣ его преобразенное, сияющее побѣднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія,—и вы будете видѣть передъ собою живую картину, начертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, въ этомъ случаѣ, живописи стоило бы побороться съ поэзіею,—и великій живописецъ могъ бы за честь себѣ поставить перевести на полотно, въ живыхъ краскахъ, живые стихи Пушкина, чтобъ рѣшить задачу, какъ воспользуется живопись предметомъ, столь мастерски выраженнымъ поэзіею. Тутъ задача живописца состояла бы уже не въ творествѣ, а только въ творчески свободномъ переводѣ одного и того же предмета съ языка поэзіи на языкъ живописи, чтобъ сравнительно показать средства и способы того и другаго искусства. Повторяемъ: тутъ живописцу нечего изобрѣтать—для него готовы и группы, и подробности и лицо Петра—эта главнѣйшая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сраженіе, замѣчательное по огромности военныхъ силъ, по упорству сражающихся и коли-

честву пролитой крови: нѣтъ, это была битва за существованіе цѣлаго народа, за будущность цѣлаго государства, это была повѣрка дѣйствительности замысловъ столь великихъ, что, вѣроятно, они самому Петру, въ горькія минуты неудачъ и разочарованія, казались несбыточными, какъ и почти всеѣмъ его подданнымъ. И потому, на лицѣ послѣдняго солдата должна выразаться безсознательная мысль, что совершается что-то великое, и что онъ самъ есть одно изъ изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается великая картина: это только главная часть ея; въ отдаленіи, поэтъ показываетъ другую часть, меньшую, но безъ которой картина его не имѣла бы полноты:

И передъ синими рядами
Своихъ воинственныхъ дружинъ,
Несомнѣй вѣрными слугами,
Въ качалкѣ, блѣдень, недвижимъ,
Страдая раной, Карлъ явился.
Вожди героя шли за нимъ.
Онъ въ думу тихо погрузился,
Смущенный взоръ изобразилъ
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводилъ
Желанный бой въ недоумѣнье...
Вдругъ слабымъ маніемъ руки
На русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ подробностяхъ битвы особенно замѣчательнъ эпизодъ о волненіи дряхлаго и уже безсильнаго Палія, завидѣвшаго врага своего, Мазепу. Но эпизодъ смерти казака, влюбленнаго въ Марію, несмотря на превосходные стихи до приторности исполненъ мелодраматизма и вовсе неумѣстенъ. Мы уже говорили, что самая мысль ввести въ поэмѣ этого казака, чтобъ было съ кѣмъ Кочубею отправить доносъ Петру на Мазепу, мелодраматически эффектна; ради ея, поэтъ искажилъ историческое событіе: доносъ былъ отосланъ не съ казакомъ, а съ старымъ монахомъ, Никаноромъ.

Картина битвы заключается еще картиною, съ которою тоже за честь бы могъ поставить себѣ поборотся великій живописецъ:

Пируетъ Петръ. И гордъ и ясенъ,
И полонъ славы взоръ его,
И царскій пиръ его прекрасенъ.
При кликахъ войска своего,
Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вожей, вожей чужихъ,
И славныхъ плѣнниковъ ласкаетъ,
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно прекрасныхъ подробностяхъ еще цѣлой части поэмы, наѳоств которой составляетъ любовь Маріи къ Мазепѣ. Вся эта часть поэмы есть какъ бы поэма въ поэмѣ, и ея, конечно, стало бы на особую отдѣльную поэму.

Въ историческомъ фактѣ любви Мазепы и Маріи Пушкинъ воспользовался только идеею любви старика къ молодой дѣвушкѣ и молодой дѣвушки къ старику. Въ подробностяхъ, и даже въ изображеніи дочери Кочубея, онъ отступалъ отъ исторіи. Поэтому весь этотъ фактъ онъ передѣлалъ по своему идеалу,—и дочь Кочубея является у него совершенно идеализированною. Онъ переимѣнилъ даже ея имя — Матроны на Марію. Когда Матрона убѣжала къ старому гетману,—онъ, боясь соблазна и толковъ, переслалъ ее въ родительскій домъ, гдѣ мать Матроны катовала (палачила, истязала, сѣкла) ее. Но это, какъ и естественно, только еще больше раздражало энергію страсти бѣдной дѣвушки. Мазепа любилъ ее, писалъ къ ней страстные письма, но въ отношеніи къ ней не принялъ никакого твердаго рѣшенія—то умолялъ о свиданіяхъ, то совѣтовалъ идти въ монастырь.

Какъ бы то ни было, но основаніе, сущность отношеній Мазепы и Маріи въ поэмѣ Пушкина историческія и еще болѣе

истинныя — поэтически, — и Пушкинъ умѣлъ ими воспользо-
ваться какъ истинно великій поэтъ, хотя онъ ихъ и идеали-
зировалъ по своему.

Не только первый пухъ ланить,
Да русы кудри молодья,
Порой и старца строгій видъ,
Рубцы чела, волосы сѣдые
Въ воображенъе красоты
Влагають страстныя мечты.

Подобное явленіе рѣдко, но тѣмъ не менѣе дѣйствительно. Возможность его заключается въ законахъ человѣческаго духа, и потому, по рѣдкости его можно находить удивительнымъ, но нельзя находить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видитъ въ мужчинѣ своего защитника и покровителя; отдаваясь ему — сознательно или безсознательно, но во всякомъ случаѣ, она дѣлаетъ обмѣнъ красоты или прелести на силу и мужество. Послѣ этого, очень естественно, если бываютъ женскія натуры, которыя, будучи исполнены страстей и энтузіазма, до безумія увлекаются нравственнымъ могуществомъ мужчины, украшеннымъ властію и славою, — увлекаются имъ, безъ соображенія неравенства лѣтъ. Для такой женщины самыя сѣдины прекрасны, и чѣмъ круче нравъ старика, тѣмъ за большее счастье и честь для себя считаетъ она, вліяніемъ своей красоты и своей любви укрощать его порывы, дѣлать его ровнѣе и мягче. Само безобразіе этого старика — красота въ глазахъ ея. Вотъ почему кроткая, робкая Дездемона такъ беззавѣтно отдалась старому воину, суровому Мавру — великому Отелло. Въ Маріи Пушкина это еще понятнѣе: ибо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ея сознанія, одарена характеромъ гордымъ, твердымъ, рѣшительнымъ. Она была бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодѣемъ, какъ Мазепа, но съ героемъ въ истинномъ значеніи этого слова. И какъ бы ни велика была разница

ихъ лѣтъ, — ихъ союзъ былъ бы самый естественный, самый разумный. Ошибка Маріи состояла въ томъ, что она въ душѣ, готовой на все злое для достиженія своихъ цѣлей, думала увидѣть душу великую, дерзость безнравственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ея несчастіемъ, но не виною: Марія, какъ женщина, велика въ этой ошибкѣ. На этомъ основаніи, намъ понятна ея любовь, понятно—

Зачѣмъ бѣжала своеюравно
Она семейственныхъ оковъ,
Томилась, тайно воздыхала
И на привѣты жениховъ
Молчаньемъ гордымъ отвѣчала;
Зачѣмъ такъ тихо за столомъ
Она лишь гетману внимала,
Когда бесѣда ликовала
И чаша пѣвилась виномъ;
Зачѣмъ она всегда пѣвала
Тѣ пѣсни, кои онъ слагалъ,
Когда онъ бѣденъ былъ и малъ,
Когда молва его не знала;
Зачѣмъ съ неженскою душой
Она любила конный строй;
И бранный звонъ литавръ и климъ
Предъ бунчукомъ и булавою
Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красокъ, которыми изобразилъ поэтъ страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здѣсь Пушкинъ, какъ поэтъ, вознесся на высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глубоко вонзилъ онъ свой художническій взоръ въ тайну великаго женскаго сердца, и ввелъ насъ въ его святилище, чтобъ вѣднее сдѣлать для насъ выраженіемъ внутренняго, въ фактѣ дѣйствительности открыть общій законъ, въ явленіи—мысль...

Марія, бѣдная Марія,
Краса черкасскихъ дочерей!

Не знаешь ты, какого змія
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
Къ душѣ свирѣпой и развратной
Такъ сильно ты привлечена?
Кому ты въ жертву отдана?
Его кудрявыя сѣдины,
Его глубокія морщины,
Его блестящій, впалый взоръ,
Его лукавый разговоръ
Тебѣ всего, всего дороже:
Ты мать забыть для нихъ могла,
Соблазномъ посланное ложе
Ты отчей сѣни предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старикъ заворожилъ,
Своими тихими рѣчами
Въ тебѣ онъ совѣсть усыпилъ;
Ты на него съ благоговѣньемъ
Возводишь ослабленный взоръ,
Его лелѣешь съ умиленьемъ—
Тебѣ пріятенъ твой позоръ;
Ты имъ въ безумномъ упоеньи,
Какъ цѣломудріемъ горда—
Ты прелесть нѣжную стыда
Въ своемъ утратила паденьи...
Что стыдъ Маріи? что молва?
Что для нея мірскія пѣни,
Когда склоняется въ колѣни
Къ ней старца гордая глава,
Когда съ ней гетманъ забываетъ
Судьбы своей и трудъ и шумъ,
Иль тайны смѣлыхъ, грозныхъ думъ
Ей, двѣ робкой, открываетъ?

Но въ такой великой натурѣ любовь можетъ быть только преобладающею страстью, которая въ выборѣ не допускаетъ никакого совмѣстничества, даже никакого колебанія, по которой не заглушаетъ въ душѣ другихъ нравственныхъ привязанностей. И потому блаженство любви не отнимаетъ въ

сердцѣ Маріи мѣста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія
объ отцѣ и матери.

И дней невинныхъ ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, какъ туча, затмѣваетъ:
Она унылыхъ предъ собой
Отца и мать воображаетъ;
Она, сквозь слезы, видитъ ихъ
Въ бездѣтной старости однихъ,
И, мнится, пѣснямъ ихъ внимаетъ...
О, еслибъ вѣдала она,
Что ужь узнала вся Украина!
Но отъ нея сохранена
Еще убійственная тайна.

Намъ скажутъ, что въ дѣйствительности это было не такъ,
ибо Матрона ненавидѣла своихъ родителей и клялась вѣчно
«любыты и сердечне кохаты Мазепу на злость ея воро-
гамъ». Но вѣдь въ дѣйствительности-то родители Матроны
катовали ее... Понятно, почему Пушкинъ рѣшился поэтиче-
ски отступить отъ «такой» дѣйствительности...

Но нигдѣ личность Маріи не возвышается, въ поэмѣ Пуш-
кина, до такой апофеозы, какъ въ сценѣ ея объясненія съ
Мазепою—сценѣ, написанной истинно Шекспировскою кистью.
Когда Мазепа, чтобъ разсѣять ревнивыя подозрѣнія Маріи,
принужденъ былъ открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все
забываетъ: нѣтъ больше сомнѣній, нѣтъ безпокойства; мало
того, что она вѣритъ ему, вѣритъ, что онъ не обманыва-
етъ ее: она вѣритъ, что онъ не обманывается и въ своихъ
надеждахъ... Ея ли женскому уму, воспитанному въ затвор-
ничествѣ, обреченному на отчужденіе отъ дѣйствительной
жизни, ей ли знать, какъ опасны такія стремленія, и чѣмъ
оканчиваются они! Она знаетъ одно, вѣритъ одному, — что
онъ, ея возлюбленный, такъ могущъ, что не можетъ не
достичь всего, чего бы только захотѣлъ. Блескъ короны на

сѣдыхъ кудряхъ любовника уже ослѣпили ея очи, — и она восклицаетъ съ увѣренностію дитяти, сильнаго и разумаго одною любовію, но не знаніемъ жизни:

О, милый мой,
Ты будешь, царь земли родной!
Твоимъ сѣдинамъ какъ пристанетъ
Корова царская!

Вникните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взвѣсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и, вмѣстѣ съ тѣмъ, какая простота! Этотъ отвѣтъ Маріи: «Я! люблю ли?», это желаніе уклониться отъ отвѣта на вопросъ, уже рѣшенный ея сердцемъ, но все еще страшный для нея—кто ей дороже: любовникъ или отецъ, и кого изъ нихъ принесла бы она въ жертву, для спасенія другаго, — и потомъ, рѣшительный отвѣтъ, при видѣ гнѣва любовника... какъ все это драматически, и сколько тутъ знанія женскаго сердца.

Явленіе сумасшедшей Маріи, неумѣстное въ ходѣ поэмы и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совѣсть Мазепы, превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Послѣднія слова ея безумной рѣчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глубокаго психологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скорѣй... ужь поздно.
Ахъ, вижу, голова моя
Полна волненія пустаго:
Я принимала за другаго
Тебя старикъ. Оставь меня.
Твой взоръ насмѣшливъ и ужасенъ
Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ:
Въ его глазахъ блеститъ любовь,
Въ его рѣчахъ такая нѣга!
Его усы бѣлые снѣга,
А на твоихъ засохла кровь.

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портретъ, но ничего лучше не создала она лица Маріи. Что передъ нею эта препрославленная и столько восхищавшая всѣхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна— это смѣшеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ?..

Но «Полтава» принадлежитъ къ числу превосходнѣйшихъ твореній Пушкина не по одному лицу Маріи. Лишенная единства и мысли плана, а потому не достаточная и слабая въ цѣломъ, поэма эта есть великое произведеніе по ея частностямъ. Она заключаетъ въ себѣ нѣсколько поэмъ, и потому самому не составляетъ одной поэмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочиненіи, и она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья пѣснь ея сама по себѣ, есть нѣчто особенное, отдѣльная поэма въ эпическомъ родѣ. Но изъ нея нельзя было сдѣлать эпической поэмы: еслибъ поэтъ и далъ ей обширнѣйшій объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходнѣйшихъ картинъ, но не поэмою. Чувствуя это, поэтъ хотѣлъ связать ее съ исторіею любви, имѣющею драматическій интересъ, но эта связь не могла не выйдти чисто внѣшнею. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогѣ, въ которомъ поэтъ говоритъ сперва о гордыхъ и сильныхъ людяхъ того вѣка, потомъ о Петрѣ Великомъ, далѣе — о Карлѣ XII, о Мазепѣ, о Кочубеѣ съ Искрою, и оканчиваетъ все это Маріею... Несмотря на то, «Полтава» была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина. Какъ архитектурное зданіе, она не поражаетъ общимъ впечатлѣніемъ, нѣтъ въ ней никакого преобладающаго элемента, къ которому бы всѣ другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдѣльности есть превосходное художественное произведеніе. И никогда еще до того времени нашъ поэтъ не употреблялъ такихъ драгоценныхъ матеріаловъ на свои зданія, никогда не отдѣлывалъ ихъ съ бдѣльшимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько про-

стоты и энергіи въ его стихѣ! Какая живая соотвѣтственность между содержаніемъ и колоритомъ языка, которымъ оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское въ тонѣ разсказа, въ духѣ и оборотѣ выраженій! И между тѣмъ, какъ дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать сильное свое остроуміе, назвалъ палача бѣлоручкою, а всю картину казни — отвратительною! Вотъ ужъ подлинно бѣлоручка! Другой посмѣялся, какъ надъ нелѣпостью, надъ любовью старика Мазепы къ молодой дѣвушкѣ, и находилъ оправданіе этого факта развѣ только въ русской пословицѣ: сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро. Третій доказывалъ, что всѣ дѣйствующія лица «Полтавы» каррикатуры, на основаніи отзывовъ Мазепы о Карлѣ XII и Петрѣ Великомъ!... И все это тогда читалось; многіе даже вѣрили дѣльности такихъ отзывовъ!...

Теперь намъ слѣдовало бы говорить о «Евгеніи Онѣгинѣ», но статья наша и такъ вышла велика, а «Евгеній Онѣгинъ», кромѣ своего огромнаго объема, имѣетъ въ русской литературѣ и въ русской жизни столь важное значеніе, что о немъ надо или говорить много, или совсѣмъ не говорить. И потому мы отлагаемъ его разборъ до слѣдующей статьи, а эту кончимъ бѣглымъ взглядомъ на «Графа Нулина».

«Графъ Нулинъ» — не болѣе, какъ легкій сатирическій очеркъ одной стороны нашего общества, но очеркъ, сдѣланный рукою въ высшей степени художественною. Сказкою «Модная Жена», Дмитріевъ нѣкогда чуть не стяжалъ вѣнка безсмертія. Сказка его дѣйствительно прекрасна; ее и теперь нельзя читать безъ удовольствія; но вѣнки безсмертія въ наше время очень вздорожали, — и хотя «Графъ Нулинъ» безконечно выше и лучше «Модной Жены» Дмитріева, однако не имъ будетъ безсмертенъ Пушкинъ: для «Графа Нулина» достаточно чести быть не больше, какъ листикомъ въ лавровомъ вѣнкѣ его. Въ лицѣ графа Нулина поэтъ, съ неподражаемымъ мастерствомъ, изобразилъ одного изъ тѣхъ пустыхъ людей выс-

шаго свѣтскаго круга, которые такъ обыкновенны въ жизни. Наталья Павловна—типъ молодой помѣщицы новыхъ временъ, которая воспитывалась въ пансіонѣ, въ дѣлѣ моды не отста-еть отъ вѣка, хотя живетъ въ глуши, о хозяйствѣ не имѣ-етъ никакого понятія, читаетъ чувствительные романы и зѣва-етъ въ обществѣ своего мужа—истиннаго типа степнаго мед-вѣдя и псаря. Въ этой повѣсти все такъ и дышетъ русскою природою, сѣренькими красками русскаго деревенскаго быта. Здѣсь цѣлый рядъ картинъ въ фламандскомъ вкусѣ, — и ни одна изъ нихъ не уступитъ въ достоинствѣ любому изъ тѣхъ произведеній фламандской живописи, которыя такъ высоко цѣ-нятся знатоками. Что составляетъ главное достоинство фла-мандской школы, если не умѣнье представлять прозу дѣйстви-тельности подъ поэтическимъ угломъ зрѣнія? Въ этомъ смыслѣ «Графъ Нулинъ» есть цѣлая галерея превосходнѣйшихъ картинъ фламандской школы. И если мы сказали, что не «Графомъ Нулинымъ» будетъ безсмертенъ Пушкинъ, это не значитъ, чтобъ мы на поѣму его смотрѣли, какъ на легонь-кое литературное произведеньеице, какъ на остроумную шутку: нѣтъ, это значитъ только, что у Пушкина слишкомъ много гораздо большихъ правъ на бессмертіе, чѣмъ «Графъ Ну-линъ», и что эта поэмка, которая могла бы составить глав-ный капиталъ извѣстности для инаго поэта, у Пушкина есть только роскошь, избытокъ, который тратится безъ вниманія и безъ сожалѣнія.

Нельзя не подивиться легкости, съ какою поэтъ схваты-ваетъ въ «Графѣ Нулинѣ» самыя характеристическія черты русской жизни. Вотъ, напримѣръ, портретъ Парашы, горнич-ной Натальи Павловны:

Параша эта

Наперстница ея затѣй:

Шьетъ, моетъ, вѣсти переносить,

Иношенныхъ капотовъ просить,

Порою барина смѣшить,

Порой на барина кричать,
И лжетъ передъ барыней отважно.

Да, это типъ всѣхъ русскихъ горничныхъ, которыя служатъ барынямъ новаго, т. е. пансіонскаго образованія!

Говорить ли, что вся поэма исполнена ума, остроумія, легкости, граціи, тонкой ироніи, благороднаго тона, знанія дѣйствительности, написана стихами въ высшей степени превосходными? Пушкинъ иначе и не умѣлъ писать,—а «Графъ Нулинъ» есть одно изъ удачнѣйшихъ его произведеній.

Эта поэма въ первый разъ была напечатана въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» 1828 года, а отдѣльно вышла въ 1829 г. Тогда-то опрокинулась на нее со всѣмъ остервененіемъ педантическая критика. Главною виною поставлено было «Графу Нулину» пустота, будто-бы его содержанія. По убѣжденію этой критики, поэзія должна заниматься только важными предметами, каковыя обрѣтаются въ одахъ Ломоносова, его «Петриадѣ», одахъ Петрова и стопудовыхъ пѣсняхъ Хераскова. Ей, этой неотесанной критикѣ, и въ голову не входило, что все это высокопарное и торжественное пѣснопѣіе, взятое массою, далеко не стоитъ одной страницы изъ «Графа Нулина». Потомъ поставлена была въ великое преступленіе «Графу Нулину» неприличная вольность его содержанія и изложенія, будто бы оскорбляющая хорошій тонъ свѣтскаго общества. Бѣдная критика! она любезности училась въ дѣвичьихъ, а хорошаго тона набиралась въ прихожихъ: удивительно ли, что «Графъ Нулинъ» такъ жестоко оскорбилъ ея тонкое чувство приличія? Бѣдная критика! она и до сихъ поръ добродушно убѣждена въ своемъ знаніи большаго свѣта и нещадно преслѣдуетъ «Мертвыя Души» за нарушеніе условій хорошаго тона, — а большой свѣтъ, неблагодарный, до сихъ поръ, не хочетъ и подозрѣвать существованія ея, бѣдной критики, и съ такимъ же наслажденіемъ прочелъ «Мертвыя Души», съ какимъ нѣкогда читалъ «Графа Нулина», не

видя ни въ томъ, ни въ другомъ произведеніи ничего противнаго и оскорбительнаго тому, что называется онъ «хорошимъ тономъ» и «приличіемъ».

VIII.

Евгеній Онѣгинъ.

Признаемся: не безъ нѣкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотрѣнію такой поэмы, какъ «Евгеній Онѣгинъ». И эта робость оправдывается многими причинами. «Онѣгинъ» есть самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такою полнотою, свѣтло и ясно, какъ отразилась въ «Онѣгинѣ» личность Пушкина. Здѣсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здѣсь его чувства, понятія, идеалы. Оцѣнить такое произведеніе, значить—оцѣнить самого поэта, во всемъ объемѣ его творческой дѣятельности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствѣ «Онѣгина» — эта поэма имѣетъ для насъ, Русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе. Съ этой точки зрѣнія, даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностію назвать въ «Онѣгинѣ» слабымъ, или устарѣлымъ,—даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія, великаго интереса. И насъ приводитъ въ затрудненіе не одно только сознаніе слабости нашихъ силъ для вѣрной оцѣнки такого произведенія, но и необходимость въ одно и то же время во многихъ мѣстахъ «Онѣгина», съ одной стороны, видѣть недостатки, съ другой—достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаетъ въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки, или безусловныя достоинства, и которая не по-

нимаешь, что условное и относительное составляют форму безусловнаго, вотъ почему нѣкоторые критики добродушно были убѣждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій талантъ и въ то же самое время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы вполне художественно и могло бы вполне удовлетворить требованіямъ эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношеніи къ «Онѣгину», наши сужденія могутъ показаться многимъ еще болѣе противорѣчащими, потому что «Онѣгинъ», со стороны формы, есть произведеніе въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самыя его недостатки составляютъ его величайшія достоинства. Вся наша статья объ «Онѣгинѣ» будетъ развитіемъ этой мысли, какою бы ни оказалась она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего, въ «Онѣгинѣ» мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русскаго общества, взятаго въ одномъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрѣнія, «Евгеній Онѣгинъ» есть поэма историческая въ полномъ смыслѣ слова, хотя въ числѣ ея героев нѣтъ ни одного историческаго лица. Историческое достоинство этой поэмы тѣмъ выше, что она была на Руси и первымъ и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родѣ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, но и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безмѣрная! До Пушкина, русская поэзія была не болѣе, какъ понятливою и переимчивою ученицею европейской музы, — и потому всѣ произведенія русской поэзіи до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копіи, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ — этотъ талантъ, столько же сильный и яркій, сколько и національно-русскій, долго не имѣлъ смѣлости отказать отъ незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзіи Державина ярко проблескиваютъ и русская рѣчь,

и русскій умъ, но не больше, какъ проблескиваютъ, потопляемые водою риторически-понятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написалъ русскую трагедію, даже историческую—«Димитрія Донскаго», но въ ней русскаго и историческаго—одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковский написалъ двѣ русскія баллады—«Людмилу» и «Свѣтлану»; но первая изъ нихъ есть передѣлка нѣмецкой (и притомъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дѣйствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимней русской природы, въ то же время вся проникнута нѣмецкою сентиментальностью и нѣмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюшкова, вѣчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвѣтка на русской почвѣ. Всѣхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нѣтъ и не можетъ быть никакой поэзіи, и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на пегасѣ въ чужіе края, даже на востокъ, не только на западъ. Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромъ. Разумѣется, это сдѣлалось не вдругъ, потому что вдругъ ничего не дѣлается. Въ поэмахъ: «Русланъ и Людмила» и «Братья Разбойники», Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предшественникамъ,—но не въ поэзіи только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображеніе русской дѣйствительности. Этимъ ученичествомъ и объясняется, почему въ «Русланѣ и Людмилѣ» такъ мало русскаго и такъ много итальянскаго, а «Разбойники» такъ похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Женихъ», написанная имъ въ 1825 году, въ которомъ появилась и первая глава «Онѣгина». Эта баллада, и со стороны формы, и со стороны содержанія насквозь проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чѣмъ о «Русланѣ и Людмилѣ», можно сказать:

Здѣсь русскій духъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Такъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго вниманія, а теперь почти всѣми забыта, мы выпишемъ изъ нея сцену сватовства:

На утро сваха къ нимъ на дворъ
Нежданная приходитъ.
Наташу хвалить, разговоръ
Съ отцомъ ея заводитъ:
«У васъ товаръ, у насъ купецъ,
Собою парень молодецъ
И статный, и проворной,
Не вздорной, не зазорной.

«Богатъ, уменъ, ни передъ кѣмъ
Не кланяется въ поясъ,
А какъ бояринъ между тѣмъ
Живетъ, не безпокоясь;
А подарить невѣсть вдругъ
И лисью шубу, и жемчугъ,
И перстни золотые,
И платья парчевыя.

«Катаясь, видѣлъ онъ вчера
Ее за воротами;
Не по рукамъ ли, да съ двора,
Да въ церковь съ образами?»
Она сидитъ за пирогомъ
Да рѣчь ведетъ обнякомъ,
А бѣдная невѣста
Себѣ не видитъ мѣста.

«Согласенъ, говоритъ отецъ,
Ступай благополучно,
Моя Наташа подь вънець:
Одной въ свѣтелкѣ скучно.
Не вѣкъ дѣвицей вѣковать,
Не все косаткѣ распѣвать,
Пора гнѣздо устроить
Чтобъ дѣтушекъ покоить».

И такова вся эта баллада, отъ перваго до послѣдняго слова! Въ народныхъ русскихъ пѣсняхъ, вмѣстѣ взятыхъ, не больше русской народности, сколько заключено ее въ этой балладѣ! Но не въ такихъ произведеніяхъ должно видѣть образцы проникнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій, — и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Мірѣ, такъ вѣрно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступенъ для всякаго таланта уже по слишкомъ рѣзкой его особенности. Сверхъ того, онъ такъ тѣсенъ, мелокъ и немногосложенъ, что истинный талантъ не долго будетъ воспроизводить его, если не захочетъ, чтобъ его произведенія были односторонни, однообразны, скучны и, наконецъ, пошлы, несмотря на всѣ ихъ достоинства. Вотъ почему человѣкъ съ талантомъ дѣлаетъ обыкновенно не болѣе одной, или, много, двухъ попытокъ въ такомъ родѣ; для него это—дѣло между прочимъ, затѣянное больше изъ желанія испытать свои силы и на этомъ поприщѣ, нежели изъ особеннаго уваженія къ этому поприщу. Лермонтова «Пѣсня про Царя Ивана Васильевича, молодаго опричника и удалова купца Калашникова», не превосходя Пушкинскаго «Жениха» со стороны формы, слишкомъ много превосходитъ его со стороны содержанія. Это поэма, въ сравненіи съ которой ничтожны всѣ богатырскія народно-русскія поэмы, собранныя Киршею Даниловымъ. И между тѣмъ, «Пѣсня» Лермонтова была не болѣе, какъ опытъ таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтовъ никогда ничего больше не написалъ бы въ этомъ родѣ. Въ этой пѣснѣ Лермонтовъ взялъ все, что только могъ ему представить сборникъ Кирши Данилова, — и новая попытка въ этомъ родѣ была бы по необходимости повтореніемъ одного и того же — старыя погудки на новый ладъ. Чувства и страсти людей этого міра такъ однообразны въ своемъ проявленіи; общественныя отношенія людей этого міра такъ просты и не сложны, что все это легко исчерпывается

до дна однимъ произведеніемъ сильнаго таланта. Разнообразіе страстей, тонкіе до безконечности оттѣнки чувствъ, безчисленно многосложныя отношенія людей, общественныя и частныя, — вотъ гдѣ богатая почва для цвѣтовъ поэзіи и эту почву можетъ приготовить только сильно развивающаяся или развивавшаяся цивилизація. Произведенія въ родѣ «Жеанне» Жоржа Занда возможны только во Франціи, потому что тамъ цивилизація, въ многосложности ея элементовъ, всѣ сословія поставила въ тѣсное и электрически взаимнодѣйствующее отношеніе другъ къ другу. Наша поэзія, напротивъ, должна искать для себя матеріаловъ почти исключительно въ томъ классѣ, который по своему образу жизни и обычаямъ, представляетъ болѣе развитія и умственнаго движенія. И если національность составляетъ одно изъ высочайшихъ достоинствъ поэтическихъ произведеній, — то, безъ сомнѣнія, истинно-национальныхъ произведеній должно искать у насъ только между такими поэтическими созданіями, которыхъ, содержаніе взято изъ жизни сословія, создавшагося по реформѣ Петра Великаго и усвоившаго себѣ формы образованнаго быта. Но большинство публики, до сихъ поръ, понимаетъ это дѣло иначе. Назовите народнымъ, или національнымъ произведеніемъ «Руслана и Людмилу», — и съ вами всѣ согласятся, что это дѣйствительно народное и національное произведеніе. Еще болѣе будутъ согласны съ вами, если вы назовете народнымъ произведеніемъ всякую пьесу, въ которой дѣйствуютъ мужики и бабы, бородатые купцы и мѣщане, или въ которомъ дѣйствующія лица пересыпаютъ свой незатѣйливый разговоръ русскими пословицами и поговорками, и, въ добавокъ, пропускаютъ между ними риторическія, на семинарскій манеръ, фразы о народности и т. п. Люди, болѣе умные и образованные, охотно (и при томъ весьма основательно) видятъ народную русскую поэзію въ басняхъ Крылова, и даже готовы видѣть ее (что уже не такъ основательно) не только въ сказкахъ Пушкина («о Царѣ Салтанѣ» и «о мертвой ца-

ревнѣ»), но и (что уже вовсе неосновательно) въ сказкахъ Жуковскаго («О царѣ Берендеѣ до колѣнъ борода» и «О спящей Царевнѣ»). Но не многіе согласятся съ вами и для многихъ покажется страннымъ, если вы скажете, что первая истинно національно-русская поэма въ стихахъ была и есть— «Евгеній Онѣгинъ» Пушкина, и что въ ней народности больше, нежели въ какомъ угодно другомъ народномъ русскомъ сочиненіи. А между тѣмъ, это такая же истина, какъ и то, что дважды-два—четыре. Если ее не всѣ признаютъ національною—это потому, что у насъ издавна укоренилось престранное мнѣніе, будто-бы Русскій во фракѣ, или Русская въ корсетѣ—уже не Русскіе, и что русскій духъ даетъ себя чувствовать только тамъ, гдѣ есть зипунъ, лапти, сивуха и кислая капуста. Въ этомъ случаѣ, у насъ многіе даже и между такъ называемыми образованными людьми, бессознательно подражаютъ русскому простонародью, которое всякаго чужестранца изъ Европы называетъ «Нѣмцемъ». И вотъ гдѣ источникъ пустой боязни нѣкоторыхъ, чтобъ мы всѣ не онѣмелись! Всѣ европейскіе народы развивались какъ одинъ народъ, сперва подъ сѣнію католическаго единства, духовнаго (въ лицѣ папы) и свѣтскаго (въ лицѣ избраннаго главы священной Римской Имперіи), а потомъ подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же стремленій къ послѣднимъ результатамъ цивилизаціи,—однако, тѣмъ не менѣе между Французомъ, Нѣмцемъ, Англичаниномъ, Итальянцемъ, Шведомъ, Испанцемъ, такая же существенная разница, какъ и между Русскимъ и Индійцемъ. Это струны одного и того же инструмента—духа человѣческаго, но струны разнаго объема, каждая съ своимъ особеннымъ звукомъ и потому то онѣ издають полные гармоническіе аккорды. Если же народы западной Европы, всѣ равно происходящіе отъ великаго тевтонскаго племени, большею частію смѣшавшагося съ романскими племенами, всѣ равно развившіеся на почвѣ одной и той же религіи, подъ вліяніемъ однихъ и тѣхъ же обычаевъ, одного и того же

общественнаго устройства, и потомъ всё равно воспользовались богатымъ наслѣдіемъ древне-классическаго міра,— если, говоримъ всё народы западной Европы, составляющіе собою единое семейство, тѣмъ не менѣе рѣзко отличаются одинъ отъ другаго, то естественное ли дѣло, чтобъ русскій народъ, возникшій на другой почвѣ, подъ другимъ небомъ, имѣвшій свою исторію, ни въ чемъ непохожую на исторію ни одного западно-европейскаго народа, естественно ли, чтобъ русскій народъ, усвоивъ себѣ одежду и обычаи европейскіе, могъ утратить свою національную самобытность и походить, какъ двѣ капли воды, на каждого изъ европейскихъ народовъ, изъ которыхъ каждый другъ отъ друга рѣзко отличается и физическою и нравственною фізіономіею?... Да это нелѣпость нелѣпостей! хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особенности племени, или народа заключается въ почвѣ и климатѣ занимаемой имъ страны; а много ли на земномъ шарѣ странъ одинаковыхъ въ геологическомъ и климатологическомъ отношеніяхъ? И потому, чтобъ напоръ европейскихъ обычаевъ и идей могъ лишитъ Русскихъ ихъ національности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материкъ Россіи превратить въ гористый; безконечное его пространство сдѣлать меньшимъ по крайней мѣрѣ въ десять разъ (за исключеніемъ Сибири). И много, кромѣ того, нужно бы сдѣлать такого, чего нельзя сдѣлать, и о чемъ фантазировать на досугѣ прилично только господамъ Маниловымъ. Далѣе: бѣдна та народность, которая трепещетъ за свою самостоятельность при всякомъ соприкосновеніи съ другою народностью! Наши самозванные патриоты не видятъ, въ простотѣ ума и сердца своего, что, безпрестанно боясь за русскую національность, они тѣмъ самымъ жестоко оскорбляютъ ее. Но когда сдѣлалось всегда побѣдоноснымъ русское войско, если не тогда, какъ Петръ Великій одѣлъ его въ европейское платье и приучилъ его сообразной съ этимъ платьемъ военной дисциплинѣ? Какъ-то естественно видѣть

толпу крестьянъ, дурно вооруженныхъ, еще хуже дисциплинированныхъ, по случаю войны недавно оторванныхъ отъ избы и сохи,—какъ-то естественно видѣть ихъ бѣгущими въ беспорядкѣ съ поля битвы;—точно такъ же, какъ естественно видѣть полки солдатъ, даже и при военной неудачѣ, или храбро умирающими на полѣ битвы, или отступающими въ грозномъ порядкѣ. Нѣкоторые изъ горячихъ славянолюбовъ говорятъ: «Посмотрите на Нѣмца,—онъ вездѣ Нѣмецъ, и въ Россіи, и во Франціи, и въ Индіи; Французъ, тоже вездѣ Французъ, куда бы ни занесла его судьба; а Русскій въ Англіи—Англичанинъ, во Франціи—Французъ, въ Германіи—Нѣмецъ». Дѣйствительно, въ этомъ есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служитъ не къ униженію, а къ чести Русскихъ. Это свойство удачно примѣняться ко всякому народу, ко всякой странѣ, отнюдь не есть исключительное свойство только образованныхъ сословій въ Россіи, но свойство всего русскаго племени, всей сѣверной Руси. Этимъ свойствомъ русскій человѣкъ отличается и отъ всѣхъ другихъ славянскихъ племенъ, и, можетъ быть, ему-то и обязанъ онъ своимъ превосходствомъ надъ ними. Извѣстно, что наши русскіе солдаты—удивительные природные философы и политики, и нигдѣ ничему не удивляются, но все находятъ очень естественнымъ, какъ бы это все ни было противоположно ихъ понятіямъ и привычкамъ. Чтобъ слишкомъ не распространяться объ этомъ предметѣ, ссылаемся, для краткости, на замѣчаніе Лермонтова объ удивительной способности русскаго человѣка примѣняться къ обычаямъ тѣхъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. «Не знаю (говоритъ авторъ «Героя Нашего Времени»), достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываетъ неимовѣрную его гибкость и присутствіе этого яснаго здраваго смысла, который прощаетъ зло вездѣ, гдѣ видитъ его необходимость или невозможность его уничтоженія». Здѣсь дѣло идетъ о Кавказѣ, а не о Европѣ; но русскій человѣкъ

вездѣ тотъ же. Угловатый Нѣмецъ, тяжеловато - гордый Джонъ-Буль, уже самыми ихъ ухватками и манерами никогда и нигдѣ не скроютъ своего происхожденія; а послѣ Француза, только Русскій можетъ по наружности казаться просто человѣкомъ, не нося на своемъ лбу національнаго клейма, или паспорта. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ Русскій, ужъ въ Англии походить на Англичанина, а во Франціи на Француза, хоть на минуту пересталъ быть Русскимъ, или хоть на минуту не шутя могъ сдѣлаться Англичаниномъ, или Французомъ. Форма и сущность не всегда — одно и то же. Хорошую форму почему не усвоить себѣ, но отъ сущности своей отрѣшиться совсѣмъ не такъ легко, какъ промѣнять охабень на фракъ. Между Русскими есть много галломановъ, англомановъ, германомановъ и разныхъ другихъ «мановъ». Посмотришь на нихъ: точно такъ — съ которой стороны ни зайдѣ — Англичанинъ. Французъ, Нѣмецъ, да и только. Если англоманъ, да еще богатый, то и лошади у него англизированныя, и жокеи, и грумы, словно сейчасъ изъ Лондона привезенные, и паркъ въ англійскомъ вкусѣ, и портеръ оный пьетъ исправно, любитъ ростбифъ и пуддингъ, на комфортѣ помѣшанъ, и даже боксируетъ не хуже любого англійскаго кучера. Если галломанъ — одѣтъ какъ модная картинка, по французски говорить не хуже Парижанина, на все смотреть съ равнодушнымъ презрѣніемъ, при случаѣ почитаетъ долгомъ быть и любезнымъ и остроумнымъ. Если германоманъ — больше всего любитъ искусство, какъ искусство, науку, какъ науку, романтизируетъ, презираетъ толпу, не хочетъ внѣшняго счастья и выше всего ставитъ созерцательное блаженство своего внутренняго міра... Но пошлите всѣхъ этихъ господъ пожить — англомановъ въ Англію, галломановъ во Францію, германомановъ въ Германію, да и посмотрите, такъ ли охотно, какъ вы, послѣдуютъ Англичане, Французы и Нѣмцы признать своими соотечественниками нашихъ англомановъ, галломановъ и германомановъ... Нѣтъ, не попадутъ

они въ соотечественники этимъ народамъ, а только развѣ прослывуть между ними притчею во языцѣхъ, сдѣлаются предметомъ всеобщаго оскорбительнаго вниманія и удивленія. Это потому, повторяемъ, что усвоить чуждую форму совѣмъ не то, что отрѣшиться отъ собственной сущности. Русскій за границею легко можетъ быть принятъ за уроженца страны, въ которой онъ временно живетъ, потому что на улицѣ, въ трактирѣ, на балу, въ дилижансѣ о человѣкѣ заключаютъ по его виду; но въ отношеніяхъ гражданскихъ, семейныхъ, но въ положеніяхъ жизни исключительныхъ—другое дѣло: тутъ по неволѣ обнаружится всякая національность, и каждый по неволѣ явится сыномъ своей и пасынкомъ чужой земли. Съ этой точки зрѣнія, Русскому гораздо легче прослыть за Англичанина въ Россіи, нежели въ Англіи. Но въ отношеніи къ отдѣльнымъ личностямъ, еще могутъ быть странныя исключенія; въ отношенія же къ народамъ никогда. Доказательствомъ могутъ служить тѣ славянскія племена, которыхъ историческія судьбы были тѣсно связаны съ судьбами западной Европы: Чехія отовсюду окружена тевтонскимъ племенемъ; властителями ея въ теченіе цѣлыхъ столѣтій были Нѣмцы; развилась она, вмѣстѣ съ ними, на почвѣ католицизма и упредила ихъ и словомъ, и дѣломъ религіознаго обновленія—и что же?—Чехи до сихъ поръ Славяне, до сихъ поръ—не только не Германцы, но и не совѣмъ Европейцы...

Все сказанное нами было необходимымъ отступленіемъ для опроверженія неосновательнаго мнѣнія, будто-бы, въ дѣлѣ литературы, чисто русскую народность должно искать только въ сочиненіяхъ, которыхъ содержаніе заимствовано изъ жизни низшихъ и необразованныхъ классовъ. Вслѣдствіе этого страннаго мнѣнія, оглашающаго «не русскимъ» все что есть въ Россіи лучшаго и образованнѣйшаго,—вслѣдствіе этого лапотно-сермяжнаго мнѣнія, какой-нибудь грубый фарсъ съ мужиками и бабами есть національно-русское произведеніе, а «Горе отъ Ума» есть тоже русское, но только уже не національное про-

изведение; какой-нибудь площадной романъ, въ родѣ «Разгулья купеческихъ сынковъ въ Марьиной Рощѣ» есть хотя и плохое, однако тѣмъ не менѣе національно-русское произведение, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тѣмъ не менѣе русское, но не національное произведение... Нѣтъ, и тысячу разъ нѣтъ! Пора, наконецъ, вооружаться противъ этого мнѣнія всею силою здраваго смысла, всею энергіею неумолимой логики! Мы далеки уже отъ того блаженнаго времени, когда псевдо-классическое направление нашей литературы допускало въ изящныя созданія только людей высшаго круга и образованныхъ сословій и если иногда позволяла выводить въ поэмѣ, драмѣ, или эклогѣ, простолюдиновъ, то не иначе, какъ умытыхъ, причесанныхъ, разодѣтыхъ и говорящихъ не своимъ языкомъ. Да, мы далеки отъ этого псевдо-классическаго времени; но пора уже отдалиться намъ и отъ этого псевдо-романтическаго направленія, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять въ поэмахъ и драмахъ не только частныхъ людей низшаго званія, но даже воровъ и плутовъ, вообразило, что истинная національность скрывается только подъ зипуномъ, въ курной избѣ, и что разбитый на кулачномъ бою носъ пьянаго лакея есть истинно Шекспировская черта,—а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаковъ чего-нибудь похожаго на народность. Пора, наконецъ, догадаться, что, напротивъ, русскій поэтъ можетъ себя показать истинно-національнымъ поэтомъ, только изображая въ своихъ произведеніяхъ жизнь образованныхъ сословій: ибо, чтобъ найти національные элементы въ жизни наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, — для этого поэту нужно и имѣть большой талантъ, и быть національнымъ въ душѣ. «Истинная національность (говорить Гоголь) состоитъ не въ описаніи сарафана, но въ самомъ духѣ народа; поэтъ можетъ быть даже и тогда націоналенъ, когда описываетъ совершенно сторонній міръ, но глядитъ на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа,

когда чувствует и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствуютъ и говорятъ они сами». Разгадать тайну народной психеи—для поэта, значить умѣть равно быть вѣрнымъ дѣйствительности при изображеніи и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умѣетъ схватывать рѣзкіе оттѣнки только грубой простонародной жизни, не умѣя схватывать болѣе тонкихъ и сложныхъ оттѣнковъ образованной жизни,—тотъ никогда не будетъ великимъ поэтомъ, и еще менѣе имѣетъ право на громкое титло національнаго поэта. Великій національный поэтъ равно умѣетъ заставить говорить и барина, и мужика ихъ языкомъ. И если произведеніе, котораго содержаніе взято изъ жизни образованныхъ сословій, не заслуживаетъ названія національнаго, — значить, оно ничего не стоитъ и въ художественномъ отношеніи, потому что невѣрно духу изображаемой имъ дѣйствительности. Поэтому, не только такія произведенія, какъ «Горе отъ Ума» и «Мертвыя Души», но и такія, какъ «Герой Нашего Времени» суть столько же національныя сколько превосходныя поэтическія созданія.

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ «Евгеній Онегинъ» Пушкина. Въ этой рѣшимости молодаго поэта представить нравственную физиономію болѣе оевропейшагося въ Россіи сословія нельзя не видѣть доказательства, что онъ былъ и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эпическихъ поэмъ давнымъ давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, нуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взялъ эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взялъ ее со всѣмъ холодомъ, со всею ея прозою и пошлостію. И такая смѣлость была бы менѣе удивительною, еслибы романъ затѣянъ былъ въ прозѣ; но писать подобный романъ въ стихахъ, въ такое время, когда на русскомъ языкѣ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозѣ — такая смѣлость,

оправданная огромнымъ успѣхомъ, была несомнѣннымъ свидѣтельствомъ гениальности поэта. Правда, на русскомъ языкѣ было одно прекрасное (по своему времени) произведеніе, въ родѣ повѣсти въ стихахъ: мы говоримъ о «Модной Женѣ» Дмитріева; но между ею и «Онѣгинымъ» нѣтъ ничего общаго уже потому только, что «Модную Жену» такъ же легко счесть за вольный переводъ, или передѣлку съ французскаго, какъ и за оригинально-русское произведеніе. Если изъ сочиненій Пушкина хоть одно можетъ имѣть что нибудь общаго съ прекрасною и остроумною сказкою Дмитріева, такъ это, какъ мы уже и замѣтили въ послѣдней статьѣ, «Графъ Нулинъ»; но и тутъ сходство заключается совсѣмъ не въ поэтическомъ достоинствѣ обоихъ произведеній. Форма романовъ въ родѣ «Онѣгина» создана Байрономъ; по крайней мѣрѣ, манера разсказа, смѣсь прозы и поэзіи въ изображаемой дѣйствительности, отступленія, обращенія поэта къ самому себѣ и, особенно, это слишкомъ ощутительное присутствіе лица поэта въ созданномъ имъ произведеніи, — все это есть дѣло Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственнаго содержанія совсѣмъ не то, что самому изобрѣсти ее, — тѣмъ не менѣе, при сравненіи «Онѣгина» Пушкина съ «Донъ-Жуаномъ», «Чайльдъ-Гарольдомъ» и «Беппо» Байрона, нельзя найти ничего общаго, кромѣ формы и манеры. Не только содержаніе, но и духъ поэмъ Байрона уничтожаетъ всякую возможность существеннаго сходства между ими и «Онѣгинымъ» Пушкина: Байронъ писалъ о Европѣ для Европы; этотъ субъективный духъ, столь могучій и глубокій, эта личность столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько къ изображенію современнаго человѣчества, сколько къ суду надъ его прошедшею и настоящею исторіею. Повторяемъ, тутъ нечего искать и тѣни какого-либо сходства. Пушкинъ писалъ о Россіи для Россіи, — и мы видимъ признакъ его самобытнаго и гениальнаго таланта въ томъ, что, вѣрный своей натурѣ, совершенно противоположной натурѣ Бай-

рона, и своему художническому инстинкту, — онъ далеко былъ оттого, чтобы соблазниться, создать что-нибудь въ Байроновскомъ родѣ, пиша русскій романъ. Сдѣлай онъ это, — и толпа превознесла бы его выше звѣздъ; слава мгновенная, но великая, была бы наградою за его ложный *tour de force*. Но, повторяемъ, Пушкинъ, какъ поэтъ, былъ слишкомъ великъ для подобнаго шутовскаго подвига, столь обольстительнаго для обыкновенныхъ талантовъ. Онъ заботился не о томъ, чтобъ походить на Байрона, а о томъ, чтобъ быть самимъ собою и быть вѣрнымъ той дѣйствительности, до него еще непечатой и нетронутой, которая просилась подъ перо его. И за то, его «Онѣгинъ» — въ высшей степени оригинальное и национально-русское произведеніе. Вмѣстѣ съ современнымъ ему гениальнымъ твореніемъ Грибоѣдова — «Горе отъ Ума» *), стихотворный романъ Пушкина положилъ прочное основаніе новой русской поэзіи, новой русской литературѣ. До этихъ двухъ произведеній, какъ мы уже и замѣтили выше, русскіе поэты еще умѣли быть поэтами, воспѣвая чуждые русской дѣйствительности предметы, и почти не умѣли быть поэтами, принимаясь за изображеніе міра русской жизни. Исключеніе остается только за Державиннымъ, въ поэзіи котораго, какъ мы уже не разъ говорили, проблескиваютъ искорки элементовъ русской жизни; за Крыловымъ и, наконецъ, за Фонъ-Визинимъ, который, впрочемъ, былъ, въ своихъ комедіяхъ, больше даровитымъ копистомъ русской дѣйствительности, нежели ея творческимъ воспроизводителемъ. Несмотря на всѣ недостатки, довольно важные, комедіи Грибоѣдова, — она, какъ

*) *Горе отъ Ума* было написано Грибоѣдовымъ въ бытность его въ Тифлисѣ, до 1823 года, но написано *съ чернъ*. По возвращеніи въ Россію, въ 1823 году, Грибоѣдовъ подвергнулъ свою комедію значительнымъ исправленіямъ. Въ первый разъ большой отрывокъ изъ нея былъ напечатанъ въ альманахѣ *Талия*, въ 1825 году. Первая глава *Онѣгина* появилась въ печати въ 1825 году, когда, вѣроятно, у Пушкина было уже готово нѣсколько главъ этой поэмы.

произведеніе сильнаго таланта, глубокаго и самостоятельнаго ума, была первою русскою комедіею, въ которой нѣтъ ничего подражательнаго, нѣтъ ложныхъ мотивовъ и неестественныхъ красокъ, но въ которой и цѣлое, и подробности, и сюжетъ, и характеры, и страсти, и дѣйствія, и мнѣнія, и языкъ — все насквозь проникнуто глубокою истинною русской дѣйствительности. Что же касается до стиховъ, которыми написано «Горе отъ Ума», — въ этомъ отношеніи, Грибоѣдовъ надолго убилъ всякую возможность русской комедіи въ стихахъ. Нуженъ геніяльный талантъ, чтобъ продолжать съ успѣхомъ начатое Грибоѣдовымъ дѣло: мечъ Ахилла подъ силу только Аяксамъ и Одиссеямъ. То же можно сказать и въ отношеніи къ «Онѣгину,» хотя впрочемъ, ему и обязаны своимъ появленіемъ нѣкоторые, далеко неравныя ему, но все-таки замѣчательныя попытки — тогда какъ «Горе отъ ума» до сихъ поръ высится въ нашей литературѣ геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Примѣръ неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россія выучила наизусть еще въ рукописныхъ спискахъ, болѣе, чѣмъ за десять лѣтъ до появленія ея въ печати! Стихи Грибоѣдова обратились въ пословицы и поговорки; комедія его сдѣлалась неисчерпаемымъ источникомъ примѣненій на событія ежедневной жизни, неистощимымъ рудникомъ эпиграфовъ! И хотя никакъ нельзя доказать прямаго вліянія, со стороны языка и даже стиха басень Крылова на языкъ и стихъ комедіи Грибоѣдова, однако нельзя и совершенно отвергать его: такъ въ органически историческомъ развитіи литературы все сдѣляется и связывается одно съ другимъ! Басни Хемницера и Дмитріева относятся къ баснямъ Крылова, какъ просто талантливыя произведенія относятся къ геніяльнымъ произведеніямъ, — но тѣмъ не менѣе Крыловъ много обязанъ Хемницеру и Дмитріеву. Такъ и Грибоѣдовъ: онъ не учился у Крылова, не подражалъ ему: онъ только воспользовался его завоеваніемъ чтобъ самому идти дальше своимъ собственнымъ путемъ.

Не будь Крылова въ русской литературѣ—стихъ Грибоѣдова не былъ бы такъ свободно, такъ вольно, развязно оригиналенъ, словомъ, не шагнулъ бы такъ страшно далеко. Но не этимъ только ограничивается подвигъ Грибоѣдова: вмѣстѣ съ «Онѣгинымъ» Пушкина его «Горе отъ Ума» было первымъ образцомъ поэтическаго изображенія русской дѣйствительности въ обширномъ значеніи слова. Въ этомъ отношеніи, оба эти произведеніе положили собою основаніе послѣдующей литературѣ, были школою, изъ которой вышли и Лермонтовъ, и Гоголь. Безъ «Онѣгина» былъ бы невозможенъ «Герой Нашего Времени», такъ же какъ безъ «Онѣгина» и «Горе отъ Ума». Гоголь не почувствовалъ бы себя готовымъ на изображеніе русской дѣйствительности, исполненной такое глубины и истинны. Ложная манера изображать русскую дѣйствительность, существовавшая до «Онѣгина» и «Горя отъ Ума», еще и теперь не исчезла изъ русской литературы. Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обречь себя на смотрѣніе, или на чтеніе новыхъ драматическихкихъ пьесъ, даваемыхъ на русскомъ театрѣ обихихъ столицъ. Это ни что иное, какъ искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русскою жизнію, это—исковерканные французскіе характеры, прикрывшіея русскими именами. На русскую повѣсть Гоголь имѣлъ сильное вліяніе, но комедіи его остались одиногими, какъ и «Горе отъ Ума». Значить: изображать вѣрно свое родное, то, что у насъ передъ глазами, что насъ окружаетъ, чуть ли не труднѣе, чѣмъ изображать чужое. Причина этой трудности заключается въ томъ, что у насъ форму всегда принимаютъ за сущность, а модный костюмъ — за европеизмъ; другими словами: въ томъ, что народность смѣшиваютъ съ простонародностью, и думаютъ, что кто не принадлежитъ къ простонародью, то-есть, кто пьетъ шампанское, а не пѣнникъ, и ходитъ во фракъ, а не смуромъ кафтанъ,—того должно изображать то какъ Француза, то какъ Испанца, то какъ

Англичанина. Нѣкоторые изъ нашихъ литераторовъ, имѣя способность болѣе или менѣе вѣрно списывать портреты, не имѣютъ способности видѣть въ настоящемъ ихъ свѣтѣ тѣ лица, съ которыхъ они пишутъ портреты: мудрено ли, что въ ихъ портретахъ нѣтъ никакого сходства съ оригиналами, и что читая ихъ романы, повѣсти и драмы, невольно спрашиваешь себя:

Съ кого они портреты пишутъ?

Гдѣ разговоры эти слышутъ?

А если и случилось имъ,

Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Таланты этого рода — плохіе мыслители; фантазія у нихъ развита на счетъ ума. Они не понимаютъ, что тайна національности каждаго народа заключается не въ его одеждѣ и кухнѣ, а въ его, такъ сказать, манерѣ понимать вещи. Чтобы вѣрно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность, его особенность, — а это нельзя иначе сдѣлать, какъ узнавъ фактически и оцѣнивъ философски ту сумму правилъ, которыми держится общество. У всякаго народа двѣ философіи: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая — ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обѣ эти философіи находятся болѣе или менѣе въ близкомъ соотношеніи другъ къ другу: и кто хочетъ изображать общество, тому надо познакомиться съ обѣими, но послѣднюю особенно необходимо изучить. Такъ точно, кто хочетъ узнать какой-нибудь народъ, тотъ прежде всего долженъ изучить его — въ его семейномъ, домашнемъ быту. Кажется, что бы за важность могли имѣть два такія слова, какъ, на примѣръ, авось и живетъ, а между тѣмъ они очень важны и, не понимая ихъ важности, иногда нельзя понять инаго романа, не только самому написать романъ. И вотъ глубокое знаніе этой-то обиходной философіи и сдѣлало «Онѣгина» и «Горе отъ Ума» произведеніями оригинальными и чисто-русскими.

Содержаніе «Онѣгина» такъ хорошо извѣстно всѣмъ и каждому, что нѣтъ никакой надобности излагать его подробно. Но, чтобъ добраться до лежащей въ его основаніи идеи, мы расскажемъ его въ этихъ немногихъ словахъ. Воспитанная въ деревенской глуши молодая, мечтательная дѣвушка влюбляется въ молодого петербургскаго — говоря нынѣшнимъ языкомъ — льва, который, наскучивъ свѣтскою жизнью, пріѣхалъ скучать въ свою деревню. Она рѣшается написать къ нему письмо, дышащее наивною страстію; онъ отвѣчаетъ ей на словахъ, что не можетъ ея любить, и что не считаетъ себя созданнымъ для «блаженства семейной жизни». Потомъ изъ пустой причины, Онѣгинъ вызванъ на дуэль женихомъ сестры нашей влюбленной героини и убиваетъ его. Смерть Ленскаго надолго разлучаетъ Татьяну съ Онѣгинымъ. Разочарованная въ своихъ юныхъ мечтахъ, бѣдная дѣвушка склоняется на слезы и мольбы старой своей матери и выходитъ замужъ за генерала, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онѣгинъ встрѣчаетъ Татьяну въ Петербургѣ и едва узнаетъ ее: такъ перемѣнилась она, такъ мало осталось въ ней сходства между простенькою деревенскою дѣвочкою и великолѣпною петербургскою дамою. Въ Онѣгинѣ вспыхиваетъ страсть къ Татьянѣ, онъ пишетъ къ ней письмо, и на этотъ разъ уже она отвѣчаетъ ему на словахъ, что хотя и любить его, тѣмъ не менѣе принадлежать ему не можетъ — по гордости добродѣтели. Вотъ и все содержаніе «Онѣгина». Многіе находили и теперь еще находятъ, что тутъ нѣтъ никакого содержанія, потому что романъ ничѣмъ не кончается. Въ самомъ дѣлѣ, тутъ нѣтъ ни смерти (ни отъ чахотки, ни отъ кинжала), ни свадьбы — этого привилегированнаго конца всѣхъ романовъ, повѣстей и драмъ, въ особенности русскихъ. Сверхъ того, сколько тутъ несообразностей! Пока Татьяна была дѣвушкою, Онѣгинъ отвѣчалъ холодностію на ея страстное признаніе; но когда она стала женщиною, — онъ до безумія влюбился

въ нее, даже не будучи увѣренъ, что она его любитъ. Неестественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характеръ у этого человѣка: холодно читаетъ онъ мораль влюбленной въ него дѣвушкѣ, вмѣсто того, чтобъ взять да тотчасъ и влюбиться въ нее самому, и потомъ, испросивъ по формѣ у ея дражайшихъ родителей ихъ родительскаго благословенія на вѣки нерушимаго, совокупиться съ нею узами законнаго брака и сдѣлаться счастливѣйшимъ въ мѣрѣ человѣкомъ. Потомъ: Онѣгинъ ни за что убиваетъ бѣднаго Ленскаго, этого юнаго поэта съ золотыми надеждами и радужными мечтами—и хотъ бы разъ заплакалъ о немъ или, по крайней мѣрѣ, проговорилъ патетическую рѣчь, гдѣ упоминалось бы объ окровавленной тѣни и проч. Такъ или почти такъ судили и судятъ еще и теперь объ «Онѣгинѣ» многіе изъ почтеннѣйшихъ читателей; по крайней мѣрѣ, намъ случилось слышать много такихъ сужденій, которыя во время оно бѣсили насъ, а теперь только забавляютъ. Одинъ великій критикъ даже печатно сказалъ, что въ «Онѣгинѣ» нѣтъ цѣлаго, что это просто поэтическая болтовня о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Великій критикъ основывался въ своемъ заключеніи, во-первыхъ, на томъ, что въ концѣ поэмы нѣтъ ни свадьбы, ни похоронъ, и, во-вторыхъ, на этомъ свидѣтельствѣ самого поэта:

Промчалось много, много дней
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ снѣ
Являлся впервые мнѣ—
И даль свободнаго романа
Я сквозь магическій кристаллъ
Еще не ясно различалъ.

Великій критикъ не догадался, что поэтъ, благодаря своему творческому инстинкту, могъ написать полное и оконченное сочиненіе, не обдумавъ предварительно его плана, и умѣлъ

остановиться именно тамъ, гдѣ романъ самъ собою чудесно заканчивается и развязывается—на картинѣ потерявшагося, послѣ объясненія съ Татьяною, Онѣгина. Но мы объ этомъ скажемъ въ своемъ мѣстѣ, равно какъ и о томъ, что ничего не можетъ быть естественнѣе отношеній Онѣгина къ Татьянѣ въ продолженіе всего романа, и что Онѣгинъ совсѣмъ не извергъ, не развратный человѣкъ, хотя въ то же время и совсѣмъ не герой добродѣтели. Къ числу заслугъ Пушкина принадлежитъ и то, что онъ вывелъ изъ моды и чудовищъ порока, и героевъ добродѣтели, рисуя вмѣсто ихъ просто людей.

Мы начали статью съ того, что «Онѣгинъ» есть поэтически вѣрная дѣйствительности картина русскаго общества въ извѣстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т. е. именно тогда, когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее—общество. Вслѣдствіе реформы Петра Великаго, въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдѣльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положеніе еще не производитъ общества: чтобъ оно сформировалось, нужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существованіе, и нужно было образованіе, которое давало бы ему не одно внѣшнее, но и внутреннее единство. Екатерина II, жалованною грамотою, опредѣлила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству — единственному сословію, которое при Екатеринѣ II-й достигло высшаго своего развитія и было просвѣщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вслѣдствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотою 1785 года, за вельможествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возникать мы разумѣемъ слово образовываться. Въ царствованіе Александра Благословеннаго значеніе этого, во всѣхъ отношеніяхъ лучшаго, сословія все увеличивалось и увеличивалось, потому

что образованіе все болѣе и болѣе проникало во все углы огромной провинціи, устьянной помѣщичьими владѣніями. Такимъ образомъ, формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностію, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одною охотою, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами: оно говорило и читало по французски, музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дѣтей. Державинъ, Фонъ-Визинъ и Богдановичъ — эти поэты, въ свое время извѣстные только одному двору, тогда сдѣлались болѣе или менѣе извѣстными и этому возникающему обществу. Но что всего важнѣе—у него явилась своя литература, уже болѣе легкая, живая, общественная и свѣтская, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ и журналовъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю, и черезъ это создалъ массу читателей, то Карамзинъ, своею реформою языка, направленіемъ, духомъ и формою своихъ сочиненій породилъ литературный вкусъ и создалъ публику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементъ, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на «Лизинъ прудъ», чтобъ «слезою чувствительности» почтить память горестной жертвы страсти и оболещенія. Стихотворенія Дмитріева, запечатлѣнные умомъ, вкусомъ, острою и граціею, имѣли такой же успѣхъ и такое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденная ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смѣшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого общества. Трагедія Озерова придали еще болѣе силы и блеска этому направленію. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть дѣтьми. Вскорѣ появился юноша-поэтъ, который въ эту сентиментальную литературу внесъ романтическіе элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрическаго стремле-

нія въ область чудеснаго и невѣдомаго, и который познакомилъ и породнилъ русскую музу съ музою Германіи и Англіи. Вліяніе литературы на общество было гораздо важнѣе, нежели какъ у насъ объ этомъ думаютъ: литература, сближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратило въ общество. Но, несмотря на то, не подлежитъ никакому сомнѣнію, что классъ дворянства былъ и по преимуществу представителемъ общества, и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличеніе средствъ къ народному образованію, учрежденіе университетовъ, гимназій, училищъ, заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великою эпохою для Россіи. Мы разумѣемъ здѣсь не только внѣшнее величіе и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутреннее пруспѣяніе въ гражданственности и образованіи, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до настоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны, 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудилъ ея спящія силы и открылъ въ ней новые, дотогѣ неизвѣстные источники силъ, чувствомъ общей опасности сплотилъ въ одну огромную массу коснѣвшія въ чувствѣ разъединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудилъ народное сознаніе и народную гордость, и всѣмъ этимъ способствовалъ зарожденію публичности, какъ началу общественнаго мнѣнія; кромѣ того, 12-й годъ нанесъ сильный ударъ коснѣющей старинѣ: вслѣдствіе его, исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревняхъ, не выѣзжая за заповѣдную черту ихъ владѣній; глушь и дичь быстро исчезали вмѣстѣ съ потрясенными остатками старины. Съ другой стороны, вся Россія въ лицѣ своего побѣдоноснаго войска, лицомъ къ лицу уви-

дѣлась съ Европою, пройдя по ней путемъ побѣды и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укрѣпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессъ русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ, — и въ «Онѣгинѣ» онъ рѣшился представить намъ внутреннюю жизнь этого сословія, а вмѣстѣ съ нимъ и общество, въ томъ видѣ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т. е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго столѣтія. И здѣсь нельзя не подивиться быстротѣ, съ которою движется впередъ русское общество: мы смотримъ на «Онѣгина», какъ на романъ времени, отъ котораго мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже такъ чужды намъ, такъ внѣ идеаловъ и мотивовъ нашего времени... «Герой нашего времени» былъ новымъ «Онѣгинымъ»: едва прошло четыре года, — и Печоринъ уже не современный идеаль. И вотъ въ какомъ смыслѣ сказали мы, что самые недостатки «Онѣгина» суть въ то же время и его величайшія достоинства: эти недостатки можно выразить однимъ словомъ — «старо»; но развѣ вина поэта, что въ Россіи все движется такъ быстро? — и развѣ это не великая заслуга со стороны поэта, что онъ такъ вѣрно умѣлъ схватить дѣйствительность извѣстнаго мгновенія изъ жизни общества? Еслибъ въ «Онѣгинѣ» ничто не казалось теперь устарѣвшимъ или отсталымъ отъ нашего времени, — это было бы явнымъ признакомъ, что въ этой поэмѣ нѣтъ истины, что въ ней изображено не дѣйствительно существовавшее, а воображаемое общество: въ такомъ случаѣ, что жъ бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней?...

Мы уже коснулись содержания Онѣгина: обратимся къ разбору характеровъ дѣйствующихъ лицъ этого романа. Несмотря на то, что романъ носитъ на себѣ имя своего героя, — въ

романѣ не одинъ, а два героя: Онѣгинъ и Татьяна. Въ обоихъ ихъ должно видѣть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдѣлалъ, выбравъ себѣ героя изъ высшаго круга общества. Онѣгинъ—отнюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества былъ только вѣкъ Екатерины II); Онѣгинъ—свѣтскій человѣкъ. Мы знаемъ, наши литераторы не любятъ свѣта и свѣтскихъ людей, хотя и помѣшаны на страсти изображать ихъ. Что касается лично до насъ, мы совсѣмъ не свѣтскіе люди и въ свѣтѣ не бываемъ; но не нитаемъ къ нему никакихъ мѣщанскихъ предубѣждений. Когда высшій свѣтъ изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Грибоевъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ, —мы любимъ литературное изображеніе большаго свѣта такъ же, какъ изображеніе всякаго другаго свѣта и не свѣта, съ талантомъ и знаніемъ выполненное. Только въ одномъ случаѣ не можемъ терпѣть большаго свѣта: именно, когда изображаютъ его сочинители, которымъ должны быть гораздо знакомѣ нравы кондитерскихъ и чиновничьихъ гостинныхъ, чѣмъ аристократическихъ салоновъ. Позвольте сдѣлать еще оговорку: мы отнюдь не смѣшиваемъ свѣтскости съ аристократизмомъ, хотя и чаще всего они встрѣчаются вмѣстѣ. Будьте вы человѣкомъ какого вамъ угодно происхожденія, держитесь какихъ вамъ угодно убѣждений, —свѣтскость васъ не испортить, а только улучшить. Говорятъ: въ свѣтѣ жизнь тратится на мелочи, самыя святятыя чувства приносятся въ жертву расчету и приличіямъ. Правда; но развѣ въ среднемъ кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разумъ не приносятся въ жертву расчету и приличію? О, нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Вся разница средняго свѣта отъ высшаго состоятъ въ томъ, что въ первомъ больше мелочности, претензій, чванства, лomanія, мелкаго честолюбія, принужденности и лицемерства. Говорятъ: въ свѣтской жизни много дурныхъ сторонъ. Правда; а развѣ въ не-свѣтской жизни—однѣ только

хорошія стороны? Говорять: свѣтъ убиваетъ вдохновеніе, и Шекспиръ и Шиллеръ не были свѣтскими людьми. Правда; но они не были и ни купцами, ни мѣщанами — они были просто людьми, такъ же точно, какъ и Байронъ—аристократъ свѣтскій человѣкъ, своимъ вдохновеніемъ болѣе всего обязанъ былъ тому, что онъ былъ человѣкъ. Вотъ почему мы не хотимъ подражать нѣкоторымъ нашимъ литераторамъ въ ихъ предубѣжденіяхъ противъ страшнаго для нихъ невидимки—большаго свѣта, и вотъ почему мы очень рады, что Пушкинъ героемъ своего романа взялъ свѣтскаго человѣка. И что же тутъ дурнаго? Высшій кругъ общества былъ въ то время уже въ апогеѣ своего развитія; притомъ, свѣтскость не помѣшала же Онѣгину сойтись съ Ленскимъ—этимъ наиболѣе страннымъ и смѣшнымъ въ глазахъ свѣта существомъ. Правда, Онѣгину было дико въ обществѣ Ларинныхъ; но образованность еще болѣе, нежели свѣтскость, была причиною этого. Не споримъ, общество Ларинныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина; но намъ, хоть мы и совсѣмъ не свѣтскіе люди, было бы въ немъ не совсѣмъ ловко—тѣмъ болѣе, что мы рѣшительно неспособны поддержать благоразумнаго разговора о псарнѣ, о винѣ, о о сѣнокошѣ, о роднѣ. Высшій кругъ общества въ то время до того былъ отдѣленъ отъ всѣхъ другихъ круговъ, что непринадлежавшіе къ нему люди поневолѣ говорили о немъ какъ до Колумба во всей Европѣ говорили объ антиподахъ и Атлантидѣ. Вслѣдствіе этого Онѣгинъ съ первыхъ же строкъ романа былъ принятъ за безнравственнаго человѣка. Это мнѣніе о немъ и теперь еще не совсѣмъ исчезло. Мы помнимъ, какъ горячо многіе читатели изъявляли свое негодованіе на то, что Онѣгинъ радуется болѣзни своего дяди и ужасается необходимости корчить изъ себя опечаленнаго родственника,

Вздыхать и думать про себя:
Когда же чортъ возьметъ тебя?

Многіе и теперь этимъ крайне недовольны. Изъ этого видно, какимъ важнымъ во всѣхъ отношеніяхъ произведеніемъ былъ

«Онѣгинъ» для русской публики, и какъ хорошо сдѣлалъ Пушкинъ, взявъ свѣтскаго человѣка въ герои своего романа. Къ особенностямъ людей свѣтскаго общества принадлежитъ отсутствіе лицемѣрства, въ одно и то же время грубаго и глупаго, добродушнаго и добросовѣстнаго. Если какой-нибудь бѣдный чиновникъ вдругъ видитъ себя наслѣдникомъ богатаго дяди-старика, готоваго умереть, — съ какими слезами, съ какою униженною предупредительностью будетъ онъ ухаживать за дядюшкою, — хотя этотъ дядюшка, можетъ-быть, во всю жизнь свою не хотѣлъ ни знать, ни видѣть племянника, и между ними ничего не было общаго. Однако-жь, не думайте, чтобъ со стороны племянника это было разсчетливымъ лицемѣрствомъ (разсчетливое лицемѣрство есть порокъ всѣхъ круговъ общества, и свѣтскихъ и не-свѣтскихъ): нѣтъ, въ слѣдствіе благотѣльнаго сотрясенія всей нервной системы, произведеннаго видомъ близкаго наслѣдства, нашъ племянникъ не шутя пришелъ въ умиленіе и почувствовалъ пламенную любовь къ дядюшкѣ, хотя и не воля дяди, а законъ, далъ ему право на наслѣдство. Стало-быть, это лицемѣрство добродушное, искреннее и добросовѣстное. Но вздумай его дядюшка вдругъ, ни съ того, ни съ сего, выздороветь: куда бы дѣвалась у нашего племянника родственная любовь, и какъ бы ложная горестъ вдругъ смѣнилась истинною горестью, и актёръ превратился бы въ человѣка! Обратимся къ Онѣгину. Его дядя былъ ему чуждъ во всѣхъ отношеніяхъ. И что можетъ быть общаго между Онѣгинымъ, который уже—

. равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ помѣщикомъ, который, въ глуши своей деревни,

Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ?

Скажутъ: онъ его благодѣтель. Какой же благодѣтель, если Онѣгинъ былъ законнымъ наслѣдникомъ его имѣнія? Тутъ благодѣтель—не дядя, а законъ, право наслѣдства. Каково же положеніе человѣка, который обязанъ играть роль огорченнаго, состраждающаго и нѣжнаго родственника при смертномъ одрѣ совершенно чуждаго и посторонняго ему человѣка? Скажутъ: кто обязывалъ его играть такую низкую роль? Какъ кто? Чувство деликатности, человѣчности. Если, почему бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себѣ человѣка, котораго знакомство для васъ и тяжело и скучно развѣ вы не обязаны быть съ нимъ вѣжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онѣгина проглядываетъ какая-то насмѣшливая легкость, — въ этомъ видѣнъ только умъ и естественность, потому что отсутствіе натянутой тяжелой торжественности въ выраженіи обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У свѣтскихъ людей это даже не всегда умъ, а чаще всего — манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манера — отличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько-нибудь по ихъ мнѣнію важномъ случаѣ. Всѣ знаютъ, что вотъ эта барыня жила съ своимъ мужемъ, какъ кошка съ собакою, и что она радѣхонька его смерти, и сама она очень хорошо понимаетъ, что всѣ это знаютъ, и что никого ей не обмануть; но отъ этого она еще громче охаетъ и ахаетъ, стонетъ и рыдаетъ, и тѣмъ безотвязнѣе мучить всѣхъ и cadaго описаніемъ добродѣтелей покойнаго, счастья, какимъ онъ дарилъ ее, и злополучія, въ какое повергъ ее своею кончиною. Мало того: эта барыня готова это же самое сто разъ повторять передъ господиномъ благонамѣренной наружности, котораго всѣ знаютъ за ея любовника. И чтѣ же—какъ этотъ господинъ благонамѣренной наружности, такъ и всѣ родственники, друзья и знакомые горькой, неутѣшной вдовы, слушаютъ все это съ печальнымъ

и огорченнымъ видомъ,—и если иные подъ рукою смѣются, за то другіе отъ души сокрушаются. И — повторяемъ — это не глупость, и не расчетливое лицемѣрство: это просто— принципъ мѣщанской, простонародной морали. Никому изъ этихъ людей не приходитъ въ голову спросить себя и другихъ:

Да изъ чего же вы бѣснуетесь столько?

Мало того: они считаютъ за грѣхъ подобный вопросъ, а еслибы рѣшились сдѣлать его, то сами надъ собою расхотались бы. Имъ не въ догадъ, что если тутъ есть о чемъ грустить, такъ это о пошлой комедіи добродушнаго лицемѣрства, которую всѣ такъ усердно и такъ искренно разыгрываютъ.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же вопросу, сдѣлаемъ небольшое отступленіе. Въ доказательство, какимъ важнымъ явленіемъ не въ одномъ эстетическомъ отношеніи былъ для нашей публики «Онѣгинъ» Пушкина, и какими новыми, смѣлыми мыслями казались тогда въ немъ теперь самыя старыя и даже робкія полу-мысли—приведемъ изъ него этотъ куплетъ:

Гмъ! Гмъ! читатель благородной,
Здорува-ль ваша вся родня?
Позвольте: можетъ-быть, угодно
Теперь узнать вамъ отъ меня,
Что значать именно *родные*.
Родные люди вотъ какіе:
Мы ихъ обязаны ласкать,
Любить, душевно уважать,
И по обычаю народа,
О Рождествѣ ихъ навѣщать,
Или по почтѣ поздравлять,
Чтобъ въ остальное время года
О насъ не думали они...
И такъ, дай Богъ имъ долги дни!

Мы помнимъ, что этотъ невинный куплетъ, со стороны большей части публики, навлекъ упрекъ въ безнравственности уже не на Онѣгина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовѣстное лицемѣрство, о которомъ мы сейчасъ говорили? Братья тягачутся съ братьями объ имѣніи, и часто питаютъ другъ къ другу такую остревѣлую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства нерѣдко бываетъ ни чѣмъ инымъ, какъ правомъ — бѣдному подличать передъ богатымъ изъ подачки, богатому — презирать докучнаго бѣдняка и отдѣлываться отъ него ничѣмъ; равно богатымъ — завидовать другъ другу въ усиѣхахъ жизни; вообще же — право вмѣшиваться въ чужія дѣла, давать ненужные и бесполезные совѣты. Гдѣ ни поступите вы, какъ человѣкъ съ характеромъ и съ чувствомъ своего человѣческаго достоинства, — вездѣ вы оскорбите принципъ родства. Вздумали вы жениться — просите совѣта; не попросите его — вы опасный мечтатель, вольнодумецъ; попросите — вамъ укажутъ невѣсту; женитесь на ней и будете несчастны — вамъ же скажутъ: «то-то же, братецъ, вотъ каково безъ оглядки-то предпринимать такія важныя дѣла; я вѣдь говорилъ...» Женитесь по своему выбору — еще хуже бѣда. — Какія еще права родства? мало ли ихъ! Вотъ, напримѣръ, этого господина, такъ похожаго на Ноздрева, будь онъ вамъ чужой, вы не пустили бы даже въ свою конюшню, опасаясь за нравственность вашихъ лошадей; но онъ вамъ родственникъ, — и вы принимаете его у себя въ гостиной и въ кабинетѣ, и онъ вездѣ позоритъ васъ именемъ своего родственника. Родство даетъ прекрасное средство къ занятію и развлеченію: случилась съ вами бѣда, — и вотъ для вашихъ родственниковъ чудесный случай сѣзжаться къ вамъ, ахать, охать, качать головою, судить, рядить, давать совѣты и наставленія, дѣлать упреки, а потомъ вездѣ развозить эту новость, порицая и браня васъ за глаза, вѣдь извѣстно: че-

ловѣкъ въ бѣдѣ всегда виновать, особенно въ глазахъ своихъ родственниковъ. Все это не для кого не ново, но то бѣда, что это всѣ чувствуютъ, но немногіе это сознають: привычка къ добродушному и добросовѣстному лицемерству побѣждаетъ разсудокъ. Есть такіе люди, которые способны смертельно обидѣться, если огромная семья родни, пріѣхавъ въ столицу, остановится не у нихъ; а остановись она у нихъ,—они же будутъ не рады; но ропща, бранясь и всѣмъ жалуясь подъ рукою, они передъ родственною семейкою будутъ расточать любезности и возьмутъ съ нея слово—опять остановиться у нихъ и вытѣснить ихъ, во имя родства, изъ ихъ собственнаго дома. Чтò это значить? Совсѣмъ не то, чтобы родство у подобныхъ людей существовало какъ принципъ, а только то, что оно существуетъ у нихъ, какъ фактъ: внутренно, по убѣжденію никто изъ нихъ не признаетъ его, но по привычкѣ, по бессознательности и по лицемерству всѣ его признають.

Пушкинъ охарактеризовалъ родство этого рода въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ, у многихъ, какъ оно есть въ самомъ дѣлѣ, слѣдовательно, справедливо и истинно,—и на него осердились, его назвали безнравственнымъ; стало-быть, еслибы онъ описалъ родство между нѣкоторыми людьми такимъ, какимъ оно не существуетъ, т. е. невѣрно и ложно,—его похвалили бы. Все это значить ни больше, ни меньше, какъ то, что нравственна одна ложь и неправда... Вотъ къ чему ведетъ добродушное и добросовѣстное лицемерство! Нѣтъ, Пушкинъ поступилъ нравственно, первый сказавъ истину, потому что нужна благородная смѣлость, чтобы первому рѣшиться сказать истину. И сколько такихъ истинъ сказано въ «Онѣгинѣ»! Многія изъ нихъ и не новы и даже не очень глубоки; но еслибы Пушкинъ не сказалъ ихъ двадцать лѣтъ назадъ, онѣ теперь были бы и новы и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что онъ первый высказалъ эти устарѣвшія и уже не глубокія теперь истины. Онъ

бы могъ насказать истинъ болѣе безусловныхъ и болѣе глубокихъ, но, въ такомъ случаѣ, его произведеніе было бы лишено истинности: рисуя русскую жизнь, оно не было бы ея выраженіемъ. Гений никогда не упреждаетъ своего времени, но всегда только угадываетъ его не для всѣхъ видимое содержаніе и смыслъ.

Большая часть публики совершенно отрицала въ Онѣгинѣ душу и сердце, видѣла въ немъ человѣка холоднаго, сухаго и эгоиста по натурѣ. Нельзя ошибочнѣе и кривѣе понять человѣка! Этого мало: многіе добродушно вѣрили и вѣрять, что самъ поэтъ хотѣлъ изобразить Онѣгина холоднымъ эгоистомъ. Это уже значить — имѣя глаза, ничего не видѣть. Свѣтская жизнь не убила въ Онѣгинѣ чувства, а только охолодила къ безплоднымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Вспомните строфы, въ которыхъ поэтъ описываетъ свое знакомство съ Онѣгинымъ:

Условій свѣта свергнувъ бремя,
Какъ онъ, отставъ отъ суеты,
Съ нимъ подружился я въ то время.
Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И ртзкій ослабжденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ;
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.
Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней:
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змія воспоминаній,
Того раскаянье грызеть.

Все это часто придаетъ
Большую прелесть разговору.
Сперва Онѣгина языкъ
Меня смущалъ; но я привыкъ
Къ его язвительному спору,
И къ шуткѣ съ желчью пополамъ;
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.
Какъ часто лѣтнею порою,
Когда прозрачно и свѣтло
Ночное небо надъ Невою,
И водъ веселое стекло
Не отражаетъ ликъ Дианы,
Вспомня прежнихъ лѣтъ романы,
Вспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы
Перенесенъ колодникъ сонной,
Такъ уносились мы мечтой
Къ началу жизни молодой.

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ, по крайней мѣрѣ, то, что Онѣгинъ не былъ ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, что въ душѣ его жила поэзія, и что вообще онъ былъ не изъ числа обыкновенныхъ, дюжинныхъ людей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность, при созерцаніи красотъ природы и при воспоминаніи о романахъ и любви прежнихъ лѣтъ: все это говоритъ больше о чувствѣ и поэзіи, нежели о холодности и сухости. Дѣло только въ томъ, что Онѣгинъ не любилъ расплываться въ мечтахъ, больше чувствовалъ, нежели говорилъ, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей природы, потому что человѣкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собою. Дюжинные люди всегда довольны собою, а если имъ везетъ, то и всѣми. Жизнь не обманываетъ глупцовъ; напротивъ, она все даетъ

имъ, благо немногаго просять они отъ нея — корма, пойма, тепла, да кой-какихъ игрушекъ, способныхъ тѣшить пошлое и мелкое самолюбие. Разочарованіе въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себѣ (если только оно истинно и просто, безъ фразъ и щегольства «нарядною печалью») свойственно только людямъ, которые, желая «многаго», не удовлетворяются «ничѣмъ». Читатели помнятъ описаніе (въ VII главѣ) кабинета Онѣгина: весь Онѣгинъ въ этомъ описаніи. Особенно поразительно исключеніе изъ опалы двухъ, или трехъ романовъ,

Въ которыхъ отразился вѣкъ,
И современный человекъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивый и сухой,
Мечтанью преданный безвѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

Скажутъ: это портретъ Онѣгина. Пожалуй, и такъ; но это еще болѣе говорить въ пользу нравственного превосходства Онѣгина, потому что онъ узналъ себя въ портретѣ, который, какъ двѣ капли воды, похожъ на столь многихъ, но въ которомъ узнаютъ себя столь немногіе, а большая часть «украдкою киваетъ на Петра». Онѣгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдалъ отъ его поразительнаго сходства съ дѣтьми нынѣшняго вѣка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдѣлали Онѣгина похожимъ на этотъ портретъ, а вѣкъ.

Связь съ Ленскимъ—этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ понравился нашей публикѣ, всего громче говорить противъ мнимаго бездушія Онѣгина.

Онѣгинъ презиралъ людей,

Но правилъ нѣтъ безъ исключеній:
Иныхъ онъ очень отличалъ,

И вчушь чувство уважалъ.
Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой:
Поэта пылкій разговоръ,
И умъ еще въ сужденьяхъ зыбкой,
И вѣчно вдохновенный взоръ —
Онъ гину все было ново;
Онъ охлаждающее слово
Въ устахъ старался удержать,
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать
Его минутному блаженству,
И безъ меня пора прійдетъ;
Пускай покажеть онъ живеть
Да вѣрить міра совершенству;
Простимъ горячкѣ юныхъ лѣтъ
И юный жаръ, и юный бредъ.
Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Пламень минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предрасудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь, въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду.

Дѣло говорить само за себя: гордая холодность и сухость, надменное бездушіе Онъгина, какъ человѣка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ вѣрно созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчерпаемъ весь вопросъ.

Чудака печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангель, сей надменный бвсъ,
Что-жь онъ? — ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ;
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ...
Ужь не пародія ли онъ?

.....
«Все тотъ же-ль онъ, иль усмирися?
Иль корчить также чудака?
Скажите, чѣмъ онъ возвратился?
Что намъ представить онъ пока?
Чѣмъ нынѣ явится? Мельмотомъ,
Космополитомъ, патриотомъ,
Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой,
Иль маской щегольнетъ иной?
Иль просто будетъ добрый малой,
Какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ?
По крайней мѣрѣ мой совѣтъ:
Отстать отъ моды обветшалои.
Довольно онъ морочилъ свѣтъ...
— Знакомъ онъ вамъ?— «*И да, и нѣтъ*».
— Зачѣмъ же такъ неблагоосклонно
Вы отзываетесь о немъ?
За то-ль, что мы неугомонно
Хлопочемъ, судимъ обо всемъ,
*Что пыжили душъ неосторожность
Самолубивую ничтожность
Иль оскорбляетъ иль смѣшитъ;*
Что ужъ, любя просторъ, тѣснитъ;
Что слишкомъ часто разговоры
Принять мы рады за дѣла;
Что глупость вѣтрена и зла;
Что важнымъ людямъ важны вздоры,
*И что посредственность одна
Намъ по плечу и не странна?*
Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во время созрѣлъ,
Кто постепенно жизни холодъ
Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ;
Кто страннымъ снамъ не предавался;
Кто черни свѣтской не чуждался;
Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ **или хватъ**,
А въ тридцать выгодно женатъ;
Кто въ пятьдесятъ освободился
Отъ частныхъ и другихъ долговъ;
Кто славы, денегъ и чиновъ
Спокойно въ очередь добился;

О комъ твердили цѣлый вѣкъ:
N. N. прекрасный человекъ.
Но грустно думать, что напрасно
Была намъ молодость дана,
Что измѣняли ей всечасно,
Что обманула насъ она;
Что наши лучшія желанья,
Что наши свѣжія мечтанья
Истлѣли быстрой чередой,
Какъ листья осенью гнилой.
Несносно видѣть предъ собою
Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,
Глядѣть на жизнь какъ на обрядъ,
И вслѣдъ за чинною толпою
Идти, не раздѣляя съ ней
Ни общихъ мнѣній, ни страстей.

Эти стихи—включъ къ тайнѣ характера Онѣгина. Онѣгинъ— не Мельмотъ, не Чайльдъ - Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій человекъ, а просто— «добрый малый, какъ вы да я, какъ цѣлый свѣтъ». Поэтъ справедливо называетъ «обветшалою модою» вездѣ находить, или вездѣ искать все геніевъ, да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Онѣгинъ — добрый малый, но, при этомъ, недюжинный человекъ. Онъ не годится въ геніи, не лѣзетъ въ великіе люди, но бездѣятельность и пошлость жизни душиать его, онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется; но онъ знаетъ, и очень хорошо знаетъ, что ему не надо, что ему не хочется того, чѣмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственнымъ», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воспитанъ Онѣгинъ и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совсѣмъ такое воспитаніе. Блестящій юноша, онъ былъ увлеченъ свѣтомъ, подобно многимъ; но скоро наскучилъ имъ и оставилъ его, какъ

это дѣлають слишкомъ немногіе. Въ душѣ его тлѣлась искра надежды — воскреснуть и освѣжиться въ тиши уединенія, на лонѣ природы; но онъ скоро увидѣлъ, что перемѣна мѣстъ не измѣняетъ сущности нѣкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Два дни ему казались новы
Уединенныя поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихаго ручья;
На третій роцѣ, холмъ и поле
Его не занимали болѣ,
Потомъ ужъ наводили сонъ;
Потомъ увидѣлъ ясно онъ,
Что и въ деревнѣ скука та же,
Хоть нѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ,
Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ.
Хандра ждала его на стражъ,
И бѣгала за нимъ она,
Какъ тѣнь, или вѣрная жена.

Мы доказали, что Онѣгинъ не холодный, не сухой, не бездушный человѣкъ, но мы до сихъ поръ избѣгали слова эгоистъ, — и такъ какъ избытокъ чувства, потребность изящнаго не исключаютъ эгоизма, то мы скажемъ теперь, что Онѣгинъ — страдающій эгоистъ. Эгоисты бываютъ двухъ родовъ. Эгоисты перваго разряда — люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимаютъ, какъ можетъ человѣкъ любить кого-нибудь кромѣ самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дѣла идутъ плохо — они худошавы, блѣдны, злы, низки, подлы, предатели, клеветники; если ихъ дѣла идутъ хорошо — они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами дѣлиться ни съ кѣмъ не стануть, но угощать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе бесполезныхъ имъ людей. Это эгоисты

по натурѣ, или по причинѣ дурнаго воспитанія. Эгоисты втораго разряда почти никогда не бываютъ толсты и румяны; по большей части этотъ народъ больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездѣ ища то счастья, то разсѣянія, они нигдѣ не находятъ ни того, ни другаго съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляютъ ихъ. Эти люди часто доходятъ до страсти къ добрымъ дѣйствіямъ, до самоотверженія въ пользу ближнихъ; но бѣда въ томъ, что они и въ добрѣ хотятъ искать то счастья, то развлеченія, тогда какъ въ добрѣ слѣдовало бы имъ искать только добра. Если подобные люди живутъ въ обществѣ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своею дѣятельностію къ осуществленію идеала истины и блага, — о нихъ безъ запинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдѣлали ихъ эгоистами. Но нашъ Онѣгинъ не принадлежитъ ни къ тому, ни къ другому разряду эгоистовъ. Его можно назвать эгоистомъ по неволѣ; въ его эгоизмѣ должно видѣть то, что древніе называли «*fatum*». Благая, благотворная, полезная дѣятельность! Зачѣмъ не предался ей Онѣгинъ? Зачѣмъ не искалъ онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачѣмъ? зачѣмъ? — Зачѣмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дѣльнымъ отвѣчать...

Одинъ среди своихъ владѣній,
Чтобъ только время проводить,
Сперва задумалъ нашъ Евгеній
Порядокъ новый учредить.
Въ своей глуши мудрецъ пустынной,
Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ;
Мужикъ судьбу благословилъ.
За то въ углу своемъ надулся,
Увидя въ этомъ страшный вредъ,
Его разсчетливый сосѣдъ;
Другой лукаво улыбнулся.

И въ голосъ *оъ* рѣшили такъ,
 Что овъ опасѣйшій чудакаъ.
 Сначала *оъ* къ нему вѣжали;
 Но такъ какъ съ задниго крыльца
 (обыкновенно подавали
 Ему донскаго жеребца.
 Лишь только вдоль большой дороги
 Заслышитъ ихъ домашни дроги:
 Поступкомъ оскорбясъ такимъ.
 Въ дружбу прекратили съ нимъ.
 «Сосѣдъ нашъ неучъ. сумасбродить.
 «Онъ фармазонъ; онъ пьетъ одно
 «Стаканомъ красное вино;
 Онъ дамамъ къ ручкѣ не подходитъ:
 «Все *да да нить*, не скажетъ *да-съ*
 «Иль *нить-съ*. Таковъ былъ общій гласъ.

Что-нибудь дѣлать можно только въ обществѣ, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самою дѣйствительностью, а не теорією; но что бы сталъ дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика, конечно, много значило для мужика; но со стороны Онѣгина тутъ еще немного было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удастся что-нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ рассказываютъ объ этомъ всему міру, и такимъ образомъ бываютъ пріятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣгинъ былъ не изъ такихъ людей: важное и великое для многихъ для него было не Богъ знаетъ чѣмъ.

Случай свелъ Онѣгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго. Онѣгинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой, послѣ перваго визита, Онѣгинъ зѣваетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну принялъ за невѣсту своего пріятеля, и, узнавъ о своей ошибкѣ, удивляется его выбору, говоря, что еслибъ онъ самъ былъ поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охлажденному человѣку стоило одного или двухъ невнима-

тельныхъ взглядовъ, чтобъ понять разницу между обѣими сестрами, — тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совѣмъ не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простенькая дѣвочка, которая совѣмъ не стояла того, чтобъ за нее рисковать убить пріятеля, или самому быть убитымъ. Между тѣмъ какъ Онѣгинъ зѣвалъ — «по привычкѣ,» говоря его собственнымъ выраженіемъ, и нисколько не заботясь о семействѣ Лариныхъ, — въ этомъ семействѣ его пріѣздъ завязалъ страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Онѣгинъ, получивъ письмо Татьяны, могъ не влюбиться въ нее, — и еще болѣе, какъ тотъ же самый Онѣгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной дѣвушки, потомъ страстно влюбился въ великолѣпную свѣтскую даму? Въ самомъ дѣлѣ, есть чему удивляться. Не беремся рѣшить вопроса, но поговоримъ о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактѣ возможность психологическаго вопроса, мы тѣмъ не менѣе нисколько не находимъ удивительнымъ самого факта. Впервыхъ, вопросъ, почему влюбился или почему не влюбился, или почему въ то время не влюбился, — такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имѣетъ свои законы — правда; но не такіе, изъ которыхъ легко было бы составить полный систематическій кодексъ. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій могутъ и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаетъ элементъ чисто непосредственный, влеченіе инстингуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправданіе нѣсколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана лучше яснаго сокола», — кто отвергаетъ это, тотъ не понимаетъ любви. Еслибъ выборъ въ любви рѣшался только волею и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ нѣсколькихъ равно достойныхъ лицъ выби-

рается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченіи сердца. Но бываетъ и такъ, что люди, кажется, созданные одинъ для другаго, остаются равнодушны другъ къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нисколько себѣ не подѣ-пару. Поэтому, Онѣгинъ имѣлъ полное право, безъ всякаго опасенія подпасть подѣ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дѣвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ поступилъ равно ни нравственно, ни безнравственно. Этого вполне достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онѣгинъ былъ такъ уменъ, тонокъ и опытенъ, такъ хорошо понималъ людей и ихъ сердце, что не могъ не понять изъ письма Татьяны, что эта бѣдная дѣвушка одарена страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дѣтски простодушна, и что она нисколько не похожа на тѣхъ кокетокъ, которыя такъ надоѣли ему съ ихъ чувствами то легкими, то поддѣльными. Онъ былъ живо тронутъ письмомъ ея:

Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмутилъ;
И вспомнилъ онъ Татьяны милой
И блѣдный цвѣтъ, и видъ унылой;
*И въ сладостный безрѣшный сонъ
Душою погрузился онъ.*
Быть можетъ, чувствій пылъ старинной
Имъ на минуту овладѣлъ;
Но обмануть онъ не хотѣлъ
Довѣрчивость души невинной.

Въ письмѣ своемъ къ Татьянѣ (въ VIII главѣ) онъ говоритъ, что замѣтя въ ней искру нѣжности, онъ не хотѣлъ ей повѣрить (т. е. заставилъ себя не повѣрить), не далъ хода милой привычкѣ и не хотѣлъ разстаться съ своей постылой свободою. Но если онъ оцѣнилъ одну сторону любви Татьяны, въ то же самое время онъ такъ же ясно видѣлъ.

и другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такою младенчески прекрасною любовью и увлечься ею до желанія отвѣчать на нее, значило бы для Онѣгина рѣшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэтъ, выразившій въ Онѣгинѣ много своего собственнаго, такъ изъясняется на этотъ счетъ, говоря о Ленскомъ:

Гимена хлопоты, печали,
Зѣвоты хладная череда
Ему не снились никогда,
Межь тѣмъ, какъ мы, враги Гимена,
Въ домашней жизни зримъ одинъ
Рядъ утомительныхъ картинъ
Романъ во вкусѣ Лафонтена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумалъ о послѣднемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, перегорѣвшій въ страстяхъ, извѣдавшій жизнь и людей, еще кипѣвшій какими-то самому ему неясными стремленіями, — онъ, котораго могло занять и наполнить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронію, — онъ увлекся бы младенческой любовью дѣвочки-мечтательницы, которая смотрѣла на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотрѣть... И что же судила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашелъ онъ потомъ въ Татьянѣ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не можетъ, подобно ей, дѣтски смотрѣть на жизнь и дѣтски играть въ любовь, — а это, согласитесь, очень скучно; или существо которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имѣло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего

характера. Последнее спокойнѣе, но за-то еще скучнѣе. И это ли поэзія и блаженство любви!...

Разлученный съ Татьяною смертью Ленскаго, Онѣгинъ лишился всего, что хотя сколько-нибудь связывало его съ людьми.

Убивъ на поединкѣ друга,
Доживъ безъ цѣли, безъ трудовъ,
До двадцати-шести годовъ,
Томясь въ бездѣйствіи досуга,
Безъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ,
Ничѣмъ заняться не умѣлъ;
Имъ овладѣло безпокойство,
Охота къ переизмѣнѣ мѣсть
(Весьма мучительное свойство.
Немногихъ добровольный крестъ).

Между прочимъ, былъ онъ и на Кавказѣ, и смотрѣлъ на блѣдный рой тѣней, толпившійся около цѣлебныхъ струй Машука:

Питан горьки размышленья,
Среди печальной ихъ семьи,
Онѣгинъ взоромъ сожалѣнья
Глядѣлъ на дымяныя струи
И мыслилъ. грустью отуманенъ:
Зачѣмъ я пудей въ грудь не раненъ!
Зачѣмъ не хилый я старикъ.
Какъ этотъ блѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка.
Чего мнѣ ждать! тоска, тоска!...

Какая жизнь! Вотъ оно, то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ и въ прозѣ, на которое столь многіе жалуются, какъ будто и въ самомъ дѣлѣ знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль,

безъ драпировки, безъ фразъ, страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тѣмъ ужаснѣе!... Спать ночью, зѣвать днемъ, видѣть, что всѣ изъ чего-то хлопочутъ, чѣмъ-то заняты, одинъ деньгами, другой — женитьбою, третій — болѣзнію, четвертый — нуждою и кровавымъ потокомъ работы, — видѣть вокругъ себя и веселье и печаль, и смѣхъ и слезы, видѣть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Вѣчному Жиду, который, среди волнующейся вокругъ него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствѣ: это страданіе не всѣмъ понятное, но оттого не меньше страшное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модною причудою. И чѣмъ естественнѣе, проще страданіе Онѣгина, чѣмъ дальше оно отъ всякой эффектности, тѣмъ оно менѣе могло быть понято и оцѣнено большинствомъ публики. Въ двадцатьшесть лѣтъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изнемочь, устать, ничего не сдѣлавъ, дойти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убѣжденія: это смерть! Но Онѣгину не суждено было умереть, не отвѣдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоскѣ силы его духа. Встрѣтивъ Татьяну на балѣ, въ Петербургѣ, Онѣгинъ едва могъ узнать ее, такъ перемѣнилась она! Мужъ Татьяны такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногъ охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

. . . . И вѣхъ выше
И носъ и плечи поднималъ
Вошедшій съ нею генералъ, —

мужъ Татьяны представляетъ ей Онѣгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая

эту главу, ожидали громозвучнаго оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мнѣнію, должна повиснуть на шеѣ у Онѣгина. Но какое разочарованіе для нихъ!

Княгиня смотритъ на него...
И, что ей душу ни смутило.
Какъ сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не измѣнило:
Въ ней сохранился тотъ же тонъ;
Былъ также тихъ ея поклонъ.
Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась.
Иль стала вдругъ блѣдна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась;
Не сжала даже губъ она.
Хоть онъ глядѣлъ нельзя прилежнѣй.
Но и слѣдовъ Татьяны прежней
Не могъ Онѣгинъ обрѣсти.
Съ ней рѣчь хотѣлъ онъ завести
И—и не могъ. Она спросила,
Давно ль онъ здѣсь, откуда онъ,
И не изъ ихъ ли ужъ сторонъ?
Потомъ къ супругу обратила
Усталый взглядъ; скользнула вонъ..
И недвижимъ остался онъ.
Уже-ль та самая Татьяна,
Которой онъ наединѣ,
Въ началѣ нашего романа,
Въ глухой, далекой сторонѣ,
Въ благомъ пылу нравоученья,
Читалъ когда-то наставленья,
Та, отъ которой онъ хранитъ
Письмо, гдѣ сердце говоритъ.
Гдѣ все наружъ, все на волю.
Та дѣвочка... иль это сонъ?..
Та дѣвочка, которой онъ
Пренебрегалъ въ смиренной долѣ.
Ужели съ нимъ сейчасъ была
Такъ равнодушна, такъ сжаль?

.....
Что съ нимъ? въ какомъ ояъ странномъ снѣ?
Что шевельнулось въ глубинѣ
Души холодной и лѣнливой?
Досада? суетность? или вновь
Забота юности—любовь?

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти приѣсь мелкіхъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы рѣшительно несогласны съ этимъ мнѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толпѣ, благо пришлось ей по плечу:

О, люди, всеъ похожи вы
На прародительницу Еву:
Что вамъ дано, то не влечетъ;
Вась непрестанно змій зоветъ
Къ себѣ, къ таинственному древу:
Запретный плодъ вамъ подавай,
А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемъ о достоинствѣ человѣческой природы, и убѣждены, что человѣкъ рождается не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-законное наслажденіе благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человѣкѣ, но въ обществѣ; такъ какъ общества, понимаемая въ смыслѣ формы человѣческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то не удивительно, что въ нихъ только и видишь много преступленій. Этимъ же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ мірѣ, считается законнымъ въ новомъ, и наоборотъ; почему у каждаго народа и каждаго вѣка свои понятія о нравственности, законномъ и преступномъ. Человѣчество еще далеко не дошло до той степени совершенства,

на которой всё люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собою въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ, справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ они уже согласились, что не солнце вокругъ земли, а земля вокругъ солнца обращается, и во множествѣ математическихъ аксіомъ. До тѣхъ же поръ преступленіе будетъ только по наружности преступленіе, а внутренно, существенно—непризнаніемъ справедливости и разумности того или другаго закона. Было время, когда родители видѣли въ своихъ дѣтяхъ своихъ рабовъ и считали себя вправѣ насиловать ихъ чувства и склонности самыя священныя. Теперь, если дѣвушка, чувствуя отвращеніе къ господину благонамѣренной наружности, за котораго ее хотятъ насильно выдать, и любя страстно человѣка, съ которымъ ее насильно разлучаютъ, — послѣдуетъ влеченію своего сердца и будетъ любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ, или въ чей чинъ влюблены ея дражайшіе родители: неужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости внѣшнихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуетъ безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви, — что оно такое, если оно согласовано съ внѣшними условіями?—Пѣсня соловья, или жаворонка въ золотой клѣткѣ. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца?—Торжественная пѣснь соловья на закатѣ солнца, въ таинственной сѣни склонившихся надъ рѣкою ивъ; вольная пѣснь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрѣлою, то падаетъ съ неба, то, трепеща крыльями, не двигаясь съ мѣста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ эфирѣ... Птица любитъ волю; страсть есть поэзія и цвѣтъ жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будетъ воли?...

Письмо Онѣгина къ Татьянѣ горитъ страстью; въ немъ уже нѣтъ ироніи, нѣтъ свѣтской умѣренности, свѣтской

маски. Онѣгинъ знаетъ, что онъ, можетъ-быть, подаетъ поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смѣшнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась идолу суеты — и въ такомъ случаѣ, конечно, роль Онѣгина была бы очень смѣшна и жалка. Но въ свѣтѣ наружность никогда и ни въ чемъ не убѣждаетъ: тамъ всѣ слишкомъ хорошо владѣютъ искусствомъ быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается отъ судорогъ. Онѣгинъ могъ не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собою, и свѣтъ научилъ ее только искусству владѣть собою и серьезно смотрѣть на жизнь. Благодатная натура не гибнетъ отъ свѣта, вопреки мнѣнію мѣщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свѣтъ представляетъ точно столько же средствъ, сколько и большой. Вся разница въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свѣтѣ должна была казаться Онѣгину Татьяна, — уже не мечтательная дѣвушка, повѣрявшая лунѣ и звѣздамъ свои задушевные мысли и разгадывавшая сны по книгѣ Мартына Задеки, но женщина, которая знаетъ цѣну всему, что дано ей, которая много потребуетъ, но много и дастъ. ореоль свѣтскости не могъ не возвысить ее въ глазахъ Онѣгина: въ свѣтѣ, какъ и вездѣ, люди бываютъ двухъ родовъ — одни привязываются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видятъ назначеніе жизни, — это чернь; другіе отъ свѣта заимствуютъ знаніе людей и жизни, тактъ дѣйствительности и способность вполнѣ владѣть всѣмъ, что дано имъ природою. Татьяна принадлежала къ числу послѣднихъ, и значеніе свѣтской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины. Притомъ же, въ глазахъ Онѣгина любовь безъ борьбы не имѣла никакой прелести, а Татьяна не общала ему легкой побѣды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побѣду, безъ раз-

счета, со всёмъ безумствомъ искренней страсти, которая такъ и дышетъ въ каждомъ словѣ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатлѣнія. Послѣ нѣсколькихъ посланій, встрѣтившись съ нею, Онѣгинъ не замѣтилъ ни смятенія, ни страданія, ни пятенъ слезъ на лицѣ — на немъ отражался лишь слѣдъ гнѣва... Онѣгинъ на цѣлую зиму заперся дома и принялся читать:

И что-жь? Глаза его читали.
Но мысли были далеко;
Мечты, желанія, печали
Тѣснились въ душу глубоко.
*Онъ межъ печатными строками
Читалъ дуговыми глазами
Другія строки.* Въ нихъ-то онъ
Былъ совершенно углубленъ.
То были тайныя преданья
Сердечной, темной старины,
Ни съ чѣмъ несвязанные сны.
Угрозы, толки, предсказанья.
Иль длинной сказки вздоръ живою.
Иль письма дѣвы молодой.
И постепенно въ усыпленье
И чувствъ и думъ впадаетъ онъ.
А передъ нимъ воображенье
Свой пестрый мечетъ фараонъ.
То видитъ онъ: на таломъ снѣгѣ,
Какъ-будто спящій на ночлегъ,
Недвижимъ юноша лежитъ,
И слышитъ голосъ: что-жь? убить!
То видитъ онъ враговъ забвенныхъ,
Клеветниковъ и трусовъ злыхъ.
И рой измѣнницъ молодыхъ,
И кругъ товарищей презрѣнныхъ;
То сельскій домъ—и у окна
Сидитъ она... и все она!...

Мы не будемъ распространяться теперь о сценѣ свиданія и объясненія Онѣгина съ Татьяною, потому что главная роль

въ этой сценѣ принадлежитъ Татьянѣ, о которой намъ еще предстоитъ много говорить. Романъ оканчивается отвѣдью Татьяны, и читатель навсегда расстаётся съ Онѣгинымъ въ самую злую минуту его жизни... Чтò же это такое? Гдѣ же романъ? Какая его мысль? И чтò за романъ безъ конца? — Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ нѣтъ конца, потому что въ самой дѣйствительности бываютъ событія безъ развязки, существованія безъ цѣли, существа неопредѣленные, никому непонятныя, даже самимъ себѣ, словомъ то, что по французски называется *les êtres manqués, les existences avortées*. И эти существа часто бываютъ одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; общаются много, исполняютъ мало, или ничего не исполняютъ. Это зависитъ не отъ нихъ самихъ; тутъ есть *fatum*, заключающійся въ дѣйствительности, которою окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человѣка освободиться. Другой поэтъ представилъ намъ другаго Онѣгина подъ именемъ Печорина: Пушкинскій Онѣгинъ съ какимъ-то самоотверженіемъ отдался зѣвотѣ; Лермонтовскій Печоринъ бьется на-смерть съ жизнію и насильно хочетъ у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ—разница, а результатъ одинъ: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь и дѣятельность обоихъ поэтовъ...

Чтò стало съ Онѣгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болѣе сообразнаго съ человѣческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всѣ силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую, холодную апатію? — Не знаемъ, да и на чтò намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой природы остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотѣть больше ничего знать...

Онѣгинъ — характеръ дѣйствительный, въ томъ смыслѣ,

что въ немъ нѣтъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дѣйствительности и черезъ дѣйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно противоположный, характеру Онѣгина, характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый дѣйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дѣйствительно начали появляться въ русскомъ обществѣ.

Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэтъ,
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ.
.
Онъ пѣлъ любовь, любви послушный,
И пѣснь его была ясна,
Какъ мысли дѣвы простодушной,
Какъ сонъ младенца, какъ луна
Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ,
Богиня тайнъ и вздоховъ нѣжныхъ.
Онъ пѣлъ *разлуку* и *печаль*.
И *нѣчто* и *туманну даль*,
И *романтическія розы*;
Онъ пѣлъ тѣ дальнія страны,
Гдѣ долго въ лонѣ тишины
Лилась его живыя слезы;
Онъ *тѣмъ поблеклымъ жизни цвѣтъъ*
Безъ малаго въ восемнадцать лѣтъъ.

Ленскій былъ романтикъ и по натурѣ, и по духу времени. Нѣтъ нужды говорить, что это было существо доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время «онъ сердцемъ милый былъ невѣжда»,

вѣчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ея. Дѣйствительность на него не имѣла вліянія: его радости и печали были созданиємъ его фантазіи. Онъ полюбилъ Ольгу, — и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши за мужъ, она сдѣлалась бы вторымъ исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти — и за поэта, товарища ея дѣтскихъ игръ, и за довольнаго собою и своею лошадю улана? — Ленскій украсилъ ее достоинствами и совершенствами, приписалъ ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о которыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое, — Ольга была очаровательна, какъ и всѣ «барышни», пока онъ еще не сдѣлались «барынями»; а Ленскій видѣлъ въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту, ни мало не подозрѣвая будущей барыни. Онъ написалъ «надгробный мадригалъ» старику Ларину, въ которомъ, вѣрный себѣ, безъ всякой ироніи, умѣлъ найти поэтическую сторону. Въ простомъ желаніи Онѣгина подшутить надъ нимъ онъ увидѣлъ и измѣну, и обольщеніе, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранѣе воспѣтая имъ въ туманно-романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онѣгина, который, какъ говорить поэтъ,

Быль долженъ оказать себи
Не мячикомъ предразсужденій.
Не пылкимъ мальчикомъ, бойцомъ,
Но мужемъ съ честью и умомъ, —

но тиранія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ — верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакалъ его паденіе:

Друзья мои, вамъ жаль поэта:
Во цвѣтъ радостныхъ надеждъ,
Ихъ не свершивъ еще для свѣта,
Чуть изъ младенческихъ одеждъ,
Увяль! Гдѣ жаркое волненье,
Гдѣ благородное стремленье
И чувствъ, и мыслей молодыхъ,
Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ?
Гдѣ бурная любви желанья,
И жажда знаній и труда,
И страхъ порока и стыда,
И вы, завѣтныя мечтанья,
Вы, призракъ жизни неземной,
Вы, сны поэзіи святой!
Быть можетъ, онъ для блага міра
Иль хоть для славы былъ рожденъ;
Его умолкнувшая лира
Гремучій, непрерывный звонъ
Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта,
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гимнъ временъ,
Благословенія племень.
А можетъ быть и то: поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.
Прошли бы юношества лѣта:
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ,
Во многомъ онъ бы измѣнился,
Разстался бъ съ музами, женился;
Изъ деревнѣ, счастливъ и рогатъ,
Носилъ бы стеганный халатъ;
Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,
Подагру-бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,
Пилъ, вѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ,
И наконецъ въ своей постели

Скончался-бъ посреди дѣтей,
Плаксивыхъ бабъ и лекарей.

Мы убѣждены, что съ Ленскимъ сбилось бы непременно послѣднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодъ и во-время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ тѣхъ натуръ, для которыхъ жить — значитъ развиваться и идти впередъ. Это, повторяемъ, — былъ романтикъ, и больше ничего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ дѣлать, кромѣ какъ распространить на цѣлую главу то, что онъ такъ полно высказалъ въ одной строфѣ. Люди, подобные Ленскому, при всѣхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, не хороши тѣмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранять навсегда свой первоначальный типъ, дѣлаются этими устарѣлыми мистиками и мечтателями, которые такъ же неприятны, какъ и старыя идеальныя дѣвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копаясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрятъ на все, что дѣлается въ мірѣ и твердятъ о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодь, и нужда, и.... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

Татьяна... но мы поговоримъ о ней въ слѣдующей статьѣ.

IX.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый, въ своемъ романѣ, поэтически воспроизвелъ русское общество того времени, и въ лицѣ Онѣгина и Ленскаго показалъ его главную, т. е. мужскую сторону; но едва ли не выше подвигъ нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически воспроизвелъ, въ лицѣ Татьяны, русскую женщину. Мужчина, во всѣхъ состояніяхъ, во всѣхъ слояхъ русскаго общества, играетъ первую роль; но мы не скажемъ, чтобъ женщина играла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играетъ. Исключеніе остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мѣрѣ, до извѣстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычаи, не смотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяніе славянолюбивъ, что мы со-всѣмъ переродились въ Нѣмцевъ, —несмотря на все это, пора намъ наконецъ признаться, что еще и до сихъ поръ мы — плохіе рыцари, что наше вниманіе къ женщинѣ, наша готовность жить и умереть для нея, до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модною свѣтскою фразою, и притомъ еще не собственнаго нашего изобрѣтенія, а заимствованною. Чего добраго! теперь и «поштенное» купечество съ бороδοю, отъ которой попахиваетъ «маненько» капустою и лучкомъ, даже и оно, идя по улицѣ съ «хозяйкою», ведетъ ее подъ руку, а не толкаетъ въ спину колѣномъ, указывая дорогу и заказывая зѣвать по сторонамъ; но дома... Однако, зачѣмъ говорить, что бываетъ дома? зачѣмъ выносить соръ изъ избы?... Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ и въ прозѣ: «женщина—царица общества; ея очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшаго свѣтскаго): вездѣ мужчины — сами по себѣ, женщины — сами

по себѣ. И самый отчаянный любезникъ, сидя съ женщинами, какъ-будто жертвуетъ собою изъ вѣжливости; потомъ встаетъ, и съ утомленнымъ видомъ, словно послѣ тяжкой работы, идетъ въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобъ свободно вздохнуть и освѣжиться. Въ Европѣ женщина дѣйствительно царица общества: веселъ и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говоритъ, чѣмъ съ другими. У насъ наоборотъ: у насъ женщина ждетъ, какъ милости, чтобъ мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его вниманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностію, у насъ замѣнено жеманствомъ, если у насъ всѣ любятъ поэзію только въ книгахъ, а въ жизни боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дѣвушкѣ, если она не смѣетъ опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы рѣшитесь говорить съ нею много и часто, если знаете, что за это сочтутъ васъ влюбленнымъ въ нее, или даже и огласятъ ея женихомъ? Это значило бы окомпрометтировать ее и самому попасть въ бѣду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будетъ дѣваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмѣшекъ друзей вашихъ, отъ наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключать, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будутъ видѣть въ васъ выгодной партіи для своей дочери, они откажутъ вамъ отъ дома и строго запретятъ дочери быть любезной съ вами въ другихъ домахъ; если они увидятъ въ васъ выгодную партію, новая бѣда, страшнѣе прежней: раскинуть сѣти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочтавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успѣете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человѣкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете «исторію», которую долго будете помнить. Отчего все это происходитъ?— Оттого, что у насъ не понимаютъ и не хотятъ понимать, что такое женщина,

не чувствуютъ въ ней никакой потребности, не желаютъ и не ищутъ ея, словомъ, оттого, что у насъ нѣтъ женщины. У насъ «прекрасный полъ» существуетъ только въ романахъ, повѣстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дѣйствительности онъ раздѣляется на четыре разряда: на дѣвочекъ, на невѣсты, на замужнихъ женщинъ и, наконецъ, на старыхъ дѣвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дѣтьми, никто не интересуется; послѣднихъ всѣ боятся и ненавидятъ (и часто по дѣломъ); слѣдовательно, нашъ прекрасный полъ состоитъ изъ двухъ отдѣловъ: изъ дѣвицъ, которыя должны выйдти замужъ, и изъ женщинъ, которыя уже замужемъ. Русская дѣвушка — не женщина въ европейскомъ смыслѣ этого слова, не чело-вѣкъ: она не что другое, какъ невѣста. Еще ребенкомъ она называетъ своими женихами всѣхъ мужчинъ, которыхъ видитъ въ своемъ домѣ, и часто общается выйдти замужъ за своего папашу, или за своего брата; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она — невѣста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двѣнадцать лѣтъ, и мать, упрекая ее въ лѣности, въ неумѣнн держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говоритъ ей «не стыдно ли вамъ, сударыня: вѣдь вы уже невѣста!» Удивительно ли послѣ этого, что она не умѣетъ, не можетъ смотрѣть сама на себя какъ на женственное существо, какъ на человѣка, и видитъ въ себѣ только невѣсту? Удивительно ли, что, съ раннихъ лѣтъ до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости, всѣ думы, всѣ мечты, всѣ стремленія, всѣ молитвы ея сосредоточены на одной *idée fixe*: на замужествѣ, — что выйдти замужъ — ея единственное, страстное желаніе, цѣль и смыслъ ея существованія, что внѣ этого она ничего не понимаетъ, ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ, и что на всякаго неженатаго мужчину она смотритъ опять не какъ на человѣка, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ?— Съ восемнадцати лѣтъ она начинаетъ уже чув-

ствовать, что она—не дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастье своей семьи, не украшеніе своего роднаго крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товаръ, лишняя мебель, которая того и гляди спадеть съ цѣны и не сойдетъ съ рукъ. Что же остается ей дѣлать, если не сосредоточить всѣхъ своихъ способностей на искусствѣ ловить жениховъ? И тѣмъ болѣе, что только въ одномъ этомъ отношеніи и развиваются ея способности, благодаря урокамъ «дражайшихъ родителей», милыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За что больше всего упрекаетъ и бранитъ свою дочь попечительная маменька?—За то, что она не умѣетъ ловко держаться, строить глазки и гримаски хорошимъ женихамъ, или за то, что расточаетъ свою любезность передъ людьми, которые не могутъ быть для нея выгодною партіею. Чему она больше всего учитъ ее?—кокетничать по расчету, притворяться ангеломъ, прятать подъ мягкою, лоснящеюся шерсткой кошачьи лапки, кошачьи когти. И какова бы ни была по своей натурѣ бѣдная дочь,—она невольно входитъ въ роль, которую дала ей жизнь и въ таинство которой ее такъ прилежно, такъ основательно посвящаютъ. Дома ходить она неряхою, съ непричесанною головою, въ запачканномъ, узенькомъ и короткомъ платьишкѣ линючаго ситца, въ стоптанныхъ башмакахъ, въ грязныхъ, спустившихся чулкахъ: въ деревнѣ, вѣдь, кто же насъ видитъ, кромѣ дворни, — а для нея стоитъ ли рядиться? Но лишь вдоль дороги завидѣлся экипажъ, обѣщающій неожиданныхъ гостей, — наша невеста подымаетъ руки и долго держитъ ихъ надъ головою, крича въ попыхахъ: гости ѣдутъ, гости ѣдутъ! Отъ этого руки изъ красныхъ дѣлаются бѣлыми: «затѣя сельской остроты!» Затѣмъ, весь домъ въ смятеніи: маменька и дочь умываются, причесываются, обуваются и на грязное бѣлье надѣваютъ шерстяныя или шелковыя платья, пять лѣтъ назадъ тому сшитыя. О чистотѣ бѣлья заботиться смѣшно: вѣдь бѣлье подъ платьемъ, и его никто не видитъ, а рядиться—извѣст-

ное дѣло—надо для другихъ, а не для себя. Но вотъ, рано или поздно, наконецъ тайныя стремленія и жаркіе обѣты готовы свершиться: кандидатъ-невѣста уже дѣйствительная невѣста и рядится только для жениха. Она давно его знала, но влюбилась въ него только съ той минуты, какъ поняла, что онъ имѣеть на нее виды. И ей кажется, что она дѣйствительно влюблена въ него. Болѣзненное стремленіе къ замужеству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердцѣ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракѣ. Притомъ же, когда дѣло къ спѣху и торопять, то поневолѣ влюбитесь сразу, не имѣя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но «дражайшіе родители» учили свою дочь только искусству во что бы ни стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сдѣлать ее способною къ выполненію этой обязанности,—они не подумали. И хорошо сдѣлали: нѣтъ ничего бесполезнѣе и даже вреднѣе, какъ наставленія, хотя бы и самыя лучшія, если они не подкрѣпляются примѣрами, не оправдываются, въ глазахъ ученика, всею совокупностію окружающей его дѣйствительности. «Я вамъ примѣръ, сударыня!» — безпрестанно повторяетъ диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. И дочь спокойно копируетъ свою мать, готова въ своей особѣ свѣту и будущему мужу второй экземпляръ своей маменьки. Если ея мужъ—человѣкъ богатый, онъ будетъ доволенъ своею женою: домъ у нихъ какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелѣпо, грязно, пыльно, въ безпорядкѣ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ домѣ подымается возня, дѣлается вавилонское столпотвореніе въ лицахъ); дворня огромная, слугъ бездна, а не у кого спроситься стакана воды, не кому подать вамъ чашку чаю... А недавняя невѣста, теперь молодая дама? — О, она живеть въ «полномъ удовольствіи!» она наконецъ достигла

цѣли своей жизни, она уже не сирота, не пріемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домѣ; она хозяйка у себя дома, сама себѣ госпожа, пользуется полною свободою, ѣздитъ куда и когда хочетъ, принимаетъ у себя кого ей угодно; ей уже не нужно болѣе притворяться то невинною овечкою, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелѣвать, мучить мужа, дѣтей, слугъ. У ней бездна затѣй: карета—не карета, шаль—не шаль, дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаетъ, но всѣхъ превосходитъ, и мужъ ея едва успѣваетъ закладывать и перезакладывать имѣніе... Дитя новаго поколѣнія, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостинную, кое-какъ наблюдаетъ въ нихъ даже какую-то полу-чистоту, полу-опрятность: вѣдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты на - показъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальнѣ, и дѣтской, въ кабинетѣ мужа, — словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходятъ. А у ней безпрестанно гости, возлѣ нея безпрестанно кружокъ; но она плѣняетъ гостей своихъ не свѣтскимъ умомъ, не граціею своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора,—нѣтъ, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у ней все лучшее—и убранство комнатъ, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не кто-нибудь, что такихъ, какъ она, не много... Содержаніе разговоровъ составляютъ сплетни и наряды, наряды и сплетни. Богъ благо-словилъ ея замужество—что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будетъ воспитывать дѣтей своихъ?—Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своею маменькою: пока малы, они прозябаютъ въ дѣтской, среди мамокъ и нянекъ, среди горничныхъ, на лонѣ холопства, которое должно внушить имъ первыя правила нравственности, развить въ нихъ благородныя инстинкты, объяснить имъ различіе домоваго отъ лѣшаго, вѣдьмы отъ русалки, растолковать разныя примѣты, рассказать

всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться, лгать не краснѣя, приучить безпрестанно ѣсть, никогда не наѣдаясь. И милыя дѣти очень довольны сферою, въ которой живутъ: у нихъ есть фавориты между прислугою, и есть нелюбимые; они живутъ дружно съ первыми, ругаютъ и колотятъ послѣднихъ. Но вотъ они подросли: тогда отецъ дѣлай что хочеть съ мальчиками, а дѣвочекъ поучать прыгать и шнуроваться, немножко бренчать на фортепяно, немножко болтать по-французки—и воспитаніе кончено; тогда имъ одна наука, одна забота—ловить жениховъ.

Но если наша невѣста выйдетъ за человѣка небогатаго, хотя и не бѣднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умѣнія строгимъ порядкомъ сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревнѣ никогда ничего не дѣлала (потому что барышня вѣдь не холопка какая нибудь, чтобъ стала что-нибудь дѣлать), ничѣмъ не занималась, не знаетъ хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домѣ,—этого она нигдѣ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйдти замужь—значить сдѣлаться барынею; стать хозяйкою, значить—повелѣвать всѣми въ домѣ и быть полною госпожею своихъ поступковъ. Ея дѣло—не сберегать, не выгадывать, а покупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Какое имѣете вы право требовать отъ нея, чтобъ она была не тѣмъ, чѣмъ сами же вы ее сдѣлали? Можете ли вы обвинять даже ея родителей? Развѣ не вы сами сдѣлали изъ женщины только невѣсту и жену, и ничего болѣе? Развѣ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этою гармоніею женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и общества женщины, которыя такъ кротко, успокоительно и обаятельно дѣйствуютъ на жесткую натуру мужчины? Желали-ль вы когда нибудь имѣть друга

въ женщинѣ, въ которую вы совсѣмъ не влюблены, сестру въ женщинѣ вамъ посторонней?—Нѣтъ! если вы входите въ женскій кругъ, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиною, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое вниманіе, то всегда съ положительными видами — ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто-утилитарный, почти коммерческій: она для васъ — капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ: если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, нянька, много, много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бываютъ исключенія; но общество состоитъ изъ общихъ правилъ, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бываютъ болѣзненными наростами на тѣлѣ общества. Эту грустную истину всего лучше подтверждаютъ собою наши такъ называемыя «идеальныя дѣвы». Онѣ, обыкновенно, страстныя любительницы чтенія, и читаютъ много и скоро, ѣдятъ книги. Но какъ и чтѣ читаютъ онѣ, Боже великій!.. Всего достолюбезнѣе въ идеальныхъ дѣвахъ увѣренность ихъ, что онѣ понимаютъ то, чтѣ читаютъ, и что чтеніе приносить имъ большую пользу. Всѣ онѣ обожательницы Пушкина,—чтѣ однако-жъ не мѣшаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту г. Бенедиктова; инныя изъ нихъ съ удовольствіемъ читаютъ даже Гоголя,—чтѣ, однако-жъ нисколько не мѣшаетъ имъ восхищаться повѣстями гг. Марлинскаго и Полеваго. Все, чтѣ въ ходу, о чемъ пишутъ и говорятъ въ настоящее время, все это сводитъ ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онѣ видятъ свою любимую мысль, оправданіе своей настроенности, т. е. идеальность,—видятъ ее даже и тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ, или гдѣ она осмѣивается. У всѣхъ у нихъ есть завѣтныя тетрадки, куда онѣ списываютъ стишки, которые имъ понравятся, мысли, которыя поразятъ ихъ въ книгѣ. Онѣ любятъ гулять при лунѣ, смотрѣть на

звѣзды, слѣдить за теченіемъ ручейка. Онѣ очень наклонны къ дружбѣ, и каждая ведетъ дѣятельную переписку съ своей пріятельницею, которая живетъ съ нею въ одной деревнѣ, а иногда и въ одномъ домѣ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискѣ (огромными тетрадищами) сообщаютъ онѣ другъ другу свои чувства, мысли, впечатлѣнія. Сверхъ того, каждая изъ нихъ ведетъ свой дневникъ, весь наполненный «выписными чувствами» въ которыхъ (какъ во всѣхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ натуръ мужеска и женска пола) нѣтъ ничего живаго, истиннаго, только претензіи и идеальничанье. Онѣ презираютъ толпу и землю, питаютъ непримиримую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія вовсе отрѣшиться отъ матеріи. Для этого онѣ морятъ себя голодомъ, не ѣдятъ иногда по цѣлой недѣлѣ, жгутъ на свѣчкѣ пальцы, кладутъ себѣ на грудь подъ платье снѣгу, пьютъ уксусъ и чернила, отучаютъ себя отъ сна, — и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до того успѣваютъ разстроить свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болячку... Въдъ крайности сходятся! Всѣ простыя человѣческія, и особенно, женскія чувства, какъ, напр., страстность, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мушинѣ, въ которомъ нѣтъ ничего необыкновеннаго, гениальнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаетъ, не боленъ, не бѣденъ,—всѣ такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, ничтожными, смѣшными и презрѣнными. Особенно интересны понятія «идеальныхъ дѣвъ» о любви. Всѣ онѣ—жрицы любви, думаютъ, мечтаютъ, говорятъ и пишутъ только о любви. Но онѣ признаютъ только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанція любви въ ихъ глазахъ; счастье—опошленіе любви. Имъ непремѣнно надо любить въ разлукѣ, и ихъ высочайшее блаженство — мечтать при лунѣ о предметѣ своей любви и думать: «можетъ быть,

въ эту минуту, и она смотритъ на луну и мечтаетъ обо мнѣ; такъ для любви нѣтъ разлуки!» Жалкія рыбы съ холодною кровью, идеальныя дѣвы считаютъ себя птицами; плавая въ мутной водѣ искусственной нервической экзальтаціи, онѣ думаютъ, что парятъ въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», онѣ любятъ только себя; онѣ и не подозрѣваютъ, что только тѣшатъ свое мелкое самолюбіе трескучими шутками фантазіи, думая быть жрицами любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія, и изъ идеальныхъ дѣвъ скоро дѣлаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ способность обманывать себя призраками фантазіи доходитъ до того, что онѣ на всю жизнь остаются восторженными дѣвственницами, и такимъ образомъ до семидесяти лѣтъ сохраняютъ способность къ сантиментальной экзальтаціи, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщинъ рано или поздно образумливаются; но прежде ихъ ложное направленіе навсегда дѣлается чернымъ демономъ ихъ жизни и, подобно остаткамъ дурно-залѣченной болѣзни, отравляетъ ихъ спокойствіе и счастье. Ужаснѣе всѣхъ другихъ тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ свой идеаль брачнаго счастья, — и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Идеальными дѣвами всѣхъ родовъ бываютъ по большей части дѣвицы, которыхъ развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмѣсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходятъ нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная дѣйствительность въ са-

момъ дѣлѣ очень пошла, и ими невольно овладѣваетъ неотразимое убѣжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что диаметрально противоположно этой дѣйствительности. А между тѣмъ, самобытное, не на почвѣ дѣйствительности, не въ сферѣ общества совершающееся развитіе, всегда доводитъ до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двѣ крайности: или быть пошлыми на общій манеръ, быть пошлыми какъ всѣ, или быть пошлыми оригинально. Онѣ избираютъ послѣднее, но думаютъ, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ только перевалились изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустнѣе: между подобными несчастными созданіями бывають натуры, нелишенные истинной потребности болѣе или менѣе человѣчески-разумнаго существованія и достойныя лучшей участи.

Но среди этого міра нравственно - увѣчныхъ явленій, изрѣдка удаются истинно - колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность, и дѣлаются жертвами собственного своего превосходства. Натуры гениальныя, не подозрѣвающія своей гениальности, онѣ безжалостно убиваются безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные грѣхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Лариныхъ. Отецъ — не то, чтобъ ужъ очень глупъ, да и не совсѣмъ уменъ; не то, чтобъ человѣкъ, да и не звѣрь, а что - то въ родѣ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природы — растительному и животному.

Онъ былъ простой и добрый баринъ,
И тамъ, гдѣ прахъ его лежитъ,
Надгробный памятникъ гласитъ:
*Смирный грѣшникъ Дмитрій Ларинъ,
Господній рабъ и бригадиръ,
Подъ камень сямъ окушаетъ миръ.*

Этотъ миръ, вкушаемый подъ камнемъ, былъ продолженіемъ того же самаго мира, которымъ «добрый баринъ» наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свѣтѣ такіе люди, въ жизни и счастья которыхъ смерть не производитъ ровно никакой перемѣны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ числу такихъ счастливицевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизни, сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества, она обожала Ричардсона, не потому, чтобъ прочла его, а потому, что отъ своей московской кузины слышала о Грандиссонѣ. Помолвленная за Ларина, она втайнѣ вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вѣнцу, не спросивши ея совѣта. Въ деревнѣ мужа, она сперва терзалась и рвалась, а потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ тѣхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

Она взяла по работамъ,
Солила на зиму грибы,
Вела расходы, брила лбы,
Ходила въ баню по субботамъ,
Служанокъ била осердясь,
Все это мужа не спросясь.
Бывала писывала кровью
Она въ альбомы вѣжныхъ дѣвъ,
Звала Полиною Прасковью
И говорила на распѣвъ;
Корсетъ носила очень узкій,
И русскій Н, какъ Н французскій
Произносить умѣла въ носъ.
Но скоро все перевелось:
Корсетъ, альбомъ, княжну Полину
Стишковъ чувствительныхъ тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулкой прежнюю Семину
И обновила наконецъ
На ватъ шлафоръ и чепецъ.

Словомъ, Ларины жили чудесно какъ живутъ на этомъ свѣтѣ

цѣлые миллионы людей. Однообразіе семейной ихъ жизни нарушалось гостями:

Подъ вечеръ иногда сходилась
Сосѣдей добрая семья,
Нецеремонные друзья,
И потужить, и позлословить,
И посмѣяться кой о чемъ.

.
Ихъ разговоръ благоразумной
О съюнось, о винѣ,
О царяѣ, о своей роднѣ,
Конечно, не блисталь ни чувствомъ,
Ни поэтическимъ огнемъ,
Ни острою, ни умомъ,
Ни общежитія искусствомъ,
Но разговоръ ихъ милыхъ женъ
Еще былъ менѣ ученъ.

И вотъ кругъ людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, тутъ были два существа, рѣзко отдѣлявшіяся отъ этого круга — сестра Татьяны, Ольга, и женихъ послѣдней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ просто, сама не зная за что, частію по привычкѣ, частію потому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они — люди другаго міра, что они не поймутъ ея. И дѣйствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣваль, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натурѣ и могла ему казаться скорѣе странною и холодною, нежели поэтическою. Ольга еще менѣ Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга — существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спрашивало, которому все было ясно и понятно по привычкѣ, и которое все зависѣло отъ привычки. Она очень

плакала о смерти Ленскаго, но скоро утѣшилась, вышла за улана и, изъ граціозной и милой дѣвочки, сдѣлалась дюжиною барынею, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измѣненіями, которыхъ требовало время. Но совѣмъ не такъ легко опредѣлить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянѣ нѣтъ этихъ болѣзненныхъ противорѣчій, которыми страдаютъ слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ-будто вся изъ одного цѣльнаго куска, безъ всякихъ придѣлокъ и примѣсей. Вся жизнь ея проникнута тою цѣлостностью, тѣмъ единствомъ, которое въ мірѣ искусства, составляетъ высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дѣвушка, потомъ свѣтская дама, — Татьяна во всѣхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портретъ ея въ дѣтствѣ, такъ мастерски написанный потомъ впоследствии является только ризвившимся, но неизмѣнившимся.

Дика, печальна, молчалива,
Какъ лань лѣсная боязлива,
Она въ семьѣ своей родной
Казалась дѣвочкой чужой.
Она ласкаться не умѣла
Къ отцу, ни къ матери своей;
Дитя сама въ толпѣ дѣтей
Играть и прыгать не хотѣла,
И часто цѣлый день одна
Сидѣла молча у окна.

Задумчивость была ея подругою съ колыбельныхъ дней, украшая однообразіе ея жизни; няньцы Татьяны не знали игры, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дѣтскія шалости; ей былъ скученъ и шумъ, и звонкій смѣхъ дѣтскихъ игръ; ей больше нравились страшные рассказы въ зимній вечеръ. И потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Она любила на балконѣ
Предупреждать зари восходѣ,
Когда на блѣдномъ небосклонѣ
Звѣздъ исчезаетъ хороводѣ,
И тихо край земли свѣтлѣетъ,
И, вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣетъ,
И всходитъ постепенно день.
Зимой, когда ночная тѣнь
Полміромъ долѣ обладаетъ,
И долѣ въ праздной тишинѣ,
При отуманенной лунѣ,
Востокъ лѣнивый почиваетъ,
Въ привычный часъ пробуждена
Вставала при свѣчахъ она.

Итакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія — чтенію романовъ,—и это среди міра, имѣвшаго благоразумную привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяною и окружающимъ ее міромъ! Татьяна—это рѣдкій прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ разсѣлинѣ дикой скалы,

Незнаемый въ травѣ глухой
Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгѣ, гораздо больше идутъ къ Татьянѣ. Какіе мотыльки, какія пчелы могли знать этотъ цвѣтокъ или плѣняться имъ? Развѣ безобразные слѣпни, оводы и жуки, въ родѣ господъ Пыхтина, Буянова, Пѣтушкова и тому подобныхъ? Да, такая женщина, какъ Татьяна, можетъ плѣнять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ нравственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровень съ ея натурою, и которыхъ такъ мало на свѣтѣ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свѣтѣ. Этимъ послѣднимъ Татьяна могла нравиться лицомъ, деревенскою свѣжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли

видѣть кротость, послушливость и безотвѣтность въ отношеніи къ будущему мужу — качества, драгоценныя для ихъ грубой животности; не говоря уже о расчетахъ на приданое, на родство и т. п. Стоящіе же въ серединѣ между этими двумя разрядами людей всего менѣе могли оцѣнить Татьяну. Надобно сказать, что всѣ это срединныя существа, занимающія мѣсто между высшими натурами и чернью человечества, эти таланты, служащіе связью гениальности съ толпою, по большей части — все люди «идеальные», подѣ-стать идеальнымъ дѣвамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думаютъ о себѣ, что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все дѣло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита на счетъ всѣхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство; но еще больше сентиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущенія и вѣчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умѣ часто бываетъ много блеска, но никогда не бываетъ дѣльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, — это то, что въ нихъ нѣтъ страстей, за исключеніемъ только самолюбія, и то мелкаго, которое ограничивается въ нихъ тѣмъ, что они бездѣятельно и бесплодно погружены въ созерцаніе своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, но также не холодныя, какъ и не горячія, они дѣйствительно обладаютъ жалкою способностью вспыхивать на минуту отъ всего и не отчего. Поэтому, они только и толкуютъ, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнѣ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, буруевающихъ ихъ сердце, не подозрѣвая, что все это дѣйствительно буря, но только не на морѣ, а въ стаганѣ воды. И нѣтъ людей, которые бы менѣе ихъ способны были оцѣнить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человѣка глубоко чувствующаго, непод-

дѣльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они рѣшили бы всё въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что, во всякомъ случаѣ, она холодна какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничѣмъ не увлекается, ничему не радуется, ни отчего не приходитъ въ восторгъ, ко всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ кѣмъ не дружится, никого не любитъ, не чувствуетъ потребности перелить въ другаго свою душу, тайны своего сердца, а главное—не говорить ни о чувствахъ вообще, ни о своихъ собственныхъ въ особенности?... Если вы сосредоточены въ себѣ и на вашемъ лицѣ нельзя прочесть внутреннего пожирающаго васъ огня,—мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявятъ васъ существомъ холоднымъ, эгоистомъ, отнять у васъ сердце и оставить при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имѣете наклонность иронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цѣломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъ ни играть, ни щеголять...

Повторяемъ: Татьяна — существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бѣдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастіи взаимности, любовь такой женщины—ровное, свѣтлое пламя; въ противномъ случаѣ—упорное пламя, которому сила воли, можетъ-быть, не позволить прорваться наружу, но которое тѣмъ разрушительнѣе и жгучѣе, чѣмъ больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тѣмъ не менѣе страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполне пожертвовала бы собою дѣтямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей, нашла бы свое величайшее наслажденіе, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ рассу-

деній, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ внѣшнимъ безстрастіемъ, съ этою наружною холодною, которая составляютъ достоинство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главные и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримъ на тѣ особенности, которыя составляютъ ея характеръ.

Создаетъ человѣка природа, но развиваетъ и образуетъ его общество. Никакія обстоятельства жизни не спасутъ и не защитятъ человѣка отъ вліянія общества, нигдѣ не скряться, никуда не уйти ему отъ него. Самое усиліе развиться самостоятельно внѣ вліянія общества, сообщаетъ человѣку какую-то странность, придаетъ ему что-то уродливое, въ чемъ опять видна печать общества же. Вотъ почему у насъ люди съ дарованіями и хорошими природными расположеніями часто бываютъ самыми несносными людьми, и вотъ почему у насъ только гениальность спасаетъ человѣка отъ пошлости. Поэтому же самому, у насъ такъ мало истинныхъ и такъ много книжныхъ, вычитанныхъ чувствъ, страстей и стремленій. словомъ: такъ мало истины и жизни въ чувствахъ, страстяхъ и стремленіяхъ, и такъ много фразёрства во всемъ этомъ. Повсюду распространяющееся чтеніе приноситъ намъ величайшую пользу: въ немъ наше спасеніе и участь нашей будущности; но въ немъ же, съ другой стороны, и много вреда, такъ же какъ и много пользы для настоящаго. Объяснимся. Наше общество, состоящее изъ образованныхъ сословій, есть плодъ реформы. Оно помнитъ день своего рожденія, потому что оно существовало официально прежде, нежели стало существовать дѣйствительно; потому что, наконецъ, это общество долго составлялъ не духъ, а покрой платья, не образованность а привиллегія. Оно началось такъ же, какъ и наша литература: копированіемъ иностранныхъ формъ безъ всякаго содержанія, своего или чужаго, потому что отъ своего мы отказались, а чужаго не только принять, но и понять не были въ со-

стояніи. Были у французовъ трагедіи: давай и мы писать трагедіи, и господинъ Сумароковъ, въ одномъ лицѣ своемъ, совмѣстилъ и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Былъ у французовъ знаменитый баснописецъ Лафонтенъ, и опять тотъ же г. Сумароковъ, по словамъ его современниковъ, своими притчами далеко обогналъ Лафонтена. Такимъ же точно образомъ, въ самое короткое время, обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Гораціями, Анакреонами, Гомерами, Виргиліями и т. п. Иностранныя произведенія всѣ наполнены были любовными чувствами, любовными приключеніями: и мы давай тѣмъ же наполнять наши сочиненія. Но тамъ поэзія книги была отраженіемъ поэзіи жизни, любовь стихотворная была выраженіемъ любви, составлявшей жизнь и поэзію общества: у насъ любовь вошла только въ книгу, да въ ней и осталась. Это болѣе или менѣе продолжается и теперь. Мы любимъ читать страстные стихи, романы, повѣсти, и теперь подобное чтеніе не считается предосудительнымъ даже для дѣвушекъ. Иныя изъ нихъ даже сами кропаютъ стишки, и иногда недурные. Итакъ, говорить о любви, читать и писать о ней у насъ любятъ многіе; но любить... Это дѣло другаго рода! Оно, конечно, если съ позволенія родителей, если страсть можетъ увѣнчаться законнымъ бракомъ, то почему же и не любить! Многіе не только не считаютъ этого излишнимъ, но даже считаютъ необходимымъ, и, женись на приданномъ, толкуютъ о любви... Но любить потому только, что сердце жаждетъ любви, любить безъ надежды на бракъ, всѣмъ жертвовать увлекающему пламени страсти—помилуйте, какъ можно! вѣдь это значить сдѣлать «исторію», произвести скандалъ, стать сказкою общества, предметомъ оскорбительнаго вниманія, осужденія, презрѣнія; сверхъ того, приличіе, правила нравственности, общественная мораль... А! такъ вы люди сколько осторожны и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачѣмъ же вы противорѣчите себѣ свою

охотою къ стихамъ и романамъ, своею страстью къ патетической драмѣ?—Но то поэзія, а то жизнь; зачѣмъ мѣшать ихъ между собою, пусть каждая идетъ своею дорогою: пусть жизнь дремлетъ въ апатіи, а поэзія снабжаетъ ее занимательными снами.—Вотъ это другое дѣло!...

Но худо то, что изъ этого другаго дѣла необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнью и поэзіею нѣтъ естественной, живой связи, тогда изъ ихъ враждебно отдѣльнаго существованія образуется поддѣльно-поэтическая и въ высшей степени болѣзненная, уродливая дѣйствительность. Одна часть общества, вѣрная своей родной апатіи, спокойно дремлетъ въ грязи грубо-матеріальнаго существованія; за то другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, изъ всѣхъ силъ хлопочетъ устроить себѣ поэтическое существованіе, сочетать поэзію съ жизнью. Это у нихъ дѣлается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзіи въ обществѣ, они берутъ ее изъ книгъ и по ней соображаютъ свою жизнь. Поэзія говоритъ, что любовь есть душа жизни: и такъ—надо любить! Силлогизмъ вѣренъ, само сердце за него виѣстѣ съ умомъ! И вотъ нашъ идеальный юноша, или наша идеальная дѣва ищетъ въ кого бы влюбиться. По долгомъ соображеніи, въ какихъ глазахъ больше поэзіи,—въ голубыхъ или черныхъ, предметъ, наконецъ, избранъ. Начинается комедія — и пошла потѣха! въ этой комедіи есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при лунѣ, и отчаяніе, и ревность, и блаженство, и объясненіе,—все, кромѣ истины чувства... Удивительно ли что послѣдній актъ этой шутовской комедіи всегда оканчивается разочарованіемъ, и въ чемъ же? — въ собственномъ своемъ чувствѣ, въ своей способности любить?... А между тѣмъ, подобное книжное направленіе очень естественно: не книга ли заставила добраго, благороднаго и умнаго помѣщика Манческаго сдѣлаться рыцаремъ донъ-Кихотомъ, надѣтъ бумажную кольчугу, взобраться на тощаго Россинанта и пуститься

отыскивать по свѣту прекрасную Дульцинею, мимоходомъ сражаясь съ баранами и мельницами? Между поколѣніями отъ двадцатыхъ годовъ до настоящей минуты, сколько было у насъ разныхъ донъ-Кихотовъ? У насъ были и есть донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убѣждений, славянофильства и еще Богъ знаетъ чего, всего не перечестъ! Выше мы говорили объ идеальныхъ дѣвахъ; а сколько можно сказать интереснаго объ идеальныхъ юношахъ! Но предметъ такъ богатъ и неистощимъ, что лучше не касаться его, чтобъ со-всѣмъ не потерять изъ виду Татьяны Пушкина.

Татьяна не избѣгла горестной участи подпасть подъ рядъ идеальныхъ дѣвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляетъ собою колоссальное исключеніе въ мірѣ подобныхъ явленій, — и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возбуждаетъ не смѣхъ, а живое сочувствіе, — но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на «идеальныхъ дѣвъ», а потому, что ея глубокая, страстная натура заслонила въ ней собою все, что есть смѣшнаго и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно-простою въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дѣйствительность. Съ одной стороны —

Татьяна вѣрила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ.
И предсказаньямъ луны.
Ее тревожили примѣты:
Таинственно ей всѣ предметы
Провозглашали что-нибудь,
Предчувствія тѣснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ

Это дивное соединеніе грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ съ страстію къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки, возможно только въ русской женщинѣ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждѣ любви; ничто другое не говорило ея душѣ; умъ ея спалъ, и только развѣ тяжкое горе жизни могло потомъ разбудить его, — да и то для того, чтобъ сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали... Дѣвическіе дни ея ничѣмъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было тѣхъ регулярныхъ занятій, свойственныхъ образованной жизни, которыя держатъ въ равновѣсіи нравственныя силы челоуѣка. Дикое растеніе, вполне предоставленное самому себѣ, Татьяна создала себѣ свою собственную жизнь, въ пустотѣ которой тѣмъ мятежнѣе горѣлъ пожиравшій ее внутренній огонь, что ея умъ ничѣмъ не былъ занятъ.

Давно ея воображенье,
Сгорая нѣгой и тоской,
Алкало пищи роковой;
Давно сердечное томленье
Тѣснило ей младую грудь;
Душа ждала.... когонибудь,
И дождалась. Открылись очи;
Она сказала: *это онъ!*
Увы! теперь и дни, и ночи,
И жаркій, одинокій сонъ,
Все полно имъ; все дѣвъ милой
Безъ умолку волшебной силой
Твердить о немъ.
.
Теперь съ какимъ она вниманьемъ
Читаетъ сладостный романъ,
Съ какимъ живымъ очарованьемъ
Пьетъ обольстительный обманъ!
Счастливой силою мечтанья
Одушевленные созданья.

Любовникъ Юліи Вольмаръ.
Малекъ-Адель и де-Линаръ.
И Вертеръ, мученикъ мятежной.
И неподобный Грандиссонъ.
Который намъ наводитъ сонъ.
Всѣ для мечтательницы нѣжной
Въ единый образъ облеклись.
Въ одномъ Онѣгинѣ слились.
Воображаясь героиней
Своихъ возлюбленныхъ творцовъ.
Кларисой, Юліей, Дельфиной.
Татьяна въ тишинѣ лѣсовъ
Одна съ опасной книгой бродитъ:
Она въ ней ищетъ и находитъ
Свой тайный жаръ, свои мечты,
Плоды сердечной полноты,
Вдыхаетъ и, *себя присвоивъ*
Чужой восторгъ, чужую грусть,
Въ забвеньи шепчетъ наизусть
Письмо для милаго героя...

Здѣсь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по книжному. Затѣмъ было воображать Онѣгина Вольмаромъ, Малекъ-Аделемъ, де-Линаромъ и Вертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона)? Затѣмъ, что для Татьяны не существовалъ настоящей Онѣгинъ, котораго она не могла ни понимать, ни знать; слѣдовательно, ей необходимо было придать ему какое-нибудь значеніе, на прокатъ взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать, Затѣмъ было ей воображать себя Кларисой, Юліей, Дельфиной? Затѣмъ, что она и саму себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онѣгина. Повторяемъ: созданіе страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время не развитое, на-глухо запертое въ темной пустотѣ своего интеллектуальнаго существованія, Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой

статуѣ, въ которой все внутреннее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внѣшней красотѣ, но подобною египетской статуѣ, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги, она была бы совершенно нѣмымъ существомъ, и ея пылающій и сохнущій языкъ не обрѣлъ бы ни одного живаго, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онѣгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія, — все же началась она нѣсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менѣе могла полюбить кого нибудь изъ извѣстныхъ ей мужчинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному, аскетическому воображенію... И вдругъ является Онѣгинъ.

Онъ весь окруженъ тайною: его аристократизмъ, его свѣтскость, неоспоримое превосходство надъ всѣмъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни—все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дѣйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подготовить ея къ рѣшительному эффекту перваго свиданія съ Онѣгинымъ. И она увидѣла его, и онъ предсталъ предъ нею, молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразрѣшимая тайна для ея неразвитаго ума, весь обольщеніе для ея дикой фантазіи. Есть существа, у которыхъ фантазія имѣетъ гораздо болѣе вліянія на сердце, нежели какъ думаютъ объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоитъ только показаться восторженнымъ, страстнымъ, и онѣ ваши; но есть женщины, которыхъ вниманіе мужчина можетъ возбудить къ себѣ только равнодушіемъ, холодностью и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь, или какъ результатомъ мятежно и полно пережитой жизни: бѣдная Татьяна была изъ числа такихъ женщинъ...

Тоска любви Татьяну гонить.
И въ садъ идетъ она грустить,
И вдругъ недвижны очи клонить.
И лѣнь ей далѣе ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновеннымъ пламенемъ покрыты.
Дыханье замерло въ устахъ,
И въ слухъ шумъ, и блескъ въ очахъ....
Настантъ ночь; луна обходитъ
Дозоромъ дальній сводъ небесъ,
И соловей во мглѣ древесъ
Напѣвы звучные заводитъ,—
Татьяна въ темнотѣ не спитъ
И тихо съ няней говоритъ.

Разговоръ Татьяны съ нянею — чудо художественнаго совершенства! Это цѣлая драма, проникнутая глубокою истинною. Въ ней удивительно вѣрно изображена русская барышня въ разгарѣ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце!—сестрѣ? — она не такъ бы поняла его. Няня вовсе не пойметъ; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайну—или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ няни своей тайны.

. . . . „Расскажи мнѣ, няня.
Про ваши старые года:
Была ты влюблена тогда?“
—И, полно, Тана! Въ эти лѣта
Мы не слыхали про любовь;
А то ды сонала со съта
Меня покойница свекровь.—
Да какъ же ты вѣнчалась, няни?
—*Такъ, видно, Богъ велѣлъ.* Мой Ваня
Моложе былъ меня, мой свѣтъ,
А было мнѣ *тринадцать* лѣтъ.
Недѣли двѣ ходила сваха

Къ моей роднѣ и, наконецъ.
Благословилъ меня отецъ.
Я горько плакала со страха;
Мнѣ съ плачемъ косу расплели.
И съ пѣньемъ въ церковь повели.
И вотъ ввели въ семью чужую...

Вотъ какъ пишетъ истинно-народный, истинно-національный поэтъ! Въ словахъ яни, простыхъ и народныхъ, безъ тривіальности и пошлости, заключается полная и яркая картина внутренней домашней жизни народа, его взглядъ на отношенія половъ, на любовь, на бракъ... И это сдѣлано великимъ поэтомъ одною чертою, вскользь, мимоходомъ, брошенною!.. Какъ хороши эти добродушные и простодушные стихи:

И, полно, Таня! Въ эти гѣта
Мы не знавали про любовь;
А то бы согнала со свѣта
Меня покойница свекровь!

Какъ жаль, что именно такая народность не дается многимъ нашимъ поэтамъ, которые такъ хлопчуть о народности—и добиваются одной площадной тривіальности...

Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ наивный и благородный; но его источникъ не въ сознаниі, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что дѣлала. Послѣ, когда она стала знатною барынею, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца... Письмо Татьяны свело съ ума всѣхъ русскихъ читателей, когда появилась третья глава «Онѣгина». Мы, вмѣстѣ со всѣми, думали въ немъ видѣть высочайшій образецъ откровенія женскаго сердца. Самъ поэтъ, кажется, безъ всякой ироніи, безъ всякой задней мысли, и писалъ, и читалъ это письмо. Но съ тѣхъ поръ много воды утекло... Письмо Татьяны прекрасно и теперь, хотя уже и отзывается немножко какою-то дѣтскостію, чѣмъ-то «романи-

ческимъ». Иначе и быть не могло; языкъ страстей былъ такъ новъ и недоступенъ нравственно - вѣмотствующей Татьянѣ: она не умѣла бы ни понять, ни выразить собственныхъ своихъ ощущеній, еслибы не прибѣгла къ помощи впечатлѣній, оставленныхъ на ея памяти плохими и хорошими романами, безъ толку и безъ разбора читанными ею... Начало письма превосходно: оно проникнуто простымъ искреннимъ чувствомъ; въ немъ Татьяна является сама собою:

Я къ вамъ пишу — чего же болѣе?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, въ вашей волѣ
Меня презрѣньемъ наказать.
Но вы, къ моей несчастной долѣ
Хоть каплю жалости храня,
Вы не оставите меня.
Сначала я молчать хотѣла;
Повѣрьте: моего стыда
Вы не узнали-бъ никогда,
Когда-бъ надежду я имѣла,
Хоть рѣдко, хоть въ недѣлю разъ,
Въ деревнѣ нашей видѣть васъ,
Чтобъ только слышать ваши рѣчи,
Вамъ слово молвить, и потомъ
Все думать, думать объ одномъ
И день, и ночь до новой встрѣчи.
Но, говорить, вы нелюдимъ;
Въ глуши, въ деревнѣ, все вамъ скучно,
А мы... ничѣмъ мы не блеснимъ,
Хоть вамъ и рады простодушно.
Зачѣмъ вы посѣтили насъ!
Въ глуши забытаго селенья
Я никогда не знала-бъ васъ,
Не знала-бъ горькаго мученья.
Души неопытной волненья
Смиривъ со временемъ (какъ знать?),
По сердцу я нашла бы друга,
Была бы вѣрная супруга
И добродѣтельная мать.

Прекрасны также стихи въ концѣ письма:

. Судьбу мою
Отнынѣ я тебѣ вручаю,
Передъ тобою слезы лью.
Твоей защиты умоляю...
Вообрази: я здѣсь одна.
Никто меня не понимаетъ;
Разсудокъ мой изнемогаетъ.
И молча гибнуть я должна.

Все въ письмѣ Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что и истинно и просто вмѣстѣ. Сочетаніе простоты съ истинною составляетъ высшую красоту и чувства, и дѣла, и выраженія...

Замѣчательно, съ какимъ усиліемъ старается поэтъ оправдать Татьяну за ея рѣшимость написать и послать это письмо: видно, что поэтъ слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ...

Я зналъ красавицъ недоступныхъ.
Холодныхъ, чистыхъ, какъ зима,
Неумолимыхъ, неподкупныхъ,
Непостижимыхъ для ума;
Ихъ добродѣтели природной,
Дивился я ихъ спѣси модной,
И, признаюсь, отъ нихъ бѣжалъ.
И, мнится, съ ужасомъ читалъ
Надъ ихъ бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда.
Внушать любовь для нихъ бѣда.
Пугать людей для нихъ отрада.
Быть можетъ, на берегахъ Невы
Подобныхъ дамъ видали вы.
Среди поклонниковъ послушныхъ,
Другихъ причудницъ я видалъ.
Самолюбиво-равнодушныхъ
Для вздоховъ страстныхъ и похвалъ,

И что-жь нашесть я съ изумленьемъ?
Отъ, суровымъ поведеньемъ
Пугая робкую любовь,
Ее привлечь умѣли вновь,
По крайней мѣрѣ, сожалѣньемъ,
По крайней мѣрѣ, звукъ рѣчей
Казался иногда нѣжнѣй.
И съ легковѣрнымъ ослѣпленьемъ
Опять любовникъ молодой
Бѣжитъ за милой суетой.
За что-жь виновнице Татьяна?
За то-ль, что въ милой простотѣ
Она не въдаетъ обмана
И вѣрить избранной мечтъ?
За то-ль, что любить безъ искусства.
Послушная влеченью чувства;
Что такъ доврчива она,
Что отъ небесъ одарена
Воображеніемъ мятѣжнымъ.
Умомъ и волею живой,
И своенравной головой,
И сердцемъ пламеннымъ и нѣжнымъ?
Ужели не простите ей
Вы легкомыслія страстей!
Кокетка судить хладнокровно;
Татьяна любить не шутя
И предается безусловно
Любви, какъ милое дитя,
Не говорить она: отложимъ —
Любви мы цѣну тѣмъ умножимъ.
Вѣрнѣ въ свѣти заведемъ;
Сперва тщеславіе кольнемъ
Надеждой, тамъ недоумѣньемъ
Измучимъ сердце, а потомъ
Ревнивымъ оживимъ огнемъ;
А то, скучая наслажденьемъ,
Невольникъ хитрый изъ оковъ
Всечасно вырваться готовъ.

Вотъ еще отрывокъ изъ «Онѣгина», который выключенъ авторомъ изъ этой поэмѣ и особенно напечатанъ въ IX томѣ:

О вы, которыя любили
Безъ позволенія родныхъ,
И сердце нѣжное хранили
Для впечатлѣній молодыхъ,
Для радости, для нѣги сладкой —
Дѣвицы! если вамъ украдкой
Случалось тайную печать
Съ письма любезнаго срывать,
Иль робко въ дерзостныя руки
Завѣтный локопъ отдавать,
Иль даже молча дозволять
Въ минуту горькую разлуки
Дрожащій поцѣлуй любви,
Въ слезахъ съ волненіемъ въ крови,—
Не осуждайте безусловно
Татьяны *отпренной* (?) моей;
Не повторяйте хладнокровно
Рѣшеніе чопорныхъ судей.
А вы, *о дѣвы безъ упреки!*
Которыхъ даже рѣчь порока
Страшитъ сегодня какъ змѣя—
Совѣтую вамъ тоже я:
Кто знаетъ? пламенной тоскою
Сгорите, можетъ-быть, и вы —
И завтра легкій судъ молвы
Припишетъ модному герою
Побѣды новой торжество:
Любви васъ ищетъ божество.

Только едва ли найдеть, прибавимъ мы отъ себя прозою. Нельзя не жалѣть о поэтѣ, который видитъ себя принужденнымъ такимъ образомъ оправдывать свою героиню передъ обществомъ — и въ чемъ же? — въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе — что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болѣе нельзя не жалѣть объ обществѣ, передъ которымъ поэтъ вудѣлъ себя принужденнымъ оправдывать героиню своего романа въ томъ, что она женщина, а не деревашка, выточенная по подобію женщины. И всего

грустиѣ въ этомъ то, что передъ женщинами въ особен-ности старается онъ оправдать свою Татьяну... И за то, съ какою горечью говоритъ онъ о нашихъ женщинахъ, вездѣ, гдѣ касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости! Бакъ выдается вотъ эта строфа въ первой главѣ «Онѣгина»:

Причудницы большого свѣта!
Всѣхъ прежде васъ оставилъ онъ.
И правда то, что въ наши лѣта
Довольно скученъ высшій тонъ.
Хоть, можетъ быть, иная дама
Толкуетъ Сея и Бентама;
Но вообще ихъ разговоръ,
Несносный, хоть невинный вздоръ.
Къ тому-жъ онѣ такъ непорочны,
Такъ величавы, такъ умны,
Такъ благочестія полны,
Такъ осмотрительны, такъ точны,
Такъ неприступны для мужчинъ,
Что видъ ихъ ужъ рождаетъ спянь.

Эта строфа невольно приводитъ намъ на память слѣдующіе стихи, невошедшіе въ поѣму и напечатанные особо (т. IX):

Морозъ и солнце—чудный день!
Но нашимъ дамамъ видно льпы
Сойти съ крыльца и надъ Невоею
Блеснуть холодной красотою:
Сидятъ—напрасно ихъ манить
Пескомъ усыпанный гранить.
Умна восточная система
И правъ обычай стариковъ:
Онѣ родились для гарема
Иль для неволи...

Но и на востокѣ есть поэзія въ жизни, страсть закрады-вается и въ гаремы... За то, у насъ царствуетъ строгая нравственность, по крайней мѣрѣ, виѣшняя, а за нею ино-

гда бываетъ такая не-поэтическая поэзія жизни, которую, если воспользуется поэтъ, то, конечно, ужь не для поэмы...

Еслибы мы вздумали слѣдить за всѣми красотами поэмы Пушкина, указывать на всѣ черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случаѣ ни нашимъ выпискамъ, ни нашей статьѣ не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно опѣнена публикою, и все лучшее въ ней у всякаго на памяти. Мы предположили себѣ другую цѣль: раскрыть по возможности отношеніе поэмы къ обществу, которое она изображаетъ. На этотъ разъ, предметъ нашей статьи—характеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому, пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для насъ—объясненіе Онѣгина съ Татьяною въ отвѣтъ на ея письмо. Какъ подѣйствовало на нее это объясненіе понятно: всѣ надежды бѣдной дѣвушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себѣ для вѣшняго міра. Но разрушенная надежда не погасила въ ней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горѣть тѣмъ упорнѣе и напряженнѣе, чѣмъ глуше и безвыходнѣе. Несчастіе даетъ новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онѣ любятъ свое горе, желють свое страданіе, дорожатъ имъ, можетъ-быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы онѣ своимъ счастіемъ, еслибы оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лѣсу нашего общества, гдѣ-бы и скоро ли бы встрѣтила Татьяна другое общество, которое, подобно Онѣгину, могло бы поразить ея воображеніе и обратить огонь ея души на другой предметъ? Вообще, несчастная, нераздѣленная любовь, которая, упорно переживаетъ надежду, есть явленіе довольно болѣзненное, причина котораго, по слишкомъ рѣдкимъ и, вѣроятно, чисто физиологическимъ причинамъ, едва ли не скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой на счетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія

отъ фантазіи, падаютъ тяжело на сердце и терзаютъ его иногда еще сильнѣе, нежели страданія, корень которыхъ въ самомъ сердцѣ. Картина глухихъ, никѣмъ не раздѣленныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главѣ съ удивительною истиною и простотою. Посѣщеніе Татьяною опустѣлаго дома Онѣгина (въ седьмой главѣ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ на всѣхъ предметахъ котораго лежалъ такой рѣзкій отпечатокъ духа и характера оставившаго его хозяина, — принадлежитъ къ лучшимъ мѣстамъ поэмы и драгоценнѣйшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посѣщеніе.—

И въ молчаливомъ кабинетѣ,
Забывъ на время все на свѣтъ,
Осталась наконецъ одна,
И долго плакала она.
Потомъ за книги принялася,
Сперва ей было не до нихъ;
Но показался выборъ иль;
Ей страненъ. Чтенью предалася
Татьяна жадною душой:
И ей открылся міръ иной.

.
И начинаетъ по-немпогу
Моя Татьяна понимать
Теперь иснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной...
.
Ужель загадку разрѣшила,
Уже ли слово найдено?..

Итакъ, въ Татьянѣ, наконецъ, совершился актъ сознанія: умъ ея проснулся. Она поняла наконецъ, что есть для человѣка интересы, есть страданія и скорби кромѣ интереса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоятъ эти другіе интересы и страданія, и если поняла,

послужило ли это ей къ облегченію ея собственныхъ страданій? Конечно, поняла, но только умомъ, головою, потому что есть идеи, которыя надо пережить и душою и тѣломъ, чтобъ понять ихъ вполнѣ, и которыхъ нельзя изучить въ книгѣ. И потому, книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей, если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатлѣніе; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотрѣть на страсти, какъ на гибель жизни, убѣдило ее въ необходимости покориться дѣйствительности, какъ она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, во глубинѣ своей души, въ тиши уединенія, во мракѣ ночи, посвященной тоскѣ и рыданіямъ. Посѣщеніе дома Онѣгина и чтеніе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дѣвочки въ свѣтскую даму, которое такъ удивило и поразило Онѣгина. Въ предшествовавшей статьѣ мы уже говорили о письмѣ Онѣгина къ Татьянѣ и о результатѣ всѣхъ его страстныхъ посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объясненію Татьяны съ Онѣгинымъ. Въ этомъ объясненіи все существо Татьяны выразилось вполнѣ. Въ этомъ объясненіи высказалось все, что составляетъ сущность русской женщины съ глубокою натурою, развитою обществомъ,— все: и пламенная страсть, и задушевность простаго, искренняго чувства, и чистота, и святость наивныхъ движеній благородной природы, резонёрство, и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродѣтели, подъ которою замаскирована рабская боязнь общественнаго мнѣнія, и хитрые силлогизмы ума, свѣтскою моралью парализировавшаго великодушнаго движенія сердца... Рѣчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

Онѣгинъ, помните ль тотъ часъ,
Когда въ саду въ алеѣ насъ
Судьба свела, и такъ смиренно
Урокъ вашъ выслушала я?

Сегодня очередь моя.

Онѣгинъ, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила васъ; и что же?
Что въ сердцахъ вашихъ я нашла?
Какой отвѣтъ? Одну суровость.
Не правда-ль? Вамъ была не новость
Смиренной дѣвочки любовь?
И нынче—Боже!—стынетъ кровь
Какъ только вспомню взглядъ холодной
И эту проповѣдь...

Въ самомъ дѣлѣ, Онѣгинъ былъ виноватъ передъ Татьяною въ томъ, что онъ не полюбилъ ея тогда, какъ она была моложе и лучше и любила его! Вѣдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вотъ понятія, заимствованныя изъ плохихъ сантиментальныхъ романовъ! Нѣмая деревенская дѣвочка съ дѣтскими мечтами—и свѣтская женщина, испытанная жизнью и страданіемъ, обрѣтшая слово для выраженія своихъ чувствъ и мыслей, какая разница! И все-таки, по мнѣнію Татьяны, она болѣе способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше... Какъ въ этомъ взглядѣ на вещи видна русская женщина! А этотъ упрекъ что тогда она нашла со стороны Онѣгина одну суровость? «Вамъ была не новость смиренной дѣвочки любовь?» Да это уголовное преступленіе—не подорожить любовію нравственнаго эмбриона!... Но за этимъ упрекомъ тотчасъ слѣдуетъ и оправданіе.

. Но васъ

*Я не вижу: Въ тотъ страшный часъ
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной;
Я благодарна всей душой...*

Основная мысль упрековъ Татьяны состоитъ въ убѣжденіи, что Онѣгинъ потому только не полюбилъ ее тогда, что

въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводитъ къ ея ногамъ жажда скандалёзной славы... Во всемъ этомъ такъ и пробивается страхъ за свою добродѣтель...

Тогда не правда ли?—въ пустынь,
Вдали отъ суетной молвы,
Я вамъ не нравилась... Что-жь вынѣ
Меня преслѣдуете вы?
Зачѣмъ у васъ я, на примѣтъ?
Не потому-ль, что въ вышемъ свѣтъ
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна;
Что мужъ въ сраженьяхъ изувѣченъ;
Что насъ за то ласкаетъ дворъ?
Не потому-ль, что мой позоръ
Теперь бы всѣми былъ замѣченъ,
И могъ бы въ обществѣ принести
Вамъ соблазнительную честь?
Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сихъ поръ,
То знайте: колкость вашей брани
Холодный, строгій разговоръ,
Когда-бъ въ моей лишь было власти,
Я предпочла бъ *обидной* страсти
И этимъ письмамъ и слезамъ.
Къ моимъ младенческимъ мечтамъ.
Тогда имѣли вы хоть жалость,
Хоть уваженіе къ лѣтамъ...
А нынче?—что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? *Какая малость!*
Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ
Быть чувства мелкаго рабомъ?

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепеть за свое доброе имя въ большомъ свѣтъ, а въ слѣдующихъ затѣмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрѣнія къ большому свѣту... Какое противорѣчіе! И что всего грустнѣе, то и другое истинно къ Татьянѣ...

А мнѣ, Онѣгинѣ, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Моя успѣхи въ вихрь свѣта.
• Мой модный домъ и вечера, —
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ.
За полку книгъ, за дикій садъ,
Здѣ наше бѣдное жилище,
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ.
Онѣгинѣ, видѣла я васъ,
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моею.

Повторяемъ: эти слова такъ же непритворны и искренни, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любитъ свѣта и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свѣтѣ—его мнѣніе всегда будетъ ея идоломъ, и страхъ его суда всегда будетъ ея добродѣтелью...

А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!.. Но судьба моя
Ужъ рѣшена. Неосторожно,
Быть можетъ, поступила я;
Меня съ слезами заклинаній
Молила мать; для бѣдной Тани
Всѣ были жребія равны...
Я вышла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть
И гордость, и пріямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду въкъ ему тѣрна.

Последніе стихи удивительны — подлинно «конецъ вѣнчаетъ дѣло!» Этотъ отвѣтъ могъ бы идти въ примѣръ классическаго «высокаго» (sublime), наравнѣ съ отвѣтомъ Медеи:

moi! и стараго Горація: qu'il mourût! Вотъ истинная гордость женской добродѣтели! «Но я другому отдана»,—именно отдана, а не отдалась! Вѣчная вѣрность—къ кому и въ чемъ? Вѣрность такимъ отношеніямъ, которыя составляютъ профанацію чувства и чистоты женственности, потому что нѣкоторыя отношенія, неосвящаемыя любовію, въ высшей степени безнравственны... Но у насъ какъ-то все это клеится вмѣстѣ: поэзія—и жизнь, любовь—и бракъ по расчету, жизнь сердцемъ—и строгое исполненіе внѣшнихъ обязанностей, внутренне ежечасно нарушаемыхъ.... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена въ жизни сердца; любить—для нея жить, а жертвовать—значить любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее... Татьяна неволью напомнила намъ Вѣру въ «Герои Нашего Времени», женщину слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую въ своей слабости. Правда, женщина поступаетъ безнравственно, принадлежа вдругъ двумъ мужчинамъ, одного любя, а другаго обманывая: противъ этой истины не можетъ быть никакого спора; но въ Вѣрѣ этотъ грѣхъ выкупается страданіемъ отъ сознанія своей несчастной роли. И какъ бы могла она поступить рѣшительно въ отношеніи къ мужу, когда она видѣла, что тотъ, кому она всю себя пожертвовала, принадлежалъ ей не вполнѣ и, любя ее, все-таки не захотѣлъ бы слить съ нею свое существованіе? Слабая женщина, она чувствовала себя подъ влияніемъ роковой силы этого человѣка съ демонической натурою, и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ея по своей натурѣ и по характеру, не говоря уже объ огромной разницѣ въ художественномъ изображеніи этихъ двухъ женскихъ лицъ: Татьяна—портретъ во весь ростъ; Вѣра—не больше, какъ силуэтъ. И, несмотря на то, Вѣра—больше женщина... но за-то, и больше исключеніе, тогда какъ Татьяна—типъ русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившіе жизнь и женщину по повѣстямъ Марлинскаго, требуютъ отъ не-

обыкновенной женщины презрѣнія къ общественному мнѣнію. Это ложь: женщина не можетъ презирать общественнаго мнѣнія, но можетъ имъ жертвовать скромно, безъ фразъ, безъ самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятiя, которое она беретъ на себя, повинувась другому высшему закону — закону своей природы, а ея натура—любовь и самоотверженіе...

И такъ, въ лицѣ Онѣгина, Ленскаго и Татьяны, Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованiя, его развитiя, и съ какою истиною, съ какою вѣрностью, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествѣ вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собою картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извѣстно нашей публикѣ и такъ давно оцѣнено ею по достоинству... Замѣтимъ одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмѣ, вездѣ является такою прекрасною, такою гуманною, но въ то же время по преимуществу артистическою. Вездѣ видите вы въ немъ чело-вѣка, душою и тѣломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездѣ видите русскаго помѣщика... Онъ нападаетъ въ этомъ классѣ на все, что противорѣчитъ гуманности; но принципъ класса для него — вѣчная истина... И потому, въ самой сатирѣ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Воспомните описаніе семейства Лариныхъ, во второй главѣ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиною, что въ «Онѣгинѣ» многое устарѣло теперь. Но безъ этого. можетъ-быть, и не вышло бы изъ «Онѣгина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредѣленнаго факта для отрицанiя мысли, въ самомъ же этомъ обществѣ такъ быстро развивающейся...

«Онѣгина» писанъ былъ въ продолженіи нѣсколькихъ лѣтъ, — и потому самъ поэтъ росъ вмѣстѣ съ нимъ и каждая новая глава поэмѣ была интереснѣе и зрѣлѣе. Но послѣднія двѣ главы рѣзко отдѣляются отъ первыхъ шести: онѣ явно принадлежать уже къ высшей, зрѣлой эпохѣ художественнаго развитія поэта. О красотѣ отдѣльныхъ мѣстъ нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежать: ночная сцена между Татьяною и нянею, дуэль Онѣгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ послѣднихъ двухъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описание весны, воспоминаніе о Ленскомъ, посѣщеніе Татьяною дома Онѣгина) какъ-то особенно выдѣляется изъ всего глубокостью грустнаго чувства и дивно-прекрасными стихами... Отступленія, дѣлаемая поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себѣ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта въ нихъ является такою любящею, такою гуманною. Въ своей поэмѣ онъ умѣлъ коснуться такъ многого, намекнуть о столь многомъ, что принадлежитъ исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! «Онѣгина» можно назвать энциклопедіей русской жизни, и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикою и имѣла такое огромное вліяніе и на современную ей, и на послѣдующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но за-то какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него стояніе на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и проводитъ съ собою новыя потребности, новыя идеи, пусть растетъ русское общество и обгоняетъ «Онѣгина»: какъ бы далеко оно не ушло, но всегда будетъ оно любить эту поэму, всегда будетъ останавливать на ней

исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключеніе нашей статьи, своимъ непосредственнымъ впечатлѣніемъ на душу читателя, лучше насъ выскажутъ то, что бы хотѣлось намъ высказать:

Увы! на жизненныхъ брздахъ.
Мгновенной жатвой поколѣнья.
По тайной волѣ провидѣнья.
Восходить зрѣютъ и падуть;
Другія имъ во слѣдъ идутъ...
Такъ наше вѣтренное племя
Растеть, волнуется, кипитъ.
И къ гробу пращѣдовъ тѣснитъ.
Прійдетъ, придетъ и наше время.
И наши внуки въ добрый часъ
Изъ міра вытѣснятъ и насъ
Покаместъ упивайтесь ею,
Сей легкой жизнію, друзья!
Ея ничтожность разумѣю
И къ ней привязанъ мало я;
Для призраковъ закрылъ я вѣжды;
Но отдаленны надежды
Тревожатъ сердце иногда:
Безъ непримѣтнаго слѣда
Мнѣ было-бъ грустно міръ оставить.
Живу, пишу не для похвалъ;
Но я бы, кажется, желалъ
Печальный жребій свой прославить,
Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ.
Напомнилъ хоть единый звукъ.
И чье нибудь онъ сердце тронетъ;
И сохраненная судьбой,
Быть можетъ, въ Летѣ не потонетъ.
Строфа слагаемая мной;
Быть можетъ, — лестная надежда! —
Укажетъ будущій невѣжда
На мой прославленный портретъ,
И молвить: то-то былъ поэтъ!
Прими жь мое благодаренье.

Поклонникъ мирныхъ воиждъ.
О ты, чья память сохранить
Мои летучія творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплетъ лавры старика!

Х.

Борисъ Годуновъ.

Совершенно новая эпоха художнической дѣятельности Пушкина началась «Полтавою» и «Борисомъ Годуновымъ». Хотя первая вышла въ 1829 году, а послѣдній въ 1831 году, — тѣмъ не менѣе ихъ должно считать почти современными другъ другу произведеніями, потому что «Борисъ Годуновъ» написанъ былъ гораздо раньше 1831 года, и знаменитая сцена между Пименомъ и Самозванцемъ была напечатана въ «Московскомъ Вѣстникѣ» 1828 года; небольшая сцена между Курбскимъ и Самозванцемъ, въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1828 годъ, вышедшихъ въ 1827 году. «Полтава», со стороны художественности, относится къ «Борису Годунову», какъ стремленіе относится къ достиженію. Публика приняла «Полтаву» холоднѣе, нежели прежнія поэмы Пушкина; «Борисъ Годуновъ» былъ принятъ совершенно холодно, какъ доказательство совершеннаго паденія таланта, еще недавно столь великаго, такъ много сдѣлавшаго и еще такъ много общавшаго. Какъ тогда, такъ и теперь, у «Бориса Годунова» были жаркіе поклонники; но какъ тогда, такъ и теперь, число этихъ поклонниковъ было очень малочисленно, а число порицателей огромно. Которые изъ нихъ правы, которые виноваты? Тѣ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что, дѣйствительно, ни въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не достигалъ Пушкинъ до такой художественной высоты, — и ни въ одномъ не обнаружилъ

такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ «Борисѣ Годуновѣ». Эта пьеса для него была истинно Ватерлоовскою битвою, въ которой онъ развернулъ во всей широтѣ и глубинѣ свой гений, и, несмотря на то, все-таки потерпѣлъ рѣшительное пораженіе.

Прежде всего скажемъ, что «Борисъ Годуновъ» Пушкина— совсѣмъ не драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ. Дѣйствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорятъ, и мѣстами говорятъ превосходно; но они не живутъ, не дѣйствуютъ. Слышите слова, часто исполненные высокой поэзіи, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни дѣйствій. Это одинъ изъ первыхъ и главныхъ недостатковъ драмы Пушкина; но этотъ недостатокъ не вина поэта: его причина—въ русской исторіи, изъ которой поэтъ заимствовалъ содержаніе своей драмы. Русская исторія до Петра Великаго тѣмъ и отличается отъ исторіи западно-европейскихъ государствъ, что въ ней преобладаетъ чисто-эпическій, или, скорѣе квіетическій характеръ, — тогда какъ въ тѣхъ преобладаетъ характеръ чисто-драматическій. До Петра Великаго въ Россіи развивалось начало семейственное и родовое; но не было и признаковъ развитія личнаго: а можетъ-ли существовать драма безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей? Чтѣ составляетъ содержаніе Шекспировскихъ драматическихъ хроникъ? — борьба личностей, которыя стремятся къ власти и оспариваютъ ее другъ у друга. Это бывало и у насъ: весь удѣльный періодъ есть не чтѣ иное, какъ ожесточенная борьба за великокняжескій и за удѣльные престолы; въ періодъ Московскаго царства мы видимъ съ рядомъ трехъ претендентовъ такого рода; но все таки не видимъ никакого драматическаго движенія. Въ періодъ удѣловъ одинъ князь свергалъ другаго и овладевалъ его удѣломъ: потомъ, побѣжденный имъ, снова уступалъ ему его владѣніе, потомъ опять захватывалъ его; но въ удѣлѣ, отъ этого ровно ничего не измѣнялось: перемѣнялись лица, а ходъ

и сущность дѣлъ оставались тѣ же, потому что ни одно новое лицо не приносило съ собою никакой новой идеи, никакого новаго принципа. Отсюда объясняется, почему народонаселеніе того или другаго княжества, того или другаго города, съ одинаковою ревностію билось и за стараго князя противъ новаго, и за новаго противъ стараго. И одному Богу извѣстно, чѣмъ бы кончилась для Руси эта усобица, еслибы такъ кстати не подоспѣли Татары. Съ одной стороны, ихъ жестокое и позорное иго гибельно подѣйствовало на нравственную сторону русскаго племени, а съ другой было для него благотѣльно, потому что, чувствомъ общей опасности и общаго страданія, связало разьединенныя русскія княжества и способствовало развитію государственной централизаціи черезъ преобладаніе Московскаго княженія надъ всѣми другими. Единство болѣе внѣшнее, нежели внутреннее, но тѣмъ не менѣе все оно же спасло Россію! Иоаннь III, котораго не безъ основанія нѣкоторые историки называютъ великимъ, былъ творцомъ неподвижной крѣпости Московскаго царства, положивъ въ его основу идею восточнаго абсолютизма, столь благотѣльнаго для абстрактнаго единства созданной имъ новой державы. И этотъ великій, повидимому, переворотъ совершился тихо и мирно, безъ всякихъ потрясеній. Иоаннь III обнаружилъ въ этомъ дѣлѣ геніяльную односторонность, переходившую почти въ ограниченность, твердую волю, силу характера; онъ постоянно стремился къ одной цѣли, дѣйствовалъ неослабно, но не боролся, потому что не встрѣтилъ никакого дѣйствительнаго и энергическаго сопротивленія. Дѣло обошлось безъ борьбы, и, такимъ образомъ, одно изъ самыхъ драматическихъ событій древней русской исторіи совершилось безъ всякаго драматизма. Драматизмъ какъ поэтическій элементъ жизни, заключается въ столкновеніи и сшибкѣ (коллизіи) противоположно и враждебно направленныхъ другъ противъ друга идей, которыя проявляются какъ страсть, какъ паеосъ. Идея самодержав-

наго единства Московскаго царства, въ лицѣ Іоанна III торжествующая надъ умирающею удѣльною системою, встрѣтила, въ своемъ безусловно побѣдоносномъ шествіи, не противниковъ сильныхъ и ожесточенныхъ на все готовыхъ, а развѣ нѣсколько безсильныхъ и жалкихъ жертвъ. Роды удѣльныхъ князей, потомковъ Рюрика, скоро выродились въ простую боярщину, которая передъ престоломъ была покорна на равнѣ съ народомъ, но которая стала между престоломъ и народомъ не какъ посредникъ, а какъ непроницаемая ограда, раздѣлившая царя съ народомъ. Разрядныя книги служатъ неоспоримымъ доказательствомъ, что въ древней Россіи личность никогда и ничего не значила, но все значилъ родъ, и торжество боярина было торжествомъ цѣлаго рода боярскаго. Такимъ образомъ, удѣльная борьба княжескихъ родовъ переродилась въ дворскую борьбу боярскихъ родовъ. Но эта борьба не представляетъ никакого содержанія для драматическаго поэта, потому что при дворѣ московскомъ одинъ родъ торжествовалъ надъ другимъ въ милости царской, но не одинъ изъ торжествующихъ родовъ не вносилъ ни въ думу, ни въ администрацію никакой новой идеи, никакого новаго принципа, никакого новаго элемента. Новый любимецъ вездѣ гналъ своихъ прежнихъ противниковъ и ихъ родичей, постригалъ ихъ насильно въ монахи, сажалъ въ тюрьмы, разсылалъ по дальнимъ городамъ, то въ позорную неволю, то въ почетную опалу. И такимъ образомъ боролись и мѣнялись лица, а не идеи. Подобная борьба и подобныя смѣны могли много значить для боярскихъ родовъ, для дворской интриги и крамолы, но для государства онѣ ровно ничего не значили; историческая же драма можетъ брать содержаніе только изъ государственной жизни. Царствованіе Грознаго, повидимому, больше всего представляетъ матеріаловъ для драмы, какъ зрѣлище нещадной войны, объявленной абсолютизмомъ боярскаго крамолѣ, но это только такъ можетъ казаться и едва ли такъ было на самомъ дѣлѣ, ибо мы не видимъ, чтобъ Грозный чѣмъ ни-

будь думалъ замѣнить гонимый имъ принципъ боярщины. Словомъ, видно ожесточеніе къ боярскимъ родамъ, но нѣтъ, въ то же время, никакого особеннаго вниманія къ народу; тутъ замѣтно, слѣдовательно, личное чувство, а не идея, не принципъ, не убѣжденіе. Стало быть, и тутъ нѣтъ ничего для драмы... Но вотъ является Годуновъ, — и чѣмъ бы ни достигъ онъ престола—злодѣйствомъ ли, какъ въ этомъ увѣренъ Карамзинъ, или только смѣлымъ и гибкимъ умомъ безъ преступленія,—во всякомъ случаѣ, онъ также не внесъ въ русскую жизнь никакого новаго элемента, и его возвышеніе, равно какъ и его паденіе, ничего не значили для будущихъ судебъ русскаго народа: безъ Годунова все пошло бы такъ же точно, какъ и съ Годуновымъ. У Самозванца были разные политическіе замыслы, которые могли бы измѣнить ходъ нашей исторіи; но эти замыслы были не что иное, какъ удалыя мечты человѣка рѣшительнаго, пылкаго, умнаго, но, что называется, безъ царя въ головѣ, а потому они и кончились такъ, какъ слѣдовало кончиться мечтамъ. Шуйскій хотѣлъ изъ боярщины образовать аристократію; но какъ это желаніе было плодомъ не мысли, а трусости и низости, — оно и кончилось бѣдою для Шуйскаго и ровно ничѣмъ не кончилось для государства... Итакъ, вотъ сряду три лица, которыя уже по необыкновенности употребляемыхъ ими способовъ для достиженія верховной власти должны были бы внести въ государственную жизнь новыя основанія, и которыя ровно ничего не внесли въ нее, и прошли въ исторіи безъ слѣда, какъ будто бы ихъ и не было... Не такъ бывало въ государствахъ западной Европы. Для Англичанъ, напримѣръ, было великимъ событіемъ царствованіе Іоанна Безземельнаго — этого слабаго и ничтожнаго брата Ричарда Львиного Сердца, овладѣвшаго властію въ отсутствіи героя, который гонялся въ Палестинѣ за бесполезными лаврами. Во Франціи, напримѣръ, очень важно было рѣшеніе вопроса: кто будетъ управлять Людовиномъ VIII—его мать Катерина Медичи, или

кардиналь Ришельё. Такихъ примѣровъ можно было бы найти множество; но для поясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, если въ «Борисъ Годуновъ» Пушкина почти нѣтъ никакого драматизма, — это вина не поэта, а исторіи, изъ которой онъ взялъ содержаніе для своей «эпической драмы». Можетъ быть, отъ этого онъ и ограничился только одною попыткою въ этомъ родѣ.

А между тѣмъ, Борисъ Годуновъ, можетъ-быть, больше, чѣмъ какое нибудь другое лицо русской исторіи, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической формѣ, — для поэмы, въ которой такой поэтъ, какъ Пушкинъ, могъ бы развернуть всю силу своего таланта и избѣжать тѣхъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ и въ эстетическомъ отношеніи, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова, и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго значенія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ послѣдовалъ Карамзину, — и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматическимъ злодѣемъ, котораго мучить совѣсть и который въ своемъ злодѣйствѣ нашелъ себѣ кару. Мысль нравственная и почтенная, но уже до того избитая, что таланту ничего нельзя изъ нея сдѣлать!...

Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Карамзина, въ то же время можно и даже должно безпристрастными глазами видѣть мѣру, объемъ и границы его заслугъ. Человѣкъ многосторонне-даровитый, Карамзинъ писалъ стихи, повѣсти, былъ преобразователемъ русскаго языка, публицистомъ, журналистомъ, можно сказать, создалъ и образовалъ русскую публику, и, слѣдовательно, упрочилъ возможность существованія и развитія русской литературы; наконецъ, далъ Россіи ея исторію, которая далеко оставила за собою

всѣ прежнія попытки въ этомъ родѣ, и безъ которой, можетъ-быть, еще и теперь знаніе русской исторіи было бы возможно только для записныхъ тружениковъ науки, но не для публики. И во всемъ этомъ Карамзинъ обнаружилъ много таланта, но не геніальности, и потому все сдѣланное имъ весьма важно, какъ факты исторіи русской литературы и образованія русскаго общества, но совершенно лишено безусловнаго достоинства. Важнѣйшій его трудъ, безъ сомнѣнія, есть «Исторія Государства Россійскаго», которая читается и перечитывается до сихъ поръ, когда уже всѣ другія его сочиненія пользуются только почетною памятью, какъ произведенія, имѣвшія большую цѣну въ свое время. И дѣйствительно, до тѣхъ поръ, пока русская исторія не будетъ изложена совершенно съ другой точки зрѣнія и съ тѣмъ умѣньемъ, которое дается только талантомъ,—до тѣхъ поръ исторія Карамзина по неволѣ будетъ единственною въ своемъ родѣ. Но уже и теперь ея недостатки видны для всѣхъ, можетъ-быть, еще больше, нежели ея достоинства. Въ недостаткахъ фактически нельзя винить Карамзина, приступившаго къ своему великому труду въ такое время, когда историческая критика въ Россіи едва начиналась, и Карамзинъ долженъ былъ, пиша исторію, еще заниматься историческою работою матеріаловъ. Гораздо важнѣе недостатки его исторіи, происшедшіе изъ его способа смотрѣть на вещи. Сначала, его исторія—поэма въ родѣ тѣхъ, которыя писались высокопарною прозою и были въ большомъ ходу въ концѣ прошлаго вѣка. Потомъ, мало по-малу, входя въ духъ жизни древней Руси, онъ можетъ быть незамѣтно для самого себя, увлекаясь своимъ трудомъ, увлекся и духомъ древне-русской жизни. Съ Іоанна III, Московское царство, въ глазахъ Карамзина, становится высшимъ идеаломъ государства,—вмѣсто исторіи до-Петровской Россіи, онъ пишетъ ея панегирикъ. Все въ ней кажется ему безусловно великимъ, прекраснымъ, мудрымъ и образцовымъ. Къ этому присоединяется еще мело-

драматическій взглядъ на характеры историческихъ лицъ. У Карамзина ни въ чемъ нѣтъ середины: у него нѣтъ людей, а есть только или герои добродѣтели, или злодѣи. Этотъ мелодраматизмъ простирается до того, что одно и то же лицо у него сперва является свѣтлымъ ангеломъ, а потомъ чернымъ демономъ. Таковъ Грозный: пока имъ управляютъ, какъ машиною, Сильвестръ и Адашевъ, онъ—сама добродѣтель, сама мудрость; но умираетъ царица Анастасія,—и Грозный вдругъ является бичомъ своего народа, безумнымъ злодѣемъ. Историкъ пересказываетъ всѣ ужасы, сдѣланные Грознымъ, и взводитъ на него такія, которыхъ онъ и не дѣлалъ, заставляя его убивать два раза, въ разныя эпохи, однихъ и тѣхъ же людей. Жертвы Грознаго часто говорятъ ему передъ смертію эффектные рѣчи, какъ будто бы переведенныя изъ Тита Ливія. Такого же мелодраматическаго злодѣя сдѣлалъ Карамзинъ и изъ Бориса Годунова. Подверженный увлеченію, которое больше всего вредитъ историку, онъ объ убіеніи царевича Димитрія говоритъ утвердительно, какъ о дѣлѣ Годунова, какъ-будто бы въ этомъ уже невозможно никакое сомнѣніе. Юноша Годуновъ, прекрасный лицомъ, свѣтлый умомъ, блестящій краснорѣчіемъ, зять палача Малюты Скуратова, и въ рядахъ опричины умѣлъ остаться чистымъ отъ разврата, злодѣйства и крови. Черта характера необыкновеннаго! Но въ ней еще не видно строгой и глубокой добродѣтели: по крайней мѣрѣ, послѣдующая жизнь Годунова не подтверждаетъ этого. Будучи царемъ, онъ не долго сдерживалъ порывы своей подозрительности, и скоро сдѣлался мучителемъ и тираномъ. Вообще, если онъ при Грозномъ не запятналъ себя кровью, — въ этомъ видно больше ловкости, умѣнья и разчета, нежели добродѣтели. Годуновъ былъ необыкновенно уменъ, и потому не могъ не гнушаться злодѣйствомъ, свершеннымъ безъ нужды и безъ причины. Впрочемъ, мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ Годуновъ былъ лицемѣрный злодѣй; нѣтъ, мы хотимъ только сказать, что можно, въ одно и то же время, не быть ни злодѣемъ, ни

героизмъ добродѣтели и не любить злодѣйства въ одно и то же время по чувству и по расчету... Карамзинскій Годуновъ—лицо совершенно двойственное, подобно Грозному: онъ и мудръ и ограниченъ, и злодѣй и добродѣтельный человекъ, и ангелъ и демонъ. Онъ убиваетъ законнаго наслѣдника престола, сына своего перваго благодѣтеля и брата своего втораго благодѣтеля, мудро править государствомъ и, принимая корону, клянется, что въ его царствѣ не будетъ нищихъ и убогихъ, и что послѣднюю рубашкою будетъ онъ дѣлиться съ народомъ. И честно держитъ онъ свое обѣщаніе: онъ дѣлаетъ для народа все, что только было въ его средствахъ и силахъ сдѣлать. А между тѣмъ, народъ хочетъ любить его — и не можетъ любить! Онъ приписываетъ ему убіеніе царевича; онъ видитъ въ немъ умышленнаго виновника всѣхъ бѣдствій, обрушившихся надъ Россією; взводитъ на него обвиненія самыя нелѣпыя и бессмысленныя, какъ, напримѣръ, смерть датскаго царевича, нареченнаго жениха его милой дочери. Годуновъ все это видитъ и знаетъ.

Пушкинъ неподобно передалъ жалобы Карамзинскаго Годунова на народъ:

Мнѣ счастья нѣтъ. Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать;
Но отложилъ пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна,
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумы мы, когда народный плескъ,
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше.
Богъ насылалъ на землю нашу гладь;
Народъ завывалъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:
Они-жь меня, бѣснуясь, проклинали!
Пожарный огонь ихъ дома истребилъ;
Я выстроилъ имъ новыя жилища:
Они-жь меня пожаромъ упрекали!
Вотъ черни судъ: ищи-жь ей любви!

Это говорить царь, который справедливо жалуется на свою судьбу и на народъ свой. Теперь послушаемъ голоса, если не народа, то цѣлаго сословія, которое тоже, кажется, не безъ основанія, жалуется на своего царя:

. онъ править нами.
Какъ царь Иванъ (не къ ночи будь помянуть).
Что пользы въ томъ, что явныхъ казней нѣтъ,
Что на полу кровавомъ всенародно
Мы не поемъ каноновъ Иисусу.
Что насъ не жгутъ на площади, а царь
Своимъ жезломъ не подгребаешь углей?
Увѣрены ль мы въ бѣдной жизни нашей!
Насъ каждый день опала ожидаетъ,
Тюрьма, Сибирь, влобукъ, иль кандалы.
А тамъ въ глуши голодна смерть, иль петля.

.
Вотъ—Юрьевъ день задумалъ уничтожить,
Не властны мы въ помѣстіяхъ своихъ,
Не смѣй согнать лѣнница! Радъ не радъ,
Корми его. Не смѣй переманить
Работника! Не то—въ приказъ холопій.
Ну, слыхано-ль хоть при царь Иванъ
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванецъ
Имъ посулить старинный Юрьевъ день,
Такъ и пойдетъ потѣха.

Въ чемъ же заключается источникъ этого противорѣчія въ характерѣ и дѣйствіяхъ Годунова? Чѣмъ объясняетъ его нашъ историкъ и, вслѣдъ за нимъ, нашъ поэтъ? Мученіями виновной совѣсти!... Вотъ, что заставляетъ говорить Годунова поэтъ, рабски вѣрный историку:

Ахъ, чувствую: ничто не можетъ насъ
Среди мірскихъ печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина развѣ совѣсть.
Такъ, здравая, она восторжествуетъ
Надъ злобою. надъ темной клеветою;

Но если въ ней единое пятно,
Единое случайно завелось,
Тогда бѣда: какъ язвой моровой
Душа сгорить, нальется сердце ядомъ,
Какъ молоткомъ стучить въ ухахъ упрекомъ,
И все тошнить, и голова кружится,
И мальчишки кровавые въ глазахъ...
И радъ бѣжать, да некуда... ужасно!
Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста.

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкій и ограниченный взглядъ на натуру человѣка! Какая бѣдная мысль—заставить злодѣя читать самому себѣ мораль, вмѣсто того, чтобъ заставить его всѣми мѣрами оправдывать свое злодѣйство въ собственныхъ глазахъ! На этотъ разъ историкъ сыгралъ съ поэтѣю плохую шутку... И вольно же было поэтѣ дѣлаться эхомъ историка, забывъ, что ихъ раздѣляетъ другъ отъ друга цѣлый вѣкъ!... Оттого то, въ философскомъ отношеніи, этотъ взглядъ на Годунова сильно напоминаетъ собою добродушный паеосъ Сумароковского «Димитрія Самозванца»...

Прежде всего замѣтимъ, что Карамзинъ сдѣлалъ великую ошибку, позволивъ себѣ до того увлечься голосомъ современниковъ Годунова, что въ убіеніи царевича увидѣлъ неопровержимо и несомнѣнно доказанное участіе Бориса... Изъ нашихъ словъ, впрочемъ, отнюдь не слѣдуетъ, чтобъ мы прямо и рѣшительно оправдывали Годунова отъ всякаго участія въ этомъ преступленіи. Нѣтъ, мы въ криминально историческомъ процессѣ Годунова видимъ совершенную не достаточность доказательствъ за и противъ Годунова. Судъ исторіи долженъ быть остороженъ и безпристрастенъ, какъ судъ присяжныхъ по уголовнымъ дѣламъ. Грѣшно и стыдно утвердить недоказанное преступленіе за такимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, какъ Борисъ Годуновъ. Смерть царевича Димитрія — дѣло темное и неразрѣшимое для потомства. Не утверждаемъ за достовѣрное, но думаемъ, что съ большею

основательностію можно считать Годунова невиннымъ въ преступленіи, нежели виновнымъ. Одно уже то сильно говоритъ въ пользу этого мнѣнія, что Годуновъ, — человекъ умный и хитрый, администраторъ искусный и дипломатъ тонкій, — едва ли бы совершилъ свое преступленіе такъ не ловко, нелѣпо, нагло, какъ свойственно было бы совершить его какому-нибудь удалому пройдохѣ, въ родѣ Дмитрія Самозванца, который увлекался только минутными движеніями своихъ страстей и хотѣлъ пользоваться настоящимъ, не думая о будущемъ. Годуновъ имѣлъ всѣ средства совершить свое преступленіе тайно, ловко, не навлекая на себя явныхъ подозрѣній. Онъ могъ воспитать царевича такъ, чтобъ сдѣлать его неспособнымъ къ правленію и довести до монашеской рясы; могъ даже искусно оспаривать законность его права на наслѣдство, такъ какъ царевичъ былъ плодомъ седьмага брака Іоанна Грознаго. Самое вѣроятное предположеніе объ этомъ темномъ событіи нашей исторіи должно, кажется, состоять въ томъ, что нашлись люди, которые слишкомъ хорошо поняли, какъ важна была для Годунова смерть младенца, заграждавшаго ему доступъ къ престолу, и которые, не сговариваясь съ нимъ и не открывая ему своего умысла, думали этимъ страшнымъ преступленіемъ оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это напоминаетъ намъ сцену изъ «Антонія и Клеопатры» Шекспира, на палубѣ Помпеева корабля, гдѣ Менасъ, сторонникъ Помпея, вызывается сдѣлать его властелиномъ всего міра, давъ ему возможность овладѣть тремя пирующими у него соперниками: Цезаремъ, Антоніемъ и Лепидомъ (Дѣйств. II, сц. 7). И если услужники Годунова были догадливые и умные Менасы, то нельзя не видѣть, что они оказали Годунову очень дурную услугу не въ одномъ нравственномъ отношеніи. Если-жъ Годуновъ внутренно, втайнѣ, доволенъ былъ ихъ услугою, — нельзя не согласиться, что на этотъ разъ онъ былъ очень близорукъ и недалковиденъ. Радоваться этому

преступленію, значило для него—радоваться тому, что у его враговъ было наконецъ страшное противъ него оружіе, которымъ они при случаѣ хорошо могли воспользоваться. Нѣтъ, еще разъ: скорѣе можно предположить (какъ ни странно подобное предположеніе), что царевичъ погибъ отъ руки враговъ Годунова, которые, сваливъ на него это преступленіе, какъ только для него одного выгодное, могли рассчитывать на вѣрную его гибель. Какъ бы то ни было, вѣрно одно: ни историкъ Государства Россійскаго, ни рабски слѣдовавшій ему авторъ «Бориса Годунова» не имѣли ни малѣйшаго права считать преступленіе Годунова доказаннымъ и неподверженнымъ сомнѣнію.

Но—скажутъ намъ—убѣжденіе Карамзина оправдывается единодушнымъ голосомъ современниковъ Годунова, убѣжденіемъ всего народа въ его время; а вѣдь гласъ Божій—гласъ народа! Такъ; но здѣсь главный-фактъ есть убѣжденіе тогдашняго народа въ представленіи Годунова, а готовность, расположеніе народа къ этому убѣжденію, — расположеніе, причина котораго заключалось въ нелюбви, даже въ ненависти народа къ Годунову. За чтѣ же эта ненависть къ человѣку, который такъ любилъ народъ, столько сдѣлалъ для него, и котораго самъ народъ сначала такъ любилъ повидимому? — Въ томъ-то и дѣло, что тутъ съ обѣихъ сторонъ была лишь «любовь повидимому» — и въ этомъ заключается трагическая сторона личности Годунова и судьбы его. Еслибы Пушкинъ видѣлъ эту сторону, — тогда, вмѣсто характера въ половину мелодраматическаго, у него вышелъ бы характеръ простой, естественный, понятный и вмѣстѣ съ тѣмъ трагически-высокій. Правда, и тогда у Пушкина не было бы драмы въ строгомъ значеніи этого слова; но за то была бы превосходная драматическая поэма, или эпическая трагедія.

Итакъ, разгадать историческое значеніе и историческую судьбу Годунова, значитъ объяснить причину: почему Годуновъ, повидимому, столь любившій народъ и столь много

для него сдѣлавшій, не былъ любимъ народомъ? Попробуемъ объяснить этотъ вопросъ такъ, какъ мы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой, повидимому, незаслуженной ненависти народа къ Годунову, кару за его преступленіе. Слабость и нерѣшительность мѣръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они приписываютъ смущенію виновной совѣсти. Это взглядъ чисто-мелодраматическій, и въ историческомъ и въ поэтическомъ отношеніи, особенно въ примѣненіи къ такому необыкновенному человѣку, каковъ былъ Борисъ! Въ поэмѣ Пушкина, самъ Годуновъ объясняетъ причину народной къ себѣ ненависти такъ:

Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъъ,
Иль ярый вопль тревожить сердце наше.

Это оправданіе—не голосъ истины, а голосъ оскорбленнаго самолюбія, не твердая рѣчь великаго человѣка, а плаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ геніи, раздосадованнаго неудачею. Нѣтъ, народъ никогда не обманывается въ своей симпатіи и антипатіи къ живой власти: его любовь, или его нелюбовь къ ней—высшій судъ! Гласъ Божій—гласъ народа!

Изъ всѣхъ страстей человѣческихъ, послѣ самолюбія, самая сильная, самая свирѣпая—властолюбіе. Можно навѣрное сказать, что ни одна страсть не стоила человѣчеству столько страданій и крови, какъ властолюбіе. Во времена просвѣщенныя и у народовъ цивилизованныхъ властолюбіе является всегда въ соединеніи съ честолюбіемъ, такъ что иногда трудно рѣшить, которая изъ этихъ страстей господствующая въ человѣкѣ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія у народовъ необразованныхъ властолюбіе имѣетъ другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще съ чувствомъ

самохраненія: гдѣ, не будучи первымъ, такъ легко погибнуть ни за что, — тамъ всякому вдвойнѣ хочется быть первымъ, чтобъ никого не бояться, но всѣхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всѣхъ, или многихъ невозможно быть первымъ, — то право перваго естественнымъ ходомъ исторіи вездѣ утвердилось потомственно въ одномъ родѣ, на основаніи права въ прошедшемъ, или преданія. Время осватило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всѣхъ и у многихъ всякую возможность губить другъ друга и цѣлый народъ притязаніями на верховное первенство. Передъ правомъ избраннаго провидѣннѣея рода умолкла зависть, смирилось властолюбіе: родъ признанъ высшимъ надо всѣми по праву свыше, и равные между собою охотно повинуются высшему передъ всѣми ими. Но когда царствующій родъ прекращается, послѣ наследственнаго владычества въ продолженіи нѣсколькихъ вѣковъ, и когда право высшей власти захватываетъ человѣкъ, вчера бывший равнымъ со всѣми передъ верховною властію, а сегодня долженствующій начать собою новую династію, — тогда, естественно, разнуздывается у всѣхъ страсть властолюбія. Каждый думаетъ: если онъ могъ быть избранъ, почему же Я не могъ? Чѣмъ онъ лучше меня, и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбецъ силою и хитростію заставляетъ молчать всѣхъ и все: страсти умолкаютъ, но до времени, до случая...

Естественно, у кого нѣтъ, въ отношеніи пріобрѣтенія верховной власти, освященнаго вѣками права законнаго наследія — тому, чтобъ заставить въ себѣ видѣть не похитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всѣми, на право генія. Только на условіи этого права толпа согласится безусловно признать владычество человѣка, который, въ гражданскомъ отношеніи, еще вчера стоялъ наравнѣ съ нею. Было ли за Годуновымъ это право? — Нѣтъ! — И вотъ гдѣ разгадка его историческаго значенія и его исторической судьбы: онъ хо-

тѣль играть роль генія, не будучи геніемъ,—и за то палъ трагически и увлекъ за собою паденіе своего рода...

Такой человѣкъ есть лицо трагическое; такая участь есть законное достояніе трагедіи. И что бы могъ сдѣлать Пушкинъ изъ своей поэмы, еслибъ взглянулъ на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ человѣческой дѣятельности ни проявился геній, онъ всегда есть олицетвореніе творческой силы духа, вѣстникъ обновленія жизни. Его назначеніе — ввести въ жизнь новые элементы и, чрезъ это, двинуть ее впередъ, на высшую ступень. Явленіе генія — эпоха въ жизни народа. Генія уже нѣтъ, а народъ долго еще живетъ въ формахъ жизни, имъ созданной, долго — до новаго генія. Такъ Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Иоаннѣ Калитѣ и утвержденное геніемъ Иоанна III, жило до Петра Великаго. Тотъ не геній въ исторіи, чье твореніе умираетъ вмѣстѣ съ нимъ: геній по пути исторіи пролагаетъ глубокіе слѣды своего существованія, долго послѣ своей смерти.

Борисъ Годуновъ былъ человѣкъ необыкновенно умный и способный. Царедворецъ жестокаго царя, онъ умѣлъ попасть къ нему въ милость, не замаравъ себя ни каплею крови, ни однимъ безчестнымъ поступкомъ. Но это умѣнье объясняется отчасти ловко рассчитанною женитьбою на дочери палача, Малюты Скуратова. Въ этой чертѣ высказывается ловкій царедворецъ, но генія еще не видно. Всякій, даже самый ограниченный, но хитрый человѣкъ съумѣлъ бы рассчитать выгоды такого брака въ царствованіе Грознаго; но геній, можетъ - быть, и не рѣшился бы на такой расчетъ, тая въ себѣ огромные замыслы на будущее: титул зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно тому народу, владыкою котораго впоследствии сдѣлался Годуновъ. Повторяемъ: расчетъ тонкій, хитрый, но не геніальный; въ немъ видѣтъ придворный интриганъ, а не будущій великій государь... Годуновъ дѣлается зятемъ наслѣдника, а по смерти Грознаго—

членомъ верховной думы,—и Грозный ему въ особенности, мимо старшихъ бояръ, завѣщаль блюсти царство. Никакія вѣдмы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; но его головѣ было отъ чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастье онъ могъ принять за лучшее изъ всѣхъ предсказаній! Онъ уничтожилъ верховную думу и официально былъ названъ правителемъ государства: только для вида подавалъ голосъ въ царской думѣ, но рѣшалъ всѣ дѣла самовластно, принималъ пословъ, договаривался съ ними и давалъ ихъ свитѣ цѣловать свою руку... На тронѣ сидѣлъ царь по имени, молчальникъ и молельщикъ въ сущности, который вручилъ своему родственнику и любимцу всю власть свою, «избывая мірскія суеты и докуки»... Чего не доставало Годунову?—только престола... И онъ достигъ его.

Какъ правитель и какъ царь, Годуновъ обнаружилъ много ума и много способности, но нисколько генія. Въ томъ и другомъ случаѣ, это былъ не больше, какъ умный и способный министръ, — но не Сюлли, не Кольберъ, которые умѣли открыть новые источники государственной силы тамъ, гдѣ никто не подозрѣвалъ ихъ: нѣтъ, это былъ министръ, который съ успѣхомъ велъ государство по старой, уже проложенной колеѣ, на основаніи сохраненія *statu quo*. Насильственная смерть царевича, — кто бы ни былъ ея причиною, — уже бросила на него тѣнь подозрѣнія въ глазахъ народа, и это подозрѣніе всѣми силами возбуждали и поддерживали враги его — бояре, которые, естественно, никакъ не могли простить ему присвоеніе того, на чтѣ каждый изъ нихъ считалъ себя точно въ такомъ же, какъ и онъ, правѣ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ вносить новыхъ элементовъ въ жизнь государства, которымъ управлялъ не отъ своего имени. Подобная попытка могли бы расстроить всѣ его планы и погубить его. Но когда онъ сдѣлался царемъ, — тогда онъ непременно долженъ былъ явиться реформаторомъ-зиждителемъ,

чтобъ заставить и народъ, и враговъ своихъ — бояръ, забыть, что еще недавно былъ онъ такимъ же, какъ и они. подданнымъ. Но что же онъ сдѣлалъ для Россіи, сдѣлавшись ея царемъ?— и какимъ царемъ — самовластнымъ, воля котораго для народа была воля Божія! Чего бы нельзя было сдѣлать съ такою властью, подкрѣпляемою гениемъ! Но и сдѣлавшись царемъ, Годуновъ остался тѣмъ же умнымъ и ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Федорѣ. Надъ окружающими его боярами онъ имѣлъ личныхъ преимуществъ не больше, какъ на столько, чтобъ оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность и посредственность, но не на столько, чтобъ покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода... Онъ ловко разыгралъ комедію, по счастливому выраженію Пушкина, «морщившись передъ короною, какъ пьяница предъ чаркою вина»; онъ заставилъ себя избрать, а не самъ объявилъ себя царемъ; онъ долго обнаруживалъ какой-то ужасъ къ мысли о верховной власти, и долго заставлялъ себя умолять. Но эта комедія даже черезчуръ тонко была разыграна, и въ ней проглядываетъ не образъ великаго человѣка, который всегда прямо идетъ къ своей цѣли, даже и тогда, когда идетъ къ ней не прямою дорогою, а образъ «маленькаго великаго человѣка», смѣлаго интригана. Это сейчасъ же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рѣшено, и вѣнчаніе осталось уже только обрядомъ, который не опасно было и отложить на время. Когда Сикстъ V былъ избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ запѣлъ «Te Deum»: въ этой поспѣшности видѣнъ великій человѣкъ, достигшій своей цѣли и принимающій власть не какъ нищій конейку, съ низкими поклонами, но съ увѣренностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сикстъ не началъ разсыпаться въ обѣщаніяхъ: буду-де таковъ-то и таковъ, сдѣлаю то и другое; а сейчасъ началъ быть и дѣлать, никому не угрожа-

дая, ни къ кому не подлаживаясь, и заставляя трепетать тѣхъ, которые никого не трепетали и которыхъ всё трепетали... Не такъ поступилъ Годуновъ. При вѣнчаніи на царство, онъ клянется быть отцомъ народа, показываетъ свою рубашку, говоря, что всегда будетъ готовъ раздѣлить ее съ послѣднимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требовалъ отъ него этихъ обѣщаній и клятвъ? И что значать они, что видно въ нихъ, если не чрезмѣрная радость о достиженіи давно желанной цѣли, если не благодарность, рожденная этой радостью—благодарность за блестящее бремя не по силамъ, за великое титуло не по достоинству, за высшую власть не по заслугѣ?... Не такъ принимаетъ подобную власть геній, великій человѣкъ: онъ беретъ ее, какъ что то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланаясь, никого не благодаря, никому не дѣлая обѣщаній, не давая клятвъ въ порывѣ дурно скрытаго восторга. Вскорѣ послѣ Годунова въ русской исторіи снова повторилось зрѣлище обѣщаній и клятвъ: ничтожный Шуйскій, въ благодарность за корону, которой онъ сознавалъ себя внутренне недостойнымъ, предлагалъ боярщинѣ права, которыхъ она отъ него не просила и взять не хотѣла... Но вотъ Годуновъ—царь. Ласкамъ народу нѣтъ конца, милости на всѣхъ льются рѣкою... Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, вниманіе на массу народа, на его низшій и, слѣдовательно, самый обширный слой... Это была какая-то нѣжная, родственная заботливость, въ которой былъ видѣнъ больше отецъ, нежели царь... Народъ долженъ бы былъ боготворить Годунова, и Годуновъ долженъ бы быть самымъ народнымъ изъ всѣхъ бывшихъ до него царей русскихъ... Въ такомъ случаѣ, что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Онъ могъ спокойно презирать ее: на стражѣ его стояла лучшая и надежнѣйшая изъ всѣхъ швейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій—любовь народная... и въ самомъ дѣлѣ, народъ славилъ царя благо-

душнаго, ласковаго, правосуднаго, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова — и никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головѣ только, а не въ сердцѣ: умъ и воображеніе народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать головной любви; Борисъ удвоаетъ свои благодѣянія народу, а народъ, принимая ихъ, клянеть Бориса... Еще прежде его царствованія, когда еще онъ былъ только правителемъ, тѣнь убитаго царевича начала его преслѣдовать; Борисъ дѣлаетъ счастливый отпоръ наглому нашествію на Россію крымскаго хана, проникшаго до стѣнъ самой Москвы, а народъ говоритъ, что самъ Борисъ призвалъ хана, чтобъ отвратить общее вниманіе отъ смерти царевича и дешевою цѣною прославиться избавителемъ отечества... Царица родила дочь: заговорили, что она родила сына, а Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкою; а когда маленькая царевна умерла, прошелъ слухъ, что Годуновъ отравилъ ее, боясь, чтобъ Федоръ не передалъ ей престола... Въ Москвѣ начались пожары: Борисъ казнилъ зажигателей и помогъ погорѣвшимъ; а народъ обвинялъ его самого въ зажигательствѣ и жалѣлъ о казненныхъ, какъ о невинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преслѣдовать распускателей этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могъ онъ выдумать—это значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно что слухи эти распускали, бояре; но народъ ловилъ ихъ жаднымъ ухомъ...

Но вотъ вѣнчаніе на царство ослѣпило народъ: и Борисъ и самъ народъ приняли удивленіе за любовь... Комедія продолжалась только одинъ годъ: Борисъ не выдержалъ своей роли и сорвалъ съ себя маску, не имѣя силы дольше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собою Грознаго. У него есть свой Малюта Скуратовъ, это презрѣнный, подлый рабъ его—Семень Годуновъ. Лаская и

награждая явно, онъ мучить и казнить тайно, и все по поводу слуховъ, все по подозрѣнію къ ненависти къ царю и злыхъ противъ него умысловъ. Бѣльскаго уже разъ сосланнаго въ ссылку, онъ ссылаетъ снова, выщипавъ ему всю бороду по одному волоску, какое татарское наказаніе!.. Тюрьмы были набиты биткомъ, шпіонство сдѣлалось не только выгоднымъ, но и почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большею частію все умирали скоропостижно: этотъ человекъ не умѣлъ быть даже тираномъ открыто какъ Грозный, и тиранствовалъ во мракѣ, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россіи; народъ гибнетъ тысячами, шайки разбойниковъ грабятъ и рѣжутъ безнаказанно; Борисъ строго наказываетъ скупщиковъ хлѣба, сыплетъ на народъ деньгами, даетъ пріютъ голоднымъ и нищимъ, посылаетъ отряды противъ разбойниковъ; строить башню Ивана Великаго, чтобъ дать народу работу; словомъ, онъ честно, вѣрно исполняетъ свою клятву—дѣлить съ народомъ послѣднюю рубашку свою... И все напрасно, все, тщетно!.. Пронесаются слухи о Самозванцѣ; наконецъ Самозванецъ уже поддерживается Польшею, идетъ въ Россію, къ нему передаются Русскіе толпами; а Годуновъ ничего не дѣлаетъ, ничего не предпринимаетъ, онъ только собираетъ и жжетъ манифесты Самозванца и требуетъ отъ Шуйскаго клятвы, что царевичъ точно умеръ. Какой жадный царь! Онъ могъ бы раздавить Самозванца — и палъ подъ его ударами. Подозрѣваютъ, что онъ отравилъ себя ядомъ: можетъ быть; но также можетъ быть, что онъ умеръ скоропостижно отъ страшнаго напряженія силъ, вслѣдствіе внутреннихъ волненій. Въ обоихъ случаяхъ онъ умеръ малодушно. Первое извѣстіе о Самозванцѣ Годуновъ принялъ даже очень холодно: это можетъ служить доказательствомъ не одному тому, что онъ былъ увѣренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невиненъ въ ней; въ то же время это служитъ доказательствомъ, какъ мало былъ онъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положеніе. Онъ бы дол-

женъ былъ знать, что тѣнь царевича самый ужасный врагъ его во всякомъ случаѣ, былъ онъ убійцею царевича или нѣтъ: въ первомъ случаѣ, эта тѣнь была его неизбѣжною карою за преступленіе; во второмъ она была превосходнымъ предлогомъ для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова: но если народъ не любилъ его — этого было уже слишкомъ достаточно, чтобъ для народа преступленіе его было яснѣе дня. Пока царевичъ жилъ въ Угличѣ съ матерью, — на него никто не обращалъ вниманія: вѣдь онъ былъ плодомъ седьмага брака Грознаго, и личный характеръ его матери не возбуждалъ ни участія, ни уваженія, Грозный хотѣлъ ее отослать отъ себя и жениться въ восьмой разъ, но смерть помѣшала ему выполнить это намѣреніе. Когда же царевичъ былъ убитъ, и народная ненависть запылала, — младенецъ святой мученикъ, сдѣлался предметомъ народнаго благоговѣнія...

На всѣхъ дѣйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучшихъ, лежитъ печать отверженія. Всѣ дѣла его неудачны, не благодатны, потому что всѣ они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а расчетомъ, и потому въ ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому народъ не обманулся ею и отвѣтилъ на нее ненавистью. Удивительное существо — народъ! Почти всегда невѣжественный, грубый, ограниченный, слѣпой, — онъ непогрѣшительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минуту — не болѣе, и кто не любитъ его, по внутренней, живой, сердечной потребности любить его — тотъ можетъ осыпать его деньгами, умирать за него, — онъ будетъ имъ превозносимъ и восхваляемъ, но любимъ никогда не будетъ. Если же кто любитъ его не по расчету, а по внутренней инстинктуальной потребности любить, тотъ можетъ идти вопреки всѣмъ его желаніямъ, — и за это народъ будетъ его осуждать, будетъ на него роптать, и въ то же время будетъ

любить его. Какъ Годуновъ служить живымъ доказательствомъ первой истины, такъ Петръ Великій служить живымъ доказательствомъ второй. Онъ задумалъ страшную реформу, пошелъ наперекоръ духу, преданіямъ, исторіи, обычаямъ, привычкамъ народа,—и не только умнѣйшіе изъ людей его времени имѣли полное право смотрѣть на его реформу, какъ на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазію, но, вѣроятно, и у него самого бывали горькія минуты сомнѣнія и разочарованія, когда и самъ онъ думалъ то же. Реформа его встрѣтила сильную оппозицію— не со стороны только мятежныхъ стрѣльцовъ и невѣжественныхъ раскольниковъ: эта оппозиція была слишкомъ безсильна передъ его двойнымъ правомъ дѣйствовать самовластно—правомъ наслѣдства и правомъ генія; но и со стороны всего народа, котораго съ теплыхъ палатей лѣни и невѣжества стащилъ онъ на трудъ живой и дѣятельный. Народъ, повинуваясь ему безусловно, осуждалъ его дѣйствія и ропталъ на него, но вмѣстѣ съ тѣмъ и любилъ его до готовности отдать за него послѣднюю каплю своей крови... Между тѣмъ, Петръ никогда не дѣлалъ ему обѣщаній, не давалъ клятвъ, но шелъ гордо и прямо, требуя повиновенія, а не умоляя о немъ; но за то, все обѣщанное народу Годуновымъ онъ исполнялъ на дѣлѣ, и еще гораздо лучше, потому-что дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ не по расчету, а по влеченію сердца... Таковъ геній: затѣявъ дѣло, которое, по всѣмъ расчетамъ человѣческой мудрости, не могло не казаться безуміемъ, онъ доводитъ его до конца, торжествуя надъ всѣми препятствіями... Въ чемъ состоитъ тайна этого успѣха?—въ творческой силѣ, присущей организму генія, какъ инстинктъ,—больше, ни въ чемъ! Геній часто дѣйствуетъ инстинктивно, безумно, и всегда успѣваетъ,—между тѣмъ, какъ талантъ рассчитываетъ вѣрно, соображаетъ тонко, дѣйствуетъ мудро,—всѣ это видятъ и всѣ одобряютъ его цѣль и средства, никто не сомнѣвается въ успѣхѣ,— а между

тѣмъ, глядь — вся эта мудрость сама собою обратилась въ безуміе, и великолѣпное зданіе, воздвигавшееся съ такимъ трудомъ, очутилось карточнымъ домикомъ: дунуль вѣтеръ — и нѣтъ его... Вотъ талантъ, который берется за роль генія!..

Борисъ Годуновъ не былъ человѣкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ, напротивъ, это былъ человѣкъ ума великаго, который цѣлою головою стоялъ выше своего народа. Борисъ былъ даже выше многихъ предрасудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ, рѣшился онъ выдать дочь за иностраннаго и иновѣрнаго принца; говорятъ, хотѣлъ и сына женить на иностранной принцессѣ; это вовлекло бы Россію въ болѣе живыя и плодотворныя отношенія съ Европою, нежели въ какихъ она была съ нею до того времени, и потому имѣло бы огромное вліяніе на ея будущую судьбу. Борисъ уважалъ просвѣщеніе, тщательно, сколько было въ его средствахъ, воспитывалъ дѣтей своихъ, особенно сына: хотѣлъ основать въ Москвѣ университетъ, и послалъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ понималъ необходимость опереться преимущественно на любовь народа, и показывать, какъ уменъ былъ этотъ несчастный любимецъ счастья. Но всѣ предпріятія его не состоялись, именно потому (а не почему-нибудь другому), что у него былъ только умъ и даровитость, но не было геніяльности, — тогда какъ судьба поставила его въ такое положеніе, что геніяльность была ему необходима. Будь онъ законный, наследный царь, — онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить *statu quo*, улучшая, но не измѣняя его, — а для этого, и безъ геніяльности, достало бы у него ума и способности — и онъ много сдѣлалъ бы полезнаго для Россіи. Но онъ былъ выскочка (*parvenu*), и потому долженъ былъ быть геніемъ, или пасть — и палъ... Ведя Русь по старой колеѣ, онъ самъ не могъ не споткнуться на той колеѣ, потому что старая Русь не могла простить ему того,

что видѣла его бояриномъ прежде, чѣмъ увидѣла царемъ своимъ. Чтобъ утвердиться самому на престолѣ и упрочить его за своимъ потомствомъ,—ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого, у него не было никакой идеи; никакого принципа. Онъ былъ только умѣе своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь, доказательство — его тиранія и борода Бѣльскаго... А между тѣмъ, онъ чувствовалъ, что по его положенію, ему необходимо быть преобразователемъ; но въ мѣстѣ съ тѣмъ, какъ человекъ не гениальный, думалъ, что для этого достаточно только прибавить кое-что новаго. И вотъ онъ учреждаетъ въ Москвѣ патриаршій престолъ и сажаетъ на него не лучшаго, а преданнѣйшаго изъ духовныхъ лицъ, который и короновалъ его впоследствии. Это нововведеніе было совершенно въ духѣ того времени: новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и ничего не видѣлъ за нимъ... Другое нововведеніе было еще болѣе въ современномъ ему духѣ, и потому самому было вредно для Россіи того вѣка и для новой Россіи, и гибельно для самого Годунова: мы говоримъ о томъ законѣ Годунова, который увѣковѣченъ русскою пословицею: «Вотъ тебѣ, бабушка, Юрьевъ день!» Этимъ нововведеніемъ Годуновъ раздражилъ обѣ стороны, которыхъ оно касалось — и помѣщиковъ и крестьянъ. Первые жаловались, что они не могутъ теперь выгнать изъ своего помѣстья лѣниваго или развратнаго холопа, и обязаны кормить его за то, что онъ ничего не дѣлаетъ, или за то, что онъ воруетъ и пьетъ. Вторые—говоря языкомъ римскаго права, изъ *personaе* сдѣлались *гев*. Значить, до Годунова у насъ не было крѣпостнаго сословія, и въ этомъ отношеніи не мы у Европы, а Европа у насъ могла бы съ большею для себя пользою позаимствоваться. Въмѣсто крѣпостнаго права, у насъ было только помѣстное право — право владѣть землею и обрабатывать ее руками пролетаріевъ, на свободныхъ съ ними усло-

віяхъ, обратившихся въ обычай. Этотъ новый законъ былъ такъ въ духѣ тѣхъ временъ, что утвердился и укоренился надолго—до временъ Екатерины, уничтожившей даже слово «рабъ» и измѣнившей положеніе этого сословія. И вотъ чѣмъ пережилъ себя Годуновъ въ потомствѣ...

У великаго человѣка и сердце великое. Идя своею дорогою и опираясь на свою силу, онъ ничего не боится; онъ разить своихъ враговъ, но не мститъ имъ; въ ихъ паденіи для него заключается торжество его дѣла, а не удовлетвореніе обиженного самолюбія. Петръ Великій умѣлъ карать враговъ своего дѣла, и умѣлъ прощать личныхъ враговъ, если видѣлъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не дѣломъ личнаго мщенія, и онъ каралъ открыто, среди бѣлаго дня, но не отравлялъ во мракѣ; принимая публично доносъ, публично изслѣдовалъ дѣло и публично наказывалъ, если доносъ оказывался справедливымъ. Когда бунтъ стрѣлецкій заставилъ его воротиться изъ путешествія,—кровь стрѣльцовъ лилась рѣкою въ глазахъ грознаго царя, и онъ не боялся показаться тираномъ, потому что не былъ имъ. Не такъ дѣйствовалъ Годуновъ. Сперва онъ крѣпился, надѣясь ласкою и милостію обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятныя о себѣ толки; но видя, что это не дѣйствуетъ, — не вытерпѣлъ, и тогда настала эпоха террора, шпіонства, доносовъ, пытокъ и скоропостижныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, и потому онъ не могъ не мучиться подозрѣніями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ мщеніемъ и, наконецъ, не сдѣлаться тираномъ. Словомъ, онъ былъ только замѣчательный, а не великій человѣкъ, умный и талантливый администраторъ, но не гений.

Итакъ, вѣрно понять Годунова исторически и поэтически,—значитъ понять необходимость его паденія равно въ обоихъ случаяхъ — виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или невиненъ. А необходимость эта основана на томъ, что

онъ не былъ геніальнымъ человѣкомъ, тогда какъ его положеніе непремѣнно требовало отъ него геніальности. Это просто и ясно.

Отчего же не понималъ этого Пушкинъ? Или не достало у него художественной проницательности, поэтического такта?— Нѣтъ, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему. Вообще, надобно замѣтить, что чѣмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русскаго жизни, тѣмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ, и потому не всегда вѣрно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобъ что-нибудь вѣрно оцѣнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдѣлать отъ себя и хладнокровно посмотрѣть на него, какъ на что-то чуждое себѣ, внѣ себя находящееся, — а Пушкинъ не всегда могъ дѣлать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напримѣръ, онъ въ душѣ былъ больше помѣщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря, въ своихъ запискахъ о своихъ предкахъ, Пушкинъ осуждаетъ одного изъ нихъ за то, что тотъ подписался подъ соборнымъ дѣяніемъ объ уничтоженіи мѣстничества. Первыми своими произведеніями онъ прослылъ на Руси за русскаго Байрона, за человѣка отрицанія. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить болѣе анти-байронической, болѣе консервативной натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тѣхъ его «стишкахъ», которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукописи, — нельзя не улыбнуться ихъ дѣтской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!

Пушкинъ былъ человѣкъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думаютъ. Пора его «стишковъ» скоро кончилась, потому что скоро понималъ онъ, что ему надо быть только художникомъ, и больше ничѣмъ, ибо

такова его натура, а, слѣдовательно, таково и призваніе его. Онъ началъ съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, совѣтуя ему лучше докончить «Илью Богатыря», нежели приниматься за исторію Россіи, а кончилъ тѣмъ, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написалъ подъ вліяніемъ этого историка и посвятилъ «драгоценной для Россіянъ памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, гениемъ вдохновенный». Нельзя не согласиться, что есть чтò - то официальное и канцелярское въ самомъ складѣ и языкѣ этого посвященія, написаннаго по Ломоносовской конструкціи, съ завѣтнымъ «сей». Кстати о сихъ, оныхъ и таковыхъ хъ: Пушкинъ всегда употреблялъ ихъ, по любви къ преданію, хотя къ его сжатою, опредѣленному, выразительному и поэтическому языку они такъ же плохо шли, какъ грязныя пятна идутъ къ модному платью свѣтскаго человѣка, собравшагося на балъ. Но когда «Библиотека для Чтенія» воздвигала гоненіе на эти «старопечатныя» слова Пушкинъ еще болѣе, еще чаще началъ употреблять ихъ къ явному вреду своего слога. Въ этомъ поступкѣ не было духа противорѣчія, ни на чемъ неоснованнаго; напротивъ, тутъ дѣйствовалъ духъ принципа—слѣпаго уваженія къ преданію. Если уваженіе къ преданію такъ сильно выразилось въ отношеніи къ симъ, онымъ, таковымъ и коимъ, то естественно, что оно еще сильнѣе должно было проявляться въ Пушкинѣ въ отношеніи къ живымъ и мертвымъ авторитетамъ русской литературы. Пушкинъ не зналъ какъ и возвеличать поэтическій талантъ Баратынскаго, и видѣлъ большаго поэта даже и въ Дельвигъ; г. Катенинъ, по его мнѣнію, воскресилъ величавый геній Корнеля—бездѣлица!... Изъ старыхъ авторитетовъ Пушкинъ не любилъ только одного Сумарокова, котораго очень неосновательно ставилъ ниже даже Тредьяковскаго. Всякая сколько нибудь рѣзкая, хотя бы въ то же время и основательная критика на извѣстный авторитетъ огорчила его и не нравилась ему, какъ посягательство на честь и славу родной литературы. Но

въ особенности не знало мѣры его уваженіе и, можно сказать, его благоговѣніе къ Карамзину, чему причиною отчасти было и то, что Пушкинъ былъ окруженъ людьми Карамзинской эпохи и самъ былъ воспитанъ и образованъ въ ея духѣ. Если онъ мощно, побѣдоносно выходилъ изъ духа этой эпохи то не иначе, какъ поэтъ, а не какъ мыслящій человекъ, и не мысль дѣлала его великимъ, а поэтический инстинктъ. Конечно, Пушкина не могли бы такъ сильно покорить мелкія произведенія Карамзина, и Пушкинъ не могъ находить особенной поэзіи въ его стихотвореніяхъ и повѣстяхъ, не могъ особенно увлечься пріятнымъ и сладкимъ слогомъ его статей и ихъ направленіемъ; но Карамзинъ не одного Пушкина, — нѣсколько поколѣній увлекъ окончательно своею «Исторією Государства Россійскаго», которая имѣла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направленіемъ, принципами. Пушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до того проникнулся имъ, что сдѣлался рѣшительнымъ рыцаремъ исторіи Карамзина и оправдывалъ ее не просто какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться такимъ навсегда.

Удивительно ли послѣ этого, что Пушкинъ смотрѣлъ на Годунова глазами Карамзина, и столько заботился объ истинѣ и поэзіи, сколько о томъ, чтобъ не погрѣшить противъ «Исторіи Государства Россійскаго»? И потому, его поэтический инстинктъ видѣнъ не въ цѣлости (l'ensemble), а только въ частностяхъ его трагедіи. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматическаго злодѣя, мучимаго совѣстію, лишилось своей цѣлости и полноты; изъ живописнаго изображенія, какимъ бы должно было оно быть, оно сдѣлалось мозаичскою картиною, или, лучше сказать, статуею, которая вырублена не изъ одного цѣльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, мѣди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого Пушкинскій Годуновъ является читателю то честнымъ, то низкимъ чело-

вѣкомъ; то героемъ, то трусомъ; то мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодѣемъ, и нѣтъ другаго ключа къ этимъ противорѣчямъ, кромѣ упрековъ виновной совѣсти... Отъ этого за отсутствіемъ истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы цѣлость и полноту всей трагедіи, «Борисъ Годуновъ» Пушкина является чѣмъ-то неопредѣленнымъ и не производитъ почти никакого рѣзкаго, сосредоточеннаго впечатлѣнія, какого въ правѣ ожидать отъ нея читатель, безпрестанно поражаемый ея художественными красотою, безпрестанно восхищающійся ея удивительными частностями.

И дѣйствительно, если, съ одной стороны, эта трагедія отличается большими недостатками, — то, съ другой стороны, она же блистаетъ и необыкновенными достоинствами. Первые выходятъ изъ ложности идеи, положенной въ основаніе драмы; вторыя — изъ превосходнаго выполненія со стороны формы. Пушкинъ былъ такой поэтъ, такой художникъ, который какъ будто не умѣлъ, еслибъ и хотѣлъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всѣхъ, сколько нибудь знакомыхъ съ русскою литературою: до Пушкинскаго «Бориса Годунова», изъ русскихъ читателей, или русскихъ поэтовъ и литераторовъ, имѣлъ ли кто-нибудь какое-нибудь понятіе о языкѣ, которымъ долженъ говорить въ драмѣ русскій человѣкъ до-Петровской эпохи? Не только прежде, даже послѣ «Бориса Годунова» явилась ли на русскомъ языкѣ хотя одна драма, содержаніе которой взято изъ русской исторіи, и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говорили по-русски? И читая всѣхъ этихъ «Ляпуновыхъ», «Скопиныхъ - Шуйскихъ», «Баторіевъ», «Юанновъ Третьихъ», «Самозванцевъ», «Царей - Шуйскихъ», «Елень - Глинскихъ», «Пожарскихъ», которые съ тридцатыхъ годовъ настоящаго столѣтія наводнили русскую литературу и русскую сцену, — что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появившихся до Пушкин-

скаго «Бориса Годунова»: чего же можно и требовать от них! Но что русскаго во всѣхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже послѣ «Бориса Годунова»? И не можно ли подумать скорѣе, что это нѣмецкія пьесы, только переложенныя на русскіе нравы?—Словно гигантъ между пигмеями до сихъ поръ высится между множествомъ quasi-русскихъ трагедій Пушкинскій «Борисъ Годуновъ», въ гордомъ и суровомъ уединеніи, въ недоступномъ величій строгого художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикою похвалъ и удивленія на сцену въ кельѣ Чудова монастыря, между отцомъ Пименомъ и Григорьемъ... Въ самомъ дѣлѣ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналѣ года за четыре, или лѣтъ за пять до появленія всей трагедіи, и которая тогда же надѣлала много шума,—эта сцена, въ художественномъ отношеніи, по строгости стиля, по неподдѣльной и неподражаемой простотѣ, выше всѣхъ похвалъ. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда не бывалое, никѣмъ непредчувствованное. Правда, Пимень ужъ слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологѣ, и потому чѣмъ болѣе поэтическаго и высокаго въ его словахъ, тѣмъ болѣе грѣшитъ авторъ противъ истины и правды дѣйствительности: не русскому, но и никакому европейскому отшельнику-лѣтописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли—

. Не даромъ многихъ лѣтъ
Свидѣтелемъ Господь меня поставилъ
И книжному искусству вразумилъ:
Когда нибудь монахъ трудолюбивый
Найдетъ мой трудъ усердный, безымянный;
*Засѣтитъ онъ, какъ я, свою лампаду,
И пылъ еяковъ отъ хартий потряхнувъ,
Правдивыя сказанья перепишетъ.*

.
На старости я сызнова живу;

Минувшее проходить предо мною—
Давно-ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-океанъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно:
Немного лицъ мнѣ память сохранила,
Немного словъ доходить до меня,
А прочее погнбло невозвратно.

Ничего подобнаго не могъ сказать русскій отшельникъ-лѣтописецъ конца XVI и начала XVII вѣка; слѣдовательно, эти прекрасныя слова—ложь, но ложь, которая стоитъ истины: такъ исполнена она поэзїи, такъ обаятельно дѣйствовать на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родѣ сказали Корнель и Расинъ—и, однакожь, просвѣщеннѣйшая и образованнѣйшая нація въ Европѣ до сихъ поръ рукоплещеть этой поэтической лжи! И не диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мѣста и нравовъ, есть истина относительно человѣческаго сердца, человѣческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная: отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотрѣть на свое призваніе, какъ лѣтописецъ; но еслибъ, въ его время такой взглядъ былъ возможенъ, Пименъ выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставилъ его высказаться Пушкинъ. Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены рѣшительно все, что можно осуждать какъ ложь въ отношеніи къ русской дѣйствительности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко вѣрно исторической истинѣ, какъ только могъ это сдѣлать лишь геній Пушкина—истинно-національнаго русскаго поэта. Какая, напримѣръ, глубоко вѣрная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да вѣдаютъ потомки православныхъ
Земли родной минушую судьбу,
Своихъ царей великихъ поминаютъ
За ихъ труды, за славу, за добро—

А за грѣхи, за темныя дѣянья
Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще, въ этой сценѣ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Пимена и Григорья; одинъ—идеаль безмятежнаго спокойствія въ простотѣ ума и сердца, какъ тихій свѣтъ лампы, озаряющей въ темномъ углу икону византійской живописи; другой—весь безпокойство и тревога. Григорью трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою лѣтопись, — и въ это время рисуетъ идеаль историка, который въ то время былъ невозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнѣйшую поэтическую ложь:

Ни на челѣ высококъ. ни во зорахъ
Нельзя прочесть его *сокрытыхъ думъ*;
Все тотъ же видъ смиренный, величавый.
Такъ точно дѣяя, въ приказахъ посѣдѣлый,
Спокойно зреть на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Затѣмъ, онъ рассказываетъ старцу о «бѣсовскомъ мечтаніи», смущавшемъ сонъ его:

Мнѣ снилося, что лѣстница крутая
Меня вела на башню; съ высоты
Мнѣ видѣлась Москва, что муравейникъ;
Внизу народъ на площади кипѣлъ
И на меня указывалъ со смѣхомъ;
И стыдно мнѣ. и страшно становилось,
И, падая стремглавъ, и пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ снѣ—весь будущій Самозванецъ...
И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Вотъ еще два монолога — факты глубоко-вѣрнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисто-русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ:

Пимонъ.

Младая кровь играетъ;
Смирнй себя молитвой и постомъ,
И сны твои видѣннй легкихъ будутъ
Исполнены. Донишь—если я,
Невольною дремотой обезсиленъ,
Не сотворю молитвы долгой къ ночи—
Мой старый сонъ не тихъ и не безгрѣшенъ;
Мнѣ чудится то шумные пиры,
То ратный станъ, то схватки боевыя,
Безумныя потѣхи юныхъ лѣтъ!

Григорій.

Какъ весело провелъ свою ты младость!
Ты воевалъ подъ башнями Казани,
Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ.
Ты видѣлъ дворъ и роскошь Юанна'
Счастливъ! а я отъ отроческихъ лѣтъ
По келіямъ скитаюсь, бѣдннй инокъ!
Зачѣмъ и мнѣ не тѣшится въ бояхъ.
Не пировать за царскою трапезой?
Успѣлъ бы я, какъ ты, на старость лѣтъ
Отъ суеты, отъ міра отложиться.
Произнести монашества обѣтъ
И въ тихую обитель затвориться.

Слѣдующій затѣмъ длинный монологъ Пимена о суетѣ свѣта и преимуществѣ затворнической жизни—верхъ совершенства! Тутъ русскій духъ, тутъ Русью пахнетъ! Ничья, никакая исторія Россіи не дастъ такого яснаго, живаго созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсужденіе отшельника. Картина Юанна Грознаго искавшаго успокоенія «въ подобіи монашескихъ трудовъ»; характеристика Феодора и разсказъ о его смерти,—все это чудо искусства, неподражаемые образы русской жизни до Петровской эпохи! Вообще, вся эта превосходная сцена сама по себѣ есть великое художественное произведеніе, полное и оконченное. Она показала, какъ, какимъ языкомъ должны пи-

саться драматическія сцены изъ русской исторіи, если уж онѣ должны писаться, — и если не навсегда, то надолго убила возможность такихъ сценъ въ русской литературѣ, потому что скоро-ли можно дожидаться такого таланта, который послѣ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщѣ?... А при этомъ еще нельзя не подумать, не истоцилъ ли Пушкинъ свою трагедію всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касается другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только — съ другими именами и названіями повторять одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно однообразнымъ?...

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состоитъ изъ отдѣльных частей, или сценъ, изъ которыхъ каждая существуетъ какъ будто независимо отъ цѣлаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ который созданъ Шекспиромъ. Кромѣ превосходной сцены въ Чудовомъ монастырѣ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая, въ кремлевскихъ палатахъ между Воротынскимъ и Шуйскимъ, въ которой и исторически и поэтически вѣрно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая, сцена народа и дьяка Щелканова на площади; третья въ кремлевскихъ палатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, патриархомъ и боярами. Въ этой сценѣ превосходно обрисовано добросовѣстное лицемѣрство Годунова, — въ томъ смыслѣ добросовѣстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всѣхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью гения. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдѣ характеръ послѣдняго все болѣе и болѣе развивается; его слова —

Теперь не время поминать,
Совѣтую порой и забывать. —

такъ оригинальны, что должны со временемъ обратиться въ любимую поговорку для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родѣ Шуйскаго. Превосходна маленькая сцена между патриархомъ и игуменомъ, написанная прозою: это одинъ изъ драгоцѣннѣйшихъ перловъ трагедіи.

Мы уже говорили, по поводу шестой сцены, о цѣлой трагедіи: въ ней Борисъ является злодѣемъ, сперва сваливающимъ вину своихъ неудачъ и оскорбленій на неблагодарность народа, и послѣ разсуждающій о томъ, какъ жалокъ тотъ, въ комъ нечиста совѣсть. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истинно драматическіе злодѣи никогда не разсуждаютъ сами съ собою о невыгодахъ нечистой совѣсти и о пріятности добродѣтели. Въмѣсто этого, они дѣйствуютъ, чтобъ дойти до цѣли или удержаться у ней, если уже дошли до нея.

Седьмая сцена въ корчмѣ на литовской границѣ превосходна. Жаль только, что желаніе выказать рѣзче дерзость Отрепьева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедіи принадлежитъ восьмая — въ домѣ Шуйскаго. Превосходно, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ. Выше мы уже выписали этотъ монологъ.

Слѣдующая затѣмъ большая сцена представляетъ собою двѣ части. Въ первой Борисъ превосходно очерченъ, какъ примѣрный семьянинъ, нѣжный отецъ; онъ утѣшаетъ дочь, овдовѣвшую невѣсту, говорить съ сыномъ о сладкомъ плодѣ ученія, о томъ, какъ помогаетъ наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно, — и Борисъ является въ этой сценѣ во всемъ свѣтѣ своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появлении Самозванца. Странное волненіе, обнаруженное Борисомъ при этомъ извѣстіи основано поэтомъ на виновной со-

вѣсти Годунова, — и его поспѣшность къ рѣшительнымъ мѣрамъ противорѣчить исторической истинѣ: извѣстно, что Годуновъ вначалѣ принялъ слишкомъ слабыя мѣры противъ Отрепьева, вѣроятно, не считая его за опаснаго врага. Но, если смотрѣть на эту сцену съ точки зрѣнія Пушкина, въ ней много драматическаго движенія, много страсти. Борисъ въ страшномъ волненіи, а Шуйскій, не теряя присутствія духа отъ мысли, что волненіе можетъ ему стоять головы, ни на минуту не перестаетъ быть придворною лисою.

Сцена въ Краковѣ, въ домѣ Вишневецкаго, между Самозванцемъ и іезуитомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы — «сыны Славянъ», неслучайно вложенной поэтомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдѣ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными Русскими, приходящими къ нему, съ Полякомъ Собаньскимъ и поэтомъ, — не представляютъ никакихъ особенно рѣзкихъ чертъ.

За маленькую, но прелестную сценою въ замкѣ Мнишка въ Самборѣ, слѣдуетъ знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванецъ является удалцомъ, который готовъ забыть свое дѣло для любви, а Марина — холодною, честолюбивою женщиною. Вообще, эта сцена очень хороша; но въ ней какъ будто чего-то не достаетъ, или какъ будто проглядываютъ какія-то ложныя черты, которыя трудно и указать, но которыя тѣмъ не менѣе производятъ на читателя не совсѣмъ выгодное для сцены впечатлѣніе. Кажется, не преувеличилъ ли поэтъ любовь Самозванца къ Маринѣ; не сдѣлалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человѣка какую-то глубокую страсть? Самозванецъ въ этой сценѣ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты: въ нихъ не видно будущаго растлителя несчастной дочери Годунова... Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство Самозванца, его безумное признаніе передъ Мариною въ самозванствѣ совершенно въ его характерѣ, пыл-

комъ, отважномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но рѣшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманнѣй планъ; совершенно въ его характерѣ и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли въ его характерѣ человѣческое чувство любви къ женщинѣ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержанъ въ этой сценѣ.

Сцена на литовской границѣ между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламациі, выдаваемой за пафосъ, что трудно повѣрить, чтобъ она была написана Пушкинымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патриархомъ и боярами можетъ быть хороша, даже превосходна только съ Пушкинской точки зрѣнія на участіе Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее иначе, она покажется искусственною, и потому ложною. Но въ ней есть двѣ превосходнѣйшія черты: это рѣчь патриарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцѣленіи стараго пастуха отъ слѣпоты. Вторая черта—ловкій оборотъ, которымъ хитрый Шуйскій выводитъ Годунова изъ замѣшательства, въ какое привело его неожиданное предложеніе патриарха.

Сцена на равнинѣ, близъ Новгорода Сѣверскаго, очень интересна своею живостью, характеромъ Маржерета и даже пестрою смѣсью языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на кремлевской площади можетъ быть сочтена даже за превосходную, но только съ Пушкинской точки зрѣнія на виновную совѣсть Бориса. Въ сценѣ подъ Сѣвскомъ Самозванецъ обрисованъ очень удачно; особенно хороша эта черта:

Самозванецъ.

Ну! обо мнѣ какъ судать въ вашемъ станѣ?

Плѣнникъ.

А говорятъ о милости твоей,
Что ты-дескать (будь не во гнѣвъ) и воръ,
А молодець.

Самозванецъ, смѣясь

Такъ это я на дѣлѣ
Имъ докажу.

Въ сценѣ въ царскихъ палатахъ, между Годуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица являются въ какомъ-то странномъ свѣтѣ. Годуновъ собирается уничтожить мѣстничество (!!). Басмановъ этому разумѣется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управленіи народомъ, и Годуновъ окончательно рѣшаетъ:

Нѣтъ, милости не чувствуетъ народъ.
Твори добро—не скажетъ онъ спасибо;
Грабъ и казни—тебѣ не будетъ хуже.

Басмановъ за это величаетъ его «высокимъ державнымъ духомъ», желаетъ ему поскорѣе управиться съ Отрепьевымъ, чтобъ потомъ «сломить рогъ родовому боярству». Но вотъ Борисъ умираетъ, вотъ даетъ онъ послѣднія наставленія своему неслѣднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ?—Изъ нихъ замѣчательно только одно:

Не измѣняя теченья дѣлъ.—Привычка—
Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говорить умирающій Годуновъ своему сыну, видѣнъ царь умный, способный и опытный, который былъ бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, еслибъ престолъ достался ему по праву наслѣдія, — но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобъ усидѣть на захваченномъ тронѣ...

Крикъ мужика на амвонѣ лобнаго мѣста: «вязать Борова щенка!» ужасенъ;—это голосъ всего народа, или лучше сказать, голосъ судьбы, обречшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремѣнно хотѣлъ тутъ выразить голосъ судьбы,

обревшей на гибель родъ злодѣя, цареубійцы... Можетъ быть, это было такъ; но спрашиваемъ: который изъ Годуновыхъ болѣе трагическое лицо—цареубійца, наказанный за злодѣянія, или достойный человѣкъ, падшій за недостаткомъ гениальности? Трагическое лицо непремѣнно должно возбуждать къ себѣ участіе. Самъ Ричардъ III — это чудовище злодѣйства, возбуждаетъ къ себѣ участіе исполинскою мощью духа. Какъ злодѣй Борисъ не возбуждаетъ къ себѣ никакого участія, потому что онъ злодѣй мелкій, малодушный; но, какъ человѣкъ замѣчательный, такъ сказать увлеченный судьбою взять роль не по себѣ, онъ очень и очень возбуждаетъ къ себѣ участіе: видишь необходимость его паденія и все-таки жалѣешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедіи. Когда Мосальскій объявилъ народу о смерти дѣтей Годунова, — «народъ въ ужасѣ молчить»... Отчего же онъ молчитъ? развѣ не самъ онъ хотѣлъ гибели Годуновскаго рода, развѣ не самъ онъ кричалъ: «вязать Борисова щенка»?.. Мосальскій продолжаетъ: «Что-жь вы молчите? Кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичь!» — «Народъ безмолвствуетъ»...

Это послѣднее слово трагедіи, заключающее въ себѣ глубокую черту, достойную Шекспира... Въ этомъ безмолвіи народа слышенъ страшный, трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новою жертвою—надъ тѣми, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

XI.

Домикъ въ Коломнѣ.—Родословная Моего Героя (отрывокъ изъ сатирической поэмы).— Мѣдный Всадникъ.— Галубъ.— Египетскія ночи.— Анджепо.— Оцена изъ Фауста.— Пиръ во время Чумы.— Моцартъ и Сальери.— Окупой Рыцарь.— Русалка.— Каменный гость.— Оцены изъ рыцарскихъ временъ.— *Сказки*: о Царѣ Салтанѣ; о Мертвой Царевнѣ и о Семи Богатыряхъ; о Золотомъ Пѣтушкѣ; о Рыбакѣ и Рыбкѣ; о Купцѣ Кувшнѣ Остолопѣ и о Работникѣ его Валдѣ.— *Повѣсти*: Арапъ Петра Великаго; Повѣсти Вѣликаго; Пиковая дама; Капитанская дочка; Дубровский.— Лѣтопись села Горохина.— Кирджали.— Исторія Пугачевскаго бунта.— Журнальныя статьи.— Заключение.

При разборѣ остальныхъ сочиненій Пушкина, о которыхъ нами не было еще говорено, мы нѣсколько отступимъ отъ того хронологическаго порядка, въ какомъ появлялись въ свѣтъ эти сочиненія, чтобы, окончивъ съ поэмами, драматическiя произведенія обозрѣть вмѣстѣ.

«Домикъ въ Коломнѣ» — игрушка, сдѣланная рукою великаго мастера. Несмотря на видимую незначительность ея со стороны содержанія, эта шуточная повѣсть тѣмъ не менѣе отличается большими достоинствами со стороны формы. Остроты, шутки, разсказъ, въ одно время и легкій и занимательный, мѣстами проблески чувства, на всемъ какой-то особенный колоритъ, и, наконецъ, превосходный стихъ — все это тотчасъ же обличаетъ великаго мастера. Когда нечаянно попадаетъ вамъ подъ руку эта, теперь уже столь старая пьеса, и взоръ вашъ небрежно падаетъ на первую попавшуюся строфу или стихъ, — все равно, съ начала это или съ середины, но только вы, незамѣтно для самого себя непременно прочтете до конца, и на душѣ вашей отъ этого чтенія останется впечатлѣнiе легкое, но невыразимо сладостное, хотя бы

вы уже сто разъ читали и перечитывали эту пьесу прежде. Многихъ удивить подобное мнѣніе; но «Домикъ въ Коломнѣ» мы считаемъ однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній, въ которомъ, подъ легкою небрежною формою и при видимой незначительности содержанія, скрыто много искусства. Эта пьеса доказываетъ ту простую истину, что жизнь, лишь бы искусство вѣрно воспроизводило ее, всегда высоко для насъ занимательна, и что люди, ищущіе въ произведеніяхъ искусства только эффектныхъ сюжетовъ, не понимаютъ ни жизни, ни искусства. Поэтическія произведенія также имѣютъ свой колоритъ, какъ и произведенія живописи, и если колоритъ въ картинахъ цѣнится такъ высоко, что иногда только онъ одинъ и составляетъ все ихъ достоинство,—то такъ же точно колоритъ долженъ цѣниться и въ поэтическихъ произведеніяхъ. Правда, онъ меньше всего доступенъ большинству читателей, которые, по обыкновенію, прежде всего хватаются за содержаніе, за мысль, мимо формы, и потому часто дюжинныя произведенія принимаются ими за великія, а великія за дюжинныя. Мы увѣрены, что есть много читателей, которымъ «Домикъ въ Коломнѣ» очень нравится, но которые тѣмъ не менѣе считаютъ его только миленькою, но очень ничтожною вещію. Такъ всегда судитъ большинство!

«Родословная моего Героя», названная отрывкомъ изъ сатирической повѣсти, вмѣстѣ съ «Графомъ Нулинымъ» и «Домикомъ въ Коломнѣ», составляетъ типъ особеннаго рода поэмъ, которыя такъ любить новая «натуральная» школа нашей литературы, пошедшая, какъ извѣстно, не отъ Карамзина и Дмитриева, а отъ Пушкина и Гоголя. Это по преимуществу поэмы нашего времени, потому что ихъ больше другихъ любить въ наше время. И немудрено: въ нихъ поэтъ не прячется за своими героями или за событіемъ, но прямо отъ своего лица обращается къ читателю съ тѣми вопросами, которые равно интересны и для самого поэта и для читателей. Въ поэмахъ этого рода даже важное и патетическое само по

себѣ выказывается съ оттѣнкомъ ироніи, юмористически, и иногда тѣмъ сильнѣе дѣйствуетъ на читателя, чѣмъ небрежнѣе говоритъ поэтъ.

Нельзя сказать положительно, хотѣлъ ли Пушкинъ написать цѣлую поэму и почему - нибудь остановился на началѣ. но нѣтъ никакого сомнѣнія, что отрывокъ «Родословная моего Героя» во всякомъ случаѣ представляетъ собою нѣчто цѣлое, потому что выражаетъ мысль совершенно полную и опредѣленную. Судя по словамъ автора, отрывокъ этотъ можно принять за сатиру на людей, которые потому только не уважаютъ знатности породы, что сами не могутъ похвалиться ею (по крайней мѣрѣ, Пушкинъ тутъ ясно даетъ чувствовать, что не понимаетъ другой возможности равнодушія къ гербамъ и пергаментамъ); но, всмотрѣвшись ближе въ его произведение, нельзя не увидѣть, что это очень острая сатира, написанная поэтомъ на самого себя. Съ неподражаемымъ остроуміемъ шутитъ поэтъ надъ предками своего героя, излагая его генеалогію:

Изъ нихъ Езерскій Варлаамъ
Гордыней славился боярской;
За споръ то съ тѣмъ онъ, то съ другимъ,
Съ большимъ безчестьемъ выводимъ
Бывалъ изъ-за трапезы царской.
Но снова шелъ подъ тяжкій гнѣвъъ
И умеръ, Сицкихъ пересѣвъ.

Этотъ намекъ на мѣстничество, составлявшее *point d'honneur* нашей боярщины, блещетъ истинно Вольтеровскимъ остроуміемъ, которое, конечно, не возбудитъ въ читателѣ особеннаго уваженія къ «родословнымъ»; но вслѣдъ затѣмъ, иронія поэта бросается совсѣмъ въ противоположную сторону:

Но извините; статья можетъ,
Читатель, вамъ я досадила;

Вашъ умъ духъ вѣка просвѣтляя,
Васъ стѣсь дворянская не гложеть.
И нужды нѣтъ вамъ никакой
До вашей книги родовой.
Кто-бъ ни былъ вашъ родоначальникъ.
Мстиславъ, князь Курбскій, или Ермакъ,
Или Митюшка цѣловальникъ, —
Вамъ все равно. Конечно такъ:
Вы презираете отцами.
Иль славой, честію, прадами
Великодушно и умно;
Вы отремлись отъ нихъ давно
Прямаго просвѣщенія ради,
Гордясь (какъ общей пользы другъ)
Красою „собственныхъ заслугъ“.
Звѣздой двоюроднаго дяди,
Иль приглашеніемъ на балъ,
Туда, гдѣ дѣдъ вашъ не бывалъ.

Эти мысли изумительны своею наивною, достойною тѣхъ временъ, когда Варлаама Езерскаго, за споры то съ тѣмъ, то съ другимъ, съ безчестіемъ выводили изъ - за царскаго стола? Изъ чего хлопочетъ поэтъ? противъ чего возстааетъ онъ?—Противъ того, чего самъ не могъ не осмѣять... Что за упрекъ такой: «Васъ спѣсь дворянская не гложеть»? Неужь-то спѣсь дворянская или мѣщанская есть добродѣтель, а не порокъ—признакъ грубости нравовъ и невѣжества?... Вамъ все равно, кто бы ни былъ вашъ родоначальникъ—князь, или цѣловальникъ Митюшка?... Гордятся происхожденіемъ отъ князя такъ же смѣшно, какъ и стыдиться происхожденія отъ цѣловальника, потому что какъ въ первомъ случаѣ заслуга, такъ во второмъ—преступленіе—суть чистѣйшая случайность. Не происхожденіе, а жизнь приносить человѣку честь или безчестіе. Иначе, Сусанинъ или Мининъ были бы низкими людьми въ сравненіи со всякимъ глупенькимъ и пошленькимъ князькомъ, какихъ довольно бываетъ на бѣломъ свѣтѣ между князьями, достойными всякаго

уваженія по ихъ личнымъ достоинствамъ. Поэтъ обвиняетъ родословныхъ людей нашего времени въ томъ, что они презираютъ своими отцами, ихъ славою, правами и честью: упрекъ столько же ограниченный, сколько и неосновательный. Если человѣкъ не чванится тѣмъ, что происходитъ по прямой линіи отъ какого-нибудь великаго человѣка, неужели это непременно значить, что онъ презираетъ своего великаго предка, его славу, его великія дѣла? Кажется, тутъ слѣдствіе выведено совсѣмъ произвольно. Презирать предковъ, когда они и ничего не сдѣлали хорошаго, смѣшно и глупо: можно не уважать ихъ, если не за что уважать, но въ то же время не презирать, если не за что презирать. Гдѣ нѣтъ мѣста уваженію, тамъ не всегда есть мѣсто презрѣнію: уважается хорошее, презирается дурное; но отсутствіе хорошаго не всегда предполагаетъ присутствіе дурнаго, и наоборотъ. Еще смѣшнѣе гордиться чужимъ величіемъ, или стыдиться чужой низости. Первая мысль превосходно объяснена въ превосходной баснѣ Крылова «Гуси»; вторая ясна сама по себѣ. Извѣстно, что цѣловальники (въ древности—присяжные чиновники) не отличались особенною честностью, не отличаются и нынѣ, какъ продавцы вина въ питейныхъ домахъ; но если сынъ цѣловальника, по своей натурѣ, оказался неспособенъ къ званію своего отца, и вмѣсто того, чтобъ обмѣривать въ кабакѣ пьяныхъ мужиковъ, прожилъ вѣкъ свой—пожалуй, не великимъ, даже не даровитымъ, а просто честнымъ человѣкомъ,—скажите: зачѣмъ ему стыдиться, что онъ сынъ своего отца?.. Притомъ же, мы нисколько не споримъ, что Тамерланъ былъ большой аристократъ. — по крайней мѣрѣ, при его жизни въ этомъ никто не смѣлъ усомниться, подъ опасеніемъ быть посажену на колъ; но прежде, нежели сдѣлался великимъ ханомъ, онъ былъ кузнецомъ, заплатившимъ за покражу овцы увѣчьемъ ноги. Такъ и всякій родъ начать былъ однимъ человѣкомъ незнатнаго происхожденія, у котораго въ роднѣ былъ не

одинъ сапожникъ, или портной. Но все это истины немного пошлыя, потому именно, что онѣ ужь слишкомъ истинны. Тѣмъ, повидимому, страннѣе, что великій поэтъ видѣлъ въ нихъ ложь, а во лжи—истину. Но здѣсь въ поэтѣ оказался человѣкъ, не могшій, на зло себѣ, отрѣшиться отъ предразсудковъ, надъ которыми самъ смѣялся... Но далѣе—

Я самъ, хоть, въ книжкахъ и словесно,
Собратья надо мной трунить,
Я мѣщанинъ, какъ вамъ извѣстно,
И въ *этомъ* смыслѣ (въ какомъ же?) демократъ:
Но каюсь, новой Ходаковской,
Люблю отъ бабушки московской
Я толки слушать о роднѣ,
О толстобрюхой старинѣ.

Признаніе по истинѣ наивное! На вкусъ товарища нѣтъ, говорить русская пословица; но кому какое дѣло до чужихъ вкусовъ, и кто свои личные и притомъ странные вкусы въ правѣ выдавать другимъ за законъ? Одинъ любить говорить съ московскою бабушкою о роднѣ и о «толстобрюхой старинѣ»; другой любить разсуждать съ своимъ крѣпостнымъ псаремъ о личныхъ качествахъ и добродѣтеляхъ его гончихъ: оба правы, и мы никому изъ нихъ мѣшать не намѣрены, а только считаемъ себя въ правѣ попросить обоихъ не навязывать намъ своихъ вкусовъ, какъ правилъ нравственности и добродѣтели.

Мнѣ жаль, что нашей славы звуки
Уже намъ чужды;

Дѣйствительно, жаль, если правда, что звуки нашей славы намъ чужды. Только едва ли правда: равнодушіе къ «толстобрюхой старинѣ» и равнодушіе къ народной славѣ — совсѣмъ не одно и то же. Если поэтъ хотѣлъ этимъ упрекомъ намекнуть на то, что мы какъ молодой, исполненный на-

деждь народъ, больше заняты своимъ настоящимъ и больше смотримъ на свое будущее, нежели на прошедшее,—то ему слѣдовало бы выразиться яснѣе и понять лучше причину этого явленія, совершенно необходимаго и нисколько не предосудительнаго въ его источникѣ...

Что спроста

Изъ бояръ мы лѣземъ въ tiers-état...

Полно, спроста ли? Мы вообще убѣждены, что ни одно историческое явленіе не дѣлается спроста и ни въ одномъ виноваты люди. Предки нашихъ баръ шли все въ гору, хотѣли быть только барами и жили широко, не заботясь о будущемъ, а ихъ дѣти принуждены были понять, что барство поддерживается прежде всего деньгами, и что безъ денегъ барство—суета суеть! Тутъ видна скорѣе смѣтливость и догадливость нежели простота. Фабрики, компаніи, акціи, спекуляціи, предпріятія, обороты—все это вещи, можетъ быть, дѣйствительно, нисколько не аристократическія, за то уже и совсѣмъ не простоватыя... Въ наше время простаковъ мало, и простака въ наше время именно тотъ, кого гложетъ какая-нибудь спѣсь...

Что вамъ не въ прокъ пошли науки,

И что спасибо намъ за то

Не скажетъ, кажется, никто.

Да изъ чего же слѣдуетъ, что науки пошли намъ не въ прокъ? ужъ не изъ того ли, что онѣ избавили насъ отъ дворянской спѣси?.. Странный выводъ!.. Впрочемъ, пошедши отъ ложнаго начала, нельзя не дойти до ложныхъ выводовъ... Странное зрѣлище: великій поэтъ видитъ зло въ успѣхахъ просвѣщенія, которое, безъ насильственныхъ переворотовъ, смягчило грубость нравовъ и сблизило между собою дотолѣ раздѣленные сословія!..

Мнѣ жаль, что тѣхъ родовъ боярскихъ
Блѣднѣетъ блескъ и никнетъ духъ:
Мнѣ жаль, что нѣтъ князей Пожарскихъ,
Что о другихъ пропасть и слухъ;
Что ихъ поносить и Фигляринъ;
Что Русскій *вытрянный* бояринъ (баринъ?)
Считаетъ грамоты царей
За пыльный сборъ календарей;
Что въ нашемъ теремѣ забытомъ
Растетъ пустынная трава;
Что геральдическаго льва
Демократическимъ копытомъ
Теперь лягаетъ и осель:
Духъ вѣка вотъ куда зашелъ!

Многимъ казалось ужасно остроумною выходка о демократическомъ копытѣ осла, лягающаго геральдическаго льва, и они такъ восхитились ею, что повѣрили древности этого геральдическаго льва, по наивному незнанію, что существованіе нашей геральдики есть искусственное и не простирается даже за полувѣкъ отъ настоящаго дня... Отъ этихъ стиховъ такъ и вѣетъ «Литературною Газетою» 1830 года... Ничего не можетъ быть нелѣпѣе, какъ приложеніе къ нашему русскому быту фактовъ исторіи Западной Европы, съ ея католическими и рыцарскими преданіями, вовсе для насъ чуждыми и нисколько къ намъ не идущими. И оттого, слова: «аристократическій», «демократическій», встрѣчающіяся изрѣдка въ русскихъ стихахъ или русской прозѣ, тѣмъ смѣшнѣе и забавнѣе, чѣмъ серьезнѣе смотрятъ они... Пушкина, кажется, очень занимало общественное положеніе Байрона, гордившагося тѣмъ, что въ его жилахъ текла королевская кровь, и болѣе дорожившаго своимъ званіемъ лорда, нежели своимъ значеніемъ перваго поэта Европы XIX вѣка. Но Байронъ—другое дѣло. Онъ Англичанинъ; его предразсудки имѣли значеніе историческое и національное. Белибъ онъ и не сдѣлался великимъ человѣкомъ, онъ все бы остался

важнымъ лицомъ въ своемъ отечествѣ: обладателемъ огромнаго наслѣдства, по праву рожденія членомъ палаты лордовъ... Аристократизмъ — въ этомъ словѣ заключается вся политическая конструкція Англіи, какъ государства, и потому тамъ къ партіи тори принадлежатъ не одни дворяне, но и люди всѣхъ другихъ сословій, которые въ сохраненіи statu quo видятъ для себя великій вопросъ: быть или не быть?... Какъ потомка старинной фамиліи, Пушкина зналъ бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствѣ не было ничего интереснаго; но какъ поэта, Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, дѣлающимъ честь своей матери... Кому нужно знать, что бѣдный дворянинъ, существующій своими литературными трудами, богатъ длиннымъ рядомъ предковъ, мало извѣстныхъ въ исторіи? Гораздо интереснѣе было знать, что напишетъ новаго этого гениальный поэтъ...

Забавны, въ сатирическомъ смыслѣ, послѣдніе стихи отрывка:

*Вотъ почему, архивы роя,
Я разбираю въ досужный часъ
Всю родословную героя,
О комъ затѣяю свой рассказъ
И здѣсь потомству заповѣдаю.
Езерскій самъ же твердо вѣдалъ,
Что дѣдъ его, великій мужъ,
Имѣлъ двѣнадцать тысячъ душъ;
Изъ нихъ отцу его досталась
Осьмая часть, и та сполна
Была давно заложена
И ежегодно продавалась;
А самъ онъ жалованьемъ жилъ
И регистраторомъ служилъ.*

Увы! Sic transit gloria mundi! На кого же тутъ пенять, на кого жаловаться? Какіе тутъ аристократы и демократы? Тутъ дѣло должно идти просто о мотовствѣ, о незнаніи хозяйства, о нерасчетливой жизни на авось, о естественномъ раздроб-

леніи имѣній черезъ право наслѣдства... Тѣмъ, которые тутъ проиграли, остается одно—вступить въ tiers-état, но не спроста, а для того, чтобъ, во-первыхъ, что-нибудь дѣлать, а во-вторыхъ, чтобъ имѣть болѣе вѣрныя средства къ существованію... Въмѣсто этой юмористической повѣсти, Пушкину лучше было бы написать дидактическую поэму о пользѣ свекло-сахарныхъ заводовъ, или о превосходствѣ плодоперемѣнной системы земледѣлія надъ трехпольною, какъ Ломоносовъ написалъ посланіе о пользѣ стекла, начинающееся этими наивными стихами:

Не право о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.

А между тѣмъ, «Родословная Моего Героя» написана стихами до того прекрасными, что нѣтъ никакой возможности противиться ихъ обаянію, не смотря на ихъ содержаніе. И потому, эта пьеса—истинный шалашъ, построенный великимъ мастеромъ изъ драгоценнаго паросскаго мрамора...

Теперь перейдемъ къ тремъ лучшимъ, въ художественномъ отношеніи, поэмамъ Пушкина—«Мѣдному Всаднику», «Галубу» и «Египетскимъ Ночамъ».

«Мѣдный Всадникъ» многимъ кажется какимъ-то страннымъ произведеніемъ, потому что тема его, повидимому, выражена неполно. По крайней мѣрѣ, страхъ, съ какимъ побѣждалъ помѣшанный Евгенийъ отъ конной статуи Петра, нельзя объяснить ничѣмъ другимъ, кромѣ того, что пропущены слова его къ монументу. Иначе, почему же вообразилъ онъ, что грозное лице царя, возгорѣвъ гнѣвомъ, тихо оборотилось къ нему, и почему, когда стремглавъ побѣждалъ онъ, ему все слышалось,

Какъ будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой!...

Условьтесь въ томъ, что въ напечатанной поэмѣ не достаётъ словъ, обращенныхъ Евгеніемъ къ монументу — и вамъ сдѣлается ясна идея поэмы, безъ того смутная и неопредѣленная. Настоящій герой ея — Петербургъ. Оттого и начинается она грандіозною картиною Петра, задумывающаго основаніе новой столицы, и яркимъ изображеніемъ Петербурга въ его теперешнемъ видѣ.

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И въ даль глядѣлъ. Предъ нимъ широко
Рѣка неслася; бѣдный челнъ
По ней стремился одиноко.
По мшистымъ, топкимъ берегамъ,
Чернѣли избы здѣсь и тамъ,
Пріютъ убогаго чухонца;
И лѣсъ, невѣдомый лучамъ
Въ туманѣ спрятаннаго солнца,
Кругомъ шумѣлъ.

И думалъ Онъ:

«Отсель грозитъ мы будемъ Шведу;
«Здѣсь будетъ городъ заложенъ,
«На зло надменному сосѣду;
«Природой здѣсь намъ суждено
«Въ Европу прорубить окно,
«Ногою твердой стать при морѣ;
«Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
«Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ—
«И запируемъ на просторѣ!»
Прошло сто лѣтъ—и юный градъ,
Полночныхъ странъ краса и диво,
Изъ тмы лѣсовъ, изъ топи блатъ
Воснесся пышно, горделиво:
Гдѣ прежде финскій рыболовъ,
Печальный пасынокъ природы,
Одинъ у низкихъ береговъ
Бросалъ въ невѣдомыя воды
Свой ветхій неводъ, нынѣ тамъ
По оживленнымъ берегамъ
Громады стройныя тѣнятся

Дворцовъ и башенъ; корабли
Толпой со всѣхъ концовъ земли
Къ богатымъ пристанямъ стремятся;
Въ гранить одѣлася Нева;
Мосты повисли надъ водами:
Темнозелеными садами
Ея покрылись острова—
И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва.
Какъ передъ новою царицей
Порфиросная вдова.

Не перепечатаваемъ вполне этого описанія, исполненнаго такой высокой и мощной поэзіи; но, чтобъ прослѣдить идею поэмы въ ея развитіи, напомнимъ читателю заключеніе:

Красуйся, градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Россія!
Да умирится же съ тобой
И побѣжденная стихія:
Вражду и плѣнь старинный свой
Пусть волны финскія забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вѣчный сонъ Петра!
Была ужасная пора:
Объ ней свѣжо воспоминае...
Объ ней, друзья мои, для васъ
Начну свое повѣствованье.
Печалень будетъ мой рассказъ.

Содержаніе этого разсказа составляетъ описаніе страшнаго наводненія, постигнаго Петербургъ въ 1824 году. Это плачевное событіе имѣетъ прямое отношеніе къ построенію Петромъ Великимъ Петербурга, не по одной этой причинѣ столь дорого стоившаго Россіи. Съ исторіею наводненія, какъ историческаго событія, поэтъ искусно слилъ частную исторію любви, сдѣлавшейся жертвою этого происшествія. Герой повѣсти—Евгеній, имя, такъ сдружившееся съ перомъ нашего

поэта, который съ грустью описываетъ его незначительность, не соответствующую его понятіемъ о родословіи:

Прозванье намъ его не нужно—
Хотя въ минувши времена
Оно, быть-можетъ, и блистало
И, подъ перомъ Карамзина,
Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало.
Но нынѣ свѣтомъ и молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ въ Коломнѣ; гдѣ-то служить;
Дичится знатныхъ и не тужить
Ни о покойницѣ роднѣ,
Ни о забытой старинѣ.

Однажды легъ онъ съ грустными мечтами о своемъ житьѣ-бытьѣ; вечеръ былъ мраченъ и буренъ. На другой день сдѣлалось наводненіе—

И всплылъ Петрополь какъ тритонъ,
По поясъ въ воду погруженъ.

Картина наводненія написана у Пушкина красками, которыя цѣною жизни готовъ бы былъ купить поэтъ прошлаго вѣка, помѣшавшійся на мысли написать эпическую поэму — «Потопъ»... Тутъ не знаешь, чему больше дивиться—громадной ли грандіозности описанія, или его почти прозаической простотѣ—что, вмѣстѣ взятое, доходитъ до высочайшей поэзіи. Однакожъ, боясь перепечатать всю поэму, пропускаемъ начало описанія, чтобъ поспѣшить къ герою поэмы:

Тогда на площади Петровой—
Гдѣ домъ въ углу вознесся новый,
Гдѣ, подъ возвышеннымъ крыльцомъ
Съ поднятой лапой, какъ живые,
Стоять два льва сторожевые.—
На звѣрѣ мраморномъ верхомъ.

Безъ шляпы, руки сжавъ крестомъ,
Сидѣлъ недвижный, страшно блѣдный
Евгеній. Онъ страшился, бѣдный,
Не за себя. Онъ не слышалъ,
Какъ подымался жадный валъ,
Ему подошвы подмывая;
Какъ дождь ему въ лицо хлесталъ;
Какъ вѣтеръ, буйно завывая,
Съ него и шляпу вдругъ сорвалъ.
Его отчаянные взоры
На край одинъ наведены
Недвижно были. Словно горы,
Изъ возмущенной глубины
Вставали волны тамъ и залились,
Тамъ буря выла, тамъ носились
Обломки... Боже, Боже!... тамъ—
Увы! близехонько къ волнамъ,
Почти у самаго залива—
Заборъ некрашенный да ива
И ветхій домикъ; тамъ онъ
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во снѣ
Онъ это видитъ? Иль вся наша
И жизнь не что, какъ сонъ пустой,
Насмѣшка рока надъ землей?
И онъ какъ будто околдованъ,
Какъ будто къ мрамору прикованъ,
Сойти не можетъ! Вкругъ него
Вода—и больше ничего!
*И, обращенъ къ нему спиною,
Въ неколебимой вышинѣ,
Надъ возмущенною Невую
Сидитъ съ простертою рукою
Гигантъ на бронзовомъ конѣ.*

Когда наводненіе утихло, Евгеній на мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Парашы, нашелъ одну иву—и ничего больше. Несчастный сошелъ съ ума. Бродя по улицамъ, преслѣдуемый мальчишками, получая удары отъ кучерскихъ плетей, разъ—

Онъ очутился подъ столбами
Большаго дома. На крыльцѣ,
Съ поднятой лапой, какъ живые,
Стояли львы сторбжевые.
*И прямо въ темной вышине,
Надъ овражденною скалою,
Гмантъ съ простертою рукою
Сидѣлъ на бронзовомъ конѣ.*

Въ этомъ безпрестанномъ столкновеніи несчастнаго съ «гигантомъ на бронзовомъ конѣ» и въ впечатлѣніи, какое производитъ на него видъ Мѣднаго Всадника, скрывается весь смыслъ поэмы; здѣсь ключъ къ ея идеѣ...

Евгеній вздрогнулъ. Прояснились
Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
И мѣсто, гдѣ потопъ игралъ,
Гдѣ волны хищныя толпились,
Бунтуя грозно вкругъ него,
И львовъ, и площадь и *Тою*,
Кто неподвижно возвышался
Во мракѣ съ мѣдной головой
И съ распростертою рукою—
Какъ будто градомъ любовался.
Безумецъ бѣдный обошелъ
Крутомъ скалы съ тоскою дикой.
И надпись яркую прочелъ,
И сердце скорбію великой
Стѣснилось въ немъ. Его чело
Къ рѣшеткѣ хладной прилегло.
Глаза подернулись туманомъ,
По членамъ холодъ пробѣжалъ,
И вздрогнулъ онъ—и мраченъ сталъ
Предъ дивнымъ русскимъ великаномъ.
И, персть свой на него поднявъ,
Задумался... Но вдругъ стремглавъ
Възжать пустился... *Показалось
Ему, что грознаго царя,
Мигновенно живомъ возоря,
Лицо тихонько обращалось..*

И онъ по площади пустой
Бѣжить и слышетъ за собой
Какъ будто грома грохотанье,
Тяжело-звонкое скаканье,
По потрясенной мостовой—
И, озаренъ луною блдной,
Простерши руки въ вышину,
За нимъ несется Всадникъ Мѣдный
На звонко-скачущемъ конѣ,—
И во всю ночь, безумецъ бѣдный
Куда стопы не обращалъ,
За нимъ повсюду Всадникъ Мѣдный
Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ...
И съ той поры, куда случалось
Идти той площадью ему,
Въ его лицѣ изображалось
Смятенье: къ сердцу своему
Онъ прижималъ поспѣшно руку,
Какъ бы его смиряя муку;
Картузъ изношенный сымалъ,
Смущенныхъ глазъ не подымалъ,
И шелъ стороной...

Въ этой поэмѣ видимъ мы горестную участь личности, страдающей какъ бы вслѣдствіе избранія мѣста для новой столицы, гдѣ подверглось гибели столько людей,—и наше сокрушенное сочувствіемъ сердце, вмѣстѣ съ несчастнымъ, готово смутиться; но вдругъ взоръ нашъ, упавъ на изваяніе виновника нашей славы, склоняется долу, — и въ священномъ трепетѣ, какъ бы въ сознаніи тяжкаго грѣха, бѣжить стремглавъ, думая слышать за собой,

Какъ будто грома грохотанье
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

Мы понимаемъ смущенною душою, что не произволъ, а разумная воля олицетворены въ этомъ Мѣдномъ Всадникѣ, ко-

торый, въ неколебимой вышинѣ, съ распростертою рукою, какъ бы любитъ городомъ... И намъ чудится, что, среди хаоса и тьмы этого разрушенія, изъ его мѣдныхъ устьъ исходитъ творящее «да будетъ!», а простертая рука гордо повелѣваетъ утихнуть разъяреннымъ стихіямъ... И смиреннымъ сердцемъ признаемъ мы торжество общаго надъ частнымъ, не отказываясь отъ нашего сочувствія къ страданію этого частнаго... При взглядѣ на Великана, гордо и неколебимо возносящагося среди всеобщей гибели и разрушенія, и какъ-бы символически осуществляющаго собою несокрушимость его творенія, — мы, хотя и не безъ содроганія сердца, но сознаемъ, что этотъ бронзовый гигантъ не могъ уберечь участи индивидуальностей, обеспечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взглядъ на насъ есть уже его оправданіе... Да, эта поэма—апоэеоза Петра Великаго, самая смѣлая, самая грандіозная, какая могла только прійти въ голову поэту, вполне достойному быть пѣвцомъ великаго преобразователя Россіи... Александръ Македонскій завидовалъ Ахиллу, имѣвшему Гомера своимъ пѣвцомъ: въ глазахъ насъ, Русскихъ, Петру некому завидовать въ этомъ отношеніи... Пушкинъ не написалъ ни одной эпической поэмы, ни одной «Петриады», но его «Стансы» (Въ надеждѣ славы и добра), многія мѣста въ «Полтавѣ», «Пирь Петра Великаго» и, наконецъ, этотъ «Мѣдный Всадникъ» образуютъ собою самую дивную, самую великую «Петриаду», какую только въ состояніи создать гений великаго національнаго поэта... И мѣрою трепета при чтеніи этой «Петриады» должно опредѣляться, до какой степени въ правѣ называться русскимъ всякое русское сердце...

Намъ хотѣлось бы сказать что-нибудь о стихахъ «Мѣднаго Всадника», о ихъ упругости, силѣ, энергіи, величавости; но это выше силъ нашихъ: только такими же стихами, а не нашею бѣдною прозою можно хвалить ихъ... Нѣкоторыя мѣста, какъ, напримѣръ, упоминовеніе о графѣ Хвостовѣ, показы-

вають, что по этой поэмѣ еще не былъ проведенъ окончательно рѣзецъ художника, да и напечатана она, какъ извѣстно, послѣ его смерти; но и въ этомъ видѣ, она—колоссальное произведеніе...

Въ статьѣ Пушкина «Путешествіе въ Арзрумъ» находятся слѣдующія строки: «Здѣсь нашелъ я измаранный списокъ Кавказскаго Плѣнника и, признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено вѣрно». Насъ всегда поражала благородная и безпристрастная вѣрность этой оцѣнки, и нельзя не согласиться, что это лучшая критика на «Кавказскаго Плѣнника». «Кавказскій Плѣнникъ» вышелъ въ свѣтъ въ 1822 году и былъ однимъ изъ первыхъ произведеній Пушкина, наиболѣе способствовавшихъ его народности въ Россіи. Истиннымъ героемъ ея былъ не столько плѣнникъ, сколько Кавказъ; исторія плѣнника была только рамкою для описанія Кавказа. Случилось такъ, что и одно изъ послѣднихъ произведеній Пушкина опять посвящено было тому же Кавказу, тѣмъ же горцамъ. Но какая огромная разница между «Кавказскимъ Плѣнникомъ» и «Галубомъ». Словно въ разные вѣка и разными поэтами написаны эти двѣ поэмы! Въ «Путешествіи въ Арзрумъ» Пушкинъ рассказываетъ, между прочимъ, о похоронахъ у горцевъ, которыхъ свидѣтелемъ ему случилось быть. Это даетъ право догадываться, что впечатлѣнія, плодомъ которыхъ былъ «Галубъ», собраны были поэтомъ во время его путешествія въ Арзрумъ, въ 1829 году, и что эта поэма была написана имъ послѣ 1829 года. Если ее раздѣлялъ отъ «Кавказскаго Плѣнника» промежутокъ только десяти лѣтъ,—какой великій прогрессъ! И что бы написалъ намъ Пушкинъ, еслибъ прожилъ еще хоть десять лѣтъ!

Сколькохъ добрыхъ жизнь поблела!

Сколькохъ низкихъ рокъ щадить!

Нѣтъ великаго Патрокла!

Живъ презрительный Тирсиль!...

Въ «Галубѣ» глубоко гуманная мысль выражена въ образахъ столько же отчетливо вѣрныхъ, сколько и поэтическихъ. Старикъ Чеченецъ, похоронивъ одного сына, получаетъ другаго изъ рукъ его воспитателя. Но этотъ второй сынъ не замѣнилъ ему своего брата и обманулъ надежды отца. Безъ образованія, безъ всякаго знакомства съ другими идеями, или другими формами общественной жизни, но единственно инстинктомъ своей природы юный Тазитъ вышелъ изъ стихій своего роднаго племени, своего роднаго общества. Онъ не понимаетъ разбоя, ни какъ ремесла, ни какъ поэзіи жизни; не понимаетъ мщенія, ни какъ долга, ни какъ наслажденія.

Среди родимаго аула
Онъ все чужой; онъ цѣлый день
Въ горахъ одинъ молчать и бродить.
Такъ въ саклѣ пойманный олень
Все въ лѣсъ глядѣть, все въ глушь уходить.
Онъ любитъ по крутымъ скаламъ
Скользять, ползти тропой кремнистой,
Внимая бури голосистой
И въ безднѣ воющимъ волнамъ.
Онъ иногда до поздней ночи
Сидитъ печаленъ, надъ горой,
Недвижно въ даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какія мысли въ немъ проходятъ?
Чего желаетъ онъ тогда?
Изъ міра дальняго куда
Младые сны его уводятъ?
Какъ знать? Незрима глубь сердець!
Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ,
Какъ вѣтеръ въ небѣ...

Въ самомъ дѣлѣ, чтò онъ такое—поэтъ, художникъ, жрецъ науки или просто одна изъ тѣхъ «внутреннихъ, глубоко сосредоточенныхъ въ себѣ натуръ, раждающихся для мирныхъ трудовъ, мирнаго счастья, мирнаго и благотѣльнаго влія-

нія на окружающихъ его людей? Какъ знать это кому-нибудь, если онъ самъ того не знаетъ? Явись онъ въ цивилизованномъ обществѣ,—хотя съ трудомъ, съ борьбою, надѣлавъ тысячи ошибокъ, но созналъ бы онъ свое назначеніе, нашелъ бы его и отдался бы ему. Но онъ родился среди патриархально-разбойническаго, дикаго и невѣжественнаго племени, съ которымъ у него нѣтъ ничего общаго,—и ему нѣтъ мѣста на землѣ, онъ отверженъ, проклятъ; его родные—враги его... Отецъ Тазита—Чеченецъ душой и тѣломъ, Чеченецъ, которому непонятны, которому ненавистны всѣ чеченскія формы общественной жизни, который признаетъ святою и безусловно истинною только чеченскую мораль, и который, слѣдовательно, можетъ въ сынѣ любить только истаго Чеченца. Въ отношеніи къ сыну онъ не дѣйствуетъ иначе, какъ за одно съ чеченскимъ обществомъ, во имя его національности. Трагическая коллизія между отцомъ и сыномъ, т. е. между обществомъ и человѣкомъ, не могла не обнаружиться скоро. Разъ Тазитъ, въ своихъ горныхъ разбѣздахъ, встрѣтилъ Армянина съ товарами—и не ограбилъ, не убилъ, или не привелъ его домой на арканѣ. Другой разъ, повстрѣчалъ онъ бѣлаго раба—и оставилъ его невредимымъ; въ третій—

Отецъ.

Кого ты видѣлъ?

.....

Сынъ.

Убийцу брата.

Отецъ.

Убийцу сына моего?...

Тазитъ! гдѣ голова его?

Дай, нагляжусь!

Сынъ.

Убийца былъ

Одинъ, израненъ, безоруженъ...

Отецъ.

Ты долга крови не забылъ...

Врага ты навзничь опрокинулъ...

Не правда ли? ты шапку вынулъ.
Ты въ горло сталь ему воткнулъ
И трижды тихо повернулъ?
Упился ты его стenanьемъ,
Его змѣвинимъ издыханьемъ?...
Гдѣ-жь голова, подай!.. Нѣтъ силъ...
Но сынъ молчить, потуля очи.
И сталь Галузь червѣ ночи
И сыну грозно возопилъ:
«Поиди ты прочь—ты мнѣ не сынъ!
«Ты не Чеченець—ты старуха,
«Ты трусь, ты рабъ, ты Армянинъ!
«Будь проклять мною, поиди—чтобъ слуха
«Никто о робкомъ не имѣлъ,
«Чтобъ вѣчно ждалъ ты грозной встрѣчи,
«Чтобъ мертвый братъ тебѣ на плечи
«Окровавленной кошкой свѣлъ
«И къ безднѣ гналъ тебя нещадно;
«Чтобъ ты, какъ раненный олень,
«Бѣжалъ, тоскуя безотрадно;
«Чтобъ дѣти русскихъ деревень
«Тебя веревкою поймали
«И какъ волченка затерзали—
«Чтобъ ты... бѣги, бѣги скорѣй!
«Не оскверняй моихъ очей!»

Здѣсь, въ лицѣ отца, говоритъ общество. Такія чеченскія исторіи случаются и въ цивилизованныхъ обществахъ: Галилея въ Италіи чуть не сожгли живаго за его несогласіе съ чеченскими понятіями о мировой системѣ. Но тамъ человѣкъ знаніемъ опередилъ свое общество и, еслибъ былъ сожженъ, могъ бы имѣть хоть то утѣшеніе передъ смертію, что идея-то его не сожгутъ невѣжественные палачи... Здѣсь же человѣкъ вышелъ изъ своего народа своею натурою, безъ всякаго сознанія объ этомъ,—самое трагическое положеніе, въ какомъ только можетъ быть человѣкъ!... Одинъ среди множества, и ближніе его — враги ему; стремится онъ къ людямъ и съ ужасомъ отскакиваетъ отъ нихъ, какъ отъ змѣи, на которую наступилъ нечаянно... И винить, и пре-

зираеть и проклинаеть онъ себя за это, потому что его сознание не въ силахъ оправдать въ собственныхъ его глазахъ его отчужденіе отъ общества... И вотъ она—вѣчная борьба общаго съ частнымъ, разума съ авторитетомъ и преданіемъ, человѣческаго достоинства съ общественнымъ варварствомъ! Она возможна и между Чеченцами!...

Превосходны, выше всякой похвалы, послѣдніе стихи «Галуба», представляющіе живое изображеніе черкесскихъ нравовъ и трогательную картину отчужденныхъ отъ общества любовниковъ:

Они въ толпѣ четою странной
Стоять, не видя ничего.
И горе имъ: онъ—сынъ изгнанный,
Она—любовница его...
О, было время! съ ней украдкой
Видался юноша въ горахъ;
Онъ пилъ огонь отравы сладкой
Въ ея смятеньи, въ рѣчи краткой,
Въ ея потупленныхъ очахъ,
Когда съ домашняго порогу
Она смотрѣла на дорогу,
Съ подружкой рѣзво говоря,
И вдругъ садилась и блѣднѣла.
И отвѣчая не глядѣла,
И разгоралась какъ заря;
Или у водъ когда стояла,
Текущихъ съ каменныхъ вершинъ,
И долго кованный кувшинъ
Волною звонкой наполняла...
И онъ, невластный превозмочь
Волненій сердца, разъ приходитъ
Къ ея отцу, его отводитъ
И говорить: «Твоя мнѣ дочь
«Давно мила; по ней тоскую.
«Одинъ и сиръ давно живу я;
«Благослови любовь мою;
«Я бѣденъ, но могучъ и молодъ;
«Я агнецъ дома, звѣрь въ бою;

«Къ намъ въ савлю не впушу я голодь;
«Тебѣ и буду сынъ и другъ
«Послушный, преданный и вѣрный,
«Твоимъ сынамъ — кунакъ надежный.
«А ей приверженный супругъ»...

Увы! бѣдный юноша говорилъ все это, не зная самъ себя. Онъ былъ могучъ и молодъ, у него много было отваги и храбрости, — но онъ жалѣлъ бѣжавшаго раба, не могъ убить израненнаго и обезоруженнаго врага: онъ не былъ Чеченцемъ, и въ его савлѣ поселился бы голодь... И за то онъ отверженъ; отвержена и та, которая имѣла несчастіе полюбить его! Чтò съ ними стало, намъ неинтересно знать. Они должны погибнуть — это вѣрно; но какъ погибнуть, чтò до того!.. Слѣдовательно, поэмѣ эту можно считать цѣлою и оконченною. Мысль ея видна и выражена вполне.

«Египетскія ночи» — въ одно и то же время, и повѣсть, писанная прозою, и поэма, писанная стихами. Повѣсть прекрасная. Характеръ Чарскаго, русскаго поэта и свѣтскаго челоуѣка, который знаетъ цѣну искусству и таланту и со всѣмъ тѣмъ стыдится ремесла своего; характеръ импровизатора, страстнаго, вдохновеннаго жреца искусства, униженнаго, низкопоклоннаго Итальянца, жаднаго къ прибытку нищаго; характеръ нашего большаго свѣта, его странныя отношенія къ искусству, — все это выдержано съ удивительною вѣрностію, до мельчайшихъ подробностей, — до некрасивой дѣвушки, по приказанію матери написавшей тему импровизатору. Но чтò сказать о поэмѣ — «Cleopatra ei suoi amanti»?... Въ «Мѣдномъ Всадникѣ», поэтъ показалъ намъ величественный образъ преобразователя Россіи и современнаго Петербурга; въ «Галубѣ» перенесъ насъ въ среду кавказскихъ дикарей, чтобъ показать, что и тамъ есть челоуѣческое достоинство, осужденное на трагическое страданіе; въ «Египетскихъ ночахъ», волшебнымъ жезломъ своей поэзіи, онъ переноситъ насъ въ среду древняго римскаго міра, одрах-

лѣвшаго, утратившаго всё вѣрованія, всё надежды, холоднаго къ жизни и все еще жаждущаго наслаждений, за которыя охотно платитъ жизнью, какъ-будто жизнь дешевле денегъ... Во всѣхъ этихъ трехъ поэмахъ видимъ мы Пушкина, узнаемъ въ немъ ему только свойственный колоритъ и стиль; но ни въ одной изъ нихъ не повторяетъ онъ себя, — напротивъ, въ каждой являетъ изумленному взору нашему совершенно новый міръ: «Мѣдный Всадникъ» — весь современная Русь, «Галубъ» — весь Кавказъ, «Египетскія ночи», это — воскресшій, подобно Помпеѣ и Геркулануму, древній міръ на закатѣ его жизни... О стихахъ импровизатора не говоримъ; это чудо искусства...

Три послѣднія означенныя нами поэмы, въ художественномъ отношеніи, неизмѣримо выше всѣхъ прежнихъ поэмъ Пушкина. Въ нихъ видѣнъ вполнѣ разившійся и выработавшійся художественный стиль, который долженъ быть принадлежностью всякаго великаго поэта. Что-то глубоко-грустное, но вмѣстѣ и величаво-спокойное лежитъ въ поэтическомъ колоритѣ, разлитомъ на этихъ твореніяхъ. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ лирическихъ стихотвореній поэтъ не даромъ сравнилъ печаль души своей съ виномъ, которое тѣмъ крѣпче, чѣмъ старѣе. Мы прибавимъ отъ себя, что вино, чѣмъ старѣе, тѣмъ не только крѣпче, но и вкуснѣе и ароматнѣе... Продолжая сравненіе, начатое самимъ же поэтомъ, скажемъ, что послѣднія произведенія его, утративъ конфетную сладость первыхъ, приобрѣли вкусъ и благовонную букетистость дорогаго стараго вина...

«Анджело» составляетъ переходъ отъ эпическихъ поэмъ къ драматическимъ; по крайней мѣрѣ, діалогъ играетъ въ этой пьесѣ большую роль. «Анджело» былъ принятъ публикою очень сухо, и по дѣломъ. Въ поэмѣ видно какое-то усиліе на простоту, отчего простота ея слога вышла какъ-то искусственна. Можно найти въ «Анджело» счастливыя выраженія, удачныя стихи, если хотите, — много искусства, но искус-

ства чисто-техническаго, безъ вдохновенія, безъ жизни. Коротче: эта поэма недостойна таланта Пушкина. Больше о ней нечего сказать.

Теперь перейдемъ къ драматическимъ опытамъ Пушкина, которые онъ столь блистательно началъ своимъ «Борисомъ Годуновымъ». Драматическій элементъ сильно пробивался и въ первыхъ поэмахъ его—«Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», «Цыганахъ» и «Полтавѣ», такъ что по нимъ уже можно было видѣть, что онъ можетъ приобрести такіе же успѣхи и въ драматической поэзіи, какіе приобрѣлъ уже въ лирической и эпической. Сцена изъ «Бориса Годунова», напечатанная еще въ 1828 году, оправдала это ожиданіе. Въ 1829 году, во второмъ томѣ «Стихотвореній Александра Пушкина», была напечатана «Сцена изъ Фауста». Это былъ не переводъ какого-нибудь отрывка изъ знаменитой драматической поэмы Гёте, но вариация, разыгранная на ея тему. Многимъ эта сцена такъ понравилась, что они, не зная Гётева «Фауста», порѣшили, будто она лучше его. Дѣйствительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гётевымъ «Фаустомъ» нѣтъ ничего общаго. Она—не что иное, какъ развитіе и распространеніе мысли, выраженной Пушкинымъ въ его маленькомъ стихотвореніи «Демонъ». Этотъ демонъ былъ «довольно мелкій, изъ самыхъ нечиновныхъ». Онъ соблазнялъ однихъ юношей,

Въ тѣ дни, когда имъ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія.

Поэтому ему легко было подшучивать надъ ними, и они со страхомъ смотрѣли на него, ибо

Неистощимый клеветою
Онъ провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою;
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не върилъ онъ любви, свободѣ;

На жизнь насмѣшливо глядѣль—
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.

«Печальны, говоритъ Пушкинъ, были мои встрѣчи съ нимъ!» Знакомое съ демономъ другаго поэта, наше время съ улыбкою смотритъ на Пушкинскаго чертенка. И не диво: для кого существуетъ истина, красота и благо, тѣ не сомнѣваются теперь въ ихъ существованіи; для кого же они не существуютъ, тѣ и не заботятся о нихъ. Но для первыхъ есть другой демонъ, и если они знали его,—

Ихъ умъ, бывало, возмущалъ
Могучій образъ;—межъ иныхъ виднѣй
Какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ
Такой волшебной-сладкой красотою,
Что было страшно...

Это уже демонъ совсѣмъ другаго рода: отрицать все для одного отрицанія и существующее стараться представлять не существующимъ—для него было бы слишкомъ пошлымъ занятіемъ, которое онъ охотно предоставляет мелкимъ бѣсамъ дурнаго тона, дьявольской черни и сволочи. Самъ же онъ отрицаетъ для утвержденія, разрушаетъ для созиданія; онъ наводитъ на человѣка сомнѣніе не въ дѣйствительности истины, какъ истины, красоты, какъ красоты, блага, какъ блага, но какъ этой истины, этой красоты, этого блага. Онъ не говоритъ, что истина, красота, благо — призраки, порожденные большимъ воображеніемъ человѣка; но говоритъ, что иногда не все то истина, красота и благо, что считаютъ за истину, красоту и благо. Еслибъ онъ, этотъ демонъ отрицанія, не признавалъ самъ истины, какъ истины, что противопоставилъ бы онъ ей? во имя чего сталъ бы онъ отрицать ея существованіе. Но онъ тѣмъ и страшенъ, тѣмъ и могущъ, что едва родитъ въ васъ сомнѣніе въ томъ, что

доселѣ считали вы непреложною истиною, какъ уже кажется вамъ издалека идеаль новой истины. И пока эта новая истина для васъ только призракъ, мечта, предположеніе, догадка, предчувствіе, пока не сознали вы ея и не овладѣли ею, — вы добыча этого демона, и должны узнать всѣ муки неудовлетвореннаго стремленія, всю пытку сомнѣнія, всѣ страданія безотраднaго существованія. Но въ сущности, это преблагонамѣренный демонъ; если онъ и губить иногда людей, если и дѣлаетъ несчастными цѣлыя эпохи, то не иначе, какъ желая добра человѣчеству и всегда выручая его. Это демонъ движенія, вѣчнаго обновленія, вѣчнаго возрожденія...

Этого демона Пушкинъ не зналъ, и отъ того такъ и заботился о родословныхъ вообще. Его Мефистофель, въ «Сценѣ изъ Фауста», все тотъ же мелкій чертенокъ, котораго воспѣлъ онъ въ молодости подъ громкимъ именемъ «Демона». Это просто напросто острякъ прошлаго столѣтія, котораго скептицизмъ наводитъ теперь не разочарованіе, а зѣвоту и хорошій сонъ. Фаустъ Пушкина — не измученный неудовлетворенною жаждою знанія человѣкъ, а какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдетъ, un homme blasé. Несмотря на то, пьеса эта написана ловко и бойко, и потому читается легко и съ удовольствіемъ.

«Пиръ во время Чумы», отрывокъ изъ трагедіи Вильсона: «The city of the plague», принадлежитъ къ загадочнымъ произведеніямъ Пушкина. Всѣмъ извѣстно, что «Скупой Рыцарь» — его оригинальное произведеніе, а онъ назвалъ его отрывкомъ изъ траги-комедіи Ченстона: «The coveteous Kuighth», для того, какъ говорятъ, чтобъ посмотрѣть, какое дѣйствіе произведетъ на нашу публику это сочиненіе. Можетъ быть и Вильсонъ — родной братъ Ченстону, хотя и есть слухи, что какъ Вильсонъ, такъ и пьеса его — факты не вымышленные. Какъ бы то ни было, но если пьеса Вильсона такъ же, хороша, какъ переведенный изъ нея Пушкинымъ отрывокъ, то нельзя не согласиться, что этотъ Вильсонъ написалъ великое про-

изведеніе. Можетъ быть и то, что Пушкинъ только воспользовался идеею, воспроизведя ее по своему, и у него вышла удивительная поэма, не отрывокъ, и цѣлое, оконченное произведеніе. Основная мысль — оргія во время чумы, оргія отчаянія, тѣмъ болѣе ужасная, чѣмъ болѣе веселая. Мысль по-истинѣ трагическая! И какъ много выразилъ Пушкинъ въ этой маленькой поэмѣ, какъ рѣзко обрисованы въ ней характеры, сколько драматическаго движенія и жизни! Умили-тельная пѣсня Мери, столь наивная и нѣжная выраженіемъ, столь страшная содержаніемъ, производитъ на читателя невыразимое впечатлѣніе. Какъ много страшнаго смысла въ просьбѣ предсѣдателя оргіи спѣть эту пѣсню! Но пѣсня предсѣдателя оргіи въ честь чумы — яркая картина гробоваго сладострастія, отчаяннаго веселья: въ ней слышится даже вдохновеніе несчастія и, можетъ-быть, преступленія сильной натуры... Такіе переводы, если они и близко вѣрны подлинникамъ, стоятъ оригинальныхъ произведеній. Не потому ли на Жуковского у насъ никто не смотритъ какъ на переводчика, хотя и всѣ знаютъ, что лучшія его произведенія — переводы?

«Моцартъ и Сальери» — цѣлая трагедія, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощнаго генія, хотя и небольшая по объему. Ея идея — вопросъ о сущности и взаимныхъ отношеніяхъ таланта и генія. Есть организаціи несчастныя, недоконченныя, одаренныя сильнымъ талантомъ, пожираемыя сильною страстію къ искусству и къ славѣ. Любя искусство для искусства, онѣ приносятъ ему въ жертву всю жизнь, всѣ радости, всѣ надежды свои; съ невѣроятнымъ самоотверженіемъ предаются его изученію, готовы пойдти въ рабство, закабалить себя на нѣсколько лѣтъ какому нибудь художнику, лишь бы онъ открылъ тайны своего искусства. Если такой человекъ положительно бездаренъ и ограниченъ, изъ него выходитъ самодовольный Тредьяковский, который и живетъ и умираетъ съ убѣжденіемъ, что

онъ—великій геній. Но если это человекъ дѣйствительно съ талантомъ, а главное — съ замѣчательнымъ умомъ, съ способностію глубоко чувствовать, понимать и цѣнить искусство—изъ него выходитъ Сальери. Для выраженія своей идеи, Пушкинъ удачно выбралъ эти два типа. Изъ Сальери, какъ мало извѣстнаго лица, онъ могъ сдѣлать, что ему угодно; но въ лицѣ Моцарта онъ исторически удачно выбралъ безпечнаго художника «гуляку празднаго». У Сальери своя логика; на его сторонѣ своего рода справедливость, парадоксальная въ отношеніи къ истинѣ, но для него самого оправдываемая жгучими страданіями его страсти къ искусству, невознагражденной славою. Изъ всѣхъ болѣзненныхъ стремленій, страстей, странностей самая ужасная тѣ, съ которыми рождается человекъ, которыя, какъ проклятіе, получилъ онъ при рожденіи вмѣстѣ съ своею кровью, своими нервами, своимъ мозгомъ. Такой человекъ — всегда лицо трагическое; онъ можетъ быть отвратителенъ, ужасенъ, но не смѣшонъ. Его страсть—родъ помѣшательства при здоровомъ состояніи разсудка. Сальери такъ уменъ, такъ любитъ музыку и такъ понимаетъ ее, что сейчасъ понялъ, что Моцартъ — геній, и что онъ, Сальери, ничто передъ нимъ. Сальери былъ гордъ, благороденъ и ни кому не завидовалъ. Приобрѣтенная имъ слава была счастіемъ его жизни; онъ ничего больше не требовалъ у судьбы, — и вдругъ, видитъ онъ «безумца, гуляку празднаго», на челѣ котораго горитъ помазаніе свыше...

О небо!

Гдѣ-жь правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній — не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ—
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?... О, Моцартъ, Моцартъ!

Моцартъ является со всею простотою, веселостію, шутливостію, съ возможнымъ отсутствіемъ всѣхъ претензій,

какъ геній, по своему простодушію неподозрѣвающій собственнаго величія, или невидящій въ немъ ничего особеннаго. Онъ приводитъ съ собой къ Сальери слѣпаго скрипача-нищаго и ведетъ ему сыграть что-нибудь изъ Моцарта. Сальери въ бѣшенствѣ на эту профанацію высокаго искусства, Моцартъ хохочетъ какъ шаловливый ребенокъ, потому играетъ для Сальери фантазію, набросанную имъ на бумагу въ бессонную ночь,—и Сальери восклицаетъ въ ревнивомъ восторгѣ:

Ты, Моцартъ, богъ, и самъ того не знаешь,
Я знаю, я!...

Моцартъ отвѣчаетъ ему наивно:

Ба! право? можетъ быть...
Но божество мое проголодалось.

Замѣтите: Моцартъ не только не отвергаетъ подносимаго ему другими титла генія, но и самъ называетъ себя геніемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ называя геніемъ и Сальери. Въ этомъ видны удивительное добродушіе и безпечность: для Моцарта слово «геній» ни по чемъ; скажите ему, что онъ геній, онъ преважно согласится съ этимъ; начинайте доказывать ему, что онъ вовсе не геній,—онъ согласится и съ этимъ, и въ обоихъ случаяхъ равно искренно. Въ лицѣ Моцарта Пушкинъ представилъ типъ непосредственной геніяльности, которая проявляетъ себя безъ усилія, безъ расчета на успѣхъ, нисколько не подозрѣвая своего величія. Нельзя сказать, чтобъ всѣ геніи были таковы; но такіе особенно невыносимы для талантовъ въ родѣ Сальери. Какъ умъ, какъ сознаніе, Сальери гораздо выше Моцарта; но какъ сила, какъ непосредственная творческая сила, онъ ничто передъ нимъ... И потому, самая простота Моцарта, его неспособность цѣнить самого себя, еще больше раздражаютъ Сальери. Онъ не тому завидуетъ, что Моцартъ выше его,—превосходство онъ могъ бы вынести благородно, потому что онъ ничто передъ Моцартомъ, потому что Моцартъ геній, а талантъ

передъ гениемъ — ничто... И вотъ онъ твердо рѣшается отравить его. «Иначе» говорить онъ: «мы всё погибли, мы всё жрецы и служители музыки. И что пользы, если онъ останется еще жить? Вѣдь онъ не подыметъ искусства еще выше? Вѣдь оно опять падеть послѣ его смерти?» Вотъ она, логика страстей!...

За обѣдомъ въ трактирѣ, Моцартъ случайно спросилъ Сальери, правда ли, что Бомарше кого-то отравилъ. Какъ истинный Итальянецъ, Сальери отвѣчаетъ, что едва-ли, потому что Бомарше былъ слишкомъ смѣшонъ для такого ремесла. Моцартъ дѣлаетъ при этомъ наивное замѣчаніе:

Онъ же геній

*Какъ ты, да я. А геній и злодѣйство
Двѣ вещи несовмѣстны. Не правда-ль?*

Эта выходка ускорила рѣшимость Сальери. Здѣсь Пушкинъ поражаетъ васъ Шекспировскимъ знаніемъ человѣческаго сердца. Въ простодушныхъ словахъ Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которою страдалъ Сальери. Онъ зналъ себя, какъ человѣка способнаго на злодѣйство, а между тѣмъ самъ геній говорить, что геній и злодѣйство несовмѣстны, и что, слѣдовательно, онъ, Сальери, не геній. А! такъ я не геній? Вотъ же тебѣ, — и ядъ брошенъ въ стаканъ генія... Но когда Моцартъ выпилъ, Сальери, какъ-бы съ смущеніемъ и ужасомъ восклицаетъ:

Постой,

Постой, постой!... ты выпилъ!... безъ меня?

Это опять истинно-драматическая черта! Но вотъ одна изъ тѣхъ смѣлыхъ, обнаруживающихъ глубочайшее знаніе человѣческаго сердца чертъ, которыя никогда не могутъ придти въ голову таланту, всегда живущему «плѣнной мысли раздраженіемъ», и на которыя онъ никогда не рѣшится, еслибъ

онъ и могли придти къ нему; это Сальери, съ умиленіемъ слушающій Requiem Моцарта и говорящій ему:

Эти слезы

Впервые люю: и больно и пріятно,
Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ цѣлебный мнѣ отъѣкъ
Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы...
Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣвши
Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Какъ поразительны эти слова своимъ характеромъ умиленія, какою - то даже нѣжностію къ Моцарту! «Другъ Моцартъ»: видите ли, убійца Моцарта любить свою жертву, любить ее художественною половиною души своей, любить ее за то же самое, за чтó и ненавидить... Только великіе, гениальные поэты умѣютъ находить въ тайникахъ человѣческой природы такія странныя, повидимому, противорѣчія, и изображать ихъ такъ, что они становятся намъ понятными безъ объясненій...

Послѣднія слова Сальери, когда, по уходѣ Моцарта, остался онъ одинъ, художественно округляютъ и замыкаютъ въ самой себѣ сцену:

Ты заснешь

Надолго, Моцартъ! Но уже ль онъ правъ,
И я не гений? Гений и злодѣйство
Двѣ вещи несовмѣстныя. Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, безсмысленной толпы—и не былъ
Убійцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедія! Какое огромное содержаніе и въ какой безконечно - художественной формѣ! Но намъ предстоитъ переходить отъ одного чуда искусства къ другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущаетъ насъ своею несоразмѣрностію съ нашими силами.

Ничего нѣтъ легче, какъ говорить о слабомъ произведеніи, или открывать слабыя стороны хорошаго; ничего нѣтъ труднѣе, какъ говорить о произведеніи, которое велико и въ цѣломъ и въ частяхъ! Къ такимъ принадлежатъ: «Моцартъ и Сальери», «Скупой Рыцарь», «Каменный Гость» и «Русалка», о которыхъ, за исключеніемъ перваго, еще никѣмъ изъ нашихъ журналистовъ и критиковъ доселѣ не сказано ни одного слова...

Нечего говорить объ идеѣ поэмы «Скупой Рыцарь»: она слишкомъ ясна и сама по себѣ и по названію поэмы. Страсть скупости — идея не новая, но гений умѣетъ и старое сдѣлать новымъ. Идеаль скупца одинъ, но типы его безконечно различны. Плюшкинъ Гоголя гадокъ, отвратителенъ это — лицо комическое; Баронъ Пушкина ужасенъ — это лицо трагическое. Оба они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера — риторическое олицетвореніе скупости, карриатура, памфлетъ. Нѣтъ, это лица страшно истинныя, заставляющія содрогаться за человѣческую природу. Оба они пожираемы одною гнусною страстью, и все-таки нисколько одинъ на другаго не похожи, потому что и тотъ и другой — не аллегорическое олицетвореніе выражаемой ими идеи, но живыя лица, въ которыхъ общій порокъ выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкина — лицо трагическое. Альберъ говорить Жиду: когда мнѣ будетъ пятьдесятъ лѣтъ, на что мнѣ тогда и деньги?

Жидъ.

Деньги? — Деньги

Всегда, во всякій возрастъ намъ пригодны;
Но юноша въ нихъ ищетъ слугъ проворныхъ,
И не жалѣя шлетъ туда, сюда;
Старикъ же видитъ въ нихъ друзей надежныхъ,
И бережетъ ихъ какъ зѣницу ока.

Альберъ.

О! мой отецъ не слугъ и не друзей
Въ нихъ видитъ, а господъ и самъ имъ служить;

И какъ же служить? какъ алжирскій рабъ,
Какъ песь цвпшой. *Въ непопленной конурѣ*
Живетъ, пьетъ воду, пьетъ сужія корки,
Всю ночь не спитъ, все бьется да лапаетъ.

Въ этомъ портретѣ мы видимъ лицо чисто комическое; но сойдемъ въ подвалъ, гдѣ этотъ скряга любитъ своимъ золотомъ, и пусть поэтъ багровымъ заревомъ своего поэтического факела освѣтитъ намъ мрачныя бездны сердца своего героя: мы содрогнемся отъ трагическаго величія гнусной страсти скупости; мы увидимъ, что она естественна, что у ней есть своя логика. Любуясь своимъ золотомъ, старый баронъ восклицаетъ:

Что не подвластно мнѣ!... Какъ нѣкій демонъ
Отселѣ править міромъ я могу;
Лишь захочу—воздвигнутся чертоги;
Въ великолѣпные мои сады
Сбѣгутъ нимфы рѣзвою толпою;
И музы дань свою мнѣ принесутъ,
И вольный геній мнѣ *поработится*,
И добродѣтель и бессонный трудъ
Смирненно будутъ ждать моей награды;
Я свисну—и ко мнѣ послушно, робко
Вползетъ окровавленное злодѣйство,
И руку будетъ мнѣ лызать, и въ очи
Смотрѣть, въ нихъ знакъ моей читая воли.
Мнѣ все послушно, я же—ничему;
Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ;
Я знаю мощь мою: съ меня довольно
Сего сознанья...

Ужасно, потому что истинно! Да, въ словахъ этого отверженца человѣчества, къ несчастію все истинно, кромѣ того, что не въ его волѣ пожелать многое изъ того, что могъ бы онъ выполнить. Въ этомъ и заключается наказаніе за порокъ скупости. Скупецъ раскрываетъ всѣ свои сундуки и зажига-

еть (ужасное мотовство!) по свѣчѣ передъ каждымъ изъ нихъ. Это его сладострастіе, его оргія! При видѣ освѣщенныхъ грудь золота, онъ приходитъ въ сатанинскій восторгъ, и въ патетической рѣчи обнажаетъ передъ нами страшныя тайны страшнѣйшей изъ человѣческихъ страстей. Золото—кумиръ этого человѣка, онъ исполненъ къ нему поэтическаго чувства, говоритъ о немъ языкомъ благоговѣнія, служитъ ему, какъ преданный, усердный жрецъ! Расточить его наслѣдство, по его мнѣнію, значить разбить священные сосуды, напоить грязь царскимъ елеемъ... Онъ смотритъ еще на золото, какъ молодой, пылкій человѣкъ на женщину, которую онъ страстно любить, обладаніе которою онъ купилъ цѣною страшнаго преступленія и которая тѣмъ дороже ему. Онъ хотѣлъ бы спрятать ее отъ «недостойныхъ взоровъ», его ужасаетъ мысль, чтобы она не принадлежала кому нибудь послѣ его смерти.

По выдержанности характеровъ (скряги, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположенію, по страшной силѣ паѳоса, по удивительнымъ стихамъ, по полнотѣ и оконченности, — словомъ, по всему, эта драма—огромное, великое произведеніе, вполне достойное генія самого Шекспира.

Изъ міра среднихъ вѣковъ Западной Европы, изъ міра рыцарей и феодальныхъ рабовъ, перейдемъ въ міръ древней Руси, міръ полу-историческій, міръ полу-сказочный. Говорятъ, будто «Русалка» была писана Пушкинымъ, какъ либретто для оперы. Еслибы это было и правда, то хотя самъ Моцартъ написалъ бы музыку на эти слова, — опера не была бы выше своего либретто, — тогда какъ до сихъ поръ лучшія оперы писаны на глупѣйшія и пошлѣйшія слова... Но это предположеніе едва ли основательно. За исключеніемъ двухъ хоровъ русалокъ и одной свадебной пѣсни, да голоса невидимой русалки на свадебномъ пиру, вся пьеса писана пятистопнымъ ямбомъ, слишкомъ длиннымъ и однообразнымъ для пѣнія.

Въ фантастической формѣ этой поэмы скрыта самая простая мысль, рассказана самая обыкновенная, но тѣмъ болѣе

ужасная исторія. Мельникъ, человекъ не злой, не развратный, но слабый сколько по любви къ дочери, столько можетъ-быть, и по страху къ княжескому могуществу, сквозь пальцы смотрѣлъ на связь своей дочери съ княземъ. Какъ человекъ хладнокровный, какъ мужчина, онъ тотчасъ понялъ, почему посѣщенія князя на его мельницу сдѣлались рѣже, и вида, что стараго ужъ не воротить, совѣтуетъ дочери воспользоваться хоть матеріальными выгодами этой связи. Но дочь — существо любящее и страстное, привязчивое, слѣдовательно, обреченное на несчастіе и гибель, — и вѣрить не хочетъ, чтобъ ея любезный охладѣлъ къ ней. Она говоритъ:

Онъ занятъ; мало-ль у него заботы?
Вадь онъ не мельникъ; за него не станеть
Вода работать! Часто онъ твердить,
Что всѣхъ трудовъ его труды тяжеле.

Мельникъ.

Да, вѣрь ему. Когда князя трудятся?
И что ихъ трудъ? травить лясицъ и зайцевъ,
Да пировать, да собирать сосѣдей,
Да подговаривать васъ бѣдныхъ дуръ.
Онъ самъ работаетъ—куда какъ жалко!

Но слышится топотъ коня—и бѣдная женщина все забыла. Она видитъ, что князь печаленъ, но не умѣетъ, не можетъ понять сразу, отчего такъ тревожить ее эта печаль. Онъ объясняется съ нею довольно осторожно, но тѣмъ не менѣе ясно: онъ женится на другой: онъ князь, — онъ не воленъ въ выборѣ невѣсты... Она оцѣпенѣла, а онъ, близорукій мужчина, радехонекъ, что дѣло обошлось безъ бури, не понимая, что эта тишина страшнѣе всякой бури,—и на полумертвую надѣваетъ онъ повязку и ожерелье, даетъ ей для отца мѣшокъ денегъ и хочетъ уйти...

Она.

Постой, тебѣ сказать должна я—
Не помню что.

Князь.

Припомни.

Она.

Для тебя
Я все готова... Нѣтъ не то... Постой...
Нельзя, чтобы на вѣки, въ самомъ дѣлѣ,
Меня ты могъ покинуть .. Все не то...
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся...

За этою страшною, трагическою сценою слѣдуетъ другая, не менѣе ужасная. Подарки князя глубоко оскорбили несчастную. Она отдаетъ отцу его мѣшокъ съ деньгами.

Да, бишь, забыла я: тебѣ отдать
Велѣлъ онъ это серебро за то,
Что былъ хорошъ ты до него, что дочку
За нимъ пускалъ таскаться, что ее
Держалъ не строго... Въ прокъ тебѣ пойдетъ
Моя погибель!...

Мельникъ (съ слезами).

До чего я дожилъ!

Что Богъ привелъ услышать!

Бѣднякъ въ немъ замеръ, проснулся отецъ... несчастная бросилась въ Днѣпръ... Мы на свадьбѣ, картина которой съ удивительною вѣрностью передана поэтомъ во всемъ ея простодушіи старинныхъ русскихъ нравовъ. Хоръ дѣвушекъ — предель... Вдругъ, среди наивнаго веселья, раздается фантастическій голосъ...

По камушкамъ, по желтому песочку
Пробѣгала быстрая рѣчка;

Въ быстрой рѣчкѣ гуляютъ двѣ рыбки.
Двѣ рыбки, двѣ малыя плотицы.
А слыхала-ль ты, рыбка сестрица.
Про вѣсти-то наши про рѣчныя?
Какъ вечеръ у насъ красная дѣвица утопилась,
Утопая, милого друга проклинала?

Общее смятеніе. Князь велитъ конюшему отыскать мельничиху; ея, разумѣется, не находятъ...

Прошло двѣнадцать лѣтъ. Княгиня жалуется на охлажденіе къ ней мужа; няня утѣшаетъ ее, не подозревая, что въ грубой и невѣжественной простотѣ ея добродушныхъ словъ скрывается ужасная, роковая истина:

Княгинюшка! мущина, что пѣтухъ:
Кури-куку! махъ, махъ крыломъ—и прочь;
А женщина что бѣдная насѣдка:
Сиди себѣ да выводилы цыплятъ.
Пока женихъ—ужь онъ не насидится,
Ни пьеть, ни ѣсть, глядитъ не наглядится;
Женился,—и заботы настаютъ:
То надобно сосѣдей навѣстить,
То на охоту ѣхать съ соколами.
То на войну нелегкая несеть,
Туда, сюда—а дома не сидится.

Не есть ли это законная кара сильному полу за незаконное рабство, въ которомъ онъ держитъ слабый полъ? Такъ, по крайней мѣрѣ, можно думать по окончанію любовныхъ походовъ героя поэмы, этого русскаго донъ-Хуана... Наскучивъ женою, онъ вспомнилъ о прежней любви, раскаялся, какъ въ глупости, что бросилъ дочь мельника, не понимая, что она потому только стала ему мила, что ея нѣтъ съ нимъ, что его жена не мила ему...

Сцена на берегу Днѣпра. Ночь. Раздается хоръ русалокъ, напоминающій своимъ фантастически-дикимъ паѳосомъ оргіи Vals infernal изъ «Роберта Дьявола»:

Веселой толпою
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ,
Насъ грѣть луна.
Любо намъ ночной порою
Дно рѣчное покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрывать,
Подавать другъ дружкѣ голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать,
И зеленый влажный волосъ
Въ немъ сушить и отрахать.

Одна.

Тише! птичка подь кустами
Встрепенулася во мглѣ.

Другая.

Между мѣсяцемъ и нами
Кто-то ходитъ на землѣ.

Этотъ «кто-то» — князь, котораго влекутъ къ этимъ мѣстамъ воспоминанія прежней счастливой любви. Вдругъ онъ встрѣчается съ отцемъ погубленной имъ дѣвушки.

Старикъ.

Здорово,

Здорово, зять!

Князь.

Кто ты?

Старикъ.

Я здѣшній воронъ.

Князь.

Возможно-ль? это мельникъ!...

Старикъ.

Какой я мельникъ! Говорятъ тебѣ,
Я воронъ, а не мельникъ. Чудный случай:
Когда (ты помнишь?) бросилась она
Въ рѣку, я побѣжалъ за нею слѣдомъ
И съ той скалы прыгнуть хотѣлъ, да вдругъ

Почувствовалъ: два сильные крыла
Мнѣ выросли внезапно изъ подъ мышекъ
И въ воздухъ сдержали. Съ той поры
То здѣсь, то тамъ летаю, то кляю
Корову мертвую, то на могилѣ
Сяжу да каркаю.

Отосланная княземъ свита является опять къ нему, по приказанію обезпокоенной княгини. Это вниманіе со стороны уже нелюбимой имъ жены раздражаетъ его, и досада его изливается обыкновеннымъ въ такихъ случаяхъ восклицаніемъ, однимъ и тѣмъ же съ тѣхъ поръ, какъ стоитъ міръ, какъ существуютъ въ немъ охладѣлые любовники и постоянныя любовницы, и наоборотъ:

Несносна

Ея заботливость! Иль я ребенокъ,
Что шагу мнѣ нельзя ступить безъ няньки?

Въ послѣдней сценѣ князь встрѣчается съ своею дочерью-русалкою, которая послана матерью уловить его... Какъ жаль, что эта пьеса не кончена! Хотя ея конецъ и понятенъ: князь долженъ погибнуть, увлеченный русалками на дно Днѣпра. Но какими бы фантастическими красками, какими бы дивными образами все это было сказано у Пушкина — и все это погибло для насъ!... «Русалка» въ особенности обнаруживаетъ необыкновенную зрѣлость таланта Пушкина: великій талантъ только въ эпоху полного своего развитія можетъ въ фантастической сказкѣ высказывать столько обще-человѣческаго, дѣйствительнаго, реальнаго, что, читая ее, думаешь читать совсѣмъ не сказку, а высокую трагедію...

Теперь мы приблизились къ перлу созданій Пушкина, къ богатѣйшему, роскошнѣйшему алмазу въ его поэтическомъ вѣнкѣ... Для кого существуетъ искусство какъ искусство, въ его идеалѣ, въ его отвлеченной сущности, для того «Каменный Гость» не можетъ не казаться, безъ всякаго срав-

ненія, лучшимъ и высшимъ, въ художественномъ отношеніи, созданіемъ Пушкина... Какая дивная гармонія между идеею и формою! какой стихъ, прозрачный, мягкій и упругій, какъ волна, благозвучный, какъ музыка! какая кисть, широкая, смѣлая, какъ-будто небрежная! какая антично-благородная, простота стиля! какія роскошныя картины волшебной страны, гдѣ ночь лимономъ и лавромъ пахнетъ! Принимаясь перечитывать это чудное созданіе искусства, восклицаешь мысленно къ поэту:

Благословенный край, пльнительный предѣлъ!
Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зрѣють...
О, расскажи-жь ты намъ, какъ жены тамъ умѣютъ
Съ любовью набожность умилно сочетать,
Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать;
Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за рѣшетки,
Какъ златомъ усыпленъ надзоръ ревнивой тетки;
Скажи, какъ въ двадцать лѣтъ любовникъ подь окномъ,
Трепещетъ и кипитъ, окутанный плащемъ...

Такая тема не можетъ пользоваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающихъ она не имѣетъ ровно никакой цѣны; для понимающихъ невозможно любить ее безъ страсти, безъ энтузіазма. Но первыхъ много, послѣднихъ мало, и потому она существуетъ для немногихъ...

Герой ея—лицо миѣическое, испанскій Фаустъ. Идея донъ-Хуана могла родиться только въ странѣ, гдѣ жить значить любить и драться, а быть счастливымъ и великимъ, значить быть любимымъ и храбрымъ,—въ странѣ, гдѣ религіозность доходитъ до фанатизма, храбрость до жестокости, любовь до изступленія, гдѣ романическая настроенность дѣлаетъ героемъ и кавалера и разбойника. Но донъ-Хуанъ такой, какимъ является онъ у Пушкина, не изступленный любовникъ, не мрачный дуэлистъ: онъ одаренъ всѣмъ, чтобъ сводить съ ума женщинъ и не знать никакихъ препятствій удовлетво-

ренію своихъ желаній. Красавецъ собою, стройный, ловкій, онъ веселъ и остёръ, искрененъ и лживъ, страстенъ и холоденъ, уменъ и повѣса, краснорѣчивъ и дерзокъ, храбръ, смѣль, отваженъ. Какъ во всякой высшей натурѣ, въ немъ есть что-то импонирующее. Можетъ-быть, это сила его воли, широкость и глубина его души. Для него жить значитъ наслаждаться; посреди своихъ побѣдъ, онъ сейчасъ готовъ умереть; умертвить же соперника въ честномъ бою и насладиться любовью въ присутствіи трупа, ему ровно ничего не значитъ. Онъ вѣритъ въ свою звѣзду, и потому на всякаго, кто вызоветъ его, смотритъ заранѣе какъ на убитаго. Такие люди опасны для женщинъ, и не знаютъ, что такое неуспѣхъ въ любви, или волокитствѣ. Женщина больше всего обожаетъ въ мужчинѣ силу, мужественность, могущество. Она любитъ, чтобъ онъ былъ съ нею не только нѣженъ, но и дерзокъ. Донъ-Хуанъ имѣетъ въ себѣ все это. Въ глазахъ женщины онъ левъ между мужчинами, не въ новѣйшемъ, пошломъ значеніи этого слова, означающаго франта и модника, а въ смыслѣ превосходства, храбрости и мужества.

Донъ-Хуанъ является ночью въ Мадридѣ. Изъ его разговора съ слугою мы узнаемъ, что онъ былъ въ ссылкѣ за дуэль и воротился тайкомъ. Онъ спрашиваетъ у Лепорелло, могутъ ли узнать его?

Да, донъ-Хуана мудрено признать!
Такихъ, какъ онъ, такая бездна!

Изъ этой грубой похвалы слуги видно ясно, что такое донъ-Хуанъ для всего Мадрита. Мѣсто, въ которомъ они находились въ то время, напоминаетъ донъ-Хуану женщину, которую онъ, кажется, любилъ больше другихъ, — и онъ говоритъ задумчиво:

Бѣдная Инеза!
Ея ужъ нѣтъ! Какъ я любилъ ее!

.
Чудную пріятность
Я находилъ въ ея печальномъ взорѣ
И помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно.
Ты, кажется, ее не находилъ
Красавицей. И точно.—мало было
Въ ней истинно прекраснаго. Глаза,
Одни глаза, да взгляды... такого взгляда
Ужъ никогда я не встрѣчалъ. А голосъ
У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной;
А мужъ ея былъ негодной суровой—
Узналъ я поздно... Бѣдная Инеза!

Въ этихъ немногихъ стихахъ цѣлый портретъ женщины, вся исторія ея жизни... Самое воспоминаніе о ней, столь полное любви и грусти, уже говорить, какова должна была быть эта женщина, которая, не будучи красавицей, умѣла привязать къ себѣ такого человѣка. Но грусть воспоминанія не долго занимаетъ донъ-Хуана.

Лепорелло.

Что-жь? вслѣдъ за ней другія были.

Донъ-Хуанъ.

Правда.

Лепорелло.

А живы будемъ, будутъ и другія.

Донъ Хуанъ.

И то.

На этотъ разъ, онъ хочетъ идти къ Лаурѣ. Но является монахъ и отъ него наши авантюристы узнаютъ, что на монастырское кладбище сейчасъ должна прійти донья - Анна, чтобъ плакать на могилѣ своего мужа, убитаго нашимъ героемъ. Донъ - Хуанъ успѣлъ замѣтить только ея узенькую ножку! но этого довольно для него, чтобъ рѣшиться узнать ее покороче; а пока онъ спѣшитъ къ Лаурѣ.

Лаура — актриса, жрица искусства и наслажденія. Въ ней нѣтъ притворства и лицемерія; она вся наружѣ. Молодая и прекрасная, она не думаетъ о будущемъ и живетъ для настоящей минуты. Она вѣчно окружена мужчинами и обходится съ ними безъ церемоній, иногда даже съ какимъ-то граціозномъ цинизмомъ. У ней гости; они въ восторгѣ отъ ея игры въ этотъ вечеръ; только одинъ между ними мраченъ. Это донъ-Карлосъ, у котораго донъ-Хуанъ убилъ брата. Она спѣла пѣсню («Я здѣсь, Инезилья») и сказала, что эту пѣсню сочинилъ «ея вѣрный другъ, ея вѣтренный любовникъ» донъ-Хуанъ. Это имя приводитъ донъ-Карлоса въ бѣшенство, и онъ ругаетъ его безбожникомъ и мерзавцемъ, а ее — дурую. Она грозитъ велѣть слугамъ своимъ зарѣзать его; но онъ успокоивается, и они мирятся. Гости уходятъ, и она говоритъ Карлосу:

Ты, бѣшенный, оставайся у меня.
Ты мнѣ понравился; ты донъ-Хуана
Напомнилъ мнѣ, какъ выбранилъ меня
И стиснулъ зубы съ скрежетомъ.

Оставшись съ нею, Карлосъ, вмѣсто лести и любезности, заводитъ мрачные разговоры; теперь ты молода, говоритъ онъ ей: окружена поклонниками, а лѣтъ черезъ шесть, когда глаза твои впадутъ и сѣдина блеснетъ въ косѣ, что тогда съ тобою будетъ?—Этотъ человекъ тоже истый Испанецъ, какъ и донъ-Хуанъ, только другимъ образомъ. Онъ мраченъ и въ молодости, мраченъ наединѣ съ прекрасною женщиной, которая сказала ему, что она его любитъ; къ старости же, изъ него былъ бы готовъ отличный инквизиторъ, который съ полнымъ убѣжденіемъ и спокойною совѣстью жегъ бы еретиковъ и съ особеннымъ наслажденіемъ бичевалъ бы самого себя... Лаура въ старости сдѣлалась бы дуэньей и мастерски помогала бы ввѣренной ея бдительности женѣ проводить за носъ мужа, а, можетъ-быть, пошла бы въ мона-

стырь: но пока она не хочет слышать о вздорѣ — о будущемъ...

Является донъ-Хуанъ; Лаура въ радости бросается ему на шею; Карлосъ вызываетъ его—и падаетъ мертвый.

Донъ-Хуанъ.

Вставай, Лаура, конечно.

Лаура.

Что тамъ?

Убить? Прекрасно! въ комнатѣ моей!

Что дѣлать мнѣ теперь, повѣса, дьяволь!

Куда я выброшу его?

Донъ-Хуанъ.

Быть можетъ,

Онъ живъ еще.

Лаура.

Да! живъ! гляди, проклятый,

Ты прямо въ сердце ткнулъ—небось, не мимо.

И кровь неидетъ изъ треугольной ранки,

А ужъ не дышетъ—каково?

Въ слѣдующей сценѣ, донъ-Хуанъ, въ монашеской рясѣ, уже разговариваетъ съ доньей - Анною. Она проситъ его соединить молитвы съ ея молитвами.

Мнѣ, мнѣ молиться съ вами донна-Анна!

Я не достоинъ участи такой.

Я не дерзну порочными устами

Мольбу святую вашу повторять;

Я только издали съ благоговѣньемъ

Смотрю на васъ, когда, *склонившись тихо,*

Вы кудри черныя на мраморъ блдный

Разсыплете—и мнится мнѣ, что тайно

Гробницу эту ангелъ посвятилъ;

Въ смущенномъ сердцѣ я не обрѣтаю

Тогда моленій. Я дивлюсь безмолвно

И думаю: счастливъ, чей хладный мраморъ

Согрѣтъ ея дыханіемъ небеснымъ

И окропленъ любви ея слезами.

Что́ это—языкъ коварной лести, или голосъ сердца? Мы думаемъ, и то и другое вмѣстѣ. Отличіе людей такого рода, какъ донъ - Хуанъ, въ томъ и состоитъ, что они умѣютъ, быть искренно-страстными въ самой жи и непритворно холодными въ самой страсти, когда это нужно. Донъ - Хуанъ распоряжается своими чувствами, какъ полководецъ солдатами: не онъ у нихъ, а они у него во власти и служатъ ему къ достиженію цѣли. Донья-Анна изумлена странностію такихъ рѣчей въ устахъ монаха; но донъ-Хуанъ идетъ далѣе и съ изумительною дерзостью признается ей, что онъ не монахъ, но пока прикрывается вымышленнымъ именемъ. Сцена эта ведена съ непостижимымъ искусствомъ. Донья-Анна гонитъ его прочь, а между тѣмъ хочетъ знать, кто же онъ, и чего онъ требуетъ...

Смерти!

О, пусть умру сейчасъ у вашихъ ногъ,
Пусть бѣдный прахъ мой здѣсь же похоронятъ
Не подѣ праха милаго для васъ,
Не тутъ—не близко—далъ гдѣ-нибудь,
Тамъ—у дверей—у самаго порога,
Чтобъ камня моего могли коснуться
Вы легкою ногой или одеждой,
Когда сюда, на этотъ гордый гробъ
Придете кудры наклонять и плакать...

Донья-Анна защищается все слабѣе и слабѣе; у ней вырывается кокетливый вопросъ: «И любите давно уже вы меня?» Самолюбіе ея затронуто — до сердца недалеко... Она назначила ему свиданіе у себя дома, завтра вечеромъ...

Донья-Анна—такъ же истая Испанка, какъ и Лаура, только въ другомъ родѣ. Та — баядера европейскихъ обществъ, а эта—ихъ матрона, обязанная обществомъ быть лицемѣрною и пріученная къ лицемѣрству. Она дѣвочка; посѣщеніе монастырей, набожныя занятія и слезы надъ гробомъ мужа (суроваго старика, за котораго вышла насильно и котораго никогда не любила) — суть единственная отрада, единствен-

ное утѣшеніе ея, бѣдной, безутѣшной вдовы... Но она женщина и притомъ южная; страсть у нея — дѣло минуты, и ни позоръ общественнаго мнѣнія, ни лютая казнь не помѣшаютъ ей отдаться вполнѣ тому, кто умѣлъ заставить ее полюбить...

Донъ-Хуанъ въ восторгѣ отъ своего успѣха. Хоть онъ и привыкъ къ побѣдамъ, но эту онъ считалъ труднѣе, чѣмъ оказалось, потому что донья-Анна возбудила въ немъ сильную страсть. Повѣса въ радости своей, велитъ Лепорелло звать статуя командора къ доньѣ-Аннѣ на завтрашній вечеръ. Статуя киваетъ головою въ знакъ согласія; Лепорелло въ ужасѣ. Донъ-Хуанъ, самъ зоветъ ее — и съ ужасомъ видитъ, что она кивнула и ему...

Но донъ-Хуанъ не такой человѣкъ, чтобъ что-нибудь могло остановить его. Онъ у вдовы. Рѣчи его страстны, нѣжны, льстивы, вкрадчивы; искусно сѣумѣлъ онъ, возбудивъ ея женское любопытство, объявить доньѣ-Аннѣ собственное имя... Онъ хочетъ, чтобъ его любили для него самого, чтобъ его обнимала жена убитаго имъ мужа. Но она уже любитъ его, и его дерзость еще больше увлекаетъ ее. Не торопясь глупо, онъ проситъ на разставанье только одного холоднаго и мирнаго поцѣлуя — и получаетъ поцѣлуй... Но вотъ входитъ статуя, съ словами: «Я на зовѣ явился».

Донъ-Хуанъ.

О, Боже! донна Анна!

Статуя.

Брось ее;

Все кончено. Дрожишь ты, донъ-Хуанъ?

Донъ-Хуанъ.

И? нѣтъ! я звалъ тебя, и радъ, что вижу.

Статуя.

Дай руку.

Донъ-Хуанъ.

Вотъ она... о, тяжело

Пожатье каменной его десницы!

Оставь меня, пусти, пусти мнѣ руку!...
Я гибну—кончено—о, донна Анна!...

Онъ проваливается. Это фантастическое основаніе поэмы на вмѣшательствѣ статуи производитъ непріятный эффектъ, потому что не возбуждаетъ того ужаса, который обязанно бы возбуждать. Въ наше время, статуй не боятся, и внѣшнихъ развязокъ, *deus ex machina*, не любятъ; но Пушкинъ былъ связанъ преданіемъ и оперою Моцарта, неразрывною съ образомъ донъ-Хуана. Дѣлать было нечего. А драма непременно должна была разрѣшиться трагически—гибелью донъ-Хуана; иначе она была бы веселою повѣстью—не больше, и была бы лишена идеи, лежащей въ ея основаніи. Что такое донъ-Хуанъ! — Каждый человѣкъ, чтобъ жить не одною физическою жизнію, но и нравственною вмѣстѣ, долженъ имѣть въ жизни какой нибудь интересъ, что-нибудь въ родѣ постоянной склонности, влеченія къ чему-нибудь. Иначе жизнь его будетъ или неполна, или пуста. Въ людяхъ высшей природы этотъ интересъ, эта склонность, это влеченіе проявляются какъ могущественная страсть, составляющая ихъ силу. Одинъ находитъ свою страсть, паюсъ своей жизни, въ наукѣ, другою—въ искусствѣ, третій—въ гражданской дѣятельности, и т. д. Донъ-Хуанъ посвятилъ свою жизнь наслажденію любовью, не отдаваясь, однакожъ, ни одной женщинѣ исключительно. Это путь ложный. Не говоря уже о томъ, что мушкетеръ невозможно наполнить всю жизнь свою одною любовью, — его одностороннее стремленіе не могло не обратиться въ безнравственную крайность, потому что, для удовлетворенія ея онъ долженъ былъ губить женщинъ, по ихъ положенію въ обществѣ—и онъ сдѣлалъ себѣ изъ этого ремесло. Оскорбленіе не условной, но истинно-нравственной идеи всегда влечетъ за собою наказаніе, разумѣется, нравственное же. Самымъ естественнымъ наказаніемъ донъ-Хуану могла бы быть истинная страсть къ женщинѣ, которая или

не раздѣляла бы этой страсти, или сдѣлалась бы ея жертвою. Кажется, Пушкинъ это и думалъ сдѣлать: по крайней мѣрѣ, такъ заставляетъ думать послѣднее, изъ глубины души вырвавшееся у донъ-Хуана восклицаніе: «О, донна Анна!», когда его увлекаетъ статуя; но эта статуя портитъ все дѣло, въ чемъ, какъ мы замѣтили выше, нашъ поэтъ не виноватъ нисколько.

Итакъ, несмотря на это, «Каменный Гость», въ художественномъ отношеніи, есть лучшее созданіе Пушкина, — а это много, очень много!

«Сцены изъ рыцарскихъ временъ» представляютъ мѣщанина, возгнушавшагося своимъ состояніемъ, и желавшаго попасть въ благородные, а между тѣмъ чуть не попавшаго на виселицу. Такія исторіи случались въ средніе вѣка, и Пушкинъ мастерски изложилъ одну изъ нихъ въ формѣ сценъ, писанныхъ прозою. Однакожъ, эти сцены не имѣютъ достоинства глубокой идеи, которую поэтъ скорѣе бы могъ найти въ борьбѣ общинъ противъ феодаловъ... Впрочемъ, въ этихъ сценахъ есть превосходная пѣсня («Жилъ на свѣтѣ рыцарь бѣдный»), въ которой сказано больше, нежели во всей цѣлости этихъ сценъ.

Сказки Пушкина: «О царѣ Салтанѣ», «О мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ», «О золотомъ пѣтушкѣ», «О купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и о работникѣ его Балдѣ» были плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности. Народныя сказки хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ. Но «Сказка о Рыбакѣ и Рыбкѣ», о которой мы не упомянули въ числѣ прочихъ сказокъ, заслуживаетъ исключенія, потому что въ ней есть положительныя достоинства. Это не народная сказка: народу принадлежитъ только ея мысль, но выраженіе, рассказъ, стихъ, самый колоритъ, — все принадлежитъ поэту.

Повѣсти въ прозѣ Пушкина, хотя и далеко не могутъ равняться въ достоинствѣ съ лучшими стихотворными его про-

изведениями даже перваго періода его дѣятельности, однако тѣмъ не менѣе принадлежать къ замѣчательнымъ произведеніямъ русской литературы. Первый его опытъ въ этомъ родѣ напечатанъ былъ въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» на 1829 годъ, подъ названіемъ: «IV глава изъ Историческаго Романа». Въ X томѣ полнаго собранія его сочиненій напечатано шесть главъ и начало седьмой этого романа, подъ названіемъ; «Арапъ Петра великаго». Въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» IV-я глава напечатана не вполнѣ; но это едва ли не интереснѣйшій отрывокъ изъ всѣхъ семи главъ. Будь этотъ романъ конченъ такъ же хорошо, какъ начать, мы имѣли бы превосходный историческій русскій романъ, изображающій нравы величайшей эпохи русской исторіи. Поэтъ, въ числѣ дѣйствующихъ лицъ своего романа, выводитъ въ немъ на сцену и великаго преобразователя Россіи; во всей народной простотѣ его пріемовъ и обычаевъ. Не понимаемъ, почему Пушкинъ не продолжалъ этого романа. Онъ имѣлъ время кончить его, потому что IV-я глава написана имъ была еще прежде 1829 года. Эти семь главъ неоконченнаго романа, изъ которыхъ одна упредила всѣ историческіе романы гг. Загоскина и Лажечникова, неизмѣримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, и всѣхъ ихъ, вмѣстѣ взятыхъ. Передъ ними, передъ этими семью главами неоконченнаго «Арапа Петра Великаго», бѣдны и жалки повѣсти г. Кукольника, содержаніе которыхъ взято изъ эпохи Петра Великаго и которыя все-таки не лишены достоинства. Но это вовсе не похвала «Арапу Петра Великаго»: великому небольшая честь быть выше пигмеевъ,—а больше его у насъ не съ кѣмъ сравнивать.

Въ 1831 году вышли «Повѣсти Бѣлкина», холодно принятыя публикою, и еще холоднѣе журналами. Дѣйствительно, хотя и нельзя сказать, чтобъ въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все-таки эти повѣсти были недостойны ни таланта, ни имени Пушкина. Это что-то въ родѣ повѣ-

стей Карамзина, съ тою только разницею, что повѣсти Карамзина имѣли для своего времени великое значеніе, а повѣсти Бѣлкина были ниже своего времени. Особенно жалка изъ нихъ одна — «Барышня крестьянка», неправдоподобная, водевильная, представляющая помѣщичью жизнь съ идиллической точки зрѣнія...

«Пиковая Дама» — собственно не повѣсть, а мастерской разсказъ. Въ ней удивительно вѣрно очерчена старая графиня, ея воспитанница, ихъ отношенія и сильный, но демонически-эгоистическій характеръ Германа. Собственно это не повѣсть, а анекдотъ, для повѣсти содержаніе «Пиковой Дамы» слишкомъ исключительно и случайно. Но разсказъ, повторяемъ, верхъ мастерства.

«Капитанская дочка» — нѣчто въ родѣ «Онѣгина» въ прозѣ. Поэтъ изображаетъ въ ней нравы русскаго общества въ царствованіе Екатерины. Многія картины по вѣрности, истинѣ содержанія и мастерству изложенія — чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера Француза и, въ особенности его дядьки изъ псарей, Савельича, этого русскаго Калеба, — Зурина, Миронова и его жены, ихъ кума Ивана Игнатьевича, наконецъ самого Пугачева, съ его «господами енаралами»; таковы многія сцены, которыхъ, за ихъ множествомъ, не находимъ нужнымъ пересчитывать. Ничтожный безцвѣтный характеръ героя повѣсти и его возлюбленной Марьи Ивановны, и мелодраматическій характеръ Швабрина, хотя принадлежать къ рѣзкимъ недостаткамъ повѣсти, — однакожъ не мѣшаютъ ей быть однимъ изъ замѣчательныхъ произведеній русской литературы.

«Дубровский» — pendant къ «Капитанской дочкѣ». Въ обѣихъ преобладаетъ паеосъ помѣщичьяго принципа, и молодой Дубровскийъ представленъ Ахилломъ между людьми этого рода, — роль, которая рѣшительно не удалась Гриневу, герою «Капитанской дочки». Но Дубровскийъ, несмотря на все мастерство, которое обнаружилъ авторъ въ его изображеніи, все-

таки остался лицомъ мелодраматическимъ и невозбуждающимъ къ себѣ участія. Вообще, вся эта повѣсть сильно отзывается мелодрамою. Но въ ней есть дивныя вещи. Старинный бытъ русскаго дворянства, въ лицѣ Троекурова, изображенъ съ ужасающею вѣрностью. Подъячье и судопроизводство того времени тоже принадлежать къ блестящимъ сторонамъ повѣсти. Превосходно очерчены также и холопы. Но всего лучше — характеръ героини, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнь и французскіе романы сильно развили въ ней не чувство, не страсти, а фантазію, и она считала себя дѣйствительно героинею, готовою на всё жертвы для того, кого полюбитъ. Покуда ей приходилось только играть въ романъ, она дѣлала возможныя безумства; но дошло до дѣла — и она принялась за мораль и добродѣтель. Быть похищенною любовникомъ - разбойникомъ у алтаря, куда насильно притащили ее, чтобъ обвинять съ развратнымъ старичишкой, — казалось для нея очень «романическимъ», слѣдовательно, чрезвычайно заманчивымъ. Но Дубровскій опоздалъ, — и она втайнѣ этому обрадовалась, и разыграла роль вѣрной жены, слѣдовательно, опять героини...

«Лѣтопись села Горохина» — шутка острая, милая и забавная, въ которой, впрочемъ, есть и серьезныя вещи, какъ, напримѣръ, прибытіе въ село Горохино управителя и картина его управленія...

«Кирджали» — мастерской рассказъ истиннаго происшествія.

Объ «Исторіи Пугачевского Бунта» мы не будемъ распространяться. Скажемъ только, что этотъ историческій опытъ — образцовое произведеніе и со стороны исторической и со стороны слога. Въ послѣднемъ отношеніи Пушкинъ вполне достигъ того, къ чему Карамзинъ только стремился. «Исторія Пугачевского Бунта» показываетъ, что еслибъ онъ успѣлъ написать исторію Петра Великаго, — мы имѣли бы великое историческое созданіе...

Въ журнальныхъ статьяхъ своихъ Пушкинъ отразился со

всѣми своими предрассудками; въ нихъ видѣнъ человекъ, не чуждый образованности своего вѣка, но по какому-то странному упорству добровольно оставшійся при идеяхъ Карамзина, очень почтенныхъ... для своего времени, которое давно прошло. По этому и по другимъ причинамъ, многія изъ его журнальныхъ статей ниже всякой критики. Но нѣкоторыя изъ нихъ во многихъ отношеніяхъ замѣчательны; таковы, напримѣръ: «Ломоносовъ», «О Мильтонѣ и Шатобріановомъ переводѣ Потеряннаго Рая», «Рославлевъ». Очень любопытны его «Отрывки: литературныя, критическія, грамматическія замѣчанія»; въ нихъ онъ весь. Но полемическія его статьи—верхъ совершенства. Токовы: «Отрывокъ изъ Литературныхъ Лѣтописей» и «Торжество Дружбы, или Оправданный Александръ Анеимовичъ Орловъ» и «Нѣсколько словъ о мизинцѣ г. Булгарина и о прочемъ» *).

Трудъ нашъ конченъ. О достоинствѣ его или недостаткахъ судить публикѣ; мы скажемъ только, что это еще первая попытка разобрать критически весь кругъ поэтической и литературной дѣятельности одного изъ величайшихъ поэтовъ Россіи. Мы смотрѣли на его произведенія съ любовью, но безъ ослѣпленія и предубѣжденій въ его пользу, или противъ него. Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше насъ: мы первые послѣдшимъ отдать имъ должную дань хвалы и поучиться у нихъ.

Закljučаемъ. Пушкинъ былъ по примушеству поэтъ-художникъ, и больше ничѣмъ не могъ быть по своей натурѣ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ искусство, какъ художество. И потому, онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзіи принадлежитъ ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумѣя

*) Эти статьи не вошли въ полное собраніе сочиненій Пушкина,—вѣроятно, для большей полноты...

подъ этимъ словомъ безконечное уваженіа къ достоинству человѣка, какъ человѣка. Несмотря на генеалогическіе свои предразсудки, Пушкинъ по самой натурѣ своей былъ существомъ любящимъ, симпатичнымъ; готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человѣкомъ». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характерѣ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дѣтски-кроткаго, мягкаго и нѣжнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...

Конечно, придетъ время, когда потомство воздвигнетъ ему вѣковѣчный памятникъ; но тѣмъ страннѣе для его современниковъ, что они не имѣютъ еще порядочнаго изданія его сочиненій... Скоро десять лѣтъ минетъ послѣ трагической кончины нашего великаго поэта, а мы не имѣемъ даже сноснаго собранія его твореній!... Пора бы подумать объ этомъ.

КОНЕЦЪ ВОСЬМОЙ ЧАСТИ.

ОГЛАВЛЕНИЕ ВОСЬМОЙ ЧАСТИ.

1844.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЯ ЗАПИСКИ.

I.

К Р И Т И К А.

	Стр.
Русская литература въ 1843 году	9
Сочиненія Александра Пушкина	90

